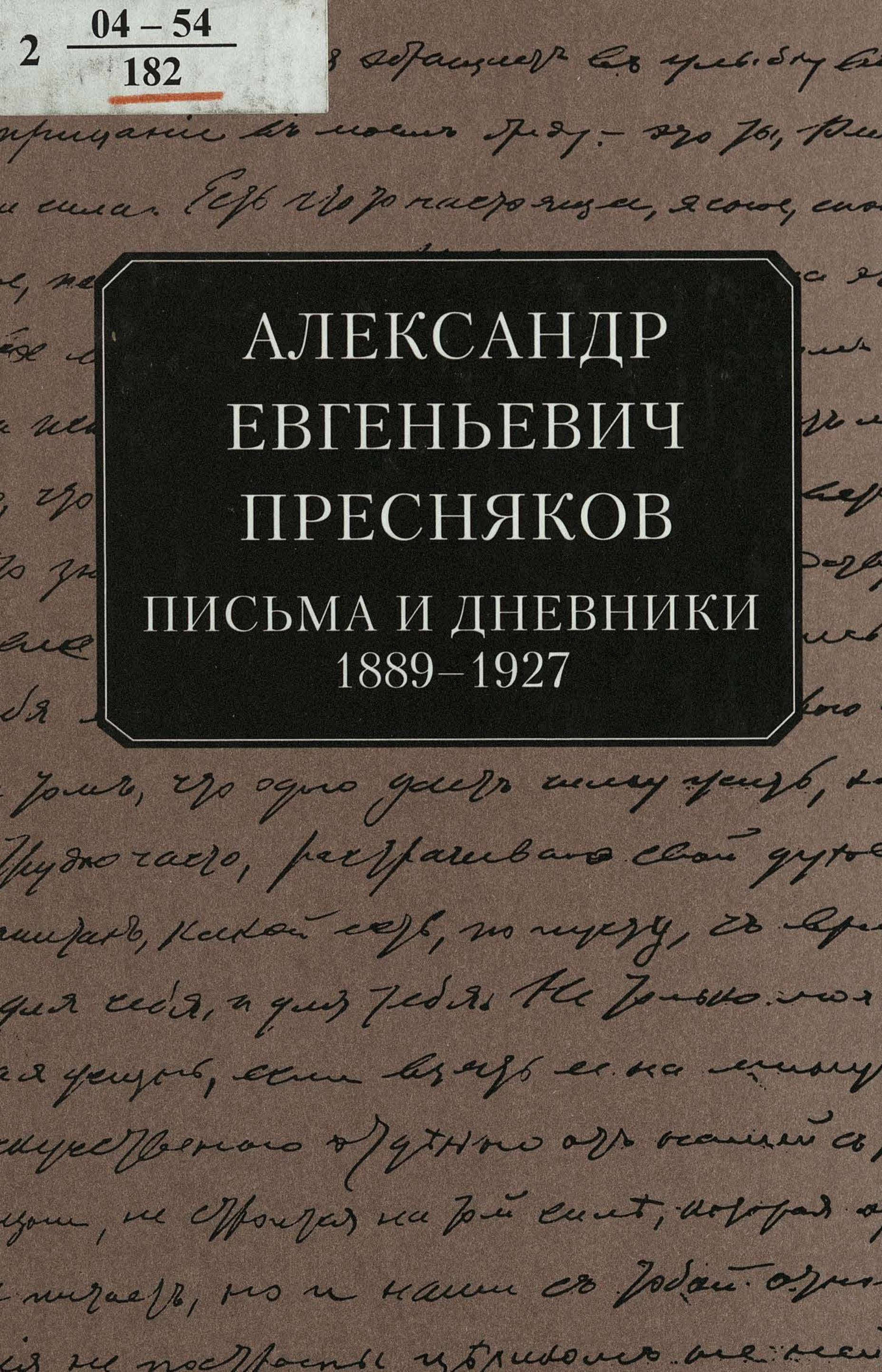
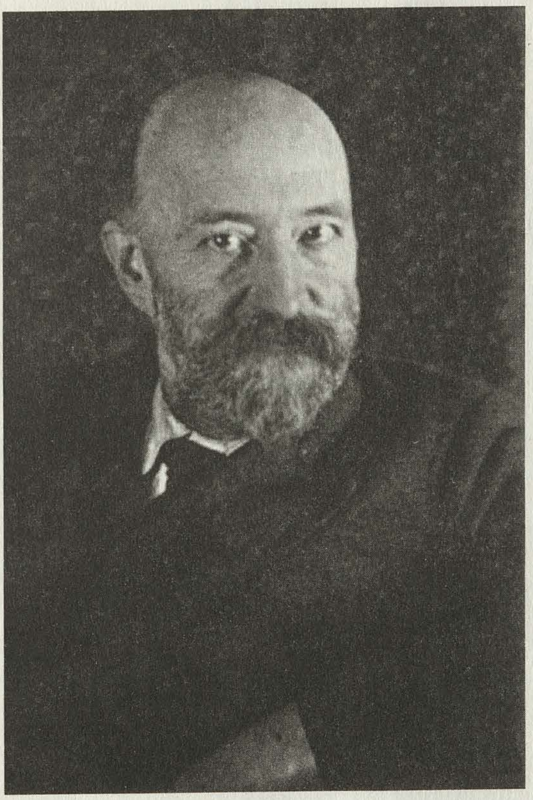
2 04 – 54
182



АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРЕСНЯКОВ

ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ
1889–1927

ФБ



А. Е. Пресняков
(1870–1929)

2 04 – 54
182

1 корр

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРЕСНЯКОВ

ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ

1889–1927

С.-ПЕТЕРБУРГ
2005

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В книге впервые публикуется значительная часть эпистолярного наследия известного русского историка Александра Евгеньевича Преснякова (1870—1929), представленная комплексом его писем к жене и матери и фрагментами дневника за 1889—1891 гг. Хронологически письма А. Е. Преснякова охватывают почти весь путь ученого — от студенческих времен до последних лет жизни. Ценность публикуемого материала состоит в многообразии отразившихся в нем исторических, научных, индивидуально-биографических событий, пропущенных через сознание «человека науки». Письма историка складываются в непрерывную летопись своего времени и открывают новые возможности изучения «историографического быта», отношений в научной и университетской среде, передают культурную атмосферу старого Петербурга.

Мы уверены, что письма А. Е. Преснякова, талантливого и честного историка и обаятельного человека, станут необходимым элементом осмысления как его собственного творчества, так и основных тенденций развития отечественной исторической науки конца XIX—первых десятилетий XX в.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
2004

Подготовка текста осуществлена *Т. Н. Жуковской* и *Д. Н. Лепиным*
при участии *А. В. Антощенко* и *Е. А. Ростовцева.*

Комментарий и указатель имен
составлены *Т. Н. Жуковской и Б. С. Кагановичем.*

Руководитель проекта и ответственный редактор *А. Н. Цамутали*

Редколлегия: *Р. Ш. Ганелин, В. Н. Гинев, В. М. Панеях*

Рецензенты: *Т. В. Андреева, Е. К. Пиотровская*

Издание подготовлено и осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(проекты № 00-01-00247-а и 03-01-00349д)

2010087643

ISBN 5-86007-441-7

© Санкт-Петербургский
Институт истории РАН, 2004
© «Дмитрий Буланин», 2004

АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРЕСНЯКОВ И ЕГО НАСЛЕДИЕ

До сих пор нет ни обстоятельной научной биографии, ни монографического исследования, которое бы содержало всесторонний анализ научного наследия Александра Евгеньевича Преснякова, хотя со дня его смерти прошло уже более семи десятилетий. А. Е. Пресняков ушел из жизни 30 сентября 1929 г., когда ему не исполнилось и шестидесяти лет, ему не суждено было совсем немного дожить до первых арестов, положивших начало сфальсифицированному ОГПУ печальной памяти «Академическому делу».

Академик Сергей Федорович Платонов, которому вскоре предстояло стать одним из главных фигурантов «Академического дела», успел до ареста написать некролог, воздав должное памяти своего ученика и коллеги.

«Ученики и ученые друзья А. Е. Преснякова знают, что его философские интересы были гораздо шире его специальности», — писал С. Ф. Платонов, подчеркивая незаурядность и разносторонность личности Преснякова, которого он знал еще студентом, и продолжал: «Он обладал глубоким гуманитарным образованием, склонностью и способностью к философской мысли и историческим обобщениям. В области исторической критики и методики он был столь же осведомлен, как и в фактическом материале». С. Ф. Платонов тонко подметил такую характерную черту Преснякова, каковой была «чуткая отзывчивость», ставившая его «в постоянную связь с разнообразными учеными кругами и учено-литературными предприятиями». Наделенный этой чертой Пресняков, как представлялось Платонову, был очень восприимчив ко всему, что несло на себе черты новизны, причем далеко за пределами узкоспециальных занятий: «Ничто новое в сфере политико-общественной, научной и литературной не было ему чуждо. Пытливо всматривался он в явления окружающей жизни, ловил всякое новое общественное образование in statu nascendi и благожелательно шел навстречу всему тому, в чем видел зерно грядущего развития и силы». При этом хорошо знавший Преснякова Платонов отмечал присущий тому живой и доброжелательный склад характера, стремление к новизне. В глазах Платонова, «это свойство его натуры, в соединении с необычайным добродушием и спокойною объективностью» делало его «привлекательнейшим человеком; а его острый и глубокий ум и яркий ученый талант сообщали его личности исключительную значительность». «Можно сказать, что это был крупный человек»,[1] — подводил итог своим впечатлениям о Преснякове Платонов и далее, что кажется очень примечательным, обращался ко времени первых встреч: «С особым чувством вспоминаются годы первого с ним знакомства, когда на глазах его университетских учителей совершался быстрый расцвет ученого таланта А. Е. Преснякова, и в его ранних, еще студенческих работах сказывалась самостоятельность и оригинальность ученого приема и выводов. Эти первые шаги были замечены факультетом, который напечатал в своих Записках медальную работу с исключительным о нем отзывом. Тогда уже можно было предвидеть в юноше крупного ученого, и он вполне оправдал те надежды, какие тогда возлагали на него его учителя и старшие товарищи».[2]

Платонов, глазами старшего коллеги многие годы наблюдавший Преснякова, в небольшом некрологе сумел передать живо и образно характерные черты Преснякова, ученого и человека. Несколько ранее, еще при жизни Преснякова, в 1928 г. один из его учеников по Ленинградскому педагогическому институту им. А. И. Герцена А. Л. Шапиро написал статью «А. Е. Пресняков как научный руководитель», предназначенную для сборника статей, посвященного 35-летию научной и педагогической деятельности А. Е. Преснякова. Характеризуя своего учителя, А. Л. Шапиро писал, что Преснякову присуще «одно стремление — добиться максимальной научности исторической исследовательской работы и исторического повествования», высоко оценивал учителя как научного руководителя, после встреч с которым все «работавшие у А[лександра] Е[вгеньевича] всегда уходили с его лекций или из его кабинета в каком-то приподнятом, бодром настроении, явно ощущая, как в течение 2—3 часов, проведенных в непосредственном общении с ним», «вырастали в научном отношении».[3] М. Н. Покровский почтил память Преснякова на заседании Общества историков-марксистов 30 марта 1930 г., правда, с оговорками, вроде того, что покойный «не прошел революционной школы».[4] Возможно, это объяснялось остротой момента: в разгаре было «Академическое дело». Среди тех, кто был арестован, был не только С. Ф. Платонов, но и другие коллеги Преснякова, в частности его ученик и друг Б. А. Романов. По этой же причине, скорее всего, редколлегия журнала «Историк-марксист» опубликовала лишь портрет в траурной рамке и краткое сообщение о смерти Преснякова.[5] Некролог в этом журнале не появился.

После развенчания ореола вокруг М. Н. Покровского были переизданы труды известных дореволюционных ученых, историков старой школы: «Курс русской истории» В. О. Ключевского, монографии С. Ф. Платонова и Ю. В. Готье. Б. А. Романов подготовил три тома «Лекций по русской истории» Преснякова. Первый том «Лекций» вышел в 1938 г., второй — в 1939.[6] Начавшаяся война помешала изданию третьего тома. Его корректура так и лежит в архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН.

---

[1] *Платонов С. Ф.* А. Е. Пресняков (некролог) // Изв. АН СССР. Отд-ние гуманит. наук. 1930. № 2. С. 85.

[2] Там же. С. 85—86.

[3] *Шапиро А. Л.* А. Е. Пресняков как научный руководитель // К 35-летию научной деятельности. [Сб. статей]. [Л]., 1929.

[4] Историк-марксист. 1930. № 16. С. 18—19.

[5] Историк-марксист. 1929. № 13. С. 268—269.

В подготовленном накануне войны и попавшем в руки читателей в начале 1942 г. курсе «Русская историография» Н. Л. Рубинштейна была дана сжатая, но емкая характеристика взглядов и трудов Преснякова. Заметим попутно, что в книге Н. Л. Рубинштейна коллеге и товарищу Преснякова Н. П. Павлову-Сильванскому была отведена отдельная глава,[7] Преснякову — несколько страниц в главе «Развитие буржуазной исторической науки в конце XIX—начале XX в.» в разделе «Петербургский университет».[8] На особое место, которое занял Пресняков в ряду петербургских историков, было обращено внимание в статье С. Н. Валка «Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет». В этой статье С. Н. Валк не только охарактеризовал Преснякова и его труды, но и сделал попытку оценить вклад Преснякова в формирование петербургской исторической школы, в оформление принципов, которыми эта школа руководствовалась.[9]

Характеристики Н. Л. Рубинштейна и С. Н. Валка отличались тенденцией объективно оценить и общие черты, присущие развитию исторической науки, и значение взглядов и трудов Преснякова. Такой подход был изгнан из исторических трудов в годы «борьбы с космополитизмом и буржуазным объективизмом». Необоснованные упреки раздались и в адрес Н. Л. Рубинштейна и, в меньшей мере, С. Н. Валка. В ряду историков, чьи взгляды и труды стали объектом жесткого пересмотра, оказался и Пресняков. Л. В. Черепнин в обширной статье «Об исторических взглядах А. Е. Преснякова»,[10] рассматривая научное наследие Преснякова как единое целое, воздавая должное в изучении важных проблем отечественной истории, вместе с тем писал, что «общее мировоззрение Преснякова — мировоззрение историка-идеалиста», зависимое от «идеалистической теории источниковедения» А. С. Лаппо-Данилевского и «формально-источниковедческих позиций» А. А. Шахматова.[11] Л. В. Черепнин не соглашался с противопоставлением московской и петербургской исторических школ.[12] «Октябрьская революция, — полагал Л. В. Черепнин, — не внесла почти ничего нового в представления Преснякова об истории феодальной России». Что же касается работ Преснякова по истории декабристов, о царствовании Александра I и Николая I, то они, по мнению Л. В. Черепнина, «оказались бессильны дать подлинно научную, классовую оценку изучаемых событий».[13]

---

[6] *Пресняков А. Е.* Лекции по русской истории. М., 1938—1939. Т. 1—2.

[7] *Рубинштейн Н. Л.* Русская историография. М., 1941. С. 525—534.

[8] Там же. С. 505—507 и др.

[9] *Валк С. Н.* Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет. Цит по: *Валк С. Н.* Избр. труды по историографии и источниковедению. СПб., 2000. С. 59—64, 69—70 и др.

[10] *Черепнин Л. В.* Об исторических взглядах А. Е. Преснякова // Исторические записки. М., 1950. Т. 33. С. 203—231.

[11] Там же. С. 230—231.

[12] Там же. С. 207.

Постепенное освобождение от догматических пут, начавшееся в исторической науке в середине 1950-х гг., коснулось и историографии. А. Л. Шапиро одним из первых осмелился в курсе лекций «Русская историография в период империализма» отметить, что в трудах и взглядах русских историков, чьи взгляды формировались в конце XIX—начале XX в., а основная научная и преподавательская деятельность пришлась на первую половину XX в., обычно относимых к категории «буржуазных», было немало достижений, которые состояли не только в накоплении исторических фактов и исследовании источников, но и в общетеоретических построениях. В этом смысле А. Л. Шапиро, ученик А. Е. Преснякова, продолжал развивать тенденции, присущие статье его старшего коллеги С. Н. Валка «Историческая наука в Ленинградском университете...». Отдельная лекция в курсе А. Л. Шапиро была озаглавлена «Критика А. Е. Пресняковым традиционных взглядов на историю древней Руси».[14] Вниманием к историкам петербургской исторической школы, к наследию А. Е. Преснякова в частности, были отмечены статья Г. Б. Гальперина о философской основе исторической концепции Преснякова[15] и историографические статьи С. О. Шмидта.[16]

Новый этап в изучении биографии и трудов А. Е. Преснякова связан с появлением историографических работ С. В. Чиркова и М. Б. Свердлова. С. В. Чирков, ученик С. О. Шмидта, обратившись к всестороннему изучению историков петербургской школы, большое место в своих исследованиях отвел и наследию А. Е. Преснякова.[17] Одним из достоинств работ С. В. Чиркова и М. Б. Свердлова является использование в них материалов из архива А. Е. Преснякова, хранящегося в Санкт-Петербургском Институте истории РАН. М. Б. Свердлов, серьезно занимавшийся древней историей Руси, ряд своих трудов посвятил источниковедению и историографии. В частности он подготовил новое издание книги А. Е. Преснякова «Княжое право...» и первого тома его «Лекций по русской истории».[18] Сопровождающие эту публикацию статьи М. Б. Свердлова о А. Е. Преснякове выходят за рамки комментария к трудам Преснякова и имеют самостоятельное значение.[19] М. Б. Свердлов не только опубликовал названные выше труды Преснякова и снабдил их современными комментариями, но также изложил свой взгляд на ряд проблем, носящих как общий характер, так и касающихся творчества Преснякова и неоднократно являвшихся предметом дискуссии.[20]

---

[13] Там же. С. 225, 229, 230—231.

[14] *Шапиро А. Л.* Русская историография в период империализма: Курс лекций. Л., 1962. С. 87—98; См. также: *Шапиро А. Л.* Русская историография с древнейших времен до 1917 г.: Уч. пособие. [М]., 1993. С. 636—647.

[15] *Гальперин Г. Б.* К вопросу о философской основе исторической концепции А. Е. Преснякова // Философские проблемы государства и права. Л., 1970.

[16] *Шмидт С. О.* О предмете советской историографии и о некоторых принципах ее периодизации // История СССР. 1963. № 1.

[17] *Чирков С. В.* 1) Обзор архивного фонда А. Е. Преснякова // АЕ за 1970 г. М., 1971. С. 307—314; 2) Список трудов А. Е. Преснякова // Там же. С. 323—331; 3) Проникновенный источниковед: Александр Евгеньевич Пресняков // Историки России. XVIII—начало XX в. М., 1996. С. 553—576; 4) Александр Евгеньевич Пресняков // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 1. Отечественная история. М.; Иерусалим, 2000. С. 136—152; 5) Пресняков Александр Евгеньевич (1870—1929) // Историки России. Биографии. М., 2001. С. 485—491 и др.

[18] *Пресняков А. Е.* Княжое право в древней Руси: Очерки по истории X—XII столетий. Лекции по русской истории. Киевская Русь / Подгот. текста, статьи и примеч. д-ра ист. наук М. Б. Свердлова. М., 1993.

В последнее время интерес к фигуре А. Е. Преснякова заметно усилился. Историки все чаще обращаются к его архиву, в котором хранятся и письма Преснякова к родным. Облик Преснякова предстает все более разносторонним. Историки, занимающиеся русской историографией, во многом по-новому ставят важные проблемы как общего развития исторической науки, так и своеобразия взглядов Преснякова. С большей полнотой оказывается обрисован облик Преснякова как человека. Многие положения, содержащиеся в книгах и статьях последних лет, носят дискуссионный характер. К числу спорных проблем можно отнести вопрос о формировании историко-философских взглядов Преснякова, в частности о его отношении к марксизму и другим философским теориям. К работам, в которых ставятся такого рода проблемы, можно отнести статьи Т. Н. Жуковской[21] и Б. С. Кагановича.[22] В статьях последних лет ставится вопрос об уточнении понятия «петербургская историческая школа», о характере ее взаимоотношений с историками других школ, прежде всего московской исторической школы, о критическом подходе Преснякова к наследию таких историков, как С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Значение высказываний Преснякова об особенностях петербургской исторической школы подчеркнуто в статьях Б. В. Ананьича и В. М. Панеяха.[23]

---

[19] *Свердлов М. Б.* 1) А. Е. Пресняков (1870—1929). Жизнь и творчество // *Пресняков А. Е.* Княжое право в древней Руси... Лекции по русской истории... М., 1993. С. 506—554; 2) Проблемы изучения древней Руси в творчестве А. Е. Преснякова // Там же. С. 555—586.

[20] См. рец. В. С. Брачева в журнале «Отечественная история» (1995. № 3. С. 198—201); *Свердлов М. Б.* О «петербургской школе историков», корректности исторического анализа и рецензии В. С. Брачева. СПб.: «Минерва». 1995. 33 с. В. С. Брачев выпустил отдельным изданием историко-биографический очерк о Преснякове. См: *Брачев В. С.* Русский историк А. Е. Пресняков (1870—1929). СПб., 2002. 84 с. (с прилож.). К сожалению, работа В. С. Брачева содержит много фактических ошибок (см. с. 3, 32, 60, 61, 64, 65) и бездоказательных суждений.

[21] *Жуковская Т. Н.* 1) Точка пути. Некоторые размышления о «петербургской школе» // Третьи мартовские чтения памяти С. Б. Окуня: Материалы науч. конф. СПб., 1997. С. 8—14; 2) А. Е. Пресняков — декабристовед // Там же. С. 81—87; 3) А. Е. Пресняков и марксизм: опыт историографической демифологизации // Россия в XIX—XX вв.: Сб. статей к 70-летию со дня рождения Р. Ш. Ганелина. СПб., 1998. С. 28—40; 4) Смысл творчества и «жизненный мир»: случай А. Е. Преснякова // Культура исторической памяти: Материалы науч. конф. Петрозаводск, 2002. С. 132—162.

[22] *Каганович Б. С.* 1) А. Е. Пресняков и Карл Виттфогель (Вокруг одной концепции русского исторического процесса) // Третьи мартовские чтения памяти С. Б. Окуня: Материалы науч. конф. СПб., 1997. С 28—40; 2) А. Е. Пресняков, петербургская школа и марксизм // Cahiers du Monde Russe. 2001. N 42/1. Janvier—Mars. P. 31—48; 3) А. Е. Пресняков и И. М. Гревс (из разысканий по теме: А. Е. Пресняков и его современники) // АЕ за 2000 г. М., 2001. С. 258—263.

[23] *Ананьич Б. В., Панеях В. М.* 1) К вопросу о петербургской исторической школе // Политика и культура в контексте истории: Материалы междунар. науч. конф., посвященной памяти Л. Е. Кертмана. Пермь, 24—25 сентября 1997. Пермь, 1998. С. 107—111; 2) О петербургской исторической школе и ее судьбе // ОИ. 2000. № 5. С. 105—113; *Ananjich B. W., Panejach W. M.* 1) The St. Petersburg school of history and its

Пресняков как учитель, старший и ближайший товарищ представлен в статье С. Н. Валка о Б. А. Романове[24] и в монографии В. М. Панеяха «Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов».[25]

Как видим, несмотря на значительное число работ, интересных суждений, в них высказанных, у историков есть немало возможностей восстановить более целостный облик Преснякова как человека и с большей отчетливостью оценить его научное наследие. Неоценимым материалом в решении этой задачи могут послужить хранящиеся в архиве Санкт-Петербургского Института истории Российской Академии наук письма Преснякова к родным.

Отец Александра Евгеньевича Преснякова Евгений Львович был инженером путей сообщения. Его работа была связана с постоянными переездами. Александр Евгеньевич родился в Одессе 21 апреля 1870 г. Его школьные годы прошли в Москве и Тифлисе, где в 1889 г. он успешно окончил 1-ю Тифлисскую гимназию.

Осенью 1889 г. Пресняков стал студентом Петербургского университета. Любящий сын, будучи в разлуке с родителями, поддерживал с ними оживленную переписку. Большая часть писем адресована матери Марии Пафнутьевне Пресняковой. Отцу А. Е. Пресняков писал сравнительно редко, но из писем, адресованных матери, Е. Л. Преснякову было известно, как обстоят дела у сына. Значительна по объему и переписка А. Е. Преснякова с его невестой, а затем женой Юлией Петровной, урожденной Кимонт.

В письмах А. Е. Преснякова переплетаются сведения о его личной жизни и самых тонких душевных переживаниях с повествованием об учебных занятиях, а затем научных поисках и служебных делах. Близкий к миру искусства и по своим разносторонним интересам, и по широкому кругу знакомств, А. Е. Пресняков в своих письмах делится впечатлениями о театральных и музыкальных премьерах, о художественных вернисажах.

Пресняков — человек, склонный к постоянному поиску. Эта склонность наложила свой отпечаток на формирование Преснякова как ученого, историка, исследователя, преподавателя. Поступив на юридический факультет, он вскоре переходит на историко-филологический. Не просто складываются его отношения и с профессорами, у которых он учился в университете. Нелегко сказать, кто из учителей Преснякова оказал на него наибольшее влияние. Об этом постоянно размышлял и сам Пресняков, своими сомнениями он часто делился с матерью. Знакомясь с письмами Преснякова, можно заметить, как постепенно накапливаются факты, рождаются мысли, на основе которых со временем Пресняков сформулирует свои выводы об особенностях петербургской исторической школы и свое видение противостояния школе московских историков во главе с В. О. Ключевским.

---

fate // Russian studies in history. 1998. Vol. 36. N 4. P. 72—92; 2) The St. Petersburg school of history and its fate // Historiography of Imperial Russia. London, 1999. P. 146—162.

[24] *Валк С. Н.* Борис Александрович Романов // *Валк С. Н.* Избр. труды по историографии и источниковедению. СПб., 2000. С. 107—145.

[25] *Панеях В. М.* Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000.

В памяти и сознании Преснякова останется глубокий след от старшего поколения петербургской профессуры, представленной В. Г. Васильевским и К. Н. Бестужевым-Рюминым. В. Г. Васильевский был высоко ценим Пресняковым и как лектор (сохранилась тетрадь Преснякова с конспектом лекций В. Г. Васильевского по истории средневековой Франции) и, в особенности, как мастер источниковедческого исследования, наставник, умело передававший ученикам свое умение тонко анализировать исторический источник, бережно относиться к историческим фактам. По-видимому, В. Г. Васильевский в большей мере, чем К. Н. Бестужев-Рюмин, оказал влияние на своеобразие восприятия Пресняковым методов исторического исследования. Но и К. Н. Бестужев-Рюмин оказался тесно связан с началом научной карьеры Преснякова. Незадолго до смерти К. Н. Бестужев-Рюмин успел одобрить рекомендацию об оставлении Преснякова при университете для подготовки к профессорскому званию.

Письма Преснякова родным позволяют восстановить многие детали сложных взаимоотношений Преснякова с его непосредственным учителем, молодым тогда профессором русской истории С. Ф. Платоновым. Они то сближаются, то отдаляются друг от друга, но в конечном счете в истории исторической науки их имена оказываются тесно переплетенными. Под руководством Платонова Пресняков познал искусство интерпретации такого классического источника по истории древней Руси, каким были летописные своды. Блестящее знание летописного материала, усовершенствованное впоследствии под влиянием А. А. Шахматова, позволило Преснякову создать труды, во многом по-новому трактующие и историко-юридическую и социально-политическую историю древней Руси. Пресняков не ограничивался источниковедческим исследованием русских летописей и воссозданием с их помощью и с помощью других источников картины древнерусской истории. Его влекли к себе и общие проблемы исторической науки, и всемирная история. Эта сторона научного творчества Преснякова также находит свое отражение в его письмах. Читая его письма, яснее представляешь причины сближения Преснякова с профессором Г. В. Форстеном, его роль в кружке «форстенят».[26] Определенный отпечаток на труды Преснякова наложили и лекции историка русского права В. И. Сергеевича. В случае Преснякова правомерно говорить о разностороннем влиянии на него представителей нескольких научных направлений, и уже потому — о синтетичности его собственного научного метода и широте интересов.

Особенность научной деятельности Преснякова — постоянное сочетание преподавательской и исследовательской работы. Из его писем и дневников видно, как много времени и сил он тратил на преподавательскую деятельность в разных ее формах, будь то занятия в гимназии, частные уроки, семинары и лекции в Женском педагогическом институте и в Петербургском университете. Преподавательская работа, казалось бы, мешала Преснякову как исследователю. Однако, быть может, именно благодаря тому что в учебной аудитории историк постоянно отшлифовывал методы анализа источников и оттачивал точность формулировок, его книги отличались совершенством источниковедческого анализа, прозрачностью языка и убедительностью выводов.

---

[26] О Г. В. Форстене и кружке «форстенят» см.: *Кан А. С.* Историк Г. В. Форстен и наука его времени. М., 1979. С. 81—89.

Начальный этап занятий Преснякова в области истории древней Руси связан с дипломным сочинением «Царственная книга, ее состав и происхождение».[27] Важным событием в изучении юридических представлений древней Руси стала магистерская диссертация Преснякова «Княжое право в древней Руси».[28] В историографической литературе отмечалось, что «Княжое право...» может рассматриваться как труд, написанный под заметным влиянием В. И. Сергеевича, но отличавшийся тем, что в нем Пресняков «хотя и замыкался в рамках политической темы государственной истории, последовательно освобождался от влияния государственной, юридической школы и обращался к изучению реальных исторических событий», «фактически ищет реальное содержание правовых норм, сквозь призму юридических отношений изучает действительные общественные отношения», «не отдельные правовые институты, а систему правовых институтов в их внутренней связи, в единственном их историческом содержании». Далее обращалось внимание на то, что «вопрос о „княжом праве“ был вопросом о княжом обществе, объединенном княжеской защитой (mundeburdum), подобно западноевропейской организации периода складывания феодального строя». Историкам, изучавшим русскую историографию конца XIX—начала XX в., чьи мысли были выражены, в частности, Н. Л. Рубинштейном, представлялось, что от «Княжого права...» Преснякову «по сути дела» «оставалось сделать еще один шаг, чтобы прийти к вопросу о возникновении феодализма в России». Н. Л. Рубинштейну казалось, что «только связанность традицией государственной школы» не дала Преснякову «сделать этот шаг».[29]

Раскрыть истинное отношение Преснякова к теории русского феодализма не просто. Быть может, объяснение Н. Л. Рубинштейна, приведенное выше, имеет под собой основания, но не в полной мере отвечает на поставленный им же вопрос. Весьма интересна в этом отношении переписка между Н. П. Павловым-Сильванским и А. Е. Пресняковым.[30] С одной стороны, Пресняков всячески поддерживает искания и выводы Павлова-Сильванского. С другой — в собственных работах упорно избегает понятие «русский феодализм». Историки, стремящиеся обнаружить в трудах Преснякова подтверждение тому, что и он признавал наличие феодальных отношений на Руси, находят это подтверждение в написанной уже после революции, но так и не опубликованной рукописи «Феодализм в России».[31]

Большой труд, над которым долго работал Пресняков, а затем представил его к защите в качестве докторской диссертации, был назван «Образование Великорусского государства. Очерки по истории

---

[27] Записки историко-филологического факультета Петербургского университета. СПб., 1893. Ч. 31, вып. 2. С. 1—52. Отд. изд.: СПб., 1893. 52 с.

[28] *Пресняков А. Е.* Княжое право в древней Руси: Очерки по истории X—XII столетий. СПб., 1909. На книгу сразу же последовали рецензии, среди которых следует выделить рецензии С. Ф. Платонова (ЖМНП. 1909. № 7. С. 213—216) и А. А. Кизеветтера (Русская мысль. 1909. № 9. С. 61—69).

[29] *Рубинштейн Н. Л.* Русская историография. С. 506.

[30] Переписка Н. П. Павлова-Сильванского с А. Е. Пресняковым // *Павлов-Сильванский Н. П.* Феодализм в России / Статьи С. О. Шмидта и С. В. Чиркова; Примеч. С. В. Чиркова; Отв. ред. С. О. Шмидт. М., 1988. С. 544—563.

[31] См., напр.: *Свердлов М. Б.* Проблемы изучения древней Руси в творчестве А. Е. Преснякова. С. 582.

XIII—XV столетий».[32] Этот труд носил отчетливую критическую направленность, что и подчеркнул Пресняков в речи, которую произнес перед защитой диссертации. Если в книге «Княжое право...» объектом критического разбора были концепции истории России, в основе которых лежала родовая теория С. М. Соловьева, то в «Образовании Великорусского государства...» Пресняков обратился к пересмотру взглядов В. О. Ключевского, его трактовки удельных порядков Северо-Восточной Руси как следствия колонизации ее неосвоенных земель. Пресняков также показал, что С. М. Соловьев и В. О. Ключевский преувеличивали различие в общественно-политических порядках Киевской и Северо-Восточной Руси. Заслугой Преснякова было и то, что образование Великорусского государства он проследил в тесной связи с внешней политикой московских князей, уточнил, как складывались отношения Московского великого княжества с Ордой, Литвой, Новгородом, другими великими княжествами. Обратил внимание Пресняков и на взаимоотношения власти великокняжеской с властью церковной.

Истории древней Руси помимо магистерской и докторской диссертаций Пресняков посвятил написанные как до, так и после 1917 г. многочисленные статьи, напечатанные в журналах, в специальных сборниках и в коллективных трудах («Киевская Русь»; «Три века; Россия от Смуты до нашего времени»; «Государи дома Романовых»), а также книгу «Московское царство. Общий очерк».[33]

В 1918 г. Пресняков стал профессором Петроградского университета, 4 декабря 1920 г. был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук.[34] Занятый преподавательской и исследовательской работой Пресняков никогда не был замкнут в сфере научных интересов. Он живо следил за политической жизнью, и если в студенческие годы или первые годы после университета (совпавшие с концом царствования Александра III) он критически настроен по отношению к «верхам», но сознательно дистанцируется от политики («Я рад, что мне суждено быть бездельником, т. е. вне прямо практической деятельности», — пишет он матери в октябре 1892 г.), то в конце 1890-х гг. наступает явный перелом в его настроениях. Внешне это проявилось в сотрудничестве с леволиберальными изданиями («Новое слово», «Мир Божий», «Жизнь»), а также некотором отдалении от аполитичных коллег (Платонова и «платоновцев») и сближении с теми, кто сочетал научную деятельность с «общественной» (И. М. Гревс). Либеральные позиции занял А. Е. Пресняков и в годы первой русской революции. В это время интерес к политике и возможность разрабатывать еще недавно «закрытые» исторические темы способствовали расширению круга научных занятий. Так, в поле зрения Преснякова оказались проблемы истории России первой половины XIX в., внутренней политики и общественной жизни этого периода. Пресняков рецензировал исторические новинки, писал отдельные статьи, в частности статьи, посвященные декабристам и народникам, еще в дореволюционные годы. Одна за другой появились его книги «Александр Первый»,[35] «Апогей самодержавия. Николай I»,[36] «14 декабря 1825 года».[37] Последняя из названных книг не только стала заметным событием на фоне празднования 100-летнего юбилея восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., но и вошла в число наиболее значительных монографий, посвященных истории декабристов.

---

[32] *Пресняков А. Е.* Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII—XV столетий. Пг., 1918. Рецензии на этот труд написали С. В. Рождественский (РИЖ. 1918. № 5. С. 279—290) и И. И. Яковкин (Дела и дни. 1920. № 1. С. 442—450).

[33] *Пресняков А. Е.* Московское царство. Общий очерк. Пг., 1918. В качестве рецензентов этой книги выступили М. А. Дьяконов (РИЖ. 1918. № 5. С. 265—269) и И. И. Яковкин (Дела и дни. 1920. № 1. С. 442—450).

[34] В связи с выборами была составлена и опубликована «Записка об ученых трудах проф. А. Е. Преснякова» (Известия Российской Академии наук. 6 серия. 1920. Т. 14. № 1—18. С 153—157).

Политическая активность Преснякова, его неприятие крайностей российского самодержавия позволили ему, образно говоря, устоять на ногах в лихую годину революционных бурь 1917 г. и гражданской войны.

Но, с другой стороны, Пресняков остро и болезненно ощущал, что революционная ломка не только сметает архаические системы и институты, но одновременно вольно или невольно становится причиной гибели многих культурных ценностей. О том, как близко к сердцу принимал эти потери Пресняков, можно судить по его реакции на смерть учителей и коллег, ушедших из жизни в трудные для России годы. Так случилось, что Преснякову пришлось с небольшими интервалами один за другим писать некрологи, статьи, посвященные трудам ушедших из жизни коллег.

В 1916 г. Пресняков написал статью «Памяти М. Ф. Владимирского-Буданова».[38] Он воздавал должное памяти коллеги, оценивал его труды. Можно сказать, что статья была в духе тех некрологов, которые и раньше приходилось писать Преснякову, когда в 1908 г. умер В. Б. Антонович,[39] в том же году — близкий друг и коллега Преснякова Н. П. Павлов-Сильванский,[40] в 1909 г. — И. Е. Забелин[41] и Ф. Ф. Соколов.[42]

Принципиально иной характер имело то, что написал Пресняков после смерти А. С. Лаппо-Данилевского в феврале 1919 г. Три обстоятельные статьи и книга о А. С. Лаппо-Данилевском, написанные Пресняковым, были и данью памяти учителя, и выдающимся вкладом в историографию, и заметным событием в общественной жизни.[43] Пресняков фактически одним из первых попытался оценить непростое научное наследие А. С. Лаппо-Данилевского, но, кроме того, он сумел передать тревогу друзей и близких, для которых причина смерти выдающегося ученого связывалась не только с неожиданно подкравшейся болезнью, но и с гибелью тех духовных ценностей, к носителям которых относили и А. С. Лаппо-Данилевского. Вскоре после смерти А. С. Лаппо-Данилевского Преснякову пришлось написать некролог и две статьи, посвященные А. А. Шахматову, другому из его учителей, также не перенесшему невзгод гражданской войны.[44] В те же годы Пресняков пишет статью о трудах умершего в 1919 г. М. А. Дьяконова.[45]

---

[35] *Пресняков А. Е.* Александр Первый. Пг., 1924.

[36] *Пресняков А. Е.* Апогей самодержавия. Николай I. Л., 1925.

[37] *Пресняков А. Е.* 14 декабря 1825 года. М., 1926.

[38] День. 1916. 30 марта.

[39] Слово. 1908. 11 марта.

[40] *Пресняков А. Е.* Н. П. Павлов-Сильванский (род. 1869—ум. 1908 г. Некролог) // ЖМНП. 1908. № 11. Отд. 4. С. 11—17.

[41] *Пресняков А. Е.* Памяти Ивана Егоровича Забелина // Вестник Европы. 1909. № 2. С. 805—811.

[42] Памяти Ф. Ф. Соколова // Слово. 1909. 3 июня (без подписи).

[43] *Пресняков А. Е.* 1) Памяти А. С. Лаппо-Данилевского // Исторический архив. Пг., 1919. Кн. 1. С. 521—523 (без подписи); 2) А. С. Лаппо-Данилевский как ученый и мыслитель // РИЖ. 1920. № 6. С. 82—96; 3) Труды А. С. Лаппо-Данилевского по русской истории // Там же. С. 97—111; 4) Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Пг., 1922.

Как уже было сказано, некрологи и статьи, посвященные Пресняковым памяти ученых историков, ушедших из жизни в 1919—1920 гг., содержали важные суждения об особенностях развития русской историографии в конце XIX—начале XX в. Тогда же и чуть позднее Пресняков читает доклады и пишет статьи, приуроченные к тем или иным датам, связанным с жизнью и деятельностью выдающихся русских историков второй половины XIX—начала XX в., не доживших до революции, но оказавших столь значительное влияние на развитие русской исторической науки, что анализ их трудов и взглядов оставался одной из важнейших проблем исторической науки и в 1920-е, и в последующие годы. К числу таковых относились: опубликованный многие годы спустя доклад «С. М. Соловьев и его влияние на развитие русской историографии»,[46] статьи «К. Н. Бестужев-Рюмин (к 25-летию со дня кончины)»,[47] «В. О. Ключевский (1911—1921)».[48]

Статьи, посвященные С. М. Соловьеву, К. Н. Бестужеву-Рюмину, В. О. Ключевскому, не только содержали критический анализ их жизненного пути и трудов, но и были проникнуты стремлением извлечь из их наследия все положительное, несли на себе отпечаток оптимизма, того оптимизма, который контрастировал с горькими размышлениями о судьбе русской культуры и науки, присутствовавшими в некрологах, статьях, книге, посвященных А. С. Лаппо-Данилевскому и другим ушедшим ученым.

В еще большей степени оптимистическое начало выражено в напечатанной в 1920 г. Пресняковым статье «Обзоры пережитого».[49] В ней присутствовало признание того, что, несмотря на «глубокий всесторонний кризис», с «первых дней революционного взрыва» «идет упорное и жадное искание просвещения, обучения, осмысления возникших вопросов — словом, жажда „сознательности“ в массе населения, впервые пробужденной к самодеятельности и самоопределению».

---

[44] *Пресняков А. Е.* 1) А. А. Шахматов. Некролог // Дела и дни. Пг., 1920. Кн. 1. С. 611—614; 2) Взгляд А. А. Шахматова на древнейшие судьбы русского племени // РИЖ. 1921. № 7. С. 114—120.

[45] *Пресняков А. Е.* Труды М. А. Дьяконова по русской истории // РИЖ. 1921. № 7. С. 8—25.

[46] *Пресняков А. Е.* С. М. Соловьев и его влияние на развитие русской историографии // Вопросы историографии и источниковедения истории СССР. Труды ЛОИИ. Л., 1963. С. 76—86. Вып. 1.

[47] *Пресняков А. Е.* К. Н. Бестужев-Рюмин (к 25-летию со дня кончины) // Дела и дни. Пг., 1922. Кн. 3. С. 166—172.

[48] *Пресняков А. Е.* В. О. Ключевский (1911—1921) // РИЖ. 1922. № 8. С. 203—224.

[49] *Пресняков А. Е.* Обзоры пережитого // Дела и дни. Пг., 1920. Кн. 1. С. 346—352.

В большей мере, чем другие его коллеги и друзья, Пресняков находил возможным активно приложить свои силы, сотрудничая с Советской властью. Он читает лекции и исполняет обязанности декана в Петроградском археологическом институте, преподает в университете, Педагогическом институте им. А. И. Герцена, а с 1927 г. и в Институте красной профессуры. Он деятельный участник грандиозной и трудоемкой работы по налаживанию архивного дела, участвует в организации и деятельности двух научных институтов, объединивших в то время силы ленинградских историков, — Научно-исследовательского исторического института при Петроградском университете (1921—1923) и Ленинградского отделения Института истории РАНИОН (1926—1928).

Как это ни покажется странным, письма и дневники Преснякова хотя и относятся к первой половине его жизни, а годам Советской власти принадлежат лишь немногие из них, именно в этой части наследия Преснякова можно найти объяснение, казалось бы, парадоксальному для сложившегося до революции ученого поведению в годы революции и гражданской войны.

В письмах и дневниках Преснякова можно заметить немало деталей, которые, будучи сопоставлены друг с другом, подтвердят правоту слов С. Ф. Платонова, уже процитированных в начале статьи, о том, что «ничто новое в сфере политико-общественной, научной и литературной не было ему чуждо». В трудные годы крушения старой России и распада старой русской культуры эта черта характера помогала Преснякову не только не впадать в отчаяние, но и настойчиво работать, сохраняя в нелегких условиях лучшие традиции русской исторической науки.

Публикуемый комплекс писем историка к родным уникален уже в силу своей масштабности. Только письма Преснякова к матери и жене составляют более 3 тыс. листов.[50] К ним примыкают две тетради дневника за студенческие годы (гимназические дневники не сохранились). Письма и дневники охватывают фактически весь сознательный путь Преснякова в науке. Самые ранние записи в дневнике датированы июнем 1889 г., а последние письма, адресованные жене, написаны в 1927 г. Переписка, которую Пресняков вел с матерью, Марией Пафнутьевной, с момента отъезда из родительского дома и поступления в Петербургский университет, практически не прерывалась до переезда родителей в Петербург в 1901 г. Переписка с Юлией Петровной Кимонт, ставшей в 1895 г. женой Преснякова, также была достаточно регулярной, поскольку супруги часто расставались. Едва ли кто из историков круга Преснякова оставил по себе столь подробное и яркое «повествование в письмах». Этот источник, конечно, весьма информативен для истории исторической науки, именно в этом качестве он и использовался до сих пор.[51] Но для нас эти письма и дневники ценны и как биографический факт.

---

[50] К сожалению, в архиве историка сохранилось всего несколько ответных писем М. П. Пресняковой к сыну, обнаруживающих неподдельную заинтересованность и посвященность матери в его дела и переживания (Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 2. Д. 13) и одно письма отца 1906 г. (Там же. Д. 15).

[51] Например, в монографии А. С. Кана «Историк Г. В. Форстен и наука его времени» при реконструкции отношений в университетских кружках, выяснении

Обращает на себя внимание стиль семейной переписки Преснякова, поскольку стиль наглядно отражает не только индивидуальные особенности восприятия и мышления, но и отношение пишущего к адресату. Пресняков писал регулярно: матери в первые годы студенчества — два-три раза в неделю, обстоятельно; жене — почти ежедневно, но уже без отделывания текста, на скорую руку, утром до отъезда на службу или, наоборот, в конце дня. Это-то и сообщает его письмам редкую достоверность и информативность — не только событийную, но и индивидуально-биографическую, ситуативную. В письмах Преснякова естественность, ненарочитость повествования о любом предмете обнаруживает как пренебрежение красотами слога, так и отсутствие волнения по поводу того, будет ли все понято правильно. Он пишет без черновиков, «не взвешивая своих слов».[52] Это свободное, раскованное изложение. Пресняков-корреспондент не прибегает к самоцензуре, потому что адресаты — это его самые близкие люди, не стыдится обнаружения своих эмоциональных состояний, сомнений, мыслей. Наоборот, абсолютное доверие к читающему отражается в том, что в письма попадают малейшие перепады его настроения. Их автор не боится предстать перед близкими слабым, неуверенным в себе, даже малодушным, разбрасывающимся в своих занятиях, словом, далеким от образцового деятеля науки. Пожалуй, Пресняков даже чересчур самокритичен при изложении своих творческих дел. У читателя, плохо знакомого с его научным творчеством, продуктивность которого нарастала непрерывно начиная с 1900 г., может сложиться впечатление что историк почти всегда не удовлетворен результатами деятельности, близок к апатии, творческому кризису. Часто Пресняков сетует на свою поверхностность, пишет об опасной легкости, с которой ему даются знания и признание. Это не кокетство, а проявление повышенной требовательности к себе. Все это необходимо учитывать при знакомстве с письмами историка.

Независимость как черта характера естественным образом переходит в независимость научного мышления и профессионального поведения. Уже в студенческие годы Пресняков ясно различает достоинства и недостатки той науки, которую выбрал. Без пафоса он пишет о фактах научной повседневности: диспутах, рефератах, новых книгах своих коллег, без хвастовства или ложного кокетства — о своих достижениях. По его письмам 1890-х гг. можно убедиться в том, что в мотивировке его профессиональных действий и жизненных решений нет места тщеславию и карьеризму. Одной из причин неизбежности «отложенной» научной карьеры Пресняков называет свое понимание целей науки и приемлемых для достижения успеха средств. Он пишет матери: «Я на это дело так смотрю: наука, умственные интересы и т. д. — это одно, а ученая карьера — другое, которая должна сама к первому приложиться, а гнуть первое под второе — дело нежелательное. Надо стать в самом деле ценной величиной, и тогда более широкий путь сам собою откроется. А иначе — не стоит. Неужели ты, ма-

---

отдельных моментов биографии Форстена автор многократно и пространно цитирует именно письма А. Е. Преснякова, невольно оказавшегося главным «хронистом» жизни Форстена, начиная с момента их знакомства. Таких ссылок у А. С. Кана около 60 (!).

[52] См. письмо к матери 8 ноября 1893 г. (с. 121 наст. изд.).

мочка, хотела бы видеть твоего Саню профессором, который пролез в это звание с трудами, написанными ради получения ученой степени, но посредственного достоинства? Я не хочу умножать числа quasi-ученых, написавших книгу и читающих лекции, хотя им — по совести — нечего сказать с кафедры».[53] Выраженная таким образом скептическая позиция Преснякова не должна вводить в заблуждение по поводу его отношения к науке как к профессии, в котором обнаруживается и необходимая в науке во все времена высокая степень идеализма, самоотречения, и способность за ежедневными рутинными занятиями видеть конечную цель, и интуиция, и огромная работоспособность. Все это было в наличии. Однако наука и система отношений в ученой среде для него не одно и то же. Выбирая науку, Пресняков ощущал огромную ответственность и часто сомневался в своих силах, даже не интеллектуальных, а нравственных: «Наука, что сцена; если быть тенором — так на первые роли, а петь лакеев да юнцов не стоит...».[54]

В своем понимании науки как мира абсолютных ценностей Пресняков исходил из представлений, характерных для эпохи позитивизма. Он идеалист в той мере, в какой отдавал предпочтение бескорыстному отношению к науке, был готов к интеллектуальной самоотдаче и требовал того же от других. Но подобным максимализмом отличался не только он, а, пожалуй, целая генерация наиболее талантливых представителей современной ему науки.

С другой стороны, Пресняков не был готов к тому, чтобы научное поприще совершенно вытеснило радость свободных занятий в иных областях творчества, журналистике например, или поставило под угрозу полноту семейного счастья. О незавидном статусе и материальном положении начинающего ученого он изначально имел весьма реалистические представления. Не потому ли фактически на десятилетие откладывается его вхождение в научное сообщество? Ведь все условия для «инициации», посвящения Преснякова в науку сложились уже в 1893 г., когда получила признание его студенческая работа «Царственная книга, ее происхождение и состав», когда он был оставлен Платоновым «для подготовки к профессорскому званию». Однако для него самого выбор еще не был ясен. Дело было не только в необходимости обеспечивать семью, что в дальнейшем толкнуло Преснякова на путь школьного преподавания, опасный расточением сил и утратой творческих ориентиров. Дело было и в его нежелании входить в науку без определившегося (и в материальном смысле также) положения в жизни. Только через 8 лет уже зрелым 30-летним человеком А. Е. Пресняков принимает решение писать диссертацию, используя возможность несколько сократить преподавание благодаря выделенной от Академии наук стипендии. 1900 год можно считать переломным для его творчества: он уже «всерьез» погружается в науку, и даже огромные трудности, вставшие на пути завершения диссертации о летописных сводах, не оттолкнули его. В конце концов, разрабатывая и совершенствуя свой лекционный курс в университете, одновременно он пишет и свою магистерскую диссертацию «Княжое право в древней Руси».

---

[53] Письмо к матери 11 октября 1899 г. См. с. 305—306 наст. изд.

[54] Там же.

Если мир «официальной» науки с его формальными связями, диспутами, борьбой «партий», иерархией отношений обнаруживал для Преснякова немало скрытых конфликтов или обременительных обязательств, то насколько проще и естественнее организованным казался приватный мир дружеской компании, «кружка». Пресняков самым естественным образом становился одним из центров таких кружков благодаря своим личностным качествам. Это был человек жизнерадостный, доброжелательный, а потому легкий в общении. У Преснякова всегда было много друзей, потому что к таким уравновешенным, открытым, добросердечным людям окружающие тянутся инстинктивно.

В биографии Преснякова это был не один кружок, а несколько сообществ (по крайней мере три, если не считать складывавшегося уже в 1910-х гг. кружка его собственных учеников): кружок «русских историков» Платонова, сохранивший свое значение до конца 1890-х гг., кружок А. С. Лаппо-Данилевского и И. М. Гревса, сложившийся в середине 1890-х гг., благодаря интересу к философии, методологии истории и методике ее преподавания (последнее в большей степени отличало Гревса, но сближало обоих явное противостояние «большинству» факультета). В этом кружке родилась идея воссоздания студенческого научного общества в университете. Наконец, Пресняков с самого начала входит в кружок учеников и приятелей Г. В. Форстена, «форстенят», который оформился осенью 1894 г. (опять же судя по письмам). В этом кружке, почти неизменном по составу (10—12 человек), не только проходили «музыкальные досуги», но и формировались философские, общетеоретические представления Преснякова, систематизировался опыт преподавания, поскольку многие из «кружковцев» были коллегами по работе в средних учебных заведениях: гимназии княгини Оболенской, руководимой Г. В. Форстеном, Педагогических курсах при петербургских женских гимназиях.

Общение неизбежно вызывает погружение в интересы друзей, приближение их к своим, расширение кругозора. Между «форстенятами» укореняются традиции взаимопомощи профессиональной и человеческой, о чем красноречиво свидетельствуют публикуемые письма. Традиционный взгляд, ограничивающийся выявлением только научных связей и взаимодействий при осмыслении роли «кружков» в жизни Преснякова, здесь мог бы подвести, и феномен «кружковщины», и целый список лиц, соединенных с Пресняковым помимо «науки», иной, духовно-личностной связью, был бы забыт. В судьбе Преснякова все эти связи значимы и плодотворны.

С 1907/08 уч. года в университетском семинарии Преснякова складывается кружок новой формации, объединивший уже его собственных учеников, к которому принадлежали Б. А. Романов, П. Г. Любомиров, С. Н. Чернов, Н. Ф. Лавров. В начале 20-х гг. среди представителей третьего поколения научной молодежи, оканчивавшего университет уже в годы революции и гражданской войны, сложится свой кружок, во многом повторяющий рамки собраний «форстенят» и дух неформальных «сред» Платонова. Характерно, что и Платонов, и Пресняков будут приглашены научной молодежью в свои собрания и даже несколько раз побывают на них.[55] И с этим кружком научной молодежи 20-х гг. Преснякова (как и других профессоров) очевидно связывали не только профессионально-научные, но и личные отношения. Реконструируя связи Преснякова, можно говорить о постоянном воспроизводстве кружковых отношений внутри научного сообщества, в меняющейся обстановке, при различном составе участников таких «кружков».

Пресняков по складу своей личности всегда инстинктивно искал гармонии внутренней. Счастье и душевное равновесие неизменно отражаются на том, что и как человек делает. Счастьем взаимной любви окрашена вся жизнь Преснякова, и это тоже важный «индивидуальный» фактор его творчества. Семья сложилась, несмотря на огромные препятствия, которые пришлось преодолеть на пути к браку с Ю. П. Кимонт, девушкой из довольно консервативной польской дворянской семьи. Ее семья с трудом могла примириться с выбором дочери. Принять в дом русского, а не поляка, да еще не помещика и не чиновника, а молодого ученого без видов на серьезную карьеру Кимонтам казалось решительно невозможным. Однако Пресняков добился согласия родителей Юлии Петровны, сумел создать и условия для семейного счастья, которое стало главным стержнем его «приватного» мира. Гармоничный мир семьи удавалось сохранить даже при том, что горе ее не миновало: двое из пятерых сыновей Пресняковых, в том числе первенец, умерли в раннем детстве. И все же о Преснякове вспоминают как о редкостно счастливом человеке. Точнее было бы сказать, что благодаря найденной гармонии семейных и дружеских отношений он в любых обстоятельствах обнаруживал способность быть счастливым. Он пишет, фактически о себе: «Хорошо тому, у кого в своей норе, в сердце своем есть что-то спасающее от подавленности, свой родимый источник любви к жизни, к людям, любви и веры в них, в жизнь и людей. <...> А много ли таких, незаслуженно одаренных счастьем, полных любовью, радостью и болью, жизнью и жаждой жизни, верой глубокой — сердца, что бьется постоянно и полно дорогим именем?».[56]

Жизненный мир Преснякова отражает единичное и типичное, присутствие Истории в судьбе отдельного человека, изменение образа науки и представлений о ее содержании на протяжении одной творческой биографии. Этот мир нуждается в изучении и интерпретации, но, в отличие от жизненных миров иных ученых, его не приходится реконструировать по отдельным деталям, сетуя на неизбежные потери. Жизненный мир Преснякова запечатлен его рукой в хроникально точном, цельном, многосюжетном и практически непрерывном повествовании. В архивах историков, современников А. Е. Преснякова, мы, конечно, найдем коллекции писем, сопоставимых с данным собранием по своему объему и содержательности. Но едва ли найдем аналоги той степени открытости личности пишущего, какая присутствует здесь. На семи тысячах страниц писем Преснякова мы находим все, что его волнует: в науке, в политике, в жизни и любви, — выраженное с той мерой откровенности и доверия, с какой относился он к двум самым близким людям — матери и жене.

---

[55] См.: *Штакельберг Н. С.* «Кружок молодых историков» и «Академическое дело» / Публ. Б. В. Ананьича // In memoriam: Ист. сборник памяти Ф. Ф. Перченка. М., 1995. С. 35.

[56] Письмо к жене 7 июня 1916 г. См. с. 782 наст. изд.

Мать А. Е. Преснякова была незаурядной женщиной. Не будучи дворянкой по рождению (дочь коллежского асессора П. Лопатина), она высоко ставила воспитание и образование и сыграла решающую роль в умственном и духовном развитии своего единственного сына. Три старших дочери Пресняковых (Екатерина, Надежда и Мария) рано вышли замуж, благодаря чему именно на Александре сосредоточились надежды и усилия матери. И Александр Евгеньевич это понимал и ценил. «Что только есть во мне сколько-нибудь хорошего — все это дело рук твоих. <...> Это сознание много значит для меня. Точно шапка Мономахова. Noblesse oblige — а моя noblesse от воспитания маминого», — признается он.[57] Заинтересованное внимание матери к делам сына, знание всех подробностей этих дел отражают несколько сохранившихся ее ответных писем. В отличие от отца, она с самого начала поверила в возможность для сына не чиновной, но научной карьеры, торопила события в те годы, когда сын был еще студентом, затем «профессорским стипендиатом».[58] Будучи посвящена в его дела, Мария Пафнутьевна охотно брала на себя покупку и пересылку его книг, заказывала переплеты, делала выписки, надеясь быть полезной сыну. На многие политические происшествия она смотрит глазами сына, отсюда «либеральные» суждения, необычные для «действительной статской советницы». Ее волнуют цензурные преследования левого журнала «Жизнь», в котором сотрудничает сын, поскольку это может ему повредить.[59]

С отцом у Александра Евгеньевича не было той сердечной близости, которой отмечены письма к матери. Хотя, как можно заметить, отец поддерживал отношения «равенства», несмотря на то что А. Е. Пресняков многие годы оставался зависим от его финансовой помощи. Тон писем к отцу также свидетельствует о доверительности отношений, хотя отец и сын на многие вещи смотрели по-разному. Отец всю жизнь провел на государственной службе (с 13 лет, с момента зачисления в корпус инженеров путей сообщения) и мыслил соответствующими категориями. Политические его взгляды были весьма умеренными, а с возрастом стали прямо консервативны. К «думской» системе, сложившейся в 1906 г., Евгений Львович относится иронически, реформам П. А. Столыпина не доверяет, а рост рабочих и крестьянских волнений вызывает страх перед еще большими потрясениями.[60] Однако некоторые письма А. Е. Преснякова отцу говорят о том, что с годами отец проявляет все больший интерес к «ученому мирку» и понимает, что научная карьера заслуживает не меньшего уважения, чем чиновная.

---

[57] Письмо к матери 25 ноября 1892 г. См. с. 59—60 наст. изд.

[58] «Статью Милюкова я читала, конечно, — пишет она сыну 19 июня 1896 г., — и с завистью подумала: когда будет у нас?» (Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 2. Д. 13. Л. 3 об.).

[59] Там же. Л. 4—4 об.

[60] См. его письмо от 25 июля 1906 г.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 2. Д. 15. Л. 2 об.

В письмах к жене Юлии Петровне наиболее отчетливо отразилась личность А. Е. Преснякова. В 1915 г. он пишет: «Я никогда, кажется, не излечусь от привычки целой жизни быть с тобой таким, *какой я сам внутри себя*, и все высказывать (курсив наш. — *А. Ц., Т. Ж.*)». Получается, Ю. П. сделалась его «вторым я», что бывает только в счастливых семьях. Письма к жене выполняли функцию сразу и делового, и душевного дневника Преснякова (а дневников в собственном смысле он во вторую половину жизни не вел). Этим качеством определяется их индивидуально-биографическая, а значит, и историографическая ценность.

Публикуемые источники позволяют увидеть, что Пресняков в своем понимании значения творчества в жизни приближался к людям искусства. Не случайны его сожаления о том, что он не стал музыкантом или художественным критиком (причем это говорилось не в первой молодости, а в зрелые годы). Хотя в качестве художественного критика он все же выступал от случая к случаю: ему принадлежат статьи о польской литературе и театре, эссе об искусстве Айседоры Дункан и т. п., опубликованные в газетах «Русская молва», «Страна», «Слово», где он несколько лет был постоянным сотрудником. Увлеченность Преснякова театром и музыкой, необыкновенно богатое восприятие музыки, способность к детализированной передаче музыкальных впечатлений отразились и на страницах его студенческого дневника, который больше чем наполовину состоит из описаний концертов и спектаклей. Любовь к музыке сблизила Преснякова с профессором Г. В. Форстеном, музыкантом-любителем, собиравшим у себя в «кружке» профессионалов и дилетантов ради совместного музицирования. Пресняков, безусловно, был человеком музыкально одаренным (в детстве он учился музыке), но не как исполнитель, а как слушатель. А. Л. Шапиро, знавший Преснякова в последние годы его жизни, встречавшийся с ним не только на кафедре, но и в домашней обстановке, говорил, что о музыке Пресняков мог беседовать часами. Среди его друзей много людей искусства: оперный певец и режиссер И. П. Прянишников, художник Г. М. Манизер, артисты МХАТа В. В. Лужский и И. М. Москвин и др. Преснякова отличает тонкое понимание искусства и механизмов художественного творчества. Это видно из писем, посланных во время поездок в Варшаву и Краков, где Пресняков рассуждает об искусстве польских мастеров живописи и скульптуры, и особенно из парижских писем 1911 г., когда историк находился в научной командировке.

Все письма А. Е. Преснякова к родным находятся в одном хранилище — Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН, в его личном фонде (Ф. 193. Оп. 2. Д. 1—4 (письма к матери); Д. 5—10 (письма к жене)). Они сохранились благодаря заботливому отношению к ним М. П. Пресняковой, сумевшей сохранить весь комплекс писем сына (лакуны в переписке с матерью совпадают по времени с периодами жизни Преснякова вместе с родителями). Ю. П. Преснякова также сохранила почти все письма мужа. По понятным причинам переписка с женой «документирует» жизнь Преснякова куда менее подробно: она велась только в дни их раздельной жизни — во время научных командировок, отъездов Юлии Петровны на лето в деревню, санаторных отпусков. Вероятно, утрачены письма за 1914 г. Полное отсутствие писем за 1917, 1919—1924, 1928—1929 гг. объясняется только тем, что в эти трудные годы возможностей выехать из Петербурга в деревню (для жены) или в научную командировку (для мужа) не было. В последние полтора года, когда А. Е. Пресняков тяжело болел, Юлия Петровна находилась постоянно рядом с ним.

Научный архив историка был передан на хранение в Академию наук в первой половине 30-х гг., и тогда же, вероятно, возникла мысль о публикации эпистолярного наследия Преснякова. В разборе писем и подготовке их к публикации участвовали ученик Преснякова Б. А. Романов, его друг С. А. Адрианов и вдова историка Ю. П. Преснякова. Многие страницы хранят пометы Юлии Петровны и С. А. Адрианова, сделанные для машинистки, осуществлявшей перепечатку писем. Так появились машинописные копии двух тетрадей студенческого дневника Преснякова, со значительными сокращениями, а также фрагменты из писем к матери за 1890—1900 гг.[61] Из писем к жене также предполагалось сделать выборку для публикации, но вся подготовительная работа была свернута около 1935 г. Вскоре Ю. П. Преснякова переехала в Иркутск к старшему сыну Евгению,[62] а Б. А. Романов сосредоточился на подготовке к изданию лекционных курсов А. Е. Преснякова.

Отношение к эпистолярному наследию Преснякова как к источнику, отразившему мир историка в его многообразии, определило принципы настоящей публикации. Б. А. Романов в середине 30-х гг. готовил лишь выдержки из писем Преснякова, куда не попали по цензурным соображениям ни упоминания о сотрудничестве вел. кн. Константина Константиновича с педагогическим коллективом гимназии Оболенской и Педагогических курсов, ни рассказы об уроках, которые давал Пресняков в Мраморном дворце сыновьям К. Р. Были вырезаны и рассуждения Преснякова в письмах 1918 г. к жене о повсеместной разрухе и ее виновниках — большевиках. Конечно, множество черт повседневности, подробностей внеакадемических отношений Преснякова, уклада и традиций семьи неизбежно ускользнуло бы от внимания читателя, будь эти письма опубликованы в 1930-е гг. Действительно, только теперь историк науки ощущает мелочи и детали безвозвратно ушедшего быта как самоценные и, что особенно важно, стремится не только к выяснению истоков научных воззрений своих предшественников и содержания их научных споров, но к восстановлению всей палитры межчеловеческих отношений в среде людей, делавших историческую науку в ее наилучшую пору. Письма Преснякова, охватывающие более четверти века, как раз принадлежат именно этой золотой поре нашей историографии.

На диспуте по поводу защиты докторской диссертации Пресняков говорил: «В науке как в жизни — все минется, одна правда останется».[63] От ученого-историка остаются не только книги и научные труды, ученики и концептуальные положения, которыми он обогатил науку. В письмах А. Е. Преснякова сохранена его многогранная личность, неповторимая, но в то же время несущая в себе черты своего поколения и общественного круга. Письма историка убеждают в том, что в его научном поведении и в его отношении к жизненной повседневности имело место редкое единство. Его принадлежность к историческому сообществу задавала направление деятельности, но горизонты духовного мира Преснякова были очерчены не только научной средой и профессией. А значит, документальная ценность публикуемых писем не определяется рамками только историографического наблюдения. Это и хроника петербургской культуры за треть века. Надеемся, что в этом качестве эпистолярное наследие Преснякова заинтересует не только специалистов-историков, но и исследователей петербургского быта, петербургской интеллигенции, социологов науки.

---

[61] См.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 2. Д. 36 (выдержки из 1-й тетради дневника за 1889—1990 гг.); 37, 41 (из 2-й тетради, в двух экземплярах); 38, 39, 40 (фрагменты из писем к матери за 1890—1900 гг.). Второй экземпляр машинописи 1-й тетради дневника оказался в РГАЛИ (Ф. 1337: Коллекция дневников и мемуаров. Оп. 1. Д. 215).

[62] Юлия Петровна жила последние годы у сына, Е. А. Преснякова, в Иркутске, затем во Владивостоке, где и умерла 4 октября 1947 г.

[63] *Пресняков А. Е.* Речь на защите докторской диссертации // ЛЗАК. 1920. Вып. 30. С. 5.

Нет сомнений в востребованности научного наследия А. Е. Преснякова (а в его архиве осталось немало неопубликованного: лекционные курсы по истории XVIII—XIX вв., истории русского права, историографии, статьи, написанные для «Русского биографического словаря», статьи о методике преподавания истории и, конечно, третий том его лекций по русской истории «Северо-Восточная Русь и Московское государство»). Надеемся, что будет продолжено и издание его переписки — с коллегами, петербургскими и московскими историками, друзьями, людьми искусства. При искреннем и живом отношении А. Е. Преснякова к любому делу и к людям, его человеческой открытости, общительности, разносторонности интересов это могло бы быть очень содержательное чтение.

При публикации столь объемного материала, каким оказывается переписка Преснякова с родными, возникла необходимость значительных сокращений текстов писем (примерно на две трети) за счет повторов, встречающихся в письмах и к матери, и к Юлии Петровне, купирования мелочей быта, начал и концовок писем. Дневники студенческих лет публикуются выборочно, выпущены пространные пересказы прочитанного, описания концертов и театральных постановок. Но и в сильно сокращенном виде юношеские дневники дают представление о формировании личности и мировоззрения Преснякова.

При публикации авторские орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Все подчеркивания в тексте принадлежат А. Е. Преснякову и специально не оговариваются. Сокращения текста оговариваются везде, за исключением ритуальных концовок писем, характерных для Преснякова и повторяющихся. В остальных случаях все купюры обозначены отточием в угловых скобках. Не вошедшие в публикацию письма упоминаются в подстрочных примечаниях. Дата письма проставлена в правом углу, как в оригинале, после каждого письма дается архивная справка. Публикуемым письмам дана сплошная нумерация для удобства взаимных отсылок; случаи восстановления точных дат или порядка расположения писем оговариваются в подстрочных примечаниях. Восстановление сокращенных слов или датировки писем обозначено квадратными скобками. Под строкой даются переводы иноязычных слов и выражений, а также оговариваются характерные для Преснякова приписки на полях. Весь содержательный комментарий помещен в конце тома.

В заключение составители хотели бы поблагодарить всех, кто содействовал подготовке этого издания своими консультациями, советами, критическими замечаниями, дружеской поддержкой, помощью в получении информации: О. А. Абеленцеву, Т. В. Андрееву, С. Г. Беляева, В. Н. Гинева, А. Л. Гоза, Д. Г. Иванеева, П. В. Ильина, С. В. Куликова, А. Я. Лапидус, В. Л. Ларина, С. К. Лебедева, В. М. Панеяха, Г. А. Победимову, Н. О. Серебрякову, С. Л. Фирсова, Ю. Б. Фомину, А. А. Фурсенко.

А. Н. Цамутали, Т. Н. Жуковская

ПИСЬМА К МАТЕРИ

1890

1

Питер. 30 июля

Дорогой мамульчик, улетевший от нас за тридевять земель! Сегодня получил наконец письмо твое и спешу отвечать. Прежде всего — мне завидно было читать, как ты попала опять в «наше гнездо», по папиному выражению. Вот посмотреть бы на детишек: они ведь совсем, совсем не такие теперь, как были. Положим, что на больших-то куда интереснее посмотреть! <...> Вижу отсюда за 2 тысячи верст, что тебе надоела моя болтовня и хочется известий. Ну, изволь! Вторая съемка Колина кончилась вчера, и сегодня он явился в Питер — один. Надя осталась дома, чтобы не трепаться, да и сегодня же они переезжают на третью съемку в Дранишки, за Юкками, по шоссе.[1] <...> На новую съемку времени мало — 15 дней, а верст много — 25; живут все офицеры по одному, да и отлично. Потому что гг. конногренадеры успели задолжать Палибиным больше 70-ти рублей! Коля сегодня «ковался» у папы. Надя здорова, мы видели ее 22-го, когда ездили с папой справлять твои именины в Порошкино. Дорога после нескольких дождливых дней была ужасная. Нас нелегкая понесла на Шувалово, а так как по той дороге, по которой мы с тобой ехали — страшно было ехать, извозчик повез нас на Парголово, Юкки,[2] кругом и доставил только через два часа! Оказалось, что тут дороги еще хуже, кидало нас с стороны на сторону, сверху вниз; папа ужасно бранился и уверял, что это «das erste und das letzte mal»,* а я проделывал все эти эквилибристики с тортом на руке, боясь привести весь гарнир его в хаотическое состояние. <...>

В общем же, хозяйство мое, как ни потешается надо мною Дина Матвеевна, у которой мы были в воскресенье (29-го), идет гладко. Предстоит переезд: я думаю, сдать перевозку артели, которая перевозит все, все мелочи, даже посуду укладывает; и обойдется это рублей 20. Квартира готова и вышла недурною; теперь осталось только поставить ванну, которая уже куплена и отправлена на место. Прокладку труб хозяин взял на себя. При перевозке затруднение только в том, куда деть все вещи и наши, и палибинские? Уставить две квартиры в одну — штука довольно хитрая.[3] Особенно смущают меня два буфета и миллион шкапов; а еще сундуки! (Кстати, вышли, мамочка, ящик с книгами при первой возможности. Я сильно рассчитываю, что там окажутся все мои истории литературы, которые понадобятся с самого начала, в сентябре.) И, скажите пожалуйста, что я буду с дровами делать? У Альбертины[4] инициативы нет на грош, а я понимаю тут столько же, сколько свинья в апельсинах.

---

* Первый и последний раз (*нем.*).

У нас нового — ничего. Все как было: за июль заседаний не было, назначенное на сегодня отменено, а назначенное на субботу, Божьей милостью, отменят. Вообще все обстоит благополучно. «На Шипке все спокойно!». Не видался ни с кем и ничего любопытного не слыхал. В субботу (28) мы «винтили» у юного Либермана. Играли: папа, «Адя»,[5] какой-то бухгалтер: сперва втроем, затем «пришел» четвертый — юнкер, которому даже дверь отворяли и приветствовали как новопришедшего, хотя я собственными очами видел, что он все время высыпался у Ад[ольфа] Як[овлевича] в комнате на тахте. Видно, пьян был, сердечный! Да он, как только явился, зельтерской воды попросил. Вот всю эту компанию папа обыграл рублей на 7. Играли до трех часов! Мамочка, не знаешь ли ты или кто-нибудь из наших (Боря, наверное, знает!), что я там делал? Я до сих пор не разрешил этого вопроса. Я пошел туда, потому что совестно было очень уж огорчить Либермана, папаша которого все это время за тобою ухаживал, да и не хотелось сердить папу, чтоб он не отказался на другой день ехать в Павловск (это entre nous soit dit* — не передавай ему!) Видишь, какой я тонкий политик! <...>

Слава Богу, что дни стоят прохладные. Петербургское лето — «quasi**-лето», как уверяет папа, кончилось; дни становятся заметно светлее, а ночи темные.

Забыл сообщить, что Адя занял у папы для уплаты по каким-то векселям отца — по типографии — тысячу целковых, причем папа даже усумнился, давать ли, и меня спрашивал. Я высказался в его пользу, потому что все было слишком правдоподобно, да и такое сомнение больно уж безобразно! Ведь он обстоятельно рассказал, что, как и почему! Положим, он же меня уверял, что Поти на Каспийском море и что он в Крыму видел лягушку величиной с большого кота: но врать в пустяках и врать в деле — разница, да к тому же у него полная доверенность на ведение отцовских дел. Сознаюсь откровенно, что маленечко не рассчитал и взял слишком много бумаги: больше материалу не имеется, хоть шаром покати. Лично о моей персоне могу сказать, что все так же читаю Соловьева (увы! только 5-й том)[6] и больше ничего, самым решительным образом ничего.

Целую тебя, мамочка, крепко-накрепко, и всю честную компанию больших и маленьких Ефремовых, трех маленьких Карповичей.

Сандро.

Д. 1. Л. 2—6 об.

---

* Между нами говоря (*фр.*).

** Псевдо (*лат.*).

2

10 августа

Пишу, дорогая мамочка, с новой квартиры: этим много сказано! Дни печали и воздыханий! Переехали мы, надо сознаться, довольно-таки скандально. Прежде всего — не вовремя. Понесла меня нелегкая на новую квартиру: водопроводчики еще работают, полы не натерты, а тут вносят вещи, вещи без конца! Двинул я все сразу, в один день, желая сдать переноску одной артели (за 30 руб.) Артель — единственное спасение при переезде: она укладывает все: посуду, книги, мелочи в свои ящики, и отвечает за всякую малость; перенесли действительно хорошо: только от буфета отскочила одна фанерка, да это легко приклеить. Но, мамочка, ты представить себе не можешь, что за масса у нас мебели: вся квартира завалена. Представление о размерах квартиры было у нас преувеличенное. <...> И вдруг сюда вклеить обстановку двух квартир: две столовых, две гостиных. Палибинскую мебель я по большей части составил в одну комнату, но и вся квартира — полнейший хаос. <...>

Д. 1. Л. 13—14 об.

3

30 августа

Спасибо тебе, дорогая моя мамочка, за поздравление, спасибо и нашим милым кавказцам. Сегодня первый раз мои именины в твое отсутствие. Но, хоть нам и скучно твое долгое отсутствие, приходится признать, что поездка твоя лучшее, что можно было учинить. <...> Положим, что там ты все-таки будешь меньше тревожиться, чем тревожилась бы, оставаясь тут, в Питере, за тридевять земель от Мани и детишек, да и взрослых ребят также, благо они невесть как устраиваются. <...>

Вообще все идет обычной чередою, как и при тебе, живем вчера как нынче, нынче как вчера, и никаких событий не имеется. Папа рассчитывает кончить свои риго-псковские археологические изыскания к 8 сентября,[7] но теперь уже начинает сомневаться в этом. <...>

Завтра мне надо будет внести деньги в университет и записаться на лекции. В университете, не знаю почему, чувствуется какое-то оживление, профессора чего-то разусердствовались и сверх казенных, шаблонных курсов читают целый ряд специальных и очень интересных. Мне кроме классиков, которых посещать не намерен, по недостатку времени и полнейшей бесполезности сего времяпрепровождения (а экономия на 6 часов!) — предстоят: история философии (Введенский), церковнославянский язык (Соболевский), история русской литературы (Незеленов) и средняя история (Кареев). Это курсы обязательные; но сверх них, взамен классиков, я буду слушать курсы русской истории Платонова и Шмурло, запишусь на практические занятия (разбор законодательных памятников) у Платонова, буду слушать курс диалектов русского языка у Соболевского и историю Франции (Капетинги и Валуа) у Васильевского — всего 25—26 часов. Не особенно много и достаточно интересно. Кроме большого разнообразия курсов наши университетские новости состоят в том, что назначен новый попечитель Петербургского учеб[ного] округа — дерптский Капустин; относительно же ректора недоумеваем: Помяловский исправляет должность его, но упорно не переезжает в ректорскую квартиру. Жаль будет, если он не будет утвержден или если откажется: пожалуй, назначат какого-нибудь Яроша или нечто подобное сему доблестному мужу, подвизавшемуся в «Рус[ском] вестнике», патриоту своего отечества.[8] Тогда пиши пропало: беспорядки в университете, которых и так ждут, будут не такие, как в прошлом году, а поосновательнее. С этим ожиданием беспорядков связано странное мнение: студенты «из деятельных» называют центром и переносчиком всероссийской университетской агитации кружок молодежи, сгруппировавшийся в Нижнем Новгороде кругом писателя Короленко. Мне, собственно говоря, сам не знаю почему, — не верится, чтобы Короленко путался в эти истории, в которых, право, много туману, да мало не только определенной цели, но и всякой сознательности. Всякий свое несет, а ничего не выходит.

Что касается до внеуниверситетских новостей, то поездка на Кавказ министра путей сообщения назначена решительно на 5—7 сентября, и, вопреки слухам, тоннель будет открыт... если самовольно не закроется обвалом. То-то была бы картина, если бы министр вместо открытия попал на закрытие! Статковский,* по-папиному мнению, непременно пропляшет тарантеллу. Только не торопятся ли злорадствовать, голубчики![9]

А что это с Тифлисом? Не знаю, как вообще, но два ведомства решительно одурели: железная дорога и «Тифлисский университет» Л. Л. Маркова.[10] В сем последнем вместо Дрбоглава назначены два инспектора: классов — Ган (!) и пансиона: Шульгин (!!); обоим им, не в обиду будет сказано, п[оскольку] люди хорошие, отлично идет слово: «телятина»! Можно себе представить, что за хаос в гимназии. <...>

Сандро.

(Отчего лавры кн. Мещерского не дают тебе спать, и ты пишешь письма так же навыворот, как он печатает «Гражд[анин]»).[11]**

Д. 1. Л. 15—19 об.

4

[Без даты]

<...> Папа, покончив с Риго-Псковской дорогой, неделю участвует в общем съезде железных дорог (по тяге и движению); а теперь ему еще ничего нового не поручили; вероятно, ждут министра, чтобы что-нибудь выдумать. <...> Что до меня касается, то затеи с практическими занятиями по русской истории у Платонова не выгорели, по

---

* Далее одно слово густо зачеркнуто.

** Последняя фраза — приписка на полях.

собственной моей глупости: я получил тему, на которую допущен был писать реферат, и тему интересную. Но когда оказалось, что 12-ти предложенных тем не хватило для третьекурсников, для которых эти занятия, собственно говоря, и предназначаются, я взял да уступил свою, сообразив, что не имею права удерживать чужое добро. А глупостью назвал я это потому, что никто так не посмотрел на дело: ни другой студент моего же курса, который удержал свою тему, ни даже сами третьекурсники. Ну да это еще не лишает меня возможности участвовать в занятиях, так как Платонов требует, чтобы те, кто рефератов не пишет, делали возражения читающим и вступали с ними в спор. Но на это едва ли с духом соберешься! Во всяком случае, ничто не мешает мне выбрать любую тему и заниматься ею сколько угодно: что я и сделал, выбрав тему о роли Уложения царя Алексея Михайловича в прикреплении крестьян. Вообще же об университете приходится сказать, что в нем достаточно бестолочи: только что обнародовали вновь сочиненные экзаменационные правила, по которым история русской литературы не попала в число общеобразовательных предметов! Экзамен по ней будет только у специалистов-словесников, а с историков таковых познаний не требуется! Конечно, это не мешает приобрести их, да не в том и дело: а как это рекомендует наш факультетский совет. В нынешнем году кроме классиков (по которым, кстати сказать, требуется показать «точные и обстоятельные познания в грамматиках обоих языков» — а не хотят ли, голубчики, маку?!) мне предстоят экзамены по русской истории, по истории древней философии и по «церковнославянской грамматике в связи с русской».

<...> А Прянишников, по последним известиям, делает большие дела. Недавно он предложил Думе — взять на себя расходы по освещению театра, что дает ему возможность «составить такую труппу, которая с успехом будет конкурировать с любою из столичных» — и Дума приняла предложение![12] Но за то обязала его поставить: «Кн[язя] Игоря» — Бородина, «Ратклиффа» и «Анджело» — Кюи, «Годунова» — Мусоргского и «Снегурочку?» — Корсакова[13] — что нашим новаторским сердцам аки елей с небеси. <...>

Д. 1. Л. 7—12.

1891

5

Тифлис. 14 июня

Дорогая мамочка! Вчера утром приехал в Тифлис и спешу дать отчет за полмесяца. От Миши[14] в Астрахани я узнал о рождении Женьки. <...> Боря и Муся относятся к новой сестренке очень сочувственно.[15] Муся сразу заявила, что желает взять ее на руки. Сочувственно они отнеслись и ко мне. Как только я вошел, Боря с криком: «Санька приехал» побежал к Кате и затем сразу обошелся со мной как со старым приятелем. Муся дичилась меня всего первые минуты. Затем оба взяли меня в свое распоряжение и занимали в два голоса. Боря говорит совсем хорошо, кроме немногих слов: мазю — вм[есто] возьму, карамы вм[есто] комары и т. п. Болтает он без умолку и вечно сочиняет, рассказывает, что вчера был в Питере, а завтра будет в Батуме и т. п. Муся болтает так же много, но далеко не так понятно; я ее почти не понимаю.<...>

Рассказавши конец или часть конца, начну с начала. Путешествие мое было более чем удачно. Выехали мы, как ты помнишь, 31-го, приехали 13-го утром, — значит, странствовали очень долго. Произошло это оттого, что пришлось 2 дня сидеть в Астрахани. Мы попали не на тот пароход, на какой рассчитывали. Дело в том, что, приехав в Нижний (Москву мы проехали под сильным дождем в четырехместной колымаге) в расчете выехать на другой день на «Дмитрии Донском», — мы узнали, что в тот же день идет пассажирский пароход «Цесаревна Мария», ускоренного движения — один из лучших ходоков на Волге, — и решили ехать. И отлично сделали: в противность обычному мнению, пассажирские пароходы хотя идут гораздо скорее товаро-пассажирских — почти со скоростью пассажирского поезда — так что самый быстрый путь обращается в очень веселое катанье — все-таки во всех больших городах стоят дольше товаро-пасс[ажирских] — напр[имер], в Царицыне — будь он проклят! — 8, а в Саратове — 6 часов. Таким образом мы имели возможность познакомиться с волжскими городами — за которые, кроме чистенького Саратова, я — даже за Самару — ломаного гроша не дам: пыль, грязь, отчаянные мостовые... Погода благоприятствовала нам первое время меньше, чем в предыдущую поездку из Тифлиса. Хотя дождя не было, но сильный ветер долго волновал Волгу, а волнение ей очень не идет. Вода в ней, в сущности, грязная и хороша только прикрашенная отражением неба и ярким солнечным светом; а стоит Волге взволноваться — ее мутные волны просто некрасивы. Волнение было настолько сильно, что пена подчас брызгала на палубу, хотя конечно пароход и не покачнулся, а только изредка вздрагивал. Я всегда был уверен, что рассказы о качке на реке неправдоподобны. Но на третий день было уже тихо — и мы порядочно налюбовались волжскими видами. Одно неприятно: над моими «агентскими» притязаниями в Нижнем посмеялись, т[ак] что пришлось заплатить лишних 15 рублей. Вообще дорога обошлась гораздо дороже, чем я рассчитывал, — 75 рублей, и это потому, что мы совсем неверно считали. За 13-дневное путешествие меньше и нельзя; рублей 70 — это, по-моему, minimum, что может стоить путешествие по Волге — и то для учащихся — значит, с большою скидкой. Из сего видно, что письмо кончится просьбой выслать, когда будет можно, те 50 руб., которые ты считаешь моим жалованием за июнь-июль. Но мы еще не доехали: буду продолжать. В Царицыне на наш пароход явилась драматическая труппа с Савиной во главе. Вот типики-то! И как актрисы — и самые молоденькие водку дули! Загляденье! В Астрахани мы видели их на деле. Смотрели «Татьяну Репину» — нескладную, ходульную, похожую на оперное либретто пьесу Суворина.[16] Несмотря на раздирательное содержание, Савина не произвела впечатления. Из Астрахани (кстати сказать: жара была страшная, пыль тоже, и мы с Мишей[17] купались чуть ли не во всех городах) на отвратительном пароходе «Кавос» переехали на взморье — к морскому пароходу «Цесаревичу Александру». Этот оказался хорошим. Нам не удалось попасть в отдельную каюту, как мы проехали большую часть Волги, а в общей на 12 человек да еще внизу, а не на палубе — было так душно, что я предпочел спать на рубке, на палубе. Погода была жаркая, душная. Море — как зеркало, не колыхнулось за всю дорогу. И кто это наклеветал на Каспий, что он некрасив? Мне вода его понравилась больше черноморской: таких чистых, синих и зеленых оттенков там не было. И для купанья — а мы купались в Петровске, Дербенте и Баку — она очень приятная, только слишком теплая: 19—21°. Народу на пароходе было довольно много, и все перезнакомились благодаря отчасти удивительному комику — немцу, богатому коммерсанту, который, несмотря на довольно почтенный возраст, потешал всю публику разными штуками, начиная от всяких фокусов и кончая прыганьем через ряды расставленных по палубе стульев, а отчасти — нам. Если и на Волге, где собралась скучная и бесцветная публика, — мы, как единственная веселая и шумная компания, привлекали общее, то сочувственное, то ироническое внимание, то на море чуть не вызвали целую революцию. Причиной была m-elle Кимонт со своим альбомом, в который делала наброски с видов, а больше с публики. Попал сюда и немец и остался очень недоволен, что его рисуют; недовольны оказались и другие. Пришлось бросить. Зато немец, вступив по этому поводу в разговор, кончил тем, что заявил намерение ездить впредь не иначе как во 2$^{\underline{ом}}$ классе, раз только там можно найти хорошую компанию — и, по этому случаю, порядочно надоел нам. В Баку мы пришли после ухода поезда, т[ак] что надо было ночевать на пароходе. <...> Баку удивительно быстро растет: теперь европейская часть почти утроилась; и какая нарядная! Ни один приволжский город в сравнение не идет. Из Баку я телеграфировал Мише,[18] что еду; он встретил меня на скрещении и звал в Акстафу:[19] но оказалось невозможным получить мой чемодан из багажа — и я поехал дальше. Миша обещал приехать в Коджоры,[20] сговорившись с Цамутали. Цамутали был очень болен — вынес воспаление легких, но теперь сравнительно здоров. Службой он не особенно доволен. У него в Михайловском депо помощник пьяница и приходится работать за двоих, а прогнать человека с 6-ю детьми — не по сердцу Евг[ению] Ник[олаевичу]. <...> Вечером были в «Кружке» с Вениамином,[21] поужинали в компании с Кимонтами. Сегодня я у них обедаю: через час пора одеваться. <...>

Д. 1. Л. 25—33 об.

6

Коджоры. 21 июня

Дорогая мамочка! Хочу написать тебе, да нахожусь в затруднительном положении: ты ведь все наше житье-бытье знаешь от Кати. Первые дни в Коджорах дождливые; такой же — даже с бо́льшим усердием дождливый день и сегодня. Для детей это особенно чувствительно, да к тому же Боря нездоров с третьего дня приезда. <...>

В общем, пора домой, и я очень не рад буду, если Мишу задержат. <...> Тут я чувствую себя в дороге и даже заниматься не могу, хотя и набрал с собою книг. Едим да спим, спим да едим — самое дачное житье. Ложимся рано, раньше 11; встаем около 8-ми. Постараюсь побольше пошляться с Мишей Кимонтом, благо он любитель, может быть, верхом поездим. Но все это только средство время убить, дотянуть до июля. Ну да, впрочем, может быть, мне на первых порах так кажется, а потом и коджорское житье будет занятным. Самые Коджоры против ожидания мне очень понравились: тут много очень красивого, очень живописного, в таком роде, какого в Боржоме нет. Да сознаться, horribile dictu,* — мне и Тифлис понравился больше всех волжских городов — впрочем, это я, кажется, уже писал.<...>

Еще один P. S.: если в ваши руки попадет июньская книжка «Недели», обратите внимание на статью какой-то барыни о «Крейцеровой сонате».[22] Кажется, первая толковая.

Д. 1. Л. 34—37 об.

7

Коджоры. 30 июня

<...> Срок нашего выезда покрыт мраком неизвестности, а приблизительно определяется так: от 6-го до 15-го. Раньше шестого Миша выехать не может, да и вообще не знает, когда наконец получит отпуск и билеты; за 15-е число говорит то соображение, что раньше 15 сентября возвращаться с детьми в Акстафу, после северного лета, по общему мнению, с которым и Миша согласен, — невозможно, значит, и отрезок его надо так рассчитать, чтобы он кончился к 15 сентября. Соображение вполне основательное, и я тем более к нему присоединяюсь, что действительно обтерпелся в Коджорах и погрузился в самое дачное настроение — какое-то гипнотическое состояние, в каком должны обретаться турки во время кайфа: ничегонеделание без скуки и плевание в потолок — с некоторым интересом. День проходит так: встаем мы не рано — между 8 и 9; до завтрака, т. е. до 11, — и то не всегда — читаю что-нибудь дельное; после завтрака валяюсь с чем-нибудь бездельным, именно с Heine'вскими Reisebilder** — самой поэтической белибердой, какую можно себе вообразить. После обеда идем к Кимонт, и мы, обыкновенно вдвоем с Мишей, а иногда всем скопом, идем гулять. Паче чаяния в Коджорах оказывается довольно много очень живописных, но и очень если не голово-, то ноголомных прогулок. А на другой день — там fängt wieder von vorne an.*** На днях я под кимонтовским флагом попал вечером к Думанским — они перехватили нас на прогулке — попал, не будучи знакомым ни с генералом (удивительный образчик скупости — генеральского чванства), ни с барышней, консерваторской m-elle Корф (что-то вроде племянницы, кажется), с которою тут же побранился из-за Рубинштейна. Конечно, я был за него. Рубинштейн проделал тут довольно удивительную штуку: катался он по Коджорам; его поклонницы решили остановить его и через девочку Алиха-

---

* Страшно сказать (*лат.*).

** Путевые картины (*нем.*).

*** Все начинается с самого начала (*нем.*).

нову поднести букет. Положим, довольно странная мысль подносить цветы человекообразному моллюску, киселеподобной массе, которая Бог весть чем — как бы по-русски сказать — wird aufrecht gehalten,* держится что ли. Но сей моллюск вдруг заявил: я, знаешь, люблю музыку и своих учениц, а до цветов мне дела нет, и поехал мимо, переконфузив девчонку. Ай! Ай! Я, кажется, уже писал об этом? На старости лет повторяться начинаю. Ну да все равно, бумага стерпит, а ты можешь и не читать.

Вчера, в субботу, в коджорской ротонде был первый вечер. Первый блин — комом. Да и остальные будут, вероятно, не лучше, так как публика невозможная. Как Москва обабилась, а теперь, говорят, ожидовела,[23] так Коджоры обармянились. Просто страшно гулять по балкону ротонды — хотя его значительно расширили — страшно, чтобы не зацепить за колоссальные носы. Вениамин сел играть; играло два стола, а танцевало 5 ½ пар. 3 гимназиста, 2 инженера, из которых один Георгий Андронников и одна подозрительная личность со светлыми пуговицами на чем-то вроде самозванного кителя военной закутильской роты. <...> Публика ждала Рубинштейна, но это оказалось напрасным. А у нас на даче был свой вечер; у наших соседей, Ляуданских — под музыку хозяйки — дети прыгали и бегали, с таким оживлением, какого ротонда взрослых и во сне не видала. <...>

Не помню, писал ли я тебе, что мы с Мишей (т. е. Кимонтом) стали заниматься стрельбой из пистолета, а т[ак] как в Коджорах стрельба строго воспрещена и за каждый выстрел полагается 5 руб. штрафу, то мы проштрафились сотни на две. Хотим как-нибудь послать нашу простреленную цель голове — Халатову.[24]

Прости за пустопорожнее письмо — но ведь лучше что-нибудь, чем ничего, — и за грязную бумагу: розовые пятна произошли от того, что Катя сегодня варила варенье и весь дом поэтому сладкий. <...>

Д. 1. Л. 38—41 об.

8

Коджоры. 14 июля

<...> В субботу вечером приехал Вениамин и сообщил, что Миша неправильно поставил какой-то мост и теперь, пока не поправит, уехать не может, а когда окажется возможным выехать — решительно неизвестно. Ждать его или нет? Я в большом недоумении. Уехать раньше, когда он, может быть, освободится через неделю, — как-то странно, а ждать, так можно мафусаиловы века просидеть. К тому же практический вопрос: билеты высланы давно, вероятно, проставлено число выдачи. До каких пор они действительны? Как бы не просрочить. Лично для меня — торопиться, кажется, нечего: лето я просвистел непозволительно и теперь для занятий — все равно времени так немного, что до сентября ничего не успеешь и начать-то толком. Беспутный сын у тебя, мамуля, эх какой беспутный! И есть же наивные люди, которые меня «серьезным» считают!!

Твой Саня.

---

* Держится прямо, не падает (*нем.*).

P. S. С этим письмом посылаю заказной бандеролью книгу Беляева «Крестьяне на Руси», которую прошу сейчас же послать Куманину вместе с прилагаемой запиской. Я забыл его адрес — пришли, пожалуйста, в адресный стол и отправь: я и то задержал ее слишком долго. <...>

Д. 1. Л. 42—44 об.

9

9 августа[25] [Петербург]

Сегодня, дорогая мамочка, мы с Вениамином ездили в город. Он узнал, в чем дело. История довольно пакостная, но может кончиться переводом в Петербург. <...> Не советуют отказываться, т[ак] к[ак] материально все равно (750 лишних, но без квартиры), а шансы попасть в нач[альники] отделения усиливаются, возможность же занять место председателя хозяйств[енного] комитета остается прежняя. Любопытно, как это все разыграется.

Теперь расскажу про наше путешествие. Ехали мы без всяких инцидентов, дети были веселы, даже Маргариту так закачало, что она вела себя благородно. Но нас страшно качало. Слесаря Николаевской дороги, снимавшие у вагона подножки, т[ак] к[ак] они зацепляли бы за платформу, заявили, что вагон так содержится, что пора его бросить. Качка была вроде морской. Проводником мы очень довольны. Под Петербургом увидели наконец ясное небо. Эти дни иногда накрапывал дождь, но погода хорошая. В Петербурге нас встретили Леля и Юлия Петровна.[26] Ю[лия] П[етровна] наняла карету и подводу, т[ак] что тотчас без хлопот отправили вещи, а сами, напившись чаю, отправились. Ефремовы — на завод, а я, по просьбе Ефремовых, в город за кое-какими покупками и на завод явился к обеду. Саша[27] проявила верх сообразительности. Расставили мебель, как могли; обед Саша приготовила и даже пирог спекла. Квартира чистенькая, с иголочки, и отделана с большим вкусом. Обои светлые и красивые; двери под цвет обой окрашены нежными тонами; также и лепка на потолках. В общем, почти разобрались.

Завтра поеду в город искать квартиру. Смотрю на это с оптимизмом и надеюсь завтра же и нанять. Пора в свою нору. Вот пока все наши новости. <...>

Д. 1. Л. 21—24 об.

1892

10

9 мая [Москва]

Дорогая мамочка, — спешу сообщить свой адрес: угол Тверской и Газетного переулка, дом и меблированные комнаты Фальс-Фейна,[28] комната № 181. Попал я сюда вот как: приехавши — довольно благополучно, хотя лечь в сущности не пришлось, т[ак] к[ак] мне досталось только кресло, но я все-таки спал, приехавши в Москву, я отправился в «Кремль» к Платоновым. Говорят, дешевле двух рублей номеров нет. Тогда извозчик свез меня сам в какие-то «Городские номера», где мне показалось уж не в меру грязно. Тогда я вспомнил про другой платоновский адрес и отправился к Никитским воротам, в дом Боргест. Тут хорошо, но цена 25 р. в месяц. Я был так зол, да и устал, п[отому] что в Москве очень жарко и пыльно, что решил остаться там. Внесли вещи, я умылся, переоделся и пошел в Лоскутную[29] искать Рождественского; не застал его и, пойдя по Тверской, вспомнил про другой адрес, кот[орый] дал мне какой-то субъект из ех-актеров в вагоне. Тут мне на первый взгляд показалось симпатичнее: дом Боргест на солнцепеке, а Фальс-Фейн во дворе и прохладнее. Да и цена более человеческая — 20 р. Я сюда и переехал, заплативши 1 р. 25 к. за удовольствие умыться в доме Боргест. Затем пошел к Милюкову на Плющиху. Идя по Москве, я был действительно поражен видом белокаменной: грязь потрясающая. Кажется, в этой белокаменной белено только и было, что мой китель. Чувство (надо сказать, что меня разозлили мои скитания), с которым я смотрел по сторонам, верно, очень ясно выражалось на лице моем, п[отому] что довольно шикарный парикмахер, к которому я зашел побриться, взглянув на меня, поспешил заявить: «У нас все чисто!». К Милюкову я пришел удачно: он только что вернулся, а пропонтировать этакую даль и не застать его дома было бы досадно. Милюков принял меня очень радушно, расспросил, зачем я приехал, вообще проявил участие.[30] У него я встретил еще каких-то причастных к науке субъектов — и про всех можно сказать, что действительно «от головы до пяток есть московский отпечаток». Мне как-то сразу стали понятны слова Платонова, что «в Москве люди себе цену знают». Сразу поразил какой-то твердый, решительный и, пожалуй, даже слишком самоуверенный тон, не избегающий резких выражений а, в частности, довольно-таки пренебрежительное отношение к Петербургскому университету. От Милюкова я пришел скоро, п[отому] что проголодался — я пил кофе в 4—5 утра, а было уже 3!! Отправился в конке к Крахт. Вышел Костя с видом: «что вам угодно?», но моментально сообразил, что это я, и расцеловались совсем по-приятельски. <...>

Когда Костя уйдет в лагерь, а вместе с тем Н[адежда] И[льинична] и Ольга уедут на дачу — я перееду в квартиру Крахт, где останется на лето прислуга, а некоторое время (до 20-го) еще проведет и Ф[едор] Федорович. Конечно, мне это очень приятно, потому что хотя у Фейна замечается довольно искреннее стремление к чистоте, но его нельзя назвать вполне удачным, и я боюсь, что не один я житель 181-го номера! Хотя персидского порошку мне дали, но эта самая любезность наводит на размышления! Увы и ах! Завтра в воскресенье пойду в университет на диспут магистранта Корелина по всеобщей истории. Его диссертация — два, по-видимому, скучнейших — и по резюме — бессодержательнейших тома об интереснейшей теме — итальянском Возрождении.[31] Пойду посмотреть университет и московские физиономии. Обедать меня звали опять к Крахт; верно, пойду. В понедельник постараюсь попасть в свою библиотеку, чтобы со вторника засесть вовсю. Нельзя времени терять, да и скучно так. Надо еще кое-что посмотреть: Историч[еский] и Румянц[евский] музеи, например, а Костя обещал мне карточку от Маковского к Третьякову, чему я очень и очень рад. Ну, до свиданья, дорогая мамочка, поцелуй папу и всех наших и пиши, что нового, если есть; особенно напиши, как папа с Витте встретится: оно любопытно.[32] <...>

Д. 1. Л. 45—47а об.

11

12 мая

Вчера я был в унынии, а сегодня процвел, аки финик в древесех. Уныние навел на меня архимандрит, заведующий Синодальной библиотекой, заявив, что знать ничего не знает, да еще так грубо, что я повернулся и ушел. Ничего не получал из университета и прокурор синодальной конторы, но зато этот милый старичок, по фамилии Шишков, сказал, что никаких рекомендаций и не надо и что он прикажет дать мне все, что надо. Это было в понедельник. Сегодня в 10 часов я пошел опять в библиотеку и нашел монаха совсем иным, так что даже выражение его лица изменилось. Он стал во сто раз любезнее, и я сегодня засел за рукопись Царственной книги. Дела будет, кажется, больше, чем я ожидал. Сегодня я прочел 88 листов этой рукописи, а всех — 683, значит, больше недели на нее одну надо; а вторая рукопись, которую мне надо получить, гораздо больше и мне вовсе неизвестна, так что в общем не знаю, развяжусь ли я с ними до июня, тем более, что в мае столько праздников. Затем я и кроме того много любопытного видел. В воскресенье был на диспуте Корелина. Ты, мамочка, верно, уже прочла в «Русских ведомостях»,[33] что сей господин за магистерскую диссертацию получил доктора. Правда, работы в двух больших томах много, но воды и избитых общих мест тоже достаточно, а выводы его — все такого сорта. Вытянул его Герье, который очень его любит. В университете я видел здешних знаменитых людей: Ключевского — сухую, крепкую фигуру, с козлиной бородкой — хотя в разговоре он, кажется, мягче, чем на первый взгляд. Любопытно, что он, как оказывается, считается революционером. Фед[ор] Фед[орович] рассказывал, что во время какого-то дела о прокламациях жандармы все требовали обыска у Ключевского, да Манасеин сказал, что это им жирно будет. Затем видел я Герье, Виноградова, Стороженка, Алексея Веселовского: люди как люди, а Веселовский теперь на всю Москву славится своими похождениями с ученицами драматургической школы, которым что-то преподает и с которыми бегает по пассажам. Был я еще в Румянцевском музее — ходил туда с поклоном от Платонова к заведующему рукописями музея — Долгову; тот очень мило меня принял, предлагал пользоваться рукописями, если понадобится, и ввел меня в картинную галерею, хотя по понедельникам музей заперт для публики. <...> В тот же понедельник был я еще в Архиве Министерства юстиции — ну, да там ничего любопытного не произошло. Обедал у Крахт. Они зовут меня каждый день обедать, и чего бы лучше, да обедают они в 7 часов, а так помереть можно. Сегодня я к ним не ходил вовсе, а вчера пошел обедать во второй раз. Кальницкий (Сергей) указал мне ресторан, где хороший обед дают за 60 коп. — и действительно хорошо. Это Вильде или что-то в этом роде за Большим театром.

Был я еще сегодня в Малом театре — с Рождественским. Попали мы на какую-то неизмеримо глупую драму — «Порыв», а чья она, право, не помню.[34] Лучше всех была Лешковская, хотя играла и Ермолова. Лешковская эта — в бойких, кокетливых сценах — это сама жизнь, искренность и простота. Роль была глупая, быть может, потому конец пьесы, где она истерзанная и страдающая, — вышел бледно. Ермолова меня поразила невероятно. Из ее роли много можно было сделать: это роль серьезно влюбившейся веселой дамы — что-то вроде Татьяны Репиной, пожалуй, хотя, конечно, сходство только во внешнем положении. И суше, холоднее, безжизненнее нельзя было сыграть. Верно, это случайность, п[отому] что было вовсе плохо. Затем остальные — Гарин etc. были недурны. Рыбаков — врач резонер и Музиль — отставной полковник — превосходны. Но как ни глупа была драма — еще глупее был водевиль — даже и смешно-то не было. Вот так-то мы кутим. К Рождественскому я пошел и подбил его идти в театр, п[отому] ч[то] сидеть в номере — смертельная тоска. Занимаешься с 10 до трех — все-таки устанешь, пыл пройдет, и сидеть дома да читать что-нибудь не относящееся к делу — свежести не хватает, да и охоты как-то нет. Завтра, верно, пойду к Крахт, позавтракав в молочной на Тверском бульваре. В четверг приедет Платонов, авось научит, что делать с собою в два праздничных дня, четверг и пятницу. <...> Вот и все, что могу сообщить, кроме разве того, что разговоры — очень интересные — с Фед[ором] Фед[оровичем] наводят почти тоску, п[отому] что он, стоящий, так сказать, в середине нашей общественной жизни, такими яркими эпизодами характеризует наши порядки, что не то, что гадко делается, а какое-то отупление находит и думать не хочется. Сидим мы в болоте да квакаем: ква! ква!

Д. 1. Л. 48—51 об.

12

16 мая

Спасибо, дорогая мамочка, за письмо. <...> А я — я тут отлично себя чувствую. Моя работа еще больше меня заинтересовала, во-первых, потому, что это, в сущности, уже не ученье, а самостоятельное дело, нужное, даже необходимое, так что странно, как это до сих пор не исчерпаны такие ценные материалы, какие у меня в руках. Конечно, дай Бог нашему теляти волка забодати, и конечно ему волка не забодать, но войти в это дело очень полезно и интересно. Пока утешительно то, что все новые данные, какие дает мне первое же знакомство с моими рукописями, радикально подтверждают те довольно голословные утверждения, какие я защищал против Платонова. Монах мой оказался удобным, п[отому] что нисколько меня не стесняет, я его почти не вижу; заниматься удобно и спокойно. Жаль только, что с 3-х часов, когда запираются все московские библиотеки, делать нечего и теряешь много времени. Трачу я его на хождение по Москве, которая все больше и больше нравится мне своей характерной физиономией и — оживленностью. Я вполне понимаю, как скучен Петербург для москвичей, как бесцветна и скучна петербургская толпа сравнительно с здешней. Затем большую часть времени провожу у Крахт, где Фед[ор] Фед[орович] меня просто очаровывает — такой он славный и интересный, столько интересного рассказывает. Даже поучительно послушать его; он очень, очень живой человек, занятый очень жизненным делом, к которому замечательно хорошо относится. Я до сих пор и не понимал, насколько их судейская деятельность содержательна, глубоко содержательна, в самом лучшем смысле слова. Костя нисколько не оправдывает тех странных слухов, которые про него ходили. Его сближение с Маковскими более чем понятно и законно. Не светскость, а самые живые художественные интересы сблизили их, п[отому] что у него несомненно есть хорошие способности к живописи, так что даже жаль, что не попал на эту дорогу. Он мне очень по душе, и встретились мы, точно не расставались десять лет тому назад. <...>

Приехал сюда Платонов — ради милюковского диспута, который будет завтра и обещает быть очень горячим, п[отому] что Ключевский в общем против диссертации Милюкова, о котором — по слухам — даже говорить избегает. Во всяком случае, хотя жаль, если есть тут личности, но схватка таких ученых сил не может не быть в высшей степени интересной. Платонова я мало видел: он тут нарасхват. <...> Завтра Костя обещал дать мне записки от Вл. Маковского к Третьякову, Солдатенкову и Боткину. К Третьякову пойдем в понедельник с Ольгой Фед[оровной], хотя бы пришлось для этого пожертвовать частью времени от занятий. Для Третьякова это стоит. <...>

Д. 1. Л. 52—55 об.

13

19 мая

Дорогая мамочка! Сегодня я перебрался к Крахт, так что мой адрес: угол Трубного и Дурновского переулков, дом и квартира Крахт. <...> Здесь мне будет несравненно лучше во многих отношениях. А результатом этого будет, что я и по вечерам буду заниматься; по крайней мере, почитывать, на что в негостеприимном номере решительно не хватало характеру; так и тянуло вон. Кстати — по поводу чтения: Пав[ел] Пав[лович] обещал дать мне «Konventionellen Lüden» Нордау[35] — это любопытно. В воскресенье был я на диспуте Милюкова — и остался недоволен, п[отому] что от него требовали того, чего он и не думал давать, упрекали, что он не ответил на вопросы, которые он не ставил в своей работе. Объясняю я это тем, что в точке зрения Милюкова столько нового, что со старых точек зрения его и оценивать нельзя. Да и слишком строго к нему отнеслись; факультетский отчет о его книге звучал каким-то укором, по-моему, несправедливо.[36] А получила ли ты «книгу о книгах» (она давно вышла)? Получила ли Достоевского и взяла ли из переплета книгу Waitz'а?[37] <...>

Д. 1. Л. 56—57 об.

14

22 мая

Только что получил твое письмо, милая мамочка! <...> Дела — самого нужного хватит числа до 10-го июня, я думаю. В мае много праздников, и все это затягивает дело, да и вообще от 10 до 3-х мало времени для занятий. Придется приехать после. Здесь я устроился, благодаря нашим милым Крахтам, по-княжески. Занимаю целую квартиру, потому что все разъехались. А помещение много значит. Теперь я сижу у себя и читаю, значит, и вне занятий время все-таки не пропадает даром. Правда, пока читаю легкомысленные вещи: кончил «Героев» Карлейля[38] и взялся за «Konventionellen Lüden» Nordau, которую привез мне Пав[ел] Пав[лович]. Он был у меня здесь и кроме Нордау привез в подарок какую-то старинную латинскую книгу. Удивительный человек: сколько он знает и сколько до сих пор читает! Крахт обо мне даже чересчур позаботились: оставили мне абонемент в библиотеку, т. е. Педагогическую. <...> Насчет книг я не понимаю Дейбнера.[39] Мне, кроме того, что у тебя записано, ничего не надо. И этого слишком много, по нынешним финансам; но если возможно — записанные книги мне на лето очень нужны. Если нет изданий Геродота и Тацита, которые я записал (они должны быть, я их у Дейбнера видел), пусть даст другие с немецкими примечаниями; он знает, что считается лучшим. А взяла ли ты Waitz'a?

Твой Саня.

Д. 1. Л. 58—59 об.

15

27 мая

Дорогая мамочка! Если вы выезжаете 30-го, то в воскресенье мы увидимся. Glück auf!* Ефремовы должны были переехать вчера, и теперь ты все хлопочешь с вещами и без всякой помощи! Бедная мамочка, как это тебя утомлять должно! Что меня касается, то я писал тебе, что мне никак нельзя с вами уехать, а надо дело доделать, благо наладилось. С одною рукописью я, слава Богу, покончил; теперь начал другую, но в каталоге библиотеки усмотрел наполовину к удовольствию, а наполовину к ужасу своему — еще одну, которая имеет прямое отношение к моей задаче. Нельзя не посмотреть ее. Вот и придется, если можно, смотреть еще. Но для этого придется просить подкрепления — у меня рублей восемь осталось. Я и с помощью Крахт не сумел устроиться дешевле! Право, не знаю, как это так. Глупая дорога обошлась неожиданно дорого, вот что прежде всего заставило щелкнуть мои ресурсы. Теперь дело другое: живя тут, а не в номерах, можно обойтись гораздо лучше. <...>

Д. 1. Л. 60—61 об.

---

* Дай Бог, на счастье (*нем.*).

16

Без даты [июнь 1892 г.]

Дорогая мамочка! Пишу, не дожидаясь твоего письма, п[отому] что есть что порассказать. Во-первых, я очень наказан за свою самонадеянность: Милюков и другой, кот[орого] он с собой привел, Щепкин, явившись в мою библиотеку, разнесли меня вдребезги: увы! мои рукописи несомненно XVII, даже второй половины XVII века! А я-то, я-то — воображал, что я их переспорю! Правда, что такая постановка вопроса о рукописях страшно перепутывает всякое понимание их происхождения и содержания, и сам Милюков признает, что хотя список поздний, но содержание, редакцию даже, по крайней мере, ее источники я имею право считать древними, как и считал. Все-таки вопрос осложнился, и придется оставить сомнительным и даже без попыток решения. Сегодня вечером я был у Милюкова, посидел часа три — много болтали и очень интересно для меня болтали. Он мне очень нравится. Вообще, в Москве, кажется, не переводятся живые люди. Вот и Сергей Кальницкий — живой человек. Когда я перестал давать ему деньги, как и говорил, он ухитрился заложить мои вещи. Я стал его разыскивать и по дороге узнал, что это форменный жулик, кругом в долгу, никому не платит и ухитряется часто кутить и не стесняться. Из университета, говорят, его давно исключили, хотя он и щеголяет в форме. Поймать мне его удалось — сам явился, но, кроме квитанции от залога, у него взять нечего. Эх, мамочка, если бы ты знала, чего мне стоит писать тебе все это! Сыграть такого дурня и, главное, оправдать папино предсказание насчет денег. Пришлось выкупить — и теперь у меня 12 р.50 к. в кармане и еще квитанция на 8 р. залогу за пальто. По счастью, я дело, в сущности, кончил и в среду уеду, если получу билеты, но и денег мне ведь не хватит? Как ни стыдно, а нельзя не попросить рублей 10. [Надо рассчитаться с прислугой. Напиши, сколько дать горничной (она и белье стирала) и дворнику].* Мамочка, прости меня. Мне, право, все это очень неприятно, и на душе прескверно. Но рассчитывать получить что-нибудь с Кальницкого — глупо, хотя он божится, что отдаст, но я видел студента, кот[орый] живет уроками и не может выехать домой — и Кальницкий ему 1 $^1/_2$ года должен 55 руб. и не отдает. Я рад, что вправду кончил дело, п[потому] что у меня от этой пакости руки опустились. А кончил я потому, что две рукописи отделал вполне, третья оказалась вовсе не любопытной, а четвертую я завтра просмотрю и дня в два надеюсь кончить. <...>

Д. 2. Л. 62—63 об.

17

6 июня

Я получил письмо с билетами после того, как отправил свое жалобное послание. Спасибо за билеты. А написал ли папа на Владикавказскую? Я пишу Шенгеру, чтоб он рассчитал выехать отсюда в сре-

---

* В квадратных скобках приписка А. Е. Преснякова.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ду — не слишком ли быстро? Но мне здесь делать нечего. И четвертая рукопись — не интересна, так что я теперь свободен и могу ехать. <...>

Д. 1. Л. 64—64 об.

18

16 августа [Москва]

Дорогая мамочка, спешу воспользоваться свободной минутой и написать тебе несколько строк. Только почерк будет гаже обыкновенного, потому что перо мне очень не по руке. Все Прянишниковы поехали на могилу Софочки — и я один дома.

Все Прянишниковы — это кроме И[пполита] П[етровича] и Наташи — Иван П[етрович] Прянишников — парижский художник и его жена tante Joséphine — оба очень милые. Она — очень живая француженка, а он — большой, с большой бородой, добродушным лицом, умный и остроумный и, вдобавок, очень веселый. Он приехал в Россию, п[отому] что Государь заказал ему несколько картин, и цель его — этюды на маневрах, которые будут в Ивангороде. Сюда он приехал после меня — и всем нашлось место у Шелапутов.[40] Квартира хорошенькая, поместительная, с изящной обстановкой и очень удобна для И[пполита] П[етровича], потому что ход из нее (кроме другого на особую лестницу) — прямо на сцену. Сам он очень занят и в тревоге, потому что надежды на успех еще слабее: Тартаков надул и ушел в Киев, баритона опытного на первые роли нет, и, верно, придется петь самому И[пполиту] П[етровичу], что, конечно, очень прискорбно. Впрочем, И[пполит] П[етрович] бодрится и не теряет энергии. Конечно, надо попробовать, но и меня захватило мрачное предчувствие Наташи. Дай Бог, чтобы мы ошибались. Ну, а кроме Шелапутов я видел только Крахт, потому что Милюков в Крыму, Соболевского я тоже не застал. Завтра еду, верно, с почтовым. Сюда я ехал очень хорошо: на Харьковской дороге мне отвели купе, а на Курской было очень свободно. Зато багажу оказалось на 2 п[уда] 30 ф[унтов], и за 1 п[уд] 30 ф[унтов] я заплатил 3 р. 20 — и вообще дорога сюда стоила мне 7 р. На Николаевской тоже и 15-ти не хватит (билет 10 р.) — это нехорошо, но делать нечего. Крахт, конечно, приняли тоже по-родственному, как и тогда. <...>

Д. 1. Л. 65—66 об.

19

Без даты [лето 1892, Москва]*

Дорогая мамочка! Я только что был у Мани. Она сказала, что хотела приехать в Харьков, потому что решила убедить тебя и Мишу позволить ей жить с детьми в Харькове, у вас. Спешу написать это, чтобы узнать твое мнение об этом проекте. Лучше было бы, если бы ты ответила телеграммой, на случай, если Маня соберется ехать. Я застал ее нездоровой, и все это время, летом, она прохворала. Теперь она в силах ехать. Производит впечатление более спокойной, и, по-видимому, решила, что без детей ей невыносимо. Мих[аил] Вик[ентьевич] говорил, что позволит ей вернуться к детям. Не думаю, чтобы кто-нибудь имел право препятствовать ее намерению вернуться к прямым обязанностям. Прости, что больше не пишу. Надо торопиться. Мне хотелось бы, чтобы письмо пошло еще сегодня.

---

* Письмо находится среди писем 1891 г.

Д. 1. Л. 20—20 об.

20

Петербург. 18 августа

Дорогая мамочка! Из Москвы я отправил тебе какое-то подобие письма, нечто отрывочное, бессвязное и несуразное. Но пересказывать то, что хоть кое-как да рассказано, все-таки не стоит. Я, к собственному удивлению, уехал как было и решено заранее; увы! со мною так редко бывает, чтоб я сам располагал как предполагал. <...> По приезде пришлось убедиться, что я поторопился. Я тут шагу не могу ступить, не повидавшись с Платоновым, а его я увижу только в четверг вечером: он на даче. Впрочем, я забегаю вперед. Уехал я из Москвы с почтовым, в котором теперь есть третий класс. Это чудный поезд: выходит в 4 и в 9 — в Петербурге. Третий класс на 2 р. дороже, но это не составляет расчета, потому что то же истратишь в буфетах за те 23 часа, которые тащишься пассажирским. Между тем публика отлынивает от этого поезда, и в единственном неспальном вагоне III-го класса было так свободно, что я спал отлично. Ник[олаевская] дорога пустила новые вагоны очень удобные, даже слишком, вместо тех свинятников, которые бегали прежде. Все чисто и чистится до педантизма; жаль, ненадолго. [Т. е. такое направление].* Что касается Москвы — то не помню, писал ли я тебе, что по официальным статистическим сведениям — за 3 нынешних летних месяца умерло ровно втрое меньше, чем в прошлые годы — так благодетельно отозвались меры по очистке города. Со мною в поезде ехал один господин, возвращавшейся с Кавказа, из Тифлиса — и не мог нахвалиться той энергией, с которой взялись там за дело и полиция, и дорога, и даже Jesus Maria — зато, по его словам, далеко не все сведения о распространении холеры попали в газеты: до нас ничего не дошло о сильной холере в Горийском уезде; о холере в Боржоме. Говорят, что Николай Михайлович усердно сам следит за санитарными мерами и сам по деревням ездит; а Георгий Александрович так перетрусил, что всякий проезд в Абастуман совершенно прегражден. В таких и иных разговорах доехали мы до Питера, который сразу показал нам свою настоящую физиономию — серую, как солдатская шинель, и скучную, как министерский чиновник. Впрочем, дождь шел недолго, и погода разгулялась. Бросив вещи на вокзале, я отправился искать себе берлогу.

---

* Приписка А. Е. Преснякова над строкой.

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
2004

Из двух хозяек, между которыми я колебался, ни одна не удостоится иметь меня квартирантом. <...>

Басков переулок, д. №7, кв. 23. Это мой теперешний адрес. Я взял комнату у каких-то Нововых — веселая, светлая комната, величиной 6 × 6 $^{1}/_{2}$, в 2 окна, пленившая меня уютностью и такой чистотой, что плюнуть некуда. Все новое, вся мебель с иголочки, и пол, и стены, и окна, и потолок. Цена 17 р.; за стол 50 к. в день, т. е. 15 р. в месяц, с вычетом, в случае, если я не обедаю, предупредив с утра. Бржозовская ручалась, что кормят хорошо, и, судя по сегодняшнему обеду, ее речь есть истина святая. <...> Вот тебе, мамочка, отчет за первый день в Северной Пальмире, которая такая же Пальмира, как огурец — «северный ананас». Я встретил сегодня ех-студента Васильева (ты слыхала о нем), приехавшего из Египта, и в один голос поминали юг с его теплом, красой и поэзией.

Завтра иду в университет переменить отпуск на вид, оттуда к Либерману, а потом поеду к Ефремовым. Напишу обо всем, а теперь посылаю, чтобы скорее сообщить адрес.

Д. 1. Л. 67—70 об.

21

21 августа

Дорогая мамочка! <...> Был у Платонова. Он тоже нашел очень интересным то новенькое, что я выудил в синодальной архивной пыли; затем дал мне карточку к библиотекарю Духовной академии. На другое утро, т. е. сегодня — в пятницу, я под сильным дождем добрался, промокнув — благодаря конкам — только на $^{1}/_{4}$ до Александро-Невской лавры, где сия академия имеет свое местопребывание. Тут постигла меня существенная неудача. Во-первых, хотя моя рукопись весьма известна — еще со времен Карамзина — и хотя часть ее даже издана Костомаровым, но найти ее задача мудреная, библиотекарь не имеет о ней понятия, каталога нет и прочая, и прочая. Впрочем, при помощи Платонова и Археографической комиссии надеюсь разыскать ее и втолковать библиотекарю, что мне нужно. Но беда в том, что до сентября библиотека заперта, и мне надо сидеть у моря и ждать погоды. В переводе на русский язык это значит, что мне почти незачем было и приезжать в августе. Поищем другого дела. Был я еще у Шеффер — обедал у них сегодня. Шеффер летом ездил в Псковскую губ[ернию] записывать песни; а там население очень суеверное и почему-то встревоженное. Сочли его — excusez du jeu!* — за Антихриста. А на престольном празднике в Печерском монастыре его слава разнеслась на 20—30 в[ерст] кругом. Антихристом считают там и о. Иоанна.[41] Много он любопытного рассказывает, да писать долго. До свиданья. <...>

Д. 1. Л. 65—74 об.

---

* Не взыщите! (*фр.*).

22

26 августа

Дорогая мамочка, спасибо за письмо. Оно разъехалось с моим вторым письмом из Петербурга, где я уже отчасти ответил на кое-какие из твоих вопросов. <...> В понедельник [пошел] после обеда прямо к Платонову рассказать ему о своей неудаче в Лавре. В сентябре он обещал мне помочь; вообще он со мною более чем любезен. Вчера ходил вместе со мною в Археографическую комиссию, чтобы помочь мне отыскать там в старых исходящих журналах № той рукописи, которая нужна мне — я писал тебе, что библиотекарь Дух[овной] академии ее не знает; а оттуда повел меня в Публичную библиотеку представить Л. Н. Майкову, директору рукописного отделения Пуб[личной] б[иблиотеки], чтобы этим открыть мне доступ к хранящимся там рукописям. Вот колдовство: пишу эти слова — и мне приносят письмо от Платонова. Надо прочесть. Оказывается, он видел Майкова и пишет, что до 1 сентября нельзя и у него заниматься, но находит, что мне следует представиться Майкову и «изложить результаты московских занятий», представиться предлагает самому, но пишет, что в пятницу он сам будет у Майкова; конечно, я пойду в пятницу, а то неловко без Платонова, особенно ввиду того, что мне в рукописях Пуб[личной] б[иблиоте]ки ничего не нужно, и я решительно не знаю, что буду говорить Майкову. Во всяком случае, это знакомство — не совсем новое, потому что я уже встречал его у Платонова, — очень нужное. Относительно своей работы я пришел к заключению, что всего безопаснее, не дожидаясь новых материалов, изложить в окончательном виде то, что есть, а если что-нибудь новое набежит, то этому новому самое естественное место в конце работы. Относительно того, чем я в Москве занимался, ничего нового быть не может, потому что это простое описание и сравнение двух рукописей. Теперь моя задача — искать источники и авторов этого летописного произведения, которое в этих рукописях заключается. В скобках замечу, что и тех и других найти почти немыслимо, но надо собрать кое-какие скудные намеки. Что же касается лекций, то об них и помину нет — подписка начнется только 15-го сент[ября]. Мне это на руку. <...>

Д. 1. Л. 75—78 об.

23

29 августа

<...> В понедельник мне необходимо быть в городе, чтобы зайти к Платонову. У нас с ним вообще деятельные сношения. Я уже писал тебе, что он хочет составить мне протекцию в рукописном отделе Пуб[личной] библиотеки. Теперь и я рад этому, потому что узнал, что там есть кое-что нужное. Но раз я примусь искать все, что относится так или иначе к моей теме, моя работа разрастется. Ну и нехай ее. Приходит Вениамин и сообщает: завтра выйдет Высочайший указ о

том, что Вышнеградский по расстроенному здоровью — на место Абазы, Витте — министром финансов, Кривошеин — путей сообщения, Петров — его товарищем. Тернер тоже куда-то перемещается. Это последнее, быть может, несколько подтверждает то, что говорил мне у Куманиных Сомов (помощник хранителя Эрмитажа), будто с назначением Витте уходят все директора департаментов Мин[истерства] финансов, кроме одного. Назначения в Мин[истерстве] путей столь жалки ввиду желания Витте сохранить в нем все свое значение. Посмотрим, что из этого выйдет! Не понимаю, отчего ты пишешь, что, может быть, Васильева уберут. Разве эта комбинация не в его же пользу? Ведь это не изменяет или только к лучшему изменяет положение всех, связанных с Витте. Кстати, Витте женился и очень скандально: развел какую-то даму — Куманины называли ее фамилию, да я забыл — в 5 дней и женился, а дама эта более чем легкого поведения.[42] Сделавши это отступление в высшие сферы — достаточно низменные и паршивенькие, возвращаюсь восвояси. Получил я анонс о начале шелапутинской оперы: Пр[янишников] в числе баритонов, т. е будет петь и петь много, т[ак] к[ак] на него падает все, что пел Тартаков. Наташа при анонсе поясняет, что слышала дядю на репетиции и осталась довольна. Ну, давай Бог. У них будет 30-го «Жизнь за Царя» — дебют тенора, торгующего рогожей, затем «Аида», «Фауст» и «Онегин». И тут скажу: посмотрим, что из этого выйдет!

Что касается лично меня, то я собираюсь заниматься, т. е. это не совсем так, п[отому] ч[то] я уже набрал в П[убличной] биб[лиотеке] кое-что решающее многие главные мои затруднения, но собираюсь заниматься рукописями. А нового только то, что я разорился на шкаф: за 30 руб. купил большой (1 ар[шин] $^3/_4$ ширины и 10 в[ершков] глубины!) и очень хороший ореховый шкаф и собираюсь перевозить книги.

Д. 1. Л. 79—80 об.

24

3 сентября

Ну, дорогая мамочка, с завтрашнего дня я, по-видимому, попадаю в колею. Сегодня ходил в Публичную библиотеку представляться генералу от рукописей Леон[иду] Ник[олаевичу] Майкову, а он представил меня Ив[ану] Бычкову, сыну иже в лысых отца Афанасия Бычкова — директора Пуб[личной] биб[лиотеки]. Сей сын и должен дать мне рукописи, какие понадобятся; завтра в 11 часов могу начать занятия. Жду еще известий с другой стороны: Платонов — совершенно уничтожающий меня своею предупредительностью — обещал сам съездить в Лавру и взять оттуда рукопись летописи — будто бы для какого-то издания Археографической комиссии, а на самом деле, чтобы передать ее мне. Видишь, как у нас все на широкую ногу делается! Платонов старается не только для меня, а ради того, что пора извлечь эти ценные материалы из мрака неизвестности. Тем приятнее для меня, что если удастся доделать дело хорошенько, то результаты будут не только ученические, а интересные для всех, кто русской историей занимается. Посмотрим, выйдет ли что из этого и не родит ли гора мыши. Это ведь тоже бывает!

Последний раз я писал тебе 30-го с завода. Я писал тебе наши слухи о министерских пертурбациях: почти то же, что у вас. Теперь, верно, все есть в газетах, но я их не читаю и не любопытствую, потому что уверен, что, как бы друзья ни садились, все равно в музыканты они не годятся. Тут в Питере, кажется, тревожное настроение: ждут краха; толки о том, что дутые операции Вышнеградского обойдутся дорого, все больше получают кредиту.[43] Я тут ничего не смыслю и не знаю, кто больше врет.<...>

Д. 1. Л. 81—83 об.

25

9 сентября

<...> А новую племянницу Ольгой назвали, что ж, имя само по себе хорошее, только «Ольга Николаевна» слишком избито и напоминает противную ее тетушку. Я думал, что ее Надей назовут: «Надежда Палибина» имя родовое, можно сказать, историческое, и я как архивная крыса стоял бы за это.

Что касается моей архивности, то она теперь орудует в Публичной библиотеке. Помнится, я писал тебе еще до свидания с Майковым; или нет, после? Словом, через него я получил доступ в рукописное отделение, и дали мне там две преобъемные иллюстрированные летописи. Ими я теперь и занимаюсь, и надо сознаться, что они большого интереса не представляют. Ты спрашиваешь, что у меня за работа. Платонов предлагал тему «Царственная книга, ее происхождение и состав». «Царственная книга» — это одна из рукописей, которыми я в Москве занимался. На самом деле произведения, которое так бы называлось, нет, а рукопись эта — случайный клочок большого иллюстрированного летописного свода разрозненного, перепутанного и даже растерянного. Два клочка его в Москве, два тут, — а где еще большая часть, не знаю и не могу добиться ни от кого. Спрашивается — как рассуждать о происхождении кусочка от неизвестного целого? Как видишь, тема висит на волоске. Но так как Ц[арственная] книга была издана и издана скверно, то, обративши работу в критику и исправление издания, можно извернуться и почти ответить на тему, не сознаваясь, что тема невозможна. Ну-с, это про Платонова. А получит ли что Васильевский — я и сам не знаю. Будет зависеть от времени и — к стыду моему — от настроения; настроения у меня разные бывают. Спрашиваешь ты еще про Шеффера, что он будет делать. Прежде всего будет готовиться к магистерскому экзамену; а это значит — пополнять общее знание всего отдела наук, какие ему полагается знать; он и хочет, не очень налегая на свою специальность — древнюю, т. е. допетровскую литературу, заняться общим чтением. И хорошо делает, п[отому] что «общих точек зрения» у него слишком мало. А для историка литературы это первое дело. Далее имеются у нас еще такие новости: прислали мне 2 из 3-х ящиков с моими книгами — оба оказались нужными, но в них не оказалось, пожалуй, половины моих исторических книг, которые, очевидно, уложены с беллетристикой. В шкафу места очень много, хватит; но жаль, что я не забрал всех книг сразу, потому что перевозка обходится довольно дорого. <...>

Вчера мы смотрели картины, которые русские художники посылают в Чикаго[44] — и такая все дребедень, что и возить-то не стоит. Кое-что недурно — и только, а кое-что и вовсе дурно. <...> Пока-то времени много — лекции начнутся 21-го, а в биб[лиотеке] я занят с 10 до 3-х. Написал (дома) очень мало: по вечерам не пишется — устанешь, что ли, а утром в библиотеке. Авось успею — если авося жданки не съедят.

Д. 1. Л. 84—87 об.

26

15 сентября

Дорогая мамочка, сегодня мне выпала еще одна удачная находка по части летописей, находка тем более удачная, что можно будет подразнить Платонова. Дело в том, что я просил его помочь мне раздобыть одну летопись, принадлежащую Александро-Невской лавре, — это ты знаешь. Я говорил ему, что там надеюсь — правда, данных для надежды у меня было мало — найти объяснение некоторых мест моих московских летописей. А он ответил, что знает эту летопись и думает, что ничего там для меня не найдется. Сегодня я заполучил ее (занимаюсь на квартире библиотекаря, в его кабинете) и убедился в точном тождестве ее с моими москвичами, с той только разницей, что в ней есть места, соответствующие потерянным местам московских. Это все мелочи, как и вся работа, но интересные — главное, по новизне. Завтра, в среду, буду у Платонова — и расскажу. Он звал меня на завтра, а недавно заходил ко мне в Публ[ичную] библиотеку. Да, тут он мне еще сказал, что Майков хочет меня «позондировать», а я после того еще не был в библиотеке — надо было в Лавру — пожалуй, еще подумают, что сбежал. Положим, я объясню как было. <...> В понедельник же завел я новое знакомство. Зашел к Васильеву — это бывший студент, ученик Васильевского, оставленный при университете, очень знающий, прекрасный музыкант, живой и веселый человек, танцор и даже болтун, несмотря на свою византийскую специальность — он меня познакомил со своими и звал к себе. Иногда, может быть, буду заходить, если найдется время. <...>

Д. 1. Л. 88—89 об.

27

18 сентября

Милая мамочка, мне опять приходится сообщать о новых знакомствах. Вчера я зашел за своими книгами к студ[енту] Полонскому и познакомился с его отцом — поэтом. Он много рассказывал про то, как он служил на Кавказе — дело было при Воронцове — рассказывал недурно, но с аффектацией в приподнятом тоне, так что мне приходилось иной раз глотать улыбки.[45] Сын его мой товарищ по курсу и факультету, и даже по специальности, п[отому] что он пишет работу по русской истории — что-то о Смутном времени. Сокрушались мы с ним, что много лекций придется слушать, и эти сокрушения не лень, а, напротив, сожаление о том, что немного останется времени на занятия дома — более насущные, особенно в этом году. Слушать придется часа 22* — и каждый день. Начнут в понедельник. По счастью, сегодня я кончил занятия в Лавре и, на сей случай, вообще исчерпал то, что надо было — пока не свалится еще откуда-ниб[удь] новый материал, а это, верно, скоро будет. Занимался я в кабинете у библиотекаря Духов[ной] академии Родосского — и познакомился с его семьей, почему меня в 12 ч. поили кофе, а 17-го позвали на именинный пирог. Тут я, между прочим, узнал любопытный казус. Ты помнишь Сипягиных в Тифлисе? Старший сын, Петр — прекрасно кончил восточный факультет — и теперь вдруг постригся в монахи. И постригся из простого расчета! Их семья, существовавшая пансионом m-me Сипягиной, попала в затруднительное положение, потому что пансион, когда-то процветавший, теперь зачах. А пострижение в монахи для Петра связано с миссией в Китай, т. е. с хорошим содержанием и еще лучшей карьерой в будущем. Не знаю, как судить об этом. Я за него. Чем пострижение в монахи хуже поступления в тот или иной департамент? Еще одна любопытная фигура: в среду у Платонова был некто m-r Отай (не знаю, как пишется, но так произносят) — chargé de cours (т. е. доцент) в Лилльской faculté! Читает он русский язык, литературу и историю, конечно, сознавая, что не может преподавать всего этого научно, но ставя себе целью распространять практические знания языка и первые сведения, а также интерес к études russes.** Он зять Рамбо — и один из гостей Платонова навязался с вопросом: пользуется ли «Русская история» Рамбо доверием французов? M-r Отай очень хорошо, в смысле правильности и литературности слога, говорит по-русски. Но эта поездка в Россию — первая в его жизни, и в первый раз он имеет практику! Немудрено, что получасовой разговор по-русски привел его в изнеможение.

Был еще там одесский проф[ессор] рус[ской] ист[ории] Маркевич — довольно самоуверенный и довольно незначительный господин. У Платонова интересно бывать, п[отому] что много разного народа увидишь и часто занятных. Верно, как-ниб[удь] встречусь с Гревсом — ты слышала это имя — он в этом году читает и курс интересный — история общества в Римской империи. Начинает чтения и новый доцент Середонин, выбравший курс об Александре I. Недурно, если выполнение будет удачное. Лаппо-Данилевский читает «Главнейшие направления в русской историографии», Платонов — специальный курс (при мне — первый) по обществен[ной] истории Московской Руси; Васильевский — новый курс о крестовых походах. Словом, расходилась публика. К этому надо еще прибавить, что на наш факультет поступило 60 человек! Это даже слишком! Нам испортят наш факультет, как Таубе испортили, выучив его говорить верно: tout est prês.* Недоразумение с моими книгами разъяснилось просто: книги, отобранные как нужные, уложились не в 2, а в 3 ящика. Но где же вся беллетристика? В Харькове? Разобравши свою библиотеку, я содержание ее одобрил. Надо продолжить в том же духе. Дребедени почти нет и козлища забрели случайно. Что же касается того, что ты пишешь о моих будто бы небольших финансах, то я нахожу их более чем блестящими. Сегодня 18[-е], а у меня 7 р.! <...>

---

* Так в тексте.

** Русским исследованиям (*фр.*).

Д. 1. Л. 90—93 об.

28

20 сентября

Мамочка! мамочка! какое я письмо от Наташи получил! Я просил ее, когда будет время, сообщить мне о шелапутинских делах. Она пишет, что так долго не отвечала, потому что дела так плохи, что и писать-то о них не хочется. Сборы с самого начала были плохие, но тогда все утешались, что еще рано. Но и теперь не лучше. До сих пор хватает только на обязательные расходы, а товарищи не получали еще ни гроша. Упадок дела полный, сидят без денег, без теплого платья, закладывают вещи. Наташа пишет, больше двух недель не протянут. И[пполит] Пет[рович] стал страшно равнодушен и говорит: «Будь что будет». Он пел 4 роли — Аиду, Риголетто, Фауста и Игоря. Верхи совсем сиплы, страшно за каждую ноту, а он не осознает, насколько упал его голос, и хочет петь Демона. Грустно. <...>

Я сел писать по свежим впечатлениям полученного письма — и прервал свою работу. Сегодня я решительно начал писать ее, хотя придется еще новые материалы собирать. Да, я ведь еще не писал тебе — я что-то все путать стал, что, просмотревши каталоги Публич[ной] библиотеки, нашел там так много материалу, кот[орый] имеет к моей работе прямое отношение. Это почти огорчает меня, потому что ведь с завтрашнего дня — эти проклятые лекции. Едва ли удастся быть аккуратным. Не бросать же ради них дело в полуделе. Со страху я и стал писать работу поскорее, не дожидаясь новых сюрпризов. Чего ждать-то, чего доброго жданки съедят того авося, который один ручается за благополучный исход. Больше писать нечего, я ведь третьего дня писал. Да, Ю. П. — она устроилась хорошо, пожалуй, даже лучше меня. Показывала свои работы за лето. Немного, но я удивился (про себя), насколько она выросла в год — в прошлом году пейзаж ей не давался, а теперь твердая рука, верные, сильные тона — хоть куда! Ты про нее что-то спрашивала, да, — не про нее, а про горийскую холеру. Холера была сильная, их дом почти рядом с бараками, все, даже прислуга, разбежались — а у них нет, п[отому] что, как объяснял их повар: «Наш генерал — доктор, у него не страшно». Лавки позакрывались, ничего достать нельзя было, так что питались преимущественно... фруктами из своего сада, на которые был урожай. Это храбро, особенно ввиду того, что и сам Петр Вик[ентьевич], и Эвелина Петр[овна] проболели все лето. Холерные являлись к ним за советом, к доктору.[46] Могу еще сообщить, что Александр самый большой выбор альбомов согласен выслать наложным платежом, и я во вторник или в среду выберу и дам адрес. <...>

---

* Все готово (*фр.*).

Д. 1. Л. 94—96 об.

29

26 сентября

С занятиями моими дело обстоит так: Платонов сам сказал мне, чтобы я не увлекался материалами Пуб[личной] б[иблиоте]ки, а сделал бы статью (разве так говорят?) из того, что есть; остальное оставьте, мол, на будущую зиму, когда займетесь более систематично. Nein.* Это почти обещание! В понедельник запишусь на лекции — спасибо, что не согласилась с папой, а то я сидел бы без книг — до нового билета нельзя пользоваться библиотекой. Для первого начала хочу надуть Васильевского, увильнув от старой темы и взявши новую, относящуюся к русской истории или, по крайней мере, к русской стране — что-то о торговле на Черном море в генуэзских и иных колониях. На удочку он пойдет, потому что вопрос из его любимых. Затем с писанием платоновской статьи что-то не клеится. Не могу еще выдумать плана. Ну, да, по правде сказать, в плане и все дело, писать буду недолго, потому что цветов красноречия не требуется и работа будет коротенькая. Меня с ней напугали. В университете все знают, что я ее пишу, спрашивают — как бы не сглазили. Вчера заходил ко мне бывший студент наш, оставленный Платоновым при университете, Лаппо, теперь он учителем истории в 4-х старших классах Царскосельской гимназии — округ поражен таким назначением — прямо со школьной скамьи, и не хочет, т. е. не то, что не хочет, а медлит утверждать, но т[ак] к[ак] директор — Георгиевский, то спорить нечего. Да, был тут Л. Л. Марков, привозил сына определить в путейцы, да на экзамене дело не выгорело, и он очутился юристом. Тут ему и место.

Ты спрашиваешь про мое жилище — я в третьем этаже — окнами на Бассейную (через двор). Сегодня дождь, а вообще было ясно, но холодно, так что у меня вчера протопили. <...>

Спасибо за список книг. Я составил каталог своим в книжке с алфавитом. Приписал и эти. Теккерея у меня не было, не знаю, чей. И что за «Энеида»? Латинская? Вайца я получил и еще Ловенфельда, который только что вышел.[47]

А затем хочу еще досказать про Лаппу (который не имел ничего общего с Лаппо-Данилевским). Он много говорил про свое учительство. Находит, что это дело — именно в старших классах, с чем я вполне согласен — очень живое и интересное. Но навел он меня на не совсем веселые размышления. Он считает, и правильно, что большую подготовку к этому — все-таки и для него совсем новому делу — он приобрел, давая много частных уроков. Я же — не давал никаких, что я буду делать, если сразу же получу класс, особенно младший, где, верно, труднее и важнее быть «педагогом». <...>

---

* Нет (*нем.*).

А про Сипягина ты, конечно, права. Но он будет очень полезен в китайской миссии, мож[ет] быть, не как духовник, а как человек, подготовленный к изучению и пониманию окружающей жизни, культуры, склада людей и их воззрений. Он послужит не церковному, а русскому делу. Все-таки у меня рука на него не поднимается.

Д. 1. Л. 97—99 об.

30

4 октября

Дорогая мамочка! Получил я посылку с шахматами и, кажется, Женькиными фартучками. Когда я передам их, не знаю, я давно не видал Ефремовых, и прежде всего потому, что жаль терять праздники, когда можно утром позаняться писанием. <...>

С работой моей все так же — пишется очень маленькими дозами, а материалы находятся все новые. Думал, в среду, что могу кончить, а на понедельник заказал себе 3 рукописи, сегодня же убедился, что нельзя не взять еще одной, которая даст мне чуть ли не имя автора, по крайней мере — части Никоновской летописи и тем позволит доказать ее большую древность, вопреки Платонову. Поддержит меня еще Соболевский, который по языку считает летопись Никона (при Алексее Михайловиче) более древней, чем Степенная книга Макария (при Иване Грозном). И я убежден, что это верно, т. е. убедился только сейчас, сверяя свои заметки со Степенной книгой.

Ну их! В понедельник иду я по Невскому в университет — вдруг извозчик, на извозчике кладь, чемоданы, а между ними сам Владимир Шенгер. Приехал и первым делом спраздновал трусу, как большая часть наших кавказцев и множество других студентов. Дело в том, что по правилам мы должны все предметы — полукурсовые испытания, богословие и язык — сдать в первые шесть полугодий. Это не исполнялось; многие сдавали на 4-м курсе. Но юридический факультет, самый беспорядочный, получил за это строгий выговор от министерства — и новая строгость чуть-чуть не обрушилась на наш курс.

Конечно, нельзя думать, чтобы всю эту компанию правда исключили — было бы несправедливо давать новым строгостям обратное действие. Ну, а страху нагнали. Володька-то полукурсовые сдал, но ни богословия, ни французского языка — не сдавал. Но он хотя и шесть полугодий в университете, а, все-таки, ведь только на V семестре, так что, по-моему, никак не подходит под министерские правила. <...>

Д. 1. Л. 100—101 об.

31

11 октября

Мамочка, в конце моих новых знакомств, возникших по поводу моей еще не существующей работы, ergo знакомств «ученых», кажется, будет знакомство, excusez du jeu, с Бестужевым-Рюминым, если только я не испортил дела. Читал Лаппо — он читает историографию, и курс обещает быть очень содержательным — и упомянул о некоем Селлии. Этот Селлия преинтересный малый. Жил он в прошлом веке — вот откуда я начинаю историю своего, может быть, и не предстоящего знакомства с Б[естужевым]-Р[юминым]! — и был протестантским пастором и богословом. Путем богословской учености он пришел к православию, выучился русскому языку и постригся в монахи в Александро-Невской лавре. Тут он всего больше занимался русской историей и собрал много известных рукописей, а, между прочим, нашел и ту летопись, которой я там занимался и которую, не в обиду покойнику, — отмечу в работе своей — к[а]к никуда не годную. Ну-с, по поводу Селлии я и спросил Лаппу, не знает ли он, где найти известий о том, откуда Селлия брал свои рукописи, — а он спросил, на что мне — и узнав, что мне нужны кое-какие сведения о летописях — между прочим, я, кажется, писал тебе, что вот два месяца гоняюсь за рукописью, принадлежавшей Екатерине II, и не могу найти, — Лаппо и говорит: «А давайте мы как-нибудь вечерком сходим к Бест[ужеву]-Р[юм]ину» — я, конечно, обрадовался, а потом замялся: что, мол, как же так и все такое. Лаппо и порешил, что спросит сперва Бестужева, а в понедельник скажет мне. А было бы любопытно.

Только смутил меня Куманин, говорит, что Платонову может не понравиться — он Лаппу недолюбливает, а с Бест[ужевым] и сам знаком, так что ему может не понравиться, что я помимо его туда попаду, если попаду. По-моему, это неумно, ведь Лаппо мне предложил — так не отказываться же мне. Впрочем, возможно это, потому что мне показалось, что Платонову не понравилось, когда я передал свои беседы с Соболевским. Постараюсь рассказать ему это все так, чтобы вышло ловко: недаром меня мои приятели «мошенником» зовут, т. е. за избыток такта в некоторых случаях.

Платонов читает, т. е. только что начал, специальный курс по истории русского права в Московский период — курс очень интересный, пот[ому] что тут много нового накопилось, а еще потому, что тут Платонов встречается с Сергеевичем, который маленько поотстал, т. е. не принимает новых выводов больше из упорства. Вообще в университете что-то свежее — читал вступительную лекцию по древней истории очень юный и очень талантливый субъект Покровский, начинают читать Гревс, Середонин — все новые и хорошие силы.

А недавно я был у Корсиньки. Так именуется у любителей русской музыки Н. А. Римский-Корсаков. Пошли мы с Шенгером просить ложу на первое представление новой его оперы «Млада» (идет 20-го). Записал очень охотно. Ай да мы. Затем, Майков наконец подошел ко мне в библиотеке, расспросил, чем я занимаюсь, ничего не сказал, п[отому] что, видно, эти летописи ему незнакомы, зато сходил к иже в лысых отцу Афанасию Бычкову спросить об одной рукописи, о которой у нас с Платоновым коренное разногласие — оказалось, оба они и М[айков], и Быч[ков] за меня, а Платонову даже советуют «подумать». Что еще? Был я у Куманиных, даже обедал у них, по случаю какого-то особенного привезенного из Москвы поросенка, причем вышло маленькое qui pro quo:* говорили о поросенке, а дядя Куманина (кстати, он недурно сострил про Витте: «Le nouveau ministre vient de se marier pour avour un nouveau nez»)**— любопытный тип, онемеченный долгою службой в Берлин[ском] посольстве etranger aux affaires*** — не дослышал и спрашивает меня: разве я из Москвы недавно приехал? <...>

Ходят у нас слухи, что экзамены будут уже в апреле, п[отому] что на весну непременно ждут колоссальнейшей холеры. Откуда это взялось — не знаю. Шелапуты еще не прогорели, п[отому] что ставят новые оперы: шел «Каменный гость», шла «Майская ночь».[48] Газеты превозносят! Goldne Tressen — nichts zu essen!**** <...>

Д. 1. Л. 102—105 об.

32

13 октября

<...> В понедельник Лаппо-Данилевский сказал мне, что Бестужев-Рюмин ничего не может сообщить мне полезного, но что сходить все-таки можно, потому что «он очень образованный и очень милый человек». Я, конечно, сказал, что очень рад и премного благодарен и т. д. Вечером был у Юлии Петровны, которая велела тебе кланяться — в ответ на твой поклон. Она все хандрит, потому что недовольна работами, хотя Цейдлер находит, что у нее они очень хорошо идут. Это странный характер по какому-то невероятно развитому недоверию, почти презрению к себе. Право, я не преувеличиваю, выражаясь так: сила этой черты иной раз в тупик ставит, особенно, когда знаешь, к[а]к она избалована отношением и семьи и окружающих. Бывает! <...>

Ты, мамочка, не поняла моих слов о работе — я думал кончить 7-го работу в Пуб[личной] биб[лиотеке], т. е. занятие по рукописям и собирание материала. А в писании работы я еще ой-ой как недалеко ушел. Успеть-то успею! Затем — разве я редко и мало пишу? Кажется, нет? Почему же ты спрашиваешь: «разве мне некогда писать» и т. п.? Ты спрашиваешь еще о Шенгере. Про Тифлис он ничего особенного не рассказывал. Верно, по газетам вы знаете, что Евгений Марков расхвалил гимназию брата — что, мол, первая гимназия в России и т. д. и даже что там так ведут учеников, что «тупых» — нет. Довольно глупо. Газеты указали на некоторое неприличие рекламы; «Новое обозрение» написало, что расхвалил 1-ю гимназию «г. Марков, не директор, но его брат»; мой товарищ Остроумов напечатал письмо, что большей частью того, за что хвалили гимназию, она обязана Дрбоглаву — это несомненная правда, и что во всех этих отношениях 2-я гимн[азия] теперь если не лучше, то никак не хуже 1-й. А почин во всем — Желиховского, это он забыл добавить.[49] Вот взбесится Лев. И поделом. Наша гимназия брала эффектами, но преподавание — сама знаешь: кроме латыни (и, пожалуй, черниковских уроков) — никуда не годилось. Про отца Шенгер говорит, что он в восторге от лечения харьковского Ковалевского — и тот обещал, что он вполне поправится, если будет строго исполнять предписания, что не делается. Ковал[евский] — большой, очень большой талант по психиатрии и важен для историка книгой «Психопаты на троне»: книга издана за границей (есть клочок под тем же названием и в России — но это не то) и если бы ее достать — не знаю, как я рад бы был, только трудно.[50] <...>

---

* Недоразумение (*лат.*).

** Новый министр только что женился, чтобы получить наследника (*фр.*).

*** Посланником (*фр.*)

**** Золотые галуны, а есть нечего (*нем.*).

Д. 1. Л.106—109 об.

33

21 октября

Только что я получил твое письмо, дорогая мамочка, и спешу ответить, потому что, кажется, с неделю не писал. Прежде всего, маленькое недоразуменье: ты пишешь 16-го, что прочла о крахе Ип[полита] Петр[овича], а я 17-го получил письмо от Наташи с известием, что они еще живы, п[отому] что Чайковский с Сафоновым решили выручать и найти денег. Газеты ли врут или* в один день — да нет, мои известия свежée, потому, что ты читала перепечатку, значит, это просто услуга какого-нибудь приятеля, пустившего утку. Писала мне Наташа по следующему поводу: предстоит юбилейный спектакль «Руслана». Я и обратился к Ип[политу] Петр[овичу] с просьбой помочь мне попасть на него. <...> Был я вчера на «Младе», новой опере Римского-Корсакова,[51] в ложе с Шеффер. Музыка местами хороша, а местами слаба. Больше, верно, не пойду. Но постановка дивная. Есть там сцена, где является тень Клеопатры (это в опере на сюжет из жизни полабских славян — либретто неимоверно глупое). Эта сцена: египетский вид, огромный сфинкс, у ног которого лежит Клеопатра, какая-то новая танцовщица, цыганского типа, необыкновенно типичная для роли, кругом хор — и все это залито красноватым светом. Словами не опишешь, но очень эффектно. И в других актах есть дивные картины. Первый раз я понял, что в опере живописный интерес может стушевать музыку. Но странно, до чего я отвык от театра. Мне дико было смотреть на театральные жесты, на балет, так что первый акт я был не в духе и жалел, что пришел на это ломанье, и только начало второго акта — хорошая сцена народного гуляния с выкрикиваниями, очень красивыми — разносчиков и торговок — меня помирила со сценой. <...>

С работой моей довольно благополучно — она близка к концу, потом надо будет переписать, а в начале ноября думаю подать. Подавать надо без фамилии, а под девизом, а фамилию в конверте, и не Платонову, который официально не должен знать, кто пишет, а в канцелярию университета. Вчера у нас была первая лекция Гревса: он посвятил ее памяти Ренана и говорил так задушевно и хорошо, да еще о таком сюжете, что мы удивились: не привыкли мы к этому. После лекции некоторым из нас пришло в голову — не достанется ли ему за проповедь идей Ренана, которого, по его словам, все должны знать и любить как представителя истинного христианства, апостола будущей религии. И это в то время, как в Петербурге ходят слухи о новой «реформе» в виде уничтожения присяжных. Говорят, будто предлагали провести эту «реформу» Манасеину — тот отказался и министром быть на таких началах (это маловероятно, по-моему), предложили Муравьеву — тот министром быть без присяжных находит возможным, но почин «реформы» не желает брать на себя. Теперь какой-то Безродный берется и министром быть, и какие угодно «реформы» проделать. Если это правда, то довольно занятно — не введут ли у нас поголовной порки всех обывателей по субботам? А право, наше изумительное «общество», радующееся на кунштюки Баранова и сокращение «жидов», вполне бы этого заслуживало и конечно не имеет права ругаться, если вместо присяжных судить будет исправник. Я рад, что мне суждено быть бездельником, т. е. вне прямо практической деятельности. Хорош бы я был в ведомстве юстиции без юстиции! Говорят, что и преподавание в гимназиях, особенно истории, становится тяжелым. Ну, Бог милостив. <...>

---

* В рукописи пропущено слово.

Я продолжаю кутить — был у Платонова, у Цейдлера, у Шеффера, воск[ресным] днем на выставке, а вчера в театре — все это за неделю! Хорош.

Д. 1. Л. 110—113

34

28 октября

Дорогая мамочка, начну с нового дела: есть в Харькове на Рыбной улице в доме Иванова некий Александр Рафаилович Янсон, председатель конкурсного управления по делам Полуехтова; у него, по указанию профессора Бузескула, надо справиться — существует ли в листах не вышедший в свет второй выпуск четвертого тома лекций М. Н. Петрова; если да — то можно ли приобрести эти листы.[52] Надо прямо сослаться, что к нему направил петербургских студентов пр[офессор] Бузескул, к которому мы обращались письменно с этими вопросами. В случае благоприятного ответа желательно знать: сколько этих листов, что они могут стоить и на какое число экземпляров можно рассчитывать. Если это не очень затруднит тебя — узнай через кого-нибудь. Относительно Ковалевского — не знаю; Шенгера я еще не видал; может, все это действительно «одно мечтание». Да Бог с ней! Теперь мне начинает иногда приходить в голову мысль об экзаменах. Эти проклятые срочные работы! Непросто за них взяться! Мысль об экзаменах несколько притупляет интерес к «постороннему» чтению. Впрочем, пока это выражается в том, что я занимаюсь почти исключительно таким чтением. Читаю последнюю книгу Ренана «Feuille detaché» — сборник разных мелочей, легких, остроумных, свежих и веселых. Затем приобрел, в кредит, книгу киевского проф. Иконникова «Обзор русской историографии» — что-то 2 тысячи страниц в двух огромных томах.[53] Книга, по словам Платонова, не только необходимая, но просто неизбежная. И действительно, разрезая ее, я сразу наткнулся на указание той рукописи, принадлежавшей Екатерине II, которой мне так недоставало. Она в рукописном Отделении Академии наук, а оно года 2 уже заперто. Но Васильевский обещал составить протекцию. Закинул я еще удочку в Эрмитаж через Куманина и Сомова, их знакомого — помощника Кондакова по «хранению» Эрмитажа. За этими двумя оговорками — работа моя, строго говоря, окончена, т. е. написана вчерне вся. Разве кое-какие дополнения в примечаниях понадобятся, которые будут сделаны прямо начисто при переписке. Теперь эта черновая в таком хаотическом виде, с помарками, переделками, таким неразборчивым почерком писана, что посылать ее тебе, когда перепишу и подам чистовую, не стоит. Верно, прочтешь в печати, когда и если она удостоится этой чести, предназначаемой Платоновым. А то пришлю чистовую, если мне ее возвратят. В университете теперь интересно — я уже писал тебе о наших доцентах. Зато профессоров — пропускаю: Кареева, Введенского. Днем лучше пишется; теперь, может быть, стану аккуратнее. Днем лучше пишется еще потому, что вечером меня все-таки часто нет дома: на этой неделе, впрочем, только два раза.

А сегодня я только что вернулся от Платонова — ты знаешь, что у него среды. И в эти среды, кажется, при некотором старании, можно внести оживление и даже музыку. Являются союзники. Посмотрим.

Ты спрашиваешь, как справился я в этот месяц с финансами? Плохо. Теперь у меня — конечно, благодаря библиомании — четырнадцать руб. долгу (4 р. Шенгеру и 10 — за книгу Иконникова), а в кармане 12 р., которые мне дали Ефремовы на покупку ложи на послезавтра. В перспективе: покупка, неизбежная, вышедшего курса Кареева, по которому надо готовиться к экзаменам, да еще подписка на целых три литографических курса, подписка, с которой медлить нельзя, а то прозеваешь нужные вещи. Постараюсь извернуться, хотя и в ноябре, несомненно, не дотяну с такими тратами до 1 декабря. Но ты этим не смущайся — сие не суть важно, разве что попрошу выслать декабрьские деньги не к первому, а по получении жалования, если это папе все равно. <...>

Насчет присяжных, по-видимому, глупая утка; уткой же оказывается и мое знакомство с Бестужевым, по крайней мере Лаппо молчит, а не мне же начинать? И не надо. То, что ты пишешь про министерство, пожалуй, утешительно: все-таки «движение вод». Авось что-нибудь да выйдет для папы, которому в Харькове, конечно, не по душе. Дай Бог. <...>

Д. 1. Л. 114—117 об.

35

7 ноября

<...> В театре (на «Евгении Онегине») мы были в ложе — Катя, барышня Гартвиг — или сестра m-me Гартвиг — не знаю ее хорошенько, Липинские (офицер с женой), Юлия Петровна и я. Остались очень довольны, разбранили Фигнера за манеры гостинодворского приказчика, козлетон и аффектацию; восхищались Яковлевым, вызывали Чайковского, который оказался в театре. А, право, «Онегин» больше содержанием и драматизмом подкупает! Зато не надоедает. Мне предстоит еще попасть на «Руслана», на юбилейный спектакль. <...>

Был я еще у академика Куника. Папа, верно, помнит это имя из времен своей юности! Я с удивлением узнал, что Куник еще жив — тот самый Куник, который вместе с Погодиным олицетворяют «мрак времен» «норманнского» периода. Ходил я к нему с поклоном, чтобы он дал мне из Акад[емии] наук, библиотека которой уже несколько лет заперта, книги и рукописи свалены в кучу — словом все в порядке! — дал мне одну рукопись, я уже писал об этом. Куник, выбранив Академию, нескольких академиков, новые порядки, посетовав, что теперь ничего и не найдешь, обещал поискать и сообщить, если найдет. Для этого записал мой адрес. Не знаю, выйдет ли что-нибудь из этого, но Платонов обещал через Васильевского напомнить Кунику. Необходимости в этой рукописи мне нет, настолько даже, что я, не дожидаясь, переписываю работу. Содержание этой рукописи я знаю по ее печатному изданию, и мне нужно было только знать, где она и что с ней. Важнее получить ответ из Эрмитажа, но там еще ничего не добился и ждать тоже не буду. Можно будет либо добавить потом, или переписать один лист, если бы оказалось, что-ниб[удь] ценное. Писал я еще в Москву, директору рукописного отделения Румянцевского музея — нет ли у них чего, но ответ еще не получил. Вот и все мои новости. В университете все та же мода на Гревса — и это хорошо, потому что достоинства Гревса серьезные. Влиянием он мог бы — для этого у него есть все данные — возродить времена Грановского, право! Уходишь от него всегда с впечатлением, с мыслями в голове и с особенным настроением. Молодец! У Платонова был две среды подряд, да еще в понедельник заходил. Куманин говорит: «Вы с ним совсем приятели». И в доказательство этому Платонов донимает меня тем, что все норовит усадить в гостиную, а не в кабинет, а это значит поддерживать беседу с пятнадцатью или около того курсистками. Согласись, что это невыносимо. Ну две-три — а то пятнадцать. Я не помню ни одной, и каждая новая встреча ставит в глупое положение: разбери тут, встречался раньше или нет! Мотивирует свою злокозненность Платонов тем, что, мол, у преподавателей жен[ских] курсов обязанность; женатых еще можно пускать в кабинет, а те, на кого еще могут быть надежды, обязаны присутствовать в гостиной. Но ведь я из безнадежных! А в кабинете гораздо интереснее: тут можно занятных людей встретить. Последний раз познакомился с доцентом Форстеном — и он обещал мне какие-то лекции, по которым удобнее подготовиться к экзамену, чем по Карееву. И тут опять наталкиваешься на английский язык; лучший и, говорят, совсем удивительный учебник по всеобщей истории, англ[ийский] — Гарднера.[54] Когда б я знал! Когда б я знал! <...>

Д. 1. Л. 118—121 об.

36

11 ноября

<...> Затем к моим странствиям надо приписать визит к Форстену. Это наш доцент по всеобщей истории — очень симпатичный и приветливый — очень дельный и знающий. Он читает историю Реформации и вообще специальные курсы по немецкой истории. С четверга я буду слушать у него историю Ганзы, которую он превосходно знает как специалист по Балтийскому морю. Любопытная натура — упорный, трудолюбивый швед, без особенной широты ума (за что его не любят на женских курсах, где он читает общий курс), но не сухой, а прекрасный педагог, один из лучших учителей в Петербурге. Он отличается редким умением увлекать учеников — не знаю чем, кажется, любовью к делу, к которому относится всею душою. Он говорит, что преподавание — единственное, что ему удалось в жизни. Он из учеников образует свой кружок, стоит с ними на товарищеской ноге, знает их хорошо и все их личные и домашние дела, к нему идут за советом и помощью, даже материальной. В остальном он неудачник. Профессура, ему обещанная, как-то попала к Карееву: Форстен был за границей. Слушают его мало, и в университете, не говоря уже о курсах, у него нет учеников. Потерял он где-то руку, а жену нечаянно отравил, дав ей сулемы вместо лекарства. Я ходил к нему за лекциями, которые он обещал мне одолжить. Он наговорил мне всякой всячины, которую слышал про меня, очень интересно рассказывал про занятия свои за границей и про учительство. Прибавил, что на будущий год хочет раздавать уроки свои, и предложил иметь меня в виду — я, конечно, с радостью поблагодарил, потому что преподавание теперь кажется мне интересным, а возможно быстрое и прочное самостоятельное положение — необходимым. О, я теперь большой практик! Тебе эти слова не понравятся, но полемику с мотивами отложим до свидания. Я не согласен с мнением, что бумага «все терпит».

С работой моей — ничего, только случился курьез. При переписке я в конце ее написал совсем не то, что в черновой, и получил иные выводы. Это ничего, вышло много лучше. Теперь надо присочинить конец и составить примечания, которых, пожалуй, будет столько же, сколько и текста. А про экзамены — все разные толки. Один профессор-юрист заявил на лекции, что в апреле уезжает, потому что в марте все покончит. И помимо этого о приезде на праздники нечего и думать. Зубрить надо, зубрить много, очень много, так много, что фр! А это ничего; обозреваешь предмет целиком, заглядываешь в темные — ой, какие темные и как много таких — уголки, подводишь итоги, ужасаешься неполноте своих сведений, глубокому невежеству по многим вопросам — все это и полезно, и интересно, и даже весело. Уменье найти веселое в зубрении! Да, где не найдешь его, была бы охота! <...>

Д. 1. Л. 122—124 об.

37

16 ноября

«Пиши, когда можешь!». Да в том то и дело, дорогая мамочка, что я всегда могу писать, и если бываю неаккуратен, то вполне по собственной безалаберности. Время летит так быстро, так набито дельными и бездельными впечатлениями, что я потерял всякий счет ему и никак не могу сообразить, когда что было, давно или недавно! Теперь все определеннее говорят о том, что на Рождестве каникул не будет, а это значит — предстоят ранние экзамены. Это палка о двух концах. Есть и хорошая и дурная сторона. А вот нехорошо то, что мы с Кареевым поссорились. Назначили лекции Форстена в тот же час, что и его, — он обиделся и, кажется, сказал что-то резкое Форстену. А этот чем виноват? Совестно перед ним, что подвели его, а Кареев — чванное животное. Не припомнил бы он нам этого на экзамене! А таких «нас» — трое, и он всех знает. Зато с Платоновым не ссоримся. Сегодня на практических занятиях я сунулся возражать на реферат, который читался почти 4 часа. Оставалось минут 10 — я успел только начать, и отложили до понедельника. Придется ораторствовать и, по возможности, наполнить по крайней мере час. Речь идет о «взглядах на личность Ивана Грозного» — тема неисчерпаемая, а у меня есть свои свежие данные из рукописей. Что касается моей работы, то завтра она будет готова к подаче. Вышло 40 стр. — в лист — текста и стр. 25 примечаний, с текстами, ссылками и разными мелочами. В общем, ничего, мне ее подать не совестно. А у меня явился конкурент: кто-то уже подал Платонову работу о «Царственной книге». Могу медали и не получить, а? Лично мне, ей-Богу, это было бы все равно, но тебе было бы неприятно, да и не одной тебе.

Ты еще про Гревса спрашиваешь. Он читает историю римской империи. Он вовсе не платоновец, а ровесник его и ученик Васильевского. Относительно Платонова я не нахожу, чтобы он умел распознавать людей, если только он иногда не притворяется. Насчет курсисток могу сказать, что — о, ужас! — мне эта порода не по нутру. Правда, много увлечения делом, но какого-то несуразного. Кидаются на первую попавшуюся идейку, радикальничают — все это легковесно, как и студенческие увлечения «идеями» из последней прочитанной книжки — есть такой тип, преимущественно из естественников. Это les beaux restes* студенческих традиций 60-х годов. Эх, плохо, коли люди своим умом не думают. Кричат об «идеалах», а глянь — через год — из другой оперы! Правда, что я брюзга — вроде князя Мещерского? Я вообще не люблю «патентованных» людей, которые с патентом ума, учености и начитанности — так по улице и ходят. Легкомысленный у тебя сын, мамочка! Как же не легкомысленный: два дня подряд Бог знает когда домой приходил.

---

* Прекрасные остатки (*фр.*).

На вопрос о числе студентов (кстати, студента Карповича в университете нет; куда он девался?) ответить не так легко. Всего у нас — 2042; в Москве — 3396; в Киеве — 2110; Дерпте — 1682; Варшаве — 1190; Харькове — 977; Казани — 757. Из наших 2042-х: филологов — 123, мат[ематиков] — 436; ест[ественников] — 311; вост[очников] — 96; юристов — 1076. А вот сколько на курсе, не ручаюсь: кажется, 15 у нас, на четвертом, т. е. 9 историков, 4 словесника и 2 классика.

Напрасно вы так верите слухам о министрах. Тут все разные. Или ваши сведения из верного источника? <...>

Д. 1. Л. 125—127 об.

38

Без даты [ноябрь 1892]

<...> Сегодня я ораторствовал чуть не два часа на практических занятиях у Платонова по поводу реферата об Иване Грозном. Опровергать референта было легко, но отсебятина все-таки не совсем убедила. Да в таких случаях редко удается до чего-нибудь договориться. Работы я все еще не подавал, хотя делать мне с ней больше нечего. Почитываю кое-что к экзамену, хотя на усидчивые занятия это меньше всего похоже. И как это люди учатся? Вот собираюсь учительствовать и даже заранее начинаю понимать интерес в учительстве, если оно пойдет, — интерес несомненно больший, чем в чтении лекций, а не понимаю школьной работы, ученического труда. Я ведь исправным школьником и «хорошим учеником» никогда не был — хватал верхушки и ими пыль в глаза пускал! А что я теперь буду делать? Брр... сколько вопросов, и как мало ответов... Моя беззаботность тает, тает, и не под чем иным, как под давлением очень хорошего настроения. Мне страшно потерять это настроение и эту беззаботность и все, чем так хорошо живется теперь, — потерять при «вступлении в действительную службу». Это малодушие, но, право, игра большая — а шансов на моей стороне немало, но я все был бездельником, а теперь надо человеком стать и сразу практику одолеть. Главное, заяц, за которым гонишься, не один! <...>

Д. 1. Л. 128—129 об.

39

25 ноября

Дорогая мамочка! Невеселый тон твоего письма еще сильнее заставил пожалеть, что еще не скоро придется мне обнять дорогую мамочку! Ведь как подумаешь, что она такое для меня! Что только есть во мне сколько-нибудь хорошего — все это дело рук твоих. Недаром это засвидетельствовано приложением казенной печати в моей официальной характеристике. Это сознание много значит для меня. Точно шапка Мономахова. Noblesse oblige* — а моя noblesse от воспитания маминого. И иногда не легка эта шапка Мономахова — не по Сеньке шапка. Ну, да оставим эту философию. Сенька снесет свою шапку — на этом даю свою руку. Что мне написать про себя новенького. Мне как-то не удается всего писать: то упустишь, а то — не знаю что. Все это оттого, что не одной тебе я пишу. <...>

Адя издает серию древних авторов с переводами и примечаниями; кажется, ловко повел дело — сотрудников набрал сведущих, газеты хвалят. Жулик он форменный. Как понравится тебе, например, такое объявление (на обложках новых изданий) о той мизерной брошюрке против «Крейцеровой сонаты», которую ты видела: «Крейцерова соната и ее учение. Роскошное издание на веленевой бумаге в 2 краски. Цена 1 руб.». Я думал, что это другое что-ниб[удь] — оказалась эта самая брошюрка в $^1/_{18}$ листа — 26 страничек глупого текста и мизерного вида. На мой смех он ответил: «Это для провинции». А ведь он искренно удивится, если сказать ему, что он жулик. Усиленно звал меня к себе, я, конечно, обещал и, конечно, не пойду. Чего зря в грязь лазить.[55]

Да, насчет того, что не будет праздников — бабушка надвое сказала. Платонов уверяет, что будут, по крайней мере у нас. А насчет «многих трудов» моих — это одна из неисправимых гипербол моей мамочки. Я трудиться не умею. Беру то, что легко дается, и везет мне в том отношении, что дается все, что нужно для моей специальности. Более или менее, конечно. Эти экзамены покажут. Говорят, самым самоуверенным приходилось сознаваться, что трудно. Посмотрим. А насчет Кареева ты напрасно. Не съест. И не может, и не станет. Этого в нем нет. <...>

Д. 1. Л. 130—131 об.

40

28 ноября

Дорогая мамочка! Был я вчера на «Руслане». Но так как надеялся я на ложу, т. е. на компанию, а пришлось идти с Шенгером, да и то не вместе сидеть, то вышло совсем не то. Конечно, этот пятидесятилетний красавец удивительно хорош и свеж. Поставлен чудесно. Одна декорация такая, что как увидали ее, так разразились аплодисментами. Эта сцена в чертогах Черномора. Огромная лестница с колоннадой и украшениями в индийском вкусе и блестящее шествие по ней. Эталон роскошных костюмов! И все изящно, а не только роскошно. Главное, что мне нравится в Мариинском театре, — это удивительное мастерство освещения. Постановка щеголяет художественными живописными эффектами, удивительной гармонией и мягкостью тонов — красивые пятна красок больше всего действуют в ней. В музыкальном отношении «Руслан» шел, как и всегда в Мариинском театре, — посредственно. Солисты, кроме чудесной Славиной, слабы — безголосый Мельников, такой же Стравинский, детский голосок Мравиной — не дают ансамбля в трио, квинтет и т. п.; отдельные

---

[*] Положение обязывает (*фр.*).

номера, конечно, им удаются. Медведев пел Финна — старался и был поэтому еще хуже, чем всегда. Я с удовольствием слышал вокруг себя возгласы во время его пения: «отвратительный», «что за гадость» etc. Попал я к середине первого акта, п[отому] что начали в $^1/_2$ 8-го, а я думал — в 8, а с последнего акта ушел пить чай к Шенгеру, и проболтали мы с ним до 3-х часов. Занятна была публика в театре — весь beau-monde,* лучше сказать вся belle canaille.** Последнего слова и даже в русском переводе питерские верхи вполне заслуживают. Как цвет этой canaille были 4 или 5 министров. Видел я Витте — чуть не плюнул — н-ну, физиономия! и нос сделан прескверно. Видел жену его — старая, увядшая, с злым выражением! А Витте гуляет под ручку с ее бывшим покровителем Оболенским. Был тут и «самый скабрезный человек в Петербурге» Тертий Филиппов, который как-то Горбунову — уже кажется этот-то по части анекдотов специалист! — что-то такое рассказал, что тот возопил: уже и выдумаете же Вы гадость! А как посмотришь на них! Прометеи, решительные Прометеи! Это наше «правительство». А? Впрочем, это-то мелочи — но за ними-то больше ничего нет и кроме как belle canaille — да и то вовсе не belle, не distingué*** — вся эта среда ровно ничего из себя не представляет. В этот же вечер были у меня Ефремовы; не застали, конечно. Я телеграфировал им, что билета нет, а что я иду — они не знали. Желают ложу во вторник, но поздно заявили — не достать теперь. Идет «Ромео и Джульетта».

Что еще? Работу подам в понедельник или побояться тяжелого дня? Это, конечно, шутка. Я бы за нее, пожалуй, медали не дал. Если ценить количество и качество потраченного труда — она ничего не стоит. Мои шансы в ценности результатов, которыми я обязан случайным находкам. Узнаю я о результатах только в феврале, а не раньше, как сперва думал.

А нового в университете только то, что Форстен прекратил свой курс после инцидента с Кареевым. Относится он к этому с редким добродушием, хотя конечно насмехается над Кареевым. Я прочел первый том кареевского курса и остался им доволен. Группировка иногда неудачная, приходится из разных мест выбирать данные об одном и том же, но, в общем, читается легко и с интересом. Второй том по признанию Форстена — много лучше. Слава Богу! Ведь по этому нам готовиться. Но этот второй том еще не вышел, и я не знаю, за что пока взяться. Embarras de richesse**** — столько дела, что глаза разбегаются... Из товарищей большая часть еще к экзаменам не готовится — это меня утешает. Главное, не знаешь, что именно нужно и какие найти руководства... Теперь печатается курс истории философии — перевод с немецкого наших студентов, по которому будем готовиться. Это даже приятно. Все «приятно», да «приятно». Или и правду хорошо жить на свете? <...>

Д. 1. Л. 132—134 об.

---

* Лучшее общество (*фр.*).

** Отборные негодяи (*фр.*).

*** Не лучшие, не избранные (*фр.*).

**** Больше, чем надо, переизбыток (*фр.*).

41

1 декабря

Хочется мне, мамочка, ответить тебе на слова твои о профессорстве, хотя мы тут с тобою едва ли поймем друг друга. У тебя перед глазами красивые времена Грановского и неисправимый идеализм 60-х годов с возвышенным взглядом на молодое поколение. На самом деле, все это несколько иначе. Широкое влияние и большая популярность профессора — палка о двух концах. Право, мне не без огорчения делать столь скептический вывод, но это так. От такого профессора, говоришь ты, ведь ждут увлекательного слова. Да, именно «слова». Широкие обобщения и взгляды, возвещаемые с кафедры — для самого проф[ессора] полные реального смысла — я беру лучший случай, — для массы остаются красивой фразой, потому что много надо подготовки, чтобы усвоить весь смысл таких обобщений. А если есть подготовка такая, то ведь обобщения свои будут! А если нет ее, то влияние профессора на большинство неподготовленных слушателей — прямо отрицательное: усваиваются на слово, по форме общие места, повторяются, и целое море фразерства, принимаемого за убеждения, делает людей такими самоуверенными, нетерпимыми, какими не могут быть сколько-нибудь серьезно образованные люди и какова большая часть любителей блестящих лекций — они уже начитали университетского quasi-либерализма, например, на сходках и в студенческих кружках. Ты, верно, знаешь, как все это в сущности полуграмотно! Говоришь ты, что я могу поговорить на эту тему с Форстеном и Платоновым. Говорил, т. е. сами они говорили, что ценят отдельных учеников, двух-трех в аудитории, для них и читают, а привлекать массу — если и удается, хотя им это и редко приходится, но только и другие говорят, кого много слушают, напр[имер], Середонин — массу привлекать они не любят, публика из неспециалистов, т. е. ищущих времяпрепровождения и неподготовленных, их даже раздражает, п[отому] что сводит лекцию на спектакль. Именно на такой публике держался всегда «успех» любимцев типа Грановского, которого, по свидетельству Крахта, слушали с удовольствием, а учились у Кудрявцева и Ешевского; такова популярность в новое время на Андреевского или анатома Лесгафта. Все это фальшь, театральность, поверхностно. Ну, а спросишь ты, в чем же, по-моему, дело профессора? Дело большое и трудное. Хорошо не то что увлекать, а преподавать взрослым цельную выработанную систему воззрений; не бросать полупродуманные мысли, блестящие, бьющие в нос и кружащие головы импровизации, а говорить то, что выработано, доказано, как излагают математику. В основе исторического курса должна лежать система общих, философских, что ли, воззрений, которая должна дать научность каждому общему выводу или даже должна быть главною целью преподавания, иллюстрируемая историей прошлого. А чтобы стоять на такой почве, надо иметь такие ясные, выработанные, сведенные в систему воззрения, которые мало у кого есть, мало кто в силах их выработать. А кто смеет сказать, что мог бы этого достигнуть? Без того мало толку торчать на кафедре. Я по себе сужу. Кто из профессоров дал мне что-нибудь существенное? Чей я ученик? Кто повлиял на меня? Пожалуй, Введенский, философ, но не лекциями, а тем, что я из него прочел, да Васильевский — точностью мелкой фактической работы. Философская цель Введенского и научность Васильевского — вот что необходимо для порядочного профессора. Положим даже, что это могло бы быть достигнуто. Но как? Не менее как десятью — что ли — годами работы над собою, работы кабинетной. Можно ли профессуру ставить целью, программой всей жизни? Это идеал, почти мечта, которую можно, нужно иметь в виду, но в счет практических соображений для плана жизни вводить нельзя. Практичного тут и помимо того ничего нет, потому что с материальною стороною университет ничего общего не имеет. Какие-ниб[удь] средства он даст к тому времени — это в лучшем случае — когда десять лет философией профилософствуешь. А подготовка к научному делу и частные работы — в писаниях и печатаниях — тоже аксессуар к неизбежному главному делу, ремеслу — учительству. Итак, на вопрос, что я такое, надо отвечать — будущий учитель, если и оставят при университете, то подготовка к магистратуре, потом доцентура — это все entre autres,* а уроки не могут не стать делом моей жизни, как бы это дело ни пошло у меня. Остаться в Петербурге — более чем желательно. Достать же уроки — более чем трудно. Тут надо брать, что дадут, — латинский, греческий... Жаль, что Закона Божия не дадут — я бы его с увлечением преподавал и, ей-Богу, лучше наших попов. Так как я в сорочке родился — может быть, повезет и достану здесь уроки истории — авось слова Форстена не были обмолвкой, а что-ниб[удь] из них и выйдет. Но 3—4 урока может оказаться всем, что на первое время получишь. Впрочем, некоторые из последнего выпуска быстро подвинулись дальше. К сожалению, я не знаю хорошенько, как все это делается, а прямо спрашивать как-то неловко, рано больно. Можно, оставаясь в Петербурге, и строчить что-ниб[удь] — но это уж совсем темна вода. А в этой практической деятельности, в которой можно найти много интереса, если окажешься — а как отгадать это? — в силах вести дело хорошо, но тут может не оказаться места для работы отвлеченной, теоретической, цель которой те качества, какие профессору нужны. Говорю — профессору, хотя лучше сказать — ученому, потому что писать все-таки — если есть что — пожалуй, желательнее и существеннее, чем читать. Во всяком случае, второе и должно идти за и рядом с первым.

Все это фантазии и еще плохо выраженные. На деле все проще и мизернее — и незачем заноситься в облака, а надо личную жизнь устраивать, особенно когда пожить так хочется и в личной жизни, кроме науки-то, — так много хорошего и серьезного. Фанатиком научных занятий, кабинетным монахом, архивной крысой я не могу быть — в настоящем смысле этих слов.

Резюме: надо много учиться, не претендуя пока на высокое учительство профессора, и надо жить — ergo взяться за ремесло, которое в то же время хорошее и живое дело — учительство гимназии, и жить не в пыли архивов, а с людьми, с милыми, дорогими людьми. Это главное и ответственность житейская, то, что надо иметь в виду. А как вся эта жизнь сложится? Говорят, бывают с людьми случаи, когда они выучиваются молиться, я бы иногда готов был, если бы знал кому. Я — и мистицизм?!! Ну, буде врать-то. Отвечу еще на то, что ты пишешь. На журнал подпишусь на днях, может быть, завтра же. За известие о Куланже спасибо, хотя сейчас покупать не стану — у меня и гардероб-то в расстройство приходит, а я в этом месяце не сумею им позаняться. Разве я не писал тебе, что наши работы рассматриваются в конце января или даже в начале февраля? Неприятно было бы потерпеть фиаско. Я переменил свои вкусы — не так равнодушен. Мне нужен теперь успех. Ой, будет ли? Больно я как-то уверен был, и щелчок был бы заслуженным... но нет, нет, я не хочу щелчков! Теперь и экзамены меня занимают. Да, черт возьми, я должен хорошо их сдать. Что-то выйдет. Дай Бог нашему дитяти волка забодати. Прискорбно, что я все-таки продолжаю в глубине души считать этого волка не особенно зубастым. Если бы я знал по крайней мере, как готовиться! Что еще? Деньги в университет надо вносить в январе — хоть в конце. А знаешь ты, что государственные экзамены стоят 30 руб. — 20 р. в комиссию и 10 «за диплом». Не понимаю, что значит последнее. И вообще странно. А если провалят — назад не отдают! Напрасно! Не правда ли? Ох! можно ли столько писать! Это второе письмо тебе сегодня.

---

* Между прочим (*фр.*).

Д. 1. Л. 135—140 об.

42

4 декабря

Боже мой! Мамочка, новое столкновение с английским языком! Как досадно, когда в занятиях дойдешь до какого-ниб[удь] вопроса и даже знаешь, где искать ответа, и вдруг — пакость! — книга английская, на другие языки не переведенная. Zwei Mal Hundert Tausend Teufel.* Не смейся, мамочка, я, право, рассердился на это обстоятельство и в сердцах сел писать, хотя что-то уж очень расписался — хоть отбавляй. Начал, так надо что-ниб[удь] написать. Или то, что тебе donne á penser,** может быть несовместимо с пустяками? Э, мамочка, все ладно будет, да еще как! Брр... даже Платонов возмущен жизнерадостностью, корил меня, будто я разбрасываюсь, хотя в его устах это значит только, что он видит, как мало я похож на «усидчивого труженика», он вздумал даже пристращать экзаменами, но и к этому я отнесся весьма весело. Да: работу я — увы! увы! — работу я подал, скрепя сердце, перечел — не нравится: жидко — ну, и подал поскорее, чтобы с глаз долой. И уже вспомнил одну безграмотную глупость: написал дважды «оловянный карандаш» вместо «свинцовый». Как будто олово пишет! Ох, грехи наши тяжкие! Мамочка, где голова у сына твоего?

Зато внешний вид моей работы приличный — я снес ее сброшюровать и облечь в синюю обложку. Но девиз! девиз! Что может быть нелепее моего девиза! Даже непонятно, как пришла в голову такая ни с чем несообразная фраза! «Disjecta membra poetae»! Что это значит? Брр... даже переводить не хочется! — буквально: «разбросанные члены поэта» — это сказано про Орфея, мифологического греческого поэта, которого растерзали вакханки,[56] а я в тексте применил эти слова к несчастному летописному иллюстрированному своду, клочья которого мне пришлось собирать по разным библиотекам! Но кто поймет столь утонченную мысль? Всякий переведет: разбросанные члены автора, и всякий болван острить будет. Sancta Maria ora pro nobis!* Уф! даже устал! Столько глубоких причин для отчаяния! А его — ни следа! Неужели я прав, похваставшись Платонову, что меня ничем из седла не выбьешь? Неужели прав Платонов, склоняющийся к мысли, что я весьма легкомысленное существо? Неужели прав Васильев, заявляя, что я очень и очень «фривольный человек»? Неужели? Неужели?? Будет! я это письмо написал, не думая писать; сочти его опиской. Это и не письмо, а несколько междометий.<...>

---

* Двести тысяч чертей (*нем.*).

** Представляется (*фр.*).

Д. 1. Л. 141—142 об.

43

7 декабря

Для одной мамочки

Спасибо, дорогая мамочка, большое спасибо за твое письмо. Я знал, что мамочка не будет против меня. Только разве я не ясно высказал, что пишу после того, как получил ответ от Юлии Петровны? Ты предпочла бы, чтобы я сделал этот шаг по окончании курса. Ты, может быть, права. Теперь я вижу, что слишком много беспокойства внес в настроение Юлии Петровны, которая то говорит, что ничего из этого не выйдет, то говорит, что ей меня жаль (??!), что она мне мешать будет, и тому подобное; словом, разделяет твои тревоги и сомнения. Я искренне думаю, что обе вы не совсем правы. Вопрос сводится во всех этих волнениях — к материальному положению и моей, с позволения сказать, ученой карьере. Первый пункт, несомненно, серьезный и темный. Но таков он не только в первый момент по окончании курса, а и потом тоже. Дело в том, что, если бы я кончал курс, считая себя одиноким, я соображал бы свои планы совсем иначе, чем теперь. Мне нужно было знать заранее, что скажет художница. Не зная этого, я и через год был бы таким же непрочным в материальном отношении, как и теперь, потому что одному не то нужно, что вдвоем, да еще надолго ли «вдвоем». А теперь как сложатся дела? Заработок, на который можно рассчитывать, на первое время едва ли превышает рублей 50. Надо выяснить этот вопрос точно, говоришь ты. Но как? Неужели сказать Платонову и Форстену, что я — не один? До окончания экзаменов это кажется мне неудобным. Так что этот вопрос пока остается открытым, висит над душой у меня и у моей мамочки. У Форстена я был вчера, и он опять говорил сам, без всякого повода с моей стороны, что постарается достать мне уроки, передаст свои. Но спросить в упор, чем это может оплачиваться, язык не повернулся, и я думаю, что это было бы несколько бестактно. Время есть, и к весне я поговорю с ним откровенно. Затем, что считать minimum'ом, на котором мы жить можем. Я понятия не имею. Папа посулил мне оставить за мной то, что я теперь получаю, и тем более сделает это, если будет возможность, когда это будет необходимо. Но папина помощь должна считаться временною, случайною, чем скорее я добьюсь самостоятельности, тем лучше. Все это рассуждение, а больше ничего не могу сказать — но сколько? Их [деньги] можно доставать и потом, и не сразу, можно находить литературную работу. Но все это неопределенно, случайно, так что выяснить и то очень «отчасти» мой заработок мне, может быть, удастся только весной, а вернее, что вполне точно — осенью. Затем, надо папе писать. С этим я тоже не хочу торопиться. Время есть. И как написать? Мамочка, помоги, подскажи мне форму. А пока, пожалуйста, не говори ни ему и, конечно, никому, ни сестрам, никому, никому. Незачем. Этот материальный вопрос, пока неразрешимый, один только (только!!) и важен. А моя ученая карьера? Ты, по-видимому, не знаешь, что это такое. Положим, оставляют меня при университете. Это значит, надо готовиться к магистерскому экзамену и писать диссертацию. Прежде диссертация была всем, а экзамен — пустою формальностью. Теперь экзамен получил значение. Дают определенную программу — томов сто с лишним лучших исторических сочинений. В лучшем случае экзамен сдают года через 2—3. Тогда становятся «магистрантом», получают право читать лекции. Затем — диссертация: от выбора темы зависит, сколько времени на нее надо. Но minimum — 5 лет, а обыкновенно больше. Затем вы магистр. Т. е. — больше ничего. Сохраняете право читать лекции, если найдутся охотники слушать. Предполагается, что магистр пишет докторскую диссертацию. Но все это ученые степени, скажешь ты, а профессура? Профессура дается старшему доценту по вакансии. Так после Замысловского стал профессором Платонов, и я надеюсь, что не доживу до того, чтобы в Петербургском университете был другой профессор русской истории, т[ак] к[ак] это значит, что Платонов скончался или ушел. А ему повезло. Ему всего 34—35 лет, и он профессор, а Милюков, его ровесник — человек с крупным именем в науке — доцент. С материальной стороны, напр[имер], Милюкову университет не дал еще ничего; он ничего не получал и не получает. Вывод: ни магистерство, ни докторство, ни доцентура не составляют того, что мы зовем «положением», не дают обеспечения. Их практичность в рекламе — в большей легкости попадать в разные столичные учебные заведения. Вот что такое ученая карьера с ее житейской стороны. А настоящая ученая карьера — в научных занятиях, в своем личном развитии и изложении своих взглядов — печатном или на лекциях, в необязательных доцентских лекциях в университете. Первый способ высказываться, т. е. в печати, и лучше, и симпатичнее. Быть университетским преподавателем в настоящем смысле этого слова может только профессор, п[отому] что он читает общие, обязательные курсы и, главное, ведет практические занятия — два способа, которыми он создает своих учеников и, если он талантлив, — создает школу. Положение это лично для меня недостижимо, потому что я если даже буду доцентом, то после Платонова — приблизительно десятым или одиннадцатым кандидатом на кафедру, а это мыльный пузырь. Моя ученая карьера в моей голове. Если в этой голове есть что-нибудь, то что-нибудь и выйдет, а нет — так и нет. Во всяком случае, деятельность моя, та, которой я жить буду, — учительская и только. Я не такой преданный науке субъект, чтобы только ею наполнить свою жизнь — заметь: не профессурой, не преподаванием — а наукой, личными учеными занятиями. Это, может быть, мой недостаток, но я никогда этим и не жил.

---

* Святая Мария, молись за нас! (*лат.*).

Мамочка, я не совсем откровенен был с тобой. На твои вопросы об Ю[лии] П[етровне] я отшучивался, а, по правде сказать, наше знакомство с нею ровно 2 года составляет самую суть моей личной жизни, то, что давало мне и веселость, и энергию. Даже смешно, как, стоило мне долго не видаться, я становился апатичен и терял охоту заниматься. Так ничего не выходило у меня в Рыжове. Читал, чтобы время убить, а ничего не сделал. Ты ошибаешься, если думаешь, что мое теперешнее настроение может помешать занятиям. Во-первых, в нем почти ничего нового нет, а во-вторых, оно изгоняет мое легкомыслие, мое равнодушие к успеху, которое, ей-Богу, не было у меня напускным. Теперь я очень хочу и медаль получить, и непременно хорошо экзамены сдать. Теперь есть для кого стараться, а лично для себя я не мог бы. Словом, теперь у меня есть и смысл в жизни, и интерес к своей будущности, о которой до сих пор и не думал. Как оно сложится? Может быть, с бою, не без труда, но надо одолеть, потому что на мне большая ответственность, со мною будет связана другая судьба и, конечно, мне она дороже всяких наук и за нее-то мне немного жутко. Ну, да волков бояться — в лес не ходить.

Еще два слова. Юл[ия] Петр[овна] не уверена в согласии родных. Мне будет необходимо выяснить это помимо ее. Вопрос щекотливый. Я думаю, лучше спросить Петра Вик[ентьевича] от себя, как будто Ю[лия] П[етровна] ничего и не знает. А то становиться между ними страшно и слишком ответственная вещь. То, что ты пишешь про родителей Ю[лии] П[етровны], совсем неосновательно. Тебе, видно, трудно стать на ту точку зрения, с которой они смотрят на меня. У них в семье меня считают мальчиком, и никогда мысль о том, чтобы я посватался, наверное, не приходила и не могла приходить им в голову. Так смотрела и сама Ю[лия] П[етровна] и теперь смеется и удивляется, как это могло случиться, что «этот ребенок Пресняков» мог вдруг стать таким важным. Они очень удивятся, но я надеюсь, что лично против меня они ничего иметь не могут, хотя, конечно, страшно будет вручать судьбу дочери человеку без определенного положения. <...>

До свидания, дорогая мамочка; пишу это письмо прямо, к[а]к конфиденциальное, а вдруг неловко выйдет, что ты папе его не покажешь?

Д. 1. Л. 143—148 об.

44

9 декабря

Вот тебе и на! Видно, я в веселую минуту такое письмо написал, что пересолил! Я нисколько не имею права сказать, чтобы Платонов переменил мнение обо мне. Все это шутки с его стороны, и если он говорит о моем легкомыслии (так он не выражался), то именно потому, что не думает этого. Я имею право сказать так, п[отому] что Форстен на днях говорил мне, что Платонов очень меня хвалит. А со мной он последнее время даже особенно хорош, просто болтает и даже лишнее — и про себя и вообще, прося иной раз, чтобы кое-что между нами оставалось. Я думаю, что это ясное доказательство хороших отношений. А Васильев еще более каламбурит, неужели ты, мамочка, и впрямь поверила? Эх-ма! И относительно работы вздор: Платонов получил ее и даже предложил, если я хочу, взять ее и просмотреть, п[отому] что до 15-го писать ему некогда. Я поправлю ту описку, о которой писал (я написал глупость: «оловянный карандаш» вместо «свинцовый»), а работы и брать не стану, п[отому] что поправлять не знаю что, да и нельзя, п[отому] что не переписывать же! Эх, мама, мама, не думал я, чтобы мое письмо тебя обеспокоило. И насчет экзаменов — ведь это façon de parler.* Конечно, трудно представить себе, откуда наберешься тех сведений, которые необходимы для экзамена, и как уложатся они в голове. Но этого до экзамена никто никогда не понимает, а потом дело выходит довольно просто. Теперь решено, что экзамены в мае, а я уже свободен от работы — могу готовиться, и кое-что уже сделал — прошел по двум курсам, Кареева и Бауера, Гуманизм и Реформацию. Теперь — пока выйдет следующий том Кареева — начал заниматься славянами: это мудрено, потому что нет удобных пособий, но так как время есть, то можно и что-нибудь подробное и большое прочесть. Уверяю тебя, что экзамены выдержу, как только могу. Конечно, ручаться за особенно хорошие ответы немыслимо — пробелы будут и не малые, обманывать себя нечего, но что могу — сделаю, и времени я все-таки не теряю, хотя и не бываю иной раз по вечерам дома, но днем же я всегда занимаюсь! Ну, мамочка раздосужила ты меня! Приходится защищаться и самому себя хвалить. Право, у меня в голове не только ветер дует, и, по правде-то сказать, ветру-то не очень много. Полагаю, что мое времяпрепровождение даже мало похоже на поведение 22-летнего балбеса, каковым полагается ходить не иначе, как колесом.

Вот пример моего благонравия: третьего дня в четвертом часу пришел из театра Неметти, бывший «Демидрон».[57] Попал я туда на любительский спектакль — играли наши студенты поляки — по-польски. Очень недурно, а потом плясали, и даже я кадриль танцевал. Было очень живо и весело. <...>

Д. 1. Л. 149—151 об.

---

* Фигура речи (*фр.*).

45

15 декабря

Хорошо тебе, дорогая мамочка, говорить: работай и не отвлекай себя размышлениями о том, что впереди. А как не размышлять, когда только теперь начинаю понимать план своей жизни, как он сложится в лучшем случае, если все мечты мои о научных занятиях и, главное, о моей к ним пригодности — сбудутся. Последнее, самое важное: наука, что сцена; если быть тенором — так на первые роли, а петь лакеев да юнцов не стоит. Вопрос о моих силах и способностях — вопрос темный. Трубить-то про них много трубили, но пробы пока не было. Дело вот в чем, прошу понять: до сих пор я оказывал способность к учению — чужие мысли и изложения усваивал легко, правда, почти шутя. Но это не ахти мне что. Это дело памяти и умения ориентироваться в фактах. Теперь вопрос в том, может ли моя голова вырабатывать свои оригинальные мысли или нет. Тебя удивит отвлеченность этих слов. Поясню их практический смысл. Расскажу тебе, авось не наскучу длинной болтовней, что такое «ученая карьера» — идеал филолога. Деятельность, с нею связанная, распадается на две части: научную и преподавательскую. Вторая — это учительство в гимназии и профессура. Ценность профессуры в том, что, занимая ординарную кафедру, профессор читает общие обязательные курсы, т. е. обозревает предмет целиком; кроме того, ведет практические занятия, т. е. знает учеников своих, сближается с ними, руководит работой, влияет на них — и, если он талантлив, достигает идеальной цели преподавания — создает школу, группу учеников, детей по духу, выражаясь высоким слогом. У нас таким влиятельным надо признать Васильевского — душу нашего факультета, и отчасти философа Введенского. Эта роль связана с внешним положением ординарного проф[ессора] — положением и с материальной стороны обеспеченным. Будь я хоть 27-ми пядей во лбу — о кафедре мне мечтать нечего. Дело в том, что, оставленный при университете по русской истории (кстати, по всеобщей было бы интереснее и, может быть, выгоднее — впрочем, нет), я буду готовиться к магистерскому экзамену. На это года два — minimum. Сдав экзамен, я — магистрант, т. е. имею право читать лекции в университете, что хочу — в виде «специального, необязательного курса». Могу читать, если найду слушателей; жалованья, конечно, никакого. Затем — должен защищать магистерскую и докторскую диссертации. Первая защита от экзамена, судя, конечно, по теме, определяется временем в 5—10 лет обыкновенно. Затем — магистр, но это только степень и как приват-доцент — магистр ничем не отличается от магистранта, да и доктор от них обоих. На кафедру доценты имеют право по вакансии. Так Платонов стал профессором по уходе Замысловского, и, надеюсь, при мне другого профессора не будет, т[ак] к[ак] я искренно желаю Платонову многие лета. После него кандидат — Лаппо-Данилевский и еще человек 5—6. Итак, en fait d'Universite* — моя будущность в лучшем случае — доцентура. С материальной стороны это ровно ничего; с преподавательской — очень мало, т[ак] к[ак] ты знаешь, что у такого талантливого доцента, как Л[аппо]-Данилевский — 2 слушателя сидели, да и те — не его ученики, а Платонова; с научной — тут может быть смысл, связанный с успехом преподавательским, но в исключительном случае. Именно, если доцент — определенная, значительная научная величина, если он хорошо читает, увлекает, если тема общеинтересна, а не узкоспециальна. Таков успех Гревса. Успех еще не определившийся и его не удовлетворяющий — он не раз заявлял нам, что хочет иметь учеников, хочет затеять практические занятия, но пока этого ему не удалось и едва ли удастся. Узурпировать таким путем — сближения со слушателями — роль профессора — мечта каждого доцента; его идеал — 2—3 ученика, какой там! хоть бы один, да свой, свое детище. А что такое Гревс? Он лет 10 как кончил университет, все это время работал сам и много преподавал (это, по репутации, лучший учитель истории и педагогики в гимназиях, кажется, больше женских), он еще не магистр, а недавно и магистерский-то экзамен сдал. Итак, что вывести из этого для меня? В материальном отношении университет — ноль (в лучшем случае, могут на первые два года дать стипендию, но и это едва ли), в смысле деятельности — это почти такой же способ выражений своих взглядов и знаний, как печать. И для того, и для другого способа вся суть в том, какую «научную величину» из себя представляешь, есть ли в тебе что-ниб[удь] ценное, интересное, свое, оригинальное. Тут вопрос может быть решен после многолетней работы над собой, когда разовьешь и в систему сложишь то, что в голове зародилось и бродит. Что из меня выйдет? А я почем знаю? Отчаиваться нет причины, потому что охота и запросы к научным исследованиям есть. Это, слава Богу, лучшее, что пока можно сказать. А то, чем я буду жить и над чем я буду работать, — это учительство и учительство. Вопрос, решающий мою судьбу, не столько оставление при университете, сколько возможность найти уроки, место учителя в Петербурге как единств[енное] место, где для меня будут нужные средства для научных занятий. Университет тут вспомогательное средство, т[ак] к[ак] он дает знакомства, руководство и даже рекомендацию, прямо — протекцию. Вот его практическое значение для «магистрантов». Вот понаписал-то! Но мне и самому приятно систематически излагать это и, думаю, тебе, т. е. вам — потому, что ты папу заставь это прочесть; мне хочется вам обоим выяснить, что я за путь выбрал, а то ведь у вас на этот счет, верно, не совсем определенное представление. Не знаю, ясно ли я сказал то, что хотел сказать. Если что-нибудь неясно, ты, мамочка, укажи мне, я постараюсь сообразить и высказать яснее. Только ты напрасно думаешь, что эти и другие подобные мысли мешают мне заниматься или портят мне настроение. Заниматься я занимаюсь немало, ей-Богу, немало, хотя ты усомнилась во мне — ни за что, ни про что, милая мамочка. А настроение! О об этом я уже писал; я иногда устаю от своей жизнерадостности, право, устаю. И в кого это такой балбес уродился? Это и на занятиях отражается. Товарищи смеются, что я самую сухую и скучную книгу нахожу «занятной» (это мое словечко, и меня за него донимают) и никаких мелочей не нахожу сухими. А я чем виноват, что от моей живости — всякие исторические мелочи в специальных книгах — оживают и смеются; и не только личности, а какие-нибудь финансовые вопросы кажутся живыми и интересными, преломляясь через мое настроение. Я сам иногда с удивлением вижу, что можно всякими мелкими, специальными вопросами заинтересоваться, если подойти к ним с надлежащей стороны, так чтобы видеть их связь с общими вопросами. Римляне говорили «castis omnia casta», т. е. «для чистых все чисто». А я скажу: «для живых все живо», и если что-нибудь человеку не интересно, значит, не хватило заряду.

---

* В отношении университета (*фр.*).

Мамочка, милая мамочка, прости меня. Я такую «теорию» развел, что аж самому надоело. Это все проклятая философия на Невском проспекте. — ?? — Да, на Невском проспекте. Дело в том, что из моих товарищей добрая половина живет в моих краях — «подальше от университета» — и в том числе два «философа», занимающихся у Введенского. Только по субботам приходится нам — после Гревса — возвращаться домой вместе, и тут Невский оглашается разными философскими терминами, и полиция волнуется: идут студенты, галдят, и жестикулируют, и говорят как будто по-русски — а черт их поймет. Раз мы с одним студентом и до Никол[аевского] вокзала прошли, решая какие-то вопросы и забыв, что обоим надо было свернуть на Литейную. Я оказался философом! Я проповедую, и пока с успехом, Гюйо — моего любимца. А ободрило меня то, что решился я рассказать ученику Введенского, что в диссертации сего мудреца под страшным заглавием: «Опыт построения теории материи на принципах критической философии», да еще в самой середке, есть очень подозрительное положение, и получил ответ: «Да теперь сам Введенский говорит, что это ерунда». Все-таки приятно, что попал. Эти разговоры возбудили опять мои интересы — почти заброшенные — к философии, заставили припомнить недодуманные мысли, и теперь я испытываю муки Тантала: хочется мне кое-что прочитать, чтобы привести к чему-нибудь свои философствования, которые ведут меня к «методологии истории»; а нельзя: надо просто зубрить историю, не философствуя. Да, Кареева вышел 2-й том — я пока не читал его, но он очень аппетитный.[58] Только ведь к экзамену — 3 тома: один 550, а два по 600 стр. довольно большого формата. Это один Кареев! Ой много! и как это в голове уляжется! Хорошо, что еще не скучно. Скучно! скучно! Разве человек, у которого что-нибудь в голове шевелится, может скучать! Разве огорчаться, скучать по ком-нибудь и etc. — но говорить «скучно», как Фауст: «Мне скучно, бес» — это возмутительно! А Мефистофель еще отвечает: «Вся тварь разумная скучает». Неразумная же я тварь, ибо никогда не скучаю, или Мефистофель — старый сморчок! А я еще теперь сравнительно больше дома сижу — ой, вру, вру — вчера был у Шеффер — играл в винт и выиграл 40 коп., а завтра к Шенгеру пойду. Лекции завтра — последние, и до 15 января исключительно «домашний зубреж». Надо классиков пошевелить, со славянами разделаться, Кареева придушить. [А Кареев раньше времени курс прикончил — больно мало народу ходило!].* А лекции последнее время были занятны. Кроме Гревса и Лаппо стал интереснее[59] — разбирал историка-публициста XVIII века Щербатова — личность весьма любопытную и моего личного врага, ибо он издал так плохо «Царственную книгу», что столько возни мне наделал. Зато если я получу медаль — мы с ним помиримся. Ну, будет строчить. <...>

---

* Последняя фраза — приписка А. Е. Преснякова на полях.

Д. 1. Л. 152—159 об.

46

16 декабря

Дорогая мамочка! Вчера, во вторник, был я в университете. Час послушал Середонина, час чаепитию посвятил (книг дожидался), потом, зайдя в библиотеку, хотел домой идти. Но в библиотеке наткнулся на Гревса, и разговорились мы с ним так, что часа полтора в углу простояли. Я ему рассказывал про свои занятия и интересы, а он про свои — характер их однородный, конечно, не считая огромной количественной разницы. Понятно, что очень интересно было приглядеться к Гревсу поближе. Трудно передать содержание нашей беседы. Общее впечатление только усилило тот довольно малоутешительный взгляд на результаты научной работы и доцентуры, который я излагал в последнем письме. Гревс доцентские курсы при их теперешней постановке считает довольно безнадежной вещью. Сомнения и недоверие его сильно одолевают. Положим, я знаю, что он, по мнению Васильевского и Платонова, — до крайностей мнительный человек. Про научные занятия он мне немало интересного высказал, хотя и тут звучала меланхолическая нота. Как трудно выбрать специальность! Откуда взять вопрос не слишком большой, чтобы не утонуть в нем, как утонул Гревс в своей «Социальной истории Римской империи», и достаточно крупный, чтобы быть содержательным, живым, современным. У нас нынче всего больше уклоняются от таких вопросов, ставят узкие, специальные. Особенностью «петербургской школы» считается такая манера заниматься не историческими фактами, да еще крупными, а критикой отдельных источников, вроде Герберштейна, Флетчера, сказаний, повестей, летописей. Увы, и мне, видно, предстоит такая же участь — и, именно, погрузиться в летописи. Я, кажется, не сознавался еще ни разу, что, по-моему, j'ai manque ma vocation,* попав на русскую историю. Тут мудрено найти что-нибудь достаточно разработанное в мелочах, чтобы делать работу в более крупном, общем, у нас все роются в частностях — в вопросах финансовых, юридических. Может быть, я ошибаюсь, но в западной истории я легко нашел бы тему и добротную, и содержательную — хоть бы те [же] гуситские войны — глубокую религиозную и социальную революцию, которая полной оценки еще ждет, [нежели вопросы], которыми я теперь занимаюсь. Надеюсь, что это момент малодушия, и я и у нас найду задачу и по вкусу, и по плечу. Пока мне мечтается об отдельных «этюдах и очерках», небольших экскурсах живого общего интереса — о писателях, отдельных личностях. Это не письмо, а reverie,** какие у меня часто бывали, только не писались. Они меняются по нескольку раз в день — в свободные минуты.

Д. 1. Л. 160—161 об.

---

* Я промахнулся (*фр.*).

** Мечтание (*фр.*).

47

27 декабря

С праздником, дорогая мамочка! Ох, уж эти праздники! Volens-nolens* теряешь много времени. Ты угадала: я получил твое письмо, вернувшись от Ефремовых вчера, на второй день. <...> Вечером была елка. Верно, Катя опишет тебе обстоятельнее. Больше всего и неподдельнее радовалась Женя, она совсем в восторге, а старших одолел расчет: кто и что получит, так что не обошлось без хныканья. В Сочельник с елки ничего не сняли, чтобы зажечь на другой день, когда пришло еще трое детей, и тут между всеми поделили украшения. В общем, веселая это штука детишки. Еще занятнее была елка, на которую я нежданно-негаданно вчера попал. Впрочем, все по порядку. От Ефремовых я уехал в 11 часов утром на второй день, чтобы попасть прямо к Штиглицу на ученическую выставку. Это всегда бывает интересно, когда приглядишься и кое-что смекать начинаешь. У Ю[лии] П[етровны] — горе, получила семерку за одну из работ, самую незначительную, но у любимого учителя; хотя, надо сознаться, работа сделана кое-как сознательно — в полчаса! И как при таких условиях огорчаться! Из школы пошел я домой около 4-х часов. Прихожу — дома никого, и обеда нет. <...> Вспомнил, что Полонские в 6 обедают, и пошел. Знакомство это тебе известно. Полонский — сын поэта — мой товарищ. Я раз, в сентябре, был у него, остался чай пить, пили втроем — мы и старый поэт, говорили про Кавказ, я писал тебе. Потом раз забежал на минутку, но оказалось, что у меня сюртук разорван: сняли с меня сюртук и понесли чинить, а я дождался, пока починили, немедленно ушел и больше — дело было в октябре — глаз не показывал. А теперь прямо разлетелся обедать. Хорош? Но, мамочка, не оставаться же без обеда! А у Полонского вроде постоялого двора. Бывает такая масса разного народу, что они на этот раз объявили в газетах, что Пол[онский] нездоров и обычного в день его именин 26-го дек[абря] приема не будет. Я этого не знал, не знал и того, что его именины, и явился. Поэт поблагодарил меня, что я вспомнил про день его ангела — а кой тут черт вспомнил! Народу у них все-таки много было. <...> Прежде всего я попал в соседнюю с Полонскими пустую квартиру, где, при их участии, устраивали елку для бедных детей. Вот эту-то елку я и упоминал выше. Право, очень занятно. Много детей, самых разнообразных, и им раздают с елки, что они сами выберут. И меня вооружили ножницами для этой обязанности. Я даже пожалел, что не попал туда накануне, тогда было втрое больше детей и другого типа — крестьянские, а при мне все дети прислуги. С елки вернулись к Полонским к обеду (елки днем, при завешенных окнах), и просидел я у них весь вечер. <...> В общем, остались только «свои», но обыкновенно у них толчется и толпа художников, поэтов, писателей и tutti quanti,** известные имена так и мелькают в числе их знакомых. Положим, известности более или менее маленьких размеров, особенно привлекательных нынче и нет, но общий тон такой толпы должен быть интересен.[60] Меня звали на 1-е января, когда все будут в сборе у них. Постараюсь попасть.

---

* Волей-неволей (*фр.*).

** Все прочие (*итал.*).

Новый год мы встречаем у Ефремовых; постараюсь по возвращении попасть к Полонским, к ним можно и в 11 прийти, все равно. В семье кроме «старого орла» больного, разбитого, на костыле, ослабленного страданиями печени, но все-таки интересного, хотя чересчур впадающего в приподнятый, риторический тон, — сын, m-me и m-lle. Сын — славный субъект, но очень странный, он и способный, и развитый, и образованный, но чего-то у него не хватает, какой-то он растерянный, цельного у него ничего нет, никакого фундамента, и масса странностей, его выходки, иногда очень неожиданные, даже славятся среди своих. Он, кажется, настоящий продукт такой жизни — полной интересной толчеи, множества впечатлений, разнообразных и увлекательных, в компании «сливок литературы и искусства», довольно жидких, но все-таки интересных. Как тут не разброситься и не растеряться? Нет ни минуты спокойной, чтобы оглянуться и разобраться в тех обрывках мыслей, какие со всех сторон в голову лезут. От того он такой «беспорядочный». Его земля велика и обильна и порядка в ней нет. И он хандрит и мучается, задается задачами непосильными; конечно, не выполняет и приходит в уныние. Жаль его; я рад бы с ним сблизиться, чтобы посмотреть, как это он справится.

Дамы Полонские, хотя я их только раз видел, тоже интересные. M-me наиболее симпатичная из семьи. Она недурной скульптор — ныне у Штиглица выставлена ее работа. Эта масса искусства, в которой живут Полонские, придает им особый колорит, конечно, интересный и привлекательный. Барышня, бывшая ученица школы Штиглица, теперь рисует дома (не знаю как, не видал), учится всяким языкам, поет с Габелем (проф[ессором] консерв[атории]) и очень хорошо играет. Если прибавить, что она может сойти за хорошенькую, то все вместе будет довольно много, а? Жаль только, что чего-то в ней нет, несимпатичная она, а это, хотя папа уверяет, что «симпатичной» называют барышню, в которой уже нечего похвалить, — самое главное, а то, признавая всякие качества, все-таки скажут: «то, да не то». Играет она прелестно. Трудные вещи Листа, напр[имер], как будто они и вовсе не трудны, так просто, с таким смыслом. Содержательная, умная игра, да еще у барышни, такая редкость. И в концертах-то ее почти никогда не слышишь, больше трескучей виртуозностью угощают. И что она играла! Листовскую легенду про Франциска Ассизского. Ты этих листовских легенд не знаешь, а это самое глубокое и поэтичное, что есть в музыке.[61] Отстал и отвык я от музыки! Давно не слыхал ничего. Бросил играть, недоучившись, а теперь бросаю слушать, только любить ее не бросил. <...>

До свиданья, мамочка. Папе скажи, что Пугачевы и К° никогда людьми идеи не были — это сила стихийная, и мозгами они работать не умели, а больше брюхом. Не так ли? Да и поцелуй его. С Новым годом. Ваш Саня.

Конфиденциально*

Что пустяки-то писать, надо и посерьезнее поднять вопросы. Мамочку они не должны удивить — она подготовлена. Сколько раз ты меня спрашивала, милая мамочка, про Юлию Петровну. Теперь перед путем-дорогою в самостоятельную жизнь надо порешить. На вопрос о том — хочу ли я, чтобы она мою фамилию носила — я отвечу, что, по размышлении, за это я отдал бы и науку свою с университетом в придачу. Я готов пожалеть, что не выбрал более практической карьеры, чтобы сразу стать на ноги и иметь возможность жить своим домом, основать свою семью, а главное, не расставаться и жить одной жизнью с своей художницей. Знаем мы друг друга долго и хорошо. Два года у нас все интересы общие — до мелочей. Как водится, звали это дружбой — а выходит посерьезнее. Дело не в этом, а в обстоятельствах внешних. Как удастся мне устроиться? Скоро ли? Я ничего не знаю. <...> Ты, мамочка, знаешь меня и, думаю, поверишь, что я не зря пишу, а передумавши достаточно. Не могу не написать тебе, во-первых, потому что больно на душе хорошо и поделиться хочется; во-вторых потому, что мамочка такой большой друг мне, что хочется и отзыва и сочувствия не ко мне одному, а хочется, чтобы мама за меня полюбила Юлию Петровну, приняла ее à cœur ouvert,* а не скрепя сердце. Ты ее не знаешь. Это мне очень жаль, тем более, что я сам виноват в этом. Как хотелось бы мне вас познакомить! Как бы сделать это? Перепиской? Все это впереди. Подожду твоего ответа.

---

* Продолжение того же письма.

Еще одна тревожная сторона. Кимонты очень хорошо относятся лично ко мне. Но раз вопрос станет так, что скажут они? Во-первых, что я такое в их глазах, как не мальчик без определенного положения? Ты скажешь: придется подождать, устроиться. Знаю, знаю. Ждать да ждать. А сколько? Брр... Жданки и авося съесть могут. А потом, в какой мере важен для них вопрос национальный и вероисповедный? Он не лишен значения даже для самой Юлии Петровны, хотя, конечно, не относительно меня. Да, мамочка, разбери ты все это, посоветуй. Вопрос весь в родительском благословении с их стороны, а с моей, надеюсь, что этот вопрос разрешается легко, мне мало даже этого, я хотел бы сердечного отношения к художнице, которая еще с тифлисских времен, когда и я с ней мало знаком был, восхищалась моей мамочкой, значит, все дело в том, как мама ее примет. Но главное проклятый материальный вопрос! Я решительно не знаю, какие занятия найду, хотя Форстен обещал мне уроки. Конечно, в провинцию страшно ехать, да и Юлия Пет[ровна] ни за что на это не согласится ради меня, а я и на это готов, но в крайнем случае. <...>

Д. 1. Л. 162—170 об.

1893

48

3 января

Дорогая мамочка, только вчера я вернулся от Ефремовых, а поехали мы с Ю[лией] П[етровной] 31-го. Нынче в Петербурге новая мода — встречать Новый год в церкви, не могли ничего умнее выдумать, впрочем, прости, тебе эта мысль понравится, но я ведь безнадежен в этом отношении. Мы с Ефремовыми, конечно, не пошли, а сидели дома. <...> Да, а с этим молебствием действительно курьез: в то же время назначен был бал в клубе, каково сочетание! Дамы в нарядах для танцев ехали в церковь, а оттуда — танцевать. Рассеянный человек мог бы перепутать и в церкви возгласить: «Au rebours»,* а в зале: «Алилуйя!». В конце концов и то, и другое — и молебствие, и бал не удались, как и следовало ожидать. <...>

---

* С открытым сердцем (*фр.*).

Д. 1. Л. 174—175 об.

49

[Без даты]

Прости меня, дорогая мамочка, я действительно оказался неаккуратным в самое неподходящее время. Прости, хоть это и непростительно. Если нужно объяснять, то объясняется это тем, что для меня праздники не отличаются от других дней, по крайней мере тех, когда я не хожу в университет — я и не задавался целью писать «к празднику», не сообразив, что мамочке этот день тяжелее других будет. <...>

Новостей особенных и у нас нет. В официальном мире все так же дрянно и пошло, как всегда, и если будут новости — то к лучшему перемен трудно ожидать: не все ли равно — клика все та же, прославленная на всю Европу политическая партия «des prokhvosti».

Д. 1. Л. 176—176 об.

50

11 января

Дорогая мамочка! Праздники кончаются, и остается от них сожаление о потерянном времени и остатки мальчишеского настроения. Зато из неоднократных разговоров с товарищами удалось выяснить соединенными силами — что, в сущности, надо проделать для так называемого «приготовления к экзаменам», и явилось убеждение, что es ist noch nicht soschlimm,** что успеть можно. Теперь у меня день разделен на три части — для одновременного занятия тремя предметами. Это лучше: переложная система не в одном сельском хозяйстве годится. Дочитываю Кареева: это интересно по самому интересу новой истории, но по исполнению — увы, не умно, несмотря на погоню за широкими взглядами, не оригинально, словом, бездарно. А рабочая сила большая. Точно белка в колесе! Да, ведь через неделю надо в университет идти! Досадно — совсем не ходить нельзя, а ходить — непроизводительная трата времени! Эх, дела! Что про себя бы рассказать? Я бы про Кромвеля теперь больше рассказал! Ужасно сушат мозги эти занятия! Теряешь и интерес, и восприимчивость к тому, что кругом делается! А говорят, там dans le grand monde*** — много занятного. Вот образчик. Наш попечитель Капустин (говорят, умный!) циркуляром поставил на вид, что гимназисты дерзают в сочинениях писать просто «Екатерина II», а не «императрица Екатерина Великая», и приписал директорам следить, чтобы этого не было при преподавании литературы и истории. Как думаешь, не смешно этим господам в зеркало смотреть. Такие известия — как какой-то refrain de bataille*— будят иногда особое настроение — эх, кабы у молодца да руки были развязаны... <...>

---

* Поворот (*фр.*).

** Дело еще не так скверно (*нем.*).

*** В большом мире (*фр.*).

Вот позаняться своим делом мне бы хотелось, а тоже нельзя — надо скользить по общему курсу, отучаясь думать и всматриваться, потому что это вредно: требуется только запоминание с усвоением чужих мыслей. А смерть хочется чего-ниб[удь] свеженького! Но я воздерживаюсь даже от последней книжки Fustel de Coulanges'a. Ведь так и следует? Или — рискнуть? Нет, времени не так много, чтобы шалить. И так не обойдешься, чтобы иной вечер дома не быть.

Д. 1. Л. 171 —173 об.

51

14 января

Только что вернулся от Бестужева-Рюмина. Вчера Платонов с удивлением спросил меня: откуда Бестужев обо мне знает и почему желает со мною познакомиться. Я сообразил, что Бестужев не забыл еще известных тебе переговоров с Лаппо-Данилевским. Сегодня отправился. Кстати, Платонов дал мне книгу, чтобы возвратить ее Бестужеву. Бестужев говорит, что скучает без молодежи, а теперь у него никто из студентов не бывает. Нечего и говорить о том, какой он славный и интересный. Я просидел целый вечер, с 7 до 11. Сперва мы были вдвоем, поговорили о моей работе. Но это такой непочатый край — эти московские летописи, что я тут тверже Бестужева! Он ничего мне не мог сказать интересного, а я не решился сказать ему на кое-какие замечания, что он прямо ошибается. Видно, в моей работке и впрямь специалисты кое-что новое найдут. Участь ее решена. Вчера утром я получил письмо от Платонова, с просьбой прийти к нему (я среды 3 уже пропустил), потому-де, что кое-что надо сообщить. Он прочел мне свой отзыв о моей работе — очень лестный — я тебе его пришлю, когда он будет напечатан в отчете. Боюсь соврать, но помнится, что там и зрелая мысль, и научная подготовка, и осторожность, и критика, и самостоятельность, и черт знает что фигурирует. Вывод: дать золотую медаль, а работу издать в «Записках Петербургского университета» (т. е. отдельной книжечкой, если не ошибаюсь: «Записки» это серия отдельных изданий). Платонов уверяет, что т[ак] к[ак] деньги в факультете есть, то это пройдет. Дай Бог! Но вернемся к Бестужеву. У него премилая старушка жена, а потом пришел его ровесник, учитель истории Белов. Странное впечатление производят люди, спокойно говорящие: а помните, когда мы в 47-м жили там-то, и т. п. Они все в воспоминаниях. Говорили о Грановском, Погодине, Мельникове-Печерском, Кудрявцеве и многих других. Всего не припомнишь, а что и помнишь, не перескажешь. Во всяком случае, было и приятно, и интересно. Точно сам переносишься в историческое прошлое. Бестужев звал меня к себе, говоря, что он всегда дома, и на память подарил три своих брошюрки. Какой он старенький и какой юный! Глаза такие живые, блестящие и умные. Говорит с увлечением и любит поговорить, но с большим тактом уклоняется от спора, хотя и правда — с Беловым нельзя спорить; это вечный спорщик, béte noire* исторического общества. У Бестужева своеобразные симпатии — и я взвешивал, что сказать, чтобы не провраться чем-ниб[удь] резким. Он не партиен, но друзья у него консервативные, да еще подозрительные личности, вроде Мельникова и Иловайского, о которых он с уважением говорит. Зато москвичей не одобряет, хотя и прав в этом, считая, напр[имер], Милюкова увлекающимся до односторонности. Да, все-таки чувствуешь как-то, что это — прошлое, хорошее, славное прошлое, но не такое, чтобы сохранить влияние. Да влияния Бестужев особенного никогда и не имел. И его ученики воспитывались не у него, а у Васильевского. Этот покрупнее калибром. <...>

---

* Боевой рефрен (*фр.*).

Д. 1. Л. 177—179 об.

52

Часть особенная

14 января

Спасибо тебе, дорогая мамочка, за письмо. Если оно верно отражает твое настроение, то как будто ты не очень удивлена и встревожена. А я боялся последнего. <...> Ты спрашиваешь насчет «краха». Что подумала ты при этом? Я разумел, как и писал, единственное (зато более чем серьезное) обстоятельство, которое меня сильно беспокоит, — перспектива материальная. В сущности, учительством жить прямо немыслимо. Maximum, которого добиться может преподаватель истории — при невероятном количестве уроков — 30 в неделю, — это 150 р. в месяц. Это при полном поглощении учительством! Вот почему ввиду материальной трудности я и писал, что мысль о моем будущем может сильно беспокоить тебя. А теперь это главное! Если получим родительское благословение (ты, кажется, не веришь ему и, пожалуй, все-таки не огорчишься отказом, даже за меня — мне так сдается по тону письма), то ведь главное создать сносную, не чересчур будничную и скудную жизнь для Юлии Петровны, а первое дело — средства. А какой путь заработка изобрести, хоть бы с перспективой на улучшение? Эти соображения навели меня на мысль о «крахе». Говорить об этом поздно, ибо дело решено — формально недавно, по существу — года полтора! и преждевременно, потому что «там видно будет». Так-то. <...>

Что разуметь под сожалением, что ты не вовремя уехала? Неужели ты думаешь, что я, оставшись один, вдруг взял, да и предложение сделал! Да этот вопрос давно на языке был, и если я его не сделал, то потому, что боялся отказа. А теперь я предложил его почти наверняка. Если бы ты была тут, я бы верно начал с разговора с тобой — и ты, разве ты стала бы меня отговаривать? Ведь по первому письму ты не думала, что я говорил с Ю. П., а тем не менее только посоветовала молчать до экзамена. Тебя, мамочка, точно удивило, что я заговорил о Ю. П. снова и верно удивляет мое резонерство? Мне, прежде всего, очень хочется знать, что мама думает и чувствует в этом отношении. Как жаль, что нам нельзя поболтать! Я признался, к великому маминому огорчению, что я «ein Mann ohne höhere Zwecke»,* что у меня нет честолюбия и большого пристрастия к науке, настолько большого, чтобы быть в силах жить только ею, отказавшись от иной личной жизни, чтобы «топить жизнь в деятельности», как рекомендует Кавелин. Пожалуй, в ответе на последний твой вопрос я ответил бы, что действительно привязанность (даже не «потребность любить», а привязчивость) самая суть моей натуры, и я не знаю, на судьбу или на что надо ссылаться, чтобы объяснить, почему вся сила этой привязчивости, пополам с мамой, досталась Ю. П. На судьбу, пожалуй, нечего очень напирать, потому что тогда я должен бы был достаться Саванели — ее я лучше знал и даже ближе был с нею, а еще потому, что недаром же Надя еще в Тифлисе называла Ю. П. «единств[енной] барышней, за которой Саня пытался ухаживать». «Хорошо ли я ее знаю?». Кажется — да. Но описывать не могу — не выйдет, хотя Ю. П просила тебе рассказать, какая она несимпатичная, пустая и тому под[обное]. Она уверена, что она такая. Может быть, и ты найдешь ее такой — не знаю! А мне смешно подумать, что «судьба могла бы сблизить меня» с кем-ниб[удь] в другом роде! О — нет, нет! Ведь не так легко было вытащить меня на свет, если бы я не искал встреч.

---

* Жупел (*фр.*).

Д. 1. Л. 180—183 об.

53

24 января

Дорогая мамочка! Прихожу я вчера в университетскую библиотеку, а там на верху высокой лестницы — знаешь, какие в магазинах, чтобы вещи с верхних полок снимать, сидит Платонов и оттуда говорит: «Хочу я вам одну вещь сказать, да не знаю в какой форме...» — ?? — «Я думал предложить студентам на медаль на будущий год тему, которую, однако, по всем соображениям, следует вам писать. Можно бы из нее магистерскую работу сделать».

В последующих словах и было затруднение «в форме»: это преждевременное, но прямое предложение остаться при университете. Что касается самой темы, то с ней вышла неловкость. Тема эта «И. Д. Беляев как историк». Сразу я не понял, в чем суть, выразил сожаление, что не имею определенного представления о Беляеве, хотя и читал его, но не все, далеко не все. Платонов несколько пригорюнился. А дальше ничего не успели сказать, п[отому] что невозможно говорить, когда один сидит под потолком! У меня шея заболела глядеть кверху — я и ушел. Сама тема, это я потом сообразил, может оказаться вполне в моем вкусе; мало того, именно о такой теме мы много говорили с одним товарищем — Лапшиным (он не историк, а философ).

---

* Человек без высших целей (*нем.*).

Взять какого-нибудь историка и изучить его работу, т. е. его критические приемы при изучении материала и логические приемы при построении схемы, рассказа о событиях, оценить влияние предвзятых мыслей, навеянных воспитанием, личным характером, тенденцией, одним словом, современным мировоззрением — это прекрасная задача для начала научных занятий. Ведь это работа по теории науки, по исторической методологии. По-моему, это даже как раз то, что на очереди стоит, то, что нам нужно. Опасность этой темы в том, что избранный историк — Беляев или другой кто — может потонуть в теоретических соображениях, т. е. работа будет по теории, а он послужит только примером. Этого и можно избежать, если взять его как страничку истории русской мысли: Беляев важен своим отношением к славянофильству — он полуславянофил, из трезвых, и имел большое влияние. Обо всем этом надо будет поговорить с Платоновым. Мне жаль расстаться с другой темой «о летописных сводах»; интерес ее вот какой: у нас есть своды киевский, суздальский, новгородский и московский. На каждом отразилась среда, его создававшая. Вот работа «о летописных сводах» и должна состоять из ряда культурно-исторических очерков: 1) южный свод как произведение дружинно-монашеской образованности киевской, 2) Суздальский свод — отражение борьбы старых и новых начал (тут есть и протесты против усиления князя, и пропаганда этого усиления), 3) Новгородский свод — произведение новгородской образованности, 4) Софийский Временник — свод московский, но писанный новгородскими попами (новгородское влияние в Москве), 5) Воскресенский и Никоновский своды — произведения московского патриаршего двора (византийские идеи), 6) официальные летописи позднейшие. Целая история допетровской образованности как фон для изучения летописей! Милюков нашел, что это трудно, но очень красиво. Мой товарищ Полонский — в восторг пришел. Платонову я не говорил. Все это так — мимоходом, там видно будет. А теперь мои похождения. В университет я хожу мало, лучше дома зубрить — и ничего, идет; только никак дома не усидишь в иной вечер — да это и лучше, свежее учится потом. Вот в пятницу на бал попал — экспромтом. <...> Было так весело, что я расшкольничался, и пошел танцевать, и даже мазурку танцевал, конечно, очень плохо. Но это было около 4-х часов. Бал был костюмированный, ежегодный бал Академии художеств, тот самый, на котором я в прошлом году был. Красиво, весело и шумно. <...>

Акт должен быть 8-го февраля — но это чистый понедельник, и находят неудобным провозглашать почетных членов в то время, как в соборе анафему провозглашают. День еще не выбран, но ходят слухи, что перенесут на 10-е — среду. Чем среда лучше понедельника, не знаю. После акта, верно, пьянство будет, и я буду в нем участвовать. По́мяни, Господи, царя Давида! Нельзя отказаться, а зовут. Да, нам говорят, треуголки дают и будто бы одному Петербургскому университету. Э-эх, осрамят на всю Россию. Будут на наш университет смотреть как на «лицей» и «правоведение».[62] Надеюсь, что утка. Говорят, будто при дворе очень довольны петербургскими студентами, за почтительность. Не только кланяются, а даже фронт делают. Ай, конфуз! <...>

Д. 1. Л. 184—188 об.

54

25 января

Откуда у Платонова такое странное обо мне мнение? Насколько я мог понять его, он предлагал мне тему о Беляеве потому, что Беляев первый написал историю общества и народных масс; потому, что его взгляды имеют общественное значение; потому, что «восстановить его личное мировоззрение было бы некоторой общественной заслугой»; потому, что изучение Беляева нельзя отделять от изучения славянофильских и западнических кружков 60-х годов, и потому, наконец, что все это мне по плечу и подходит к моей публицистической жилке, и требует интереса к общественным вопросам, «что у вас есть». Оставалось кланяться и благодарить. И этого как раз я не сделал. Во всяком случае, тема действительно прекрасная, если ее исполнить, но нелегкая, потому что очень сложная. Тут и место Беляева среди славянофилов 60-х годов надо определить, и его специальные исследования о мелких вопросах (летописи, станичная служба и т. п.) разбирать. А как все это соединить в одно целое? Ну, пока что это письмо — последняя мысль о Беляеве до июня месяца. Некогда подумать. Надо зубрить. Да, в субботу было заседание нашего факультета, и решили, как хотел Платонов: мою работу печатают. Платонов, к великому моему удовольствию, хочет поторопиться и печатать в марте, а к тому времени кое-что пересмотреть и переделать в ней. Думал, что у меня черновая есть, и, кажется, удивился, что у меня чистовая сильно отличается от черновых. А я еще не сознался, что добрую треть работы и все примечания, а их 34 стран[ицы] на 40 стр. текста, — писал прямо набело. Порешили стащить работу у секретаря раньше сроку. Все это довольно занятно: любопытно будет видеть напечатанное «исследование А. Е. Преснякова». На Беляеве я, верно, остановлюсь, хотя и не уверен, что этим Платонов меня не подводит. Во всяком случае, свое мнение у меня будет, как только прочту все написанное Беляевым и о Беляеве. Это не так много, и прочесть все равно нужно. Окажется ли работа диссертацией или просто журнальной статьей, — это в свое время увидим. Вот и все, что я хотел добавить к вчерашнему письму, дорогая мамочка! Это результат сегодняшнего разговора с Платоновым в университете. Пишу сейчас, п[отому] что тебе это, пожалуй, даже интереснее, чем мне. Я не знаю, насколько эти планы осуществимы, и держусь недоверчиво. А статью о Беляеве написать надо, только авось и книга выйдет.[63] Ну их — увидим! <...>

Для одной мамы*

Писать тебе что-ниб[удь] «особенного» у меня нет, но так хочется поболтать о моей Юле. Странно тебе читать такое наименование? Как хотелось бы мне видеть тебя, моя мамочка, поговорить с тобой, прочесть в твоих глазах, какое впечатление производит на тебя мысль о моих планах? <...> У Юлии Петровны мысли о тебе совсем idée fixe. Она то и дело, ни с того, ни с сего, так что видно, что эта мысль сама к ней приходит, заговаривает о тебе, говорит, что ей страшно, как ты к ней отнесешься, что она почти уверена, что она тебе не понравится, а что это для нее очень-очень много значит, она даже говорит, что я должен отступить перед твоим мнением, отказаться от нее. Отчего ты, мамочка, такое сильное впечатление на всех производишь? Ю[лия] П[етровна] говорит, что ей, с другой стороны, жутко подумать о том, что будет, если ты ее приласкаешь, она чувствует, что тогда неизбежно войдет в нашу семью и, как Коля, оторвется от своих. Откуда у нее такие мысли? и такие определенные? Мама, мама, что принесет мне Новый год! Как удастся мне устроить жизнь с Юл[ией] Петр[овной], если выпадет мне на долю такая задача! Говорю «если», п[отому] что Ю. П. подчинится слову отца, какое бы оно ни было.

---

* Продолжение того же письма.

Д. 1. Л. 189—191 об.

55

31 января

<...> 24-го и 25-го я два письма писал о разговорах с Платоновым. Ох уж эта работа! Мне начинает становиться досадно, что ее так прокричали. Платонов сказал про то, что меня напечатают, в аудитории — теперь это уже официально. Другую золотую медаль за ту же тему получает юрист. Относительно моей работы я сказал «прокричали», потому что вся соль в удачной находке — пожалуй, не одной, а нескольких находках, но все-таки находка — дело случая, и заслуги тут мало; меньше, во всяком случае, чем можно подумать по тому успеху, какой дает мне. В понедельник, т. е. завтра, получу ее обратно, а затем сейчас начнем печатать. Акт будет 7-го. Ефремовы хотят пойти посмотреть на этот спектакль. <...>

А вчера я нежданно-негаданно попал на чтение у Сергеевича — проф[ессора]. Арсеньев читал о голоде. Он на святках ездил в Тульскую и Воронежскую губернии и говорит, что в иных уездах дело может быть хуже прошлогоднего, потому что неурожай в том же роде, а помощи, сил и запасов много меньше. Правительство смотрит косо и заминает дело. Зима суровая везде, и пока всего хуже недостаток топлива. Ну, конечно, тифы и цинга — и все такое. Грустно. Это все, что выносишь с таких чтений: «грустно», а идешь своей дорогой, как ни в чем не бывало. Оттого и я газет не читаю. Все равно — только «любопытным» быть не стоит, а дело делать не будешь, кроме своего личного, маленького. Вот и «немножко философии». <...> Больше писать нечего. До свидания. Поцелуй папу. Надо зубрить.

Твой Саня.

Научи, как люди прерывают переписку, не желая никого обидеть, ведь просто не писать — это грубо.

Часть особенная

Дорогая мамочка! Я очень виноват перед тобой, что не написал тебе ничего в ответ на твое письмо к Ю. П. и ко мне об ней. Но разве ты можешь сомневаться, что твое письмо ее тронуло и что она очень дорожит им. <...>

Сюда же помещу самую суть разговора с Платоновым. Я высказал ему, отвечая на вопрос, что для меня всего важнее вопрос материальный. Он находит, что если можно обойтись 8—9 уроками в неделю, а то и меньше (это около 40 р.), для чего он выхлопочет, если окажется возможным (но не раньше декабря), стипендию в 550 р. (выдается сразу в начале года), то это все, что нужно. Это важно, по его мнению, — года на 2, т. е. до магистерского экзамена, когда нужно много и тщательно работать. Потом можно на какую угодно службу поступать, и сколько нужно уроков брать, и не торопясь работать над диссертацией. Если так удастся устроиться — то это отлично. Не так ли? Но до декабря — может быть туго. Больше уроков, пожалуй, и не достанешь, как 6—8; а какие еще могут быть занятия? Главное, что это крайне неопределенно, а определится, пожалуй, не весною, а осенью. Что думает мамочка об этом? Ты говоришь, чтобы я писал тебе обо всех своих «тревогах и радостях». В общем, настоящее (не будь над душою экзаменов) хорошо, а тревоги сводятся к тому, что всего хуже, — к чувству неизвестности. Много у меня веры, и надежды больше, чем сомнений; а главное, думать о том, что за экзаменами теперь и некогда, да и незачем. Не так ли, милая мамочка? Да: я не писал ничего «отдельного» для тебя, п[отому] что не знаю, насколько вовсе нет риска, что и эти листки будут замечены папой. Мамочка, ведь тебе неприятна этакая переписка под сурдину? Крепко обнимает свою дорогую мамочку ее Саня.*

Да, ты пишешь, чтобы я рассказал про акт, «как и что относительно меня, а ты мысленно будешь присутствовать». Что же сказать? Сперва прочтут отчет, потом юрист — профессор Сергеевич будет о чем-то речь читать (заранее говорят, что скучную), потом о работах на медали: сперва отзыв (кажется, наш факультет и русская история прежде всего) профессора, потом — кто «оказался» автором, потом этого «автора» ведут к Делянову, и он вручает медаль и что-нибудь говорит. Вот и все. А вечером обыкновенно где-нибудь собираются на «поминки». Но ведь 7-го в 12 часов отовсюду выгоняют, так что на этот раз будет скромно. Ходят слухи, что университету Высочайший рескрипт будет (а про треуголки, конечно, утка). Да, на свете много любопытного. Переименование Дерпта в Юрьев, а Динабурга в Двинск по Высочайшему повелению — это своего рода антик. Скоро Ревель Колыванью станет (я хотел даже об этом письмо в редакцию «Нов[ого] вр[емени]» писать), а Петербург? Мое филологическое сердце кровью обливается при «Петрограде» — это безграмотно и невежественно. «Град» форма не русская, а южнославянская. Мы знаем только «город». Русские назвали бы Петербург — Петров или Петровск, или Петров-город (как Ивангород), а не «Петроград». Чем занимаются наши «отцы и благодетели»! <...>

Д. 1. Л. 192—196 об.

---

* Далее — продолжение того же письма.

56

3 февраля

Дорогая мамочка, сегодня я был у Платонова и снес ему рукопись свою; он сам все устроит в типографии и печатать будут немедленно. Переделывать, кажется, ничего не придется, разве мелочи и то прямо в корректурных листах. Вот корректуру придется самому держать, а это возня и время отнимает. Что делать! pour être beau — il faut souffrir.* Печатают меня в «Записках университета»[64] в одном томе с какими-то материалами Форстена. Но экземпляров 200, по словам Платонова, будут отдельной брошюркой в мою собственность. Что я с ними буду делать — это одному Богу известно. Экземпляров 50 раздам в университете, а остальные? Платонов говорит: «Пустите в продажу». Да кто покупать станет?

А отчего у моей мамы сын такой чудак? Отчего всякий успех или подобие успеха вызывает неприятное чувство? Знаешь, этот акт и эта медаль, по-видимому, будут такой же неприятной страницей в моей жизни, как Пушкинский праздник, на котором я про Пушкина что-то читал. Тогда я, возвращаясь из гимназии, свою тетрадку в Куру бросил, чтобы она мне не напоминала про «всю эту глупую комедию». И теперь все сильнее шевелится неприятное чувство. Знаешь, что это? Обида за незаслуженный успех. Успех, который дается легко, — это не удовольствие, а мучение. На кой мне черт все это? Вся эта показная сторона, весь этот Scandal mit Trompetten** по поводу моей крохотной работки. Тьфу! Прости, мамочка, если тебе неприятны эти размышления твоего курьезного сына. Но что мне делать, когда я вижу, что люди, гораздо больше меня работавшие и работающие, за более содержательные работы — все-таки не получают такой награды. Когда я вижу, что люди, более меня подготовленные, не решаются кончать университета, чувствуя свою слабость, а я — с более легким балластом исторических знаний — думаю идти на экзамены и кончать. Брр — я собой недоволен, а мною довольны. Это хуже, чем наоборот, и я усиленно пытаюсь попортить свою репутацию, раскрывая свои карты, — и не верят! Ну, и все равно. Мне надо своего дела искать, а это трын-трава. Будет молоть-то! <...>

Если у тебя цел 24 № «Русских ведомостей» (25 янв[аря]), будь добра вырезать из хроники отчет о лекции Милюкова: «Разложение славянофильства», а из № 28 программу лек[ций] Ключевск[ого].[65]

3 февраля. Для мамы***

О, мама, мама, что мне тебе ответить! Твое письмо — я не знаю, как выразить все, что оно во мне пробудило. <...> Ты и меня, и Ю. П. понимаешь, веришь, что мы не зря и не случайно нашли друг друга. Я ничего не сказал тебе об ее отношении ко мне, и ты меня не так поняла. Если я говорил о том, что она холодная, то это не меня касалось, а других. А причина тому не холодность натуры — о, нет! — а две вещи мне дорогие: много такту, не позволяющего быть такой экспансивной, как, напр[имер], Манька, и — потом, главное, тонкое чувство, мешающее Ю. П. хвалить то, что ей нравится, вслух или в глаза. Ты понимаешь это? Ведь иногда выразить чувство значит опошлить его, ведь выразить в общих фразах, избитых местах все равно не выйдет. Ю. П. всегда en publique* тем сдержаннее, чем ей кто-нибудь или что-нибудь больше нравится. Вот почему ее иной раз считают холодной — а это сдержанность слишком тонкого, пожалуй, именно более теплого чувства.

---

* Красота требует жертв (*фр.*).

** Здесь: шум (*нем.*).

*** Продолжение того же письма.

А относительно меня — о, мы давно друзья, она давно мне верит и совсем откровенна со мною и теперь. Я не говорил тебе этого, потому что — мамочка, пойми меня! — ведь тут совсем страшно говорить и писать — точно «маляр негодный марает мне Мадонну Рафаэля»...[66] Но я, без увлечения, могу сказать, что мы поспорим друг с другом, кто кому дороже. Мама, у меня рука не поднялась написать тебе о том, как Ю. П. ко мне относится, потому что мне как-то стыдно и жутко, так, кажется, мало стою я этой полной, теплой привязанности. <...> Я пишу, верно, очень бестолково, но, мамочка, ты своим чудным письмом так согрела, такой теплой лаской мне душу наполнила, что я лишний раз понял всю глубину наших с тобой отношений. <...>

Д. 1. Л. 197—200 об.

57

Без даты**

<...> Мне сегодня к 10-ти нужно было в университет. Выехали в 9, и я попал еще удачно, чтобы захватить три билета в первом ряду на акт. Вениамин не пойдет — не хочет парадной формы надевать, — а пойдут Катя, Кимонт и Цейдлер. Акт может, по слухам, если они не вздорны (а они почти наверное вздорны), оказаться интересным: ходят слухи, что нас сравняют в правах с правоведами (т. е. чин титулярн[ого] совет[ника])[67] и потому дадут треуголки, причем будет рескрипт университету (кстати, Шеффер-отец говорит, что среди царской фамилии много толков о студентах и «в восторге они от петерб[ургских] студентов»), а кто говорит даже, что сам Государь будет. Мало кто верит, все смеются, и все повторяют. А что, как нет дыму без огня? Посмотрим.

Да, летописи мне бросить жаль, а от Беляева отказаться нельзя. Обоих не поймать. Не знаю. Все равно. Что-то еще будет? <...>

Д. 1. Л. 265— 265 об.

58

6 февраля

Для одной мамочки

Я хотел вот что тебе написать: в письме своем к Ю. П. ты говоришь, что удивляешься, почему Ю. П. так всецело предоставляет решение отцу. С ее стороны давление на это решение могло бы быть в том, чтобы я говорил с отцом, ссылаясь на ее согласие. Но ведь она, по всей вероятности, попадет домой раньше, чем явлюсь я. Конечно, ей, до меня, самой заговаривать не приходится. Так? А как же потом сказать, что у нас давно порешено? Каково это родным-то будет, что им она сразу ничего не сообщила? <...> А ведь папа будет, верно, неприятно поражен нашей затеей. Если он теперь толкует о том, как бы избавить меня от уроков, то что он тогда скажет? Помнишь, раз он говорил, что раз я женюсь, то пропала моя карьера. Это, конечно, пустяки, но у него этой мысли, пожалуй, не выбьешь. Qui vivra — verra.*

---

* На людях (*фр.*).

** Помещено среди майских писем 1893 г.

Что вперед бегать, мамочка, и громкие речи о Грановском заговаривать! Посмотрим еще. Но, повторяю, мой идеал не тот — не личное влияние, а научное, если Бог даст. Гр[ановский] в обществе большой след оставил, а в науке почти ничего. Во мне — анализа, скепсиса очень много, одной верой и «убеждением» я сыт не буду. <...>

Д. 1. Л. 202—203 об.

59

7 февраля

Ну, мамочка, сегодня был наш акт. Утром — т. е. в 12 часов — Катя, Цейдлер и я пили чай у Кимонт, а потом поехали в университет. Акт начался с чтения отчета, длинной и скучной истории, да я его и не слушал, а больше бродил с товарищами по коридорам. Потом проф[ессор] Сергеевич — здоровенный детина, хоть сейчас в троешники — долго читал речь «о наказании». Он профессор уголовного права, прославившийся своим слишком «трезвым» взглядом на вещи; и в речи он проповедовал все то же, что задача уголовного права бороться с преступлением, борьба должна вестись наказаниями. Сентиментальничать тут нечего — и т. д. в том же духе. Наши «либералы» не сообразили — ибо вообще деятели сходок у нас зело, кажется, тупы — сколько нелиберального было в этой речи и страшно аплодировали, а невиннейшему хору Главача: «Слава русскому царю» — шикали и даже пытались шикать «Боже, царя храни». Речь Сергеевича была черствая; даже Кимонт, которая так редко высказывается по отвлеченным вопросам, нашла, что это смело решать, что с преступлением только наказанием бороться можно, как будто наказание ведет к победе в этой борьбе с преступлением! По-моему, она права, и я понимаю Фойницкого, который не пришел на акт, чтобы не портить себе крови.

Ну, а после речи Никитин (ректор), извинившись, что по недостатку времени и по самому праздничному характеру акта будет говорить только о достоинствах представленных студентами работ, умалчивая об их недостатках, стал читать отчет о медальных сочинениях. По счастью, он сильно сократил профессорские отзывы, а то на прошлом акте эта процедура затянулась чересчур долго. Я боялся, что мне придется первому выходить, не присмотревшись к этой процедуре, но начали с классиков, и первый вышел Церетели (не кавказский). О моей работе прочли коротко, а в отчете будет гораздо больше. Отчет этот я тебе вышлю на этой неделе. Из отзывов интересны похвалы одного студента восточного факультета («им, сказано, факультет, которому он принадлежит, может гордиться») за работу по международному праву. Ее тоже печатают. Затем два отзыва составлены, по-моему, очень неудачно: назначены «похвальные отзывы» после того как подчеркнуто, что одну работу (по физике) в 900 страниц отличает большое трудолюбие, а другая (на мою тему) написана субъектом, кончившим филологический факультет в Москве, юридический у нас и еще Археологический институт. Серебряную медаль получил Жорж Данилов за сочинение по политической экономии «о соперничестве водных и железных путей». Жорж был необыкновенно важен и достаточно комичен в своем мундире с почтенным брюшком. Меня Делянов спросил — из какой я гимназии; я сказал, а он толкает сидящего рядом Палладия и говорит: «Тифлисский, тифлисский». По счастью, не Палладий вручил мне медаль, а [то] пришлось бы прикладываться. Злые языки (художниц) говорят, что я покраснел и имел сконфуженный вид. А Катя привлекла всеобщее внимание тем, что вздумала плакать. Отбыв сию комедию, мы не без труда выбрались; Катя сейчас поехала домой, а я обедал у Цейдлер, оттуда только что и вернулся. Пусть меня бранят, но я рад, что никуда не пошел на сегодняшние обеды «с безобразиями». Право, не стоит того проделывать еще эту вторую и, я уверен, вовсе не веселую комедию. Впрочем, что я еще не совсем отстал от кавказского духа, в этом я имел случай [убедиться] в четверг, когда у Шенгера мы втроем выпили четвертную бутыль вина, причем, ввиду нездоровья Родзевича и ловкости Шенгера, большая доля выпала мне. И, право, почти ничего! Так — немного туману, но и только. Зато тут же я и убедился, что охоты к такому препровождению времени у меня не слишком мало. Тогда еще не дурно было, пот[ому] что я в тот день отчего-то развинчен был, а потом мои «нервы» сразу улеглись. А, в общем, на масленице много времени даром прошло. В пятницу я был у Полонских, в субботу обедал у Куманиных, сегодня — целый день, по случаю акта — фьюить! Теперь — баста! Великий пост! <...>

---

* Поживем — увидим (*фр.*).

Д. 1. Л. 204—207 об.

60

Без даты*

Дорогая мамочка! Ю. П. написала тебе письмо в ответ на то твое письмо, на которое я уже ответил и от которого два дня сам не свой ходил. <...> Смешная эта Ю. П. Перед актом целую ночь не спала, а потом волновалась, точно сама медаль получала, раз в 100 больше меня. И как это вы все (и ты ведь тоже, верно, поплакала бы вместе с Катей?) придаете столько значения этой внешней стороне! Не понимаю я этого, может быть, потому, к[а]к нашла Цейдлер, что у меня совсем нет Eitelkeit.** Это не совсем так, только моя Eitelkeit другая.

---

* Это письмо, возможно, присоединено к предыдущему.

** Честолюбия (*нем.*).

Ну, все равно; меня смущает, что за меня так волнуются, что я могу отдать за такое отношение ко мне? Это касается больше сестер, напр[имер] Кати, чем тебя и Ю. П., потому что я как-то не так отзывчив к их личным делам, чем они к моим. <...>

Д. 1. Л. 201—201 об.

61

11 февраля

<...> А вечером мы были в итальянской опере. <...> Шли «Пуритане» — одна из шаблонных и безвкусных итальянских опер. Пели Маркони, Котоньи и Зембрих. Маркони очень и очень мне понравился; он тонко поет, и <...> много страсти и выражения. Котон[ь]и — стар и совсем бесцветный; зак[ат]ившаяся звезда! Зембрих всегда хороша и никогда не производит впечатления. В общем, я вынес впечатление, что незачем ходить в итал[ьянскую] оперу. А вчера — перехожу в другую оперу — мы подали прошение об увольнении из университета. Вот уже как близок финал. Первый экзамен, верно, 24 апр[еля] будет. Платонов убеждает не бояться экзаменов и надеется, что сойдет в лучшем виде. А там что? и жутко, и хорошо, как подумаешь. Glück auf.* А может быть: «lasciate ogni speranza»!** Я впадаю в высокий слог, как видишь. Ну, поставь это на счет итальянской оперы. Какой Платонов милый! Сам держит корректуру моей статьи; положим, не ради меня, а потому, что не доверяет моему вниманию и считает, что ответственность за факультетское лежит на нем. Но мне это очень приятно: дело скучное и много времени берет. <...>

Д. 1. Л. 208—209 об.

62

13 февраля

Дорогая мамочка! За эту неделю у меня несколько новых новостей! В понедельник получил я известие от Наташи, что Ипп[олит] Петр[ович] на 1 $^1/_2$ дня приедет в Питер и что поймать его можно у Истоминых. Я и попробовал это исполнить: явился к Истоминым во вторник вечером. Ипп[олита] Петр[овича] не было, но меня попросили подождать. Когда он явился — его заставили петь. Пел много, хорошие вещи и пел чудесно. Спел две арии из Тангейзера,[68] две из Демона и кучу романсов. Он был в голосе, но верхи у него скрипят — i poverino!*** Нынешняя итальянская опера — его лебединая песня. Он бросает сцену и театр — это, кажется, верно, потому что нет никакой возможности вести дело дальше. Дай Бог! Пора с честью перейти к профессуре. Ипп[олит] Петр[ович] хочет основаться в Петербурге. Неужели его не попросят в консерваторию? Это было бы нелепо, но потому-то оно и вероятно. <...>

---

* Дай Бог! (*нем.*)

** Оставь всякую надежду (*итал.*, цитата из «Божественной комедии» Данте).

*** Бедняжка! (*итал.*).

В среду я хотел сидеть дома, но забежал Полонский и убедил меня, что надо сходить к Платонову по делам моей работы. Я и поехал к 10-ти часам (у них это возможно). Моя работа в наборе, и, наверно, скоро корректуру пришлют. <...> До свидания, мамочка. Послезавтра вышлю тебе отчет университетский. Тебе будет любопытно, да и папе тоже — почитать, что про меня пишут. Да, ты пишешь: «зачем я так „умаляю" свою заслугу», по-твоему, в большинстве случаев «честь» принадлежит исследователю, и много значит уже то, что я предчувствовал, что что-то должно быть. Так почти все смотрят, но, по мне, надо ценить работу по количеству затраченных сил: ценна работа, в которой есть мысль своя и живая. А почуять, где искать материалов, — это еще не много. Такого чутья у меня много — я стал даже суеверным и всегда верю, что если мне хочется прочесть книгу, о которой ничего, кроме заглавия, не знаю, то, значит, в ней есть то, что мне нужно. Но ведь чутье у всякого легаша хорошее. В работе своей я почти наугад брал рукописи по каталогу, и почти ни одна не обманула моих ожиданий. По-моему это, все-таки, только случайная удача. Ну, все равно, не будем торговаться. Во-первых, у меня входит в глупую привычку охотно о себе говорить, а во-вторых, ведь тем лучше, если легко дался успех; значит, можно с надеждою вперед смотреть. <...>

Д. 1. Л. 210—213 об.

63

13 февраля

Одной маме

Мамочка, хочется мне высказать тебе одну вещь. Ю[лии] П[етров]не предстоят весною экзамены. Это каждый раз обходится ей очень дорого в смысле утомления. А теперь она в настоящее время уже такая утомленная, если не больше, чем была в прошлые экзамены. По-моему, надо бы избежать экзаменов. Но как? Написать прямо домой, что нездоровится или что устала, она не хочет, чтобы не пугать своих, и потому настаивает на том, чтобы держать экзамены. Мне и пришло в голову спросить тебя: не найдешь ли ты возможным поднять нашу историю теперь же, т. е. написать папе, написать Кимонт (и от вас с папой, и от меня) и т. д. Или, по-твоему, риск велик, и можно скорее вызвать недоверие и неудовольствие ее родителей, так как я ничего не могу сказать про свое положение на будущий год? <...> Мамочка, сообрази-ка это все. Прости, что вношу столько беспокойства в твои думы, прости, милая мамочка. Дело в том, что мне жаль напрасной и большой траты сил Ю. П. Но надо тоже подумать, что отказ-то, пожалуй, совсем не позволит ей работать. Да неужели он возможен?

Саня.

Д. 1. Л. 214—214 об.

64

19 февраля

<...> Занятиями я, как всегда, недоволен. Требования настолько неопределенны, что я в настоящую минуту, вызубрив добрую порцию, нахожусь в недоумении: за что теперь приниматься. По истории философии и истории славян курсы, по которым мы будем готовиться, еще не вышли из печати. Кареев еще печатает третий том. Первые два я прошел, а теперь еще он из них много выкинул. Из первого меньше половины нужно. Тем лучше — остальное для Васильевского пригодится. (Ошибаться стал — каков!) А вот по чему еще читать среднюю историю — не знаю. Лекции Петрова довольно бессодержательны. <...>

Д. 1. Л. 215—216 об.

65

24 февраля

Дорогая мамочка! Должен тебе сказать, что фантазия у моей мамочки слишком богатая! Предлагать в виде программы — Грановского! Excusez du jeu! Во-первых, это чересчур торжественно, а во-вторых, ...это совсем не тот жанр. Да, мама, ставить себе идеалом Грановского едва ли [возможно] по нынешним временам. Надо для этого верить в силу красивых мыслей, красивых слов, а мы слишком трезвая молодежь, ничем не увлеченная и не хотим никого увлекать, — а ищем и хотим мыслей доказательных, выводов, которые выдержат какой угодно скептический анализ. Быть может, это наивно, но мы верим, что строгой критической, спокойной работой можно построить систему взглядов — и хороших, и научных. Наш идеал профессора далек от эффектной фигуры Грановского, из лекций которого слушатели уносили много хороших чувств, подъем духа и мало твердых убеждений. Быть может, я неправ. Не знаю, надо будет прочесть Виноградова.

Что про себя написать? Все больше ощущаю приближение экзаменов, конца университета. Эх, перешагнуть бы поскорее. Иногда шевелится неприятное чувство, а в общем — так много радужных фантазий! Гм, а если, правда, «фантазий»? Нет, нет! Посмотрим. Смущает меня неумение работать, экономить время. Да, председателем экзаменационной комиссии будет Иванов — московский профессор-классик. Какой он, мы не знаем. Значение председателя зависит от того, насколько он стесняет профессоров. Чем меньше его заметно — тем лучше. Да и глупо ему в чужой монастырь идти со своим уставом. Жаль, что он классик. Экзамен по древним языкам самая неприятная перспектива, потому что наши теоретические познания слишком ничтожны. Ну, страшен сон, да милостив Бог.

А, пока что, я все-таки не могу усидеть постоянно дома. В воскресение обедал у Шеффер, а вчера был у Манизер. <...>

Да, я, кажется, не писал тебе, что в университете читают лекции о холере; она снова растет, ну и готовят санитаров. Merci bien.* Чтоб ей пусто было! Мне, право, не до того, а вдруг еще экзаменам помешает! <...>

Д. 1. Л. 217—219 об.

66

28 февраля

<...> Про смену Островского рассказывают, что она произошла внезапно, т[ак] к[ак] понадобилось моментально прогнать Абазу, а в кандидаты на его место Воронцов предложил Островского, зная, что тот не будет доволен. Абаза, в сущности, проворовался, п[отому] что проделал такую операцию: Рафалович (одесская фирма) должен был ему что-то миллиона 1 $^1/_2$ и стал прогорать; тогда Абаза выхлопотал ему субсидию в 6 мил[лионов] — а того даже это не спасло. Все рухнуло и все было доложено Государю. Чистая Панама.[69] И как наглядно видно преимущество монархии: во Франции это могло бы вызвать правительственный кризис, а у нас перемена погоды более заметна, чем такие инциденты.

Вопрос о Коле напомнил мне, что я до сих пор не ответил Дине. Надо написать, а то и вовсе не соберешься. Под давлением экзаменов я начинаю приходить в упадок, и даже мое светлое настроение тускнет; тем более, что все очевиднее, что приготовиться хорошо — довольно мудрено, придется держать clopin-clopant,** а это совестно, п[отому] что на меня помимо моей воли — волею судеб и почтеннейшей публики — возложена обязанность быть по возможности «на первом плане». Что у нас нового? Я писал тебе, что председателем на майском судилище будет московский Иванов, классик. Все им интересуются и никто ничего не знает. Кто бранит, а кто хвалит. Платонов прочел объяснительную лекцию о теме: «Ив[ан] Дм[итриевич] Беляев как историк» и еще больше убедил меня, что эта тема для этюда, для журнальной статьи — не более. Раздуть ее в диссертацию можно — раздувать, что угодно можно — уж выбрать вопрос, который сам по себе требует больших рамок. Да все это, пока, мало меня занимает; все это далекое будущее, надо более насущные вещи проделать, войти в колею, а там, оглядевшись, по обстоятельствам — сообразить, что делать и что исполнимо. Sic.

Был я у Истоминых с визитом. Надо было это проделать. Застал там одну m-me мамашу и посидел с ней полчаса. Она дама довольно симпатичная, очень любит Ип[полита] Петр[овича], знает его биографию a fond*** — и думая, что я знаю не меньше, много разъяснила для меня. Говорила о романе с Мравиной (один из двух, про которые Ип[полит] Пет[рович] сам говорит, что они были «серьезные»), с Павловской, о том, что Соф[ья] Ник[олаевна] стрелялась, да неудачно; говорила про «тифлисские похождения», про кот[орые] сам

---

* Большое спасибо (*фр.*).

** Кое-как (*фр.*).

*** Основательно (*фр.*).

Ип[полит] Петр[ович] говорит, qui ce n'etait pas serieux,* «а таких у него много было». Интереснее то впечатление, которое произвела на него смерть Софочки: он был очень рад, что она перед смертью позвала священника (это гипербола: она только сказала: «Теперь мне не доктора, а священника нужно», от такой фразы до желания покаяться еще далеко); стал читать какие-то «мистические книги», причастился и в этом году опять говеет, он, не делавший этого лет 30! Воистину, неисповедимы пути Господни! Такие «обращения» меня очень занимают. Нечто подобное совершается в другом тоне — с нашим Введенским, критицистом, почти скептиком — а теперь волею судеб и какой-то болезни (никто не знает, что с ним; но барышни говорят, что «болезнь Генриха Гейне») — поворачивает к метафизике и доказательству истины бытия Божия. Для меня это было бы очень симпатично, если бы было умно. Но тут страдает логика. А если бы можно было с логикой и критикой уйти дальше отрицательных выводов, как бы это мило было. Если будет когда-нибудь время, когда мне нечего будет делать и много будет досугу, я позанялся бы философией. И тут и программа исследований, в общем, намечена, да некогда будет возиться с отвлеченностями. А, впрочем, если не откажусь от Беляева, то, ради славянофилов, придется влезть в философию и даже в богословие. Да, по правде сказать, если заниматься историей как наукой, то надо еще понять, что это за птица, а не только теории такой науки нет, но нет — смешно сказать, а, ей-Богу, нет! — даже определения ее. И такие странные из этого смешения понятий выходят. Разобраться в этом необходимо, если относиться к делу серьезно; а добиться чего-нибудь в теории исторической науки — почти невозможно. Ну, я, кажется заболтался. Бог с ними с теориями.

Я к Ефремовым едва ли больше поеду: жаль целый день терять. Хоть у меня редкая неспособность «зубрить», а не «читать», но все-таки каждый день что-ниб[удь] да сделаешь, и тем более надо дорожить временем. Главное, что удивляет, это очевидная нелепость такой работы и вообще экзаменов в той форме, в какой они происходят: ведь это чистое надувательство! Нахватаешься с лихорадочной поспешностью какого-то маргаринового знания, чтобы кому-то очки втереть. Тьфу.<...>

Д. 1. Л. 220—223 об.

67

2 марта

<...> Стараюсь побольше зубрить и как результат этого — все меньше материалу для разговора. Впрочем, вчера вышел разговор с Платоновым. Он говорил о моих планах на будущий год, выразил свое мнение, что изо всех молодых будущих петербургских русских историков настоящими считает Рождественского (этот кончил 2 года тому назад и теперь держит магистерский экзамен) и меня. Кое-что и про себя говорил. Я люблю, когда он высказывается, люблю его прямоту и большую скромность. Кто другой стал бы на его месте гово-

---

* Что это было несерьезно (*фр.*).

рить студенту, что силою обстоятельств он, по собственному убеждению, не имел возможности достаточно подготовиться к профессуре. Такое признание очень хорошо, по-моему, характеризует его, а еще — видно ко мне доверие. Не так ли? Я думаю, не всякому он бы это сказал. Вообще, Платонов много мне высказывает и о других. И обо мне, и о нашей специальности и моей будущей деятельности. Вот почему я люблю, когда можно, поймать его одного. При других он совсем другой. Странно он обо мне думает: считает меня установившимся, «сконцентрированным», как он выразился. А я себя очень шатким считаю, и разбрасывающимся, и негодным для систематических поступков. Кто из нас прав? Впрочем, какие мои поступки. Я и не пробовал ведь настоящего «дела». Лежит у меня на столе учебник древней истории, составленный моск[овским] проф[ессором] Виноградовым.[70] Это любопытная вещь: попытка написать умный элементарный учебник. Говорят, он слишком умен для гимназистов. Не знаю — но это прекрасная книжечка. Виноградов с каждым месяцем все больше на первый план выступает. Теперь у него вот какая симпатичная мысль: он решился обратить сильное внимание на гимназии, решив готовить себе учеников из гимназии, и взял 5-ю гимназию, чтобы там с младших классов преподавать историю. Издал первую часть учебника всеобщей истории; готовит другие. Из этого большой толк быть может. Их там в Москве целый кружок подобрался. В виде «образца» мне Виноградов приятнее Грановского — это ересь только для не знающих Виноградова — большого ученого и хорошего преподавателя. А часто ли это вместе бывает?

Вот тебе пара мыслей с лирическим оттенком. Рассказывать нечего. На Шипке все спокойно. Дай Бог и вам того же. <...>

Д. 1. Л. 224—225 об.

68

6 марта

Сегодня папино рождение, а завтра именины. <...>

Что за мысль, чтобы преподавательство было обязательно для оставленных при университете? Нисколько, даже больше: стипендиатам возбраняется, а всем — не рекомендуется занимать штатные места с большим количеством уроков; по крайней мере — на первое время. Все берут сколько-нибудь уроков, во-первых, для заработка, а во-вторых, для практики, чтобы подготовиться и, не теряя времени, выработаться, по крайней мере, в порядочного преподавателя. Шеффер уроков не дает и не собирается давать. Заработка ему не нужно, а как он хочет устроиться на случай, если придется самостоятельно жить, не знаю. Отец хочет вывести его в преемники своего места, но ему этого не хочется. Об «архивах» и «библиотеках» я ничего не знаю, и не знаю, могу ли что-ниб[удь] узнать. Это план мудреный и ненадежный. <...>

Ну, будет болтать — писать все равно больше нечего. Чем дальше готовлюсь к экзаменам, тем больше вижу колоссальных пробелов и весьма существенных! И это — будущий преподаватель! Любопытное будет зрелище!

Д. 1. Л. 226—227 об.

69

15 марта

Дорогая мамочка! Экзамен все ближе, мы уже подали прошения о выдаче нам свидетельства об окончании полного курса наук и политической нашей благонадежности. И — странное дело — чем ближе к экзаменам, тем они как-то меньше меня беспокоят и даже меньше занимают, хотя занимаюсь я, конечно, больше. Как-то думаешь: «Авось, да небось, да третий: как-нибудь» — эта тройка вывезет! Хотя в то же время думаешь, что делать иначе, как хорошо, нельзя. Посмотрим, что из всего этого выйдет! Я плохо представляю себе, как буду отвечать на экзаменах. Материалы для ответа, верно, будут на все вопросы, а находчивости и храбрости, по общему мнению, у меня всегда бывало довольно. Но экзамены всегда лотерея, и всегда возможны эпизоды более или менее конфузного свойства. Напр[имер], на экзамене по истории философии, по которой я еще не пробовал готовиться, а предмет вовсе незнакомый и все-таки — мудреный. Да поможет мне Бог и святая Розалия! <...> Могу сообщить про Ипп[олита] Петр[овича]. Он в итал[ьянской] опере поет так, что больно слышать: обрывается, кричит, даже фальшивит, сам того не замечая. Печальный конец блестящей карьеры! Софья Ник[олаевна] так петь ему бы не позволила. А в университете что-то вроде беспорядков: попытки учинить сходки, но даже шуму не слышно. Что-то ничего не выходит. Быть может, еще разыграется, а может быть, и так пройдет. Все дело из-за того, что выключили 3-х за шум 19 февраля, когда требовали, чтобы не было лекций. Ректор замял дело, помимо него исключены трое. Пустили слух, что он выходит в отставку; спросили его, а он отрицает это. Студенты недовольны и шумят.[71] Это подарок на новоселье новому инспектору — Альбрехту. Этот был в Казани инспектором и ушел по такой же точно истории — он замял какое-то дело, а ему велели несколько исключить. Он не захотел и ушел. Приехал в Петербург, когда тут слетел наш инспектор, ему говорят, чтобы он попросился на это место и явился к начальству, а он говорит: «Пусть сами попросят». Подождали 2 месяца — да и попросили. Теперь он вступил в должность. Все это симпатично, и сам он довольно симпатичный (я видел его у Шеффера). Давай Бог!

С организацией экзаменов не клеится. Все как-то безучастны, а надо состряпать расписание, написать председателю etc., положим, все это неважно. Co to bendzie, co to bendzie!* О языки, языки! Мама, если бы ты знала, до чего мне нужны английский и польский. А что стоило выучиться? Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait!**

Д. 1. Л. 232—233 об.

---

* Что-то будет, что-то будет (*польск.*).

** Если бы молодость знала, если бы старость могла (*фр.*).

70

22 марта

Одной маме

Ну, дорогая мамочка, человек предполагает, а выходит иначе, по-моему, к лучшему. Я сегодня узнал, что вы с папой едете в Тифлис, и мне очень захотелось решить свое дело во время вашего там пребывания. Побежал к Ю. П., а она говорит, что не утерпела и написала домой в такой форме: на днях я, с твоего ведома, которым заручился заранее, сделал ей предложение, которое она приняла бы, если согласятся ее родители. <...> А если ты встретишься с Кимонт, или зайдешь к ним, или они зайдут к тебе, узнав о вашем приезде, словом, если ты до пятницы узнаешь их ответ, то телеграфируй условно, но подробно. Не думаю, чтобы было желательно, чтобы ты заходила к ним, — а вдруг откажут? Это момент для тебя неприятный. Но ты, мамочка, лучше сообразишь, как сделать. Помни: они знают, что тебе известно мое предложение, но не известен ответ; с Ю. П. ты не переписывалась — это было бы им обидно.

Теперь — папа. Прилагаю письмо к вам обоим. Напиши подробно, как он к этому отнесется. От Кимонт он может узнать, что я сообщал тебе о своем намерении. Но ведь это ничего — только намерение, а не решение. Надеюсь, что не поставил тебя в неловкое положение.

Мамочка, милая мамочка! Как хорошо, что так близко решение. Не правда ли? Это избавит меня от беспокойства, которое все-таки забиралось в душу. <...> Прости, моя дорогая, что столько тревоги и волнения тебе доставляю. За меня не беспокойся: я сам удивлен своим хладнокровием, нет — самообладанием. Занимаюсь, не рассеиваясь и гоня мысли. Не бойся и за ответ. Какой бы он ни был, я справлюсь и с ним, и с экзаменами, даю тебе слово.

Твой Саня.

Дорогие папа и мама!* Несу повинную голову, надеюсь, что простите, благословите и поможете. Я сделал предложение Юлии Петровне Кимонт — и она его примет, если получит согласие родителей, которым написала, но ответа еще не получила. Простите меня, что решился на такой шаг, не спросив разрешения. Сознаюсь: я не имел права так делать, хотя бы потому, что в первый, а то и первые два года едва ли сумею сразу встать на свои ноги. Придется обратиться к папе с просьбой о поддержке: если папа сохранит за мною то, что теперь мне дает, — я надеюсь, что сумею пополнить остальное. <...> А теперь надо ждать ответа из Тифлиса. Я узнал от Кати, что вы в среду на Страстной[72] едете туда. Если увидитесь с Кимонт, телеграфируйте их ответ, напишите мне свое слово, свое благословение, доброе пожелание. Ведь вас, мои дорогие, не рассердит мой поступок, вы отзоветесь сочувственно, поможете и словом, и делом, и добрым, теплым расположением. Если удастся устроить свой угол, свою семью, вы полюбите Ю. П. как свою, как любите меня? Не правда ли?

---

* Продолжение того же письма, написанное для обоих родителей.

Боюсь, вы найдете, что я несвоевременно затеял это, но уверяю вас, что это нисколько не отзовется на моих занятиях, что же касается до женитьбы тотчас по окончанию курса, то я помню, написано слово: либо рано жениться, либо никогда. Что же касается до материальной стороны дела, то, оставив меня при университете, мои профессора помогут мне и устроиться. Платонов сулит по 50 р. в месяц — правда, только с января. Форстен обещал достать уроков. Рублей 100 — наберу с Божьей помощью. С папиной помощью, которой, надеюсь, злоупотреблю ненадолго, проживу первое время, а потом и на свои ноги стану. <...>

Д. 1. Л. 228—231 об.

71

23 марта

<...> Дела, дела! как много их! Сегодня я наконец получаю «выпускное свидетельство», как называют у нас свидетельство об окончании курса. Свидетельство о полукурсовых экзаменах я уже получил. Положим, я, как и ты, знал, какие были отметки, но, все-таки, нашел, что ce n'est pas fameux* — 3 четверки и 4 пятерки, да четверки-то еще такие предосудительные, как по русской литературе, русскому языку и логике; остальные отметки — по древней, русской истории и по классикам. Итак, с сегодняшнего дня я не студент, но и не «гражданин», а так, серединка на половинке. Новостей больше никаких нет. От Платонова о моей работе ни слуху, ни духу, а я у него уже среды 3 не был: жаль времени. Только что вышел третий том Кареева — новый материал для зубрения.[73] Иногда хочется спросить: и куда все это поместится? Но все эти глубокие «знания» размещаются по этажам, согласно расписанию экзаменов, и выбрасываются по мере выдержания оных. (О, Боже! что за канцелярский стиль: это он от практики писать прошения, заявления и т. п. и т. п.) А пока в голове — чистая кунсткамера: готы, вандалы, греки, персы, французские короли, итальянские принчите, немецкие рыцари, русские удельные князья — веселая и пестрая толпа, в которой много пестроты и никакого складу, ни ладу. И сверх всего — коллекция курьезов немецкой философии, историю которой тоже зубрить приходится. Все это вместе довольно занятно, лишь бы успеть и сдать прилично, не растерявши по дороге. После Пасхи подаем прошения в «госуд[арственную] комиссию» с приложением автобиографии и карточки. <...>

Д. 1. Л. 235—237 об.

72

29 марта

Ипп[олит] Петр[ович] приехал в Петерб[ург] продавать свое имущество (театральное) — Пальму. Кажется, из этого ничего не выходит. Вся эта дрянь стоила дорого, но отделаться от нее ему довольно мудрено. Планы его на будущее пока неопределенны. В Петерб[ургскую] консерваторию его не хотят. Толкуют о том, чтобы пригласить его в Московскую, поручив ему выпускной сценический оперный класс, куда поступали бы окончившие классы пения. Это палка о двух концах: придется к сцене готовить певцов, плохо подготовленных по пению другими, без возможности, да и без права их переучивать. Если это тоже не выгорит и придется ограничиться частными уроками, то он думает основаться в Петербурге. У меня нового не много. Работа моя скоро появится, она вся отпечатана, я ее прокорректировал, и, благодаря Платонову, поправок пришлось сделать очень мало. Бедный Платонов! У него сын умер, маленький, около году, кажется. Тяжелая вещь, мне особенно ее жалко: она такая славная и, наверное, очень поражена. Шенгер заявил, что все-таки едет в Пятигорск, п[отому] что его мама очень нездорова и желает, чтобы он приехал. Сколько и в этой семье горя! Отец окончательно поправиться не может, а теперь и она очень больна. Вот какие грустные вести для светлого праздника. А праздник веселый. Теплая, ясная погода, солнечные дни, толкотня на улицах, всюду оживление. А у вас там еще светлее, еще теплее, еще лучше. Хорошая вещь юг, не правда ли, мамочка? <...>

---

* Не Бог весть что (*фр.*).

Д. 1. Л. 238—239 об.

73

8 апреля

<...> Мы тут порядочно изверились, благодаря противоречию твоей телеграммы и довольно огорчительного письма Кимонт, особенно от мамаши. Жду, не дождусь решения и разъяснения. <...>

Моя работа, верно, скоро выйдет — я получу 300 экземп[ляров] в виде отдельной книжечки (52 стр.). Пришлю тебе — куда? В Астрахань? — не знаю, как долго вы там будете. Так-то, мамочка. Дела! дела! Слишком много сразу дел, не правда ли? Экзамены вблизи не так страшны, как издали. Я, кажется, сообщал тебе их расписание. Жаль, что они почему-то вечером — в 6 часов. Это мне не нравится. <...>

Д. 1. Л. 240—241 об.

74

11 апреля

<...> На письма родителей Ю. П. ответила, что проект отсрочки на неопределенное время она понимает как предложение отложить навсегда, о чем-де и меня уведомила. Тебя удивит этот ответ, но я не мог ничего возразить, хотя немалого он нам стоил. Дело в том, что, видно, в разговорах с вами Кимонт все-таки иначе относились, чем в письмах к дочери. Петр Вик[ентьевич] писал, пожалуй, в том же духе, как и ты передаешь. Но Мих[алина] Мих[айловна] прямо выражала сильное огорчение, что вводят в дом русского, прямо просила отказаться от плана, вообще ее протест вышел очень горячий. Петр

Вик[ентьевич] писал сдержанно, но не нашлось у него ни слова одобрения и сочувствия. В связи с известием, что решили ждать, пока я буду магистром (отчего не академиком?), а Ю. П. кончит школу и еще за границу съездит (minimum — 3 года), — это сводится на замаскированный отказ, на заднюю мысль, что, мол, выиграем время, а там все перемелется и мука будет. <...> Главное, из писем — а они два раза писали — своих родителей Ю. П. поняла, что, хотя ей предоставляют, прождав N времени, «делать как хочет, так как она совершеннолетняя», поняла, что ей грозит внутренний разрыв с семьей, а на это не хватит силы; да ведь это слишком страшно, это отзовется на всю жизнь, этого я не могу брать на себя, не могу становиться между нею и ее семьей. Не знаю, как говорили с вами Кимонт, по-видимому, не заикались о вере и национальности. А письменно они на это напирали, т. е. П[етр] Вик[ентьевич] только вскользь упомянул про это, но Мих[алина] Мих[айловна] очень на это упирает да еще на возраст. Чем кончится все это? Неужели это и конец? Похоже на то. Буду ждать, что ответят они еще, а там, быть может, хоронить будем свои фантазии. Я, конечно, подчинюсь мнениям Ю. П. Тут нельзя убеждать, когда выходит, что ей надо выбирать между своей мамой и мною. Эта пресловутая отсрочка несколько смягчает на словах отказ, точно соломки подстилают, чтоб не так больно было. Но мало это помогает, пройдет это время — а что это будет стоить? — ну, пройдет, а там разве не новый конфликт? Мне остается глубокое сожаление, что я создал такое натянутое положение, вся тяжесть которого падает на Ю. П. Ты скажешь, что я преувеличиваю? Нет, не скажешь, ты скажешь, что я прав. Если бы наша бы и взяла, а в этом я более чем не уверен, то обойдется это дорого. Да нечего себя обманывать, остается работать. Это хороший запой от всяких мыслей и чувств, авось, если из меня толк выйдет, наука выиграет то, что я сам проиграю. <...>

Д. 1. Л. 242—243 об.

75

14 апреля

Дорогая мамочка! Сегодня утром принесли мне из типографии 300 экз. моей книжонки. Аккуратная книжечка в синей обложке. С сегодняшнего дня я «автор» и через 50 лет 14 апр[еля] будут праздновать мой пятидесятилетний юбилей как писателя. Видишь, сколь торжественный смысл заключала в себя наша встреча в передней с посыльным типографии Скороходова. Я думаю, что незачем посылать тебе теперь эту работу. Привезу, когда приеду. <...> Т[ак] как моя работа напечатана, то нужно поискать доказательств для некоторых заявлений, которые я себе позволил. Поэтому мне очень бы хотелось пробыть недельку в Москве да столько же в Орле. В Москве мне нужно побывать в Синодальной библиотеке, а в Орле у доктора Лебедева, если не ошибаюсь. Я, помнится, писал тебе, что у этого доктора, по словам Бестужева, есть рукопись, очень любопытная, а по моим соображениям, это с того свода летописей, клочья которого я собирал по Питеру и Москве. Если так, то его рукопись может подтвердить все мои предположения и послужить проверкой всей моей работы.[74]

Можешь себе представить, как важно было бы мне до нее добраться. На днях буду я у Бестужева, узнаю адрес доктора и напишу ему. В случае благоприятного ответа надеюсь получить родительское благословение на побывку в Орле. Там выясним, как это сделать: по дороге ли отсюда, или из Харькова съездить, или на обратном пути. Я предпочел бы по крайней мере в Москве побывать в июне. Напиши, как взглянете вы на это с папой. Напиши еще, заговаривать мне об уроках на будущий год или нет. Я предпочел бы, ничего не делая постороннего, в 1 $^1/_2$ года, т. е. к Рождеству 94 года, сдать магистерский экзамен. Думаю, что это возможно. [Этого хочет Платонов, протестуя против службы до экзамена].* Но не следует ли мне начинать что-нибудь зарабатывать самому и не рассчитывать исключительно на папу? Отвечай откровенно, как откровенно я пишу. За время подготовки к магистерству сообразим, что дальше с собой делать. Какой-нибудь архив или даже министерство (хоть у Тихеева, что-нибудь по крестьянским делам — очень мило и не без перспективы статистических и этнографических командировок) симпатичнее, чем учительство. Это не противоречие тому, что я писал. С людьми иметь дело приятно, живя с людьми; а архивной крысе лучше в архиве, в канцелярии, с бумагами. Перемена настроения — и перемена планов. Это не противоречие.<...>

Впрочем, я про себя ничего не рассказал. Как я время провожу? Довольно беспутно. Правда, у меня довольно много сделано, так что остающегося до экзаменов времени за глаза довольно. Вчера кутили у Цейдлер по случаю дня ее рождения. Была своя компания, было очень оживленно и, глядя со стороны, очень весело. Танцевали, школьничали, много смеялись. Сегодня надо пойти к Платонову, снести ему «Царств[енную] книгу». Был я как-то у Шенгера (в субботу), даже ночевал у него, т[ак] к[ак] у нас кутили и попросили меня уступить комнату. Да — по поводу Шенгера. Я думаю, отчего бы мне не поселиться на будущий год с ним вместе. В той же квартире могу взять соседнюю комнату. Она на 3 р. дороже (20 р.), зато будет место, где другой книжный шкаф поставить для тех Колиных книг, которые у Ефремовых. По-моему, страшно оставлять их в сарае. Еще отсыреют. Лучше возьму их в комнату, так мало надежды, чтобы в скором будущем Коля взял их к себе, а тогда получит их по крайней мере сохранными. Я составлю список и пришлю ему. Жить на Морской мне симпатичнее, а жить не одному почти необходимо ввиду того, что на будущий год будет совсем иной режим. Да и Володя тогда будет заниматься, во-первых, потому, что у него будут государственные экзамены, во-вторых, потому, что, живя вместе, мы больше дома будем сидеть. Напиши, что думаешь ты об этих соображениях. Тебя удивит, что я так много пишу о том, что и как будет после экзаменов? Да о чем же писать? Надо привыкать к новым планам. Да больше и рассказать-то нечего. <...>

Д. 1. Л. 244—247 об.

---

* Последняя фраза — приписка А. Е. Преснякова на полях.

76

16 апреля

<...> Вечером вчера я зашел к Бестужеву. Что за прелестный старик! Такая хорошая, разносторонняя, образованная интеллигентная сила. И такой добрый и простой. Мне с ним очень хорошо, несмотря на грустную ноту, которая как-то звучит в его живой речи. Он очень нездоров и слаб, и это — плюс какие-то тяжелые домашние обстоятельства — придает грустный тон его беседе; сказал я «несмотря», а вернее, потому-то мне так и хорошо с ним. Мы много говорили о моих делах, а еще больше о живописи и смотрели вместе альбомы Иванова с их иллюстрациями к Евангелию. Я не знаю вещи более глубокой по настроению, это неотразимое, мягкое, религиозное, наивное настроение так и остается надолго после них. Я рад, что Бестужев их любит. Их почти никто не знает, а это, может быть, лучшее в русском искусстве. Потом говорили обо мне. Я между 2-х огней. Платонов хочет, чтобы я писал что-нибудь более широкое и содержательное, а Бестужев, и это мне ближе, поддерживает мою мысль о широком изучении летописей, в которых моя работка заняла бы кусочек одной главы. Во всяком случае, летописей я не брошу, а не вышла бы погоня за 2-мя зайцами, хотя верно, что нехорошо замыкаться на такой узкой сфере. Это — под влиянием вчерашней беседы. А то не стоит думать — успеется. <...>

А что бы папе догадаться приобрести Грановского и Кудрявцева. Он бы и сам охотно их перечел. Есть новые издания. На лето хорошее чтение.

Д. 1. Л. 248—249 об.

77

17 апреля

Спешу написать, чтобы выяснить одно маленькое недоразумение. Надя прислала мне деньги за книги, а я уже получил с Башкирова. Отдай ему 4 р. 50 к., а 50 — сдачи Палибиным. Можешь вычесть из моих майских денег. Надя теперь пишет еще, по поводу моего письма, что Коля нашел его бессвязным. Если это та ерунда, что я писал о Достоевском, то я думаю, насколько помню, когда и как я писал, что там нервов больше, чем смысла. Я Достоевского почти не читал и не знаю и наперед отказываюсь от бесед об нем.

Больше писать ровно нечего, да я писал последнее время, кажется, довольно часто. Надо зубрить. Познания не тверды, особенно — увы! — в русской истории. Ну, да страшен сон, а милостив Бог. Вы мне представляетесь где-то далеко-далеко, там, где земля с небом сходится, жду письма, которое вас бы ко мне приблизило. <...>

Д. 1. Л. 250—250 об.

78

20 апреля

<...> В том, что ты пишешь, мало утешительного, кроме разве новых перспектив для папы, если они осуществятся. Общее мнение, что папе необходимо показаться в Петербурге, что процентов на 50 повышает шансы. Давай ему Бог! Это было бы удовлетворением за старые обиды. Да и Варшава город хороший и дорога бойкая.[75] Ну, что делить шкуру неубитого медведя. Зато остальное, что ты пишешь, более чем грустно. Не много веселого и от меня услышишь. Впрочем, виноват, очень много. Тебе приятно будет, что Васильевский как редактор Журн[ала] Министер[ства] народ[ного] просв[ещения] получил от Бестужева-Рюмина записку: «Если можно, я написал бы для журнала о Преснякове, книга которого пришлась мне очень по сердцу». Рецензия Бестужева стоит медали.[76] Говорил еще Лихачев (доктор из молодых и мало уважаемых), что хотел бы рецензию написать, да не знает куда. Я пустил книгу в продажу. 100 экз. взяло «Новое время», ты, верно, заметила объявление в числе книг на первой странице. Корят меня, что очень уж дешево. Да не все ли равно. 20 экз. отдал Глазунову; этот даже деньги вперед отдал. Вместе с этим письмом посылаю тебе и папе. Забавно видеть себя в печати. А Лихачев подчеркнул мне довольно неудачный промах. Платонов говорит, что пустяки, а по-моему, это существенно. Это поправка к попытке восстановить попорченный текст (стр. 18). Я свою книжку многим роздал и разослал чуть ли не 60 штук. Всем университетским, товарищам, начальству Публичной библиотеки, etc. Пусть знают, что есть на свете Петр Иванович Бобчинский.[77] А с экзаменами не знаю, как будет. Кажется, я что мог сделал, и более или менее приготовился. Это еще не гарантия, чтобы они хорошо сошли. Лично мне безразлично, лишь бы сошли. Но ты, верно, иначе смотришь, да и я сам дорого бы дал за удачу, чтобы не было мысли (во всяком случае, неосновательной), что мне помешали обстоятельства последнего времени. Под их давлением я занимался больше, легче и охотнее, чем было бы без того и чем стал бы заниматься теперь. Но теперь дело сделано, времени — одна неделя (начнем, верно, не 27, а 28), и я ее просижу уже по инерции, ибо в ясную погоду вошел в дело, а теперь хоть все равно, да лучше наполнить пустоту хоть зубрежкой. Первые два дня — письменные экзамены. По русской истории, если верить Платонову, будут прошлогодние темы, а по всеобщей нам самим предлагают выбрать темы наперед. Это довольно патриархально, но удобно. Потом устные с довольно удобными промежутками. Надеюсь, что хватит заряду отнестись к экзаменам энергично. Говорят, что напряжение большое нужно, хотя для меня не ясно, почему. Много сил тратится на страхи, а если не нервничать, чем я буду очень мало заниматься, то легче и лучше. Я опасаюсь противоположного — излишнего спокойствия. С расписанием вышло недоразумение. Составили мы его и через декана послали председателю экзаменационной комиссии, тот подписал, и получилось официальное расписание. А про профессоров забыли, никто их не спрашивал, и они обижены. Мы свалили на декана. Тот извинялся. Словом, комедия. По правде сказать, все это до-

вольно нелепо и скучно. Маргариновые знания, полусерьезные испытания, тяжелые, рискованные и без всякого серьезного смысла — довольно глупо. Но надо выпить чашу сию, хоть и пресно. <...>

Д. 1. Л. 251—253 об.

79

25 апреля

Дорогая мамочка, давно ничего не знаю о тебе. Верно, невеселое у вас настроение после новой неудачи папиных надежд. В Варшаву назначен кто-то, кажется, Каянус? Эх, неладно это для папы. Теперь, т. е. когда письмо в Харьков придет, вы, верно, уже вернетесь. Не так далеко время, как и я приеду. А пока новостей у меня — три короба. Тут Прянишников с Наташей. Они прислали за мной и повезли в «Панаевский» театр, слушать «Паяцев» и «Друга Фрица».[78] Давно не видал такого гнусного, балаганного исполнения. Испорчено было все, что можно было испортить. Судьба Ипп[олита] Петр[овича] такая: он приглашен в Петерб[ургскую] консерваторию, женится на Елене Истоминой и поселяется здесь. Бедная Наташа никак помириться с этим не может. Неожиданностью этого, во всяком случае, считать нельзя, а порадоваться за него, что не будет он одиноким, можно. Свои новости тоже есть у меня. Сегодня пошел обедать к Шеффер и не ошибся, что встречу Лихачева. Он поговорил со мной о работе, кое-что интересное сказал, а еще сообщил, что Л. Н. Майков (не поэт, а академик по рус[ской] литер[атуре]) хочет о моей работе доклад сделать в «Обществе любителей древней письменности». Вот какие мы нынче важные. Зато Соболевский, в сущности, почти единственный сколько-ниб[удь] компетентный в этом деле, со многим у меня не согласен. Постараюсь выудить его мнение, а главное, доказательства, п[отому] что печатать он не хочет. Это жаль. От орловского доктора получил письмо и напечатанный отрывок из его летописи. Из обоих вижу, что его рукописи для меня клад не меньше «Царственной книги». Крайне жаль было бы упустить случай. Он рад помочь мне и зовет в Орел. Вот и все новое. Экзамены послезавтра, 27-го — первый, письменный по русской истории. Тем мы не знаем, но догадываемся, и Платонов обещал дать то, кто чем занимался. 28-го второй письменный по всеобщей ист[ории]. Темы мы сами назначали. Я буду писать о Карле Великом. Говорят, комиссия такая добрая, какой еще не бывало. <...>

Ты, верно, больше меня думаешь и беспокоишься об экзаменах. Это не легкомыслие, не одно безучастие с моей стороны. Главные предметы я по 3 раза прошел, и перед ними хорошие промежутки — 8 и 6 дней. Есть время и на остальное. Авось сойдет. <...>

Д. 1. Л. 254—255 об.

81

28 апреля

Дорогая мамочка! Только что получил твое письмо из Астрахани и спешу ответить. Экзаменов два я уже сдал, т. е. письменно. Это одна формальность, о которой говорить не стоит. По русской истории я писал на тему — «дать характеристику какого-нибудь летописного свода», а по всеобщей — на приготовленную заранее тему — «деятельность св. Бонифация». Теперь следующий экзамен 1-го мая в 7 часов вечера. Сдаем новую и русскую историю. Восемь дней подготовки, надеюсь, достаточно. Неужели телеграфировать о результатах? Лучше, мамочка, не беспокойся, а я буду писать, во-первых, потому, что можно сейчас [же] не узнать отметки, а во-вторых, потому, что лучше рассказать, как и что было. А беспокоиться нечего, потому что провалиться довольно мудрено, как мне кажется. Вообще эти экзамены больше пренеприятная процедура, чем серьезное испытание. Это игра, в которой большинство шансов за выигрыш. Перед письменными мне дома не сиделось, делать было уже нечего, и я рад, что Прянишниковы увезли меня на «Пиковую даму»,[79] а на другой день позвали к себе. Ипп[олит] Петр[ович] пел очень хорошо и много хорошего пел. Он отказался от обеих консерваторий. От Московской, п[отому] что хочет жить в Петербурге, а от Петербургской, п[отому] что предложили неважные условия, а главное, с неудобными разговорами. Да и на что ему? Его уроки всегда пойдут хорошо. Любопытно, как сложится его новый home.* <...>

Ты мне ничего не пишешь о проектах на будущий год. Мне не хочется жить в той же обстановке. Не поселиться ли с Шенгером? Все не так тоскливо будет. Слышал я, что на меня имеют виды на будущий год. Некий камергер Хрущев хочет издавать сочинения Щербатова в переработке и со введением. Т[ак] к[ак] он большая скотина, то ни Платонов, ни Лаппо-Данилевский не желают с ним связываться. Он ищет кого-ниб[удь] из молодых и, по-видимому, обратится ко мне и еще одному кончающему теперь, Адрианову. Справиться мы бы вдвоем справились. Но зависеть это будет от совета Платонова, брать или нет. <...>

Д. 1. Л. 258—259 об.

82

8 мая

Дорогая мамочка! Вчера дело сошло более чем благополучно, а это считался самый серьезный день. Платонов меня вовсе не экзаменовал, спросил 2 слова и заявил ассистентам, что со мной он долго разговаривать не хочет. У Кареева я отвечал о политических теориях Монтескье, Руссо и Мабли, дело знакомо, п[отому] что я сочинения их читал. Я так расхрабрился, что на вопрос об эпохе, которой я специально занимался по всеобщей истории, я назвал французскую революцию и указал на сочинения Мишле и Сореля. Отделался характеристикой Мишле. А это довольно симпатично — держать экзамен вечером. Мы нашли, что даже жаль, что остальные утром в 10 ч., тем более, что удалось час тоже устроить. Ты, мамочка, верно, не получила одного письма, или оно уже не застало тебя в Астрахани, потому что я тебе писал расписание экзаменов. Верно, тебе его перешлют из

---

* Здесь: семейный очаг (*англ.*).

Астр[ахани], а на всякий случай напишу: 14-го мая — средняя история и история славян, 20-го древняя и история Востока (?!!), 26-го история новой философии и история церкви; 29-го и 31-го — классики.

В день экзамена я, конечно, ничего не делал. Утром заходил к Полонскому, потом пошел к Истоминым, чтобы проводить Пряниш[никова] и Наташу. Они в 3 часа уехали в Москву. Только вещи положить, а потом в Харьков. Так что ты скоро с ними встретишься. <...>

Д. 1. Л. 260—261 об.

83

14 мая

Дорогая мамочка! Сегодня сдал еще 2 экзамена. Сошло вполне благополучно. У нас вообще экзаменуют с осторожностью. Впрочем, «весьма удовлетворительно» я получил только у Васильевского, а у Ламанского по истории славян только «удовлетворительно». Имея в виду полное незнакомство с предметом, это более чем достаточно; но Ламанский, обещав экзаменовать по указанным книгам, задавал вопросы вроде того, как такой-то польский летописец относится к такому-то князю. На это оставалось только плечами пожать. Все-таки приятно быть ближе к концу этой нелепой процедуры. Теперь для первого разряда достаточно получить «весьма уд[овлетворительно]» по одному из классиков. Остальные предметы безразличны, а на одном из классиков обязательно иметь 5. Теперь предстоит самый скучный экзамен — древняя история — в четверг, 20-го, утром. Эта операция уже совсем непроизводительная затрата труда. Ну, да все равно.

<...> La qrande nouvelle de St. Petersbourg* — дело 2-х медиков, замышлявших что-то с взрывчатыми снарядами и убивших, боясь доноса, одного гимназиста, который был в их кругу, а потом вышел. Следствие негласное, много арестов, много замешанных.[80] Ну, публика! <...>

Д. 1. Л. 263—264 об.

84

2 августа

Дорогая мамочка! В Вильну я паче чаяния приехал еще вчера вечером, потому что оказалось излишним сидеть в Бахмаче! Меня без всякого сомнения пустили в скорый поезд, а кондуктор еще почему-то отнесся особо покровительственно и устроил так, что один вагон был битком набит, а во второй половине соседнего mixt'a** ехало нас двое. В Вильну я приехал в 9 час[ов] вечера и с вокзала сел в коляску гостиницы «Европа» и занял там № — рублевый. Но недолго пришлось там пробыть. В той же гостинице остановилась гр[афиня] Уварова, и от нее через лакея я узнал, что Платонов остановился в

---

* Большая петербургская новость (*фр.*).

** Смешанный вагон из двух отделений.

Учительском институте. Пошел сейчас же к нему, но не застал. Они все были на обеде после официального открытия, состоявшегося 1-го августа, а потом попали в оперетку. Я остался ждать их возвращения со Спицыным, знакомым мне по Питеру. Спицын, Середонин и Платонов живут вместе.

До 12 ч. просидел со Спицыным. Удивительный это человек. Внешняя история его такая: кончил курс с Платоновым, учительствовал в Вятке, изучил Вятский край вдоль и поперек, и теперь это один из лучших наших археологов. Его перетащили в Петербург, в Археологическую комиссию, чтобы дать ему возможность поработать для науки и воспользоваться его опытностью для приведения в порядок системы археологических исследований в России. Но это все пустяки перед какой-то непостижимой чистотой натуры этого Спицына. Учителем он должен быть удивительным. Все предметы, какие приходилось преподавать, — и историю, и теорию литературы, и педагогику — он вел без всяких учебников, в виде живых бесед, без всяких формальных отношений. Детей любит, как мать: даже голос меняется, когда заговорит. И все, о чем ни говорит, так им продумано и прочувствовано, такою непривычною искренностью дышит. От него чем-то свежим и теплым веет. Ну, Бог с ним. Платонов и Середонин приехали в 12 ч. Платонов встретил меня очень радушно, даже расцеловались мы с ним. Он сейчас решил перетащить меня в Институт, где и классы, и дортуары отведены членам съезда. Теперь пишу у Платонова в комнате (у меня негде), а тут же Спицын читает лекцию о раскопках какому-то господину, минскому археологу. Переехал я сюда в половине 11, а в одиннадцать было первое заседание. Заседания в том же здании, в актовой зале классической гимназии, и ходим мы туда внутренним ходом, не выходя на улицу. Украсили меня знаком: голубой бант с серебряной булавкой, где в венке монограмма «IX А.С.».[81] Относительно костюма недоразумений никаких: ходят, кто в чем хочет. Спицын нашел, что я хорошо сделал, что приехал, п[отому] что людей увидел разных. Но «разные люди» занятны и поучительны, но редко утешительны. Сегодняшнее заседание было довольно комическим. Читал какой-то француз международное приветствие, болтливо и неумно. Потом читал московский чиновник архива [Министерства] юстиции Сторожев о поведении русских властей в Вильне, когда она взята была Грозным. Оказывается, что воевода кн. Шаховской был, по приказу царя, очень мил и мягок, а нераскаянная шляхта (так говорит Сторожев: шляхта) не присягала врагу и будировала завоевателей, а приведя кое-что на эту тему, он утонул в мелочах, порознь занятных, но бессвязных и чуждых его теме. Потом проф[ессор] всеобщей истории в Варшаве Павинский читал о географическом и статистическом виде Подлясья в XVI в. Затронул интересные темки, но так болтливо и элементарно, что мало толку вышло. Потом по поводу этого реферата прения вышли и комичны, и досадны. Одесский профессор Успенский нашел, что по Павинскому выходит, что каким-то прибором для вычисления поверхности можно народонаселение вычислить. Конечно, это была только выходка ни к селу ни к городу. Говорил какой-то поп, но разболтался, его остановили и прогнали; говорил какой-то полковник что-то неподобное. Потом смешной археологический реферат прочел Маркевич, одесский историк, о трех малопонятных рисунках, будто бы изображающих совсем неизвестный фракийский народ. В общем, не скучно; главное, милая компания наша. Теперь все собрались и мешают писать. После заседания мы с Шеффером, оказавшимся тут же, обедали в Ботаническом саду, сделали визит Остробрамской Мадонне,[82] но она нас не приняла, отстояли молебен в Свято-Духовском монастыре, приложились к мощам трех мучеников, а потом я натер себе мозоли веслами, катаясь на лодке по Вилии. В общем, тут хорошо.

Вильна мне нравится, пожалуй, больше всех городов, какие я видел. Что-то особенное, историческое, средневековое меня подкупает. Масса красивых церквей — костелов и наших церквей, но их не всегда отличишь друг от друга, так русские церкви, а особенно кафедральный собор подделываются под католический лад. Надо кое-что посмотреть. Смерть люблю средневековый Запад, а тут им дышишь. Шеффер мне спутник, и надо кое-что посмотреть. Завтра целых два заседания — утром и вечером. Авось что-ниб[удь] посущественнее будет. Но главное потолкаться промеж людей. Платонов меня знакомит кое с кем, а это интересно все-таки. Вообще рад, что приехал. Жить буду в Институте, тут же и обедать за 50 к. И дешево, и сердито. Присутствие Шеффера позволит мне освобождать здешнюю компанию от своего присутствия и походить, где хочу, все-таки не один.

Ну, пока до свиданья, поцелуй всех наших. Адрес: Вильна, бюро Археологического съезда, члену (такому-то).

А. Пресняков,
Pardon, твой Саня.

Д. 1. Л. 266—270 об.

85

6 августа

Пребывание на Археологическом съезде — самое нелепое времяпрепровождение, которое можно себе представить. Утром и вечером заседания, в промежутке обед, после — чаепитие и болтовня, писать некогда, да и трудно, потому что настроение раздробленное, сосредоточиться нет никакой возможности, читать немыслимо, даже думать отвыкнешь. Толчея и толчея, суета сует. Приобретешь тут немного, кроме впечатлений от разных лиц, впечатлений любопытных, даже ценных, и впечатлений от ученой среды, грустных и неприятных. Ученое чинопочитание и ученое генеральство, закулисные счеты и расчеты — этим добром хоть пруд пруди. На съезде читают рефераты, то плохие, то так себе, а совсем хороших было 2—3. Пальма первенства принадлежит Антоновичу, киевскому, который от истории ушел совсем в доисторические древности и раскопки, — и тут, как везде, — он большой мастер и большой ум; за ним — Александра Ефименко — по обычному праву. Почествовали нашего Васильевского, но читать он ничего не будет, кажется. Соболевский привез 10 рефератов. И, увы! — записали в VI отд[еление] — «памятников слова» раба Божьего Александра Преснякова — читать на той неделе реферат «К истории московских летописных сводов». Я ничего не писал, никак не соберусь. Платонов уговаривает не читать, а говорить по маленькому конспекту. Это рискованно, но не знаю, не придется ли так сделать.[83] Соболевский, верно, будет возражать, что было бы интересно. Помолись за упокой души раба Божьего Александра. Теперь я живу в комнате Платонова, Середонина и Спицына. Компания славная. Сегодня едем в Верки, имение князя Витгенштейна — это $^1/_2$ часа езды от Вильны на лошадях.[84] Едем съездом, а что там будем делать, не знаю, говорят, красивые места. В воскресенье едут в Троки,[85] но я, верно, не поеду, п[отому] что тут недепутату трудно сносно устроить себе проезд. Попробую состряпать реферат. Платонов находит, что этот реферат выгоден для него, ради представления моего в университет и вообще в виде disons le mot* — ученой рекламы. Нехай. Вопрос о дальнейших моих занятиях осложняется, т[ак] к[ак] и Платонов начинает гнуть в пользу летописей. Нехай, а впрочем, — посмотрим. Он советует «воздержаться от уроков» — надо слушаться. В ту субботу съезд закроют, и я вернусь, но ненадолго; есть дело в Москве, указанное Платоновым. <...>

Д. 1. Л. 271—272 об.

86

10 августа

<...> Я выеду, верно, 16-го утром. По правде сказать, мне тут надоело: хорошенького понемножку. Вероятно, в четверг утром я читаю реферат о «московских летописных сводах», а завтра в среду Платонов читает об «огнищанах»: La grande nouvelle** съезда — приезд Сергея Александровича; члены крайне неловко и глупо были представлены ему на съезде, так, что Платонов закаялся ходить на официальные спектакли и не был на рауте, устроенном здешним «виленским генерал-губернатором и Натальей Ивановной Оржевской», как печаталось на билетах; я, конечно, ни там, ни здесь не был. После поездки в Верки, которую я описывал, съезд ездил в Троки, но я остался, думая написать реферат, но написал только половину. Завтра у нас обед петербуржцев, а в четверг, 12-го, праздник в городском бернардинском саду от Виленской думы. Все это довольно нелепо, но для убиения времени — недурно. Серьезного интереса на съезде немного — только доисторические древности и отдел языка и словесности дали кое-что, да по истории — Ефименко. Сегодня было заседание с в[еликим] к[нязем].[86] Он довольно-таки неприятный, резкое, неумное лицо. Слава Богу, сегодня и уезжает. И чего его сюда носило? Виленское безделье пора оборвать: надоело. Но сама Вильна мне все больше нравится. Местность чудная. Хоть бы дорога в Верки по Вилии — это не хуже Боржома, только мягче и шире, право, дорога была гораздо лучше того шампанского с ананасами, которое нам разливали суповыми ложками из суповых чашек. <...>

Д. 1. Л. 273—274 об.

---

* Заявления (*фр.*).

** Большая новость (*фр.*).

87

28 августа

Дорогая мамочка! Первые мои московские похождения довольно неудачны: с Лебедевым мы разъехались. Впрочем, расскажу по порядку. Проехал я отлично. По нашей дороге в отдельном купе, а по Курской — было свободно. <...> По приезде в Москву я отправился в Лоскутную гостиницу и занял № 137. Переодевшись, поехал в управление; там про Лебедева ничего не знали, а отправили меня на вокзал, с вокзала к главному врачу графу Мамонову, а этот заявил, что Лебедев в Москву не приезжал, и если приезжал, то инкогнито (а его видали!!), — и сегодня, мол, непременно должен выехать обратно. Я поехал в адресный стол, где получил такую курьезную справку: значился в Михайловской гостинице, выбыл в город Пензу 3 июля 1892 года. Однако по этой справке я нашел своего доктора. В Большой Московской гостинице мне сказали, что в 10 ч. Лебедев уехал, а сын переехал в д[ом] Кох, на Моховой. В доме Коха об нем ничего не знают. На этом я потерял след и с горя пошел в Синодальную библиотеку. Библиотекарь новый, светский, но меня знает через Лихачева. Завтра к 10 ч. обещал приготовить рукописи, но заниматься придется в полном разгроме, т[ак] к[ак] весь дом ремонтируется. Теперь половина второго, сижу дома и собираюсь, дописав письмо, идти к Крахт, благо больше делать нечего. На улице издали видел Соболевского. Может быть, забегу к нему, хоть и немного мне от него толку, несмотря на преувеличенные ожидания. Он великий человек на малые дела, на мелкие факты из истории языка и письменности, и очень полезен — как справочная книга. Шеффер съел бы меня за такую ересь, но ведь шила в мешке не утаишь. Прости за грязное письмо. По отсутствию промокашки одна страница отпечатывается на другой. Билеты я отослал папе из города, п[отому] что на вокзале почтовое отделение было заперто, а я хотел отправить заказным. По этому случаю был в почтовом отделении в новых рядах. Что за прелесть! Они еще не отделаны, но обещают быть лучше пассажей. Масса свету и воздуха. Все широко, и высоко, и, по архитектуре, изящно. Торговцы, уже попавшие туда, имеют довольно растерянный вид. Не подорвет ли новая обстановка бойкой торговли старого «города»? А сделано на широкую ногу.[87] Вообще новые здания (дума, музей, ряды etc.) обещают сделать цивилизованную часть Москвы еще красивее, к стыду Питера. <...>

Д. 1. Л. 275—276 об.

88

29 августа

<...> В Москве долго сидеть не буду. Скучно. И дела особенного нет. В Синодальной кончу во вторник. Один день на Румянцевскую. А если попаду в Ахив иностр[анных] дел, то 2—3 дня. Значит, 4-го или 5-го выеду. Попроси папу, если у них есть билет по Николаевской, — захватить и выслать. <...> Сегодня я заходил к сыну Лебеде-

ва. Этот беспомощный птенец вообще мало понимает, а мне посоветовать, что делать с рукописями, не мог, конечно. Ему отдавать — дело ненадежное. Высылать почтой боязно и дорого. Напишу еще раз Лебедеву. Меня Крахты совсем как своего принимают, а без них мне бы невтерпеж было сидеть-то в номере. Эти два праздника убью у Третьякова. Сегодня был там. Много нового. Иностранные картины Сергея Третьякова, да и русских прибавлено, и очень ценных, напр[имер] этюд Васнецова для Киевского собора. Завтра пойду еще их посмотреть. Это вещь с научным интересом. Теперь галерея — собственность города.[88] А школа, где Маргарита, терпит крушение. Это школа «Общества живописи и ваяния»,[89] где под личным покровительством в[еликого] к[нязя] Сергея развилось крупное мошенничество. Все сколько-ниб[удь] порядочное ушло — первый Третьяков, учредитель. Маковский уходит не позже января, раньше ему почему-то нельзя бросить. Вот художества! Сергей тут, а Владимир в Академии[90] — главные художники. Les extremes se touchent* — «подонки» и «верхи», каторжники и великие князья — параллель более научная, чем у Ломброзо. <...>

Д. 1. Л. 277—278 об.

89

8 сентября

Дорогая мамочка, уже несколько дней я в Петербурге и не собрался написать, больно суетливо. Выехал я из Москвы через час после того как получил билет. Делать мне в Москве больше нечего было. Браться за те материалы, какие попались вновь, стоило бы на более долгое время, а в несколько дней — не справиться. А что было заранее намечено, то я сделал. Все-таки позанялся в Синодальной, и Румянцевской, и в Архиве иностранных дел. Приехал в Петербург, получив известия, что ни той ни другой комнаты мне нет. Собственно, и теперь у меня нет пристанища, и я сижу на заводе в ожидании, что послезавтра очистится комната у Новoвой, моя старая. Это недурно, п[отому] что не нужно перебираться с книгами. Маня живет тут же, в другой комнате. Про нее я пока ничего не могу сказать, кроме того, что и тут врачи не меньше разноголосят и путают.

Был у Либермана, а вчера мы с Вениамином у него обедали. Хотел он дать мне чек, но я предпочел получить деньги без хлопот по приезде с завода. Получу 100 рублей (по февраль — все получено). Либерман получил новый подряд на 40 тыс. в год от Закаспийской дороги и едет в Астрахань открывать небольшое отделение типографии. С Адей они, видно, помирились, п[отому] что он заведует типографией. Адя получил право издавать «Филологический вестник» с задачей — следить за литературой, и мне предлагает писать отзывы по новинкам русской истории. Что выйдет из его затеи — я уж не знаю.[91] <...>

Д. 1. Л. 278—281 об.

---

* Крайности сходятся (*фр.*).

90

13 сентября

Дорогая мамочка, я окончательно утвердился в старой комнате и второй день проживаю тут. Проживаю! Я раз ночевал и теперь вечером пришел, а то тут и духу моего не было. Приехал с завода в субботу — комната не была еще свободна, и я пошел просить убежища у Шенгера. В воскресенье ночевал у Шеффер и Прянишниковых. Устроились Прянишниковы очень мило, даже красиво. Но «молодая» мне решительно не нравится. Трудно выдумать менее интересное создание. И у мужа-артиста жена столь чуждая искусству, что «Пророка»[92] за «Жизнь за царя» принимает, или наоборот.<...>

Дельных новостей у нас нет, Платонова не видал еще. Пойду к нему в среду. Скучно без дела. Надо поскорее войти в колею. Пока что думаю позаняться в Пуб[личной] библиотеке. Авось набежит что-нибудь. Лебедев сюда мне написал свои планы насчет издания. Чудной человек! Ему все хочется издавать больше, чем стоит, а в том виде, как он того желает, никто не примет его рукописи. Попробую поделикатнее внушить ему это. Право, умнее было бы предоставить дело мне. Ну да не хочет — как хочет! <...>

Д. 1. Л. 282—283 об.

91

15 сентября

Дорогая мамочка, вчера я был у Платонова. Он сообщил, что я в числе 4-х предложен к оставлению при университете. Другие: по философии (Лапшин), по литературе (Перетц) и по классикам (Церетели). Любопытнее то, что он мне про Бестужева сказал. В распоряжении Бестужева есть какие-то уваровские деньги, из которых он думает назначить премию за сочинение о московских летописях. Конечно, в виду имелся прямо я, и даже Бестужев ждет моего визита, чтобы сформулировать тему. Значит — писать? Премия дело плевое, но раз так тянут меня в эту сторону, придется уступить. И Платонов говорит, что я ничем не рискую. Написать нетрудно, а для диссертации и другую тему можно взять.

В университете я не был, не был и у попечителя, чтобы аттестат получить с него. Сегодня думаю пойти. Оставление при универс[итете] будет оформлено к 25-му. Тогда нужно представить какие-то бумаги, какие, не знаю. На всякий случай, не вышлешь ли мое метрическое свидетельство? Или не надо?

Был я у Куманиных. Приняли меня, как всегда, точно я невесть что им принес. Говорят, ждали, как манны небесной. Куманин виделся с Платоновым, и тот обещал дать программу магистерского экзамена и устроить в университет ради библиотеки. <...> Да, я было и забыл: из университета я в этом полугодии получу 270 р. Папа может сократить настолько мое жалование. Или сохранить их? Или на книги их взять? Не знаю, впрочем, когда и как я получать их буду.

Пока я, как водится, ничего не делаю. Почитываю кое-что в промежутки между беготней по городу. И тут, и там побывать надо. Дома меня не бывает. И обедал всего дважды, а то все где-нибудь. Завтра схожу к Бестужеву. Любопытно потолковать. Он, кажется, немножко обижен, что лебедевская рукопись оказалась не Львовской летописью, как определил он. Но я тут не виноват и заслуживаю снисхождения.

Д. 1. Л. 284—285 об.

92

18 сентября

<...> А у меня никаких новостей нет. Вчера кутил у Шеффер по случаю именин m-me Шеффер. У них на новой квартире гораздо уютнее, чему немало способствует электрическое освещение. Тут же я узнал, что получение стипендии из университета проблематично, т[ак] к[ак] у меня есть конкурент, за которого то, что он уже был при университете, не получая ничего. Это тем неприятнее, что, по новым правилам, пользоваться библиотекой можно, только внеся 25 р. залогу. А без библиотеки никак не обойдешься. В университет пока не пускают; хочу сегодня пойти к ректору. Попытка получить аттестат окончилась неудачей. Наши аттестаты поехали 2-го сентября в Москву для подписи Иванову (председателю комиссии) — и застряли там. Пока делать мне нечего. Попытаюсь заниматься в Пуб[личной] биб[лиоте]ке, но не клеится, не попадаю в колею. Должно быть, не с того конца взялся.

Мне ехать не хочется, п[отому] что надо сперва как-ниб[удь] наладить свое поведение, найти какой-ниб[удь] modus vivendi.* Теперь я еще Либерману обещал подготовить кое-что по части его будущего журнала «Филологическая библиотека». Что выйдет из его затеи — не знаю. <...>

Зато погода хорошая. Ясная, теплая. На петербургскую осень не похожа. Я с приезда страшно был простужен, и теперь порядочно, но много лучше. Да кто в Петербурге не простужен! И как это люди тут поют еще: у Ип[полита] Пет[ровича] учеников, т. е., вернее, учениц, все прибывает. Две так из Кронштадта приезжают, хотя их каждый раз сильно укачивает.

На столе сидит котенок и собирается ловить мое перо. Презабавный субъект. Но ведь этак он размажет! Брысь! — Удрал. <...>

Д. 1. Л. 286—287 об.

93

20 сентября

Дорогая мамочка! Вчера я был у Бестужева. Он сразу завел речь о теме «Московские летописные своды», которую хлопочет предложить от Академии на Уваровскую премию. Зависит это от нелепого

---

* Способ существования (*лат.*).

Куника, и решительно будет в субботу. Надо будет прийти в заседание Ак[адемии] наук. Бестужев, как всегда, был очень мил и, между прочим, показал мне бумаги графа Шереметева с его материалами по делу царевича Дмитрия. Трудно сказать, сколько тут нового ценного материала. Доказывает граф, что царствовал не Самозванец, а настоящий Дмитрий, и это самое вероятное.[93] Но важнее то, что его работа заново и ярко освещает темное время от смерти Грозного до начала Смуты, освещает так интересно, что эта работа эпоху составит в русской истории.[94] Обидно за Платонова, который пишет теперь диссертацию о Годунове и едва ли может воспользоваться этими материалами (тут много из заграничных архивов). Штука опасная. Что меня касается, то мне, по-видимому, придется в 2 года объять необъятное: приготовиться к магистерскому экзамену и писать работу на премию. Диссертации из нее не выйдет и не должно выходить. Не такая тема, чтобы стоило из нее диссертацию делать. Вот мои «ученые новости». <...>

Я начал заниматься в Пуб[личной] биб[лиоте]ке и на этой неделе хочу раздобыть магистерские программы. Ректор дал мне билет для входа в университет, и я буду 2 часа в неделю (четверг и суббота) слушать «Историю России в XVIII в.» Лаппо-Данилевского. <...>

Д. 1. Л. 288—289 об.

94

26 сентября

<...> Я на пороге великих работ, а пока занимаюсь в Пуб[личной] биб[лиоте]ке новыми рукописями и остальное время бегаю из дома в дом. Народу перевидал страсть сколько. Мои знакомства расширяются: вчера я был на лекции (по истории XVIII в.) у Лаппо-Данилевского, а после лекции он подождал меня в коридоре и позвал сегодня обедать. Это очень мило с его стороны, и я рад, потому что дорожу им — он большая умница, с разносторонней ученостью и с философским складом ума, слишком логичного и систематичного, чтобы быть широким, но очень сильного. Бестужев прав, сравнивая его с Чичериным, а это сравнение почетное, хотя и незавидное, п[отому] что такие догматики, как Чичерин и Лаппо, не имеют живого влияния, хотя и дают хорошую школу. Про свой визит к Бестужеву я писал, но не в 4-м письме, п[отому] что попал к нему позже. Вчера было заседание в Академии, где решалась судьба премии и тем; завтра прочту в «Нов[ом] времени», в чем дело. Не правда ли, какое баловство — это объявление от Академии темы специально для меня? А Платонов передаст мне бумаги Бестужева, где много подобрано материалу для московских летописей, чтобы избавить меня от черной работы сличения печатных текстов. Дай Бог, чтобы вышло что-нибудь из этого. Жаль, если из-за летописей затянется дело с экзаменом. Платонов, в виде магистерской программы, предложил самому выбрать 12 вопросов. Относительно XVIII и XIX в. я посоветуюсь с Лаппо-Данилевским. А по историографии допетровской Руси беру: 1. Первоначальные летописи. 2. Сказания иностранцев о России. 3. Мемуары XVIII века. 4. Вопросы о сельской общине. 5. Приказы и местное са-

моуправление Московской Руси. 6. Борьба церковных партий по вопросу о церковном землевладении. 7. Западная Русь. 8. История Новгорода и Пскова. А в пятницу мы с Куманиным были у Васильевского и столковались насчет такой программы: 1. Французский обществ[енный] строй в средние века. 2. История городов в сред[ние] века. 3. История генуэзских и венецианских колоний в их отношениях к Византии. У Кареева еще не был, а попрошу: 1. Возрождение и гуманизм. 2. Образование французской абсолютной монархии (век Ришелье). 3. Историю английской Конституции. За программами возникнет финансовый вопрос о книгах. Придется, вероятно, просить содействия. Папа столько уверял меня, чтобы я не стеснялся в средствах, что я почти поверил. Добрый папка, он мне такие условия для занятий устраивает, что я чего доброго и в самом деле ученым стану. Glück auf!*

Вчера я был еще у Форстена. В этом году его докторский диспут. Он обещал подарить свою диссертацию — 2 капитальных тома по Балтийскому вопросу XVI и XVII вв. — образцовая работа.[95] Форстен очень хороший, искренний и сильный человек, производящий какое-то бодрое и теплое впечатление. Очень строгий и требовательный как учитель, он своих учеников очень приближает, образуя кружок, который по субботам у него сходится. Он и меня звал. Конечно, я буду ходить. Любо смотреть на его отношение к гимназистам. А сколько серьезного и хорошего они от него выносят. Я, кроме Лаппо, буду и его слушать — по понедельникам, историографический курс о Ранке. Придется 3 раза в неделю ходить в университет. Это отрывает меня от библиотеки, но жаль отказаться от таких содержательных курсов. Уж Гревса слушать не буду. С этим хотелось бы познакомиться — зайду когда-ниб[удь] к нему, не утерплю. Да у Лаппо он может встретиться. Они родные и приятели, хотя совсем разные люди и разные умы. Гревс шире и живее, Лаппо солиднее и выдержки у него больше. Гревс талантливее и производит больше впечатления на большую аудиторию. Настоящий профессор в стиле Грановского, художественный и увлекающий. Оба еще будут расти и большими людьми станут. Славно!

Сегодня я отправляюсь с визитами. Надо быть у Лаппо (не того, а моего товарища,[96] который женился и звал меня на свадьбу, а я не был — дело было перед экзаменами и было мне не до него — надо повинную принести), у Истоминых и у Манизер. А потом к Лаппо-Данилевскому на обед. Видишь, я нарасхват. Сильное общение с Куманиными. Там я в самом деле нужен и меня любят. <...>

Еще Адя навязал мне подготовительную работу к своему библиографическому журналу. Это немного, и ему нужно дать вознаграждение за упорную верность при столь небрежном отношении с моей стороны. <...>

Д. 1. Л. 290—293 об.

---

* Дай Бог! (*нем.*).

95

29 сентября

Дорогая мамочка! Только что пришел от Платонова, и хотя никаких новостей не узнал, но хочу написать тебе. Факультетского заседания еще не было, мое положение не оформлено, финансовый вопрос не выяснен. Если я и получу что-ниб[удь], то единовременно до или после Рождества. Не может ли папа дать мне авансом 100 р. до стипендии, а там я верну. Это на книги и издания источников. [Если неудобно, я могу до января взять у Либермана].* От Академии тема тоже не объявлена, и объявят ли — не знаю. Не знаю, буду ли писать, если объявят. Дело в том, что на это, верно, ушло бы 2 дорогих года, когда полезнее специальной работы — побольше заняться разнообразными и более содержательными вопросами по магистерской программе и помимо ее — общими вопросами, общим чтением. Платонов согласен с этим и говорит, не бросая летописей, заниматься ими исподволь, оставляя их на втором плане; удастся закончить вовремя [— хорошо], нет — не беда, дело не уйдет. Лаппо-Данилевский еще энергичнее говорит в том же смысле. Да я и без них знаю, что и как делать. Теперь я чувствую себя определенно и почти твердо. У Лаппо-Данилевского я обедал в воскресенье, много говорили, состряпали магистерскую программу, несколько изменив мои вопросы; окончательный вид она примет в среду, после беседы с Платоновым, которому я дал ее сегодня для просмотра. У Лаппо-Данилевского встретил Гревса; он только что приехал из-за границы и зашел к Лаппо на минутку. Лаппо-Данилевский принял меня очень мило, разговоры с ним, конечно, и интересны, и полезны. Сегодня я как-то напросился на понедельники к Дружинину, это историк и археолог, друг и родственник Платонова, у которого собирается тот же кружок русских историков. У него есть интересная для меня рукопись, я пожелал ее посмотреть, а он позвал вечером к себе. Надеюсь, что не вышло неловко, хотя я не люблю таких инцидентов.

Только теперь я наконец начинаю заниматься, а то все только бегал, к изумлению и недоумению моей хозяйки. Но из этой беготни немало толку вышло. Круг нужных знакомств расширился и укрепился. Если он отнимает время, то ведь в келье под елью немного сделаешь, не глядя на то, как люди думают и работают. Вот для начала занятий неудобно то, что нет кое-каких книг под руками. Обещали выписать, но это недели две — значит, ждать, пока вожусь, с чем можно. Прости мою неаккуратность: пальто не заказал и не могу написать, что будет стоить. Ну да время терпит. <...> Тут у нас тепло, даже слишком. <...>

Д. 1. Л. 294—297.

---

* Последняя фраза — приписка А. Е. Преснякова на полях.

96

5 октября

Дорогая мамочка! Третьего дня я получил твое письмо, а вчера и книги приехали. Поблагодари Соколовского за «Датский архив». Может, и пригодится. Книги мне принесли на дом. <...> Мне нужно было явиться к Куманиным и пойти с Львом Конст[антиновичем] к Карееву за магистерской программой. Кареев принял нас очень мило и предоставил брать, что хотим. Я наметил 4 вопроса: 1. Возрождение и гуманизм. 2. Век Ришелье. 3. История английской Конституции. 4. Политический и общественный строй Польши. На это Кареев согласился и указал литературу: 24 тома — excusez du jeu* — на 4-х языках, если русского не считать. Ну, с английским я еще справлюсь, а польскому придется учиться. При университете я наконец оставлен окончательно и единогласно. Факультетское заседание было в субботу. Финансовый вопрос останется в потемках до января. Это я вчера узнал, так как у Дружинина собрались все платоновские приятели, и он был. А меня посадили в винт играть и обыграли на 33 коп. Играют они так нелепо и так школьничают, что не скучно и незачем понимать игры. Теперь я понемногу близок к тому, чтобы угомониться и сесть за книги. Пока, впрочем, читаю посторонние вещи, именно чудесную «Логику» Вундта.[97] А как вопрос с деньгами на книги? Это ведь не блажь, а потому мне не совестно, что я попросил. Дело нужное, и чем скорее, тем лучше. Надеюсь, что папу это не стеснит. <...>

А я? Я устал от суеты и беготни, в которой я не очень виноват, п[отому] что $^3/_4$ визитов нужных, к «ученым» людям, а $^1/_4$ неизбежных ввиду хороших отношений. В пятницу придут ко мне Куманин, Полонский и Лапшин. Этот последний мне особенно близок, п[отому] что славный и умница. Это наш философ и музыкант. У Прянишниковых, по-моему, слабо. Так вяло, как ансамбли Мариинского театра. <...>

Д. 1. Л. 298—300 об.

97

9 октября

Дорогая мамочка! Я узнал о твоей болезни от Наташи, которой ее мать писала, прося не говорить мне! К чему это? Разве не должен я знать, что с моей мамой? <...> Только что получил и папино письмо с деньгами. Спасибо за них и за письмо. И он пишет, что ты больна. Ты сама в последнем письме писала, что опять печень болит. Но я не думал, что это так, как рассказала Наташа. Как хотелось бы мне быть там, около тебя. Не знаю, что писать, когда все пустяки перед такими харьковскими новостями. Читаю, пытаюсь заниматься, размахнувшись пошире, что-то выйдет? Прокричали меня, надо попытаться плыть большое плавание, точно и впрямь большой корабль. Это не жеманство, что я так говорю, я, пожалуй, меньше всех себе верю. Ну, «образуется».

---

* Не взыщите (*фр.*).

Сегодня надо проделать разные скучнейшие формальности, так как университет требует свидетельства о благонадежности от градоначальника,[98] о поведении от инспектора, о здоровье от университетского врача. Все это донельзя нелепо. Оказывается, что и вид мне выдадут из университета — ведь я «на службе». Чего доброго и «чин» припишут. Чиновный человек!

У нас все тихо и как-то вяло. В платоновском кружке все как-то расстроены. Один Лаппо-Данилевский (он вне компании) доброе впечатление производит. На безлюдье и Фома дворянин, и я добрее других. 2 раза в неделю слушаю лекции. Теперь прибавилось 3 часа польского языка, по счастью, в те же дни.

Платонов дал мне не очень большую программу и отрывочную, сказав комплимент, что мне так можно, потому что я надежный. И пособия указал вскользь, говоря, что я все равно выйду из его указаний, если бы он их и сделал. Это очень мило, но такое отношение и обязанности налагает. Noblesse oblige.* В окончательном виде программа такая: 1) Каченовский и скептическая школа в русской историографии. 2) Сказания иностранцев о России (Герберштейн, Флетчер, Олеарий, Витворт). 3) Записки Болотова. 4) Данные археологии для начала русск[ой] истории. 5) Русская Правда. 6) История Новгорода и Пскова. 7) Приказы и местное управление Московской Руси. 8) Политический и общественный строй Московской Руси. 9) Церковное землевладение в Московской Руси. 10) Крестьянский вопрос в XVIII веке. 11) Сперанский. 12-й вопр[ос] велено выбросить, а если хочу и будет время, взять присоединение Финляндии. Начинаю с первого и шестого вопросов и еще читаю логику Вундта: у меня кроме истории есть своя философская программа, которую необходимо выполнить. <...>

Д. 1. Л. 301—302 об.

98

14 октября

<...> Ох, уж эти мне расстояния! Хочется поболтать с мамой, а как-то не знаешь, что и сказать. Все думается, как дела там дома. А у нас и делов никаких нет. Занимаюсь тем, что не нужно, а за нужное пока не принимался. Кроме Вундта читаю подаренную мне Форстеном его докторскую диссертацию: «Балтийский вопрос в XVI и XVII в.» — два огромных тома. Возьмут они много времени, а не прочесть нельзя, коли подарены. Да и не вредно, п[отому] что вещь хорошая и мало мне известный вопрос разбирает. С сегодняшнего дня стал я на польский язык ходить. Читает в университете проф[ессор] Лось, маленький, симпатичный полячок. Читаем мы Мицкевича «Пана Тадеуша». Лаппо-Данилевский не совсем умеет справиться с построением своего курса: то мелочей наберет, то скользит. Сегодня у него скучно было, а читал о Петре. Платонова я давно не видал; пойду в следующую среду, потащу и Шеффера. Зато экспромтом попал в воскресенье с Шенгером на завод. Вчера ведь было рожденье

---

* Положение обязывает (*фр.*).

Вениамина, Маня поехала, а мне неудобно было бы ехать, я и заменил среду воскресеньем. Завтра Ефремовы будут здесь по тому случаю, что мы достали ложу на первое представление «Тангейзера». Что-то сделают петербуржцы с милым нашему сердцу Тангейзером? Поет какой-то тенор Горский. Пока пел все плохо, может быть, завтра свершится чудо и он удивит Европу. А на пост ждем вагнеровскую группу с «Кольцом Нибелунгов», «Нюрнбергскими мейстерзингерами»[99] и прочая, и прочая. Хоть тресну, а абонируюсь — это событие, и зевать не следует, пока не пропал интерес ко всякой музыкальной дребедени.

<...> Я огорчен, что ни Вольф, ни Дейбнер книг не шлют. Положим, пока есть что читать, и немало, а все-таки люблю получить пачку новых хороших книг. Как вдумаешься то в тот, то в другой из вопросов магистерской программы, чуешь, что всюду много работы. 18 специальных вопросов. Дай Бог и в 2-то года разобраться в них. А кое-что и очень даже интересно. Ну, а летописи, спросишь ты: тю, тю! Бог с ними. Кажется, быть им при пиковом интересе. Так кое-что для порядку перепадет на их долю, а много возиться не буду. <...>

Д. 1. Л. 303—304 об.

99

19 октября

<...> Про себя могу сказать только, что понемногу втягиваюсь в занятия и потому рассказывать мне все меньше можно: книги заслоняют людей и внешние впечатления. Оставление в университете ровно ни в чем не выражается, кроме права ходить в университет. Денег я, по всей вероятности, не получу, но, наверное, узнаю это не раньше Рождества, а пока — неизвестно. Что за потешный вопрос, милая мамочка, о «торжествах» при оставлении? Нет, мамочка, не трубят в трубы и в барабаны не бьют. Для меня оно выразилось в канцелярских хлопотах: надо доставать новое свидетельство из воинского присутствия и т. п. Теперь у меня хоть дело-то есть. А бегаю я хоть поменьше, но порядочно. И на очереди необходимые визиты: Бестужев, Цейдлер etc., где я с начала, т. е. с приезда, не был. Либермана изобидел, надул и с тех пор не был. Мне беготня эта надоела, и оборву я половину знакомств. Жаль, иных нельзя оборвать, где следовало бы. Ну да ничего.

Написал не с того конца и несвязно. Прости, мамочка, что не клеится. Сегодня я читал — целый день писал разные выписки о средневековых городах; надо было кончить, ну и устал.

Д. 1. Л. 305—306.

100

25 октября

Дорогая мамочка! Вы конечно уже знаете об отставке Кривошеина. Слетел за знаменитое имение. Государю донесли, он потребовал от Кривошеина объяснений и велел сдать министерство. Министром называют принца Ольденбургского, товарищем — Салова. Говорят, в субботу у принца был обед, его поздравляли с назначением. Вот дела! Это ведь хорошо. Авось поочистится атмосфера министерская. Тут Корш. Остановился он у Куманиных. Через Куманина он мне передавал, что папе хотят «увеличить содержание». Сегодня, может быть, узнаю что-ниб[удь] новое. <...>

Тут я пытаюсь заниматься, даже занимаюсь, но как-то несистематически. Программой своей я доволен, хотя она труднее, чем я рассчитывал. Все спорные вопросы, и разобраться в них не очень-то просто и много зря возишься, пока сообразишь. С формальностями по части университета я еще не развязался. Ох, чтоб им. Вчера я обедал у Истоминых — они велели очень тебе кланяться. Я у них первый раз только. И Прянишниковы, т. е. конечно одно дамское поколение, находят, что я давно у них не был. Как же так? Бегаю, что есть мочи, а уже долги есть? В среду идем с Наташей в зал Кононова слушать «Хованщину» Мусоргского.[100] Ты про «Тангейзера» спрашиваешь? Плохо, много хуже тифлисского. На Вагнера Истомины обещали абонемент устроить. Как видишь, не скучаю. Зима, по-видимому, собирается установиться. Сегодня что-то вроде мороза, хотя я еще не выходил. Подлец портной не несет теплого пальто: точно чувствует, что я его деньги истратил, а ему придется подождать. <...>

Д. 1. Л. 307—308 об.

101

31 октября

Дорогая мамочка, верно, вы посмеялись над моими «новостями». Но Истомины говорили так определенно и решительно, а я думал, что они-то могут быть informés.* Жаль. Я порадовался было новому режиму. Он был бы если не честнее, то умнее. Что же выйдет из этих министерских перипетий? Ты пишешь, что Васильевым недовольны. Не было бы и папе на чужом пиру похмелья! <...>

Про себя ты тоже грустные вещи пишешь и выдумала еще обо мне беспокоиться! Ты пишешь: «Чувствую, что у тебя что-то неладно». Не знаю, что я такого написал. Ладного, конечно, мало; не говоря о тебе, и тут мало хорошего: Ю. П. меня очень беспокоит, здоровье такое, что не лучше [чем] было в конце года, а теперь все это напряжение впереди. О настроении и говорить нечего. Смерть Эвелины то и дело выплывает, да и многое другое. Что писать-то! Все равно [всего] не расскажешь, а наша «обыкновенная история» выросла в глубокую психологическую драму для Ю. П. — даже интересно, если бы только не так близко захватывало. Но если у меня дело не налаживается, то это не потому, а по причинам чисто научным. Наша наука — вовсе не наука, и я мучаюсь над попытками выделить из ее задач то, что хоть сколько-ниб[удь] научно. То, что пишут по исторической методологии, — довольно жидко. Эти пункты меня заняли настолько, что я согласился, когда одновременно и Наташа, и Шенгер, точно прочитав мою мысль, сообразили, что я лучше чувствовал бы себя в математике. Страшен сон, да милостив Бог; авось и у нас найдем ариаднину нить — оно и занятнее, что искать надо. Абонировались мы с Шенгерами на Вагнера. 5 опер за 6 рублей — и дешево, и сердито. А на днях мы с Наташей были на «Хованщине» Мусоргского. Крупная штука — жаль, исполняли плохо. От Прянишниковых я, оказывается, исчез надолго. И, правда, давно не был, т. е. перед «Хованщиной». Значит, дома-то лучше. Читать много надо, а даже злость берет, когда не можешь дочитаться до того, что нужно. И Платонова давно не видал. Он, верно, бранится. Бестужев тоже может счесть за неделикатность мое отсутствие. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! Либерману я что-нибудь напишу. Да некогда. Обещал рецензию на Форстена[101] и еще кое-что. И все к 1-му декабря!!

---

* Информированы (*фр.*).

Зима собралась наступить, да раздумала. Я хожу, все-таки, в теплом пальто и шапке. Во-первых, потому, что так мне больше нравится, а во-вторых, я крепко простудился и здорово кашляю. Пальто вышло очень хорошее, сшито много лучше осеннего. Вообще мне гольдбергская работа не нравится — все широко, сидит неважно. Не помогла либермановская протекция. <...>

Д. 1. Л. 309—310 об.

102

6 ноября

Дорогая мамочка! Моя «несостоятельность» объясняется тем, что я все дожидался возможности сообщить что-ниб[удь] определенное относительно университетского финансового вопроса. Вчера мы с Платоновым побывали в канцелярии и узнали, что мне предстоит на первый раз получить единовременно 300 р., как только я буду формально оставлен при университете. Задержка вышла потому, что я только в следующую среду надеюсь получить из воинского присутствия новое свидетельство, а без него зачисление «на службу» невозможно.[102] Получив деньги, я их, по всей вероятности, с вашего разрешения, ухлопаю на книги, потому что на те 100 р. удалось приобрести весьма незначительную часть того, что нужно. Это дьявольски дорогая вещь, особенно иностранные книги и издания! Относительно занятий моих у меня был обстоятельный разговор с Лаппо-Данилевским. В общем, мы с ним столковались, в виде темы для магистерской диссертации проектируем вопрос по XVIII веку, хотя формулировки еще не нашли. Может быть, это не совсем ладно, что советы Лаппо-Данилевского заменяют мне руководство Платонова, но я же не виноват, что они полезны! Сведений у этого человека масса и самых разнообразных! У Платонова я был в среду и попал на виленских барышень, которые сочли, что виленское знакомство обязательно и для Петербурга, и я получил два новых приглашения. Не было печали! Как будто мало у меня знакомств. Впрочем, одна из этих барышень некая Постникова — самая серьезная и толковая из платоновских учениц, так что с ней у нас есть общие интересы. Я вчера у них был — живет она с братом, офицером, который в Академии Генерального штаба. Курьезный господин, симпатичный, неглупый, с «определенными» взглядами, в справедливости которых он глубоко уверен. Когда я таких убежденных людей вижу, как бы ни были хороши их мнения, а все думается: «Sancta simplicitas!»* <...>

Д. 1. Л. 311—311а об.

103

8 ноября

Гром и молния! Да еще с просьбой не обижаться! Милая мамочка, мне только очень жаль, что я тебе доставил беспокойство и чуть ли не огорчение. Я не совсем понимаю, отчего сыр-бор загорелся. Я, кажется, еще довольно далек от банкротства. Даже смешно писать такие слова. Это время не бесполезно для меня прошло, далеко нет. Если я жалуюсь, что дело не налаживается, — так это значит, что я никак в колею не войду; читаю то, что хочется, а не по программе, не по указке. Это непрактично, но это, пожалуй, доказывает не несостоятельность, а скорее, напротив. Мама! да полно, нужно ли мне — защищаться? «Выбор диссертации»! Мамочка, ведь это не шляпу выбирать! До темы доработаться нужно, потом, когда начнешь писать, — тема под влиянием изучения всегда видоизменяется. А ты хочешь, чтобы я тебе писал о выборе диссертации! Я недостаточно легко смотрю на дело для такой храбрости. Бедная мамочка! Наделал же я тебе тревоги, если ты говоришь о том, что два года могут пролететь ни с чем! О, Господи, если бы не чуял я твоего любящего беспокойства за меня, я принял бы это за шутку! И ссылка на Шенгера и Наташу не понравилась: да ведь я только потому и упомянул их, что их словами выразил свою мысль. Впрочем, согласен — этого писать не следовало. Выяснить мысль в письме трудно, а бросить вскользь — выходит непонятно. Хуже недомолвок ничего быть не может. <...> Я не упрекаю тебя, нет, ты ведь не знаешь, о чем говоришь, и виноват в этом я, п[отому] что не писал тебе ничего. Ну, да все равно. Оставим это так. Моя жизнь замкнется в работе, а об остальном и толковать нечего. Не обвиняй только ни в чем невиновных: Наташа не может «смущать мой дух», хотя мне ее подчас жалко, но все-таки она чужой мне человек. А о других не будем говорить. Сухое слово слишком больно, особенно от моей мамы! Да и обидно, что ты, ты — можешь быть так несправедлива. Лучше совсем молчать по этому поводу, чем задевать такие струны. Прости мне, мамочка, если я возражаю слишком горячо. Я виноват, что прорвалось письмо, которое тебя обеспокоило — и напрасно. Моим занятиям не грозит никакая опасность, кроме неумения распределить время, не увлекаться желанием углубляться в частные вопросы и тратить время на изучение весьма существённых, но не необходимых «для экзамена» предметов. А я не могу оторваться от разных логик, теорий познания, методологий — и даже в языкознание ударился. Для меня это хлеб насущный, но для экзамена такое увлечение вредно. Попробую стать школьником и придушить свою самостоятельность. Для внешних целей это удобней. А суть дела не уйдет.

---

* Святая простота (*лат.*).

Ну, и откуда ты взяла, что я «пренебрегаю» Платоновым, Бестужевым? Впрочем, перед Бестужевым я виноват, но это вопрос почтения, вежливости, но не пользы. Его советы, его влияние только связать меня могут и никак не к добру. У Платонова я 2 среды не был. Ой, какая беда! Уверяю тебя, что мы больше приятели, чем когда-ниб[удь], и он никогда не усомнится во мне и трунит, если я жалуюсь на неумение свое систематически распределять свои занятия. Он прав, считая мои уклонения от программы скорее полезными, потому что в таких «уклонениях» люди растут и шире становятся. Всех полезнее мне Лаппо, и я, кажется, не пренебрегаю им. С Форстеном мы все ближе становимся. Эти двое — те, под чьим впечатлением я больше всего был последнее время. Они-то и составляли главную «атмосферу» мою. Я, конечно, сам виноват, что нелепыми письмами, писанными под минутными настроениями, ввел тебя в заблуждение и так невпопад встревожил мою дорогую мамочку. Но, милая мама, что делать мне, когда я не умею и не люблю обдумывать свои письма? Мне казалось, даже лучше писать сразу, не взвешивая своих слов. И вот что вышло из этого! Как успокоить тебя, доказать, что я не сбился с панталыку? Есть мысли, которые трудно опровергать, потому что они уж очень не похожи на дело. Мои письма были сбивчивы, нервны, это я допускаю. Тут было и брожение переходного времени, неизбежного при начале новой роли. Были и другие причины, тобой так неожиданно резко осужденные, но мне дорогие и уважительные. Я не хочу объяснять этого, но скажу, что Ю. П. знает, чего хочет, что тяжело на душе у нее из-за смерти Эвы, из-за горя матери, что честная натура не может при таком горе идти против семьи, что, если бы иначе было, я бы не понял этого, и что все это ты должна бы понять. <...>

Д. 1. Л. 312—315 об.

104

10 ноября

<...> После экскурсии на завод я уже не собрался в этот день, как было решил, к пресловутому Бестужеву. Тут я и получил твое грозное послание. Могу сообщить, что у Бестужева я был вчера. Я было совсем собрался в понедельник, потому что утром в университете студент Чичерин передавал мне что-то несуразное от Бестужева. Оказывается, он перепутал, а передать надо было старую новость о том, что тема о летописях от Академии будет объявлена. Срок неопределенный, подавать можно каждый год. Не знаю, возьмусь ли; не думаю. Дела и без того достаточно — и более полезного, хотя ты вывела из моих несуразных писем, что я ничего не делаю. Я делаю не то, что обязательно, — это так, но разве было время, чтобы я ничего не делал? Ох, ма! Бестужев хочет, чтобы я писал о летописях. Но он же указывал мне на необходимость именно теперь, на первых же порах, позаняться тем, чем я и без него занят, — языкознанием (он прямо Потебню назвал) и методологией. По его мнению, это и значит «взглянуть на свою работу серьезнее», т. е. расширить ее за школьные рамки, поставив на сколько-ниб[удь] философскую почву. Принял он меня, как всегда, очень мило; поговорить с ним интересно, но

слушаться его относительно летописей я, может быть, не найду возможным. Я вообще, говоря откровенно, не чувствую большой нужды в руководителе и постороннем влиянии. У меня выработанная программа есть, и, хороша она или нет, она моя и не случайная, а подходящая ко мне. В общем, мое направление одобряют те, на кого ты указываешь как на нужных мне людей. Сама ты всегда была хорошего обо мне мнения. А таким я стал в той среде, кроме семьи нашей, конечно, которую составляли те близкие мне люди, которых ты теперь назвала неподходящими. Они мне дороги и до сих пор не испортили меня; нет оснований думать, чтобы они на кого-ниб[удь], а тем более на меня, могли иметь дурное (!!) влияние. С университетскими формальностями я завтра покончу. Получил новое ополченское свидетельство. Получил и свидетельство от доктора о пригодности меня для научных занятий. <...>

До свиданья, дорогая мамочка. Пиши, распекай меня, сколько находишь по заслугам, это мне очень полезно; но не брани друзей моих — это несправедливо и бесполезно.

Д. 1. Л. 316—318 об.

105

16 ноября

<...> Тяжело моей мамочке, а я не с нею! Надо мне поскорее приехать. Не знаю в данную минуту, когда можно будет, но надеюсь удрать в начале декабря. Надо только покончить с занятиями в Публичной библиотеке. Затем декабрь и январь, числа до 15 — значит, месяц могу пробыть с вами. <...>

Что меня касается, то я наконец покончил с университетом. Бумаги все добыты и представлены, и я зачислен официально. Ты спрашиваешь про потерянные документы? Конечно, я мог потерять только все сразу, а не порознь. Там были: метрическое свидетельство, свидетельство ополченское и копия с папиного формуляра. Нужно из этого только метрическое свидетельство; но когда понадобится (а разве оно в самом деле может понадобиться?), то восстановить его будет не так трудно, потому что сохранилась копия (в университете), так что легко указать и номер, и церковь, и священника. <...>

Относительно занятий я в маленьком недоумении. У меня опять возник интерес к летописям, потому что наткнулся на любопытные факты. Но из-за этого стоит ли затягивать экзамен? Чтобы сдать его, как хочется Платонову, через год, нужно все другое бросить. И то трудно успеть. Вот и не знаю, как решить. Во всяком случае, теперь на очереди экзамен, а не самостоятельная работа. Так по-моему. <...>

Д. 1. Л. 319—320 об.

106

22 ноября

<...> За последнюю неделю нового у меня немного. Получить с университета что-либо оказывается не так-то просто. До сих пор все

тянут и в канцелярии ничего не знают. Зато намек на нечто приятное я получил в последнюю среду у Платонова. Там Спицын вдруг сообщил мне свои планы от том, как я буду работать в Археологической комиссии, ездить на раскопки, издавать обработанные материалы и т. п. Чего бы лучше, если из этого что-нибудь выйдет. Надо только поскорее отделаться от экзамена и как-нибудь определенно устроиться, а то томительно. А тут еще от Академии тему объявили наконец, хорошо, что объявили без назначения срока. Есть темы, объявленные лет 20 тому назад, да так и остающиеся на веки вечные. И моей желаю того же. А, впрочем, поживем — увидим. Теперь надо написать несколько рецензий Либерману. Я, пожалуй, напрасно с ним связался, но раз обещал, так Бог с ним. Другое дело, затянувшееся слишком долго, — это первый вопрос моей магистерской программы: «Каченовский и скептическая школа в русской историографии». Приходится перечитывать «Вестник Европы» с 1804 по 1830 год — а это немало. В каждом номере по крайней мере 1—2 нужные статьи; и мало прочесть их, надо кое-что выписать. Правда, что все это со временем очень пригодится, но пока много времени отнимает. Журналы перечитываю, конечно, в Публичной библиотеке, хожу туда каждый день и пока добрался всего до 1820-х годов. Еще 10 лет впереди и наиболее важных. <...>

Меня ни за себя, ни за других больше не прельщает учительское дело. Для него надо много любви, а главное, бодрости духа. Мы же все слишком эгоисты и ленивы для живого преподавания. Лучше чисто личное дело — без обязанности руководить людьми и примеряться к ним.

Тьфу, зафилософствовал! Поцелуй папу и детей. Твой Саня.

Д. 1. Л. 321—322 об.

107

25 ноября

<...> Ты пишешь: «Приезжай тогда, когда, по совести, найдешь, что можно». По совести я нахожу, что можно теперь уже ехать, и прошу папу в ответ на это письмо выслать билеты вместе с деньгами (нужно за комнату заплатить и счеты кое-какие есть). В Публичной библиотеке я кончу дело свое дня в три-четыре, а раньше и не получишь ответа. Тогда же я свободен и еду.

Маню сейчас я не могу видеть: она осталась на заводе, куда мы вчера ездили с ней и Шенгером. У Ефремовых все перепростудились — ничего серьезного, конечно, но все с насморками и кашлями. Вениамин сам себя превосходит в возне с детьми днем и ночью. Право, это не отец, а мать. Молодчина.

Я сел писать не вовремя. Надо бежать, а то опаздываю к Лаппо-Данилевскому. Все-таки пошлю, что написал. <...>

Д. 1. Л. 323—323 об.

108

1 декабря

<...> Ах, мамочка! Что ты такое пишешь про библиотеку! Милая фантазерка! Помимо всего прочего это и невозможно, п[отому] что писать надо самому, а то еще труднее. Да, досадно только, что результаты сравнительно ничтожные, непропорциональные работе. Все это ничего, а главное, что работа идет, и я в нее втянулся. Еще одно подспорье: оказывается, что я могу получить иностранные книги, по печатной цене с 15% скидки и без цензуры — через университет — с правом платить, когда вздумается в течение года (т. е. сводить счеты к каждому январю). Это удобно, соблазнительно и прековарно. Узнал я это от Форстена и думаю воспользоваться. С Форстеном у нас все ближе отношения становятся. Он очень хороший и симпатичный субъект. Пригласил меня уже теперь на празднование его диспута. Верно, диспут этот не раньше февраля будет, так как Платонов на январь едет в Москву. Мои же планы такие: как можно скорее удрать отсюда, из Харькова или на обратном пути в Тулу к Лебедеву, который опять заводит речь о том, чтобы я издал его летопись; а последние 2 недели января провести в Москве — в архивах с Платоновым, Дьяконовым (это дерптский юрист) и Рождественским (наш магистрант). В конце января вместе с Платоновым вернемся в Питер. Верно, сегодня я пойду к нему, вместо того, чтобы пойти в Историческое общество, где меня баллотируют в члены.[103] Зачем я впутался туда, я сам не знаю. Но ведь, пожалуй, и неловко было бы не записаться? Было бы очень приятно, если бы удалось издать лебедевскую летопись. Это вещь полезная, и недурно, если бы именно я это сделал. Пожалуй, если займусь этим, опять втянусь в летописи. Тогда, может, напишу и работу. Пока у меня другие интересы, другие темы... До свиданья, дорогая мамочка, авось до скорого. Надеюсь найти тебя совсем окрепшей. <...>

Д. 1. Л. 326—327 об.

1894

109

6 января

Дорогая мамочка! Твое письмо из невеселых новостей сшито. Нет, видно, несмотря на всякие корпоративные пристрастия, надо признать, что зеленый кант только контролю пальму первенства уступит.[104] Впрочем, служба всегда, верно, не без терниев по части зависимости от плохеньких людишек. Посмотрим, что-то я буду делать в будущем. Предчувствую возможность крупного краха. Ну, да говорить об этом отчасти преждевременно, а отчасти — поздно.

Я писал тебе, если не ошибаюсь, 3-го. За это время вел себя зело беспутно. В воскресенье, 3-го, пошел с повинной к Полонским. <...> От Полонских пошел с повинной к Куманиным, куда я был зван на 2-е, и по дороге зашел к Цейдлер, засиделся, к Куманиным попал в четвертом часу, так что остался обедать, а оттуда пошел к Шеффер, а домой вернулся ночью. За все это я жестоко наказан: до сих пор не могу опомниться от куманинского обеда, и постоянные приемы тильманских капель — не помогают. Однако это не помешало мне продолжать в том же духе. В понедельник я домой забежал только пообедать, а то был сперва на выставках, а потом в «общежитии школы Штиглица», по-нашему, в «богадельне», куда принес скраденную у Шенгера пачку его этюдов. Нашли — а смотрело несколько человек — что очень бойко и ловко. Вчера показывали ученическую выставку Штиглица Кате, т. е. я-то показывал не ей, а знаменитой «внучке», про которую ты слыхала не раз и которая еще лучше и интереснее стала. Вот и все мои подвиги. Как видишь, заниматься было некогда. <...>

Д. 2. Л. 1—2 об.

110

15 января [Харьков]

Дорогая мамочка! Выехал я, как писал тебе, в среду, в 3 часа. В Москве у меня было много времени, и я отправился к Крахт. <...> Старый Фед[ор] Фед[орович] скучает без дела и очень недоволен Муравьевым, который говорит речи, точно император германский, сзывает с большими расходами, неведомо для чего, всех председ[ателей] судов и прокуроров в Москву, задает Knalleffect'у* и сулит, в будущем, царство административных порядков и сокращения новых судов. И Манасеин держал нос по ветру, но Муравьев крупнее, энергичнее, много талантливее и наделает больше беды. Упаси, Господи!

В Харьков я приехал вечером. Тут по внешности все в порядке. <...> Можно ли при таком положении дела настаивать на воссоединении Карповичей под одним кровом? <...> Примирение их кажется мне невозможным, почти нежелательным, потому что приятного из этого ничего не выйдет. Эх, мамочка, как тяжело все это для тебя и как трудно выдумать, чего желать-то нам. Карпович хочет свободы и детей. Я думаю, что это совершенно невозможно. Тебе всего труднее будет отказаться от мечты восстановить карповичевский ménage,** но не знаю, можно ли брать на себя попытку в этом направлении, когда почти наверное можно сказать, что, кроме нового разлада, тяжелого для детей, из этого ничего не выйдет.[105] <...> Что касается дедушки, он сравнительно в хорошем настроении. <...> Меня он рад видеть. Мы с ним много толковали о планах моих, и я очень доволен, что он не только понял мои ученые затеи и сомнения, а даже сам вперед договаривал то, что я начинал ему излагать. Сегодня он потолкует с Васильевым и думает поехать со мною в понедельник вечером в Тулу. Я согласился подождать два дня. Для меня это в самом деле не расчет, т[ак] к[ак] мои московские задачи определятся только после свидания с Лебедевым и, может быть, сведутся на нет, а во всяком случае, если и буду работать над летописями, то вопрос об издании надо будет выяснить в Петербурге и потом, все равно, еще раз побыть в Москве, в мае, что ли. Да и папу нехорошо огорчать торопливостью. Не протестуй, мамочка, это, право, не существенно.

---

* Здесь: производит фурор (*нем.*).

** Семейный союз (*фр.*).

Вещи мои собраны и уложены. Кое-что добавлю, вроде стенных часов и пары книг. Относительно платья: я получил брюки в Питере и оставил их там, потому что ехать в них жалко, а уложить некуда. В подушке везти новую вещь весьма для нее непользительно.

Лично для меня всего существеннее получить оседлость в Басковом переулке, а то я устал и дела в вагоне нельзя же делать. Московский дивертисмент даже лучше сократить, хотя это виднее будет в Туле. <...>

Д. 2. Л. 3—6 об.

111

21 января

Только сегодня, 21-го, попал я в Москву, дорогая мамочка. Во вторник вечером выехали мы с папой в Тулу. Ехали в отдельном вагоне втроем — мы и Вурцель. Вурцель, оказавшийся родственником Середонина, знает всю платоновскую компанию. Мы с ним разные вели разговоры, он очень неглупый субъект, но и очень неприятный. В Туле на станции встретил нас Ст[епан] Степ[анович]. Приняли нас Леоновы,[106] конечно, очень радушно, хотя генеральша укоризненно смотрела на мое вольнодумство и непочтительность. А когда я ей на прощанье руку поцеловал, она даже сконфузилась: так мало ожидала она подобного подвига от вольтерьянца. Налюбовались мы на ее обращение с адъютантами! Руки им не подают, посылают на кухню с приказаниями, а то и в переднюю: кто-то пришел, и сейчас: «Макшеев, выйдите в переднюю». Макшеев идет и является с докладом. Мило, очень даже! <...>

Видел я и Лебедева. Издание летописи имеет шансы пройти в московских «Чтениях Общества истории и древностей российских», и я взялся переговорить с редактором, Белокуровым. Издание если состоится, то в том виде, как приготовил его Лебедев, т. е. в виде, по-моему, неосновательном и при слабом участии с моей стороны. Белокурова я видел сегодня, но он просил меня зайти в понедельник. В понедельник же я, по всей вероятности, и уеду в Петербург. Наших тут никого нет. Платонов и К° уехали. <...>

Д. 2. Л. 7—8 об.

112

5 февраля

Гром и молния! Приехал Балюкевич, ничего не зная, а тут узнал, что из Тифлиса прислали телеграмму на высочайшее имя о злоупотреблении по железным дорогам на Закавказье; отсюда кто-то послан для расследования, и обвинения подтверждены. Решено удалить Фриде, а Золотницкого отдать под суд.[107] Передаю буквально, как сам получил. Еще через Балюкевича я узнал, что дело Карповича вовсе не решено. Это он от папы узнал? Что сей сон означает? Я вчера писал, и потому писать нечего. <...>

Д. 2. Л. 9.

113

15 февраля

<...> Сижу теперь дома и читаю хорошие книжки. Удивляюсь тем, что нашим далеко до старых корифеев. Как смущены были бы эти корифеи, если бы заглянули в новые труды, как удивились бы новой глубине исторических исследований! А вот еще новое и довольно сильное впечатление — это Восток! Побывал я на выставке наследника.[108] Что за прелесть японский и индийский отделы! Роскошь, изящество, а главное, тонкий, хороший вкус в японских бронзах и вещах из слоновой кости, в чудных индийских тканях; а какое изумительное мастерство техники художественной в персидских миниатюрах (масл[яная] краска по слоновой кости), в резьбе по кости и дереву, да во всем, решительно во всем. И какая оригинальность, сила фантазии, ничего грубого, вкусу бездна. Нам бы, с нашей европейской гордостью, поучиться у восточных человеков! Когда-то мы достигнем того, что наши художественные ремесла дойдут до такого совершенства. Меня эти художественные впечатления разохотили, и я, кажется, пойду в пятницу к итальянцам[109] на «Кармен» с Борги, Котоньи, Тарулли. Обещает пройти удивительно хорошо.

Подписался я, как было поручено, на «Филологическую библиотеку», но до сих пор не знаю, когда можно ожидать ее появления в свет. Сотрудники надувают, а требуется библиографическая полнота. Издавать такой журнал дело нелегкое, и Адя долго не продержится. В университет мне почему-то ходить не хочется. Вчера лекции пропустил; в четверг пойду, потому что нужно в библиотеку, да не мешает пару слов Лаппо-Данилевскому сказать.

Д. 2. Л. 10 об.—11 об.

114

19 февраля

Дорогая мамочка! Пишу тебе под впечатлением, еще свежим, вчерашней итальянской оперы. Я слушал «Кармен», как писал тебе, и остался более чем доволен. Борги, изображавшая Кармен, удивительная артистка, старичок Котон[ь]и, старенький-престаренький, такой симпатичный и хороший артист, что продолжает быть очень интересным, хотя и был вчера совсем не в голосе. И тенор — Хозе был, в общем, прекрасный. Такого исполнения я еще никогда не слыхал, и, будь с кем, я бы еще сходил в Аквариум.[110] Огромный и очень хороший новый театр был битком набит, несмотря на высокие цены. Много знакомых: Прянишниковы, Манизер, Ю. П., Шенгер, Форстен etc. Словом, точно в былые годы в Тифлисе, когда придешь в театр и скажешь: «Ба, знакомые все лица!». А это приятно нашему брату провинциалу.

Про себя мне, собственно говоря, нечего писать. Кашлять я еще не перестал, как не перестал и сетовать на то, что занятия медленно подвигаются. Да и то сказать: чем дальше в лес, тем больше дров. И то, и это нужно если не прочесть, то хоть посмотреть. Ну, да Бог милостив. <...> Надеюсь, к 27—8-му получить мартовские деньги, ибо проценты Либермана, с папиного разрешения, ушли на расчеты с книгопродавцами. Бессовестный грабеж с моей стороны, mais tu l'a voulu George Dandin.* Вчера из театра я поехал к Полонским. Аля уезжает завтра за границу и очень просил лишний раз побывать. Завтра поеду провожать его на Варшавский вокзал, а сегодня нужно к Форстену — словом, эти дни у меня беспокойные. <...>

В университете у нас пытаются завести оживление, возродить студенческое научно-литературное общество à la Орест Миллер.[111] Все затеи Гревса. Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. А впрочем, подай им Боже.

Д. 2. Л. 12—13 об.

115

21 февраля

Дорогая мамочка, как время-то летит — завтра уже пост! Недаром Петр Великий говорил: «Время, яко смерть», сокрушаясь, что оно убегает и никак не успеть сделать все, что предполагается. Дела у меня, с Божьей помощью, прибавилось. Платонов, к моему удовольствию, заменил один из вопросов моей программы («Крестьянский вопрос в XVIII веке») другим — о формах дворянского самоуправления в XVIII—XIX веках. Это работа большая, потому что вопрос мало и плохо разработан; надо все «Полное собрание законов» пересмотреть. Тема пригодится и на будущее, и очень интересна. Жаль только, что как-то мудрено себе представить, чтобы все эти занятия уместились на пространстве одного года, тем более, что очень интенсивные занятия едва ли возможны будут летом.

У Платонова я был на этой неделе дважды в обычную среду и в «экстренную среду», которая состоялась третьего дня по случаю отъезда Рождественского в Москву. В среду мы много толковали об университетских отношениях. А отношения эти обострились. В январе на одном заседании Истор[ического] общества (кареевского) вышло столкновение у Чечулина с Василием Семевским, который был очень неприличен. В результате получился полный разрыв русских историков с Кареевым и его обществом.[112] Дела Общества ведутся неосновательно, «комитет» составляется тенденциозно, из «своих», баллотировки почти подтасовываются. Кое-кого уговорили баллотироваться и провалили. Заседания принимают характер не ученых, а публичных лекций для присутствующей публики. Эти обвинения так и сыпятся, а основания для них есть. Теперь на заседаниях сидят председатель, секретарь, казначей, 2—3 члена и много посторонних — студентов, курсисток. Плохи дела. Прежде был худой мир, а теперь прямая ссора.

---

* Но ты этого хотел, Жорж Данден (*фр.*, цитата из Мольера).

В пятницу я рано удрал от Платонова, потому что отправился к Прянишниковым. У них было много народу, какие-то парадные дамы, сенаторы, адмиралы. Ип[полит] Петр[ович] много пел, хорошо, но все старые, надоевшие вещи. Вообще два дня я кутил — вчера и в пятницу. Целый день отсутствовал. <...> Вениамин вечером поехал нас провожать до Смольного. Теперь приходится до Смольного ехать на санях, а по городу — на колесах. Чудная ныне и зима. Вернулся я к 9 часам и нашел у себя приглашение к Ламанским (В. И. Ламанский — наш профессор, славянофил; меня звал его пасынок Штруп, большая умница и очень милый). У них собираются по субботам, университетская компания особого состава, больше словесники. Бывают люди интересные: Страхов, Римский-Корсаков. Бывает и Лаппо-Данилевский. Надо будет присмотреться и к этому кружку.<...>

Д. 2. Л. 14—16.

116

4 марта

<...> Вчера у нас в университете был маленький юбилей. По случаю 15-летия службы мы поднесли младшему библиотекарю адрес и ящик со столовым серебром. По этому-то случаю и надо мне было быть у Платонова в среду, свезти адрес «к подписи». У него я встретил некоего Миклашевского, знакомого мне еще по Москве. Это профессор чего-то вроде сельскохозяйственной экономии в Петровской академии. Теперь из Академии решили вывести мятежный дух. Ни одного старого служащего в ней не осталось. Со двора выносят старых собак, а останутся из прежних штатов только воробьи и голуби. Обои переклеят, полы перекрасят, потолки и стены перебелят. Произведена будет солидная дезинфекция. Словом, реформа радикальная, а Миклашевский, очень симпатичный и знающий человек, — без места. Его, впрочем, вызвали в министерство, поручили какое-то дело и, верно, оставят здесь, хотя ему очень тяжело расставаться с Москвой. Сильно не по душе ему наша питерская атмосфера, и я вполне разделяю его мнение. Написал он (и обещает подарить) очень ценную книгу по истории земледелия в Московской Руси. Для нас он будет і poverino!* — приятным приобретением. А Платонов со мной очень мил. В понедельник они с Форстеном нанесли мне визит вечером.

Ну-с, вчера был юбилей! После него мы с Лапшиным отправились с визитом к Арсеньевым (из «В[естника] Ев[ропы]»). Арсеньев небольшой, совсем седой старик тургеневского типа, на вид симпатичный. Только заядлый либерализм сквозит в словах; это человек партии, а я таких смерть не люблю. M-me Арсеньева дама очень болтливая и не очень умная. Приняла нас очень мило, накормила завтраком, и часа через полтора мы не без труда ушли, обещая прийти вечером. У них кружок с научно-литературными чтениями.[113] К сожалению, чтения эти стали модными, ездят туда, как в концерт, скучают, ничего не выносят и опять едут. Этот вечер обещал быть очень интересным. Читал один из знаменитых студентов, теперь кончивший — Струве, об «экономическом материализме». В качестве оппонентов приглашены были Кареев и Гревс. Я ожидал, что речь будет идти о той исторической школе, которая носит эту кличку. Но речь шла о Марксе и многих иных. Шла она крайне бессвязно, беспомощно. Гревс не приехал и хорошо сделал, потому что реферат был совсем ничтожный и толковать было не о чем. Я это Карееву сказал, он согласился, а я с Куманиным удрал, не дожидаясь прений.

---

* Бедняжка! (*итал.*).

Вот и еще несколько дней потеряно. А разве я виноват? Живи я на необитаемом о[стро]ве, было бы гораздо лучше. Вот и сегодня нужно съездить в А[лександро]-Н[евскую] лавру, в библ[иотеке] Духовной академии посмотреть одну рукопись, а то мой тульский доктор испугался за судьбу той своей рукописи, которая у меня, и прислал своего племянника с просьбой выслать ее. Она-де ему нужна. Врет, нужна она ему не может быть, но выслать надо. Как ни кинь, все клин. Хорошо еще, что теперь библиотека для магистерского экзамена чуть ли не вся стоит на полках, все под рукою. А придется еще в Публичную библиотеку побегать ради Полного собрания законов и старого «Вест[ника] Европы». Пока до свидания, дорогая мамочка, поцелуй папу и Карповичей и помолись, чтобы твоему Сане удалось в год одолеть магистерскую премудрость.

Д. 2. Л. 17 об.—19 об.

117

8 марта

Фу, как грустно все кругом! Такая пелена грустных забот и горя со всех сторон, что даже странно. <...>

Я сегодня вообще под неприятными впечатлениями. В университете опять глупая история. Виноваты в этом курсистки. Подняли они историю 19 февраля, налетели на Введенского, требуя его мнения. Тот прехладнокровно высказал им что-то вроде упрека в стадном, бессознательном чувстве и совета не волноваться. Курсистки всполошились, хотели было просить Введенского оставить курсы, но спохватились и успокоились. Зато наши герои естественного факультета, «естественные мальчики», как их недурно называет m-me Куманина, ворвались вчера в его аудиторию, нашумели и чего-то ему наговорили. Лекции он читать не мог, а завтра ждут новой истории. А это помимо того, что блестящий профессор, один из лучших людей в университете. Черт знает, что такое! Из-за этого провалят, по всей вероятности, и благую затею основать историко-филологическое студенческое общество. Затея давно подготовлялась, а в субботу у Форстена состоялось собрание учредителей, куда и я пришел, никем не званный, и, кажется, увлекся, принимая деятельное участие в толках. Боюсь, не подумал ли кто, что незваный гость хуже татарина. Но я не раскаиваюсь, потому что кое-чего добился и кое-что уладил, а заставить публику столковаться стоило немалого труда. Председателем выбрали Лаппо-Данилевского. Теперь дело за утверждением начальства, которого, вероятно, не последует.

Относительно занятий своих могу сказать, что снова сбился с пути истинного в сторону философии. Но как не прочесть, когда попадается что-нибудь ценное, когда проклятые вопросы лезут в голову. Побывал и на выставках. Академическая, несмотря на слухи о строгом жюри, до неприличия плоха. Одна выдающаяся вещь: «Св. Варвара», статуя Беклемишева (сына Реджио, тифлисского декоратора), приобретена государем. Зато Передвижная интереснее обыкновенного. <...>

Д. 2. Л. 20—21 об.

118

17 марта

<...> А наши бури улеглись. Результатом явилось, между прочим, сближение, весьма отрадное для меня, Введенского с Платоновым. Вчера Введенский явился «на среду» и на всех произвел хорошее впечатление. Дай Бог, чтобы он почаще бывал. Вчерашний вечер вообще был очень мил. Был и Лапшин, мой философский приятель. Из курсисток были только те, кто посимпатичнее. Вообще наши затеи и волнения всех взбудоражили и оживили, и Введенский находит, что все это было полезно. Посмотрим, что будет. Я не помню хорошенько, когда именно писал тебе и что надо рассказать. Кажется, не писал еще о том, как мы с Платоновым были в Думе и слушали там, как хор контрольных чиновников пел очень хорошо удивительно красивые народные песни. Это было заседание Географического общества, под предс[едательством] Тертия Филиппова.[114] Слушали доклад о поездках некоего Истомина с музыкантом Ляпуновым по Вологодской, Вятской и Тверской губерниям для собирания народных песен. Кое-что привезли превосходное — из этих песен и пел хор, да еще из сборника Тертия Филиппова. Контроль и песни! Вечер был очень приятный, а финал его был еще любопытнее. Мы с Платоновым пошли пешком, довел я его до дому, а он позвал чай пить. Толковали мы о «кружковщине», у нас ведь все лагери, друг друга не выносящие, хотя ни в чем, в сущности, серьезном не противоположные. Все это мелко и нехорошо. Я говорил с задней мыслью, потому что предполагал (а после узнал достоверно), что Платонов недоволен тем, что я бываю у Лаппо-Данилевского. Выпили мы с ним за столом — за уничтожение кружковщины. Эта злосчастная кружковщина и вчера обсуждалась. Зло это неискоренимое.

В воскресенье большой день у нас: диспут нашего любимца Форстена. Вечером у него Doktorschmaus,* на котором и я буду. Еще лишняя встреча всех разнородных элементов нашего факультета. Почаще бы встречались, авось притерпелись бы друг к другу. Теперь все толкуют об объединении и общении. Символом служит группа нынешнего выпуска со всеми профессорами нашего факультета. Вот и общество учредили. Подай, Господи! Но пока профессорская среда будет похожа на лебедя, щуку и рака — непрочны все эти затеи! По случаю этой группы я попросил себе карточки у профессоров и сам снялся у Лоренса. Посмотрим, как выйду. А на днях у меня гости были Лапшин и Куманин. С Лапшиным я вообще часто и охотно видаюсь. Во многом мы с ним рука об руку идем, а это всегда приятно. От Полонского получил письмо из Парижа, недовольное. Французы ему не нравятся мелочностью и внутренней грубостью нравов под чисто внешним благообразием и вежливостью отношений. Это часто приходится слышать.[115] Верно, большая доля правды тут есть. <...>

---

* Банкет по случаю защиты (*нем.*).

Раскутились Пороховые. Дорога к ним ужасная, ни снегу, ни шоссе, какая-то полужидкая масса. Ездить можно разве в виде эпитимии. Десятое я так же прозевал, как и седьмое. Поедем к ним 3-го праздновать 1-е и 2-е, два рождения, Кати и Ю. П. С Ю. П. теперь то же, что с Катей — чем дальше от смерти бедной Эвы, тем сильнее и назойливее, тем мучительнее эта мысль. Не знаю, зачем я написал это. Лучше не говорить.

Теперь я занимаюсь довольно систематически. С этой стороны недурно. Покашливать еще не перестал, но немного. Ходил к зубному врачу. Он сказал, что пломбировать нельзя, держаться не будет; вырвать тоже нельзя — уж очень крепко сидят зубы. Посоветовал обходиться полосканьем, а если разболятся, то убить нерв. Он (Вульф, на Мал[ой] Морской) мне понравился, и я думаю его держаться. <...>

Д. 2. Л. 22—24 об.

119

22 марта

Дорогая мамочка! В воскресенье был диспут Форстена. Общее впечатление, что не запомнят такого хорошего, содержательного и приличного диспута. Обыкновенно ученый диспут слишком похож на бой петухов... В начале Форстен произнес речь, где, ожидая резких нападок на свое направление (исключительный интерес к политической и дипломатической истории), довольно задорно защищал его против новомодных культурников. Он говорил, что всякие направления законны, друг другу не противоречат и должны бы мирно жить рядом, дополняя друг друга и не ругаясь между собою. Первым возражал Кареев, и, к удивлению, говорил дельно, фактически и сдержанно. Он доказывал Форстену, что для изучения Балтийского вопроса необходимо было пользоваться и польскими источниками, что это избавило бы его от некоторых ошибок. Форстену отвечать было нечего, и он отшучивался, к неудовольствию Кареева, смех, может быть, чересчур. Потом Кареев указал, и тоже верно, на недостаток изложения у Форстена, недостаточно наглядного и стройного.

Платонов начал с поминок о Бауере, учителе и его, и Форстена, помянул Бестужева, а потом указал Форстену, что знакомство с русскими источниками дало бы ему несколько важных фактов и тоже избавило бы от нескольких мелких ошибок. Говорил он очень мало, потому что почти не готовился. У него жена опять больна. Вот дамы! Покаталась верхом, когда нельзя было, и хворает почти год! Ее очень жаль, и ради нее самой — она такая славная и такая умная — и за Платонова.

Вечером после диспута собрались мы, человек 25, у Форстена. Были Кареев, Платонов, Васильевский, Ламанский, Лаппо-Данилевский, Чечулин, Середонин, Дьяконов (из Дерпта), Гревс и пр. и несколько студентов. Были и неуниверситетские — Гуревич, довольно противный ex-историк и хозяин частной гимназии, 2 его учителя, 2 брата Форстена и еще кое-кто. Затянулось собрание надолго. Сперва разговаривали кружками. До смешного делились на партии. В зале сидел Кареев с 2—3 неуниверситетскими, в кабинете в одном углу Платонов с кружком «русских историков», а в другом Гревс со стариками. Лаппо-Данилевский держался больше студентов. Такое деление мне надоело, и с помощью Форстена мы пытались перемешать публику, но безуспешно.

В 11 часов пошли закусывать, потом еще с час сидели в кабинете и тогда только пошли ужинать. И тут сели по всем правилам местничества:* с одного конца сидели кончающие студенты с Лаппо-Данилевским, потом старший Ламанский с Васильевским, потом посторонние университету, опять студенты, затем мы, кружок Платонова, с нами Форстен, рядом с нами пустой стул, и на противоположном конце Гревс с Кареевым. Мне это глаза кололо, и завел я с Платоновым разговор по душе о причинах такого деления. Он был необыкновенно искренен и вообще такой был задушевный, что совсем меня тронул. Он разъяснил мне, что кружки — его и Лаппо-Данилевского различаются двумя признаками: те — дворяне по воспитанию, с хорошим домашним воспитанием, с обширными научными средствами, демократы по убеждению и по теории, люди с политическими стремлениями, с определенным складом политических взглядов, в которые догматически верят и потому нетерпимы к чужим мнениям; они же, т. е. платоновцы, разночинцы, люди другого общества, другого воспитания, с меньшим запасом научных сил, очень разнородные по убеждениям, только личною дружбой, а не каким-нибудь общим credo, связанные между собой. По характеру ума они скептики, недовольные ныне господствующими порядками не менее тех, они не видят средств бороться и переносят их по внешности равнодушно, делая свое ученое и преподавательское дело и не пропагандируя своего недовольства, не требуя непременного согласия с собою и спокойно относясь к противоречиям и противоположным убеждениям, даже мало симпатичным. Они не сторонятся другого кружка, но тот игнорирует их; попытки сближения были и кончились обидой для них же.

Когда дело дошло до шампанского, Васильевский сказал очень содержательную речь: определил научную физиономию Форстена, ученика Ранке, отметил успех его в докторской диссерт[ации] сравнительно с магистерской, поздравил его с тем, что он сразу выбрал широкую и важную тему, которую и разрабатывает и которой хватит еще на много лет работы. Форстен пишет историю Балтийского вопроса и дошел до конца XVII века, а мечтает дойти до конца XIX-го. Потом Васильевский заговорил о том глубоком нравственном влиянии, какое Форстен оказывает на учеников своих везде, где только преподает. Это правда и очень интересный факт. Васильевский ясно и горячо (даже голос дрогнул) отметил эту силу искренней и сильной натуры Форстена. За Васильевским какой-то вздор говорил Гуревич, потом недурно сказал Кареев, предложив тост за дальнейшее совершенствование Форстена в будущих трудах. Форстен ответил тостом за факультет, который его создал и поддерживает. Это подхватил Платонов, который предложил чудный, искренний тост, который будет, должен иметь серьезные последствия, — тост за выработку полной и тесной солидарности членов факультета, на которой держится та факультетская традиция, которая вырабатывает молодежь в хорошем направлении. Увы! Один Лаппо-Данилевский с противоположного конца стола пришел чокнуться; конечно, молодежь и друзья Платонова с восторгом приняли тост. А Кареев и, что обидно, Гревс... Ну, Бог с ними. Лишь бы Лаппо понял, что, приняв протянутую руку, он принял на себя известное обязательство. Платонов убежден, что Лаппо сделал это сознательно, а в него он и целил.

---

* Здесь Пресняков изобразил следующую схему банкетного стола: П.

Сидели долго, кончили комической речью одного учителя, товарища Форстена; потом стали дезертировать. Исчезли старички, исчезли Гревс с Лаппо и еще многие. Многие из студентов, и Кареев с ними, сильно подвыпили. Потом сбежал Кареев. Причем брат Форстена, артиллерист, который был хозяином и особенно угощал Кареева, с не совсем уместной наивностью — он тоже выпил, приписал это себе: будь, говорит, еще шампанское, он бы до утра не ушел. Стало уютнее и теплее. Платонов опять стал говорить — говорил о значении Васильевского, которого мы все ученики до мозга костей, рассказал историю сближения кружка русских историков с Форстеном. Он говорил так задушевно, что, по общему признанию, Васильевскому и ему мы обязаны тем хорошим впечатлением, которое все унесли с собою. Мне стало стыдно, что я последнее время не совсем доверчиво относился к нему, считая, что он человек партии, кружка. А Кареев лишил меня возможности защищать его, что я начал было делать, думая, что не он виноват в факультетском расколе. Как все это нехорошо! Разошлись мы, когда из-за утреннего света пришлось лампы потушить. Форстен пошел с нами, «пока уберут». Пошли гулять — Форстен и несколько моих товарищей — проводили одного, другого, проводили домой Форстена. Остался со мной один товарищ (Головань), который живет в Царском Селе. Был уже восьмой час. А в 11 необходимо быть в университете! Лучше решили не спать, да и не хотелось. Пошли шататься, проехались почти до Стрелки. В 9 ч. пошли ко мне чай пить, и к 11 я попал в университет. Поспал я только после обеда часа 3. А хороший был день!

Что еще рассказать? Ефремовых не видал эти дни. Разве то, что в пятницу одна почти незнакомая (так что фальши не могло быть) барышня у Полонских гадала по моей руке и много меткого сказала. Это смешно, но все-таки странно. Случайность?!

Я скоро, должно быть, еще напишу. Завтра у Платонова будет Дьяконов, дерптский профессор, человек интересный. А пока до свидания.

Д. 2. Л. 25—30 об.

120

27 марта

Любопытные времена мы теперь переживаем, дорогая мамочка! Эпоха «ликвидации отношений», как говорит Платонов. Странное дело: наши кружки, долго обособленные, столкнулись было, и теперь весь вопрос в том, сумеют ли они, захотят ли понять друг друга. Покончивши объяснения с Платоновым, я не утерпел, чтобы не затеять их с Лаппо-Данилевским. К сожалению, нам помешали в четверг, когда я был у него; он успел высказаться (и, слава Богу, сделал это вполне откровенно) относительно своих отношений к Платонову и К°. Боже мой, какая тут нелепая путаница понятий. На этот кружок смотрят как на ультраконсервативный, благонамеренный à la «Новое время» и, вспоминая прежние либеральные мысли Платонова, видят в нем отщепенца (?!!), да еще, кажется, под влиянием жены. Такой красивый ярлык повешен на весь кружок, и — не смейтесь, читающие! И на... меня!! Гревс, в котором весь корень нетерпимости, не скрывает своего резкого предубеждения против меня. Этого Лаппо-Данилевский мне, к сожалению, не говорил, но я это сам узнал. Все это очень досадно, но так нелепо, что даже и обидно, и смешно. К сожалению, я не успел со своей стороны разъяснить Лаппо-Данилевскому настоящее положение дела. Надеюсь сделать это все в ближайшем будущем. Наше студенческое общество на мази. Во вторник соберемся у Форстена обсуждать официальный проект, а там — что Бог даст. Но я соберу все силы самообладания, чтобы ни слова не сказать. Ну их, надоели!

У Форстена я в пятницу был. Приехал вечером с завода (куда мы по случаю Благовещения ездили с Наташей) в надежде ехать с ним во французскую оперу на «Лоэнгрина»,[116] но, увы, он не достал билетов, а вместо оперы спел мне несколько чудесных романсов совсем неизвестного композитора Франка: а романсы не хуже шумановских. Пел и еще кое-что из Листа, Чайковского. У него почти пропал голос, но поет он, по манере фразировать, прекрасно, особенно Франка, любимого композитора его покойной жены. Ему больно петь этого Франка, а оторваться не может. И за что на него свалилось такое страшное несчастие: ты ведь знаешь, что он сам нечаянно отравил свою жену, потеряв перед тем еще сына от воспаления мозга. Ему очень хочется иметь ее портрет красками, карточек у него масса. Я хочу свести его с Манизером, который очень удачно писал несколько раз портреты людей, им никогда не виденных. Авось удастся. <...>

Я, кажется, писал тебе, что снимался у Лоренса. Пробную получил и очень доволен. Это гораздо лучше противных сабингусовских портретов. 30-го будут готовы, тогда пришлю. На этих днях я много кутил. Побывал еще у Куманиных (скучная публика!) и на рождении у одного товарища, Полиевктова, который имеет быть оставленным при университете по русской истории. Тут были товарищи разных сортов. Признаюсь, к стыду своему, что товарищеские компании, от которых сторониться нельзя, особенно теперь, когда «общение» у всех на языке, мне никакого интереса не представляют. Кроме Лапшина, который мне прямо полезен, у остальных не нахожу ничего поучительного и столковаться с ними не умею. А у меня слишком много своего дела, чтобы еще интересоваться чужими.

Что же ты, мамочка, не напишешь, как решили вы с дачей? Если Вениамину удастся дотянуть отъезд до мая, то в середине мая мы можем нагрянуть. Если он уедет раньше, то я приеду с Катей и детьми. Кстати, писал я тебе, что на Пасху мы — т. е. Платонов, Форстен и

К° — собираемся на Иматру? Хорошо, если экскурсия состоится. <...>

Д. 2. Л. 31—33 об.

121

2 апреля

Дорогая мамочка! Посылаю тебе свою физиономию. По-моему, карточка очень удачная. И другие находят, что похоже. Полученные в обмен на мои карточки профессоров я привезу с собой показать тебе. <...>

Вчера же я и другую посылку отправил! Дело в том, что Белокуров, редактор «Чтений Московского Общества истории и древностей», прислал мне рукопись доктора Лебедева, чтобы я приготовил ее к печати. Но издают от имени Лебедева, с его предисловием и по его, весьма неосновательному, плану. Что же мне тут делать? Я написал Белокурову, что не согласен, и отправил рукопись обратно. Это мое прощанье с летописями. Впрочем, если они издадут по-лебедевски, я не думаю, чтобы нельзя было мне написать обстоятельную рецензию. Может быть, напишу. А я от русской истории совсем отбился. Все вожусь с феодализмом и никак развязаться не могу. Это пригодится. Существует затея издать под редакцией Гревса курс Васильевского по средней истории. Кажется, рассчитывают и на меня. Я был бы очень рад попасть в участники такого хорошего дела, в «ученики Васильевского», официально признанные. Но на будущий год Гревс уезжает за границу: ему давно пора написать диссертацию, а теперь это необходимо, потому что Васильевский только ее и ждет, чтобы передать Гревсу свою кафедру. А это значит, что на будущий год Гревс едва ли может отдать много времени на редакцию курса. Впрочем, в один год немного и сделаешь. Можно будет кое-что подготовить.

Интересно, что выйдет из нашего «общества». И тут придется отнять у своих занятий несколько времени, чтобы хоть один реферат написать. А времени-то так немного! Все это пока неопределенные проекты. <...>

Вечером завтра, если удастся рано вернуться, пойду к Лапшину. Там будет Владимир Соловьев. Надо посмотреть, что это за птица. Как писатель многого он не стоит, но очень оригинальная фигура. Лапшина он с детства знает и, когда тому еще пять лет было, написал ему туманные философские стихи. Лапшин читал недавно реферат у Арсеньевых о Канте и Конте, с большим успехом. Соловьев предлагает ему напечатать этот реферат. Я, к сожалению, не мог быть, потому что как раз в этот день было у Форстена «учредительное собрание» нашего нового общества. <...>

Д. 2. Л. 34—35 об.

122

6 апреля

<...> Нам нельзя быть до 10-го, пока вы не переберетесь на дачу. Итак, мы живем в Даниловке. Это, кажется, не доезжая до Харькова с севера? Конечно, так лучше, чем брать 2 дачи. Остальные известия, сообщаемые тобой, менее утешительны. Перед карповичевской историей можно только стоять в недоумении. Я, по крайней мере, никаких предположений даже выдумать не могу. И в железнодорожном мире новые перспективы! Поживем — увидим, что Бог даст.

А наше болото поволновалось, поволновалось, да и стихло. Общество если появится на свет, что довольно проблематично, то в более или менее искаженном виде, благодаря более чем странному отношению нашего факультета (т. е. совета профессоров) к сему предприятию. Впрочем, я пока не имею об этом точных сведений. Лаппо я больше не видел. Верно, я завтра схожу к нему. Разъяснить недоразумения следует, но результатов не последует. Их с Платоновым разделяет противоположность натур. Лаппо прав, говоря, что с Платоновым нельзя поддерживать чисто деловых, научных отношений. Он требует большего, требует личных отношений, дружбы. А на это Лаппо не способен. Недаром Гревс на вопрос, каков Лаппо со своим маленьким сыном (летом он умер), ответил тоже вопросом: «Да какое может у него быть отношение к маленькому существу?». Больно он «умственный» человек. А все-таки он не сухой и очень симпатичный. Странная натура.

На Иматру я, должно быть, не поеду. Жаль уехать на Святой[117] из Петербурга, когда и так скоро уедем. Да, должно быть, это дорого обойдется, а мои расчеты с книжными магазинами не кончены, да и не знаю, как я их кончу. Предстоит больше сотни заплатить. Конечно, можно до осени оттянуть, но кое-что выплатить следует, а это не так просто, как кажется. Вчера был у Арсеньевых. Некий Никольский, большая умница и человек очень даровитый и невероятно образованный, кончивший с нами по юридическому факультету, — читал реферат о Пушкине, очень оригинальный и содержательный. Возражали столпы «Вестника Европы»:[118] Арсеньев и Утин, и еще кое-кто, даже две дамы, из которых одна рассказала трогательную историю про одного унтер-офицера под Шипкой. Это было наивно, но мило. А патентованные либералы говорили невозможно плоские вещи. Вот люди, думающие по стереотипу. Затхло, скучно, избито. Понять противника Утин не мог, а Арсеньев, кажется, не хотел. У него большой, тонкий талант передергивать чужие слова, но только на это его и хватает. Выше его в этом только Влад[имир] Соловьев, с которым я познакомился у Лапшина. Очень интересная внешность: молодое лицо, с сединой и демоническими глазами, много остроумия и прекрасный французский язык.

Д. 2. Л. 36—37 об.

123

11 апреля

Дорогая мамочка! Заранее благодарю тебя за деньги, а теперь еще за наставление. Мне жаль только, если моя «нерасчетливость» тебя беспокоит. Она может быть иногда неудобной, так как я почти попросил ассигновки (и мне деньги эти будут очень кстати), но не имей об ней преувеличенного представления. Конечно, не все мои траты законны, это верно, и я постараюсь быть благоразумнее, что мне нетрудно. Но совсем зря я денег не бросаю, я всегда знаю, куда их девал, и теперь мог бы почти полный отчет дать, с точностью до нескольких рублей, растраченных по мелочам. Как я буду справляться в будущем — об этом нечего беспокоиться. У меня самые определенные привычки, очень смирные, и если я делаю глупости, то потому, что много денег. Зарвался я немного с книгами, это нехорошо, но что делать! Горбатого могила исправит. Больше не буду. Но ведь это насущная потребность. А в этом году я хоть и много купил, но в оправдание скажу — купил с большим выбором, вещи классические. Быть историком и не знать великих своей специальности неудобно... Да, ты права, мамочка, всего зараз не сделаешь, но если есть и вне магистерской программы вещи, которых стыдно не знать, узнать которые есть искренняя потребность, то надо много выдержки, чтобы воздержаться, да еще вопрос — следует ли очень воздерживаться? В некоторой широте взглядов и интересов и моя сила, и моя слабость. Пусть практически это подчас неудобно. Но без нее что я такое? В этом-то моем направлении некоторое оправдание той благосклонной оценки, какая выпала на мою долю. Я не для того пишу, чтобы ответить на твое письмо, я не защищаюсь, потому что знаю, что этого вовсе и не надо. Твои советы справедливы, но я высказываю те сомнения, над которыми приходится думать и не раз еще придется подумать, а ущерба от них мне никакого не будет. Дело свое я все равно сделаю.

<...> Выедем мы около 10-го мая. Скрепя сердце уеду я раньше конца мая, до которого думал дотянуть. На май были проекты походить в Пуб[личную] библиотеку. Но это неважно, можно осенью сделать, даже лучше. Тем более, что совместный переезд имеет свои преимущества, а ссылка на «ученые» причины провести май здесь не вполне искренна.

В пятницу поедем на завод, где я до первого дня Пасхи останусь, чтобы избежать праздничного содома. Новость: Шенгер уже сдал один экзамен, 8 отделов чистой математики. Давай ему Бог и с остальными благополучно справиться. Для кого экзамены такое серьезное практическое значение имеют, это действительно дьявольская выдумка. Доживем ли мы до того, чтобы наконец разумно устроить преподавание? <...>

Д. 2. Л. 38—40.

124

[Без даты]

<...> Про Арсеньевых Наташа сказала почти правду, но не совсем. Он вовсе не такая древность, но устраняется от хлопот по собраниям, предоставляя их жене. Он ими, кажется, тяготится, да и толку в них мало. Но он играет роль председателя, резюмирует прения (и очень плохо, вставляя свои мнения и полемизируя в резюме, чего председатель делать не имеет права). M-me Арсеньева хлопочет о рефератах, причем желает, чтобы они были не очень серьезны, т. е. скучны, а попопулярнее, не научные, а литературные. Дама она очень живая, болтливая и очень, по правде сказать, бестолковая. <...>

Скажи папе и себе, чтобы не очень бранили вашего «ветрогона». Это новое звание подразумевает веселого, рассеянного по образу жизни субъекта. Боже, как мало похоже это на мое настроение. Жаль, что я выбрал карьеру, которой приписывают характер «ничегонеделания». Правда, трудно вступить на более практический путь, но я об этом потолкую кое с кем.

Многое в этом письме может тебе не понравиться. Я пишу то, о чем много думаю. Но проклятый экзамен парализирует мои планы. Надо иметь его не впереди, а сзади. А то отложить так, пожалуй, уже надолго. <...>

Д. 2. Л. 42 об.—43 об.

125

24 апреля

Дорогая мамочка! Прошла Пасха, теперь немного времени до отъезда. Как быстро время идет и какое оно грустное! Помимо всего прочего, теперь годовщина прошлой весны — печальное время. Ну, хныкать не будем.

Что делал я это время? Ничего дельного. Как встретили мы праздники, я тебе писал. На второй день праздника я побывал кой у кого, обедал у Куманиных. В среду не попал к Платонову, потому что занят был сборами на четверг. А в четверг, 21-го, мы с Манизерами и Цейдлер в большой коляске отправились на завод. Ехали в коляске m-me Манизер с тремя детьми, Цейдлер и я. А Ю. П. и сам Манизер отправились верхом. День был прекрасный, и прокатились на славу. У Ефремовых мы пробыли недолго — младший сынишка Манизер еще грудной, и потому к 5 часам вернулись домой. Я тебе писал про Манизер и их детей. От них всегда выносишь самое отрадное впечатление. <...>

В пятницу Лапшин убедил меня, что неловко не пойти к Полонским: тут было и пение (плохое), и музыка (хорошая), и Майков читал стихи. Был и Страхов — это большой, но странный ум. Я не столько разговаривал с ним, сколько слушал его разговоры с Лапшиным, моим Мефистофелем, соблазняющим меня на философию. В субботу, т[ак] к[ак] я, подобно гоголевскому городничему, праздную и на Антона, и на Онуфрия, опять поехали на завод; сбегали на кладбище. Памятника еще нет, но поставили легкую, изящную решетку. Когда все будет устроено, съездим еще раз посмотреть. Вечером в субботу я был у Форстена; тут много было хорошего пения. Как видишь, внешним образом я праздники весело провел. <...>

Д. 2. Л. 44—45 об.

126

2 мая

Дорогая мамочка! Вчера я получил бумагу о билетах с запиской от папы, а сегодня — твое письмо. Да, дело с билетами как будто не совсем твердо стоит. Сегодня я был у Балашева. Он пометил бумагу и послал меня в то отделение, где пишут билеты. Там сказали, что напишут, и велели зайти в четверг. Дело в том, что по правилам право на билеты теперь имеют только те члены семьи, которые живут на иждивении отца. Я заявил, что мы так и живем. Надеюсь, что в четверг никаких недоразумений не выйдет.

Как-то так случилось, что я тебе целую неделю не писал. Впрочем, это не так еще долго. А неделя была довольно суетливая. Во вторник я получил очень милое письмо от Платонова. Я на праздниках не попал к нему и вообще недели 3 не видал его. Он и спрашивает, здоров ли я и куда девался. А цель письма — позвать меня на вечер вторника в Археологическое общество на доклад Милюкова, приехавшего сюда на несколько дней. Милюков докладывал о вновь найденном документе XVI века, которого никто понять толком не может, но который всех заинтриговал и должен иметь большое значение для истории служилого класса.[119] В среду я, побывав в историческом обществе, где Василий Семевский прочел интересный реферат о рабочих на сибирских золотых промыслах, отправился к Платонову «на Милюкова». Но героем вечера был не Милюков, очень сдержанный и осторожный в Петербурге, а Васильевский, который был в духе, много рассказывал, шутил и всех оживил. После заседания в Археологическ[ом] обществе мы пошли пройтись со Спицыным, который предлагал мне заняться археологией, обещая уступить целый район, очень интересный — Вислу с ее бассейном т. е. древнеславянские, польские, прусские и литовские древности; летом командировки для раскопок, зимой обработка материалов. Это часть работ по всей России, распределенных между разными лицами, в целом — грандиозный план всероссийской археологии. Не думаю, чтобы я взялся за это. У меня и после экзамена другие, более близкие мне планы — в истории XVIII века.

А я чуть-чуть не попал, как думаешь, куда: в фельетонисты «Нового времени»! Право, не шучу. Суворин, по предложению одного их товарищей наших, о котором я писал тебе — Никольского, — с удовольствием согласился уступить еженедельный фельетон по средам четверым: Никольскому, Лапшину, Штрупу и мне, ничем нас не связывая, по нашей программе, в каком угодно направлении. Мысль сперва очень нам понравилась, я даже написал прокламацию редакционного характера для дебюта, которая квартету очень понравилась. Собирались взять живой и высокий тон, думали, что свежая струйка пройдет в наших статейках. Но... обсудив дело a parte,* Штруп, Лапшин и я решили, что мы втроем могли бы работать, будь четвертый другой. Но с Никольским у нас большие принципиальные разногласия. И отказались. Иначе нельзя было поступить, а жаль. Есть что написать, времени на это ушло бы мало, ну, да дело кончено, и слава Богу.

Вчера, в воскресенье, мы с Ефремовыми были у Манизер. Кажется, они и Ефремовым очень понравились. Ефр[емовы] были с детьми. Женя произвела сенсацию среди манизеровских мальчиков, но она открыто отдает предпочтение второму — Моте. Недаром она все повторяет и дома его имя. <...> Потешный народ эти детишки. Третий манизеренок Роба (Роберт) даже плакал. Остальные на это не имеют причин: они удивительно выдержаны, несмотря на большую нежность родителей. Вот что значит последовательность! <...>

Итак, мы скоро увидимся. Близок отъезд. А я все-таки думаю оставить шкаф с книгами у Мар[гариты] Григ[орьевны][120] и жить тут же. Пугает меня перспектива поселиться где-либо наудачу. Может быть, очень неудачно, особенно со столом, да и вообще. А тут ведь хорошо, да и М[аргариту] Гр[игорьевну] я, на изумление Шенгера, так выдержал, что она почти не попадается мне на глаза. Половину книг (которые на полках, а не в шкафу) и все остальные вещи отправлю на завод.

Шенгер сдал один устный и 3 письменных экзамена. В среду астрономия, которой он боится. Дай ему Бог! Вот и все наши новости. В большом свете толкуют про энергию Муравьева, который взялся многое искоренять в других ведомствах, 3 губернатора из-за него слетело, и закавказская история будто дело его рук, а первое расследование негласно делал Смиттен. Это что-то новое.

Д. 2. Л. 46—49 об.

Особь статья**

Перечел твое письмо, дорогая мамочка, и, право, не знаю, что тебе ответить. Сказать, что сблизило меня с Ю. П., и легко, и трудно. Всего никогда словами не передашь, потому что не то сближает, что хорошего находишь; ведь можно очень хорошего мнения быть о человеке и все-таки чужим его считать. Но ты, кажется мне, преувеличиваешь мое незнание людей. Хотя моя самонадеянность может быть преувеличена — право, мне случалось с двух встреч характеризовать людей так, что близко их знающие удивлялись, откуда я это знаю. Так однажды отчасти с Бестужевым было, да и немало примеров, — но все это вздор и отвлеченности, к делу не идущие. Ты хочешь знать, что у нас с Ю. П. «общего». Сама ты это «общее» ставишь в кавычки, потому что больно это неопределенная штука. Нужен ли интерес к моим занятиям, к моему делу? Не думаю. Я не выношу манеры выносить на свет недоношенные мысли; у меня нет товарищей, потому что я не люблю говорить о своих занятиях, а люблю и думать, и работать втихомолку. Мне кажется, я бы не вынес около себя кого-нибудь, кто постоянно следил бы за ходом моей мысли, сам работал бы и соглашался или не соглашался бы со мною. Особенно последнего я не люблю. Да и это все не то. А вот определенное значение Ю. П. для моих занятий. Быть может, потому, что я очень избалован успехом, легко, шутя дававшимся и дающимся, — я никогда не ценил его. Я работал и занимался, — чтобы время убить, забавляясь. К чему, зачем все это — эти вопросы для меня разрешались ответом: так себе, потому что приятно. А Ю. П. — это мое честолюбие. Я крайне небрежно, не скрывая этого от Платонова, относился к перспективе получить медаль, взялся за работу, потому что она казалась мне занятным времяпрепровождением, работал без напряжения и сделал вовсе не все, что мог и должен был (самый трудный вопрос я прямо обошел). И переменилось мое отношение — с тех пор, как я заметил, что Ю. П. будет очень приятно, если я получу медаль. Тут явилось волнение и сомнение: «А вдруг не дадут?». Это честолюбие — необходимая вещь для работы, думаю, ты поймешь это. Если мне откажут, у меня упадет энергия, опять буду говорить то, чем я раз Дину Матвеевну в раж привел: к чему мне стараться? Для себя? Стоит того! Для других? А мне до них что за дело? У меня побуждения к работе было 2: «маме приятно» и «Ю. П. приятно». Думаю, что это серьезно, а не заблуждение. Интерес Ю. П. к моему успеху только и заставит меня стараться и не удовлетворяться своими мыслями, тем, что порешишь дело для себя одного. Это — раз. Это, по-моему, ответ на то — что у нас общего: мой интерес к своим взглядам и мыслям сливается с интересом Ю. П. к их (а значит, и к моему) успеху в публике, в университете. [Еще в первый год нашего знакомства, узнав, что я пишу реферат, она так серьезно и твердо сказала: «Вы должны написать очень хорошо»].* Второе : «что сблизило нас». Ну как на это ответить? Сказать, что я в ней всего больше ценю? Я бы сказал, да ты не поверишь, найдешь, что это увлечение, преувеличение etc. Однако я не только свое мнение скажу. Если бы ты видела Ю. П. в среде штиглицевской школы, ты бы, верно, удивилась особенным к ней отношением. Не знаю, как определить его, если не словом обаяние. <...> И это тем страннее, что она — очень холодная. Если бы не m-me Саванели, я не бывал бы у них, потому что Ю. П. никогда никого к себе не звала. Из школьных никто, кроме Цейдлер, у нее не бывает. В сущности она держится в стороне и очень разборчива. Wo liegt der Hund begraben?** В совсем особенном отношении к людям. Ю. П. всегда подходит к человеку с мыслью, что он не только равен, но умнее и лучше ее. Отсюда редкое уменье обходиться с людьми так, что без всякой с ее стороны предупредительности все удивительно хорошо чувствуют себя в ее присутствии. Особенно видно это на Богом обиженных субъектах. <...> Конфузливые не конфузятся, забитые — вырастают. Оттого в школе так ценят ее именно те, кто из другого слоя, кто смотрит на нее снизу вверх. И равно для симпатичных и противников, все принимаются одинаково, потому что «нельзя людей обижать».

---

* Отдельно (*фр.*).

** Продолжение того же письма.

---

* Последняя фраза — примсч. А. Е. Преснякова. на полях

** Где собака зарыта? (*нем.*).

Эх, не то это выходит, риторика, не те выражения. Мамочка, ужасно трудно говорить об этом. Но вот тебе пара анекдотов для характеристики. Ю. П. не раз случалось вмешивать[ся] в чужие дела, когда это нужно. И она делает это на свой манер. Прежде всего — без всякого увлечения, но и без всякого принуждения. Удивительно просто. Она не понимает, что есть что-то особенное в том, что она, когда Голенищев-Кутузов хотел какого-то юнкера из Коджор на гауптвахту послать, — пошла к Шереметеву и просто рассказала ему, что так, мол, нельзя — и юнкера (незнакомого) оставили в покое. И это без порыва, как, например, вышло бы такое дело у нашей дорогой Мани; никто не назовет поступка Ю. П. — выходкой. Ни протеста, ни храбрости с ее стороны не было. Для нее это так же просто, как пойти в Петербурге на именины к столяру, жившему в одном с нею доме, и даже водки с ним выпить. И я так же легко представляю себе ее у Шереметева и у столяра. Сама не стесняется и не прилаживается ни к тому, ни к другому. И никто не стесняется с нею, так все просто и естественно. Все это пустяки, но как иначе охарактеризовать ту особенную жилку, которая так действует на всех, кто ее знает. Не знаю, поймешь ли ты что-нибудь из этих разглагольствований, почувствуешь ли ты ту нотку, которая в Ю. П. звучит и всех с нею сближает. Еще в Тифлисе мы с Шенгером удивлялись, как это она, совсем барышня, и даже выдержанная, и в то же время —«хороший товарищ», как мы говорили.

Ты найдешь, что это все не то, о чем ты спрашивала. Но как словами объяснить то, что людей сближает? Я старался сказать про Ю. П. то, что я сказал бы, если бы чужим ей был. Не знаю, понятно ли вышло и поверишь ли ты моим словам. Но в результате в Ю. П. мне человек, друг даже дороже невесты, девушки. Мне с ней всегда хорошо было. К ней я приходил, когда из-за чего-нибудь разнервничаешься или хандришь (со мной это бывало, Бог весть, отчего), и она никогда ничего не спросит, а так с двух слов все пройдет. И не я один — многие такое впечатление уносили. Удивительное уменье обращаться с людьми и понимать их чего-нибудь да стоит. <...> Как сложится наш foyer,* если суждено ему быть? О, прекрасно. Между нами не может быть тех мелочных недоразумений, как у Ефремовых; для нас «мелочи жизни» равно ничего не значат — даже для Ю. П. меньше, чем для меня. Сознаваясь уж во всем, — я одного боюсь: Ю. П. не умеет скрыть боли, с которой расстанется с живописью как серьезным специальным делом. «Дома для себя — это не то, совсем не то». Потом она моложе меня в смысле любви к оживлению, к развлечению. Я боюсь для нее скуки при жизни, в которой с трудом концы с концами сводишь. В ней много характеру и сознания долга (черта для меня малоприятная), и я никогда не замечу, если она недовольная, если скучает, но тем больше сомнений за нее... Мама, мама, как противно мне это письмо. Но пошлю, авось поймешь. Пошлю. Пиши все — я объясню.

Д. 2. Л. 50—55 об.

---

* Семейный очаг (*фр.*).

127

12 августа

Дорогая мамочка, пишу тебе в новой своей комнате. Я поселился в доме Мурузи (ныне генерала Рейена или Рейера[121]) у какой-то г-жи Ивановой. Комнаты я не искал, ее указала мне Ю.П., которая в поисках за квартирой обходила все здешние дома. Этой комнаты она не взяла, потому что для нее она велика и дорога. Теперь и Мар[гарита] Гр[игорьевна] повысила цену комнаты до 22 р. То же плачу я и здесь. Виной тому квартирный налог. Комната большая, почти совсем квадратная по 7 ½ шагов в каждой стороне. 2 окна, большой письменный стол на шкафчиках, паркетный пол и лишний шкаф с полками. Так как этот шкаф небольшой, то в него я уложил белье, а комод набил ненужными книгами. Ох, уж эти книги. Я просто подавлен ими. Заводить нового шкафа или этажерки большой мне пока не хочется, а книг такая масса, что Колины «Русская старина» и «Архив» так и стоят в ящике. Кажется, придется их так и оставить. Будь они мои, я бы их со злости продал, но теперь я боюсь, что Коля найдет, что я их продешевлю. Отчаяние мое при виде массы книг (когда их свезли сюда) было так велико, что даже хозяйка уговаривала меня бросить разборку и отдохнуть; тогда, мол, и место найдется. Я с горя пошел в баню, а теперь, вернувшись, вижу, что только для Колиных журналов решительно нет места, да не совсем удобно укладывается белье. Поживем — увидим и что-нибудь выдумаем. А Мар[гарита] Гр[игорьевна] подвела. Я ничего не писал ей вперед, а она навывешивала объявления о комнате и кое-кому отказала, кто хотел ее взять, между прочим, одному моему товарищу. Она заявила, что считала ее за мной etc., etc. Что было мне делать? Пришлось заплатить ей за месяц (т[ак] к[ак] она этому товарищу действительно еще до 20-го августа отказала). <...>

Вот и все, что пока имею сообщить. Завтра сбегаю в университет и еще куда-нибудь. Надо проявиться в Петербурге. В общем, Петербург такой же скучный и скверный, как всегда, несмотря на хорошую погоду. Прощай, дорогая мамочка, поцелуй папу и детишек. Пиши по адресу: Пантелеймонская, № 27, дом Мурузи, кв. № 44. Я живу во дворе, ворота с Пантелеймонской.

Д. 2. Л. 56—57 об.

128

15 сентября

Дорогая мамочка, теперь я окончательно устроился, побывал кое-где и хочу рассказать, что делал эти дни. Побывал в университете, видел там Платонова, Лаппо и еще кое-кого. В нынешней программе, по счастью, меньше интересного, чем предполагалось. Буду слушать курс Лаппо-Данилевского «Методы изучения источников и явлений русской истории», по пятницам, и, вероятно, по средам, Форстена «Историю немецких университетов». Васильевский читает византийскую историю последний год. Следовало бы и его посещать.

Он решительно уходит. Здоровье плохо и работать ему нельзя. Побывал я и у Платонова. Он теперь управляет курсами, за отставкой директора курсов Кулина. Новым директором называют Раева, сына митрополита Палладия, бывшего директора народных училищ в Курске. Назначение довольно курьезное. С Платоновым я виделся мало, т[ак] к[ак] был у него в среду со многими другими. От Лаппо-Данилевского слышал, что студенческое общество разрешили, но с такими оговорками, что, пожалуй, его бросить придется. Вообще, настроение в Петербурге тяжелое, взволнованное, много разговоров вполголоса. Государь серьезно болен, у него тяжелая болезнь почек и сильное нервное расстройство. Говорят, в Смоленске найден был подкоп под церковь. Страх так велик, что он от фейерверка бледнеет, особенно после того, как ракетой были испуганы лошади Ксении и экипаж опрокинулся. Теперь делами ведает Владимир. Скульптор Велионский из Рима, с которым я познакомился у Манизера, рассказывает отчаянные вещи про заграничные дела. В Италии сильное недовольство, тяжесть налогов сильная, всюду брожение; в Сицилии беспорядки, поддержанные французскими деньгами; Panamino,* дело итальянского банка замято, потому что $^3/_4$ министров замешаны. Развращение правительственных сфер не меньше нашего. Один мой товарищ, попавший в Париж на похороны Карно, советует не верить газетам. Впечатление от смерти Карно далеко не было таким общим и сильным. Перье окружен жандармами так, что его коляски и не видно. Его сильно бранят как несимпатичного человека. Меры против анархистов соединяются с отказом выдать одного из известнейших итальянских анархистов, скрывшегося во Францию. Сильная тяга к реакции, поход против гласности. Правительство осуждают за оглашение Панамского дела. Люди вполне смирные и благонамеренные находят, что противники анархистов не лучше их самих. Все делается мелко, плохо, в мутной воде рыбу ловят обе стороны. Любопытный исторический момент, но очень тяжелый для тех, кто его переживает. Вот тебе заграничные новости. А у нас, т. е. в моем маленьком мирке, нового ничего. На Шипке все спокойно... <...>

Д. 2. Л. 58—59 об.

129

19 сентября

<...> На другой день после того, как я отправил тебе письмо, собрались мы у Лаппо-Данилевского толковать о новом студенческом обществе. Л[аппо]-Д[анилевский] старается поставить дело серьезно, пропагандирует рефераты общего характера по теоретическим и общим вопросам, предлагает следить за литературой научной, интересоваться историей наук и методологией. На нашей обязанности лежит поддержать его и устроить, буде возможно, подкружки, которые соглашались бы между собою о рефератах в известной связи друг с другом и определенном направлении. Не знаю, исполнимая ли это задача. В субботу у Форстена толковали о том же, но пока, конечно, не

---

* Т. е. маленькая Панама (*итал.*).

видно, как удастся исполнить дело. Говорят, что Кареев устраивает от себя приватные студенческие чтения. Не в подрыв ли это нам? Конечно, это было бы смешно и ему не по плечу. Но если он обижен, я считаю нужным соблюсти вежливость и помирить его с нами. Поговорю с Лаппо и постараюсь это устроить.

Из неуниверситетских дел нового мало. У Ефремовых все благополучно. Вениамин был здесь в четверг и завтра опять приедет. Группы мы вставили в рамки, и моя теперь висит на стене и выглядит недурно. Как-то на улице я встретил Наташу. Она говорит, что играет по-прежнему и боли в руке не чувствует. У Ипп[олита] Петр[овича] теперь берет уроки Славина, потому что находит, что потеряла постановку голоса, и разучивает с ним новые партии. Это ему, конечно, очень лестно. Мне предстоит написать реферат для нового общества о новой книге «De l`histoire, considerée comme science», очень интересной. Пока все ужасаюсь перед количеством предстоящей работы. <...>

Тут меня все спрашивают, правда ли, что папу переводят на Кавказ? А что, никаких новых разговоров на эту тему не было? <...>

Д. 2. Л. 61—62 об.

130

22 сентября

Вчера, дорогая мамочка, я получил сразу два письма твоих. <...>

Ты удивляешься, что запрещены Короленко и «Смерть Ив[ана] Ильича»! Запрещен целый ряд книг, список которых составлен так нелепо, что было бы смешно, когда бы не было так гнусно. Тут, например, фигурируют «Книга о книгах», История Англии Грина и т. п. безобиднейшие специальные сочинения.[122] Дело уже не в реакции, а в глупости. Умная реакция не так вредна, как бессмысленные компрометирующие «мероприятия». Тут Валь чудит и самодурничает. Просто скандал.

Что я эти дни делал? Написал прокламацию к студентам по поводу нового общества, которую прочли в аудитории, где на лекции русской литературы много народу. Студенты аплодировали. Дай Бог, чтобы взялись за это дело. Третьего дня приехал Лапшин, актер-философ! Сбрил усы и бороду для сцены, выглядит совсем актером. Он летом ездит в деревню в Новгородскую губ[ернию] и там каждое лето ставит оперы. В прошлом году поставили Фауста; он пел Мефистофеля.[123] Теперь шла «Русалка», где он пел Мельника. Оперы ставят целиком с хорами, декорациями, под рояль. Теперь разучивают «Майскую ночь». Молодцы.

Мы с ним третьего дня были у Ламанского, т. е. у его пасынка Штрупа. Лапшин пел, Штруп играл. Они и в Петербурге затевают любительскую оперу. Но на будущий год Лапшина, верно, командируют за границу. Счастливец! Вот бы вместе! Да меня едва ли пошлют.

Вчера был у меня Вениамин. У них все ладно. Говорил я с ним о Борисе. Катя начинает с ним заниматься систематически по программе для поступления в первый класс корпуса. Вениамин согласился со мной, что Катин проект держать его подольше дома совсем неоснователен. Интересно, как поведут они детей дальше. Пока я сильно недоволен ими. Вчера, несмотря на среду, я не попал к Платонову, потому что у Манизер были именины детей. Что за прелесть эти детишки! Да и сами родители тоже. У них всегда очень хорошо и уютно. Собираются съездить на завод, может быть, в понедельник. <...> У Либермана я был в типографии вчера, свел счеты до февраля, а все-таки у меня теперь всего 55 р., из которых часть придется прожить. На сюртук не хватает рублей 10—15. Я сегодня зайду к портному, указанному мне Як[овом] Ил[ьичом], и тогда напишу точнее.

Новой квартирой я, в общем, доволен. Кормят не хуже, чем у М[аргариты] Г[ригорьевны], чисто, тихо. Даже наряднее, благодаря паркету и хорошему письменному столу. Мой француз, о котором я реферат пишу, очень мне нравится и очень полезен.[124] <...>

Д. 2. Л. 63—65 об.

131

22 сентября

Пишу так скоро потому, что надо сообщить, что сюртук я заказал у хорошего портного Розовского, на Михайловской, указанного мне Либерманом, но стоить он будет 65 р., а так как я, по совету Платонова, купил издание разрядных книг по случаю за 10 р., то 25 р. на расплату с портным мне не хватает. Если можно, вышли. Сюртук будет готов к 29-му, т. е. через неделю. У Платонова я только что был. Он очень утомлен возней с курсами, но, по крайней мере, добился принятия 40 слушательниц сверх положенного числа. Со мной он очень мил, хочет ввести меня членом-сотрудником в Археологическое общество, для чего я должен прочесть там реферат (верно, опять о летописях), а также ввести в «Журнал Министерства нар[одного] просв[ещения]», для чего я должен написать рецензию на вновь вышедший том «Описания документов и бумаг Московского архива Министерства юстиции».[125] Все это довольно приятно, хотя заставит отнять время от подготовления к экзамену. Я жаловался Платонову на себя, что не могу оторваться от чтения кое-чего по философии, но он мне таковое чтение разрешил, «только в меру». Платонова и Лаппо-Данилевского назначили членами Археографической комиссии, так что Платонов, вероятно, в будущем возьмется за издание летописей.[126] <...>

Д. 2. Л. 66—66 об.

132

30 сентября

Спасибо за письмо и за деньги, дорогая мамочка. Ты спрашиваешь, что за счеты с Либерманом? Разве ты не знаешь, что Яков Ильич платит папе 200 р. в год и что эти деньги обыкновенно попадают ко мне? В этом году я их растратил сверх сметы, забрав большую часть еще той зимой, а остальное получил теперь. Через Адю я в счет этих денег брал книги у Глазунова. <...>

Ну, пока что я про себя расскажу. Сегодня получил письмо от Платонова. Сообщает, что Афанасий Бычков (председатель Археограф[ической] комиссии, которой поручено издание летописей, и председатель Археологического общества) пожелал слушать мой реферат и просил отложить заседание до 6-го, т. е. до четверга (сперва оно предполагалось во вторник). Это имеет свой «политический» смысл, т[ак] к[ак] без Платонова, а может быть, и меня при издании летописей не обойдутся. Я рад этой отсрочке, потому что не думал еще писать реферата.

Итак, в этом году я открою заседания Арх[еологического] общ[ества] в новом помещении. Excusez du jeu! А на днях я был у Кареева. Я отправился, чтобы исправить сделанную неловкость. Весной, когда все профессора снимались для группы, я и у него попросил карточку, а потом до отъезда не собрался к нему. Теперь я эту карточку получил, чем, по-видимому, и заслужил любезный прием и приглашение на его «вторники». Как-нибудь пойду, надо посмотреть, что за народ там бывает. Кареев выигрывает вблизи. Он проще дома, и прямо видно, что это добродушный, упитанный, очень недалекий буржуа, которого неподходящее для него положение «ученого» делает мелочным, самолюбивым и бестактным в университетских отношениях. <...> На наше новое общество он фыркает и, видимо, обижен, что его обошли. Но что делать, он был бы там прямо вреден своей претензией всюду играть первую роль, которая ему не по чину.

Пока новостей в ученом мире больше нет. Про нового директора курсов ничего не слышно. В должность он не вступал. Любопытно, что это человек без высшего образования, и потому при всем желании его выдвинуть его не могли сделать директором гимназии и потому (?!) назначают директором высших курсов. Смешно, но верно.

Меня уговаривают искать места в учебном отделе Министерства финансов, где будут служить два моих товарища — Штруп и Полонский. Это с февраля. Напиши поскорее твое мнение. Новосельского пока еще нет, а то и он тут пригодится. Если не считать моих личных планов безнадежными — а я не знаю, как смотреть на это, — то начать службу теперь же имело бы смысл ради будущей (?) семьи. Ты спрашиваешь про Ю. П. Я не писал про нее, потому что трудно сказать что-нибудь определенное. <...> Тревога за мать — idee fixe* Ю. П[етров]ны, и больше ни о чем думать у нее сил нету. Семья Кимонт вернулась в Тифлис еще на год. Потом, кажется, решен выход П[етра] Вик[ентьевича] в отставку. Видимся мы довольно часто, но мимолетно. <...>

За это время я раза два был у Манизер. Это, безусловно, самые милые из знакомых, и там мне хорошо, как у родных. Побывал и в театре на первом представлении «Майской ночи» Римского-Корсакова с целой компанией товарищей-кучкистов. Шла опера ни шатко, ни валко, в общем, скорее слабо, как не пристало императорской сцене. Зато свежая, изящная музыка «Майской ночи» доставила мне большое удовольствие.

С занятиями идет по-прежнему, медленно. Я забираюсь в глубь дела, что очень хорошо, если я действительно окажусь достаточно сильным, чтобы не идти по шаблонной дорожке, и, наоборот, может сильно подвести меня, если не сведу концов с концами. Мне приятно, что мои «уклонения от прямого дела» заслужили искреннее одобрение Платонова.

---

* Навязчивая идея (*фр.*).

Получив деньги, я пошел к портному. Но платье не готово. Он шьет очень внимательно и, кажется, хорошо, т. е. нарядно. Увы, я становлюсь фатом и требователен с портными. Но Ю. П. стала в нынешнем году так элегантна, что я не хочу отставать. Грустные мелочи на фоне их семейного горя, которое так странно висит над нами. Ну, не огорчайся, мамочка, не все еще потеряно для твоего Сани. <...>

Д. 2. Л. 68—71 об.

133

6 октября

Дорогая мамочка, вчера я читал реферат о рукописи д[окто]ра Лебедева в Археологическом обществе.[127] По-моему, весьма плохо, слишком быстро, слишком громко и развязно, как это всегда бывает, когда я несколько смущен. Но другие говорят, что ничего. Главное, мое сообщение заинтересовало, вступили в разговор Бычков и преподаватель литературы на женских курсах Шляпкин, потому что у меня были довольно крупные новинки.

Время у нас сумасшедшее. Опять собрания по случаю нового общества, опять беготня и бестолковщина, опять потеря времени. Все это выбивает из колеи, а сторониться неудобно.

В среду я еще и смалодушничал и принял участие в составлении карточного каталога для библиотеки Форстена. Провозились — 3 барышни, один мой товарищ и я — с 11 утра до 9 вечера и все-таки не кончили. Вчера они без меня заканчивали. Библиотека большая и интересная, а все-таки — целый день! Оттуда мы всей компанией отправились к Платонову. Тут меня ждали, т[ак] к[ак] был Леонид Майков (вице-президент Академии) и хотел меня видеть. Он много говорил со мной, уговаривая писать большую работу о летописях, т[ак] к[ак] это область запущенная и такая оригинальность направления работы не может меня не выдвинуть. Традиции Буслаева и К° теперь ушли на задний план, но в них много заслуживающего развития и примирения с новым «социологическим» направлением в истории. С этим я согласился, но нахожу, что для того, чтобы изучить летописные своды как крупный культурный и литературный факт, надо массу работы затратить, приобрести много разносторонних сведений, иметь много времени и немало даровитости. Летописные своды — это целая энциклопедия московской письменности, в которой отразились всякие тенденции московских книжников — политические, религиозные и художественные. Где уж обнять все это одному человеку? Надо знать и массу летописных рукописей, и степенные книги, и хронографы, и жития, и отдельные сказания, и послания, и памфлеты, да еще историю старой живописи par dessus le marché.* Все это в рукописях, не изучено, не разобрано, не описано. Черную работу собирания материала придется сделать самому, и самому же его обобщать и сводить в содержательную картину умственной жизни московской «интеллигенции». Не значит ли это объять необъятное? С этим Майков согласился, но уверял, что все это возможно, хотя дела тут на много лет, и что я... etc. Порешили на том, что нечего разговаривать до окончания магистерского экзамена. <...>

---

* Впридачу (*фр.*).

Получил я еще письмо от Шенгера. У него 27 уроков в 2-х женских гимназиях и корпусе, получает 1800 р.; теперь втянулся в дело и, кажется, доволен. Оно и хорошо, что человек стал на ноги. Сегодня опять собрание у Форстена; то то, то другое все мешает мне заниматься. Я не то чтобы совсем не занимаюсь, а урывками, никак не втянусь, все врывается что-нибудь внешнее, и на качестве занятий это сказывается. Меня это тяготит. Как раз теперь у меня мирное настроение, хоть на ночь бы прийти в свой угол, но от общих дел уклоняться неприлично. Так-то, маменька. Поцелуй папу и детей.

Твой Саня.

Д. 2. Л. 72—74 об.

134

8 октября

Дорогая мамочка, только я вчера отправил тебе письмо, как получил твое и хочу на него ответить, потому что, видно, я встревожил тебя, у которой и без того столько тревог, бедная ты моя. Вся беда от моей манеры писать. Я пишу очень часто, а это значит, что пишу под минутными впечатлениями, сейчас переношу свежие впечатления на бумагу, не взвесив и не обдумав их. Это нехорошо, потому что то и дело мои письма волнуют тебя, хотя на деле причины и не так уважительны. Вот хоть бы это поступление на службу. Я уже бросил эту мысль, а она тебя все еще беспокоит. Мне пришло в голову, что, т[ак] к[ак] вопрос о моем будущем стоит неопределенно, то в случае* нехорошо будет, если благоприятное решение родителей Ю. П. застанет меня врасплох. А «определенное положение» могло бы быть лишним шансом. А так как представлялось что-то вроде случая устроиться, то я и спросил твоего мнения. Платонов человек осторожный, и то советует не связываться до экзамена, а то сам пытается устроить меня преподавателем в гимназию, как, оказывается, было этой осенью. Только мой поздний приезд помешал. Как видишь, я не колеблюсь в своих личных соображениях, а ищу опоры в мнении других, т[ак] к[ак] речь идет о возможных в будущем обязательствах. Спасибо, что ты сообщила мне свое и папино мнение; только жаль, что тебя мой вопрос огорчил. Я сам еще до письма твоего пришел к такому же выводу. <...>

Еще один вопрос твой: считаю ли я свои планы безнадежными, жалею ли о них? Как тебе сказать? На второй вопрос легко ответить. Ю. П. для меня искренний, близкий друг, полная откровенность и постоянный обмен всеми крупными и мелкими впечатлениями с которым стал для меня необходимостью. Три года жизни душа в душу бесследно не проходят. Безнадежны ли мои планы? Не знаю, не верится как-то, слишком большая была бы потеря. Но что с концом этого года предстоит новая проволочка, что снова оттянут дело и что при нынешнем тяжелом настроении семьи я не посоветую Ю. П. бороться и отказать по своему coute que coute,* — это почти несомненно. Она не вынесет разрыва с семьей, она слишком хороша для этого. Подождем, что делать, а ты, мамочка, обращай меньше внимания на отдельные мои письма и бери их en bloc,** и, может быть, вы с папой найдете тогда, что я не так непоследователен, как кажется. <...>

---

* В рукописи одно слово пропущено.

Д. 2. Л. 77—78 об.

135

14 октября

Дорогая мамочка, все ли мои письма дошли? 30-го я отправил тебе письмо, 7-го и 8-го еще два. По-видимому, первое не дошло? Это жаль, потому что я не сумел все вспомнить, что писал. У меня хорошая память на факты прошедших веков, но не прошлых дней. Да это и не важно. <...>

Что мне сказать тебе о твоих мечтах насчет моей ученой будущности? Сегодня я видел в университете Платонова и, между прочим, в двух-трех словах объяснил ему свое положение в университете; он прекрасно резюмировал его: «Значит, нужно иметь две жизни». Это верно. Если бы твои мечты о моих ученых успехах исполнились, то это наполнило бы только меньшую половину моей внутренней жизни. А для таких успехов нужно все время, все силы сосредоточить на ученой работе. Нужно, чтобы почти все время было свободно, нужны и средства. Такова чисто материальная сторона. Она легко достижима. Стоит только проникнуться мыслью, что в этом все мое призвание, вести одинокую студенческую жизнь до конца, стать «архивной крысой» и найти в этом полное удовлетворение. Тогда остальное приложится, и на одного хватит.

Но может ли твое материнское сердце, не говорю требовать, а даже желать этого? Быть может, обстоятельства так сложатся, что я обречен буду на ученое схимничество. Может быть, моя ученая карьера от этого и выиграет. И то едва ли. Ведь для плодотворной деятельности, научной и преподавательской, нужно светлое настроение, бодрость духа, увлечение. Я переживал такие минуты, им я обязан своим успехом в университете, потому что хорошее настроение давало силу. А если придется делить время между наукой и более крупным заработком, то о скором ходе диссертации нечего и думать. Проигрыш это будет или выигрыш? Я не скоро буду «доктором», как ты мечтаешь, но зато я буду счастлив. Разве это не лучше? Впрочем, все это в руке Божьей, и вперед загадывать трудно. Но я, безусловно, сделал ошибку, поставив занятия на первый план. Мне следовало сразу начать службу Богу и маммоне, и будь у меня теперь хоть кое-какое материально-самостоятельное положение, мои шансы были бы не так плохи. Если этим летом опять всплывет вопрос о женитьбе, что скажу я на вопрос: чем вы располагаете? А ведь отказа не было. Сказали подождать до окончания курса. Могу ли я в мечтах об ученой деятельности забыть об этом? Я сделал это и каюсь. Может быть, я сам себе дело испортил. Не волнуйся, мамочка, этими соображениями. Я пишу спокойно, и меня они не волнуют, так я привык к ним.

---

* Во что бы то ни стало (*фр.*).

** В совокупности (*фр.*).

Наука, как молох, пожрет мою личную жизнь и, может быть, от этого выиграет. Желаешь ли ты этого, и должен ли я этого желать? Может быть, у меня хватило бы сил на такую ампутацию, но кому она принесет пользу? Надо стать на философскую точку зрения и порешить: будь, что будет. Увидим, как сложатся обстоятельства сами собой, а пока я стараюсь усерднее готовиться к экзамену.

Впрочем, для этого у меня только дни. По вечерам я часто не бываю дома. Платонов и Форстен, кое-кто из товарищей требуют постоянного общения. Это и хорошо, только все-таки отнимает время.

А то я еще покутил последнее время. Недавно были на «Ромео и Джульетте» Гуно: Манизер, Форстен, Ю. П. и я. Это второй раз, что я в театре, и поражаюсь, до чего слаба императорская опера! Бесцветное, бездарное, безголосое исполнение.

Сегодня идем на «Паяцев». Посмотрим, не будет ли лучше. Об нашем студенческом обществе пока ничего не слыхать. Но скоро должны начаться собрания. О той книге, которую я собирался разбирать, читает в «Историческом обществе» Кареев, а Лаппо-Данилевский говорил о ней на лекциях, так что не знаю, читать ли? Верно, заставят? По совету Лаппо-Данилевского, я написал Лебедеву письмо с просьбой разрешить мне напечатать описание его рукописи и мое определение ее (т. е. мой реферат в Арх[еологическом] общ[естве]). Не знаю, что он ответит.

В Петербурге делается что-то странное. Аресты, волнения. В Москве еще хуже. Там прямо какое-то брожение. Что сей сон обозначает? Буря ли это в стакане воды или преддверие каких-нибудь событий?

Интересно, отзовется ли как-нибудь железнодорожная реформа на папином положении? <...>

Д. 2. Л. 79—82 об.

136

20 октября

Дорогая мамочка, ты жалуешься, что я мало пишу, а я, право, писал часто и не знаю, дошли ли все мои письма. От тебя я с неделю ничего не получал. Эта неделя такая была смирная, что трудно написать что-либо. Вчера я был у Платонова. Был там Васильевский; бедный старик совсем сражен смертью своего зятя. К грустному впечатлению от Васильевского добавил еще Платонов. С ним случился острый припадок головной боли. Такие нервные боли вещь очень скверная. И все-то кругом развинченные, расклеенные; да не стоит перебирать их поодиночке. Мои дела идут ни хорошо, ни худо. Занимаюсь, читаю, а все впереди много-много дела. Вчера снес Платонову одну маленькую рецензию; не знаю, пригодится ли она в журнал министерства. Собирался я еще переделать в статью свой реферат о лебедевской летописи, но, не считая себя вправе печатать ее без ведома Лебедева, написал ему. Вчера получил ответ. Он хочет прежде снестись с редакцией журнала «Чтения Московского общ[ества] ист[ории] и древностей», где его летопись будет напечатана в I-й книге за 1895 г. Если так, то я, пожалуй, и не стану печатать статьи до выхода в свет этой книги, а потом напишу рецензию. Так будет удобнее.

Как я писал тебе в последнем письме, были мы на «Паяцах» (Манизер, бывшая Лида Либерман с супругом, Ю. П. и я). На этот раз спектакль был лучше. Фигнер очень хорош, Медея недурна, но Тартаков и Яковлев никуда не годны. А после «Паяцев» шел балетный фарс в целых 4 акта, глупо, но смешно. Теперь театр, верно, скоро закроется. Государю все хуже. Интересно, как отзовется его кончина на российских порядках? А что нового про железнодорожные реформы? Или пока еще ничего? <...>

Пиши, дорогая мамочка, и не сердись, если мои письма иногда через неделю являются. Бывают дни такие однообразные (это лучше, когда я занимаюсь), что писать нечего, хотя я и понимаю, что тебе можно и без новостей письма писать, а все-таки... <...>

Д. 2. Л. 83—84 об.

137

23 октября

<...> У нас тут тоже чуялась какая-то таинственность при кончине Государя. Разослали присяжные листки, потом пытались отобрать их назад и заменить другими, но опоздали; в чем была разница — никто не знает.[128] По городу разъезжало что-то вроде патрулей. По поводу нового царствования ходят больше хорошие слухи. Говорят, будто смена Дурново (а другие прибавляют и Кривошеина) решена, что звезда Победоносцева закатилась. Говорят, будто в гору пойдет Плеве (товарищ Дурново), человек, которого хорошо знает и очень хвалит Ф. Ф. Крахт, и Капустин, ныне попечитель нашего округа и как попечитель хорошо себя зарекомендовавший. А может быть, все это пустые слухи. Главная лично моя новость — мой вчерашний визит к Лихачеву. Ты, может быть, помнишь эту фамилию. Это историк, получивший в Казани степень доктора русской истории за книгу «Бумага и бумажные мельницы в древней России», чем скандализирован был ученый мирок.[129] Ссоры в Казани, глубокая вражда с нашими университетскими связаны с его именем. Он ни при чем, без положения, как уверяет, «благодаря Платонову и его приятелям». Я нахожу, что Платонов не совсем справедлив к нему, но все-таки он звал Лихачева к себе, а тот оборвал отношения. Этот Лихачев — человек с огромными, единственными сведениями в архивном материале и источниках, но без общих взглядов и без широкого образования. Во всяком случае, человек очень полезный. Я познакомился с ним у Шеффер, и отчасти я натолкнул его на занятия иллюстрированными летописями. С этой задачей он справился блестяще. Вопрос поставил очень точно и неопровержимо доказал несостоятельность моей работы и совре-

менность моих летописей Ивану Грозному. Это, кроме шуток, очень приятно, так как исходный пункт изучения летописей становится несомненным, и интерес их значительно возвышается тем, что они так стары. Видишь, что Лихачев мне нужен и интересен. А так как разрыв между ним и Платоновым непримирим и оскорбителен для обоих, то поддерживать и те и другие отношения труднее, чем изворачиваться между Платоновым и Лаппо-Данилевским. Попробую и тут удержать свою самостоятельность.

Писал я Лебедеву, как ты знаешь, и ответ его я передавал тебе. Как-никак, а придется приготовить статью к выходу издания лебедевской летописи (в начале 1895 г.). Мне невыгодно вполне сходить с летописной сцены; итак, я главные находки свои передам в руки Лихачева и редакции московских «Чтений». Надо устроить, чтобы последнее слово по этому вопросу было все-таки моим. Лихачев подарил мне свою книгу о царской библиотеке XVI века, которую теперь ищут под Кремлем.[130] Он доказывает, что большой библиотеки никогда не было, а если и были кое-какие книги, то сгорели. Доказывает он остроумно, но решат вопрос только раскопки. <...>

Д. 2. Л. 85—88 об.

138

29 октября

Что нового, дорогая мамочка? Оправдались ли слухи о железнодорожной реформе? Что напишешь ты о своем и папином здоровье? Я изо дня в день поджидаю письма... Сегодня мы будем на заводе, может быть, Катя сообщит твое письмо. Катя была здесь третьего дня, а Вениамин вчера. Нового у них ничего нет особенного. Да и у меня тоже. Петербург притих в трауре, ждут приезда государей — старого в гробу, нового живого. В Москве собирают деньги на памятник Александру III-му. Многие его искренне жалеют. Ну, памятник, так памятник. Только бы не заказывали, как принято, поставщику шаблонных памятников Микешину. У нас не умеют управлять художественными делами, как, впрочем, и никакими другими не умеют. Вот хоть бы новая Академия художеств. Я было думал, что из реформы толк будет. Пока, конечно, трудно судить, посмотрим, что даст будущее. Но кое-что уже явно глупо. Историю искусств, несчастный предмет, который у нас затерт, забит до безобразия, вместо старого преподавателя, недурного, Сомова, поручили 2-м университетским — Жебелеву (стыд и срам!) и Щукареву (не без знаний, и даже солидных, но сушь бездарная). Эти мелочи тебе не интересны, но меня злят. И художниками недовольны. Передвижники, заполнившие Академию, на которую сами плевали, переехали на казенные квартиры, ссорятся между собой, составили невозможное расписание занятий, а в общем классе преподают все зараз, один одно говорит ученику, другой противоположное, так что ученикам остается делать по-своему, никого не слушая. Это лучше всего, но учителя все-таки мешают. Толковее всех пока, по-видимому, Репин, и понятно. У него и в мастерской много народу, а у иных по 1 человеку. Трудно дается новая организация дела.

На женских курсах новый директор произвел очень неприятное впечатление. Говорят, держится свысока и груб даже с профессорами. Это ничего хорошего не предвещает.

В университете наше новое общество никак не начнет своих собраний. Дай Бог, через неделю с духом собраться. Мне не хотелось бы первому читать, я просил Лаппо-Данилевского подыскать докладчика на первое заседание, а то придется мне начинать. Кареев в среду читает доклад о моем Лакомбе. Пойду послушать. Верно, разойдемся в мнениях. Нас будут сравнивать, но Кареев хорошо сказал, «что мы друг другу не помешаем».

Вчера мы с Лапшиным были у Полонских и решили больше не ходить — скучно. Да и вообще нам почему-то [многие] из старых знакомых кажутся скучными. Странное настроение.

Про себя нечего писать. Здоров. Занимаюсь умеренно, но с интересом. Стараюсь ничего постороннего не читать, а читаю. Старая песня, словом! <...>

Д. 2. Л. 89—90 об.

139

31 октября

Дорогая мамочка, какие ты грустные вещи пишешь про папу. Как его подвело. Видно, Соколовский хоть услужливый полячок, а бестолковый. И про Тифлис известие не самое блестящее. Жутко ехать на старое место, где когда-то хорошо жилось, а теперь обстоятельства совсем другие. Ну, да если решено, то ничего не поделаешь. <...>

Очень рад, что детишки, по-видимому, пока хорошо чувствуют себя на новом пепелище. Давай Бог, чтобы это уладилось, и Миша[131] успокоился. Любопытно, продолжает ли он дуться на меня, как было начал, за мое неудачное посредничество. У нас сегодня такая тьма кромешная, что я только в 11 часов лампу потушил. Туман и оттепель. Теперь Петербург ждет похорон Государя. Его многие жалеют, а от нового ждут поворота к лучшему. Ведь Александр III был хорош как частный человек, но как правитель никуда не годился. Теперь сулят замену прежних людей — лучшими. Между прочим, на место Ванновского прочат Бобрикова (начальника штаба гвардии) и очень его хвалят. Заговорили опять об Ададурове на место Кривошеина. Все это скорее догадки, чем слухи.

Присяга? С присягой у меня вышло очень глупо, благодаря Лапшину. Надо было просто расписаться на присяжном листе в канцелярии, а противный философ потащил меня в церковь, и мы там, человек 6, торжественно присягали, подняв персты. Даже поп посмеялся нашему появлению, и у себя дома рассказывал, что я присягал у него. Перелегальничали, и это нехорошо во многих отношениях. Впрочем, это пустяки, и тебе мои рассуждения покажутся странными. <...>

В университете все по-старому. Решено, что около 15-го начнутся собрания нашего общества, и, увы!, решено, что первым читаю я. Так параллелизм с Кареевым полный. Он первый читал, и я первый, и оба о том же. Точно нарочно.

В свободные от занятий минуты как-то невольно думается о летописях. Тема сочная, благодарная. Частности вырисовываются все отчетливее. Неужели я не утерплю, чтобы не взяться за это дело? Тема легко разбивается на части. Можно, взяв для первой диссертации тему более легкую и определенную, не бросать и той, а исподволь подготовлять ее рядом небольших очерков (форма, вообще симпатичная для меня) для докторской диссертации. Это лучше, чем прямо писать большую работу, хотя бы с расчетом на успех. Все это так, фантазии от безделья, которые делом станут после экзамена.

Платонов очень переутомлен, выглядит скверно, нервничает, раздражается, и сам недоволен тем, что «у него характер испортился». Неприятное состояние, а отдыхать некогда. Форстен тоже что-то не в духе. Но последняя суббота была очень хороша. Много было у него музыки, и хорошей. Играла и пела сестра его жены, совсем солидная, законченная артистка, окончившая с премией Парижскую консерваторию (и в то же время опереточная певица, из любви к делу!); пел сам Форстен, пел Лапшин, и еще человека четыре поплоше. Странно, что при моей любви к художествам я ничего не могу сам воспроизвесть. Форстен все уговаривает учиться петь — как бы не так. <...>

Д. 2. Л. 91—93 об.

140

4 ноября

<...> Итак, папа на Кавказ не назначается. <...>

Если его положение в Харькове улучшится и упрочится, то тем и лучше. Но комбинации, судя по твоему письму, выходят более сложные и менее определенные. Подождем, что Бог даст.

Привезли Государя во вторник. День был сырой, на улицах грязь. В субботу будут похороны. Тянут по ритуалу долго, хотя труп сильно разлагается. Разные слухи о новых назначениях все растут. Ждут нового курса, новых, как будто, людей. Но все это, по-видимому, преувеличено. В общем тихо, серенькое настроение.

Любопытно оживлены в музыкальном круге. Благодаря Штрупу затеяли в Малом театре любительскую оперу под руководством Римского-Корсакова, под управлением директора Давыдова. Набрали большой хор, оркестр в 60 чел[овек], солистов больше, чем надо, и разучивают к февралю, когда разрешат спектакли, «Псковитянку» Римского-Корсакова.[132] Молодцы! Удивляюсь энергии и деятельности Штрупа. Про себя мне нечего сообщить. Настрочил реферат для нашего общества. Читаю и читаю. Внешних впечатлений немного. Старые знакомые поприглядели́сь, новых избегаю. Да, заходил в «Новое время» узнать о судьбе своей «Царств[енной] книги». Представь себе, разошлось 30 экз. — это больше, чем я думал. Только что ушел от меня Вениамин. Он сегодня в городе по делам, а теперь поехал в школу Штиглица за Ю. П. <...>

Вениамин просит папу указать год и номер журнала «Инженер», где помещена статья Печковского об испытании каменного угля. Ему нужно это для их заводского механика. Со спиртом он обделал дела в Петербурге и никуда не поедет; это, конечно, большая экономия.

У нас сырая и гнилая погода. Это на всех действует, и петербуржцы вообще не в духе. Траурный вид города, траурные флаги, траур на домах, вывесках и людях еще усиливают скучный вид города. Хоть бы установилась настоящая зима. Давно бы пора. А то все грязь и слякоть.

Д. 2. Л. 95—96 об.

141

11 ноября

Дорогая мамочка! Как дела у вас, что нового? Верно, впрочем, ничего еще не определилось. А я могу кое-что рассказать. Во-первых, в декабрьской книге «Журн[ала] Мин[истерства] нар[одного] просв[ещения]» будет моя маленькая рецензия. Пустяк, а все-таки это прецедент, открывающий доступ в журнал. В январе я, может быть, опять буду там фигурировать и более серьезно. Дело в том, что в среду Кареев прочел свой реферат о Лакомбе в «Историч[еском] обществе». Курьезное было собрание. Народу набралось пропасть, сотен пять, так что пришлось переселиться в актовый зал. Такое стечение объясняется тем, что Вас[илий] Семевский читал о покойном Ядринцеве, и вся «красная» молодежь сбежалась [а больше тем, что театры закрыты, что и сам Кареев признает].* После Семевского читал Кареев, очень хорошо по форме и совсем плохо по содержанию. Он подогнул Лакомба под свои взгляды так, что и узнать бедного француза было нелегко. Этот реферат закончился осуждением поклонников Маркса, так наз[ываемых] «экономических материалистов», что вызвало шиканье «красных». Реферат свой Кареев печатает в «Историческом обозрении», издаваемом при обществе.[133] Форстен, я и еще кое-кто после заседания поехали к Платонову. Тут единодушно бранили кареевский реферат, и приват-доцент Чечулин затеял печатать и мой реферат. Обратился он за этим к Платонову, нельзя ли, мол, напечатать мой реферат в «Журнале Министерства» в виде рецензии на книгу Лакомба. Платонов обещал попросить Васильевского и за согласие ручается. Я доволен этим, потому что это отчасти мое credo, но жаль, что выходит оно вроде вызова Карееву и еще кое-кому. Ну, да этого не избежать. Я писал серьезно и искренно, значит, прав.[134]

Читать свой реферат я буду только 22-го. Собрание назначено было на 15-е, но так как 14-го свадьба,[135] то 15-е неприсутственный день и университет будет закрыт. После свадьбы царь с молодой царицей будут в Абастумане.

С Платоновым мы вчера ездили в Археологическое общество и по дороге решили, что я в конце апреля держу экзамен. Давай Бог свести к тому времени концы с концами. <...>

Д. 2. Л. 99—101 об.

---

* Последняя фраза — приписка А. Е. Преснякова на полях.

142

15 ноября

Дорогая мамочка, вчера мы опять были на заводе. Петербуржцы вообще шатаются. При смене двух царствований столько случайных неприсутственных дней, что дела стоят и времени свободного у занятых людей больше, чем когда-либо. Меня это, конечно, не касается, кроме разве того, что реферат пришлось отложить до 22-го. Зато Ю. П. была свободна по случаю царской свадьбы. Приехав на Пороховые, мы не застали Вениамина. Он отправился во дворец (Зимний) посмотреть на свадьбу. Особенно интересного он ничего не сказал. Говорил, что на вдовствующую императрицу ужасно смотреть. Она шла в парадном одеянии убитая, точно на казнь. И шла одна, хотя по церемониалу положено ей вести невесту. Алису, ныне Александру Федоровну, он нашел очень красивой, если бы не невозможно красный цвет лица. Фотографы говорят (а им приходилось то и дело снимать ее), что она всегда такая. Вернулся Вен[иамин] к обеду. Еще до него приехал Башкиров. Он тут в какой-то комиссии и к 24-му рассчитывает быть дома. <...> А Калмыцкое управление окончательно отнимают у Государственных имуществ и передают в Мин[истерство] внутр[енних] дел. Как только кончится передача, Башкиров уходит, либо комиссаром на Минеральные воды (казен[ная] квартира и в Пятигорске, и в Кисловодске), либо вице-директором в Петербург. Первое даже выгоднее. <...>

Все кругом как-то мрачно, даже погода. Три часа дня, а я пишу при лампе! Не потому ли какое-то угрюмое, недовольное настроение то и дело мелькает на лицах кругом? И я эти дни очень недоволен собой; и занятиями своими, а еще больше тем, как держу себя на людях. И вдобавок, скрепя сердце, приходится сознаться, что у меня к 1 декабря 30 р. долгу, которые нужно отдать. Я не истратил своих денег, а отдал их, чтобы выручить приятеля из скверного положения. Если трудно прислать мне вместо 75 р. — 100 к декабрю, я, мамочка, оборочусь и своими обычными средствами. Скажи папе, чтобы не сердился. Я в этом году и так злоупотребил его добротой и, ей-Богу, совестно.

Д. 2. Л. 102—103 об.

143

18 ноября

Дорогая мамочка, вчера я нечаянно попал к Арсеньевым. Читал Вл[адимир] Соловьев о нравственных основах общежития статью, которая будет напечатана в «Вестнике Европы».[136] M-me Арсеньева удивила меня тем, что вспомнила мою фамилию и усадила в темный угол за письменным столом, где она устроила «кусочек пятницы Полонских», водворив туда всех знакомых. Читал Соловьев красиво, пожалуй, умно, насколько можно сказать что-нибудь умное о нравственности.[137] Возражал ему Спасович, довольно плохо.

Упрашивал меня Арсеньев читать у них, я отвечал уклончиво, почти обещал и, наверное, надую. Бог с ними! Не люблю я таких собраний. Никакого в них толку.

Побывал я еще в Академии на выставке. Интересно. Много Репина и Шишкина, много у других хорошего. Любопытнее еще ученическая выставка «новой» Академии. Очень хороша она, много свежести, увлечения, есть совсем зрелые вещи. Кто ожидал сразу такой новизны! <...>

Петербург все болтает. Манифест произвел хорошее впечатление. Кое-где вводят обязательное обучение. Куда мы идем? А что у вас там? Как папа? Мои дела плохи, и приходится просить выслать мне декабрьские деньги 21-го, как только папа жалование получит. Ведь это ему, верно, все равно. Если лишку пришлет, буду очень благодарен.

Переделка реферата моего в статью идет туго и что-то уже чересчур серьезно. Ряд постановок новых вопросов, чересчур, пожалуй, смел. Ну, да смелым Бог владеет, а волков бояться — в лес не ходить. Но общий тон, несмотря на всю сложность и осторожность выражений, выходит непочтительный к существующим в нашей науке направлениям. Что делать, видно, такая судьба моя — быть строптивым человеком, как давно прозвал меня Платонов. Платонов приободрился и повеселел, сдав курсы новому директору. Этот плох, шагу ступить не умеет и постоянно создает недоразумения с курсистками. Платонов пытается примирять обе стороны, что барышням не очень нравится. И смех, и горе с ними.

В университете тихо. Я раз в неделю бываю там и мало в курсе дела. Новые люди, новое поколение. «Учащаяся молодежь» это уже не «мы», а «они». Странно переходить в «старшее» поколение. <...>

Д. 2. Л. 104—105 об.

144

22 ноября

Из твоего письма выходит, дорогая мамочка, что не миновать папе Тифлиса! Конечно, раз сверху так настаивают, рискованно отказываться, как это ни неприятно. И меня Тифлис пугает. Хотя, как-никак, придется дать последнее сражение, а там что Бог даст. Мелькала у меня даже мысль на Рождестве слетать туда, но расходы пугают. А лучше бы встретить Новый год в определенном положении. Хуже всего ни два, ни полтора. Наука так наука, жизнь так жизнь — лучше знать, что же наконец у меня на первом плане будет. Писать, кажется, не стоит, а впрочем, не знаю. Если ты об этом какое-нибудь мнение имеешь, напиши.

А если вы попадете в Тифлис, знаете ли, какие будут планы на лето? Меня это уже теперь интересует, потому что это лето будет рабочее для меня время.

Вениамин был у меня в воскресенье. Он целый день провозился со спиртовщиками. Кажется, ему предстоит новое выгодное поручение — заготовка спирта для Шостки.[138] Впрочем, пока это не решено. А вечером, только Вениамин уходил, у меня собралась компания — остатки нашего университетского выпуска, человек 6. Мы все больше сплачиваемся в кружок, связанный не только личной дружбой, но и стремлением выковать себе общее направление. Решили собираться периодически, своим кружком, без посторонних людей. Ведь хорошо это? На этот раз кроме разных разговоров я прочел самую ответственную часть своей будущей статьи. Для сегодняшнего вечера я написал только изложение книги Лакомба, а для журнала переработал или, вернее, совсем заново написал нечто новое и самостоятельное. Вышло что-то вроде моего credo, с критикой нынешних исторических направлений и указанием, что было надо начинать с другого конца. Боюсь, не показалось бы претенциозно, хотя написано сжато и сдержанным тоном. Я предупреждал Платонова, но он говорит, что печатать будут без всякого предварительного просмотра, мое дело писать, что и как хочу. Журнал Министерства даст место всем направлениям. А читать этого я в обществе, верно, не стану; прочту только изложение Лакомба. Дело в том, что мысли мои хоть и взяты от других, но для историков они странны. Из моих товарищей — историки слушали с недоумением, перебирали каждую фразу, требовали разъяснений, а в заключение согласились. Это те, кому я у себя читал. Не знаю, что скажут другие. Ну, Glück auf!* Если пройдет благополучно эта статья, я, верно, продолжу развитие тех же мыслей. А если нет, то буду защищаться.

Теперь придется еще статью писать по поводу издания лебедевской летописи. Это, надеюсь, попадет в февральскую книгу Жур[нала] Мин[истерства] (рецензия на Лакомба выйдет 1-го января).

Речь Ламанского я читал; она мне, в общем, понравилась, а в Петербурге наделала шуму. Обрушились на нее, как думаешь, кто? Либералы, с позволения сказать, «Новостей». Хотелось бы мне знать, что сказали о ней «Русские ведомости». Еще больше обрушились на нее славяне. Ламанского прямо обвиняют в том, что он отказался от «убеждений» своих. В воскресенье это сказалось на диспуте в университете. Защищал диссертацию на доктора славяноведения варшавский профессор Платон Кулаковский, под заглавием «Иллиризм» (о национальном возрождении хорватов в XIX в.). Тема почти современная, и труд Кулаковского (я стащил экземпляр из канцелярии) больше публицистический, чем ученый.[139] Ламанский возражал очень интересно, он знал большую часть героев хорватского возрождения и сообщал о них свои впечатления, крайне компрометирующие «героев». Потом говорил Соболевский и указал на ненаучность приемов Кулаковского. А затем заболтали очень искренно и очень плохо, ломаным русским языком — братушки. Хорват Гееруц, петербургский книготорговец, поблагодарив Кулаковского за «беспристрастие», напал на славянофилов, «шатающихся из стороны в сторону», «поворачивающих оглобли назад» и отказывающихся от «убеждений», которые сами 40 лет проповедовали; говорил он это с раздражением и в упор глядя на Ламанского, так, что председательствующий на диспуте ректор Никитин должен был остановить его. Потом встал студент-серб, тоже благодарил Кулаковского и заявил, что дело хорватского возрождения было делом сербов и слабым подражанием сербскому возрождению (на это, т. е. на подражательный характер «возрождения», указывал и Соболевский: все братушки тянулись за чехами), а потом серб еще прибавил, что хорваты, католики и западники, такие же изменники славянству, как поляки. Третьим выскочил пресловутый Христо Кочев, албанец, вольнослушатель нашего юридического факультета, рассылающий всякие «Воззвания» и всем надоевший, и говорил что-то совсем несуразное. Словом, диспут с «душком». <...>

---

* Дай Бог, на счастье! (*нем.*).

Вот пока все наши новости. Гревс вместо диссертации прислал только статью в Ж[урнал] Мин[истерства],[140] к великому огорчению Васильевского, который собирался передать ему кафедру с осени. Чем это дело кончится? <...>

Д. 2. Л. 106—109 об.

145

24 ноября

С именинницей, дорогая мамочка! Я очень виноват перед тобой, что вчера не написал тебе. Не знаю, как это так вышло. Третьего дня я читал свой реферат. Великий день открытия нового общества! Кроме шуток, вышло довольно торжественно. Собрались мы в университет к 8 часам. Студентов пришло много, и, что всего неожиданнее, это что запрещение пускать с других факультетов, по-видимому, останется мертвою буквой. На этот раз были и юристы, и естественники. Но большинство, конечно, филологов. Из профессоров кроме председателя, Лаппо-Данилевского, приехали только Форстен и Васильевский. Присутствие Васильевского было особенно приятно: это наш патриарх и любимец. Начал Лаппо-Данилевский речью, говорил умно и хорошо, потом мой товарищ Панченко разразился речью, немного странной по тону, но очень искренней. Он сам странная, сложная натура. Затем студент Кульман сказал несколько слов по случаю недавнего юбилея Крылова, а за ним я читал с кафедры, стоя, своего Лакомба. Было неудобно, темно, приходилось нагибаться по близорукости, было жарко и утомительно. Но говорят, что прочел хорошо. Я читал простое изложение Лакомба, с небольшим введением от себя. Нашли, что совсем не похоже вышел Лакомб у меня и у Кареева. Да, точно разных писателей излагали! У меня полнее, а Кареев повыдергивал из Лакомба, что ему понравилось. Так и слушавшие говорили. После реферата сделали перерыв (увы! чаю не дали), а потом начали «прения». Прения были довольно бестолковы, спорили об элементарных вещах, и я почувствовал, что мои мысли странны и непонятны даже для очень толковых людей. Это я не в осуждение себе говорю, я был прав, но... не знаю, какие разговоры будут в воскресенье с Васильевским, когда я понесу ему статью для журнала. Я вношу туда кое-что установленное, даже избитое для философов, но непривычное для историков. Курьезно, а мне это казалось так ясно и просто! Сегодня о нашем собрании явилась заметка в «Новом времени».

А что у вас нового? Решилось ли дело о папином назначении? Какая новая передряга!

А мне, увы, еще новую работу навязали: писать биографию Каченовского для Биографического словаря Имп[ераторского] Русского исторического общества. Положим, это немного, да и вопрос входит в магистерскую программу.[141] Меня предлагают в члены Археологического общества. Не знаю, когда это состоится, но, во всяком случае, это приятно. Впрочем, я, может быть, уже писал про это. <...>

Спать пора. Заработался сегодня, устал.

Д. 2. Л. 110—111 об.

146

28 ноября

Вчера, дорогая мамочка, я снес Васильевскому свою статью о Лакомбе. Верно, пойдет в январскую книжку журнала. Был там и Платонов. У него проект провести Спицына в приват-доценты университета для курса археологии. К сожалению, Васильевский взглянул на это очень странно, находя, что вовсе студентам археологии не нужно. Я было пробовал сказать, что все мы, учащиеся, чувствуем, что археология теперь сила, с которой нужно считаться, а познакомиться с общим курсом ее негде. Но Вас[ильевский] обозвал ее мелочным гробокопательством; не ожидал я от него такого узкого взгляда!

<...> А в университете новая затея; по всем университетам идет агитация о петиции на Высочайшее имя об изменении устава с расширением автономии университета и т. п. Не знаю, чем это может кончиться! Петиция состряпана неудачно, и внимание на нее едва ли обратят.[142]

Получил я письмо от Шенгера, очень хорошее и милое. Он много занят преподаванием, чувствует себя в своей сфере, доволен своим делом. На будущий год ему собираются дать специальный класс и космографию. И то и другое представляет большой интерес и некоторую трудность. Космография предмет плохо поставленный в гимназиях, а Володька с ним справится. Я всегда говорил, что у него больше сил, чем кажется. А я? Мое писание о Лакомбе ввело меня в круг вопросов, тоже плохо поставленных и на несколько лучшую постановку которых у меня тоже авось хватило бы сил. Но, несмотря на важность и привлекательность этих вопросов, — они не прямое мое дело, приходится бросать их, давя свои интересы. Это не особенно приятно, но неизбежно. Приятно хоть дебютировать в этой области. От экскурсов в нее, если судьба позволит, я не удержусь, больно много туману в ней, и иногда кинуть свое словечко так хочется. Но некогда останавливаться на общих вопросах, как они того бы заслуживали.

Только что получил и письмо твое, и деньги. Спасибо и за то и за другое. На вопросы твои я уже отвечал. Живу я в 4-м этаже. Теперь в соседней комнате живет офицер, но завтра обещал выехать, чему я очень рад. У него иногда бывают товарищи и шумят до утра. Я было затеял перетащить на его место одного товарища, Голованя, ученика Васильевского и оставленного при университете по средней истории, но теперь боюсь уговаривать, потому что у него там, где он теперь живет, хотя дороже, но лучше. <...>

Д. 2. Л. 112—113 об.

147

1 декабря

Вот мы и в декабре, дорогая мамочка. Летит куда-то время, и никак не угадаешь, что принесет оно с собой! Кажется, пустая вещь — смена старого года новым, а как приближается она, невольно почувствуешь это приближение, особенно при таких неопределенных, переходных обстоятельствах, в каких мы пребываем.

О том, чтобы сдать все экзамены до каникул, не может быть и речи. В лучшем случае, сдам русскую историю и политическую экономию, а новая и средняя истории все равно на осень останутся. Виноват я в этом или нет? Хорошо я вел себя или нет? Эти годы довольно много дали мне, по существу. Я занимался кое-чем, кроме экзаменационной программы, с большой потерей времени и большой пользой для себя. Мое «ученое направление» определилось довольно ясно и сознательно. Это результат ценный и своевременный для меня.

Но с практической стороны есть некоторые неудобства... Практика и наука не вяжутся вместе. Ведь, и сдав экзамен, я не стану магистром, ведь «движения» при университете ждать вообще нечего. Надо выбирать и преследовать одну цель, а не две. Я выбрал было цель житейскую, а не научную, но ничего из этого не вышло и, по-видимому, не выйдет. Теперь остается другая — попробую вырасти в «ученые», но это возможно, только если наука будет единственною целью, а про все остальное пришлось бы сказать: будь, что будет. Помиримся на этой точке и не будем заглядывать вперед из-за книг. Ю. П. могла бы разрешить вопрос, съездив в Тифлис. Но, увы, денег на это нет, а билеты теперь достать нельзя. <...>

Про себя мне, кажется, нечего сообщить. Теперь, сбывши с плеч Lacombe`a, я бросил все и сижу за русской историей. Надо торопиться, да оно и интересно. Я никогда так хорошо себя не чувствую, как когда просижу целый день за работой. А в университете что-то бурлят. Затея подать петицию от всех университетов на Высочайшее имя не умирает. Но проект ее составлен нелепо. Там много лишнего, иного более важного нет, и вообще редакция плохая. Не знаю, чем дело кончится. И все оттого, что никто не знает направления нового Государя. Говорят, что он целый год решил присматриваться, никого и ничего не трогая из старого. Оно умно, но положение испытуемых министров — пренелепое. Они не знают, куда гнуть. И газеты как-то колеблются, не зная, по какому ветру нос держать. «Молодые» величества пока поселяются в Царском Селе. Пока главная новость — крайне любезный и предупредительный прием, оказанный Государем Муравьеву. Они полтора часа беседовали, но о чем, неизвестно. <...>

Д. 2. Л. 114—115 об.

148

8 декабря

<...> В последнем письме твоем, дорогая мамочка, ты спрашиваешь, не приеду ли я в Харьков? Решай сама. Мне очень бы хотелось, но, как-никак, а это очень большая потеря времени. Конечно, я и у вас могу заниматься, но всего нужного не перевезешь, а теперь я несколько втянулся в работу, встаю рано, в половине восьмого, и хотя приходится, по непредвиденным поездкам на завод и т. п., терять время, все-таки дело подвигается. Мне надо торопиться, а сделано пока все-таки немного. <...> Для занятий же тут обстановка благоприятнее, потому что все под рукой.

Вчера, приехав с завода к Платонову, видел у него декабрьскую книжку Ж[урнала] М[инистерства] н[ародного] п[росвещения], где небольшая и моя рецензия на IX т. «Описания документов и бумаг Архива юстиции». Пустяшная заметка, а все-таки недурно, что напечатали в журнале. Относительно статьи о Лакомбе я начинаю почти жалеть, что печатаю ее. Если она пройдет незамеченной, то Бог с ней. Но если кто-ниб[удь] вздумает выбранить меня, мне [отвечать] некогда будет. <...>

Д. 2. Л. 117 об.—118.

149

27 декабря

С праздником, дорогая мамочка, не сердись, что только сегодня собрался писать тебе. Уж очень эта неделя вышла бестолковая. Проводив тебя, во вторник мы поехали пить чай к Ю. П. У нее мы недолго пробыли, п[отому] что ей заниматься нужно было. У Ю. П. перед праздниками всегда масса дела. Теперь нужно было кончать композицию; с четверга на пятницу она ночь напролет работала, а к 9-ти ч. утра пошла в школу кончать свою работу.* Зато именно эта работа вышла лучше всего. Вообще экзамены сошли хорошо, гораздо лучше, чем она ожидала.

На другой день, в среду, Катя с Борей приезжали в город покупать Боре сапоги к русскому костюму: лакированные сапоги гармошкой, синяя рубашка, серебряный пояс. Вечером я пошел к Платонову. Издание летописей в Археографической комиссии наконец поручено-таки ему. Он получил от Бычкова одну важную рукопись, которой я давно добиваюсь. Теперь она у Платонова на дому, и он предлагает мне определить ее. Дело в том, что ему хочется непременно отнести ее к XVII веку, а я стою за XVI, как и Бычков. Из-за этого мы с ним ссорились, когда я еще на втором курсе был и когда оба мы рукописи не видали. Теперь я уверен, что век XVI, но надо найти доказательства, а для этого нужно срисовать водяные знаки на бумаге. Я для этого пошел к нему в четверг вечером, да оказалось, что вечером трудно срисовывать. Обещал прийти днем и, увы, до сих пор не был. Положим, над нами не каплет. Вместо рисования отправились мы с ним странствовать по городу, много болтали. В Арх[еологическое] общество я, по-видимому, не пойду. Платонову хотелось ввести новых членов до выработки новой программы общества, но другие, особенно Спицын, этого не хотят. Кроме разных разговоров обо мне и о нем выспрашивал я об отношениях его к Лихачеву. Это крупный разлад, который мне хотелось бы разъяснить, хотя, кажется, сгладить будет его трудно. И чего люди ссорятся? Форстен уехал в Варшаву — учиться польскому языку! Вот подвижный человек! Энергичною деятельностью он давит свое горе, старается забыть о разбитой жизни. Лучшее средство быть энергичным. Мы проводили его на Варшавский вокзал в пятницу. А вечером пошли к Полонскому. Тут Александр Верещагин (брат художника) читал отрывки из своих воспоминаний — плоские и пошленькие сценки из военного быта.[143] Чудной народ эти Верещагины — даровитые прохвосты! Ну, а субботу я совсем прогулял; был в нескольких местах и кончил вечер у Ламанских. <...>

---

* Слово читается предположительно.

Новый год буду встречать у Шеффер, по всей вероятности, так как на завод мы съездим с Манизерами на днях. Завтра утром надо пойти в школу Штиглица на выставку, а в 6 часов — елка у Платонова. Надо ехать. <...>

Д. 2. Л. 123—125 об.

1895

150

1 января

Я писал тебе во вторник, дорогая мамочка; завтра получу твое письмо с деньгами и тогда отвечу на него, а пока: с Новым годом, моя дорогая, дай Бог, чтобы этот новый год хоть немного вознаградил всех нас за жестокость прошлого. Для меня год закончился суетно. Во вторник, отправив тебе письмо, я поехал с Лапшиным, Полонским, Полиевктовым (магистрант по русской истории) и Панченко в Царское Село к Голованю. Тут мы очень весело провели целый день. Гуляли в парке, где расчищают дорожки от снега, т[ак] к[ак] молодые царь с царицей жили там. Любопытно, что принесет эта чета России. Пока слухи хороши, а фактов нет. Впрочем, помилование «бунтовщиков», продержавших губернатора на хорах костела, предназначенного к закрытию (ты, верно, слыхала эту историю в Виленском округе), помилование по докладу Муравьева и против явно лживого доклада виленского ген[ерал]-губ[ернатора] Оржевского — знак хороший. Оржевский, наверное, слетит, как слетел «пленный» губернатор; а это давно пора. Кстати, чтобы покончить со слухами из высоких сфер: кандидатами в министры путей сообщения все называют Куломзина и Иващенку, причем Куломзина считают почти неизбежным, если сам он не будет настаивать на отказе; это кандидат Бунге.

В среду я отправился утром к Платонову срисовывать водяные знаки с летописей. Сделал половину дела, как позвали завтракать, потом ездили мы с ним по его делам, за компанию; потом у них я и обедал, помогал елку устраивать и на весь вечер остался. Елка вышла многолюдная, штук 20 с лишним детей было, а взрослых не считал. Было довольно весело. Сенсацию произвело появление Форстена, которого мы в прошлую пятницу проводили в Варшаву на все праздники, до 6-го янв[аря]. Но ему Варшава в 2 дня надоела своим русско-польским, всюду чувствуемым антагонизмом. Делать нечего, пришлось в пятницу идти доканчивать дело. По крайней мере, теперь ясно, что рукопись XVI века. Вчера, в субботу, мы с Ю. П. ездили днем на завод. Новый же год Ефремовы встречали в клубе, а мы у Манизер. <...>

Теперь сижу и читаю купленную пополам с Платоновым (ц. 2 р.) книгу: Н. Бельтов: К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Ответ г.г. Михайловскому, Карееву и Комп[ании] (sic!!). Занятная книга. Кареева тут по брюшку похлопывают и развязно поругивают. Тон фельетониста из «Нового времени», а взгляды «русского марксиста», вроде Петра Струве. Не он ли и автор? «Н. Бельтов» явно псевдоним.[144] Но кое-что в книге метко, начитанность большая, критика толковая, но тон, тон! Не написать ли рецензию?

Вот тебе, дорогая мамочка, моя бестолковая «Одиссея». Надеюсь, что она кончилась со старым годом. Гадкий был год! Ты, 95-й, что несешь?

Д. 2. Л. 126—128 об.

151

2 января

Только что получил письмо твое, дорогая мамочка. Да, дело с министерством путейским затягивается. Говорят, что Государь хотел Кривошеина под суд отдать, но Муравьев ему ответил, что это будет дело, стоящее французской Панамы, и скандал для только что кончившегося режима Александра III.[145] Новому министру, кто бы он ни был, предстоит трудная задача разобрать дело и поставить министерство на новую ногу. Кони производит следствие. А в ликвидационной комиссии по обществ[енным] работам, порученным Анненкову, открываются новые огромные злоупотребления. Там председательствует Неклюдов, и его дело также сводится к следствию. Дела как сажа бела. <...>

Святки кончились, пора усиленно за работу приниматься. Дела много, времени мало. Конечно, я сам в этом виноват; надо наверстывать.

Д. 2. Л. 129—129 об.

152

6 января

Дорогая мамочка, вышла первая книга «Ж[урнала] М[инистерства] н[ародного] пр[освещения]» за 95 г., где фигурирует и моя статья. Но оттиски я получу, вероятно, не раньше, как через неделю. Тогда пришлю. Мне статья не нравится. Иного недосказано, кое-что пересказано. Развить намеченные мысли более чем трудно, а хотелось бы. Но это потребует занятий, не относящихся к специальному моему делу, изучения литературы предмета, и книг, не только требующих прочтения, но и приобретения; а и это не последняя неприятность. Вчера мы были на заводе. Там все благополучно, если не считать Бориного насморка. Катя сказала, что только отправила тебе письмо со слухами о назначениях, как все они опровергнуты. Какого папа мнения о назначении Хилкова? Думал ли Хилков, стоя на паровозе машинистом, что министром будет![146] Что он за субъект? Помощником пока Петров. На место Заботкина, куда его прочили, попал кто-то другой. Куломзина теперь все прочат на место Дурново. На замену Делянова никак никого не выдумают. Последний кандидат городских кумушек обоего пола — Леонид Майков. Нам, т. е. мне с товарищами, это было бы приятно, но едва ли он в министры годится, насколько я его понимаю. Слишком он барин и мелко плавает.

У меня к тебе или, вернее, к папе просьба. Харьковский профессор санскрита и сравнит[ельного] языкознания Дм[итрий] Ник[олаевич] Овсянико-Куликовский напечатал в «Харьковских губ[ернских] ведомостях» этюд о Базарове в 94 г. Нельзя ли узнать № и приобрести его для меня? Автор сей очень талантливый и очень меня интересует. Его статьи о Потебне и о «Тургеневе и Толстом» в «Северном вестнике» — просто прелесть.[147] Круг идей, в котором он вращается, мне близок и с ним придется считаться, если я сдвинусь с места в философствованиях своих. А другая просьба вот какая: нельзя ли при помощи Грищенок достать экземпляр Толстого: «Мир Божий внутри нас»,[148] если не в собственность, то хоть на время, только не очень короткое. Я возвратил бы его Наташе по миновании надобности. Вот тебе, дорогая мамочка, поручения. <...>

Д. 2. Л. 130—131.

153

11 января

Дорогая мамочка, получил только что твое письмо и спешу ответить. Как грустно, что папа опять так нездоров. Если чего-либо добиваться, то ему, буде здоровье позволит, необходимо приехать в Петербург. Что значит, что Ренкуль заместителем? Как Васильева? Но ведь это папино место? Если так, то тем более нужно приехать, если только здоровье позволит. Хилкову теперь не до того, чтобы о ком-нибудь вспоминать. Василевский уходит, Сумароков получает другое назначение. Говорят, тарифы возвратят из Мин[истерства] финансов в Мин[истерство] путей сообщения, и будет 2 помощника министра, для коммерческой и для технической части. При такой ломке не до личных назначений на дорогах. Удрать с дороги на 3—4 дня можно было бы, сдав ее второму заместителю.[149] <...>

В субботу (7-го) мы с Ефремовыми и Ю. П. были у Манизер. Я писал тебе, что у второго манизеренка воспаление легкого, но, по счастью, не сильное. Просидели у них часа 3. Третьего дня я опять кутил. Пошли на вечер в пользу курсов, смотрели прескверное исполнение «Каширской старины»,[150] а в общем, было очень скучно, хотя вся компания, с Платоновым во главе, была в сборе.

Я получил из университета 90 р., что дало мне возможность расплатиться со всеми долгами. Вчера слушал в Археологическом обществе доклад Рождественского, этого «Herzenkind* Серг[ея] Федор[ови]ча», как называет его m-me Платонова. Прекрасный был доклад; верно, глава из диссертации. Да, хорошо тому, у кого экзамены за плечами, и, главное, кто умеет работать, не сбиваемый с толку житейскими впечатлениями и не разбрасывающийся, как я. Что делать, ведь и кроме разных «обстоятельств» я и по натуре скорее публицист, чем ученый, и слишком живой человек для «архивной крысы». Ну, Бог даст, перемелется, мука будет. <...>

Д. 2. Л. 132—133 об.

154

13 января

<...> Хилков произвел на всех прекрасное впечатление простым и обходительным обращением. И Гущин говорит, что недурно было бы папе, если возможно, появиться в Петербурге, особенно если Васил[ский] долго не просидит. Гущин дал мне свой адрес и просил зайти как-нибудь вечером. <...>

Что меня касается, то я, слава Богу, угомонился и занимаюсь. Впрочем, вчера был с Лапшиным у Лаппо-Данилевского. Вели философические споры, которые мне были очень интересны, потому что я теперь вполне ясно представляю себе «умоначертания» Лаппо-Данилевского и, увы, — полную противоположность нашего склада. Московский инцидент принял серьезный оборот. Никому из московских не дали наград к Новому году, а Милюков не получил оклад, который для него освободился. Попечитель Капнист подал записку с опровержением петиции профессоров.[151] Пока неясно все-таки, чем дело кончится, тем более, что все ждут замены Делянова кем-нибудь новым. Молодцы москвичи, у нас ничего подобного быть не может. Странно только, что профессора, говорят, в конце концов почему-то взъелись на Милюкова. Интересно было бы узнать дело пообстоятельнее. И кого-то нам в министры дадут? <...>

Д. 2. Л. 134—135 об.

155

20 января

Дорогая мамочка, сегодня я отправил тебе оттиск статьи о Лакомбе, послал и Коле, и Мише. У меня целая сотня оттисков. Ценно для меня то, что в январской книге журнала «Мир Божий» появилась статья Милюкова, во многом существенной родственная моей. Это начало «Очерков по истории русской культуры» — целого курса русской истории по совсем новому плану.[152] Обещает этот труд очень много. Хотел бы подписаться на этот журнал, если финансы позволят. И в «Русской мысли» есть интересные вещи. Не найдет ли папа возможным предоставить мне на книжные нужды то, что в феврале можно будет получить с Либермана? Это будет магарыч с него, в случае утверждения его в должности помощника. Впрочем, может быть, такие вожделения с моей стороны постыдны. Увы, недаром «экономический материализм» становится модным направлением у историков. <...>

---

* Любимое дитя (*нем.*).

Мертвых хоронят, а живые живут, сами толком не зная, зачем. Папа спросил меня, что я думаю делать с собой после экзамена. Надо trancher la position.* Но я не мог ответить ему толком, а посулил ответить через месяц. И дам его, но не раньше. Надо взвесить, отмерить и отрезать. А пока, вперемешку с занятиями, дело не обходится без легких рассеяний. В прошлое воскресенье раздобыли с Ламанским корректурные листы печатающейся в Лейпциге новой оперы Римского-Корсакова «Ночь под Рождество» (на гоголевский сюжет: Вакула-кузнец, etc.[153]) — и исполняли ее: Штруп на рояле, а Лапшин пел с листа все партии и хоры. Хорошо, поэтично, и совсем новый стиль, не похожий на другие оперы Р[имского]-К[орсако]ва, как и они между собою не похожи.

Завтра, вероятно, попаду в итальянскую оперу.

Теперь я занимаюсь XVIII веком. Все вероятнее становится, что диссертация моя будет: «Государственное управление России в эпоху Верховного тайного совета». Это не очень обширно, материалу много, никем не тронутого и интересного. Надо еще доработаться до общих определенных «точек зрения». Нельзя бросать статейку о Лакомбе неразвитой и недоказанной. Вот две определенные задачи «на после-экзамена». А как сложится это «после-экзамена» с житейской стороны, в том волен Бог и святая Юлия, патронесса Ю. П.

Верно, я останусь один, а тогда дело сложится легко. Если же нет, то будет труднее, но зато на душе будет лучше у твоего Сани.

Д. 2. Л. 136—137 об.

156

25 января

Дорогая мамочка, только сегодня решился вопрос о папином назначении. При мне Трофимов просил сообщить Гущину, что папа утвержден, и обещал телеграфировать папе. Гущин велел очень кланяться и папе, и тебе, и поздравить папу с назначением.[154] <...>

Что меня касается, то я сегодня взялся за труднейшую часть своей магистерской программы — изучение законов о дворянском самоуправлении по Полному собранию законов. Странно, что этот, давно изданный, материал еще не исчерпан. Новинки пригодятся для диссертации. Очень помогает мне то, что я встаю не позже 8-ми часов, а обыкновенно к восьми готов. Если вечер и пропадет — все-таки есть время позаняться.

Недавно слушал «Травиату».[155] Хорошо поют итальянцы, но музыка... Вчера мы с Платоновым были у Чуйко. Был тут и Флексер-Волынский (из «Северного вестника»). Он мне нравится, хотя его преувеличивают у Чуйко. Он из тех, про кого говорят одни, что он хороший философ, напрасно взявшийся за публицистику, а другие, что он публицист хороший, напрасно считающий себя философом, — и все правы. Общественные новости все те же и все так же интересны. Грубая, бестактная речь Государя депутациям дворянства произвела сильное впечатление. Оскорбил он всех из-за одних тверичан.[156] Да и «петиция», вернее адрес, тверского дворянства вовсе не смела: она робкая, немного наивная по форме, неосновательная по существу. Из старых «столбовых» дворян иные говорят, что никогда не получали такого оскорбления. Говорят, будто речь инспирирована Дурново, что сам царь сконфужен, что Дурново быстро слетит. Все это «говорят»! О московской истории получены более точные сведения. Милюков, как и все доценты, не подписывал петиции и к делу не причастен; в Петербурге он вовсе не был. Отличился философ Грот, написавший министру письмо, что петицию подписал «бессознательно», так что даже Делянов говорит о нем «дурак Грот», точно это титул, вроде как «граф Делянов».

---

* Определиться (*фр.*).

Нехороши дела с Милюковым. Ключевский его поедом ест, ручаясь, что не даст ему оклада и не допустит до профессорства в Москве. Теперь Милюков живет 11 уроками и литературной работой. Это человек с положением и именем в науке! Я, кажется, писал тебе, что он теперь затеял «Очерки истории русской культуры». Любопытно, что у него выйдет.

В университете появляется новый доцент по русской истории: 27-го вступительная лекция Лихачева.

А в университете все висят объявления с угрозами, в случае если будут какие-ниб[удь] волнения. 11 человек высланы! Но, говорят, акт у нас все-таки будет, хотя в Москве его отменили. 8-го февраля мы обедаем своим кружком у Куманина. 2-го марта 30-летний юбилей Васильевского, и не знаем, чем ознаменовать его, а хотелось бы. Этот человек имел и имеет огромное значение для нас и как ученый, и по личному своему влиянию на всех, кто поближе его знает. Необыкновенно обаятельный старичок. <...>

Д. 2. Л. 138—140 об.

157

29 января

<...> Ты спрашиваешь про «Русскую жизнь» и про московскую историю? Прости мою рассеянность: я писал в уверенности, что рассказал тебе. Или одно из моих писем не доехало? «Русская жизнь» печаталась у Либермана, но в ноябре издатель Пороховщиков устроил свою типографию. Дела его шли хорошо, было уже 9 тыс. подписчиков. За что газету запретили, — я толком не знаю. Говорят, за целый ряд статей. Инициативу приписывают Витте; говорят, будто были какие-то инсинуации против афер Матильды...[157] Последняя статья, по поводу речи государя, начинавшаяся будто бы словами: «Оттепель, оттепель — и вдруг хватил мороз...», появилась уже после запрещения, когда оно не было еще объявлено. У Пороховщикова дела сильно запутаны. Либерману он должен был 15 $1/2$ тыс., но 14 отдал в де-

кабре, а 1 $^1/_2$, верно, пропадут. Московская история представляется по последним известиям в таком виде: в Москве существуют студенческие кружки, т[ак] наз[ываемые] землячества, связанные между собою «центральным советом». Организация эта, полупризнанная, имела целью образование кассы на помощь товарищам. Такая касса есть и у нас. Вот эти-то землячества, говорят, подали профессорам записку о необходимости изменить университетские порядки. Вышло это потому, что затеяли петицию Государю, и оказалось невозможным разумно столковаться с большой и не имеющей права сходиться толпою студентов. Роль землячеств в этом деле была, кажется, миротворной — они удерживали от беспорядков. Но и такая роль найдена была подозрительной, комитет прихлопнули, многих разослали. Вот перед этим-то и начались сношения с профессорами. Профессора затеяли дать легальный исход потребности высказать желания и состряпали петицию, где, признавая законность и разумность желаний землячеств, указывали на пользу университетского самоуправления как средства предупредить беспорядки. Дело повели странно: подписывали только профессора, приват-доцентов ученые генералы не пожелали. Петицию подали, а затем были приглашены в Правление университета подписать бумагу, что признают землячества вредными и подлежащими упразднению... И подписали все, кроме Чупрова, который и в Правление не пошел, и принесенную ему на дом бумагу подписать отказался. Вышло для «героев» смехотворно и конфузно. А у нас пока тихо. Новостей особенных нет.

<...> Третьего же дня я слушал в университете вступительную лекцию Лихачева. Этот новый доцент по русской истории объявил курс об источниках рус[ской] ист[ории] Московского периода и вступительную лекцию озаглавил: «Понятие дипломатики как науки». Дипломатика — это наука о дипломах, актах, т. е. грамотоведение, «наука» о внешнем виде и форме документов. Лихачев доказывал важность своей специальности, приводя примеры, как ученые вопросы решаются иногда внешним видом источника. Сперва несколькими замечаниями о печатях опроверг теорию «наследственности кормлений» Чичерина, Градовского, Ключевского, Сергеевича... И был прав... Это произвело эффект. Потом изложил свою остроумную работу над лицевыми летописями и опроверг меня... и, конечно, тоже был прав. Читает он хорошо и имел успех, хотя публика собралась случайно, пришло много юристов слушать нового доцента по «международному праву»: дипломатику приняли за «дипломатию». Если Лихачев будет читать после Лаппо-Данилевского по пятницам, то я, пожалуй, буду оставаться на час в университете. А Лаппо-Данилевский все так же интересен, хотя, к сожалению, его «эволюционная философия» à la Spencer сильно ему мешает, но вошла она ему в плоть и кровь. О моей статейке я пока отзывов не слыхал, кроме одобрения некоторых товарищей и неодобрения Форстена. Платонов говорит, что я «сжег свои корабли» и «определил свое направление» не совсем в его вкусе, так как он ворчит о «слишком оживленном направлении». Зато, кажется, во вкусе Милюкова. Хотел бы я знать, что этот про меня скажет. <...>

Д. 2. Л. 141—144 об.

158

5 февраля

<...> Либермана я видел, но счеты сведу с ним в понедельник. Он обижается точностью папиных расчетов (т. е. вычетом процентов за два месяца), и, верно, придется спорить с ним. Надеюсь, что он не поставит меня в глупое положение, навязывая мне лишних 16 руб. Большое папе спасибо за эту экстренную ассигновку. <...>

Чудные дела в железнодорожном мире (мой источник — сенатский): комиссия, производившая следствие по кривошеинским делам, свела вину Кривошеина на несоблюдение некоторых формальностей при торгах, причем результаты торгов признала очень выгодными для казны. Дай Бог, чтобы это оказалось уткой! А говорят о неловком положении Государя! Опутают его мошенники!

А в царской семье предстоят 2 приращения: молодая царица сулит наследника, а вдовствующая на восьмом уже месяце.[158] <...>

Оттиски я тебе, конечно, высылаю. Статейка моя имеет некоторый успех, по крайней мере среди нашего поколения: моих товарищей или, точнее, того кружка, который, по выражению Платонова, неожиданно оказался существующим раньше, чем успели заметить, что он формируется. Это кружок 8-ми товарищей и 4-х курсисток с Форстеном во главе. 10 экземпляров сей шайки снялись на днях группой у Лоренса. Платонов, кажется, обижен, что его не позвали, но это как-то само собой вышло. Во всяком случае он выторговал себе экземпляр группы.

Платонов получил из Москвы интересную рукопись (летопись), для определения которой приглашает меня (завтра). Кстати, покажет мне письмо Дьяконова (дерптского профессора), где есть похвала моей статейке. Отзыв Дьяконова, если он по существу, я очень ценю.

В пятницу я парадировал во фраке! Пришлось поехать на свадьбу к Полонской — ныне m-me Елачич. Ничего, сошло, только холодно во фраке-то зимой! Свадьба была форменная, но скромная. Званые были только в церкви (в домовой церкви Коммерческого училища), в одной из соседних зал поздравили молодых шампанским и разъехались. В четверг с Манизерами ездили на завод, а сегодня с Ефремовыми будем на блинах у Манизер. Я рад, что милые Манизеры понравились Ефремовым. <...>

Д. 2. Л. 145—147 об.

159

8 февраля

Дорогая мамочка, про Лихачева я тебе рассказывал. Он из Казанского университета, ученик Корсакова, поссорившийся с учителем, да и всеми кругом. Человек он молодой, много работавший, с редкими познаниями в исторических источниках, но без особенных обобщающих способностей. Его отчет о занятиях в архивах, представленный в министерство, вызвал строгий отзыв Платонова, и потому Лихачев считает себя вправе говорить, что Платонов на него пасквиль написал от имени министра. (Отзыв Ученого комитета министерства писан Платоновым.) Затем Лихачев стал читать в Казани. Корсаков протестовал против программы его курса, и Платонов уверяет, что программа нелепая. Понятно, что ссора с Корсаковым была сильная. Магистра он получил за книгу «Разрядные дьяки», большую, полную нового материалу, но загроможденную материалом и беспорядочную. Корсаков написал рецензию, резкую, пристрастную, но кое в чем верную. Лихачев отвечал, защищался удачно, доказал, что знает побольше Корсакова (этот не из сильных), который отчасти прав только в критике общего плана книги или, вернее, отсутствия такого плана. Доктора Лихачев получил после долгих ссор и препятствий за труд «Бумага и бумажные мельницы в Московской Руси». Дело в том, что Лихачев много потрудился над палеографией и дипломатикой (так у нас называют изучение документов с их внешней стороны: почерка, бумаги, чернил, печатей и т. п.) и достиг изумительных сведений в этой сфере. Сведения эти очень важны, они дают возможность определять время источника, его подлинность и достоверность, словом, без них пошевелиться нельзя, а ни у кого, кроме Лихачева, их нет (настолько, что Платонов за ними ко мне обращается!). Но в диссертации Лихачев изложил очень незначительную долю своих сведений. Будь эта книга (91 стр. текста и альбом водяных знаков из старинной бумаги) превосходная в своем роде, и то странно быть доктором русской истории за глубокое знание бумаги. Лихачева прозвали «бумажным доктором», он злится и обижается...

После докторства Лихачев перебрался в Петербург в расчете, что как доктор он окажется старше магистра Платонова и получит кафедру. Конечно, это было глупо, он оказался моложе не только Платонова, но и Лаппо-Данилевского, и опять обиделся. С русскими историками он не знается, а ругает их; женился на внучке Саввы Морозова, живет в роскошной обстановке и жалуется на материальное положение. Курьезный господин! Ты спрашиваешь еще про юбилей Васильевского. Он будет 2-го марта, и я не знаю, чем его ознаменуют.

И к чему ты, дорогая мамочка, переписываешь Толстого? Вещь не стоит того, и для меня особенной нужды в ней, конечно, не может быть. Право, мамочка, мне совестно, что ты это затеяла. А у нас сегодня обед по случаю университетской годовщины. Обедаем небольшими кружками у Лейнера. В понедельник мы с Платоновым были у Дружинина. Это русский историк, автор диссерт[ации] «Раскол на Дону»[159] и большой друг Сергея Федоровича. Он член Археологической комиссии, но от занятий давно отбился, потому что занят управлением завода на Урале, принадлежащего ему с братьями. У него собираются все те же, что у Платонова, и еще человека 2—3. Подарил он мне свою диссертацию. <...>

Д. 2. Л. 148—150 об.

160

14 февраля

Ужасные дела, помилуй Господи! 8-го февраля Валь устроил форменное и заранее подготовленное избиение студентов.[160] Собраны были заранее дворники со Знаменской, Итальянской, Загородного и т. п. и помещены во дворах кругом Палкина.[161] Как завязалась драка, не знаю. Может быть, и в самом деле буянили студенты. Но потом с 12-ти до утра били всех проходивших, студентов и нестудентов, пьяных и трезвых. Многие тяжело избиты, в том числе пр[иват]-доц[ент] Чечулин, ни за что, ни про что. Расходившаяся толпа дворников, уверенная в безнаказанности, не знала меры. Полицейские офицеры распоряжались. Слышали команду: «Сомкнись, бей!». Полиция не отрицает, что [те], кого хотели арестовать, не сопротивлялись; а все-таки били, с тем большею легкостью, что особенно больших групп студентов не было, а подходили малыми кружками. Валь уверен в безнаказанности и говорит, что ректор слишком горячится. Но дело Чечулина пойдет на Высочайшее имя. Результатов я не жду. Оплетут. А это значит, что у нас — вроде стамбуловщины. Такие-то дела, дорогая мамочка! А в Москве Милюкову запретили преподавание, всякое, а не только в университете.[162] Человек только уроками и жил. Человек талантливый, ученый и хороший. Что теперь будет с ним? За что? Этого никак пока узнать не можем.

Безобразову, византинисту, тоже запрещено преподавание и велено поселиться не в университетском городе;[163] ну, этот, по крайней мере, непорядочный человек, да еще со средствами, но Милюкова до смерти жалко.

Мы восьмое провели мирно. Пообедали (10 чел.) у Лейнера, потом поехали к Платонову, а в 12 ч. были дома. Я только в воскресенье узнал о разыгравшейся истории. В университете шумят... Да что толку! И чем все это кончится! Руки опускаются. Вот он, «новый курс». И неужто это та атмосфера, в которой придется жить и действовать? Глубокая мерзость Министерства народного просвещения ярко проявилась. Все эти воротилы — Аничковы, Волконские и т. п. ведут себя и говорят так, что плюнуть хочется. Выносите, святые угодники! В эти тревожные дни мы урвали хороший денек. Выдумали в воскресенье на вейках кататься, компанией человек в 10, с Форстеном во главе. Поехали на острова. Там так хорошо, что забыли всякие мерзости, расшалились и в самом деле пришли в хорошее настроение.

Вчера я побывал у Чечулина. Теперь он встал и хоть есть может. Удивительно спокойствие, с которым он относится к происшествию. Личной обиды у него нет. Слишком серьезно общее значение этого дела. Помоги ему, Боже, добиться справедливого следствия, хотя удача была бы чудом в нашем болоте.

От него я вчера отправился с Лапшиным к Введенскому, у которого понедельники. Тут почти те же, что у Платонова, только числом поменьше. <...>

Вот пока все мои новости. Как все в Петербурге, и я зацепил что-то вроде инфлюэнцы, и потому вялый. Опять стал покашливать, но не очень. Простуда невыгодна, потому что мешает заниматься. Как-то все не клеится. <...>

Д. 2. Л. 151—153 об.

161

19 февраля

<...> Что касается моего устройства, то я гоню эту мысль, так она теперь плохо представляется. Наше министерство — гнусное болото, и если надежды на удачные новые назначения невозможны, то... Впрочем, ради денег придется идти в Каноссу! Весело, нечего сказать! Лучше если министерство, то другое. А еще лучше преподавание, если возможно, хотя и это трудное дело — достать достаточное число уроков в Петербурге. <...>

О том, как мы масленицу провели, я тебе писал. «Мы» — это слово техническое, это форстеновский кружок. Это новость для меня. А было время, когда был у меня совсем другой кружок, в котором так легко и полно жилось. Прости, дорогая мамочка, за несколько грустный тон. У нас всех тут носы на квинте висят. Платонов совсем удручен судьбою Милюкова. Рацеи «Правительственного вестника»[164] сто́ят «бессмысленных мечтаний». Если это не временное явление, то худо и нам. Ведь если это будет признано законным, то кто положит предел реакционному произволу? А сколько еще частных причин, не дающих вздохнуть спокойно. Заранее спасибо за Толстого. Он дорог мне будет, хотя, право, жаль, что ты столько просидела над ним, дорогая моя мамочка. Твою выписку из статьи Куликовского я недавно читал вслух большой компании (по случаю шитья на бедных детей, организованного Форстеном), но, кажется, не все ее оценили. А хорошо. Читаешь ли ты «Северный вестник»? Там в январе и феврале еще две статьи Овс[янико]-Кулик[овского], очень хорошие. <...>

В Петербурге опять ходит инфлюэнца, и нет дома без больных. Я наконец написал биографию Каченовского для «Биографического словаря», издаваемого Им[ператорским] Русск[им] ист[орическим] общ[еством]. Она давно мне заказана. Кажется, писать — это самое большое для меня удовольствие. Жаль, времени мало, а то много планов шевелится. Ну, да успеем. <...>

Д. 1. Л. 154—155 об.

162

25 февраля

Дорогая мамочка, у нас теперь борьба идет. Прокуратура взялась за дело 8-го февр[аля]. Не знаю, чем кончится, но замять дело трудно. Валь начинает оправдываться, что только исполнял «приказания», чьи? Либо Черевина, либо Дурново. Наверху грызутся, чья-то возьмет? Слухов масса, внимание напряжено. Личное дело Муравьева, стремящегося к Министерству внутренних дел, стало общим. Что-то будет? А пока, в ожидании, живем помаленьку, так что и отметить мало что есть. Наша grande nouvelle юбилей Васильевского. Завтра мы с ним снимаемся, т. е. группа его учеников просила его сняться с ними. Самый юбилей 2-го марта. Мы, т. е. опять-таки младшее поколение, хотим устроить ему вечеринку у Форстена. Мне, кажется, придется быть maître d'hôtellem.* Все это очень мило, но, к сожалению, стоит довольно дорого, и разорительно для моих финансов. А не участвовать нельзя. Я искренно люблю Васильевского и как человека, и как ученого и рад возможности гласно зачислиться в благодарные ученики его. Другая новость — победа Платонова над Куником. О, не знаешь, что это такое! Академик из приказчиков, Куник, старый как Мафусаил, и давно выживший из ума, если он у него был, ведает академической библиотекой, привел ее в чудовищный беспорядок, закрыл в нее доступ и никому оттуда ничего не дает. И я потерпел от него, и Лихачев, и Лаппо-Данилевский, и Платонов, и даже вице-президент Академии Майков — никому он не дал нужных для работы рукописей. И вдруг Платонову, через Археографическую комиссию, удалось, припугнув Куника жалобой Великому князю, добыть ту самую рукопись, которая была в свое время нужна мне. Я еще не видал ее, но увижу, и очень доволен этим обстоятельством. Третьего дня я слушал любопытный концерт — на даровщинку. В Музыкальном обществе Кюи читал «историю русского романса», а разные певцы и певицы исполнили больше 40 русских романсов, лучших на выбор. Вот все «события» за эти дни. Ефремовых я видел в четверг у Ю. П., которая перенесла сильную инфлюэнцу и теперь еще очень слаба. У них, слава Богу, чтобы не сглазить, все ладно. А подлое теперь время в Петербурге. Нет дома без больных, все больше инфлюэнцей.

К Новосельскому я еще раз заходил,[165] но опять неудачно: через полчаса он извинился, что едет куда-то на обед. Видел его барыню — существо более чем отвратительное. <...> Сам Новосельский умен, но подьячий и совсем размяк, до бестолковости. В общем, скверное и тяжелое впечатление. Но странно: видно, наш маленький, светлый мирок так ясен, что приходится удивляться и ежиться, как только из него выглянешь и встретишься с «настоящими людьми». Не выдержал я и, уйдя от Новосельского, побежал к Форстену, окунуться в действительно человеческую атмосферу после этого царства кикимор. Прости мне этот резкий тон, я стал сектантом и очень нетерпимым. Когда ежедневно окружен такими хорошими людьми, на каких мне повезло, становишься жестоким ко всем, кто под ту же мерку не подходит. Форстен и К°, Платонов и К°, Манизеры и «мы», т. е. в том смысле, как я тебе объяснял, — это, право, хорошая атмосфера, в которой отдыхаешь. <...>

Д. 2. Л. 156—158 об.

163

2 марта

<...> Что меня касается, ты, право, напрасно беспокоишься. Инфлюэнцфы у меня, кажется, не было, хотя перед масленицей я был простужен и куксился несколько дней. Может быть, это и была ин-

---

* Распорядителем (*фр.*).

флюэнца, но очень легкая. Теперь я совсем хорошо себя чувствую, как всегда. Огорчил тебя грустный тон моего письма! Да ведь сразу накопилось столько впечатлений. Хоть бы студенческая история! Да, было много пьяных, безобразничали, но ведь это каждый год бывает, а били-то больше трезвых... Скандалы были больше в таких пунктах Петербурга, где никакой драки не было. И говорят, что студенты что-то хотели доказать этим, протестовали. Охота тебе верить инсинуациям! Вот факт, на который наткнулась удивленная полиция: побитыми оказались «белоподкладочники», дети «благородных родителей», и ни одного «радикала», никого из подозрительных протестантов. Попытались раздуть простое безобразное пьянство — и дело, есть на то надежда, поведет к плохому для «охранителей» концу. А еще хуже произвол над профессорами, как Милюков, сосланный в Рязань...

Звучали в письме моем и личные ноты. Тебя удивляет это новое «мы». Это простой и дружеский кружок, и кличку «мы» выдумал Платонов. Тебя напрасно удивляет, что я под этим словом стал разуметь не то, что прежде. Одно другому не мешает. Одно с другим несоизмеримо. Только когда я говорю «мы» про себя и Ю. П. — это ведь целая жизнь, сперва такая радостная, последний год — такая грустная. <...> Дела наши не подвинулись ни на грош. Или я, или мать — этот выбор, стоящий перед Ю. П., слишком тяжел для нее, а мать ставит дело именно так. Я не могу ни требовать, ни даже желать чего бы то ни было. Разрыв с семьей вещь ужасная, а для чуткой, совестливой натуры Ю. П. — невыносимая. Остается посторониться, и, верно, так оно и будет. Конечно, это грустно, но не преувеличивай сожаления. Я бодро и спокойно смотрю вперед. Научные интересы, все углубляясь, захватывают меня, и их хватит на то, чтобы «жизнь моя сложилась по душе», как ты говоришь. Нельзя всего достигнуть, но ведь это еще не причина для уныния. Да и не умею я унывать! Но без людей я жить не умею. Мы с Ю. П. остались вдвоем от старой штиглицевской компании. И вот я попал в другую: форстеновская и платоновская молодежь вдруг сбилась в сплоченный кружок, который шагу не делает врозь и в глазах старших как одно целое. Это весьма неожиданная и любопытная штука. Для меня эта компания лучшее средство отдыха и рассеяния. Все мы — одной школы, более или менее одного склада, отношения простые, настроение беззаботное, пока мы вместе, круг интересов серьезный, тон симпатичный для меня. Вот и все. <...>

Д. 2. Л. 159—161

164

3 марта

Удивило меня то, что ты пишешь про Куликовского. Напиши, о чем он читал и почему так плох. Говорить он что ли не умеет? Каков он на вид? То, что ты называешь толстовским влиянием, — течение независимое от Толстого. Ведь Ожешко и англичане — не за Толстым ведь идут. Мысли «великой» Ожешки и т. п. — ходячие и независимо от Толстого, популярные в нашей молодежи, например в нашем кружке, и кое-кем выражены независимо и получше, чем у Толстого, даже в иностранной литературе.[166] Сегодня мы даем раут Васильевскому у Форстена. Позвали и Платонова. Придется мне хлопотать по хозяйству. <...>

Д. 2. Л. 161 об.—162.

165

10 марта

<...> Эти дни вышли у меня такие суетливые, что я с трудом соображаю, когда последний раз писал тебе. Кажется, после юбилея Васильевского еще не писал. Юбилей этот был 3-го марта, в пятницу. Мы пригласили Вас[ильевского] к Форстену на вечеринку. Всю хозяйственную часть я взял на себя, да и немного ее было. Нас было 11 человек, кроме Васильевского, Форстена и Платонова. За Вас[ильевским] послали меня, и съехались все к половине девятого. Вас[ильевский] был очень в духе, много рассказывал из своих воспоминаний. А их у него много: он товарищ Добролюбова по Педагогическому институту и пережил интересное время. Добролюбов у него выходит не особенно симпатичным. Эти беседы велись в кабинете, куда подали чай, а после 11 ч. в зале накрыли стол. Ужина не было. Был холодный ростбиф, разные закуски и только. Но всего было достаточно и очень вкусно. За ужином засиделись довольно долго. Конечно, и говорили. Первый — Платонов. Толковал о значении Васильевского, через аудиторию которого прошло несколько поколений, и все остались в собственном сознании его учениками; так что Васильевский связал их, эти поколения, в одну группу, несмотря на разницу возраста. Васильевский отвечал пространно и очень искренно, рассказывал, как шло у него дело с самого начала профессуры, и искренно недоумевал, откуда взялось его значение, которое он теперь сам видит, но не может себе объяснить, т[ак] к[ак] рядом с ним действовали люди более сильные, по его мнению, и тем не менее не получили такого удовольствия видеть целую большую группу учеников, да еще разных специальностей, а не только своей. На это пытались ответить двое — Рождественский и я. Рожд[ественский] напомнил о том, что Васил[ьевский] один поддерживал роль истории на факультете, когда она была в загоне, а я — что значение Вас[ильевского] в его личном влиянии, в том заразительном обаянии его широты, осторожности, гибкости мысли, искренности отношений к делу и ученикам. Поужинали и перешли опять в кабинет. Тут долго еще болтали, кое-кто подвыпил, стали петь хором, но все было скромно и мило.

Васил[ьевский], кажется, хочет устроить нам ответный обед, это, пожалуй, лишнее, ну да Бог с ним. Он остался доволен и хочет это показать.

Снялись мы с ним группой. Она вышла превосходно и была готова к юбилею, так что даже в рамку успели вставить. Вышло очень нарядно.

Теперь я на двух группах фигурирую. На одной с Форстеном, а другая эта. Обе одного формата, и обе удачны, хотя вторая много лучше. <...>

А неожиданная у нас вышла среда у Платонова. Он чего-то расходился и вздумал танцевать. Ну и плясали с всеусердием. «Старших» почти не было, и вышло довольно весело. Веселиться-то, по правде сказать, нечего было. Из Москвы все грустные вести. Толпа студентов со слезами проводила Милюкова. Он и сам плакал, а жену его внесли в вагон без чувств.[167] Милюков остаток движения, созданного Ключевским и Виноградовым, а эти генералы посторонились довольно откровенно, когда положение обострилось, и тем усилили удар, павший на тех, кто шел за ними и от кого они отказались. И тут же, во время этой истории, Виноградов обратился с просьбой о деньгах для заграничной командировки в министерство. Невольно видишь в этом желание расписаться в хороших отношениях с начальством, которого он не уважает и не ставит ни в грош, а оно относится к нему с явным недоверием. Некрасиво все это. Ну, да Бог с ними. Перемелется — мука будет. Есть еще порох в пороховницах, не иссякла казацкая сила. Нескольким негодяям, хотя и вооруженным произвольною властью, не задушить жизни наших кружков, только душно нам пока-то. <...>

Д. 2. Л. 163—166 об.

166

13 марта

Прости меня, дорогая мамочка, что я напугал тебя. Видно, я в самом деле долго не писал. Не знаю, как это вышло! Неделя эта была пренелепая, дело в том, что со всякими общественными делами, хозяйственную часть которых я устраивал, и с моею безалаберностью, я попал в кризис, так что взял 50 р. у Вениамина и все-таки сижу буквально без гроша. Папа опять рассердится, но если бы он знал, как трудно быть расчетливым, когда дела касаются других, а не себя. Мне должны больше, чем я кому-либо, но когда получишь? Глупо это, потому что мои деньги не мои, а папины. Ну, да как-нибудь выпутаюсь, хотя не представляю себе, как; нельзя ли выручить? <...>

А я все вожусь с Полным собранием законов. Платонов предложил мне рассмотреть к экзамену вопрос о формах дворянского самоуправления после Петра В[еликого]. Работа интересная, полезная. Материал П. С. З. огромен, и, несмотря на большой интерес, работа идет медленно, и трудно успеть. Кое-как делать не хочется, тем более что добываемые теперь сведения очень существенны для меня, не только для экзамена, но и для будущих занятий. Наш 18-й век приобретает определенную физиономию в моей голове; он гораздо интереснее, чем казалось, и много, много можно еще новенького сделать для его изучения. Заниматься приходится в Пуб[личной] библиотеке, много делать выписок, а это сильно затягивает дело. <...>

Д. 2. Л. 167—168 об.

167

17 марта

Дорогая мамочка, на письмо твое я отчасти вперед ответил 13-го. Юбилей «такой почтенной и заслуженной личности, как профес[сор] и академик Васильевский», не праздновался официально, потому что он тщательно скрывал его и просил не распространять. Нам это было на руку, потому что мы сделали его юбилей своим праздником, и официальное празднование не перебило его у нас. С нашей же легкой руки и официальный характер получился. Один из нас не утерпел и напечатал статью о Васильевском в «Нов[ом] времени». Всполошился ученый мир. В тот же день явились с поздравлениями наши профессора, на другой день прилетели поздр[авления] из Москвы, словом, по мере получения «Нового времени» расширялся и круг желавших почтить Васильевского. Несколько дней все получались поздравления — из Харькова, Киева и т. д. <...>

Отчего это ты, мамочка, спрашиваешь про неофилологическое общество? Это общество, давно существующее под председательством Веселовского, имеет целью занятия новыми литературами (средних и новых веков), в том числе и русской.[168] Говорят, бывают очень интересные заседания, но я там никогда не был. По правде сказать — смерть не люблю словесников! Бог с ними! Как понять и другой твой вопрос о том, к какой «секте» я принадлежу? Боже меня избави от несчастия принадлежать к секте. Наш кружок связан личною дружбою, но никаких общих «догматов» не имеет. Конечно, [мы] во многом согласны. Самая яркая черта разделяемых знаний формулирована лучшим из нас, Полонским, так: «Добрые отношения окружающих важнее приобретаемых знаний» и чего бы то ни было. Пожалуй, и это можно под «толстовство» подвести! Только чудно простую, азбучную мысль, которая к тому же не мысль вовсе, а настроение, приписывать кому бы то ни было и вообще чужому влиянию. У тех из нас, у кого это настроение продумано, оно связывается с критической философией, неокантианством школы Введенского. Это полезно только как устранение предрассудков, условностей, мешающих простоте и искренности отношений. И самолюбие у нас особого рода: мы не любим слыть умными, а если кто скажет, что с нами в кружке нашем хорошо, уютно, мы и рады.

Вчера было у «нас» шитье, т. е. барышни шили детские рубашки для школы Форстена (народной в Новгородской губернии, где он попечитель церковно-приходской школы), а кто-нибудь должен был читать. На этот раз мы отняли работу у одной из барышень, которая пре́восходно читает, и просили прочесть две вещи Короленко: «Река играет» (помнишь, в «сборнике в пользу голодающих»?) и «Чудна́я».[169] Последний рассказ — запрещенное лондонское издание, про ссыльную, которую вез солдат; от лица его и речь ведется. Вещь превосходная, глубоко трагичная, при удивительной простоте. Тенденции, строго говоря, никакой. И запрещено умным цензором не содержание повести, а то неотразимое щемящее чувство, которое от нее остается. Прочитана вещь была очень тонко, что еще усилило впечатление. Жаль, что трудно достать эту брошюрку.

«Жизнь кипит», — говоришь ты. Хорошо, если бы так было. Да бывают минуты хорошие, но что-то не то вообще. Жизнь идет в маленьких, очень личных интересах, неуловимых настроениях, отвлеченных интересах... Это ли кипучая жизнь? Это «пьянство от жизни», как говорит Толстой — хотя и самая благородная из форм его пьянства.

Что у нас нового? Дело о 8-м февраля, кажется, почти не может быть замято. Один из судебных следователей по особо важным делам ведет следствие энергично. Полиция явно лжет в показаниях, одна полицейская инстанция валит на другую, и путаются все. Улик, доказывающих, что дело сводится к искусной ловушке, немало. Дворники получили приказ быть готовыми к вечеру идти на Невский в одних армяках, потому что придется действовать руками, — еще с утра, а иные накануне. Вот и вините студентов, что они своими безобразиями довели полицию до драки. Свидетели, утверждающие это, не студенты, а домовладельцы с графом Шереметевым (дом на Фонтанке) во главе. Наверху борются три партии: 1) Муравьев, Витте и К°; 2) Рихтер, Дурново и К; 3) Лобанов-Ростовский, Волконский и К°. Вторая, конечно, доживает последние дни, а что такое третья, я не знаю. На место Валя прочат какого-то казачьего генерала Варламова.[170] А про ссоры цариц я не слыхал. Мария Федоровна уехала в Данию. Видно, не ужилась. И Бог с ней. Мало добра-то от нее видели. А какова молодая — кто ее знает? <...>

Ай, мамочка, как финансы плохи!

Д. 2. Л. 169—172 об.

168

24 марта

Вот и Пасха близко, дорогая мамочка, как время-то летит! В воскресенье Ю. П. уезжает в Тифлис. Произошло нечто странное: ее неожиданно объявили окончившей школу, дают раньше срока диплом и отправляют без выпускной композиции — домой. Она очень огорчена тем, что ее лишают возможности конкурировать с остальными на заграничную поездку. И правда, это явное нарушение правил школы, тем более, что по отметкам она из лучших в классе композиции, а по мнению преподавателей, способнее Цейдлер. Но у них в школе решает все директор по усмотрению. Завтра мы едем на завод — прощаться. С нами едет и Полонский, которому нужно осмотреть помещающуюся дальше Пороховых колонию малолетних преступников. Ему предлагают место директора такой колонии в Таганроге; он принимать не собирается, но делом заинтересовался. Итак, Ю. П. уезжает. К чему это поведет, я не знаю. Думаю, что... Впрочем, ничего не думаю, ничего не понимаю. Придется опять ждать, так как есть шансы и за, и против. Ну, да там видно будет.

В среду Форстен уехал на две недели, а то и больше, в Киев и Одессу. Мы всей компанией провожали его на вокзал. Остался наш кружок без главы, но не унывает. Вчера опять шили и читали (рассказы Ожешко), а сегодня в Думе дебютируем в чтениях для народа с туманными картинами. Впрочем, я останусь в роли зрителя. Читают Леванда и Адрианов. Это в залах Думы. Покутил я за последнее время — куплеты Мазини слушал и остался очень доволен: он несравненно проще и музыкальнее, чем я думал. А что у вас нового, мамочка? Как твое и папино здоровье, как служебное положение папы? <...>

С занятиями моими дела обстоят все так же. Я мог бы успеть к концу апреля, но не знаю, будут ли такие факультетские заседания, где в конце апреля или начале мая можно было бы держать экзамены. У нас эта охота магистрантов за факультетскими заседаниями всегда неопределенна, и сроки экзаменов оказываются зависящими от случайности. <...>

Д. 2. Л. 173—174 об.

169

29 марта

<...> Говорил с Платоновым, и тот обещал попытаться меня устроить и найти уроки с осени. Завтра пойду к Лаврентьеву, помощнику попечителя. От него я прямо ничего не добьюсь, но надо поговорить. А затем жду Форстена. Трудно в Петербурге устраиваться, но раз нужно — перебьемся. Верно, не обойтись без частных уроков и журнальной работы. Относительно же экзамена дело выходит курьезно. Нам, т. е. нескольким магистрантам, заявили, что нынче весной держать совсем нельзя, потому что-де и так у факультета дела по горло. Платонов настаивает на этом и даже такой резон приводит: до экзаменов можно деньги с университета получить, а после не дадут. Он предполагает даже похлопотать о назначении мне стипендии и тогда заставит меня растянуть экзамены на весь будущий учебный год, против чего я, строго говоря, ничего сказать не могу, потому что, раз приготовишься, не все ли равно, когда держать? А отчего не получать 50 р. в месяц, если дадут? Вот только дадут ли? Сегодня на улице видел Кареева, и он говорит, что лучше всего держать так: начать осенью, а кончить весной. И странные они люди, то торопят, а то тормозят. С Платоновым у меня буквально такой разговор был: «Когда же я, Сергей Фед[орович], могу экзамены начать?» — «Нельзя, А[лександр] Е[вгеньевич], подайте теперь же прошение, для очистки совести, а экзаменовать будем осенью». То же сказал Введенский Лапшину. Видишь, мамочка, материальная сторона дела стоит неопределенно; но ведь сегодня только 3-й день, как я пытаюсь ее выяснить. Во всяком случае пока что надо усиленно работать к экзаменам. На лето я очень рассчитываю. Ю. П. поехала в Тифлис на время. Потом будут переезжать в деревню, в Сувалкскую губ[ернию]. Мих[алина] Мих[айловна] находит, что приданое лучше делать в Вильно и вблизи от Петербурга. Ю. П. думает, что свадьбе раньше Рождества не бывать. Стало быть, надо воспользоваться этим временем возможно дельнее. Крайне улыбался мне проект твоего приезда к Ефремовым в случае, если папа возьмет отпуск для лечения. А теперь это оказывается невозможным. Мне же уехать на все лето в Рыжов едва ли будет удобно. Во-первых, многих пособий я приобрести не могу, а во-вторых, надо быть начеку с погоней за учительством. Пока я это

вообще говорю, а затем все это за апрель и май выяснится. Теперь же я пока продолжаю старое дело, да еще Платонов заказал мне рецензию на диссертацию дерптского профессора Филиппова «История Сената в эпоху Верховного Тайного Совета».[171] А потешные вы с папой, право: чего вы с «кружком» моим перепугались? Ты пишешь о «надзоре полиции»! Папа испугался слова «обществ[енное] дело»! А, кажется, ясно я писал, дела состояли в выпивке и фотографических группах. А «кружок»! Боже ты мой, да это кружок взрослых детей, веселых школьников — и только. Серьезные врозь, шалят и болтают пустяки вместе. Да и то серьезное, что лежит под этой внешностью, так далеко от чего-либо «неблагонамеренного»! Эта непринужденность, простота и искренность тона, которую мы всюду вносим, становится чем-то серьезным, когда мы чувствуем, что люди, приглядевшиеся к нам, не в силах держаться чего-либо деланного, условного, рады моментам, когда могут быть детьми. Мы переделали немного натянутый тон платоновских сред — вот вся наша «пропаганда»; мы внесли веселый тон на благотворительный базар в Думе, то же и на вторники у Чуйко, и т. п. За это ли попадают «под надзор полиции»? Читали мы вместе рассказы Короленко, Ожешко, статьи Овсянико-Куликовского... Все это скорее наивно и забавно, чем «неблагонамеренно». С таким «кружком» осторожным быть нечего. Ты хочешь знать, кто члены этого «кружка» и каковы мои к ним отношения. На первом месте для всех стоит Александр Яковлевич Полонский, сын поэта (ничего общего с хроникером «Сев[ерного] вест[ника]» не имеющий). Это необыкновенная натура. Глубокая сердечность, искренняя прямота, дар вносить всюду особенное, дисциплинирующее, в нравственном смысле слова, влияние — производят то, что все к нему как-то особенно относятся, бережно, с любовью и доверием. С ним мы очень близки. Он знает и Ю. П., был у нее, и друг другом они довольны. В субботу он ездил с нами, т. е. со мною, Ю. П. и Манизерами, на Пороховые. Этот войдет в наш оборот, потому что всем он по сердцу, а сам легко сходится и всех мне симпатичных тоже полюбит. Мы ездили с ним с Пороховых в колонию малолетних преступников. Дело в том, что хотя он служит в Министерстве финансов, но службой этой тяготится, потому что через его руки идут дела о евреях, разрешаемые часто бессовестно и безбожно. Да и вообще — не чиновник он. А теперь председатель Таганрогского суда предложил ему занять место директора вновь устраиваемой колонии под Таганрогом, советовал, прежде чем ответить, познакомиться с Петербургской колонией. На этот раз мы должны были удовлетвориться разговором с директором, потому что он болен и не выходит. Кажется, дело это очень трудное, хотя донельзя хорошее, и Полонскому с его серьезной сердечностью было бы по плечу, если хватит нервных и физических сил, которых у него, к сожалению, немного. В пятницу на Святой поедем осматривать колонию.

Страшно ему что-либо советовать, жаль отпустить его — и я молчу. Пусть думает один. Ну, знаешь, мамочка, будет с тебя пока и одного. Об остальных когда-нибудь потом. И так много написал. Надо еще кое-что написать на предшествующее письмо. Жаль, что опять пришлось огорчить папу. Спасибо ему, что избавил меня от долга Вениамину. А что касается моих финансов, то я постепенно получаю, что следует, так что затруднения мои были временны. До мая мне за глаза хватит. <...>

Такие-то дела, дорогая мамочка! Как сложится окончательно судьба моя? У меня мало беспокойства. Дай Бог, чтобы это было хорошим знаком. Все кругом, кто только знает, так рады![172] Платонов был очень мил со мной, мы с ним даже расцеловались. Любопытно бы поскорее повидать Форстена. Не вовремя для меня он уехал. <...>

Д. 2. Л. 176—181

170

8 апреля

<...> Папа опять говорит о Министерстве финансов: трудно это. Вот Полонский попал туда, да еще по желанию самого Витте, знакомого с его отцом, и почти год уже не получает жалованья. А потом за 5—6 часов в день дадут гроши! Уроки, если бы их удалось достать, дают в казенной гимназии 30 р. за 6 уроков в неделю, а в частных 25 р. за 3 урока. Конечно, много их нужно, этих уроков, чтобы жить ими... и достать в Петербурге — нелегко. Помощника попечителя Лаврентьева я не видал; ездил 4 раза в назначенные часы, и все его не было. В понедельник Платонов его увидит, не знаю, что может выйти из их разговора. В понедельник же приезжает Форстен, надо с ним поговорить. Сегодня же я зайду к Платонову поговорить о Публич[ной] библиотеке.

Из Тифлиса пока нет вестей. Я в среду получил от Юли письмо из Казбека. Надо иметь в виду, что если нам устраиваться в середине зимы, то это будет нелегко. Пожалуй, придется осенью захватить квартиру. Это имеет свою убыточную (хотя и немного) сторону, но, говорят, иначе нельзя. <...>

Во вторник всей компанией, «кружком» были на репетиции «Псковитянки» Римского-Корсакова, в четверг были на первом представлении — опера очень интересная, но идет неважно. А в среду, о, среда была «гомерическая»! Платонов затеял танцы. Было очень оживленно, танцевали до упаду; я с непривычки еле домой пришел, голова кружилась от жары и усталости. А все-таки было весело. <...>

Д. 2. Л. 181—183 об.

171

12 апреля

Дорогая мамочка, что у вас там? Как папино здоровье? <...> Пишу тебе просто так: поболтать с мамой хочется. Приехал в воскресенье Форстен, прислал за мной. Обещал тоже посодействовать относительно уроков. Приехал он бодрый, загорелый, веселый — любо-дорого смотреть, в восторге от путешествия: он побывал в Киеве, Одессе, Ялте и Москве. Вчера были его именины: мы поднесли ему издание иллюстраций Каульбаха к Гете и провели очень милый и оживленный вечер. Форстен много пел. За столом говорили разные сердечные вещи. Да, мы, кажется, в самом деле друг другу нужны, члены «форстеновского кружка». Как-то будет в будущем году? Любопытно. <...>

Сегодня надо пойти к Платонову, чтобы присмотреться к киевскому профессору Бубнову. Мы все мечтаем о том, чтобы его перевели в Петербург на место выслужившего срок Соколова. Пора возродить древнюю историю в Петербурге, вконец загубленную стараниями Соколова. Тут есть легкое неудобство: Бубнов не классик, а у нас существует нелепая традиция, чтобы древнюю историю отдавать на растерзание классикам. Кроме того, Васильевский хочет на свое место, на среднюю историю, посадить Гревса, а тот даже не магистр, в то время как Бубнов — доктор по средней истории (читает он в Киеве древнюю). Вот, пожалуй, Васильевский и не возьмется энергично за дело Бубнова, боясь, не повредило бы это Гревсу. А факультету они оба нужны, дополняя друг друга. Смерть хочется поговорить об этом с Васильевским. Не утерплю, больно дело важное для факультета. Да, наука и научная среда стали мне совсем родными. Устроить бы еще личную жизнь, и поплывем на всех парусах. Трудностей я не боюсь, они нужны мне, больно я избаловался, больно легко жилось, хочется серьезного дела, ой, как оно притягательно. <...>

Д. 2. Л. 185—186 об.

172

22 апреля

<...> Жаль, что мне никак нельзя удрать отсюда. Надо хлопотать, искать заработку. Пока только намеки, ничего определенного. Я начинаю склоняться к мысли поискать чего-нибудь и вне педагогики. Но как? Сходить к Новосельскому? Впрочем, едва ли из таких попыток что-либо выйдет. А уезжать в провинцию не хотелось бы, т. е. не то что не хотелось бы, а как-то странно ввиду того, что против этого будут, вероятно, все близкие. Самому мне это бы ничего, уехать-то, но мысль покажется неприятной и тебе, и всем другим. Подождем. Во всяком случае, пока что-нибудь не выяснится, уезжать отсюда нельзя.

Пока что навожу справки и жду момента, когда можно будет подкараулить какую-нибудь из имеющихся в виду вакансий. Все это дело случайности и знакомств. Как-то Бог поможет. Теперь я кроме этого занят еще рецензией на появившееся издание летописей д[окто]ра Лебедева. Помнишь тульского доктора? Он прислал мне экземпляр своего издания через Бестужева, надо приготовить отзыв в журнал Министерства народного просвещения. Издание довольно нелепое, и писать придется осторожно, чтобы указать все нелепости, никого не обидеть.[173] <...>

173

27 апреля

<...> У меня пока все ничего нового нет. Побывал у нескольких немецких педагогов: обещали поискать места. Попал я к ним так. Сестра m-me Цейдлер, m-me Мау, вдова бывшего владельца «гимназии

Мая» на Васильевском острове, снабдила меня рекомендациями к Сент-Илеру, директору Учительской семинарии, и Кенигу, директору Annenschule. Кениг принял меня очень мило и обещал следить за открывающимися вакансиями, сообщая мне и рекомендуя меня. Все это журавль в небе.

Тем временем настрочил я статейку в Жур[нал] мин[истерства] о летописях.[174] Вчера отдал ее Платонову. Он уходит из редакции журнала, а на его месте будет Чечулин. Но пока он еще заведует делами в редакции. Вчерашний раут у Платонова принял неожиданно обширные размеры. Дело в том, что вчера была последняя среда перед отъездом семьи Платонова на Волгу. (Они наняли дачу в Ярославской губ[ернии].) Наехало народу много, и потому было довольно скучно. А были все знакомые, посещающие среды. Не хватало Форстена, который опять уехал в деревню, Новгородскую губернию. Он попечитель двух церковно-приходских школ и очень горячо относится к этой своей обязанности. Учителю платит добавочное содержание из своего кармана и вообще постоянно следит и хлопочет о своих школах. С ним мы расстались до 2-го мая. Зато у Платонова были и новые люди — директор курсов Раев с женой. Раев добродушная и очень незначительная личность. Но для курсов он полезен, очень хорошо к ним относится и провел там выработанную профессорами реформу. Теперь курсы делятся на два факультета (филологический и физико-математический) с деканами во главе. Деканом назначен Платонов,[175] и право преподавания в старших классах женских гимназий за курсистками признали. Glück auf! <...>

Д. 2. Л. 189—190 об.

174

3 мая

Дорогая мамочка, в понедельник, 1 мая, я получил твое письмо с деньгами и решил подождать с ответом до следующего, о котором ты писала, что оно придет на следующий день. Но его еще нет, а сегодня я переехал на Пороховые (вещи еще в субботу перевез). Надоело мне в городе, а особенно в моей «меблированной комнате». Тут я у своих, да еще на свежем воздухе. Куда лучше! Заниматься тут спокойнее, чем в доме Мурузи, стоящем у всех на дороге, так что всегда кто-нибудь да зайдет. Наезжать в город за справками и отсюда нетрудно: за двугривенный к Смольному довезут. Пока мои дела, конечно, неопределенны. От Кенига, директора Annenschule, взявшегося следить за вакансиями, пока нет известий. Зато в воскресенье я получил записку от m-me Цейдлер, по поручению Кракау, директора гимназии Мая, приглашавшей меня явиться к нему. Вчера я был у него. Оказывается, что в его гимназии будет новый класс, и он обещал, по возможности, доставить мне уроки, когда дело станет на официальную почву. Просил я и его, если услышит что-либо, вспомнить меня. Кроме того, брат m-me Цейдлер, преподаватель в Пажеском корпусе, сулит мне уроки в этом учреждении. Все это журавль в небе... Остается ожидать и надеяться. <...> Переходные времена всегда нелегки, из Тифлиса известий очень мало, а впрочем, ничего, не особенно унываю. В воскресенье вечером занимался с «нашими барышнями» латынью к экзамену, побывал на островах, в следующее воскресенье шаферствую на свадьбе Куманина. Это последнее обстоятельство довольно нелепо; надевать фрак и т. п. ... бр-р! Утешаюсь у Манизер, милые они люди. Теперь у них переворот: решились-таки нанять мастерскую и квартиру Репина; дорогонько оно для них, зато будет где работать, стало быть, и зарабатывать. На лето они едут в Финляндию, зовут на недельку к себе. Если бы время и занятия удобно сложились, пожалуй, слетал бы... А, впрочем, верно, не соберусь. Когда я домой в Харьков соберусь — не знаю. Все в руках Божиих, как дела сложатся. Прости, мамочка, что мало пишу. Теперь время глухое, время ожиданий, стало быть, серое. Живу изо дня в день, книги читаю и бегаю. <...>

Д. 2. Л. 191—192 об.

175

12 мая

Дорогая мамочка, опять я тебе довольно долго не писал. Дело в том, что все это время я промотался в городе по делам своим. В воскресенье нужно было быть на свадьбе Куманина; я и поехал в субботу, чтобы побывать вечером у Форстена. На другой день обедал у Куманиных, после обеда облачился в фрак и, вооруженный клако (взятым у Полонского) и перчатками gris-perle,* отправился в церковь в качестве шафера. Венчание происходило в домовой церкви Семеновского госпиталя (против Царскосельского вокзала). Свадьба была скромная, но чинная. Отец Куманина большой знаток ритуала и выделывал все «по обычаю». Народу было немного, пускали в церковь только приглашенных, а их было человек 40. Из церкви перешли в квартиру смотрителя госпиталя. Тут поздравили молодых с шампанским и разошлись. Мы, т. е. Форстен и мои товарищи, отправились к Лапшину помузицировать. В понедельник отец Куманина давал обед молодым и шаферам. По счастью, обошлось благополучно, т. е. без большой выпивки; благополучно, хотя меня посадили между двумя дамами, которых я в первый раз видел: между матерью и теткой молодой. Куманины поселились на Невском, недалеко от Александро-Невской лавры. Квартирка небольшая, всего 3 комнаты, но удобная и недорогая (35 р. с дровами). Я был у них во вторник — у них уютно. Дай им Бог. Что касается моих дел, то я ездил от Платонова к некоему Цветковскому, преподавателю словесности в Академии Генер[ального] штаба и в Пажеском корпусе. Он может помочь мне получить уроки в гимназии Таганцевой. Это те самые уроки, на которые Платонов рекомендовал меня еще в августе. Тогда меня не было в Петербурге, и получил их Васильев. Теперь Васильев их оставляет и сам хочет передать их мне. К сожалению, им там недовольны, так что, пожалуй, он и мои дела испортит. Но Цветковский обещал помочь. Кроме того, он сам предложил мне лекции в Павловском училище (по истории литературы) — это взамен Пажеского корпуса, куда переходит преподаватель Павл[овского] училища. В воскресенье увижу Платонова и, может быть, еще что-нибудь узнаю.

---

* Цвета перламутра (*фр.*).

От Цветковского, у которого я был в среду, я пошел к Постниковой. В половине 7-го туда является Адрианов от Полонского с карточкой Коли Палибина. Оказывается, что он явился на 2 дня в Петербург, искал меня и не нашел. Положим, что искать меня в Петербурге, все равно, что ветра в поле. Я сейчас же поехал в Преображенские казармы, т[ак] к[ак] Коля писал, что уезжает в среду же с курьерским. <...> И мне пришлось еще на день остаться в городе, чтобы его проводить. После отхода поезда я отправился на Пороховые с Адриановым. В первый раз поехали по Ириновской дороге. Это сообщение было бы удобным, если бы не жара, которая стоит у нас. Вот теперь — 9 часов утра, а в тени 17 градусов. Утро совсем тифлисское, как говорит Вениамин. А наши бедные барышни в такую погоду экзамены держат! По счастью, остался один, последний. Мне со всеми этими хлопотами мало времени для занятий. Постоянно летать с Пороховых в город неудобно, и я по мере надобности ночую у Полонских.

По-видимому, мне суждено стать преподавателем словесности. Авось пойдет дело, если достану достаточно уроков.

Вот и все мои новости. Сижу у моря и жду погоды. Забрасываю разные удочки: кажется, клюет. <...>

Д. 2. Л. 193—196

176

20 мая

Дорогая мамочка, прости — опять долго не писал тебе. Да и от тебя что-то вестей нет. У меня тут очень суетливо. Переселился на Пороховые, а в городе постоянно приходится бывать, так что то и дело ночую у Полонского. Вот и сегодня я в городе — надо повидать Форстена. Кажется, ему удастся доставить мне уроки в гимназии кн[ягини] Оболенской, рублей на 50. Еще если выгорит дело с Таганцевой да с Павловским училищем, то этих трех заведений будет достаточно.

Получил я вчера письмо от Петра Вик[ентьевича] Кимонта с окончательным согласием. Дело за подробностями. Юля пишет, что ее отец склоняется к поданной ею мысли воспользоваться их проездом из деревни на Кавказ в конце июля, чтобы покончить всю процедуру в Харькове. Тифлис очень был бы не симпатичен как место свадьбы ввиду массы ненужных знакомых; кимонтовское имение невозможно по множеству родных; Петербург — но зачем всем ехать сюда? Если ты с папой [ничего] не имеете против, я буду поддерживать Харьков. Затем покончить дело до рабочего времени для меня было бы лучше, спокойнее. Работать легче, когда положение определится, чем в переходном состоянии, которое, конечно, утомляет и надоедает. Для меня это было бы поистине очень существенно.

Как видишь, положение мое определяется и осложняется. Слава Богу, пора быть чем-нибудь. Дела будет много, тем более, что как раз теперь наладился наш давнишний проект напечатать курс средней истории Васильевского. Мне придется писать для этого издания историю городского движения во Франции.[176] Положим, это вопрос из магистерской программы, но все-таки это увеличивает количество работы. Теперь еще два практических вопроса. Ты как-то поминала о «моем приданом». Я согласен с Катей, что кое-что нужно приобрести, но лучше и дешевле сделать это в Петербурге, поручив ей. Затем, если мы покончим дело в июле, буде папа и ты ничего против этого не имеете, то возникает вопрос о квартире. Теперь это в Петербурге вопрос трудный. Все жалуются на ограниченный выбор и дороговизну. Мне предлагают хорошенькую квартирку на Бассейной, теплую и светлую, в хорошем, чистом доме, с хорошим ходом, три комнаты за 39 рублей с дровами. Манизеры уверяют, что этого упускать не следует. Но неудобство в том, что придется заплатить по 30 р. за июнь и июль, т[ак] к[ак] ее передают с июня. Хозяин будет делать полный ремонт. Напиши, как отнестись к этому предложению. Вот самая существенная часть моих новостей. Время проходит теперь так, что я, конечно, все эти две недели немного мог заниматься. Вот и это письмо я пишу в городе, у Манизер. Их дома нет, но и писать мне больше негде. Настроение у меня самое хорошее, спокойное, жду только с нетерпением, когда определится мой образ жизни, что окончательно приведет меня в равновесие. Сомнений в том, как возьму я на себя столько дел и обязанностей, у меня нет. Все, что нужно, будет сделано, потому что должно быть сделано. А сил хватит, ведь недаром же все уверены, кто знает меня, что их у меня достаточно. Glück auf!*

Беспокоит меня, что давно нет известий о тебе и папе. Здоровы ли вы, мои дорогие? Кстати, о моем кашле. Вчера доктор Полонских выслушивал меня и уверяет, что если я покашливаю, то это только катар горла, незначительный и поддерживаемый курением; и в бронхах он ничего не нашел. Я думаю, что он прав.

Петербург начинает пустеть, а наш «кружок» разъезжаться. Платонов полетел на Волгу, но еще вернется. Форстен 3-го июня уезжает за границу. Один из моих товарищей, Полиевктов, — в Крыму; сегодня одна из «наших барышень», Чуйко, уезжает в Челябинск. Любопытно, сохранятся ли эти «кружковые» отношения в будущем году. Я, конечно, хотел бы, чтоб университетский круг был кругом Ю. П. Мои друзья пойдут ей навстречу с радостью, и, верно, они ей понравятся. <...>

Д. 2. Л. 197—199 об.

177

[*Письмо отцу*]

20 мая

Дорогой папа, только теперь я в состоянии ответить тебе на давно предложенный тобою вопрос о моих планах на будущее. Вчера я получил письмо от П. В. Кимонта о согласии его на мой брак с Ю. П. Ей и мне он предоставляет решить, когда и где устроить свадьбу. Дело это настолько затянулось, столько всем крови испортило, что надо кончать. Лично я, и Ю. П. также, думаем, что лучше отделаться от всяких хлопот до того, как я буду занят по горло, т. е. до осени. В начале июня Кимонт едут в деревню, в конце июля возвращаются в Тифлис. Я писал маме, почему и Тифлис, и кимонтовское имение крайне несимпатичные для меня пункты для свадьбы. Я предпочел бы, если будет на это твоя санкция, — Харьков, на обратном пути Кимонт из деревни на Кавказ. Надеюсь, что раз ты согласишься на это, то и родители Юлии Петровны возражать не станут. Мои перспективы на устройство в Петербургском учебном округе я сообщал в письме на мамино имя, и [они] тебе известны. Пока ничто не поставлено на официальную почву, но это и невозможно до конца месяца, пока идут экзамены. Во всяком случае, я считаю себя вправе взять на себя ответственность за свое будущее хозяйство при тех 75 р., которые ты так добр оставить за мною. Если действительно окажется возможным разрубить гордиев узел моих планов до осени и этим развязать себе руки на зиму, то возникает вопрос об устройстве моего будущего хозяйства. Ты говорил мне прошлым летом в Рыжове, что поможешь мне в этом. Я знаю, что теперь, благодаря Палибиным и Ефремовым, для тебя время трудное; но мое положение таково, что ты сам не одобришь дальнейших проволочек. Кроме того, и устройство мне гнезда должно быть самое скромное, насколько только возможно. Я писал маме, что мне предлагают подходящую квартиру за 39 р. в месяц, и боюсь пренебречь ею ввиду квартирного кризиса, на который со всех сторон жалуются все в Петербурге. Но дело в том, что эту квартиру пришлось бы взять с 1 июня, платя по 30 р. за летние месяцы, что составляет лишних 60 р. Напиши поскорее, стоящее это дело или нет.

---

* Дай Бог! На счастье! (*нем.*).

Что касается моих занятий, то покончить с неопределенностью для них совершенно необходимо. Дела будет много, но Господь поможет, была бы охота; а ее у меня много, она у меня — вторая натура. Вот все мои соображения, какие есть. С нетерпением буду ожидать твоего совета и указания. Петр Викентьевич пишет мне, чтобы я, переговорив с тобою, сообщил ему наше решение, списался с Ю. П., а он-де заранее согласен. Беспокоит меня, не поставлю ли я тебя в затруднительное положение. Не сердись, дорогой папа, за эту оговорку; я знаю, что ты их не любишь, оговорок таких. <...>

Д. 2. Л. 200—201 об.

178

23 мая

Дорогая мамочка, измучили тебя твои дети. <...> Сколько новостей приходится переживать тебе одну за другой! Одно могу сказать: за меня тебе беспокоиться нечего. Теперь мои дела идут в гору, и хоть, может быть, будет и трудно первое время, все-таки la grande bataille de ma vie est gagnée.* Не знаю, почему вы с папой так скептически относитесь к моему будущему преподавательству. Нового в этих моих планах нет ничего. Пересмотри мои письма за весну 93 года, ты увидишь, что учительство и тогда казалось мне наиболее желательной карьерой. Подумай сама: если я получу обещанные уроки, то каждые 6 уроков в неделю (в частных гимназиях, где я и ищу) дадут мне 50 р. Поступи я чиновником в министерство — я дослужусь, как Полонский, до 60—70 р. после года службы без жалованья — и это за 5 ч. в день, т. е. за 30 ч. в неделю. Ты думаешь, что учительство отобьет охоту от диссертации. Но ведь при учительстве я свободен хоть летом, а при службе иной — занят весь год; при учительстве я занят не больше 3—4-х часов в день, а там — не меньше 5-ти. Кроме того, преподавая, я веду самостоятельное дело, которое мне по сердцу, и преподаю то самое, чем и для себя занимаюсь, а не делаю такого дела, которое мне чуждо, скучно, а подчас, как случалось с товарищами-чиновниками, и противно. Нет, мамочка, и денежный расчет, и интересы занятий — все за учительство. Если я склонялся к чиновничеству, то это в минуты апатии, в трудные времена, когда я не чувствовал в себе достаточно свежести для преподавания. А теперь я опять такой, каким кончал университет, бодрый и спокойный. С семьей на руках я вдвое больше сделаю, чем один; ты достаточно знаешь меня, чтобы согласиться с этим. Теперь ты уже получила мое письмо с тифлисскими известиями. Надеюсь, что это письмо успокоило тебя. С осени — я семьянин и преподаватель русской словесности, т. е. человек с определенными обязанностями, определенным делом. А разве этого мало, если прибавить сюда личное счастье? Конечно, материальное положение может оказаться очень и очень скромным, но я и без папиной поддержки не побоялся бы взять на себя новые обязанности. Литература и частные уроки могут пополнить всякие прорехи в карманах.

---

* Великая битва моей жизни выиграна (*фр.*).

Новости, которые ты сообщаешь про наших: о переезде Карповича на Кавказ, о Палибиных, а я могу еще прибавить известие о переезде Мани в Москву, — свидетельствуют, что опять забродила наша семья. Пора бы ей установиться. Я бросаю прочный якорь. Палибины устроятся в деревне. Миша, верно, доволен возвращением на Кавказ. Будем надеяться, что и папины дела сложатся удовлетворительно после новой передряги. Бедный папка, опять волнения, опять они отзовутся на его здоровье, пожалуй. Напиши, мамочка, как он себя чувствует. Очень бы мне хотелось поскорее слетать в Харьков. Да пока дела не пускают. Завтра поеду в город к Форстену; на днях приезжает Платонов. Оба они мне нужны. А когда отделаюсь от хлопот, и если дальнейшие планы останутся такими, как я теперь предполагаю, т. е. что свадьба моя будет в Харькове во второй половине июля, то, может быть, лучше приехать к вам, как только можно будет, и вплоть до того времени. Занятий на это время хватит и домашних, т. е. по собственным книгам, которые я привезу с собой. <...> Завтра мы, т. е. Форстен и К°, едем в Царское. Может быть, порешено [будет] мое дело с гимназией Оболенской, что было бы очень приятно. <...>

Д. 2. Л. 202—205 об.

179

2 августа

Прости, дорогая мамочка, что только теперь собрался писать тебе. Наша квартира только вчера приняла сколько-нибудь человеческий вид: принесли письменный стол, который после отделки вышел превосходным, и буфет, купленный по случаю. Нельзя сказать, чтобы мы совсем устроились, но, по крайности, сегодня обедаем уже дома. Прислугу нашли через Юлину протеже, Феклу. Зовут ее Катя, хотя она пожилая, но чистенькая, симпатичная, авось будет подходящая. Стирать будем дома с помощью поденщицы — той же Феклы.

Теперь у нас столовая совсем готова: вышло уютно, хотя стоят там только стол, стулья и буфет; купили хорошенькую лампу. В гостиной-кабинете не хватает только столика и этажерки. Книги на полках уставились все, да еще целая полка свободная, а на других есть много места: успех неожиданный. На стену повесили ковер, на полу другой; купили стоячую лампу, не такую, как у Ефремовых, не черную, а светлую. В спальне поставили оттоманку, Юля устроила себе кружевной туалет для маминого зеркала и маминой свадебной шкатулки (кстати, прекрасно отремонтированной Тренти), а я прикупил ей туалетный прибор. Все вместе выходит очень мило, весело и уютно.

Теперь о делах моих. Был я у Плеске еще раз, подал ему докладную записку, и он послал меня к правителю канцелярии. Этот весьма обстоятельно разъяснил мне, что к занятиям меня допустят, но штатного назначения мне трудно будет добиться у них, если я не хочу в провинцию. Скорее можно попасть не в главное управление Государственного банка, а в Петербургское отделение его, но такое назначение не зависит от Плеске, так что тут помочь может только протекция Вениамина Николаевича. Я передал Вениамину записку, предназначаемую для директора банка Гнедича. Ефремовы были вчера у нас все. Катя приехала с детьми, а Вениамин явился сам по себе, потому что по делам был на Охте. Тут мы с ним и состряпали записку. Во всяком случае, я начну ходить в банк, пока не выяснится, в чем дело. Авось как-нибудь да устроимся. <...>

Д. 2. Л. 206—207.

180

6 августа

Дорогая мамочка, дела мои наконец уладились. В департамент мой нач[альник] отделения разрешил мне являться на службу вместо 12-ти час[ов] — раз в неделю в час, а раз — в 2. Я и буду читать на курсах два раза в неделю: раз от 11 до 1 часу, а другой — от 12 до 2-х. По каким дням, еще не решено. На следующей неделе начинаются лекции... Уроки у Мая думаю передать Полиевктову. Со всем сразу, пожалуй, не управишься. Я говорил с директором: он недоволен, но сегодня переговорит с Полиевктовым, авось сойдутся. Конечно, я уроков не брошу, пока некому их передать. Такие-то дела! И Адрианов на днях начнет ходить к нам в департамент. Будем вместе работать. Надо к лекциям подготовиться, а пока не знаю, с чего придется начинать. Слышал, что на первом курсе Сиповский вместо того, чтобы дойти до Смутного времени, добрался до татарского ига.

Увы, заходил ко мне Полиевктов сообщить, что уроков взять не может. Неужели же не найду, кому передать уроки? Это было бы грустно. Сегодня получил приглашение явиться в 2 часа на собрание педагогического совета курсов, в понедельник 11-го — молебен, а там и за лекции! А я еще не знаю в точности, откуда мне придется начинать курс. Завтра нужно будет узнать.

Юля завтра вечером едет в Вильну, а вернется во вторник утром. Оно и хорошо. Пятница — праздник, воскресенье тоже; будет время написать свои первые лекции. Конечно, Юля-то мне не помешала бы, но, может быть, в одиночестве я лучше сосредоточусь для первых ответственных шагов.

В департаменте все по-прежнему. Сегодня, впрочем, случился курьез: к нам как-то попал на рассмотрение проект нового закона об охоте, составленный мин[истром] госуд[арственных] имуществ, проект, вызывающий, по-моему, сильные возражения, а отзыв о нем поручили писать мне. Завтра настрочу, авось одобрят. Я еще не докладывал начальнику отделения своих соображений, надеюсь, что он признает их правильными. Дело это вовсе к нам не относится, но т[ак] к[ак] нужен отзыв М[инист]ра ф[инанс]ов, то приходится писать нам. О назначении моем доклада еще не было, вероятно, завтра доложат. Теперь бы только развязаться с уроками! Я говорил уже об этом директору, он ведь и взял с меня обещание не бросать его, пока не найдется заместитель... В общем, дела складываются как нельзя лучше. Дай Бог, чтобы все пошло дальше так, как началось... <...>

Д. 2. Л. 208—209 об.

181

11 августа

Прости, дорогая мамочка, что я мало писал тебе. Все еще не придем в оседлое состояние. Пишу тебе с Пороховых, где мы с прошлой пятницы проживаем, а в городе приходится ежедневно бывать. Вот и не урвешь спокойной минуты для письма. Мои хлопоты пришли наконец к заключению и, как водится, не удавались, пока я не начал с того конца, с которого начать следовало. Хлопоты в банке привели к тому, что у Плеске мне предложили 35 р., а у Гнедича, по протекции Вениамина, 50 р. — за скучную работу с 10 ч. до 5 $^1/_2$. А вчера я поехал к Новосельскому в Лесное, взял у него письмо к Кутлеру, вице-директору департамента окладных сборов, явился к нему, а через Полонского познакомился с одним из начальников отделения, у которого есть вакансия на должность помощника столоначальника, и в настоящее время могу считать себя принятым на службу. Некоторое неудобство только в том, что я, по всей вероятности, до самого 1 января жалования получать не буду, зато потом буду получать 1200 р. в год. За занятия от 12 до 5 ч., и притом более интересные, чем в банке. Свободный до 12 ч., я могу утром заниматься преподаванием. Кракау, директор гимназии Мая (в 10 линии Вас[ильевского] острова), предложил мне 6 уроков русского языка или в 2-х четвертых классах, классическом и реальном, или же в 4[-м] и 5-м. Выбор зависит от старшего преподавателя, а я предпочел бы вторую комбинацию. Курс четвертого класса — грамматический (церк[овно]славян[ский] парал[лельно] с русским), а пятого — древний период русской литературы. К сожалению, и то и другое скучно для мальчиков и скорее было бы уместно в старших классах, но такова программа, неудачная, как и все создаваемое нашим просветительным министерством. Не знаю в точности, что буду получать за уроки, — верно, рублей 40 в месяц. Гимназия Мая очень симпатичная. Директор мне по вкусу. Человек он молодой, живой, умный и простой. Мы с ним много толковали и, кажется, остались довольны друг другом. Теперь надо подготовить свой будущий курс. А хождение в департамент начнется скоро. Департамент помещается в дворцовом здании у Николаевского моста. Как видишь, мне довольно далеко будет и в гимназию, и на службу. Уроки начнутся только в сентябре. Я рад, что добился именно той комбинации, какой хотел. Буду служить по двум ведомствам. Оно и разнообразнее, и выгоднее, да и менее утомительно, потому что менее монотонно. <...>

Я начинаю возвращаться к мысли об экзаменах. Как-никак, а в октябре начать их надо. Помоги, Господи. Катя, верно, писала тебе, что на нашем горизонте появился Цамутали. На будущей неделе позовем обедать его, Вениамина, Шеффера, Полонского и Адрианова. Катя наша (прислуга) готовит хорошо, аккуратная и внимательная, пока по крайней мере. Налаживается наше хозяйство во всех смыслах. <...>

Д. 2. Л. 210—212 об.

182

15 августа

<...> Отчего бы папе не попробовать выразить желание попасть в министерство? Разве не мог бы он попасть в члены совета? или что-ниб[удь] в этом роде. Странное дело: Новосельский сказал мне, что Василевский настроен против папы. Чем же это объясняется? Но если соответственное назначение на дорогу невыполнимо, то, может быть, папу охотнее взяли бы, как известного делового человека, в министерство. Что папа об этом думает? Ведь ему не было бы неприятно служить в Петербурге? А Хилков к нему расположен. Когда увижу Новосельского, я расспрошу его об этом проекте. Повидать же Новосельского мне придется. Пока меня прикомандировывают к департаменту окладных сборов и «допускают к занятиям», но назначение я могу получить только по возвращении директора департамента Слободчикова, который в отпуску и вернется месяца через полтора. Попрошу Новосельского переговорить с ним: они хорошо знакомы. Хождение на службу начнется на днях, жду только возвращения Полонского, поехавшего кататься. Нужно еще получить из департамента мои бумаги, чтобы представить их в учебный округ для утверждения в должности преподавателя. Придется и к помощнику попечителя съездить, Лаврентьеву. <...>

Д. 2. Л. 213 об.—214

183

20 августа

<...> Завтра надо утром ехать в город «на службу». В департамент я стал ходить в пятницу, стало быть, был всего два раза. Я попал в отделение, где ведаются бывшие государственные крестьяне. В первый день мой столоначальник Петр Петрович Михайлов, очень симпатичная умница, не знал, чем меня занять, и потому было довольно скучно. Дали мне написать две маленькие бумажки, а больше прослонялся без дела. Зато вчера дали мне большое дело, тянущееся с 82 года, о сложении недоимок и уменьшении сборов с крестьян одного села Воронежского уезда, очень интересное по массе материалов, рисующих быт, промыслы и положение крестьян. Этого дела мне еще дня на два хватит. Таких запущенных дел много, и я был бы доволен, если бы мне дали их разбирать. Тут есть нечто историческое. Дело обещает быть далеко не лишенным интереса. По внешности в департаменте нравится мне то, что народ почти сплошь молодой, ходит в пиджаках, без всякой официальности. Уроки начнутся в конце этой недели. Не знаю, как это пойдет. Это дело несравненно труднее и ответственнее. Что много сразу дела будет, это ничего. Я даже физически лучше и бодрее себя чувствую, когда больше занят. L'appétit vient en mangeant,* а тут дело будет разнообразно: то уроки, то служба, то свои занятия, все это в «три упряжки», стало быть, утомления будет меньше, чем при монотонных занятиях все одним и тем. А разнообразие впечатлений немало освежает. Надо только подзубрить самому то, чему учить буду учеников, а то ведь я и сам славянской грамматики не знаю. <...>

Д. 2. Л. 215—216 об.

184

24 августа

Дорогая мамочка, вчера я начал уроки в гимназии. Пришел утром к 9 ч., первый урок был в IV, второй в V классе. В гимназии Мая своеобразные порядки: курс начинается с 1 сент[ября], и к первому собираются все ученики, а классы начали 24-го, хотя еще немного собралось учеников. До сентября нельзя начинать курса и проходить что-либо обязательное. Приходится занимать класс чем угодно. Для начала в IV классе, где было 5 учеников (из 14-ти), я сделал диктовку. Пишут неважно, разбирают грамматически — слабо. Придется приналечь на самые элементарные сведения. Мальчишки славные, в общем. В V классе делать мне решительно было нечего. Я прочел им «Бежин луг» из «Зап[исок] охотн[ика]» Тургенева. Слушали внимательно и, кажется, с удовольствием. Было налицо 7 чел[овек] (из 17-ти). Расписание еще не составлено. Следующий мой урок будет в четверг. За преподавание я берусь совершенно спокойно, в класс пошел как будто и не в первый раз. А все-таки не знаю, как справлюсь с непривычки. Кажется, оба класса мало подготовлены, хотя в V-м есть развитые мальчики.

---

* Аппетит придет во время еды (*фр.*).

На службе тоже недурно. Говорят, будто назначить меня на штатное место могут и раньше января. Все зависит от приезда директора департамента Слободчикова, а ждут его к концу сентября. Как только узнаю о его приезде, обращусь к Новосельскому. Дела у нас, как я писал тебе, очень любопытные, но нередко они трудные и сложные. Наше законодательство такое запутанное, что знать все это довольно мудрено. То и дело попадаются промахи в делопроизводстве, исправлять которое трудно, раз они прошли уже несколько инстанций. А стол запущенный: до 200 дел залежавшихся, а народу — нач[альник] отделения, не особенно расторопный, а главное, нерешительный, столоначальник, которому приходится очень много работать, и я. Будет еще один помощник: предложили одному юристу из Петрозаводска это место (знакомому Полонского), но он, может быть, откажется, т[ак] к[ак] у него есть возможность попасть в суд[ебные] следователи. Если он откажется, постараемся подсунуть вместо него кого-ниб[удь] из своих, напр[имер] Адрианова. Дела очень много, а идет все медленно... словом, настоящее «министерство».<...>

Адрианов поселился на нашей же лестнице, Головань в том же доме, где Форстен, — через 2 дома от нас. Словом, сплотились еще больше. <...> Платонова я еще не видал. Он давно приехал, но просил пока не считать его приехавшим, потому что очень занят. Вот и все мои новости. <...>

Д. 2. Л. 217—219

185

31 августа

<...> А сегодня мы обедаем впятером (у меня): Лапшин, Полонский, Штруп, Адрианов и я. Понемногу собирается гнездо «форстенят»... Назначение Форстена профессором, конечно, очень ему приятно и всех нас радует. Но та форма, в которой это сделано, не совсем удобна. 4-го профессора по всеобщей истории, кажется, не полагается, и назначение это имеет целью ввести Форстена с правом голоса в факультетский совет. Декан говорит, что таково было личное желание ректора, а некоторые подозревают, что это желание у ректора явилось по внушению министерства. Если действительно Форстена вводят в факультет в противовес Карееву, то это, понятно, ставит его в не совсем ловкое положение. Ну, да это скоро забудется, а назначение все-таки хорошее.

Да, мамочка, приближается начало занятий. Сегодня я заходил в институт, чтобы получить расписание. У меня будет три урока в понедельник — от 9-ти часов до 12 ч. 20 м.; так же и во вторник; затем по 2 урока в четверг (от 10 ч. 10 м. до 12 ч. 20 м.) и в пятницу (от 9 до 11 ч. 20 м.). Я сам просил назначить мои уроки утром, чтобы день не разбивался, а среду и субботу (по 2 лекции) оставить для курсов. Во вторник 3-го в 2 часа в институте совет, где я и познакомлюсь с «персоналом», а в четверг начало уроков. Дебютировать придется в первом, а затем во втором отделении II-го класса, где курс начинается с новой истории (надо пройти с открытия Америки до середины XVII в.), а по русской истории с Ивана III до Петра. В оба отделения III-го класса я попаду в пятницу; там курс начинается по всеобщей истории с крестовых походов, а по русской — с начала. Не знаю, как дадутся мне эти дебюты. Надо немножко рассказать, а немного и поспрашивать. Как-то Бог поможет взять сразу настоящий тон. Это не то, что начинать снова лекции на курсах. Там дело уже привычное, отношения установленные. А тут все новое и более трудное. <...>

Слыхал только, что Палашковский и К° затевают изумительное дело: купили Малую Иматру (Большую, которая принадлежит финляндскому правительству, им не захотели продать) и хотят воспользоваться силой воды, чтобы провести в Петербург для электрического освещения. Несмотря на колоссальность затрат. Они думают, что игра стоит свеч, потому что, по их расчету, электрическое освещение обойдется им чуть ли не втрое дешевле нынешнего.[177] Но едва ли Бунге собирается приспособить Карповича к этому предприятию: ведь это дело не инженеров, а электротехников. <...>

Д. 2. Л. 220 об.—222 об.

186

2 сентября

Дорогая мамочка! Великие новости! Вчера я получил письмо от директора Педагогических курсов с предложением читать на курсах лекции по русской истории вместо скончавшегося Сиповского. Я поехал сегодня с Платоновым переговорить с ним, побывал у директора курсов — Рашевского, и теперь дело, кажется, решено. Дело это обстоит так. По смерти Сиповского лекции были предложены Лаппо-Данилевскому и Платонову. Оба отказались, и Л[аппо]-Д[анилев]ский при этом указал на меня, а Платонов — на профессора Бестужевских курсов Середонина. Почему-то Рашевский обратился ко мне. На Педагогических курсах (это учреждение Ведомства Имп[ератрицы] Марии) всего 7 лекций по русской истории — 3 на первом курсе и по 2 на втором и третьем. Поговорив с директором, я решился взять два старших курса, т. е. 4 лекции, причем на втором курсе буду читать Московский период, а на третьем XVIII век. Первый курс получит Рождественский, который будет читать древний период. Получать я буду 50 р. в месяц и, кроме того, числиться на службе по Ведомству Имп[ератрицы] Марии. Неудобно то, что на курсах занятия от 12-ти до 15-ти, т. е. как раз в то время, когда занятия и в департаменте. Я говорил со своим начальством — обещают устроить так, чтобы я мог отчасти пропускать часть службы. Пока все это еще скользко: дело в том, что как раз сегодня же выяснилось, что и по департаменту я могу сейчас уже получить штатное место, т. е. получать жалованье. В нашем столе две вакансии помощников столоначальника. На одну, уже штатную, приглашен был некий юрист, теперь отказавшийся от места; а на другую, еще не внесенную в штаты, приглашен был я. Теперь я попадаю на первую, а на мое место приглашают Адрианова. Надеюсь, что и его назначение состоится, так что будем служить вместе. Как видишь, мамочка, дела складываются очень недурно. <...>

Так что, дорогая мамочка, дней через десять придется начать «лекции». Нелегкая будет задача, зато и интересная, и полезная. Это предложение сразу ставит меня в положение человека, признанного и призванного. Посмотрим, как дело пойдет и к чему приведет. Жутко немного, да Бог не без милости! Во всяком случае, везет мне чрезвычайно. Видно, «суженого» не только человека, но и дела, конем не объедешь. <...>

Д. 2. Л. 225—227

187

11 сентября

Дорогая мамочка, вчера был совет на курсах, и расписание лекций составлено не совсем удобно для меня: четверг от 12 — 1 ч. лекции на III курсе, пятница от 12 — 1 ч. то же, а от 1 — 2 ч. на II к[урсе] и суббота от 12 — 1 ч. на II к[урсе] Как видишь, все 4 часа в служебное время. Надеюсь, что мое начальство, разрешившее мне 3 часа льготных, не испугается 4-го. Не бросать же из-за этого лекции. В пятницу придется начать. Не знаю, как быть. Писать лекции сплошь — невозможно, потому что мне на час нужно 40 страниц. Придется ограничиться конспектами, а это ухудшит изложение. Уроки у Мая передал Полиевктову, который надумался их взять. Юля в пятницу вечером поехала в Вильну, завтра утром жду ее обратно. За ее отсутствие я сделал несколько визитов: в субботу был у Форстена, где собирался так наз[ываемый] «кружок», а вчера был у Васильевского. Моя статья о Павинском (о сеймиках) напечатана и выйдет в октябрьской книжке журнала.[178] Оттиски ст[атьи] о летописи Лебедева я отправил тебе вчера, нет, вру — еще в пятницу.

Тебя удивило, что Платонов предложил другого! Да как же? Ведь Середонин профессорствует не первый год, а Рождественский старше меня двумя годами, человек очень способный, дельный и зрелее меня, а к тому же уже магистрант. Для Платонова тут дело шло вовсе не о моих экзаменах, а о простой справедливости. Лаппо-Данилевский недолюбливает Рожд[ественского] и свысока смотрит на Середонина и потому указал меня. А у Плат[онова] этих причин не было. Теперь еще оказалось, что главным нач[альни]ком мариинских учреждений Соколовым (в августе скончавшимся) эти лекции были обещаны Кедрову, тоже доценту унив[ерситета] (никогда, впрочем, не читавшему). Он негодует, что вместо него пригласили какого-то «чиновника» из М[инистерст]ва ф[инанс]ов! Милый мальчик! <...>

Вчера я заседал в Педагогическом Совете. Состав преподавателей серенький. Эти курсы ближе к гимназии, чем Бестужевские, родные университету. Учительский тон преподавателей портит учениц, давая им мало пищи новой, непривычной для гимназистки. Мы с Рождественским будем читать по-университетски, насколько сумеем. Не знаю, что из этого выйдет. Слушательниц у меня на III к. — 64, на II к. — 70, у Рожд[ественского] на I около 120. Ну, в добрый час. А пока до свидания, поцелуй папу. Твой Саня.

Д. 2. Л. 228—229 об.

188

17 сентября

<...> А я в пятницу и вчера дебютировал на курсах. В пятницу читал на III курсе о результатах Смутного времени и восстановлении порядка при Михаиле и Алексее; закончил Уложением царя Алексея. Всю лекцию я написал заранее, так что я читал, а не говорил, чем очень недоволен. Вчера на II курсе попробовал говорить, а не читать, хотя лекция тоже была написана, и вышло гораздо лучше. Читал я об отношении Киевской и Суздальской Руси, сравнивал Киевский и Суздальский периоды, чтобы потом перейти к истории Московского государства. Занятия эти, кажется, будут очень приятны. Барышни слушают хорошо, собираются издавать лекции и писать рефераты. Следующие мои лекции в среду. Окончательное расписание такое: среда от 12 — 2-х — по часу на 3-м и 2-м курсах, пятница — 12 — 1 на 3-м и суббота 12 — 1 на 2-м. Писать лекций я больше не стану; буду составлять подробные конспекты — и говорить.

В четверг, воспользовавшись праздником, мы с Юлей сделали несколько визитов. Были у «тетушек», были у Платонова и у Чуйко. Платонова мы не застали, но Надежда Николаевна была дома и приняла нас. Был еще о. Рождественский, университетский законоучитель, поздравил меня и даже облобызался со мною. В среду, может быть, соберемся к Платонову вечером. Вчера совсем было собрались к Форстену, но пришли гости, два товарища Юлиных по школе, приехал Вениамин, явился Адрианов. Ну, как-нибудь в другой раз соберемся на «субботу». Сегодня съездили еще кое к кому с визитами. Ничего не поделаешь, нельзя людей обижать, хоть и лень.

Дела с лекциями у меня, кажется, не так много, как я думал. А впрочем, увидим. Во всяком случае, я рад, что отделался от уроков и получил эти лекции. В среду буду читать на 3-м курсе о народных волнениях при Алексее Мих[айловиче], между прочим, о бунте Разина, а на 2-м — о причинах возвышения Москвы и значении татарской эпохи. Читать пока приходится в фраке, который я оставляю на курсах, переодеваясь в пиджак, чтобы идти на службу. Что касается других занятий, то они покоятся сном праведного. Надо, чтобы всякие новые дела вошли в колею, улеглись; чтобы выяснилось, как распределить время, чтобы и их не обижать.

Ну, мамочка, пока до свидания, пиши, а то твое молчание очень нас беспокоит. Как папино здоровье? Теперь по Руси разъезжает бывший профессор русской лит[ературы] в Дерпте Павел Висковатов, приглашенный Хилковым устраивать преподавание в жел[езно]дор[ожных] училищах. Это болтун, вовсе не деловой. Верно, и папе придется повидать его. Напиши о впечатлении.

Д. 2. Л. 234—235 об.

189

25 сентября

<...> На этой неделе приезжает Слободчиков, и, стало быть, решится и мое назначение и адриановское. Эх, жаль, Новосельский-то за границей! Он и квартиру переменил, теперь адрес другой. Мне его прежний швейцар говорил, да я забыл. Ну, обойдемся и без него. Лекции мои идут пока благополучно. В среду начинаю на 2-м курсе Литовскую Русь — трудный отдел, который придется довольно поверхностно изложить за неимением лучшего. Это один из самых любопытных, но и самых сложных отделов. Вообще, читать курс полезно: так и видишь, как на ладони, все пробелы, требующие пополнения (а пополнять некогда). Если удастся несколько лет сряду читать эти курсы, то путем переделок можно будет чего-нибудь и добиться более или менее связного. А пока — через пень в колоду. <...>

Д. 2. Л. 231—231 об.

190

21 сентября

Дорогая мамочка! Вчера я читал свои вторые лекции. Кажется, девицы мною довольны. После лекции на 3-м курсе слушательницы поймали меня в коридоре, просили читать помедленнее, просили прибавить им одну лекцию в неделю (чего я, увы, не могу сделать) и устроить у них практические занятия. На втором курсе мне уже подали составленную первую лекцию. Я не читал еще ее. Во всяком случае все это показывает охоту заниматься. А стороной я узнал, что барышни были возмущены моим приглашением на курсы, хотели Середонина и уверяли, что меня выгонят. Но с первой же лекции мы помирились. Вчера я уже получил жалование на курсах — 47 р., т[ак] к[ак] 3 р. вычета в какой-то капитал. Во вторник у нас были две из «наших барышень» Леванда и Петухова. Теперь Юля всех знает, и они ей понравились, особенно Петухова (это та, что преподает латынь на курсах). Форстен уверяет, что барышни в восторге от Юли. Дай Бог, я рад, если они сойдутся. Вчера у нас были Якубовские, но я по этому случаю и по наущению Юли сбежал к Платонову (Платоновы были вчера с визитом у Юли, пока я был на службе). Это первый раз, что я попал на среду. Почти никого не было, и было довольно скучно, но мне нужно было поговорить с Платоновым о темах для рефератов моих курсисток. В субботу собираемся с Юлей к Форстену, а сегодня к Манизер, т[ак] к[ак] там рождение 2-х старших мальчиков. Вообще живем бойко. У нас каждый день кто-нибудь да бывает. Да и нам предстоит побывать и у Платонова, и у Форстена, и у Чуек, и у Леванд, и у Цейдлер, и т. д. и т. д.

По счастью, я встаю рано в 7 ч., и с 8 до 11 у меня все-таки 3 часа для занятий, а вечером, в дни лекций особенно, я много не могу заниматься, потому что все-таки устаю.

Как видишь, мамочка, для начала дела мои складываются совсем недурно. И первый блин может быть не совсем комом, а потом, с будущего года, когда придется продолжать не курс Сиповского, а свой и Рождественского, будет удобнее и легче. В нынешнем году я едва ли прочту дальше Екатерины Великой, к огорчению моих старших курсисток, которые по этому-то случаю и просили третью лекцию. <...>

Д. 2. Л. 236—237 об.

191

6 октября

Дорогая мамочка! Я тебе давно не писал. Прости. Как втянешься в колею, как пойдут дни за днями одинаковые — время куда-то уходит, и не знаешь, как собраться. Не то чтоб я был все время занят. Встаю в 6 часов, до 11 занимаюсь, потом на лекции или в департамент, возвращаюсь к 6-ти обедать и всегда или почти всегда у нас кто-нибудь да есть. Вот и теперь продолжаю писать часа через 4 после того, как начал, — все мешали. Не знаю, как довольны мною мои слушательницы, но я, в общем, охотно читаю, и читал бы еще охотнее, если бы больше было времени для подготовки и не приходилось стряпать курс на скорую руку. Вся надежда на будущий год, когда придется не вновь сочинять, а только переделывать курс. Впрочем, барышни, по-видимому, тоже довольны, потому что просили меня участвовать в их группе и на воскресенье пригласили на вечеринку. В департаменте пока ничего нового. Директор приехал, но он нарасхват, и пока ему обо мне не докладывали. А приятно было бы следующего 20-го числа жалование получить! Чувствую я себя и на курсах, и в департаменте совсем недурно. Жаль только, что ни там, ни здесь хорошенько дела не знаешь и делаешь его наспех, формально. Ну, да, говорят, что никто иначе не начинает. <...>

Как ни хорошо мне теперь живется, но есть один недостаток — писать, в сущности, не о чем. Изо дня в день все почти одно и то же. Это либо штиглицевские подруги Юли, либо мой прошлогодний «кружок», которым мне, впрочем, заниматься некогда. <...>

Д. 2. Л. 238—239

192

13 октября*

Дорогая мамочка, я довольно давно не писал тебе, да ты, кажется, не все мои письма получила. Прости, дорогая, теперь время у меня так разбито, что трудно сесть за письмо. В общем, дела идут недурно. Конечно, лекции приходится читать, приготовив их наскоро, но это не беда. Мои барышни, кажется, мною довольны. В воскресенье я был у них на вечеринке. Было немножко музыки (и хорошей), а главное, познакомились, как я тебе уже писал. Потом случалось после лекций разговаривать. Интерес к делу у них есть, но мало подготовки, а это кончающие барышни. Сегодня явился помощник начал[ьника] мариинских учебных заведений и просидел у меня на лекции. Потом он объяснил, что ему надо докладывать обо мне гр. Протасову-Бахметьеву, и потому он пришел познакомиться. Значит, скоро утвердят. К Слободчикову я пойду в понедельник — это его приемный день. Новосельский еще за границей. В среду мы с Юлей были наконец у Платоновых. Платонов передал мне интересное предложение: написать для «Биографического словаря русских деятелей», издаваемого Имп[ераторским] Русс[ким] историч[еским] обществом, обзор царств[ования] Елизаветы. Требуется писать по новым источникам, открывают доступ в Госуд[арственный] архив. Очерк рассчитан на 15 листов, т. е. около 250 стр. — целая книга. За это — 1500 р., сроку 2 года, а к тому же такая работа может послужить и диссертацией. Я, конечно, охотно согласился. На днях Платонов окончательно переговорит с редактором буквы «Е» Штендманом и сообщит мне решение. Дай Бог, чтобы устроилось. Сегодня рождение Вениамина. Мы в воскресенье поедем к ним, а вечером слушаем «Сев[ильского] цирюльника» в Михайловском театре. Не знаю, как справится Юля с такой передрягой. Легко она устает у меня. Юля писала тебе, как распределяется теперь мой день. Не могу сказать, чтобы я не уставал. Зато т[ак] к[ак] я занят, то настроение ровное и хорошее. Жаль только, что приходится сразу по двум рельсам идти. Если удастся взяться за работу, предложенную Платоновым, д[епартамен]т очень меня стеснять будет. А нужно как-ниб[удь] совместить несовместимое. Попробуем. <...>

---

* В тексте ошибочно: 13 сентября.

Д. 2. Л. 232—233

193

17 октября / 19 октября

Дорогая мамочка, был я у Слободчикова, он принял меня довольно любезно, но уверяет, что штатных вакансий у него нет, хоть это и неправда. Дело в том, что в д[епартамен]те произошла какая-то путаница в счетах, чего-то не предусмотрели в прошлой смете, — и будто бы денег нет. По-видимому, придется ждать денег до января. Ну, нехай так буде.

В воскресенье мы были у Кати; поехали туда еще в субботу, ночевали, а в воскресенье вечером были в театре на «Севильском цирюльнике». Ефремовы, большие и малые, здоровы и рады твоему обещанию приехать. В ту ночь, что мы там провели, на мелинитовом заводе произошел пожар, так что Вениамин в 3 часа ночи поскакал туда. Сгорел один только барак. Наша питерская новость: новый м[инист]р внутр[енних] дел Горемыкин, которого вообще очень хвалят как умного, знающего и порядочного человека. Но вместе с тем есть слух, что он переводит в П[ете]рб[ур]г шефом жандармов своего двоюрод[ного] брата из Сибири — говорят, большого негодяя. Кто их разберет! Положение тех, кто министров выбирает, самое нелепое. Они, при всем желании, ничего понять не могут. Любопытную картинку дал мне Платонов относительно положения царской семьи. Он уже дважды был в Гатчине на уроках. Учит он истории Михаила и Ольгу. От Ольги он в восторге. Ей 13 лет, бойкая, здоровая и очень способная девочка. Михаил, 17 лет, очень большой и застенчивый, так что Платонов ни одной целой фразы не добился. Ольга с детства начала говорить по-английски (раньше чем по-русски) и по-русски говорит ломаным языком, вроде: «прошайте» и т. п. Михаил говорит с акцентом. Обстановка тоже курьезная: охрана страшная, и снаружи и внутри дворца всюду солдаты. И в такой искусственной давящей атмосфере растут, с позволения сказать, руководители русской жизни! — не умея и по-русски-то толком говорить. Понятно, что кругом них творится всякое. Дожидаясь представления директору, я видел, как лебезил он перед кн. Мещерским. Говорят, эта скотина еще сильна при дворе. Ну, может ли быть доброе из такого Иерихона? И о делах правительственных позабыть лучше. <...>

Д. 2. Л. 242—243

194

30 октября

Дорогая мамочка! Живем мы по-старому, и новость существенная только одна: что есть основание предполагать — мы в ближайшем сравнительно будущем окажемся сам-третей. <...> Ефремовых мы довольно долго не видали. Сегодня собираемся с ними смотреть «Власть тьмы» в Малом театре. Это произведение теперь в моде. Оно идет и в Александринке, и Малом театре (антреприза Литер[атурного] кружка, с Сувориным во главе).[179] В Александринке мы были на прошлой неделе в ложе с Форстеном и нашими «форстенятами», как прозвали нас на Бестужевских курсах. «Власть тьмы» вещь очень сценичная и идет, в общем, очень хорошо. Жаль только, что в Мал[ом] т[еатре] лучше исполняются одни роли, а в Александр[инке] другие. Из обеих трупп можно было бы составить образцовый спектакль. Успех пьесы огромный. Сборы все время полные, разговору о ней тоже немало. Публика, впрочем, ведет себя в театре так же глупо, как всегда: хлопает среди действия, хохочет в драматические моменты и не потому, чтобы артисты слабо играли, а потому, что во «Власти тьмы» немало внешне комичного, под которым сплошь глубокий трагизм, ну, а толстокожая публика не всегда это чует. После театра мы отправились есть шашлык в ресторан Бочалова: мы с Юлей, Адрианов, Головань, Леванда и Петухова. В среду были у Платоновых — о проекте с Елизаветой ни слуху, ни духу. Половцов, стоящий во главе издания, отклонил предположение передать часть редакторского дела Рождественскому; обо мне пока ничего не известно, но надежда плохая. В пятницу мы ездили к Левандам. Евгения Михайловна покидает нас и Петербург и едет на год в Смоленск на частный урок; надо было последний раз съездить на их «нечетные пятницы». Неделя вышла «выездная».

На курсах начали издавать мои лекции. Я получил 2 листа II-го курса. Издано прескверно, со стороны внешней, а изложением своим я, конечно, очень недоволен. Авось потом лучше будет.[180] Ты спрашиваешь, что такое Глинский и Сементковский. Глинский — сотрудник «Ист[орического] вест[ника]», пишет статейки довольно жидкие. Я не читал, что он про кареевское общество написал. Сементковский «шестидесятник», вроде Лесевича или Скабичевского, очень определенный, очень узенький и мало интересный. Статья его о Лакомбе была у меня в руках, но я ее не прочел — скучно. Да я и кареевской ст[атьи] о Лакомбе еще не прочел и не знаю, прочту ли. Читать что-либо постороннее ежедневной потребности мне почти некогда. <...>

Что касается наследника, то Петербург ждал, ждал его, да и не дождался. Слухов о причинах этого никаких. Прежде говорили об опасном положении царицы, потом опровергали эти слухи, а теперь просто недоумевают. Вдовствующая императрица, говорят, действительно пользуется некоторым весом, ко вреду дела, т[ак] к[ак] поддерживает всякую дрянь. Но, кажется, большие перемены в личном составе все-таки будут, да и нельзя без них. Как это отразится на положении дел — это другой вопрос. Ждали мы, ждали лучших времен, да и ждать перестали, а не мешало бы подышать свежим воздухом. Да, вчера ко мне явился ген[ерал] Дубровин Ак[адемии] наук и будущий редактор «Рус[ской] стар[ины]». Я завел с ним переговоры о польском переводе каком-то (не для себя), он и пришел извиняться, что редактор «Рус[ской] ст[арины]» предлагает всего 10 р. с листа, из-за чего браться не стоит. Предлагал писать в «Русскую старину», если что найдется. Да едва ли что-нибудь найдется. <...>

Д. 2. Л. 244—246 об.

195

5 ноября

<...> С января я, наверное, буду зачислен уже на штатное место, но в то же время пойдет дело о моем определении на службу в Вед[омство] Имп[ератрицы] Марии, и я не уверен, не запротестует ли Слободчиков. А служить по Вед[омству] Имп[ератрицы] Марии, конечно, гораздо выгоднее. Если выйдет такой конфликт, не знаю, как быть. А впрочем, там разберем.

Дел у меня пропасть, а времени, конечно, мало. Лавирую, как могу. Но для занятий для себя самого ни крошки времени нет. Для курса приходится многое подчитывать и пересматривать, и то часто очень поспешно. Где же тут еще что-либо делать? В общем, курс кое-как клеится, хотя, конечно, для будущего года потребует коренной переработки. Вчера не читал лекции по случаю появления на свет царской дочки.[181] Бедная девочка, сколько ожиданий она обманула, и ее появление скольким неприятно. А чем она виновата? Говорят, и сам царь недоволен. Ну, а царек этот, по слухам, замышляет недоброе: кандидатом на место Делянова называют Тертия Филиппова. Этого только недоставало! Такого субъекта как посадят во главу «просвещения», натворит тяжелых бед! И как таких людей земля носит! Авось это еще утка. Слышал я это от Платонова, с которым мы вчера у Форстена встретились.

Просьба у меня к тебе, мамочка: когда ты соберешься в Питер, захвати с собой Регеля (о комнатных растениях) и «Современник» за

47 г. томы III и IV (те, где статья Афанасьева о государственном хозяйстве при Петре Великом[182]). Пишу это теперь же, чтобы не забыть, а ты авось вспомнишь. Юля, слава Богу, последние дни чувствует себя лучше, не так слаба. Вчера мы были с ней у Форстена. Кажется, субботы сами себя переживают, как-то вяло и скучновато. Благодаря исчезновению m-me Куманиной и Лапшина — музыки почти нет... Все в один голос твердят, «распадается ваш кружок, распадается», и надо сознаться, что сторонние люди твердят это не без удовольствия. А что мы им сделали? Видно, судьба такая. В университете в студенческом историческом обществе какой-то студент читает большой (на несколько вечеров) доклад о Толстом. Я не собрался слушать начало, верно, не пойду и на продолжение. А затеянное юное общество[183] живет — собрания через вторник аккуратно. Дай им Бог! <...>

Д. 2. Л. 247—248 об.

196

12 ноября

<...> То, что ты пишешь про дела мои, дорогая мамочка, верно только наполовину. Спасибо тебе, что ты так к сердцу принимаешь, чтобы мне, по возможности, своим делом заниматься. Но искать к Половцеву каких-нибудь окольных путей, по-моему, лишнее, и если бы даже представилась какая-ниб[удь] возможность и тут найти «протекции», я не хотел бы ее, потому что это поставило бы меня в очень неловкое и вовсе нежелательное положение. Ученая работа — дело особенное, и замешивать в нее посторонние элементы совсем не следует. Да и когда мне работать-то? Если бы мне и в самом деле предложили писать Елизавету, я не знаю, где я нашел бы времени для этого... Теперь кончаю на третьем курсе Петра. Дальнейшая история XVIII века, менее мне известная и мало разработанная в литературе, потребует еще больше подготовки и осторожности. Так, ничего, справляюсь. Курсистки начали издавать мои лекции — довольно-таки плохо, ну да первый блин всегда комом.

Ефремовых последние дни не видал. К ним никак не соберешься. Слишком много времени пропадает. Теперь в Питере, кажется, начинается зима. Градусники показывают ниже 0. Но снега нет. Падает его мало, и тот тает. А установится санный путь — тогда и сообщение с Пороховыми будет легче и приятнее.

Сегодня мы с Юлей отправились в Академию художеств посмотреть ученическую выставку. Среди выставленных работ оказался очень удачный портрет Кости Крахт[а] работы Александра Маковского. Маковский теперь работает в мастерской у Репина, и его новые работы, в том числе Костин портрет, показывают, что из него совсем настоящий художник выйдет.

Вообще, нынешняя выставка очень интересна. Что сделал Беклемишев (сын Реджио) из скульптурного класса. Работы его учеников, безусловно, лучше работ скульпторов, выставляющих на академических выставках. Спасибо за обещание привезти книги; если ты еще захватишь с собой, что можно, из «Вестника Европы» за нынешний год (а 94 г. у тебя? или я его уже забрал?), то твое великодушие сравняется... не нахожу сравнения. Там есть пыпинские статьи, довольно полезные. <...>

Д. 2. Л. 249—250 об.

197

3 декабря

Дорогая мамочка, я давно тебе не писал и заставил тебя беспокоиться. Прости твоего несуразного Саню. Не могу даже сослаться на недосуг. Как не найтись времени для письма! Но время как-то разбито, и действительно, как соберешься писать, так и помешает что-нибудь. <...> Теперь надо уже хлопотать о назначении меня с января на штатное место. И на курсах все то же. На старшем добрался до Анны Иоанновны, на младшем — до Смутного времени. Дела, конечно, много, а тут еще обязательство писать вкупе с другими «Историю Франции при Капетингах». Вернулся из Константинополя Панченко и опять поднял речь об издании этого курса Васильевского. В четверг мы собирались по этому поводу у Гревса. Гревса мы перед тем как-то видали у Васильевского — он пригласил нас бывать на его четвергах. На первый-то четверг мы явились с делами крайне некстати, т[ак] к[ак] была посторонняя публика, от которой мы Гревса отрывали. Ну, ушли зато рано, в 10 часов. Странные слухи про Милюкова. Говорят, что ему предлагают место Драгоманова в Софии (профессора всеобщей истории), но что его могут не выпустить из России, т[ак] к[ак] он привлечен к судебной ответственности за участие в противоправительственной агитации общества, именуемого «Союзом землячеств».[184] Бог знает, что такое! В воздухе вообще пахнет очень реакционно, так что я склонен поверить и слуху о Милюкове. Взять хоть бы историю с «Ночью перед Рождеством», новой оперой Римского-Корсакова. Опера опальная. Роль Екатерины II, введенную с высочайшего разрешения, после генеральной репетиции выбросили, заменив ее Потемкиным, чем целую сцену лишили смысла.[185] Но что совсем было бы забавно, если бы не было так гнусно, это что дьячка — комическую роль — сочли оскорблением православия и преобразили в «Осипа Никифоровича, из бурсаков». И это благодаря нескольким великим князьям, которых нелегкая понесла на генеральную репетицию; ну и, конечно, Победоносцев свою руку приложил. Что не помирает эта язва! Это, сравнительно, мелочь, но она не звучит фальшивым звуком в общем хоре. Ты по журналам знаешь, что нового в нашем режиме ничего нет. Что убрали фон Валя — это, конечно, давно пора; убрали Дурново, уберут Ванновского и Делянова. Но если и назначат людей более удовлетворительных, то в общем это будет все то же.

На артиллерийском обеде Ванновского оскандалили. Тост за его здоровье так и застыл, только один голос предлагавшего тост крикнул ура! — и замолчал. Телеграмму Милютина встретили громким «ура» и аплодисментами, а телеграмму Ванновского — молчанием. Надеются, что он не успеет до ухода отплатить артиллеристам. Вот наши петербургские новости, хорошего, в общем, все-таки мало. <...>

Да, на прошлой неделе Витте подавал в отставку, но ее не приняли, потому что неудобно сдавать министерство во время составления отчета и росписи. С нового года, чего доброго, и его уберут. Называют Шидловского и Плеске. <...>

Д. 2. Л. 251—253

1896

198

4 марта

Дорогая мамочка, письмо мое попадет приблизительно вовремя, чтобы принести мое поздравление папе с рождением и именинами. <...> А как думает папа распорядиться предстоящим отпуском? Недели через полторы и для меня начнется отпуск. Сегодня я закончил курс старшим слушательницам, так как у нас 15 марта уже начинаются выпускные экзамены и, как ты знаешь, первый экзамен мой. Прочел я достаточно. Закончил изложением царствования Екатерины II. Это обычное заключение общих курсов. Конечно, такой «обычай» ничего хорошего в себе не заключает, и я на будущий же год постараюсь от него отрешиться, но на первый раз, да еще при сокращенном учебном годе, это удовлетворительно. Курс, в общем, довольно большой — листов 60 литографированных; изложение не особенно-то складное, местами слишком подробное, местами размазанное. Но девицы, коли не сочиняют, говорят, что очень довольны. Им нравится, что я с ними взял «серьезный» тон, точно они и впрямь студентки. На II-м курсе прочту еще 3—4 лекции. Надо дойти до Петра. Во всяком случае, скоро прекратится всякая срочная работа. Надо принимать какие-нибудь меры, чтобы с осени раздобыть еще занятий, а пока поработать над своим делом. Магистерская программа, вероятно, потерпит некоторые изменения. Надо ближе приспособить ее к потребностям курса. Пока собираюсь писать, по поручению Васильевского, разбор новой «Русской истории до реформы Петра Великого» некоего Белова, умершего в прошлом году.[186] Книга не лишена интереса по своеобразным качествам ее автора более, чем по ее серьезному значению.

Вениамин на днях был у нас. Ты, вероятно, знаешь из Катиных писем и о ее здоровье, и о том, что Вениамин опять хлопочет о переводе в самый Петербург, председателем на трубочный завод. Пока, конечно, неизвестно, что из этого выйдет. <...>

Сегодня у нас неожиданно была с визитом Евд[окия] Бор[исовна] Шереметева.[187] Сочла нужным отдать визит. Очень изволили сожалеть, что не видали тебя. У нас она, увидев мой портрет Толстого, презабавно бранила его, а меня допрашивала, к чему учим мы курсисток. Я, конечно, сказал, что ни к чему. С тем и уехала. <...>

Посылаю тебе свою новую карточку. И эти неудачны. Скоро получишь еще кабинетный портрет (тот, что пришлось сделать для курсов) и наше изображение вместе с Юлей и ее карточку. Embarras de richesse.* <...>

Д. 3. Л. 1—2 об.

199

12 марта

<...> А эти дни, конечно, свободного времени масса. Праздники берут свое, и как ни тихо проводим мы время, все-таки оно куда-то зря уходит, больше потому, что не такое настроение, чтобы дело делать. С завтрашнего дня надо за письменный стол садиться. Под Пасху мы были дома. Вечером сидели у нас Полонский с Адриановым, но ушли рано, и в 12 часов мы спали. И первый день сидели дома. У нас было человека 3, а я только на минутку к Форстену сбегал. Зато вчера собрались вечером к Введенским. Милые они люди, и нам с Юлей у них очень нравится. Но они так далеко живут, что к ним собраться дело нелегкое, и мы всего второй раз совершили это путешествие. А еще любопытнее был мой визит в страстной четверг. Собрался-таки наконец к Гревсу. Там были Форстен, Адрианов и 3 курсистки. Это первый раз, что мы попали к Гревсу «запросто». Для нашего факультетского мирка начинающееся сближение Форстена с Гревсом — событие существенной важности. Если наша компания привьется у Гревса, то помимо общения с таким драгоценным человеком выгода может быть и для смягчения противоположности университетских кружков. Жаль, что как раз теперь Платонов начинает замыкаться. Надеюсь, что это только временно. Вечер у Гревса был очень милый, хотя не без шероховатостей, п[отому] что он и «наши» говорят немного на разных языках. Приподнятый тон всей натуры Гревса очень симпатичен, но мы для него слишком прозаичны и недостаточно носим внешнюю печать либерализма, которая во вкусе его кружка. Со временем споемся, потому что по существу мы с ним одним и тем же богам молимся. Человек он очень привлекательный, искренняя, добрая душа. <...>

Д. 3. Л. 3 об.—4 об.

200

17 марта

Дорогая мамочка, третьего дня, 15-го, был первый экзамен. Экзаменовались мои слушательницы III-го курса, т. е. выпускницы. Начало экзамена было назначено на 12 час., но, как водится, начали в 12 $^1/_2$. Экзаменующихся было 60, и потому, хотя я спрашивал недолго, кончился экзамен в половине восьмого. Ассистентами были назначены Браун, профессор всеобщей литературы, и Рождественский. Браун пришел к началу экзамена, а Рождественский заменил его в 4 часа. К началу экзамена кроме Брауна приехал Степанов, помощник начальника Мариинских учебных заведений, потом дир[ектор] курсов

---

* Затруднение от избытка, больше, чем нужно (*фр.*).

Рашевский. По очереди присутствовали и наши курсовые дамы. В 3 ч. сделали перерыв, чтобы напиться кофе и чаю, а с 4-х продолжали экзамен. Курсистки, в общем, отвечали хорошо, хотя, конечно, большинство тщательно вызубрило курс — и только. Толковых ответов было 5—6, а свободный и умный — один. Меньше 10 я не ставил. Наши курсовые дамы нашли, что оценки очень снисходительные, но на поверку вышло, что я ставил строже ассистентов. Экзаменовать, конечно, скучно; скучно слушать все одно и то же, предлагать почти те же вопросы. Теперь следующий мой экзамен — для второго курса, 12 апреля.

Верно, Катя уже писала тебе, что мы после Пасхи переедем (вероятно, 15—16 апр[еля]) на Пороховые. Нашли общим советом, что там Юле будет удобнее и болеть, и выздоравливать. И ванна есть, и уходу больше, и воздух лучше. Раньше можно будет выйти посидеть на хорошем воздухе. Sage-femme* у нас Гари, у которой Юля в прошлом году жила, и доктор Чернышев, согласившийся ехать на Пороховые. У Чернышева Юля вчера с m-me Гари была, и он нашел, что положение ребенка очень хорошее, что ждать его появления надо около 25 апреля; предсказал легкие роды и рождение девочки. Юля хочет дочь, если такая будет, назвать Эвой, в память покойной сестры.

Чувствует себя Юля довольно удовлетворительно. Для [меня] теперь наступает время свободное, которым надо суметь воспользоваться для занятий. Заговаривал я кое с кем о будущих уроках. Надо бы заполучить что-нибудь, тем более, что эта весна обойдется дорого и, верно, придется последний билет разменять, так как с Вен[иамина] Ник[олаевича] едва ли можно получить сразу сотни 3. Сегодня у нас на курсах совет — поговорю еще раз с Рашевским. Я утвержден на службе в Ведомстве Имп[ератрицы] Марии, а в департаменте успел получить какой-то чин, как оказывается.

В нашем маленьком мирке все тихо, хотя друзья мои не особенно мне нравятся. Полонский какой-то вялый, да и вообще не очень «наши» бодрые. Форстен теперь усиленно занят благотворительностью. Кроме лотереи, на которую я, к сожалению, не успел дать тебе билетов, он с той же целью — в пользу бесплатной студенческой столовой — устраивает концерт. Платонов отменил среды, его жена так расстроена, что никого видеть не хочет.[188] Его я почти не вижу. <...>

Д. 3. Л. 5—6 об.

201

21 марта

Христос воскресе, дорогая мамочка! <...>

Самое любопытное у меня — это перемена отношений между ci-dessant** кружком и его главами. В жизни Платонова — это своего рода поворот. Дело в том, что, как ты знаешь, Платоновых посетило несчастье. Его жена слишком волновалась и раздражалась во время беременности, результатом чего были неудачные роды, смерть ребенка и сильное нервное расстройство матери. «Среды» прекратились сами собой и больше не возобновятся. Они возобновились сами собой — но в новом или, вернее, очень старом виде. Бывают только старые приятели Платонова, 4—5 человек ближайших друзей. Для других двери закрыты. Сам Платонов хотел бы сохранить такой характер сред. Из молодежи он позвал только Рождественского и меня, и то по секрету. Барышни исключаются совсем. Причина этого coup d'etat* отчасти в самом Платонове и очень для него грустная. Он отказывается от роли центра молодежи, потому что считает себя неподходящим, говорит, что «устарел, стал рутинным». Виноваты в этом мы — потому что прошлый год показал ему, что ему не сыграть роли Форстена или Гревса. Жена усердно подчеркивала ему, что к нему относятся не так, как к Форстену. А дело не в нем, а в ней. Она не умеет быть радушной, а как хозяйка дома, конечно, она, а не он, могла дать тон «средам». Кончилось неприятным разочарованием и своего рода вивисекцией. Платонову это, несомненно, грустно, хотя ему хорошо и уютно в тесном дружеском кружке. Для его роли профессора — это невыгодно. Это отдаляется он [от] новых поколений и будет тяжело ощущать свое отчуждение. Жаль хорошего человека. <...>

---

* Акушерка (*фр.*).

** Вышеупомянутым (*фр.*).

Д. 3. Л. 7—8 об.

202

9 апреля

Дорогая мамочка, еще неделя и мы переедем на Пороховые. По нашему предположению, это произойдет в будущую среду. В нашей квартире уже теперь по временам слишком тепло и слишком много солнца. Но раньше будущей среды нам нельзя выбраться, по хозяйственным соображениям. Кстати, и я, сбыв в пятницу свой последний экзамен, буду совершенно свободен.

А когда же ждать нам папу? Если он в самом деле соберется в Петербург, то не найдешь ли ты возможности прислать с ним что тебе не нужно из журналов за 95 г. И в «Русском богатстве» есть статьи, которые могут мне пригодиться. А в «Вестнике Европы» идут статьи Пыпина, весьма для меня существенные, особенно если сбудется мечта моя — преподавать историю новой русской литературы. Если папа прихватит еще с собой Рощина «Дифференциальное и интегральное исчисление», то я очень буду благодарен. У нас теперь странная тяга к математике, астрономии и геологии. Чем кончатся эти скачки наших интересов? <...>

Юля чувствует себя, насколько это возможно, удовлетворительно. Я писал тебе про отзыв Чернышева. Даст Бог, все пойдет хорошо и обойдется вовсе без доктора. <...>

Д. 3. Л. 9—10

---

* Переворота (*фр.*).

203

20 апреля

Дорогая мамочка, не писал тебе эти дни, потому что не знал, куда писать, да и теперь не представляю себе, где ты, в Харькове или у Дины. Пишу в Харьков — все равно папа перешлет. Да в эти дни и суеты было много, где тут собраться писать. Мы три дня как переехали на Пороховые. Хорошо тут — говорить нечего. Но я тебе давно не писал — начну не с первых пороховских, а с последних петербургских дней. Последний экзамен мой на курсах сошел не вполне благополучно. Трем слушательницам придется передерживать, а целых 16 не явились на экзамен. Я составил себе с первого же экзамена репутацию строгого экзаменатора! Не знаю, почему. Виной тому, всего вероятнее, не совсем правильная постановка дела на курсах, где взгляды начальства поддерживают в слушательницах лишнее отметочное честолюбие, и хорошим баллом считается только 12. Впрочем, с 3-м курсом мы расстались дружественно.

В день экзамена 2-го курса вечером был прощальный вечер выпускных. Директор Рашевский сказал им хорошую напутственную речь, причем вызывал на то же молодых преподавателей, но мы предпочли разговоры с группами, а не общие. Впрочем, я поздно приехал и рано уехал, потому что у нас дома гости были. Да и устал я порядочно за этот день, тем более, что накануне были именины Форстена, и мы у него ужинали и даже танцевали до 3-х часов; встать же пришлось рано. В среду перебрались на Пороховые, а в четверг я снова был в городе по случаю розыгрыша форстеновской лотереи. Предприятие это увенчалось замечательным успехом. Выручено в пользу студенческой столовой 1000 руб. Кроме того, Форстен устроил концерт, давший 460 р., которые будут поделены между столовой и приходом для крестьянских сирот, который братья Форстены устраивают в Новгородской губернии. <...>

Что меня касается, то я ничего не знаю о том, как сложатся мои дела. Неприятно было бы остаться при одних лекциях. Ну, да это еще видно будет. Пока надо заниматься своим делом. Переработку лекций придется оставить на все лето в стороне, сосредоточившись на магистерской программе. А кроме того, Рождественский, назначенный редактором букв С, П, У в словаре исторических деятелей, издаваемом Импер[аторским] Рус[ским] ист[орическим] общ[е]ством, просит написать две биографии: Стефана Яворского и Сальдерна (дипломат Екатерины II).[189] Не знаю, когда я все это успею. А надо бы успеть. <...>

Д. 3. Л. 11—12 об.

204

24 апреля

Дорогая мамочка, из Катиного письма ты уже знаешь подробности появления на свет нового члена нашей семьи. Все прошло на редкость правильно и благополучно. Юля чувствует себя хорошо, никакого повышения температуры за эти дни не было. И мальчишка наш молодцом. Грудь берет исправно. Первое время Юля, конечно, сама будет кормить, а дальше, что Бог даст. По правде сказать, я не думаю, чтобы удалось обойтись без кормилицы. У Юли, в общем, слишком слабый организм для этой роли. Предоставим решать этот вопрос обстоятельствам и Вяжлинскому с Соловьевым. Умелостью и вниманием Соловьева и Гари мы более чем довольны. Им мы и обязаны тем, что все сошло так хорошо. Роды были вполне своевременными, так как 5—6 дней в расчет не идут. Зато нас Петр Александрович застал немного врасплох. Приданое ему не готово; приходится занимать у Шурки. И насчет финансов плохо. Я креплюсь, не меняя по письму твоему билета, в ожидании обещанной тобой субсидии от папы и денег от Вениамина. Но когда дело дойдет до кормилицы, все равно, вероятно, не миновать размена. Но пока буду тянуть до последней возможности. <...>

Наш молодец ведет себя не совсем покойно, так как каждый час требует кормления; пока он еще слаб, чтобы в один раз насосаться вдосталь. Юля решила назвать его именем Петра Викентьевича. Крестным отцом мы просили быть папу, а крестной матерью будет или Михалина Михайловна, или Аделя. Для мальчика обязателен, говорят, православный крестный отец, и кого-нибудь из Кимонтов надо привлечь к этому делу. Ну, а когда же вы наконец соберетесь к Палибиным? И не надумает ли папа приехать в Петербург посмотреть внука-крестника? Может быть, и на самые крестины попадет? Ведь раньше, как дней через 10, крестить не будем, а если папа захочет приехать, мы, конечно, с радостью подождем его. Право, это было бы очень мило с его стороны, раз он все-таки вообще собирался в Петербург. <...>

Сегодня мне следовало бы присутствовать на экзамене Рождественского, но так как Юля решила отпустить m-me Гари на несколько часов в город, то я написал, что не могу быть. Это экзамен первого курса, могут и без меня обойтись. У нас ассистенты обязательны только для выпускного экзамена.

По поводу кормилицы Катя была вчера у Вяжлинского, рассказала ему о приращении нашего семейства. Он заявил, что воспользуется свободной минутой, чтобы приехать к нам на велосипеде и посмотреть новорожденного. Откуда у него такой интерес к нам? Во всяком случае, это очень мило с его стороны, и было бы недурно, если бы он исполнил свое намерение. В Петербурге стоят ясные, теплые дни. Сегодня чуть ли не в первый раз довольно пасмурно, да и то потому, что идет ладожский лед. И то, вероятно, разгуляется. Дай Бог, чтобы погода продержалась удовлетворительной до Юлиного отъезда. А о своих перспективах на осень я еще ничего не знаю. Дай Бог, чтобы в мае что-либо выяснилось. Надо будет, при первой возможности, еще раз поговорить с нужными людьми. Думаю, может быть, завтра (в четверг) съездить к Гревсу. <...>

Д. 3. Л. 13—14 об.

205

30 апреля*

<...> Что касается пережитого, то я не скажу, что «струсил». Благополучный исход — был тем, чего я с полной, непонятной уверенностью ждал. Юля была действительно молодцом. Как ни больно было смотреть на ее страдания, ее полное самообладание ободряло, и Соловьев сказал даже, что она просто стоически все выдержала. Конечно, и впредь все хорошо пойдет. Ведь терпения и кротости Юле даже у тебя, дорогая мамочка, не пришлось бы занимать; этим она богата. <...>

Вчера я уезжал в город, потому что был назначен ассистентом на экзамен русской литературы. По счастью, пришлось пробыть только пол-экзамена, потому что удалось замениться другим преподавателем русской литературы, который сам явился послушать. 6-го мая у нас на курсах последнее заседание педагогического совета, а 9-го акт.

Ты пишешь, дорогая мамочка, про необходимость порядка в занятиях. Пока, конечно, приходится заниматься урывками, кое-как. Но все само собой войдет в колею. Дела, конечно, много, но зато увлекательно. L'appétit vient en mangeant** — это всего вернее для научных занятий. Чем дальше заходишь, тем шире горизонты и больше интереса.

Лишь бы времени хватало!

Только что вернулись из города Катя с Борей. Он давно копил деньги на покупку велосипеда и теперь катается по комнатам на легком трехколесном самокате. А я им сегодня привез крокет. Как установится погода, будем играть. Пока у нас что-то сразу очень холодно стало. Сегодня целый день дождь. Несколько дней холодный ветер, по ночам мороз. Даже снег шел. Сглазили мы свою весну.

А что слышно про Палибиных? Когда вы туда собираетесь? Ведь Надя ждет в мае? Для порядку и ей надо бы сына, хотя, говорят, нехорошо, когда много мальчиков рождается, — будто перед войной.

Д. 3. Л. 15—16 об.

206

[5 мая]

Дорогая мамочка, я уже писал тебе, когда Юля встала. Прошедшие с тех пор дни прошли хорошо. Кормление пока идет благополучно. Было бы грустно, если бы Юле почему-либо запретили самой кормить до конца. Но меня все-таки сомнение берет. Ведь в общем она у меня слабенькая. Мальчишка наш преуспевает. Регулярное его поведение лучше всего показывает, что он здоров. <...>

На днях происходили крестины маленького манизеренка. Назвали его Гвидо. Для нас это курьезное имя, хотя, пожалуй, красивое. Первый раз видел я протестантские крестины. Пастор произнес небольшую проповедь, довольно толковую, потом прочел 2—3 молитвы, символ веры и помочил голову мальчика водой. Я привез, в качестве крестного отца, крестик, но оказалось, что это вовсе не необходимо. Можно, по-ихнему, при крестинах и без креста обойтись. Однако пастор надел мой крестик на ребенка. После крестин я весь вечер провел у Манизер. Пастор оказался умным и интересным собеседником. По-русски почти не говорит, хотя родился в Бессарабии; наиболее близкий ему язык — немецкий, хотя фамилия его Paingrau, вообще довольно своеобразная фигура. У Манизер он сошелся с преподавателем Духовной академии Соколовым, и между ними завязался бесконечный и очень интересный спор о религиозных и житейских вопросах. Конечно, друг друга они не понимали, и каждый твердил свое.

---

* В оригинале ошибочно: марта.

** Аппетит придет во время еды (*фр.*).

Остальное время — на Пороховых. Теперь настали дни невыносимо холодные. Скучно. И детям приходится больше дома сидеть. Впрочем, Бориса постоянно тянет на улицу. У него ведь «настоящий» велосипед, на котором он ездит по Пороховым, и «настоящий» пистолет, стреляющий дробью. Ко дню именин я подарил ему крокет, которым пока, благодаря погоде, почти не приходится пользоваться. А у Жени есть «блошки» — знаешь ты эту очень распространенную теперь игру? И большие не без азарта играют в нее, хотя игра весьма бестолковая!

Завтра вечером еду в город, на курсах совет для присуждения наград кончающим курс слушательницам. Курьезное занятие для quasi-высшего учебного заведения?

Д. 3. Л. 18—18 об.

207

8 мая

Дорогая мамочка, нам и в голову не пришло, что, может быть, полагается, чтобы один из крестящих был налицо, как ты пишешь. Если так, то придется папу заменить Вениамином? <...> Словом, наш малыш рискует получить вместо дедушки с бабушкой дядю с тетей в крестные. Крестины мы устроим по получении от тебя отзыва на это письмо. В последнем письме Мих[алина] Мих[айловна] выразила еще удивление, что мы выбрали имя Петра, а не Евгения, что было бы, по ее мнению, естественно для единственного представителя рода Пресняковых в третьем поколении. Кстати, как-то Катя сказала про нашего мальчишку, что это первый внук из рода Пресняковых. Борис обиделся: «А я что?» — и насилу втолковали ему, что он Ефремов, а не Пресняков. Наш продолжатель знаменитого рода, этот «Пресняков XX-го века», ведет себя, в общем, по-прежнему добропорядочно. Зато Юля порядочно устает. Сегодня у нас хороший теплый день, и Юля в первый раз вышла в сад, даже поиграла с нами в крокет.

На совете я, конечно, был. Занимались исключительно нелепым делом: присуждали слушательницам медали — 5 золотых и 8 серебряных, причем еще распределяли, которой первая, которой вторая и т. д. Это как-то не идет курсам и вносит не совсем желательный тон в среду слушательниц. Но у нас на курсах даже дорожат этим несколько институтским тоном. Бог им судья, не ведают, что творят. Акт у нас завтра, в половине второго. Облачаюсь во фрак и еду. После акта я зван к Платонову обедать и вечером рассчитываю попасть к Гревсу. Таким образом исчезаю из дому на целый день и ночевать буду в городе. <...>

Д. 3. Л. 19—20 об.

208

19 мая

<...> У меня есть важная новость. В пятницу 17-го я поехал в город, где и ночевать остался. Утром, в субботу, за мной прислал Струве, инспектор Николаевского института, и предложил мне 10 уроков в старших классах института. Я, конечно, охотно принял.[190] Начну с 3-го и 2-го классов с тем, чтобы переходить с ними до выпуска. Классы — с параллелями, так что и получается 4 класса вместо 2-х и 10 уроков в неделю. Это даст мне 1000 р. в год. В Николаевском институте всего 9 классов; после 1-го еще 2 — педагогических, обязательных для всех институток. Постановка преподавания во многом неудовлетворительная; предстоит переработка программы и поддержка инспектора в затеваемых им реформах. Струве человек умный и внушающий доверие. Наша беседа с ним сразу приняла тон откровенный. Это, конечно, очень хорошо. Не откладывая дела в долгий ящик, он велел мне нарядиться во фрак и в тот же день представил меня начальнице института, которой фамилию я забыл. Это чуть ли не 80-летняя старуха, седая, с клюкой. Струве говорит, что когда-то она была очень толковой и способной деятельницей, но теперь иногда мешает.[191] Но и шут с ней, уверяет он, возможно, и отстаивать соединенными усилиями свое — тоже.

Струве обратился ко мне по рекомендации Рашевского, дир[ектора] педагогических курсов.

А сегодня у нас предстоят крестины. Не знаю, что из них выйдет. Волею судьбы и нашей кружковщины позвали мы на сегодня больше 20 человек — с Форстеном и Платоновым во главе. И как назло погода испортилась. Холод, ветер, дождь. Барометр точно в насмешку поднимается! Не видно, чтобы была надежда на прояснение. Увы!

20 мая*

Крестины нашего малыша состоялись довольно торжественно. Первым приехал Платонов, затем 10 человек — нашей компании, из Юлиных подруг — Цейдлер и Рашевская, приехал и Форстен. Роль крестной матери за Адель исполнила Ел[ена] Вл[адимировна] Чуйко. Новый христианин вел себя образцово. Он не спал, но и не протестовал, а с удивлением рассматривал свою крестную мамашу. Только после окунания в воду запищал, но сейчас же успокоился и заснул. После крестин обедали, а потом поехали кататься на электрической лодке вверх по Охте на «Медвежий стан».[192] Наша публика была удивлена красотой охтенских берегов и осталась очень довольна прогулкой. Вернувшись, поиграли в крокет, напились чаю и разъехались.

---

* Продолжение того же письма.

Юля с нами не ездила, а легла спать. Погода, попугавшая нас с утра, разгулялась, и было хотя свежо, но ясно. Сегодня совсем ясный день, но вечер еще свежий. Сегодня вечером я, может быть, соберусь в город провожать Форстена, уезжающего за границу. А завтра непременно надо быть в городе. Петр Викентьевич поручил мне купить мебель для деревни, да, кстати, завтра «Константина и Елены», т. е. именины моей кумушки.

Д. 3. Л. 21—22 об.

209

1 июня

Дорогая мамочка, ведь дело с уроками не так еще твердо стоит. Положим, что переговоры с инспектором и начальницей много значат, но Струве сказал мне, что в последней инстанции приглашение преподавателей зависит от почетного опекуна. Ему мне нужно представиться, а для этого получить извещение от директора (т. е. заведующего хозяйственной частью), когда и куда явиться. Струве взял мой адрес и сообщил директору, а сам уехал за границу. Прошел май, а никаких известий нет. Попробую на днях произвести следствие в институте. Так мне Платонов посоветовал. С ним мы за это время несколько раз виделись. Относительно экзаменов он советует начинать с Кареева как чужого. В этом есть некоторый резон. Что касается нашего житья-бытья, то пока все ладно. И Пете, и Шуре привили оспу, но у Шурки она не привилась. Вероятно, придется повторить. У Пети оспа привилась, и числа 10-го можно будет нам уехать в деревню. <...>

Д. 3. Л. 23—23 об.

210

13 июня

Пишу тебе, дорогая мамочка, из Домброва.[193] Мы выехали во вторник в 8 час[ов] вечера. С Пороховых тронулись еще с утра. Отправив вещи на подводе, сами с Петей, или с «Путиком», как называет его Юля, поехали в ефремовской пролетке. Путик все время спал и только уже на Бассейной стал брыкаться. Дома тотчас успокоился и был очень весел. Ведь он уже умеет смеяться, хотя довольно редко проявляет свою веселость. Обыкновенно смотрит на вещи серьезно, выпятив губки. С особым интересом он следит за двигающимися предметами, вроде занавесок и колясочки, когда их ветер качает. Малыш этот очень спокойный, никогда не плачет, кроме особо трагических случаев, а кричит только на законном основании, и то осторожно, без напряжения, и обыкновенно с членораздельными звуками либо «ай, ай, ай», либо, когда совсем сердит, «а-б-бум», причем препотешно складывает губы. Перед отъездом мы [его] показывали Вяжлинскому. Он остался доволен нашим мальчуганом, нашел его косточки крепенькими и, к нашему большому удовольствию, одобрил Юлю как кормилицу. Впрочем, один непорядок нашел — пупочная грыжа, так что пришлось залепить пупочек особым бандажиком. Так как мы жаловались на неисправность желудка, то он велел давать маленькие дозы пепсина с соляной кислотой. Это ты уже знаешь, потому что мы и с папой Наде того же послали.

Возвращаюсь к путешествию. Дома, в городе, мы пробыли весь вторник, дома и обедали. Обедали у нас Вениамин, Саванели, Постникова, Адрианов. После обеда собрались на вокзал, где нас кроме названных провожали еще Полонский, Лапшин, Чуйко и Цейдлер. Чтобы иметь возможность ехать в отдельном купе, я разорился на I класс. Зато ехали очень удобно. Нам дали купе с двумя диванами, без подъемных мест. Путик вел себя весьма добропорядочно и спал большую часть времени. Зато путешествие на лошадях из Ковно доставило ему большую неприятность. На станции нас встретил управляющий Петра Викентьевича с четвероместным экипажем. Сам он с нами не поехал, потому что получал высланную нами мебель. Мы в Ковно сделали кое-какие покупки. Городок небольшой и неважный, хотя расположен в красивой местности. От Ковно до Домброво около 25 верст, и ехали мы 2 $^1/_2$ часа. Путик проголодался, и пришлось ему терпеть. Под конец он расплакался и еще по приезде долго волновался и капризничал, чем он еще никогда не занимался. Зато сегодня проснулся веселый, как всегда. Домброво — хутор с 2-этажным домом и службами. Земля у П[етра] Вик[ентьевича] разбросана клочьями в чересполосицу с другими владельцами. Он заботливо устраивает свое гнездо, которое сам приобрел. Дом был почти пустой, но теперь по получении купленных нами вещей гостиная обставлена. Не знаю, как понравится Петру Вик[ентьевичу], а мы своими покупками довольны. Когда приедут Кимонты и сколько времени мы тут пробудем вместе с Юлей, я не знаю. Управляющий говорит, что П[етр] Вик[ентьевич] в последнем письме писал, что это его последнее письмо и чтобы ждали телеграммы о приезде. Значит, собираются скоро приехать. А когда они приедут, я отправлюсь в Петербург. Авось удастся сдать квартиру к июлю, и тогда я поспешу найти другую, в 4 комнаты. Это расширение квартиры вызвано тем, что как-никак, а придется взять что-нибудь вроде няньки. Если Настя, которая теперь у Ефремовых готовит, будет еще у них, то мы, может быть, сманим ее. Она очень хорошо помогала Юле ходить за Петей.

Папа, верно, уже рассказал тебе, что я получил при нем своеобразное предложение. В наших университетских кружках носится мысль о распространении университетского образования в массах путем публичных общедоступных курсов. Ты, вероятно, читала прекрасную статью Милюкова в «Рус[ском] богатстве» об university extension?[194] Так некий петербургский присяжный поверенный Кремлев затеял организовать подобные курсы в Петербурге и, как уверяет, «по указанию Платонова», обратился ко мне. А я — я отказался, потому что в этом году у меня и так дела по горло, да к тому же Кремлев человек очень неосновательный. А дело хорошее. <...>

Д. 3. Л. 25—28 об.

211

18 июня

Завтра, дорогая мамочка, посылают на почту, и я пользуюсь случаем, чтобы написать тебе <...>

Что меня касается, то я читаю довольно много и только боюсь, что не успею к осени составить для издания лекций Васильевского обещанный очерк истории коммунального движения. При ближайшем рассмотрении это задача более сложная, и наша «редакционная комиссия» с Гревсом во главе несколько легкомысленно думает сварганить это дело так быстро. Ну, да там разберем.[195] <...>

Д. 3. Л. 29—30 об.

212

9 июля

Дорогая мамочка, получила ли ты мое письмо из Петербурга? Я заждался ответа, а по правде сказать, и повестки. Что было капиталов — осталось у Юли, а что было у меня — приходит к концу. Между тем надо нанимать квартиру: моя сдана, а та, в которой мы теперь живем с Адриановым, тоже сдана с 1-го августа. Квартирный вопрос стоит отчаянно. Цены всюду подняты донельзя, а свободных квартир крайне мало. Дело стоит так, после долгих поисков, что придется решится на 50 р. без дров или 60 с дровами. Иначе рискуем совсем остаться без квартиры. Скверные дела, прости Господи!

Вся эта неделя прошла суетливо из-за квартирного вопроса; заниматься буквально почти не приходилось, хотя «прогулу» почти не было. Правда, воскресенье мы (т. е. я, Адрианов и Александр Евгеньевич Белюгов, одесский доцент по русской истории) провели у Ефремовых, а вчера с ними же (и с детьми) ездили в Петергоф посмотреть фонтаны. Зрелище в самом деле очаровательное. От Юли что-то давно известий нет. Получил от нее письмо, написанное еще до получения известий от меня, а затем на мои 3 письма еще нет ответа. Вот неудобство деревенских почт!

В Петербурге довольно скверно, хотя чрезвычайной жары нет. Но, главное, квартирный вопрос меня изводит! Неопределенное переходное состояние выбивает меня из седла и крепко надоело. Постараюсь покончить хотя бы с материальным риском. Но до получения денег трудно нанять квартиру.

Занимает меня новый наш знакомый — Белюгов. Он очень нам по вкусу пришелся и, кажется, и Ефремовым тоже. Умный, живой и очень скромный. Во многом мы сходимся, во многом расходимся (он, например, Короленку ни в грош не ставит), но, во всяком случае, интересное знакомство. Должен быть в Петербурге и Платонов, но мы его еще не видели. Форстена я тоже так больше и не видал; теперь он, вероятно, уже уехал в Финляндию.

А что, как у вас в Харькове? У меня такое ощущение, точно я давно-давно не получал вестей. Вообще я отвык от одиночества, и оно не так-то приятно мне дается. Пиши скорее, дорогая мамочка.

Несмотря на противно проведенную неделю, моя охота к занятиям не улегается. Как прирожденный мечтатель, я с наслаждением представляю себе время, когда экзамен будет за плечами и можно будет спокойно и по-своему работать над любимым делом. А уже близко время начала преподавания, которого я немножко трушу, но которого жду с надеждой, что «образуется». <...>

Д. 3. Л. 31—33 об.

213

18 июля

Дорогая мамочка, так ты не получала моего первого обстоятельного письма из Петербурга. Придется заново написать тебе опять о моем житье-бытье за полмесяца. В Домброве было очень хорошо. Возьми я с собой побольше книг, да если бы еще Кимонты не приезжали — чего лучше, как провести целое лето с Юлей и Путиком в таком благодатном уголке. Когда же через 1 $^1/_2$ недели после нас приехали Мих[алина] Мих[айловна] и Аделя, стало, конечно, менее уютно. Ведь и независимо от всяких осложнений — они мне чужие и чуждые. Встретились мы хорошо, и за те три дня, что мы прожили вместе, никакой особой шероховатости в отношениях не чувствовалось. Мих[алина] Мих[айловна] даже старалась быть со мной приветливой. Но определенных отношений между нами строить не на чем: общей почвы у нас совсем нет и быть не может. Одним Мих[алина] Мих[айловна] доставила мне удовольствие. Она оказалась кое-что смыслящей в обращении с маленькими детьми, охотно помогала Юле, оставалась с Путиком, когда Юля уходила гулять, и Путик сразу привык к ней, ей улыбался и, благодаря спокойному ее обращению, был с нею гораздо покойнее, чем с вертлявой и суетливой полькой, нанятой в виде няньки. Поэтому я уехал спокойно, зная, что Юля в самом деле не одна, а найдет и совет, и помощь в случае какого-либо недоумения. Уехал я 28 июня утром пассажирским поездом и ехал поэтому до Петербурга 25 часов. В Луге нас догнал курьерский поезд из-за границы, и в нем оказался Г. В. Форстен. Я, вероятно, писал тебе, что он уехал на все лето за границу, в Берлин, Швейцарию, а затем в Стокгольм. Поэтому я был крайне удивлен, встретив его в Луге. Оказалось, что он захворал в Швейцарии, долго мучился бессонницей. Всякие занятия пришлось бросить. Доктор нашел у него кроме общего переутомления вредные последствия острого катара гортани, нагноение в трещинках ткани, с которыми нужно бороться прижиганиями. Так как лечение у немецких врачей оказалось безбожно дорогим (по 10 mk за визит), то Г. В. решил вернуться в Петербург к Симановскому, а затем отдыхать и лечиться в Финляндии, в имении своего брата. Больше я его не видал. Слыхал, что он успокоился и, по легкомыслию своему, снова отложил лечение и едет-таки в Стокгольм работать в архив. Расставшись в Луге с Форстеном, я явился в Петербурге на квартиру Адрианова, так как моя, как ты знаешь, сдана с 15 июня, и все вещи мои перенесены к Адрианову. Мы с ним долго искали квартиры, исходили треть Петербурга и пришли в уныние. Цены везде увеличены. Все, что свободно (а свободных квартир весьма немного), либо очень дорого, либо очень плохо. Выбирая из этих двух зол, мы решились предпочесть первое и взяли квартиры получше. Моя будет стоить 65 р. в месяц (с дровами). Сравнительно это еще хорошая цена, так как в такую же цену я видел гораздо худшие. А меньше 60 р. я и не видал ничего сколько-нибудь подходящего. <...> Уступить в цене мне не захотели, но зато подарили месяц. Квартира за мной с 12 июля, а плачу я с 1 августа. С августа адрес мой будет: Литейная, д. № 9, кв. № 26. В конце будущей недели мы туда и переедем. Адрианов взял квартиру в том же дворе. Двор (а мы на 2-м дворе) — очень хороший и чистый. Вообще дом, как вообще дома Тупикова, производит впечатление большой порядочности. Все это недурно, но тугонько будет платить столько. Но я, право, не зря решился на это. Что делать, если даже на Песках нет ни одной квартиры за сходную цену и удовлетворительной?

Неделю с лишним я убил на квартирный вопрос. Конечно, при ежедневной беготне занятия не подвигались. Только покончив с этим делом, я снова вернулся к книгам. И то в Петербурге мозги от духоты и скуки работают не так бодро, как в Домброве. Теперь пишу тебе с Пороховых, куда мы с Адриановым бежали дня на четыре. У обоих дела по горло, и нам тут не мешают.

Вернулся в Петербург и Платонов. Это я тебе сообщал. Завтра он хотел приехать сюда со Спицыным. Не знаю, соберутся ли. В Петербурге жарко, хотя по вечерам уже чувствуется приближение осени. Да, скоро конец лету и надо будет приниматься за новое дело. Преподавать я буду в Николаевском сиротском институте (на Мойке, у Полицейского моста), куда Струве, инспектор Мариинского института, введен недавно. Как-то пойдет у меня это новое и странное для меня занятие? <...>

Д. 3. Л. 34—38

214

29 июля

Дорогая мамочка, пишу тебе с новой квартиры, куда мы перебрались третьего дня. Стало быть, теперь адрес мой: Литейная, д. № 9, кв. № 26. Переезд совершили благополучно, хотя, конечно, возни, суголоки и трат много было. Каждый раз при переезде меня даже в уныние приводит количество моих книг. Если бы не распорядительность Адрианова, я не знаю, как бы и справился. Теперь, более или менее, расположились. Жду столяра, который придет устанавливать мои полки и переделывать; книг много, а комнаты ниже старых, так что полки придется укоротить сверху и зато расширить. Квартиру мы заняли собственно с 1 августа, но управляющий сам предложил нам переехать раньше, и я рад, что это почти кончено. Вообще, наш управляющий, один из совладельцев дома, очень любезен и всякие просьбы исполняет. Устроит мне лишнюю дверь, покрасит подоконники. <...>

Про Путика Юля пишет, что он ведет себя хорошо. Трех месяцев он весил 20 фунтов и длиною был в 70 сантиметров. <...> Ехать ему понравилось. Он даже сердился на остановки поезда. Теперь он такой живой, что не хочет совсем лежать завязанным в конверте и требует свободы. На дорогу, чтобы не простудить его, Мих[алина] Мих[айловна] нарядила его в штанишки. То-то, должно быть, фигура! <...>

Д. 3. Л. 40—41 об.

215

7 августа

<...> Что касается того, что «шумные беседы» могут его беспокоить, то ведь это редко будет: нынешний год у меня дела будет по горло. Да и то сказать: гости у нас такие, что и сами позаботятся о Путике, и осадить их можно. Ты вообще преувеличиваешь суету нашей жизни. Если мы, наш кружок — держимся вместе, то этому можно порадоваться. Состав этой компании не таков, чтобы вышло из того что-либо, кроме хорошего. Дай Бог всегда жить и работать не одному, а с дельными, знающими и любящими свое дело друзьями! Эта кружковщина делает нас, слабых в одиночку, некоторой культурной силой! А уж особенно, дорогая мамочка, не возьму в толк, почему тебя беспокоит, что я живу с Адриановым? Ты даже видишь в этом — источник лишних расходов!! Как так? Во-первых, у него денег больше моего, а во-вторых, я месяц жил у него, чтобы за июль не платить за квартиру. Это барыш, а не расход.

В том ли письме, которое дошло до тебя, я разъяснял, что буду преподавать в Николаевском сиротском институте? Увы, учебник Иловайского, и заменить его другим нельзя. А программы крайне краткие и неопределенные. Насколько можно быть самостоятельным — увижу. <...>

Д. 3. Л. 42—44 об.

216

19 августа

Дорогая мамочка, я действительно не сообразил, что все, что я писал о деньгах, было в одном из пропавших писем. Вот ведь досада! Выходит, что ты за один месяц не получила двух отправленных мною писем. Там я писал, что за лето получил от папы на целых 50 р. больше, чем следовало, и очень ему признателен за это, так как благодаря моей избалованности я потратил больше, чем мог бы при нормальном бюджете. Ведь очень дорого обошлась мне дорога в Ковно, так как я раскутился на отдельное купе в I классе. Из-за этого я совершенно сел бы на мель, если бы не папино великодушие. А теперь я мог не только концы с концами свести, но и оборудовать себе вицмундир, необходимый для института. Вицмундиры у нас довольно благопристойные: черные, с черным бархатным воротником, а на пуговицах почему-то виноград. Пока этот вицмундир — единственное напоминание о приближении учебного сезона. Струве еще не появился. На курсы я как-то заходил, чтобы выхлопотать себе перемену расписания. Я писал тебе, что буду читать по средам и субботам лекции на курсах, а в остальные дни буду давать уроки в институте. Часы же пока еще не выяснены. Я просил, по возможности, предоставить мне ранние уроки. Не знаю, уважат ли мою просьбу. Пока я жду и почитываю свои книги. <...>

Сообщенное тобой известие об Алексее Алекс[андровиче] очень нас заинтересовало. Дело в том, что во флоте происходят серьезные пертурбации. Отставку Чихачева ставят в связь с запиской о неудовлетворительном состоянии флота, которую Александр Михайлович подал Государю. Чихачева уволили, но Алексей Ал[ександрович] заявил претензию, что Ал[ександр] Мих[айлович] не имеет права делать заявлений царю помимо него, генерал-адмирала. Алекс[андра] Мих[айловича] убрали и из флота перечислили в свиту Государя.[196] Если правда, что Алекс[ей] Алекс[андрович] удаляется в Севастополь в опалу, то нет ничего невероятного, что Алекс[андр] Мих[айлович] займет его место. И слава Богу. Царские дядья — это злые гении молодого Государя, и если все эти непотребные Алексеи, Сергеи, Владимиры и Павлы сломят себе шею, никто их не пожалеет, а порадуются многие. Молодые Михайловичи и Константиновичи гораздо порядочнее.[197]

Кстати, и про Сергея[198] говорят, что он уехал за границу от недовольства царского. Туда и дорога. <...>

Отчего ты, мамочка, думаешь, что я особенно утомляюсь. Бестолковые письма мне случается писать и в нормальном состоянии! Сплю я отлично, только, может быть, слишком много, часов с 10, ем за десятерых. И Адрианов мне в этом не мешает, а жалуется, что я выучил его и есть, и рано спать ложиться, т. е. навязал ему 2 привычки, без которых он прежде обходился. О том, что я не был на съезде,[199] я жалею только потому, что там была моя симпатия — юрьевский проф[ессор] Дьяконов, с которым хотелось бы познакомиться поближе. А вообще, едва ли там много было интересного. Ведь, право, в этих съездах мало дельного, а поведение графини Уваровой создает ряд неуместных и пренеприятных инцидентов. Удивительно бестактная дама. Ну, пока, до свидания, поцелуй папу. <...>

Д. 3. Л. 45—48 об.

217

28 августа

Дорогая мамочка, опять я, кажется, долго не писал тебе. Это оттого, что я все время довольно много занимался, а за чтением дни проходят так быстро и так однообразно. Жил я то на Пороховых, то дома. <...>

А у меня уже начались некоторые сношения и с курсами, и с институтом. На курсах я был вчера и назначил свой экзамен на 7-е сентября. Это экзамен для тех переходящих со второго на третий курс, которые почему-либо не явились на экзамен весной. У меня таких что-то много — 15 или 16, да трем из державших придется передерживать.

Заходил я вчера же и в канцелярию института. Там мне показали документ, официально утверждающий меня преподавателем Николаевского сиротского института. А сегодня надо зайти к Струве, поговорить кой о чем. Что касается моих экзаменов, то я, вероятно, начну с Кареева в октябре.

Юля теперь не знаю где — в Либаве ли еще, или в Домброве. Сегодня, вероятно, получу еще письмо. Я писал тебе, что они думают еще недели 3 пробыть в деревне. Теперь Юля пишет, что, смотря по погоде, выедут из Домброва или 14-го сент[ября], или 21-го. Значит, долго мне еще быть соломенным вдовцом. Но я рад этому за Юлю и Путика. Пока у них там еще хорошая погода, нечего торопиться в город. <...>

Понемногу разъехавшаяся публика начинает собираться в Питер. Приехал Форстен, но я его еще не видел. Он попал сразу на большое горе в нашем кружке: умер отец Голованя. Он возвращался из Малороссии и умер от удара на маленькой станции Николаевской дороги. А наш Головань уехал в Нижний, оттуда в Саратов, и ему не могли дать знать. Чувствует ли, бедный, какой удар его ждет по возвращении?

На днях присылал за нами Платонов, звал к себе «на Завитневича», это киевский историк, приехавший в Петербург. Я знаю его еще по Вильне. Были Спицын, Середонин. Словом, и вечера у Платонова восстановляются. Чувствуется приближение зимнего сезона. И холод уже чувствуется. Я два раза топил у себя. Квартиру надо окончательно устраивать. Полонский взялся проводить электрические звонки и делает это очень ловко. <...>

Д. 3. Л. 49—50 об.

218

7 сентября

Дорогая мамочка, пишу тебе сегодня, после того как вчера и третьего дня дал 4 урока в институте. Не знаю, как будет дальше, но первое впечатление довольно хорошее. Начать пришлось со старших классов, т. е. 2-х отделений II-го к[урса]. Чтобы познакомиться с учащимися, стал припоминать с ними пройденное в прошлом году, и оказалось, что они довольно отчетливо представляют себе главные события средневековой истории. Так я провел все 4 урока, так как до сих пор я только по одному разу был в 4-х своих классах. В результате получилось, может быть, скороспелое, но удовлетворительное впечатление. Классы у меня небольшие: по 25—26 человек. Вводил меня инспектор, представлял классу и уходил. Урок происходит, конечно, в присутствии классной дамы, но это присутствие пока незаметно. Вообще же я склонен предполагать, что классная дама есть зло женских учебных заведений, так как всякое толкование замечаний учителя такой особой нежелательно. Сам Струве рассказывал мне, как такие особы вкупе с начальницей портили учителям дело своим нелепым вмешательством. Этого я боюсь больше всего. Как-никак пока я надеюсь акклиматизироваться в институте. Кроме института мне предлагали уроки в одной из мариинских ж[енских] гимназий, но я не решился их взять, боясь заполнить чрезмерно свое время. На курсах занятия начнутся на той неделе. Сегодня у меня экзамен для тех курсисток, которые не успели в прошлом году, а во вторник совет на курсах.

Таковы мои «дела». А времяпрепровождение, вне занятий уроками и своим чтением, сводится к встречам со старыми друзьями и знакомыми, собирающимися в Петербурге. Побывал я у Манизер, сегодня первая «суббота» у Форстена. Платоновские «среды» будут теперь не каждую неделю, а только «четные». <...>

Д. 3. Л. 51—52 об.

219

13 сентября

Дорогая мамочка, пишу тебе в сырой, пасмурный день, который, однако, не портит мне настроения. Это от того, что у нас в институте вчера был прелюбопытный спектакль, доставивший мне много удовольствия. Вчера вечером было первое собрание преподавателей языков, иностранных и русского, и историков — по вопросу о пересмотре программ. Действовали француз Дорлиак, немец Браун, инспектор Струве, а затем дамы, преподаватель педагогики Карцев и преподаватели русского языка. Героями вечера были первые трое. Они затеяли вовсе сломить старую систему преподавания. Не нужно переводов, не нужно грамматики, не нужно русского языка на уроках французского и немецкого. Непонятные слова не переводятся, а объясняются указанием на предметы или понятия.[200] Дамам это вовсе не по вкусу, рутина заворчала, на новаторов бросались сердитые взгляды. Но все трое сила — Струве как инспектор, Браун и Дорлиак как лучшие из петербургских преподавателей. (Оба преподаватели педагогических курсов, а Браун доцент университета.) Все они убеждены в правоте своего дела, горячо его защищали — и так как дело-то в их руках, то и победа им обеспечена. Кроме того, Струве преследует еще одну цель: связать в одно преподавание разных предметов с тем, чтобы на уроках новых языков для чтения подбирались произведения, знакомящие с историей и культурой Франции и Германии. Результатами такой постановки дела воспользуются и представители истории, почему Струве хочет привлечь их к выбору чтения на иностранных языках. Во всем этом чуется какой-то живой дух, к чему приведет он — покажет будущее. Любопытно знать, какой характер примет обсуждение программ по рус[скому] языку и истории, для которого я уже зарядился некоторыми соображениями. Тут я узнаю и то, что представляют из себя мои коллеги-историки — Андреянов и m-elle Коркунова (сестра нашего профессора-юриста). Что касается моих уроков, то я боюсь, как бы те объяснения, какие я даю в классе, не остались втуне. Сильна привычка держаться учебника, ох, как сильна! Слушают девицы с любопытством, но много ли усваивают? А читать вне класса им некогда, да и нечего. Вот в чем беда. Поживем — увидим. Во всяком случае, все это интересно.

Больше мне и писать-то нечего. От Юли все еще жду известий. Глупо, такая медленность и неудобство сообщений с деревней. Ну, да теперь — неделя, и конец моему одиночеству. Жду 22-го, как манны небесной. <...>

Д. 3. Л. 53—54 об.

220

25 сентября

Дорогая мамочка, Юля уже четвертый день как приехала, и именно потому я еще не собрался написать тебе. Оказывается еще много дела, пока мы приводим в порядок наше жилище и пока наладится наш режим. Юля приехала во вторник утром. Вениамин ездил встречать ее в Вильну, где пробыл два дня и в восторге от города и его окрестностей. Приехали они утром скорым поездом. Путик очень вырос, совсем большой стал. Первый день был бледненький с дороги, а теперь, слава Богу, выглядит нормально и ведет себя удовлетворительно. Пока он спит в колясочке, а надо будет, при первой возможности, купить ему коляску,* субъект он веселый и очень приветливый; меня без смеху видеть не может и ловит за бороду. Накануне Юлиного приезда к нам переехала Настя с Пороховых и состоит при нем нянькой. Это очень хорошая девушка и большая приятельница Путика с первых дней его жизни; с ней его и оставить не страшно. <...>

Что меня касается, то я в обоих своих учебных заведениях чувствую себя недурно. Лекции читаю несколько иначе, т. е. говорю, а не читаю, как в прошлом году. Выходит не так гладко, но зато несколько живее. В институте надеюсь приспособиться. Институтки слушают хорошо, а учат неважно. Подчас уверяют, что Колумб открыл Америку в 4-м веке, а гибеллинов называют гобелэны, — ну, да это ничего. Я еще не писал тебе, что мне через Шеффера предложили частный урок у некоего генерала Олив, бывшего херсонского губ[ернато]ра, а теперь помощника Вяземского, начальника уделов. Заниматься нужно 2 ч. в неделю (среду и субботу) всеобщей историей с двумя взрослыми девицами. Мы с Шеффером были у них в воскресенье: генерал нелепый, m-me симпатичная и толковая, и девицы, на первый взгляд, в ее стиле. Я и согласился, тем более, что предлагают 30 р. в месяц. В субботу начну. <...>

Д. 3. Л. 55—56 об.

221

2 октября

<...> Про Юлин приезд я тебе уже писал. Нашел я ее не особенно поправившейся, да и теперь она, благодаря легкой простуде, не совсем хорошо себя чувствует, но все-таки удовлетворительно. Зато Путик совсем молодец — спокойный, крепкий и веселый. Мы с ним приятели: он мне всегда улыбается, когда увидит, а если я не обращаю на него внимания, препотешно заговаривает. Вообще, хотя он только гласные звуки издает, но он очень болтливый, и по ночам долго сам себя занимает разговорами, не требуя, чтобы к нему подходили. Это очень удобно, потому что Юле не приходится вставать, если он не спит. <...> Урок у Олив, о котором я тебе писал, кажется, будет довольно приятным. Два раза в неделю (среда и суббота от 10 до 11) я

---

* Следует читать: кроватку.

рассказываю двум барышням разные вещи из области средневековой (а затем и новой) истории. Читаю настоящие лекции. Курс, который из них составится, будет состоять из серии довольно широких культурно-педагогических очерков. Для меня это полезно, потому что приводит в порядок мои сведения по всеобщей истории и, кроме того, приучает говорить свободно, без конспекта и заранее составленной лекции. Конечно, приходится довольно тщательно готовиться — но это не потерянное время.

Ученицы мои очень внимательны и, кажется, с интересом следят за моею речью. Но всех больше заинтересована их мать, попросившая разрешения присутствовать на уроках. Помаленьку да потихоньку налаживается дело в институте, а на курсах идет лучше прошлогоднего, потому что я пробую говорить, а не читать: и самому веселее, и слушать лучше.

В институте пока новых советов не было, и что будет с новыми методами, которые мне кажутся разумными, — я не знаю. Француз подвел и на втором собрании, когда дело дошло до старших классов, не выдержал тона и стал защищать «la lecture analytique»* против курсорного чтения, какое необходимо для практического изучения языка.

Когда совет вернется к обсуждению программы, я тебе напишу, потому что тебя такие вопросы интересуют. <...>

На Бестужевских курсах большая новость: И. И. Лапшин читал первую лекцию по «истории педагогических теорий» — и с успехом. <...>

Д. 3. Л. 57—59 об.

222

10 октября

Дорогая мамочка, каждый день собираюсь писать тебе, и все не удается. Не то чтобы совсем времени не было, а голова вечно чем-нибудь занята. В общем, это очень хорошее состояние — быть постоянно занятым. Но постоянная срочность занятий подчас утомляет — разные мысли, соображения, вопросы мелькают изо дня в день, и все новые да новые, так что ни на чем остановиться нельзя. Такая вечная спешка и составляет оборотную сторону моих нынешних занятий.

Теперь я недавно вернулся с уроков и сижу дома один, потому что Юля забрала Путика и Настю и отправилась к m-me Гари. Путик препотешно выглядит в новой шапочке, которую ему Юля сама сшила. Я вынес его на улицу, до извозчика, — и он как-то растерялся, даже испугался — притих и даже начал пищать. Вернется Юля, раскажет, как дальше пошло путешествие. Это первый «выезд» Путика. <...>

До свидания, дорогая мамочка, поцелуй папу и Ефремовых. Как-то трудно представить себе, что они в самом деле уехали.

Твой Саня.

---

* Аналитическое чтение (*фр.*).

Сегодня я отправил на твое имя № «Родника».[201] Остальные прямо будут пересылаться в Харьков.

Д. 3. Л. 60—61 об.

223

20 октября

Дорогая мамочка, опять я долго не писал тебе. Такая линия вышла. Да время так быстро проходит, что и не замечаешь, сколько дней прошло. Все дни так похожи одни на другие, что и помянуть их нечем. Общий итог моего времяпрепровождения в двух словах: времени мало, а дела много. Распорядился я своим временем крайне неудачно. Я так был недоволен своим прошлогодним курсом русской истории, что принялся писать его заново, и на это и уходит почти все время. Занятие, конечно, необходимое, но более важное из-за этого стоит.

Дома у нас все обстоит как нельзя лучше. Путик со дня на день становится все живее и сознательнее. Любо-дорого следить, как он делается все наблюдательнее и замечает массу такого, что прежде никакого впечатения не производило. Какая сложная и постоянная работа должна происходить в этом маленьком черепе? Теперь он, когда не спит, вечно чем-нибудь заинтересован, вглядывается, надув губы, все трогает ручонками — дверные ручки, ковры, картины, книги. Смотреть за ним надо в оба, потому что он минуты не сидит смирно, все к чему-нибудь тянется. Недавно его в полное изумление привели мухи, которых у нас вдруг довольно много появилось; надо было видеть, как он следил за ними и как искал их, когда терял их из виду! Он у нас, слава Богу, здоровенький и веселый. Всех, кто к нам заходит, он удивляет радушием и бесцеремонностью; не было еще случая, чтобы его новая физиономия смутила. <...>

Мне, по случаю праздников, придется выезжать: завтра вечер в институте, послезавтра на курсах. Жаль времени, мало охоты, а придется поехать, а то девицам обидно будет. Вообще отвыкли мы с Юлей выходить из дому. Ей почти вовсе не приходится, а мне редко доставляет это удовольствие. <...>

Д. 3. Л. 62—63 об.

224

3 ноября

Дорогая мамочка, правду говорят, что мало людей на свете — думал ли я, что Олив окажутся нам родственниками. Я, конечно, вчера же сообщил им об этом. Мар[ия] Алекс[андровна] Олив сейчас стала расспрашивать меня о Лопатиных, но я оказался недостаточно сведущим. Из братьев твоих она знала Ипполита.

Она просила, при случае, передать свой привет Леоновым. Занятия мои у Олив не затруднительны и не бесполезны для меня; но какой от них толк моим ученицам — я не совсем понимаю, хотя они, кажется, считают себя удовлетворенными. Я им читаю лекции по всеобщей истории, в ряде очень общих очерков, потому что они в один год хотят пройти и новую и среднюю историю; при двух часах в неделю тут не разгуляешься. И на курсах у меня дело идет чересчур быстро. Я ведь начал на II курсе со Смутного времени, а на III — с Петра. К Рождеству я, чего доброго, дойду на II курсе до Петра и придется захватить во втором полугодии часть XVIII века. Это не совсем выгодно. Зато в институте боюсь не успеть закончить программу: было несколько праздников, и мы запоздали; придется, пожалуй, кое-что сократить.

Что касается домашних дел, то они идут удовлетворительно. Путика начали прикармливать смесью молока с овсяным наваром, которая стерилизуется в особом аппарате. Аппарат мы купили нового устройства. Это род самоварчика, который герметически закупоривается водой. Он эмалированный и очень удобен. Путик охотно кушает свою новую пищу и вообще ведет себя недурно. Только последние дни что-то больше капризничает. Есть некоторое основание предполагать, что скоро начнут зубки прорезываться. <...>

Главная новость, волнующая теперь Юлю и ее подруг, — это увольнение директора школы Штиглица Месмахера. Произошло это вследствие столкновений его с Половцовым, в которых правда была, несомненно, на стороне Месмахера. Волнений и огорчений — без конца. Вчера вечером у нас собирались кончившие курс школы, чтобы сговориться относительно подачи директору адреса, а сегодня Юля пошла в школу — сниматься в группе. Новым директором назначен симпатичнейший из преподавателей школы — Котов, человек, насколько можно судить по рассказам учениц, пожалуй, слишком мягкий для этой роли. А у нас в университете заняты предстоящим докторским диспутом Чечулина, который представил диссертацию о «Внешней политике Екатерины II» — труд, который не только имеет научную ценность, но и задевает много политических симпатий и антипатий. К сожалению, он задел и личные самолюбия. Назначены были официальными оппонентами Платонов и Кареев. Но Кареев нашел в книге примечание, в котором одна его статейка приводится как образец «бесплодной критики», обиделся и отказался от участия в диспуте. Это вызвало бурное заседание факультета; все на Кареева нападали, но он не уступил. Просили Форстена — отказался. Наконец, остановились на Ламанском, который и взялся заменить Кареева. Словом, опять личные причины внесли смуту в ученую среду! Эк их! А диспут отложили до 8-го декабря, и он обещает быть оживленным. Весною, вероятно, будет еще любопытнейший диспут: Рождественский, старший из учеников Платонова, уже печатает диссертацию о «Княжеском землевладении в северо-восточной Руси». Быстро успел дойти до магистерства.

У Форстена на днях было интересное собрание. Я как-то уже рассказывал тебе, что он состоит попечителем народной школы в Новгородской губернии и усердно ею занимается. В помощь школе он устроил общество, где уже больше 60-ти членов. Общество это снабжает школу пособиями, дает беднейшим ученикам обувь и платье, устроило повторительные воскресные классы для кончивших, доставляет им книги, устроило чтения с волшебным фонарем, содержит стипендиатов из кончивших школу в духовном и ремесленных училищах; наконец, теперь завело сношения с земством об открытии еще одной школы, которой общество даст субсидию. Есть и проект присоединить к школе учебные мастерские кузнечного и столярного дела. Но на все это нужны деньги, а стало быть, и члены в общество. Членский взнос — 50 к. в месяц. Не хочешь ли ты с папой записаться и не найдешь ли еще любителей народного образования? К Рождеству пришлю отчет о деятельности нашего «общества».[202]

К сожалению, за разными текущими делами я все еще не могу приступить к экзаменам. Это самое больное мое место. Нападают на меня за это, но я, по совести, не могу признать себя виноватым. Надо экономить время и быть несколько небрежнее к лекциям, но это легче сказать, чем исполнить. Ну это тема такая, о которой и говорить-то не хочется.

Зима у нас стала настоящая, хотя и без снегу. Морозы еще небольшие — 4—5°. Простужено ¾ Петербурга, в том числе и я. <...>

Д. 3. Л. 64—68 об.

225

11 ноября

Милая, дорогая моя мамочка, как беспокоят нас с Юлей известия о том, что ты нездорова и расстроена. Бедная мамочка, тебе нужно отдохнуть, и потому, конечно, план погостить у Дины недурен. <...> Быть может, если ты будешь чувствовать себя удовлетворительно, ты и к нам соберешься? Мы постараемся устроить тебя поудобнее, а Путик такой смирный, что не будет очень беспокоить бабушку. Может быть, ты тут согласишься посоветоваться с хорошим врачом. <...>

У нас дела, в общем, обстоят хорошо. Путик растет и крепнет, охотно кушает свое молоко с геркулесом и с каждым днем становится все забавнее. Юлино здоровье удовлетворительно, только хозяйство ее очень огорчает, потому что всякую проделку прислуги она очень близко принимает к сердцу, а держать их в руках, конечно, не в ее характере. У меня преподавание наладилось настолько, что я теперь и для себя могу заниматься, сокращая время для подготовки к лекциям и урокам. Когда же мне удается для себя поработать, то и на душе всегда лучше. Смущает меня необъятная глубина и сложность моего предмета, а привлекает его содержательное разнообразие. Пока еще негде развернуться — ну да это придет. <...>

Д. 3. Л. 69—70 об.

226

16 ноября

<...> У нас два последних дня было не без тревоги. У Путика был небольшой жар, и вообще он был довольно кислый. Но сегодня он ведет себя прилично. А теперь он собрался спать — лежит один и сам с собой философствует. Хорошая это у него привычка — засыпать самостоятельно и укачивать себя самого. Он часто даже предпочитает, чтобы его оставили в покое и положили, особенно, когда не в духе

или нездоров. Не смейся, бабушка, что я пишу «не в духе»: Путик у нас очень сердитый, а когда рассердится — то не плачет, а отворачивается, ни на кого не глядит и не откликается на свое имя.

Я теперь почти бросил готовить свои лекции и к урокам готовлюсь на скорую руку. В декабре буду держать магистерский экзамен. И прошение уже подал. Начну с русской истории. Правда, я не всю магистерскую программу проработал, но Платонов согласен удовлетвориться тем, что у меня сделано, только потребовал, чтобы я ему предоставил свои лекции для просмотра. Я думал, что это соглашение не любезность с его стороны, а законная точка зрения: ведь мои лекции заставили меня проработать большую половину русской истории; ну и будет с них для магистранта. Сдам русскую историю, возьмусь за среднюю. «Наши» очень одобряют мою смелость. Третьего дня они, в достаточном количестве, собрались у нас, в том числе и Форстен. Это первый «вечер» у нас в этом году. <...> Пока, до свидания, дорогая мамочка. Поцелуй Палибиных и скажи Коле, что я книги вышлю, когда будет время заняться этим. А когда оно будет? Бог знает, теперь конспектирую по 2 тома в день, потому что до экзамена — недели две, много три.

Д. 3. Л. 71—72 об.

227

22 ноября

Дорогая мамочка, ты, вероятно, уже давно получила мое письмо, адресованное в Тарусскую, где я тебе наконец мог сообщить, что решился держать магистерский экзамен. Как это будет — не знаю. Многое еще недоделано, приходится теперь всю магистерскую программу пересматривать. Первый экзамен, у Платонова, будет, вероятно, 7-го декабря. Если благополучно сбуду его, то Рождество останется для всеобщей истории. Хорошо было бы к весне всю эту обузу с плеч сбыть, а то я по рукам и по ногам связан. Дела у меня теперь, понятно, больше, чем когда-либо. Выгадываю время, как могу. Только уроки у Олив будут и впредь отрывать от занятий, потому что к ним надо довольно много готовиться.

Я только что вернулся из университета, с годового заседания нашего студенческого общества, которое мы два года тому назад основывали.[203] Впечатление не особенно отрадное. Часа полтора провели в обсуждении вопроса, отчего так вяло идет дело, отчего мало рефератов, отчего собрания все меньше и меньше посещаются. Никакой меры к тому, чтобы поднять общество, не придумали, да и чем поможешь, когда дух вялый, нет увлечения, какая-то дряхлость в речах и мнениях. Что такое? Откуда это? И все этим тяготятся, а никто не знает, где выход. Ряд захватывающих тем, ряд зажигательных рефератов — да откуда их взять, кто их напишет? И смех, и горе с ними; как раки горюют на мели. В печальном состоянии наше детище.

И нас, учредителей, нельзя за это винить: мы не поможем. Студенческое общество должно жить силами студентов, а наши рефераты слишком походили бы на лекции. <...>

Д. 3. Л. 73—74 об.

228

8 декабря

Ну, дорогая мамочка, был вчера мой первый экзамен. Повесток мы с Лапшиным, которому тоже предстояло экзаменоваться, не получили, и потому поехали в университет пораньше и ждать пришлось до 2-х часов. Перед заседанием факультета Платонов сказал мне, о чем мне придется отвечать: 1) о местном самоуправлении в XVII и XVIII вв.; 2) об устройстве Новгорода в XIII—XV вв. и 3) о деятельности Сперанского. Через полчаса позвали в заседание и посадили меня между Платоновым и проф[ессором] истории литературы Ждановым. Только они двое да еще философ Введенский слушали мой ответ. В то же время экзаменовались еще двое: один магистрант у Кареева, а другой — у классиков. Я рад был, что меня [мало] слушают, потому что говорил плохо и раза три проврался. Ну да все равно, хоть и ушел с экзамена с неприятным чувством, все-таки один предмет сбыл. Теперь надо взяться за среднюю историю, по которой экзамен будет в январе. Глупая и неприятная шутка эти экзамены. В компании взрослых людей, да еще «серьезных» ученых — разыгрываешь комедию. Говоришь избитые вещи, не интересные ни для тебя, ни для слушающих, которые и слушают-то еле-еле.

Сегодня опять поеду в университет — на докторский диспут Чечулина; этот спектакль обещает быть интересным. <...>

Д. 3. Л. 75—76 об.

229

14 декабря

<...> У нас теперь с Путиком более или менее наладилось. Сегодня Юля уже купает его. Зато сама Юля ведет себя плохо, очень устает, а Настю мы так избаловали, что то и дело Юле приходится самой возиться с Путиком, потому что Настя очень уж медленно другие дела исполняет. Надо бы подтянуть нашу прислугу, а не умеем. Теперь довольно ясно и то, что пора бросить кормление Путика и перевести его на искусственную пищу. Сам Путик — молодцом. Мальчуган очень живой, всем интересуется, вечно сам себя занимает и набрасывается на всякий новый предмет. Какая-нибудь книга, особенно в пестром переплете, какая-ниб[удь] дверная ручка или газета могут надолго занять его. И надо видеть, как он сосредоточенно трудится над тем, что в руки попало, вытягивает губки и сердится, что ничего из трудов его не выходит. Что он думает, чего хочет? Вот заглянуть бы в эту головку. Всякая новая физиономия его привлекает. Но знакомится он ручками: схватит за нос, вцепится в волоса и, если у гостя очки, — непременно снимет, да еще попробует, не снимаются ли и глаза. Побаивается он только нашего философа Лапшина.

Вне нашего гнездышка главная злоба дня за эту неделю диспут Чечулина. Диспут возмутительный и тяжелый. Книга вовсе не так плоха, хотя и не первый сорт. Не дать степени было трудно. Возмутительно не это, а та травля, которую Чечулину устроили. Прочти во вчерашнем № «Нового времени» (13 дек[абря], пятница, № 7471) статью «В интересах беспристрастия». Ее писал Адрианов, выразив мнение о диспуте всего нашего кружка. Я охотно подписался бы под этой статьей. Стало быть, мое глубокое убеждение, что всего возмутительнее не бездарность диссертации, а дутые и злые возражения; стыдно за «наш университет», как ты пишешь, не из-за Чечулина, а из-за гг. неофициальных оппонентов. «Новостям» и «Русским ведомостям» верить нельзя. Там писали «свои», приятели Кареева. Я не защищаю книги Чечулина. Ее можно бы разнести гораздо серьезнее, чем было сделано. А возражения Кареева и Мякотина были довольно жалки. Своею злостью они добились скандала, но спасли Чечулина от провала. Я знаю людей, которые были до диспута настроены против Чечулина, а потом из-за неприличного поведения оппонентов перешли на его сторону. Стыдно за университет, где на диспутах сводят личные и партийные счеты, забыв про науку, а потом сами себя расписывают в газетах. Книга Чечулина неважная, но от такого скандала, какой ему устроили, никто не гарантирован.[204]

Что касается моих экзаменов, то Платонов уверяет, будто все было весьма хорошо, а мое впечатление преувеличено. Очевидно, мерки у нас разные, да еще и то надо иметь в виду, что он пристрастен в мою пользу. Во всяком случае, экзамены — дело нелепое, которое лишь бы сбыть. Пока никак не соберусь сесть за среднюю историю, а надо не только к экзамену приготовиться, но и написать работу для Васильевского.

Еще неделя — и праздники. Я им рад. Научился ценить свободное время. Первое полугодие закончили. На днях выставляли полугодовые баллы в институте и, кажется, очень щедро. На курсах начитал столько, что придется на втором курсе прочесть часть того, что я читал в начале года на третьем. Это невыгодно, потому что на будущий год будет на III курс слишком много времени. А мне еще один урок предлагают, и я, кажется, соблазнюсь, возьму. Урок вроде того, как у Олив, у графа Бобринского, обучать юную графиню всеобщей истории 2 часа в неделю, рублей по пяти за час. Времени возьмет это немного, а выгода большая и далеко не лишняя. <...>

На днях Вениамин с Юлей отправляются в Михайловский театр слушать «Паяцев». Я не пойду, потому что и опера-то грошовая, а в исполнении мариинских актеров совсем будет плоха. У нас теперь в Петербурге съезд драматических знаменитостей — и Дузе, и Барнай; только что уехал Сальвини (сын), а ждут Мюне-Сюлли. А меня никуда не тянет, Бог с ними. <...>

Д. 3. Л. 77—79 об.

230

23 декабря

Дорогая мамочка, вот и Рождество пришло. Шлем всем вам всякие поздравления и пожелания. У нас в Питере странное Рождество. Ездим на колесах: только сегодня перестало таять, а снегу почти нет. Ну, хоть погода скверная, а время это, все-таки, приятное, потому что свободное. Свободное, конечно, относительно, потому что дела, и спешного дела, хоть отбавляй. А работается как-то медленно. Я еще не писал тебе, что в пятницу я писал так наз[ываемую] «магистрантскую» работу на тему о «происхождении раскола». Это курьезная формальность. Являешься в университет, получаешь от секретаря совета тему в запечатанном конверте, удаляешься в архив и пишешь.[205] Два листа написал. Платонов еще не читал. В субботу он забегал ко мне — нашел нужным сам доставить мне некоторые книги, которые брал у меня, — неисправимое джентльменство!

Сегодня у нас в институте было собрание педагогического совета: не лишено интереса послушать, как дается отчет за полгода занятий. Получаются характеристики отдельных классов, и на этот раз, насколько могу судить по своим, действительно. Мне достались интересные классы — два лучших в институте, и два самых странных: неровных и сбивающих педагогических деятелей с толку. Об этих четырех классах больше всего толковали, а когда перешли к младшим, я сбежал. До совета я побывал у Бобринского, тот мне предлагает 3 урока в неделю за 50 р. в месяц: заниматься историей с двумя графинями (одной 12, другой — 13 лет) начиная с истории древней. Начну с 3-го января.

Вот и все «деловые» новости». Вчера мы с Юлей ходили к ее дяде Новацкому поздравить его с именинами, а потом заехали к Форстену. Он поправился теперь после своего воспаления в легком. Чувствует себя еще слабым, хотя его доктор уже заставляет его выходить на воздух. Боюсь — не рано ли. Удивительный это человек. Чуть оправился, и опять ученые мечты о новых работах, о новых курсах, новые мысли, живые, интересные так и увлекают его. У нас его считают сухим! А в нем живого исторического чутья и даже широты кругозора побольше, чем в университетских корифеях. Когда его поймут и оценят! А меня зависть берет, глядя на него. Сколько интересных эпох ему близки, таких, о которых я еле-еле понятие имею.

Наш патриарх болен, и его субботы прекратились. Многих из «форстенят» я давно не видел. А теперь Адрианов укатил в Оренбург, а Лапшин сегодня уезжает в Москву. Хорошо, если бы праздники были действительно временем затишья и занятий.

Путик все еще беззубый. А пора бы, кажется. Он у нас опять с насморком и даже покашливает. А впрочем, не унывает, веселый и даже буян. Все ему надо потрогать, сбросить на пол. Мальчуган настолько живой, что уже скучает, если чем-нибудь не займется. Правда, что для самого сосредоточенного занятия ему довольно первого попавшегося предмета, книги, куска бумаги — все равно; он по ним хлопает ручонками, вертит, рассматривает. <...> Хотим ему на первый день маленькую елочку показать.

Д. 3. Л. 80—81 об.

231

31 декабря

<...> Путик предупредил твое пожелание относительно зуба. На днях у него прорезался зубок и совсем незаметно, только немного больше капризничал. Вообще он у нас, чтобы не сглазить, молодцом.

Пополнел за последнее время, окреп и большой буян; ни секунды смирно не сидит. Вот и теперь — выспался днем и гуляет, хотя уже девять часов. На руках его становится трудным держать: все вертится и скачет, ко всему тянется, а за неимением другого занятия треплет гостей за волосы. Недавно усердно таскал за бороду Полонского, а сегодня занимался прической Елены Владимировны. Это довольно-таки больно. Праздники прошли у нас очень суднично. Я все за письменным столом сидел, а Юля занята обычными хлопотами. M-me Балюкевич еще у нас, и сегодня мы втроем встретим Новый год, а то и совсем встречать не будем — ляжем спать. Вениамин уехал на Пороховые; сегодня вечер в клубе, и его просили приехать ввиду его скорого отъезда (10-го или 11-го он выезжает). Странно себе представить, что и он исчезнет с нашего горизонта. Привыкли мы его видеть каждый день.[206] В воскресенье они снимаются «мелинитовой комиссией». <...>

В Петербурге теперь эра сенсационных новостей. Настойчиво говорят (и люди хорошо осведомленные), что Государь серьезно болен, что повторились припадки его юности, что к нему призывали Чечота, запретившего всякие волнения.[207] Делянов (увы, все еще м[инист]р!) приказал представления Государю писать кратко, чтобы не утомлять Е[го] В[еличе]ство. Называют м[инист]ром ин[остранных] дел нашего посла в Дании — как биш его, не помню, а в преемники Делянову прочат какого-то Маркова, не знаю какого. В общем, настроение политических сфер унылое. Важные люди стонут, что людей нет, что не из кого и выбрать. Неуверенность, апатия какая-то чуется в воздухе. Совсем петербургская погода. Если заключать по толкам, «бездействие власти» — символ настоящего периода. А «бессмысленные мечтания» давно спрятаны по карманам.[208] Невесело в Петербурге, дорогая мамочка.

Ну, по боку непраздничые речи. Нам-то, в нашем маленьком мирке, живется уютно. Правда, у разных друзей наших много расстройств и треволнений, но, даст Бог, все перемелется и мука будет.

Занятия мои идут ни шатко, ни валко. Делаю, что могу, но выходит немного. Все некогда да некогда; на дела, требующие месяцев, — сроку по нескольку дней. Если и гладко идет, то гладь эта — официальная, а серьезно углубляться не приходится. Не будет ли лучше после экзаменов? Дай Бог.

Уроки мои, частные, не прерывались и на праздниках. По субботам барышни Олив пожелали «учиться», а третьего начинаю у Бобринских. Не успеешь оглянуться — и опять пойдет все своим чередом. Не скажу, чтобы это меня радовало. Я, все-таки, по существу не педагог, а кабинетная крыса. А надо этот свой характер бросить. Впрочем, горбатого могила исправит.

Эти дни я писал свой отдел будущих лекций по средней истории Васильевского. Выходит что-то не то, что нужно, но во всяком случае нечто такое, из чего можно будет вылепить сносный «очерк». Во всяком случае, работа эта пройдет через редакцию целого «комитета» с Гревсом во главе. А экзамен по средней истории надеюсь сдать числа 25-го января, если успею прочесть все, что нужно. Дела много, а потом, для Кареева, будет еще больше. Это не русская история — тут почва чужая и менее знакомая.

Завтра я кучу. Дружинин, приятель Платонова, — именинник и звал меня на именины. Я пойду, это может быть любопытно. Дружинин этот весьма любопытный человек, большой знаток раскола и существо несколько своеобразное. Я его еще не раскусил, потому с интересом к нему приглядываюсь; но это улитка, которую разглядеть не так-то легко. <...>

Д. 3. Л. 82—85 об.

1897

232

13 января

<...> Не знаю, как ты к этому отнесешься, но мне предложили еще один урок, от которого крайне трудно было отказаться. Изобрел его Форстен, а его просила начальница гимназии княгини Оболенской. Урок такой же, как у Олив, т. е. проходить надо то же и так же. Ученица — племянница упомянутой начальницы, дочь герцогини Сассо (sic!). Предлагали урок в таком тоне, точно желательно ознакомиться с моим преподаванием ввиду того, что может понадобиться преподаватель для восьмого класса гимназии Оболенской. Ну, я и согласился, особенно ввиду того, что с Оливами я к весне покончу, а этот урок очень пригодится в будущем году. Во всяком случае, к занятому времени прибавилось еще два часа в неделю. Начну в субботу.

Остальные дела мои — по-старому, идут себе помаленьку. Ты пишешь, что папин отъезд опять может затянуться! Это весьма некстати. А Хилков — славный субъект. Он очень внимательно и мило отнесся к m-me Балюкевич и взял одну ее дочь на попечение министерства. За другую хлопочет у вдовствующей императрицы Озерова, к которой обратились по проекту Юли. Сперва завели с ней переписку (письма писал Адрианов), потом она назначила прием m-me Балюкевич и взялась за ее дело. Дай Бог, чтобы вывезло.

Путик большим шалуном стал. Все о чем-то хлопочет, швыряет мои книги под стол, бранится (и очень сердито) с Настей, заигрывает со всеми гостями и вдобавок по ночам гулять вздумал, иной раз часа два, чем изводит Юлю. <...>

Д. 3. Л. 88—89

233

31 января

Дорогая мамочка, опять я изо дня в день собираюсь написать тебе, и все не удается. Как разрешится вопрос о вашем приезде в Петербург? Это теперь самый интересный вопрос для нас. Ты пишешь, что опять очень утомлена и что приезд твой зависит от того, насколько ты отдохнешь. Бедная мамочка, твои слабые силенки портят тебе даже радость видеть внуков. Но, вероятно, Ефремовы уже собираются уехать, и тогда ты передохнешь, а затем соберешься в Петербург.

Вот бы радость была для нас. Боюсь только, что и Путик тебя будет беспокоить. Хоть он, в общем, тихий, но последние дни что-то больше капризничает. Впрочем, он здоров, так что ежедневно не меньше часу проводит на воздухе. Что он больше протестует, отчасти объясняется тем, что он стал требовательнее, и нужно его занимать; а он такой непоседа, что все на новое бросается, и потому иногда скучает, если не заинтересован чем-либо. <...>

А у нас кое-какие новости. Умер инспектор курсов, Рашевский, отличный человек, которого все очень жалеют. Еще неизвестно, кем его заменят. Другая моя новость еще не определилась. Мои уроки у герцогини Сассо познакомили со мной ее тетку, начальницу гимназии княгини Оболенской,[209] где инспектором Форстен. Они и хотят предложить мне уроки, с осени, в их гимназии. Форстен обещал зайти ко мне, чтобы переговорить окончательно, да до сих пор не заходил. Вчера я видел его у Васильевского, но о деле разговора не было. А было бы недурно. Гимназия хорошая, и платят хорошо, и к тому же в педагогическом совете несколько своих: Форстен, Середонин, Нечаев. Надо только уладить так, чтобы общая сумма уроков не была слишком большой. Частные уроки можно бы по боку. Когда решится, сейчас же сообщу.

Хуже всего идут занятия к экзамену. Урывками и через пень в колоду. Но к весне надо все покончить. Чувствую я себя отлично, и те головные боли, о которых тебе говорил Вениамин, — дело давно минувших дней. <...>

Д. 3. Л. 90—91 об.

234

11 февраля

<...> От Кати мы получили письмо из Шостки. Она обстоятельно описывает их помещичью обстановку. По-видимому, там можно совсем хорошо устроиться, лишь бы не слишком скучно было. <...>

А нам вот грустно: пришлось отпустить Настю, которую родители вытребовали в деревню, пользуясь тем, что вышел срок ее паспорта, а нового без их разрешения волостной старшина не выслал. И Антонины у нас уже нет. Ее дочь тяжело больна (внематочная беременность), и она ушла к ней. Но об этом я не очень жалею, так как она избаловалась и почти ничего не делала, все запустила. Одно в ней важно — она не надувала. Но последнее время стала совсем несносной. А Настю жаль: они с Путиком большие были приятели, и на нее не страшно было положиться. Она уехала с надеждой, что выпросит у родителей позволения вернуться. Только едва ли, тем более, что сестра ее, Женя, тоже служившая одно время у Ефремовых, вышла в деревне замуж. <...> Если Настя напишет, что не вернется, то мы возьмем ее двоюродную сестру Пашу, которая Юле очень понравилась. Она здесь на месте горничной, но хочет в няни. Пока же у нас при Путике Маша, будущая кухарка, очень чистая и аккуратная, но не особенно симпатичная, хотя ничего себе. А за нее пока готовит временно еще одна особа. Вот тебе состояние нашего министерства внутренних дел. <...>

Что касается внешних дел, то в институте уже составили расписание экзаменов: первый 21 апр[еля], последний 12 мая. Постараюсь и на курсах освободиться к тому же времени. Хотя и совсем еще неизвестно, как сложится наше лето, а все-таки лучше быть свободным. На курсах у нас как-то вовсе не интересуются тем, кто будет инспектором. До Рашевского никого не было; пожалуй, и теперь никого не будет. Пока даже слухов нет о том, чтобы были какие-нибудь кандидаты на это место.

Занятия мои идут себе по-старому. Подготовка к экзамену у Васильевского близка к благополучному концу, и в конце февраля или начале марта думаю свалить и среднюю историю.

А вас тут многие ждут. <...>

Д. 3. Л. 92—95

235

6 марта

Дорогая мамочка, не стало нашего Путика. Не знаю, с какими мыслями ты уехала от нас, но у нас и до отъезда вашего уже почти не было надежды. Когда вы уехали, мы не остались одни. Елена Владимировна днем, а Рашевская ночью все время были при Путике, давая возможность Юле хоть немного отдохнуть и набраться сил. В воскресенье утром Путик был очень слаб. <...> В воскресенье был у нас второй консилиум с Ван-Путерсеном. Он высказал удивление, что и сердце хорошо работает, и желудок недурно стал переваривать. Самым страшным симптомом признал непонятную для него высокую температуру (39.6) и предложил понизить ее ванной в 30°, которой температуру надо постепенно было понизить до 28°. Мы понизили до 29°, и то температура сразу упала до 38.6. Затем было решено не давать возбудительных (кроме валерианы) и дать Путику поспать. Ночь с воскресенья на понедельник он почти всю провел во сне, хотя кормили мы его аккуратно, по столовой ложке через 20 минут. Под утро велено было дать ему с час поспать, он и проспал, но при этом ножки его похолодели и силы упали. Температура сразу поднялась до 40.3. Это, впрочем, после утреннего визита Вяжлинского, при котором Путик точно нарочно немного оправился и стал кушать, хотя ему не раз перед тем приходилось вливать молоко. После отъзда Вяжлинского пошло быстро хуже. Я поехал, <...> чтобы устроить консилиум, а когда вернулся, Путик уже минут 40 не мог глотать. Влили 4 капли коньяку спринцовкой — он очнулся; при этом и оказался тот сильный жар, о котором я упомянул. Полетел я опять к доктору в Воспитательный дом, и Вяжлинский с Путерсеном сразу решили, что до консилиума, назначенного в 3 часа, Путик не дотянет. Велели взять мускусу и спермину Пеля. Вяжлинский сам тотчас приехал, но лишь для того, чтобы констатировать близость катастрофы. Без меня у Путика начались судороги и рвота. К часу 40 мин. все было кончено. Скончался он тихо, глазки прояснились, и этого ясного, сознательного взгляда мы никогда не забудем.

Похороны Путика мы решили при участиии бюро, очень удобного учреждения, которое берет на себя все хлопоты и со свидетельствами, и с духовенством и т. д.[210] Похоронили мы его в Александро-Невской лавре. Местечко попалось хорошее — близко от церкви, узенькое, но могилка хорошенькая. Наши друзья нанесли много цветов, и они еще сегодня благодаря морозу выглядят свежими, а розы даже запах сохранили. На кресте два венка — наш и Адрианова; оба очень красивые. Что же еще написать? Пусто у нас теперь, точно душу из нашей квартиры вынули. Юля здорова, а что у нее в сердце — это легко понять. Одна поддержка — милая, хорошая сердечность наших друзей. Я принимаюсь опять за дело, а без меня еще, вероятно, более пусто наше гнездышко. Поскорее бы лето. Ефремовым и Палибиным мы не сообщали. Ведь они и о болезни Путика ничего не знали. Уж очень огорошило бы их телеграммой. Кормилицу и ребенка отправили. Отправляем и Машу. Одной прислугой у нас Паша останется. <...>

Д. 3. Л. 96—97 об.

236

16 марта

Дорогая мамочка, я долго не писал тебе, хотя в теперешние трудные дни ты, конечно, особенно ждешь известий. Случилась эта проволочка как-то сама собой, за разными делами и разными настроениями. Юля здорова и молодцом несет свое тяжелое горе. Конечно, чем дальше, тем яснее и ощутимее для нас наша потеря. Много у нее грусти, но, слава Богу, нет уныния. А жизнь пока идет своим чередом, лишенная самого светлого, что у нас было. Точно ясный хороший сон прошел, а пошли теперь какие-то будни. Думал я посоветовать Юле съездить в Тифлис. Ведь ее стариков тоже сильно поразила наша беда. А теперь, когда Петр Вик[ентьевич] все хворает, да и Мих[алина] Мих[айловна] некрепка, надо их поберечь. Звали и они Юлю. Но она все колеблется. Трудно ей из дому уехать. Я и не знаю, куда ее склонять. Это еще не решено, и не знаю, как решится. За массою дела я мог бы один остаться, потому что при постоянной и спешной работе одиночество не так ощутительно. А для нее, может быть, и хорошо было бы проехаться к своим. Во второй половине мая съехались бы с ней в Домброве. Я ведь с 12 мая совсем свободен. Уроки в институте кончаются 5 апреля, а лекции на курсах 22 мая.* Расписания экзаменов уже составлены, и последний 12 мая. И в самом деле, пора кончать сезон. Программы выполнены, и мы так себе тянем, чтобы дотянуть до конца.

Зато хоть и близко свободное время, не особенно приятно, что надвигается квартирный вопрос. А квартиру переменить следует, потому что кабинет мне был бы весьма нужен. С этим связан и вопрос об Адрианове. Дело в том, что жену его приходится отправить на год в Крым. Одно легкое у нее плохо работает. Туберкулезного процесса еще нет, но надо его предупредить. Поэтому Адрианов остается один, и, вероятно, мы устроимся так, чтобы его приютить у себя. Это и ему хорошо будет. Мы его дисциплинируем, да это и нетрудно, потому что он теперь человек очень занятой и много работает. Зато можно будет взять и квартиру получше. Таковы наши проекты. <...>

---

* Следует читать: 22 апреля.

Д. 3. Л. 98—99 об.

237

31 марта

<...> В субботу я свалил с плеч экзамен у Васильевского — готовился много, а экзамен свелся на пуф. Предложили вопрос, который излагать пришлось по лекциям Васильевского и только. Теперь в мае сдам новую историю и политическую экономию. А там — у меня руки развязаны. Свободнее от этого я не буду. Прибавляются с осени уроки в гимназии кн. Оболенской, часов 6, а то и больше, потому что Форстен не решил еще, поручить мне «историю древнегреческой культуры» в восьмом классе или нет. Предмет для меня вовсе не знакомый, оттого и заминка. Но, вероятно, более надежного преподавателя Форстен не найдет. По той же причине не решается он поручить курс истории искусств Полиевктову, хотя этот уже читал ее в гимназии Мая; и точно так же едва ли найдет он кого-либо другого. Не миновать гимназии Оболенской того, чтобы не попасть в руки нашего кружка. А если принять во внимание, что Гревс — инспектор гимназии Таганцевой, а Введенский может оказаться инспектором гимназии Стоюниной, то есть кое-какие виды и на будущее.

Как ты уже знаешь, отчасти я обязан за приглашение в гимназию Оболенской моему уроку у Сассо. Приглашение это приятно, потому что в педагогическом совете большая часть свои: Форстен, Середонин, Нечаев, теперь будем и мы с Полиевктовым, а там и еще кто-нибудь подберется.

Ввиду таких обстоятельств наша компания размечталась о том, что и в университете выступит как юридическое лицо, известное под кличкой «форстенят». Лапшин в субботу читал свои пробные лекции в факультете и произвел самое лучшее впечатление. С осени он дебютирует в качестве приват-доцента с курсом «истории философии в XIX веке», а Нечаев — с историей психологии в XIX в., за ними и я мечтаю об «истории России в XIX веке». Qui vivra — verra.* Но, Боже мой, сколько будет дела. Ведь и Оливы не желают со мной расставаться, хотя и не выдумали еще, что я им такое буду читать на будущий год. И Сассо бросить нельзя, да и не хочется. И Бобринскими, как пригляделся к ним, заняться стоит, потому девочки толковые и живые. Ну, если придется кем-нибудь пожертвовать, то, конечно, именно Бобринских я кому-нибудь передам.

Вот как обстоят мои перспективы на будущий год. В общем — недурно.

А пока я, к стыду своему, должен признаться, что порядочно устал. Это, конечно, вздор, но пора кончать занятия преподавательские. Остаются пока еще три дня в институте — и крышка! После Пасхи только экзаменационная комедия и заканчивание своего магистрантства. Освобожусь я к 12 мая, но и после у меня кое-какие неотлагательные дела будут, так что едва ли я попаду нынче в Рыжов. Дело в том, что больше года числится за мной биография Стефана Яворского в «Биографический словарь русских исторических деятелей». Писать ее вне Петербурга можно, но собрать материалы без Публичной биб[лиоте]ки нельзя. А откладывать на осень никак невозможно.[211] Тогда и без нее дела будет по горло. А на лето у меня, верно, еще журнальная работа будет — для «Вопросов философии и психологии»[212]

---

* Поживем — увидим (*фр.*).

Предполагается, что Лапшин напишет статью о французском философе Ренувье, а я разберу философию истории того же Ренувье. Это тем более следовало бы выполнить, что я попал в члены-учредители нового философского общества при университете,[213] которое будет либо свой философский журнал издавать, либо примет деятельное участие в издании «Вопросов философии и психологии» (издаются в Москве, Московским психологическим обществом).

Письмо это я дописываю уже 1 апреля, так что посылать его не стоит, а отвезет его тебе Юля.

Все идет к закончанию сезона. В институте выставляю годовые баллы и таких нелепо высоких наставил, что на экзамене ожидаю самого скандального положения их. Не умею я баллов ставить и очень рад, что Форстен уничтожил у оболенок классные журналы. <...>

Д. 3. Л. 101 об.—104 об.

238

12 апреля

Христос воскресе, дорогая мамочка. Давненько не писал я тебе. Дни у меня теперь горячие. Читаю по 200—300 стр. в день и к вечеру никуда не гожусь, разве еще гожусь на то, чтобы пойти куда-ниб[удь] в гости. Вчера, например, мы справляли именины Форстена. Собрались форстенята и, несмотря на страстную пятницу, превесело провели время. Тут Форстен окончательно объявил мне, что курс «истории греческой культуры» в восьмом классе гимназии Оболенской возлагается на меня, но отводят на него один час в неделю. Таким образом, осенью в этой гимназии у меня будет 7 уроков в 3-х классах, по 75 р. в год за урок. Курс этот очень интересен, но предмет вовсе мне не знаком. Придется немедленно приобрести 5—6 капитальных сочинений и проштудировать их летом, а при нынешнем состоянии кассы это не вполне удобно, тем более, что квартира моя пока не сдана, и 1 мая я рискую остаться с двумя квартирами. Ну, да как-нибудь вывернемся.

Юля писала мне из Харькова, но не обстоятельно. Пишет, что папа собирается в Петербург, но когда и почему, не объясняет.

У нас, в Северной Пальмире, теперь благорастворение воздухов — ясно, тепло, просто прелесть. Так и тянет от книг на воздух, а нельзя. Сейчас после Пасхи начнутся экзамены — скучное дело. Первый в институте 21-го, второй 22-го. Это экзамены старших классов, где я только ассистентом. Уроки мои (частные) возобновляются в пятницу и субботу на Святой. Оливам я докончу новую историю: мы уже дошли до 1870 года, а с другими остановлюсь на полуслове, чтобы продолжать в будущем году. <...>

Д. 3. Л. 105—106

239

14 апреля*

<...> Дни теперь праздничные, и погода праздничная. К сожалению, и времяпрепровождение, по необходимости, праздничное. Я писал тебе, что встретили мы праздник у Чуйко. В воскресенье мы сделали три визита, а кончили поездкой на острова, конечно, опять с Ел[еной] Вл[адимиров]ной, и вечер кончили у них же.

А сегодня был я у Путика. Светлая, ясная могилка. Мы убираем ее цветами, и тут опять приходится помянуть все ту же Ел[ену] Вл[адимиров]ну. Я нашел могилку убранной — и оказалось, что на Страстной, когда мне было некогда, она два раза без меня ездила к Путику и возила ему цветы на могилку. Теперь цветы живут долго, можно было окружить могилку цветами в горшочках. Теперь в Лавре хорошо, зелено, весной пахнет.

Дело, говорят, не волк, в лес не убежит. А два дня даром пропали и не вернешь. Кто праздники выдумал? И отчего всякий им поддается? А хорошо прошли эти два дня, хотя и сильнее чувствуется отсутствие Юли в такие, по необходимости свободные часы. Но теперь пора, пора спешить с работой — много ее впереди. А много на душе грехов — и у тех, и у других не побывал, да Бог с ними, некогда, если идти куда-нибудь, когда устанешь, то не туда же, куда нужно, а туда, где отдохнуть можно от работы и пустоты нашей опустелой квартирки.

Завтра вечером у нас предполагается совещание с Лаппо-Данилевским о том, как мы будем заниматься вопросами теории исторической науки (будут, вероятно, у Лаппо[-Данилевского] — Гревс, Ольденбург, Лапшин, Полиевктов и я). Затея грандиозная, а что выйдет — не знаю.

Вообще — планы, планы, планы. Только бы с экзаменами разделаться. <...>

Д. 3. Л. 107 об.—108 об.

240

1 мая

Неужели, дорогая мамочка, я в самом деле не писал с 21-го? Письмо я, конечно, получил. Спасибо за поздравление. А папу поздравь от меня с генеральским чином. Я, несмотря на свое легкомысленное отношение к чинам, этому производству от души порадовался, потому что папе оно приятно, и он давно этого хотел.[214] Не сердитесь на меня, дорогие мои, что я так долго не писал. Больно суетливое время прошло. То целые дни на экзамены пропадут, то еще какие-нибудь дела помешают, а ловить время для своих экзаменов, т. е. для подготовки к ним, надо усердно. Мой последний экзамен по истории будет 10-го мая. Экзаменоваться буду по новой истории у Кареева. Следовало бы зараз и политическую экономию сдать, да не знаю, удастся ли. Ведь несколько дней неизбежно пропадут на экзамены в институте и на курсах, а тут еще переезд на новую квартиру! Сегодня у нас идет разгром: пришли артельщики укладывать посуду и книги. Подсчитав возможные расходы, мы с Адриановым решили, что заплатить артели 25 р. за переезд будет удобнее и не дороже, чем переезжать своими средствами. Завтра водворяемся на Литейном, д. № 51, кв. № 24. Вот и завтрашний день прахом пойдет. При всем том и погода в Петербурге самая неподходящая для занятий — сущий июль, жара, солнце светит и греет с усердием, достойным лучшей цели. Столь сложные обстоятельства привели меня в некоторое расстройство, и я, при первом удобном случае, прекратил уроки у всех своих частных учениц. У Бобринских и Олив это прекращение окончательное. У Олив — потому что курс кончен, а Бобринских я кому-нибудь передам. С герцогиней Сассо не знаю, как быть. Поступая в гимназию Оболенской, я несколько стесняюсь оборвать занятия с племянницей начальницы этой гимназии. Ведь она мне этот урок и предложила, и отчасти успеху этих з[анятий] я обязан приглашением в гимназию. Но, с другой стороны, мне на будущий год не то что предлагают, а навязывают такое количество уроков, что я принужден отбиваться всеми силами. В институте старший преподаватель истории Андреянов либо совсем уйдет, либо сократит число своих уроков. Произошло это оттого, что ему предлагают более выгодные уроки в лицее, а в то же время у него произошло некоторое недоразумение с инспектором, потому что экзамен его старшего класса прошел крайне неудачно. Часть имеющих освободиться уроков предлагают мне, но я упорно отказываюсь и надеюсь отвертеться. В гимназии Оболенской тоже освобождаются уроки по истории, кроме тех, которые мне предложены. Уходит Середонин, наш приват-доцент по русской истории; уходит он потому, что ему предложили написать к 1902 г. историю Комитета министров и дают ему, что обеспечит ему возможность заниматься, по 200 р. в месяц.[215] Форстен хочет, чтобы я взял еще один класс у него, а я постараюсь сбыть этот класс Полиевктову. Ведь у меня и без того будет занятий на 26 часов в неделю, этого более чем достаточно, тем более, что курсы и восьмой класс в гимназии потребуют серьезной работы. Во вторник экзаменовались мои институтки (2-е классы) — по счастью, удовлетворительно, а одно из отделений даже хорошо. Как-то с третьими классами пройдет? На них я меньше надеюсь. Их экзамен будет 8-го мая. Сегодня мне предстоит экзаменовать III курс моих курсисток, а 7-го мая — II-й курс. Затем останется только одно ассистентство — 12-го мая.

---

* В оригинале ошибочно указано: 14 марта.

Юля пишет мне довольно часто. Чувствует она себя теперь удовлетворительно, хотя и прихворнула после приезда. Только скучает она, и, кажется, незачем ей было уезжать, тем более, что весна в Петербурге стоит удивительно теплая. <...>

Ну и побездельничали немного за это время. Трижды собирались у одних знакомых для просмотра невиданных музыкальных произведений — «Садко» и «Снегурочки» Римского-Корсакова, «Ратклифа»

Кюи.[216] Собрания эти, так сказать, сверх положения, потому что у всех у нас теперь время занятое. У кого еще уроки, у кого свои экзамены. Иные, как Лапшин, Нечаев и новоиспеченный магистр Рождественский (ведь я, кажется, писал тебе про его диспут?),[217] — собираются с осени начать лекции в университете.

Д. 3. Л. 109—111 об.

241

8 мая

Уф, дорогая бабушка, только что сбыл экзамен по новой истории. Конечно, впечатление все то же: нечего было столько готовиться, чтобы сказать несколько общих мест на экзамене. Теперь придется проделать ту же комедию с политической экономией, и, увы, это возможно, как мне сказал Платонов, только 23-го. Придется еще две недели маяться в Петербурге.

Я, кажется, порядочно времени не писал тебе, дорогая мамочка. За это время переэкзаменовал я своих курсисток и институток. Наибольший интерес для меня представляли, конечно, институтки: это и ново для меня было, да и более ответственно. По счастью, все четыре мои класса прошли довольно гладко. Немногим понизили мои годовые отметки, а нескольким повысили. Только с двумя у меня крупное недоразумение вышло — одна с 11 переехала на 8 (на экзамене получила 5), а другая с 9 на 11 (на экз[амене] 12), и это, по-видимому, не случайность — мой промах. Теперь мне еще раз придется съездить в институт и баста. Тогда я займусь политической экономией и составлением биографии Стефана Яворского, которая уже давно мне заказана. Жаль, что нельзя теперь же уехать. Скучно в городе в такую чудную погоду. Скучно без Юли, когда она такие грустные, грустные письма пишет. <...>

Кроме экзаменов и биографии надо еще и материалы подобрать для работы на лето, запастись нужными книгами. Жаль только, что с финансами неладно вышло. Оборотиться можно, но если бы папа мог мне дать субсидию рублей в 50 — это было бы великолепно. Но если у него теперь казна в затруднительном положении, то не стоит меня баловать.

В институте у нас все еще не выяснилось, как распределятся уроки, но я заявил, что больше 12 не возьму. Да и с Форстеном еще не ясно — 10 или 7 даст он мне часов.

А что хорошо — это то, что мне удалось одну из моих гр. Бобринских передать Е[лене] В[ладимировне] Чуйко. Это будет получше тех грошовых уроков, какие у нее до сих пор были. Из частных уроков у меня остаются только Сассо. Оливы, вероятно, будут слушать меня в гимназии. <...>

Д. 3. Л. 112—113 об.

20 мая

Большое спасибо папе за деньги. Я, конечно, нужные мне книги уже закупил и все на них истратил, что было, а то, что предстоит получить, — только-только хватит на лето. <...>

Судя по газетам, у вас начались дожди. А Петербург упорствует. Погода июльская, почти южная. А уеду я только дней через 5, по всей вероятности. Конечно, переписка с Юлей оборвалась, так как она теперь в пути. Должны они были выехать 16-го морем, а когда приедут, то к ним соберется родня Даль-Троццо, Аделиного жениха, но тотчас все, кроме Юли и П[етра] Вик[ентьевича], уедут в Варшаву. Мне хотелось бы приехать только в этот момент, а то неуютно будет.

Что меня касается, то дела мои покончены. До 16 августа (увы! у нас в институте так рано начинаются уроки!) я свободен. Сегодня сдаю свое последнее дело: в институте затеяли издать французскую хрестоматию по всеобщей истории, чтобы чтения на уроках французского языка были содержательны и полезны. Меня просили проредактировать ее. Составлено недурно — из статей Тьерри, Гизо, Мишле, Фюстель де Куланжа и т[ому] под[обных].

Зато с магистерским экзаменом покончу только осенью. Экзамен мой по политической экономии не может состояться 23-го потому, что у профессора Георгиевского заболела жена, он уехал на дачу и не желает приезжать в город. Во всяком случае, пора подумать о дальнейших шагах в моей «ученой» карьере. На эту тему мы вчера долго толковали с Платоновым, сидя на пристани над Невой у Летнего сада за бутылкой мозельвейну. Он очень стоит за возвращение к изучению летописей Московского периода. Интерес и значение этой темы для меня ясны, быть может, больше, чем для кого-нибудь. Первые, хоть и нетвердые, шаги сделаны. Вполне согласен с Платоновым, что хорошо выполненная работа подобного типа сразу даст мне имя и довольно твердое положение. Но работа эта рискованная, мозаичная. Сделано очень мало, и все придется строить вновь, из материала неточного, скользкого. Твердых обобщений получить нельзя. Останется чисто гелертерская работа, цель которой — выяснение нового материала. Но тем не менее я на это решаюсь. Более точная постановка темы выяснится после некоторого периода работы. Благослови меня на сей тернистый путь, который будет долог и, Бог весть, куда приведет.

Что касается доцентуры, то Платонов против нее. Практического смысла он в ней не видит, а смотрит на нее как на излишнюю потерю времени. Выдумывать курс для того, чтобы стать доцентом, дело неосновательное, а когда, путем занятий, выработаешь себе ценный курс, стать доцентом недолго. Так, постепенно, намечается программа моих дальнейших действий. А пока что времяпрепровождение мое идет довольно суетливо. То того то другого надо повидать, пользуясь свободными днями, и все дни и часы распределяются по полному расписанию разнообразных поступков. Материалы для летней работы подобраны — и как их много, дорогая мамочка! А времени не так-то много — всего, круглым счетом, два месяца. Вывозите, святые угодники! <...>

Я, верно, довольно-таки бестолково пишу сегодня. Жарко. Квартира наша очень сухая и не приспособлена для летнего житья. Платонов, который дважды приходил ко мне на днях, нашел ее очень симпатичной. А когда приедет Юля и все так уютно устроит, как она одна умеет это делать, то гнездышко наше будет и вовсе славным. <...>

Деньги с 1 июня прошу адресовать: Театральная улица, д. № 5. Археографическая комиссия. Сергею Александровичу Адрианову.

Д. 3. Л. 114—117 об.

243

26 мая [Домброво]

<...> Петр Викентьевич выглядит, пожалуй, лучше, чем я ожидал, но он все-таки очень слаб, легко устает, нервничает и вообще порядочно развинчен. Со службы он ушел обиженным, потому что ему года не хватило до тайного советника, а Голицын не захотел устроить. Вообще к шереметевским друзьям отнесся он очень непорядочно. Амилахвари выжил в отставку на несколько времени раньше, чем тот рассчитывал, а мебель m-me Шереметевой велел убрать раньше, чем та устроилась,[218] и т. п. Все это вместе взятое отравило им отъезд и настроение тем более унылое, что Домброво требует затрат, свадьба Адели тоже, да еще переезд сюда прибавляется.

Но независимо от настроения владельцев, в Домброве очень хорошо. Красивая местность, глубокая тишина, ясная погода — все это отличные условия для отдыха от петербургского шума и суеты. В доме нам с Юлей отвели верхний этаж, так что мы все-таки несколько обособленны. Да и для занятий моих тут условия благоприятные, так как я могу свободно уединяться на целые часы со своими книгами. А книг со мной много и очень увлекательных. Надеюсь много приобрести нового для склада моих знаний.<...>

Эти дни я останусь в Домброве один с Мих[алиной] Мих[айловной] и Аделей. С Мих[алиной] Мих[айловной] у нас худой мир, который немногим лучше доброй ссоры. В общем — хуже, чем в прошлом году. Зато Петр Викентьевич очень любезен со мной, отчасти потому, что кроме его управляющего я единственный человек, с которым он может поговорить. Он весь поглощен своим хозяйством. В нынешнем году он занят постройками и перестройками. В доме переделали печи, теперь будут красить полы, и потолки, и двери, и окна; потом оклеивать комнаты обоями. Строят новую кухню и дом для рабочих. Пока работы идут быстро, и Петр Вик[ентьевич] очень доволен. Смущает его, по временам, постоянная критика его предприятий со стороны Мих[алины] Мих[айловны], которой вся эта суета с переселениями, по мере работы, из этажа в этаж слишком утомительна. Юля, слава Богу, кажется, окрепла и чувствует себя удовлетворительно. Дай Бог не сглазить, но на этот раз ее беременность идет легче, чем прошлая. Ни тошноты, ни других беспокойных явлений пока нет. Вот хорошо было бы в таком стиле дотянуть до самого декабря, когда наша семья обогатится новым членом. Жаль, что П[етр] В[икентьевич] тащит ее в Голицыно; ведь придется еще на неделю в Варшаву поехать. Аделя с Мих[алиной] Мих[айловной] уезжают в Варшаву 20-го, а Юля и П[етр] Вик[ентьевич] поедут перед самой свадьбой, но с дорогой туда и обратно это возьмет не меньше недели. Я на это время совсем один остаюсь в Домброве со своими книгами. Ох, уж эти мне книги! Не знаю, как я сведу концы с концами в своих занятиях. Читаю я как будто много, встаю то в шесть, то в семь часов, а вперед подвигаюсь медленно. Зато, по содержанию своему, занятия мои очень интересны. Ведь я древней Греции совсем не знаю, и теперь приходится изучать ее, да еще по превосходным пособиям, которые появились за 90-е годы.[219] Вот говорят, что нынче время бесплодное. В жизни это, быть может, еще туда-сюда, хоть и не совсем, а почти верно, а в науке — такой прогресс с году на год, что и не угнаться за богатой литературой новых лет.

Обстановка, в которой я живу, тоже дает кое-какие любопытные впечатления. Кругом, даже в мелочах, чувствуется несомненно более сильная культура, чем наша великорусская. Край густонаселенный, хорошо обработанный, развивающийся. И что всего любопытнее, что сильные отголоски немецкого влияния. Все рабочие, литвины и поляки, по крайней мере мастеровые, говорят по-немецки — они ученики немцев, которым тут нет числа. И Германия пользуется своим влиянием. В Пренах рассказывают о двух превосходных печатниках, работавших в этой местности и оказавшихся немецкими офицерами Генерального штаба. Среди помещиков есть немцы из отставных прусских офицеров. А как понравятся вам сношения Прен с... Нью-Йорком, где есть Пренская улица и живет, по словам пренского бургомистра, до 1500 выходцев из здешних мест? Они поддерживают сношения с родиной и присылают большие суммы родным. Как хочешь, а край тут интересный. <...>

Д. 3. Л. 120 об.—124 об.

244

27 июня

Сегодня, дорогая мамочка, Адель с Мих[алиной] Мих[айловной] уезжают в Варшаву. Пользуюсь тем случаем, чтобы отправить тебе письмо из Ковно. На душе у нас с Юлей, вероятно, известная тебе из газет страшная судьба m-me Манизер. Она, ее отец и маленький Гвидо, мой крестник, погибли во время пожара на пароходе, который должен был отвезти их в Финляндию. Больше этого и мы ничего не знаем. Читали объявление о погребении Стеллы Семеновны в Царском Селе, о панихиде на 9-й день. Бедный Манизер! Трудно представить себе, как много он потерял. Такая это была чудная, полная глубокой сердечности семья — и вот она разбита страшным нелепым ударом. Манизер остался один с четырьмя маленькими мальчуганами. Это и с внешней стороны трудно представить себе, как он справится, но совсем жутко становится, когда подумаешь, что он потерял. Они так любили друг друга, так душа в душу жили, как это очень, очень редко бывает. А дети? Как повлияет на этих чутких малышей неожиданное горе! Известий о Манизер у нас пока никаких нет.

Ждем письма от Соколовской, подруги Стеллы Семеновны, которой Юля писала.<...>

Д. 3. Л. 127—128 об.

245

7 июля

Вот уже 7 июля, дорогая мамочка, а сделано у меня не так-то много. Я мечтал, по наивности, подготовить 2 курса: историю древнегреческой культуры для оболенок и древнюю русскую историю для педагогичек, да еще прочесть что-нибудь для экзамена по политической экономии. А вышло вот что: я еще не все прочел по древней Греции, да и то только прочел марш-маршем, а разрабатывать и план, и детали курса придется в Петербурге. Правда, у меня еще почти 1 $^1/_2$ месяца; но этого времени едва хватит на то, чтобы прочесть то, что предположено. Та же судьба постигнет и мою русскую историю. А это значит, что зимой придется опять зараз и собак кормить, и на охоту ехать. Другой результат такого положения дел: будущая зима, наверное, вовсе пропадет для каких-либо «ученых» занятий. Да, ты спрашиваешь меня: «диссертация или летописи»? Предполагается, что я буду писать диссертацию о летописях, т. е. работа о московских летописных сводах и должна быть моей магистерской диссертацией. Я мало думаю об этом, потому что совсем не представляю себе, как и когда удастся мне настолько оторваться от текущих дел, чтобы приняться за большое систематическое исследование по очень сложному и запутанному вопросу. Вопрос это действительно мудреный: материалы еще не выяснены, да и предшественников, на которых можно было бы опереться, в этой области вовсе нет.

Как видишь, положение мое, говоря вообще, хуже губернаторского. Но это меня весьма мало огорчает, а возлагаю я надежду на знаменитую тройку: «авось, да небось, да третий: как-нибудь». Только торопиться надо, а то как бы не сбылась другая превосходная прибаутка: «авося жданки съели».

Домбровское же наше житье идет себе полегоньку, вчера, как нынче, нынче как вчера, к еде от книги, к книгам от еды. Впрочем, последние два дня, вероятно, по случаю большой духоты, я лентяйничал. На это была и еще причина: надо писать статью для Журнала М[инистерст]ва народного пр[осве]щения по поводу книги некоего Сперанского: «Очерки по истории народной школы в Западной Европе». Книга очень интересная, даже талантливая, но именно потому и статья у меня не клеится.[220] А обещал я ее прислать так, чтобы успели в августовской книжке напечатать. Эх, надул!

Д. 3. Л. 129—130 об.

246

12 июля

Сегодня ночью получили мы телеграмму о том, что свадьба Адели состоится 19-го в субботу. <...> Послезавтра, т. е. в понедельник, Юля с П[етром] Вик[ентьевичем] едут в Варшаву и вернутся в будущий понедельник. Может быть, я с ними поеду в Ковно: нужно бы в баню сходить, а то я перед отъездом не успел. П[етр] Вик[ентьевич] собирается в путь так же неохотно, как и Юля: и утомительно ему, и беспокоит его, как без него пойдут дела в Домброве. Теперь тут нижний этаж почти совсем отделан — остается только передняя и лестница наверх. Вышло недурно. 2 комнаты выкрашены, 3 оклеены обоями. И другие работы подвигаются — вырос целый дом для рабочих, теперь будут еще большой ледник сооружать. Это наши «домбровские» события. Сено убрано, убран и хлеб. Теперь пашут под озимое. Хозяйство идет через пень в колоду, потому что два распорядителя П[етра] В[икентьевича] и его управляющий никак не приспособятся друг к другу. От Адрианова все еще нет известий. Уж не уехал ли он в Крым, ничего не написав. С него это станется.

Да, кстати, я в прошлом письме забыл объяснить тебе, что такое Археографическая комиссия. В 20-х годах некий Строев сообразил, что нечего давать старым рукописям гибнуть в монастырских и иных подвалах, и добился того, что его отправили в экспедицию по России собирать древние рукописи. Собрала эта экспедиция, т. е. Строев, массу, и для разбора и издания составлена была комиссия, получившая название Археографической, потому что «археография» — это «наука» о древней письменности. Эта временная комиссия потом обратилась в постоянное учреждение, которого дело собирать и издавать древние рукописи. В настоящее время она состоит под председательством академика и директора Публичной библиотеки Бычкова, из многих членов, в числе которых и Васильевский, и Платонов, и Лаппо-Данилевский. Канцелярией, она же и издательское бюро, Комиссии заведует «правитель дел» Гильтебранд (служит в типографии Св. Синода), а в помощь ему орудует «член-сотрудник» Адрианов. Его дело вести счета, дела по изданию, библиотеке и хранить архив. За это он получает 50 р. в месяц. Но ему же поручают быть редактором некоторых изданий и за это платят особо, а так как он много работает, то треть расходов Комиссии идет в его карман. Так что, в общем, он сводит концы с концами. <...>

Д. 3. Л. 133—134 об.

247

20 июля

Сегодня, дорогая мама, я получил письмо от Юли. Она пишет, что по непредвиденным обстоятельствам — какие-то бумаги не в исправности — свадьба Адели состоится только 22-го, так что и вернутся они в Домброво чуть [не] 24-го. Но я пока и один не скучаю. Читаю запоем, потому что времени все-таки не хватит на все. Завтра поеду в Прены, чтобы отправить письма, а как вернусь, — опять за книги. Голова моя вовсе не устает и в отдыхе не нуждается, как ты думаешь. На таком благодатном воздухе и в такой тишине нельзя устать. С большим неудовольствием думаю я о возвращении на шумную Литейную улицу, где меня опять будет изводить постоянный треск и грохот. Нет, гораздо лучше жить во дворе или где-нибудь на краю города. <...>

Статьи Васильевскому не написал.

Д. 3. Л. 135—136 об.

248

2 августа

Увы, дорогая мамочка, уже 2-е августа, а я-то, я-то вовсе еще не готов к своим курсам! Вечно все та же старая песенка, бесконечная! И никогда-то не будет так, чтобы можно было концы с концами свести в так называемых «занятиях». Ну, даст Бог, как-нибудь обойдемся.

Еще 12 дней всего проведу я в домбровской тиши, а 15-го утром буду в Петербурге. Не скажу, чтобы эта перспектива была особенно приятна, да ничего не поделаешь. Кроме всего прочего, жаль расставаться и с тишиной, и с чудным воздухом. Дни у нас стоят отличные. Одного недостает — реки, где можно было бы купаться. И есть же люди, которые живут на берегу Немана и не купаются, вроде тех соседей-помещиков, к которым сегодня поехали Юля с П[етром] Вик[ентьеви]чем. Поехали они поздравить их дочку, которая замуж выходит. А пока они еще не вернулись, к нам приехали другие соседи, Дельвиги: он, лифляндский барон, и, несмотря на это, простой и, кажется, довольно симпатичный, а она — особа, интересная по биографии ее. Из хорошей польской семьи, она «имеет несчастье» быть православной по матери. Пришлось стать баронессой, к ужасу польского общества. Особа, по-видимому, умная, очень живая, очень своенравная и нервная. И П[етр] В[икентьевич], и Юля находят ее очень симпатичной, и, по-видимому, имеют резон. Вот их-то пришлось принимать нам с Мих[алиной] Мих[айловной] — звали к себе, не знаю, поедем ли, как Юля захочет. Приехали они на четырех прекрасных пони, премилые зверьки.

Появление «баронов» нарушило обычное однообразие, впрочем, вовсе не скучное, домбровской жизни. <...>

Д. 3. Л. 137—138 об.

249

20 августа*

<...> По приезде моем выяснилось, что приехал я слишком рано. Уроки в институте начнутся не раньше 23, а, вернее, 25-го. Целая неделя «по ошибке» в Петербурге! Это жаль, хотя имеет и свое удобство. Дома я все нашел, более или менее, в порядке. У нас теперь и Полонский живет, так что хозяйничаем мы втроем. Режим у нас приспособленный к службе Полонского, т. е. обедаем мы в 6 часов, но так как С[ергей] Ал[ександрович] возвращается в 3 ч., то приходится в 3 завтракать. Время мое пока ничем обязательным не занято,

---

* Опущено одно недатированное письмо (Д. 3. Л. 140—140 об.).

и взялся я за составление своего курса древней истории Руси. Идет крайне медленно и неуклюже. Ну, да как-нибудь выберусь на более торную дорогу.

Побывал я у Платонова — у него пятая дочка родилась летом, и сам он находит, что это, пожалуй, чересчур. Он много работал летом и теперь усиленно гонит вперед свою работу, но говорит, что книга все еще не выходит. Это неладно, потому что пора ему быть доктором. Зато он дошел до неопределенных, новых и, насколько я понимаю, твердых выводов относительно опричнины и вообще политики последнего периода Грозного. Целая эпоха получает у него новое и неожиданное освещение. Эта часть его работы выйдет в свет в виде отдельной статьи в нынешнем году.[221] А еще побывал я у Шеффера (там мы с Адр[иановым] вчера обедали); старик плохо выглядит, бледный, слабый. Вечером вчера и у Чуйко (дома один отец) побывали, азартно спорили о Фете и Полонском, а потом часа 4 бились над Гете, так что чуть в четвертом часу пошли домой.

Кругом чувствуется, что петербургская жизнь входит в «сезонную» норму. Только везде, а у нас особливо, еще и беспорядок, и суета. Тысяча мелочей не упорядочена, да до Юлиного приезда так и останется. <...>

Д. 3. Л. 141—142 об.

250

27 августа

<...> В понедельник начались у меня уроки в институте. Ты знаешь, что у меня там два старших класса, I и II, по два отделения в каждом, т. е. 12 уроков. Распределены они очень удобно: в 4 дня (пон[едельник], втор[ник], четв[ерг], пят[ница]) от 9 до 12. На первых уроках пришлось, конечно, рассказывать. Я пошел, не готовясь, может быть, поэтому рассказывал, кажется, живее и яснее, чем в прошлом году. Что касается остальных моих уроков, то и на курсах, и в гимназии Оболенской [они] начнутся только 10 сентября. Это хорошо, потому что есть время немного подготовить хоть начало этих курсов. В субботу Лапшин, Полиевктов и я должны быть у Форстена для разговоров о том, как строить наши будущие курсы в 8-м классе у оболенок. Я Форстена не видал еще, хотя он был у нас: как раз он явился в то время, когда я был в институте. Говорят, что он очень доволен своей поездкой за границу, много навез художественных предметов для украшения своего кабинета и архивного материала для занятий. Не помню, писал ли я тебе, что он хочет отказаться от лекций на Бестужевских курсах, чтобы сберечь время для продолжения своей истории Балтийского вопроса. Платонов возмущается этим предательством и надеется заставить Форстена читать лекции еще хоть год. Сегодня у них rendez vous для личных объяснений — не знаю, чем оно кончится. На душе у меня, дорогая мамочка, неважно! На это есть несколько причин. Самая глубокая — это впечатления, которые я переживаю в семье Манизера. Эта чудовищная гибель такой чудной матери — просто невыносима. Ты знаешь, как любили мы всегда Манизеров, как отрадно было в этой милой семье. А теперь семья эта

разбита. Горе Манизера страшное. Сильный он человек, но как он выдержит, я не знаю. Да и как устроится он с детьми, когда большую часть дня ему приходится проводить в школе? Я несколько раз был у него; он дал мне снимки со всех портретов покойной Стеллы, много говорил о ней, о себе, о детях. Впечатление от всего этого трудно передать словами.

Кроме этого горя и более внешние беспокойства есть. Прежде всего глупое материальное положение, в которое я попал, благодаря тому, что В[ениамин] Ник[олаевич] не может исполнить своего обещания и рассчитаться со мной осенью. Дело в том, что, как ты знаешь, он взял у меня деньги на переезд, что с остатками прежнего долга составляет крупную сумму. У меня под рукой нет сейчас расчета, но помнится, что за ним еще 900 р., из них 100 он должен папе за летнюю присылку. Из поездки он писал мне, что вышлет до конца весь остальной долг, взяв ссуду из капитала. Конечно, такая операция для него в высшей степени затруднительна, тем более, что он, по-видимому, и без того запутался. Катя пишет, что взяла расчеты с нами в свои руки, чтобы не брать ссуды. Это значит, что деньги мы будем получать по мелочам. А позиция моя такова: 1) Ев[гения] Львовна ограбила меня на кругленькую сумму, так как необходимо выкупить заложенное ею Юлино серебро и Юлину швейную машину; 2) Петр Вик[ентьевич] передал в полное Юлино ведение горийский дом, с которого она в январе получит 1200 р; но до тех пор пришлось выслать в Гори на ремонт дома 100 р. и в начале декабря придется выслать в Тифлисский банк процентов 195 р.; 3) декабрь месяц будет стоить немало; 4) предстоят расходы по устройству квартиры, так как она теперь весьма беспорядочна еще.

Я пишу все это, чтобы получить какие-либо указания от папы и, может быть, содействие. <...>

Как оборотиться с горийскими деньгами, чтобы не быть всегда в долгу. С дома в каждом январе получается 1200 р. Из них — 394 (в два срока) идут на уплату процентов банку и рублей 300 на расходы по дому. Чистыми остается 500 р. Но за это полугодие по дому не погашены: 100 р. долга Новацкому (можно, пожалуй, оттянуть до января и погасить процентами с денег, полученных под залог дома) и 197 р., которые надо внести в декабре.

Деньги, данные Вениамину, получены мною под залог 1000 рублевого 5 % билета. Стоит ли его удерживать? Надежды выкупить его и сохранить весьма мало.

Не знаю, достаточно ли я толково изложил положение дела. Во всяком случае, концы с концами как-нибудь свести нужно. Если я погашу в январе все долги, которые придется сделать до конца [18]97 г., то у меня останется приблизительно то, что придется истратить на горийский дом (проценты и ремонт). Это было бы хорошо, если бы еще не предстояло: 1) рассчитаться с лейпцигским книжным складом в январе рублей на 100 с хвостиком и 2) поставить весною памятник Путику.

Вот какие дела, дорогая мамочка, пишу прямо, потому что сам я в м[инист]ры ф[инанс]ов не гожусь.

Поцелуй папу, скажи ему, чтобы он не очень издевался над своим «большим ребенком». <...>

Д. 3. Л. 143—146 об.

251

28 августа

Письмо твое, дорогая мамочка, которое ты писала мне к 30-му, каким-то образом попало ко мне сегодня. Жаль, что я вчера не получил его, а то я не написал бы своего вчерашнего письма. Бедный папа, со всех-то сторон ему только заботы от нас. Мне очень грустно, что я, не сообразив этого вовремя, написал свое последнее послание. Экая мы слабосильная команда! Сейчас тревожить вас, как что случится, как будто нельзя выпутаться своими силами. Я думаю, что мне это, хоть и не без труда, — возможно, и ты, мамочка, не принимай к сердцу моих нелепых обстоятельств. И папе скажи, чтобы он не сердился, я понимаю, что ему и так трудно, и потому пусть он из-за меня не увеличивает своих тревог и усилий. Как-нибудь справлюсь и сам. <...>

Все это, конечно, весьма гнусно и глупо. Но очень огорчаться нечего. Ведь я буду получать в нынешнем году больше прежнего, и при большой аккуратности можно выбраться. Мне очень прискорбно, что я раскрыл свои дела тебе и папе; надо было самому их переварить и избавить вас, мои дорогие, от излишнего беспокойства.

Про занятия свои и перемены в учебных заведениях, где я преподаю, я, кажется, все тебе написал. В институте у нас завелся еще один учитель истории. Дело в том, что до сих пор у нас в маленьких классах (5-й и 4-й) преподавала учительница. С третьего только история переходила в руки преподавателей. В прошлом году оказалось, что мой коллега Андреянов сокращает число своих уроков — мне предложили еще один класс, но я не взял. Тогда Струве отобрал все уроки истории у г-жи Коркуновой и два ее класса и третий в придачу передал Петрову, который читает славяноведение на Бестужевских курсах. Я его не знаю, говорят, скучный. Для меня это имеет то значение, что придется со временем чередоваться с ним в младших классах, где, конечно, труднее толково вести дело, чем в старших. <...>

Д. 3. Л. 147—148 об.

252

7 сентября

Пишу тебе сегодня, дорогая мамочка, хотя обещал написать сейчас же после письма к папе, потому что ждал твоего письма, а вчера был занят и не успел написать. Спасибо папе за деньги — я сейчас же выкупил вещи. Из письма твоего, дорогая мамочка, вижу, что у нас с Катей разные представления о наших счетах. Я послал папе письмо Вениамина, где приведен расчет. Верно, он в самом деле не все сказал Кате.

В письме к папе я уже сообщил, как изменилось мое «служебное» положение в гимназии Оболенской. Теперь хлопочу о расписании, которое нелегко установить, когда преподаешь в трех учебных заведениях сразу. Пока оно еще и не выяснилось. На курсах лекции начнутся не раньше 12-го, и мои первые лекции будут, вероятно, в субботу, 13-го. Древний период русской истории начинает меня все больше интриговать: ведь придется в нынешнем году пересмотреть его. Дело в том, что появились кое-какие новые труды по русским древностям, весьма любопытные. Я начинаю замечать в литературе какую-то странную тенденцию чуть ли не к возрождению, в новом и более глубоком смысле, старых славянофильских идей. Нашу древность все больше связывают с культурами Востока. Это страшно осложняет положение русского историка, который беспомощен перед этим вопросом, так как он почти всегда вовсе не знаком с этим таинственным Востоком. Не знаешь ли ты, мамочка, и не можешь ли ты узнать, не издал ли ваш харьковский Краснов отдельной книгой своих статей, помнишь, тех, которые печатались в «Книжках недели»?[222] Это статьи по Востоку, и явились они результатом поездки в Китай и другие азиатские страны. В них, по-моему, много было любопытного. Из житейских вопросов теперь для меня самое существенное отыскать для Манизера подходящую особу к детям. Кажется, это удастся при содействии матери и тетки Полиевктова. Это русская немка из здешней Annen schule, и ее разные люди единодушно хвалят. <...>

Мои дела идут помаленьку. Вот сегодня надо ехать к Гревсу, который опять хочет двинуть дело об издании нами лекций Васильевского. Посмотрим, что из этого выйдет. А сам я продолжаю почитывать пока кое-что по Греции и древней Руси и особенно наслаждаюсь древнегреческими трагиками.

Осень у нас настоящая. Холодно стало. Пожалуй, скоро придется окна замазать. Дни сырые и серенькие. Не скажу, чтобы это было особенно весело.

До свидания, дорогая мама, поцелуй папу. Я очень благодарен ему за его письмо и за то, что он решил разрубить гордиев узел моих финансов. <...>

Д. 3. Л. 149—150 об.

253

13 сентября

<...> Так как папа так добр, что хочет рассчитаться со мной, и пишет, что ему все равно, когда прислать деньги, то я просил бы его выслать 250 р. к 1 октября, а остальные 200 в ноябре.

Надеюсь, что это моя последняя денежная путаница.

<...> Мои дела идут все так же. Только теперь машина в полном ходу. Сегодня начал на курсах, а у оболенок обучал всю неделю. Хорошо в форстеновской гимназии. Просто и уютно. Форстен был сегодня у меня на двух уроках, сделал кое-какие замечания, а вообще ходят слухи, будто мною довольны. Начал я вчера свою «историю древнегреческой культуры», и плохо. Мало подготовил эту лекцию, да и прискакал как сумасшедший из института и прямо из передней — в класс. Немудрено, что вышло слабо. Авось поправимся. Уроков у меня теперь бездна, в пятницу так 6 часов подряд! Времени свободного ни чуточки, уроки у Сассо, верно, придется не возобновлять.

Однако я не очень устаю и преподаю как-то легко. Даже на курсах читаю вовсе без конспекта, и ничего. Я закусил удила и стал смелее. Посмотрим, что дальше будет.

А у нас тут новая тяжелая трагедия. У Васильевского застрелился сын. Бедный малый попал в руки негодяя Сабин-Гуса, бывшего фотографа, который устроил теперь что-то вроде игорного дома с рулеткой. Тут мальчика опутали при помощи свояченицы С[абин]-Гуса, обобрали и довели до гибели. Старики, конечно, убиваются, хоть он и непутевый был. <...>

Д. 3. Л. 151—152 об.

254

21 сентября

Дорогая мамочка, крайне сожалею, что мои перипетии так тебя разогорчили. Право, не стоило так их принимать во внимание. Жаль только, что папу мы все, точно сговорившись, поставили в затруднительное положение, а остальное — пустяки. <...>

Что меня касается, то я действительно занят довольно много: 28 часов в неделю. Ты хочешь знать, как они распределяются по неделе? Понедельник: от 9 до 12 — три урока в институте, потом от 2 [до] 4 — две лекции на курсах. Вторник: 9—12 — институт, а от 3 до 4 — VIII класс у оболенок; среда: 9 ½ — 11 ½ часов — оболенки, а 2—4 — курсы; четверг: 9—12 институт, а 1—3 — оболенки; суббота — 9 ½—1 ч. — оболенки, а 3—4 — курсы. Самый скверный день пятница: шесть часов подряд, да так, что с последнего урока в институте никак нельзя попасть вовремя к оболенкам. Лечу на извозчике, прямо в передней, иду в класс, и все-таки опаздываю на ¼ часа. Но не надо думать, что так уж очень устаю. Я, кажется, писал тебе, что мне нынче как-то особенно легко преподавать. И говорю свободнее, и готовиться надо меньше. От частных уроков я совсем отрекся. Заработок мой 224 р. в течение 9 месяцев и 133 летом. Это потому, что в гимназии Оболенской урочную плату распределяют на 9, а не на 12 месяцев. <...>

Ну что еще тебе рассказать, дорогая моя мамочка? Чувствую я себя хорошо и делами своими доволен. Особенно уютно в гимназии, где, говорят, на меня не жалуются. Зато в институте — скучно. На курсах вообще дело поставлено глупо, но нет ни времени, ни энергии начать ломку. Преподавать без практических занятий не имеет смысла, а затеять их мешает множество других занятий: ведь на это время нужно. Главная новость у нас в ученом мире — это то, что мы теперь знаем суть диссертации Платонова. Он пишет историю борьбы сословий в Смутное время. Тема огромная и, конечно, будет отлично выполнена. Сужу по одной главе, которая уже напечатана и появится в свет в октябрьской книжке Жур[нала] М[инистерст]ва нар[одного] просв[ещения]. Эта глава из введения, и касается она опричнины. Так ново и хорошо, что пальчики облизать можно. Талантливый человек, что говорить. Жаль, что до конца-то он свою диссертацию доведет не раньше чем через год. <...>

Д. 3. Л. 153—155 об.

255

[*Письмо отцу*]

29 сентября

<...> Что мне про себя написать? Время мое сплошь занято преподаванием и подготовкой к оному. Дело идет своим чередом более или менее благополучно. Выясняются на каждом шагу пробелы в сведениях, которые приходится пополнять наспех, разбивая свое внимание между самыми разнообразными странами и эпохами. Такая мозаичность занятий, конечно, исключает возможность всерьез заняться чем-нибудь одним и порядочно утомляет. К стыду своему, должен признаться, что сегодня со мной приключился курьезный и преконфузный скандал. У меня было два часа времени между уроками в институте и лекциями на курсах. Просмотрел лекцию — ехать еще рано, и я прилег на ¼ часа, а заснул так крепко, что проспал время всей первой лекции, да так, что и на вторую не успел попасть. Хорош гусь? Это, конечно, не беда, но совестно; а девицы-то все сидели и ждали понапрасну. Вне преподавательских впечатлений мало у меня каких-нибудь иных. Где и случится побывать, как-то все неинтересно и не клеится. Увы, пресловутому форстеновскому кружку надо отходную петь! Субботы у Форстена стали невыносимо скучны, появились новые люди там, вовсе неудовлетворительные, а мы, старожилы, не все в прежних между собой отношениях. Ядро «кружка» — те приятели мои, которых ты знаешь, конечно, держатся вместе, но остальные поотстали. Sic transit gloria mundi!* Из магистерских экзаменов моих впереди еще политическая экономия. Я еще не сдал ее, во-первых, потому что, кажется, и факультетские заседания еще не начинались, да и некогда было бы — это «во-вторых», хотя с этой причиной надо как-нибудь справиться. В университете у нас — анархия. Ректор Никитин хотя и поправился от своего психического расстройства, но вышел в отставку, а Сергеевич, будущий ректор, что-то медлит вступать в должность, как будто сомневается принять ее. И декан наш, Помяловский, уходит, не знаю еще, кого ему в преемники прочат. <...>

Д. 3. Л. 156—157 об.

256

9 октября

<...> Дома у нас все понемногу налаживается. Сегодня закончили уборку квартиры. Вышло на славу: уютно и даже красиво. В кабинете у меня висят кавказские занавески, и гостиная кое-чем похожа на кавказскую, да еще роялем украшена: выглядит совсем солидно. Ловко Юля умеет обстановку устраивать, надо отдать ей справедливость. Серг[ей] Алекс[андрович], посмотрев сегодня, как у нас все стало благообразно, глубокомысленно заметил: «Как будто настоящие люди живут». Да, странное это дело. Мы как-то не можем привык-

---

* Так проходит мирская слава (*лат.*).

нуть смотреть на себя как на «взрослых людей», вероятно, потому, что действительно порядочно во всех нас еще остается юношеского мальчишества. А между тем «мы» начинаем понемногу выступать. Недавно Лапшин читал в университете вступительную лекцию в свой курс «История философии XIX века». Мне, к сожалению, не удалось попасть на нее. Но Адрианов был и рассказывает, что лекция была отличная — он пересказал мне ее: действительно, тема взята хорошо и содержательно, и как раз так, как теперь нужно. Когда же и другие «форстенята» начнут свое университетское преподавание?

Ну, а пока и в гимназии Оболенской дело идет недурно. Помнишь, я писал тебе, что приступали мы к преподаванию в VIII классе не без опасения? А вышло гораздо удачнее, чем можно было ожидать.

Из любопытных моих новинок стоит помянуть о начавшихся собраниях у Лаппо-Данилевского. Он затеял составить небольшой кружок из историков для занятий теорией и методологией социальных наук. Участвуют Гревс, экономист Кауфман, ориенталист Ольденбург, Лапшин, Полиевктов и еще два-три человека.[223] Поучительно. <...>

Д. 3. Л. 158—159 об.

257

22 октября*

Верно, ты, дорогая мамочка, не получила ни одного из моих писем. <...> Бедные наши Ефремовы. Про Борю они пишут, что в августе Вениамин привезет его в Петербург и отдаст в корпус, с тем, чтобы в отпуск он к нам приходил. Это, конечно, не глупо, так как переведут же когда-нибудь Ефремова в Петербург.

У нас дела идут своим чередом. Юля у меня молодец и чувствует себя удовлетворительно. Теперь и у меня настали легкие времена, потому что праздники пошли. Ведь и 17 окт[ября] у нас не было занятий. Это позволяет мне заготовить немножко вперед материалу для лекций. В общем же живем мы изо дня в день, положенной чередой. Вчера у нас неожиданно состоялся музыкальный вечерок. Исполнял один тенор новые романсы Римского-Корсакова и Бородина, весьма хорошие. Вообще, наша компания все больше увлекается музыкой, а Адрианов даже [попал] в члены «Общества музыкальных собраний».[224] Да и я пошел бы на это, если бы не жаль было бросить 10 руб. годового взноса: музыкальные вечера этого общества — самое интересное, что есть по части музыки в Питере. <...>

Д. 3. Л. 162—163 об.

258

28 октября

Вот как время летит, дорогая мамочка, уже и ноябрь приближается. А кажется, только начался «сезон». Не успеешь оглянуться, как и кончится «первое полугодие». Конец его ознаменуется появлением на свет новых экземпляров человеческой породы. Юля ждет потомства одновременно с Катей, т. е. вскоре после 15 декабря. Даст Бог, все это совершится благополучно, как ожидает и д[окто]р Фишер. Беспокоит нас несколько только атмосфера в нашей квартире, воздух, как и следовало ожидать, оказывается слишком сух. Купили мы гигрометр, и вместо нормальной сырости — 50—60, у нас всего 35—40. Заказываем жестяные ванночки, чтобы держать воду на гармониках отопления и искусственно увлажнять воздух. Зато холода и сырости опасаться нечего.<...>

---

* Опущено письмо от 14 октября (Д. 3. Л. 160—161).

Мои дела идут все по-старому, так что и рассказать-то нечего. Дома живем мы тихонечко, нигде почти не бываем, потому что некогда. Даже у Форстена и Платонова я, Бог знает, сколько времени не был. Только с Манизером видимся часто. Мы позабавили детей волшебным фонарем, который мы им и подарили. А у Манизера еще не налаживается дело — особа, которая теперь при детях, не совсем подходящая. Да и трудно найти человека наемного, которому вполне можно было бы поручить детей и хозяйство. <...>

Д. 3. Л. 164—165 об.

259

6 ноября

<...> Узнали мы от Нади, что ты собираешься навестить нас в январе. Это было бы поистине великолепно. Ведь тогда ты и крестить будешь нового представителя или ...ницу нашего семейства. Да, вероятно, если ты приедешь, то и папа в Петербург соберется.

Юля чувствует себя хорошо, и все обстоит у нас благополучно. Только недовольна она, что я все занят и не могу уделять ей ничего из своего времени.

Как-то едва оборачиваюсь, отчасти, впрочем, по неуменью строго распределить свои занятия. Дело, впрочем, идет себе своим чередом. В гимназии Оболенской кончилась первая четверть — пришлось отметки выставлять. У нас такой обычай, что отметки за отдельные ответы не ставят, а только выставляют их в конце четверти. Это имеет свое достоинство — меньше возни с этими глупыми отметками. В восьмом классе ученицы скучают на моих уроках, когда я говорю им о развитии греческих государственных порядков, и оживляются только, когда дохожу до литературы и т[ому] под[обного]. Форстен, в общем, нами доволен, но сердится за веселое отношение наше к скучным педагогическим советам, которых, впрочем, он сам вести не сумеет.

Сидим мы с Юлей больше дома. Вчера у нас было нечто вроде музыкального вечера. Пели три певицы и Форстен. Вышло не так занятно, как вечера наши, посвященные русской музыке, при участии Лапшина и двух других «кучкистов», — но все-таки недурно. <...>

Пока наш маленький мирок живет себе своей жизнью, в большом Петербурге идут свои волнения, о которых мы одним ухом слышим. Опять ждут перемещений наверху и опять, должно быть, понапрасну. Идет борьба консерваторов с Государем, который вздумал насаждать в Западном краю веротерпимость. Борьба столь острая, что даже Высочайшие повеления не исполняются. Либералы поднимают голову на защиту престижа монархической власти и призывают консерваторов к порядку. А варшавские профессора (6) приветствуют памятник «великому» Муравьеву, за что проф[ессор] Филевич получил в нос студенческую калошу. В Киеве офицеры дерутся со студентами, а одного так даже на месте положили. Все это в печать не попадает, а толки неумолчны. <...>

Д. 3. Л. 166—167 об.

260

23 ноября*

<...> У нас пока все идет своим чередом, и Юля чувствует себя хорошо. Я же на этих днях учинил два новых поступка. Во-первых, покончил вчера со своими магистерскими экзаменами; сдал наконец политическую экономию. Экзамен этот — совсем пустая формальность. Говорил больше проф[ессор] Георгиевский мне, чем я ему, и продолжалась вся эта комедия меньше четверти часа. Присутствовали при экзамене только наш декан Помяловский и проф[ессор] греч[еского] языка Ернштедт, «в качестве мебели», как он сам заявил. Во-вторых, — ну, во-вторых-то вовсе странное происшествие. По предложению Платонова я в пятницу ездил в Царское Село читать лекцию об Екатерине II — кружку статс-дам, фрейлин при двух гусарах и одном студенте. Обуяла, видите ли, нашу придворную знать жажда просвещения. Впечатление я вынес, по правде сказать, довольно потешное. На дело это, конечно, мало похоже, хотя публика довольно интеллигентная, слушает, по благовоспитанности, очень внимательно и уверяет, что интересно. Происходило сие в доме фрейлины Раевской, и собралось человек 12, большинство дам и девиц, а одна статс-дама лет 70-ти. Читал я им стоя и целый час говорил о дворянстве русском в XVIII в., о том, как развились его привилегии, как установилось крепостное право, что оно значило, как дворянство стало играть политическую роль, через гвардию учинять перевороты, а через правительство управлять страной. Потом сделал перерыв на $^1/_4$ часа, подали чай и стали разговаривать. Все разбрелись, а я беседовал с некоей m-me Балашевой, дамой весьма неглупой, 14-летней Раевской и одним из гусаров. Потом все опять собрались, и я еще с полчаса рассказывал им про воспитание Екатерины, ее жизнь до восшествия на престол, при перевороте 1762 года и положение Екатерины в первые годы — это для того, чтобы объяснить, почему Екатерина, вопреки своим личным взглядам, так подчинилась крепостническим вожделениям дворянства. Следующая беседа назначена на воскресенье 30-го. Готовиться не надо, а платят 30 р. за визит; отчего же и не поехать? На этот раз мы ездили в Царское с Юлей. Ей очень хотелось побывать на могиле С. С. Манизер. Я предупредил о нашем приезде Голованя, который постоянно живет в Царском, он нас встретил и повез Юлю к своим, а потом Юля с m-me Головань ездила на кладбище (там же по-

---

* Опущено письмо от 10 ноября (Д. 3. Л. 168—169 об.).

хоронен и отец Голованя). У Голованей мы и обедали. Это очень милая семья.

В 6 $^1/_2$ выехали обратно, а подъезжая к дому, очень удивились, что у нас гостиная освещена: С[ергея] А[лександровича] дома не было. Швейцар встретил нас с недоумением и заявил, что к нам порядочно времени перед тем прошли два господина, а потом еще один; он же думал, что мы дома. Оказалось, что первыми пришли Штруп и Лапшин с нотами, и хотя никого не застали, но Паша зажгла им лампы, и они занялись у нас музыкой. А потом пришел Лаппо-Данилевский, и они его приняли. Лаппо-Данилевский заходил ко мне по делу и принес мне книги, а скоро после нашего возвращения ушел. Лапшин же с Штрупом исполнили нам всю новую оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» на стихи Пушкина, без малейшего изменения текста.[225] Очень интересная вещь. Сегодня (через $^1/_2$ часа) опять эту оперу будут у нас исполнять, начисто, потому что придет и наш тенор Оссовский, а то вчера Лапшину приходилось петь и за баса (Сальери), и за тенора (Моцарт). Исполняют они оперу по рукописи, п[отому] что она еще не напечатана. Кроме того, Лапшин пел новые, еще не изданные романсы Корсакова — по корректуре.

Видишь, как мы кутим, дорогая мамочка. Это изредка, п[отому] что обыкновенно мне некогда. Впрочем, я успел написать еще несколько небольших рецензий для журнала «Новое слово». Это орган печати весьма любопытный: его «редакция» состоит из русских марксистов или «экономических материалистов», в воззрениях которых много странного и одностороннего, но, кажется, есть и материал для толковых понятий.[226] А, главное, это азартная публика с определенным направлением. Струве, главный воротила редакции, обратился ко мне с приглашением вести библиографию по истории. Я не отказался, и в декабрьской книжке появятся мои первые заметки, а завтра Струве, с которым я не знаком, зайдет ко мне поговорить о том, как дальше вести это дело.

Доканчиваю письмо после нашего музыкального утра. Спели «Моцарта и Сальери», потом пили чай и принялись за новые романсы. Кроме нас и Адрианова человек 8 собралось. Наши музыканты сами назначают, кого звать, кого нет, а я только Шеффера навязал.

Вот все, что могу рассказать любопытного про наше житье-бытье. <...>

P. S. Пожалуй, уже поздно будет, а то напиши папе, чтобы он деньги перевел по-старому в Государственный банк, если это ему удобнее.[227] Я все равно получу без хлопот через Новацкого, который имеет в Г[осударственном] б[анке] своего артельщика.

Д. 3. Л. 170—173 об.

261

6 декабря

Дорогая мамочка, очень рад, что мои, с позволения сказать, «успехи» вас радуют. Вероятно, издали все это эффектнее, чем на деле. Лично меня изо всех моих «преподаваний» больше всего занимает, по-прежнему, Эллада, именно потому, что это всего труднее мне дается и больше всего мне дает. Не знаю, писал ли я тебе, что записи по курсу истории эллинской культуры литографируются и составят томик листов в 30. Что касается (не лишенного доли комизма) лекторства перед статс-дамами, фрейлинами и гусарами, то если моя аудитория не делает bonne mine au mauvais jeu,* то, кажется, она не скучает. По крайней мере, я узнал, что одна из моих дам даже конспекты составляет того, что я рассказываю, и докладывает Нарышкиным, которые бывать на моих лекциях не могут. Второй час я посвятил внешней политике Екатерины, т. е. общим вопросам ее, без подробностей, и критике, признаться, отрицательной. Это их очень заинтересовало и, кажется, понравилось, хотя, наверное, не всем. Завтра опять поеду; буду говорить о внутренней политике, Наказе, Законодательной Комиссии, etc. Не умею разделять материала со временем, пришлось и прошлый раз скомкать конец. <...>

Первое полугодие идет к концу. В VIII классе у оболенок с 10-го начинаются репетиции. Любопытно, как усвоили себе девицы мои разглагольствования? <...>

Вне нашего мирка — глупые времена настали. Петербургская атмосфера напряженная. Все ворчат на неопределенность, на партийную борьбу во дворце, etc. Цензура свирепствует. А никто почти не верит, чтобы нынешний порядок был прочным. Все каких-то перемен ждут, фантазируют, etc. И каковы попы, таковы и приходы. В университете — что неделя, то скандалы. На Педагогических курсах идет резкая борьба инспектора, на стороне которого все преподаватели, с дамами. Ин позабыть о них лучше! Поддерживать отношения со знакомыми, кроме Манизер, как я писал тебе, нам все труднее. Впрочем, в субботу я был у Форстена и, не без удивления, встретил там Наташу Грищенко. Она попала туда по знакомству с Гревс, ученицей Форстена. Она все такая же, только пополнела и постарела. Аккомпанировала Форстену, который немного пел, п[отому] что стесняется много петь при новых людях. А сейчас поедем поздравлять именинника отца нашего Шеффера.

Д. З. Л. 174—175 об.

262

8 декабря

Дорогая бабушка, только что Адрианов поехал отправлять телеграммы во все концы, от Шостки до Лейпцига, с известием о появлении на свет нового представителя рода Пресняковых. Случилось сие событие довольно неожиданно. Но так как предположенный срок нарушен всего на 7—8 дней, то появление на свет твоего нового внука нельзя считать преждевременным. Мальчуган вполне сформированный, весит 8 фунтов, довольно упитанный. Еще вчера вечером мы не думали, что ожидаемый финал так близок, хотя Юля жаловалась на недомогание. Утром, часов с 6, она стала жаловаться на боли, а проследив за ними полчаса, мы убедились в их периодичности и послали за Каллиопой Николаевной.[228] В девятом часу я отправился предупредить Фишера, который с моих слов сообразил, что ему надо быть у нас часам к 12-ти. Сильные боли начались у Юли в одиннадцатом часу, а без 12-ти минут час в нашей квартире раздался новый голос, довольно низкого диапазона. Доктор нашел роды легкими (с чем Юля, конечно, не согласна) и быстрыми, а пациенткой остался так доволен, что даже по головке ее погладил и сказал: «Хоть бы все так; одно удовольствие и никакого огорчения». Фишер вообще большой комик, у него даже жесты комического актера. Всем нам он очень понравился.<...>

---

* Хорошую мину при плохой игре (*фр.*).

Новый гражданин Российской империи хотя и протестует, но потихоньку и примиряется со своим положением, если его погладить по щечке. При этом и он проявляет признаки аппетита, потому что ловит пальцы ротиком. Кажется, К[аллиопа] Н[иколаев]на сегодня же начнет приучать его к предназначенному ему природой питанию. Вот и все. Несложна фабула великих событий!

Меня это «событие», конечно, сбило с толку. Сегодня я не попал на занятия, а на завтра не приготовил лекции. Придется опять послать отмену оболенкам. Оно и неизбежно: так новое существо вносит пертурбацию в жизнь старших поколений. <...>

Д. З. Л. 176—177

263

[*Письмо отцу*][229]

22 декабря

<...> Сказать ли, какое употребление из твоего подарка было бы всего для меня приятнее? Уничтожение векселя. Ты не смейся: у меня инстинктивный страх перед векселями, судом и прочее. Может быть, это нелепо. Но ведь счеты с Зедеманом так долго тянутся, что, насколько я понимаю эти дела, значительная часть его долга должна состоять собственно из накопившихся процентов на первоначальный долг. Или он тебе проценты уплачивал? Как бы то ни было, но «взыскивать» я не умею и не хочу. Чего душить парня? А ты сообщи мне, что ты об этом думаешь и не согласен ли ты просто плюнуть на всю эту историю.

Дома у меня все ладно. Вчера был Вяжлинский и остался очень доволен Евгением Пресняковым 2-м, а также Юлей. Юля настолько здорова, что ей раньше обычного срока рекомендуют начать выходить. Малыш ведет себя удовлетворительно, ест аккуратно через 2—3 часа, а остальное время преисправно спит. Впрочем, теперь иногда начинает «гулять» по получасу.

А я — я рад праздникам. Хорошо посидеть дома и почитать кое-что для себя. Занятия мои в Царском, кажется, кончились. Дело в том, что вчера я, по обыкновению, поехал в назначенный час и нашел вместо своей аудитории только двух дам. Мы с ними решили, что читать не стоит, и я уехал. Думаю, что это, во-первых, симптом того, что им надоело меня выслушивать, а что, во-вторых, это нахальство — не предупредить меня, что нечего ездить в Царское. Стало быть, с обеих сторон есть мотив для прекращения занятий.

И другой почин кончился катастрофой. Журнал «Новое слово», в котором я только что стал участвовать, велено «совершенно прекратить», как энергично выражается наш цензурный устав. Вообще цензура у нас свирепствует, как давно еще не бывало. Куда мы идем? Ты с жандармами не очень-то воюй — нынче не время. Все это не существенно. Существенна для меня действительно тоска по ученой работе, которая по временам меня посещает. Надоело размениваться по мелочам. Правда, и в преподавании я нахожу удовольствие, особенно в выработке популярного курса истории Эллады, но это все-таки не исследование, не ученое дело. Я надеюсь устроить, что мне позволят заниматься в Публичной библиотеке и в Духовной академии летом, хотя официально эти учреждения в каникулярное время не действуют. Это практикуется у нас, и у меня есть знакомства, которые помогут. А [если] не удастся, то verfallen die ganze Postroika.* Что касается «сравнительного интереса» разных эпох, то я люблю (как историк) те эпохи, когда совершается исторический рост, идет подготовительный процесс, разрушается старое, созидается новое. А Екатерининская эпоха больше заканчивала, завершала и формулировала старое, т. е. то, что наросло в эпоху от Петра до Екатерины. А это волнение взбаламученного Петром болота — более содержательно, чем кажется. Только вяло его у нас знают. По тем же причинам я, напр[имер], XVII в[еком] занимаюсь охотнее, чем Петровской эпохой, которая также заканчивает развитие процессов, начавшихся со времени Смуты. Как видишь, для меня нет отдельных эпох. Все растет постепенно, нарастает, нарастает, ярко скажется, потом опять идет переработка на новый лад. Потому и захотелось мне начать с начала и написать очерк древнерусской культуры, привязав его к изучению богатого материала летописных сводов. Справлюсь, так пойду дальше, в XVII в., и т. д. Таковы мечты мои. Как видишь, они меняются с году на год. Что делать! Tempora mutatur et nos mutamur in illis.**

«Отцы науки» плохи, это ты правильно судишь. Диссертация Грибовского — шарлатанская, и проехал он по личным отношениям.[230] Худо это. Чечулинская диссертация — только бездарная, но, по мере сил его, добросовестная, а эта не без таланта, только жульнического. А ныне у нас новый скандал. Новорожденное философское общество рухнуло из-за кружковой борьбы. <...>

Д. 3. Л. 178—181 об.

1898

264

[*Письмо отцу*]

1 февраля

<...> А в Петербурге странные дела творятся. То, что тебе кажется «слишком несуразным»: назначение Боголепова, — совершившийся

---

* Распадается вся постройка (*нем.*).

** Времена меняются, и мы меняемся с ними (*лат.*).

факт, хотя он, кажется, еще не сейчас вступит в должность. Этот субъект ничего хорошего не обещает. Говорят, он был отличным профессором римского права, но как ректор Московского университета зарекомендовал себя весьма плохо. Мелочный формалист, далеко не «просвещенный» деятель, он и как попечитель московского округа оставил тяжелую память усердным обострением студенческих историй и крайне некрасивой ролью в деле Милюкова. Сего последнего стали преследовать власти административные: нижегородский Баранов за какую-то публичную лекцию, читанную в Нижнем с московского разрешения (помимо Баранова), и канцелярия Сергея Ал[ександрови]ча за близость со студенческими землячествами. Министерство народного просвещения даже не знало толком, чем провинился его доцент, и выдало его с головой с обычной при Делянове жалкой покорностью всякому соседнему ведомству. А защитники Милюкова наткнулись на то, что за бюрократией стоит против Милюкова, — Боголепов, друг Ключевского, которому даровитый и самостоятельный ученик давно стал поперек горла. Это гнусное дело останется навеки в общественном формуляре нового министра. Его возвышение — результат протекции Сергея, полагаю, что это достаточно его рекомендует! Наш законоучитель весьма резонно на вопрос девиц, что такое Магницкий, ответил: «А вот назначат Б[оголепо]ва министром — так узнаете».

Гроза надвигается, а ученый мир публично храбрится. Вчера открывали и торжественно открывали философское общество при университете. Члены-учредители заседали на эстраде в актовом зале, а зала и хоры были переполнены публикой; говорят, будто тысячи полторы собралось. Конечно, преобладала молодежь. Даже ученицы восьмого класса гимназии Оболенской явились почти все.

Я тебе рассказывал про те недоразумения, какие произошли при организации общества; кончились они тем, что мы оказались без председателя. Открыл общество вице-пр[езидент] Радлов отчетом о том, как затеяли общество, и приветствовал Введенского как главного организатора. И в этой речи уже звучали укоризненные ноты по адресу здешних условий, мешавших осуществить мысль о философском обществе, хотя она явилась еще в 1879 году. А потом Введенский в длинной и горячей речи рассказал «судьбы русской философии».[231] Мысль его такая: мы не должны отчаиваться, хотя философия у нас не создала еще ничего крупного и оригинального, хотя мы все еще учимся у Запада и питаемся его мыслями. И на Западе 200 лет прошло с той поры, как философская мысль получила толчок от усвоения чужой, древнеэллинской мысли, и только в XVI в. появились свои сильные оригинальные мыслители. У нас стали учиться философии лишь с начала XIX века и уже успели пройти весь курс усвоения западных умозрений, создать кое-что свое, принятое Европой с азартом, как философию математики Лобачевского. А эти успехи мы сделали при самых неблагоприятных условиях. Условия эти Введенский ярко представил. Перед слушателями прошли картины разгромов философии Магницким и Руничем, Уваровым и Ширинским-Шихматовым, в духовных академиях «Протасовским нашествием».[232] Они много вешних всходов помяли, и когда, после 13 лет молчания, философия стала оживать с уставом 63-го года, — пришлось начинать все сызнова. Закончил Введенский надеждой, что теперь открыт путь для развития философской мысли в России. Но местами в его речи звучало опасение новых препятствий... Да, трудно русскому ученому! Сколько важных областей для него вовсе запретны. Клянусь собакой (так Сократ любил клясться), — это не фраза с моей стороны, не либерально-мальчишеское будирование, а истинное ощущение чего-то на скорбь похожего. Если бы ты знал, как душно иногда! И вся эта дрянность, которая так тебя возмущает в ученой братии, не результат ли она некультурности этой братии, созданной отсутствием широкой учено-философской атмосферы в наших университетах. Эх-ма!

Унывать, конечно, не следует, пережили Магницкого, пережили Ширинского, переживем и Боголепова. Наша возьмет, хоть рожа и в крови будет.

Вот Платонов весьма философски относится к Боголепову, говоря, что после Делянова иначе и быть не могло, так как деляновский режим систематически искоренял «людей». Надо колоссальную проницательность, чтобы найти «человека» для нашего просвещения, и, верно, он коварно скрывается «в других ведомствах». Платонова я сегодня случайно видел. Надо было отвезти ему книгу, а затем мы с ним были в Александринке, где теперь по воскресеньям читаются лекции для гимназистов старших классов и гимназисток 8-х классов по разным предметам. Сегодня была лекция Жебелева о греческой скульптуре, недурная, а главное, сопровождающаяся демонстрированием памятников на экране. Я пошел, п[отому] что пошли мои оболенки, и не жалею: были среди иллюстраций новинки.

А у Платонова своя теория происхождения крепости крестьянской народилась, очень остроумная. Дьяконов (дерптский) печатает книгу о крестьянах в Московской Руси.[233] Любопытно. А что, не пробовал ты раздобыть книгу Вертеловского о «Западной религиозной мистике и ее отношении к католицизму», о которой у нас речь была?[234]

Прощай, пиши, твой Саня.

Пошли это письмо маме, ей про университет интересно, а вторично то же писать скучно.

Д. 3. Л. 182—186 об.

265

[*Письмо отцу*]

12 февраля
(отправлено 15 февраля)

Сегодня разделался с уроками и до понедельника свободен. Надо бы воспользоваться этой передышкой, чтобы набраться материалу для дальнейшего преподавания, да едва ли что-либо толком сделаю. После обычной «скачки по расписанию» — лень одолевает, а кроме того, и кутим мы на масленице. Вчера у нас гости были. Музицировали и в шахматы сражались. Сегодня к Манизеру едем, завтра у нас блины, послезавтра мы на блины в гости поедем, а в воскресенье у нас форменный музыкальный вечер.

А времена трудные для моего преподавания настали. Элладу свою я довел до века Перикла (увы, только!); теперь придется излагать сложные события «эпохи расцвета». А как их в стройный порядок привести? В гимназии, институте и на курсах — приступил к XIX в., которого, как у нас водится, я совсем не знаю! Век-то уж очень сложный, век всяких «измов» — романтизма, социализма и всего подобного, век экономических переворотов, социальных и политических революций, умственного расцвета и всевозможных salto mortale в духовной культуре. Пестрая картина — и найди в ней действительно кардинальные линии. Открывается наш век такой путаницей направлений, что хоть святых вон выноси! «Реакция» — н-да, об этой реакции много писано, но разобраться в ней нелегко. Весьма любопытна твоя теория борьбы кулака и мозга, по которой выходит, что реакция начинается тогда, когда кулак, усиленный волнением массы, прорывает тонкий слой, ведущий мозговую работу. Это резонно, и, вдумавшись, можно эту простую мысль развить в целую теорию. Но для этого время и время надо, чтобы овладеть материалом, переварить его и выстроить изложение по своему плану.

Нынешние времена потому и плохи, что оскудела мозговая работа, по крайней мере на верхах. Царит атмосфера убогой беспомощности. У одного Витте и жест широк, и размах есть. А другие... Что даст Боголепов — не знаю. Он приехал и принимает министерство. Сегодня я слышал определенное и мотивированное мнение о нем. Специалист по римскому праву, он большой формалист, исполнительный донельзя. Стоя на почве установленного, он будто бы готов ломить в указанном направлении (каком угодно) как неукоснительный исполнитель. Но министру придется не исполнять, а давать тон. Хватит ли его на это, а если хватит, то какой тон будет? Прошлое не внушает особой надежды на полезное для дела направление Боголепова. Ну, поживем, увидим. Форстен очень боится, как бы он нашу гимназию не подогнал под установленный тип казенных заведений, уничтожив все новшества, в том числе и мою «Эллинскую культуру». Появление на сцену Боголепова — главная петербургская злоба дня. А затем всего больше заняты делом Золя. «Золя осужден», — гласит сегодняшняя телеграмма. Дело странное. Если правительство и право, то все-таки верно, что процесс был пародией на судопроизводство. Общее мнение, что тут замешана Россия, откуда и таинственность всей истории. «Berliner Tageblatt» сообщает подробно, как французское правительство доставило в Петербург сведения о своей армии перед заключением союза, а русское пожелало их проверить, купив через нашего военного агента в Париже у Эстергази документы. Эстергази будто бы продал то, что велели ему продать в министерстве, т. е. сведения, вполне подтвердившие искренность Франции. А сын Дрейфуса, осужденного за продажу артиллерийского секрета, донес на Эстергази, смешав нарочно два дела. Пошла путаница, которой никто распутывать не хотел. Нарушение законности суда подняло на ноги Золя, а с ним бурю партийной вражды, которая едва ли утихнет с концом процесса. Если это все не выдумки, то подобное толкование дела довольно пикантно.[235] Тут уже не разберешь, где кулак, где мозг; мозгу-то, пожалуй, и вовсе немного окажется. <...>

У нас же, как бы не сглазить, все по-прежнему идет себе гладко. Евгений II начинает проявлять признаки одушевления, улыбается, не любит один оставаться, пробует изъясняться с помощью гласных звуков, капризничает только к вечеру, перед ванной, потому что днем довольно много «гуляет», а не все спит. Зато ночью спит большими порциями. Он крепкий, начинает голову держать, вертится не без энергии, любит свободу и протестует против пеленок. Формируется он недурно, но сокрушает Юлю неправильной формой головы (заметная разница двух половин).

Ну, прощай, пиши, коли время есть; мы ведь с тобой непосредственно мало переписывались. <...>

Д. 3. Л. 187—190 об.

266

16 февраля

Только сегодня собрался я ответить на твое письмо, дорогая бабушка. <...> С папой мы в переписке, и он большие письма пишет. Ему я писал подробно про первое заседание философского общества, про которое ты спрашиваешь, и просил его послать это письмо тебе, зная, что тебе интересны наши университетские новости. Впечатление от первого заседания осталось самое лучшее. А завтра — второе собрание, и опять оно обещает быть эффектным. Читает Владимир Соловьев о «Жизненной драме Платона». Смысл заглавия для меня не ясен, но я знаю, что Соловьев много работал над Платоном и готовит к изданию перевод всех его сочинений.[236] Жаль, что издание это нескоро появится; а переводчик Соловьев превосходный. Ожидают большого стечения публики, и заседание назначено опять в актовом зале.

Как видишь, начали мы торжественно. Потом, конечно, придется сбавить тону, п[отому] что таких эффектных докладчиков больше не найдешь. Какой характер примет деятельность общества в его будущих заседаниях — угадать мудрено. Но дай ему Бог преуспеяния, п[отому] что оно нужно, по нынешним безыдейным временам. Собирается оно заняться издательством и дать публике ряд переводов из лучших западных философов.

Радуемся новому обществу и боимся нового министра — таковы два наши «пункта». А дела идут своим чередом. Малый наш веселенький и забавный мальчуган, сравнительно мало пищит и много улыбается. Юля, чтобы не сглазить, здорова. А я изволил простудиться и сегодня сижу дома без голосу. А это очень некстати. В четверг надо начинать публичный курс о Петре Великом в «народном университете», который тут в нынешнем году организован.[237] Цель — дать ряд публичных курсов по всяким предметам для большой публики, возможно, менее интеллигентной. На деле оказалось, что записалось много народу, но преимущественно со средним образованием. Орудуют уже IV отделения в разных частях Петербурга. Я буду читать в Василеостровском отд[елении] (12-я линия — столовая Дервиза),[238] где слушателей 180 человек, и прочту 6 или 7 лекций (по вечерам, четверг и пятница) Посмотрим, что выйдет.

Д. 3. Л. 191—192 об.

267

4 марта

<...> Последние две недели у меня по два вечера пропадало на лекции о Петре Великом в «общедоступных публичных курсах», организованных здешним Педагогическим обществом. А то еще — советы в разных учебных заведениях по случаю предстоящих экзаменов. Времени ни чуточки нет.

Публичные лекции мои, кажется, сходят, более или менее, благополучно. Читать их нетрудно, потому что я, конечно, просто повторяю в сжатом виде то, что читал на курсах. Завтра и послезавтра опять буду там подвизаться, а на будущей неделе, в четверг, рассчитываю закончить. Это составит всего 7 лекций.

Это единственная моя новинка. А, в общем, дела текут своим чередом, только туже несколько стало, потому что некоторое утомление чувствуется. К вам в Харьков на Пасху собраться нам не удастся. И тут кое-какие дела есть, тем более, что хотелось бы себе целый месяц летом очистить для отдыха, да и финансы не позволяют.

Дома у нас благополучно. Малый растет и теперь, когда его вздумали одеть в некоторое подобие светленького пиджачка, совсем стал походить на человечка, и препотешного.

Чувствуется приближение конца сезона. Ощущение, не лишенное приятности. Только служащие в министерских гимназиях немного ропщут, что новый министр запретил кончать экзамены раньше 7 июня. Чудной он человек. <...>

Д. 3. Л. 193—194 об.

268

15 марта

Дорогая мамочка, наконец-то я собрался написать тебе пару слов. Поблагодари хорошенько папу за книги. «Западная мистика» Вертеловского мне, может быть, весьма пригодится, хотя, к сожалению, это немного чересчур правоверное сочинение и с полемическим оттенком. Зато материал, в нем собранный, мне весьма кстати. Да и книга Скальковского не лишена интереса, хоть он и проходимец.

Все книги и книги. Я начинаю пугаться количества предназначенных к чтению книг. Ведь я, вдобавок ко всему прочему, еще рецензент исторических книг в «Мире Божьем»,[239] куда меня передали по наследству из покойного «Нового слова», передали даже без моего ведома, так что я узнал об этом, когда в мартовской книжке «Мира Божьего» уже появилось три заметки моих (без подписи), написанные для «Нового слова». Секретарь редакции (которого зовут Ангел Иванович!) написал мне об этом, и теперь мы с ним столковались, что я в майскую книжку дам еще 4 рецензии.

Другие дела мои близятся к окончанию. Через неделю закроются курсы, через две — старшие классы в гимназии и институте. Правда, и после Пасхи будут еще уроки в некоторых классах, но все-таки половина дела будет сброшена с плеч. Публичный курсик мой (7 лекций) кончился по внешности благополучно, хотя я читал плохо: усталый и наспех подготовясь. Сегодня происходило собрание историков по устройству лекций на будущий год. Мне придется читать XV и XVII века. Трудно отказываться, когда мало народу. [А ходят слухи, будто новый министр думает сей «народ[ный] универ[ситет]» прикрыть].* Лаппо-Данилевский прочтет введение, Платонов будет читать то же, что и я, в другом отделении. А на днях меня притянут к подготовке еще одного предприятия: Струве и К° затевают основание какого-то нового учебного заведения, по новой программе. Я еще не знаю, в чем дело, но мне говорили, что и меня притянут к совещаниям по части программы вместе с Форстеном, Гревсом и несколькими другими. Словом, просвещение в Петербурге начинает искать каких-то новых форм для своего распространения! Так-то. Чтобы покончить с учеными делами, расскажу еще про философское общество, которым ты, кажется, заинтересовалась. Оно благополучно пережило 4 заседания и все торжественных. Одно — с речью Введенского о «судьбах русской философии», другое — с рефератом Влад[имира] Соловьева (он напечатан в мартовской книжке «Вестника Европы»); а два — в память Огюста Конта, которую трепали со всяких точек зрения пять лиц. Все эти заседания по торжественному характеру своему были без прений. Теперь предполагаются закрытые заседания — с прениями, что гораздо интереснее. Членов порядочно за сотню. А вчера забаллотировали пр[иват]-доцента Грибовского, историю с диссертацией которого папа, верно, помнит. Признаться, мы несколько похлопотали о том, чтобы собрать в это заседание благонадежных членов. «Внешняя политика» моя почти сводится к более или менее деловым отношениям. Мы почти ни у кого не бываем, да и к нам немного знакомых заходит. Даже у Манизера я стал редко бывать. А тоскливо у него. С детьми дело не налаживается; особа, которая теперь у него, по глупости — вовсе не подходящая. Как ни много энергии в его натуре — а руки опускаются. Грустно.

Дома у нас все ладно. Гутик растет и крепнет. В четверг Вяжлинский собирается ему оспу прививать. <...>

Я все-таки думаю остаться на июнь и половину июля в Петербурге для работы, а потом уеду к Юле отдохнуть. Без отдыха, оказывается, нельзя обойтись. Сегодня у нас и с Платоновым на эту тему разговор был, и он, между прочим, обещал устроить мне на будущее лето заграничную командировку от университета. Эх, кабы это в самом деле удалось. А почему бы нет? Устроил же Платонов в нынешнем году такую командировку для Полиевктова.

Ну, вот и все мои новости. Разве сообщить еще одну, и прегнусную, характера общественного. Журналу «Неделя» чуть ли не гибель грозит. Ее редактор, Гайдебуров-сын, пользуясь тем, что «Неделя» дает очень крупный доход, закутил, хотя и журнал-то не его, а всей семьи. Дело кончилось большими долгами и столкновением с матерью. Сынок заявил, что если его стеснят в хозяйничанье, то он и от редакторства откажется. А пресловутому «главноуправляющему делами печати» Соловьеву того и надо. Он цинично выразил радость, что авось «Неделя» естественной смертью умрет, а он ей другого редактора не даст. Это не слух, а факт. Заявление свое Соловьев сделал Полонским, которые пробовали вступиться за m-me Гайдебурову.

---

* Последняя фраза — приписка А. Е. Преснякова на полях.

Вот как у нас дела делаются. Без всякого, можно сказать, прикрытия, в естественной наготе.

Ну и Христос с ними. Что-то только и слышишь: то прикрыли, а это того и гляди прикроют.

Остается сказать «Бог не выдаст...». Ну, а как выдаст? Вот и Форстен за наш 8-й класс боится, а Платонов — за «народный университет». Трепещи, петербуржец. Власть идет, и какая глупая... Боже упаси! <...>

Д. 3. Л. 195—198 об.

269

22 марта

Дорогая мамочка, боюсь, что тебя понапрасну встревожили газетные известия о приключившемся в нашем доме пожаре: в нашу часть дома огонь не проник и нас почти не коснулся. Загорелся чердак над средней частью дома и горел довольно шибко. Дело было ночью, мы уже спали. Пришлось вставать и, на всякий случай, так как не ясно еще было, какие пожар примет размеры, позаботиться о некоторых мерах. Юля у меня молодец: конечно, не растерялась, а, забравши Гутика, уехала ночевать к Балбашевской. Так нашему малышу пришлось впервые выехать ночью. Обошлось благополучно: его хорошенько закутали и сонного перевезли на Пушкинскую. Там весьма заинтересовали его детки, и он, вероятно, остался доволен поездкой. Утром беглецы вернулись домой, по счастью, без малейших признаков простуды. Отвезя Юлю, я вернулся домой. Скоро выяснилось, что пожарные успели остановить распространение огня, и чердак над нашей квартирой уцелел. Но наш чердак — отведенный для нашей потребы, не над нами, и сгорел. А там сушилось белье за целый месяц: от него осталось несколько клочьев. Убытку немного менее чем рублей на 200. Это не беда, все-таки, можно считать, что мы дешево отделались. В той части дома, где был центр пожара, от воды сильно пострадали квартиры не только пятого, но и четвертого этажа. Ночь пришлось провести на ногах, а днем спать, так что уроки мои в пятницу пришлось отменить. Сергей Ал[ександрович] так и не ложился, а в 7 часов отправился к Мариинскому театру, простоял 3 часа и добыл билеты на вагнеровскую оперу «Тристан и Изольда».[240] Вот истый мученик искусства! Благодаря его подвигу я вчера попал в театр. Хорошо, и даже очень хорошо — ярко, сильно — а есть ведь люди, бранящие Вагнера. После театра я отправился ужинать и чай пить к Чуйко. Вот как раскутился! Я там, да почти что и везде, сто лет не был. Вовсе одичал за этот год. Теперь настают сравнительно более спокойные времена, хотя дела порядочно. Надо заканчивать курс эллинской культуры — остается лекций VI, а я только с веком Перикла покончил. Не знаю, как сделать, чтобы вышло что-нибудь законченное.

На курсах лекции свои я закончил еще в прошлую среду. В III классе гимназии и I-х классах института уроки кончаются в Лазареву субботу,[241] а во II-х классах инст[итута] будут еще неделю после Пасхи продолжаться. В гимназии V-й, VI-й и VII-й классы будут заниматься, не знаю еще толком, 2 или даже 3 недели после Пасхи. А

13-го апреля уже первый экзамен на курсах (выпускной), 7-го мая — второй (1 курс). В институте первый мой экзамен 21 апреля. Всего, с ассистентами, у меня 13 экзаменов и последний 22 мая.

Как видишь, рано еще читать отходную нынешнему учебному году. Но все-таки это уже не то. И дела меньше, а, главное, настроение весеннее. Чувствуешь себя бодрее и устаешь меньше.

А как у вас? Не утомляет ли тебя присутствие юного существа и забота о нем? Как идут Борины занятия со студентом? Это хорошо, что у него учитель чужой человек. Сразу тон серьезнее станет, и при его самолюбии это его заставит подтянуться. Ты пишешь, что он совсем не скучает. Это ладно, но как он будет себя чувствовать в корпусе? <...>

Д. 3. Л. 199—201 об.

270

3 мая

<...> У меня свободное время настало — а к новым, летним занятиям я еще не приспособился. Да тут еще разные неудобные соображения на будущий год замешались и несколько меня беспокоят. Дело в том, что в институте мне навязывают лишние уроки. Взять их — значит взвалить на себя 31 урок в неделю, т. е. по 5 каждый день, а раз в неделю — 6. Это привело бы меня к полной невозможности что бы то ни было читать и грозило бы погребением всяким мечтам о диссертации. Я попробовал не согласиться, и пришлось предложить Струве вовсе заменить меня другим преподавателем. Вероятно, этим дело и кончится, а ущерб в бюджете придется пополнить, приискав какие-нибудь другие занятия, или же сильно сократить расходы. Авось образуется, но, кажется, поступить иначе мне нельзя было. Некоторое подспорье может дать мне «Мир Божий» — в размере 15—20-ти р[ублей] в месяц. А затем поищем каких-либо уроков, в умеренном количестве. Таков самый существенный пункт в моих личных делах. Экзамены идут своим чередом. В институте мои ученицы уже сдали свой курс недурно, а старший класс произвел на ассистента даже очень хорошее впечатление. У оболенок один класс (VI) тоже держал экзамен; довольно нудный был экзамен, потому что мы экзаменуем только тех, у кого 3 в годовом выводе. Еще немного времени — и преподавательский сезон закончен. Слава Богу, ибо чувствуется потребность дух перевести. Из других знакомств кое-что новое и довольно прискорбное узнали мы относительно Наташи Гришенко. Ты, может быть, уже знаешь, что родители не намерены больше отпускать ее в Петербург. Папенька толкует о том, что она слишком пустыми интересами живет. Эк, куда хватил! А дома какие у нее интересы будут? Рацеи узколобого доктринера да заботы по хозяйству. Или дело найдется? А где девушке дело найти? Да еще не «бессодержательное»? Сколько их тут, с высшим образованием, бродит, как непогребенные души, не зная куда приткнуться! Наташа чуть не плачет, и права, потому что тут хоть и «пустая», да самостоятельность есть. А дома ее замаринуют и в банку посадят. Не так ли? <...>

Д. 3. Л. 202—205 об.

271

12 мая

Прости, дорогая мамочка, за невольно причиненное тебе беспокойство. Конечно, «недосуг» — не оправдание, всегда много времени можно найти, чтобы письмо написать, да всякая суета это время съедает, и не замечаешь, как день за днем уходит. Спасибо тебе за письмо. Порадовало оно меня хорошими известиями. Дай Бог, чтобы Колины дела уладились и чтобы он, в самом деле, стал на ноги в своем хозяйстве. Что касается должности земского начальника, то едва ли он, несмотря на некоторую протекцию, получит ее, пока губернатор тот же. По счастью, можно рассчитывать, что Шлиппе слетит. На него поднялся Бобринский, обличающий его (статья в «Петерб[ургских] ведомостях») в крайне неказистом поведении. <...>

С институтом дело оборотилось не так, как думал. Струве сделал по-моему, а лишние уроки пришлось взять другому преподавателю, Петрову, так что я останусь в том же положении, как был. Дела мои на нынешний сезон почти кончены: остается 3 ассистентства отбыть да на конференции побывать. Зато овладела мной какая-то неспособность что-нибудь дельное делать; все не клеится.

В гимназии вчера VIII класс сдал у меня репетицию — довольно сносно. В субботу придется еще на курсах проэкзаменовать 5 ч[еловек], почему-то не явившихся на экзамен. В числе проектов на будущий год есть одна новинка: придется участвовать в чтениях по истории для рабочих. Это и интересно, и жутко: как-то сумею примениться к непривычной аудитории. А уклониться никак нельзя. Об этом я как-нибудь пообстоятельнее напишу. Завтра у нас по этому делу сборище будущих лекторов.

Д. 3. Л. 206—207 об.

272

24 мая

Дорогая мамочка, ты, верно, сердишься на меня, что я теперь, когда я стал свободнее, пишу как будто меньше прежнего. Так-то оно так, да только времени у меня не больше прежнего: дела меньше, а сутолоки больше.

Понемногу наша публика разъезжается. Проводили Форстена за границу. Завтра Полиевктов уезжает в Италию. Через неделю Лапшин едет в Лондон. Счастливые люди — увидят die weite schöne Welt!* Хорошо было бы, если бы Платонов не надул и, в самом деле, устроил бы мне на будущее лето заграничную командировку, как обещает. Лапшин уезжает на год. Кроме того, Полонский отправляется податным инспектором в Курскую губ[ерию], а Марья Алексеевна (Постникова, помнишь ее?) в Хабаровск учительницей. Убывает нашего полку!

---

* Открытый, прекрасный, мир (*нем.*).

Мы просидим тут до середины июня, а там я один еще на месяц останусь. Надо поработать. Признаться, до сих пор я еще ни за какое дело не принимался. А надо бы. Да и чтения нужного много — для курсов, какие придется преподавать в будущем году. Пока я этим больше всего и занят.

Ну, что тебе рассказать про нас? Гутик растет себе на славу, кушает молоко с овсянкой довольно исправно, хотя сперва, как я тебе писал, он сильно протестовал против этого. Прогулки в саду нашего хозяина Шереметева[242] идут ему впрок. Он порозовел и окреп. Мальчуган веселенький и забавный. Всем интересуется, все-то ему надо потрогать. <...>

Я же начинаю приходить в себя от преподавательской горячки и привыкать к тому, что теперь свободен. Как видишь, все было бы ладно, если бы не начинающаяся летняя духота. А впрочем, и это беда небольшая.

Д. 3. Л. 208—209 об.

273

18 июня

Опять несколько дней прособирался, пока сел писать тебе, дорогая моя мамочка. Юля уехала в воскресенье вечером, а я отправился проводить их до Гатчины. В вагоне удалось устроить их довольно удобно, заняв дамское купе. Да и вообще теперь движенье поулеглось, и поезда наполовину пустые. Гутик был в большой ажитации и очень заинтересован неожиданными похождениями. Когда поезд пошел, он долго смотрел в окно на мелькающие предметы, улыбался им и был очень доволен. Так он до Гатчины и не спал, хотя я думал, что его укачает. Паша тоже все взапуски с ним забавлялась поездкой. Славная девушка, жаль, что осенью она выходит замуж и придется с ней расстаться. Заменить ее будет трудно. Я очень рад, что Юля наконец уехала, а то совсем она тут у меня извелась, бедненькая, с Гутиком и с несносной Аделью.

А для меня после ее отъезда настали беспокойные дни. В понедельник утром я отправился к Манизеру узнать, что с ним, нам сообщили, что он болен. Оказалось пресерьезное воспаление легких — и почти никакого ухода. Потолковав с д[окто]ром, я решил раздобыть сестру милосердия — попалась не очень-то подходящая, но все-таки полезная. Кое-кто из учениц и приятелей заходят позанять детей и присмотреть за Г[енрихом] М[атвееви]чем и за его сиделкой, так что всегда кто-ниб[удь] там есть из людей благонадежных. Эти две ночи я там ночевал, конечно, почти не спал, и рад, что сегодня можно было забраться домой. Завтра, верно, опять буду там ночевать. Вот по этим-то обстоятельствам я и не мог написать тебе сейчас по отъезде Юли, как хотел. Теперь буду аккуратнее, мамочка. Г[енриху] М[атвееви]чу лучше, авось выйдет более или менее благополучно из этой передряги. Но что с ним дальше будет, не знаю. И за этот-то год он сильно переутомился; доктор и развитие болезни объясняет утомлением организма, поддавшегося так сильно простуде. Манизер простудился на могиле жены, в годовщину ее смерти. Так ему вместо летнего отдыха на долю выпала болезнь! А к тому же и финансы его в критическом состоянии, болезнью же доведены до кризиса. Боюсь, как бы и меня не постигло последнее обстоятельство, так как эти дни мне стоили порядочно-таки. Ну, Бог милостив. Хуже для меня то, что дорогое время уходит даром. Конечно, эти дни заниматься почти не пришлось, так как я хоть и бегал на 2—3 часа в библиотеку, но больше дремал над рукописями, чем читал их. А другие дела и вовсе стали. Авось теперь наладится; хотя нет, еще неделя, наверное, прахом пойдет. <...>

Да, целы ли у тебя экземпляры «В[естника] Е[вропы]» с 94-го года? Мне особенно существенны все статьи Пыпина и переводы Мережковского. Если можешь мне их пожертвовать, то я пришлю полный список статей, которые мне нужны. <...>

Д. 3. Л. 210—212 об.

274

28 июня

<...> Больному нашему значительно лучше, можно надеяться, что опасность совсем миновала; только бы удалось восстановить изношенные силы и — увы! и это важно — подлечить серьезную карманную чахотку. Жаль, что я не могу помочь ему в последнем пункте, так как и мне эта весна стоила дороже обычного. <...>

А Палибиных жаль. Влетели они, бедные, в условия современного помещичьего хозяйства, которое, по всем обстоятельствам, есть отживающий анахронизм. Коля этого не хочет признать — и дорого платится.

Большое тебе спасибо, дорогая мамочка, за обещание прислать статьи из «В[естника] Е[вропы]» — да еще с предложением переплести их. За последние годы в «В[естнике] Е[вропы]» немало статей, которыми часто приходится пользоваться, и всего удобнее иметь их под рукой в виде томиков сборных, какие я уже начал подбирать. <...> Потому будь добра* <...>

Бенжамена Констана — 1895 апрель, май
Ковалевский. Месяц в Сицилии, октябрь
Брикнер. Русский двор при Петре II. 1896, январь, февраль, март
Брикнер. Павел I и Густав IV. 1897, апрель, май
Феттерлейн по вопросу происхождения Екатерины I. 1896, сентябрь
Мартенс. Николай I и королева Виктория — 94, дек[абрь]
Шильдер. Имп. Алекс[андр]. I и г-жа Сталь. 1896, декабрь
Иоллос. Э. Энгель — 1897, февраль
III. Конец 40-х — 1897, апрель — начало 50-х гг.—1897 — июль
Письма Н. М. Карамзина — май
Шенрок. Н. М. Языков. 1897, ноябрь—декабрь
Якушкин. Полежаев. 1897, июль
Эйхгорн. Страница из биографии Воина Ордина-Нащокина. 1897, февр[аль]

---

* Далее, вероятно, лист пропущен. Речь идет о списке присылаемых публикаций.

Д. Новая книга писем И. С. Аксакова. 1896, декабрь

Третий том, на корешке: «В. Соловьев. Статьи»

В. Соловьев. Народность с нравств[енной] точки зрения: 1895 г., январь

Принципы наказания — 1895, март

Поэзия Ф. И. Тютчева. 1895, апрель

Поэзия графа Толстого — 95, май

Нравственность и право — 95, ноябрь

Значение государства — 95, декабрь

Еще о символистах — 95, октябрь

Византинизм и Россия — 96, янв[арь]

Письмо к редактору по поводу извлечений из записок историка Соловьева. 96, апрель

Нотариальное заявление — 96, май

С. М. Соловьев — 96, июнь

Экономич[еские] вопросы с нравств[енной] точки зрения. 1896, декабрь

Из Московск[ой] губернии — 97, авг[уст]

Судьба Пушкина — 97, сент[ябрь]

Потебня. Язык и народность. 95, сент[ябрь]

Радлов. Новое миросозерцание. 95, март

Фаминцын. Богиня весны и смерти — 95, июнь, июль

Веселовский. Беранже — 95, январь

Гоголь и Чаадаев — 95, сент[ябрь]

Венгеров. А. Дружинин. 95, январь, февраль

Волконский. Конгресс религий в Чикаго. 95, март

З. Венгерова. Новые течения в англ[ийском] искусстве. 95, май

Дж. Мередит — 95, июнь

Сандро Ботичелли — 95, дек[абрь]

Г. Гауптман — 96, ноябрь

Буслаев. Римская вилла З. А. Волконской. 96, январь

Кони. Д. А. Ровинский. 1896, янв[арь], февр[аль]

Спасович. Павинский. 96, дек[абрь]

Спасович. Мережковский — 97, июль

Антокольский. Заметки об искусстве. 97, февраль

Шохор-Троцкий. Леонардо да Винчи. 96, июнь—июль

Потанин. Восточные основы русского эпоса. 96, март, апрель, май

Ефименко. Архаич[еские] формы землевладения. 96, дек[абрь]

Письма Гоголя. 96, июнь, июль

Кочубинский. Граф Строганов. 96, июль, август.

Что касается статей, выдранных из «Вестника Европы» за 94 г., то у меня их нет, и я не знаю, куда их девал. Адрианов уверяет, что я их из Харькова не привозил. Если они, паче чаяния, найдутся, то будь добра статьи Пыпина присоединить к статьям Пыпина из других годов. Тогда его статьи, верно, составят 2 томика: «Пыпин. Статьи. 1894—1895» и «П[ыпин]. Ст[атьи]. 1896—1897 гг.». И остальных авторов приложи к их же статьям в других томиках, а прочее распредели как попало. Если ты так добра, что хочешь оказать мне эту услугу, то я постараюсь подавить в себе чувство, что совестно обременять тебя, моя добрая мамуля, такой скучной возней. Боюсь, что если ты мне статьи пришлешь непереплетенными, то я их растеряю раньше, чем соберусь отдать в переплет.

Это еще не все: если у тебя сохранились остатки разобранных мною прежних годов, то не найдутся ли там следующие трагедии древних греков, переведенные Мережковским:

«Скованный Прометей», 91, январь
«Антигона», 92, апрель
«Ипполит», 93, январь
«Медея», 95, июль
«Эдип в Колоне», 96, июль,

а если было что-нибудь в переводе из греческих трагиков за 98 г., то не вырвешь ли ты все это и не переплетешь ли в особый томик? Все это весьма бы мне пригодилось. Заранее благодарю за хлопоты и крепко тебя обнимаю. <...>

Д. 3. Л. 213—217 об.

275

3 июля

Поздравляю вас, дорогие мои, с сегодняшним тридцатипятилетием существования нашей семьи. Хотел телеграмму послать, да с хлопотами по манизеровским делам не успел. Боюсь, что дела эти таковы, что внушать должны опасение. Вчера доктор позволил ему немножко встать, а он весь день сидел одетый, распоряжался детьми и хозяйством — ну, к вечеру температура и поднялась. Сегодня опять то же. <...>

Невеселое выпало лето. Ни дела, ни отдыха. Поскорее бы вырваться в деревню, а то еще немного — и не с чем будет выехать. Не знаю, как вывернусь. Дома у нас — совсем запустенье. Бродит один Адрианов по пустым комнатам — невесело и попасть туда.

Может быть, мне удастся с завтрашнего дня возобновить свое хождение в Публичную библиотеку. Да и другая какая работка подвертывается — «гонорарного» характера, что, по нонешним обстоятельствам, совсем не лишнее.

Ну, нового у нас в Питере ничего нет, да я почти никого и не вижу. Я, впрочем, ни разу не писал тебе о деле, которое всю зиму на душе у меня. Адрианов разводится с женой, чтобы жениться на Е[лене] В[ладимировне] Чуйко! Боюсь я за нее, признаться. Больно она хорошая, не С[ергею] А[лександрови]чу чета. Впрочем, она его очень любит, да и он ее, насколько это ему свойственно. Но в ней бездна юной чистоты, а он жженый и прожженный, хороший, но крепко [побитый] жизнью человек. «Черт с младенцем связался» — эта поговорка очень к ним подходит. В июле развод состоится, а там — дай-то Господи, чтобы все хорошо сложилось. Дети дошкольного возраста остаются у матери.

Такие-то дела. Об остальных приятелях мало что знаю. Полиевктов в Риме — работает в Ватиканском архиве. От Форстена сегодня получил записку — так, делового характера пару слов. Он в Лондоне с Лапшиным, о котором ни слуху ни духу. Сам не пишет, а Форстен о нем лишь вскользь упоминает.

Д. 3. Л. 218—219 об.

276

16 июля

<...> Манизер поправился более или менее совсем, но отголосок болезни остался в том, что у него ноги разболелись и, вероятно, на одной из них нарыв будет. Экий бедняга, пожалуй, вовсе ему не придется из Петербурга уехать и так, без отдыха, после изнурительного лета, браться за тяжелую зимнюю работу. Я у него два дня вовсе не был; много было своего дела, всякие деревенские поручения надо было исполнять. А тут еще Форстен имел глупость прислать на мое имя какой-то фарфор — и я не могу его получить, п[отому] что надо заплатить довольно значительную пошлину, а свободных денег у меня нет. Пускай расхлебывает, как знает.

Из Домброва известия, в общем, удовлетворительные. Я, кажется, писал тебе, что у Гутика второй зубок прорезался. Забавный он должен быть теперь. Ведь вот крошечный человечек, а очень мне его тут недостает.

Буду ждать известий о том, как разрешатся планы Ефремовых. Мне, во всяком случае, надо быть в Петербурге к 20-му августа, так как начинаются занятия в институте. Вот хорошо было бы, если бы и в Мариинском ведомстве приняли благую меру военного министра. Занятия в августе все равно толку не дают — и это везде, во всех учебных заведениях.

Сегодня вечером переселяются к нам наши музыканты. Штруп и Оссовский — бездомные, но милые приятели, которые желают приобщиться к нашему хозяйству. Значит, с сегодняшнего вечера у нас начнутся концерты, рассчитанные на самый утонченный музыкальный вкус. Но меня-то не будет.

Д. 3. Л. 220—221 об.

277

20 июля

Сегодня ты именинница, дорогая мамочка, а я только мысленно могу тебя поздравить. Хотели мы тебе послать телеграмму, да некого было отправить в город. Пора горячая: все время дожди были, а теперь выдались хорошие дни, и торопятся рожь убрать, благо урожай в Домброве очень хороший, несмотря на дожди, много попортившие кругом.

Приехал я сюда в субботу 17-го под проливным дождем. Но, даст Бог, это последняя вспышка расходившейся мокропогодицы, и теперь установится ведро. Тут я всех нашел в вожделенном благополучии. Гутик выглядит молодцом. Нравом он большой разбойник. Нетерпеливый и вспыльчивый. Чуть что не по нем, так кричит очень сердито и подчас благим матом. Это мне совсем не нравится. Как бы отучить? <...>

Приехал я сюда не совсем без дела. Привез материалы для биографии Батюшкова, которую не успел написать в Петербурге. Не знаю, что из нее выйдет, совсем не работается, а между тем, как я писал тебе, нужно, чтобы она имела благопристойный вид и понравилась Половцову.[243] Не правда ли, мои колебания в направлении занятий несколько напоминают прежние шатания между факультетами? Пожалуй, папа опять скажет, что быть мне в конце концов казаком. *Шалишь, не годишься. Быть тебе школьным учителем.** Дай Бог, чтобы его предсказание и на этот раз так же осуществилось, как тогда. Все хорошо, что хорошо кончается. А как кончится моя новая Одиссея, покажет будущее.

С нетерпением жду каких-либо известий о твоем здоровье. С нетерпением жду известий из Петербурга: я Манизера оставил опять в постели; у него ноги разболелись. Петербургский доктор говорит, что это пройдет, а П[етр] В[икентьевич] утверждает, что это недомогание может быть очень серьезно — и я имею основания ему верить. Сегодня напишу Манизеру, буду просить немедленного уведомления. А что Ефремовы? Юля писала тебе в Шостку, переслали ли письмо?

У нас тихо и не особенно весело. С охотой отложу работу, чтобы отдаться dolce far niente,** которое мне очень нужно.

Ц. 3. Л. 222—223 об.

278

8 августа

<...> Что нас касается, то живем мы тут недурно, хотя домашняя атмосфера совсем не такая, какую нужно было бы для настоящего отдыха и мне, и Юле. Слишком много разных мелких недовольств и неприятностей, происходящих оттого, что три семьи, поселенные в благодатном уголке Царства Польского, довольно плохо прилажены друг к другу. А Адель еще толкует о том, чтобы в Петербурге жить вместе: Даль-Троццы настолько несносный и непохожий на нас народ, что такая комбинация более чем невозможна. <...>

Время тут провожу в полном бездействии. Читаю, конечно, но вовсе не занимаюсь, да и читаю-то все вещи, к делу не относящиеся. Прочел «Paris» Золя, теперь думаю прочесть «Bez dogmatu» Сенкевича по-польски. Иной раз съездишь в Прены, недавно мы с П[етром] В[икентьеви]чем ездили по его делам в местечко Вейверы за 20 верст. С тех пор, как он захворал, он один ездить боится. А я с удовольствием присоединяюсь к нему, ибо люблю смотреть новые места. Гутик целые дни на воздухе, но почему-то мало загорел. <...>

Мне начинает становиться скучно без работы, но я ее избегаю, п[отому] что надо отдохнуть. Ты, дорогая мамочка, не поняла, что я говорю о «колебаниях» в занятиях? Я разумею, что сперва выбрал себе тему о Верховном Тайном Совете, потом думал приняться за XVII в. и изучить подготовку Петровской реформы, повернулся к летописям, а теперь жду, не закажет ли мне Половцов биографию Имп[ератрицы] Елизаветы Петровны, и тогда из той же эпохи состряпаю диссертацию. Если бы я твердо решил писать на такую-то или другую тему, то мог бы найти время для того, чтобы хоть урывками, да работать над ней. А я шатаюсь и разбрасываюсь. Не одни только внешние обстоятельства мешали мне засесть за диссертацию, но отсутствие серьезного стремления к этому. На такое настроение есть свои основания, но оно проходит по мере того, как все яснее для меня становится общее построение курса русской истории и вместе с тем выясняется значение отдельных тем, какие можно было бы взять для диссертации. Когда-нибудь, и, даст Бог, скоро, доберусь и до нее. А надо бы. Ты пишешь: «Не унывай». Да мне и нечего «унывать» — я сам-то думаю, что иду верным путем, и нимало не беспокоюсь о том, что из этого выйдет. Торопиться некуда.

---

* Вписано над строкой рукой Ю. П. Пресняковой.

** Сладостному ничегонеделанию (*итал.*).

Д. 3. Л. 224—227 об.

279

24 августа

Дорогая мамочка, пишу тебе под детский шум и визг, какого давно не слыхал. Ефремовы приехали вчера утром здоровые и веселые. И папа молодцом. <...>

Приехал я 19-го, а 20-го пошел в институт посмотреть, что там творится: оказалось, что уроки уже начались, и я три — пропустил. Ну, не беда, теперь институтские занятия уже вошли в колею. Здесь я застал новости: Манизер женился на молоденькой ученице своей. Она мне нравится, но будет ли она счастлива при такой разнице лет — это вопрос. Развод Адрианова почти закончен. Но до ноября его свадьба едва ли состоится. Из товарищей своих пока никого еще не видал. <...>

Д. 3. Л. 228—229 об.

280

28 августа

Спасибо тебе, дорогая мамочка, за книги. Много в них любопытного и полезного, особо приятен был мне сюрприз: том Потебни. Правда, пристрастие мое к Потебне несколько платоническое. Он слишком глубок и своеобразен, чтобы изучить его между делом. А на систематическое штудирование его трудов у меня времени нет. Но и беглое соприкосновение с этой сильной мыслью — живит и увлекает. Новый том его «Записок по русской грамматике» очень важен для нашей филологии и полон философского интереса.[244]

С книгами приехали и ковры. На днях мы с Маней распорядились их судьбою.

А мы, петербуржцы, пока понемногу собираемся в Северную Пальмиру и принимаемся за дело. Начались мои уроки в институте, в маленьких классах, как я тебе писал. Я уже за прошлый год привык к этому преподаванию истории детям, у которых в голове нет ни одного понятия, нужного для истории. Работа мудреная, но не лишенная своеобразного интереса. Результатами, достигнутыми прошлогодним опытом, я могу быть более или менее доволен. Пока других обязательных занятий у меня нет. Почитываю кое-что, но мало, потому что на первое время оказалось много делишек вне дома. Только раз с приезда обедал дома — с Лапшиным, Ламанским (сыном профессора), Штрупом, который живет у меня, Маней и Ив[аном] Пл[атоновичем]. А то больше обедал — то у Адрианова, то у Шеффера, а больше всего у Мани. <...>

К Ефремовым я попаду только завтра, да и то с большой компанией (Адриановы, Ямпольские, Головань, Шеффер, Лапшин), так что не увижу их особняком. Все, что есть огорчающего нас в строе жизни Ефремовых, тебе хорошо знакомо. Но мы с тобой, дорогая мамочка, судим об этом различно. Я очень люблю Катю, знаю, какой она хороший человек, но с грустью вижу, что некоторые не совсем для меня понятные черты ее натуры портят ей жизнь. И в этом корень дела. Я живал у них долго. И вижу ясно, что если ей тяжело иногда, то тяжесть эта рождается как-то из нее самой более, чем из обстоятельств и отношений. Она не умеет судить о них и овладеть ими: она мало прощает — даже пустяков окружающим и недостаточно строга к себе. <...>

Что касается моего «Александра», то это большая работа, которую теперь едва ли удосужусь выполнить.[245] А кто это «ждет» его в Тифлисе?

Д. 3. Л. 230—233 об.

281

31 августа

Сильно огорчило меня письмо твое, дорогая бабушка. Как ты будешь чувствовать себя по приезде в Харьков? Надеюсь на скорое известие. Как только отдохнешь, черкни пару строчек. А бедные Палибины! И помочь-то им некому, потому что они сами жизнь себе портят. Эх-ма... Право, как посмотришь кругом, даже страшно становится, отчего у меня все так хорошо, отчего это на мою долю выпал такой уютный и сердечный home,* какого и в книжках не сыщешь. Что касается нашего петербургского житья-бытья, то о нем тебе Катя писала. Послезавтра, т. е. нет, завтра, Борю сдают в корпус, надеемся, что примут во второй класс. Последние дни у нас неважные. Детки попростужались, да и я с насморком. До поры, до времени я бездельничаю, зачитываюсь романами Сенкевича, а уроки в институте даю без подготовки, отчего они не выходят хуже. 3-го сентября экзамен на курсах, 4-го в гимназии для вновь поступающих. Числа 10-го начнутся лекции на курсах и уроки в гимназии. У меня будет нынче на один час в неделю меньше, чем в прошлом году. В институте я начал заниматься с маленькими — не знаю, как дальше пойдет, а пока меня это занимает и, кажется, их тоже.

Постепенно съезжаются наши. Форстен приехал из-за границы, переполненный новыми впечатлениями: он побывал в Египте и в Лондоне. Его рассказы меня дразнят; неужели не удастся мне посмотреть эту «заграницу» и показать ее Юле? Поживем — увидим удастся или нет. Платонова еще нет, или он только что приехал. Я его не видал. Лапшин работает а Лондоне, собирается переселяться на зиму в Берлин. Вообще раскидало наш кружок по всем концам земли от Лондона до Хабаровска, куда уехала Постникова. <...>

---

* Дом, семейный очаг (*англ.*).

Д. 3. Л. 234—235 об.

282

10 сентября

<...> Что меня касается, то я занят 27 часов в неделю: в институте у меня на два часа меньше, чем в прошлом году, так как я взял кроме одного старшего — маленькие классы (самое начало); зато в гимназии Оболенской у меня прибавился один урок в VII классе для повторения древней истории. Так и вышло 27, вместо прошлогодних 28.

Уроки в гимназии начались только вчера, 9-го. Сегодня Адрианов дебютировал в VIII классе, где он будет читать курс новой русской литературы, и, кажется, благополучно. Рихтер — одна из лучших моих учениц в V, теперь в VI классе. Удивляюсь, что она меня считает строгим. В их классе, очень хорошем, мои отметки высокие. Уроки мои распределены так, что их по пяти в день, а в пятницу два. <...>

А у нас в Питере дела, что сажа бела. Боголепов разные штуки выделывает.[246] Общедоступные курсы, в которых я участвовал, еле живы. Они были на особом положении, а теперь их хотят рассматривать как публичные лекции, требуют разрешения градоначальника и 2-х министров, какого-то устава, т. е. чинят всякие затруднения. В университете министр требует, чтобы ректор и деканы построже следили за доцентами и ходили бы к ним на лекции, а от доцентов требует, чтобы они «читали лекции», несмотря даже на отсутствие слушателей. Что это значит? Читать в пустой аудитории монологи? Сие понятно только г. министру. Все это пустяки, но тон нехороший. Конечно, ходят уже слухи, что Б[оголе]пов не усидит, только это вздор. <...>

Д. 3. Л. 236—239 об.

283

23 сентября

Ефремовы уехали к себе только вчера, потому что Гартвиги, конечно, затянули свой выезд. Они, должно быть, быстро устроятся, потому что все у них уже закуплено. Звали нас к себе на новоселье в субботу, 26-го. «Нас» — это значит les beaux restes* форстеновского кружка, т. е. Чуйко, Адрианова, Голованя, Полиевктова и меня. Вот все, что осталось от древнего величия! Да и те вразброд. Полиевктов у Чуек не бывает, ибо ревнует Е[лену] В[ладимиров]ну; Головань сидит больше в Царском Селе, так что его мы видим только на субботах у Форстена. На этих субботах мало народу, музыки нет, потому что Лапшин за границей, и некому аккомпанировать Форстену. Панченко, приехавший на несколько дней из Берлина, попав на «субботу», удивился и спросил: что эти «субботы» всегда теперь такие вялые? В этом пункте действительно полная Götterdämmerung!* Впрочем, в субботу, верно, соберемся на Пороховые.

---

* Прекрасные обломки (*фр.*).

С отъездом Ефремовых началась и у меня уборка. Сегодня пришел маляр и замазал окна. Завтра придет полотер, вымоет полы и натрет их. Тогда квартира моя опять примет человеческий вид после татарского погрома. Антонина осталась у меня: дочка не пускает ее на Пороховые, так что хозяйство мое идет своим чередом. Юля писала мне, что приедет в воскресенье — я было совсем обрадовался, потому что совсем избаловался и все меньше могу мириться с ее отсутствием. Но сегодня получил подозрительное письмо — пишет, что приедет в воскресенье, «если удастся». Думаю, что приедет, потому что знает, как мне скучно. Но беда в том, что Мих[алина] Мих[айлов]на, естественно, цепляется за нее. <...>

А пока, дожидаясь ее приезда, провожу время довольно бестолково. Даю по пяти уроков в день, после этого сильно глупею и чувствую прилив лени. Ничего серьезного не делаю. Почти не готовлюсь к лекциям и урокам, ибо все это уже проделано и для издания записок по греческой культуре и русской истории остается подправлять старые издания. Во второе полугодие будет новое дело: буду читать некоторые новые главы в истории античной культуры, еще нечитанные. Тогда и интереса будет больше, а то скучно пережевывать уже разжеванное. Надо бы, конечно, взяться за какую-нибудь работу, постороннюю преподаванию — да пока не выходит. По вечерам бываю кое-где. Больше всего у Манизера и у Чуйко, затем каждую субботу у Форстена, а через среду у Платонова. Но у обоих профессоров довольно скучно. У Манизера славно, п[отому] что новая m-me Манизер мне нравится, дети очень ее любят, а Г[енрих] М[атвеевич] спокойный и хороший. Юле трудно будет помириться с новым хозяйством, потому что женщины, кажется, вообще труднее идут на компромиссы, чем мы, и новый брак на развалинах старой столь дорогой для нас семьи смущает ее душу. У Чуек тоже хорошо. Старики полюбили Адрианова, и он там стал лучше, чем был. Е[лена] В[ладимиров]на спокойная и совсем, по-видимому, была бы довольна, если бы не несколько нервное отношение к тому, как другие отнесутся к ее шагу. Это пройдет. Дай Бог счастья этому существу, одному из милейших, каких я когда-либо знал! Мы с ней как брат с сестрой, и Юля ее очень любит, и она к Юле, кажется, очень привязана. Хорошо у Чуек и потому, что старик Чуйко интереснейший человек, с широким образованием и тонким вкусом, необыкновенно живой и разносторонний. Беседы у нас, бесконечные — литературные и иные разные темы, подогреваемые нашей общей пассией к итальянскому Возрождению, к Достоевскому и польской литературе. На этой почве сходится квартет: Чуйко, Адрианов, Флексер и я. Замышляли даже кое-какие общие работы — да улита едет, когда-то будет. <...>

Полиевктов вернулся из Италии под сильным впечатлением от тамошних событий, но взгляды его похожи на все, что угодно, только не на социализм. Он говорит о безобразии парламентского режима, давшего власть в руки толстопузых буржуа, о том, что народ находится под гнетом разорения, озлоблен против бездушного и эгоистического правительства, что анархизм — ужасное и нелепое, но естественное явление. Сам он очень доволен поездкой, а вернулся так, как думал, потому что ехал он на 2 месяца, а не на год. Мы с ним большие друзья и часто видимся. Вот и сейчас он приедет за мной, чтобы вместе идти к Платонову.

---

* Сумерки богов (*нем.*).

Что написать тебе, дорогая моя мамочка, о душевном настроении и занятиях своих? Настроение у меня самое хорошее. В семейном уголку моем и в умственной работе у меня солидный фундамент для душевного равновесия, близкого к тому, что люди зовут счастьем. Сказал бы, что совсем счастлив, потому что для этого все налицо, да только в семейном уголку моем огорчает меня то, что Юле все-таки нелегко между мной и ее матерью, она не в силах не отдавать ей часть времени, а грустит в разлуке со мной, как и я. Ну, это исполнение долга, и, стало быть, «ничего не попишешь», как выражается Адрианов в безнадежных случаях. Старики эти действительно жалкие, и вполне с ними сойтись для меня органически невозможно, что для Юли тоже грустно. Вот и получается сознание, что Юля, которая мне дала полноту моей жизни, сама расплачивается за это дорого, и грустные ноты подчас нарушают ее жизнерадостное настроение. А когда мы вдвоем — так больше нам ничего и не надо.

В умственной работе моей тоже есть изъян: размахнулся так широко, что слишком медленно подхожу к намеченным целям, чтение и размышление мое слишком сложны и разнообразны, и судить себя, засадить себя насильно за специальное исследование, бросив те разносторонние интересы, которыми я живу, — не хватает охоты, да и нужно ли? Ведь я разносторонностью своей только и силен. Зато я и бесплоден только пока, и дойду, хотя и нескоро, быть может, до возможности настрочить «диссертацию», надо, по крайней мере, надеяться, что, даст Бог, не останусь раскидистым дилетантом, каков я теперь.

Как бы то ни было, живется мне на свете весьма хорошо, и все то гадкое, что творится кругом нас в общественной атмосфере (а, Господи, что творится!), сердит меня только вчуже. В одном только пункте реакционная мерзопакость, воцарившаяся на Руси, может щелкнуть и меня: если Богом проклятое Министерство народного просвещения наложит свою лапу на мое преподавание, подгоняя гимназию под казенный шаблон. А то вообще я в своем уголку неуязвим — дал бы только Бог моим дорогим здоровья. <...>

Д. 3. Л. 240—246 об.

284

9 октября

Что меня касается, то я занят все текущими делами. Возня по подготовке к лекциям нынче меньше, но зато есть кое-какая литературная работа для «Мира Божьего» и для «Библиографического словаря русских деятелей». Мои рецензии в «Мире Божьем» на «Историю русской литературы» Пыпина[247] заинтересовали его, и он справлялся в редакции, кто это писал, а в VII томе своей «Истории литературы» сделал даже несколько возражений.

Ты пишешь, что хочешь менять квартиру. Может быть, уже переехали? От папы обещанного письма пока нет. Горийские дела стоят пока неопределенно; никаких известий нет о том, возобновлен ли контракт. Трудно управлять «владением», которое за тридевять земель.

Д. 3. Л. 247—248 об.

285

13 октября

Что это, дорогая мамочка, давно от тебя писем нет? <...> Гутик теперь большой мужчина и даже щеголяет в штанишках. Все, что возможно, грызет шестью зубами, от которых и Юле достается. Мы с ним большие приятели: так как я не всегда у него на глазах, то возбуждаю в нем сугубый интерес. Мальчишка весьма живой и юркий; пытается по полу шагать, но это ему совсем не удается. Выносить его на гулянье, к сожалению, не приходится, так как погода стоит дрянная: переход к зиме — то снег, то тает. Да и насморк у него был, так что даже купать его не приходилось.

Жизнь наша совсем вошла в зимнюю колею. А это означает, что мы сидим дома и мало кого чужого видим, кроме своих «форстенят». Адрианов домой только ночью приходит, так что и с ним мы не часто встречаемся. Свадьбу он рассчитывает устроить до Филипповского поста,[248] но когда, где и как — этого он и сам еще не знает.

Писал ли я тебе, что недавно Полонский приезжал сюда на три дня. Отец его очень плох, говорят, что у него перерождение печени, а это значит начало конца. Алекс[андр] Яковлевич, конечно, скучает в своей Короче, ибо люди там серые и нравы дикие. Говорит, что непременно соберется к вам в Харьков при первой возможности. Славный он паренек, сердечный, чуткий. Мы с Юлей очень его любим. <...>

Про свои какие-нибудь дела мне совсем нечего писать. Катятся они обычной чередой, более или менее удовлетворительно. Катились бы лучше, если бы побольше времени и сил. А силенки иногда изменяют. Как дашь пять уроков и лекций, иной раз одуреешь — и ничто не клеится: ни чтение, ни работа, ни даже письмо. Вот почему я мало писал тебе за это время, да последнее письмо какое-то куцее вышло. А дело есть, и интересное, и нужное — да стоит оно по лени и склонности отдохнуть от трудов праведных. Эх, натура, натура российская.

Крупных новостей за это время в Петербурге не было. В переводе на нынешний язык это значит, что не было крупных неприятностей. Вероятно, потому, что Боголепов еще не вернулся из Крыма. Не может ли папа устроить ему крушение? А то мы очень боимся его приезда.[249]

Недавно, а именно в воскресенье, было любопытное заседание философского общества. Читал Вл. Соловьев о Белинском.[250] Характеристика Белинского, этого «неистового Виссариона», жадно искавшего подлинной правды, не односторонней, а цельной, и потому всю жизнь метавшегося из стороны в сторону — вышла очень хорошо. А еще лучше была сказавшаяся в лекции характеристика самого Соловьева — этого странного человека с физиономией полусатира, полуаскета, который говорит громогласно о самых задушевных вещах тоном пророка, проповедника. Свел он речь свою к пожеланию, чтобы народ русский, освобожденный от крепостного права, освободился наконец и от духовного закрепощения, в котором пребывает. И это вышло у него без фразы, а искренно и даже просто, хоть и не совсем ясно. А потом стали выбирать председателя в обществе нашем. После многих споров, нелепых и неприятных, выбрали Введенского, и то большинством всего 10 голосов. И отчего это в наших обществах столько недоразумений, личностей и т. п.?? <...>

Д. 3. Л. 249—252 об.

286

24 октября

А вчера хоронили Полонского. Алекс[андр] Яковлевич не застал уже отца в живых. Старик умер в воскресенье утром, а Аля приехал только во вторник утром. Похороны были торжественные. Гроб мы на руках снесли в Преображенский собор. Служил архиерей Вениамин — и я в первый раз видел архиерейское служение. Действительно — благолепно, только очень уж длинно, так что я убежал домой позавтракать. Из собора на плечах понесли гроб на вокзал, а студенты по дороге пели «со святыми упокой». И, знаешь, это пение толпы гораздо больше производит впечатление, чем хоры певчих. Как-то больше настроения, когда толпа идет за гробом и сама тихо поет. Хилков дал вагон для гроба и вагон для семьи. Похоронят «старого орла» в Льговском монастыре, на живописном обрыве над Волгой в 12-ти верстах от Рязани. Город Рязань берет на себя погребение.[251] Жаль старика — он такой сердечный был, как наш Аля. Жаль и Алю. Он теперь сирота, потому что мать его совсем не ценит, да и остальные члены семьи совсем другого склада. <...>

Да, а Боголепов. Он уже успел «обрадовать» нас здравым взглядом на развитие «молодежи», а именно: 1) прекратил, по крайней мере на этот сезон, наши общедоступные публичные курсы; 2) потребовал сокращения заграничных командировок от университета; 3) запретил учительский съезд (народных учителей) в Царском Селе с предполагавшимися курсами для пополнения сведений народных учителей; 4) навязывает частным гимназиям обязательную программу для 8-го класса, в которой разные «методики» и «пробные уроки» убивают предметы общеобразовательные (то, чего я боялся, — факт). Думаю, что он достаточно проявил себя, чтобы желать ему крушения. Мы — лягушки, просящие царя — единодушно жалеем покойного Делянова. И не молодежь только, а и старики ворчат и кряхтят. Худо не направление, а его бессмысленность. Дело не в тенденции у нашего скорбного М[инистерст]ва нар[одного] пр[освещения], а в чиновничьем формализме, требующем всюду одного шаблона, строгого и мертвого единообразия. Боголепов достаточно проявил себя, чтобы сказать, что он дела своего не любит и не понимает. «Победолепов» и

«Богоносцев» — два кита, пугающих всех, кому дорого российское просвещение, бедное, убогое, анемичное российское просвещение.[252] Оно живо вне учебных заведений, вне университетов, вне литературы — а разве это жизнь для «просвещения»? Ты думаешь, я преувеличиваю. Но что гимназии плохи, — этого никто не отрицает. Что министерство не дает их улучшить, лишая педагогов инициативы и свободы, обращая их в плюнувших на все чиновников, — это факт, который я своими глазами вижу. Что университеты в упадке, тому доказательство — все последние «ученые» диспуты. А печать наша — ты сама ее знаешь. И будто нет пороху в наших пороховницах, будто иссякла казацкая сила? Нет и нет. Но помехи на каждом шагу хоть кого изведут.

Ну, Бог с ними, с нашими поработителями. Ничтожество им имя — а сила их великая. <...>

Д. 3. Л. 253—257 об.

287

6 ноября

Дорогая моя мамочка, мысли мои с тобой, полные тревоги. Твоя коротенькая записка о том, что у папы «был вчера сильный нервный припадок» — это значит 27-го, заставляет с нетерпением ждать новых известий. <...>

Дело мое идет нынче легче; курсы выработаны, можно почти не готовиться к преподаванию; зато я обленился и не работаю, а так только почитываю кое-что новенькое. В объявлении о подписке на «Мир Божий» заявлено, что появится моя статья «Александр I и его время». Надо будет написать, а это тема — хитрая. <...>

Д. 3. Л. 258—259 об.

288

15 ноября

Дорогая мамочка, очень обрадовало меня твое письмо известием, что на Рождество вы собираетесь к нам и что папа так резонно говорит, что петербургским детям надо подарить больше времени, чем екатериновским. Утешительны и известия о том, что папе лучше, хотя и не так, как было бы желательно. К сожалению, его заболевание серьезное, и здоровье его и впредь потребует тщательной заботы и тревоги. Бедный папа, ему, привыкшему к энергичной и постоянной деятельности, особенно тяжело чувствовать силы свои ослабевшими. Неужто не удастся ему устроить перевод в Петербург? Мы бы устроились вместе, и папе, и тебе было бы веселее и спокойнее.

<...> У нас Гутик с кашлем. Ничего существенного, но его это беспокоит. Вяжлинский прописал какую-то микстурку, против которой Гутик ничего не имеет, но толку от нее мало. Теперь велел эмс (кипяченый) с молоком давать. Попробуем.

Вчера мы с Юлей были на акте в гимназии Оболенской. Полиевктов говорил речь о реформах Александра II (по случаю открытия памятника) — речь очень хорошая по содержанию, но произнес ее он несколько вяло и должного впечатления не произвел. После акта был завтрак с тостами — и меня угораздило говорить, да так вышло, что Г[еоргию] В[асильеви]чу, кажется, не понравилось. Ну, все равно. Юля перезнакомилась с ученицами 8-го класса, а мать одной из них ей говорила, будто многие матушки желают, чтобы нашего священника[253] убрали из гимназии, как выжили Голованя. Некоторые ученицы мои со мной разговорились. Уверяют, что я очень много требую, что уроки мои трудные, так что иные из-за этого будто бы не выбирают истории специальностью в 8-м классе. В этом, может быть, доля правды. Нынче в преподавании истории стали напирать на смысл и характер учреждений и всяких политических и религиозных учений, а юным мозгам это еще чуждо и часто затруднительно. Но вести уроки истории в ином духе не имеет смысла.

Д. 3. Л. 260—262 об.

289

10 декабря

Дорогая мамочка, неужели я в самом деле так давно не писал тебе? <...> Все дела мои идут гладко. Есть и кое-что интересное. Наш инспектор курсов адмирал Страннолюбский, очень умный и симпатичный (из школы Константина Николаевича — папа знает, что это значит),[254] затевает с одобрения Константина Константиновича, нашего почетного попечителя, перестроить курсы в Женский педагогический институт с 4-летним курсом и значительно расширенной программой. Программу эту мы стряпаем в конспиративном кружке из семи человек (все молодежь). Дай-то Бог, чтобы из этого что-либо вышло. Курсы как они теперь поставлены — учреждение маргариновое, а мы хотим создать высшее заведение особого типа. В субботу еще раз соберемся для предварительных рассуждений, а в понедельник, 14-го, будет генеральное сражение в общем собрании педагогического совета под председательством Великого князя. Это дело большое и хорошее. Если будет наша победа — то 98-й год хорошо закончится. <...>

Д. 3. Л. 263—266 об.

1899

290

14 января

Наконец-то, дорогая мамочка, собрался я написать тебе. А то все суета. Опять «будни» вошли в колею, дела пока немного, но время как-то разбито, разменяно на мелочи, и никак за письмо не сядешь.

На днях большая была у нас передряга с Адриановым. На 8-е число назначена была его свадьба, но за день до нее выяснилось, что документы не в порядке, что он в них прописан «вдовцом», что есть слишком явное и рискованное беззаконие. Порядочно надо ошалеть и потерять голову, чтобы согласиться на это, а он дал себя уговорить тому «агенту», который отыскал ему сговорчивого попа. Потолковав с Оссовским и мною, С[ергей] А[лександрович] сообразил, что так нельзя. Пришлось трубить отбой, отменять свадьбу, предупреждать приглашенных. С[ергей] А[лександрович] был в таком состоянии, что на меня возложил деликатную миссию разговора с Е[леной] В[ладимиров]ной и ее родителями. По счастью, там это принято было благополучно, с сравнительно небольшим огорчением. Эх, трудно даются такие дела. Жаль Ел[ену] Вл[адимировну] — какой ей извод из-за всех этих перипетий. Теперь дело надо налаживать уже по-настоящему, заново. Но до масляной необходимо его прикончить. С[ергей] А[лександрович] рассчитывает на скорый исход.

У нас же все ладно, если не считать того, что Гутик покашливает, а главное, продолжает неаккуратно спать по ночам, хоть и не так безбожно, как на праздниках. Юлю он этим очень утомляет, а я сбежал в адриановскую комнату, чтобы спать спокойно. <...>

О каких-либо делах своих ничего интересного сообщить не могу. Вне преподавания только почитываю кое-что. Сегодня получил приглашение в сотрудники нового журнала «Начало», которое, по-видимому, является продолжением покойного «Нового слова».[255] Я согласился, хотя пока не сдам «Миру Божьему» статьи «Александр и его время»,[256] могу «Началу» служить только рецензиями. А там увидим, если только «Началу» не будет по примеру «Нового слова» скорого конца.

Реформа курсов пока в периоде приготовления, которое идет довольно успешно. Трудно с программами по новым предметам. Полиевктов, по моей просьбе, составил очень хорошую программу по истории искусств. Очень бы мне хотелось провести его и в преподаватели этого предмета. <...> А мне пришлось составить программу «элементарного курса правоведения», которую сегодня будем обсуждать с Лаппо-Данилевским. Но едва ли она пригодится, ибо я не юрист.

В городе неспокойно. Много арестов. И Герд (наш учитель географии и заведующий школой Тенишева) все еще сидит. Он, говорят, влетел довольно основательно, ибо взял на хранение что-то предосудительное, чтобы избавить кого-то от риска. Жаль его. Человек умный, дельный и симпатичный. А школа перешла в руки жидка Острогорского, юноши бойкого и жуликоватого. Толков у нас весьма много об отчете Витте, который понимают как проект уничтожения крестьянской общины.[257] А Янжул успел уже написать против общины целый трактат — не мудрено, что приходит в голову, не подделывается ли старый, почтенный профессор под официальное течение. Странна роль «Нов[ого] вр[емени]», которое защищает теперь усиленно общину.

Д. 4. Л. 1—4 об.

291

9 февраля

<...> Прости, моя дорогая, что я долго не писал тебе. За всякой суетой так время летит, что я даже удивился: неужели я давно писал тебе. Вообще, рассеянность моя, при житье из дня в день, растет неимоверно и, должно быть, скоро дойдет до столбов геркулесовых. На недосуг жаловаться не могу; конечно, дело всегда есть, но я, увы, делаю его не так добросовестно, как прежде. Портит меня то, что хуже от этого как будто не выходит. <...>

А мы теперь под впечатлением вчерашних событий. Вчера, 8 февраля, был акт в университете. Студенты освистали ректора Сергеевича — не дали ему прочесть отчета о наградах — и, признаться, поделом. Он вместо увещания студентам на этот день вывесил «таксу на безобразия» — список штрафов и кар за разные степени дебоша, точно в насмешку. Эта такса была напечатана в «Новом времени» — читала ты ее? Ну, а потом были, конечно, и недоразумения студентов с полицией — в каких размерах, я еще не успел узнать. На обеде «бывших студентов» тост за студентов не был принят, и Форстен, обидевшись на это, говорят, демонстративно ушел с обеда. И правда: зачем чествовать университетский день, если не признавать студентов? Глупо, дико, некультурно все это. Я студентов не защищаю: крепко они безобразят. Но ведь и доводят же их до этого полным нравственным банкротством университета, обратившегося в канцелярию, и глупым поведением полиции, из-за которого Форстен объяснялся с Клейгельсом, поймав его на улице. На акте был Витте и физиономию имел довольную. Говорят, будто он под рукой сообщил в «Новое время» для напечатания ректорское объявление; говорят, что он поднял травлю на Боголепова. По крайней мере, сегодня (9-е) заседание Госуд[арственного] совета или Комитета м[инист]ров — не помню, где Витте защищает преподавание польского языка на польском языке, подъем латышского языка и других в школах — против Боголепова, который защищает нынешнюю чепуху: преподавание польского языка для поляков — на русском языке. Дай ему Бог съесть нашего патрона. Этот ведь поманил нас разрешением общедоступных курсов, а теперь что-то затеял совсем иное: свои хочет завести, чиновничьи. И неужто он думает, что мы станем читать и плясать по его дудке?

Видишь, в общем, по-старому: дома хорошо, а в Питере скверно. <...>

Д. 4. Л. 3—7 об.

292

21 февраля

Дорогая мамочка, <...> расскажу о студенческих делах, которыми весь Петербург занят. Началось с того, что ректор вывесил глупое объявление о карах, каким студенты подвергнутся за разные степени безобразия, — его, как я тебе писал, освистали на акте. Потом произошли столкновения с полицией, умело заперевшей все ходы из университета, кроме Николаевского моста: на Дворцовый мост не пускали, а лед у переходов через Неву прорубили. Составилась толпа, повздорившая с полицмейстером, и кончилось боем у Академии художеств. Потом сходки начались — решили забастовать и не ходить в университет, пока не дадут удовлетворения. Как всегда, у нашей распорядительной полиции потерпевшими оказались не столько буяны, сколько случайные прохожие из студентов и не студентов — даже дамам на этот раз досталось от нагаек. Все высшие учебные заведения забастовали, даже половина с лишним наших педагогичек примкнула к этому движению. И друзья, и враги студентов одинаково удивлены поведением их. Такого порядка на сходках, таких дружных и корректных действий еще не было. Все это дело приняло неожиданно большие размеры, благодаря взрыву общественного негодования, выразителями которого явились сильные люди. Академики Фаминцын и Бекетов написали и отвезли письмо Государю. Вчера у него была их аудиенция, и он очень благодарил за верные сведения. Горемыкин пытался обозвать ложью свидетельство о насилиях полиции, но был уличен, ибо Фаминцын представил Государю и в Комиссию, назначенную для разбора этого дела под председательством Ванновского, около 100 письменных показаний потерпевших и свидетелей истории у Академии художеств, в том числе проф[ессоров] Введенского, Гоби и др. Совет университета два дня заседал и поднял голос за честь университета. На совете Сергеевич вел себя более чем нагло, так что, например, проф[ессор] Жданов даже предложил совету разойтись, ибо тон ректора-председателя слишком неприличен. Сергеевич и результаты совета доложил подло — изложив дело так, что некоторые решения должны были быть приняты в министерстве с недоумением. Профессора всех высших учебных заведений подали Боголепову и Горемыкину петиции о предоставлении дела учебному начальству и советам заведений — Горемыкин грубо накричал на Фаминцына, Бекетова и Ламанского, подавших ему эту бумагу. Но был потом так подл, что после визита Фаминцына к Государю — сделал Ф[аминцы]ну визит. Кроме того, на сцену выступил Витте с очень умно составленным докладом Комитету министров — я читал копию с оригинала. Он впутался как свидетель, бывший на акте. В его докладе резко подчеркнуто, что никакой политич[еской] подкладки в движении нет, что акт прошел в полном порядке, не считая свистков ректору, что гимн был выслушан корректно и повторен по требованию студентов (кстати, они в тот же день толпой встретили на улице Императрицу и устроили ей овацию). Потом Витте объяснил, что, «не защищая студентов и никого не обвиняя», он признает причиной всей истории нетактичность и непрактичность распоряжений полиции, которые подробно разобрал. Комиссия Ванновского назначена по его мысли.[258]

Эту бумагу подписали Витте, Муравьев, Ермолов, Хилков, а после споров и... Боголепов. Против нее только Горемыкин и Победоносцев. Куропаткин при особом мнении, каком — не знаю. Когда Боголепов явился с докладом к Государю — тот спросил его, был ли он на акте, и услыхав, что нет, — ушел, заявив, что доклад этим кончен.

Что теперь будет, не знаю. Я не очень склонен к оптимизму, ибо знаю темную сторону российской администрации. Сменятся лица, но сменится ли порядок? И сумеют ли студенты вовремя отступить, чтобы развязать руки Комиссии, в трудах которой по просьбе Ванновского близкое участие примут Фаминцын и Бекетов. Все зависит от сегодняшнего дня, ибо Фаминцын сегодня объясняется с представителями студентов. Если главари решат прекратить закрытие университета, то все пойдет ладно — и надо ждать удовлетворительного решения дела, а затем, почти неизбежно — пересмотра университетского устава. Помоги Господи. Такие-то дела...[259]

А надо еще рассказать, что я на днях читал лекцию по истории (татарское иго и Московское царство) — рабочим на Обуховском заводе. Собралось 375 ч[еловек], не считая еще учеников школы. Слушали удивительно внимательно — тишина была полная. На первой неделе поста еще раз съезжу рассказать им про Смутное время и про царя Алексея Михайловича. Потом меня заменит Адрианов чтениями о Петре.

Выработка плана будущего Женского педагогического института подходит к концу. В четверг последнее заседание нашей секции по словесному отделению. Очень помогает нам Лаппо-Данилевский своими указаниями и замечаниями. Этакая он крупная фигура.

Д. 4. Л. 8—14 об.

293

6 марта

Дорогая мамочка, я, помнится, еще не писал тебе о любопытном спектакле, на который пригласил В[еликий] к[нязь] Константин Константинович всех преподавателей Пед[агогических] курсов. Шли сцены из Гамлета, переведенного самим К[онстантином] К[онстантиновичем], и сам он играл Гамлета. Спектакль происходил в Мраморном дворце. Мы поехали с Шишмаревым, преподавателем всеобщей литературы. Гостей при входе в зал встречали В[еликая] к[няги]ня Е[лизавета] Мавр[икиевна] и Дмитрий К[онстантинови]ч. Хозяйке к ручке подходили. Публика состояла из некоторого количества придворных дам, из академиков Академии наук, офицеров и нас.

К удивлению моему, В[еликий] к[нязь] очень хорошо справился с ролью. Он дал определенное и оригинальное понимание типа: были очень удачные моменты; вообще игра не любительская, а серьезно отделанная. Только для сильных моментов у него темперамента не хватает. Остальные были плохи, даже очень.[260] Женские роли исполняли почти присяжные актрисы — дочь Стравинского и жена проф[ессора] Котляревского — обе дебютируют в Александринке. В антрактах — открытый буфет со всякими прохладительными. Дворец очень изящен. Залы сравнительно миниатюрны, но тем уютнее. Вообще вечер был приятный.

Эта любезность В[еликого] к[нязя] объясняется тем, что исполнилось десятилетие его попечительства о курсах, и мы послали ему поздравление, приложив несколько групп сцен из жизни курсов (заседание педагог[ического] совета, пробные уроки учениц, etc.). Он и ответил приглашением.

А теперь о тревожных делах. У нас на курсах давно все успокоилось. В университете сходка студентов решила прекратить забастовку — и лекции возобновились. Но все висит на волоске из-за Бестужевских курсов. Там начальство, т. е. директор Раев и деканы Платонов и Сонин, — ведет себя более чем странно. После высочайшего повеления о разборе дела предложили 21 курсистке взять документы с курсов. В том числе и таким, которые, как, например, дочь нашего инспектора Струве, — ни на одной сходке не был. Это потому, что они устроили глупый допрос поодиночке, и кто имел наивность не отвечать молчанием — исключены. Поднялись хлопоты. Ответом на них было объявление, что если курсистки не угомонятся, то исключены будут еще 100, которых фамилии объявлены. Угрозами вздумали молодежь утихомирить. И это делает Платонов, человек мне близкий. Не ожидал я этого и не знаю, что думать о нем. Не так он наивен, чтобы думать, что подобные меры справедливы и рациональны. Брандт, инспектор Инст[итута] путей сообщения, докладывал Хилкову, что из-за истории на курсах не может отвечать за институт. И все студенты волнуются. А у одной из депутаток на курсах лежит наготове 500 прошений об увольнении на случай, если исключенных не примут обратно.

Гревс и Форстен тоже, наверное, уйдут. Ждали сегодняшнего дня — и чем кончится, не знаю. Комиссия Ванновского строчит и соображает с помощью нескольких юристов, но пока не мешается в дело. Фаминцын снова писал Государю, Хилков докладывал — и, говорят, что снова выступит на сцену Комитет министров с Витте во главе. Как видишь, момент теперь переходный, критический — и я ничего определенного сообщить не могу. <...>

Из дел моих самое интересное — на курсах, именно разработка программ, которая наконец закончена. Теперь начнутся генеральные сражения против врагов преобразования, а есть такие, и против IV отделения, санкция которого необходима. С нами Бог и К[онстантин] К[онстантинович]. <...>

Д. 4. Л. 15—18 об.

294

18 марта

Дорогая мамочка, мы с Юлей надумались — если вы ничего против этого не имеете, — приехать к вам на Пасху. Выехать мы могли бы 10-го апр[еля], в субботу, и я пробыл бы в Харькове до 23-го, чтобы [вернуться] к 26-му, когда у меня экзамены в институте, а Юля могла бы остаться на май, чтобы потом поехать прямо в Ковно. Я, верно, весь июнь останусь в Петербурге, чтобы разделаться с залявшимися по недосугу работами, а в июле поеду тоже в деревню. Вяжлинский находит этот план подходящим для Гутика, потому что думает, что в Харькове все-таки больше возможности держать его на воздухе и на солнце. Что думаете вы о таком проекте? Надо бы еще условиться о деталях, вроде того, везти ли Гутику кроватку, ванночку или не стоит. Мне эта поездка помимо удовольствия быть у вас была бы кстати как отдых между зимними и летними занятиями. <...>

У нас в Питере снова гроза собирается. Студенты, узнав об исключении 300 (*sic!*) чел[овек] из Киевского университета, снова поднялись и снова в университете. Все добытое трудами Бекетова и Фаминцына и К°, вся комиссия Ванновского, весьма добросовестно принявшаяся за дело, — все рискует взлететь на воздух от этого взрыва. Жаль. При большой выдержке можно было бы добиться кое-каких ценных результатов, а теперь добьются новых репрессий, а положение разных темных личностей — окрепнет. И кончится вся история, как у нас говорят, — не «победоносно» и не «боголепно», а «горемычно» и «зверски».[261] Возбуждение большое. Студенческие партии дошли даже до драки. Но «обструкция» университета все-таки решена и выполняется — пока два дня. Что даст завтрашний день, кто знает? Все защитники студентов отступаются от них, скомпрометированные их же изменой. Ожидать этого следовало, а все-таки грустно. Ну, конечно, и курсы Бестужевские бушуют, но там пока есть еще кое-какая надежда, что одолеют благоразумные элементы.

Д. 4. Л. 19—21 об.

295

26 марта

Итак, решено: в понедельник на Страстной неделе мы у вас, дорогая мамочка. О подробностях Юля тебе написала. Хорошо, если удастся взять напрокат кроватку, а матрасик мы, конечно, купим: пригодится. И о комнате Юля резонно пишет, тем более, что если Гутик не будет спать, как здесь, то Юле без меня трудно с ним справляться. А няньку мы ночью не трогаем, чтобы она с утра была бодрая.

Дела в Петербурге грустные. С Бестужевских курсов 20 ч[еловек] исключили совсем, около 100 на 2 года, да еще душ 80 — до осени. В университете решения еще нет. Но ждут многих исключений.

И еще тяжелое дело. Старик Чуйко безнадежен; я его очень любил и многим ему обязан в духовном смысле, да к тому же он отец нашей милой Елены Владимировны. <...>

Дорогая мамочка, только что отправил тебе письмо, как получил твое. Ты уже знаешь, что студенческое дело погублено студентами. Раздор в студенческой среде огромный, но благоразумные элементы, как всегда, вовсе не организованы, а азартные сплочены и потому хозяева положения. Возобновилась обструкция, решено не посещать лекций, и приходят в аудиторию, кроме немногих сторонников порядка, те, кто хочет помешать лекциям. Студентов силой выводят из аудиторий, оставляя профессоров — solo. Вчера университет объявлен закрытым с тем, что приняты будут обратно все, кто в пятидневный срок подаст об этом прошение, а остальные будут признаны выбывшими. На сходке решено — всем подать прошения, чтобы, как только университет откроют, — возобновить беспорядки. Начальство это знает, и, вероятно, принимать будут с разбором, устранивши бюро и его адептов. Вот все, что я пока знаю. На курсах вчера прекратили лекции (которые должны были кончиться завтра), а с будущей недели начнутся экзамены, надеются, что это устранит или смягчит беспорядки как несвоевременные. <...>

А ты, мамочка, хочешь нас баловать подарками? О Юле Катя уже, верно, написала, что Сенкевича мы сами получаем как приложение к Tygodnik'у, на который подписались.[262] Так что если хочешь дарить ей — то платье ей бы нужно такое, которое могло бы сойти за нарядное, но не слишком, чтобы можно было в нем и запросто в гости пойти. А мне? Есть у меня мечта приобрести Семенова «Освобождение крестьян в царствование Александра II»,[263] но это дорого — 25 р. Лучше подари мне поскромнее — или соч[инения] Гоголя в изд[ании] Тихонравова, не то что Боре, а большое, с примечаниями, или сочинения князя Вяземского.[264] Впрочем, последнее тоже, кажется, за 20 р. переваливает. И то, и другое, и третье одинаково будет мне полезно для занятий.

Теперь к концу подходят срочные дела, и я больше занимаюсь для себя. На очереди стоит XIX в[ек], совсем мне мало знакомый. Вот оттуда и интерес мой к таким вещам, как Семенов или Вяземский. В гимназии и институте курсы закончены. Гимназисткам 11 класса, моего любимого, я предложил ряд дополнительных лекций по Возрождению и Реформации, с тем, чтобы отдельные части вопросов разрабатывались желающими по указанным пособиям. И надо было видеть, с каким азартом мои девочки взялись за это.

Да, относительно Раева вы не правы. Он был сдержаннее и мягче Платонова, а настраивал их математик Сонин — член триумвирата. Теперь они, верно, торжествуют, что были правы: ведь как раз возвращенные и подняли новую бурю. Говорят, что Сергеевич (ректор университета) не выдержал и сбежал за границу — но я этого еще наверное не знаю.

Д. 4. Л. 23—26 об.

296

2 апреля

Дорогая мамочка, придется мне огорчить тебя известием, что на три дня наш приезд в Харьков отложится. В понедельник на Страстной неделе Вел[икий] князь К[онстантин] К[онстантинович] назначил последнее, окончательное заседание по выработке нового плана Педагогических курсов. Заседание это слишком важно, и моя роль в нем как секретаря «исторической секции» слишком деятельна, чтобы я мог уклониться. На мне будет лежать доклад вопроса о введении трех новых предметов: политической экономии, правоведения и истории первобытной культуры — и защита их. Слава Богу, что работа по новому проекту закончена и привела к стройному, практическому результату. Выработаны программы всех предметов и составлен даже план расписания лекций и практических занятий по курсам и отделениям. Если этот план пройдет — крупный шаг вперед, сделанный Пед[агогическими] курсами, будет скромным, но очень приятным впечатлением в то время, когда все наши учебные заведения переживают тяжкий кризис, близкий к крушению. Отчаянное положение университетов может привести в уныние. Наше пустое и узкореакционное Министерство народного просвещения не в силах выпутаться из заварившейся каши, в которой вина — на общей системе, никуда не годной. <...>

Много писать не буду. Увидимся — потолкуем. Дела мои постепенно ликвидируются. Сегодня последний раз был в институте. На будущей неделе начинаются экзамены на курсах.

Д. 4. Л. 27—28 об.

297

6 апреля

Дорогая мамочка, обстоятельства снова изменились. Вчера Великий князь был на курсах и заявил, что откладывает назначенное на страстной понедельник заседание до Фоминой недели.[265] Значит, мы можем выехать раньше. Но до субботы нам не управиться с делами. Выедем в воскресенье, 11-го.

На курсах я вчера был в качестве ассистента на экзамене по всеобщей истории. Грустное впечатление: плохо усвоенный плохой курс — вот что уносят кончающие у нас девицы. И есть еще люди, которые сомневаются в необходимости коренного преобразования нашего заведения.

В четверг и пятницу буду экзаменовать своих первокурсниц. Любопытно, что из этого выйдет.

А в университете говорят, что не только ряды студентов, а ряды преподавателей поредеют. Доцент Туган-Барановский уволен. Называют и других, отказавшихся экзаменовать в присутствии охраняющей нас полиции. И чем все это кончится? Уехать и на время позабыть об этих делах — всего приятнее. <...>

Д. 4. Л. 29—30 об.

298

16 июня

Дорогая моя мамочка, давно-давно не писал я тебе. Все Юле писал, а трудно как-то в один географический пункт писать, хотя бы и двум хорошим людям. Крепко обнимаю тебя и дедушку за то, что вы так милы были с моей Юлей. Очень хотелось бы заглянуть в мысли ваши и в сердца, чтобы знать, какое подлинное впечатление она в вас оставила. Мне ведь трудно посмотреть на нее со стороны, труднее, чем на себя, ибо кажется, что весь свет должен любить ее за нее саму и смотреть на нее моими глазами. Мне бы хотелось, чтобы ты полюбила ее как родную дочь, а не за то только, что это жена твоего Сани, который душой и сердцем к ней привязан. <...>

У меня ремонт квартиры приходит к концу. Только кухня осталась, поэтому я два дня обедаю у Адриановых. Немало сумбуру было за это время, особенно потому, что я кабинет вздумал переносить на новое место. Хорошо еще, что один в квартире был. Можно было всегда сохранять себе одну комнату, чтобы в ней своим делом заниматься. <...>

Работа моя затянулась. Я пишу монографии 3-х Бестужевых-Рюминых из XVIII в[ека]. Материалу набралось больше, чем я ожидал, да и люди оказались весьма интересные; биографии (это для половцовского словаря) разрослись в целые большие статьи — и вот я только две написал, а третью сейчас начну.[266] К Александру I — и приступить еще не пришлось. Наберу материалу, заберу книги и поеду через неделю в Домброво писать статью «Александр I и его время». Пора: и отдохнуть охота, вырвавшись из города, и без Юли с Гутиком скучно. <...>

Нового, о чем писать бы стоило, у меня ничего нет. Разве что журнал «Начало» — прекратился по желанию Г[осударствен]ного совета, до которого дошел спор с цензурой из-за апрельской книжки. По счастью, статьи, что я писал в Харькове и отдал им, не пропадут, вероятно: одна пойдет в «М[ир] Б[ожий]», а другая — о Дьяконове, должно быть, в «Жизнь».[267] <...>

Петербург давно опустел. Но хоть все и разъехались, а слухи и толки не умолкают среди оставшихся. Настроение угрюмое. Определенно ждут новых беспорядков и суровых репрессий. Министерство занято изобретением последних. Об уходе Боголепова что-то не слышно. Плохи дела наши, мамочка. Как на грех, у царицы дочка родилась,[268] а не сын, и случай загладить дурное впечатление милостями улетучился. Да и то сказать: не сумели бы им воспользоваться при дрянной мелочности и тупой бездарности режима. Какая-то совсем серенькая и затхлая атмосфера царит в Петербурге. Впрочем, толкуют о необходимости открыть несколько новых университетов, чтобы избежать переполнения существующих. Любопытно, как справились бы с организацией такого дела нынешние воротилы. Нам, молодым «ученым», это было бы на руку — открылись бы новые кафедры. Но ведь людей подготовленных и теперь не хватает на целый ряд кафедр. А тогда что будет? Пора за Б[естуже]ва приниматься. Прощай, мамочка, пиши мне. <...>

Д. 4. Л. 31—34 об.

299

24 июня

Спасибо на добром слове о моей Юльке, дорогая бабушка! Твое пожелание, чтобы так «осталось вечно», не может не исполниться. Слишком крепко сжились мы с нею, не оставляя на свой личный обиход — каждый для себя ни одной мысли, ни одного чувства. А полная взаимная искренность и доверчивость — это фундамент, к сожалению, довольно редкий, зато коли он есть, то на нем хоть Вавилонскую башню строй!

Еду я послезавтра, в субботу. И билет уже взял. Везу пачку книг, чтобы исподволь не бросать статью об Александре. Это не помешает мне отдохнуть. А почему ты думаешь, что я плохо отдохну в Домброве? «Спать будете в одной комнате», т. е. Юля, Гутик и я, а комната большая! <...> Ведь я знаю эти комнаты. Зато, во всяком случае, целый день на воздухе, в полной тиши деревенской. Я еще устрою себе систематическое купанье. А тут мне до смерти надоело. Последние дни очень жаркие, так что невмоготу. <...>

Только во вторник увидал я карточку двух Евгениев. Гутик совсем другой, чем с Юлей, но тоже очень хорошо вышел. А дедушка — превосходен. И выражение у него такое хорошее — доброе-доброе, каков он и есть, когда не напускает на себя свирепости. Я рад своей идее изобразить двух Евгениев вместе.

В Петербурге полное затишье. И немудрено: все разбежались от духоты. Как вырвешься за город — так и дышится совсем иначе. В воскресенье я вырвался нечаянно в Гатчину. Хоть и город, а славно там. Адриановы едут на 2 месяца на Волгу, под Рыбинск — вот раздолье! Они тоже на днях уезжают.

Д. 4. Л. 35—36 об.

300

28 июня

Вот я и дома, дорогая мамочка, т. е. совсем не дома, но со своими — с Юлей и Гутиком, которых мне давно недоставало. <...>

Мне тут очень хорошо будет отдыхать и исподволь заниматься кое-чем. Тишина, чудный воздух — после города особенно сильно чувствуются. <...> Приехал я почтовым поездом — и было очень свободно. Движение теперь вообще затихло, а на поездах будничных — не курьерских и скорых совсем удобно. Было жарко и пыльно. В тесноте было бы совсем несносно. Я всю дорогу читал и прочел две драмы Гауптмана, который очень меня интересует, книжку Никольского «Идеалы Пушкина»[269] — старую, написанную, еще когда в Москве памятник Пушкину открывали, и имеющую большое значение в литературе о Пушкине; наконец, начал читать «Quo vadis»[270] по-польски. А ты, мамочка, так и не написала мне, какое впечатление произвела на тебя книжечка о[тца] Петрова «Евангелие как основа жизни»?[271] Напиши, пожалуйста. Помнишь ли твой вопрос: «Верит ли он в Бога?». Что ты теперь об этом думаешь?

Д. 4. Л. 37—39 об.

301

11 июля

Сегодня едут на почту, дорогая мамочка, — надо тебе написать. Авось и от тебя письмо будет. Что тебе про наше житье-бытье написать? Живем мы себе изо дня в день. Погода отличная, сперва было слишком сухо, потом стали перепадать дожди. Урожаи хорошие, только с фруктами плохо. Детки по целым дням на воздухе. Гутик встает в 6 ч., является Сусанна, одевает его и уносит вниз — покушать, а потом гулять. Мальчишка совсем сорванец стал. Бегает целый день по саду и двору, возит тележку или бочку (а последние дни и то и другое зараз: в одной руке бочка, а в другой тележка), бегает быстро, но неуклюже, с развальцей, и как-то разухабисто, точно вот-вот равновесие потеряет. Тележкой своей норовит наехать на кого-нибудь и хохочет, когда от него убегают. Этим он на больших собак такой страх нагнал, что они от него издали убегают. Зато есть у него и закадычный друг в собачьем царстве: маленькая Розетка. Гутик просто визжал первое время от восторга, когда видел ее. И теперь очень ею занят. Треплет ее и за уши, и за хвост, целует, кричит на нее, ногами на нее лезет — а та все выносит стоически и не только не убегает от него, а сама к нему приходит, лижет ему руки и увы! норовит лизнуть в мордашку. [Г[утик] кормит ее камушками, а та берет и, когда он отвернется, кладет их возле себя].* Другой участник игр — прехорошенький котенок. Этот не так-то охотно поддается Гутиному тиранству, но тем более забавляет его своими проделками. И он стал часто приходить в комнату, где Гутик играет в дождливые дни: его манят сюда Гутины игрушки. И надо видеть восторг Гутика, когда котенок залезет в корзину с игрушками, подбрасывает их, ловит и наконец перевернет корзину и покатится в ней. <...> С большим интересом относится он и к цветам. Тут можно рвать цветы и траву: этого Гутику еще не приходилось. Излюбленным цветком почему-то оказалась ромашка. По-видимому, ему запах нравится, потому что он ее часто нюхает. Рвет цветы так, что совсем срывает со стебелька, набирает, сколько можно, в кулачок и иной раз долго так носит, видимо, даже забывая о них. Потом рассыплет на ступеньках, перебирает, укладывает или возит цветы в тележке. Страсть к чистоте и порядку остались прежние. Старый Бенедикт сделал Гутику маленькую метелку, чтобы он помогал ему сад подметать. И Гутик добросовестно разметает во все стороны кучи сора, собранные Бенедиктом для уборки! Окурки Г[утик] вздумал подбирать и приносить мне, чтобы я курил. Вообще он строг насчет порядка: не любит, чтобы вещи зря валялись, — шапку мою не позволяет класть на скамейку: изволь надеть. Та же история с Юлиным зонтиком, который Юля непременно должна в руках держать. А всякое пятно на ботинке и платье его волнует: «А-а!», и вытирает он свои сапожки, нарвав листиков. И как все это серьезно делается, даже с важностью. Гутик вообще редко смеется — разве котенок что-нибудь особенное выкинет и т[ому] под[обное]. А то чаще только показывает, что что-нибудь смешно: «Гэ-гэ!». <...> С Сусанной ладит плохо. Не умеет она сообразить, что ему надо, и ему с ней скучно. Поэтому он гонит ее прочь, как прежде Зину гонял, и норовит пристроиться к маме или папе. Ну вот, целое письмо о центре вселенной. <...>

Д. 4. 40—43 об.

302

17 июля

<...> Ты писала, что папа собирается в Петербург в августе. Надеюсь, он не попадет туда раньше 18-го, когда я вернусь. Да ему и не расчет приезжать раньше 20-х чисел: никого в Питере не найдешь. Впрочем, если бы и случилось ему раньше меня приехать, то квартира моя в порядке и Луиза на своем посту.

---

* Последняя фраза — приписка А. Е. Преснякова на полях.

В письме твоем хорошие вести о Коле. Дай ему Бог устроиться — место земск[ого] начальника даст ему твердую опору в хозяйстве. Ну, а что касается операций с лесом, закладом и т. п., то я в сих делах ничего не смыслю и потому боюсь их, не веря в настоящую деловитость Коли. Быть может, я не прав — это весьма вероятно, ибо данных у меня вовсе нет никаких.

У нас все ладно, если не считать некоторого расстройства желудка у Гутика, которое, впрочем, не мешает ему быть веселым и презабавным мальчуганом. Со мной он был в большой дружбе, но последние дни все больше никого, кроме своей мамы, знать не хочет — и ко мне не всегда достаточно милостив. <...> Говорит он не больше, чем в Харькове, но жестами и междометиями объясняется — для посвященных в тайны его volapük'а — весьма вразумительно. Он очень привязался к Богданку,[272] интересуется им, но иногда отбирает игрушки и недавно в виде ласки вцепился ему в волосы. Богданек его опасается и пугается уже при одном его приближении, но иногда они очень мило вместе играют на полу игрушками.

Я почти ничего не делаю: читаю очень мало и боюсь, что из затеи приехать в Питер с готовой статьей об Александре I ничего не выйдет. Чувствую явную необходимость хорошенько отдохнуть. Гуляем мы очень мало, но целый день толчемся в саду, играем с большим азартом в крокет — жены против мужей. Так день идет за днем, вчера как нынче, нынче как вчера. Иной раз кто-нибудь из соседей приедет. А недавно мы с Даль-Троццо ездили к старому д[окто]ру Клюковскому и петербургскому адвокату Копаньскому, с которым мы и в Петербурге знакомство завязали. Они живут летом в богатом имении гр. Тышкевича, в нескольких верстах от Домброва. Очень милые люди и к нам очень хорошо относятся.

С большим миром нас связывают только польские журналы и газеты, которые я просматриваю с большим интересом. Это совсем не похоже на наши издания, и, надо признаться, что живого, свежего тут больше. О смерти Георгия[273] мы узнали сперва частным образом от пренского бургомистра, а потом из «Курьера варшавского». Да, странная смерть для наследника престола. Но для России все равно, что Георгий, что Михаил, что еще третий — все они милые, ничтожные и ничего не значащие люди. Ах, ты «особа V класса», ношенье траура частными лицами, хотя бы и V класса, вне посещений официальных не практикуется даже в Петербурге. Это, верно, папа выдумал. Милый дедушка, но ведь пусть он не сердится на своего непочтительного Кроната, [он] забавляется своим генеральством. Ну, что же — и то развлечение.

Любопытные вещи совершаются в Питере. Читала ты постановление об университетах? У меня нет на руках цифр для сравнения нынешнего числа студентов с предполагаемым, но, кажется, что последнее очень скупо. Конечно, мера все-таки реакционная и нежелательная: как мешать учиться людям у кого хотят? Ограничить приемы можно, но территориальный принцип мне не нравится. А М[инистерст]во госуд[арственных] им[уществ] выступило в защиту земства — это идет против Витте из д[епартамен]та земледелия. Не знает ли папа, кто директор этого д[епартамен]та? Кажется, записка хорошо составлена.[274] <...>

Миша Кимонт писал со слов доктора, бывшего на вскрытии тела Георгия, что смерть произошла от ушиба, а не от болезни, которая не так сильно развилась, как думали.

Д. 4. Л. 44—47 об.

303

27 июля

<...> У нас все по-прежнему. Погода стоит хорошая, не слишком жаркая, бывали грозы. Воздух чудный, все, слава Богу, здоровы. Я усердно бездельничаю, ем за троих. Каждое утро в 6 ч. мне приносят стакан парного молока — это взамен моих петербургских утренних завтраков. Гутик молодцом: пополнел, загорел. Конечно, целые дни на воздухе. Стали делать ему ванны с цехоцинской солью — днем, потому что все-таки соленая ванна несколько возбуждает. <...> По-прежнему главное его развлечение — всякое зверье: утки, куры, собаки. Особенно любит он ходить в конюшню, смотреть «тпру» или в хлев к маленьким «м-му». Гутик играет своими игрушками, а старшие забавляются, иногда по целым дням, крокетом, который Гутик называет «кук! кук!». Он очень любит, чтобы мы играли, хотя не совсем мирится с тем, что ему нельзя во время игры шары трогать. Вчера он выдумал себе участие в игре: бегал от одних ворот к другим и посыпал их песком. А когда мы обрадуемся удачному удару — и он визжит и смеется.

На днях мы получили важную новость: 17 июля у Манизера родилась дочка. Слава Богу, что дочка, а то мальчиков и так четыре, да и для молодой мамаши лучше, что свой ребенок у нее девочка, а не мальчик, как остальные. Из остальных знакомых мы переписываемся только с Адриановыми, которые живут в деревне, на Волге, под Рыбинском. Недалеко от них поселились Платоновы. M-me Платонова ждет в августе прибавления семейства. Вот кому дай Бог сына: дочерей у них за глаза довольно.

В прошлое воскресенье мы с Даль-Троццо ездили верст за десять в Бирштаны, здешний курорт с железистыми водами. Красивое место, на Немане. Мы купались в Немане, ездили версты за три в лодке, лазили на какую-то гору, сделали визит Якубовской, которая проводит лето в Бирштанах; вечером были на балу. Бал довольно курьезный: народу немного, но вместо обычных танцев в летней «ротонде» — пародия на «бал», ибо дамы в бальных платьях, хотя кавалеры то во фраках, а то просто в пиджачках. Мы засиделись до 2-х часов, смотрели на танцы, ужинали; потом переночевали в чистенькой гостинице и на другой день уехали домой. А вечером опять кутили у соседей, Копаньских, по случаю именин.

А следите вы за серией циркуляров министра народного просвещения? Пока это недурно кое в каких отношениях; напр[имер], предложение усилить практические занятия по всем предметам для сближения профессоров со студентами, устройство студенческих научно-литературных обществ вроде того, какое мы учредили на своем факультете, еле добившись разрешения. Но боюсь я данайцев, даже дары приносящих... Не испортили бы они дела утрированным полицейским надзором.

Д. 4. Л. 48—50 об.

304

4 августа

<...> Дни стоят ясные, но не жаркие, воздух чистый, и не особенно-то приятно думать о скором возвращении в город. Лето мое — против обыкновения — прошло совсем бездельно: я не только статьи своей не написал, но не прочел еще и диссертации Платонова, о которой тоже собирался черкнуть кое-что. В «Новом времени» заметку о ней писал, вероятно, Боцяновский, наш товарищ, нововременский «историк». <...>

Из вестей, сообщенных тобою, всего существеннее Колино дело. Когда оно решится? Дай ему Бог устроиться! Ради него я готов пожелать, чтобы земские начальники просуществовали некоторое время, хотя, по совести, желаю этому негодному учреждению, продукту беспомощности российской администрации, скорейшего провала.

Правительство наше проявило нынче необыкновенную деятельность, разразившись длинным рядом циркуляров по университетскому делу.[275] Я читал их в польских газетах, но как, кажется, уже писал тебе, не могу пока в них разобраться: многое зависит от исполнения. Крепкое впечатление производит последний циркуляр об отдаче всех уволенных из университета в солдаты, без уважения к льготам, к возрасту, к удачно вытянутому жребию и т. п. И решать судьбу этих «заподозренных» будут экстренные комиссии. Опять все зависит от их состава. И всегда у нас так: мало законных оснований, мало гарантий от случайностей, протекций и произвола, все «по усмотрению», все по личному мнению того или иного лица, той или иной «комиссии» или «подкомиссии». Во всяком случае эта серия циркуляров все-таки проявление энергии, желание разрубить запутанный узел. Но в большей части их (например, об инспекции) мало определенности. От таких частных мер надо бы перейти к полному пересмотру университетского устава, создать новый устав, основанный на большем доверии к профессорской корпорации, состав которой должен быть улучшен при помощи контроля самих профессоров над назначением новых лиц на кафедры. Кумовство среди них — зло меньшее, чем происки в министерских канцеляриях. А убивать корпоративный «point d`honneur»* в среде, в руках которой молодежь, дело и подлое, и опасное. А у нас пока только этим и занимались, и не видно пока, чтобы свернули с такого рискованного пути. Ну, приеду в Питер — увижу поближе, что там творится. <...>

Д. 4. Л. 51—53 об.

---

* Дух чести (*фр.*).

305

8 августа

Твое желание, дорогая мамочка, чтобы мы насладились последними днями лета, благодаря хорошей погоде, пока исполняется. Перепадают дожди, но в общем дни стоят хорошие. По этому случаю у нас то и дело появляются гости. Мы им не очень рады, потому что мешают в крокет играть, а что лично меня касается, то я не особенный любитель чужого люда. И сами мы вчера ездили опять к Дельвигам. Эти бароны — очень милые люди и у них весело. Она — полька, Чернецкая, не признанная варшавским обществом, ибо отец ее был всегда на русской стороне. Он — бедный остзейский барончик, бывший ее управляющий, а теперь супруг. Владеют они Хлебишками, имением казенным, которое было дано ее отцу и оставлено пожизненно за нею. Хотя у них нет детей, но они мечтают купить свое имение где-нибудь под Вильной и жить зимой в городе. Pani baronowa* — очень интересная, интеллигентная дама, с большим вкусом и очень живая. Он — хозяин-кулак, состоящий и теперь почти управляющим при жене, хотя отношения между ними самые милые. <...> Вернулись мы оттуда совсем не по-деревенски — в два час.

<...> С детками все обстоит благополучно, с нами тоже. Петр Викентьевич прихворнул было и напугал этим всех, а всего больше самого себя. Состояние его организма после тифлисского солнечного удара ненадежное, и поэтому всякое нездоровье сильно пугает.

Якубовская с дочерью уехали сегодня утром. Она сумела утешить П[етра] В[икентьеви]ча, выражая интерес и симпатию к Домброву. П[етр] В[икентьевич] влюблен в Домброво, но хозяйство его идет clopin-clopant** — то лошади заболеют, то молотилка плохо идет, а всякая мелочь его сильно волнует. Так что палка о двух концах: хорошо, что на старости лет занятие есть, а плохо, что много крови портится, много вредного, при его состоянии, волнения. <...>

Д. 4. Л. 54—55 об.

306

19 августа

Дорогая мамочка, завтра утром я еду в Питер. На день опаздываю: вероятно, завтра в институте уже начнутся уроки. Но суббота у меня все равно свободна, так что не беда. Выедем мы в Ковно в 7 ч. утра вчетвером: Даль-Троццы и мы с Юлей. Поезд идет в 11, а в Петербурге буду в субботу в час дня.

Пора приниматься за дело. Как-то нынешний учебный год пройдет! Я приступаю к нему, почти совсем не освежив своего преподавательского материала. Это со мной в первый раз случается. Что делать — force-majeure!***

---

* Баронесса (*польск.*).

** Кое-как (*фр.*).

*** Чрезвычайные обстоятельства (*фр.*).

Напоследки у нас тут ясные, хорошие дни. Вероятно, опять установится погода — до середины сентября. Юля думает вернуться в Петербург в 20-х числах. <...>

Поздно. Завтра чуть свет вставать нужно. Как только приеду, напишу толком, а это только так — записочка с уведомлением, что мы живы, здоровы, чего и вам желаем. <...>

Д. 4. Л. 56—57

307

23 августа

<...> Ехал я сюда очень удобно. В поезде было свободно — и я отлично выспался. Приехал в субботу в 1 ч. 15 м. дня. Дома нашел все в порядке и вдобавок еще Штрупа, который водворился у меня. Сам он на даче и должен вернуться сегодня. Наскоро переодевшись, я отправился к парикмахеру, оттуда домой, а потом, сдав вещи своему швейцару, — к Адриановым, куда мы немедленно вытребовали Лапшина. Лапшин 13 месяцев провел за границей, год в Лондоне и месяц в Берлине. Он в восторге от своей поездки и, конечно, рассказывает много интересного.

Тут я вчера услышал несколько петербургских новостей: новый попечитель, Сонин, ех-профессор математики на Бестужевских курсах, дебютировал удалением из университета профессоров Кареева и Гревса, пр[ват]-доц[ента] Венгерова, двух юристов и одного естественника. И это без всякого повода, без всякой мотивировки.[276] «Для начала — недурно», — сказал молодой турок, посаженный на кол, ... и начал опускаться.

Другая новость радостная: у Платонова родился сын — Михаил: говорят, здоровенький мальчик. На другой день, в воскресенье, я отправился к Манизерам. У них дочка, которую они хотят назвать Талей (есть имя Тали); некрасивая, но здоровая девочка. Манизеры провели лето возле Валуек, Воронежской губ[ернии], в деревенской хате. Было там очень неудобно и очень дорого. Говорят, что лето обошлось вдвое дороже, чем в Финляндии, почти столько же, как жизнь в Петербурге. Но детям хорошо было на деревенском приволье — они загорели, окрепли. <...>

Приехал я как раз вовремя. Уроки в институте начинаются завтра, а сегодня конференция. У меня будет 8 уроков: в маленьких классах — IV и V. Я опоздал только на переэкзаменовки, которые назначены были 21 утром, но это неважно. Либо без меня обошлись, либо отложили.

Д. 4. Л. 58—60 об.

308

3 сентября

Дорогая мамочка, ты спрашиваешь про университетские дела. Да, такие дела, что и писать неохота. «Южн[ый] край»[277] врет. Карееву велено подать в отставку, но он отказался. Приказа об его увольнении нет, но студентам не позволяют записываться на его лекции, а курс его передали Форстену, который, верно, будет ординарным профессором. Обидно и грустно, что Ф[орстен] попадает в такое неудобное положение. Ни Карееву, ни Гревсу не пожелали объяснить причин их удаления. Гревса как приват-доцента могли удалить без церемонии — и удалили. Говорят, что его, а может быть, и обоих вернут — через год. Что это за игра людьми? Мое общее мнение от действий министерства то же, что весной: непроходимая мелкая глупость с большой претензией. Конечно, деятели этой клоаки, именуемой М[инистерст]вом народного просвещения, считают, что Кареев и Гревс «в нежелательном направлении влияли на молодежь». Но судьи кто? Надо немного знать их, чтобы только пожать плечами.

Теперь ректора ищут. Заместителем назначили юриста Гольмстена, магистра, а не доктора, человека без всякого авторитета среди профессоров. Толкуют, что исходатайствуют Высочайшее повеление — и сделают его настоящим ректором. Это вопреки всем традициям, правилам и смыслу. Но никто не хочет идти на такую роль. Не знаю, кого назначат инспектором на место ушедшего Альбрехта. Мало охотников служить орудием для поругания науки и университета. И то слава Богу. Толкуют еще, что ректором, пожалуй, будет Платонов. Не думаю, чтобы он согласился. Недавно еще на вопрос Адрианова: «Кто же будет ректором?» — он ответил: «Найдут какого-нибудь мерзавца». Не похоже это на стремление к ректорству. Что меня касается, то пока я занят только институтом. На курсы пойду завтра — экзаменовать нескольких отсталых. Поэтому я еще не знаю ничего о курсовых делах. Завтра же вступительные экзамены в гимназии Оболенской. Уроки начнут 9-го, а на курсах 10-го. На курсах у меня будет 4 лекции. Вообще занятий и денег будет чувствительно меньше, чем до сих пор. <...>

Д. 4. Л. 61—62 об.

309

17 сентября

Прости, дорогая мамочка, что я долго не писал тебе. Машина пошла полным ходом, и за постоянной суетой «по расписанию» — хоть времени свободного как будто остается довольно, а все что-нибудь да помешает сесть за письмо. То библиотеку в порядок приводить, то забежит кто-нибудь, то самому надо повидать то того, то другого, как всегда в начале сезона.

Сегодня я утром свободен по случаю Софьи, Веры, Надежды и Любви.[278] В институте в этот день не бывает занятий. Хороший обычай, не правда ли?

Занятия начались у меня благополучно и не без оживления. Кажется, я чем дальше, тем живее веду уроки, но зато после 4-х или 5 часов некоторого подъема — устаю. На курсах дела обстоят неважно. Что-то мало возобновляют речь о реформе, и, кажется, у многих ослабела надежда на победу. Оно и понятно. Резкая реакция, воцарившаяся у нас, сулит, скорее, возвращение к приснопамятным временам Рунича и Магницкого,[279] чем движение вперед к лучшему и более свободному преподаванию в каком угодно учебном заведении. Наша «просветительная» политика полна, впрочем, противоречий. Университет притиснули, а лицей не поддался и сохранил Кареева, Мякотина, московского Муромцева. Ходят слухи, будто туда пригласили и Гревса. В гимназиях душат и искажают преподавание литературы (требуется ее произведения разбирать преимущественно со стороны стиля и языка, избегая истории идей и направлений), а по истории отводят руководящую роль Форстену, назначенному в ученый совет министерства. Трудно угадать, что выйдет из этой каши. Студенты притихли. Первые лекции Сергеевича прошли спокойно, — а на днях ему даже аплодировали. Но начальство доведет до недоразумений: инспектором в университет назначают одного из директоров гимназии — заведомого негодяя. В общем, настроение невеселое.

В кружке нашем тихо и уютно. Вернулся Лапшин из-за границы — с новыми интересами. Он снова преподает в VIII кл[ассе] гимназии Оболенской — психологию. Полиевктов с успехом расширяет свое дело: его пригласили в Морской корпус. Вчера я узнал любопытную новость: В[еликий] князь Кон[стантин] К[онстантинови]ч пригласил Лаппо-Данилевского руководить занятиями сыновей своих. Константин этот вообще либеральничает. Устроил в Павловске, во дворце, съезд народных учителей и учительниц, поместил их в дворцовых зданиях и в течение месяца им читали лекции по разным предметам — наш свящ[енник] Петров, Полиевктов — по истории искусств, Рождественский — рус[ской] ист[ории] и т. п. Дело очень хорошее. Сам В[еликий] князь бывал на лекциях, беседовал с учителями, вообще держал себя милым хозяином. Для лекций Полиевктова он, по его выбору, заказал, не щадя расходов, много картин для волшебного фонаря — все лучшие произведения скульптуры и живописи. Хотелось бы этим воспользоваться для Педагогических курсов. <...>

Д. 4. Л. 63—65 об.

310

1 октября

Да, дорогая мамочка, Юля приехала еще в воскресенье, и мы теперь устраиваемся. Отчасти поэтому я и не собрался за эти дни написать тебе. Гутик сразу узнал меня в вагоне, хотя и удивился, как это я оказался с ними. Этот живой, веселый, славный мальчуган сразу внес оживление в квартиру, которая так долго стояла пустой. Непрерывно он щебечет, а топот его ножек свидетельствует о его неуменье минуту смирно посидеть. Пока он только одну ночь плохо спал — и за это был изгнан на ночь в другую комнату и спал с Сусанной. Очень уж утомило Юлю его ночное гулянье. <...>

Юля чувствует себя неважно — и тошнота, и тяжесть. Впрочем, вероятно, наступает третий месяц — обыкновенно худший. <...>

Так жизнь петербургская входит в обычную колею, мое надоевшее мне студенческое житье прекратилось. В доме наводится порядок. Пришлось извернуться и приобрести кое-что из мебели. Ведь стоявшая у нас адриановская — продана, и пустые места надо заполнить. Но с этим мы справимся. <...>

Про петербургские дела и писать неохота. Атмосфера душная, и раздражения много под внешним затишьем. Но пока действительно — затишье: в университете спокойно, хотя скучно. И разговоров мало, точно все рукой махнули. Побывал я у Гревса — бедная рыба, вынутая из воды. Хотелось бы поддержать знакомство с ним — да как-то не клеится. И Милюкова я еще не видал.[280] А с Платоновым у нас — худо. Он отменил среды, но пригласил по-прежнему бывать на них — своих ближайших. Никто из нас в это число не попал. Ну и Бог с ним.

Д. 4. Л. 66—67 об.

311

11 октября

Жаль мне очень, дорогая мамочка, что тебя так огорчает неуспешность, хотя бы временная, моей ученой карьеры. Что делать, на это есть свои причины, из которых важнее не внешние, а внутренние. Я люблю свою науку и вовсе не отстаю от нее, но люблю ее такой, как я ее понимаю, а это совсем не платоновская наука. Не моя вина, что без глубоко философского элемента, с одним гелертерством — история меня не увлекает. Исправиться от этого прегрешения я не могу, ибо я, конечно, прав в своем понимании дела. И близкие для меня по интересам — это Милюков, Лаппо-Данилевский, отчасти Форстен. Учеником Платонова в настоящем смысле слова — я не могу быть. Я очень ценю его, учусь у него многому, но все это для меня второстепенно, материал, а не наука. Он не отрицает моих интересов, но они ему чужды. Вероятно, это и отражается на наших личных отношениях. Но есть и другое. Он вообще замыкается, уходит от молодежи — и на курсах, и в университете. Его взгляды, университетские и общественные, отливаются отчетливо в систему — а это не наши взгляды; его симпатии — не наши. Недавно я был в их кружке — и скучновато, и душно от решительных и жестких суждений по адресу людей, заслуживающих, во всяком случае, иного отношения. И Гревс, и даже Кареев теперь не должны вызывать иронию, да еще недобрую, как у них. Все это трудно пересказать, но атмосфера этого кружка не по мне. И учиться у них — нечему. Они ученые, но их интеллигентность не очень высокого полета. Платонов лучше других, но он с ними сжился, дышит этой атмосферой — и доволен. А мне она чужая.

Но что тебя огорчает? Я ни на что рукой не махаю, если из меня что-нибудь может выйти, то не потому, что я protégé Платонова. Путь к профессуре вообще едва ли возможен, как ты себя тешишь в мечтах своих. Но, во всяком случае, Платонов никак не может при каких угодно условиях помочь мне вступить на этот путь. Если я к нему хорошо отношусь, то никак не потому, чтобы он был мне «нужен». Моя карьера, если я ее сделаю, ничем не зависит от него. Я ему многим обязан и хотел бы, чтобы я был ему — по душе — нужен, а никак не иначе. Я на это дело так смотрю: наука, умственные интересы и т. д. — это одно, а ученая карьера — другое, которая должна сама к первому приложиться, а гнуть первое под второе — дело нежелательное. Надо стать в самом деле ценной величиной, и тогда более широкий путь сам собою откроется. А иначе — не стоит. Неужели ты, мамочка, хотела бы видеть твоего Саню профессором, который пролез в это звание с трудами, написанными ради получения ученой степени, но посредственного достоинства? Я не хочу умножать числа quasi-ученых, написавших книгу и читающих лекции, хотя им — по совести — нечего сказать с кафедры. Я учусь и учусь, а что из этого выйдет — это как Богу угодно. И чудной человек ты, мамочка, точно извиняешься, что пишешь мне все свои мысли. Я вполне понимаю тебя, тебе хотелось бы видеть, что я имею успех, что я приобретаю известность как ученый, как профессор и т. д. Все это очень хорошо и привлекательно, но если это не мишура, а всамделишное. А до этого я еще не дорос, хотя и расту помаленьку, а дорасту ли, Бог ведает. Ну, будет. Не знаю, удовлетворят ли тебя мои объяснения. Но скажу, как Лютер перед Карлом V: Hier stehe ich, ich kann nicht anders! Gott helfe mir. Amen!».*

Преподавательство мое увеличивается: буду обучать двух сыновей В[еликого] кн[язя] Конст[антина] Константиновича, Иоанна и Гавриила, истории. Одному 12, другому 13. Это приглашение идет от Лаппо-Данилевского, который заведует вообще обучением. Не знаю, как-то пойдет это обучение.[281] <...>

А остальное все по-старому. И дома все ладно. Гутик бегает, шумит, поет целый день свои песенки, каждый день гуляет и очень это любит. На днях у него должна появиться новая нянька. Вяжлинский осмотрел Сусанну и нашел у нее порчу верхушек легких, которая может привести, если она останется в Петербурге, к чахотке. Она же наотрез отказалась ехать в деревню. Но при Гутике ее, конечно, оставлять не приходится. <...> Дело идет к зиме. Морозит по утрам. Но в общем мы пока вовсе обошлись без петербургской гнилой осени. Хорошо кто-то сказал про Питер, что это не город, а «каприз на болоте».

Милюкова я еще не видал. Платонов из Киева вернулся вчера, и я его тоже еще не видал. Соберемся к ним с Юлей.

Ну, до свидания, дорогая мамочка, не огорчайся за меня: мне хорошо, я своими обстоятельствами доволен и храбрее тебя, ибо вовсе не отказываюсь от ясных надежд на будущее.

Д. 4. Л. 68—71 об.

312

21 октября

Дорогая мамочка, третьего дня мы получили известие о кончине П[етра] В[икентьевича] Кимонта. Михалина Михайловна телеграфировала Якубовской, чтобы предупредить Юлю. Юля пожелала поехать на похороны, чтобы быть в эту тяжелую минуту возле матери. Я, конечно, ее не удерживал, и во вторник вечером она уехала. По всей вероятности, причиной смерти П[етра] В[икентьевича] был повторившийся удар. Юля уехала ненадолго, конечно; думаю, что она вернется к понедельнику. Трудно ей и уезжать стало ввиду Гутика. Но я убедил ее, что он отлично без нее обойдется. Когда меня дома нет, то приходит Елена Владимировна, иногда Маня. Так что на попечении одной няньки он остается не больше чем при Юле. <...> Новая нянька, заменившая Сусанну (которая тоже пока у нас — шьет), пока удачная. Спокойная, аккуратная и, главное, умеет занять Гутика, который с ней очень поладил. Она полька, присланная одними Юлиными знакомыми.

---

* На том стою и не могу иначе! Бог да поможет мне. Аминь! (*нем.*).

Из моих дел всего любопытнее занятия с маленькими княжатами. Я два раза побывал у них, и оба раза Конст[антин] Константинович просидел у меня по пол-урока. Старший, Иоанн — несколько более рассеянный и апатичный, чем второй, Гавриил. Первому 13, второму 12 лет. Слушают с интересом, но боюсь, что они совсем не привыкли удерживать воспринятое. Первоначально их воспитание было, по-видимому, довольно бестолково. Занимались они и сегодня, несмотря на царский день. Первый урок я беседовал с ними вообще о том, что такое история, чем и как она занимается. Второй — о жизни первобытных народов, причем показывал много картинок. На будущей неделе начну историю Востока. Обстановка очень простая, как прост и сам Константин, принимающий иногда участие в наших разговорах.

Относительно Платонова можешь успокоиться. Мы с ним по-старому. Мы с Юлей ездили к нему в воскресенье с поздравлением. Он просил меня дать ему указания для издания летописей, которое ему поручено. Обещает выписать для меня 4 рукописи из Москвы, чтобы я мог закончить одно маленькое исследование, начатое еще прошлым летом. В субботу у него вечер по случаю докторства.

Петербург заинтересован сменой министров, а по-моему, что Горемыкин, что Сипягин — едва ли разница большая. Толкуют все больше о том, будто Витте скомпрометирован в деле Мамонтова, из-за которого слетел Максимов,[282] и будто на Витте сильно жалуется коммерческий мир за то, что он своей политикой стеснил денежный рынок и довел его до кризиса. Словом, ждут, что он не усидит. Кем его заменят? Имен кандидатов что-то не слышно. Впрочем, охотники помудрить над русскими финансами всегда найдутся.

В Министерстве народного просвещения — тихо. Только на Высших курсах затевают какое-то особое судилище из профессоров с дискреционною властью и заранее называют его «инквизицией». Да, кстати. Вчера у Форстена было заседание школьного общества; знаешь, что наш кружок имеет две школы в Новгородской губернии, где устраивают и народные чтения с волшебным фонарем. Теперь затеваем открыть чайную и читальню. Но средств мало, и Форстен просил позаботиться о привлечении новых членов.[283] Не захотите ли вы с папой принять участие в этом деле? Членский взнос 6 р[ублей] в год.

Сейчас поеду к Лаппо-Данилевскому поделиться впечатлениями от первых уроков у княжат и столковаться о программе их чтения. А то они всякую дрянь читают и без толку. Кстати, нужно будет потолковать и о составленной Лаппо-Данилевским записке о том, как надо преподавать историю в средней школе. Много в этой записке умного и полезного, немало и странностей. Он просил меня разобраться и облечь в плоть и кровь, т. е. в программу, так как сам он не силен в практике такого преподавания. Очень он интересный и содержательный человек. <...>

Д. 4. Л. 72—75 об.

313

31 октября

Дорогая мамочка, Юля вернулась в четверг, здоровая и, хоть тяжело на душе, спокойная. Петр Викентьевич умер скоропостижно, от удара. <...> В Пренах врача не оказалось, а из Ковно доктор успел приехать только к тому времени, когда все было кончено. Он скончался около 12 ч. в понедельник, 18-го. Даль-Троццо приехали во вторник, Юля — в среду. <...> В среду и в четверг были какие-то католические праздники, когда хоронить нельзя. К тому же ксендзы вздумали чинить затруднения, потому что П[етр] В[икентьевич] много лет не говел; пришлось дважды телеграфировать епископу, и похороны состоялись только в субботу. Мих[алина] Мих[айловна] останется в Домброве недель 6, а потом уедет в Варшаву. При ней там племянник, бывший управляющий Домброва. Жаль старика, добрый он был.

Домой Юля вернулась, не предупредив нас. Я был на уроках и не ожидал, что она мне дверь отворит, когда вернусь. Гутик из третьей комнаты узнал ее голос, так обрадовался и разволновался, что даже ночь плохо спал.

Сегодня собираемся на Пороховые. Мне-то придется приехать попозднее, потому что опять у нас сборище по делу о реформе курсов. Нам с Бороздиным и Трифоновым поручили составить свод мнений pro и contra, какие были высказаны в педагогическом совете. Задача щекотливая — но что делать, надо исполнить.

Мои уроки у В[еликого] князя — пока было 4 — ставят мне тоже мудреную задачу. Старший из учеников очень уж мало развит и небрежный. А как его подтянуть? Лаппо-Данилевский на днях писал мне, что выторговал нам двойную плату — по 10 р. за урок, что составит 80 р. в месяц. Приятно. Теперь я богаче, чем в прошлом году.

Я рад, что ты успокоилась относительно моего отношения к науке и Платонову. Личные отношения с ним у нас хорошие, я много ему обязан, так что чужим он для меня не может стать. Но его кружок — всякие Чечулины, Середонины и К° — совсем чужды нам, и потому ученики, подходящие к их стилю — Рождественский, Васенко, там более свои люди, чем я. На вечере у него в субботу это сказалось ясно. Было много народу и двое приезжих, Милюков и Дьяконов, заметили сразу, что мы, молодежь, вносим какую-то иную атмосферу, не ту, что царит в «платоновском кружке» или «кружке русских историков». Но они тщетно старались понять, как это кружок вырос в такой новый круг с новым настроением — а ларчик просто открывается: тут рядом два кружка, мало друг с другом связанные.[284]

Вечер прошел для меня интересно. Много разговаривал с Дьяконовым, которого очень одобряю. А за ужином мы на свой музыкантский стол забрали Милюкова. К нему я еще не собрался. А предстоит еще визит. Акад[емик] Шахматов прислал мне свою отличную работу о летописях, где ссылается на мои статьи. Надо пойти познакомиться с ним и снести еще одну статейку, где указаны материалы, ему неизвестные. Но в общем мои занятия сводятся к разнообразному чтению, которое дает возможность все полнее объять содержание нашего необъятного предмета; а как от этой обобщающей работы перейти к постановке достаточно точной и в то же время осуществимой темы для специального исследования и как найти время для него — этого я теперь не знаю. <...>

В среду отслужил заупокойную мессу по П[етру] В[икентьевичу] в Пажеск[ом] корпусе.

Д. 4. Л. 76—79

314

12 ноября

<...> У нас после хорошей, для Петербурга, осени и двух недель слякоти сразу установилась зима, выпал снег, появились сани. Гутик почти дня не пропускал без гулянья. Он, слава Богу, по-прежнему здоров, хорошо спит, веселый, все щебечет и бегает. За последние дни, впрочем, беда приключилась: на ножке, на большом пальце появился нарыв; но теперь все проходит. Гутик дня два боялся бегать — больно было. Зато ему развлечение доставляла Юля тем, что промывала и мазала палец. Он у нас вообще любит лечиться — привык мазаться. С каждым днем Гутик становится все более занятным и забавляет нас своей наблюдательностью и живостью. Но самая его уморительная черта — педантизм, с которым он следит, чтобы все на месте было. Юля купила ему маленькую половую щетку, и он каждый день подметает комнаты, особенно уголки, отодвигая, по возможности, мебель. Уголок в спальне, где собраны его игрушки, он с особой тщательностью убирает: вынесет все игрушки на середину комнаты, подметет и все назад поставит. И если бы ты видела, с какой озабоченной миной все это делается! Вяжлинский очень им доволен. На днях он был у нас с женой. Я позвал еще Лапшина и Ямпольского. Разговоры были оживленные, особенно о Достоевском, которого и Лапшин, и Вяжлинский ценят очень высоко, как и все мы.

Кстати, Лапшин вспомнился. Он недавно читал в философском обществе оригинальный доклад о «трусости в мышлении»,[285] толковое изложение которого было помещено в «Новом времени» № 8514 (9-го ноября).

Отложил письмо, ибо пора было идти на урок. Теперь пишу после обеда.

В последнем письме ты спрашивала про Милюкова. Он останется жить в Петербурге и посвятит себя журналистике. В наст[оящее] время он фактический редактор «Мира Божьего»,[286] где печатает третью часть «Очерков по истории русской культуры». Первые два выпуска, посвященные обзору развития русской экономической и государственной жизни и судеб церкви и школы, имели такой успех, что выдержали по нескольку изданий и дали ему доход, обеспечивший его на два года. Новые издания и текущие статьи дадут ему возможность существовать. У него два сына — старший поступил в гимназию — и дочка. Я у него был в воскресенье. Очень хотелось бы завязать с ним знакомство, но при нашем складе жизни это возможно, если у него jour fixe будет. Милюков взял мой адрес и обещал зайти. Посмотрим.

Дело с преобразованием курсов приняло крайне неприятный оборот. Наши старшие так перегрызлись, что тон обсуждений становится прямо невозможным. Дай Бог, чтобы это не погубило всего дела. Остальные дела мои особого интереса не представляют. Писать — ничего не пишу. Впрочем, две мои статейки, написанные для «Начала», появились в «Жизни» (июль и октябрь).[287] Но не думаю, чтобы я там продолжал писать: редакция совсем незнакомая. А было бы недурно туда пристроиться: журнал мне нравится.

Уроки у вел[иких] князей идут clopin-clopant. Плоховаты мальцы. С младшим — поладим, а старший рассеянный и сонный. Может быть, и проснется. Мальчики симпатичные, добрые оба. В обращении с ними, конечно, никакой условности не требуется, кроме разве того, что называем мы их по имени и отчеству. На уроках моих никто не присутствует. Воспитатель сидит иногда в соседней комнате, но часто уходит.

Последнее время очень суетливо прошло у меня. Несколько конференций было, кое к кому зайти надо было, и у нас бывали, так что почти вечера свободного нет. Мы с Ямпольским абонировались в квартетные собрания. Это очень дешево, а музыка превосходная (Ауэр, Крюгер, Коргуев и Вержбилович). В прошлый вторник был концерт, а в следующий — опять. В воскресенье вечер на курсах, в понедельник — в гимназии. В конце концов и это утомительно.

Не слишком ли тебя утомила поездка в Киев? А не зайдешь ли ты во Владимирский собор, где живопись Васнецова? Очень бы интересно было знать твое впечатление.

Д. 4. Л. 80—82 об.

315

28 ноября

<...> Много, много что есть рассказать. Дома у меня все слава Богу. У Гутика второй месяц — что-то медленно режутся 17-й и 18-й зубки, но он не унывает. <...> По счастью, стоят хорошие дни, с легким морозом, и он ежедневно гуляет.

Личные мои дела тоже идут помаленьку. С вел[икими] князьками дело, верно, наладится. Надо их выучить учиться, думать и читать. У преподавателя русского языка, нашего товарища, Кульмана дело идет лучше, чем у меня, — ведь предмет легче, и, опираясь на его успехи, и я надеюсь в конце концов достигнуть удовлетворительных результатов. Что касается других занятий, то в гимназии дело идет по-прежнему легко и приятно. На курсах читаю неровно — то хуже, то лучше, потому что иногда устаю. Реформа теперь переживает серьезный кризис. Наши старые девы так перессорились с нашим инспектором Страннолюбским, что он после объяснения с В[еликим] князем отказался от инспекторства, не снеся массы мелких ежедневных неприятностей. В[еликий] князь так наивен, что думает, будто Страннолюбскому теперь легче и свободнее будет работать над реформой курсов.

А мы недоумеваем, какие новые условия будут внесены в ход дела тем, что явится новое лицо? Говорят, будто В[еликий] князь хочет инспектора непременно из преподавателей курсов, — а у нас никого (из старших), кто был бы возможным кандидатом. Неудачное назначение может сильно осложнить дело. Очень было бы прискорбно, если бы начатое хорошее и нужное дело остановилось или подверглось искажению.

Последнее время очень суетливо для меня. Все какие-то собрания, совещания, конференции. Почитать толком для себя почти совсем некогда.

В Петербурге, кажется, всего больше заняты Витте. Усиленно толкуют, что мы снова вернемся к системе бумажных денег, что Витте начал уже отступление от принятой программы... Конечно, ходят преувеличенные слухи, будто он непрочен, а дня два говорили даже, будто он застрелился. Вообще же все тихо и понуро.

Не слыхали ли чего о Полонском? Я ему писал, но ответа не получил. Уж не хворает ли?

Д. 4. Л. 83—85 об.

316

9 декабря

<...> Очень бы хотелось повидаться с вами в январе. Ты увидишь, какой твой внучек стал милый, шустрый и забавный. Теперь, как я тебе уже писал, у него давно режутся два зуба и никак прорезаться не могут. Это его беспокоит, и по ночам он опять иногда часа два не спит, утомляя этим Юлю. Но ему самому это не мешает быть очень веселым целый день. Вчера был его праздник — 2 года исполнилось! Шутка ли! Юля на кустарной выставке купила ему тележку, в которой он и сам ездит, и игрушки возит, большие качели с фигурками качающихся и еще кое-что. Дешево и сердито. Елена Вл[адимиров]на принесла ему коробку со стадом, ее мать — чайный сервиз, Сергей Александрович — кубики. Изо всего этого его особенно заняла посуда, которой он долго и пресерьезно занимался. Вениамин привез заводящийся паровоз, тоже очень его заинтересовавший. Вот сколько сразу приобрел богатств наш малыш. Я был дома, потому что ухитрился простудиться и меня лихорадило. И сегодня я еще не пошел на уроки. Юля здорова, хотя ей, конечно, зачастую тяжеленько бывает. Как видишь, у нас все обстоит благополучно. Ничего интересного по делам моим сообщить не могу. На курсах — затишье. Ждем нового инспектора и не знаем, кто это будет. Дамы времени не теряют и, пользуясь междуцарствием, ведут интригу, чтобы выжить с курсов нелюбимого ими француза.[288]

В Петербурге тоже ничего особенного. Удивило всех назначение Лобко. Контроль смущен: ждали с уверенностью Иващенкова. О смене других министров что-то даже сплетничать перестали. Приближаются праздники, которым всякое учительское сердце радуется. Передохнуть от суеты деловой не мешает. <...>

Д. 4. Л. 86—87 об.

317

12 декабря

<...> А я немного расклеился, как уже писал тебе. Простудился и прихворнул. <...> У нас морозы совсем незначительные, почти не бывало больше 10 гр[адусов], так что Гутик может ежедневно гулять. Гулять он очень любит; все торопится в путь и почему-то уверен, что остающиеся дома: Луиза или я — плачут, что их не взяли, и, уходя, препотешно изображает, как «папа» или «ау» (это значит Луиза) будут плакать. Вообще он большая обезьянка: всех передразнивает, изображает, как старушка на улице шла согнувшись в три погибели, как m-me Манизер разговаривает с жестикуляцией, как Лапшин по лестнице бегает и т. д. Все ему надо заметить и представить. Человек он общественный и очень любит в гости ходить, да и так никого не дичится.

Приближаются праздники. Да что с того? Не знаешь, что — отдохнуть ли или позаняться, так как накопилось много такого, что нужно прочесть или хоть посмотреть. Ведь мне во второе полугодие придется читать и издавать лекции по царствованиям Павла, Александра I, Николая (до сих пор не издавались), да и в VIII классе гимназии придется прочесть несколько глав в курсе истории античной культуры. А всего до праздников две недели. Да еще Адрианову я обещал написать биографию Бибикова (Андрея, президента Екатерининской Комиссии и усмирителя Пугачева).[289] Надо как-нибудь все это сочетать.

<...> Лапшин затеял любопытную и оригинальную философскую работу об изучении психологических условий, которыми объясняется возникновение разных философских учений. Несколько глав, очень интересных, уже написаны; две из них лежат у меня, и я попробую напечатать их в «Жизни». Напечатана весьма замечательная большая повесть М. Горького «Фома Гордеев» — прочти, если достанешь, а то у нас, когда приедешь, прочтешь. Не захватишь ли ты с собой «Вестник Европы» за 1898 г., если он вам больше не нужен. <...>

Д. 4. Л. 88—89 об.

318

23 декабря

<...> А у нас предпраздничные хлопоты. Ефремовы несколько раз приезжали в город за покупками. Вениамин сегодня у нас обедает. У Ефремовых елка завтра, но мы не поедем. Я простудился и сижу дома с насморком, да и Гутик что-то вроде насморка схватил, и сегодня мы его гулять не пустили. А любит он гулять и особенно куда-нибудь в гости пойти. <...>

Сегодня он, как и я, подвергнут домашнему аресту. Хорошо еще, что он в большой дружбе со своей нянькой и не скучает с нею. Напротив, ему скучно с нами без нее. Она играет с увлечением в его игры, и они друг друга отлично понимают, что Иван Пл[атоно]вич не без основания объясняет их равенством в умственном развитии. <...>

Настали праздники. Конечно, я рад им как перерыву в учительской суете. Но вместе с тем у меня какое-то неприятное недоумение, как бы коротким временем свободы производительно воспользоваться. Много дела — мало времени, вечный припев мой. Учишь других, надо и самому учиться. Трудно мириться с неясностью для самого себя многих вопросов, которые обязан другим выяснять. Рядом с этим — много нужного для себя самого, для выяснения себе своей науки. А тут еще «Жизнь» просит статью, половцовский словарь ждет биографию Бибикова.

Преподавание мое за первое полугодие закончилось более или менее благополучно. Кажется, что и с князьками дело в конце концов наладится, хотя подвигаемся мы шагом поистине черепашьим. В гимназии ученицы VIII класса совсем недурно сдали репетицию по моему предмету. Только на курсах я нынче, кажется, читаю хуже обыкновенного. Надо подтянуться во второе полугодие.

А общие петербургские дела все по-старому. Хорошего мало. Журналы жалуются на цензуру — и действительно, в «Жизни» мне пришлось видеть, как цензор, донимая редакцию, несимпатичную для Главного управления по делам печати, калечит статьи не потому, чтобы надо было вычеркнуть что-либо по цензурным соображениям, а именно для искажения. Это надо видеть, чтобы поверить. Главный мастер цензурных дел Соловьев не скрывает, что иногда его задача — извести редакцию и довести ее до отказа от дела. По счастью, есть надежда, что его заменят Шаховским, которого считают порядочным человеком. Трудно русскому человеку думать и говорить, когда приходится считаться с произволом мало интеллигентной власти гг. цензоров. А обречение многих мыслящих людей на недомолвки или полное молчание немало объясняет бесцветность нашей журналистики. Посмотрим, долго ли протянет «Жизнь». Ее фактический редактор Поссе уже дошел до нервного расстройства, и если не запретят журнала, то он может лопнуть, потому что у Поссе не хватает душевных сил вести дело при столь тяжелых условиях.

В январе в «Жизни» дебютирует Лапшин интересной философской статьей, которую я Поссе сосватал.[290] Верно, он и впредь будет участвовать в «Жизни», если Бог продлит ей жизни.

А наша béte noire* — Боголепов сидит. Отношение к нему характеризуется тем, что его уже не предлагали в почетные члены Академии наук, хотя избраны и Хилков, и Витте. Один знакомый академик говорил мне, что его, наверное, забаллотировали бы, как на днях забаллотировали Куломзина, предложенного Вел[иким] князем Кон[стантином] Конст[анти]новичем. Либеральничают наши академики.

Д. 4. Л. 90—93 об.

---

* Жупел (*фр.*).

319

27 декабря

Так решено, дорогая бабушка, что ты не можешь к нам приехать. Это нам всем, конечно, очень грустно. <...> Шестого числа, на Крещение — и я, быть может, туда (в Москву) попаду. Дело в том, что Платонов едет в Москву по летописным делам и меня зовет. Я было думал не ездить, потому что дела и так много. Но через несколько дней после визита ко мне Платонова пришел академик Шахматов и предложил оборонительный и наступательный союз против летописей и увлек меня до решимости съездить в Москву. Опять взялись за меня ученые генералы и взялись так любезно, что пятиться нечего.

Сегодня Шахматов взял меня в Академию — смотреть некоторые рукописи, для нас обоих интересные. Я, конечно, пойду. Дело, очевидно, идет к тому, что не отвертеться мне от летописей; пожалуй, через 2—3 года и появится что-нибудь вроде диссертации А. Преснякова под заглавием «Московские летописные своды (Археографические этюды)». На днях вышла в свет большая работа Лихачева об изучении древних рукописей,[291] и там большая глава посвящена «талантливой», как он выражается, студенческой моей работе. Разбор ее очень лестный — хотя он и указывает на много ошибок и на «некоторую авторскую растерянность». Последняя, как он верно заметил, произошла от излишнего подчинения авторитетам знатоков, которые сбили меня с верного пути, по которому я сперва сам пошел. Эти известия будут тебе приятны, потому что свидетельствуют, что ученый мир, давно мной заинтересовавшийся, — не забывает меня. Это тем любопытнее, что Шахматов сам по себе заинтересовался моими занятиями, помимо Платонова.[292]

Ну а пока что у нас праздники. Несколько дней прошло, а дела я никакого не сделал. Кутим мы порядочно. Сочельник провели тихо, сами с собой. В первый день у нас была елка, которую Юля тебе описала. Вчера мы были у Мани с Адриановыми, Лапшиным и Оссовским. Поболтали, послушали пение Мани и Оссовского. Сегодня вся компания приедет ко мне с добавлением Штрупа. Значит, будет музыка. Обещали принести интересные вещи. Завтра — у Адриановых. В среду — елка у Платоновых (без Гутика, конечно). Новый год встречаем на Пороховых. А второго я еду в Москву, откуда вернусь, вероятно, только 9-го, пропустив два дня занятий. Остановлюсь в «Большом московском трактире», где и Платонов будет. <...>

Вот какие дела. Мое отношение к ученой специальной работе накануне существенного оживления. Быть может, удастся примирить это обстоятельство с преподаванием по разным учебным заведениям. Надеюсь, что последнее не пострадает существенно от новых затей.

Д. 4. Л. 94—96 об.

1900

320

9 января

Отвечаю тебе, дорогая мамочка, из Петербурга, куда утром вернулся. В Москве при бивачной жизни как-то не удавалось написать письмо. Поездкой я, в общем, доволен, хотя, конечно, добытые результаты не соответствуют трате времени и денег. Позанялся я в музеях Историческом и Румянцевском, в Синодальной библиотеке и в Архиве Министерства иностранных дел. Просмотрел несколько рукописей, частью важных, но всерьез проделать то, что я бегло пробежал, можно не менее как в месяц. В результате получился ряд впечатлений, из которых главное — большая сложность и неопределенность той задачи, которую я на себя беру. Платонов, с которым мы вместе возвращались, сам признался, что не представляет себе, какое может быть «оглавление» моей работы. Я берусь за новое дело, за непочатый край — а это всегда риск. Ну, qui ne risque ne gagne rien.* Будем хоть этим утешаться.

Кроме некоторого выяснения материала для работы моя поездка доставила мне несколько любопытных знакомств с некоторыми из московских ученых. В гостинице я жил всего один день, а потом перебрался к Косте Крахт. О смерти Федора Федоровича я узнал только в их доме, где теперь живут только чужие. <...> Костя, как ты знаешь, теперь директором Кременчугского чугунолитейного общества. Квартира у него в правлении — всего четыре комнаты, но с электрическим освещением и хорошо отделана. Я у него поместился в кабинет. Жена у него симпатичная, но, как выразилась Надя, немного de la bohéme:** консерваторка (арфа), курит много и как-то не по-дамски пьет водку, очень развязна, очень юна, возится со своим девятимесячным мальчиком, театралка — словом, москвичка от головы до пяток. Костя находит нужным перебраться в Кременчуг ради дела, потому что Федя болен и лечится за границей — боятся даже чахотки. У Сергея огромная практика, и он теперь очень видный врач. Ольга замужем за офицером в Двинске. Ее муж лет на 10—12 моложе ее, собирается в Академию Генерального штаба.

Приезд в Москву, возобновление старых связей — все это переносит меня в детские годы. Я люблю свои московские воспоминания, люблю и Москву, где как-то легче дышится, чем в нашем хмуром и формально-деловитом Петербурге. <...>

5-го мы с Надей поехали в Тарусскую. Приехали поздно вечером, и я пробыл у них весь день шестого. Очень мне понравились детки. Такие милые, простые и шустрые. Мушка — особый типик, пожалуй, более пресняковский, а остальные более Палибины. Надя права, находя у Мушки сходство с Маней. Старшие две бойко и мило болтают по-французски, без сравнения свободнее, чем я, например. Конечно, мы много болтали с Колей о том и о сем, без конца. Уехал я ночью, в 2 ч., да еще в Серпухове, по отсутствию мест, перешел в другой поезд, да еще в 1-й класс, приплатив за это удовольствие 90 к. Движение огромное. На Николаевской дороге я взял спальный вагон, и то чуть не остался без места, ибо «Международное общество» ухитрилось продать те же №№ разным лицам. Нас таких оказалось трое, и, по счастью, нашлось служебное купе, в котором удалось разместиться.

---

* Кто не рискует, тот ничего не добьется (*фр.*).

** Богема (*фр.*).

В Москве я разыскал еще Голицына — он очень радушно и мило меня принял и очень мне понравился. Он все тот же. Неисправимый идеалист, добрый и через добрые очки плохо разбирающий будничную правду жизни. <...>

Вот и вся моя московская поездка. Теперь вернулся — и завтра за дело. Дома без меня все обошлось благополучно. За «Старину» буду очень благодарен. Спасибо за карточки. Цену их вычти из моих февральских денег, когда папа посылать будет.

Д. 4. Л. 97—100 об.

321

23 января

Спешу, дорогая мамочка, сообщить тебе странные и приятные вести. Я уже писал тебе, что занимаюсь теперь в Академии наук, так как мне разрешили пользоваться рукописями не в урочное время. Академик Шахматов и Майков (вице-президент), желая дать мне возможность больше работать над темой, интересной для них, порешили мне помочь. Шахматов, затребовав от меня оттиски моих статеек и сведения, что и где я еще печатал, — составил записку о моих «ученых трудах», подписал ее вместе с Майковым, и вчера они доложили ее Академии, т. е. Отделению русского языка и словесности, которое постановило — назначить мне на 1900 г. стипендию в 1200 р. (причем Шахматов рассчитывает продолжить ее и на 1901 г.), чтобы дать мне возможность написать диссертацию «о московских летописных сводах». Это — с условием, чтобы я отказался от половины уроков. Я оставлю институт и передам Рождественскому 3 лекции на курсах, оставив себе 2 л[екции] и уроки в гимназии. Остальное время буду работать над рукописями. Новость эта тебя порадует как доказательство внимания ко мне ученого мира и как возможность осуществить довольно широкие ученые затеи.

Подробнее о своих планах напишу на днях. Сегодня тороплюсь, потому что надо сделать один визит, а потом ехать в университет на диспут Дьяконова.[293]

<...> Юля пошлет тебе самостоятельный рисунок Гутика: художник будет. У него глаз вообще редкий для такого малыша и зрительная память определенная. Право, это не родительское увлечение. Ну, пора. Жаль, что не могу больше поболтать с тобой, моя дорогая. Решение Академии меня, конечно, привело в большое благодушие. Дай мне, Боже, оправдать такое доверие. <...>

Д. 4. Л. 101—102 об.

322

31 января

Я виноват перед тобою, дорогая бабушка: обещал прошлый раз на днях написать, да все время как-то уходило, и сегодня я дождался твоего ответа. Конечно, для меня академическая стипендия — большая удача. Надо только суметь ею воспользоваться и выйти из этих лет (я надеюсь, что мне стипендию продолжат на второй год) — выйти с диссертацией. Это не так просто. Тема, которую судьба сделала моей, хотя и подумывал я о работах другого рода, — довольно рискованная. Для изучения московских летописных сводов надо много разобрать нетронутого, разбросанного материала, даже больше: надо разыскать его. И каким он, этот материал, окажется в конце работы, что он даст для построения выводов и обобщений, — угадать наперед очень трудно. В результате может [получиться] ряд археографических этюдов, отрывочных, необобщенных. Но эта работа нужна. Академия оттого и покровительствует мне, что считает ее нужной. И ведь стипендию дало мне Отделение русского языка и словесности, а не историческое. Летом буду работать в Москве, зимой — в Петербурге. До весны, благодаря изобилию уроков, делаю, как я уже писал тебе, только кое-что урывками.

И Полиевктов берется всерьез за диссертацию. Он хочет взяться за исследование русской внешней политики и, в связи с ней, русских правительствующих кружков в первую половину XIX в. Для этого ему надо поработать в заграничных архивах, и Платонов обещает выхлопотать ему командировку на год. Дай Бог.

Компания наша берется за науку. У Лапшина уже написана довольно большая работа по философии — оригинальная и самостоятельная, которая будет его диссертацией.[294] Зато об одном из членов бывшего форстеновского кружка получены грустные вести: Панченко сошел с ума. Я не знаю еще подробностей, но известие, по-видимому, верное. Оно идет из Константинополя, куда П[анченко] явился к директору археологического института. Авось еще это известие не так страшно. Быть может, дело в каком-нибудь временном нервном расстройстве.

<...> Что касается Гутика и его «художеств», то я, как и папа, не обратил на них никакого внимания, но Юля и Манизер находят, что сии рисунки (!) показывают, что у мальчика есть глаз. Теперь он все чертит домики и часы рисует (Манизер, напр[имер], уверяет, что детям вообще поздно дается умение обвести пространство, хоть кое-как).

Д. 4. Л. 103—106 об.

323

9 февраля

Вчера, дорогая мамочка, был знаменательный день — 8 февраля, день университетского акта. С тревогой ждали мы этого дня — что-то будет. Ну, и было нечто. Расскажу по порядку. В этот день я был занят до 2-х ч[асов]. Акт был назначен в час. Покончив дела в гимназии, я в 2 часа поехал в университет, не уверенный еще, что акт будет. Еще накануне утверждали, что его отменят; обычные приглашения гостям не были разосланы: и действительно накануне вечером никто не знал, будет акт или нет; вопрос этот был решен утвердительно в 4 ч[аса] утра 8 февраля. Ректору дали знать в 5 ч[асов]. Я еще не знаю, что сей сон обозначает, чем вызваны были эти колебания и кто виновник окончательного, единственно приличного решения.

Около четверти третьего я был в университете, когда толпы студентов и публики уже выходили из университета. В профессорской передней я встретил нескольких товарищей — Адрианова, Кульмана, Лапшина, которые сообщили, что «акт сорван». Дело было так: начался акт при полной тишине, было даже особенно торжественно-тихо. Математик Жданов прочел отчет. Встретили и проводили его усердными аплодисментами. Оркестр заиграл пьесу Главача. Вдруг из толпы раздался голос: «Товарищи, мы прослушали отчет, но в нем ничего не сказано...». Дальше говорить не пришлось, ибо поднялся шум, крики, свистки. Дело в том, что в своей части отчета, где говорится об изменении в составе профессоров, не было упомянуто о тех, кто уволен из университета осенью, — Гревсе, Карееве и др. Составители отчета действительно проявили неуместную стыдливость. Свистки настойчивые, работали 2—3 «сирены», с умеренной поддержкой толпы. На кафедре появился другой Жданов, словесник, который должен был читать речь о Пушкине. Свистки умолкли, раздались дружные аплодисменты. Это — чтобы подчеркнуть, что против него ничего не имеют. Но говорить ему не дали, а подняли снова шум со свистом «сирен». Жданов ушел, потом опять появился на кафедре, по настоянию попечителя, постоял и снова ушел. В общем шум и свист продолжались около $^1/_4$ часа. Наконец поднялся звонивший все время ректор — ему аплодировали и замолкли по крику «слово ректору». Но ректор сказал только: «Объявляю заседание закрытым и прошу очистить зал» — и ушел. Шум продолжался. Все поднялись с мест. Никто, начиная с попечителя и профессоров, не уходил. Хор грянул «Gaudeamus igitur», но его заставили замолчать. Тогда кто-то возгласил: «Уволенным профессорам „туш“» — туша не сыграли, а удовлетворились громом аплодисментов; то же с «уволенными студентами». Потом провозгласили: «Боголепову» — и толпа ответила свистом и криками «долой». Кричали «Сонин, вон» (это попечитель). Наконец спели всей толпой хором прошлогоднюю песню, которой припев: «Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя! Вспомни, нагаечка, восьмое февраля», — и стали расходиться. Расходились мирно, и полиция, в общем, держала себя сравнительно скромно. Пока я ничего не слыхал о столкновениях между студентами и полицией. Дай-то Бог, чтобы их и не было. Возвращаясь с акта, встретили мы Форстена и уговорились пообедать вшестером: Ф[орстен], Кульман, Лапшин, Полиевктов, Адрианов и я. Обедали в «М[алом] Ярославце», и потом мы с Адриановым поехали в Александринский театр, где играл старик Сальвини — «Отелло» с русскими актерами.[295] <...>

Сальвини все тот же удивительный художник, несмотря на свои 72 г[ода]. Наши же, кроме Комиссаржевской — недурной Дездемоны, довольно-таки были плохи. Чествовали С[альвини] необычайно. После спектакля все актеры вышли на сцену, и Давыдов в длинной речи благодарил «великого учителя», а Савина подала ему серебряный венок. С[альвини] еще раз играет в пятницу и тоже Отелло. Билеты все разобраны. Я пошел за ложей в субботу в 7 $^1/_2$ ч[асов] и только в половине второго добрался до кассы. А все-таки стоило это претерпеть, чтобы еще раз видеть Сальвини.

Тебя удивили выборы Академии? Но ведь нынче один только есть на Руси бессмертный — Л. Толстой. Кого же выбрать? На Чехова, Вл. Соловьева, Короленку — я согласен. Сойдут и Гол[енищев]-Кутузов с Потехиным. Жемчужников — курьез, а Кони — нелепость.[296] Во всяком случае, вообще говоря, публика и газеты одобряют эти выборы. <...> Мы водворяемся у Ефремовых со Страстной недели на весь апрель и май. В конце мая думаю уехать в Москву. Август надеюсь, если и не весь, провести в деревне. <...>

Д. 4. Л. 107—110 об.

324

20 февраля

Дорогая мамочка, можешь сама себе представить, как все мы рады, что вы с папой собираетесь надолго приехать сюда. Даст Бог, и дело с Виндавской дорогой наладится, и вы тогда прочно утвердитесь в Петербурге. Дело у виндавцев расширяется, и люди будут нужны. Боюсь я только, что Островский — далеко не такой самостоятельный человек, как, вероятно, делает вид. Я слыхал, что главная сила в их обществе — Международный банк, и Островский назначен директором по указанию директоров банка. Если так, то директора-то эти, пожалуй, значат больше него. Но будем надеяться.

Что касается папиных статей об угольном деле, то не напечатана ли одна из них во вчерашнем № «Нов[ого] вр[емени]»?[297]

«Смягчение», внесенное министром в статью для инженерного журнала, меня не удивляет. Папины широкие взгляды на дело могли бы иметь успех — в М[инистерст]ве финансов. Думаю, что они, в общем, на руку Витте. Если так, то тем самым — они не для Хилкова. Ибо ревность к власти возбуждает оппозицию против политики Витте почитай что во всех наших министрах. А Витте все кверху лезет, к роли «первого» министра, проповедуя широкую общую программу, согласно проводимую всеми министерствами. Какова бы она ни была, единство системы было бы для нас благом, потому что и скучно, и душно в нынешней бессистемной и беспринципной сутолоке. Но коллегам его самостоятельность ведомств, один из коренных недостатков нашего строя, — гораздо удобнее. Вот как! Судьба папиной статьи навела меня на размышления общегосударственного характера. Мы с Вен[иамином] очень хотели бы, чтобы папа привез и прочел нам первоначальную редакцию.

У Ефремовых мы вчера были целой компанией. День был тихий и солнечный, с морозцем. Мы с Юлей, няней и Гутиком поехали около 11 ч. по конке, а потом в санях. К половине 2-го приехали Адриановы с m-me Чуйко, Наташа, Рашевская, Ямпольский (Мане нездоровилось), Полиевктов, Головань и Головков. Катя угощала нас блинами. <...> Я рад был проветриться, потому что чувствую себя несколько усталым.

В Академии я начал заниматься с 10-го января — четыре раза в неделю езжу туда после уроков и занимаюсь с 3-х до 5-ти (во вторник с 2-х до 5) — больше времени нет. Материал попался любопытный, но требующий возни с массой мелочей из русских летописей, греческих хронографов и даже текстов Св. Писания, которые я скоро буду знать не хуже любого семинариста. Занимаюсь в кабинете Шахматова, с большим удобством, потому что все нужные издания под рукой. На днях я представлялся председателю II-го Отд[еления] Академии Сухомлинову, который очень любезно меня принял и посулил, что они постараются и впредь поддерживать меня в занятиях, от которых ожидают прока. Всякие иные занятия я бросил. Ни для «Жизни», ни для Словаря — больше ничего не писал. Впрочем, «Жизнь» и того, что я ей уже написал, еще не напечатала, а в Словаре теперь только печатаются мои Бестужевы-Рюмины, которые займут около 2-х печатных листов очень убористой печати. И так как они написаны по первоисточникам, то могут сойти за маленькую самостоятельную работу. К вашему приезду приготовлю оттиски.

Вне занятий рукописями подчитываю и собираю кое-что относящееся к истории нашей письменности за то время, когда составлялись мои московские летописные своды, и начинаю думать, что в связи с анализом этих сводов можно будет дать историю некоторых понятий и идей того времени, т. е. страничку из истории русской культуры. Так в занятиях, соображениях и фантазиях идет день за днем. А живем мы по-прежнему, сидим дома, рано спать ложимся, рано встаем — и радуемся на Гутика, такой он милый и занятный мальчик стал, что просто прелесть. <...> Приятели к нам довольно часто заходят. Раз или два в неделю забегает на часок Манизер: его старшие 2 мальчика ходят в школу Штиглица, а он, покончивши свои уроки, заходит к нам посидеть, пока они не отделаются. У него же мы очень редко бывали за этот год. Как-то мальчики в воскресенье днем приходили поиграть с Гутиком.

Явился «сам», взял карандаш и сам пишет письмо бабе. Содержание такое: ляля бабу, затем звук «чмок». Велел и мне написать, что целует бабу. А он читать умеет: знает «а» и «о», и в восторге, когда находит, особенно на улице, на вывесках! Я его спрашиваю: а дедушку поцеловать? а он показывает, что сам написал: ляля дюдю «тц». Разницу между писаньем и рисованьем он делает. Пишет так: ~~~~~~~~~~~~, точно строчку.

Д. 4. Л. 111—114 об.

325

15 марта

<...> Что нас касается, то мы ни на что жаловаться не можем, если не считать того, что Юле, естественно, все тяжелее становится, а я к концу учебного года чувствую некоторое утомление. На этой неделе прекращаются занятия на курсах, на следующей — уже экзамены. К

Страстной неделе разделаюсь с институтом, так что после Пасхи только в гимназии будут уроки; там рассчитывают обойтись без экзаменов, кроме выпускных, а перевести учениц по годовым отметкам. Но проект этот может провалиться, ибо попечитель — не к ночи будь помянут — настаивает, что во всех гимназиях должны быть во всех классах экзамены, и нападает на обычай переводить по годовым баллам. Вообще, этот господин Сонин отличается. Напр[имер], в университете погасили историю 8 февраля и тем избежали более сложных беспорядков. А Сонин теперь обрушился на инспекцию, которая не нашла «виновных», выгнал в отставку инспектора студентов, назначенного менее полугода тому назад, — и, верно, добьется исключения нескольких студентов, как всегда в таких случаях — не наиболее виновных, а подвернувшихся под руку. И пойдет писать губерния!

Мои дела идут своим чередом. Занимаюсь урывками в Академии, теперь и дома работа есть: из Москвы присланы рукописи доктора Лебедева — помнишь того, к которому я в Тулу и Орел ездил — Платонов поручил мне сделать точное описание их. На эти занятия уходит все время, оставшееся от преподавания и отдыха, нужного моей усталой голове. Впрочем, занятия рукописями сами по себе вовсе не утомительны, а скорее отдых дают после уроков. С князьками дело идет плохо — больно неразвиты даже для своего возраста бедные мальчики.

Сегодня получил я странный запрос. В Киевский университет нужен доцент по русской истории — для подкрепления стареющих сил стариков Антоновича и Иконникова. Меня это, конечно, не устраивает, ибо мудрено ехать в Киев на 1200 р., теряя связь с Академией. Ну, авось либо Бог милостив и — в свое время — найдем другой путь к профессуре. Из петербуржцев никто не поедет. <...>

Д. 4. Л. 115—116 об.

326

23 марта

<...> А ты пишешь про нас «слава Богу, что все здоровы, хотя и тяжеленько вам обоим». Да что же что тяжеленько? Ведь тягость это чисто физическая, а живется хорошо и дышится легко. <...> Нынче Петербург побаловал своих жителей хорошей погодой. Теперь у нас настоящая весна — ясное небо, солнце, тепло. Через две недели выберемся на Пороховые, на свежий воздух. Юля тоже молодцом. На днях я приглашал акушера Рутковского (из учеников Фишера), он нашел, что все обстоит как следует, и согласился приехать на Пороховые, если Соловьеву что-нибудь помешает быть у нас. Ждать прибавления рода пресняковского надо в 20-х числах апреля.

Занятия мои идут своим чередом. В Академии заканчиваю изучение огромной, тысячи полторы листов, рукописи, очень ценной и впервые попавшей через мои руки в научный оборот. За это же время я состряпал подробное описание рукописи д[октора] Лебедева — той самой, что я когда-то в Рыжов привозил. Она выписана Платоновым из Москвы. А на днях получена из Москвы другая любопытная новинка — большая летопись времен Грозного, не привлекавшая до сих пор внимания, и Платонов предлагает дать мне ее на дом для исследования. Таким образом, я из этого полугодия, когда мог заниматься только урывками, выйду все-таки с новыми сведениями, не лишенными интереса, и, вероятно, уже летом напечатаю в «Известиях Акад[емии] наук» небольшой этюд.[298] Эти занятия меня не утомляют — я за ними отдыхаю от уроков. Да и уроки скоро прекратятся. Сегодня и завтра у меня уже экзамены на курсах. Впрочем, утомление, конечно, есть. <...>

Д. 4. Л. 117—118 об.

327

[Без даты]

<...> Сегодня — Страстная пятница, и мы отправляемся на Пороховые. Погода хорошая, но придется ехать в карете, потому что Гутик немного покашливает.

Боюсь, что меня переезд на Пороховые не вполне устраивает, ибо у меня на праздник спешная работа изучить четырехтомную рукопись, которая ненадолго прислана из Москвы. Заберу ее по секрету на Пороховые, чтобы не ездить ежедневно в город для занятий. Авось мне там удастся отвоевать уголок, где бы мне не мешали. Рукопись существенная — XVI века, не похожая ни на одну из изданных летописей, так что потребуется много возни для определения ее источников. Кроме того, я обещал набросать программу по русской истории для общеобразовательной школы Тенишева. Это своеобразное училище, где обучение ведется помимо обязательных программ, по-своему. Попытка интересная, и я охотно бы взял там уроки истории, если бы мог. За отказом эти уроки, вероятно, возьмет Гревс. Бедный Гревс! Мало надежды на то, чтобы ему вернули кафедру. Еще куда-нибудь в провинцию его, пожалуй, послали бы, например в Казань, но он обижен и ехать не хочет. А в Петербургский университет его едва ли пустят. Диспута его так боятся — потому что ожидают демонстрации — что назначили его на 21 мая, в том расчете, что к середине мая большинство студентов уже разъедется.[299] Бедный университет, бедная русская наука и просвещение, над которыми мудрят такие мудрые головы, как Боголепов или наш «попечитель» Сонин. Дело не в дурном направлении — этого нет у них, а есть худшее — в пустоте, бессодержательности, безыдейности всех поступков. Что-то мелкое и бессмысленное чуется в каждом шаге наших воротил. Я писал тебе, что рука округа занесена над нашей гимназией, а если она сокрушит наше дело, то да будут они прокляты от и во веки веков. Аминь.

Требование описать и оправдать перед округом все отступления от казенного плана, какие мы ввели у себя, — наше больное место, ибо как ни объясняй и ни защищай — нам все равно навяжут казенный шаблон, ... если только Сонин с Боголеповым не сломят себе шею, чего им решительно все с трогательным единодушием желают.

Ну, все это порешится осенью. А пока деловая жизнь Петербурга понемногу замирает — и я начинаю дышать свободнее. <...>

А знаешь, какую телеграмму прислала Постникова из Хабаровска? Она там уже начальницей женской гимназии и зовет кого-нибудь из нас в директора реального училища и инспекторы женской гимназии! Увы, ехать некому.

И у нас в Питере идет движение. Струве, инспектор Николаевского инст[итута], уходит, как я, помнится, уже писал тебе, в Московский межевой институт, Бороздин будет инспектором в Павловском институте. Освобождается место помощника инспектора в Николаевском и т. д. Когда-то папа думал о такой карьере для меня. А я охотно упускаю момент стать в линию — я для себя хотел бы чего-то иного, получше, чем управление бабьим царством, и надеюсь, что Академия рано или поздно выведет меня на ученую дорогу.

О занятиях своих пока писать нечего. Разбираюсь, оглядываюсь, подбираю материал и признаюсь, что точная постановка моей темы пока невозможна. Во вторник на Святой у нас rendez-vous с Шахматовым — потолкуем, чтобы определить и разграничить его и мои задачи в деле изучения летописей.

Ну, пора кончать. Сутолока начинается. Приехала подвода за вещами. Сами мы поедем часа в 4 и сперва съездим в Лавру попрощаться с Путиком.

Д. 4. Л. 119—122 об.

328

15 июня

Дорогая мамочка, пишу тебе из Корочи.[300] Я решил, по карте, что глупо ехать сюда через Москву и поехал прямо: Ковно—Вильна—Бахмач—Курск—Прохоровка. Приехал я вчера скорым поездом, сбросив багаж в Курске. О нашем путешествии из Петербурга тебе напишет Юля. Оно было совсем удобным, и дети вели себя хорошо. Гутик всем интересовался и в окно смотрел, называя знакомые предметы. Он решил, что мы едем к бабе, а деревья и дома бегут назад домой. Только под конец ему надоело, и он стал проситься идти вон из вагона к бабе. В Ковно нас встретила Мих[алина] Мих[айловна], которая теперь очень добра и приветлива со мной. В коляске Гутик больше спал. В Домброве он мало что вспомнил, о дедушке покойном, как это ни странно, совсем не помнит ничего. Не надышится он широкой свободой в большом саду и во дворе. Развернулся сразу еще больше, чем на Пороховых. Обрадовался он игрушкам старым, какие там остались с прошлого года, и вообще благодушествует. Теперь, как я уехал, он, наверное, поскучает: в последний день накануне отъезда он точно чуял разлуку и все не отходил от меня.

Ехал я из Ковно сюда удобно и без приключений. В Прохоровке меня встретил А[лександр] Як[овлевич] — это его участок, и он пристегнул свой приезд (еще накануне) к делам, какие у него были в Прохоровском посаде. Вид у него, на первый взгляд, удовлетворительный, хотя это отчасти объясняется оживлением нашей встречи. Пообедав у какого-то «торгового депутата», мы поехали на тройке в тарантасе — увы! — под дождем. Дождь шел вчера, шел всю ночь, идет и сегодня. Дорога, часов пять, прошла быстро, потому что много чего было рассказать друг другу. Из слов А[лександра] Я[ковлевича] видно, что он чувствует себя по-старому плохо, устает очень, голова иногда отказывается служить. Он уверен, что ему разрешат двухмесячный отпуск, и хочет съездить к своим, а оттуда за границу, в Дрезден, в Швейцарию. Выставка с ее сутолокой его, конечно, не привлекает. Встреча наша была, конечно, очень радостная. Милый он человек.

Живет он в уютном домике. Три комнаты, одна большая, в 4 окна, две поменьше. Кухня внизу. Довольно большой сад. Прислуга-старушка недурно готовит. Все очень чисто и уютно. Дела много хлопотливого; обстановка общественная и, так сказать, административная — не из легких. <...>

Д. 4. Л. 123—124 об.

329

20 июня. Петровско-Разумовское

Дорогая мамочка, я так и думал, что папа не соберется в Курск, но телеграмма, посланная ему, имела то значение, что связала меня и заставила уехать из Корочи в назначенный день и час, хотя грустно и как-то совестно было уезжать от А[лександра] Як[овлевича], который переживает нелегкое время. И физически он чувствует себя неважно: легко устает, часто голова отказывается работать. Но моральная сторона его жизни еще хуже, не создан он для тех тягостных и часто обидных отношений, которыми полна темноватая жизнь нашей провинциальной администрации и нашего захолустного общества. Ему и душно, и одиноко; и мучает он себя сознанием, что опускается. Это продукт его мнительности; я нашел его таким же, как всегда, и милым и интересным. Много мы болтали о многом. Познакомился я кое с кем — с симпатичным лесничим, с инженером-химиком Лявданским, который под Корочей устроил небольшой химический завод и т. п. Те дни, что я провел в Короче, погода стояла скверная: все время дождь шел, что нам не помешало, однако, съездить за 12 верст к Лявданскому и по дороге заехать в 3 сельских расправы, где А[лександр] Я[ковлевич] просматривал податные книги. В воскресенье я с ним распрощался. Он просил вам кланяться и поблагодарить за добрую память. До Прохоровки по прямоезжей дороге 40 в[ерст], но ехал я на хорошей тройке больше 5-ти ч., потому что чернозем совсем размок и грязь была невылазная. И все-таки приехал задолго до поезда. Ну, в поезде было, конечно, очень удобно: мало народу, плацкарты... Я хорошо спал, а остальное время то читал, то беседовал с единственным спутником в купе — каким-то харьковским помещиком. Приехал в Москву вчера в 9 утра и на извозчике отправился в Петровское-Разумовское (Новое шоссе, дача Майкова). Миша уже уехал в Архив, а мать его была дома. Я умылся, переоделся, закусил и отправился тоже в Архив записаться на занятия. Дача, где мы живем, большая, в два этажа: верхний совсем запущен и заброшен, а нижний в порядке, тут 7 комнат. Хозяева не живут уже лет 12, но и не сдают дачи — у них с ней связаны какие-то грустные семейные воспоминания. Расположились мы, понятно, очень удобно. У меня 2 комнаты — спальня и кабинет, у Миши тоже. Обедаем дома, ибо г-жа Полиевктова наняла кухарку. Белье стирает жена дворника. Все это очень удобно. Встаем часов в 8, в ½ 10-го отправляемся к электрической конке — это минут 20 ходу по парку. Конка эта привозит нас к Страстному монастырю, откуда до Архива — на Воздвиженку тоже минут 20. Утром мы завтракаем перед отправлением. Занятия в Архиве с 11 до 3-х. Меня тут давно знают и очень любезны. Занимается с нами еще харьковский профессор политической экономии Миклашевский — не особенно интересный, но дельный и довольно симпатичный господин. Я его тоже давно знаю: встречал и у Платонова, и здесь, в Москве, где он был профессором Петровской академии до ее раскассирования.

В 3 ч. идем к Филиппову напиться чаю[301] и едем домой. Вчера вечером мы отправились в Академию — купаться. Там отличное купанье в пруду, на котором поставлена большая купальня. До нее от нашей дачи тоже минут 20 ходу — и то можно на паровой конке доехать. Сегодня мы пробовали другое купанье — по дороге из города в Петровский парк, но это не так симпатично. Будем, чтобы купаться до обеда, ездить из города прямо в Академию, а оттуда пешком домой, и обед отложим до 5 ½ ч.

При таком образе жизни и в такой обстановке можно и летом заниматься. Дышу хорошим воздухом, много хожу, купаюсь. Вокруг дачи большой сад — целая березовая рощица.

Ну, мамочка, а ты что? Очень мне хотелось из Корочи махнуть к тебе в Харьков — да стыдно стало Академии, командировки, науки. А теперь жалко, что не съездил хоть на денек. Не думаете ли вы съездить к Палибиным? И я бы приехал на пару дней. Что если раньше не соберетесь — если бы там устроить твои именины и годовщину нашей свадьбы. Эта годовщина — главный мой праздник, и недаром так вышло, что она почти совпадает с твоими именинами, дорогая мамочка. Грустно было и тебе, и папе возвращаться в постылый Харьков. Больно и нам отказываться от расчетов. Но даст Бог, осень все перемелет. <...>

О занятиях своих ничего еще не могу сказать. Сегодня и завтра доделываю то, что еще в Петербурге начал, и в руках у меня любопытные материалы, но уже мне известные раньше. А только послезавтра пущусь в плавание по неведомому морю летописных сказаний, и что меня встретит — не знаю.

Д. 4. Л. 125—128 об.

330

8 июля

Дорогая мамочка, как-то так случилось, что я долго не писал тебе. Здесь ужасно мало времени. Поездки в город, занятия в Архиве — как-то весь день съедают. Домой мы возвращаемся к обеду, в 5 ½ ч.; вечером только успеешь чуть-чуть позаняться — смотришь, день и прошел. Занятиями в Архиве я, в общем, доволен, но для обработки собранного материала еще почти ничего не сделал. Прошло, кажется, недели полторы с тех пор, как я тебе не писал. За это время я успел съездить к Палибиным, у которых пробыл два дня с лишним. Поехал в четверг, а вернулся в воскресенье к вечеру. <...> Приехав вечером, я никого, кроме Мушки, не застал дома. Она сразу меня узнала (говорит, потому, что видела мою маленькую карточку) и вошла в роль хозяйки: много болтала, рассказав мне кучу разных новостей из их житья-бытья, так что Дина была очень удивлена, как это я успел узнать от нее все их petites nouvelles.* Она, т. е. Мушка, — славная и занятная девчонка, но почему-то капризная не в пример прочим. Колю я мало видел. Он все суетится, бегает, вечно озабоченный, встревоженный и возбужденный. Ты знаешь, что у них гостят еще Маня и Ив[ан] Пл[атонович]. Они уедут, вероятно, между 10—15 июля, потому что около этого времени ожидают приезда эдинбургского профессора, знакомого Лапшина, который, т. е. профессор, а не Лапшин, конечно, будет жить у них. Он едет, чтобы познакомиться с Россией, так как занимается русской литературой.

А у нас тут жизнь идет своим порядком: вчера, как сегодня, ныне, как вчера. Нужно будет несколько усилить свои занятия дома, чтобы привезти в Петербург два-три этюда, обработанных для печати. Материалу в Архиве так много, что не знаю, удастся ли мне съездить в Лавру, хотя очень бы хотелось. Полиевктов тоже усердно занимается и тонет в количестве нового, никем еще не исследованного материала. Он работает над изучением русской политики в первой четверти XVIII в. — так, до 1730 г. — и нашел, напр[имер], несколько десятков собственноручных писем Остермана — это большая новинка!

Юля пишет, что у них все благополучно, только тоскливо. А я раньше как через месяц не могу ехать в деревню, да и то уеду, не сделавши всего, что надо. <...>

До свидания, дорогая, поцелуй папу. Живется тут у нас так монотонно, что и писать нечего. Следим усердно за китайскими делами — вот дела-то.[302]

Д. 4. Л. 129—130 об.

331

17 июля

Дорогая мамочка, я сижу в Москве и, вероятно, совсем не поеду к Троице. В Архиве дела оказалось больше, чем я думал, а мне хочется позаняться в Синодальной библиотеке, где есть рукописи, представляющие для меня большой интерес. Если я долго не писал тебе перед тем, то просто потому, что при жизни, наполненной методическими занятиями, дни так незаметно уходят и так мало оставляют впечатлений, что и делиться-то нечем. Очень мне грустно, что ты решила не приезжать 22-го к Палибиным. Я рассчитывал, что папа вырвется денька на два, и надеялся повидать вас обоих. Думал было, не махнуть ли в Харьков, но это возьмет слишком много и времени и денег. Итак, если только ваше решение неизменно — будем надеяться на свидание осенью в Петербурге.

На днях появился в Москве Иван Платонович. Он получает здесь место в «Северном домостроительном обществе» на 200 р. в месяц. Это ему предложил воротила общества Григорович, служивший прежде в том же страховом обществе, где был Ив[ан] Пл[атонович]. Он, конечно, принял, хотя и грустит, что придется покинуть Петербург. Эту неделю он тут и живет на даче в Кунцеве у Григоровича. По его просьбе я ездил туда вчера и провел у них целый день. Самого Григоровича не было, а его жена — очень приветливая и радушная дама, умная и энергичная, приняла меня. Так что мне было ничуть не стеснительно и не скучно. Гуляли по красивому Кунцевскому парку, играли в крокет и т. д. В пятницу вечером мы с И[ваном] П[латоновичем] вместе поедем в Екатериновку с тем, чтобы вернуться в воскресенье к вечеру. Он как-нибудь устроится в Москве (верно, на городской квартире Григоровича), пока не переберется окончательно в Москву.

---

* Маленькие новости (*фр.*).

И у нас есть новость, деловая, но не столь приятная. Юле писали из Гори, что какая-то комиссия осматривала дом и нашла его неудобным для госпиталя. Дело идет к тому, что через год дом останется пустым. Это весьма убыточно и придется расстаться с домом, прекратив уплату процентов в банк. <...> Результаты моей московской работы — не велики. Законченного для печати будет всего только: большая статья под заглавием «Московская историческая энциклопедия XVI века»[303] и другая поменьше о двух поздних редакциях московского летописного свода. И та и другая столь же неудобочитаемы, как «Царственная книга». С осени примусь за работу в Петербурге, где, по счастью, материала больше, чем в Москве. Но в Москву мне придется вернуться — ради Румянцевского музея, который теперь закрыт по случаю ремонта.

А ты, мамочка, так и провела все лето в городе! Тебе это особенно трудно и утомительно. Жаль, что нельзя вам хоть ненадолго выбраться к Палибиным воздухом подышать.

А у нас все лето прошло по-осеннему. Дни стоят свежие, часто дожди перепадают. Я последнее время не выхожу из сукна и то только в пору. К сожалению, и в купании пришлось перерыв сделать. Так мы тут живем себе потихоньку за работой. Из сторонних интересов на первом плане у нас — китайские дела, за которыми следим по газетам. Утром по дороге в Архив покупаем «Рус[ские] вед[омости]» и читаем телеграммы. Дело большое, темное и жуткое. А буры пока, забытые Европой, продолжают с успехом свою борьбу. Сколько крови, сколько ненависти! Вот конец XIX в. христианской эры! <...>

Д. 4. Л. 131—133 об.

332

23 июля

Дорогая мамочка, я только что вернулся от Палибиных, где всем нам очень недоставало тебя и папы. <...> Провели мы у Дины вчерашний день, а сегодня в 12 $^{1}/_{2}$ уехали с Маней и Ив[аном] Пл[атоновичем]. Надя не хотела нас отпускать, но и мне и Ивану Платоновичу было бы слишком утомительно ехать ночью, а потом почти прямо с вокзала идти — ему на службу, а мне в Архив. Терять же понедельник мне не хотелось. И то я всего две недели еще пробуду в Москве — а дела много. Оно конечно следовало бы пробыть и проработать в Москве все свободное время, т. е. до сентября, да боюсь, что тогда очень уж не свежа будет голова моя к зимнему сезону, да и скучно нам с Юлей врозь. <...>

Сегодня я узнал из газет очень грустную весть из Китая: убит батарейный командир Петр Постников, брат нашей Марьи Алексеевны, которая в Хабаровске, а может быть, сестрой милосердия при отряде, как предполагают Адриановы, хотя я этого не думаю: у нее слишком много ответственного дела в Хабаровске. Это очень грустно — и за нее, да и его жаль. Я знал его — очень привлекательного, энергичного и недюжинного человека. Недаром я все искал его фамилию в известиях из Китая — что-то подсказывало невольное опасение. И чем кончится эта проклятая война? <...>

Д. 4. Л. 134—135 об.

333

29 июля

Большое спасибо, дорогая мамочка, за деньги. Спасибо папе, что он нашел возможным выполнить мою комбинацию. Что касается сентябрьской посылки, то я попрошу направить ее в Петербург к моему приезду, т. е. к 6-му. Я напишу, конечно, из деревни, когда поеду; вероятно, буду в Петербурге числа 5—6 сентября. Да, к сожалению, придется отдохнуть; хотя работа моя и так подвигается туго и медленно. Я думаю, ровно месяц обратить в каникулы, т. е. выехать отсюда вечером 5-го августа. Подводя итоги своей работе здесь, прихожу в уныние от незначительности добытых результатов.

А у нас тут после очень прохладного лета настали тропические жары. Тяжко было в городе. Вчера, например, я после занятий в Синодальной библиотеке, куда уже с неделю перебрался из Архива, не поехал купаться и на дачу, а остался в городе, чтобы зайти к Мане. Она завтра едет в Петербург, чтобы разделаться с квартирой и устроить переезд в Москву. Ив[ана] Пл[атонови]ча не отпускают с нового места его службы. Они наняли квартиру на Воздвиженке, 3 небольших комнаты, с отоплением и водой за 55 р. в месяц. С ними я обедал в Большом Московском и весь вечер у них провел — в городской духоте и жаре. Совсем умаялся. А вот теперь прохладно. Только что налетела буря, много ветвей в саду поломала, нагнала тучу и стихла. Идет дождь, и довольно сильный, воздух сразу посвежел, так что даже дышать приятно.

Очень любопытно то, что ты пишешь про Витте и Ковалевского. Это очень похоже на правду. Говорят и, судя по последнему новому нака́зу податным инспекторам, это вероятно — что его от вопросов чисто коммерческих тянет к организации крестьянского быта и местного управления. Недаром ходили слухи, что он охотно променял бы свое м[инистерст]во на М[инистерст]во внутр[енних] дел. И его организаторские идеи, несмотря на антиземский дух, кажутся мне по существу рациональными. Только у нас усиление бюрократии всегда страшно.

Я сегодня один на даче. Полиевктовы в городе. Вожусь с летописями, пишу письма. Но в общем моя монотонная жизнь археографа мало дает материалу для письменной беседы, а потому, пока, до свидания.

Д. 4. Л. 136—137 об.

334

9 августа

Дорогая мамочка, я вчера приехал в Домброво — и не на радость приехал. Еще накануне отъезда из Москвы я получил от Юли известие, что Богданек, сынишка Адели, захворал сильной дизентерией. <...> Надеемся еще, что Бог помилует, и удастся его выходить. Мои, слава Богу, оба здоровенькие. Бэнусь[304] такой хорошенький стал, что просто прелесть — куда лучше, чем Гутик был в его время. Он довольно крупный, большеглазый и очень веселый — все смеется, широко открывая свой беззубый ротик. Гутик сильно вырос и большой шалун; но в то же время он, в общем, послушный и добрый мальчуган, ласковый и привязчивый. Пока что мы его нравом и обычаями очень довольны. Право, кажется, это не родительское увлечение, если я радуюсь, что замечаю в нем хорошие задатки, радуюсь и тому, что они окрепнут в таких руках, как Юлины. Только бы сохранил Бог здоровье всех моих дорогих.

Гутик в первые минуты смутился при моем появлении, но это быстро прошло, и теперь он очень мил с «папой-Саней», как он меня называет. Он твердит, что «папа-Саня уж не поеде», и сегодня обеспокоился, когда у подъезда появилась бричка с лошадьми: боялся, что я опять уеду. Так все заняты, что он привык играть один и отлично сам себя занимает, и все время болтает сам с собой. Я ему привез маленькие кегли и солдатиков. <...>

Д. 4. Л. 138—139 об.

335

19 августа*

<...> Даль-Троццо собираются уехать через несколько дней за границу. Что будет старуха потом делать, не знаю. К нам она, хоть ненадолго, приехать не хочет. Аделя рассчитывает убедить ее приехать осенью к ним в Варшаву, и, вероятно, так и будет, хотя сама она, кажется, думает сидеть в Домброве.

Мои, слава Богу (чтобы не сглазить), здоровы. Бэнусь — здоровенький и здоровый мальчуган, все улыбается и очень мало плачет. Гутик очень вырос, пополнел, загорел. Иногда он порядочно капризен, так что приходится с ним ссориться, но вообще мальчик удовлетворительный. Со мной он очень нежен, любит играть и гулять со мной, премило в глаза заглядывает и часто зовет меня к себе. Ему тут хорошо, свободно, есть где побегать. По счастью, жара, мучившая нас во время болезни Богданека, спала; ночи довольно светлые, да и дни не жаркие. Дело идет к осени, и недели через две надо будет ехать в Питер. Юлю придется опять оставлять здесь — она не захочет торопиться оставить мать одну, да и детям тут лучше, чем в городе.

---

* Опущено письмо от 12 августа с описанием болезни и смерти Богданека (Д. 4. Л. 140—142).

Нечего и говорить, что я за все это время ничего не делал. А надо еще подвести кое-какие итоги моим московским занятиям. Кое-что сделано, но не все, что надо. Позаймусь немного эти дни, а в Петербурге закончу, что можно, для печати. Время летит — и мало плодов приносит. Давно не было от тебя вестей, дорогая мамочка. Что у вас там? Здоровы ли вы оба? Приближается осень, пора новых волнений и тревог. Принесет ли она нам желанную удачу? А когда собирается папа в Петербург? Или он думает в Харькове ждать решения своих дел? Я думаю, что лучше быть в Петербурге, и надеюсь в сентябре видеть вас у себя. <...>

Д. 4. Л. 143—144 об.

336

[*Письмо отцу*]

24 августа

Дорогой папа, мы только что получили известие о смерти доктора Мостовича, который занимался делами Юли в Гори. Теперь не знаем, что и делать. Юля послала ему в июне и июле 250 р. на ремонт дома, согласно с требованиями дружины, которой принадлежит этот госпиталь. Ремонт, вероятно, выполнен, потому что он обыкновенно заканчивался к тому времени, когда дружина возвращается из лагеря, т. е. к 1 августа. Но, быть может, Мостович не успел кончить дела. Как же теперь быть? Без удостоверения дружины, что ремонт выполнен, нельзя в январе получить денег за наем дома. Поэтому Юля очень просит тебя, если можно, попросить Муата[305] выяснить положение ее дел. Для этого надо зайти к вдове Мостовича (Гори, собств[енный] дом) и взять у нее какие есть счеты, а быть может, и деньги; узнать, кончен ли ремонт, и если нет, распорядиться его окончанием. Можно ли рассчитывать, что Муат возьмется сделать это? Нам в Гори обратиться не к кому, а контракт надо исполнить. Кончается он 1-го сентября 1901 г. Затруднение, кроме вопроса о ремонте, еще в том, что надо получить удостоверение дружины, что дом содержится в исправности, и прислать его Юле для представления в I-ю Тифлисскую военно-инженерную дистанцию, которая и высылает деньги. Обыкновенно Юля по получении удостоверения писала с 2-мя герб-марками в дистанцию заявление о высылке денег и только тогда получала их. Переписка с дружиной — длинная история, и Мостович, имея доверенность от Юли, сам выцарапывал удостоверение.

Если Муат затруднится ликвидировать это дело, то не попросить ли Карповича? Я думаю, что он не отказал бы, если бы ты ему написал от себя, а я — от себя. <...>

Что касается дальнейшей судьбы дома, то, конечно, надо узнать, будет ли контракт возобновлен или нет. Возобновляет его не дружина, а дистанция. Если нет, то необходимо просить Муата осмотреть и оценить дом и землю и устроить продажу. [Дом заложен в Тифл[исском] двор[янском] банке в 5000 р.]* Если продажа невыгодна, а контракт возобновят, то нельзя ли изменить условия так, чтобы дистанция отчислила определенную годовую сумму на ремонт и сама в условленном размере производила бы его за Юлин счет.

Мы с Юлей будем крайне признательны тебе, если ты выпутаешь нас из этой каши. Жду ответа и инструкций. Муат, быть может, не откажется оказать услугу не только ради тебя, но и ради покойного Петра Викентьевича, который был с ним близко знаком и лечил его семью, конечно, даром.

Беспокоит меня, что от вас никаких вестей нет. С моего приезда сюда я ни строчки от бабушки не получил. Я писал ей о болезни, а затем о смерти маленького Даль-Троццо. Затем заболела кровавым поносом Леося, нянька Гутика, — но ей уже лучше, и опасности нет. Ввиду сего настроение тут неважное. Юля очень утомлена, так что страницы написать не может, пальцы устают. Детки, слава Богу, здоровы и веселы. Михалина Михайловна сильно расстроена смертью любимого внука. Даль-Троццо на отлете — собираются через неделю уехать за границу. Я выеду отсюда с Юлей и всем моим маленьким кагалом — 5-го сентября. На этот раз я не хочу оставлять семью на сентябрь в деревне, потому что не был бы спокоен после всех последних событий, ведь болезнь, скосившая Богданка и потрепавшая Леосю, носит тут, по-видимому, эпидемический характер. Хотел было и раньше уехать, да слишком жестоко бросать старуху в таком горе. А без себя оставить своих здесь у меня духу не хватит. <...>

Д. 4. Л. 145—148

337

[*Письмо отцу*]

4 сентября

Дорогой папа, Юля получила из Гори письмо от госпожи Амилахвари, в котором есть некоторые дополнительные сведения о ее делах. Из письма этого видно, что Мостович умер 5-го августа скоропостижно. Со слов его вдовы, кн. Амилахвари сообщает, что в доме произведен хороший ремонт. Дружина вернется из лагеря к 20 сентября, и тогда нужно получить свидетельство о том, что дом содержится в исправности и отремонтирован. Амилахвари обещает узнать от командира, будет ли дом снова нанят на новое трехлетие, и сообщит Юле в Петербург. Она прибавляет, что продать дом в Гори трудно, но что для госпиталя в Гори едва ли возможно найти удобное помещение, кроме Юлиного дома. Конечно, все это только личное ее мнение, но она Гори как свои пять пальцев знает.

Юля немедленно написала вдове Мостовича, сообщая ей, сколько и в какие сроки выслала ему денег. У нее хранятся и расписки в отправке денег, и счета Мостовича. На ремонт нынешнего лета у него оставалось 56 р., а выслано 250 — итого 306 р. Юля и просила г-жу

---

* Последняя фраза — приписка А. Е. Преснякова на полях.

Мостович прислать ей счет, так как она, судя по письму Амилахвари, рассчиталась за работы в доме с мастерами. <...> Главная трудность, как я писал тебе, в том, что, быть может, не удастся ликвидировать эти дела продажей дома, а контракт возобновят. Кто тогда будет распоряжаться ремонтом? Еще хуже, конечно, если и контракт не возобновят, и дом не будет продан. Тогда придется довести дело до аукциона. <...>

Д. 4. Л. 149—150 об.

338

7 сентября

<...> Приехали мы благополучно, но Юля очень устала. Разобрались с вещами, а там приехали Ефремовы с детьми. Все они здоровы. Гутик одичал и испортился в деревне. Ссорился с детьми, отнимал у них игрушки, так что трудно было заставить его сыграть роль хорошего хозяина. Позднее пришли Адриановы с детьми. Сергей Ал[ександрович] сообщил мне ряд любопытных новостей, из которых главная — что Платонов назначен деканом факультета.[306] Нечего и говорить, что это отличное назначение. На место Гревса приглашен из Киева проф[ессор] Бубнов (тоже ученик Васильевского, получивший доктора за магистерскую диссертацию[307]). После обеда я отправился к Куницкому, инспектору Николаевского института, который три раза был у меня и просил немедленно по приезде зайти к нему. Он очень уговаривал меня взять в институте педагогические классы, от которых отказался Середонин. Но я теперь не могу взять еще 6 часов — и так слишком много, а надо работать и работать, пока есть возможность. <...>

От нас Ефремовы ездили с визитом к инспектрисе Павловского института Леле Ползиковой. Катя, верно, уже писала тебе об этом неожиданном назначении Лели. Инспектором в этом институте мой товарищ Бороздин, очень хороший человек. Помогай ей Боже на новом поприще.

Сегодня у меня экзамен на курсах; лекции начнем, вероятно, десятого. У меня будут 2 лекции подряд один раз в неделю. Уроки в гимназии Оболенской, как я уже писал тебе, начнутся не ранее 25-го, так что я пока сравнительно свободен для своих собственных занятий.

Сегодня получил от папы повестку, но не на 50, как следовало, а на 75 р. Если это добавка, то большое спасибо, теперь, осенью, это не лишнее, так как и то, и другое надо. Еще неожиданных 10 р. получу из «Жизни» за статейку, давно залежавшуюся в редакции. <...>

Д. 4. Л. 151—153 об.

339

13 сентября

<...> У нас пока еще не начались занятия. Моя первая лекция на курсах в пятницу, а уроки в гимназии начнутся 25-го. Пользуюсь остатками свободного времени для своих занятий. Сегодня рассчитываю закончить довольно большой этюд о «Московской исторической

энциклопедии XVI в.» — обширном летописном своде, объемлющем историю от сотворения мира, Библию, историю греков и римлян, Византии и Руси до 1567 г. Изложено все это на 10 000 листов и иллюстрировано более 16 тысяч картинок.[308] Сейчас поеду за справками в Духовную академию, в библиотеке которой много важных рукописей, потом закончу статью и завтра снесу ее Шахматову для издания в академическом журнале. Затем начну заниматься в Публ[ичной] библиотеке.

На днях видел Платонова и жаловался ему, что у меня пока выходит только описание материалов и мелкие этюды. Он советует работать, как пойдет, и предоставить ему определить, когда из напечатанных клочков пора склеить диссертацию. Он со мною по-прежнему очень мил и вообще бодрый, хотя и усталый от суетливых обязанностей декана. <...>

Вчера был у нас Манизер. Он находится в очень тяжелом положении — амбары на Охте пустуют, владение это не дает дохода, а подати, ремонт, страховка и уплата процентов требуют что-то около 1500 р. Как он справится, не знаю. Он и дома-то еле концы с концами сводит. <...>

Поспешил в Академию, чтобы не терять времени понапрасну. До субботы там заниматься нельзя; это путает все мои расчеты; придется пока заняться чем-нибудь другим, а заключение почти готовой статьи отложить.

Прости, что пишу так отрывисто и коротко. Пока я еще не огляделся в Петербурге и ничего рассказать не могу. Слышал, что учебный округ разослал за лето несколько нелепых циркуляров, с которыми директора не знают, что делать. Платонов про попечителя Сонина определенно говорит, что он каждый разговор начинает какой-нибудь глупостью, а потом настаивает на ней. O tempora, o mores!* Отчего на Руси начальство почти всегда нелепо? <...>

Д. 4. Л. 154—155 об.

340

20 сентября

Дорогая мамочка, опять не успел я сразу ответить на последнее письмо. Начинается суета петербургская. То туда, то сюда надо — а время, когда заниматься можно, приходится ловить на лету. <...>

На открытие Тенишевской школы я не попал, хотя и был приглашен, в тот же день была свадьба Штрупа, на которой нельзя было отсутствовать. На Педагогических курсах — анархия. Инспектора нет и нескоро будет, ибо Вел[икий] князь уехал, а без него вопроса об инспекторе решить не могут. Я на прошлой неделе уже начал лекции; сегодня продолжаю. В гимназии сегодня совет, а занятия начнутся 25-го. Расписание составлено сносно, но, конечно, немного будет у меня времени для занятий в библиотеке — 2, редко 3 часа. Только в среду целый день, кажется, останется свободным. А заниматься надо усиленно. Вчера я был у Шахматова — он много наработал в области летописей, а теперь печатает в Ж[урнале] М[инистерства] н[ародного] пр[освещения] ряд статей о московских летописных сводах, т. е. составляет мне сильную конкуренцию. Но это не беда; дела на двоих хватит, да и то, что им сделано, требует проверки и пересмотра. Я, кажется, уже писал тебе, что один этюд уже передал ему для печатания, теперь обработаю еще два поменьше, а пока и еще материал подберется.

---

* О времена, о нравы! (*лат.*).

Побывал я и у Лаппо-Данилевского. Как адъюнкт Академии он теперь затевает ряд важных изданий — критически обработанных источников по русской истории. Уроки у князей еще не начались и когда начнутся, не знаю.

Дома у нас неладно то, что детки все покашливают и потому сидят дома. Таков уж петербургский климат — ничего с этим не поделаешь. Лечим их и бережем, а они все кашляют. Я тоже порядочно простужен, что ввиду начала лекций совсем неудобно. Полощу горло морской солью — это очень мне помогало. <...>

Д. 4. Л. 156—157 об.

341

22 сентября

Дорогая мамочка, из письма Карповича вы уже знаете, как мило и охотно он взялся за наши дела. Но из письма его, полученного мною вчера, я вижу, что он съездил в Гори до получения письма от меня и потому не мог распутать счетов наших с г-жой Мостович. Я ему посылаю немедленно подробные описания этих счетов с оправдательными документами. <...> Я писал Карповичу, что прошу его распорядиться ремонтом и телеграфировать, если надо будет выслать еще денег. Как-нибудь вывернусь, хотя теперь это очень некстати. Затем Карпович спрашивает, во сколько мы оцениваем дом. Я ему ответил, что не знаю, а что папа думал его просить об оценке. <...>

Занятия мои полным ходом пойдут только с понедельника, 25-го. Пока занимаюсь в Пуб[личной] библиотеке. Дома все приведено в порядок: окна замазаны, ковры разостланы и развешаны. Гостиную украшает наш новый превосходный текинский ковер. Детки еще покашливают, и гулять Гутику, к сожалению, не приходится, да и дни стоят свежие, ветреные.

Бэнусь, славный, веселый мальчуган, очень редко плачет, со всеми приветлив. <...> Сегодня у нас гости собрались; пришел Миша с матерью и Манизер. Миша Полиевктов у нас остановился, как я писал тебе. За границу он уезжает во вторник.

Полонский еще за границей. Он жил в Берлине с Лапшиным и Форстеном, ездил с Лапшиным в Дрезден, а теперь в Италии. К концу сентября вернется в Корочу, минуя Петербург. Так что мы его не увидим. <...>

Д. 4. Л. 158—159 об.

342

6 октября

<...> Юлю, как всегда, оторвали от письма, я за нее допишу. Мои занятия только теперь пошли полным ходом, так как наконец начались уроки и у в[еликих] к[ня]зей. Я только раз еще был там. Ну, ничего, быть может, и наладятся занятия с ними; со стороны младшего есть кое-какой интерес и проблески понимания. Зато старший, по-моему, безнадежен: он какой-то выродившийся. В гимназии началось хорошо, VIII кл. очень хороший, и приятно читать, когда чувствуешь, что легко интерес возбудить. Я им кроме «античной культуры» буду читать XIX в. русской истории — 1 ч. в неделю. И на курсах легко — этот курс мой тоже хороший, внимательный.

Собственные мои занятия идут, но кропотливо и медленно. Часа 2 или 3 в день могу проводить в библиотеке, но такая порция дает часто лишь очень мало и очень мелких наблюдений над летописными текстами, а их надо массу, чтобы сделать какие-нибудь выводы. Времени для занятий у меня много, но я дома немного работаю, потому что обобщать пока нечего. <...>

Д. 4. Л. 160—162

343

17 октября

<...> Дома у нас все благополучно. Гутик почти совсем поправился от простуды, но гулять ему последнее время не приходилось, да и погода скверная: переход от осени к зиме начинается. Бэнусь сердится; пробовали его прикармливать (молоко с молочным сахаром) — он протестует и очень немного проглатывает новой пищи. Впрочем, постепенно идет на уступки и привыкает. Премилый он субъект, всегда веселый, почти никогда не плачет, глупенький и славный. Юля здорова, и я тоже. <...> Я печатаю статью в академическом журнале, просматриваю корректуры. Представил в Академию отчет о своих занятиях; он будет напечатан в общем отчете Академии. В конце октября или в первых числах ноября в первом заседании «Общества любителей древней письменности» прочту два небольших доклада. Занимаюсь в Публичной библиотеке и скорблю, что обобщение собираемого материала почти не подвигается вперед, а материал все растет. Шахматов говорит, что может ручаться за продолжение стипендии на полгода. Если не удастся получить ее на год, то с будущей осени придется опять увеличить число своих уроков. Хорошо, если к тому времени удастся состряпать какое-нибудь законченное исследование. Невозможного в этом ничего нет, неуверенность была бы преждевременной.

Кроме этих занятий — преподавание. О нем нечего писать. Вообще мой образ жизни настолько однообразен, что я, кажется, пишу во всех письмах одно и то же.

Получил уже три письма от Полиевктова из Берлина. Он работает с увлечением и с не меньшим увлечением присматривается к окружающей жизни. И завидно ему смотреть на ту культурность и свободу, которая царит в этой жизни, на то, как там у немцев совсем иначе поставлена наука, как относятся к ней с уважением и всяческим содействием — и больно ему сравнивать чужое со своим. <...>

Сегодня годовщина смерти П[етра] В[икентьевича] — это по новому календарю, а по старому — завтра: прежде 30-е падало на наше 18, а теперь на 17, т[ак] к[ак] разница календарей теперь не 12, а 13 дней. Мы и не знаем, как считать. М[ихалина] М[ихайловна] ставит в Пренах решетку на могилу мужа, а весной поставит памятник. <...>

Д. 4. Л. 163—164 об.

344

25 октября

<...> Судя по твоему письму, вопрос о пользе антрацита при угольном кризисе должен быть решен отрицательно по его дороговизне. А угольный голод дело важное. Весьма интересное явление и тот кризис нашего металлургического дела, который вызвал некоторое понижение цены на уголь. Вениамин говорил мне, что цены на некоторые металлические изделия резко упали. А еще летом я слышал от одного из служащих в Тульском Бельгийском заводе об отсутствии спроса на железные изделия. Он пояснял, что о перепроизводстве не может быть и речи, а просто дело не может развиваться правильно ввиду ничтожества и нетвердости спроса. Нет еще на Руси фундамента для успешного развития промышленности, к какому так стремятся. Меня эти явления занимают, ибо имеют существенное историческое значение.

А сам я живу в сфере весьма далекой от всяких очередных российских вопросов. Работа моя над летописями развивается довольно интересно. Материал накопляется любопытный и понемногу сам собой начинает приходить в некоторый порядок. Но чем дальше, тем я больше убеждаюсь, что надо собирать и собирать наблюдения над разными рукописями, потому что мало еще выяснен самый сырой материал, что, однако, может и не помешать мне написать через год исследование.

Дома все ладно. Гутик сегодня ездил себе шапку покупать, чем очень доволен. Ты спрашиваешь, как он относится к братишке? Он с ним часто нежен и вообще очень им интересуется; радуется, когда для Бэнуся что-нибудь купят. Дать ему что-нибудь из своих игрушек он иногда пробовал, но безуспешно. Бэнусь ничем не интересуется. Ты не можешь себе представить, до чего это глупенькое существо; куда глупее, чем Гутик был в его возрасте. Он только спит, ест и смеется. Физически он очень оформился и окреп; мальчишка прелесть какой спокойный и никогда почти не плачет. Но глупенький такой, что никаких кунстштюков не показывает. А Гутик хитрый и наблюдательный. Он теперь все спрашивает: что это, а это почему, а это как делается? Иногда трудные вопросы предлагает, напр[имер]: «Отчего больно бывает? Что это так делает?». Ну вот поди, объясни ему! Он человечек очень занятой. По крайней мере, сам он уверяет, что у него с утра «много работы: надо картинки смотреть, рисовать, кубики складывать, игрушки убрать, пол подмести». Юля купила ему рисунки и цветные карандаши — он раскрашивал и очень этим увлекся, огорчаясь, когда цвет карандаша не подходил к оригиналу. Одна из Юлиных подруг уверяет, что Гутик будет колорист. Недавно он сам «с натуры» окно нарисовал: «Вот видишь, Леося, так палочка, так палочка, а тут нету палочки». Наблюдательный субъект.

Карпович так больше и не писал. С Мостович мы разобрались и рассчитались, но что теперь там творится, не знаю, жду, что Карпович напишет, когда что новое будет.

Вчера у нас были и обедали Ефремовы. У них, насколько они к этому способны, все обстоит в порядке. Говорю с оговоркой, потому что Катя, по-моему, совсем неразумно относится к детской жизни, все какие-то утонченные психологии у детей отыскивает, а кормит детей нерационально. Вечером пришел Манизер, пришла Рашевская, Лапшин забежал. А потом мы пошли к Адриановым и там долго засиделись, потому что очень уж они нам рады были. Мать Елены Владимировны очень Юлю любит, и Юля от них рано никак уйти не может, хотя и пытается. Были там еще два студентика и рассказывали, что в университете поднялся было шум и сходки начались из-за беспорядков на Женских курсах по поводу исключения одной курсистки. По счастью, дело, кажется, серьезных размеров не примет и уже утихло. <...>

Д. 4. Л. 165—167

345

29 октября

<...> А я за эти последние дни кутил. В четверг мы с Адриановым собрались к Гревсу. Очень интересно с ним поближе познакомиться. На многое мы смотрим разно, но круг интересов был у нас всегда похожий. Адрианов теперь преподает в гимназии Таганцевой, где Гревс инспектором, и отлично там себя чувствует. Гревсы относятся к нему с большим интересом, вызывают на всякие темы и явно присматриваются.

А вчера Страннолюбский созвал к себе всех преподавателей Педагогических курсов, которые весною поднесли ему адрес по случаю ухода его с должности инспектора курсов. Было не очень уютно, но засиделись мы так, что я домой около 5 часов пришел, а встал сегодня в 12. Происшествие небывалое.

В педагогических кружках удивлены происшествием в Смольном. Там пирожным отравилось много учениц, по слухам, чуть ли не до 200. Захворали они серьезно, но смертных случаев не было. Хороши хозяйственные порядки! Вообще же в Питере тихо, на курсах все застыло. Великий князь уехал в объезд по России, и, когда вернется, пока неизвестно. Его возвращение, вероятно, внесет нечто новое в жизнь курсов; мы ждем назначения нового инспектора, и Страннолюбский вчера говорил, что с этим делом не спешат, потому что хотят найти лицо, постороннее ведомству и авторитетное, по возможности из профессоров. Дай-то Бог!

Дела мои преподавательские идут лучше, чем когда-либо. В гимназии бойко и интересно. Из VIII кл. половина учениц выбрала специальностью историю, так что на остальные предметы понемногу осталось. И когда им указывали, что требования по истории (сочинения и репетиции) наиболее сложны и трудны, они отвечали, что пусть у них тройки будут, а все-таки они хотят у меня работать. Слушают превосходно. Это и нас, преподавателей, оживляет и бодрит. <...>

У вас, кажется, имеются малорусские книжные магазины. Спроси при случае, нет ли книги: «Істория Украины—Руси», написал М. Грушевський. Издано «У Львови 1899 г., накладом наукового товариства имени Шевченка», 2 тома.

Д. 4. Л. 168—169 об.

346

12 ноября

Неделя прошла с того времени, как я твое последнее письмо получил, дорогая мамочка, а еще не собрался ответить. Занят был спешным делом: получил на дом для занятий рукопись, на время присланную из Москвы, большую и очень важную, а надо было сегодня ее вернуть. Пришлось на три дня «заболеть» и сидеть дома, и то я только поздно вечером вчера покончил с нею. Конечно, отчасти такая спешка вышла из-за перерывов в работе: то придет кто-нибудь и помешает, то самому надо выйти. В пятницу вечером я читал 2 доклада в «Обществе любителей древней письменности». Для меня вышло мало интересно, потому что никто не завел каких-либо интересных разговоров на мои темы. Только Платонов отметил одну любопытную мелочь в моих летописях. На днях, во вторник, предстоит еще публичный дебют — речь на акте в гимназии кн[ягини] Оболенской. Как-то так вышло, что говорить некому, кроме меня, а мне приготовиться решительно некогда. Я еще сейчас не знаю, что буду говорить. Форстен хочет от меня характеристики XIX века русской истории, по случаю его окончания. Это трудно и сложно, особенно если попал в такое положение, что говорить придется почти экспромтом. Голова моя занята не XIX, а XVI веком. Кроме этой маленькой неприятности, остальное у нас благополучно. Детки здоровы, у Бэнуся 2 зуба. <...>

То, что ты пишешь о Харькове, весьма странно. Какое-то разложение жизни и общее расстройство ее обычного течения. Отдельные случаи, не связанные между собою, слагаются в общую грустную картину, еще сильнее сходное с этим впечатление получил я еще летом — от короткого пребывания в Короче.

На днях было письмо от Полонского — грустное, тяжелое. Худо ему там, а вырваться не может...

Любопытен «учительский кризис». У вас он резче, чем у нас, но и тут приискать путного преподавателя часто очень трудно. Наш педагогический строй тоже разлагается, и люди бегут от него. Дай Бог, чтобы это все было предвестником зарождения новой жизни. Но когда пройдет кризис? <...>

От «Киевской старины» я получил уведомление, что книга Грушевского запрещена. Придется выписывать через Лейпциг. Вот они, условия российской науки!

В пятницу был у меня неожиданный посетитель. Может быть, ты помнишь, что был такой в Тифлисе — Климовский. У нас в классе он только очень неудачно преподавал логику. Приехав по каким-то делам в Петербург, он встретился с Юлей у m-me Муат, узнал мой адрес и пришел навестить своего «питомца». Обедал у нас и долго сидел. Он умный, образованный, напитанный традициями Стоюнина и Ушинского, но старый чудак. Еле сплавил его, чтобы перед заседанием немного приготовиться к рефератам.

Получено неожиданное известие от Шенгера. После нескольких лет молчания он написал очень милое, сердечное письмо к Шефферу, где есть несколько теплых слов и для меня. Славный он малый, жаль, что, Бог весть, встретимся ли когда-нибудь. <...>

Боря сегодня у нас. Их, человек 11, возили сегодня смотреть «Недоросля». Возвращаться на Пороховые не стóит, и он у нас ждет времени вернуться в корпус.

Д. 4. Л. 170—172 об.

347

19 ноября

Дорогая мамочка, четыре дня прошло с 15-го, а мы ничего толком не знаем о заседании Виндавского общества. В газетах ничего не нашел, кроме глухой заметки в «Новом времени», из которой видно, что все предложения Правления утверждены, хотя и незначительным большинством голосов. Вероятно, Островский сообщил папе точнее, как обстоит дело, и я рассчитываю скоро узнать от тебя. Эти дни я не писал, рассчитывая, что узнаю что-либо из газет.

Во вторник 14-го был акт в гимназии, на котором я говорил речь об итогах русского XIX века. Речь эту я наскоро набросал накануне вечером, но говорил без всяких листков. Находят, что вообще вышло прилично. В 25 минут трудно было много сказать, а я попробовал дать характеристику отличий XVIII в. от XIX-го, и жизни XIX в., внешнего положения России и ее внутренних перемен: новой системы управления, подготовки и осуществления реформ 60-х годов, роста духовной жизни в 40-х и 60-х гг. Вышло, главным образом, напоминание о «забытых словах» и вообще в духе антидворянском. И это перед публикой весьма дворянской. <...>

У нас все по-старому. Детки здоровы. Гутик увлекается рисованием, заставляет Юлю при себе рисовать с натуры. Долго смущало его, почему нельзя нарисовать ту сторону предмета, которая отвернута прочь; много об этом толкует. Иногда он пускается в опыты самостоятельного творчества, образчик которого при сем прилагаю. Юля купила ему тетрадки с картинками для раскрашивания по оригиналу — и он с увлечением красит; сперва дали ему цветные карандаши, а теперь — краски. Очень его забавляет подбирать цвета и огорчает, когда выходит непохоже. Понемногу приучается не очень заезжать за контур. <...>

Живем мы очень тихо и с большим трудом выбираемся из дому. Рано ложимся спать, да и то Юле нечасто удается выспаться, потому что дети будят. А я от них в кабинет сбежал. Занятия идут очень бойко. Смотрю разные мелочи в Публичной библиотеке. Более важные материалы получу из Академии наук только в начале декабря. Вообще обобщение и обработка начнутся в 1901 г., пока готовлю к печати только некоторые мелочи. Это затишье — временное, в зависимости от материала. <...>

Д. 4. Л. 173—175 об.

348

13 декабря

Прости, дорогая мамочка, что я так встревожил тебя. Причина моего молчания — конечно не оправдывающая его — просто в том, что я порядочно занят. Мне дали на дом рукопись, с которой я и вожусь все свободное время, кроме тех моментов, когда никуда не гожусь, даже на то, чтобы письмо написать. Правда, и инфлюэнца нас не миновала. У Юли недолго был сильный жар, потом у Гутика. Но ничего серьезного не было, и в настоящий момент все здоровы.

Гутику на день рождения мы подарили велосипед, от которого он в восторге. Сперва огорчался, что не может справиться с ним, но на третий день уже разъезжал кругом по квартире, справляясь и с поворотами. Бэнусю трудно дались два верхних зубка — погорел даже и аппетит потерял. Но и это миновало, теперь он наверстал пошатнувшиеся было силенки. Вот и спит отлично — и потому весел.

Занятия мои идут своим путем, и жизнь наша тоже бредет все так же. Раз только выглянули мы на Божий свет, в концерт, где слушали чудесную 6-ю симфонию Чайковского. <...>

Пишу наспех. Надо бежать в гимназию. Дело идет к праздникам. На праздники Академия разрешила мне взять на дом две большие рукописи, чтобы времени не терять. После праздников опять буду читать в «Обществе древней письменности», которое за первый доклад выбрало меня в члены. <...>

Гутик просит написать, что «Гутик ладный», а не писать, что он много хнычет по пустякам.

Д. 4. Л. 176—177 об.

1901

349

18 января

Твое поздравление с той выгодой, какая может произойти от нового порядка получения ученых степеней, — несколько преждевременно, дорогая мамочка. Ведь только составлена комиссия, которая должна разобрать этот вопрос, да и то еще неизвестно, как откликнутся другие университеты и как решит министерство. Да и сама выгода сомнительна. Платонов, наоборот, торопит меня с магистерской диссертацией, чтобы покончить это дело до новых правил, ибо одно — книга на степень магистра, другое — на доктора. Может случиться, что книга, которая доставила бы степень магистра, не будет соответствовать тем требованиям, какие, может быть, будут установлены для диссертаций докторских.

Что касается пожара в Академии, то я не знаю, что написано было в «Новом времени», но был-то этот пожар совсем не в русском, а в иностранном отделе, и сгорело только несколько пакетов с иностранными журналами, не составляющими редкости.

Причина пожара, как водится, в точности неизвестна, и архитектор позаботился о том, чтобы сбить с толку следствие.

Любопытно, однако, как мало обеспечены наши книгохранилища от пожарных инцидентов! <...>

Живем все так же тихо, редко показываюсь из дому. Впрочем, собираемся кутить: идем в ложу с Форстеном на оперу Римского-Корсакова «Садко», а там приедет еще Сальвини, которого нам очень хочется посмотреть.

Мое назначение в Археографическую комиссию на днях состоялось: значит, я теперь состою-таки на службе по М[инистерст]ву народного просвещения.[309] Злополучное м[инистерст]во это никак не может справиться с непосильной задачей привести в порядок и приличный вид нашу университетскую организацию. Порядками университетов недовольны, а что с ними делать — не знают. А тут еще киевская история и ожидание волнений в других университетах! Но волнений, кажется, особых не будет — началось полугодие спокойно.

По поводу подарка, полученного папой, Юля говорит, что сапфир теперь самый модный камень и стоит очень дорого. Но почему папе дали брошку, хотя он поезда не сопровождал? <...>

Весьма печально то, что ты о Палибиных пишешь. Видно, горбатого могила исправит, а из дворянина ничто путного дельца не сделает. Личные свойства Колины весьма мало годны для хозяйства, а к этому еще общая «сословная» непригодность сказывается.

Наша городская grande-nouvelle — еще, впрочем, не вполне подтвердившаяся — самоубийство кн[язя] Барятинского, бывшего издателя «Северного курьера»[310] и мужа актрисы Яворской. Причину указывают в банкротстве и долгах, из которых отец не захотел его выпутывать. Жалко, если правда: запутала его компания порядочной шушеры с m-me la princesse* во главе. <...>

Д. 4. Л. 178—180 об.

350

1 февраля

Несколько дней прошло, дорогая мамочка, со дня неожиданного и радостного папиного приезда — а я еще не собрался написать. Дни эти прошли как-то суетливо и утомительно.

Сама знаешь, как мы рады, что наконец вас нам возвращают.[311] Юля теперь все толкует о том, как мы устроимся, и даже справки наводит о подходящих квартирах. К Пасхе самое позднее — вы, конечно, переберетесь в Петербург. Ждем письма от тебя.

---

* Княгиней (*фр.*).

А у нас гости: вчера приехали Даль-Троццо недели на две. Юля очень рада Адели — да и я тоже, хотя мне их жаль, особенно ее: живут они как-то ни к чему не приуроченные, точно какие-то туристы в жизни.

Дома у нас все ладно. Папа рассказал тебе, как нашел деток. Оба мальчугана славные. Бэнусь за последний месяц заметно окреп и вырос. Гутик все забавнее делается. Говорил тебе папа, как он, указывая, какая ручка правая, какая левая, — почему-то прибавляет: «А сам — Пресняков»? Иногда он бывает капризен и, когда я на него прикрикну, просит: «Папа, позволь трошечко-трошечко поплакать» — и хоть упрямый, он, в общем, послушный; с ним нетрудно держаться определенных порядков.

В занятиях моих какое-то затишье вышло. Издания, порученного мне Археографической комиссией, нельзя начинать, потому что надо из Москвы рукописи выписывать, да и переписчика подходящего сейчас под рукой нет. А возня с вопросом об этом издании отклонила меня от моих личных дел на время. Кроме того, пришлось писать для курсисток царств[ование] Александра I, которого я до сих пор еще не издавал. Теперь мои лекции в издании дойдут до Николая.[312]

И умаялся я немного. Сегодня на уроки не попал, ибо с утра голова никуда не годилась! Да и на душе невесело из-за университетских дел: и у нас начались беспорядки, и у нас судят студентов ввиду «временных правил»[313] — судом из попечителя, деканов и представителя от военного м[инистерст]ва и юстиции (прокурор). Пока комиссия эта не очень склонна прибегать к солдатчине, но попечитель наш Сонин всех возмущает наглым и глупым поведением — особенно прокурора, который его даже останавливает во время допросов. Такие люди, как Платонов и Шахматов, глубоко возмущены всем порядком, который теперь калечит нашу университетскую жизнь! А Боголепов ни шагу не делает без инструкций Сипягина — и М[инистерст]во народного просвещения даже при Делянове не находилось в таком подлом унижении, как теперь. Все это видят, все это знают, и все-таки мало надежды, чтобы сумели найти выход. Впрочем, даже в сфере Государ[ственного] совета толкуют, что надо же дать студентам какую-ниб[удь] организацию, чтобы они перестали быть игрушкой, с одной стороны, любителей волнений, а с другой — полицейских и чиновничьих «эффектов». Дай-то Бог! <...>

Д. 4. Л. 181—182 об.

351

10 июня

Дорогая мамочка, вот уже неделя, как я в Москве. Получила ли ты письмо, которое я отправил на другой день по приезде? Там сообщен и адрес: Москва, Петровско-Разумовское, Новое шоссе, дача Майковых.

Полиевктовы только третьего дня водворились на даче. Миша ездил в Тихвин на могилу отца. А те дни я жил один, обедал и чай пил в номерах Купецкого, где Маня живет. Дела Ив[ана] Пл[атонови]ча очень плохи. Домостроительное общество доживает последние недели своего существование, и касса его в таком состоянии, что он уже теперь не платит жалования «директорам» своим. А через месяц Ив[ан] Пл[атонович] и формально без места останется. Живут на последние крохи. <...>

Что меня касается, то я в Москве не засижусь. Вчера узнал, к великому своему огорчению, что Синодальная библиотека закрыта до 15 июля. В Румянцевском музее занятия оканчиваются 14 июня, потом мне нужно 4—5 дней в Архиве, не более, так как я его почти исчерпал в прошлом году. А там уеду. Поеду во всяком случае через Петербург из-за дел журнала. <...>

Сегодня воскресенье, но я все-таки поеду в город, чтобы побывать в Третьяковской галерее. Приношу сию жертву искусству, несмотря на тропическую жару, которая стоит тут все эти дни.

Занятия пока идут. Я приехал с определенными целями, и потому сразу наладилось. Вот Синодальная меня очень подвела: она мне настолько надобна, что придется в начале августа приехать опять сюда, если только финансы позволят. <...>

Д. 4. Л. 183—184 об.

352

10 июня

Дорогая мамочка, только я отправил тебе письмо, как прочел в газете о «совершенном прекращении» издания «Жизни», по решению г.г. Сипягина, Победоносцева, Ванновского и Муравьева. А еще накануне, 7-го, Глебов писал мне, что почти не сомневается в успехе. Он, т. е. Глебов, прислал мне 100 р. на поездку в Петербург, так как был уверен, что придется меня вызвать. Вот и вызвали!

Нельзя ли вернуть Глебову (Мих[аил] Павл[ович], Надеждинская, 18) эти 100 р. — либо, как я писал тебе, за счет июльских академических, так как июньские я уже взял у папы вперед, либо, если это папу затруднит, то из Юлиных, по чеку, если она тебе прислала подписанные чеки. Я думаю, что авось Карпович не потребует зараз всех 100 р., и можно будет ему послать академические июльские.

Предлагаю эти две комбинации и прошу об этом потому, что сюда приехал со слишком недостаточным количеством денег, а в Варшаве надо бы купить Юле платье, приспособленное к грядущим «обстоятельствам» ее, делающим обычные платья неудобоносимыми, да и мне недурно было бы купить себе летнее пальто, так как мое совсем непристойно. <...>

Так «Жизнь» скончалась. Обидно за кружок людей, сердечно преданных хорошему делу; обидно и за нас всех, общество русское, которое в полной власти наездников из полицейского участка. Когда же это кончится, ибо должно же это когда-нибудь кончиться?

Про себя мне нечего писать. Роюсь в летописях и живу на даче — вот и все. Впрочем, сегодня мы с Мишей воспользовались воскресным днем, чтобы посетить Третьяковскую галерею. Там все знакомо, но я люблю от времени до времени посмотреть и снова. <...>

Д. 4. Л. 185—186 об.

353

23 июня

Вот я и в Варшаве, дорогая мамочка! Большое спасибо за билеты, которые папа мне прислал. Экономия весьма значительная: за 10 к. я доехал в I классе от Москвы до Варшавы; плацкарту даром дали. Ехать было, конечно, очень удобно.

На вокзале меня встретили Юля и Аделя. На обеих почти не заметно, что они конкурируют в производстве новых граждан Российской империи. Аделя — бледная, как всегда. Юля выглядит недурно, но лицом скорее похудела. Деток я еще не видал, но, по Юлиному рассказу, они — в порядке, здоровы и веселы. Гутик очень ждет меня «аж венцей не могу», — говорит, — и спит с конвертами от моих писем под подушкой. А Бэнусь сбился с толку еще в вагоне и всех мужчин звал папами. <...>

Вчерашний день провели в Варшаве. Хороший город, широкие улицы, довольно много зелени; какое-то соединение комфортабельности со стариной, которой тут немало. Много красивых зданий, хотя церкви вообще уступают виленским. Побывали мы и в знаменитых «Лазенках».[314] В Бельведер не пускают — там живет ген[ерал] Чертков. Чертков... в Бельведере — это не особенно стильно. Вообще здесь, как везде в западном крае, русский официальный элемент выступает как-то обидно для русских чувств, ибо проявляется какими-то кляксами: идем по городу, отмеченному своим особым характером, все гармонично — и вдруг фальшивая нота: это православная церковь, новенькая, вычурно-нарядная, самой московской архитектуры, поставленная как-нибудь особенно на виду — на горке, на площади — чуждая окружающему, резко противоречащая ему по стилю, а потому — задорная и ненужная. Понаставили их тут много, и все пестрые, золоченые, явно чужестранные. Я бы их по стилю иначе строил — под общий тон города, чтобы они казались своими, здешними. А то получается безвкусица и пользование церковью как орудием полемики и борьбы, вроде палки.

В Лазенках осматривали мы дворец, в котором все убранство в изящнейшем стиле XVIII в. — дело вкуса Августов саксонских и Станислава Понятовского, вкуса тонкого и балованного. Есть вещи и постарше, даже от времен Батория (XVI в.), но немного. Общее впечатление обоих дворцов в Лазенках, большого и маленького — впечатление не роскоши, а изящества, чего-то грациозного и балованного. Сами Лазенки — прекрасный парк с несколькими прудами. Вечером смотрели польскую комедию, скорее фарс, сам по себе глупый, но забавный и бойко разыгранный. <...>

Д. 4. Л. 187—189 об.

354

26 июня

Только вчера, дорогая мамочка, приехали мы в Длуговолю.[315] Зато с Варшавой я, более или менее, ознакомился; побывали и в театрах, осмотрели дворцы, обедали и ужинали в разных ресторанах, гуляли по городу. Побывали мы и в погребке Фуккера и выпили там бутылку венгерского. В общем, Варшава с ее бойкой уличной жизнью и ее физиономией старинного города, но не отжившего, а быстро развивающегося и теперь — очень мне понравилась. Много видел я интересного, хотя и не все, что стоило бы посмотреть. Дворец Красиньских, «ординация» Замойских — остались без осмотра: мы пошли не вовремя. Даль-Троццо познакомил меня с польским историком Рембовским, который нас водил в университет смотреть устройство новой библиотеки: она вся металлическая внутри — и шкафы, и полы. Ну, всего не опишешь; лучше расскажу про Варшаву, когда вернусь домой. От Варшавы до Длуговоли около 60 верст на лошадях. Мы приехали в половине одиннадцатого, когда детки, конечно, давно уже спали. Утром раньше проснулся Бэнусь — и очень удивился, что меня увидел, но сразу потянулся ко мне, а потом не хотел от меня уходить ни к кому, кроме Юли. Я не ожидал, что он так сразу меня признает, и обрадуется, и будет сердиться, если я ухожу из комнаты, где он играет. Бэнусь сильно вырос и окреп, загорел; вообще славно выглядит. Гутик спал долго и встал после меня. Он очень заволновался по случаю моего приезда, которого он давно ожидал. Гутик меньше изменился, чем Бэнусь, выглядит отлично. Меняет его мордашку только то, что его под гребенку остригли.

В Длуговоле деткам очень хорошо. Большой сад, да и дом поместительный; есть где поиграть в дурную погоду.

Проездом сюда мы на почте получили твое письмо с накладной и посылку с ключами. Почтовый чиновник уверяет, что ключи можно посылать по почте, просто привязав их к карточке с адресом — это стоит 1—2 коп.

Мы тут пробудем несколько дней; за это время и вещи успеют в Ковно приехать. Спасибо за их высылку.

Детки пошли ужинать. У них теперь новая мода — едят кашу с одной тарелки. Они вообще живут в большой дружбе и очень нежны друг с другом, хотя интересы их часто расходятся: вечно им одна и та же игрушка зараз обоим нужна. <...>

Знаешь ли ты, что в «Миссионерском обозрении», июнь — напечатан ответ Толстого Синоду и возражения разных попов?[316] Достать можно у Тузова, в Гостином, по Садовой.

Д. 4. Л. 190—191

355

9 июля

<...> Я, как писал тебе, еду в Домброво ненадолго и 23-го рассчитываю быть в Москве: надо поработать недолго в Синодальной библиотеке. Но, увы, все наши финансовые расчеты перевернуты вверх дном — во-первых, покупками, которые мы сделали в Варшаве, а потом и самой варшавской жизнью.

Поэтому прошу тебя по получении этого письма прислать мне 50 р. — только не «с передачей», а прямо на мое имя, потому что я сам поеду получать эти деньги в Пренах. Деньги эти можно перехватить из Юлиных, а я, вернувшись в Петербург в середине августа, восстановлю баланс. <...>

Д. 4. Л. 195—196 об.

356

18/31 июля

Завтра, дорогая мамочка, я уезжаю в Москву. Дело в том, что Полиевктовы пробудут на даче только до 4 августа — стало быть, и мне дольше там жить будет неудобно, а так я все-таки поработаю две недели в Синодальной библиотеке. Назад, как писал тебе, поеду опять через Ковно, как папа билеты прислал, и заеду в деревню на несколько дней. Числа 15-го августа рассчитываю быть в Петербурге, чтобы иметь и там недели две до начала учительских занятий. <...>

Я писал тебе последнее письмо из Длуговоли и отправил его с дороги. Доехали мы вполне благополучно. Даже 60 верст от Длуговоли до Варшавы на лошадях детки перенесли легко, хоть и жаркий был день. В Варшаве мы заехали в гостиницу, чтобы детки отдохнули и покушали. Мы с Гутиком пошли к парикмахеру, и я велел его остричь машинкой № 1, совсем коротко, чем он порядочно огорчился. Зато ему легче в жару и удобно головку мыть.

Из Варшавы выехали вечерним товаро-пассажирским поездом: сообщение между Варшавой и Ковно такое неудобное, что это единственный возможный поезд; остальные приходят в Ковно слишком поздно. На вокзале я обратился к начальнику станции с просьбой получше нас устроить, и он дал нам купе II класса. Но вагоны оказались допотопные, без поднимающихся диванов, так что деток уложили, а Юля и Леося должны были сидеть. Юля всю ночь не спала. А я отлично спал, потому что ушел в первый класс. В Ландварове пересели в ковенский поезд. В Ковно заехали на квартиру д[окто]ра Клюковского, там дети пообедали, а затем отправились в путь и в половине 7-го были в Домброве.

Юлин брат, Михась, как я, кажется, писал тебе, взял двухмесячный отпуск, чтобы пожить у матери в деревне. Через два дня после нашего приезда он поехал в Варшаву к Даль-Троццо. Со мной он был очень приветлив. Он в Тифлисе хирургом при городской больнице. По слухам, у него порядочная практика — и из него выработался очень хороший хирург. Он рассказывал мне, что Шенгер, который учителем математики в Тифлисе, считается скучным и не особенно любимым преподавателем. Вероятно, Володька порядочно опустился: у него к этому всегда склонность была. Рассказывал и про других тифлисских; между прочим, что Марков, вероятно, уйдет в отставку, так как новый попечитель Завадский его не переваривает. Михалина Михайловна тоже много приветливее, чем когда-либо, и очень нежна с внуками, особенно с Бэнусем. Они изводятся хозяйством, которое идет совсем плохо. Бурей, которая наделала таких бед у Даль-Троццо, разрушило большой амбар в Домброве, и Мих[алине] Мих[айловне] приходится строить новый, а пока некуда свозить сжатый хлеб: он стоит в поле и мокнет под дождем. <...>

Я получил от Глебова письмо, из которого явствует, что возможно что-то вроде воскресения «Жизни» под каким-то другим флагом. <...>

Д. 4. Л. 192—194 об.

357

25 июля

Дорогая мамочка, вчера я получил письмо твое, отправленное в Домброво. <...> Спасибо за присланные деньги. Странно, что из Академии не приносили. Отчего вы не написали счетчику? Его имя и фамилия у тебя записаны, а адрес — просто в Академию. Мне очень досадно, что эта его неаккуратность затруднила папу. Из Юлиного письма видно, что и она, и детки здоровы. Конечно, трудно ей справляться и без Леоси, и без меня. Но Леосе давно было обещано отпустить ее на время к матери, а мне надо было позаняться в Синодальной библиотеке, где есть интересные материалы, которых я еще не успел обследовать. Я тут шестой день, 22-го приезжала Надя с Мушкой и уехала только вчера; останавливалась она в тех номерах, где Маня живет, и, несмотря на жару, дважды ездили в город. Мушке показывали Зоологический сад, доставивший ей большое удовольствие. У Нади и дело было в Москве — о предполагаемой продаже Екатериновки; был и покупатель, но дело расстроилось. <...>

Жара везде стоит тропическая. И ты, и Юля одинаково жалуетесь на нее, а я могу только присоединиться к этим жалобам. Только купанье меня выручает.

Невесело у нас. Миша хворать вздумал, у него кровь горлом показалась, занятия пришлось бросить, сидеть, а больше лежать дома. Впрочем, доктор не предвидит чего-либо слишком серьезного, объясняя заболевание плохим состоянием гортани. От других товарищей вести более веселые. Я получил письмо от Лапшина. Он с Голованем в деревне, отдыхают, поправляются, по-видимому, довольны. Лапшин пишет, что только в деревне можно заниматься спокойно и работать над диссертацией. Счастливы философы, что им никаких архивов не надо.

Сегодня у нас несколько свежее, дышится легче: прошел дождь и освежил иссохшую и пыльную Москву. Такая для меня удача, что я могу жить не в городе, а то и занятия едва ли были бы возможны.

Д. 4. Л. 197—197а об.

358

8 августа

Не успел ответить на последнее письмо твое из Москвы, дорогая мамочка; теперь пишу из Домброва. Еще в прошлую среду я кончил свои занятия в Синодальной библиотеке; четверг и пятницу позанялся в Историческом музее, где, по этому случаю, познакомился с Забелиным, а в субботу уехал из Москвы. Книги отправил товаром, с доставкой на дом — вероятно, вы их сегодня получили; ключик от сундука у меня.

Вечером в день моего отъезда вдруг появился в Разумовском Ник[олай] Ник[олаевич]. Он мне сообщил, что 5-го папа приедет в Москву — а я 4-го вечером уехал! Ну, теперь скоро увидимся.

Полиевктовы уехали в субботу утром в Калугу. Мишино нездоровье, кажется, слава Богу, не так серьезно, хотя полечиться ему придется — доктора нашли, что дело в горле, которое очень запущено. <...>

Д. 4. Л. 198—199 об.

[1905][317]

359

[30 мая]

Дорогая мамочка, пишу пару слов, потому что завтра едут в Прены. Там большой праздник св. Антония Падуанского.

Приехал я в воскресенье, как ты знаешь, неожиданно для всех. Юля с Мих[алиной] Мих[айловной] и Гутиком собрались к Клюковским, и я встретил их на дороге. Юля с Гутиком пересели ко мне, а М[ихалина] М[ихайловна] поехала дальше одна. Тут все здоровы, только Аля хоть веселый и с аппетитом, но по-старому бледненький, не загорает, хотя целый день на воздухе и на солнце, легко устает, легко простужается.

Мих[алина] Мих[айловна] в большом волнении по случаю «рабочего» вопроса и всевозможных слухов. Сегодня она имела объяснение со своими «паробками» и всем им порядочно набавила. Дай Бог, чтобы ее поспешная уступчивость исчерпала, а не усложнила «вопрос»! В окрестностях совсем спокойно, хотя рабочие везде повышают требования. В Ковно насильно прекратили, дважды, ярмарки в праздничные дни, и, говорят, больше таких ярмарок в праздники не будет. Не знаю, возможно ли их перенести на будни, не перервет ли их это совсем.

Уехал я из Петербурга так поспешно, что, конечно, забыл сделать кое-что нужное. Напр[имер], забыл прекратить электрическое освещение. Не зная адреса общества, посылаю это заявление тебе с просьбою немедленно отослать.

Еще просьба: письма, какие могут оказаться на мое имя, перешли сюда, пришли и Юлины, ибо я не хочу, чтобы они завалялись. Если бы появилась в «Вестнике для самообразов[ания]» моя статья о Татищеве[318] — напиши мне об этом (посылать, конечно, не надо).

По дороге сюда прочел я в «Виленском вестнике» ноту, с которой Рузвельт обратился к России и Японии, и известие, будто его услуги приняты и уполномоченные обеих сторон сойдутся в Вашингтоне. Неужели в самом деле есть надежда на скорый мир?[319] Интересны и очень значительны будут последствия...

У нас тут вчера и сегодня дни свежие, хотя дождя и нет. Впрочем, не настолько «свежие», чтобы помешать Славушке спать на воздухе, в палатке, разбитой в саду, причем половину стенок этой палатки раскрывают для воздуха. Славушка совсем молодец. Загорел он, пожалуй, больше всех. Спит отлично, веселый постоянно.

Детям кто-то принес пару маленьких белочек. Юля надеется их вырастить. Сперва их подкинули кошке вместе с ее котятами — и она добросовестно кормила их несколько дней. Но потом, вероятно, заметила, что они котят оттесняют, и бросила, унеся своих котят куда-то в другое место. По счастью, белки уже сами есть могут. Пока они мало занятны, слишком беспомощны.

Это наша grande nouvelle. Вообще отсюда мало что писать. <...>

Д. 4. Л. 200—201 об.

360

Без даты [середина июля]

Дорогая мамочка, письмо это придет на Пороховые, вероятно, в день твоих именин и принесет тебе мое поздравление. Господь с тобой, да восстановит он твои ослабевшие силы!.

Спасибо Мане, что она за тебя ответила мне. Верно, и она 22-го будет на Пороховых с тобой. Поздравь ее от меня и поблагодари за письмо. Письмо это я отправлю сегодня через Ковно, это наиболее удобное сообщение, потому что трудно часто посылать в Прены. А через Клюковских у меня установлено постоянное сношение с Петербургом ради корректур, которые мне присылают из редакции «Вестника для самообразования». Ведь я для этого журнальца печатаю приложение — «Деятелей Смутного Времени» с портретами.[320] Корректуры посылают в Ковно на имя д[окто]ра Клюковского, а оттуда молочник, каждый день везущий молоко в Ковно, доставляет их в имение Ислауж, в 4-х верстах от Домброва; из Ислаужа баба за пятиалтынный несет их мне. Я поправляю и либо сам отношу в Ислауж, либо пользуюсь тем, что Мих[алина] Мих[айловна] часто туда ездит. Вот какой первобытный путь! Зато исправный.

Недавно мы с детьми воспользовались «оказией» и проехали в Ислауж на возе, а назад прошли пешком — по лесу. Для Али это было бы несколько далеко, но Леося его с полдороги на руках несла. А леса тут кругом большие и красивые.

Последнее время у нас дождливое. Были и сильные грозы, которых Аля очень не одобряет. Но рожь удалось свести благополучно, хотя умолот будет весьма посредственный: и зерно мелкое, и колос не полный.

Сегодня день ясный и теплый. Дети, конечно, рады солнышку и свободе. Слышен отсюда Гутин голосок где-то в поле. Вероятно, косят пшеницу, и он там с Алей. Когда свозят хлеб с полей, они пристраиваются к возам, чтобы покататься, а то еще любят возиться в сарае, на сене, на снопах, смотрят на молотьбу, сами, где могут, пробуют «помогать». И Аля не отстает от Гутика, насколько силенки позволяют, хотя иногда и огорчается, что ему, напр[имер], цеп не по силам даже в ручонки взять. Детки, слава Богу, здоровы. И Славушка остается по-прежнему молодцом. У него четыре зуба, и прикармливается он кроме молока особенно овсянкой, а на днях попробовал яйцо всмятку и очень сердился, что больше не дают, захотел второе. <...>

Д. 4. Л. 202—203 об.

ПИСЬМА К ЖЕНЕ

1892

361

9 мая

Милая художница — пишу Вам из Москвы. Значит, я несомненно уехал, и мы несомненно расстались на 4 длинных месяца (длинных для меня одного, конечно). Если бы даже случилось, что наша поездка в Харьков не состоится — я все-таки Вас не увижу, потому что наверное пробуду здесь первые дни июня. <...> Ну-с, приехал я в Москву и после нескольких нелепых скитаний по номерам, причем я где-то заплатил за сутки, хотя в номере был минут 10—15, я наконец остановился на углу Тверской и Газетного переулка, в доме Фальс-Фейн, в его же меблированных комнатах (комната № 181) — не особенно дешевых, но достаточно скверных. По счастью, мне не придется здесь пробыть больше недели, а потом я перееду к знакомым, в тот самый дом, где мы жили когда-то. Москва все та же, старая и грязная Москва, и люди все такие же, довольные своим уголком, самоуверенные и самонадеянные. Если бы Вы слышали, как пренебрежительно третируют здешние доценты (я кое с кем уже успел познакомиться) — наш Петербургский университет. Один даже сказал что-то вроде того, что интересно было бы сосчитать, сколько идиотов (?!) между петербургскими профессорами. Хороши мальчики, нечего сказать. Можно подумать, что они сами-то великие люди. А все-таки хорошо, что люди так бодро на вещи смотрят, как здешние, и что себе цену знают, хотя бы и преувеличивают ее. Ну — это уж философия на бобах. Что же Вам рассказать. Что в дороге у меня была интересная попутчица, которая занимала всех в вагоне? Впрочем, я с ней не заговаривал и не до того было, потому что было нечто интереснее: я читал поэтичнейшую и, значит, умнейшую из книг на свете — «Героев» Карлейля. Они, эти могучие герои, задавили того тревожного червячка, который чуть не залез мне в душу при отъезде из Петербурга. <...>

Д. 5. Л. 19—20 об.

362

19 февраля

Дорогой мой Юлек ждал от меня письма, а я не написал! Да, я ждал известий, а когда ждешь, так не пишется. Да и помимо этого на душе так скверно и тяжко, что к чему мучить мою и без того измученную Юлю? Как-то хочется в себя уйти, не думать и ждать: «будь, что будет». Поймет ли меня Юля? Дело в том, что последние события — московские университетские события и наше 8-е февраля[321] проявили в нашем Министерстве (народ[ного] просвещения), о котором я всегда знаю, что там творится, — проявили такие подлые качества, что грустно думать о необходимости служить негодяям. А, вдобавок, в этот четверг я слышал у Платонова, что теперь очень трудно получить уроки в Петербурге. Что будет с нами? Прости, Юлек, что я тебя огорчаю. Но ведь Юля не согласится ехать в провинцию. Я ничего против этого не имел бы. Подальше от Петербурга — это хорошо. Юля скажет: а наука? Да Бог с ней.

Видишь, дорогая моя, почему я не мог писать тебе. У меня такие гадкие мысли и скверные настроения, что трудно ими делиться. Как разорваться мне между глубокой, горячей привязанностью к Юле и нелепым материальным положением. Я не виноват, что раньше иначе смотрел. Два года тому назад оно и было иначе, а я — сам погубил свое дело. Есть от чего в отчаяние прийти. А, может быть, я теперь преувеличиваю. Только беда в том, что такой человек, как Рождественский, человек со связями (сын профессора богословия), должен довольствоваться уроками географии в Царском Селе, живя в Петербурге.

Простит ли мне Юля неопределенность моего положения и что я сам довел дело до этого? Не будет ли она в душе упрекать меня, не усомнится ли в моей преданности, от которой ничего, кроме горя, она не видела? <...>

Д. 5. Л. 1—2 об.

363

3 ноября*

<...> «Брось, не люби» — Юля, какие это жестокие слова. Бросить то, чем жил и живешь, бросить все, что лучшего, самого дорогого есть у меня. Разве я могу, разве не ужасно было бы для меня, если бы я мог сделать это? <...>

Разве я писал тебе о разочаровании? Мне грустно и как-то стыдно, что я тогда, в те прошлые годы, был таким жизнерадостным мальчишкой, не понимая, что та Юля, которую я так горячо полюбил, в совсем другом настроении, что я ее не понимал, что мне казалось, будто я счастлив, но ведь я был весел один, Юля не делила со мной этого настроения, а в таком случае чего же оно стоило? <...>

Юля, милая, любимая моя, пойми ты, что Саня всегда тем же для тебя останется. Ведь, право, несмотря на все, что было между нами, несмотря на то, что Юля Саню с ума сводит, все-таки всего дороже для Сани дорогой друг, близкий, свой человек, жена, с которой делишь все мысли <...>

---

* Опущено письмо от 2 ноября (Д. 5. Л. 6—6 об.).

Юля пишет, что мы так друг к другу все глубже привязываемся, а что кончится это ничем. Если и так, то что же мы могли сделать, ведь Бог нас свел, а если мы друг другу дороги, то не можем же мы друг друга бросить. Юля не в силах жить самостоятельно, стоять на своих ногах; не на то она создана. К чему же готовят Юлю ее родные? Идти против мамы невозможно, моя Юля слишком хороша для этого, и я ведь никогда не требовал этого. Но будем надеяться, что Господь смягчит мамино сердце, что поймет она, что большой грех возьмет на душу, если разобьет наши мечты совсем. А пока, моя дорогая, моя любимая, не думай, что Сане больно. Ему больно только за тебя, пока ты так грустна и больна. Господь с тобой, моя жизнь, мое грустное счастье, моя чудная, родная моя Юля.

Д. 5. Л. 7—11 об.

364

17 ноября

Милая моя Юля, неужели приближается новый решительный момент? Право, съездить в Тифлис было бы недурно. Жаль только, что я, боюсь, не сумею высказать все, что надо, или скажу не так, как надо. <...> Может быть, с мамой и поговорить с глазу на глаз не придется, а как это было бы важно! И что я скажу им на вопрос, что я могу дать Юле? Эх, Юля, может быть, не только потому ты «сделала большую ошибку», как говоришь, что Ваши этого не одобряют. Может быть, Саня вообще не стоит того, чтобы ему вручить твою судьбу. Долго придется жить на скромные средства, да и то для этого придется на много часов оставлять Юлю одну. Правда, оно и лучше, по крайней мере Саня Юле не надоест. <...>

Платонов в среду удивился, что это я такой смирный и как будто серьезный. Мне хотелось сказать ему, что страшно хочется держать себя так, чтобы больше нравиться Юле, да не знаю как. Знаю одно, что Юля не любит, когда я очень развязный и шумный.. Юлек, переделай меня по своему вкусу. Я не виноват, что меня испортили и избаловали, что меня любят в моем обществе таким, какой я есть, и я отвык следить за собой и стесняться. Это дурно не потому только, что Юле не нравится, а вообще нехорошо. У Сани больше внешнего самолюбия, чем Юля думает и чем я ей говорил. Я не люблю кого-нибудь шокировать, но мне редко случалось замечать, что мои манеры не нравятся. Меня ведь очень избаловали вниманием. Я не виноват.

Мне очень нужно быть повоспитаннее. Теперь я полноправный член общества, и ко мне начинают относиться строже. Мне самому подчас не нравится, как я держу себя. <...>

Какое счастье было бы попасть в Юлины ручки, милые, дорогие ручки; насколько Саня стал бы лучше, согретый теплом твоего чудного сердца; а может быть, и воспитала бы ты Саню не замечаниями даже, хотя и их Саня очень ценит, а просто влиянием твоим. <...> Но что Саня даст Юле за весь свет, который Юля внесет в его жизнь?

Довольно ли глубокой, полной преданности, горячей любви к Юле, чтобы сделать ее счастливой? <...>

Д. 5. Л. 3—4 об.

1894

365

[Без даты]*

<...> После нашего возвращения с завода я много передумал, и мысль, что Юля никогда не будет моей, показалась мне невозможной. И не потому только, что потеря слишком была бы велика, а потому, что после всего, что было между нами непоправимого, оно должно кончиться хорошо, или же оно всегда будет укором в Саниной душе. Не старайся разуверять меня, подумай, и ты поймешь, что это неизбежно так. <...>

Я понимаю жертву какую угодно, если она кому-нибудь нужна. Но наша жертва для всех хуже. Для Юли она уничтожает единственную возможность порядочно устроить свою жизнь. Одиночество вещь нелепая и ужасная, а другое замужество или невозможно, или еще хуже, чем одиночество. Юля устала и измучилась тою фальшью, в которой нам теперь приходится жить. Как же ей брать на себя притворство на всю жизнь? Для мамы Вашей эта жертва тоже дурна. Не может она не чувствовать, а если не теперь, то потом почувствует, какое это несправедливое грустное дело.

Право, я не упрекаю ее. Мне от души жаль ее, что она, в своем горе, отказывается от возможного утешения. Но, Боже, политические и религиозные (а эти всего хуже, благодаря тому влиянию, пренесимпатичному, какое сохранили священники, эти изуродованные люди) предрассудки[322] так искажают мысли и взгляды! И кто будет несчастнее Вашей мамы от того, что она разбила Юлины мечты? <...>

Л. 14 об.—15 об.

366

17 августа

Милая Юля, сегодня я получил письмо от Шенгера, в котором есть новости <...> Шенгер засиделся в Петербурге, потому что хлопотал об Инст[итуте] путей сообщения, да ничего не вышло; потом полетел в Тифлис по письму сестры, которая сообщала, что мать очень больна <...> Он решил остаться в Тифлисе и поступил преподавателем математики в Корпус. Значит, в Петербург он не вернется, а мне жаль терять его. Он все-таки единственный близкий человек из знакомых и товарищей. Да и для него едва ли хорошо застрять в Тифлисе...

Вот и еще человек, ставший на ноги и «вступивший в жизнь», как говорится. А Саня? Эх, отчего это я такой бездельник? Было время, когда так легко казалось взяться за дело, когда так хотелось устроиться и учительство казалось таким хорошим и живым делом! И возьми я тогда уроки, которые предлагал мне Форстен, я уверен, что дело пошло бы хорошо. Тогда вся будущая жизнь казалась такой содержательной, бодрой, счастливой. Так ясно представлялось мне, как я буду ходить в классы, вести уроки живо и по-своему, без рутины, потому что сам буду такой живой и бодрый, зная, что там дома ждет меня милая, любимая жена моя, для которой я работаю, добиваюсь успеха. Все, казалось, пойдет так хорошо и не может иначе пойти, потому что она, моя Юля, так хочет, хочет, чтобы ее Саня делал все хорошо, чтобы его ценили, чтобы она могла им гордиться. Хватило бы сил и на учительство, и на науку, потому что всякое дело было бы согрето теплой чудной мыслью о Юле, о моей Юле, работалось бы так легко с этой мыслью, как тогда, в московских архивах, когда эта золотая мечта так согревала Саню. А теперь, теперь я не менее думаю о Юле, но эти мысли такие грустные, такие тревожные. <...>

---

* Опущено письмо от 6 июня (Д. 5. Л. 12—13).

Д. 5. Л. 31 об.—32

367

21 августа

Я решил переменить квартиру. Не хочу больше жить на Бассейной. На это есть причины. Мар[гарита]Григор[ьевна], как я только теперь узнал, стала забываться. Катя передала мне разговоры, которые меня окончательно убедили, что надо сбежать. Не знаю, где и как устроюсь. <...> А где Юля жить будет? В доме Католической церкви? Решено это или нет? Очень хотелось бы устроиться так, чтобы было от Вас недалеко и удобно прислать за мной, если нужно. В этом отношении старая квартира имела свои преимущества, но уж очень хозяева надоели. Это вообще довольно-таки противно — жить по чужим людям, и Юля чувствует это в сто раз больше, чем я. А как мило и уютно было бы в «нашем» гнездышке. Сколько мы мечтали об этом! У меня сохранился план «нашей» квартиры — одна из Юлиных фантазий. Когда попадется он на глаза, как-то грустно на него смотреть. Точно в самом деле такой дом существовал, жилось в нем так хорошо и счастливо, а теперь он заброшен, и пуст, и глядит так неприветливо. А все это одни мечты были, и приходится жалеть об их утрате, не дождавшись исполнения. Бывает! А иногда, до Юлиного последнего письма, казалось, что там другой, чужой «совсем безразличный» человек, которому отдали Юлю только потому, что он поляк и человек «с положением». Эта мысль, к которой я старался привыкнуть, все более чуждой мне представлялась. Мог ли бы я бывать у Юли, чужой Юли, не знаю, не думаю; а может быть, ушел бы в себя, приходил бы и мучался этим, зачем хожу. <...> Если бы Юли я не встретил, мог ли бы я быть не одиноким? Я был бы совсем другой, гораздо более книжник, замкнутый, как до встречи с Юлей. Юля едва ли вполне сознает, насколько она сделала меня таким, какой я теперь. Юля взяла себе всю душу Санину, как раз тогда, когда Саня переставал быть мальчишкой, переходил в люди, когда складывался Санин характер, Санины взгляды и вкусы. И на всем этом, за что многие меня ценят, так сильно отпечатался Юлин милый образ. Вот почему я так резко говорил в трудные минуты, когда в первый раз понял, что у меня отнимают мою Юлю, говорил, что «нельзя из живого человека душу вынимать». Поняла ли тогда Юля, что это не фраза, а что она в самом деле впилась во все закоулки Саниных мыслей и чувств? Объяснить это трудно.

Твой Саня.

Д. 5. Л. 35—36 об.

368

27 августа

<...> А что на Кавказе делается? Юля, верно, слыхала, что Корша убили, Золотницкого ранили. Общая паника. Вчера был у нас Веденеев, он уехал искать места в России, до того перепугался. Ходят слухи, что папу опять пошлют на Кавказ, но, верно, опять ничего из этого не выйдет.

Мне что-то не пишется. Надо спешить. Через $^1/_4$ часа мы с мамой едем в город. Мамочка вчера вдруг про Юлю заговорила. Речь шла о том, что если я, в самом деле, поселюсь у Ефремовых, то придется завести свою мебель для комнаты. Мама и говорит, что ведь и пригодится эта мебель, когда мы с Юлей наконец устроимся. Эх, мамочка, ведь она, значит, все думает, что ее Саня будет Юлиным, любящим счастливым Юлиным Саней. Я сказал, что этого, верно, никогда не будет, а мама не поверила и засмеялась. Как все это странно и нелепо выходит! <...>

Д. 5. Л. 39—39 об.

369

17 сентября

А я недавно перебирал свое богатство, Ваши письма; сколько тут хорошего, сердечного, живого, как сказочно хорошо было когда-то, какие чудные переживались минуты. Что теперь для Вас эти воспоминания, как думаете Вы о них? Или жалеете, что все это было; или жалеете, что все это прошло? Меня эти старые письма так оживили, что я чуть было не написал Вам под свежим впечатлением, да не вышло. А потом только грустнее стало, «что были дни ясного счастья и что этого счастья не стало». Бывает! <...> Вчера я был в школе, заходил в 7 ч. за Полиевктовым. У нас было «заседание» по поводу нового студенческого общества. Теперь надо писать реферат. Надо втянуться в работу и в университетские дела, в новую студенческую организацию, которую нам предстоит создать. Авось это заменит мне всякие потери. Я не завидую Вашему спокойствию, если оно не деланное, но хотел бы дойти до него ради занятий. Реферат, который мне предстоит написать, если я с ним справлюсь, будет моим научным credo, значит, довольно серьезен для меня — это об одной новой книге: «L’histoire, considérée comme science» <...>

Д. 5. Л. 17—18.

370

19 сентября

Юля, верно, не ждет от меня письма так скоро. Милая, дорогая моя, мне так нужно поговорить с Вами, а Вы, Вы ушли в себя, из Вас слова не вытянешь, Вы писать разучились. <...> Вы часто старались уверить, что я не могу ни на что надеяться. И эта мысль тяжелым клином вбита в мою голову. Но вот несколько Ваших писем, писанных недавно. Вы писали мне в Рыжов: «Опять все показалось так далеко, так неопределенно» — неопределенно, — значит не безнадежно. А позднее Вы писали: «Еще год ждать, а там опять оттянут» и т. д. Значит, не считали же Вы, что дело решено? Значит, можно еще сомневаться? Когда Вы мне сказали, что Вам не нравится мое безделье, я Вас спросил об этом, то Вы мне сказали, что будь у меня определенное положение, это все-таки мне не поможет. Уверены ли Вы в этом? Решили ли Вы окончательно отказать мне? Забудем старое, и я снова прошу Вас, милая, чудная Юля, быть моей женой. Год подождем, в этот год я могу найти себе место, у меня найдется протекция, а теперь это возможно устроить. Не Бог знает что, но начать карьеру (по Министерству финансов) можно. Если Вы скажете, что согласие возможно, я это сделаю, если нет, то не стоит и хлопотать, потому что я один, для себя, на эту службу не пойду раньше будущего года. <...>

Вы хотите, чтобы я писал Вам, как прежде. Но прежде я писал откровенной, любящей Юльке, которая сама писала такие чудные письма, которая сама с нетерпением ожидала встречи со мной. Как же теперь писать по-старому. <...>

Д. 5. Л. 45—46 об.

371

29 сентября

<...> Я теряю почву под ногами, чувствую, что все-все куда-то далеко уходит, что меня окутывает страшная пустота, та самая, на которую Вы так часто жалуетесь. <...>

Это эгоистично, может быть, смешно. Но ведь Вы, только Вы, и больше, чем мама, связываете меня с жизнью. Для мамы я обязан жить, а для Вас я хотел бы жить, готов полюбить жизнь. Но для Вас я разве нужен? Я Ваш — это так; Вы ко мне привыкли, мы совсем близки, но пустоты в Вашей жизни мне не наполнить, только обязанность беречь маму связывает Вас, а для меня Вы не стали бы жить, не стоит жить; и в то время как Вы наполнили смыслом пустоту моей жизни, я, если верно я понял Ваши последние письма, я ничего не дал Вам. От Вас я получил желание жить и цену жизни, а Вы от меня — ничего, что бы могло наполнить эту пустоту.

Значит ли это, что Вы меня не любите? Простите, не оскорбляйтесь этим вопросом, ведь Вы сами то и дело говорите, что чувствуете пустоту, и так говорите, что, видно, я в этой пустоте ничего не наполняю. То, что я теперь пишу, есть сомнение. Но не осуждайте меня, не уходите в себя, поймите, как Вы мне дороги и как мне трудно высказывать то, что я теперь говорю. Ответьте, ради Бога, ради всего пережитого счастливого времени, ответьте прямо и откровенно. Простите, если я несправедлив, и не щадите меня, если я прав в своих сомнениях. Я, в сущности, человек очень сильный, по характеру, и все вынесу со спокойным видом. Но недомолвок между нами не должно быть. Я писал в этом роде не раз. Вы не могли ответить. Если Вам легче говорить, чем писать, прочтем вместе эти письма, но только снимите этот камень с меня, так или иначе. Что бы Вы мне ни сказали, хуже мне не будет.

Весь Ваш Саня.

Д. 5. Л. 49—50 об.

372

2 октября

Милая, дорогая моя Юля! Сане так жалко было расстаться с Юлей, когда бедной Юльке хотелось плакать. Саня сам вызвал эти слезы, просившиеся на дорогие глазенки, и не жалеет об этом; высказаться и поплакать легче. Только зачем так вышло, что Юле пришлось переломить себя, зачем мы были на улице.

Расставшись с Вами, я отпустил Илью на Офицерской и пошел было пешком к Куманиным. Но странно, что я такой был утомленный, что совсем не мог идти, и поехал домой. А тут мне рассказали, что Кум[анин] в пятницу еще был у меня, заявил, что писал мне, что придет, и ушел обиженный. Пришлось ехать к нему, а оттуда с ним к Форстену. Вечером, от Форстена, пошел провожать меня один товарищ и опять подробно рассказал всю форстеновскую историю. Что за трагедия! Такое полное, светлое счастье в прошлом, потом страшная смерть жены! Он, по ошибке, сам дал ей ужасную вещь, хлористую цинку; она сразу почувствовала и говорит: «Жорж, Жорж, что ты мне дал?» — спасенья уже не было, но еще шесть дней она мучилась в полном сознании, стараясь успокоить мужа ласковыми словами. Говорят, он был ужасен. Молился страстно, безумно, а когда она скончалась, долго не могли добиться ни слова от него, он был совсем как сумасшедший, его кормили, следили за каждым его шагом. Он это пережил, как? Бог его знает. Теперь он живет сплошной пыткой. Он окружен ее вещами, ее портретами, нигде, даже в дороге, не расстается с подушкой, на которой она умерла, поет, когда он один, ее любимые вещи, постоянно мучает себя и растравляет свою рану. Бедный человек, вид чужого счастья его приводит в отчаяние, и все эти муки — все, что осталось ему. Что с ним будет? Натура его слишком глубокая, чтобы он мог успокоиться, забыть. Это странный характер, смесь шведской выдержки, энергии, упорства и польской (мать его Малиновская) живости, нервности, впечатлительности. Натура богатая, но, Боже, до чего он несчастен! Для «ее» портретов у него целая коллекция оригинальных и изящных рамок; и надо видеть, с какою нежностью он бережет все, что было при ней. От него хотят, чтобы он разорвал со старой обстановкой, чтобы он не оживлял постоянно старые воспоминания. Но ведь в них, во всем, что ее напоминает, вся его личная жизнь. Вырвать это — что же останется? Только смерть его избавит.[323] Когда из жизни человека уходит все, с чем связано личное счастье, он, как утопающий за соломинку, хватается за мелочи, за безделушки, в которых точно остались отблески того теплого, ясного света, который его согревал. Это не сентиментальность, нет, моя Юля, скорее это сила, мешающая человеку все потерять, что дорого. Ну зачем эти горькие мысли. Я в тысячу раз счастливее его; у меня есть моя Юля, есть надежда на будущее, хотя бы и далекое, я могу видеть ее, мою дорогую, чудную, бедную мою Юлю. Когда я начну роптать, стоит сравнить себя с несчастным Форстеном, чтобы остановить этот ропот. <...>

Д. 5. Л. 51—52 об.

373

5 октября

<...> Надо идти к Форстену. Я обещал прийти к 11 часам. Придя домой, я сейчас стал писать реферат, который у меня все не клеился, даже начать не мог. А тут сразу пошло: вот что значит встретить Юлю и прочесть пару строк, написанных ее рукой. <...>

Надеюсь, что до скорого свидания.

Д. 5. Л. 53 об.—54 об.

374

6 октября

Милая Юля, благодарю за записку. Мне ее принес Полонский, встретивший на лестнице почтальона. Не знаю, догадался ли он, от кого письмо; он ничего не сказал. Попросить ложу на «Ромео и Джульетту» я сам догадался, а сегодня прибавил «Паяцев». Я предпочел бы «Ромео», а впрочем, увидим, пришлют ли что-нибудь. Форстен просит, если пойдем на «Ромео», взять его с собой. Можно?

Вчера мы, т. е. 3 барышни, один Головань и я, целый день, с 11 ч. до 9 веч[ера], работали над форстеновской библиотекой, и то не кончили. Они без меня ее сегодня докончат. В 9 ч. от Форстена мы всей компанией поехали к Платонову. Там вице-президент Академии наук Майков долго рассуждал со мной, уговаривая писать большую работу о летописях, обещая мне и выгоду и славу, и уверял, что хотя задача очень трудная, но будто я доказал, что могу справиться и сделать это дело интересным и вовсе не сухим. Юля и не представляет себе, как на ее «глупенького» Саню внимательно смотрят разные ученые генералы. Я мог бы почувствовать себя важным, если бы то словечко, о котором я писал свое первое длинное письмо («записки сумасшедшего»), не напоминало мне, что одно слово Юли важнее всяких ученых речей. Если Юля от меня уйдет, я отдам себя в руки генералов; но откуда я тогда возьму силы для увлечения работой? А эта работа, где требуется литературно-критическое чутье и даже художественный такт, требует не только усидчивости и учености, а живого отношения и хорошего настроения. В таком настроении, как я тогда в Москве работал, я бы ее исполнил, а теперь я не тот.

Впрочем, все это пустяки. Поживем — увидим, как что будет. <...>

До утра субботы?

Д. 5. Л. 55—56 об.

1896

375

29 июня

Дорогой Юлек, пишу тебе с Пороховых, куда полчаса тому назад приехал. <...> До Вильны было свободно, но тут набралось множество народу. Какой-то старичок-генерал завладел моим диваном и даже — это, впрочем, с моего согласия — моей подушкой. Я сперва был совсем без места, потом сидел в другом вагоне, но читать почти не мог, потому что очень уж жарко было, да и народу слишком много. Когда я чувствую себя в публике, мои мозги не работают. Так продолжалось до Динабурга,[324] где большая часть публики, и в том числе мой генерал — исчезли. Я остался один в своем углу и мог удобно устроиться на ночь. Впрочем, поднялся раньше 5-ти часов. Около семи напился кофе в Луге, где наш поезд стоял около часа, купил себе «Новое время» и сел читать на платформе. Оказалось, что мы стоим так долго, потому что должны пропустить эйдкуненский скорый поезд. Пришел этот поезд, и из последнего вагона выскочил — ну, как думаешь, кто? — Г. В. Форстен. Оба мы крайне удивились, что встретились в Луге! Оказалось, что бедному Г. В. не повезло за границей. Приехав в Швейцарию, он вместо отдыха почувствовал себя хуже, две недели мучился тяжелой бессонницей, так что ни минуты не спал по ночам. И горло стало хуже. Тогда он поехал в Гейдельберг к какой-то медицинской знаменитости, что-то вроде доктора Юргена. Тот помог ему несколько. Нашел он у него общее переутомление и нервное расстройство, а главное — острый катар гортани. Впрочем, по его словам, острый катар прошел, но оставил скверные следы в виде «микробов и всякой дряни», как выразился Г. В. Избавиться от этого можно прижиганиями, но так как знаменитый немец брал по 10 марок за визит, то Г. В. сбежал от него к д[окто]ру Симановскому в Петербург. Теперь он полагает, повидавшись с Симановским, уехать в Финляндию к брату и там отдыхать. Всякие занятия ему воспрещены безусловно. Выглядит он не очень плохо: загорел, хотя похудел и нервничает. Бедный Г. В.! <...> Поболтали мы с ним в Луге, и пришлось расстаться: его поезд ушел раньше нашего. Я надеюсь еще повидать его в Петербурге — он остановился у брата на Симбирской улице.

В 12.40 приехал я в Петербург. Дома никого не нашел — квартира заперта. Наконец отыскал Михайлу в дворницкой, и он отворил мне квартиру. Антонины не было, а С[ергей] А[лександрович] второй день не показывался. <...> Книги мои свалены в кучу и заставлены мебелью. Не знаю, найду ли то, что нужно для занятий. Необходимо было бы поскорее найти квартиру и устроиться. Не знаю, как скоро это удастся. Читал в «Н[овом] вр[емени]», что в Ковенском переулке отдается за 50 р. квартира в 5 к[омнат] в доме № 11. Посмотрю, но, кажется, это дом несимпатичный, а я неуютной квартиры не возьму. Боюсь только, что теперь мне все без Юльки покажется неуютным и неприветливым. В дороге еще сносно было, а как въехал в Петербург, да домой приехал, так скучно и противно показалось, что я, напившись чаю и закусив ветчиной, удрал на Пороховые. <...>

Наш Путик тоже не выходит у меня из головы. Стоит закрыть глаза, чтобы видеть его милую рожицу. Вот тебе ответ на вопрос, люблю ли я его. <...>

Д. 6. Л. 1—8 об.

376

30 июня

Вчера, дорогой Юлек, я мало написал про Ефремовых. <...> Вениамин еще раз хлопочет о том, чтобы его перевели в Петербург, — и опять его обошли и назначили помимо него — младшего. Вот тебе и доброе расположение Софиано! Теперь служебное положение Вениамина такое, что ему, пожалуй, придется согласиться на назначение в Шостку председателем хозяйств[енного] комитета, т. е. на такое же место, какое на Охте занимает Гартвиг. В[ениамин] сказал, что не откажется от такого назначения, потому что иначе не знает, когда дождется повышения. Из Шостки его переведут опять на здешние Пороховые, когда уйдет Гартвиг, но это будет разве через несколько лет. Так как все это может скоро решиться, то мы рискуем остаться без Ефремовых. Это, конечно, жаль, но им в Шостке будет хорошо. Только Катя будет скучать. Ей тесно в семье. Странные люди, ведь мы с Юлькой и в глуши бы не скучали вдвоем, да еще с Путиком, не правда ли? <...>

Пробовал искать квартиру, цены ужасные: рублей 50 — 4 комнаты без дров, с дровами 65 и больше. А не то такая дрянь, что жить нельзя. Пока я видел только одну квартиру порядочную и то дорого — 48 р. без дров. Юлек, я чувствую себя беспомощным. <...> Сегодняшний день пропал для меня даром. Только теперь взялся за книгу, но в голову ничего не идет, и бросил, чтобы писать тебе. <...> Антонине я отдал жалование (из тех 24-х рублей, которые получил от В[ениамина] за купон), купил ей сахару и чаю ($^1/_2$ ф[унта] — 90 к.). С ней я поговорил и жалею, что это сделал. Она уже начинает надоедать мне своей болтовней. <...>

2 июля*

<...> Днем вчера мы с Адр[иановым], которого я похитил из Комиссии, ходили по Литейной части и искали квартиру. Много смотрели, но подходящую (и даже очень хорошую, красивую, веселую и светлую) нашли только одну — в том доме на Кирочной, где почтовое отделение (и, увы, 5-й этаж, и 50 р. без дров). Будем еще смотреть, но по Надеждинской вправо, включая Пески, мы исходили все, кроме Захарьевской и Шпалерной.

---

* Продолжение того же письма.

И вчерашний день прошел даром. Сегодня начал заниматься, хотя придется еще ходить искать квартиры. А Юля очень будет недовольна, если квартира окажется без дров? Может быть, придется согласиться на это. А можем ли мы платить 50 без или 60 с дровами? Дешевле пока ничего хорошего не видали. <...>

Д. 6. Л. 9—11 об.

377

3 июля

<...> Вен[иамин] рассказал, что около Медвежьего стана, где пороховые склады с 200 тысяч пудов пороха, горят на огромном пространстве торфяные болота; от этого пожара дым тянется до Петербурга. Пожар грозит складам, и если дойдет до них, то произойдут страшные взрывы. Мы вчетвером поехали смотреть. Доехали до полигона. Там Вениамин и Полонский нас бросили, а мы пошли искать пожар. Шли до 10 час. веч[ера] по горам и кочкам и ничего не видали. Все поезда пропустили, и пришлось идти на Пороховые пешком. Пришли около 12 ч. совсем измученные и остались ночевать. Только сегодня утром возвратились домой. Да: какие-то папины сослуживцы решили поднести папе по случаю 35-летнего юбилея его службы подарок, на котором непременно хотят изобразить герб дворянского рода Пресняковых.[325] Мне и Адрианову поручили отыскать этот герб, о существовании которого мы ничего не знаем. С[ергей] А[лександрович] обещал написать из Комиссии в департамент Герольдии, чтоб оттуда сообщили герб. Не знаю, что из этого выйдет. Сегодня я ездил искать этот герб в изданных «Гербовниках» и в Комиссию сказать С[ергею] А[лександровичу], что ничего не нашел. Вот какими глупыми делами [заниматься] приходится. В Комиссии кроме С[ергея] А[лександровича] и М[ихаила] А[лександровича] еще занимается приват-доцент из Одессы Александр Евгеньевич Белюгов. Юля хочет знать, за что я прежде всего принялся? Я еще и наполовину не прочел той книги, которую взял с собой на дорогу! Нет, в Домброве гораздо лучше было заниматься! От мамы еще не было письма, и денег папа не присылал. Относительно денег за дом, конечно, и то хорошо. Ведь с моей 1000 это будет 5, которых, надеюсь, мы сумеем не трогать, а через Вениамина из Гвард[ейского] общ[ества] будем получать за них 25 р. в месяц. <...>

Д. 6. Л. 13—15 об.

378

9 июля

<...> Я сижу дома один, Адрианов в Комиссии. Да и я только что вернулся с поисков квартиры. Та, о которой я тебе писал, уже взята, а другая, в нашем доме, несимпатична. Теперь у меня в виду еще 2: одна почти напротив нас, на углу Бассейной и Надеждинской, по-моему, славная, по 50 р. без дров, а другая на Литейной совсем хорошая,

с ванной; ее, может быть, уступят за 60 р. с дровами. Хотят 65 р. Обе в два хода. Сегодня придется решить с ними. <...>

А все-таки я целую неделю не писал тебе. Больно суетливо было. Бегали смотреть квартиру — а их у нас мало, и такие они либо дорогие, либо гадкие! Затем, каюсь, и погрешили. В субботу вечером пришел к нам и Белюгов — я писал тебе о нем — это очень милый и интересный человек. Пошли гулять, проехали на острова на пароходе и попали в Аркадию.[326] Впрочем, мы там только сидели на балкончике и пили пиво, много спорили и болтали, а все-таки вернулись домой к 4-м часам. Юлек не очень сердится за это? А в воскресенье поехали втроем: Адрианов, Белюгов и я — на Пороховые, где пробыли целый день. <...> Ефремовы предложили нам ехать с ними в Петергоф. Мы и ездили вчера. Поехали от нас, путешествовали на пароходе при сильном ветре, но, по счастью, почти без качки. В Петергофе обедали в ресторане, затем катались в ландо и любовались фонтанами. Ах, Юлек, какая это прелесть! Ты ведь, кажется, не была в Петергофе? Мы должны как-нибудь съездить с тобой. Так это все свежо и изящно. На Иматру я не поеду, не поеду и к тебе, потому что денег у меня совсем не хватит, не знаю даже, как справлюсь. Ведь кроме квартиры (а взять придется, пожалуй, с 15 июля) мне к концу августа необходим вицмундир, да и времени ужасно мало. Теперь надо сидеть совсем смирно. <...>

Занятия мои, конечно, хромают на обе ноги и будут хромать, пока я не покончу с квартирой. Форстена так и не видал, Платонова тоже, хотя, говорят, он в Петербурге. <...>

Д. 6. Л. 26—28 об.

379

12 июля

Милая, дорогая моя Юля, только что получил твое письмо и сажусь отвечать. <...> Что касается квартиры, то, как ты, верно, уже знаешь из моего 4-го письма, ее у нас перехватили. Много мы еще искали и наконец наняли, опять оба вместе в одном дворе, хотя и в разных домах. Это дом Тупикова, на Литейной, д. № 9, против Фурштатской. Наша квартира в третьем этаже с двумя ходами. Окна во двор, но довольно большой и очень чистый. <...>

Надеюсь, что эта квартира понравится Юле. За нее назначили цену 65 р. и не хотели уступить, зато отдали с 1 августа, так что я месячную плату выгадал, что и составит разницу по 5 р. в месяц. Конечно, нам это слишком дорого, но делать совсем нечего, так как квартир совсем мало и с каждым днем становится все меньше. Так, до 1-го августа мы остаемся здесь, а потом переезжаем вместе. Его[327] квартира напротив нашей — в 5-м этаже, 5 комнат, но ход мимо кухни, один, и кухня совсем темная. Швейцара ни у нас, ни у него нет.

С тех пор как свалилась с плеч забота о квартире, я опять получил возможность и способность заниматься. Только городской шум оказывает свое действие, и я, избалованный деревенской тишиной в Домброве, медленнее подвигаюсь и больше трачу усилий на то, чтобы сосредоточиться. <...>

Сегодня вечером пойду к Платонову, он нас звал (я его не видал, но он заходил к С[ергею] А[лександровичу] в Комиссию). Не знаю, пойдет ли С[ергей] А[лександрович], он куда-то исчез. На всякий случай я и Шефферу оставил записку, что он хорошо бы сделал, если бы побывал у Платонова. Такие-то дела, мой Юлек. Квартира у нас есть, но такая, что нам придется, живя в хорошей квартире, сильно сжаться в других расходах. Надеюсь, что мою славную, милую Юльку это не очень пугает. Но как мы справимся, если у нас на все остальное останется каких-нибудь 120 р. в месяц. Люди умеют жить на это. А мы сумеем ли? Надо учиться. <...>

Д. 6. Л. 29—32 об.

380

17 июля

<...> Тут я наконец виделся с Платоновым и Шеффером. У Платонова я в пятницу провел целый вечер. Мы с ним вдвоем сидели, больше никого не было. Он много интересного рассказывал про свою поездку за границу. А меня он уговаривает непременно в сентябре держать магистерский экзамен и теперь советует начинать с русской истории. Я уже и не напоминал ему, что сам он настаивал, чтобы я начал с Кареева. У него всегда так: семь пятниц на одной неделе. Он серьезно думает, что я могу держать у него экзамен, вовсе не готовясь. А я думаю, что он пустяки говорит. Ну, да там видно будет. Пока я продолжаю готовиться по новой истории. Эпоху Возрождения более или менее закончил и теперь взялся за историю английской конституции. Много еще надо прочесть.<...>

Вен[иамин] собрал сведения и узнал, что в Шостке, если его туда пошлют, у него будет отличная квартира и что там можно хорошо устроиться. Решили ехать, если, конечно, предложат. Официально пока ничего не известно, и Вен[иамин] не любит с чужими говорить об этих планах. Но назначение это очень вероятно. Тогда мы лишимся Ефремовых. А Бориса им придется отдать в Киевский корпус, который, говорят, очень хорошо поставлен, лучше всех петербургских. Во всяком случае, может, еще полгода пройдет, пока этот вопрос будет решен. <...>

Прошел слух, что Г[еоргий] Вас[ильевич] опять в Петербурге. Кто-то видел его на улице. Говорят, что он все-таки едет в Стокгольм. Какой-то доктор успокоил его, и совершенно напрасно, потому что гнойные трещинки в горле не шутка, а дело тяжелое, и бороться с ними надо энергично. Эх, некому его в руки взять. Вот и Серг[ей] Алекс[андрович] все пищит, что никто не хочет его в руки взять, а сам он малодушествует и бездельничает. Слабосильная команда. Впрочем, обещает исправиться. <...>

Д. 6. Л. 33—38 об.

381

20 июля

Дорогая, милая моя Юля, если ты догадаешься послать 23-го в Прены, то, вероятно, и получишь письмо это в годовщину нашей свадьбы. <...> Вспомни, Юлек, эти дни, год тому назад, дни, в которых для тебя было больше горя и сомнения, чем радости, и которые все-таки взяли свое и принесли нам наше счастье. Только теперь, через год, я спокоен; только в Домброве Юля совсем твердо сказала мне, что она моя, совсем моя. Помнишь этот вечер перед моим отъездом, который согрел и светом наполнил Санину душу. <...> Пишу тебе из города, куда я случайно попал с Вениамином. Два с половиной дня мы с Адр[иановым] провели на Пороховых. На поверку оказывается, что там спокойнее и удобнее заниматься, чем в городе. Одно то, что дышится легче. А в эти жаркие дни в городе довольно несносно. Сейчас придет Вениамин, и мы поедем обратно. Много писать поэтому не придется. Да я и не собирался что-нибудь тебе рассказывать. Просто хотелось послать Юле к 23-му кусочек своего сердца, хотя оно все всегда с тобой, мое счастье.<...>

Д. 6. Л. 24—25 об.

382

28 июля*

Милый, дорогой мой Юлек, пишу тебе с новой квартиры (Литейная, 9, кв. 26), куда мы вчера переехали. <...> Мы решили переехать, потому что управляющий дома (он один из наследников Тупикова, которые вместе владеют домами) сам предложил нам переехать раньше августа. Собрались сразу. Третьего дня начали укладывать книги. Купили 4 больших ящика из-под яиц, и С[ергей] А[лександрович] уложил в них часть книг. Послали еще за тремя ящиками, а сами уехали к Платонову и просидели там весь вечер. Вчера утром, когда ломовые были уже во дворе, мы уложили еще 3 ящика книг. И все-таки даже мои книги вошли не все. Остальные пришлось просто свалить в куль. А книги Адрианова поехали в его кушетке и просто в передке подводы. Посуду уложила Антонина в какие-то ящики, которые дали ей дворники. От наших прежних ящиков, конечно, и воспоминания не осталось. Ну, как бы то ни было, наспех уложили и свезли все на 3-х подводах сюда. К 2-м часам были уже на новой квартире. Но одной подводе пришлось съездить еще раз отдельно за умывальником и всякою мелочью. Я ездил с этой подводой и путешествовал по Литейной на ломовом. <...>

В первый же день у нас были гости. Заходил Полонский на минутку и уехал к Голованям. <...> Заходил Панченко, вернувшийся из Парижа. С ним С[ергей] А[лександрович] встретился 22 июля у Васильевских на даче (это были именины m-me Васильевской). <...> Головани живут в Финляндии, не доезжая Иматры. Он жалуется, что к нему никто не едет. Адр[ианов], вероятно, поедет, хотя у него опять начинается рабочая пора. Он наконец дебютировал в «Северном вестнике» статьей о книге Сергеевича (по русской истории).[328] <...>

---

* Опущено письмо от 22 июля (Д. 6. Л. 17—18 об.).

Форстен пишет из Стокгольма, куда он поехал заниматься. Из письма его видно, что он не собирается на съезд в Ригу.[329] А между тем неудобно ему не ехать. Факультет его назначил и даже денег дал на поездку. Платонов советует уговорить его поехать. Да ведь он никого не послушает. Я думаю написать ему в Стокгольм, тем более, что он жалуется будто его «субботники» его забыли. <...>

Д. 6. Л. 20—23 об.

383

1 августа

<...> И у нас пошли холода. Серо и сыро. Вчера мы с С[ергеем] А[лександровичем] ездили в Шувалово и совсем замерзли. Петербург берет свое и за жаркое лето платит холодной осенью. Это имеет свою хорошую сторону — по крайней мере чувствуешь себя бодро и голова лучше работает. Август, который кажется мне таким бесконечно длинным, когда я думаю о твоем возвращении, очень для меня короток, как только вспоминаю о том, сколько у меня еще дела. В квартире у нас пока еще большой беспорядок. Полки еще не устроены, и потому ящики с книгами загромождают первую комнату. Ну, да на днях все это устроится. Дни за днями идут у нас однообразно. Изредка кто-нибудь заходит.<...> Из «наших», кроме Ел[ены] Вл[адимировны], есть сведения о Полиевктове. Он живет около Риги, в Майорингофе, и теперь, вероятно, в Риге на съезде. <...> Г[еоргий] Вас[ильевич] уехал-таки в Стокгольм. Я писал ему, но ответа еще не получил. <...>

Д. 6. Л. 39—40 об.

384

7 августа

<...> С деньгами я устроюсь, так как ведь я еще с курсов получу жалование за август. А папа прислал мне 75 р., не считая, что я вперед получил. <...> Слава Богу, море пошло впрок и тебе, и Путику. <...> Мама писала тебе к 23-му в Домброво, потому что Петр Вик[ентьевич] сказал ей, что вы в Либаву не поедете, так как весь город сгорел! Петр Викентьевич, проезжая через Харьков, вызвал папу и маму на вокзал. Мама нашла его в духе; он доволен тем, что Шереметев остается на Кавказе. Петр Викентьевич много рассказывал про тебя и про Путика. Внуком он очень доволен, говорит, что он прелестный, очень сильный, чуть не бегает.<...>

В понедельник мы остались ночевать, потому что Вениамин Николаевич предложил нам показать мелинитовый завод, который уже готов. Приехал и Федор Ал[ексеевич] Постников, казак с Амура — помнишь его? <...> Вениамин Николаевич все нам показывал и рассказал все производство. А вечером Адрианов, Постников и я уехали в город.

Квартира наша принимает постепенно культурный вид. Вчера наконец плотник сделал мне полки. Я к старым прибавил еще 2 аршина. Теперь мои книги стоят в порядке, в один ряд, по алфавиту. Вчера вечером мы с Адриановым до 2-х часов возились с их расстановкой. Кстати, я пересчитал их — около 1000! Сегодня явился полотер (у нас в двух комнатах паркет), натер полы.<...> Вообще изъяны разные замечаются. Разбито стекло на большой твоей акварели; моя лампа не хочет гореть и т[ому] под[обные] неизбежные следствия всякого переезда. Пока я не решаюсь развешивать картин. Боюсь, что повешу не так, как ты бы хотела. .

Теперь сижу и жду полковника.[330] Он сегодня у нас обедает. <...> Для угощения его купил водки, осетрины в пикулях и арбуз. <...>

Ты спрашиваешь про мои занятия. Не много я сделал. Кончив ту книгу, что я из Домброва на дорогу взял, я прочел еще только одну — по истории Англии, теперь принимаюсь за три томика по-английски, а кроме англичан у меня еще много чтения по Франции. Все это для Кареева. А в октябре Гревс и К° потянут меня к ответу за лекции Васильевского.[331] Ну, Бог не без милости! <...> Вениамин пообедал у нас и уехал, а за ним пришел Полонский. Он обедает у нас в 6 час[ов], а мы в 4. Ты ведь знаешь, что он живет в Шувалове на даче. Теперь у нас настали дождливые и холодные дни, так что он хочет уже перебираться в город. Бедный мальчик, совсем извелся. Служба его тяготит, она не по нем. А дела по себе не может найти. Между тем он и способный, и даже энергичный, когда что-либо его заинтересует. Человек он незаурядный, и попади он на свое место, мог бы быть очень полезным. Но где оно, это «свое место» для него? <...>

Д. 6. Л. 41—45 об.

385

11 августа

<...> Сегодня я совсем один. С[ергей] Ал[ександрович] вчера уехал в Шувалово, должен был вернуться, п[отому] что у него масса дела, но теперь уже второй час, а его нет. На дворе пасмурно, опять дождь идет. Слава Богу, у вас там еще не испортилась погода. Как долго думаете вы пробыть еще в Либаве? А потом ты еще поживешь в Домброве? Дело в том, что Вен[иамин] Ник[олаевич] не оставляет мысли о приезде за тобой, и мне очень бы хотелось, чтобы это состоялось, чтобы ты не ехала одна. А ведь может так выйти, что мне и на вокзале не придется тебя встретить, если в этот день будут уроки. Хорошо было бы рассчитать так, чтобы ты приехала в воскресенье или в праздник. Но Вен[иамину] Ник[олаеви]чу нужно заранее, пожалуй, за неделю, знать, когда ему ехать. Он считает неудобным уехать incognito и должен взять отпуск в Главном артиллерийском управлении <...>

Д. 6. Л. 48—50 об.

386

19 августа

Милый, дорогой мой Юлек, письмо твое я получил еще вчера и хотел было тотчас ответить, но произошло неожиданное обстоятельство: появился Голована. Он приехал с дачи, чтобы ехать в Нижний Новгород на выставку. У нас пробыл целый день, ночевал и уехал сегодня. Вчера и Адриановы переехали с дачи, обедали у нас. В этой сутолоке я и не собрался написать тебе, моя дорогая. Голована все такой же, только его детская веселость, какая у него бывает, реже его посещает, и чаще берет верх уныние, и он все больше заслуживает злой клички «кисляя», как называет его Ел[ена] Влад[имировна], когда не в духе. В Нижний он уехал один, потому что Полонскому, который тоже собирался ехать с ним, оказалось неудобным сбежать со службы. <...>

Был я сегодня в институте и на курсах. В институте еще ничего нет, но я оставил свой адрес для Струве, которого на днях ждут из-за границы.[332] Зато на курсах видел всех трех дам наших и Половцева. Я заходил туда для того, чтобы заранее переменить расписание так, чтобы у меня было по 2 лекции по средам и субботам. В остальные дни буду давать уроки в институте. Обещали устроить. Теперь придется еще съездить на Васильевский остров в канцелярию Мариинских учебных заведений, чтобы раздобыть себе настоящий паспорт, а то, говорят, что нельзя вечно жить по такой фантастической книжке, как моя, а нужно получить новую от начальства.

Ты спрашиваешь, откуда у меня столько денег. Теперь ты, вероятно, получила мое письмо, где я объясняю свои доходы. Ведь я у Вениамина взял 100, да папа прислал мне на 50 р. больше, чем следовало. Я не только не стесняю себя, но заказал вицмундир в 50 р. и купил 2—3 книги. Сегодня я встретил Чечулина, и он сообщил: одна из моих статей будет напечатана в сентябре. Я не знаю, которая это из двух написанных еще в апреле, и теперь не помню, насколько они велики и на что можно рассчитывать.[333] А все-таки кое-что перепадет.

Вот уж и середина августа. Положим, до твоего приезда еще слишком долго, но зато до начала зимних занятий — слишком мало времени. Трудно себе представить, как это я буду преподавать институткам. На курсах я уже освоился, а тут что-то совсем другое. <...>

Д. 6. Л. 51—53 об.

387

18 августа

Милая, дорогая моя Юля, я пишу тебе с Пороховых, куда приехал понаведаться. Нового у Ефремовых пока ничего. Завтра утром мы с В[ениамином] Н[иколаевичем] поедем в город, и он, может быть, узнает что-нибудь о своих делах в Главном артиллерийском управлении. Я гощу у них четвертый день (хотя вчера ездили в город примерять вицмундир). Этим приездом моим в город С[ергей] Ал[ександрович] (который живет у нас, хотя семья его и переехала в город) воспользовался, чтобы съездить со мной к Платонову. Платонов вернулся из Либавы, и потому нам интересно было послушать его рассказы. Положим, интерес этот больше сплетнический и скандальный. Врожденное отношение графини Уваровой, которая председательствует в Московском археологическом обществе и на съездах, к Императорской Археологической Комиссии (т. е. к Спицыну) и к Петербургскому археографическому обществу (т. е. к Платонову) — разразилось резкими выходками сперва за обедом археологов, а затем и в публичном заседании. Мне особенно обидно, что графиня грубо обидела Спицына (хотя он и не знает всего, так как за обедом его не было). Казалось бы, ей по ее положению следовало бы быть воспитанной, а она умеет держать себя не лучше любого семинариста. Теперь, конечно, на будущем съезде (в Киеве), верно, не будет почти никого из петербуржцев. Вообще я совсем не жалею, что не попал на этот съезд. Там одно только было бы приятно — это возможность поближе познакомиться с Дьяконовым, дерптским профессором, который после Милюкова самый интересный из молодых ученых и очень симпатичный, потому что это один из немногих культурных людей в нашей бесшабашной ученой семье.

Платонов теперь усиленно работает и, кажется, серьезно затеял через год быть доктором. Ведь в ноябре докторский диспут его младшего товарища Чечулина, да в этом же году старший из его учеников Рождественский будет таким же магистром, как он. Все вперед подвигается, надо мне хоть бы экзамен сдать. <...>

Д. 6. Л. 54—55 об.

388

21 августа

<...> Я пишу тебе опять с Пороховых, но, вероятно, сегодня же уеду в город, потому что книги, взятые мною сюда, исчерпаны. Да и вообще теперь надо быть в городе. Могут прийти за мной из института. Кончается мое свободное время, которым я, увы, конечно, воспользовался слишком мало. Что будет с моими бедными экзаменами? А нужно, ох как нужно, сдать их. Они висят над душой и мешают делать какое-нибудь свое дело. А пора приниматься за какую-нибудь серьезную работу. Столько кричали про мои будто бы незаурядные способности, а в чем они проявились? Ел[ена] Влад[имировна], одна из «верующих» в меня, справедливо бранит мою непроизводительность.<...>

После холодов у нас опять стоят хорошие, свежие и ясные дни. Барометр все подымается. А бабушка все жалуется на «тропическую» жару. Авось и у вас погода не испортится и даст вам возможность и остальным временем хорошо воспользоваться. <...>

Д. 6. Л. 58—59 об.

389

23 августа

<...> Теперь я второй день дома, а то все оставался на Пороховых, отчасти из экономических соображений, так как оказывается, что с курсов раньше 27-го денег нельзя получить. Ну, да это все пустяки. Я только что вернулся из Комиссии, куда отправился, чтобы там упаковали какие-то картинки для волшебного фонаря. Дело в том, что я получил от Г[еоргия] Вас[ильевича] записку с просьбой взять у него на квартире и выслать в деревню эти картинки — для его школы. Его ждут в Петербурге 28-го или 29-го. Понемногу все начнут съезжаться. Уже чувствуется приближение сезона, а с ним и зимних занятий, чему как-то не особенно рад. <...> О себе мне совсем нечего рассказать. Читаю кое-что, впрочем, сегодня больше болтал с Мар[ией] Алексеевной в Комиссии (Сер[гей] Ал[ександрович] ушел в Публич[ную] биб[лиоте]ку). Скоро, вероятно, опять удеру на Пороховые. Там все-таки не так скучно, хотя, как я тебе писал, и там, благодаря ефремовским волнениям, не блестяще. Может быть, завтра уеду туда с книгами. Во всяком случае в городе надо бывать. Завтра будет готов мой вицмундир. Курьезный наряд, прости Господи! <...>

Д. 6. Л. 60—62 об.

390

27 августа*

<...> Я вчера только вернулся с Пороховых. В воскресенье приезжал туда С[ергей] Алекс[андрович] и сообщил, что Платонов зовет меня на понедельник к себе. Дело в том, что приехал один историк из Киева, Завитневич, и должен был быть у Платонова. Были еще Середонин и Спицын. Надежда Никол[аевна] еще на даче, так что за столом Серг[ей] Фед[орович] один хозяйничал и, пользуясь отсутствием жены, угощал нас даже красным вином. Посидели довольно долго, поболтали, посплетничали, набрались всяких ученых и неученых новостей — все по-старому. Серг[ей] Фед[орович] усиленно работает над своей диссертацией и хочет, по-видимому, кончить ее в нынешнем году.[334] <...>

Говорят, что приехал Форстен, но я его еще не видал. Сегодня мне нужно зайти на курсы. Может быть, удастся получить наконец жалование. <...>

Д. 6. Л. 66—68 об.

391

29 августа

<...> А у нас совсем осень — я несколько раз даже печи топил. Да и правда, ведь конец августа пришел! Послезавтра получу в институ-

---

* Этим числом датировано два письма, одно из которых (Д. 6. Л. 63—65 об.) мы опускаем.

те расписание уроков, а с 4-го сентября начнутся уроки. Послезавтра мне, может быть, придется экзаменовать каких-нибудь институток, это будет очень неприятно, потому что я не знаю их обычаев, даже не знаю хорошенько, что они проходили, потому что программы в нашем институте очень коротенькие и неполные. А на курсах у меня экзамен назначен на 7-е сентября. Значит, лекции начнутся позднее.

Во всяком случае, приходит время приниматься за дело. <...>

Завтра едем на Пороховые справлять мои и Шуркины именины. Поедет С[ергей] Ал[ександрович], обещали приехать Мар[ия] Алекс[еевна], а может быть, и Георгий Вас[ильевич] соберется. У него мы вчера вечером были, он бодрый и веселый, выглядит много лучше, и спать стал, хотя не так хорошо, как прежде. В Стокгольме много работал в архивах, часов по семи в день, и это ему не повредило. Но все-таки он не решается взять уроков у Гуревича. От заграничной поездки он в восторге, с большим оживлением и очень ярко и много рассказывал про Стокгольм и Швецию. У него мы видели и Голованя. О смерти отца он узнал из телеграммы, которую получил в Самаре. Ему послали наугад в несколько пунктов, и одна его поймала. Он потрясен чуть ли не больше всех из семьи, бледный, худой, как Адрианов. И так он изменился в каких-нибудь 2—3 дня. Теперь жить ему, вероятно, придется в Царском, а на уроки — приезжать в город.

30 августа*

Только что, дорогой Юлек, я получил письмо от мамы, с поздравлением и деньгами. <...> Про папу мама пишет, что ему служащие на Азовской дороге (24 человека) поднесли по случаю 35-летия его службы брелок в $^3/_4$ вершка, в виде книжки. На переплете с одной стороны цифра «35» из мелких бриллиантов, а с другой — инженерный знак, имя, отчество и фамилия; книжечка открывается, и там фамилии 24-х участников по алфавиту. Очень мило задумано, не правда ли? Пишет еще мама, что получила телеграмму от Бунге с просьбой сообщить адрес Карповича. Мама не знает, что это значит. А я слыхал, что Палашковский, Бунге и К° затеяли колоссальное дело. Они хотели купить Большую Иматру, но финляндское правительство отказалось продать ее. Тогда они купили Малую Иматру, которая принадлежала частному лицу, и хотят воспользоваться напором воды, чтобы оттуда провести электричество для освещения Петербурга.[335] Такой пример есть только в Америке, где Ниагара работает для электрического освещения. Но и то — на гораздо меньшем расстоянии. Они уверяют, что если их план удастся, то освещение будет стоить чуть ли не втрое дешевле. Не на эту ли работу хотят взять Карповича? Я буду рад, если Бунге вырвет его с Кавказа. <...>

Д. 6. Л. 69—72 об.

---

* Продолжение того же письма.

392

2 сентября

<...> Наши начинают понемногу собираться. 30-го мы с Пороховых (со мной ездили туда Адр[ианов] и Мар[ия] Ал[ексеевна]) вернулись рано и зашли к Полонским, чтобы повидать старика. Туда явился и Лапшин, только что приехавший из деревни. Приехал он загорелый, веселый и бодрый. Только к своему будущему курсу на Бестужевских курсах он относится с большим недоумением, потому что ничего не приготовил, а только читал летом романы Сенкевича. Сенкевич у нас теперь в большой моде. Благодаря приезду Ив[ана] Ив[ановича] мы вечер у Полонских провели очень весело, а на другой день у меня обедали Полонский, Лапшин, Адрианов и Штруп, приехавший из Нижнего. Штруп много рассказывал о выставке, больше всего про различные безобразия, которые на ней происходили.[336] Он, кроме того, хотел видеть нас, чтобы предложить «форстеновскому кружку» взяться за издание целой популярно-научной библиотеки. Для этого издания в Вольно-экономическом обществе есть капитал в 90 тысяч р[ублей], которым, по его словам, мы можем воспользоваться. Затея крупная, но едва ли из нее что-либо выйдет, хотя мы и согласились. Вчера у меня Головань был, совсем развинченный и унылый. Гуревич на нынешний год дал ему меньше уроков, чем в прошлом году, а его это раздражает.

Вот все наши «кружковые» новости. <...>

Что касается моего преподавания, то уроки начнутся в четверг, 5-го сент[ября]. Расписание составили так, как я хотел. Я буду занят в институте по понедельникам и вторникам от 9 до 12-ти, по четвергам от 10 до 12, а по пятницам от 9 до 11. В среду и субботу буду читать на курсах. Завтра, в 2 часа, в институте совет, на котором надо быть.

Когда ты, дорогой мой Юлек, приедешь, весь мой режим уже наладится, все войдет в свою колею. <...>

Д. 6. Л. 73а—75 об.

393

6 сентября

Милая, дорогая моя Юля, эти дни я не собрался написать тебе, потому что больно много разных хлопот было. Начались мои уроки. Вчера и сегодня я по одному разу был в 4-х моих классах. В общем дебют мой был гораздо проще, чем я думал. Во всех классах я занялся тем, что расспрашивал о пройденном в прошлом году, и, к удивлению своему, убедился, что девицы все главное помнят довольно порядочно. С будущей недели начну проходить новый курс. Как-то Бог поможет.

Классы небольшие — по 25—26 человек, и, конечно, на уроках присутствуют классные дамы, но дама сидит в углу и ничем не заявляет о своем присутствии. Вводил и представлял меня каждый раз инспектор. Итак, я начал учительствовать. На днях мне предложили 4 урока в Коломенской гимназии. <...> После долгих колебаний и препирательств с инспектором полиции, очень симпатичным господином, я в конце концов не решился взять эти уроки, пока у меня на шее магистерский экзамен. Я не сразу решился отказаться, п[отому] что это все-таки 20 р. лишних. <...> Так понемногу «сезон» входит в колею. Завтра «первая суббота» у Георгия Вас[ильеви]ча. Вероятно, появятся до сих пор не показывавшиеся на нашем горизонте В[ера] В[икторовна] и Ел[ена] Вл[адимировна].

Полиевктов приехал и хорошо устроился. Кракау дал ему 15 ур[оков], и он будет получать 75 р. в месяц. Зато у Голованя Гуревич уменьшил число уроков. Лапшин волнуется и малодушествует по поводу своих лекций по педагогике на курсах, а Введенский очень недоволен, что он ничего не приготовил для этого курса за лето. Вот тебе отчет о положении наших «кружковых» дел. <...>

Д. 6. Л. 76—77

394

8 сентября

<...> У меня теперь много разного дела. И к урокам, и к лекциям надо готовиться. Относительно уроков меня больше всего смущает, чем наполнить целый час так, чтобы не было очень скучно. Задача мудреная. Лекции начнутся в среду, 11-го. Я не знаю, придется ли мне уже читать в среду. Молебен назначен в час, а если у меня от 12 до 2-х, то, очевидно, ни первой, ни второй лекции не будет; а в следующую субботу праздник; так что я, может быть, начну только в среду на следующей неделе, 18-го. Вчера я экзаменовал тех курсисток, которые не явились весной на экзамен или провалились. Из 19 теперь пришло только 10. Я экзаменовал их очень легко и даже Ясевич поставил 10, хотя ей больше 8 не следовало. Лядинской и еще одной по 12 поставил. Я очень не люблю этого занятия — ставить отметки, а теперь в институте придется привыкать. <...>

Чечулин наконец напечатал одну из моих статей и должен на днях прислать мне 25 руб. А Полиевктову Васильевский заказал для Жур[нала] М[инистерства народного просвещения] статью о Рижском археологическом съезде. Из «наших» я не видал еще Веры Викторовны. Знаю, что она приехала одна, так как ее сестру не приняли на курсы. Туда теперь масса народу стремится, так что принимают только кончивших с медалями. Многим отказывают. И у них на этой неделе начинаются занятия. Марья Алексеевна по этому случаю в ажитации и хлопочет об устройстве своих планов. В этом году она будет все еще руководить практическими занятиями по русской истории в качестве во́льной художницы, без определенного положения на курсах. Но я слышал, что С[ергей] Фед[орович] хочет с будущего года устроить ей такое же положение, как В[ере] В[икторов]не. Сам я его давно не видал. Никак не узнаешь толком, какие у них будут среды. Чечулин говорит, что каждая 2-я и 4-я в месяце (значит, первая — 11-го сентября), а Мар[ия] Ал[ексеев]на, что по четным числам месяца (значит, первая — 18-го). <...>

Д. 6. Л. 80 об.—82 об.

395

9 сентября

<...> Что касается моих дел, то пока они идут недурно. Сегодня я благополучно дал еще три урока. Жаль только, что с приготовлением к урокам и к лекциям совсем не остается времени для остальных дел. Ну, да это наладится. Много, конечно, зависит и от бездельных привычек. Сегодня к 20 мин[утам] первого кончились мои уроки, а домой попал к трем; по дороге зашел в Комиссию и застал там М[арию] А[лексеевну], Ел[ену] Влад[имировну], Адр[ианова], Полиев[ктова], Лапшина, Майкова — целую компанию: ну, и заболтались. Теперь нужно немножко подготовиться к завтрашним урокам, да 2 лекции к среде подготовить, на тот случай, если они начнутся действительно в среду.

На курсах у нас разные тревожные слухи. Говорят, что Рашевский очень был болен и хотя поправился, но едва ли будет продолжать службу. Если он в самом деле уйдет — кого-то нам дадут? Если у нас теперь чувствуешь себя недурно, то именно благодаря ему. Начальница совсем не симпатичная, но при Рашевском она почти безвредна. А при другом — не начнется ли новое направление?

Дело с уроками в Коломенской гимназии кончится, кажется, тем, что получит их наш товарищ Ястребов. Мне по этому делу пришлось вчера зайти к Ветвеницкому, инспектору. <...> Он очень милый и славный и встретил меня с большим расположением. Право, даже жаль, что я не попаду в его гимназию. Ну, да раз сглупил — дело не поправишь. <...>

Д. 6. Л. 83—84 об.

396

13 сентября

<...> На курсах лекции начались в среду — я читал одну, на III курсе, т. е. бывшим моим второкурсницам. Пришел простуженный, охрипший, без голоса. Зато не плутал, а говорил довольно свободно и думаю продолжать в том же духе. Лекции мои назначены в среду от 1 до 3-х, и в субботу, от 2-х до 4-х. Уроки в институте идут пока недурно. Девицы хорошо слушают и плохо отвечают. Первое — слава Богу, а от второго придется их отучать. Отметок я, конечно, пока еще не ставил. Вчера вечером мне большое удовольствие доставила конференция по вопросу о пересмотре программ. Начали с новых языков. Наши преподаватели (оба с Педагогич[еских] курсов) вызвали целую бурю, требуя нового метода преподавания — без переводов, без грамматики, без употребления русского языка на уроках иностранных языков. Их усиленно поддерживает инспектор, и, кажется, победа останется за ними. Дай Бог! Против них только классные дамы, существа, как известно, зловредные, — и рутина. С интересом жду, когда дойдет дело до пересмотра программ по истории и русскому языку. Из этого ты можешь видеть, что я в обоих моих учебных заведениях пока чувствую себя недурно.

В эту среду у Платоновых была первая «среда» Ты помнишь, как они странно поставили вопрос о «средах» прошлой весной. Ведь прямо говорили, что старых «сред» не хотят, что будут только мужские среды etc. И действительно, собрались только кое-кто из нас. И представь себе, что это вышло очень неловко: стол был накрыт так, будто ждали много народу, и в том числе девиц. Платонов прямо спросил о «наших» барышнях. Вот и разберись с ними. Вышло неудобно — за большим столом с фруктами и конфетами — сидела одна m-me Милюкова, да мы с Полиевктовым появились на минуту. А то все другие сидели в кабинете. M-me Платонова очень расспрашивала о тебе и просила не забывать их, когда ты приедешь. Из-за чего же они, бедные люди, огород городили весной? А теперь поставили себя в неловкое положение.

У Георг[ия] Вас[ильевича] первая «суббота» завтра. Конечно, «все там будем». Из «наших» я еще не видел Веры Викт[оровны]. <...>

Д. 6. Л. 87 об.—89 об.

1897

397

11 марта

<...> Убиваю время на посещения. Много их накопилось, но пока я только один нужный визит сделать успел — был в понедельник у Дружинина. Ты помнишь, что я у него давным-давно взял пачку книг о расколе. Пора было наконец их вернуть. Странное дело — я начинаю все хуже чувствовать себя у него. Чечулин для меня вовсе несносен, да и другие как-то скучны. Портится твой Санька.

Во вторник был у Бобринских, а следующий урок — в пятницу на Святой. Сассо начнет заниматься в субботу на Святой, а Оливы — в среду на Фоминой неделе.

Вечером во вторник, конечно, опять попали к Чуйкам — Ив[ан] Ив[анович], Серг[ей] Ал[ександрович] и я. Был и Флексер. Опять Ив[ан] Ив[анович] ссорился с Ел[еной] Вл[адимировной], и оба довели друг друга до искреннего огорчения. Ах, дети, дети! Беда с ними. Теперь эти дети разыгрывают совсем странную трагикомедию, которая повторяется каждый год перед именинами Георгия Вас[ильеви]ча, 11 марта. Опять Васькова с Хардиной затеяли посылать цветы. Ел[ена] Влад[имировна] — против, остальные равнодушны и скорее против, как, напр[имер], мы с С[ергеем] Алекс[андровичем]. Ну и написал С[ергей] А[лександрович] письмо, что, мол, «субботников» нет, внутренней солидарности нет, а стало быть, нечего и совместно подарки делать. Что из этого выйдет — не знаю, но Ел[ена] Вл[адимировна] и Мар[ия] Ал[ексеевна] решили вдвоем от себя что-нибудь послать, а мы с С[ергеем] Ал[ександровичем] покупаем кусок материи для школы. Это бы все ничего, но ты знаешь, что у нас за публика, ничего не может просто сделать, а все с нервами. <...> В выходках наших девиц звучат иногда странные нотки. Недоброжелательство к Васьковой и Хардиной за то, что они «новые» на «субботах», ревность из-за них к Г[еоргию] Вас[ильевичу] и к нам. Голованя за их дружбу с ними М[ария] Ал[ексеевна] вовсе бракует. Глупо и мелко это, а обидно, что ведь барышни наши очень хорошие, а дурят.

С[ергей] Ал[ександрович] тоже дурит — двенадцатый час, а он вставать не хочет, лежит и префальшиво что-то напевает. Просит тебе очень кланяться.

Еще одно «событие» В среду мы были у Лидии Карловны, где Штруп, Лапшин и один их знакомый тенор из М[инистерст]ва юстиции показывали «Садко» Римского-Корсакова. Кроме нас с Ел[еной] Вл[адимировной], никого не было. Вот жаль, что не было тебя. Чудная музыка — даже в их исполнении. Ел[ена] Влад[имировна] совсем в упоении. Так хорошо было, так поэтично, удивительно изящная вещь. У Штрупа с С[ергем] Ал[ександровичем] новый проект. Штруп мечтает устроить типографию под титулом «университетской», и Адрианов находит, что это возможно. У Штрупа есть знакомые, которые будто бы дадут денег для начала, а вести дело предстоит С[ергею] Ал[ександровичу]. Верно, это такой же мыльный пузырь, каких уже много полопалось. <...>

Д. 6. Л. 90—92

398

12 марта*

Как хорошо в Петербурге, дорогой мой Юлек, а тебя со мной нет. Солнце светит вовсю, ясно и тепло. Одно плохо, что заниматься нужно, и усиленно, а охоты мало. <...>

Вчера Г[еоргий] Вас[ильевич] объявил, что восьмой класс — дело решенное, но только один урок в неделю. Это не ахти мне что, но нужно прочесть хорошо, значит, и готовиться основательно. Греческая культура дело до чрезвычайности интересное, а это значит, что и читать я буду втрое больше, чем нужно. Так уж создан Алекс[андр] Пр[есня]ков.

Вчера, как ты знаешь, были именины Г[еоргия] В[асильеви]ча. Жаль, что я не напомнил тебе об этом, чтобы и ты его поздравила. Нам было очень хорошо и весело, Г[еоргий] В[асильевич] много пел, и даже Ив[ан] Ив[анович] разошелся, и играл, и пел, даже за тенора. <...> Г[еоргий] В[асильевич] получил роскошную корзину цветов от В[аськовой] и Хард[иной], по корзинке от Ел[ены] Вл[адимировны] и от Мар[ии] Ал[ексеевны]. Миша подарил ему металлич[еского] медведя на письменный стол, а мы с С[ергеем] Ал[ександровичем] — кусок материи (бумажная фланель, кажется) для школы и шерсти для вязания. М[ария] Ал[ексеевна] и Ел[ена] Вл[адимировна] весь вечер занимались вязанием. Разошлись мы поздно, около двух часов, да еще проводили Е[лену] В[ладимировну] и М[арию] А[лексеевну] на Пушкинскую <...>

Христос воскресе, моя дорогая; пошли тебе Господь веселых праздников, хоть и нет Сани с тобой. Долго еще нам не видеться, но сердце мое с тобой, всегда с тобой, моя голубка.<...>

Д. 6. Л. 100—101 об.

---

* В оригинале ошибочно: апреля.

399

4 апреля

<...> Когда мы Юлю проводили, я уехал домой с С[ергеем] Ал[ександровичем] и стал готовить урок для Олив. Дело, конечно, не клеилось, да я и уставши был сильно. В половине десятого поехал к Чуйкам. Из наших был только Лапшин, а к С[ергею] А[лександровичу] пришел Боцяновский, так что он дома остался. Много спорили с Вл[адимиром] Викт[оровичем] о Греции, Польской и Французской революции, а Лапшин ссорился с Флексером из-за Гегеля. И проболтали до 2-х часов. Вот что значит оставить меня одного.

А на другой день, в среду, в 7 часов надо было быть на ногах, готовиться для Олив. Весь день я был совсем разбитый. <...>

Вечером в четверг мы с Мишей были у Лаппо-Данилевского. Мне хотелось расспросить его о том, как он читал «историю греческой культуры» в гимназии Таганцевой. Я думаю, что мне, в самом деле, придется читать этот курс оболенкам, и очень рад, что Лаппо-Данилевский обещал мне свою программу с указанием нужных книг.

Сегодня я покончил свои дела в институте и свободен до экзаменов, если не считать частных уроков. <...>

Чуйко-полиевктовская трагикомедия принимает совсем неожиданный оборот.[337] Ел[ена] Вл[адимировна] его видеть не может, не в силах скрыть это и «совершает неосновательные поступки», по выражению С[ергея] Алекс[андровича]. Миша не понимает, откуда такая гроза на него, теряется и ведет себя еще глупее. Никакие разговоры с ней и с ним не в силах помочь делу. А тут еще Марья Алексеевна приходит в совсем истерическое состояние, и никто не знает, что с ней такое. Словом, пресловутый «кружок» начинает походить на сумасшедший дом. И если бы безумие форстенят принимало форму тихого помешательства — это бы еще ничего. А то начинают буянить. Впрочем, говорят, что это лучше: скорее пройдет. <...>

Д. 6. Л. 93—95 об.

400

5 апреля

<...> С горя поехали к Г[еоргию] В[асильевичу] на школьное заседание. Была масса народу и, между прочим, инспектриса гимназии Оболенской («чудный человек» и «ангел гимназии», как зовет ее Георгий Васильевич), а еще та самая баронесса Икскуль, которую писали Репин и тот немец, которого Г[енрих] Матв[еевич] зовет первым портретистом XIX в. Дама изящная, а физиономии я не рассмотрел. Г[еоргий] Вас[ильевич] говорит, что почти наверное мне придется читать греческую культуру, и это, как я соображаю — значит рублей 15 на книги! Ну, ничего, хотя я адски много денег трачу все эти дни, но 100 р. уже отложено, а все еще довольно. С[ергей] Ал[ександрович] заявил, что за этот месяц и квартиру, и стол пополам, с чем я не мог не согласиться.

Режим наш, по-видимому, определяется так, что обедать мы будем в четвертом часу, когда С[ергей] Ал[ександрович] возвращается из Комиссии. Он вчера вечером просидел дома за своим указателем к летописи и даже не поехал со мной в концерт, а только к 10 час[ам] явился к Форстену. Г[еоргия] Вас[ильеви]ча я неожиданно выбранил довольно серьезно за его деспотизм, вышло не резко, но существенно. Боюсь, не обиделся ли он. Ну, да авось пройдет, а это все-таки не лишнее было высказать.

Д. 6. Л. 96 об.—97

401

7 апреля

<...> Мои похождения за время с твоего отъезда я тебе рассказал в двух письмах, а вчерашний день тебе, очевидно, рассказала Ел[ена] Влад[имировна], письмо которой ты, вероятно, получишь вместе с этим. Мы с ней вчера были на выставке Строганова. Было мало народа, так что можно было нормально посмотреть. Смотрели мы только картины, и я убедился, что многого в первый раз совсем не рассмотрел, напр[имер] удивительной Мадонны Перуджино. Был и Миша, но ходил один, а с нами только поздоровался. А я им недоволен — неосновательный он тон берет. Явилась у него какая-то самонадеянность, странная и немного задорная. Ну, да Бог с ним.

В субботу у Форстена огорчил меня Ив[ан] Ив[анович]: говорили о религии, искусстве и т. п. — и так у него все сухо, деревянно выходило, «кисло», как выразился Миша, чем его очень рассердил. Вообще наш добродушный Ив[ан] Ив[анович] начинает часто и легко раздражаться.

Конечно, ввиду выставки я вчера сравнительно немного прочел, однако до сотой страницы добрался. Зато сегодня целый день проработал и, очевидно, вошел в надлежащую колею.

Д. 6. Л. 98—99 об.

402

14 апреля

<...> Когда я вернулся из Лавры, тотчас явился Штруп, обедал у нас и просидел у нас до восьми часов, пока мы не собрались к Жуковским. Это Ив[ан] Влад[имирович] вздумал вдруг позвать нас к себе, и у них мы провели вчерашний вечер (поэтому я только что встал, хотя уже половина первого) — до 3-х часов. Были еще трое товарищей Ив[ана] Вл[адимирови]ча, из которых один чрезвычайно симпатичный, большой либерал с социалистическим оттенком. Этот Дьяконов — большая симпатия Елены Вл[адимиров]ны, хотя отношения между ними, насколько можно уловить, какие-то странные. Он, кажется, прежде бывал у Чуек, а потом перестал. Много было разговоров и споров, но я почему-то был очень сдержан и больше слушал или говорил пустяки. Когда собрались уходить, Ив[ан] Вл[адимирович] даже расцеловался с нами (правда, что выпито было несколько бутылок вина и пива) и очень звал к себе в понедельник. Но если я в понедельник куда-нибудь пойду, то скорее к Введенскому. А впро-

чем, все под Богом ходим! Тебе бы там не понравилось — шумно, развязно и бесцеремонно, хотя далеко не грубо.

А от Лаппо-Данилевского я получил приглашение на сегодня (будут Лапшин, Полиевктов и, вероятно, Гревс с Ольденбургом).[338] Это «заседание» по поводу наших будущих занятий теорией исторической науки. Что из этого выйдет, не знаю: люди очень разнообразные соберутся — и как они споются? Во всяком случае — интересно.

Д. 6. Л. 103—104 об.

403

18 апреля

<...> Во вторник у нас было деловое заседание у Лаппо-Данилевского. Кроме меня, Лапшина, Полиевктова и Панченки были Ястребов (магистрант по новой истории), Гревс и 2 доцента восточного факультета — Ольденбург и Бартольд. В общем было довольно скучно, потому что Лаппо-Данилевский говорил с другими о том, о чем мы с ним уже несколько раз толковали. Когда кончили, то разъехались довольно рано и поехали к Чуйкам. Я ехал с Панченкой, который на Пушкинской сбежал, а к Чуйкам не пошел. Много мы с ним толковали, и, в общем, он мне понравился, хотя бедный он, сбитый с толку какой-то. В среду, понятно, собрались у Платонова. Тут вышел довольно неприятный инцидент, благодаря тому, что я зарвался. Заговорил о том, что мы, младшие, хотим участвовать в поднесении Рождественскому магистерского значка. Старшие, особенно Середонин, — усомнились, принимать ли нас в компанию. Я и возразил довольно резко против «сепаратизма» старших и сказал, что если нас раньше не хотели принимать в кружок русских историков — то это их дело, а Рождественский — наш товарищ и если они захотят поднести ему значок без нас, то мы поднесем другой без них, что неудобно. Не следовало этого говорить, ну да вырвалось и произвело неприятное впечатление, прежде всего на меня самого. А так как решили, что Рождественский получит значок Чечулина, а не новый, то нечего было и огород городить. <...>

Д. 6. Л. 105 об.—106 об.

404

21 апреля

<...> В субботу я днем поехал к Манизер. Встретили они меня очень тепло и славно, много о тебе спрашивали, но много ли я мог рассказать? Попеняли, что долго у них не был, а особенно, что не приехал на французский спектакль, разыгранный детишками. А я во время этого спектакля, в четверг на Святой, сидел дома и занимался! Не вовремя усердие пришло. Было много народу на спектакле, и Роба так этому удивился, что все смотрел на публику, «играл» невпопад, но роль прочел твердо. Забавно, должно быть, было. Удивляют меня Манизеры с Геней. Он все прихварывает и слабеет, а они не находят, что это очень серьезно.

У Г[енриха] М[атвеевича] я видел несколько новых работ на заказ. 2 портрета во весь рост, 2 поясных, да еще новый Государь. Портреты очень хороши, особенно мужской во весь рост. Но всего интереснее то, что вышло из Христа с Марфой и Марией. Если он закончит так, как теперь, то будет совсем хорошая вещь, с очень теплым настроением. Дай ему Господи! А Марию он писал с Соколовской, и получилась очень хорошая и выразительная фигура. <...>

Главный инцидент за эти дни — это вчерашний диспут Рождественского. Очень хороший диспут, спокойный, серьезный и содержательный — я не хотел бы лучшего для себя, хотя по многим важным пунктам Рождественский был побит.[339] Но ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. <...>

Ну, а вечером собрались мы у Рождественского. Странный и нехороший был вечер, благодаря, главным образом, Мише. Он сразу опьянел, хотя на вид был приличен. А сказалось это в том, что когда С[ергей] Фед[орович] произнес отличный тост за Рождественского — Миша похвалы Рождественскому за качества, которых у нас нет, понял как упрек и глупо напал на Платонова. Вышло досадно и немного обидно. Пробовал говорить и С[ергей] Ал[ександрович], и тоже не вышло. Я — молчал и рад был, когда в час собрались уходить.

А Платонов очень подчеркнул то, что Рождественский последний из их кружка и что теперь идут новые люди, «форстенята», за которых он и тост предложил и из которых еще неизвестно, что будет.<...>

Д. 6. Л. 107 об.—109 об.

405

23 апреля

<...> А в институте вчера был экзамен учениц Андреянова, это экзаменовался второй специальный класс. Были две начальницы — старая, Шостак, и новая, Булацель, да инспектриса, Струве и мы с Андреяновым. Один класс (I-е отд[еление]) проэкзаменовали благополучно, а со вторым отделением такой позор был, что многим сбавили отметки, и даже на 2 балла. Андреянову это, конечно, очень неприятно. Что-то Бог даст с моими ученицами.

Андреянов получает более выгодные уроки в Лицее — и потому отказывается от одного класса, 3-го, который предлагает мне, а я брать не хочу, потому что и без того много. Но что дальше будет, не знаю, потому что ходят слухи, что из гимназии Оболенской уходит Середонин, так что произойдет новое распределение уроков и новое передвижение учителей. Кончится тем, что гимназию попадет еще кто-нибудь из наших.

Сегодня у нас rendez-vous с Лапшиным у Форстена для деловых разговоров. Форстен хочет от нас теперь же программу будущих курсов — а как их составить, когда мы не знаем еще предметов? Легкомысленный человек Георгий Васильевич! В субботу он идет в гимназию Мая на урок по истории искусств — Полиевктова, которому он склонен поручить уроки у оболенок. <...>

Д. 6. Л. 111 об.—112 об.

406

28 апреля

Не брани меня, дорогой Юлек. Теперь ты знаешь уже, как прошло у меня все это время, знаешь, как оно, в сущности, прахом пошло. А все-таки не брани меня, потому что я и так дорого расплатился. Эти последние, предсмертные судороги форстеновского кружка в его жалких остатках навели на меня грустное настроение. Хуже чем грустное. Душно у нас, Юлек, ой, как душно. Когда Платонов на ужине у Рождественского предложил тост за наш «кружок», он пожелал, чтобы кружок формировал людей, как это делали дружеские компании русских историков. Да, сформировали мы «людей», нечего сказать. Все труднее объяснять тебе, почему я так серьезно собой недоволен. Ничего или почти ничего определенного тут нет, «фактов» никаких не произошло, а недоброе чувство к самому себе — так и подымается внутри. Вероятно, это расчет со многим из прошлого, и вывести этот расчет должен меня к чему-нибудь более удовлетворительному. Ты ведь меня все молодым и очень молодым считаешь — а я очень постарел за этот год и за эту весну. Не без боли рвутся старые отношения, и если я легко, сравнительно, переношу это, то этим я обязан тебе, одной тебе. <...> Да, многое обанкрутилось за последние дни. Резко выделяется тройка: Ел[ена] Вл[адимировна], С[ергей] Ал[ександрович] и я среди других, с которыми отношения вдруг стали враждебны. О Мише я тебе писал. Он как будто любит Ел[ену] Вл[адимиров]ну, он очень дорожит мной, но, Боже мой, какие мы разные. Грубоватость, ненормальная грубоватость его сердца — сказывается подчас так обидно. Ну, Бог с ним. А кто совсем в уныние меня приводит, [так] это Ив[ан] Ив[анович]. Его как будто шутливая война с нами приняла жесткий оборот. <...> В общем, все перепуталось, и наши отношения с Ел[еной] Вл[адимиров]ной стали странными, деланными, точно кошка черная пробежала. Все мы недовольны собой, а потому и друг другом. Только против нее, конечно, нечего сказать. Но, в общем, банкротство, банкротство «форстенят» <...>

Теперь пойдет экзаменационная горячка. День за днем пропадут на эти глупые экзамены. Завтра мои вторые классы в институте подвергнуты будут допросу. Посмотрим, что Бог даст. Вдруг так же плохо будет, как у Андреянова? Это было бы очень грустно.

В четверг 1 мая первый мой экзамен на курсах, 7-го — второй, а 8-го — третьи классы в институте.

Ввиду этих пропащих дней и общего упадка моей энергии я решился на смелый шаг — прекратил уроки у Бобринских и у Олив. Что тянуть комара за крыло, когда это нудно для меня, а потому было бы бесполезно для них. С денежной стороны это невыгодно, но авось как-нибудь кривая выведет. Я не мог иначе сделать.

Писал ли я тебе, что мне, быть может, придется взять у Г[еоргия] Вас[ильевича] не 7, а 10 уроков? Это в том случае, если уйдет Середонин, хотя он, может быть, в будущем году и не уйдет. Все это должно на днях выясниться.

Ну, чего я тебе еще не рассказывал за эти дни? Занятия мои более или менее наладились, и я читаю довольно усиленно. В пятницу я был ассистентом у Цветковского на экзамене по русскому языку наших педагогичек. Экзамен был очень скучный, тянулся так долго, что я в $^1/_2$ восьмого уехал, а до конца еще долго было. Конечно, я никуда не годился и был рад, когда С[ергей] Ал[ександрович] предложил мне поехать в Александринку смотреть пьесу, переделанную из «Misérables»* В[иктора] Гюго. Пьеса состряпана плохо, и играли слабо. Только Комиссаржевская действительно превосходная артистка, да еще двое из актеров были очень хороши в некоторых местах. Потом шла еще очень веселая и смешная пьеса «Через край»[340] с Варламовым в главной роли.

В четверг и пятницу мы переезжаем на новую квартиру (Литейный, 51, кв. 24). <...>

Д. 6. Л. 113—115 об.

407

30 апреля

<...> Лучше расскажу тебе про вчерашний экзамен моих институток. Начали мы рано, в 9 часов. Второе отделение, с которого мы начали, экзаменовалось неважно, но удовлетворительно. Кое-кому сбавили отметки, двум-трем — прибавили, но ответы были жиденькие. В час мы с Андреяновым сбежали в булочную Андреева кофе пить, а в 2 ч. начался экзамен первого отделения. Это отвечало значительно лучше, нескольким Андреянов повысил отметки, хотя и то я ставил годовые щедро. В общем, я могу быть доволен первым опытом. Зато Андреянов так огорчен своим первым экзаменом, о котором я тебе писал, что уверяет, будто Струве не хочет оставлять за ним уроков. К сожалению, судя по разговорам Струве и Куницкого, это похоже на правду. Они норовят навязать мне больше уроков, но я усиленно упираюсь и не уступлю. По счастью, Струве завел речь о приглашении одного довольно известного московского преподавателя, который хочет перейти в Петербург. А в понедельник я у Дружинина видел Середонина, и тот заявил, что уходит из гимназии Оболенской, значит, и тут возобновятся толки об уроках, о которых я тебе писал. Ввиду занятий к экзамену я не только у Бобринских, но и у Олив, и у Сассо прекратил (и пока ни с кого из них ничего не получил). На будущий год, может быть, буду продолжать занятия у Сассо, а у Бобринских — ни в коем случае. <...>

Д. 6. Л. 116—117 об.

408

7 мая

Уф, дорогой Юлек, вот рад я буду, если доживу благополучно до воскресенья! Помилуй: сегодня экзамен на курсах, завтра в институте, в субботу экзамен, и множество книг еще не просмотрено. Я опять пишу тебе только несколько отрывочных слов, потому что времени немного, скоро надо лететь на курсы. Вчера мы с Полиевктовым были у Кареева, он очень любезно нас принял и согласился на мою программу экзамена (я выбрал из нее вопрос о польских сеймиках и одну книгу об Англии). Давай-то Бог благополучно выпутаться. Этот экзамен будет хуже прежних. <...>

---

* «Отверженных» (*фр.*).

А между делом я разделываюсь со своими уроками. Оливы дали мне конспект моих уроков, ими составленный. Надо посмотреть и в субботу вечером доставить им. С Бобринскими я порешил так: старшую и по русской, и по всеобщей истории возьмет Рождественский, а младшую — Елена Владимировна. Я рад, что они на это согласились. У Сассо придется продолжать, а Оливы, вероятно, поступят в восьмой класс гимназии кн[яги]ни Оболенской.

Кареев предложил мне работать в словаре Брокгауза с тем, что[бы] потом получить весь словарь в счет гонорара. Хорошо было бы это исполнить. Мне давно хочется иметь этот словарь. <...>

Д. 6. Л. 120—121 об.

409

8 мая

<...> Но если бы ты знала, как я устал и душой, и телом. Если сообразить, как и отчего, то придется согласиться, что никаких на это достаточных причин, пожалуй, и нет, что это просто слабосилие и малодушие. Но все-таки это так. Вообще никуда твой Саня не годится.

Что касается дел моих, то они идут, в общем, недурно. Сегодня был второй экзамен в институте и был совсем удовлетворительный, так что я не могу считать своего первого дебюта неудачным. А вчера экзаменовал я своих курсисток 2-го курса. Двух я прогнал, и вообще экзамен был неважный. Всего же хуже, что экзаменовалось 85 чел[овек], так что я начал в 10 ч. утра, а кончил в 9 $^1/_2$ вечера, с перерывами, конечно: раз на час, а другой раз на 1 $^1/_2$ ч[аса], когда я съездил домой, чтобы пообедать. За эти два дня я еще больше умаялся, так что и вечером не мог ничего делать вчера, и ничего не способен делать сегодня. А в субботу — экзамен. Что-то из него выйдет! Если Кареев меня не прогонит, то, значит, есть надо мною милость Божия. Прочитано все, что следует. Завтра, в один день, перелистаю все книги — и пойду. Смелость города берет. <...>

Д. 6. Л. 122—124

410

12 мая

Милая, дорогая моя Юля, прости твоего Саню, что он тебе не написал сейчас же после магистерского экзамена, бывшего в субботу. Но сколько тревог и треволнений было пережито за эти два дня. Расскажу все по порядку и начну с экзамена.

В пятницу я адски зубрил целый день и все-таки не успел пересмотреть все, что было нужно. Однако экзамен сошел шутя. Кареев спрашивал мало, и я все ответил, да и некогда было много разговаривать, потому что кругом шла суета, профессора входили и выходили, разговаривали, не слушали и мешали говорить. Тут же Полиевктов сдал два экзамена: по средней истории и по политической экономии, а еще один субъект читал пробные лекции по истории церкви. По правде сказать, заседание больше походило на базар.

С экзамена приехал я домой, пообедал и сел просматривать конспекты Олив — недурно составили, хотя по-детски. <...> Официально я с сегодняшнего дня свободен: сегодня был последний экзамен в институте <...>

Д. 6. Л. 125—127

411

16 августа

<...> Еще новость про Голованя: он бросил все уроки и у Оболенской преподавать не будет. Боюсь, что Г[еоргий] Вас[ильевич] захочет навязать мне его класс: это было бы, пожалуй, слишком много. В институте, по счастью, устроились со свободными уроками без меня: именно отобрали все уроки у г-жи Коркуновой и передали ее 2 класса с третьим некоему Петрову, преподавателю истории славян на Бестужевских курсах.

Вот все мои новости. Пока я еще нигде не был и никого больше не видал. Завтра съезжу в Лавру и, может быть, в Царское. К Платоновым я не поеду, а постараюсь повидать его в Петербурге, где он каждый день бывает. Он не очень-то желает, чтобы его посещали в Павловске, потому что дорожит теми часами, которые проводит в семье. Так, кстати, прямо он говорил Адрианову. И резонно. Свободное время, до занятий и потом, я хочу употребить на то, чтобы написать несколько лекций по русской истории. Пока еще и не пробовал, но первые лекции на первом курсе должны быть продуманные. <...>

Д. 6. Л. 137 об.—138 об.

412

20 августа

<...> Терпеть не могу переходных состояний — время как-то тянется, и хоть я взялся за составление лекций по русской истории, но и это меня почти не рассеивает, да и идет дело это медленно и нескладно.

<...> С[ергей] Ал[ександрович] поддерживает большую близость с В[ладимиром] В[икторовичем], и вчера мы были там втроем с Ив[аном] Ив[ановичем]. Засиделись очень долго, до трех часов, потому что завели (собственно В[ладимир] В[икторович] и С[ергей] А[лександрович]) бесконечный спор о Гете и других поэтах, очень интересный, хотя С[ергей] А[лександрович] спорит страшно бестолково, не понимая противника и не давая себя понять, если не останавливать и не заставлять выражаться отчетливо.

Вчера вечером у нас был музыкальный вечер. Явились Штрупы, Ив[ан] Ив[анович] и Оссовский, принесли с собой «Садко» и 12 еще не изданных романсов Римского-Корсакова (в корректуре, которую держит Штруп). Все это было очень интересно, а некоторые из романсов превосходны. Рояль наши музыканты очень одобряют, но он старенький, так что не держит строя. Придется часто его настраивать. Давно ли был настройщик, а он уже теперь расклеился.

Кто неожиданно увлекся музыкой, так это Ал[ександр] Як[овлевич]. Вчера он один был дома и до 12 часов кое-как, собственными силами разбирал «Садко» и пришел в полный восторг. Попросил даже Ив[ана] Ив[анови]ча принести ему «Снегурочку» — хочет и ее разобрать. Каково?! У Шеффера мы с С[ергеем] Ал[ександровичем] вчера обедали. Поразил меня старик своим видом — он очень слабый, бледный до того, что кажется белым. Зато Петр Ник[олаевич] молодцом. Много занимается, издает теперь рукопись, за которой, помнишь, он ездил к Долгорукому в имение? Встретил он меня с обычным дружеским радушием. Жаль, что он так далеко живет, с ним приятно было бы чаще видеться. Теперь он принимает место секретаря в «Обществе любителей древней письменности», в нашем доме, и будет бывать там 3 раза в неделю. Это облегчит ему визиты к нам.

Видел я Платонова. Он и сам находит, что еще одна дочка — это уже через край. Диссертация его все еще не готова, и он говорит, что еще много над ней работать надо. Зато те части, которые он проработал (и кое-что мне показал), очень интересны, новы и существенны. Одну главу хочет написать в виде статьи в каком-то благотворительном сборнике. <...>

Д. 6. Л. 142—144 об.

413

21 августа

Дорогой мой Юлек, какой я вчера вечером провел! Вся душа потрясена. Я был у Манизера. Мы крепко обнялись с ним и ушли наверх. Детки еще не спали. Трудно, совсем нельзя передать наши разговоры. Он много говорил, все подробно рассказывал и про Стеллу, и про себя, и про детей. Когда его вызвали в Гельсингфорс, он знал только, что С[телла] С[еменовна] обожглась, и ничего не знал про других. В вагоне ему соседи перевели известие о гибели парохода, то самое, которое было потом во всех газетах. Но сказано было, что спасено трое детей. Тот же господин, который сообщил Г[енриху] М[атвеевичу] этот перевод, отвез его в больницу, а оттуда в гостиницу, позаботившись, чтобы он не попал в ту, где были все пассажиры парохода. Подобное внимание и деликатность встречали Г[енриха] М[атвеевича] на каждом шагу, и он не может без волнения вспоминать об этом. Гибель Стеллы С[еменовны] ему представляется несколько иначе, чем писали газеты и Соколовская. Он уверен, что она спаслась с Гвидо, вышла на палубу и потом, вспомнив об отце, бросилась назад с Гвидо, потому что некому было его передать, и тут упала. Она, верно, искала Гвидо, потому что ее руки совсем сгорели. Потом бросилась к отцу и от него назад. Обгорела страшно, платье свалилось, и она спряталась на берегу за дрова, где ее не сразу нашли.

Более верный рассказ, чем в «Мировых отголосках», был в «Нов[ом] вр[емени]».

Дети, кажется, ее не видели. Сперва он думал похоронить ее в Гельсингфорсе, но церковь перестраивалась, и потому решил везти ее в Царское. А денег не было. Его направили к полицмейстеру, который предложил сам заплатить за все гельсингфорсские расходы, чтобы остальные расходы по ж[елезной] дор[оге] и похоронам были обеспечены тем, что было у Г[енриха] М[атвеевича]. Так и сделали. От Гвидо ничего не осталось, а от отца — ключи и монеты, бывшие в кармане, да несколько обуглившихся костей. Детей, как ты знаешь, взял к себе на дачу какой-то профессор, Геня оставался в Г[ельсингфор]се на случай, если Ст[елла] С[еменовна] захочет видеть детей. Но она сама решила, что лучше, чтобы он не видел ее, а то испугается. Геня больше всех потрясен, молчит, даже не проговаривается, как другие (напр[имер], Мотя сказал, что их передавали с рук на руки и так спасли). Геня первое время у профессора ночью кричал и бился во сне, теперь он не может почему-то играть на скрипке. Лешик иногда требует Гвидо и маму. Как все они потрясены, видно из того, что раз в Экенесе они с криком, бледные, прибежали к отцу, потому что «поле горит» — это они костер увидали.

А в Экенесе случилась было еще беда — Мотя с моста упал в море, но его благополучно вытащили. Г[енрих] М[атвеевич] в этот миг подумал: правду писали газеты, что только трое спасено.

Вот новые подробности. Но можно ли передать, как он все это говорит! То почти спокойно, сдержанно, то скороговоркой, чуть дыша, то мягко, с рыданием в голосе, то отдельными, странно выразительными восклицаниями, пока сам быстрыми шагами ходит по комнате. Оба мы крепились, пока он не подвел меня со свечой к портрету С[теллы] С[еменовны] и Гвидо. Да, Юлек, поплакали мы с ним и врозь, и обнявшись вместе. Ни слова «утешения» я не мог ему сказать. Сердце разрывается, какое тут утешение, когда я не понимаю, как можно пережить такое горе. Г[енрих] М[атвеевич] говорит, что можно пережить, только озлившись, что вот, мол, нет — не сломишь ты меня! А чувства такого, какое дало бы ему жить, что он детям нужен, у него нет, потому что чем заменит он влияние такой чудной матери? Ее образ еще ярче выступает, когда он освещен этим диким, страшным огнем, этим дивным самообладанием и силой воли при мучениях. Как вспомнишь ее, голову теряешь и рыдания так близко. <...>

Как Г[енрих] М[атвеевич] устроится, он сам еще не знает. Обещали ему найти надежную особу, а где ее возьмут? В понедельник начинаются занятия в начальной школе, а 1 сент[ября] в Центральной: Г[енрих] М[атвеевич] будет пропадать целые дни, а дети?

Д. 6. Л. 139—141 об.

414

23 августа

<...> Вчера я опять был у Манизера. Застал его за чаем с детьми. Геня рассказывал какую-то, прочитанную им по-французски, исто-

рию про орангутанга, который похитил мальчика. Все детки внимательно слушали, а Мотя поправлял и подсказывал. Славные ребятишки! Мотя похудел и побледнел, другие ничего. Все они вспоминают мать: мама то делала, мама так сказала! Трогательно следят за отцом, к которому тянутся больше прежнего. Если он задумается, то они сейчас подходят с лаской: «Что ты, папочка?». Раз Г[енрих] М[атвеевич] забылся и рукой лицо закрыл. Сейчас Леша подбежал с вопросом: «Что папка мольду закрыл?». Мотя выпросил у Г[енриха] М[атвееви]ча фотографию с портрета Ст[еллы] Сем[енов]ны, и другие тоже. Сам он окружен ее портретами, особенно наверху. Да без портретов все там так полно ею. Так и видишь, и чувствуешь ее в каждом уголку. Ужасно это, и понятно, что Г[енрих] М[атвеевич] ни за что не расстанется с этой обстановкой. Мысль, что после него тут будут жить чужие, для него невыносима. <...>

А я в понедельник приступаю к урокам. Сегодня был на совете и помог перевести в последний класс девицу, которую сам же провалил на экзамене. Пусть попробует поправиться в течение года, а то что год-то терять. <...>

Д. 6. Л. 145 об.—147 об.

415

30 августа

<...> Ты знаешь, что у Палибиных пропал весь урожай. К тому же у него был план перейти на молочное хозяйство, и он даже нашел кому сбывать молоко в Москву. Но чтобы взяться за это дело, надо было начать его сразу в довольно больших размерах. <...> Приходится одному браться за это дело, а для этого купить сразу много коров. Папа и дал ему 500 р. «из жалованья», потому что у папы запасов больше нет. Не думал я, что мы до такой степени могли растрясти его финансы <...>

3-го сентября я, конечно, буду в Лавре. Могилку я привел в порядок, посадил осенних цветов, а весной садовник предлагает посадить за крестом либо жасмин, либо тополь. <...>

Д. 6. Л. 148—149 об.

416

1 сентября

В субботу вечером был я у Манизера. Предполагалось, что мы будем у Форстена, но он прислал мне письмо, в котором просил «своих дорогих педагогов» явиться завтра, во вторник, 2-го сентября. Вечер субботний оказался свободным, и я поехал к Г[енриху] М[атвееви]чу. Много опять мы с ним толковали. Он высказывал свою тревогу по поводу устройства хозяйства и детей. <...> С сегодняшнего дня у него начались занятия в школе (Г[енрих] М[атвеевич] просил написать тебе, что теперь начинают с молебна). А дети пока, верно, с одной Сашей. Г[енрих] М[атвеевич] тяготится тем, что вкрадывается в его быт холостая неряшливость, что для детей весьма скверно. А у него нет ни времени, ни охоты, ни умения поддержать настоящий порядок. Огорчает меня его апатия. Работать он не в силах, а это необходимо, чтобы выпутаться из скверного материального положения, в которое он, вероятно, попал после усиленных трат. <...>

Настроение его, конечно, самое неудовлетворительное. Он даже толкует о том, что долго не проживет. Это, конечно, пройдет, потому что дети возьмут свое. Но как бы то ни было, он принимает меры, чтобы, если дети останутся без него, они не попали в руки родни. Я не думал, чтобы у него до такой степени не было никого близкого, как теперь оказывается. Ему некому завещать детей, кроме меня. Я не мог не предложить этого, когда видно стало, куда он клонит речь. Не так ли, Юлек? И вот меня он формально назначает опекуном своих детей, на случай своей смерти. Грустно все это до чрезвычайности. <...>

В субботу Лапшин и Адрианов ходили с визитом к Лиле. Я не пошел, хотя следовало бы. Но Лидии Карловны еще нет, поэтому мне идти не хотелось, и я предпочел остаться со своими греческими трагиками (я теперь читаю греческие трагедии — Эсхила, Софокла, Эврипида, во французском переводе, и наслаждаюсь, насколько позволяют постоянные тревоги). <...> Да, кстати: С[ергей] А[лександрович] собирается платить нам по 40 р. в месяц. Не много ли? Как ты думаешь? Хозяйство у нас идет так себе, не без «холостой неряшливости», которая очень мешает, но с которой я ничего поделать не умею. Но что удивительно — это цветы! Они совсем погибли, когда я уезжал, а теперь пустили новые ростки. Даже розан, обратившийся в совсем сухую палочку, растет заново, и очень бойко. Паша какие-то ростки от некоторых цветов отсадила, и они хорошо пошли. Ай да Паша! <...>

Д. 6. Л. 150 об.—152 об.

417

3 сентября

<...> Случилось то, чего я ожидал. Вчера вечером мы были у Форстена, чтобы потолковать о будущих занятиях в гимназии кн[ягини] Оболенской. Относительно себя он заявил нам, что от курсов он окончательно отказался. Платонов убедил его только, чтобы не отказывался окончательно, а заявил бы, что просит избавить его, по личным обстоятельствам, на год от занятий. Не знаю, рассчитывает ли Платонов, что он через год вернется. Форстен возвращаться на курсы не собирается и, конечно, не вернется. Но беда в том, что заменить его некем; сам он надеется провести на свое место Геппенера, заставив его за этот год подготовиться, а пока будет читать Кареев. Форстен настолько дорожит временем, что сокращает число часов своих и в гимназии, а потому прибавляет мне час на Грецию, т. е. в восьмом классе у меня будет две лекции в неделю. Кроме того, он, конечно, стал настаивать на том, чтобы я взял и те три урока в 5 классе, от которых отказался Головань. Я поупрямился — и согласился. Дело в том, что Форстен не хочет «дробить историю» и передает мне все уроки в старших классах, а в 3 и 4 преподает Церетели, Елена Фили-

моновна — помнишь ее? Вышла при этом неловкость относительно Миши. Я указывал на него, и ему хотелось получить эти уроки — а Форстен не согласился. Так как этот разговор проходил в присутствии Миши, то вышло глупо.

Занятия у оболенок начнутся 9-го, во вторник. Т. е. 9-го-то будет только молебен, вероятно. Помоги, Господи, справиться.

У Форстена мы только немножко посмотрели ту массу новых красивых вещей, которые он привез — он еще не совсем разобрался. От него мы пошли к Чуйко. У В[ладимира] В[икторови]ча бывать выгодно потому, что каждый раз он что-нибудь сообщит нужное, да и книгами снабдит. Были мы там втроем: Ив[ан] Ив[анович], С[ергей] Ал[ександрович] и я, и опять засиделись чуть не до 4-х часов. <...>

Д. 6. Л. 153—154 об.

418

5 сентября

<...> Уроки у меня пока только в институте, и к ним я почти совсем не готовлюсь. Но скоро начнется настоящая работа. 10-го начинаются уроки у оболенок. К этим урокам придется готовиться, потому что Форстен будет очень следить за преподаванием моим, особенно теперь, когда он мне отдал все уроки в старших трех классах, а ведь это 9 часов в неделю. Да и Греция потребует больше работы, так как он дает мне на нее 2 часа, а не один. На курсах лекции начинаются 12-го. Сегодня там у меня был экзамен отставших. Ну, конечно, все получили хорошие отметки, хотя отвечали неважно. Итак, близко начало рабочего сезона. А тут еще Гревс тянет нас к ответственности за лекции Васильевского, и в воскресенье у нас назначено собрание у него. Не знаю, как обойдемся мы без Васильевского и Панченки, которые на 2 года исчезли из пределов Российской империи. Гревса я не видал, а заезжал к нам от него Головань, неожиданно появившийся на нашем горизонте, да так еще основательно, что и ночевать у нас оставался. <...>

Я только теперь понимаю весь трагизм адриановской семьи. Полонский месяц прожил в Алупке и пригляделся к тому, что там творится. У нее вечно грубые сцены с нянькой, при детях. Заботиться о них она не умеет и не хочет, и без няньки они совсем были бы без призора. Кормят их глупо, плохо и не вовремя. Все крайне неаппетитно и неряшливо. Полонский пробовал столоваться у них и не вынес, а ведь он не из капризных. Как тут быть? Отнять детей у А[нны] А[лексеевны] мудрено, да едва ли С[ергей] А[лександрович] решится на это, потому что у него совесть не чиста. А так оставить нельзя. Разреши-ка эту загадку! <...>

От курсов Форстен так-таки окончательно и отказался. И Раев, и Гревс ездили его уговаривать, да не застали дома. Они возмущаются его уходом, а я ему сочувствую. Ему уже 40 лет. Когда же закончит он свою большую работу, если не возьмется за нее усиленно теперь же?

Кажется, все написал. Дома у нас все идет clopin-clopant,* а в общем благополучно. Только хозяйство Пашино дорого стоит, ну да с этим я ничего поделать не могу. Теперь порядок дня изменился, и мы обедаем в 3 часа, потому что Полонский хотя ночует у нас, но обедает дома. У него беда: Ел[ена] Вл[адимировна] в школе работать не может, Евг[ения] Мих[айловна] взялась временно, а теперь нашла себе занятия и тоже отказывается, а другой учительницы пока нет. Сам же он с двумя классами справиться один не может, потому что времени мало.<...>

---

* Кос-как (*фр.*).

Д. 6. Л. 155 об.—160 об.

419

6 сентября

Вчера, милая моя Юля, были мы у Васильевского. Давно я его не видал. Удивительно он милый и интересный старик. Был там и Чечулин. Васильевский попрекал меня за то, что я надул его со статьей. Ну, что же делать, да и он не сердится, а только шутит. Теперь мне писать совсем некогда. <...>

Д. 6. Л. 161—161 об.

420

10 сентября*

<...> Сегодня, милый мой Юлек, были первые мои уроки у оболенок. Начал в V и VI классах. Г[еоргия] В[асильеви]ча не было, и я видел только инспектрису и совсем влюбился в нее. Что-то такое есть у нее в глазах и голосе умное и доброе-доброе, что я сразу понял, почему Г[еоргий] В[асильевич] называет ее «ангелом гимназии» В гимназии, кажется, будет довольно уютно. Само помещение казенное и нелепое, с коридорчиками и закоулками, с переходами по крутым деревянным лестницам, — располагает к этому. Классы небольшие, но чистенькие и светлые. Учениц немного и в их числе такие, как дочь Ламанского, дочь Струве и одного из преподавателей наших курсов — Пушковского. Странно обучать таких девиц, через которых самые точные сведения о моем преподавании будут распространяться в знакомых кружках.

Уроки начались, собственно говоря, еще вчера, вчера был и молебен, на который я не мог попасть, потому что занят был в институте. Говорят, будто наши молодцы дебютировали после молебна концертом. Миша затеял с начальницей глупый разговор о каком-то «совещательном часе» (как у нас в университете говорят) для тех из учениц, которые захотят, видите ли, специально заниматься его предметом. Мне этот тон не нравится: во-первых, с такими вопросами он обязан обращаться к Форстену, а, во-вторых, что за тон! Человек должен еще быть уверен в том, что благополучно справится со своей прямой задачей, а он воображает о руководстве какими-то специальными занятиями! Нечаеву, который был при этом, не понравились такие речи — он отвел Мишу в сторону и высказал ему свое мнение.

---

* Опущено письмо от 7 сентября (Д. 6. Л. 162—163 об.).

Миша вспылил, и, по всей вероятности, вышла глупая сцена. Недурно для начала. <...>

Д. 6. Л. 164—166

421

13 сентября

<...> Преподавание мое у оболенок идет на всех парах. Впрочем, в VIII классе я был только один раз и начал свою греческую культуру очень неудачно. Говорил и неинтересно, и несвязно. Но моя ли в этом вина? Представь себе, что расписание нельзя было иначе составить, как так, что мне приходится в пятницу, кончив урок в 12 ч[асов] в институте, лететь на извозчике к оболенкам, где урок в 12 ч[асов] начинается, опаздывать и прямо из передней идти в класс совсем шалым (кстати, и дверь в класс из передней!). Зато в других классах, говорят, мною довольны. На одном уроке была у меня княгиня, на другом (и даже на двух подряд) Г[еоргий] В[асильеви]ч. Он сделал мне несколько указаний, но, в общем, если не сочиняет по обыкновению, — доволен. Зато дела у меня по горло. В пятницу так 6 часов подряд. На курсах я начал сегодня и тоже не очень-то доволен собой.

Впрочем, я вообще в некотором расстройстве. Кроме всего прочего, представь себе, что у Васильевского сын застрелился. Мы были третьего дня на панихиде, а С[ергей] А[лександрович] и вчера, и сегодня целый день там. Бедный милый наш В[асилий] Гр[игорьеви]ч! Из-за чего это вышло, это известно только в общих чертах. Помнишь, верно, ты слыхала от нас, что [у] сего юноши был невозможный роман с сумасшедшей девицей из бывших курсисток. Дело это дошло до того, что ее семья потянула его к суду за то, что он будто бы соблазнил ее, обещая жениться. Это бы еще полбеды. Но он ездил в Тифлис, познакомился с сестрой жены Сабин-Гуса и чуть на ней не женился, а тут попал в лапы С[абин]-Гусу, который, верно, скоро в Сибирь попадет. По крайней мере, негодяй он настоящий. Фотографию он продал, ездил в Монако, там все проиграл, но зато привез рулетку и устроил здесь игорный дом. Он с свояченицей ловко запутали и обирали Васильевского. Денежные дела, по-видимому, и довели его до катастрофы. <...>

Сегодня у Г[еоргия] В[асильеви]ча первая суббота. Не знаю, попаду ли я к нему или застряну у Г[енриха] М[атвееви]ча. Он очень звал.

Да, Юлек, надо нам сообразить одно дело. Теперь у меня уроков: в институте 12 по 70 р., т. е. 840 р.; у оболенок 11 по 75 р., т. е. 825 р.; на курсах 5 по 150 р., т. е. 750 р., а всего 2415 р., но из них 145 будут вычитать, значит, остается 2270 р., кроме того, 75 р. от папы и 30 р. от Адрианова. Можем ли мы на это прожить? Сообрази внимательно и отвечай точно и откровенно. Дело в том, что я хотел бы бросить Сассо, а то трудно будет. Хотя, конечно, можно справиться и с этим уроком, но без него было бы много лучше. Отвечай поскорее, а то боюсь, что Сассо обратятся ко мне. <...>

Д. 6. Л. 167—169 об.

422

14 сентября

<...> Сегодня я утром ездил к Платонову за книгой, по которой думаю приготовить лекцию на завтра. У меня теперь расписание такое: в понедельник от 9 до 12 — три урока в институте, а с 2 — до 4-х — две лекции на курсах; во вторник с 9 до 12 — институт, а с 3 до 4-х — история греческой культуры; в среду с 9 $^1/_2$—11 $^1/_2$ два урока у оболенок, а с 2—4 курсы; в четверг 9—12 — институт, а с 1—3 — оболенки ; в пятницу 9—12 — институт, а с 12 — оболенки, а с 3 — 4 — лекция на курсах. Потому я и писал тебе вчера о Сассо, что в такое расписание трудно вклеить еще 2 урока, к которым нельзя не готовиться.

У С[ергея] Фед[оровича] дети переболели корью и теперь поправляются. Сам он усиленно работает и в октябрьской книжке Ж[урнала] М[инистерства] н[ародного] пр[освещения] печатает очень интересную статью.[341] <...> Первая суббота у Г[еоргия] В[асильеви]ча, как и следовало ожидать, была довольно скучная. Были В[ера] В[икторов]на и Леванда, да еще одна классная дама из гимназии Оболенской. Хозяйничала М[ария] Ал[ексеев]на. Потом были наши — С[ергей] А[лександрович], И[ван] И[ванович], Миша, Нечаев. Был и Градовский, и Фридолин, и еще какой-то субъект. Немножко попели. Все было вяло, С[ергей] А[лександрович] читал «Рус[скую] мысль», мы с Мишей смотрели фотографии. В половине 12-го ушли девицы, с кот[орыми] почти никто не разговаривал, а скоро потом и мы, захватив с собой Голованя к нам ночевать, так как у Г[еоргия] В[асильеви]ча ночевала его племянница — гимназистка, моя ученица в V классе. Головань плакал о несчастной судьбе суббот. Мир их праху! <...>

Д. 6. Л. 170—172 об.

423

16 сентября

Сегодня, дорогая моя Юлька, был мой второй урок по истории др[евне]греческой культуры. Ну, дело, кажется, налаживается. По крайней мере по форме. Что касается содержания моих уроков, то я сам бреду ощупью. Для меня лично это и интересно, но едва ли это облегчает моим ученицам понимание моих речей! Все едино. Более или менее мною останутся довольны — это очень вероятно, а лично мне этот курс даст довольно много. Вообще же теперь мое преподавание идет на всех парах. И так как я теперь и на курсах говорю без конспекта перед носом, то и мне легче, и лекции выходят живее. Вообще, кажется, в этом году не будет той лихорадочной спешки, как прежде. Я больше приспособился и меньше суечусь. А это значит, что я, можно думать, реже буду гонять от себя мою милую Юлю, говоря, что «некогда» <...> Чувствую я себя хорошо, даже весело, но устаю порядком. Вот сегодня, напр[имер], вместо того, чтобы готовиться к лекции — нечаянно заснул, да и проспал до того времени, когда пришлось бежать на урок. Ложусь рано, зато и встаю в 6—7 часов. Странное дело: утомляет меня больше всего институт, хотя там утренние уроки. Из института я возвращаюсь сонный и усталый, а потом иду на час или два еще к оболенкам или курсисткам и оттуда возвращаюсь более бодрым. Это, верно, оттого, что там больше работают нервы, а в институте скучно, да и неуютно.

Как видишь, личные мои дела идут недурно, только бы Юля еще была со мной, и совсем было бы хорошо. Но общая атмосфера кругом не из веселых. Я уже не раз жаловался тебе на это. Да и Бог с ними. Как-то и нет у меня ни к кому настоящего интереса, кроме как к Манизеру. Никуда больше и не тянет, а придешь — так не знаешь, что делать с людьми. Мы и стали совсем домоседами, так как и С[ергей] Ал[ександрович] в таком же настроении. Впрочем, на завтрашний вечер я зачем-то назвался к С[ергею] Фед[оровичу]. Это не очередная «среда», а зато именины Н[адежды] Н[иколаев]ны. Пожалуй, придется пойти.

Ну, надо все-таки на завтра две лекции приготовить, а то я готов совсем a livre ouvert* читать. Такой стал храбрый. Надо подтянуться. Да и писать больше нечего. Просто хотелось лишний раз поболтать с моей Юлей, крепко обнять ее, поцеловать ее милые, светлые глазки.

Д. 6. Л. 173—174 об.

424

17 сентября

<...> Заходил только что к нам А[лександр] Як[овлевич], чтобы забрать свои вещи, какие у нас оставались. С учительницей он устроился. Заходил и Ив[ан] Ив[анович] — он готовит свою вступительную лекцию в университете. Надо будет поехать, хотя бы пришлось для этого пропустить лекции на курсах. Читать он [будет] либо в будущую среду, либо в следующую. Дай Бог ему хорошего дебюта. Это сразу бы поставило его на ноги. <...>

Д. 6. Л. 176—176 об.

425

18 сентября

<...> Вчера мы с С[ергеем] Ал[ександровичем] отправились к Платонову и, кажется, глупо сделали. Никого не было, кроме Спицына и детей, так что мы испортили ему семейный вечер. Он даже сперва не очень-то в духе был. Но раз мы пришли, то уйти было неловко. Глупо вышло. Впрочем, Н[адежда] Н[иколаев]на была очень любезна и много со мной разговаривала. Потом и С[ергей] Фед[орович] разболтался и наконец рассказал нам подробно о своей диссертации. Это крупная работа, обнимающая почти целый век, очень важная по теме. Не все будет там ново для историков, но зато в литературе ничего по этой теме (борьба классов во время Смуты) нет. Только работы у него ос-

---

* С чистого листа, экспромтом (*фр.*).

тается еще больше чем на год. И Бороздин (преподаватель литературы на курсах) уже приготовил диссертацию, очень любопытную (о раскольниках);[342] он недавно мне рассказывал, в чем там дело. Завидно мне слушать такие речи. Кажется, рассержусь и возьмусь сам за большую работу. <...>

Над[ежда] Ник[олаевна] здорова, хорошо выглядит и веселая. С[ергей] Ф[едорович] утомленный и скучноватый, хотя любо-дорого смотреть, как он оживляется, когда говорит о своей работе. <...>

Д. 6. Л. 177 об.—178 об.

1898

426

18 июня*

<...> Два дня не мог я писать тебе. Все время почти пробыл у Манизера, там и ночевал. Вторник был очень тяжел, так что доктор стал задумываться и даже о консилиуме заговорил. Кризиса он ожидал на сегодняшний день и, кажется, боялся его. Я на ночь во вторник остался там и совсем не спал, а все ходил прислушиваться к дыханию Г[енриха] М[атвееви]ча и посмотреть на него. Но ночь прошла спокойно, а наутро оказалось, что температура 37.5 и пульс совсем удовлетворительный, и вообще Г[енрих]у М[атвееви]чу стало сразу получше. <...> Плохо то, что Г[енрих] М[атвееви]ч очень нервно настроен, хотя и не говорит больше таких страшных слов, как прежде. Зато он очень обеспокоен тем, что будет дальше, когда он поправится. Денег у него почти совсем нет. В начале болезни он послал объявление в газеты, что продает некоторые вещи <...> Кроме того, постоянно волнует его мысль о детях и о многом другом. Например, о том, как выдержит он будущий год, а еще больше о том, как разрешит он свою дилемму: повеситься или жениться! Первоя, конечно, вздор, а второе... Андерсен рассказала мне, что Г[енрих] М[атвеевич] хочет взять ее [замуж], и это настолько уже решено было, что ее родные знают! Грустно это, хотя его я почти понимаю и не могу судить. <...> Что делать, когда доктор говорит, что невозможно, чтобы он, поправившись, оставался один с детьми! А оказывается, что женитьба чуть ли не единственный способ достать хозяйку! <...>

Времени, нервов и денег уходит нестерпимое количество. Мне-то это еще полбеды, но что будет с бедным Г[енрихом] М[атвеевичем] и с детками! Не могу вообразить, как сложится их судьба. Правду говоришь ты, Юлек, что скверно жить на свете, хотя человек такая скотина, которая очень много может вынести. <...>

Д. 6. Л. 181—185 об.

---

* Опущено письмо от 13 июня с описанием болезни Г. М. Манизера (Д. 6. Л. 179—180 об.).

427

19 июня

Уф, дорогой Юлек, сегодня доктор заявил, что опасность миновала и что Г[енрих] М[атвееви]ч начнет поправляться. Дай Бог, чтобы силы его вернулись. <...>

Сегодня я один дома. С[ергей] А[лександрович], как я писал тебе, вчера уехал в Рыбинск. Пустота дома невероятная. Если бы не надоедливый шум с улицы, тишина была бы мертвая. Как это ни странно, но это мешает мне сосредоточиться над книгой. То и дело подымаешь голову и оглядываешься: все пусто и тихо. Это напоминает мне рассказ папы о том, как они под Плевной привыкли спать под звук канонады, а когда заключено было перемирие, они не могли спать: им тишина мешала. <...>

Д. 6. Л. 186—187 об.

428

27 июня*

<...> Безвыходно сижу у Г[енриха] М[атвееви]ча. Выздоровление его затянулось, потому что он очень нервничает. Теперь в наиболее пораженной части (верхней) правого легкого идет рассасывание, зато медленно поддаются плевритные явления внизу. Йод и компрессы подгоняют дело. Мое назначение тут — проделывать это, а главное, не давать, по мере сил, Г[енриху] М[атвееви]чу волноваться и скверные думы думать. Последняя задача просто невыполнима. Читаю ему, разговариваю. Но главная беда — дети. При них часто никого нет. <...> Слава Богу, что Свайн пришла: пообедают дети — и погулять пойдут, а я ему почитаю. Теперь мы читаем «Что такое искусство?» Толстого.

Больше всего беспокоят Г[енриха] М[атвееви]ча ноги. Разболелись они у него — от слабости, понятно, а он боится, что плохо ходить будет. Намучился, бедняга.

Занятия свои я, понятно, совсем бросил. Да и не вышло бы из них ничего, если бы даже и была возможность уходить отсюда. Порядочно нервы перенапряжены. Только отделаюсь — уеду к тебе. Ну их к Богу. И болезнь Г[енриха] М[атвееви]ча, и адриановские дела — и все вообще чужое, что почему-то меня касается, все это в конце концов — изводит. Тишины и отдыха хотелось бы. <...>

Д. 6. Л. 193—195 об.

429

4 июля**

<...> Приеду я около 15-го, не раньше, потому что кое-какие занятия надо все-таки закончить. <...> Напишу пару мелочей для «Мира

---

* Опущено письмо от 21 июня (Д. 6. Л. 188—190 об.).

** Опущены письма от 28 июня (Д. 6. Л. 196—198 об.) и от 1 июля (Л. 199—200 об.).

Божьего» и еще одну работу для Адрианова. Сейчас за все это я денег не получу, но они будут заготовлены к твоему возвращению — это должно окупить твой обратный путь. Вот на это да на летописи и уйдет время до 15—16-го. <...>

Г[енрих] М[атвееви]ч медленно поправляется. Как встал — то конечно стал злоупотреблять данной ему свободой, и температура поднялась до 37.7, а это нехорошо, но он не слушается. Не знаю, что с ним и делать. Я тебе писал, как он говорил со мной о своих делах. По-видимому, дело кончится тем, что Андерсен поедет с ним теперь же и — в качестве его жены. Дай Бог, чтобы это хорошо кончилось.

Теперь я водворился дома и только по вечерам буду навещать его, чтобы завязывать компрессы и ноги ему камфорным спиртом растирать. А остальное время буду работать. <...>

Д. 6. Л. 201—204 об.

430

7 июля

<...> Половцев склоняется к тому, чтобы поручить мне работу об императрице Елизавете Петровне и еще другие о деятелях елизаветинского царствования.[343] Но решится это, когда он прочтет мою биографию Батюшкова. Стало быть, я не уеду, пока не кончу эту работу. Летописи придется бросить, так как из работ по эпохе Елизаветы должна и диссертация составиться. К тому же половцевские заказы и источник лишнего заработка и, может быть, порядочного. Все это вместе довольно существенно.

От бабушки я получил письмо, из которого видно, что переезд Ефремовых в Петербург произойдет не без некоторых затруднений. Они получат, почему-то, подъемных всего 150 р., да еще не расплатились с долгом в офицерской кассе, хотя с них вычитают 23 р. в месяц. Понятно, просят папу перетащить их. Папа же ждет в августе проезда царской семьи в Крым и потому советует Кате остаться в Шостке до сентября. <...>

Д. 6. Л. 205—207 об.

431

11 июля
Арх[еографическая] ком[иссия]

Дорогой мой Юлек, не радуют меня твои письма. Т. е. нет, я очень рад им, очень рад каждой строчке твоей, но когда прочтешь — и досадно, и грустно. Ты получила письмо мое, где я протестовал против домбровских порядков? Неужели совсем нельзя переменить их? <...> Я не могу не защищать твоих прав; да, наконец, и своих собственных. Право, как ни тянет меня к тебе, как ни хотелось бы мне побыть с тобою, но мысль о поездке в Домброво для меня испорчена. Устал я, нервы, долго натянутые, упали хуже чем зимой. А что даст мне Домброво? Физический отдых — да, но душа не отдохнет, потому что она может отдохнуть только при тебе, а нас разлучают, мы будем врозь, да и вообще эта обстановка, это отношение к нам меня возмущают, и я не жду отдыха и успокоения своей усталой от тревог и огорчений душе, потому что там не будет ни уютности, ни спокойствия, а только новые огорчения и раздражения. <...>

Видно, борьба моя с твоими за тебя не кончилась, когда тебя у меня отнимают в такие времена, когда мы друг другу всего нужнее. Ну, будет. <...>

Д. 6. Л. 208—209 об.

432

19 августа

<...> Доехал я, конечно, благополучно, но порядочно устал, потому что поезд был полон и до Пскова, т. е. до 4-х часов утра, спать не пришлось. Только в Пскове освободилось место, и я часа четыре проспал. Всю дорогу читал «Bez dogmatu»[344] и читал с наслаждением. Продолжаю писать в четверг, 20-го. Пришел С[ергей] А[лександрович] и помешал кончить.

Итак, мой Юлек, ехал я и читал Сенкевича, которого кончил в Гатчине. В половине второго был дома и все нашел в порядке. Полы вымыты, цветы в отличном состоянии, а бегония так выросла пышной шапкой сочных листьев. Женя и Антонина невесть как мне обрадовались и расспрашивали. Штруп исчез, хотя его вещи тут. Собирался я в тот же день зайти к Манизеру, но судьба решила иначе: я попал с С[ергеем] А[лександровичем] и Е[леной] В[ладимировной] в Павловск, на бенефис Смита, славного скрипача; играл и Вержбилович. В антракте происходила «баталия конфетти», состоящая в том, что гуляющие швыряют друг другу в физиономию горсти разноцветных бумажек. Сперва мы не хотели заниматься этим, но потом и я опорожнил 2 мешка бумажек на физиономии незнакомых дам и барышень. Эти «баталии» не удаются здесь: вяло, деланно и скучно. В заключение сожгли эффектный фейерверк.

При моих финансах, быть может, нечего было швырять 2—3 р. на эту поездку. Но, по приезде, меня такая скука обуяла, что я рад был куда-ниб[удь] провалиться. А сегодня у Чуек экстренный «вторник» по случаю возвращения Натальи Павловны, Флексера и меня. Кутим.

В институте я был сегодня и, к великому моему удивлению, застал уроки! Я пришел поздно, и моих уже три урока должно было быть! Завтра начинаю. Был и на курсах, получил жалование и назначил «дополнительный» экзамен для тех, кто осенью не держали, на 3-е сентября. Быстро приходится входить в дела, в колею! С курсов поехал к Манизеру. Свадьба была 16-го в церкви какого-то ремесленного училища. Детей Г[енрих] М[атвеевич] не взял. Из них один Геня проявил определенное отношение к свершившемуся факту, но зато серьезно. Дня два был очень задумчив, был у него жарок, так что он даже прилег. А когда он остался один с Г[енрихом] М[атвеевичем], то спросил: «Папа, ты оставил то, что делал для памятника?». Г[енрих] М[атвеевич] удивился и не сразу сообразил, что это он о рельефе говорит, и ответил, что нет, не оставил, но что это дорого, а сейчас нет денег, надо подождать. «Так памятник будет? А я думал, что ты оставил?». Каково? Вот нервный и чуткий мальчуган. Мне это, конечно, Г[енрих] М[атвеевич] рассказал, и видно, что ему тяжело. Он объяснил Гене, что ему трудно обходиться без мамы, что надо кого-нибудь, кто бы заменял ее, и что поэтому он и взял Алеку. Геня расплакался и на вопрос: «Что ты?» ответил: «Мамы нет». Ех-Андерсен веселая и спокойная, хотя, кажется, с напряжением. Что-то из всего этого будет? Помоги им, Господи, справиться с собой и друг с другом. В делах Г[енриха] М[атвеевича] некоторое улучшение: все амбары на Охте сданы. Я видел его недолго — пробыл у него всего часа 1 $^1/_2$ и только что вернулся домой.

Здесь я нашел письмо от Миши из Калуги. Ответить не успею, потому что он на днях должен быть здесь. Славный он малый и письма пишет хорошие. Дело С[ергея] А[лександровича] кончено, но с разными формальностями нельзя покончить раньше октября. Придется еще дважды посылать какие-то бумаги на подпись Анне А[лексеев]не. Е[лена] В[ладимиров]на, по-видимому, успокоилась, но выглядит неважно и вовсе не поправилась. Зато все меня встречают восклицаниями: «Э, какой у Вас вид хороший!». «Мир Божий» — подлец. Ничего моего не напечатал. Зато Батюшков принят, и С[ергей] А[лександрович] обещает за него в сентябре 25 р. <...>

Форстен приехал, сам получил свои фарфоры, привез на 500 марок всякой дряни и уехал в Финляндию, где у него теперь свой дом в имении брата; этот дом соседи зовут «Professorshaus».*

Д. 6. Л. 210—213 об.

433

22 августа

<...> В этот вечер я собирался побывать у Васильевского, да засиделся у Балбашевских. С[ергей] А[лександрович] был у него и говорит, что старик плох, а беречь его не умеют. Очень это нам грустно.

Только что получил телеграмму от Вениамина — они завтра в воскресенье приезжают. Не знаю, как они тут устроятся; ведь еще и папа будет. Я ничего не приготовил: пусть Катя сама выберет, как распределить публику.

Вчера я был у m-me Олив. Славная она барынька. Мы с ней много поболтали, и она очень просит побывать у нее зимой. По ее просьбе я написал Евг[ении] Мих[айлов]не, чтобы она зашла переговорить. Надеюсь, что этот урок устроится. Кажется, этими визитами я покончил все «дела» А теперь ждем неприятностей. Дело в том, что министр народного просвещения прислал бумагу в Педагогическое общество, где предлагает переделать общедоступные публичные курсы в учебное заведение (?!!) или смотреть на них как на публичные лекции, т. е. просить на каждый курс каждому лектору разрешение у градоначальника. Это подло до чрезвычайности. «Учебного заведения» из курсов никак выйти не может. А просить постоянных разрешений — это значит терять массу времени и оказаться в руках у полиции. Я теперь боюсь, что такой же удар постигнет гимназию Оболенской; может, предложить бросить все нововведения, потому что м[инист]р желает, чтобы все держались одной одинаковой министерской программы, очень плохо составленной. Дай Бог, чтобы мои опасения не оправдались.

---

* Профессорский дом (*нем.*).

Сегодня я свободен. Надо бы приниматься за биографию Бестужева-Рюмина, министра императрицы Елизаветы Петровны.[345] Но меня одолевает какая-то тревожная скука, которая не дает мне дело делать. Как-то пусто и тоскливо кругом. И так будет, пока ты не приедешь. Но настроение это я переломлю в себе. За дело браться нужно, потому что это и для меня хорошо, и денег даст. <...>

Д. 6. Л. 214 об.—216 об.

434

24 августа

<...> Сегодня я все равно написал бы тебе, потому что Ефремовы приехали. В субботу я получил телеграмму, а в воскресенье мы с Адриановым встречали их на вокзале. Они приехали, как и предполагалось, с папой в отдельном вагоне. Катя очень располнела, настоящая belle-femme,* гораздо живее и деятельнее прежнего. Вениамин совсем как был, только поседел. Боря большой для своего возраста, развязный и более спокойный, чем прежде. <...>

Теперь все разбрелись, и я один дома. Катя с детьми отправилась в Гвардейское общество,[346] папа — по своим делам, а Вениамин еще с утра ушел в Артиллерийское управление.

Вениамин рассказывает, что его очень сердечно проводили из Шостки, чего он не ожидал, так как со многими воевал. На его место туда назначен Пашкевич, обязанный своей карьерой тому, что он старый знакомый инспектора пороховых заводов Каминского. <...>

Д. 6. Л. 217—221 об.

435

26 августа**

<...> Что касается паспорта для Паши, то В[ениамин] Н[иколаевич] говорит, что он получал пятилетнюю книжку для своей прислуги: послал старый паспорт и просил прислать книжку сроком на пять лет — и прислали. Платят только за пересылку, а сколько, не знаю.

Вчера я был у Чуйко и засиделся очень долго. Дамы рано ушли спать, а мы четверо В[ладимир] В[икторович], С[ергей] А[лександрович], Флексер и я много толковали и спорили. Флексеру крепко досталось, так что он даже обиделся, стал объясняться и очень горячо и искренне говорил о себе и своих взглядах, так что первый раз произвел действительно симпатичное впечатление. Ужасно он странный человек, совсем непохожий на всех нас, и трудно с ним столковаться.

---

* Красавица (*фр.*).

** Опущено письмо от 24 августа (Д. 6. Л. 217—221 об.) с описанием возвращения Ефремовых в Петербург.

Но вчера мы остались довольны друг другом. Говорили, конечно, о Достоевском, Красиньском, поляках вообще, о Белинском и о самих себе. Весьма было любопытно. Люблю я эти вечера. <...>

Дела у меня пока немного, но завтра выяснится вопрос об Елизавете, которую Половцов решил мне отдать не через Адрианова, а через редактора буквы «Е» Шумигорского. Завтра у нас с ним rendez-vous, и после этого придется серьезно приниматься за работу.<...>

Д. 6. Л. 223—224 об.

436

27 августа

Милая, дорогая моя Юля, как это случилось, что ты 23-го получила только второе мое письмо? По моему счету, я сегодня пятое пишу. Я тебе уже писал про два своих визита к Манизеру. Жаль было бы, если бы письмо о первой встрече не дошло. Второй раз я не напишу так, как, вероятно, вышло под первым впечатлением. В воскресенье мы были у него с Полиевктовым. Тут, конечно, никаких интимных разговоров не было. Манизер был такой, как всегда, расспрашивал Мишу про путешествие.

Сам он тоже много интересного говорил про Италию и про ее искусство. Странно, что он не очень высоко ценит Сикстинскую мадонну. Ему совсем нравится только младенец. А над композицией он даже трунит и, надо признаться, очень метко. Для детей он еще никого не нашел, а с понедельника у него начались занятия в начальной школе. <...>

Миша приехал, конечно, очень довольный, но еще, очевидно, не разобрался в своих впечатлениях, да и вообще он такой же шалый, как был. Перед мыслью о курсах у оболенок все мы трусим. В субботу Форстен ждет к себе нас троих для делового разговора. Надвигается!

Форстена я не видал, хотя он у нас был. Он пришел как раз утром, когда я был на уроках в институте. С ним виделись Адрианов и Полонский. Говорят, что он производит хорошее впечатление — веселый и бодрый, хотя уже успел крепко простудиться. Он навез из-за границы новых художественных предметов — из Неаполя какие-то античные скульптуры, из Стокгольма распятие Торвальдсена и какое-то кресло. Я, кажется, уже писал тебе, что он решил оставить Бестужевские курсы: сегодня у них по этому поводу объяснение с Платоновым — интересно, чем это кончится. Может быть, я его сегодня увижу: он обещал зайти к нам, потому что у нас, вероятно, будет музыка. <...>

В[ладимир] Ал[ександрович] действительно бросил все уроки и хочет наукой заниматься. Давай ему Бог! Узнал я, что Панченко на два года уезжает за границу. Это я, кажется, уже писал тебе?

В понедельник у меня начались уроки в институте. На первых уроках я, конечно, рассказывал. Ничего, идет. Можешь нас поздравить с новой учительской — весьма приличной.

Сегодня среда, и поэтому я свободен. Но день этот пропал даром, потому что вчера мы долго засиделись у В[ладимира] В[икторови]ча; я поздно встал, да и потом мы много проболтали с С[ергеем] А[лександрови]чем.

Я до сих пор не понимаю, что думают себе эти дети. Роман их гласный, но ведь, кроме трогательной идиллии, из этого ничего не выйдет. Я не расспрашиваю почти, так что знаю не много. Все это известно В[ладимиру] В[икторови]чу и Н[аталье] П[авлов]не. В[ладимир] В[икторович] как человек осторожный определенно ничего не говорит, дружит с С[ергеем] А[лександрови]чем, присматривается к нему с опасением и под сурдинку говорит ему колкости. Впрочем, вчера у него был момент, когда он был прямо раздражителен, без всякого повода. И этот раздражительный тон был, как мне кажется, по моему адресу. <...> Теперь, когда дело разъяснилось, как бы они ни порешили с С[ергеем] А[лександровичем] — у них может остаться une rancune* против меня, не правда ли? Потому что, все-таки, я им много крови испортил. От Е[лены] В[ладимировны] я тут ни одного письма еще не получил и не знаю, как она теперь ко мне относится. Прошлый год я сбивал ее с толку и стоял между нею и Адриановым. Тогда она дорожила нашей близостью, но теперь для нее этот прошлый год недоразумение и, вероятно, неприятное. Дело в том, что мы часто говорили об Адрианове и я часто не щадил его и тем подрывал его фонды. Поживем — увидим. Меня это лично не так огорчает, как можно было бы ожидать. Я только беспокоюсь за нее — и больше ничего. Ревности у меня нет и быть не может, но под влияние Адрианова я ее охотно не пустил бы, хотя очень люблю его. Нелепая это история.

Д. 6. Л. 225—227 об.

437

29 августа

<...> Мое положение с середины сентября и до твоего приезда будет весьма гнусное: без прислуги, в совершенно пустой квартире, и это как раз тогда, когда всякая работа будет идти на всех парах, торопливо, а домой и забегать будет незачем, потому что там никого и ничего нет.

<...> То, что ты пишешь по поводу Г[енриха] М[атвееви]ча, очень естественно и понятно. Ваше женское сословие вообще лучше нас, и потому труднее мирится со всякими компромиссами, когда дело идет о сердечных делах, о дорогих людях. Мы слишком много думаем и рассуждаем и надумываем себе такое отношение к жизни, которое идет из ума, а не из сердца, как надо. Но есть и другая причина, кроме тех софизмов, которыми полно мое письмо по этому поводу к Е[лене] В[ладимиров]не (помнишь?), причина, которая заставляет меня легче мириться с этим. Мне жаль Андерсен, жаль Г[енриха] М[атвееви]ча, и память о Стелле не мешает мне не только желать, чтобы им было хорошо, но и надеяться, что так будет. Ведь если память о Стелле бу-

---

* Злопамятность (*фр.*).

дет выше всего в его жизни, ему останется уйти за нею, а для жизни не станет сил. Это было бы глубоко и законно — но ужасно не для него, а для детей. Ради них я рад, что так вышло, и не знаю, почему другая, а не эта, лучше помогла бы выйти из положения. Ведь какова бы ни была новая m-me Манизер, шаг Г[енриха] М[атвееви]ча был бы тяжел для него и для нас. <...> Тут всех жалко, а немного и то есть, что жалко вообще людей, которым какие-то непонятные и страшные силы так ни с того ни с сего разбивают счастье и жизнь. Жалко и обидно, что с этим мириться надо, что бессилие перед такими обстоятельствами давит нас. Правда, голову теряешь, не знаешь, что лучше, что хуже, и одна неопределенная и большая жалость остается. <...>

Теперь еще несколько новостей есть. Мои дела неудовлетворительны. Елизавету, в которой я был почти уверен, мне не дают. Отдали другому, профессору казанскому, хотя знают, что он напишет так, что все равно печатать будет нельзя. Глупо это, но мне от этого не лучше. Произошло это, по-видимому, оттого, что Шумигорскому не хочется пускать меня, а захватит он эту работу себе, воспользовавшись работой Корсакова, которому дали ее, и других. Ну, Христос с ними.

Приехал Форстен. Я вчера был у него. Он весь полон впечатлениями Египта и Англии, навез много интересных вещей, рассказывает без умолку. Приехал и Головань. Он был у меня. Он все такой же. Заграничные впечатления мало оживили его, и делиться он ими мало умеет. Меня он огорчил замечанием по адресу адриановских дел: сказал, что если со стороны Е[лены] В[ладимировны] это не временное увлечение, то, значит, он ее не знал прежде, а думал, как он выразился, что у нее больше «внутренней культуры», т. е. шляхетности, тонкого благородства; по его мнению, оно не должно бы удовлетворить ее тем, что может дать ей С[ергей] А[лександрович]. Это зло и обидно. Я ничего не сказал, но заноза осталась, потому что я ее в самом деле очень люблю, а он больное место трогает так холодно и сухо. Славный он при всем том, он мне милее Джона, например. <...>

Е[лена] В[ладимиров]на совсем расклеилась. Не знаю, отчего. С[ергей] А[лександрович] говорит — утомление. Сегодня они собираются к Форстену. Может быть, и я пойду. От него такой бодростью, таким увлечением веет. Меня он увлекает рассказами о заграничных чудесах, что мечта о поездке становится все сильнее. Я дилетант по натуре: на все бросаюсь, всем интересуюсь и потому разбрасываюсь и ничего серьезного не делаю. Что будет с моей «диссертацией»? И нужно ли ее? Что ты об этом думаешь?

За границу меня тянет все из-за той же погони за новыми впечатлениями, новыми мыслями, а когда же я стану клеить из них систему, что-нибудь свое, солидное?? И гожусь ли я на это?? Чуть ли не все думают, что гожусь, а я — не знаю. <...>

Удивляет меня, что Миши нет. Думаю, что если бы он приехал, то зашел бы. Про Джона Форстен рассказывает, что он много работает, но изменит свой план и зиму проведет в Берлине.

У нас дома жизнь колесом идет, и мне не дурно. Делать я ничего не делаю, зачитываюсь «Поланецким»[347] и только. Кстати: кое-где есть пометки на книге — то красным, то черным карандашом, и вопросительные знаки. Твои или нет? А если нет, то чьи? Меня всегда интересуют такие пометки, я пытаюсь угадать, что думал тот, кто их делал. <...>

Д. 6. Л. 228—233 об.

438

31 августа

<...> Я не знаю, что со мной творится. Я ужасно много думаю о тебе, о себе и о многом другом, и как-то особенно думаю, не умом, а всей душой. И все мне яснее становится, что ничего, ничего у меня нет, кроме тебя, моей дорогой, моей любимой. <...> Все остальное, чем дальше, тем больше бледнеет. Вот хоть бы наука и всякие идеи, которых так много копится в моей голове. Было время, когда я был влюблен в них, мечтал о том, чтобы им жизнь отдать, из них что-то нужное выстроить. И теперь я об этом мечтаю, но гораздо спокойнее, а знаешь, почему? Потому что как голову ни ломай над разными «идеалами», а приходишь все к одному: «Люби всей душой Юлю, будь счастлив ее любовью, а лучшего и важнейшего ничего и быть не может». Не знаю, поймешь ли ты меня. <...> Ум мой сколько ни работает, приходит к тому только, что ты и так знаешь, что тебе почему-то дано от Бога, т. е. к тому, что надо жизнь брать так, как ты ее берешь, к людям относиться так, как ты к ним относишься, и что это главное, самое умное, что выдумать можно. И чувствую я себя перед тобою совсем маленьким, и хочется мне к твоим дорогим ножкам сложить все то, что люди имеют наивность ценить во мне, потому что я сам по себе мало стою, а лучшее, что есть во мне, это то, что я Юлин, весь Юлин, и что Юля моя чудная, любимая Юля меня любит. <...>

Ну, теперь надо что-нибудь дельное написать: душу немного отвел. <...> В институте ко мне как-то особенно хорошо относятся нынче. Право, кажется, меня там полюбили больше, чем я их. Это свинство так хвастаться — но тебе можно написать, сойдет. <...>

Что еще? В субботу С[ергей] А[лександрович] звал меня с ними к Форстену. Я пошел, но кончилось тем, что профессор уже спал, и мы пошли к Чуйкам. Шел сильный дождь, а тут еще подвернулась Елена Гр[игорьев]на, с которой я прошел часть Надеждинской — и простудился. Вечер просидел у Чуек. Подумай: это третий раз на одной неделе. Е[лена] В[ладимиров]на очень мила со мной, но В[ладимиру] В[икторовичу] я, кажется, надоел. А мне дома скучно, когда все в 9 ч[асов] спят, а я начитаюсь до одурения. Вчера по случаю моих именин, Е[лена] В[ладимировна] и С[ергей] А[лександрович] обедали у нас. Получил я телеграмму от I класса в институте. Не помню, писал ли я тебе, что бывшие мои ученицы просят карточки от Мрозовской, а это 4 дюжины!! Как быть?? В четверг экзамен на курсах, в пятницу — в гимназии (вступительные), а на той неделе занятия пойдут на всех парах. <...>

Д. 6. Л. 234—237 об.

439

31 августа

<...> Борю сегодня отвезли в корпус. Он отправился веселый и без особого смущения. Я спросил его как-то, рад ли он поступлению в корпус, а он ответил: «Не знаю, только интересно»

Я, приглядевшись к нему, во многом узнаю себя, когда был его возраста. А Шурик, чем больше к нему присматриваешься, тем симпатичнее. Его избалованность — вина родителей, а мальчик милый, бойкий и забавно смышленый. Он очень много спрашивает и презабавные делает замечания. Я ему подарил «живую фотографию» — он оторвал обложку, потом отдал тетрадку С[ергею] А[лександрови]чу и говорит: «Шуре нельзя, Шура будет рвать» Иногда он очень послушен, и если ему сказать, что какой-нибудь книги нельзя трогать, он спросит: «Да-а?» и не трогает; если уж очень хочется «посотеть» (т. е. «посмотреть»), то несколько раз спросит: «А Шуре нельзя?» — «А папе можно?» и успокоится. <...>

Д. 6. Л. 238—240.

440

1 сентября

Вчера я наконец потерял терпение и пошел узнать, не приехал ли Миша. Оказывается, еще нет. Не понимаю, что это значит. Насколько я знаю, у Мая 20 авг[уста] начинают занятия, но если даже первого, то он должен был бы уже быть тут. Меня это почему-то беспокоит. Я этого парня в самом деле люблю и хотел бы, чтобы у него все хорошо шло. Дома ему нелегко. Е[лена] В[ладимировна] недавно говорила, что будущей жене Миши нелегко будет с его матерью; это правда, но и ему нелегко с этой деспотической маменькой. <...>

Пока прощай. Когда ты поедешь, то тут багажа прибавится от моих писем. <...>

Д. 6. Л. 241—242 об.

441

4 сентября

<...> Да, Миша наконец приехал. Оказывается, что его из гимназии отпустили до 1 сент[ября]. Приехал веселый, бодрый, но очень взволнованный заграничными впечатлениями, итальянскими анархическими движениями, озлобленностью несчастной народной толпы, пустотою и подлостью парламентов и тяжестью всей атмосферы в обществе и на улицах. Чем дальше, тем больше разочаровываемся мы в либерализме и прочих хороших политических словах. Нынешние люди гордятся своей образованностью и прочим — а не умеют жизни устроить, справиться с этой самою жизнью, портят ее себе и другим. Это, верно, и в политике, и в частной жизни одинаково. <...>

Я люблю людей, всяких людей, и думаю, что, кто с ними не может справиться иначе как деньгами, тот сам виноват. Мы ведь требуем, чтобы люди были добросовестны и даже деликатны, а заслужили ли мы это от них? Я не хочу трогать личностей, но скажи: разве не Петр В[икентьеви]ч портит своих людей, не умея руководить ими, не умея внушить им уважения к себе, не как к человеку только, а как к хозяину? Он не виноват, что взялся не за свое дело, но зачем так остро и безнадежно огорчаться тем, что люди темные, неразвитые оказываются плохи, когда им ни свету, ни развития не дают. От боли, причиняемой дурными поступками людей, можно исцелиться только верой в то, что по существу они хорошие, и это правда, но останется огорчение, что жизнь их мнет и заставляет поступать не так, как им же самим было бы лучше. Конечно, если серьезно поддаться такому огорчению, то жизнь даст больше уколов, чем радостей, но разве нельзя меньше принимать этого к сердцу, как мать меньше принимает к сердцу проделки детей, если очень их любит. Побольше снисхождения — и станет легче. Меня спасает от мучительных впечатлений, которые только скользят по мне, потому что во мне большой запас любви к жизни, счастья, данного мне тобой. <...>

Ты спрашиваешь, по поводу Елизаветы, о летописях. Теперь я не знаю, куда понесут меня мои ученые настроения. Может быть, я вернусь к ним, может, нет. Я бестолковый человек, бездельный дилетант, и выйдет ли из меня ученый или нет — не знаю, надеюсь, что Юле это все равно, потому что мне и так хорошо, а если и Юле совсем хорошо будет — то что же еще надо? Остальное само устроится, как Богу угодно.

Пока приближаются другие дела. На будущей неделе начнутся занятия в гимназии — 9-го и на курсах — 10-го. На этих днях надо написать несколько статеек в «Мир Божий» для октябрьской книжки. То, что было моего в редакции, напечатано в сентябрьской,[348] и я получил 20 р. 20 к. Всего денег у меня после уплаты за квартиру — 70 р., да еще около 100 получу в гимназии (т. е. это уже за сентябрь). Дела не блестящие.

Вчера Катя была у Бориса: он, бедняга, скучает, и при свидании с ним сделалась истерика. Нелепая вещь эти закрытые учебные заведения, хотя иногда нельзя без них обходиться. Да, куда ни обратись, всюду найдется ряд грустных и неизбежных впечатлений — а надо жизнь брать, как она есть, и силу для этого находить в любви. <...>

Приехал Платонов. Я его еще не видал. Он говорил Адрианову, что его диссертация почти совсем готова, так что в течение зимы он ее, должно быть, напечатает.

Д. 6. Л. 244—249 об.

442

5 сентября

<...> Геню Г[енрих] М[атвеевич] отдал в новую школу — кн[язя] Тенишева, помнишь, быть может, ту самую, в устройстве которой мы с Форстеном должны были участвовать, да не пошли на заседание. Это «общеобразовательная школа», которая ставит себе целью вести

дело преподавания независимо от казенных программ и, по возможности, без школьной скучной рутины, без отметок и экзаменов, но возможно серьезнее. Затея симпатичная, но пока нельзя сказать, как она будет выполнена. Я рад, что буду иметь возможность через Г[енриха] М[атвееви]ча следить за тем, что творится в этой школе: меня это дело интересует. <...>

Боря пришел в отпуск из корпуса. По-видимому, его не только огорчает, но и занимает переселение в корпус. Привыкнет — и будет себя там хорошо чувствовать. Кадетские замашки начал уже приобретать. А что мой Юлек поделывает? <...>

Д. 6. Л. 250—252 об.

443

7 сентября

<...> В субботу, как я тебе писал, мы с полковником собирались к Форстену. Но его не оказалось дома. <...> На другое утро мы с Адриановым пошли опять к профессору. Нас не хотели пускать, но так как мне нужно было получить с него книжку, то мы проникли. Оказалось, что к бедному Г[еоргию] В[асильеви]чу вернулись его головные боли и он решил запереться от всяких посетителей. С субботы, 12-го, начинаются сборища у него, а 9-го первая «среда» у Платонова. Я, верно, пойду, а сегодня, быть может, соберусь к Дружинину. На пятницу у нас ложа на «Руслана и Людмилу»[349] — идут Ефремовы, Чуйки (трое), Адрианов и я. Кучу, как видишь. А между тем послезавтра начинаются уроки в гимназии, в четверг надо читать первую лекцию по истории греческой культуры, а в субботу — начну на курсах. Опять пойдет крутиться колесо. Расписание мое вышло довольно странным: 5 раз в неделю по 5-ти уроков, а в пятницу — 2. Адрианов кроме гимназии нашей взял еще 4 урока в гимназии Стоюниной. Смотри, совсем учителем станет. Миша взял частный урок: учить молодого купца истории, чтобы он в обществе не краснел, за 125 р. в месяц. Миша ввиду этого уже мечтает о том, чтобы набрать денег и уехать на целый год в Италию, а пока сомневается, на какой из двух калужских девиц жениться — на кузине или на «Марье Семеновне», которая 10-го будет в Петербурге! Я держу за М[арию] С[еменов]ну. Вот будет штука, если он в самом деле женится.

Я тебе одним духом выложил все новости за два дня. Дома же ничего любопытного не произошло, кроме того, что управляющему надоело усердие, с которым мы затопляем генеральшу Мягкову, и он собирается взыскать с меня расходы по ремонту за последнее наводнение! Это весьма неприятно: рублей 10—15 из кармана ни за что ни про что.

Я в свободное время строчу рецензии для «Мира Божьего», а читать — почти ничего не читаю. Не знаю, отчего такая лень обуяла. Не знаю, за что взяться, и жду того момента, когда мои занятия сами собой обратятся в скачку с препятствиями. А с будущей недели эта скачка пойдет на всех парах. <...>

Д. 6. Л. 252а—254 об.

444

9 сентября

<...> И чего трусить перед судьбой? Ну, что она нам сделать может? Конечно, от болезни и смерти никто не гарантирован, но это еще не худшее, что с людьми случается, да и не поднимется у них рука на нас. Да, ты права, что кругом много примеров испорченного счастья, но ведь это от недостатка любви, а у нас ее слишком много для таких происшествий. Вот за Е[лену] В[ладимировну] мне страшно — видел я их много вместе, и как-то мне странно: он ей много не говорит, много мелочей, которые ей интересны, она узнает только от меня, вообще хотя они очень милы друг с другом, но как-то, по-нашему, это не то. Может быть, время такое у них. Очень они намучены и боятся всего, как, напр[имер], Платоновы отнесутся и т. д. <...>. Вчера был день рождения В[ладимира] В[икторови]ча (ему уже 59 лет), и я у них обедал. Была Л[идия] К[арлов]на. А вечером, по случаю вторника, пришли актер Карамазов с женой, и вечер был не очень интересный, так как только о театре толковали.

Сегодня первая среда у Платонова. Поеду пораньше, чтобы нарваться на разговор об Адрианове. Платонова я немного видел у Дружинина в понедельник, но там только общие разговоры были.

Сегодня начались занятия у оболенок. Утром мы с Адриановым были на молебне, послушать речь нашего о[тца] Григория — хорошо он говорит, просто, красиво и с настроением. С ученицами я, конечно, так себе кой о чем болтал. Завтра надо начинать в VIII кл[ассе], а там и лекции на курсах. Для всех этих лекций я ничего не делал и не знаю, как справлюсь. Совсем неохота лезть в обязательные дела. Столько сердце работает, что голова отказывается работать. Это и за диссертацию приняться мешает. Я рад бы работать и вовсе не «лентяй», как меня раз Юля назвала (этакая гадость), но так, чтобы в работу душу вложить, ту самую, которая так полна тобой. А сухие вещи урывками делать — это не работа, которая могла бы меня удовлетворить. <...> Помнишь, я как-то давно-давно не то говорил, не то писал тебе, что ты разбудила мою душу? А теперь она не хочет рассудку подчиняться и мешает своими порывами ему работать над тем, что ей мало дает. Понятно, что из Юлиного Саньки делового человека не сделаешь. <...>

Д. 6. Л. 255—258 об.

445

10 сентября

<...> Юлька, Юлька, отчего тебя со мной нет! И не скоро еще увижу я тебя. Сегодня смотрел я календарь, вижу, что 26-го и 27-го — два дня праздничных. Вот было бы хорошо, если бы ты приехала 26-го утром — по крайней мере, я первые два дня был бы с тобой. <...> Когда я о Юле думаю, у меня даже слезы на глазах, такие, как, помнишь, тогда, когда мы от Манизер по Гагаринской ехали, в день твоего отъезда. <...>

Платонов тебе кланяется. Вчера мы были у него. Н[адежду] Н[иколаев]ну не видали — нездорова. А он веселый, бодрый, только какой-то чужой. Отвыкли мы с ним друг от друга, и мне это жаль. Ну, да ничего не поделаешь, мы с ним по разным дорогам идем. Придет время, опять сойдемся.

Сегодня я начал лекции в VIII кл[ассе] гимназии. Говорил почти экспромтом, потому что лекции не приготовил и только подумал, что сказать. Вышло неуклюже и, должно быть, не совсем ясно. По мне это все равно. Это мои ученицы, знакомые, и я их не стесняюсь и думаю, что им легче меня понимать, потому что они ко мне привыкли. После меня дебютировал Адрианов. Елена Григорьевна хвалит его лекцию, но жалуется, что он слишком быстро говорит. Скверно, что вышел из класса совершенно без голоса, — этак ему трудно будет читать. А утром он начал уроки в гимназии Стоюниной. Представь себе, что там учителем М. И. Черников — наш, тифлисский. Интересно было бы посмотреть его теперь! <...>

Д. 6. Л. 259—260 об.

446

13 сентября

<...> Вчера была первая суббота у Форстена. Он спел только 3—4 романса и то, когда почти все разошлись. Некому аккомпанировать. Он непременно хочет, чтобы я читал речь на акте, а я хочу сбыть это дело Полиевктову. Терпеть не могу публичных представлений.

В пятницу мы были в опере на «Руслане». Исполнители не понравились Ефремовым, но чудный оркестр и хоры все-таки сделали этот вечер приятным. Когда я в субботу получил письмо твое, обидно было думать, что я сидел в театре, когда у тебя столько тревоги еще было.

В субботу (вчера) начал читать на курсах. Домой после пяти часов преподавания прихожу кислый. Скоро обрачусь в «замороженного чудака», каким, по мнению Адрианова, бываю каждую зиму. Дрянь твой Санька — и охота тебе любить его! <...>

Д. 6. Л. 262—265 об.

447

15 сентября

<...> Теперь жду не дождусь письма хорошего, из которого совсем было бы ясно, что Гутик здоров и ты, моя бедная голубка, успокоилась. И жутко — а вдруг опять что-нибудь случилось с тобой или с ним — и так сердце сожмется. Даст Бог, перетерпим эту несносную разлуку и опять вместе будем. <...>

Да — Манизер! Бедный он, грустный и странный! Что-то странное про Робу сказал, что тот нервничает. Отчего? Спросить не удалось. Мы были у него в воскресенье с Полиевктовым, и оба вынесли грустное впечатление. Когда он мне показывал твои карточки, верно, что-то ему вспомнилось — он отошел в сторону, и мне показалось, что у него слезы очень близко. Твои две карточки (из 4-х) очень мне нравятся, а Гутик нигде не вышел. Может, на лучших отпечатках лучше будет. Просил он очень тебе кланяться. Надо к нему почаще ездить.

Геня ходит в школу и, кажется, доволен этим. А, вообще, нового у них ничего нет. <...>

Опять уставать стал, а за настоящую работу еще и не принимался. А надо большую биографию для Адрианова написать, да еще «Мир Божий» заказал большую статью об Александре I — впрочем, это только к январю, а для Адрианова к декабрю.[350] <...>

Д. 6. Л. 267—269

448

16 сентября

<...> С Флексером у нас что-то совсем дружба завязывается. Жаль его, человек очень недюжинный, а такой странный, что ни с кем [у] него хороших отношений нет. Он любит бывать у Чуйко, потому что, как сам раз мне сказал, это единственный дом, где он может бывать спокойно и с удовольствием. А то его везде травят. Теперь он печатает книгу о Леонардо да Винчи с массою иллюстраций. Маркс издает; будет, вероятно, интересно почитать и посмотреть.[351] А скоро В[ладимир] В[икторови]ч собирается прочесть реферат о книжке Толстого «Об искусстве»[352] — жаль, если это без тебя будет. Читает он плохо, но по содержанию может быть интересно.

Так тебя заинтересовал Красинский? Статья эта не очень хорошо написана, но сам Красинский и его «Дельфина» очень интересны.[353] Жаль, что денег нет. Я бы очень хотел выписать сочинения Красинского из-за границы; если выписывать, так львовское издание, а оно рублей 15 стоит. Письма его будут печататься осенью — об этом объявлено в одной из позднейших книжек, где объявления о подписке [на] третью четверть года. Жаль, что я не прочел про Ботичелли (по-итальянски с = ч) — это, должно быть, интересно, если хорошо написано. «Прерафаэлитами» называют художников до Рафаэля, и Сандро Б[оти]челли тоже прерафаэлитом часто считается. Дело в том, что английские художники стали им подражать, находя, что такой искренности и поэзии, как у них, нет ни у Леонардо, ни у Рафаэля, ни у других. Они и Ботичелли себе в учителя взяли, а я его не люблю. Его мадонны и ангелы часто притворяются святыми, а в сущности большие шельмы и только ломаются. Но теперь Г[еоргий] В[асильевич] привез из Лондона одну головку Ботичелли, которая мне очень симпатична. Он в восторге от английских прерафаэлитов, т. е. новых художников, подражающих итальянским прерафаэлитам, и привез чудные фотографии с картин Россетти, Бёрн-Джонса и Уотса. Ужасная вещь это искусство. Так бы хотелось знать его — и никакой возможности. Я вчера смотрел у В[ладимира] В[икторовича] фотографии со старых мастеров Возрождения и просто дивился, какая там масса прелести. <...>

Д. 6. Л. 270—272

449

18 сентября

Знаешь, Юлек, что у нас Женя декадентка. Катя читала ей какую-то историю, где сменялись грустные и веселые сцены; она слушала, слушала, да и говорит: «Знаешь, мама, это хорошо — точно волны». Не правда ли, странная наблюдательность для маленькой девочки; это нервно и тонко: какова? Замечает ритмичность настроений, сменяющих друг друга, точно стопы в стихе! А то она раз подобрала на рояле что-то вроде мелодии — и говорит: «Послушай, мама, какое я слово нашла» — и прибавила: «Когда буду большая, буду так целые истории рассказывать». Нужно дьявольскую впечатлительность, чтобы музыкальные фразки принимать за слова и понимать, что ими можно целые истории рассказать. Вот оно новое поколение: еще молоко на губах не обсохло — а уже декаденты. Вспоминается мне, что ты как-то просила меня объяснить, что такое «декаденты», а я не сумел. Трудно это потому, что слово-то неопределенное. Декадентами называют людей со слишком утонченными нервами, таких, которые ловят и замечают тончайшие оттенки чувства в себе и других, тысячу сердечных мелочей, которых здоровый человек и не заметит, которые у него есть, но он за ними не наблюдает, не думает и, конечно, не говорит о них. Художники-декаденты стараются вложить какой-то особенный, как будто существенный смысл в малейшее слово, в каждую линию, движение, пятно на картине. Они ловят те настроения, какие иногда вызываются в нас мелочами, грусть, навеянную случайным состоянием тонов в пейзаже, смутное чувство, вызванное какой-нибудь нотой или аккордом — те безотчетные и как будто беспричинные настроения, которые иногда привязываются, Бог знает, почему, к каким-нибудь, по-видимому, совсем не относящимся к делу мелочам. Они дорожат такой нервной тонкостью впечатлений, влюблены в нее, стараются ее выразить, а если трудно выразить просто, то выражают намеком, аллегорией, символом — это символисты; главное — передать не натуру, не действительность, а настроение — они импрессионисты. Трудно яснее сказать. Может быть, ты уловишь, в чем тут дело. Настоящие декаденты не те, кто эти тонкие впечатления улавливает, потому что им это дано, а те, кто старается быть таким, и потому от старания манерен, неискренен, кокетничает, непрост. Женя — декадентка чистая, не настоящая, искренняя, потому что тонко чует детская душонка. Ну можно ли писать про бедную девочку такой вздор? <...>

Д. 6. Л. 273—275 об.

450

20 сентября

<...> Вина моя в том, что я слишком привязался к Юле и что не хватает у меня великодушия спокойно делиться ею с другими, которые меня не любят. Судьба возложила на меня тяжелую ответственность за то, что я стал между тобой и твоими, что мы разрываем меж-

ду собой твое сердечко. <...> Но, быть может, я неправ, но не в силах винить себя за это и бессилен против этого. Насильно мил не будешь, а быть другим, более приятным, я не сумел, да и не мог суметь, потому что личность моя тут ничего не значит. <...> Я не сержусь на тебя — разве могу я сердиться — брось это гадкое слово и не слушай моих жалоб, а бери из них только лучшее — выражение того, что я люблю тебя без памяти, что нужна ты мне, как воздух, как свет, что без тебя я совсем бы задохся в этой глупой жизни. И это правда. <...>

Пожалуй, правда, что теперь недолго ждать. Ждать конца разлуки мы умеем — большая была практика. Глупо то, что чем дальше, тем это труднее, что из года в год, вместо некоторого перехода от горячего чувства к более спокойному, как, говорят, всегда бывает «от привычки», я влюбляюсь все больше — чем же это кончится? Когда нам будет по сту лет, я, верно, совсем с ума сойду. Пожалуй, эти разлуки отчасти масла в огонь подливают, хотя это глупо и неправда. <...>

Марья Ал[ексеев]на прислала телеграмму с просьбой выслать несколько книг. Нельзя не послать. По-видимому, она получила уроки по истории, так как требует учебников по истории. А подписалась: «секретарь педагогического совета Марат» — это значит, что ее положение в гимназии, вероятно, хорошее. Вчера на «субботе» был Панченко. Он приехал на две недели и опять уезжает за границу. А Форстену он говорит, что если, по окончании заграничных занятий, М[ария] А[лексеевна] будет еще в Хабаровске, — он туда поедет учителем. Хорош был бы сюрприз для Мар[ии] Ал[ексеев]ны! <...>

Д. 6. Л. 276—280 об.

1899

451

25 апреля

<...> Напишу все по порядку. Выехал я, как ты знаешь, в отдельном купе. Ко мне пришел Трифонов и много занятного мне рассказывал: про отца Иоанна Кронштадтского, который был его учителем Закона Божия; про то, как сам он участвовал в Герцеговинском восстании, про свои путешествия и т. д.

В Белгороде он ушел к себе, а мне пришлось бежать из купе от нашествия двух дам, двух господ и двух мальчиков. По счастью, тут же рядом нашелся диванчик, на котором я отлично выспался. Перед сном пошел в вагон-буфет и там за бутылкой пива разговорился с одним из изгнавших меня господ — оказался он очень интересным: малоросс, служащий по торговым делам у д[окто]ра Батмаева* — знаешь, того бурята, у которого лечился Миша? Батмаев ведет большие торговые операции и посылает моего знакомца ежегодно в Сибирь, в Маньчжурию и т. п. У этого Батмаева свои дома в Пекине и конторы в разных местах. Ежегодно выписывает он монгольских мальчуганов в Петербург для учения.[354]

---

* Так в рукописи.

Ну, дальше. Под утро беседовали на станциях с Кареевым, Шателеном, а Трифонов приходил по временам ко мне — и даже надоел. <...>

Под Москвой Трифонов стал уговаривать меня ехать в Большой московский трактир обедать. Я отказался, потому что считал, что не успею. На станции взял носильщика и пошел искать извозчика, чтобы ехать на Николаевский вокзал. Но Трифонов поймал-таки меня и увез обедать. Я от этого только выиграл: прокатился по Москве (эх, хороший город!), и Тр[ифонов] угостил меня хорошим обедом (больше восьми рублей заплатил). На вокзал мы приехали все еще слишком рано.

На Николаевской дороге было плохо. Народу набилось битком, спать почти не пришлось, сидеть неудобно, душно. Даже голова начала побаливать. Так, с грехом пополам добрался до Петербурга. Денег привез 80 р. — значит (благодаря обеду Трифонова) 5 р. экономия.

Луиза меня ждала с чаем, но закусить ничего не приготовила — однако я выторговал себе яичницу. Потом попробовал посмотреть, что мне надо пробежать, чтобы войти в курс петербургских дел — но голова совершенно отказалась действовать. <...> С горя, что голова еще побаливает, я пошел к Мане, у них завтракал, играл в шахматы, гулял с Ив[аном] Пл[атонови]чем по набережной, смотрел на место утонувшего Дворцового моста — потом у них же обедал. Теперь у них же пишу письмо, которое поедет с курьерским в Харьков. <...>

Да, Юлек, боюсь, что на этот раз мне будет скучнее прежнего. Я уже в вагоне ловил себя на том, что мне очень тебя недостает, недостает крепко и Гутина лепета. Этот маленький шельмец сумел уже стать совсем необходимым. Так и видишь его милую рожицу, так и слышишь его: «Папа!» Ну, да это все пустяки. Надо, так надо.

В Петербурге ясно, светло, но довольно свежо. Под Любанью еще кое-где снег лежал. Деревья еще голы. Нет, куда лучше на юге.

Да: бабушке может быть интересно, да и тебе — знать про Шателена. Он теперь профессор Горного института и Медицинских курсов, считается очень даровитым и производит впечатление очень милого и простого субъекта. Он расспрашивал про всех наших — всех помнит. <...>

Д. 7. Л. 1—4 об.

452

26 апреля

Что-то поделываете вы, мои дорогие Юлька и Гутик? Я же тут пока еще не огляделся. Что я вчера делал — уже написано. Сегодня с утра отправился на экзамен в институт. Это был экзамен Середонина — выпускной. Проэкзаменовали одно отделение, потом обедали с институтками, потом экзаменовали другое отделение — и кончили без четверти 4. Из института я забежал домой переодеться и пошел навестить Мишу. У него был настоящий брюшной тиф, но теперь ему уже позволили встать, и он сидит в халате. Выглядит недурно, только немного похудел. Много расспрашивал про тебя и про Гутика. Вчера у него были шесть гимназисток VIII-го класса: пришли навестить страдающего преподавателя! Бородина, Шохор, Иванова, Ивашкина и еще не помню кто. Очень мило с их стороны — не правда ли? В среду обещают пустить Мишу прокатиться по солнышку. Аппетит у него огромный, а приходится держать диету, на что он сильно жалуется. <...>

Дома у нас все в величайшем порядке. Даже листки календаря аккуратно оборваны по числам. Я приехал с оборванной вешалкой у пальто — не успел переодеться, как вешалка пришита, хотя я ничего не сказал. Зины нет — она где-то на месте. Ключ от двери у меня. С завтрашнего дня начинается наше хозяйство с Луизой.

Общественные дела — плохи. Сокрушаются, что Сонин — тот профессор, который больше и круче, чем Платонов, сокрушал курсисток — назначается попечителем учебного округа. Сегодня Вениамин рассказывал про доклад Ванновского — доклад сильно в пользу студентов. В[анновский] указывал на то, насколько виной разыгравшихся беспорядков были неудачные распоряжения двух министров — Горемыкина и Боголепова. И это верно: у нас даже очень умные люди никак понять не могут, что молодежь такова, какой ее делают окружающие ее условия. Ведь не сама же она создает свою физиономию? В[анновский] говорил, что показания студентов понравились ему прямотой и порядочностью, а показания администрации — наоборот. Государь ответил ему: «А у меня лежат два доклада (нетрудно угадать, чьи!), где дело представлено совсем иначе!». В[анновский] принял это за выражение недоверия и сказал, что в таком случае его доклад не имеет смысла и должен быть уничтожен (а это очень объемный документ). Государь, говорят, сконфузился и сказал, что сам прочтет внимательно весь этот доклад.[354а]

Вениамин слышал это от профессоров Военно-Медиц[инской] академии, и в этом же духе говорят и другие в городе.

А один офицер, близкий к В[еликому] к[ня]зю Алекс[андру] Мих[айлови]чу, говорит, что сам видел письмо Витте к А[лександру] М[ихайловичу] со словами: «Правит[ельственное] сообщение о студенческих делах — сплошная ложь». Этот отзыв не совсем справедлив, но если факты правит[ельственного] сообщения почти совсем верны, то оно, все-таки, не полно. Факты подобраны односторонне — а это близко ко лжи.

Что-то будет? Настроение тут пришибленное, ибо если молодежь пересолила, то и правительственные лица показали ужасающую дрянность свою. Грозу бы надо, чтобы расчистить спертый воздух. И гроза собирается, говорят. В петербургском обществе серьезно толкуют о франко-немецко-английском сближении, о том, что в Европе чуется нарастающее против нас раздражение. Если это грозит борьбой — то дряблость и дрянность наша не особенная гарантия нашей силы — Россия сильна, но Петербург жалостно мелок и гнил. В маленьком, по существу, студенческом деле особенно чувствуется отсутствие мысли, воли, силы, находчивости. А сколько таких дел! <...>

Д.7. Л. 5—8 об.

453

29 апреля

<...> То, что ты про Катю пишешь, — очень грустно, хотя и не новость. Ей доставляет удовольствие изливать свою хандру бабушке и без толку мучить ее. Откуда эта хандра? Мне это понятно. Катя не умеет брать от жизни то, что она дает. Ее муж хороший, добрый и очень к ней привязанный — в двадцать раз больше, чем она к нему; пусть он часто несколько тяжел! Но подумай: разве хоть я — не бываю иной раз тяжеловат, раздражителен, сух, несправедлив к тебе? А все это минуты, которые проходят, развеянные моей любовью и твоей лаской. Катя все говорит, что у тебя муж очень кроткий и покладистый. Но, право, если бы ты третировала меня, как она — его, и я бы дошел до ссор и до неумения иметь дело с такой непонятной супругой. А дети? Катя нежная, заботливая мать — но сама знаешь, как мало это ей дает и как плохо это идет. Я в толк не возьму, как это выходит, что все, что лучшего есть на свете, — семья, близкий человек, дети — для нее только известный круг обязанностей; как в отношениях, где можно только отраду черпать, она видит какое-то исполнение долга? <...> Она уверила себя, что права, а кругом все виноваты, а если так к людям подходить без мягкости, без снисхождения, то ничего хорошего не выйдет. <...> Все это страшно обидно и больно, а как помочь делу, я никакой возможности не вижу. <...>

У Адриановых я во вторник вечером был. Ямпольские не пришли. Они днем ездили, как я тебе писал, в Териоки, и Маня, должно быть, устала. Я ее подвел: согласился было пойти с ней в среду в концерт Никиша (говорят, удивительные симфонические концерты Берлинского оркестра) — и обещал билеты взять. Но во вторник у меня чего-то голова крепко разболелась — я за билетами не пошел, а в среду у меня экзамен был в институте — вся затея и расстроилась.

<...> Много рассказывали про курсы, и вся история, по их словам, выходит в ином освещении. Они уверяют, что Раев в начале обструкции просил министра закрыть курсы на время, чтобы переждать беспокойное время, а Боголепов ответил, что закрывать — так совсем! Тогда пришлось заботиться о том, чтобы, во что бы то ни стало, занятия продолжались, ибо, по закону, если частное учебное заведение не функционирует от 3-х дней до недели — то оно считается упразднившимся. А курсы считаются частным учебным заведением. Это несколько объясняет крутые меры правления (Раев—Платонов—Сонин), которое старалось прежде всего не дать Боголепову повода взять курсы в свои руки, что их бы погубило. Но не все этим объясняется — по-моему, правление все-таки пересолило.[355] <...>

А днем во вторник у меня был Штруп, принес Мутера.[356] Он скоро уезжает — в объезд по России: от Москвы до Баку, потом Полтава — Петербург, по всем городам, где есть школы М[инистерст]ва ф[инанс]ов или Академии художеств. Едут они с Альбертом Бенуа ревизовать эти школы. Ай да Штруп! Вчера от Дурдина я зашел к Мише. Он молодцом, скоро выходить начнет.

Сегодня я был в гимназии, получил наконец жалование. От лекции в VIII классе я уклонился, а заставил Бородину читать реферат. В гимназии видел Гр[игория] Спиридоновича, вернувшегося из Чистополя (Казанск[ой] губ[ернии]), «с голода». Рассказывает скверные вещи. Голодовка серьезная, а помощи мало. Деньги есть — а нет людей, которые распорядились бы ими. И это до такой степени, что ему самому пришлось 3000 р. оставить в банке, потому что некому их передать в надежные руки. Одна особа, которой 17 тысяч выслали из Петербурга, отрекается, что получила их. Красный Крест еле устроил кое-где столовые, но людей не прислал, и на него тоже поэтому нельзя опереться. Некого послать в другие местности. В Чистополе стоит 1000 лошадей для соседнего уезда, а туда их не посылают вот уже две недели. Крестьяне же там не пашут, потому что не на чем! Гр[игорий] Сп[иридонович] ищет теперь, кого бы послать на место с деньгами.

Вот и все новости мои за эти дни. Вот как их много накопилось. <...>

Д. 7. Л. 9—14 об.

454

1 мая

С маем, дорогой Юлек! «Веселый май» встречает нас, петербуржцев злополучных, ясно, светло, но довольно-таки холодно. Даже на солнце свежо в осеннем пальто, благодаря ветру.

Вчера я был у Манизер. Встретили меня очень приветливо, и посидел я у них довольно долго. Они заняты проектами, на лето собираются в Валуйки. Был у них Рогов, который и рассказывал, что и как, как ехать (на Воронеж), что с собой брать и т. д. Жить они будут в деревенской хате с земляным полом, который придется покрыть половиками. Деревушка эта в 3—4-х верстах от станции Валуйки, на реке Остре. Река рыбная — и Г[енрих] М[атвеевич] запасается рыболовными снастями для себя и детей. <...> А жизнь там — своеобразная. Печку топить можно, напр[имер], только от 6—9 ч. утра! Ал[ександру] Э[дуардов]ну все это нисколько не пугает, а очень занимает. Г[енрих] М[атвеевич] боится долгой дороги в вагоне, в жару и во время, когда много будет народу. Ехать думают в 3-м классе.

Рогов заведует двумя ремесленными школами Патриотического общества — и, кажется, очень увлечен делом. Заводит всякие новшества — рисование по дереву, компоновку рисунков для вышивания с мотивами с натуры и т. п. Мечтает о выжигании по дереву и по материи (выжигают ворс по плюшу и т[ому] под[обное]; он говорит, что выходит очень красиво). Теперь ему еще третью школу предлагают, но он отказывается. Видно, имеет успех, хотя, как всякого новатора, его травят там другие. <...>

Видел я и Форстена. Он, конечно, толковал больше об университетских делах. А тебе, как ты писала Е[лене] В[ладимиров]не, это не интересно (это потому, что я так много о курсовых делах распространился?) — так мимо.

Ямпольские сегодня едут на Пороховые. Адриановы собираются туда завтра и зовут меня. А у меня как раз дела много: надо две лекции о философии Платона состряпать. Если успею сегодня порядочно сделать — поеду, а то все рассердятся: и Ефремовы, и Ямпольские, и

Адриановы. А я что-то ленив стал и особого желания ехать не замечаю в себе. Сегодня закончил уроки в VI классе и раздал книги на лето. Остается V класс (до 13-го) и 2 лекции в VIII. В понедельник экзамен Рождественского на курсах — я ассистентом.

Получил майскую книжку «Мира Божьего», и, представь себе, этот дрянной Богданович — ни одной моей статьи не напечатал. Авось в июне напечатает. Лишних несколько рублей нам совсем бы не помешали, так как нынче из летнего жалования порядочно вычтут. <...>

Д. 7. Л. 17—19 об.

455

4 мая

<...> Последний раз я писал тебе, помнится, в субботу, 1-го мая. Вечером пошел к Форстену. Были Адриановы, Евг[ения] Мих[айловна], Лавров, Ел[ена] Григ[орьевна], два юнкера, племянники Г[еоргия] В[асильеви]ча, из которых один выходит в Тифлисскую гренадерскую бригаду, Головань и я. Посидели, поболтали; Г[еоргий] В[асильевич] читал немного, потому что с аккомп[анементом] Евг[ении] Мих[айловны] выходило не совсем складно. Разошлись в половине первого. Мы с Голованем много спорили о марксизме. Милый и интересный Головастик! Он так кипятится по поводу всяких теорий, так горячо и потому несправедливо и пристрастно их критикует! Вот человек, который жадно правды ищет, но не находит потому, что ищет ее в логике, а не в жизни. На другой день он пришел к Адриановым, куда мы собрались, чтобы ехать на Пороховые, — и опять пошли у нас, даже в дороге, пререкания. Поехали на Пороховые Нат[алья] Пав[ловна], А[дриано]вы, Г[оловань] и я — в конке, потом на дрынде. Е[фремо]вы были нам, конечно, очень рады. Хорошо у них — тихо, можно много на воздухе быть. С утра было порядочно свежо. Но после обеда так потеплело, что мы пошли в сад и в огород. Ты знаешь, что у них в огороде есть крохотный прудик, где, однако, караси водятся? Мы в саду стреляли в цель из монтекристо, причем одна только Е[лена] В[ладимиров]на ни разу не промахнулась. Потом Борис притащил от соседей крокет, и мы долго играли в 8 шаров, а партии все-таки не кончили, когда стало свежеть, — и бросили. <...>

Экзамен Рождественского затянулся с 11 ч. до 11 ч. Правда, два перерыва было — раз мы кофе пили, а раз бегали обедать в «Restaurant International» на углу Гороховой и М[алой] Морской. Во время экзамена одна барышня подошла отвечать — да и хлоп в обморок! Пришлось мне взять ее на руки и отнести в учительскую, где дамы ее в чувство и привели. И какой молодец! Оправившись, пришла опять — мы предложили ей кресло — и она отлично ответила. Вообще экзамен был очень хороший.

Домой я вернулся поздно. Дедушка тут рассказал мне свои дела. Иванов уговаривал его принять место за 8 $^1/_2$ тысяч (и то долго торговались!), а потом послал его еще к вице-директору. Оба уверяли, что папа для дела очень нужен, а дать 10 т. они не могут без согласия м[инист]ра Госуд[арственных] им[уществ], которого путать в это не хотят, ибо он норовит посадить своего, не инженера! Папа готов был согласиться, но сегодня утром поехал к вице-директору на квартиру — и заявил, что их предложение его не устраивает, что он все равно будет хлопотать о переходе в Петербург хотя бы на частную службу. В результате вопрос считается конченным, и папа остается на старом месте. <...>

Сегодня я свободен. Только лекцию в VIII классе читал (завтра последнюю прочту). Из гимназии пошел в фотографию за пробной карточкой. Вышло очень порядочно, и я заказал 4 дюжины за 6 р. 50 к. Пробную посылаю Гутику — пусть помнит папу. <...>

Теперь сижу дома. Только что пообедали с папой. Он читает Короленко, а я пишу тебе. Он зовет завтра на Пороховые. И надо бы поехать, и времени жаль. Завтра лекция, в пятницу экзамен VII-го класса, а вечером наконец заседание с В[еликим] к[ня]зем на курсах: будем решать судьбу реформы. Жаль, что так оттянули. Жар немного простыл — у меня, по крайней мере. Надо пересмотреть все протоколы и программы, чтобы вооружиться для споров. Это бы я в четверг сделал — а если поеду на Пороховые, то другие дела застрянут; а разных мелочей много набралось.

Надо еще пару слов о студенческих делах сообщить. Бабушке это очень интересно, да, может быть, и тебе? Тут тихо, но в обществе большое волнение и толки. В Европе тоже следят: в лондонском «Times» ежедневно сообщения и, говорят, верные. Оксфордские студенты напечатали в Times'е заявление русским студентам, что кто в Оксфорд приедет, может рассчитывать на их материальную и нравственную поддержку. У нас не знают, что думать, что делать. Боголепов руками разводит — в его м[инистерст]ве ждут, что он уйдет. Государь благодарил Шувалова (одесского) за то, что тот исполнил просьбу студентов и удалил полицию от университета. Горный институт вдруг пришел в порядок: все требования студентов исполнены, всех вернули, полицию убрали, и экзамены идут полным ходом и спокойно. А тут же рядом — харьковские дела (напиши мне, что знаете о них) — и дела нашего у[ниверсите]та!! К шестому ждут амнистии — и уверены, что она вызовет новые беспорядки. Словом, сумбур полный! <...>

Д. 7. Л. 21—26 об.

456

6 мая

Дорогой мой Юлек, письмо твое я получил, когда собирался ехать на Пороховые вслед за папой. Это было вчера. Я после лекции (последней, слава Богу!) в VIII классе, попрощавшись с ученицами и поблагодарив их за внимание к моей болтовне, зашел за Адриановыми, и мы пошли на Пушкинскую, 13 — смотреть квартиру, о которой мне сообщила Маня. Квартира странная: 58 р. со всеми онерами, места много, 5 больших комнат, большой коридор — но один ход и грязный, 3 ³/₄ арш[ина] до потолка и без ванны. Значит, не годится. Им она очень понравилась, несмотря на недостатки. <...>

Как видишь, ничего определенного сообщить тебе не могу. Просто хотелось написать тебе несколько слов, моя дорогая. Завтра у меня каторжный день. С 10 ч. экзамен у оболенок, а вечером заседание на курсах, которое будет очень длинным. Даже папу, который завтра уезжает, проводить не успею. <...>

Д. 7. Л. 27—28 об.

457

8 мая

Милая моя, любимая моя, не успел я тебе вчера написать, потому что днем был экзамен в гимназии, потом папа укладывался и уезжал, потом было заседание на курсах. От папы ты узнаешь, что обмен квартиры состояться не может, потому что Дурдин не может сказать наверное, что очистит ее. У него есть проект уехать из Петербурга, чтобы поработать на металлургическом заводе. Он инженер-технолог (кончил институт после университета) — собственно, механик, но работал 2 года по химии и теперь хочет от теории перейти к практике. Вот если он уедет, — то квартира очистится, а если останется в Петербурге, то, верно, останется на старой квартире, потому что в Саперном для него нет свободной квартиры. Я был у него третьего дня, зашел часов в 7, когда он обедал, а скоро после меня пришел Адрианов, который взял квартиру в Саперном, ту, что мы с Вениамином смотрели. Мы заболтались и засиделись у него до 10 ч. У него и чай пили. Он занятный человек. Например, у его кухарки есть мальчишка, которого он хочет вывести в люди — отдать в школу Тенишева, а потом в высшее учебное заведение. Вращается он в очень либеральных кругах естественников и техников, много его товарищей повыслано из Петербурга за разные затеи. Между прочим, он рассказывал, что готовится новая петиция Государю о студенческих делах — подписей собрано до 2 тысяч и большинство — лица с более или менее видным положением, «д[ействительные] ст[атские] сов[етники] или им подобные» А петиция о том, что[бы] Государь гласно поручил Ванновскому добросовестный и беспристрастный разбор дела: общество ждет решения, а продолжается гонение на студентов — так общество и просит Государя сказать наконец свое слово. Неужели Государь не чувствует и не понимает сам то, что подчеркивает эта петиция? Ведь он унижает себя тем, что им вертят, как мальчишкой. Несколько раз уже произносил он свое Высочайшее слово — громкое и хорошее — напр[имер], Ходынский манифест — и выходило смешно и обидно, потому что слово это звучало в пустоте и разносилось ветром, вызывая лишь ироническую улыбку тех, против кого оно направлено.

Ну, буду рассказывать дальше, в хронологическом порядке, как летописец. Экзамен в VIII кл[ассе] был плохой. Были Г[еоргий] В[асильевич], Церетели, Миша. Г[еоргий] В[асильевич] много расспрашивал по общим вопросам, по «философии» истории, и мои дурочки путались безнадежно. Факты они вызубрили, да и то плохо, а объяснения мои прошли поверх их головок. Одна, Лихачева, девица слишком хорошенькая, чтобы быть умной, заработала двойку.

А вечером, отправив папу, которого я уже проводить не мог, я поехал на курсы. Собрались на боевое заседание почти все. Приехал В[еликий] кн[язь] и Степанов, начальник Мариинских гимназий. Наш план устройства курсов был, с объяснительной запиской, отлитографирован и разослан всем еще до Страстной.[357] Прямо приступили к обсуждению. Заседание было, конечно, бурное. Дамы напирали на то, что мы хотим задушить учениц массой занятий. Но точный подсчет показал, что на четыре года предполагается лекций и практических занятий всего 980 ч., т. е. по 4 ч. в день, а это не так уже страшно. Поп — он у нас преподлый, это тот самый Дернов, который был изгнан из гимназии Оболенской — торговался, что ему мало у нас времени, и вел спор преподло, так что сам В[еликий] к[ня]зь его осадил. Математик Трифонов оказался слабее, чем я думал. Он совсем не приготовил возражений, начал говорить очень дерзко, но сразу проврался и был осажден Половцевым, который указал ему, что он просто неправду говорит. Он, видите ли, уверял, будто Страннолюбский стеснял выражение мнений, не давал свободы обсуждения и навязал математикам свой проект. А дальше он представил требования, которых сам не мог объяснить, и признался, что не знает, как стоит дело преподавания педагогичек в гимназии, о чем он сам же и завел речь. Мы не ожидали, чтобы наши враги оказались так уж слабы. О политической экономии Трифонов ничего не посмел сказать, потому что я начал со ссылки на его мнение о необходимости и важности ее. В[еликий] кн[я]зь удивился и переспросил его — ему пришлось подтвердить. Тогда Тр[ифонову] оставалось только выразить сожаление, что пол[итическую] эк[ономию] не будут слушать математики.

Итак, в общем, битва была победоносной. В конце собрали голоса — 17 за проект, 7 (Трифонов, поп, три дамы и Степанов) — против. В[еликий] кн[я]зь первый подал за и потом упрекал Папкову, зачем она против. Но это еще не полная победа. Степанов — против, значит, IV-е отд[еление] будет пакостить. Кроме того, предстоит еще вопрос о том, как забрать в руки прогимназию и поставить там занятия слушательниц преподаванием. А это вызовет анкроморские* битвы, хуже бывших. И наверное, год учебный еще пройдет, пока вопрос решится окончательно. Можно еще все проиграть, потому что дело затягивается, а время может принести перемены, с которыми нам не справиться. Пока мы довольны. Уходя с курсов, Страннолюбский сказал, что сегодня будет спать спокойно, и перецеловался со всей нашей «партией» На мне теперь лежит мудреная обязанность составить протокол заседания. Кроме своих заметок у меня есть заметки Половцова и Леве. Авось состряпаю. <...>

Завтра Фарбштейны и Головков на Пороховых. Звали и меня. Но я не могу, ибо завтра диспут Сиповского (та диссертация, что я в вагоне читал).[358] Утром завтра за мной зайдут Бородин и Рождественский, чтобы идти к Шубинскому. Ведь я рецензию на Дьяконова писал для «Исторического вестника».[359] Авось напечатает, хотя она довольно большая.[360] <...>

Д. 7. Л. 29—33 об.

---

* Слово читается предположительно.

458

9 мая

<...> Ну, Юлек, надо рассказать, что я эти дни делал. Вчера я писал тебе про наше заседание. Отправив письмо, я поехал в Комиссию, чтобы Адрианов послал книги Мостовичу. Удивляюсь, на что ему это сочинение. Это обширные толкования на Библию, поповские и плохие. Но дело его, раз такое его желание, то надо было послать. Жаль, что мы с ним не знакомы. Я мог бы ему пригодиться и по выбору книг, нужных для интересующих его вопросов. В горийской глуши трудно следить за книгами новыми. А тут они сами на глаза попадают.

В Комиссии встретился с Евг[енией] Мих[айловной]. Она работает для С[ергея] А[лександрови]ча по словарю. Кроме того, у нее теперь урок — готовит какую-то ученицу гимназии Таганцевой к выпускному экзамену. Я послал ей учебник рус[ской] лит[ературы] Незеленова, а Адрианов — Апол[лона] Григорьева. Кстати, он мимоходом объяснил очень остроумно и оригинально развитие Лермонтова — любопытный он человек.

Потом дома я пообедал, почитал кое-что, а вечером собирался к Форстену. Зашел к Мише, потом за Адриановыми. Но они догадались послать узнать, будет ли суббота, и получили ответ, что Г[еоргия] В[асильевича] дома нет. У них я и кончил вечер. Заспорили с С[ергеем] А[лександровичем] о разных нравственных вопросах, о «доме» и «сознании дома» как устоях поведения человека. Я доказывал, что это суррогат, нужный, когда у человека не хватает сердечной правды — а, в сущности, понятие вовсе не нравственное. А С[ергей] Ал[ександрович], что оно необходимо. Так как мы о разных вещах говорили, то и не поняли друг друга, как это часто бывает.

Сегодня я тоже целый день проскитался. Только что встал — пришли Рождественский с Бороздиным и увели меня к Шубинскому, редактору «Исторического вестника». Тот принял нас очень любезно, жаловался, что половцовский словарь отбил у него всех сотрудников, просил писать для него. Моя статья о Дьяконове как рецензия для него велика. Он взял, чтобы просмотреть — не годится ли она в виде отдельной статьи. Для этого ее, быть может, придется несколько переделать. В среду я опять зайду к нему — тогда столкуемся.

Был у него и С[ергей] А[лександрович], зашедший за карточкой В[ладимира] В[икторовича] — она напечатана в майской книжке при статье о нем. Читали вы ее? От Шубинского я зашел позавтракать к Адриановым, и мы с С[ергеем] А[лександровичем] отправились в университет на диспут Сиповского. Народу было немного. Диспут происходил не в зале, а в аудитории — было всего 2 студента.

Диспут по внешности сошел для Сиповского удачно. Возражали ему мягко, защищался он очень храбро, даже слишком. Он и не понял, какой ему хороший урок дал Жданов, объясняя промахи его метода. Книга недурная, но поверхностная и недостаточно научная, хотя и не бесполезная. Из публики никто не возражал. Мы (8 челов[ек] — С[ергей] А[лександрович], Миша, Шеффер, Майков, Раевский и др.) поднесли ему в складчину (по 1 р. 36 к.) магистерский значок. Он обещал устроить нам угощение, но не сегодня.

Н[аталья] П[авлов]на почему-то позвала меня обедать. Я согласился, но с диспута заехал домой, чтобы написать тебе письмо. Однако вслед за мной явился Штруп и помешал. Его поездка отлагается из-за Бенуа. Он хандрит, сердешный, и не знает, что с собой делать. Пришел просить меня выписать ему еще несколько книг. Бедный, книги и эстетика главное, чем он живет. Служба несколько его интересует, но ведь этого мало. А личного у него ничего. Более несчастное существование трудно выдумать. Я люблю книги, люблю науку, но, не будь у меня Юли и Гутика, — не знаю, до чего пуста была бы моя душа. Это Юля виновата: она понемногу совсем победила идейную сторону мою — и мои интересы, ученые и философские, может ворчать, что я отношусь к ним гораздо спокойнее, чем прежде. Может быть, это неправильно, но зато я счастлив, на душе спокойно и светло. И даже немного стыдно, когда посмотришь, сколько кругом в жизни дурного и горького, когда увидишь, как сердечная связь с любимым существом мало кому дана в самом деле, как мало людей, которым она, как мне, служила бы опорой для спокойного отношения к огорчениям, неприятностям и т[ому] под[обное]. Ведь все пустяки перед любовью. Она и горе большое поможет снести, не искалечив себя и своих отношений к людям и к жизни. И горе тем бедным, кому она не дана. Вот тебе целая житейская философия, моя голубка, которая лучше понимает это, чем кто-либо другой.

А много грустного видишь и слышишь кругом. <...> Штруп довез меня до Адриановых. У них обедала Л[идия] К[арлов]на. Все были довольно грустны. <...> Славная эта Л[идия] К[арлов]на, я смотрю на нее как на какое-то близкое существо. И когда она тут, незаполнимая пустота, оставленная В[ладимиром] В[икторови]чем, чувствуется как-то сильнее. А знаешь, ведь я его, правда, очень любил. Я этого не понимал прежде так ясно, думая, что связь общих интересов, пожалуй, главное, что нас связывало. А нет, тут больше. Теперь я сижу за его письменным столом, на его — лет пять как продавленном стуле и пишу тебе. <...> Тихо. Большой кабинет с массой книг пуст и точно ждет хозяина. На столе книги, которые он последними читал. И так, кажется, подымешь голову и увидишь его — маленькую, нервную фигуру в кресле. А нет никого.

В будущем году мы с С[ергеем] А[лександровичем] приготовим к изданию сборник его лучших статей. Надо и статью о нем — верно, Флексер напишет, хотя, по-моему, он напишет не то, что надо.

Д. 7. Л. 34—39 об.

459

11 мая

Май месяц — а часа три подряд идет снег! Холодно и сыро. Я сегодня целый день свободен, сижу дома и с утра стал составлять протокол последнего заседания на курсах. Провозился целый день и устал, как собака. Странно, такое, кажется, пустое дело, а сколько возни. Легче было бы ученую статью написать. Да и большой же он вышел! Хотелось быть точным, а, наверное, будут придираться к каждому слову. Вечером отвезу его Страннолюбскому.

Сел поболтать с тобой, моя голубка, но хорошего письма не выйдет, потому что в голове что-то давит. Проклятая жизнь петербургская! Суета, шум! Один уличный шум чего стоит! Зимой лучше, тише. А как приятно выбраться на Пороховые, например.

Рассказать тебе, что я эти дни делал? В воскресенье вечером поехали мы с Адриановыми к Манизер. Очень нас мило приняли. Г[енрих] М[атвеевич] был очень приветлив с Е[леной] В[ладимировной], показывал ей мастерскую, все портреты Стеллы, свою начатую картину. Мне он подарил три карточки: свою — немного туманную, потому что он наставил аппарат на Мотю, а потом не мог сам точно сесть в фокус, — но все-таки очень хорошую; потом Геню с Яновым, и Мотю с ним же. Эти обе очень хороши. Я привезу их тебе в деревню. Кроме того, он снял А[лександру] Э[дуардов]ну на балконе (аппарат из комнаты). На светлом фоне неба лицо несколько темно, но очень удачно. <...>

Вчера экзаменовал учениц Церетели и своих. У нас экзамен держат только те, у кого три в годовом. Значит, скучно, но зато коротко; у меня всего набралось 6 учениц. Г[еоргий] В[асильевич] пришел и сам спрашивал — иногда такие вещи, которых я не объяснял. Я пробовал остановить его, но он не слушается. А все-таки он, в общем, хорошо экзаменует, как-то весело, и учениц оживляет. Потом я сидел дома за книгами. Уф, сколько запущенного дела. Начал подбирать материалы для биографии канцлера Бестужева-Рюмина (Адрианову). Интересная работа, но мало материала хорошего. А если бы найти, то можно бы порядочно написать. Поищу. Тут мне Г[еоргий] В[асильевич] может помочь, потому что Б[естужев]-Р[юмин] долго за границей служил (в XVIII в.). А сегодня целый день с протоколом провозился. <...>

Странное дело затевают Жуковские: требуют раздела библиотеки В[ладимира] В[икторови]ча. <...> Н[аталья] П[авлов]на готова уступить им все, что хотят. И выйдет, что отберут, что получше, разрознят то, что В[ладимир] В[икторович] всю жизнь собирал, а потом все, что они заберут, будет зря лежать и растеряется. На что им его книги? По-моему, разразнивать библиотеку умершего литератора или ученого — величайшее неуважение к его памяти. Вообще, отношения между двумя семьями не блестящие, благодаря старой вражде И[вана] В[ладимирови]ча ко всем Чуйкам.

Д. 7. Л. 40—43 об.

460

14 мая

Юлек мой милый, я тебя понимаю, но думаю, что бабушка отчасти права. Конечно, влияние на детей начинается с первых дней их жизни. Мы воочию убедились, что Гутику лучше с нами, и никакого влияния посторонних, особенно прислуги, не должно быть. Няньки — неизбежное зло, но все-таки зло, и особенно опытные, которые являются воспитательницами — по-своему. В теории все это так. Но растрата сил, запас которых у тебя не велик, дело серьезное. Я знаю, что на тебя это замечание — увы! — никакого впечатления не произведет. Но бабушка сто раз права, что силы надо беречь для будущего, для того же Гутика, которому, чем больше он расти будет, тем будет нужнее мама бодрая, веселая, с здоровыми нервами, которая его бодрила и успокаивала бы, давая ему своим влиянием основу для спокойного и ровного отношения к людям и жизни. Я не хорошо это сказал, книжными словами, но авось ты поймаешь смысл. Это нужно с первых же лет — это ранний фундамент, который должен быть крепким на всю жизнь. Вот для чего беречь себя нужно. А если еще дети будут? Справиться с их воспитанием не поможет одна любовь, одно хорошее сердце — нужны и силы. А если по мере увеличения материнского труда силы ослабеют, организм устанет — дети будут утомлять, надоедать и т. п. — будет очень трудно. Подумай-ка хорошенько и поверь, что, быть может, не следует всецело полагаться на свою добрую волю, а надо и о силенках подумать. <...>

С квартирой дело стоит. От Дурдина известий нет, я не ищу и с управляющим не говорил. Все это становится глупо. Остаться здесь? Ничего не имею против этого, если не набавят. И так нам дорого. Ведь я в будущем году буду получать на 290 р. меньше! Хорошо, как удастся заработать это на статьях. Ну, да это все не страшно — справимся как-нибудь. <...>

Адриановы поместились в 4-х ком[натах]. Ты меньше пяти не хочешь. А в 4 ком[наты] квартир особенно много. Напиши мне, можно ли взять квартиру в 4 к[омнаты] с комнатой (пятой) при кухне для прислуги, вроде, например, той, где живет Дурдин. <...>

Я тебе два дня не писал. Как-то не вышло. В среду (12-го) был мой экзамен — последнего класса в институте. Сошел неважно, хотя сносно. У Середонина — гораздо лучше. После первого отделения обедали с институтками — были зеленые щи, котлеты (это почти каждый раз) и сладкие пирожки с чаем. Потом оказалось, что продолжать экзамена нельзя: в церкви панихида, а экзамен в зале, через которую ход в церковь. Пошли в сад — Середонин и я с толпой институток и гуляли целый час. <...>

Кончили к пяти часам. Вечером, после экзамена, у меня плохо шло дело с книгами. Пришлось бросить и поехать к Цейдлер. <...> Ну, тут как всегда, бесконечные расспросы и разговоры о студентах, о Финляндии, о министрах и т. п. Ушел я что-то поздно — много после 11 час. Клара мне не понравилась, бледная, усталая, не в духе. Из-за школьных дел она ссорится с братом и матерью, нервно, чуть не до слез. Муселиус резко разошелся с Половцовым. Он у П[оловцова] был библиотекарем. П[оловцов] стал ворчать, что часы Муселиуса ему неудобны, и в один прекрасный день М[уселиус] нашел на своем месте другого — Модзалевского; спросил П[оловцо]ва, нужен ли он еще, а тот говорит — «как угодно», т. е. нет. Говорят, что Половцов, взяв к себе Муселиуса лет 12 назад с хорошего места на службе, обещал ему, когда кончится его служба, 15 тысяч выходных и ничего не дал. Это мне так Манизер рассказывал. Клара тоже говорит и очень волнуется, потому что боится, что П[оловцов] Муселиуса и из школы выгонит, а она им очень дорожит.

А накануне я (во вторник) был у Адриановых. Звал меня Штруп к Оссовскому, я зашел за С[ергеем] А[лександровичем] — да и застрял. Была еще Е[вгения] Мих[айловна]. Мы с С[ергеем] А[лександровичем] заболтались о своих историч[еских] и литературных делах. Как мы много хотим знать — и как мало знаем! Даже грустно.

Вчерашний и сегодняшний дни, четверг и пятница, у меня свободны. Занимаюсь биографией Б[естужева]-Р[юмина] — писать еще не начинал, потому что материалу мало. Надо много перечитать, а главное, достать, разыскать некоторые книги, изданные в XVIII в. Без хождения в Пуб[личную] биб[лиотеку] не обойдешься. Вечером вчера, когда Бест[ужев] мне надоел совсем, я пошел к Мише и отвез его к Лаппо-Данилевскому. Тут всегда интересно. Толковали много о чем, и общественном, и научном. Л[аппо]-Д[анилевский] хочет до отъезда созвать нас и Гревса и потолковать о том, не возобновить ли наши прошлогодние занятия, если будет время.

Миша рассердился, что Сиповский магистр, а он нет, и хочет решительно писать диссертацию. Теперь думает о моей старой теме — о Верховном Т[айном] совете — пускай! Я себе еще ничего не выбрал и не знаю, когда выберу.

Написал я протокол последнего заседания на курсах — не протокол, а подробное описание всего, что говорилось. Стр[аннолюбский], по-видимому, доволен — я его не застал, оставил ему все бумаги — а вчера получил нежное письмо: «Сердечно благодарен, многоув[ажаемый] и дорогой А. Е., Ваш сердечно Стр[аннолюбский]». Совсем добрый старик расчувствовался. <...>

Д. 7. Л. 44—48 об.

461

16 мая

Только для Юли

Дорогая моя, моя любимая <...> Грустно, если ты, моя робкая, моя чуткая, не преувеличиваешь хоть немного, грустно, что бабушка, обращая внимание на то, что ей, по разнице наших и ее понятий, может не нравиться или быть непонятным, забывает главное, сравнительно с чем все остальное — в данном случае несправедливое, но, все равно, если бы даже и было справедливо — все равно только пустяки. <...> Мама как будто не понимает, что как без нее в детстве и юности, так без Юли при начале жизни настоящей я не был бы тем, что я есть. Юля моя первая, моя единственная любовь — мое второе «я», и лучшее, чем первое. И это я говорю спокойно, это не пафос взволнованного сердца, а простая правда, та самая житейская правда, которая в каждый самый будничный день моей жизни дает себя чувствовать. Эх, Юлек, бедная мама нелегкую жизнь прожила, и того, о чем я говорю, она никогда не знала. Да и много ли людей поймут это? Многие ли поверят, если им дать прочесть эти строчки, — что так бывает? Нет, скажут люди, «знающие жизнь», такое только в романах пишут. Бедные, бедные люди! Я никак понять не могу, как жить можно без того, чем мы с тобой живем, — без счастья такой милой, полной любви. Не так ли, Юлек? <...> В Евангелии сказано: что Бог соединил, людям не разъединить. Это не про брак сказано, по-моему, а про любовь в браке — и это большие, хорошие слова, только надо их так понимать, что не только на деле, но и в мыслях, и в чувствах своих люди не должны разъединять то, что Бог соединил, не внешним образом, а внутренне, слив два сердца в одно сердце, две души — в одну душу <...> Понимаешь ты меня? <...> Когда о том, что в сердце, говоришь, слова все кажутся такими неподходящими, такими сухими и «умными», что даже противно. <...>

3 ч. ночи*

<...> Даже дорогие и близкие люди не понимают, не могут понять, как хорошо нам вместе и как Юля — много для меня. Жаль мне, что пришлось там тебя одну оставить, без себя. Я понимаю, что бабушка с тобой и ласковая, и добрая, — но все-таки вы не сходны, и я, напр[имер], думаю, что жить вместе нам было бы не хорошо. У нее свои привычки и понятия, а у нас свои. Как я этого сразу не понял?! И это вовсе не значит, чтобы она не любила тебя, нет, а только разно мы на многое смотрим.

Отчего я не с тобой, Юлек, если бы мы могли совсем не расставаться! <...>

И отчего это говорят люди, что только первое время любви всего лучше, по-моему, чем дальше, тем лучше, как-то яснее, глубже, понятнее, что в этом и жизнь настоящая. <...>

Д. 7. Л. 49—52

462

16 мая

<...> Теперь 12 час[ов] — у меня окно открыто — и не малейшей свежести вечерней не чувствуется. Обедали на веранде, потом играли в крокет до самого отъезда, и то партии не кончили. Поехали мы в пролетке с Борисом — и я опоздал на заседание, где был В[еликий] князь. Да и то сказать: глупое это заседание, в котором целый вечер рассуждают, кому какую медаль дать и в каком порядке вызывать на акт. Письмо твое я читал на извозчике — и отвечаю, вернувшись с заседания. Поздно, а спать совсем не хочется.

<...> Завтра надо на вечеринку к Сиповскому, а во вторник — совет в гимназии. Утром забегать неохота, потому что поймаешь его только на минуту. Впрочем, пожалуй, попробую раньше поймать. А когда ты едешь? Не решила еще? Очень меня беспокоит, как ты справишься с пересадками и вообще с дорогой без меня. Уж не приехать ли мне за тобой? <...> Мне в Петербурге нудно, но это, может быть, отчасти малодушие, а надо дело сделать, какое наметил, и оно может расстроить все эти мечтания. <...>

Если у нас несколько детей будет, я непременно составлю завещание о библиотеке, потому что это наследство духовное, а не материальное. Лучше пожертвовать ее целиком на сторону, чем трепать ее как «наследство».[361] <...>

---

* Продолжение того же письма.

Очень уж хотелось пораньше удрать из проклятой «Северной Пальмиры», но сознание, что дело есть, мешает отдаться этому желанию, но тут опять приходит в голову, нельзя ли согласить и то, и другое, и капитал приобрести, и невинность соблюсти. Ответь мне поскорее на все вопросы, а я пока разберусь, какие такие у меня дела и как их делать. <...>

Д. 7. Л. 53—56 об.

463

16 мая*

<...> Третьего дня был праздник, и я был дома до вечера. А вечером пошел к Шефферу. Давно мы с ним не виделись и любим поболтать о том, о сем и в шахматы сразиться. Впрочем, пришел я не совсем вовремя — он меня покинул, поехал к Ламанскому по делам будущего этнографического музея, который предполагается при музее А[лександра] III — и на который Витте денег не дает, считая эту трату совсем лишней. Да и организовать такое дело нелегко.[362] Людей нет, нет хороших знатоков этнографии русских владений. Странное дело, как часто приходится слышать по разным поводам этот припев: людей нет! и не только слышать, но и соглашаться.

Ничего особенно интересного у Шеффера я не слыхал. <...> Их grande nouvelle — возвращение Мих[аила] Мих[айлови]ча, которого ждут в Петербург — ненадолго и одного. Здесь остаться ему едва ли позволят, потому что не знают, как быть с его женой. Признать ее В[еликой] к[няги]ней нельзя, а при морганатическом браке ее, да и его положение при дворе будет фальшиво. Кажется, и он не очень-то хочет ехать в Россию.[363]

Вчера у меня был экзамен на курсах. <...> Экзамен (2-й курс) сошел неважно. Дети они, эти барышни: зубрят, а моих курсов зубрить нельзя — это лишает их всякого смысла. Совсем не знаю, как быть. Принижать свое изложение до их уровня зубрящих школьниц — нелепо, а поднять их до сознательного усвоения я не умею. Поступают к нам из 7-го класса, очень юные, сочинения пишут детские (куда хуже оболенок VIII-го класса), читать не умеют, хотя и пробуют. Кроме II-го курса пришли 2 первокурсницы, но такие слабые, что я их прогнал до осени.

Экзамен (50 ч[еловек]) я ухитрился кончить довольно рано и в 6 часов был дома. Поел и пошел к Гессену (это юрист, молодой, составивший программу законоведения для курсов). Наш политико-эконом, Борткевич, составил к программе объяснительную записку, Стран[нолюбский] передал ее мне, а я хотел показать ее Гессену, чтобы попросить составить его такую же и к его программе. Оказывается, что его послали в Гаагу, на конференцию о мире. Любопытно, что он расскажет, когда вернется. О разоружении там и говорить серьезно не будут, а хотят выработать новые правила третейского суда между государствами и расширить права, ограничивающие безобразия войны.[364] Впрочем, наши, конечно, следят за этим по газетам. От Гессена пошел к Адриановым. Тут узнал тяжелую весть: Васильевский умер. В сущности — неожиданно, так что даже дочь была не с ним, во Флоренции, а в Риме. Подробностей мы не знаем, не знаем даже, где и когда его хоронить будут. Верно, сюда привезут.

---

* Это письмо в архивном деле ошибочно помещено среди писем 1897 г.

Так как это случилось где-то далеко, то я не представляю себе всего размера этого факта. Ты знаешь, как много он значил для нас, хотя я уже год как не видал его. <...>

А завтра у меня репетиция в VIII кл[ассе]. Вечером надо идти на вечеринку к Сиповскому (где-то на Садовой, № 14) по случаю его магистерства.

Вообще наши петербуржцы, кажется, думают, что я остаюсь здесь специально в их распоряжении! Жестокое заблуждение это делят и Манизеры, недоумевающие, отчего меня не видно чаще, когда я свободен! Да вечера — пожалуй, но вообще дела много, и я в него втянулся. Собрал кое-что для биографии Бестужева-Рюмина. На той неделе надеюсь написать, посетив раза три-четыре Пуб[личную] биб[лиотеку] и Арх[еографическую] комиссию.

А ведь надо еще Платонова повидать. Он, видно, будет у Сиповского. С ним мне кое о чем потолковать надо, да и о Бестужеве он мне даст указания.

<...> Относительно квартиры я все больше склоняюсь — остаться. Надо поговорить с управляющим. Дорого — ну да как-нибудь справимся. У меня есть планы нескольких статей — авось найдется и где печатать. Без нужды я за это не соберусь взяться, а очень бы нужно было — не ради денег, а ради выработки своих взглядов и заявления их в печати. <...>

Д. 6. Л. 128—133.

464

17 мая

Только что вернулся с репетиции в гимназии. Хорошее впечатление. Этих я ведь знал и прежде — в VII классе, и мне поэтому виднее, как много дает им наш VIII класс: они гораздо развитее, совсем иначе рассуждают, не зубрят — или, по крайней мере, меньше зубрят, а стараются понять курс и осмыслить его. Вот если бы такими были и наши курсистки! Тогда на курсах дело могло бы идти, как следует. На репетиции моей был и Г[еоргий] В[асильевич], была и Елиз[авета] Ник[олаевна] — и остались очень довольны. Елена Григорьевна, конечно, сияет. Мы все больше убеждаемся, что дело ставится нами правильно, хотя, понятно, множество недостатков в исполнении, для исправления которых потребуется еще очень много работы.

Но я стал писать не для того, чтобы это тебе рассказывать, а просто поболтать с тобой захотелось. С каждым годом мне все труднее оставаться одному. Только с тобой мне хорошо. Так, кажется, и писал бы поминутно, чтобы хоть мысленно побыть с тобой. А писать мне нечего. Я так много писал, что и поделиться нечем.

Заходил сегодня к Шефферу в общество. Надо было посмотреть, нет ли у них материалов для Бестужева. Ну, ничего не нашлось. Зато посмотрел прелестное издание «Подражания Христу» с удивительными виньетками и миниатюрами. Был там и Вл[адимир] Вл[адимирович] Майков.

Петербург все толкует о смерти Васильевского. В сегодняшнем «Новом вр[емени]», говорят, хорошая статья Чечулина. И Форстен, и Майков очень ее хвалят. Читала ты ее?.

Да, крупный был человек, с глубоким умом и чистым добрым сердцем. Ты не можешь представить себе, какое он большое и хорошее влияние имел на всех, кто сколько-нибудь близко его знал. Как тонкий психолог, он отлично понимал людей, умел войти в их мысли, в их натуру и показать, что надо поддержать в себе, а что лучше бросить. Его советы всегда были меткие, верные и полные благорасположения. И не странно ли, что семья его — совсем не в его духе, что сыновья его выросли вне его влияния, под рукой нелепой и ограниченной матери. До сих пор не знаю, где его похоронят. Было бы обидно, если прах его оставят в Италии.[365]

А соберут ли из его ученого наследия хоть то, что можно собрать? Академия наук должна бы издать собрание его сочинений. Редакцию я поручил бы Панченку — Гревс для этого не годится. Верно, Академия выполнит это издание: ведь он был ее лучшим украшением, вместе с Александром Н[иколаевичем] Веселовским. Факультет осиротел. Нет центральной личности, которая клала свою печать на студентов историч[еского] отделения. Знаешь, кто, по-моему, один будет теперь создавать школу, но совсем другую, часто противоположную школе Васильевского? Лаппо-Данилевский. Кроме него, только у Форстена могут быть настоящие ученики. Но вокруг Форстена — только труженики, а кто подаровитее, уйдет к Лаппо, потому что он шире.

Д. 7. Л. 57—58 об.

465

19 мая

<...> Вчера мои взбаламученные нервы не давали мне спать. Вероятно, вышло тоже что-нибудь вроде «записок сумасшедшего». <...>

Твое расписание путешествия удобно, если ночевать в Вильне. У кого? Удобно ли тебе будет? В 12 ч. ночи приезжать в Ковно не годится. Как я поеду, еще не знаю. Билет на скорый поезд с плацкартой обошелся в 14.50. Это немного дорого.

А знаешь, Юлек, что ты очень метко определила Чайковского. По крайней мере, и [на меня] он производит впечатление живого, тонкого, вибрирующего фарфора — и за это я его не очень люблю. И его «1812 г.»[366] ты верно характеризуешь. Ты, моя дурашка, по робости не ценишь свои вкусы и мнения <...>

Я только что вернулся домой с репетиции в V классе института. 6 часов репетировали. В общем, результат моих занятий с малышами недурной. Это слава Богу. В пятницу будет репетиция того же класса с ассистентом — Петровым. И после — я свободен. Вчера был совет в гимназии. Все очень довольны VIII кл[ассом], и наш 7-ой, которым мы все возмущались, в конце концов очень хорошо сдал выпускной экзамен.

После совета Кульман и я отправились к Адриановым на вторник. <...>

Кульман очень милый и интересный. Мы с понедельника на ты с ним, с Шеффером и Сиповским. Это результат ужина по случаю магистерства Сиповского. Самый ужин опишу тебе завтра. Он кончился так неожиданно нервно, благодаря страстной речи Адрианова о Васильевском, что долго его все будут помнить.

Сегодня надо кончать. Бегу к Балбашевским, оттуда к Форстену, который завтра уезжает за границу, — и с ним в гимназию на прощальный вечер восьмого класса. <...>

Д. 7. Л. 59 об.—60 об.

466

20 мая

Дорогая моя Юлька, я обещал тебе рассказать про наш вечер у Сиповского. Е[лена] В[ладимировна] уже писала тебе, чем дело кончилось. Но на самом деле кое-что в этом вечере было и неожиданного, и интересного. Собралось немного. Соболевский, Шеффер, Миша, Вовочка Майков, Кульман, некий Кузьмин, Адрианов, Сиповский, Рождественский и я. Шла за ужином обыкновенная болтовня. Адрианов и Соболевский затеяли продолжительный разговор о том, как бы устроить издание журнала или периодических сборников по истории литературы. Пили немного, но долго, и оказалось, что и Кульман, и Сиповский, и Миша, и я — несколько охмелели, но в размерах весьма приличных. Адрианов казался совсем трезвым, но каким-то возбужденным. От него потребовали речи в честь Сиповского. Не помню, писал ли я тебе, что после диспута мы в складчину поднесли Сиповскому серебряный магистерский значок. Конечно, писал. Адрианов и стал говорить. Он сказал длинную речь, начав с Карамзина, потом говорил о Пушкине и других — словом, [дал] целую характеристику новой русской литературы — очень хорошую, оригинальную, не совсем ясную, пожалуй, но Кульман, напр[имер], слушал, слушал — да и решил: «Какой он талантливый!».

Целью речи было показать, что Сиповский постарался открыть в первом периоде Карамзина («Письма русского путешественника») те идеальные позы, какие составляют силу и украшение нашей литературы, — но преувеличил значение своих наблюдений и вообразил, что эти ноты Карамзиным были впервые созданы, от него и идут. Это неверно, потому что все, что у Карамзина есть такого хорошего, — слабо, случайно, нехарактерно для него.

Это все было ладно. Но потом стал уходить Соболевский. Адрианов отпустить его не хотел и стал ему речь говорить. Дело в том, что они много говорили о литературе, и Адрианов был поражен, что Соболевский — как ученый с большими знаниями — просто справляется с вопросами, которые ему, Адрианову, кажутся очень тонкими и трудными. Поэтому он заговорил о людях, сильных зрелым знанием, для которых ясно все, что нас, молодых — мучает как непонятное. Заговорил сильно, с увлечением — но тут оказалось, что он не владеет вполне своими мыслями. Говоря о таких людях и об их огромном значении для нас, молодых — он начал с Соболевского, но тотчас забыл его и заговорил таким тоном, приподнятым и страстным, что вышло странно — если дело шло о Соболевском. Этому сцена стала непонятной — он захотел уйти, но Адрианов взял его за руку со словами: «Подождите, Алексей Ив[анович], ведь я не про Вас!». Он говорил о Васильевском. Трудно передать, Юлек, что это было. Такой речи, идущей из сердца, глубокой, нервной — я еще никогда не слыхал. Он говорил о человеке — Васильевском, о его умении понять молодую и не знающую, куда идти, душу, умении с любовью направить ее, как следует, остановить, когда нужно, пригреть лаской и сделать серьезной, нравственно-серьезной, своей строгостью, суровыми подчас требованиями, суровыми на вид, а добрыми и заботливыми по существу. Он пояснял это примерами — и речь обратилась в личные воспоминания.

Голос звучал все нервнее, в нем слышалось личное, настоящее горе. Да, Юлек, он любил Васильевского как родного отца — и не мог говорить о нем иначе. Не вино виновато, что он так говорил. Оно только лишило его умения сдерживаться и молчать. Несколько дней прошло уже с тех пор, как мы узнали о смерти Васильевского, и сразу не поняли, что это значит. Адрианов почти не говорил об этом. Но в душе много накопилось, а тут вырвалось — и как сильно! Меня он измучил. У меня на глазах были слезы, а он кончил тем, что расплакался. Вышло глупо, потому что это при чужих; вышло слишком интимно для посторонних. Раевский — он тоже был, я его, кажется, не назвал — в ответ на речь равнодушно спросил, а почему это так, откуда такая оценка Васильевского, для него, Раевского, непонятная.

Адрианова взорвало — он его выбранил резко. Выходила сцена из Достоевского. Все понемногу ушли. Раевский остался; он не обиделся, а пристал к Адрианову — расскажи да расскажи ему про Васильевского. Тот и стал рассказывать разные случаи из жизни покойного.

Кажется, даже Раевский понял, что тут — правда. Потом и он ушел. Осталось нас трое: Сиповский, Адрианов и я. Я не мог его оставить: он совсем собой не владел. Посидели еще; еще бутылку вина выпили; этому нельзя было помешать. Меня все это совсем протрезвило, но настроение было очень нервное.

Вышли около часу. Сиповский ушел домой, а С[ергей] А[лександрович] стал просить меня прокатиться, чтобы прийти домой уравновешенным. На воздухе он совсем развинтился и был дьявольски нервным и возбужденным. Взяли извозчика и поехали на острова. Остановились у Крестовского сада — посидели, послушали музыку. Адрианов потребовал вторую рапсодию Листа. Венгерцы хорошо ее сыграли — лихо. Адр[ианов] сам и руками, и головой дирижировал — совсем в азарт вошел — было, со стороны, не очень-то хорошо, но удалось его тотчас увести. Поехали назад, еще прокатились. Не хотелось так его везти к Е[лене] В[ладимировне], но ничего не выходило.

Он много говорил. Хорошо, что со мной, а не с другим. Говорил о ней — и так хорошо. Как он ее любит и как боится себя, своей дикой натуры! Он просил меня удержать его, потому что чувствует в себе беса старой жизни, что боится за это слишком хорошее, доставшееся ему счастье. Ну, в конце концов, приехали домой. Не без труда удалось убедить его, что это действительно Малая Итал[ьянская] и дом 24-й. Пошли по черной лестнице, чтобы меньше побеспокоить. Он еще на лестнице посидел, чтобы справиться с собой, но на ногах плохо держался. Так и сдал я его на кухню. Е[лена] В[ладимировна] говорит, что он был очень притихший, но говорил вздор. Говорил ей о том, как ее любит, а потом прибавил: «Но это ведь астрономия, а не история литературы», — и заснул. Я вернулся домой в 5 ч. — а в 8 ч. встал и в 9 был на экзамене в институте. Верно, физиономия у меня была странная. Я и перед тем почти не спал ночь, а тут эта еще.

Тем не менее как-то выдержал экзамен и, кажется, не произвел странного впечатления.

Ты не сердись, Юлек, за эти похождения — я, клянусь собакой, был вполне приличен, да и С[ергей] А[лександрович] только нервничал и болтал, а в общем, ничего был. <...>

Прощание с ученицами было очень чувствительное. Они, правда, грустят и говорят, что только к концу VIII кл[асса] поняли весь интерес наших занятий, а теперь надо уходить. Расставаться с гимназией им грустно. Некоторые даже поплакали. Миша не уловил тона, шутил и кое-кого из них обидел этим. Глупый мальчик. Послали за нотами, пел Г[еоргий] В[асильевич], пела Ивашкина, пел Григорьев, Каринский. С Г[еоргием] В[асильевичем] спели дуэт «Горные вершины» — довольно плохо. Кульман прочел «Иоанна Дамаскина» Ал. Толстого, превосходную вещь. Читает он очень хорошо.

Потом Шохор и Каринский говорили ученицам речи — не люблю я таких речей: выходит как-то официально, и хорошие слова звучат казенно, хотя говорятся и искренне. Я больше болтал с Ивашкиной, которая взяла меня под свою опеку. Славная она, такая жизненная и искренняя. С Миндер толковали об Оссовском, которого она хорошо знает. Ее отец теперь в Харькове, товарищем прокурора судебной палаты. Может быть, наши где-нибудь познакомятся с ними. Она тоже будет жить в Харькове. Она очень милая девица, умная и симпатичная.

Затевают на будущий год ежемесячно собрания кончивших в гимназии — с нами. Не знаю, что из этого выйдет.

Все разъезжаются. Завидно. А пока дни проходят так, что занятия мои мало подвигаются. На этой неделе 4 экзамена и 3 совета, да еще вечер этот в гимназии, а в пятницу им[енины] Е[лены] Вл[адимиров]ны. Вот и занимайся. Сегодня в 2 ч. еще надо идти в гимназию спрашивать одну восьмиклассницу отставшую и вечером — проводить Г[еоргия] В[асильевича] и прощаться с VII классом. <...>

Сейчас Миша приедет заниматься «Архивом» и «Русской стариной». Я им недоволен за его вчерашнюю неделикатность и отсутствие чуткости. Я ему это сказал — и огорчил его. Но, право, нельзя — надо, чтобы он следил за собой. Ведь он очень хороший, и надо, чтобы это чувствовалось теми, с кем он встречается. <...>

Д. 7. Л. 61—66 об.

467

22 мая

<...> Так наши проекты остаются по-старому... Оно и правильно; я теперь, покончив с экзаменами, принялся за работу — и втянулся в нее, так как пока идет не без интереса. Хотелось бы справиться и с Бестужевым, и с Александром. Первого мне надо кончить, а второго хоть подготовить здесь — писать можно и в деревне. Буду торопиться, но решать заранее, когда выеду, нельзя. Малодушную скуку надо бросить. Не так ли?

В четверг, после того, как я отправил тебе письмо (с описанием адриановских похождений), я пошел к Г[еоргию] В[асильевичу]. Он перед отъездом был в очень хорошем настроении и очень мил, как он иногда это умеет. Конечно, надавал поручений — и все мне — отправить разные письма и книги. От него мы с Е[леной] Гр[игорьевной] пошли в гимназию. Тут я проэкзаменовал одну ученицу VIII кл[асса], а потом пили чай с VII классом. Прощание с этими было не то, что со старшими: веселое и шумное. Г[еоргий] В[асильевич] пришел тоже, шутил, смеялся и такой был ласковый, что ученицы его проводили с искренним сожалением. У всех причастных к гимназии теперь настроение хорошее: как-то уютно там и чувствуется, что дело действительно идет недурно. Княгиня прониклась безусловным доверием к Г[еоргию] В[асильеви]чу и дает ему полную свободу распоряжаться. Две ученицы пристали ко мне с объяснениями, отчего я не люблю их класс. Я не стал хитрить, а сказал, что я недоволен занятиями в их классе, но виню больше себя, что не умел их заинтересовать и что сами они не скрывали, что им скучно. Поэтому и мне было с ними скучно. На это они ничего возразить не могли. Оттуда я поехал провожать Г[еоргия] В[асильевича] на вокзал. <...>

Вчера была моя репетиция в V классе. В одном отделении она прошла очень вяло и неважно. Зато в другом — просто с шиком. Спрашивал не я, а Петров, много, вразбивку, и кончилось тем, что из 35-ти учениц — 26-ти прибавили по одному, а то и по два балла к моим годовым, и никому не убавили. Струве тоже был на этой репетиции.

Из института я зашел домой переодеться и посмотреть, нет ли письма от Юли, — огорчился, что нет, и отправился обедать к имениннице. Были Жуковские. Мы много спорили с Жуковским и Адриановым о Достоевском, Мицкевиче и т. п., словом, обычные темы в этом доме. Ивик хоть и пропойца, и не очень-то умный, но любит и знает литературу, и его мнения иногда интересны. Вечером, когда Ж[уков]ские ушли, пришла Ев[гения] Мих[айловна], и мы долго засиделись вчетвером. <...>

Д. 7. Л. 67—69

468

24 мая

Первый листок только для Юли.

Милый и дорогой мой Юлек, голубка моя хорошая, что мне ответить на письмо твое? <...> Конечно, много в головке твоей таких мыслей, которые я хотел бы оттуда выгнать. Пойми и ты меня! Ведь ты моя любимая — а как же мне не огорчаться, что в тебе столько сомнений. И откуда они? <...> Подумай сама: ну как я представлю себе, что возможно, будто мне кто-нибудь станет так близок — что надо будет каяться тебе! <...> Увлечения, о каких ты пишешь, станут возможны, когда сердце мое извратится, и я перестану различать, где светло и ясно, а где темно и смутно. Ты гораздо проще на это смотришь и, боюсь, не поймешь меня. Но разве забыла ты, что я тысячу раз говорил и писал тебе? Ты разбудила мою душу, когда я был мальчишкой, в любви к тебе она выросла и сложилась в определенный характер, в любви к тебе и с мыслями о тебе сложились мои взгляды, мои мнения и вкусы, даже такие, о которых ты почти не знаешь — напр[имер], в науке, философии и т. п. Словом, весь человек, какой я есть, — вырос к любви к тебе. Ну и что же? Не потеряв себя самого, всего, чем я дорожу в своей внутренней жизни, направленной кроме жизни с тобой и жизни с людьми — еще к выработке целого широкого мировоззрения, как могу я, не потеряв всего этого, оторвать, хоть на момент, от тебя свое сердце? <...>

Да пойми, жестокий ты человек, что то, что ты считаешь возможным, для меня было бы хуже всего, это было бы банкротство всей внутренней работы целой жизни. Нет, чувствую, что ты не поймешь меня. Неужели же все это покажется тебе философией? Нет, это просто попытка объяснить словами целое большое чувство. Ведь недаром же я жил. Есть у меня и то, что люди зовут идеалами, есть стремления и чувства, без которых я жить не могу. Это любовь к Юле, к Гутику, к науке, к известным отношениям между людьми и в обществе — и все, чем я дорожу, мертво без тебя. Потому мертво, что, нарушив сердечный союз с тобой, я не мог бы продолжать делать то, что делаю, искать правды в науке, искать верных отношений к людям в деле и в практической жизни, словом, жить и работать не как машина, а как живой человек. Потому не мог бы, что вера в себя самого у меня умерла бы вместе с верой в меня моей Юли. Вот почему меня так огорчает неполнота этой веры твоей, ведь она нужна, нужна мне, она дает мне силы. <...>

Если хочешь, я тебе скажу, что, случись со мной такое крушение, я не в силах был бы не сказать тебе, потому что такая большая ложь между нами меня бы доконала. Если ты хоть немного поняла, что я тебе выше написал, — ты поймешь, что иначе и невозможно. <...>

Что меня касается, то Бестужева я на той неделе должен кончить. Это к сроку и выгодно, и интересно. Жертвовать им для Александра не стоит, потому что А[лександр] — случайность, а в словаре всегда сколько угодно работы найдется, значит, и денег тоже. Потом начну собирать материалы для А[лексан]дра и поспешу уехать к тебе при первой возможности. К 20-м числам июня это, наверное, будет возможно. <...>

Сегодня у нас вечером на курсах будет празднество в честь Пушкина.[367] Будут читать Бороздин, Цветковский и Витберг. Я пойду: первого стоит послушать, а оба другие ничего умного не скажут. А главное, надо повидать Страннолюбского. Я кое-что еще затеваю для защиты нашего плана реформы курсов. Хочу написать целую записку с объяснением всего плана и связи между собой всех программ разных предметов словесного отделения. Действительно, их удалось составить так, что они дополняют друг друга, и их можно привести в стройную систему.

Кроме того, надо извиниться перед ним за последнее заседание, на котором я по горячности прервал его доклад о протоколе прошлого заседания (причем он сам согласился, что прервать следовало, но все-таки вышло неловко с моей стороны).

Вчера, в воскресенье, я утром отправился к Манизеру. Туда же пришли Свайн и Миша. Хорошо там теперь, и Ал[ександра] Эд[уардовна] сумела создать надлежащий тон. Сама она веселая, дети тоже, а Г[енрих] М[атвеевич] спокойный и добрый. Я его застал за работой: пишет молодую женщину XVIII века со... старухи на карточке! Вот так заказ! Вышло очень мило — по-старинному! <...>

Д. 7. Л. 71—76 об.

469

25 мая

Сегодня праздник. Хотел пойти работать в Комиссию — нельзя, заперта. Дома — не читается. Ох голова моя, головушка, никуда-то ты, сердешная, не годишься. Лучше бы всего бросить все и уехать к Юле. Как это ни стыдно, а отдых мне необходим. Попробую еще покрепиться, но справлюсь ли — не знаю. Побаливает голова-то. Нельзя распускаться. Хоть бы кое-что сделать. Так-то я совсем здоров, но явно устал и не могу сколько-нибудь долго работать.

<...> Ты моей жалобой не огорчайся. Ведь отдохнуть я успею в деревне. Хотелось бы только справиться с собиранием материала — это не утомительно. А дома я ничего не делаю, потому что головоломное чтение и обобщающая работа мне не ко двору теперь. <...>

Вечером вчера я был на курсах по случаю Пушкинского праздника. Речи говорили Цветковский, Витберг и Бороздин. Один хуже другого. Мысли-то были, и не дурные, но до чего они, словесники-то! — говорить не умеют! Беспорядочно, нестройно, неясно — сущая беда! Барышни стихи читали — иные недурно. <...>

Завтра — Пушкинский праздник. Послезавтра надо урвать минутку, чтобы сбегать на Пушкинскую выставку.[368] Бестолочь, но интересно.

Холодно, сыро, дождь моросит. Письма не выйдет хорошего.

А на душе все-таки хорошо! Знаешь, почему? Потому что я ужасно люблю тебя. Правда. Зимой, когда суета, мелкие интересы, уроки, всякая чепуха меня затуркают — я ухожу в себя, засыхаю на время, я хуже, чем летом. А с весной — оттаиваю. Мысли и чувства, ничем обязательным не занятые, свободно развертываются. Новые идеи, лучшие интересы овладевают мной. И настает весна мысли и чувства, вечно новая весна моей любви к Юле. Я прихожу в свое лучшее, нормальное состояние. <...>

Ну, а читали вы «правительственное распоряжение» по делу студентов?[369] Бездарно и плохо написано. Хотели как будто хорошо сказать, да не хватило ни твердой мысли, ни твердой воли. Точно гимназист писал. Плохо. Все виноваты, а непогрешимые министры парят над всем как установители правды и порядка, это наши-то подлые олухи! У них ни широты понимания, ни честной воли нет. Ничего из этого не выйдет. Пожалуй, — так как мы приучены к скромности — и то хорошо, что признали обоюдную вину. Но что же из этого на деле выйдет? Такое объявление не успокоит молодежи. От нее требуют смирения, самообладания и — доверия к разным Победолеповым, Богомыкиным и Гореносцевым! Эх, горемычная Русь наша.

А виноваты вышли и профессора. Не исполнили «нравственного служебного их долга» — не сумели приобрести достаточного авторитета и морального влияния! Их к этому побудят «мерами внушения и строгости» гг. министры. Не знаю, какими. Сечь их, что ли, будут по субботам, приговаривая: будь добрым, будь умным, будь авторитетным. Видно, пожалуй, и понимание, что беда в «разобщенности студентов между собой, с профессорами и с учебным начальством». Ну что же, дадут ли организацию студентам, дадут ли автономию совету университета, пересмотрят ли университетский устав? Об этом, вероятно, думают. Но надо было сказать это, бросив бездарную трусость. А говорят о ненадлежащем отношении профессоров к молодежи и о том, что их надо сечь по субботам. Они ли виноваты, что не в их руках университетская жизнь, а в грязных руках канцелярских крыс. Они ли виноваты, что в их среду, не спрашивая их мнения, м[инистерст]во назначает всякую, с позволения сказать, шушеру.

Это объявление ничего не дает. Нужны не слова, а поступки. Начальство и начнет «поступать», а как — это мы осенью увидим! И славно выражено внушение студентам.

Ну, Бог с ними! О них лучше не думать, потому что дрянной и бессильный народ во главе нашей администрации стоит.

Платонов прислал сказать мне, чтобы я зашел к нему в первых числах июня взять его диссертацию для всей нашей компании. Весьма будет интересно познакомиться с этой работой. Чувствую, что она ему не совсем удалась, но много ценного в ней должно быть. Признания настоящего он не получит, а это очень грустно. Товар не будет лицом показан — а это нужно.

Я все собирался заглянуть к нему, да так и не собрался. <...>

Д. 7. Л. 77—79 об.

470

27 мая

<...> А наш управляющий приходил сегодня посмотреть, какой нам надо ремонт, и решил, что все надо ремонтировать. Но прибавил, что полный ремонт он мне сделает, если я соглашусь платить 1000 р.,

кроме жалования дворнику и швейцару. А если я хочу сохранить ту же цену на 3 года, то он сделает ремонт в 2 лета. Не знаю, как решить. Напиши поскорее или лучше телеграфируй, как делать. <...>

Теперь напишу, что я делал эти дни. <...> Мы с С[ергем] Ал[ександровичем] разбирали книги. Хорошая биб[лиоте]ка у В[ладимира] В[ладимировича]. <...>

Е[лена] М[ихайловна] хотела непременно добиться билета на академические торжества в честь Пушкина, и чуть ли не слезы были у нее на глазах, когда она узнала, что у нас есть билеты, а о ней не позаботились. Собственно говоря, это было, действительно ...ство, и я поспешил исправить дело. Утром в среду отправился к Майкову и отнял у него билет для Е[лены] М[ихайловны]. Он как племянник вице-президента Академии,[370] конечно, мог и без билета пройти. Оба эти билета — мой и Майкова были внизу. Я свой уступил Нат[алье] П[авлов]не, майковский отдал Е[лене] М[ихайлов]не. Мы же с Адриановым пошли на хоры. Торжество было блестящее. Сцена была наполнена тропическими растениями (кажется, впрочем, мертвыми), а среди зелени — большой бюст Пушкина, освещенный электричеством. Перед сценой — эстрада, где за длинным столом заседала Академия. В[еликий] князь прочел указ Государя об учреждении при Академии наук нового отделения словесности — в честь Пушкина — с шестью академиками из поэтов, писателей-художников и историков литературы.[371] Потом он рассказал обо всем, что правительство сделало в память Пушкина.

Речь Веселовского никто не слышал. Но мы пробрались на хоры и стали прямо над его головой, так что все слышали. Он говорил о Пушкине как народном поэте — и очень хорошо, но почти никто не слыхал — такой уже у него голос.[372] Потом говорил Кони — его речь тоже плохо была слышна, имела успех, хотя, по существу, была совсем дрянная.[373] Кокетничанье с публикой, покровительственный тон к Пушкину, который кое-как сумел понять некоторые всемирные истины, которые он, Кони, отлично понимает, общие места и ни одной свежей мысли — вот тебе речь «знаменитого» Кони. Она прозвучала фальшивой нотой в Пушкинском празднике. Но публика всякую фальшь прощает своим любимцам — Фигнеру, Кони и т[ому] под[обным].

Потом исполнили музыку Глазунова к кантате, сочиненной В[еликим] князем К[онстантином] К[онстантинови]чем.[374] Стихи плохие, <...>, такие и я, пожалуй, напишу. А музыка очень красива. Играл оркестр певческой капеллы под управлением Глазунова, пел хор, а соло — Долина и тенор Ершов.

После праздника я отправился обедать к Адриановым, и после обеда весь вечер разбирали книги. Сегодня утром я по Мишиному поручению бегал на его квартиру взять книгу, которую надо ему в Крым отправить, потом поехал к Саванели. <...> Я у нее полчаса был всего, потому что меня ждали А[дриа]новы, чтобы идти на Пушкинскую выставку. Это выставка портретов его, всех его знакомых, известных его современников, иллюстраций к его произведениям, старых изданий, рукописей. Много любопытного. Особенно интересны его рукописи. Видно, какое стихотворение сразу вылилось, какое и как переделывалось. Самый почерк интересен. То твердый и энергичный, то поспешный, точно рука отстает от полета мысли, то мелкий и капризный. С[ергея] А[лександрови]ча еле оттащили от этих автографов. <...>

У твоего гадкого Сани голова заболела. Тьфу! Теперь прошла, когда проехался на воздухе. Хорошо еще, что свежо и ветрено. Да хорошо бы в Немане покупаться! <...>

Д. 7. Л. 81 об.—86 об.

471

29 мая

<...> Сегодня — 12 часов — я только что встал, потому что домой пришел в половине шестого. Мы вчера собирались у Лёве — это преподаватель немецкого языка на курсах — молодой немчик из нашего университета. Были: Страннолюбский, Половцев, Рождественский, Бороздин и я. Сперва долго разбирали положение дела о реформе нашей на курсах, сплетничали и злословили про наших противников. Потом стали толковать про то, как устроить на курсах практические занятия. Это вопрос довольно сложный. Нам хотелось бы, чтобы зубрение лекций было вовсе выведено из моды и сменилось сознательным отношением к предмету. Для этого решили сделать так, чтобы в течение года слушательницы занимались под нашим руководством и кроме лекций. Каждый класс разделили на 5 групп — значит, по 15—20 человек самое большое. В начале года наметим 5 основных тем, изучение которых дало бы знание всего главного в курсе, какой читается в данном году. Каждая группа должна будет познакомиться с указанными для этой темы пособиями, и с каждой будет потом, в заранее назначенные сроки, двухчасовая беседа о прочитанном. Некоторые будут докладчицами, другие собеседницами, и участие в этих беседах обязательно. Курс, проработанный таким образом, легче усвоится, преподаватели познакомятся с ученицами — и лучших могут освобождать от экзамена. Это думают начать с будущего года, накинув нам по часу на курсе.

С этим мы долго возились, чтобы определить, по какому предмету и какого характера занятия нужны на разных курсах. Наконец Страннолюбский прочел наш протокол — тот, что я составлял, а он редактировал. И тут много было разговоров, поправок и т. д. Так что кончили мы во втором часу. А тут хозяин позвал нас ужинать. Был шикарный ужин из одних закусок и какое-то питье из белого вина, шампанского, ананасов, мараскину и не знаю еще чего. Очень вкусно и не крепко. Тут мы заболтались. Страннолюбский тип очень интересный. Это идеалист 40—50-х годов с примесью, сильной, общественных тенденций 60-х. Словом, представитель одной из лучших русских традиций. Много в нем хорошей веры в будущее добро, которое должно победить. Наш нынешний паскудный режим его огорчает, но не смущает. Это, по убеждению Стр[аннолюбского], режим мертвый и должен непременно породить нечто новое и лучшее. Если это возрождение России совершится, то оно начнется с возврата к тем традициям, которых живое наследство — Страннолюбские и К°. В этом серьезное значение таких людей, связующих лучшее прошлое с настоящим. Они заражают молодых, показывая им наглядно, что хорошие эти традиции — не историческое, пережитое явление, а живая, действующая сила. Есть нечто существенное, принципиальное в наших делах на курсах. Если мы победим окончательно, это будет весьма хорошо вообще, а не для курсов только. Всякие разговоры и довели нас до того, что мы разошлись уже около половины пятого. Мы с Половцевым дошли еще пешком до Сената (с 10-й линии) — пока нашли извозчика. Ясное, холодное утро, Нева сердитая, с барашками — все это было весьма недурно.

Зато я сегодняшний день теряю. Скоро час. В Комиссию до трех — идти не стоит. Позаймусь немного дома.

У нас с Рождественским дело не кончено. Надо теперь же набросать проект практических занятий — условиться относительно тем, пособий etc. А он живет в Гунгербурге.[375] Зовет меня к себе, там же живет и Страннолюбский. Бороздин собирается к ним 5-го июля. Хорошо бы и мне поехать — но деньги, деньги! Проклятые, они всегда отсутствуют в достаточном для полной свободы количестве. Перед сборищем у Лёве я был у Шеффера, обедал у него, хотя перед тем еще и дома пообедал. Ник[олай] Ив[анович] выглядит сносно — ни хуже, ни лучше, чем прежде. Толковали о Пушкинском празднике, о странной речи митр[ополита] Антония, которая напечатана в «Н[овом] вр[емени]»,[376] и т. п. Мы с Шеффером теперь на ты, как подобает кумовьям, хотя еще сбиваемся. <...>

Д. 7. Л. 87—90 об.

472

31 мая

<...> Я сегодня вернулся с Пороховых; вчера поехал туда с намерением вернуться пораньше, чтобы вечер провести у Манизера. Но больно хорошо там. Воздух совсем не тот, что в городе. День был хороший, хоть и прохладный. Мы две партии в крокет сыграли, очень оживленных. Первую я один против В[ениами]на и И[вана] Пл[атоновича] — и выиграл. Вторую мы с Катей против них проиграли. Играли одной рукой, что гораздо приятнее.

Вечером Маня много пела хороших вещей. У них все, по-видимому, обстоит благополучно. <...> Утром мы с Ив[аном] Пл[атоновичем] поехали поездом. Моросил дождик. Я на минутку забежал домой за портфелем и пошел в Комиссию заниматься. Только что вернулся и жду обеда, а потом отправлюсь к Манизер, оттуда за С[ергеем] А[лександровичем] и к Дружинину, где у нас rendez-vous с Платоновым.

Я теперь хорошо себя чувствую с тех пор как по настоянию Е[лены] В[ладимиров]ны стал утром, как встану, есть. Луиза подает мне горячий завтрак — что осталось от обеда. И в результате я могу заниматься — голова не устает, хотя я в этом соблюдаю строгую умеренность. На будущий год я просил назначить мне уроки в институте не ранее 10-ти ч. и потому не буду так торопиться. Надо будет организовать себе кормление по утрам и на зиму. <...>

Д. 7. Л. 91 об.—93 об.

473

2 июня

<...> Сегодня утром решил зайти к парикмахеру, а то очень уже оброс; потом пошел к Струве и с ним прогулялся на Николаевскую. Это Петр Струве — из «Начала».[377] Я отдал ему обе статьи, которые писал в Харькове, — он им рад, просил еще писать. Ему же я, верно, напишу и о диссертации Платонова.

Статья о Дьяконове, которая оказалась «слишком велика» для «Историч[еского] вест[ника]», пойдет, таким образом, в «Начало», а «И[сторическому] в[естнику]» я ничего не дам. Так и гораздо лучше, потому что писать в «Ист[орический] в[естник]» не совсем прилично. <...>

Вчера был у меня курьезный разговор с Е[леной] В[ладимировной] и Евг[енией] Мих[айловной] о Пушкине и по поводу портретов его жены и Смирновой, которой он когда-то очень увлекался. Они обе в восторге от Смирновой — это лицо удивительно интересное, с глубокими, горящими глазами, с умным, смелым выражением. Это была женщина умная, образованная, центр блестящего кружка литераторов и художников. А Пушкин женился на Гончаровой, хорошенькой светской барышне с простым и милым личиком, с умными глазками, но какими-то детскими, словом — на особе, которая не могла состязаться с блеском Смирновой. Они обе (т. е. Е[лена] В[ладимировна] и Е[вгения] М[ихайловна]) не могли понять, как мог Пушкин сделать этот выбор. А мне это смешно показалось. Я попробовал им объяснить, что мишура блеска — ума, таланта — ни при чем в делах сердца, что Пушкину нужно было, чтобы его, Ал[ександра] Серг[еевича], любили, а не поэта, знаменитость и т[ому] под[обное] — просто человека, с которым, как с любимым, любимая женщина жила бы душа в душу. И этого Смирнова Пушкину не могла бы дать — он для нее прежде всего интересный и остроумный знаменитый поэт, да и она для него не человек с родным дорогим сердцем, а интересная собеседница. И такие, как она, большего не дадут, а Гончарова наоборот. Вот в этом разговоре и показалось мне, что не понимают они или плохо понимают, что такое взаимное понимание, любовное — совсем не похожее на согласие во взглядах, интересах и т. п. Такой глубоко интимной близости, когда нельзя отделить себя от другого и когда все остальное неважно, — мало кто понимает. <...>

В понедельник после занятий в Комиссии и обеда дома отправился к Манизер, но Г[енриха] М[атвеевича] не видал. Он был в школе на совете, и, хотя обещал вернуться к 4-м ч. — до $^1/_2$ восьмого его не было. Я посидел с А[лександрой] Эд[уардовной] — толковали больше о Пушкине, которого она не признает чем-либо крайне крупным и важным. Я пробовал ей растолковать — и кое-что она уразумела, хотя оказалось, что веру в любимые литературные и художеств[енные] кумиры подрывает в ней Г[енрих] М[атвеевич] своим скептицизмом. Оттуда я поехал за С[ергеем] А[лександровичем], чтобы идти к Дружинину. Были Платонов, Спицин, Чечулин и К°. Платонов страшно утомленный и вялый. Послезавтра уезжает к своим на Волгу. Измучил его этот год — и работой, и еще больше — историями на курсах. Он как-то мне сказал, что чувствует себя подобно человеку, которого били, били, да насилу отпустили. Завтра зайду к нему, авось уже экземпляры диссертации будут. У Дружинина было неприятно из-за Степанова, который вообще глупый, а тут еще имел наглость пускать Платонову подлые шпильки из-за курсовых дел. А вчерашний день я тебе рассказал. Занятия мои в Комиссии — очень интересны. Материалы подбираются хорошие. А Богданович — дрянь: опять и в июне ничего моего не напечатал. Увы, это жаль, ибо лишние деньги не помешали бы.

Д. 7. Л. 94—97 об.

474

4 июня

<...> Вчера я почти ничего не делал. Голова плохо работала, а в Комиссии толокся народ. Пришел Платонов — принес диссертацию.[378] Я взял экземпляры для себя, Полиевктова и Рождественского, которые просили меня прислать им эту книгу. К Рождественскому в Гунгербург я не поеду, не хочется. Я написал ему письмо по делу, ради которого нам надо было повидаться, — относительно устройства на курсах практических занятий. А ему предлагают писать историю М[инистерст]ва народного просвещения — к столетнему юбилею этого паскудного учреждения, т. е. к 1903 году.[379] Условия хорошие: 100 р. в месяц и 100 р. за печатный лист. Он прежде говорил, что ни за что не возьмется за такую работу. Если он и теперь откажется, то работу поручат Адрианову.

Потом в Комиссии был Раевский, был Ловягин, с которым мы много толковали о разных книгах и учебниках. Так время и прошло. Когда я пришел домой обедать — Луиза сообщила, что был Струве и просил зайти к нему. Я и пошел после обеда. Струве очень мне симпатичен. Живой, искренний, умный, горячо ищущий знания и правды — он редко ценный тип. Мы с ним раза три в жизни виделись, а понимаем друг друга с полуслова, как будто сто лет знакомы. Его марксизм — вовсе не та антинаучная доктрина, на которую лают газеты и журналы; его взгляды очень широкие и гуманные, смелые и полные идеализма. Но он, как и все они, — только подающие большие надежды юноши, которые сами хорошенько не знают, что выйдет из их работы, — и ищут решения вопросов очень важных. Их ненавидят люди уверенные, что все наши вопросы решены шаблоном старого народнического либерализма! Они застыли и не хотят простить молодежи, что она ищет чего-то нового и светлого. Называют Струве и К° учениками Маркса! Да, они его очень высоко ценят. Это был большой ум и большой человек. Но философия Маркса — давно осуждена, и Струве сильнее других русских критиковал ее. А экономическая теория Маркса будет ниспровергнута марксистами чуть не на днях. Лучший из них — немец Зомбарт печатает большую и беспощадную критику Маркса. Но что за дело до всего этого нашим журналистам? Заладили: «марксисты» и знать ничего не хотят. А бабушка удивляется, что я путаюсь с ними, хотя их «все» бранят. Как же иначе? Тут живая умственная работа, свободная и сильная мысль, а там все, что давно мне известно и совсем не поучительно.

Итак, я дебютирую в «Начале». Обе статьи мои, отданные Струве, уже сданы в типографию. От него мы зашли ко мне, он у меня взял книгу Платонова, которая очень его интересует. Я обещал ему — не рецензию, я статью об этой книге.[380] Вечером оказалось, что Луиза, не привыкшая к тому, чтобы я вечером был дома, ушла, и пришлось идти домой к Адриановым. А я, получив две новых книги из Лейпцига, собирался дома посидеть. Снес С[ергею] А[лександровичу] в подарок портрет Пушкина, очень хороший, изданный Экспедицией заготовления государств[енных] бумаг. Мне Балбашевский достал два экземпляра по 25 к. А гравюра прелестная. <...>

Сегодня в 2 ч. мы с Адриановым идем к Шефферу в общество смотреть иллюстрации франц[узского] худ[ожника] Тиссо к Евангелию, потом я у них обедаю. <...>

Д. 7. Л. 99—102 об.

475

5 июня

<...> Если мы любили друг друга хорошей любовью, должны ли мы замкнуться от других, которые нас любят? Не будет ли оскорблением нашей любви, которая нас лучшими делает, если она заставит нас потерять сердечность к другим? И разве это что-нибудь похожее на измену? Разве, напр[имер], то, что я так искренне дорожу Е[леной] В[ладимиров]ной, которая нас любит, может быть причиной огорчения для Юли? И было ли бы хорошо, если бы С[ергей] А[лександрович] был против ее потребности поддерживать со мной близость? Ты о ней не пишешь, но и к ней у тебя прорывались, кажется, ревнивые нотки. Зачем? Разве Саня не Юлин, и разве все остальное не стоит просто на одной доске с дружбой к Манизер, Мише, Полонскому — и только, и не идет ни в какое сравнение с любовью к Юле, которой я живу. <...> Ты горячо любишь Гутика и увидишь, как он будет ревновать за всякое внимание другому ребенку. А разве это не ребячество? <...> Ну а почему я отличаю Е[вгению] М[ихайловну] от других — на это три причины. Первая в том, что она, конечно, и хороший, и интересный человек, который со мной откровенен и искренен, я люблю людей, люблю знать их мысли, их душевные движения. Меня по натуре тянет к чужой психологии, и когда я слышу искреннюю речь — я слушаю ее охотно и дорожу общением. Вторая — та, что я виноват перед ней и, встречаясь, не могу держаться как первый встречный с первой встречной; мне больно, что я неповинному человеку невольно горе причинил, и равнодушно пройти мимо. <...> Ты скажешь, что для нее это хуже. Быть может, но заставить себя быть сухим с ней кажется мне даже очень дурным делом. <...> Боже, как все это глупо. Но тебе за себя тут огорчаться нечем. Ведь если я тяну так, как есть, то потому именно, что лично для меня это совсем не важно. Легкомыслие мое и происходит от полнейшего чувства собственной безопасности. Если бы она мне нравилась так, что тебе стоило бы ревновать, я бежал бы от нее, как от трагедии.

Знаешь что, Юлек? Только не обижайся. Я должен это сказать. Ты выросла в такой атмосфере, где на «сердечные» дела смотрели всегда очень легко; где всякие «увлечения» считались естественным пустяком. И хотя ты сама глубоко чувствуешь, что такое настоящая любовь, ты, кажется, не совсем понимаешь, что с ней человек живет и умирает, что ее не оскорбляет даже в мыслях, а не то что на деле.

Эти «сердечные» дела для меня благодаря Юле — суть жизни, дело важное и серьезное. У меня — ты это знаешь — не было ничего в жизни, похожего на романы. Все, что другие растрачивают на многих, я отдал тебе. Ты моя первая, моя единственная любовь. Было подло с моей стороны не сообразить последствий моего сближения с Ек[атериной] Гавр[иловной] и Евг[енией] Мих[айловной], но мне долго и в голову не приходило, что у них это может оборотиться серьезно. У меня все серьезное отдано тебе, а их я трактовал, как М[арию] Ал[ексеевну], Е[лену] В[ладимиров]ну, Стеллу Сол[омоновну] и всех, с кем был дружен. Ничего иного во мне не может быть. Не думать о других было скверно. Но не хуже ли еще думать. Не значило ли бы это бояться дружбы с дамой или барышней, потому что считаешь всякую способной влюбиться в тебя! Черт знает, что такое. Как бы то ни было, ты ревнуешь, потому что слишком легко смотришь на «увлечения», думая, что Саня может увлечься, не поставив на карту жизни. Я это тебе пытался объяснить в одном из прежних писем: для Сани увлечение было бы полным нравственным банкротством, а это немыслимо. <...>

Вчера мы с Н[атальей] П[авловной] и А[дриано]выми были у Шеффера в обществе. Смотрели Тиссо. Очень интересно, хотя и не то, что надо. Наброски превосходны. Типы очень интересны. Но Христос и святые, вообще вся религиозная суть Евангелия — переданы плохо, фальшиво. Одно хорошо: отлично передано нервное, возбужденное увлечение учеников и толпы Христом — также и смущение фарисеев. Надо тебе это показать, когда приедешь.

Кончу письмо по возвращении из Комиссии. <...>

Приехать к 13 июня в Вильну мне очень бы хотелось, но это значит уехать без «Александра». Раньше 20-го я, по совести, уехать не могу. Думаю, что надо заставить себя довести дело до конца, хотя бы потому, что это даст нужные нам деньги. <...>

Только что вернулся из Комиссии, где я почти закончил работу над Бестужевым. Чтобы обработать его, надо еще несколько дней. Потом неделю на собирание материала для Александра, которого писать я буду в деревне. Вот почему мне нельзя уехать раньше 20-го. С квартирой дело стоит так, что, кажется, управляющий согласится отремонтировать все остальное, если я возьму на себя оклеить 4 комнаты. Я думаю, что это можно: Бестужев окупит ремонт. <...>

Д. 7. Л. 103—109 об.

476

6 июня

Голубка моя дорогая, любимый мой Юлек, я вчера послал письмо, да по ошибке и рассеянности опустил его в обыкновенный ящик — и оно пойдет только сегодня. Ты получишь оба зараз. То письмо едва ли хорошее. Я едва ли написал ясно, что хотел. Да и все равно. Вопросы такие, что о них и толковать не стоит. Люблю Юлю, на душе хорошо, когда думаешь о ней, — а все остальное трын-трава. И это совсем было бы так, если бы не вечная тревога, что у Юли на душе грустно, смутно и тревожно. Чтобы этого не было, или, если уже нельзя совсем, то чтобы было возможно меньше — надо бы никогда не расставаться. Юля взбаламутила меня своим призывом встретить ее в Вильне. Так и тянет плюнуть на Ангела,[381] и на «Александра», и на Петербург. Если я уеду, то не напишу — это ясно. Или не позволять себе этого? «Александр» — это: 1) деньги, 2) возможность других работ в журнале, 3) ученая попытка, очень полезная для занятий и преподавания. Так я себя убеждаю, что надо сдержаться. Потом говорю еще: ведь это составит только неделю разницы. Только! Разве это мало? Мне тут и скучно, и утомительно. Напиши, если успеешь, что думаешь. Лучше напиши, чтобы Саня был благоразумен. <...>

Я ужасно глуп сегодня. Плохо спал. Встал очень рано. Читал словарь Брокгауза. Я собираюсь ехать на Пороховые, где пробуду и завтрашний день. Лучше бы не ездить, а работать, чтобы поскорее кончить. Я вообще очень много времени теряю, краду его у себя и у Юли. Но не могу иначе. Голова то и дело ноет, надо ее беречь — еще пригодится.

Вчера был у Шеффера, книг у него взял. Потом у Манизер. Они еще не назначили дня выезда. <...> Г[енрих] М[атвеевич] измучен хлопотами по опеке, наследству и т. д. <...>

Д. 7. Л. 110—111 об.

477

8 июня

Ну, дорогой Юлек, все, что я могу выторговать относительно квартиры, — это контракт на старых условиях, отделка Луизиной комнаты (краской), ванны, кухни, коридора и моего нынешнего кабинета. Остальные 4 комнаты я оклею на свой счет — рублей 40. Не могу добиться окраски всего, что требует краски масляной, — т. е. окон, дверей и пола. Это свинство, и тебе будет это очень неприятно. Но что делать? Настаивать очень резко я не могу, потому что знаю наверное, что несколько квартир в нашем доме сданы и все со значительной надбавкой. Придется помириться.

<...> Чтобы покончить с делами: напиши мне, сколько оставить Луизе денег перед отъездом и какие ей дать внушения, а также, что и сколько мне взять с собой.

Насчет денег могу только сказать, что, по моему счету, у тебя в феврале 99 г. было на текущем счету 500 р., до сих пор взято по чекам 200 р., теперь еще 200 р. Значит, еще остается 100 р. Когда я на днях пойду в банк, то возьму с собой чековую и счетную книжки и попрошу Новацкого — ведь он, кажется, вернулся? <...>

Мне хотелось сделать поездку на Пороховые возможно менее утомительной. А поехать за город — всегда хорошо. Это и освежает, и бодрит.

В воскресенье я отправился один — «разнообразными путями», как выражается Вениамин. Ехал ровно два часа, потому что был Троицын день и движение огромное. Дрынды все разобраны, в поезде — нет мест. Кое-как набились в вагоны — на площадки, на подножки и доехали до вокзала (старого). Тут прицепили 4 платформы со скамейками и еле дотащили всю толпу до Пороховых. Там у Ефремовых все по-старому. Катя производит грустное впечатление. Она очень расстроена, вид имеет спокойный, но не хорошее это спокойствие! Я ее, оказывается, как-то невольно обидел. Она звала меня к ним жить, уверяя, что я и у них могу заниматься, а я шутя сказал: ну, как я поеду заниматься в такой бедлам («Бедлам» это дом сумасшедших в Лондоне). Я разумел, что у них такая суета, что заниматься невозможно. А она обиделась и говорила Ямпольским, что «Сане до нас никакого дела нет». Экой человек несчастный! <...>

Вчера я не мог этого письма дописать, потому что у меня содом. Маляры пришли и стали работать, суета, а тут еще Ямпольские у меня гостят. Днем я в Публичной биб[лиотеке], куда переселился из Комиссии, и собирание материалов для Бестужева кончу — увы! — только завтра. Придется ехать к тебе в начале той недели — в понедельник или во вторник.

Сегодня мы с Маней выбрали обои. Все хорошенькие, но с бывшей адриановской мы сошкольничали: специально для Гутика выбрали обои с собаками — хорошо сделаны, но все-таки курьезно. <...> Маляры будут все обои клеить, примешав к клею крепкого табачного экстракту, и уверяют, что это очень помогает против клопов. <...>

А сегодня, чтобы избежать нашего сумбура, Ямпольские везут меня в «Angleterre» обедать. Они еще и эту ночь остаются ночевать, чтобы завтра поехать в Павловск на симфонич[еский] концерт. И Адриановы, должно быть, соберутся. Ну, пора идти на rendez-vous с Ямпольскими. <...>

Д. 7. Л. 112—117

478

13 июня*

Сегодня мой Юлек приехал домой. Как жаль, что мне нельзя уже быть с тобой. Увы, я только второго Б[естуже]ва пишу (мой один Б[естужев] обратился в трех!)[382] — и едва ли отделаюсь от всех трех до среды. Неужели придется на несколько дней затянуть отъезд? Ужасно бы не хотелось этого. Хорошо еще, что я теперь могу целый день работать. Но дело оказывается гораздо более кропотливым, чем я думал, — это всегда так.

Так много написать надо, что не знаю, с чего начать. Я писал первые листки так сумбурно, что много пропустил. В воскресенье у Ефремовых целый день гуляли, сражались в крокет и т. д. День был чудный. А в понедельник шел дождь. Ночь я провел скверно. Голова расшалилась, и долго гулял в саду, вместо того, чтобы спать. Ночь вообще для всех была странная. И[ван] Пл[атонович] тоже часа три не спал среди ночи; Вен[иамин] перевернул на себя стакан чаю — да еще с вареньем — в кровать, и потому был сущим мучеником. Утром погрустили, что погода дурная, но она немного разгулялась. Я поехал на Охту за Адриановыми — они приехали-таки. После обеда В[ениамин] Н[иколаевич] возил нас на электрической лодке на Медвежий стан — было холодно и, по правде сказать, довольно скучно. Вернувшись, затеяли крокет в 8 шаров — я слишком разгорячился от беготни, кровь ударила в голову — и опять уехал с мигренью. Во вторник Ямпольские приехали ко мне и уехали только вчера. Кое-что за эти дни я уже писал тебе. Вторник — у Чуек. Была и Е[вгения] М[ихайловна], которая страшно не нравится Мане, и она говорит про нее всякие гадости. Маня и после вторника еще два раза была днем у Е[лены] В[ладимировны], и они судили-рядили про меня, причем Маня пришла к выводу, что я чуть ли не пошленький дон-Жуан какой-то. И это из-за Е[вгении] М[ихайлов]ны. Это глупо и нелепо, но все-таки досадно, и я был бы рад, если бы меня наконец оставили в покое. <...>

---

* Опущено письмо от 9 июня (Д. 7. Л. 118 об.—119).

В пятницу поехал обедать к Адриановым, с которыми отправился в Павловск. Там слушали симфонию Бетховена — чудную. Вернулись рано. <...>

Дома у нас готовы три комнаты: гостиная — очень веселая и светлая, кабинет и бывшая адр[ианов]ская. Комната Луизы и коридоры тоже готовы. Завтра перенесут мой кабинет и начнут отделывать две эти комнаты, а также переднюю, кухню и клозет. Выходит чистенько и мило. Собаки мне очень нравятся: дай Бог, чтобы и Юле пришлись по вкусу.

Вчера уехали Манизер. Они отправились в Воронеж (адрес: Валуйки, Воронежской губ., Рогову с передачей) — в третьем классе. Теперь на Ник[олаевской] дор[оге] 3-й класс есть только в пассажирских поездах — и они поехали в 3.30. С ними отправилась и тетка А[лександры] Э[дуардов]ны. По свойственной им неосновательности приехали за $^1/_4$ ч. до отхода поезда, когда все места были заняты. У дам были спальные билеты — а к ним сдали и Алешу. Г[енрих] М[атвеевич] с остальными мальчиками кое-как влезли в вагон с вещами и остались стоять, так как много было пассажиров, до Колпина. Авось устроятся.

Вчера, не считая этой прогулки на вокзал, я целый день писал, так что к вечеру одурел и пошел к Адр[иановым]. И везет же мне: у них оказалась Е[вгения] М[ихайловна]. Бедная девочка, до чего мне ее испортили! Я почти не в состоянии говорить с ней и чувствую, что это свинство. Домой ушли, конечно, вместе — но я немедленно сбежал. Тьфу.

Ну, Бог с ней. <...>

Завтра напишу бабушке большое и, по возможности, хорошее письмо. Только я теперь не в духе. Работа клеится, а о другом чем мало думаю. В душе нетерпение — отделаться и уехать. Да, знаешь, что мне Струве сообщил, что «Начало» наверное запретят.[383] Значит, опять мои статьи для них пропали. Досадно. К «М[иру] Б[ожье]му» я очень охладел, и для него мне как-то не пишется. Надо будет усиленно культивировать половцовский словарь — это и приятнее, и выгоднее. <...>

Д. 7. Л. 120—123 об.

479

16 июня

<...> А я эти дни совершенно не мог ни строчки написать. Разгром квартиры дошел до апогея. Зато теперь все почти кончено. <...> В передней выбелили потолок, а обои я решил оставить. В гостиной и спальне обои светлые — особенно одобряются последние. И собаки мои имеют успех — 9 больших собак разных пород и 5 щенков! Даже капризный В[ениамин] одобрил. В столовой по желтому фону светлые кафели тоже очень недурны. Работы почти кончены. Сегодня покончат с кухней. Но потом остается еще навести некоторый порядок. Луиза — представь себе! — уставила все мои книги, почти что в порядке, а журналы разобрала по годам и №№, да еще каждую книжку тщательно вытерла. Зато в остальном — хаос. <...> В пятницу Ямпольские ночевать будут, ибо мы собираемся опять съездить в Павловск: Ефрем[овы], Ям[польские], Адр[иановы], Леночка с quasi-женихом и я. Поедем в 4.30 и пообедаем на ферме. К пятнице надо квартиру устроить.

Увы, Юлек, — я вчера только кончил второго Б[естуже]ва: остается третий и самый большой. Едва ли можно будет уехать со спокойной совестью раньше будущей среды. Б[естуже]вы страшно разрослись — это хорошо с их стороны, ибо гонорар сильно увеличится.

Я ведь писал тебе, что «Начало» прекращается. Но статьи, которые я туда отдал, может быть, не пропадут. Струве одну отдал в «Мир Божий», а другую — в «Жизнь».[384] Дай Бог, чтобы напечатали. Но в будущем году я думаю больше писать для Адрианова, чем для журналов, — на поверку выходит, что это гораздо интереснее и выгоднее.

Эти дни, в те минуты, когда можно было спокойно писать, — я строчил Б[естуже]вых. Писал с увлечением — авось недурно выйдет. За этой работой я не успел написать ни тебе, ни бабушке. Постараюсь и ей сегодня написать. Кроме работы и маляров мне мешала необходимость из дому выходить. Ты знаешь, что М[анизер] уезжая оставил мне пачку квитанций ломбарда — у них заложено все серебро и золото, а процентов вовремя не внесли. Две вещи пропали — часы и, кажется, еще серьги и брошь. Их уже продали с аукциона, и мне выдали деньги, какие остались от продажи после вычета долга ломбарду. За остальные я заплатил % — Г[енрих] М[атвеевич] дал мне 25 р. на это. Осталось его денег у меня больше 30 р. — надо будет послать ему. <...>

Третьего дня вечером я ездил к Бороздину, который просил меня зайти к нему по делу — дела собственно никакого не оказалось толкового — это все о будущих практич[еских] занятиях. Чтобы не застрять у него, я потащил его к Шефферу, но того не оказалось дома. Тогда мы пошли по набережной до Летнего сада; посидели на поплавке и выпили пива. Б[ороздин] симпатичный, хотя тебе он совсем не понравится. Ко мне он, кажется, очень мило относится, хотя я его иногда обижаю и даже в «М[ире] Б[ожьем]» побранил его диссертацию.[385] <...>

Как видишь, я совсем разучился писать письма. Это всегда со мной бывает, когда я пишу какую-нибудь работу. Все мысли как-то разбиты из-за окрошки из XVIII в. и нынешних окружающих меня дел. <...>

Видишь, как я обалдел. Странно еще, что Б[естуже]вы хорошо выходят.

Напишу бабушке. А ты будь здорова. Крепко, крепко целую тебя и Гутика, ты — моя радость сладкая, мое сердечко дорогое. Ужасно люблю Юлю, право. Как мальчишка, тот прежний, у которого от одного слова «Юля» сердце прыгало. А теперь ты моя Юля давно, а точно вчера. <...>

Д. 7. Л. 124—127 об.

480

17 июня

<...> Твое письмо, полное тоски и муки, выводит меня из равновесия. Я не знаю, в чем дело. Но ты пишешь из деревни — и это довольно. Видно, опять обидные недоразумения встретили тебя, вместо ласки. Большой грех совершаю я, отдавая наше счастье на отраву. Нет, Юлек, надо было мне быть тверже и сразу вырвать тебя оттуда, сразу взять тебя совсем себе. <...> Ведь без этих несчастных и безумных домбровских отношений ты была бы совсем счастлива. А я устал гнуться во вред тебе, хотя твоя воля на это. Юлек, Юлек, когда мы будем наконец жить для себя, а не для других, которые нашу жизнь отравляют, Бог им судья.

А я-то! Меня какое-то презрение к себе охватывает за то бессилие, с которым я допустил всю эту нудную канитель.

Ну, теперь, пока, ничего не поделаешь. Скрепя сердце, вытерпим еще одно лето. А там надо серьезно подумать, что у нас же есть право свободно дышать по-своему. <...>

Д. 7. Л. 128—129

481

22 августа

<...> Да, приехал я в Питер. Господи, что тут творится! Кареев, Гревс, два юриста, пр[иват]-доц[ент] русской литературы Венгеров, один естественник — уволены из университета — без всякого повода, без всякого объяснения причин![386] Это дело нового попечителя — Сонина, бывшего профессора Бестужевских курсов. Платонов (у которого, кстати сказать, родился сын — Михаил, говорят, здоровенький мальчик) очень мрачно относится к назначению Сонина, который, по-видимому, решил «прекратить» — и круто «прекратить» все, что шевелится в университетах. Чтобы кончить об этом вопросе, сообщу еще, что циркуляр об отдаче в солдаты студентов, уволенных за беспорядки из университета, здесь понимают так, что он не касается участников бывших в прошлом году беспорядков, а будет приме-

няться на будущее время, если начнутся новые беспорядки. Комиссии, о которых говорится в этих циркулярах, еще не существуют.

Ну, теперь о себе. Ехал я очень удобно, спал отлично, имея в своем распоряжении целый длинный диван. В дороге читал «Quo vadis»[387] и кончил. Много, и довольно свободно, хотя, конечно, с большими ошибками, болтал по-польски с каким-то присяж[ным] поверенным из Ковно, а потом с петербургским студентом. Дома нашел все в порядке. Ламанский исчез, а Штруп еще у нас. Надеюсь, что он недолго пробудет, ибо мне неудобно, что он обедает около семи часов. Дома я нашел записку от Мани, которая приглашает меня обедать сегодня у них с Ефремовыми и Адриановыми. Кроме того, нашел коробку визитных карточек, печатное объявление Вяжлинского о новом его адресе, приглашение в институт на 21-е утром на переэкзаменовки (ку-ку!), записку от Е[лены] В[ладимировны] с просьбой прийти поскорее к ним и узнать что-либо об И[ване] Ив[ановиче] и, наконец, не считая «М[ира] Б[ожьего]» и «Tygodnik'а» несколько интересных книг из Лейпцига. Я наспех переоделся, пошел к парикмахеру и в баню, а оттуда к Адриановым, куда немедленно вытребовали Ив[ана] Ив[анови]ча. Он совсем как был, только еще более милый, немножко похудел и в хорошем настроении. Письма моего он не получил в Лондоне, так как уехал в Берлин, где случайно попал на Форстена, с которым и провел все время. <...>

С деньгами плохо. Ангел не напечатал ни строчки, Адрианов не начинал печатать, но даст мне вперед 50 р., для пересылки тебе. Постараюсь получить их как можно скорее. С собой я привез сюда около 10 р. <...>

Я приехал как раз вовремя. Уроки в институте начинаются только во вторник, а в понедельник конференция. У меня там 8 уроков. Во вторник — от 9 до 11, в понедельник, четверг и пятницу от 10 до 12. До 4-го сент[ября] никаких других занятий не будет.

Сейчас отправляюсь к Манизер, а потом к Ямпольским. Надо будет навестить еще Платонова и Шеффера. В четверг вечером, вероятно, соберусь к Лаппо-Данилевскому, чтобы узнать, что говорят в лагере Гревса. Оба, Гревс и Кареев, уволены и с курсов, но первый остается инспектором у Таганцевой, а второй — в Лицее. <...>

Д. 7. Л. 130—133 об.

482

23 августа

Ну, дорогой Юлек, побывал я вчера у Манизер. Они веселы и здоровы. Детки загорели, окрепли и наперерыв рассказывают о деревенских впечатлениях, как рыбу и раков ловили, как птиц стреляли из монтекристо, как жуков собирали, верхом катались, купались и т. п. Но, в общем, житье в Валуйках оказалось чересчур неудобным и очень дорогим. Обошлось лето вдвое дороже, чем в Финляндии. <...>

У Ямпольских провели весь вечер. Маня пела немного, в шахматы играли, болтали. И вдруг между мной и Е[леной] В[ладимировной] произошло нечто странное. Она, без меня, рассказывала Мане, как иногда на меня сердится, — и взвинтила себя до того, что, когда я вернулся к ним, — выпалила мне несколько неприятностей: что 30-го не поедет на Пороховые; что у Форстена (речь была о том, что там иногда скучно, потому что публика часто неподходящая) она иногда меня не любит — и всегда ей неприятен Фридолин; что вообще сердится на мои отношения к Форстену. На последнее я ответил, что она этих отношений не представляет себе. Действительно, ведь я из «субботника» обратился в верное орудие Форстена по делу, и отношения наши приняли тон ученика и учителя в науке и преподавании, чего прежде не было, а субботы потеряли для меня прежний смысл. Но я еще прибавил, что ценно в наших отношениях отсутствие недоразумений, а мелкие стычки и выходки друг против друга не оставляют следа. Е[лена] В[ладимировна] на это ответила, что Г[еоргий В[асильевич] сам распускается и некоторые при нем тоже распускаются до грубости. Не думаю, чтобы она имела какое-либо основание иметь при этом в виду меня. Во всяком случае, она почему-то обошлась со мной враждебно, и вечер был испорчен — не мне одному, а вообще. Суть дела в разногласии, в котором она считает, что одна ты ее понимаешь. Дело, приблизительно, в следующем. Е[лена] В[ладимировна] очень привязывается к людям. Но она очень чутка на всякую неделикатность. Г[еоргий] В[асильевич] раз сказал ей очень резкую вещь про Флексера, а заодно и про весь «С[еверный] в[естник]», где участвовал В[ладимир] В[ладимирови]ч. Это ее оскорбило, и понятно. Но дело не в том. Она считает, что если очень любишь человека, то можно ему простить, но не забыть обиду, которая останется в памяти и в сердце. Я же думаю, что такое «прощение» вечно выроет ямку между людьми, потому что, что за добрые отношения, если в душе одного есть une rancune* против другого? Надо уметь не прощать (если «простил», то, значит, осудил и помиловал виновного), а забывать и мириться с тем, что у близкого человека есть, как у всякого, недостатки и скверные минуты. А складывать в сердце все уколы, вести им счет — это отрава. Ну, это не важно. Расстались мы натянуто, но это, должно быть, пройдет. <...>

Д. 7. Л. 134—137 об.

483

25 августа

Дорогой Юлек, посылаю тебе пока 25 р. Прости, что на пару дней запоздал высылкой. В сентябре, когда получу с Адрианова, вышлю еще. Авось удастся получить раньше, чем Половцев вылетит в трубу. А дела его очень плохи. Он распродает конский завод, а это значит, что плохи дела не только его, но и его жены, т. е. Гороблагодатских заводов, — и Штруп теперь говорит, что 3 школьных миллиона, вероятно, пропадут.

Только что получил твое письмо. Крепко целую тебя за него. Я не ожидал еще сегодня и тем более был рад. Третьего дня я писал тебе. Вечером, после обеда у Ямпольских, за мной прислали от Адриановых, потому что там был Джон. Но я только забежал, чтобы сказать, что отправляюсь в институт на конференцию, и увел с собой Джона к Штрупу. Штрупа мы застали еще за концом обеда, хотя было 7 $^1/_2$ ч. У него обедал какой-то господин. Хозяйство Штруп ведет не по-моему. У него хорошее вино, фрукты, отличные дюшесы, напр[имер], и т. п. Я за это сказал ему, что — увы — он становится совсем старым холостяком. И правда, на нем лежит уже эта печать. В институте я был недолго и к 10 ч. вернулся домой, а за мной приехали и Джон со Штрупом, делавшие пока визит каким-то знакомым. Помузицировали немного, поболтали. Штруп, оказывается, посылал за настройщиком, который открыл ему рояль и привел его в порядок.

---

* Злопамятность (*фр.*).

Вчера начались уроки мои. <...>

Вечером мы с Ямпольскими собирались на «вторник» к Адриановым, но я сперва зашел к Джону — посидеть у него. А к Адриановым Ямп[ольские] не пришли. Боюсь, не стало ли Мане хуже. У Адриановых никого, кроме нас с Джоном, не было. От Джона я узнал, что Нечаев переехал в Петербург на месяц. Я его еще не видел. <...>

Как видишь, дорогой Юлек, началась петербургская сутолока, которая не дает мне почти совсем возможности заглянуть в какую-нибудь книгу. Да еще много времени уходит на разговоры со Штрупом. Вчера, напр[имер], мы легли в 3 ч. Он помещается в адриановской комнате. Просил очень тебе кланяться, благодарит за приют. Он очень доволен летом, говорит, что никогда еще не жил в Петербурге так удобно. Ты помнишь, что он ездил с Бенуа по России и Кавказу. Говорит, что видел много интересного. Лонго и его школу они с Бенуа очень бранят. Для выработки программ рисовальных школ собираются пригласить Манизера.

Д. 7. Л. 138—140 об.

484

28 августа

<...> Что тебе про себя рассказать? Я писал тебе, кажется, третьего дня. В этот день я обедал у Шеффера.<...> П[етр] Ник[олаевич] все лето провел в Петербурге, но в начале сентября поедет в Крым, по делу, чтобы переговорить с Долгоруким об издании его рукописи народных песен. После обеда я от них сейчас удрал, потому что П[етр] Ник[олаевич] был занят спешными корректурами. Вечером хотел посидеть дома, но за мной пришла Маня и увела меня к себе, потому что они ждали Адриановых. Маня пела, мы с Ив[аном] Пл[атоновичем] в шахм[аты] играли, болтали, словом, все, как обычно. Ив[ан] Пл[атонович] просил меня устроить продажу его акций, заложенных для Адрианова. Поэтому я на другой день отправился из института к Адриановым, С[ергея] А[лександровича] не застал, выпил кофе у Е[лены] В[ладимиров]ны и, захватив его в Комиссии, пошел к Новацкому. Кстати, застраховал билет. Продажу акций пришлось отложить, и С[ергей] А[лександрович] ушел, а я посидел у Новацкого. Он много расспрашивал про тебя, Гутика, П[етра] Вик[ентьевича], жаловался, что лето было скверное — только три недели держалась хорошая погода, а то все дожди. Очень любезно предлагал мне денег, но я, конечно, отказался, хотя дела мои очень плохие. А[дриано]ву я должен

33 р., Ямпольским 6 р. 24 к., за вещи 6 и т. д. Да еще управляющий может всегда потребовать 40 р. Поздравляю! <...>

Сегодня я посидел наконец дома. Прочел хорошую, умную и симпатичную статью Гревса о Васильевском.[388] Это чтение лишний раз заставило меня огорчиться, что Гревса удаляют из университета. Ходит слух, что на его место выпишут москвича. Жаль, что так подло оборвут дорогую нам традицию Васильевского, которую [может] поддержать и продолжить один Гревс. Статья его произвела на меня еще другое впечатление: он характеризует умственный склад В[асильев]ского такими чертами, что еще яснее становится, отчего этот старик был нам такой родной. Его скептический идеализм — наша черта, а Гревсу довольно чуждая. Гревс печатно предлагает нам составить вместе книгу о Васильевском. Это страшно. Не сумеешь написать так, чтобы хорошо было. Поговорю об этом с Адриановым. <...>

Д. 7. Л. 141 об.—144 об.

485

30 августа

<...> Третьего дня, отправив тебе письмо, я пошел к Адриановым, и мы с С[ергеем] А[лександровичем] и Е[леной] В[ладимировной] целый вечер с обеда разбирались в наследстве В[ладимира] В[владимировича] — статьи из газет и журналов, заметки, выписки, корректуры. Всего это очень много, и придется еще много повозиться, пока удастся привести в порядок эту массу. Много очень интересного и нам незнакомого. Человек он был разносторонний и работал много.

А вчера мы собрались всем кагалом на Пороховые. Головань не приехал, ибо его, верно, нет в Царском: Катя ему писала. Поехали А[дриано]вы, Я[мполь]ские, Лапшин; потом явился Шеффер. Поиграли в крокет, Маня много пела. В половине 9 уехали — Маня, Е[лена] В[ладимировна] и И[ван] Пл[атонович] в пролетке, а мы на дрынде. Но не разошлись по домам, а отправились пить чай к Мане и долго засиделись. Тут, благодаря И[вану] И[вановичу] и С[ергею] А[лександровичу], были очень интересные разговоры о литературе и искусстве. Оба они гораздо определеннее и смелее меня в суждениях и объяснениях, да, признаться, и знают больше. Ив[ан] Ив[анович] часто сыплет парадоксами, но всегда неожиданными и интересными. А С[ергей] А[лександрович] искренно ищет широких обобщений и очень вырос за последние года два. Весьма любопытные экземпляры они оба. <...>

Старик Ламанский уходит из университета, т. е. не будет читать лекций и получать жалование, но, как «заслуженный профессор», остается членом совета, чтобы свободно подавать свой голос. Ушел в отставку инспектор университета Альбрехт, заявив, что не понимает требований начальства и не может их исполнять; пришел Батюшков (всеоб[щая] литер[атура]), ушел и математик Марков, а с курсов — проф[ессор] Котляревский. Всех их заменить очень трудно.

Ив[ан] Ив[анович] не будет читать лекций в университете в нынешнем году, но остается приват-доцентом на будущее время. <...>

Д. 7. Л. 145 об.—147

486

1 сентября

<...> Вчера я хотел сидеть дома, но к Ямп[ольским] приехал Вениамин — отвез Бориса в корпус — и поэтому прислали за мной. От них мы вечером пошли на первый «вторник» к А[дриано]вым. Был офицер-жених, был Флексер и Молоствов. Толковали о том издании статей В[ладимира] В[икторови]ча, которое мы затеваем. В субботу соберемся у них, чтобы разобрать материалы. Болтали о разных вещах, пили пиво — я из прелестного бокала — тонкого, на ножке, с золотом, который подарила мне Е[лена] В[ладимиров]на. <...>

Пришлось, отправляя письмо Палибиным, опять заговорить о книгах, хотя о них лишь мельком упомянул. Опять Коля в глаза говорит одно, а за глаза другое. Надо с этим покончить, хотя это новый, неприятный расход. Меня отсылка книг очень подведет, потому что «Рус[ская] старина» и «Архив» мне именно теперь постоянно нужны. Надя пишет, что настроение у них прескверное, потому что был хороший урожай, но только успели скосить рожь, как дожди пошли, и все погнило. А назначение Н[иколая] Н[иколаевича] земским начальником еще не состоялось.[389] Это дало бы ему 150 р. в месяц. <...>

Д. 7. Л. 150—150 об.

487

3 сентября

Никак не думал я, дорогой мой Юлек, чтобы наши университетские [дела] могли так волновать меня. Дела чрезвычайно плохи. Настроение придавленное. Что[-то] унизительное, обидное есть во всем этом. Говорят, у Гревса дома такое ощущение, точно в доме покойник. У даровитого человека сразу отняли все, чем он жил, что он любил. Говорят, что его вернут. Пусть так — но что это за игра людьми, точно пешками — по воле тупого, ограниченно-прямолинейного министра? И сколько людей попадет в обидное положение. Кареева удалили — и его наследство достается Форстену. Я не осуждаю Форстена, но если студенты, когда он появится на кареевской кафедре, бросят ему какую-нибудь оскорбительную выходку, — я их тоже не упрекну. Понимаешь, как это мне грустно? О Форстене меня кругом спрашивают, как он к этому относится, а я хитрю, уклоняюсь от разговора — потому, что я скажу? Унижающие университет темные силы тем и сильны, что им можно свободно действовать, потому что у них есть запас профессоров, которых хватит на то, чтобы продолжать преподавание, несмотря на то, что за борт выбросят, ни с того ни с сего, — несколько человек. Теперь не могут найти ректора. Пресерьезно говорят, будто ректором будет Платонов. Не дай-то Бог! На его голову соберется много раздражения. Как он это вынесет? Если бы это случилось, это, вероятно, выроет между нами яму, через которую мне трудно будет перескочить — надеюсь, что этого не будет. Середонин мне сегодня говорил, что утвердят ректором юриста Гольмстена, хотя он на это никаких прав не имеет. Пускай, хотя для университета в этом ничего хорошего нет, но я не хочу, чтобы ректором стал Платонов. Я вчера с Лапшиным ездил к Лаппо-Данилевскому. Тот начал читать лекции, но с таким тяжелым чувством, что мне его жаль. Он говорит, что у него такое чувство, точно он преступление делает. Но уйти ему, приват-доценту, не имеет смысла, если профессора остаются. Глупое положение бедных «служителей» науки, нашей милой, поруганной науки. <...>

Проклятый город, проклятая страна. Тут душно, нервно — и хотят еще, чтобы мы, молодые, работали — зачем? Ну, конечно, надо защищать науку, развивать ее, потому что в конце концов она победит — но все это так уныло, так гадко. Хорошо иной раз забыться — после петербургских впечатлений. Вчера, вернувшись от Л[аппо]-Д[анилев]ского, я нашел у себя Оссовского, Штрупа и Ламанского. Оссовский и Штруп угостили меня парой опер Моцарта — чудных, как все у Моцарта, и тем привели мои нервы в некоторое равновесие. <...>

Бестолковое это письмо. Вчера до 3-х ч. музицировали, а сегодня с утра были у меня уроки. Устал. <...>

Д. 7. Л. 151—153 об.

488

5 сентября

<...> Петербургские передряги меня изводят, дело не клеится, настроение скверное. Неохота за что-нибудь приниматься. Даже библиотеку я не привел в порядок. Чтения нужного накопилось столько, что я не знаю, за что и приняться. А с четверга (9-е) начнется преподавание по всей линии — спешка, суета.

На курсах затевают приятную новость. Может быть, удастся устроить так, чтобы Миша начал читать там историю искусств уже в нынешнем году, за успех я нисколько не опасаюсь. Дамы очень довольны его лекциями, которые он теперь читает в Павловске народным учителям, и В[еликий] князь тоже.

Вчера я обедал и вечер провел у Адриановых. Занимались разбором статей В[ладимира] В[икторови]ча. Я взял часть на просмотр. Багаж большой, но не все хорошо. Вечером туда же пришли Ив[ан] Ив[анович] и Миша. Адриановы мне не очень нравятся. Оба какие-то нервные, точно не то усталые, не то недовольные. С[ергея] А[лександрови]ча приглашают, но в новую газету, которая начнется с 1 ноября: «Северный курьер» Мне думают поручить там почему-то отдел искусства. Не знаю, что из этого выйти может.[390] <...> Пишу как-то отрывочно и бессвязно. А кое-что надо еще рассказать.

Платонов рад назначению Гольмстена в ректоры, и, кажется, можно быть уверенным, что он в ректоры не пойдет. Гревс уволен по требованию М[инистерст]ва внутренних дел, и М[инистерст]во нар[одного] просвещения по обыкновению не сумело отстоять свою самостоятельность. Если это правда — а это верно правда, то вернуть Гревса будет не так легко, как об этом говорили в университете. Это весьма грустно и гнусно. <...>

Д. 7. Л. 154 об.—156

489

8 сентября

Приехал папа, и потому я два дня не мог писать тебе, дорогой мой Юлек. Он, бедный, рад наговориться, душу отвести — уверяет, что в Харькове и поговорить-то не с кем. Рассказывает мне про всякие свои дела, читает свои статьи и записки. Он приехал по делу и, вероятно, послезавтра уедет. Островский уверяет, что весною, может быть, возьмет его в Петербург, тысяч на семь, а может быть, и больше, но я ему почему-то не верю и стараюсь папу настроить так же недоверчиво. А если он исполнит? Папа опять толкует о том, чтобы нам жить вместе. Я, признаюсь, боюсь этого, и постарался внушить папе, что на двух квартирах нам будет лучше, чем на одной. Он отчасти согласен с этим, но мечтает об общем хозяйстве, по крайней мере на двух квартирах, но на одной площадке. Не знаю, что из этого выйдет. <...>

Что меня касается, то завтра у меня начнется преподавание в гимназии. Я, благодаря лету, начинаю это дело с пустой головой и без ясного представления о том, что буду делать. Ну, как-нибудь вылезем. А пока провожу время совсем бездельно. В воскресенье, после того, как отправил тебе письмо — то, бестолковое, которое мне Штруп мешал писать, — я отправился сам обедать к Ямпольским, и вечером, конечно, пришли Е[лена] В[ладимировна], Ив[ан] Ив[анович], Штруп и Оссовский. Ямпольские думают устроить у себя «воскресенья» — очень уж хочется им, чтобы у них собирались члены нашего «кружка». Слушали много хорошей музыки, главным образом божественного Моцарта. Это в самом деле нечто удивительное — каждая нота гениальна, по красоте, свежести.

С[ергея] А[лександрови]ча не было — он уехал к Павлову-Сильванскому, верно, по делу о газете, о которой я тебе писал. <...>

Во вторник, после уроков, т. е. в $^1/_2$ 12-го, я пошел на курсы проэкзаменовать одну девушку. Сегодня придется опять ехать туда с Мишей. Дамы, как я писал тебе, мечтают, чтобы Миша уже в нынешнем году читал на курсах историю искусств. Вот об этом и придется сегодня разговаривать. <...>

А вчера наконец появился Головань. Он только что приехал из Полтавы, очень поправился и очень доволен летом. Он у меня обедал и просидел весь вечер. Бедный малый, он тяготится тем, что ничего определенного у него в жизни нет. Он страдает от того, что нет в нем никакого определенного желания, что он не может чем-либо сильно заинтересоваться. Я ему говорю — «Влюбись и женись», а он отвечает: «Не могу!». Его мучает то, что при всей близости и как будто привязанности, не знаю к кому — Васьковой или Хардиной, он не скучает, особенно один, что эти отношения не переходят во что-либо более серьезное. Науку он решил бросить, с болью сознавая, что это портит его отношения к Форстену. А разные вопросы науки и литературы, которые его живо интересуют, не настолько ему важны, что[бы] взяться серьезно за работу над ними. Отсюда — тягостное настроение человека, который не знает, что с собой делать и куда идти. Теперь он взял 4 урока в училище в Царском. И то занятие. <...>

Д. 7. Л. 157—159 об.

490

11 сентября

<...> Вчера мы с Ив[аном] Пл[атоновичем] ходили заказывать пальто. Не знаю, не сделал ли я глупость, но Ямпольские убедили меня, ввиду кредита у портного, заказать и зимнее, и осеннее. Оно действительно, что осеннее пальто совсем неприлично, а по вечерам в летнем — холодно, а в зимнем было бы тяжело. Ну, что делать, дело сделано, надо будет теперь выпутываться.

Вчера уехал папа, в новой надежде, что его переведут-таки сюда. Мне что-то не верится. Я проводил его и с вокзала поехал на курсы, на конференцию. Не понравилось мне там. Какая-то чужая атмосфера, мало симпатичных людей, и как-то сразу мне ясно стало, как мало надежды сделать из этого затхлого, рутинного учреждения что-нибудь живое. Не верится мне, чтобы из реформы нашей что-нибудь вышло. С таким жаром взялись мы за нее, а теперь никто о ней почти не говорит. Ну, без новых битв мы не уступим, а все-таки в душе мало надежды на победу. И о Мишиной истории искусств дамы просили меня ничего не говорить: видно, узнали что-нибудь неблагоприятное. Ну их! Только в гимназии Оболенской более уютно. А тут отличились г.г. преподаватели VIII-го класса. Два раза подряд, два дня, собирались ученицы — и ни один преподаватель не явился. Хороши! Форстен рвет и мечет, особенно против Миши. Сегодня, на первой субботе, будет ему трепка. <...>

Вчера, по случаю папиного отъезда, у меня были Ефремовы — и обедали с нами. Катя была как будто ничего, но лицо ее стало такое нервное, что, кажется, она вот-вот заплачет. Бедняжка. Вениамин с нетерпением ждет судьбы новых штатов. Если их утвердят, то он будет получать больше 3 тысяч и квартиру, а пенсия его будет 3 тысячи. Тогда он и не захочет уходить с Пороховых до конца службы.

Только что я получил официальное и очень почтительное письмо от Ангела: написал ему, что А[лексан]дра он не получит, и предложил ему написать его к январю, да зараз спросил и относительно рецензий. Посмотрим, что он ответит. Идти к нему мне и некогда, и неохота.

У Манизер я сто лет не был — не знаю, когда соберусь. Завтра надо пойти к Платонову. Он затеял уничтожить среды, а кто желает его увидеть, пусть приходит в воскресенье от 2-х до 4-х — точно министр. Это несимпатично, и, верно, я к нему вовсе ходить не буду. Вообще тут в Питере, вне нашего маленького кружка, все как-то неуютно и неприветливо. Проклятый город.

Мое самое больное место — моя несчастная библиотека. Никак не могу заставить себя привести ее в порядок, а теперь, когда начались занятия, не могу сразу найти ни одной нужной книги. Сержусь на себя — и дела не исправляю. Все потому, что полок мало, а заказывать не хочется. <...>

Д. 7. Л. 160—163 об.

491

Четверг, 16 сентября

У меня тут мельница полной водой замолола. Начал лекции на курсах. Первые дни, когда случалось по пяти уроков, сильно меня утомляли, и я, вернувшись домой, спал как убитый. Уроки и лекции, кажется, начал недурно, хотя почти не готовлюсь. Но я веду их чересчур нервно — оттого и устаю. Дома ничего не могу делать.

Библиотеку свою наконец привел в порядок с помощью Голованя. Маня купила мне очень хороший открытый шкаф за 8 р.: это вместо того, чтобы заказывать полки. Полотера я нанял, но за 2 р. 50 к., никто, кроме нашего прошлогоднего, не хочет меньше, а его, право, брать не стоит. Он вымыл полы с содой. Скипидара все они боятся почему-то. <...>

Я давно тебе не писал, думая, что ты не успеешь больше получить письмо. А теперь столько всякой всячины набралось, что я даже не знаю, с чего начать. Да и не пишется как-то. Все кажется, что скоро приедешь, тогда наболтаемся. И устал я: пишу, придя с уроков. Вчера мы, — т. е. Я[мполь]ские, А[дриано]вы и я, были в Михайловском театре, на русской драме. Шла — и очень хорошо шла — драма «Забава», перевод с немецкого. Я люблю драму и не знаю, почему хожу больше в оперу. Комиссаржевская — прелесть, да и другие хорошо играли.[391] Жаль, что тебя не было. У Манизер мы с Мишей на днях были. А[лександра] Э[дуардов]на очень довольна своей дочкой. Она здоровая, спокойная и мало ее беспокоит. У них по-старому, так же уютно и приятно. Г[енрих] М[атвеевич], однако, в скверном положении: ни один амбар на Охте не сдан, а надо много затратить на ремонт и т[ому] под[обное] Как он вывернется, бедняга? <...>

Д. 7. Л. 164—165 об.

492

19 сентября

<...> Какая радость будет, когда Юля опять будет со мной! Если бы ты знала, как недостает мне твоего голоса, твоего присутствия, как часто кажется, что вот-вот войдет в комнату Юля и заговорит — так сердце и затрепещет. А потом нет — опять кругом ощущение пустоты; странно, что Гутика я себе меньше представляю дома. Верно, потому, что такой большой, живой, самостоятельный он тут еще не был. <...>

Вчера были у Форстена. Много было музыки, и Г[еоргий] В[асильевич] очень был мил и весел. У него остановились какие-то родственники, и потому Головань ночевал у меня. Чудной он человек. Все философствует — и так странно. Удивляют меня эти люди, для которых решение таких философских, отвлеченных вопросов так много значит. Философствует он плохо и огорчается своей философией до чрезвычайности. В этих разговорах всего яснее, как мало для меня значат эти вопросы. Т. е. не то что мало, а я с ними обращаюсь смело и уверенно, они меня не пугают и не смущают. Я поэтому и силен, моя умственная сила вся от смелости мысли и духа, и это дорогой подарок моей Юли. Это такая чудная, ясная опора души моей, что без нее — я и половины бы не стоил. Понятно это тебе? Я и Головашю говорю, хочешь найти выход изо всех сомнений, верить в жизнь, смотреть на нее смело и открыто — полюби и женись. А он — не умеет. Бедный мальчик. <...> Огорчает его отношение Г[еоргия] В[асильевича], который с ним ссорится и не хочет его понимать. Кроме того, он мне странную вещь сказал; уверяет, что Мария Алексеевна уехала из-за Г[еоргия] В[асильевича] и что он это, наверное, знает, хотя не хотел сказать, как и откуда. <...>

О петербургских делах писать не стоит. Скоро увидишь сама, что тут творится. В университете ждут беспорядков. Уже пытались затеять их, да ничего не вышло. Студенты как будто действительно напуганы. На днях я хочу съездить к Гревсу. У меня есть его книги, стало быть, и предлог налицо. Надо еще встретиться с Милюковым и завязать с ним знакомство. Он, по-видимому, будет жить в Петербурге.[392]
<...>

Д. 7. Л. 164—168

1900

493

15 июня

Милый, дорогой мой Юлек, поболтаю с тобой, пока А[лександр] Я[ковлевич] занят делами. Расскажу по порядку. В Ковно я приехал очень рано; дождь нас только слегка вспрыснул. В 3 ч. мы были в городе, задержавшись в дороге отчасти потому, что Адольф, по обыкновению, потерял подкову, и в Годлеве пришлось подковать лошадь. Покупки — кажется, я все исполнил? — заняли около ¼ часа всего, пот[ому] что все в одном месте. На вокзале я очутился задолго до поезда; мог бы уехать скорым, да не стоило приплачивать, так как все равно в Вильне пришлось бы сидеть до 12-ти. До Вильны было в поезде довольно много народу. В Вильне я пообедал в «Евр[опейской] гостинице», очень вкусно и дешево, а потом бродил по городу до 11 ч. Около 11 вернулся на вокзал, и так как либавский поезд уже стоял на запасном пути, я пробрался туда и лег спать. Час проспал до отхода поезда из Вильны и хорошо сделал, потому что набралось много народу и до Минска, т. е. всю ночь, пришлось сидеть. Зато от Минска до Бахмача я ехал один в маленьком купе и читал свою английскую книгу. Не читай, Юлек, в поезде английских книг, ибо голова устает! Это было глупо, п[отому] что у меня даже висок стал побаливать, хотя это быстро прошло вечером на воздухе. В Бахмаче пересел в поезд Кур[ско]-Киев[ской] дороги с удобными вагонами и спал всю ночь наверху. Под Бахмачем я разговорился с одним киевским присяжным поверенным, который уверял меня, что ни один юрист не сомневается, что Комарова убили Скитские и что сам защитник Скитских — Карабчевский говорил ему так, но защищал их, чтобы доказать, насколько против них мало улик и насколько их преступление не может быть доказано на суде.[393]

В Курске пришлось оставить багаж, пот[ому] что на курьерский поезд до Прохоровки не принимают пассажиров с багажом, да и поезд-то останавливают, только если есть кого взять или высадить. Поезд ушел через $^1/_2$ часа, так что я успел еще закусить. В Прохоровке меня встретил А[лександр] Я[ковлевич], который уверяет, что у него было дело в Прохоровке — осмотр лавок, которых он не осмотрел, впрочем, всех. Тут нас позвал обедать какой-то купец, угощал меня наливкой, а потом мы поехали под дождем на тройке в тарантасе. Ехали часов пять, но время прошло быстро, так как мы много болтали. А[лександр] Я[ковлевич] расспрашивал о тебе, о детях, обо всех наших, о петербургских делах и т. д. О себе он пока мало говорил. Чувствует он себя плохо и что-то есть у него личное на душе, что его мучает. Говорит, что надо уехать из Корочи — его зовут в Полтавскую губ[ернию] на ту же должность, но что-то его связывает. До этого мы еще договоримся, по-видимому, — cherchez la femme.*

Короча — большая деревня скорее, чем город. А[лександр] Я[ковлевич] живет в хорошеньком уютном домике с большим садом. Прислуга у него довольно симпатичная старушка. Сам он выглядит сносно, хотя это отчасти объясняется оживлением нашей встречи. Со мной он очень нежен и радостный какой-то. Дома мы поужинали, чаю напились и спать легли. Проспал я крепко часов 10 подряд, и сегодня усталости как не бывало. А А[лександр] Я[ковлевич] утомленный.

А[лександр] Я[ковлевич] стал сразу же торговаться, чтобы задержать меня подольше. Но самое позднее в воскр[есенье] мы уедем. Он едет со мной в Курск, чтобы там взять отпуск на 28 дн[ей], а затем ехать в Петербург за отпуском на 2 месяца. Хочет за границу съездить — в Дрезден, Швейцарию.

Это ему совсем необходимо. И вообще, судя по его тону, я, хоть и не знаю пока, в чем дело, уверен, что надо его вырвать из Корочи. Но Петербург для него не годится. Тамошняя жизнь — нервная, искусственная, мало живая для тех, у кого нет своей личной жизни в домашнем гнездышке, — ему не по натуре и не по силам. Так что на некоторое время Полтава была бы хорошим выходом. Об этом у нас с ним будет еще разговор.

Льет дождь. Всю ночь лил и теперь продолжается. Тепло, но мокро. Дорога и так была плохая, а назад будет совсем уж трудно ехать. Земля черноземная, липкая. Урожай тут на все превосходный, но если дожди затянутся — попортят.

Ну, а вы что? Я всю дорогу думал о вас, и жаль было, что уехал, и что-то щемило. <...>

Д. 7. Л. 169—171 об.

---

* Ищите женщину (*фр.*).

18 июня

<...> Я писал тебе из Корочи в первый день, как приехал туда — и про А[лександра] Як[овлевича] не мог еще ничего рассказать. Он очень был мне рад, оживился, но временами точно потухал, усталый и грустный. Тяжелые отношения на душе у него. Он поневоле вмешался в судьбу одной крестьянки, ушедшей от мужа с детьми, опутанной рядом разных отношений и жившей, когда он приехал, в том доме, который он нанял. Ее гнали, беременную, и, конечно, он позволил ей остаться; она выздоровела, когда он заболел, ходила за ним — и кончилось тем, что они сошлись. Человек это, по-видимому, очень существенный, натура даровитая: А[лександр] Я[ковлевич] в беседах и чтении дошел с ней до того, что и Шекспира ей читал, и «Ромео и Джульетта» привели ее в такой восторг, что она — представь себе только — послала, потихоньку от А[лександра] Я[ковлевича], книгу в деревню своим — чтобы там читали. Любопытно, какое там было впечатление?! Кончилось тем, что вся эта история запуталась разными деловыми вопросами: А[лександр] Я[ковлевич] помог приобрести ей домик в Короче; начался потом спор родни продавца с нею, впутались разные негодяи из чиновников, кажется, раздраженные на А[лександра] Як[овлевича] за что-то, и пошла писать губерния. С другой стороны, и она, да и он хорошо понимают, что отношения их случайные, а не жизненные. В результате болезненное осуждение самого себя, усталость от дрязг, тревога. Трудно это изобразить. Во всем этом есть что-то мучительно-трогательное, и в то же время чуется, в среде окружающей, жесткий житейский реализм, безжалостный, мелкий, злой и пошлый. Вообще короткое пребывание в Короче дало мне резкое ощущение тяжелой и злой житейской правды, нужды, пустоты, тоски и темных порывов, в которых так много-много людей живет. Это правда жизни, от которой мы так далеко живем, в нашем «тепле и холе», как пишет Полонский, точно растения в теплице далеко от холодов и бурь настоящей природы. Это я вовсе не по поводу Полонского пишу. Я говорю о той жизни, которая течет в глуши для множества людей, жизни трудной, тягостной, без света. И как страшно перед этой жизнью, когда хоть со стороны, хоть минутным ощущением только окунешься в нее.

Бедный Аля — не для него эта жизнь, и он не для нее. Свою маленькую долю пользы он принес и принесет для нее — но сам сломится измученный. И это тоже трудно высказать — я только намекаю: тут есть что-то мучительно-жуткое, в сравнении нашей особенной жизни и этой, настоящей, от которой мы ушли и спрятались.

И что такое наше самое большое горе — перед постоянно-горькой, постоянно-трудной жизнью этих людей. И они пустеют, духовно искажаются, озлобляются и ищут выхода, черт знает, в чем: пьют, играют в карты, опошляются; или другие — и, знаешь, я никогда не думал, что их так отчаянно много — уходят в разврат, в убийство, в самоубийство. В Короче последних историй немало, и все на какой-то сумасшедшей романтической почве. Мне душно там было. Таким я маленьким себя чувствовал — меня бы быстро сломала эта страшная жизнь, если бы я с ней крепко лицом к лицу встретился. Правда, что я сильный — не своей силой, а семьи своей, тобой, моя Юля, потому что ты мне выстроила ту теплоту, где так сердечно, тепло и уютно, куда не прорваться дуновению этой жизни, откуда смотреть на нее хоть и жутко, и мучительно, но где ее легко забыть. <...>

Я поступил эгоистично — бросил Алю в тяжелую для него минуту: должен был приехать губернатор; его хотят вмешать в Дунино дело — А[лександру] Я[ковлевичу] придется защищаться. Море грязи — страшный враг для таких, как он. А я уехал, ибо надо же браться за дело, хотя что такое это дело перед болью души человеческой? Я живу для Юли и детей и забавляюсь наукой — и для меня этого с избытком довольно, но тут мне стыдно стало, что я для остальной жизни — лишний и бесполезный, а там много сил нужно, правда, не таких, как мои. Ну, Бог с ней! <...>

А[лександр] Я[ковлевич] сокрушает себя осуждениями — он и в письме, которое я тут нашел, в Москве, пишет о «трогательном» отношении твоем и моем к нему и пишет, что мы не знаем, какой он теперь стал и как мало он стоит прежнего к себе отношения. А я не сумел внушить ему бодрости душевной, потому что я ведь человек слабого духа; ты хорошо это знаешь, потому что знаешь, как не умею я тебя согреть, ободрить, сделать бодрой и уверенной, хотя я и люблю тебя всей душой, сколько ее у меня есть.

Уехал я из Корочи в понедельник скорым поездом, так что до Москвы у меня был свой диван; да и вообще народу было мало; значит, спал хорошо. В Москву приехал во вторник, т. е. сегодня в 9 ч. утра. Извозчик привез меня на дачу Майковых. Миша был уже в Архиве — я часа $1^1/_2$ ехал на извозчике, а мать его — дома. Дача большая, в два этажа. Кругом большой сад — целая роща. Воздух отличный. В моем распоряжении 2 комнаты: спальня и кабинет. Обед будет дома. Г[оспо]жа Полиевктова наняла кухарку. Конечно, я буду ей платить; мы уже говорили об этом; а прачка — жена дворника. Видишь, как все удобно. Когда я приехал, умылся, переоделся — Мишина мать покормила меня завтраком, и я поехал по электрической конке в город. Если до нее идти пешком — минут 15 и от нее до Архива пешком — минут 20, то все путешествие занимает приблизительно час или немного больше. Это ничего, даже хорошо. В Архиве я только записался на завтра, пошел на Тверскую, купил себе марок, бумаги, рассказы Горького, которые обещал послать А[лександру] Я[ковлевичу], и чесучовую фуражку. К трем часам вернулся в Архив за Мишей, мы по дороге зашли с ним к Филиппову чаю выпить и отправились домой. В пять пообедали, а в семь пошли к Петровской Академии купаться. Это довольно далеко, т. е. минут 20—25 ходьбы, но можно, если мне в один конец, ездить на паровой конке. Купанье превосходное, вода теплая — 20°, но все-таки освежает. День был очень жаркий. Завтра попробуем купание в другом пруду — по дороге из города, чтобы купаться до обеда после городской пыли и духоты. Во всяком случае, купаться там или здесь будем каждый день.

Видишь, Юлек мой милый, как твой Санька великолепно устроился. Если и занятия будут плодотворны, то поездка в Москву окажется очень приятной. <...> Получил тут письмо от Вениамина. <...> Хотел я написать ему и бабушке — да придется отложить до завтра. Устал, поздно, больше 11 ч., а я с $^1/_2$ 6-го на ногах и столько поступков совершил, что умаялся. <...>

Д. 7. Л. 172—177 об.

495

22 июня

<...> Я уже писал тебе, как тут устроился. Занятия в Архиве налаживаются. Много любопытного материала. Я, наверное, увезу отсюда кое-что новое и интересное. Заниматься очень спокойно и удобно, жить тоже. Сегодня мы с Мишей из города проехали на конке — сперва электрической, а потом паровой в Академию, выкупались и назад пошли пешком. По дороге нас застал сильный ливень, и я промок насквозь, да и Миша — тоже, хотя у него был зонтик.

По вечерам сидим, читаем что-нибудь. Миша кое-что делает дома, я никак не могу приняться за писание, тем более, что книги из Комиссии не прибыли, а мне бы их нужно было. Придется просить у Белокурова, да не знаю, даст ли он на дом.

Пока же я только рассказы Горького читал. Не все мне нравятся, но вчера я один очень хороший Юле вслух читал — а Юля и не слышала.

Вчера я был не в духе. Много спорил с Мишиной матерью. Странный она человек. Что-то жесткое в ней есть, хотя и хорошего много. Но спорить с ней я больше не буду — остается ощущение, точно лбом в стену стучал, да стена-то еще сердится при этом. Со мной она так же внимательна и заботлива, как с Мишей.

Вообще тут очень недурно. Богатая растительность, свежо пахнет сеном и цветами, птицы чирикают на разные голоса. А мне все думается, как бы нам хорошо было так в тиши и прохладе пожить одним. <...>

Завтра опять в Архив. А по субботам он закрыт! Досада! И Третьяковская галерея закрыта по случаю ремонта. Буду дома сидеть и заниматься. И к Палибиным ехать не хочется.

Д. 7. Л. 178 об.—179 об.

496

26 июня

Дорогой Юлек, как-то случилось, что я несколько дней не писал тебе — и мне скучно. Это не хорошо, п[отому] что мне вообще тут скучно — и на даче, и за книгами, и в Архиве за летописями, — и является шальная мысль: бросить все и уехать. <...> Стоит ли вся история того, чтобы я так долго не видел вас? А впереди еще ряд длинных-длинных недель. И не то чтобы занятия были не интересны, напротив — материалы хороши, дела много, да и живу я не один, удобно, уютно. Но где бы я ни был и чем бы ни занимался — мне, очевидно, нигде нет места, как возле тебя и деток. Я понимаю, что это малодушие — но не моя в том вина. Уехать я не уеду и работать буду, а этим все сказано.

Жизнь у нас идет, как часы: утром поездка в Архив, в 3 ч. к Филиппову — подкрепление чаем с пирожками или простоквашей (превосходной!) с булками, потом в Академию купаться, оттуда пешком домой — к обеду, а потом за книги в саду. Ложимся часов в 11, встаем в 8. Дни стоят жаркие, но у нас в саду сносно, а в Архиве совсем хорошо — прохладно. Времени для занятий мало: Архив открывается часов в 11, да чиновники опаздывают, так что для работы часа 3 $^1/_2$, не больше. Кроме нас с Мишей в Архиве занимаются еще: священник, какой-то немец, студент, иногда 2 девицы-переписчицы, проф[ессор] харьковский — Миклашевский, симпатичный господин, о котором я тебе, кажется, уже писал. Мы с ним иногда курить уходим и болтаем о разных делах. Мы давно знакомы через Платонова, и он мне когда-то свою диссертацию подарил (к стыду своему, я ее до сих пор не читал).

Дома уживаемся мы недурно, хотя Нат[алья] Мих[айлов]на тяжелая дама. Это на Мише отзывается сильно, я думаю, что в ней главная причина, что он такой слабый духом. Женитьба как бы то ни было — едва ли для него возможна: с ней молодой жене очень трудно было бы. По-своему она человек хороший, но резкий и деспотичный. Но со мной она очень деликатна и осторожна, а заботливость ее совсем милая. Миша в скверном настроении. Дня четыре тому назад он говорил мне, что хочет поговорить с матерью и перед отъездом за границу выяснить свою калужскую историю — помнишь его переписку через нас? А на другой день получено было письмо из Калуги с известием, что Марья Сергеевна — это и есть «она» — выходит замуж за некого Лопатина. Про него мне Миша прежде много хорошего рассказывал. <...>

Мишу жаль, но я почему-то думаю, что из этой истории все равно ничего путного не вышло бы, да и он хоть и задумывается иногда, но не особенно расстроен. Работа его налаживается, и уныние в этом направлении, кажется, совсем прошло. Вот работа [его] и интересная, и благодарная, и гораздо легче моей. Так что даже завидно. А я, если вылезу благополучно из летописей, — очень рад буду. Частности любопытны, но я по-прежнему не представляю себе, какое из этого моего пестрого материала может выйти обобщение. Ну, даст Бог — образуется.

У нас по субботам Архив закрыт. Понапрасну 2 дня пропадают. В четверг праздник. <...>

Книги я получил через Архив и теперь могу приняться за писание — надо кое-что готовое привезти из Москвы, да это и не трудно. Впрочем, пока я ни строчки не написал. <...>

Д. 7. Л. 180—182 об.

497

1 июля

<...> Надеюсь, что на будущий год удастся нам летом не расставаться. Я от души желаю, чтобы Мих[алина] Мих[айловна] решилась продать Домброво, чтобы ты не считала своей обязанностью туда ездить. Мы могли бы где-нибудь дачку нанять и первый раз в жизни

прожить лето для себя, а не для других. И про детей ты мало хорошего пишешь. Нервность Гутика — дело грустное, это по наследству: я в детстве такой же был и лет до 8—9 говорил по ночам, вскакивал, бегал, не просыпаясь. Правда, что при этом во мне глист был. Нет ли у Гутика? Если и нет, то все-таки я и вообще в детстве чрезвычайно нервный был — оттого и он такой.

<...> И, быть может, правда, большая вина моя в том, что я не совсем оторвал тебя от всего остального, не всегда с тобой, а подчиняюсь условиям и обстоятельствам, которые нас подолгу разлучают. <...> И мне так всюду чуждо вне дома. Люди как-то странно живут, и не живешь с ними, а только смотришь — и жутко становится, как ни у кого почти нет того, чем по-нашему только и можно жить, для чего только и стоит жить: любви нет. Жизнь людская не этим полна — а, Бог знает, чем таким, от чего мне только душно делается. Тяжело и пусто на душе. <...>

Напишу тебе о Палибиных. Я поехал к ним в четверг, в 3 ч. — приехал в $7^1/_2$. С вокзала пришел пешком — и никого не нашел дома. Одна Мушка меня встретила, сразу узнала и много препотешно болтала: рассказывая всякие их детские новости. <...> Но вообще у них нехорошо. Коля вечно в суетах, раздражительный, резкий, совсем развинченный. Надя — молодцом, хотя с Колей и она не умеет обходиться и всегда его дразнит. Ям[поль]ские, как всегда — милые люди, скучные только множеством привычек, которыми дорожат чересчур, и немного эгоистичные. Я провел в Екатериновке 2 дня — пятницу и субботу, а сегодня, в воскресенье, — уехал в 12 ч. И в 4 был в Москве. Провели мы это время в разговорах, за крокетом, за шахматами etc. <...>

Мама пишет, что в Харькове очень жарко, ей это очень тяжело, а дачи найти не может. Время упустили — теперь все разобрано. Уехать к Палибиным она не хочет: папу жаль ей одного оставить, да тут с Колей ей мало радости будет. Приедет она на 22-е и 23-е, на свои именины и на наш праздник. Я ей писал, что так как не могу в этот день быть с тобой, то приехал бы в Екатериновку, если она там будет, ибо ведь это мой главный, лучший праздник. Она-то понимает, что это так и есть, и очень тебя за это любит. Мне это Дина говорила — что мама очень радуется, что я с тобой такое хорошее счастье нашел. О, Господи, если бы мы могли вместе и одни быть! Если бы я не продался за академические деньги — давно бы уехал. <...>

<...> А смешной ты, Юлек, с письмом Машкевич. Ты ведь прочла это письмо? А самого нужного мне не пишешь, т. е. своего мнения — отвечать или нет? Девчонка, очень юная — спрашивает совета о том, поступать ли ей на курсы или идти в сельские учительницы — объясняет, чего ждет от того и от другого — все очень наивно и потешно. Мне как-то совестно не ответить — потому что она дело спрашивает. Можно очень деловое и официальное письмо написать, это само собой разумеется — но, с другой стороны, и неохота писать. <...>

Д. 7. Л. 183—188 об.

498

5 июля

<...> Занятия мои пока дают мало результатов. Времени от Архива остается очень мало. Уехав в город с утра, мы возвращаемся к обеду к половине шестого, и после обеда — совсем уже вечер: что-нибудь почитаешь, напишешь несколько строк, смотришь — чай вечерний, а там скоро и ночь. После 11-ти ложиться я не в состоянии, хотя встаю только к 9-ти. Поэтому обработать что-либо пока не удается. Да и работа моя такая, что много книг надо иметь зараз под руками — и сколько я их ни привез, все-таки многого нужного для справки не оказывается под рукою.

Вчера я получил письмо от Полонского, очень грустное, хотя дела его корочанские, по-видимому, устроятся. Грустно ему было, что я, уехав, так и не писал ему, да и вообще мой приезд не поддержал его, а привел к выводу, которым он кончает письмо: «Слабый ты человек, Саня, довольно беспомощный и, может быть, потому и милый». Действительно, я при встрече с какими бы то ни было житейскими фактами вне привычных своих — беспомощен и потому бесполезен <...>.

В Архиве дела еще пропасть. А теперь я вижу, что мне в самом деле надо бы съездить в Лавру именно этим летом. Когда выберу время, не знаю; да еще и в Синодальную биб[лиотеку] нужно. Ну, туда я буду ходить по субботам, когда Архив закрыт; по вечерам пробую, хоть понемногу, обрабатывать собранный материал, но пока это почти не удается. Зовут обедать. До свидания, моя голубка. Пиши при каждой возможности. Поцелуй деток. Поклон всем.

Д. 7. Л. 189—190 об.

499

8 июля

Милый, дорогой Юлек, сегодня суббота, Архив закрыт, и мы сидим дома — хотел я было поехать в Синодальную библиотеку, но сегодня Казанская Б[ожья] М[атерь] — церковный праздник.

Эти дни прошли так серенько, что и рассказать нечего. Моя работа в Архиве все затягивается. Боюсь, что не придется вовсе съездить в Лавру и в Новый Иерусалим, а надо бы. Дело хлопотливое, много выписок надо делать, а Архив так мало времени открыт. Я уже тебе жаловался на это.

Кроме занятий — нас теперь интересует ход китайских дел.[394] Читаешь ли ты, что там творится? Я часто вспоминаю про Марью Ал[ексеевну]. Вчера Хабаровск объявлен на военном положении. Старший брат Мар[ьи] Ал[ексеевны] — Петр Постников, наверное, в деле — а положение наших войск очень опасное. Да я думаю, что и казак Федор Постников, служивший на Алтае прежде, туда поехал, так как изо всех войск, которые на Востоке, не отправляются, предложили ехать желающим.

Собственно говоря, поделом Европе — довела она китайцев до исступления, заставляя терпеть свои распоряжения и порядки, п[отому] что ей это выгодно для торговли. А все-таки жутко, что люди гибнут в мучениях в руках озверевших азиатов.Чем все это и скоро ли кончится — Бог знает!

Я очень часто вспоминаю Гутика, встречая тут детишек его возраста. Среди них он был бы лучше и занятнее всех. Правда ли, что Бэнусь уже знает твой голос? Когда я приеду, он, пожалуй, уже сидеть будет. Как время идет, и как долго я не вижу вас, мои дорогие. Ведь еще целый месяц мне тут сидеть.

Боюсь, что моя поездка не будет так производительна, как хотелось бы. Делаю, что могу, но пока все только материалы сырые, а справиться с ними, отделать их я как-то не умею.

Миша кроме занятий в Архиве написал еще статью о Леонардо да Винчи и посылает ее в журнал «Учитель».[395] Интересно будет прочесть, как он справился с такой трудной темой. Он не особенно в духе — по личным делам. Да и то сказать, что за жизнь без своей личной семьи! Все остальное вздор перед этим, не так ли? <...>

Л. 191 — 192 об.

500

11 июля

<...> Постараюсь выехать 5—6-го, хотя и то придется бросить начатые занятия, недоделав ничего значительного. Ужасно много времени надо при такой работе, чтобы доработаться до чего-нибудь определенного!

Сегодня один странствовал в Архив. Миша не утерпел и ускакал вчера вечером в Калугу на Ольгин день, по случаю чьих-то именин. Там он наверное встретится с Мар[ьей] Серг[еевной] — как бы не надурил чего-либо. Ведь он держать себя совсем не умеет. Обещал выехать обратно сегодня вечером и утром явиться в Архив. Посмотрим...

На днях мы втроем, т. е. Миша с матерью и я, совершили большую прогулку. Это было в субботу, в день Казанской Божьей Матери. Поехали на конке до Академии, а оттуда пошли версты за три в монастырь — женский. Дорога шла красивым большим лесом... Монастырь — новый, ему лет 20, не более, расположен очень эффектно. Зашли в церковь, погуляли в саду. Не люблю я этих заведений... Может быть, где-ниб[удь] и когда-ниб[удь] были монастыри действительно религиозные. А теперь обыкновенно — это сброд праздного бабья, которое не прочь пококетничать, если молодо, или сорвать копейку, если старо. Так и тут монашенки себя держат. Назад мы вернулись таким же путем к вечернему чаю.

Это исключительный случай некоторого разнообразия, а то у нас дни тянутся один за другим, ничем друг от друга не отличаясь. Я все больше втягиваюсь в работу, пробую строчить и комбинировать. Что-нибудь из этого должно выйти. Понемногу, с помощью Белокурова, раздобыл нужный материал, хотя и не весь. Сегодня ходил разыскивать, до Архива, — Археологическое общество, чтобы купить одно издание. Пришлось зайти за Москву-реку, откуда весь Кремль видно и храм Спасителя, и Румянцевский дворец. Я люблю Москву — есть в ней что-то спокойное и широкое. И живут тут не так, как в Питере. Еще мало многоэтажных домов, город раскинут свободнее, широкие дворы, много домов с садиками, так что нужно в калитку войти, чтобы попасть на подъезд. Меньше чувствуется городской суеты и толкотни. Мне иногда кажется, что тут бы нам с тобой еще лучше жилось, чем там, — тише и уютнее. <...>

Я совсем притих и ни до кого мне дела нет. Заставил себя написать Полонскому и Ел[ене] Вл[адимиров]не, да письма вышли неуклюжие и нервные. В Москве я никого не разыскивал — ни Голицына, ни Струве, которому обещал повидаться с ним... Для этого нужно специально ехать в Москву, а гораздо приятнее сидеть на даче со своими книгами, если уж нельзя уехать в Домброво.

Надо бы еще как-ниб[удь] в воскресенье съездить в Москву, чтобы посмотреть «Голгофу» Яна Сытки, которая теперь здесь. Говорят, что она имеет большой успех. И любопытно, что, несмотря на сравнительно большую (50 к.) плату, ходит много простого народа — посмотреть, как это было. Для них огромную важность имеет религиозный сюжет, и, хотя изображение сюжета у Сытки совсем не похоже на привычное нашему народу изображение его на иконах и религиозных картинках, он ценит и по-своему понимает панораму.

А вот про картину Ге «Христос перед Пилатом» мужичок сказал Григорию Спиридоновичу, что это «зря и непохоже нарисовано». Такие люди часто судят проще и вернее, чем мы.

Но я боюсь, что мы так и не соберемся на «Голгофу», все откладываем. Как-то ничего не хочется — только бы сидеть за своим делом, а там поскорее уехать.

Дни у нас стоят свежие, совсем осенние. Почти каждый день перепадает дождик, но, в общем, погода ясная. Вот где тебе было бы хорошо! Если бы на этой даче вместо Полиевктовых жили мы с тобой, мне и работалось бы лучше, бодрее. <...>

Д. 7. Л. 193—196 об.

501

13 июля

<...> Теперь я спокойно занимаюсь. Дома пишу большую статью для академического журнала. Напечатаю ее осенью.[396] В Архиве дело тоже идет, хотя довольно медленно — такая уж работа. В субботу, когда Архив закрыт, позаймусь в Синодальной библиотеке; мне там нужно сделать кое-какие выписки для статьи. У нас все идет своим чередом, так что нечего прибавить к тому, что я уже писал. В последнем письме я упоминал, что Миша на Ольгин день уезжал в Калугу. Поездкой своей он очень доволен, ибо «прочухался». Видел свою Марью Серг[еевну] с женихом и помирился с этим. Вероятно, хорошо, что его затеи расстроились — ничего в этом серьезного не было. <...> Что до меня касается, то я писал тебе, что постараюсь уехать 5—6 августа, хотя вижу теперь, что даже в одном Архиве не успею пересмотреть всего, что надо. Надеюсь, что не попадется чего-либо столь важного, что придется задержаться здесь. Это совсем мало вероятно.

В будущую пятницу, 21-го, как писал тебе, поеду на 2 дня к Палибиным, где и бабушка будет. <...>

Д. 7. Л. 197—198 об.

502

23 июля*

<...> У Палибиных ничего нового, так что и рассказать о них нечего. Гуляли, играли в шахматы и т. д. Мы с Колей ходили купаться: у них хорошее купание в пруду. <...> Надя и Коля очень были недовольны, что мы решили уехать сегодня, в день их и нашей свадьбы. Но ехать ночью и с вокзала отправляться на занятия было бы слишком утомительно — и мне, и Ив[ану] Пл[атонови]чу. У меня и так мало времени остается. Я решил выехать 6-го, отправив 5-го книги товаром в Петербург на имя Шеффера. Это время буду заниматься в Синодальной библиотеке. И то мало поработал. По совести говоря, следовало бы весь август пробыть в Москве, да очень уж скучно и домой к тебе хочется. Мне тут очень удобно, но, признаться, не очень-то приятно живется. Мать Полиевктова — особа очень тяжелого нрава, и я вздохну свободно, когда избавлюсь от ее общества. Думаю, что наши чувства взаимны, — и подозреваю, что она ревнует меня к Мише, т. е. боится некоторого моего влияния на него. Она очень внимательна, заботлива, но часто раздражительна, и вообще я больше не хотел бы жить с нею.

Спасибо, что много про деток написала — относительно Бэнуся жаль, что посоветоваться не с кем. <...> Такую штуку, как золотуха, запускать не следует, а Клюковский мог бы тебе дать совет и указать пропорцию соли, даже не видав Бэнуся. Надеюсь, что это ты сама сообразила и устроила, а если еще нет — то съезди в Ислауж, не откладывая в долгий ящик. Я уверен, что Вяжлинский настаивал бы на немедленных соляных ваннах. <...>

Д. 7. Л. 203 об.—204 об.

503

27 июля

<...> Теперь уже сравнительно скоро увидимся. Слава Богу, а то так очень уж скучно. Но и уезжать отсюда мне несколько совестно: в Синодальной библиотеке, где я теперь занимаюсь, так много существенного материала! Ну, да Бог с ним, авось не убежит.

У нас после совсем холодного лета вдруг настали тропические жары. Солнце жжет, точно на Кавказе, и сияет каким-то бледным, беловатым и ярким блеском, точно на юге. В тени 29 гр[адусов]. Хорошо еще, что в библиотеке всегда прохладно, так что заниматься там приятно. И вода теплая, так что купанье мало освежает. Только вечером хорошо. Жара быстро спадает, и хоть вечера теплые, но воздух мягкий и приятный. Жара принесла нам ту пользу, что Нат[алья]

---

* Опущено письмо от 18 июля (Д. 7. Л. 200—202 об.).

Мих[айлов]на раскисла немного и, вероятно, поэтому не горячится без толку, как прежде.

До тебя, верно, еще не дошла весть, которая меня очень поразила. На днях прочли мы в газетах, что при осаде китайской крепости Хун-гуна убит батарейный командир Постников, старший брат Марьи Алексеевны. Я хотел было писать ей, но не умею я в таких случаях находить слова. Все они кажутся такими пошлыми и пустыми перед огромным фактом.

А у нас жизнь идет так однообразно и голова моя так набита всякими текстами из летописей, что я поглупел по крайней мере на 50 процентов. К тому же после жаркого дня чувствуешь себя раскисшим. <...>

Д. 7. Л. 205—206

1901

504

21 мая

<...> Я с вокзала поехал в гимназию, а бабушка с Нюшей — домой. Хорошо сделал, что поехал, потому что были только Григ[орий] Спирид[онович] и Ив[ан] Ив[анович]. Все-таки барышням обидно. Говорил я с ними, смотрел на них, и странное чувство явилось в виде вопроса: к чему все наши преподавательские старания? На что им, кроме одной, редко двух или трех, все это «образование», знакомство с разными «вопросами», на которое мы их тянем? Это почти все или просто все — светские барышни, которые, вступив в жизнь, бросят за борт все наши интересы, не будут жить ими, как мы живем. Да и может ли иначе быть?

Журнал, если ему отдаться, — то же преподавание, только на широкую ногу, более плодотворное, или, лучше сказать, с журналом легче обманывать себя, будто есть что-то плодотворное в твоем деле. Вот эта малая вера в то, что делаешь что-либо плодотворное, и [есть] главное зло мое, быть может, главная причина моей «усталости». Я уверен, что такое настроение может иметь даже физические последствия, ослабляя физические силы так же, как духовные.

Вернулся я домой часов в 12 и спал почти до 11. Без четверти 11 папа приехал разбудить меня. Утром я сбегал к Ивану Ивановичу и привел его к папе, чтобы поговорить о расчетах Ивана Ивановича с типографией, которая ему печатает третье издание его «Психологии» Джемса.[397] У нас там некоторые затруднения вышли, и папа дельно разъяснил, как из них выйти. Иван Иванович у нас позавтракал, причем папа рад был поболтать с ним. Теперь, после завтрака, Иван Иванович ушел, а я пишу тебе.

Сегодня я никуда не пойду, а буду сидеть дома и проверять свои летописи. Завтра поеду в Главное управление по делам печати и на курсы поговорить с Вел[иким] князем и напишу тебе, что изо всего этого выйдет. А пока больше писать нечего. Как-то беспокойно и тоскливо на душе. Тут и тишина нашей пустой квартиры, и все беспокойные дела пасмурного времени — все вместе!

Сегодня за завтраком мне показалось, что Бэнусь проснулся и плачет в спальне. Бабушка заметила это и очень смеялась.

Д. 8. Л. 1—2 об.

505

22 мая

<...> Сегодня я совсем замотался. Ездил к Шаховскому, начальнику Главного управления по делам печати, ждал его больше 2-х часов, пока дождался.[398] Старый плут был весьма любезен, уверял, что он-то сам ничего, а вот как Сипягин, учил меня, какую объяснительную записку подать, чтобы «смягчить неблагоприятное для журнала настроение», и т. д., и заявил, что надо поискать влиятельную протекцию для меня у Сипягина, лучше всего у Вел[икого] к[нязя] Константина Константиновича. Я прямо от него поехал на курсы, на акт, где был К[онстантин] К[онстантинович], и поймал его при отъезде: представь себе, что он велел мне написать ему письмо с изложением, чего я хочу, а он лично передаст Сипягину! Наши, т. е. «Жизнь», очень рады и возлагают на это ходатайство большие надежды. Завтра подаем с Ермолаевым заявление, что он совсем передает мне журнал, и объяснительную записку, какую желает получить Шаховской. А там, что Бог даст. Выходит, что мне только к 1 июня удастся попасть в Москву. Надеюсь, что это не испортит мне моих занятий. Сегодня вечером я иду на сборище участников «Жизни», будем составлять записку и вообще потолкуем. Собственно уже пора идти, но мне хочется поболтать с тобой. Мы сегодня с бабушкой думали послать тебе телеграмму, да усомнились, как бы вы не застряли в Варшаве на некоторое время. Вероятно, разве к вечеру попали в деревню, или как?

Оказывается, что бабушка, в сущности, очень рада истории с «Жизнью» и мечтает уже, по обыкновению, что это меня выдвинет как какого-то общественного деятеля и т. д.! Да и дедушка, по-видимому, доволен. Особенно отношение Великого князя их успокоило и порадовало. <...>

Д. 8. Л. 3—4

506

27 мая

<...> В настоящее время дело стоит так, что с официальной стороны всякие заявления, прошения и официальные записки поданы. В[еликому] князю я подал обстоятельное письмо, а от ген. Кеппена получил обещание написать мне о последствиях отношений В[еликого] князя с Сипягиным. Значит, ждать надо, нельзя еще ехать в Москву! На два-три дня я еще арестован.

Третьего дня, в пятницу, редакция «Жизни» прощалась с ред[акционным] издателем Ермолаевым. Было человек 15. Обедали, речи говорили, я что-то сказал, довольно неудачно. Потом поехали на острова, повертелись в «Аквариуме»...

Вчерашний и сегодняшний день — срок выезда из Петербурга наших высылаемых. Вчера вечером уехал в Саратов Ермолаев, сегодня Поссе едет в Куоккалу. Я поеду с ним, а из Куоккалы заеду в Териоки. Едет и Ив[ан] Ив[анович], но в Териоки, вероятно, не едет.[399]

Миша приехал в четверг. Несколько похудел, но веселый и бодрый. Уроки получает старые, есть и новые предложения, но пока он отказывается. Мы с ним вчера ездили в Таможню, получили его торвальдсеновского Христа, и даже беспошлинно. <...> Пошли на Неву и пили пиво на «поплавке».

Где я только не был за эти дни, кого не видел! Был и у Платонова, который отнесся к делу с «Жизнью» равнодушно, хотя и с некоторым недоумением. Он разъяснил мне, на что ему нужна моя магистерская степень: ее отсутствие несколько затруднило выбор меня в члены Археографической комиссии, а ему этот выбор представляется, как и Адрианову, необходимым для дела. Платонов даже считает, что я имел бы некоторое основание быть в претензии на него (?) за то, что не мог сразу устроить этот выбор. Это недурно.

Вообще визит к Платонову оставил во мне самое хорошее впечатление. Он такой ласковый, дружеский. Он всегда такой к весне, когда один остается... Говорил он и о своем положении в университете, которое считает «опереточным». С одной стороны, его называли одним из «палачей», сдававших студентов в солдаты. А с другой — факультет единогласно выбирает его в члены комиссии, которая вырабатывает проект университетской реформы, его хвалят за защиту некоторых студентов и т. д. Слава Богу, враждебное отношение к нему заметно слабеет, например, Гревс очень примирительно говорит о нем.

У Гревса я тоже побывал в пятницу, потому что он опять заходил ко мне и не застал, а написал письмо, где просил статей для «Большой Энциклопедии».[400] Я, конечно, отказался, но зато рассказал ему о «Жизни», и он обещал мне помочь в устройстве исторического отдела, обещал свою большую статью об Италии и памятниках ее искусства, обещал привлечь и других сотрудников. Если меня утвердят редактором, то дело без особого труда и без особого ущерба для моих собственных занятий могло бы идти. Но я далеко не уверен, что даже ходатайство К[онстантина] К[онстантинови]ча поможет.

Хотелось бы поскорее кончить все это дело, а то неопределенность утомительна. Да и ехать пора. И для работы, и потому что тут зря деньги уходят. <...>

Д. 8. Л. 5—7 об.

507

29 мая

Дорогой Юлек, увы, я еще в Петербурге и едва ли уеду раньше 3—4 июня! Дело с «Жизнью» все тянут и тянут. Хоть бы решили так или иначе. Сегодня вечером или завтра утром узнаю, когда Великий князь писал Сипягину, а может быть, и какой-нибудь ответ Сипягина. Тогда пойду в Главное управление просить скорейшего решения.

Не дали кончить письма! Пришли Джон и Миша.

Расскажу тебе по порядку, как прошли у меня те дни, после последнего моего письма к тебе. Я писал в субботу. В воскресенье мы с Джоном поехали провожать Поссе в Куоккалу, по финляндской ж. д., где он будет жить летом. Ехал с нами еще Колпинский, владелец типографии, где печатается «Жизнь», и в то же время один из ее пайщиков, а потом приехала О. Н. Попова, участница в издании «Жизни» и владетельница издательской фирмы и большой библиотеки (бывшей Черкесова на Невском).[401] До дачи ехали верст 5—6 на таратайке. Дачи в Куоккале на берегу моря, мы с Поссе и выкупались в море. Оттуда я думал проехать в Териоки, да загулялись и заболтались мы так, что только с 10-тичасовым вечерним поездом вернулись в Петербург. Так я у Ефремовых и не был. У Поссе мы говорили все о журнале, и я много нужного узнал, такого, что пригодится, если меня утвердят редактором. А утвердят ли — не знаю. Вчера я был у Кеппена, управляющего двором Кон[стантина] Кон[стантинови]ча, а вечером получил от него письмо с известием, что в понедельник В[еликий] князь писал Сипягину, но ответа еще не было. Сегодня пойду к Шаховскому, скажу ему это и буду просить выяснить дело, доложив министру. Доклад у Шаховского в пятницу, так что в субботу я, быть может, узнаю решение. Так что раньше воскресенья уехать нельзя будет, да и то не наверное. Совсем меня замотали. Хоть бы какой-нибудь конец.

Все эти дни прошли бестолково. Дело делать я не в состоянии. По вечерам шатаюсь. Вчера мы с Мишей и Джоном ездили на острова и закусывали в Славянке,[402] в том ресторанчике, где мы с тобой были. <...> Из дворца прислали 40 р. за половину мая. Придется мне их взять с собой, потому что я тут часть своих денег прожил. Если буду редактором, то это исправит денежные дела наши. <...>

Д. 8. Л. 8—9 об.

508

3 июня

Милый, дорогой мой Юлек, наконец-то я еду в Москву сегодня скорым. Ждать больше нечего, ибо в Главном управлении по делам печати мне сказали, что до конца июня ответа все равно не дадут. Весьма вероятно, что в конце июня мне придется побывать в Петербурге. Быть может, это нарушит наши планы насчет Варшавы, но пока ничего сказать нельзя. Спишемся об этом. В Москве меня ждут разные неудобства. <...> Сразу водвориться на даче Майковых мудрено, ибо Нат[алья] Мих[айловна] остановилась у своих в Москве, а Миша уедет куда-то под Москву, так что дней 5 пройдет, пока окажется возможным устроиться! Придется в гостинице остановиться, а это подорвет и без того подорванные мои финансы. Одна надежда, что если я в день приезда отыщу Костю Крахт, то он меня перетащит к себе. Ну, увидим. <...>

Пока пиши на имя Ямпольского в «Метрополь». А писать пиши, потому что я очень давно без известий от тебя, моя дорогая. Я рад уехать, потому что все это меня в конце концов окончательно утомило. От своего дела я отбился, так что придется снова втягиваться. То суетишься, а когда дома сидишь, то такая скука от пустоты и тишины квартиры нашей, что так и думаешь, куда бы сбежать. Вчера вечером я был у Шеффера, который поехал меня провожать на пароходе по Мойке, а потом решил, что нам надо зайти к Лейнеру,[403] и угощал меня настоящим пильзенским пивом.

Мама вчера уехала с Вениамином в Териоки, так что мы с ней распрощались. Папа не поехал, пользуясь тем, что я дома. Я уже уложился: беру с собой папин сундучок, свой чемодан и ремни, которые нашел в своем ночном столике. Много бы хотелось поболтать с тобой, моя голубка хорошая, но состояние мое слишком скверное: и устал, и противна вся эта чиновничья подлость, с которой пришлось возиться столько времени; от этого остался в душе осадок пренеприятный. Да и в Москве — суета, гостиница, неустройство на первое время ничего хорошего не обещают. <...>

Д. 8. Л. 10—11 об.

509

5 июня

По приезде в Москву я решил остановиться в гостинице, пока узнаю, куда деваться. Поехал в «Метрополь», но Ив[ана] Пл[атонови]ча там еще не было. Я переоделся, забежал в Румянцевский музей, а потом отправился к Майковым, где Полиевктовы остановились. Тут выяснилось, что хотя Полиевктовы только в пятницу переедут на дачу, но мне можно устроиться на даче немедленно. Мы с Мишей отправились в гостиницу, я расплатился, забрал вещи, поймал Ив[ана] Пл[атонови]ча, узнал его адрес: они устроились в нескольких шагах от нас в номерах Купецкого. Потом поехали мы на вокзал, взяли мой багаж и поехали в Разумовское. Водворился я тут на даче, чему очень рад, потому что в Москве стоит совсем тифлисская жара и духота. С дачи мы с Мишей немедленно отправились назад в город — в баню. Бани тут превосходные, гораздо лучше питерских. Из бани я опять зашел в «Метрополь», чтобы с Ив[аном] Пл[атоновичем] ехать к ним обедать. Они живут в номерах, где и обедают. Пока и я там обедать буду. Кормят весьма недурно. Дела Ямпольских стоят очень плохо. Инженер, которому Страховое общество поручило строить «Метрополь» и который обещал взять Ив[ана] Пл[атонови]ча, и не думает этого делать. Вообще путаница в делах «Метрополя» такая, что разобрать что-либо весьма трудно. <...>

И мои дела стоят неважно. Я порядочно истратил за две лишние недели, что прожил в Петербурге, заплатил за переплет книг 15 р., порядочно стоил багаж, да и первый день в Москве с гостиницей и разъездами — и в результате у меня теперь всего 50 р. и еще те 15, что мне Маня за платье должна. Придется взять июньские академические деньги, а папе июльские отдать. А то я до тебя не доеду. Сегодня начну заниматься в Румянцевском музее: вчера он был заперт, и я только напрасно заходил туда. <...>

Д. 8. Л. 12—14

510

6 июня

<...> То, что ты про Гутика пишешь, конечно, грустно. Но это я виноват. Это мой сын, такой же, как я. Ты и представить себе не можешь, какой я был капризный мальчишка, трус и обидчивый. Я постоянно плакал, раздражался, а Маня меня бранила и часто доводила до слез; это долго продолжалось, до 9—10 лет. Я и спал беспокойно, даже вскакивал и бегал по ночам. Помню, как мама со мной билась и ничего не могла поделать; я и дрался иногда, не по-детски, а со злостью, так что мама, которая вообще была против наказаний, даже руки мне связывала. И трусом я долго оставался: еще лет 10-ти я боялся влезть на трапецию, на которой сестры гимнастику делали, лет 12-ти боялся на лошадь сесть. Все это только в Тифлисе прошло. <...>

Что касается моей работы, то это дело мудреное. До 15-го я еле успею, что надо, сделать в Румянцевском музее. Потом надо еще в Синодальной биб[лиоте]ке заняться и немного в Архиве. Дней 10 на это, по крайней мере, нужно. А вдобавок, если утвердят меня редактором «Жизни», то могут около 20-го мая* меня вызвать в Петербург на несколько дней. Очень мне тебя жаль и обидно, что приходится томить тебя у Даль-Троццо, но приехать раньше, чтобы потом опять в Москву возвращаться, слишком дорого будет. И то, наверное, придется академические деньги за июнь взять, а папе предоставить июльские. Авось осенью обойдемся без них. Если бы я оказался редактором «Жизни», то денежные дела наши устроятся, но, по-моему, мало надежды. Я писал тебе, что кроме жизни в Петербурге, постоянных разъездов и т. п., приезд в Москву, остановка в гостинице и т. д. стоили так дорого, что я из 100 академических и 40 дворцовых сохранил в настоящую минуту всего 50 р.!

Обидно, что я так мало зарабатываю и так много трачу, что не могу и летом свою семью содержать сам. Авось потом устроимся так, чтобы жить на даче сами по себе. Вот хорошо бы было. Хоть тут в Петровском-Разумовском, когда опять понадобится пожить в Москве.

А то, что тебе у Даль-Троццо душно, это я понимаю. Уж очень пошлая их духовная жизнь. Есть ли у них что-нибудь святое, серьезное? То, что для нас важное, нужное, к чему мы с уважением относимся, — для них вздор, не стоящий «Дамы от Максима».[404] Мне как-то не верится, чтобы люди с такими жалкими и мелкими интересами могли быть счастливы; неужели в основе их удовольствий, ничего не стоящих, не лежит ощущение пустоты и скуки?

Я писал тебе, что тут я пока один и рад этому, потому что немного отдохнуть и успокоиться надо. Когда я Ивану Платоновичу рассказывал мои питерские дела, то он, как и я, кипятился и удивлялся, что я так спокойно говорю. А я откипятился достаточно и устал. <...>

Д. 8. Л. 15—17 об.

---

* Следует читать: июня.

511

8 июня

<...> Только с сегодняшнего дня начинается наша обычная дачная жизнь. <...> До сих пор я, вставши утром, отправлялся пить кофе к Ямпольским, потом мы с Ив[аном] Пл[атоновичем] ехали в Петербург;* после занятий я, забежав к Филиппову поесть простокваши, отправляюсь купаться в Академию, а оттуда опять к Ямпольским обедать и играть с Ив[аном] Пл[атоновичем] в шахматы. Эти дни я, конечно, почти ничего не делал дома. Ямп[ольские] мне рады. На душе у них неважно. Оказывается, что дела Домостроительного общества настолько плохи, что Ив[ан] Пл[атонович] некоторое время уже не получает денег, так что они еле-еле перебиваются. Существование того правления, где он служит, наверное, прекратится через месяц, — и тогда он на мели. Обещания устроить его осенью и на Виндавской дороге, и в Петербургском Страховом существуют, но ведь это только очень старые «обещания». Грустное положение.

Новостей у меня никаких нет. Из Петербурга пока ничего не получил, ни от мамы, ни от членов «Жизни». Да пока и не может быть новостей. Дело в неопределенном положении.

Занятия мои идут своим чередом, но, как всегда, слишком медленно. Хотелось бы поскорее покончить, чтобы уехать к тебе, но дело мое такое кропотливое! А нужно кое-что списать точно для издания в приложениях к «диссертации», если она когда-нибудь осуществится.

Жара у нас адская. А рукописное отделение Румянцевского музея во втором этаже и на солнечной стороне. Заниматься там совсем не то, что в Архиве, где сидишь точно в подвале. Даже купание не вполне уничтожает ощущения, что пропекся за целый день. Сегодня вечер свежий, слава Богу, хоть передохнуть можно. А все-таки я еще не отошел за эти дни от петербургской усталости, потому что устал больше, чем в прежние годы. <...>

Д. 8. Л. 18—19 об.

512

10 июня

Finita la commœdia, дорогой Юлек! Ты, может быть, уже знаешь из газет, что 8-го июня Ванновский, Муравьев, Сипягин и Победоносцев порешили «совсем прекратить издание журнала „Жизнь“». А Глебов еще 7-го писал мне, что уверен, что меня утвердят и что журнал будет выходить! Бедные мальчики! Они теряют нечто, действительно дорогое для них, дело, которое их возвышало над будничной жизнью, дело, которое они вели не для себя, а на общую пользу, в надобности и полезности которого они не могли сомневаться! А ведь иметь такое дело это очень и очень много. Мне грустно за «Жизнь», грустно за них, грустно и за всех нас, российских обывателей, которым говорить, и писать, и читать разрешается только то, что одобрено в полицейском участке. Счастливы те, для кого высшее духовное наслаждение в «Belle Helène»[405] и «Даме от Максима»: они могут спокойно удовлетворять свои вкусы, и никто им мешать не станет.

---

* Следует читать: Москву.

Ну, довольно пищать. Дело в том, что теперь я поеду прямо из Москвы в Варшаву, и ничто задержать меня не может. На твое счастье, и Синодальная библиотека закрыта до 15 июля, так что я в четверг покончу в Музее, потом позаймусь в Архиве и около 20-го уеду к тебе. <...>

Мы с Мишей тоже ездили сегодня в город — посмотреть Третьяковскую галерею. Не знаю, настроение ли такое было, но вообще галерея оставила очень хорошее впечатление, а по частям только 2 настоящих художника: Поленов и, представь себе, Верещагин, в туркестанских этюдах. Из других больше по душе мне Суриков («Боярыня Морозова» и «Меншиков в Березове»). Репин скучен, Крамской — тоже. У первого под хорошим письмом — пусто, ничего нет, и лучшее, что он написал, все-таки «Не ждали»; у второго ничего, кроме портретов, очень добросовестных и метких, но не крупно-талантливых. У остальных есть приметные вещи, но отдельные (Левитан, Дубовской etc.). А у вас что? Как ты себя чувствуешь? <...>

Д. 8. Л. 20—21 об.

513

13 июня

<...> Я приеду к тебе с деньгами, потому что зажилил 100 р., присланных мне из редакции «Жизни». В настоящую минуту у меня еще и своих 40 р., до отъезда истрачу из них немного, за житье здесь тоже немного заплатить придется, так что большая часть этих 100 р. приедет к тебе в Варшаву.

<...> Устал я порядочно, но здоров совершенно; сплю и ем отлично, и если утомляюсь, то по причине чрезмерной жары и духоты. На даче, конечно, хорошо, но в городе — отвратительно. В Музее тоже душно. По счастью, я завтра там кончаю и с пятницы переселяюсь в Архив М[инистерст]ва иностр[анных] дел, где и Миша занимается. <...>

Д. 8. Л. 22—24 об.

514

21 июля

Милый, дорогой мой Юлек, как это мы с тобой считали, будто мне до Москвы что-то больше двух суток ехать! Конечно, я уже в пятницу в 2 ч. 40 был в Москве. Ехал я очень удобно, в Вильне только успел перебраться в другой поезд, в Минске переехал на Московский вокзал с Виленского передаточным поездом (и то даром). Тут мне сказали, что курьерский поезд полон и что, пожалуй, плацкарт не будет. Но, по счастью, освободилось купе, в котором приехал принц Ольденбургский, и я за 5 к. занял его место, раскутился на постель и отлично спал; кофе пил и завтракал в вагоне-ресторане. Со мною в купе ехал молоденький (24-х лет) инженер, только что кончивший курс и назначенный в Красноводск на постройку порта на Каспийском море. В Минск он ездил, чтобы сделать предложение, и потому возвращался в самом радостном настроении, был очень разговорчив, и мы всю дорогу с утра до Москвы проболтали о разных делах, главным образом о петербургских студенческих смутах, в которых он принимал участие.

Со Смоленского вокзала я поехал прямо на дачу, наскоро переоделся и успел встретить Мишу на том поезде, на котором мы с ним купаться ездили, выкупался с наслаждением. После обеда пошел к Ямпольским. Дела Ив[ана] Пл[атоновича] окончательно плохи. Форстен и К° не желают его пустить в дела «Метрополя» и Страхового общества, потому что он слишком много, по их мнению, помогает судебному следователю распутать их дела. Форстен, как и другие, старается скрыть, что можно, из «неудобных» дел. Что касается Виндавской дороги, то Московское отделение открыто, но там сказали Ив[ану] Пл[атонови]чу, что он даже и не числился в кандидатах! Он написал письмо Островскому, но ответа не получил. Как видишь, дело совсем плохо. Месяца два Ямпольским есть чем жить, но потом что будет, неизвестно. Маня, вероятно, уедет к Наде, а Ив[ан] Пл[атонович] как-нибудь перебьется, чтобы искать занятий. Хорошо бы, если бы было возможно, пригласить его к нам, чтобы он мог в Петербурге искать занятий. Но как наши старики? Вечером я вернулся домой настолько усталый, что решил отложить письмо тебе на сегодняшнее утро, так как все равно письмо могло бы только сегодня пойти. <...>

Д. 8. Л. 27—28 об.

515

29 июля

<...> Не на радость приехал я в Москву. Несколько дней тому назад у Миши пошла кровь горлом и до сих пор, очень понемногу, но показывается в слюне. Доктор его успокоил, что это разрыв какого-нибудь сосудика в гортани — но мне сказал, что это — легочное кровоизлияние и что пока трудно сказать, в какой мере заболевание серьезно, но что во всяком случае это не пустяки. Мише велено сидеть дома, больше лежать, обходиться без твердой пищи; дают ему secale cornitum* и еще что-то. Полиевктовы оба друг перед другом стараются делать вид, что ничего, но это плохо им удается, и оба сильно встревожены, особенно под тем впечатлением, что отец Миши умер от кровоизлияния, которое началось совсем так же, как у Миши. Можешь себе представить, какое тут у нас настроение. Пока еще нет основания считать, что все это не может обойтись скоро и без дальнейших последствий. Но если осложнится и затянется? Во всяком случае может возникнуть вопрос о том, можно ли будет Мише в этом году так много говорить, как требуется от преподавателя, а, пожалуй, даже возникнет вопрос о том, можно ли ему вообще жить в Петербур-

---

* Спорынья (*лат.*).

ге. Дай Бог, чтобы подобные опасения оказались пустыми, а то это слишком тяжело будет для Миши и тех, кто его любит, как мы. Лечит Мишу пока какой-то докторенок, живущий в Разумовском, но на днях предполагается его свезти к проф[ессору] Фохту, который в Москве считается одним из лучших врачей. Мне Миша сказал о своих делах в субботу, и мы под предлогом, что мне надо для Мани конфет привезти, удрали в город, но знакомых докторов не нашли, а зашли только в аптеку Винницкого, где есть постоянное дежурство врачей, тут ему дали какое-то полоскание. В воскресенье он сказал, в чем дело, матери, и мы опять съездили в город, столь же неудачно. Из хороших врачей кто за границей, кто на даче. Тогда и позвали здешнего Шнейдера. Он, кажется, толковый. <...>

Занятия мои удачны. Приехать в Синод[альную] б[иблиоте]ку было необходимо, тут очень нужные материалы есть. <...>

Д. 8. Л. 30—33

516

25 июля

<...> Вчера я получил письмо от Лапшина. Они с Голованем останутся в деревне до 15 августа. Он пишет, что им там очень хорошо, что они отдыхают и поправляются, что только в деревне можно спокойно думать и заниматься. Он кончает большую статью о философии XIX века, которую писал для покойной «Жизни», а теперь напечатает где-нибудь в другом месте. Что-то стряпает и с диссертацией, но пишет, что она выйдет только весной. Надя пробыла 3 дня. Уехали вчера. А мы с Иваном Платоновичем ездили вчера обедать к Голицыну в Москву. Жаль, что ты его не знаешь. Он бы тебе, наверное, понравился, такой он добрый, приветливый и деликатный. Он передал мне по поручению тети Сони серебряное шитье с мундира моего прадеда! Большая достопримечательность, не правда ли?

<...> Ехать одному в Петербург мне совсем не хочется. Я вообще довольно гадкий: к работе никакого почти интереса нет, да и вообще как-то вяло живется. А, может быть, это от жары? Нет, не думаю. Жара меня не очень изводит. В Синодальной библиотеке я, кажется, успею все сделать, что надо. Но что потом из этого выйдет, не знаю. Я не верю в свою «диссертацию» и отношусь к ней скептически. А хуже всего, что меня это нисколько не беспокоит и что очень мало о ней думаю. Сегодня первый раз собираюсь немного позаняться дома, а пока — ничего не делал. <...>

Д. 8. Л. 34—35 об.

517

22 августа

Вот, дорогой мой Юлек, и улетел я от вас на тысячу верст. Странно как-то быть «дома» без тебя и деток; странно и скучно. <...>

Ехал я очень удобно; скорого поезда ждал в Вильне, но на вокзале, потому что зачитался Крашевским. Или я тебя не понял, или ты мне не сказала, что «Starościna bełzka»* — это и есть «Мария» Мальчевского,[406] что это не повесть, а историческое исследование страшного дела о похищении и убиении Gertrudy z Komorowskich Potock'ой,** наполовину наполненная документами, письмами и судебными протоколами. Дело грязное, гнусное, трагическое, вечный позор для семьи Потоцких, для епископов и ксендзов, стоявших за Потоцких; дело, разыгравшееся в эпоху разделов Польши и показывающее, какое гнилое нутро было у великого дерева Речи Посполитой, когда его корни стали рубить сильные враги и соседи. Крашевский, кажется, считается «патриотическим» польским писателем? А книгу он написал правдивую, страшную для польского сознания. Это трагедия не Марии, а самой Польши — la Pologne martyre,*** как ее Мицкевич называл.

Ну, в скором поезде я ехал удобно, потому что с плацкартой, хотя поезд был полон, и в нашем купе ехало четверо и в том числе дама. <...>

В день моего приезда явилась одна из моих педагогичек, кончивших курс в этом году. Она получила уроки истории в частной гимназии в Царском Селе и пришла совсем растерянная, потому что не знает, как приступить к делу. Я ей дал несколько советов, указал несколько книг и успокоил. <...>

Д. 8. Л. 36—39

518

25 августа

<...> А я не очень-то весел. Тоскливо как-то. Работа не клеится, состояние какое-то тревожное, беспокойное.

<...> Видел я Флексера на улице. Он только что вернулся из поездки на Афон и в Константинополь, был и в Москве; собирается опять в Москву читать какую-то публичную лекцию. <...> Папа на днях едет в Москву в командировку по делу об отчуждении каких-то земель. Свою работу по реформе железнодорожного управления он кончил, она теперь печатается.[407] Все это мало интересно, да и вообще ничего у нас интересного нет, потому что тебя со мной нет. Я и на тебя скуку наведу своею скукой. <...>

Д. 8. Л. 40—41 об.

519

27 августа

<...> Вчера обедал у нас Ив[ан] Пл[атонович], а после обеда пришел Миша. По-моему, он выглядит хорошо, гораздо лучше, чем в Разумовском, и кровь у него в горле больше не появлялась. Конечно, надо ему быть очень осторожным и лечиться, особенно, когда препо-

---

* «Бельская старина» (*польск.*).

** Гертруды Потоцкой, урожд. Комаровской (*польск.*).

*** Мученица Польша (*фр.*).

давание начнется. А он взялся еще читать лекции по истории искусства на Педагогических курсах по вечерам, раза два в неделю. Занятия у оболенок начнутся через неделю, потому Полиевктовы думают на несколько дней уехать на Иматру. <...> Серг[ей] Ал[ександрович] днем забегал ко мне, и мы с ним ездили к Платонову. С[ергей] А[лександрович] очень доволен летом, отдохнул и хорошо себя чувствует. Платонов тоже выглядит хорошо, много рассказывал про съезд историков в Ярославле, много иронизировал по поводу «реформ» Ванновского.[408] Над[ежды] Ник[олаевны] еще нет, но матушка С[ергея] Фед[оровича], очень больная, — тут. Верно, недолго она протянет. <...>

Сегодня утром мама спрашивала меня, поеду ли я 30-го в Териоки, я решил съездить. Оказывается, что Катя просит опять денег, потому что ей не с чем переехать, а за лето они с дачей уже стоили папе 900 р. Теперь папа посылает им еще, хотя они переедут сюда и будут недели три жить на папин счет. <...>

Сегодня мы с Мишей были у Елизаветы Николаевны, условились относительно расписания; оттуда отправились на курсы: я получить жалование и указать свои часы, а Миша поговорить о своих лекциях. <...>

Д. 8. Л. 44—45 об.

520

31 августа

<...> Во вторник вечером собрались мы к Форстену: были Адриановы, Евг[ения] Мих[айловна], Головань, Лапшин, Полиевктов и я. Г[еоргий] В[асильевич] веселый, бодрый. В квартире полный беспорядок, много новых вещей, фотографий. Сенсационная новость: говорят, что Мар[ия] Ал[ексеевна] выходит замуж за правителя канцелярии генерал-губернатора в Хабаровске. Перед тем она приезжает в Петербург; может быть, уже приехала, но, я думаю, она сперва побывает у своих в Варшаве. Другая новость: Евг[ения] Мих[айловна] едет учительницей истории и педагогики в I Тифлискую гимназию, чем Ел[ена] Вл[адимировна] очень недовольна. Вероятно, Ел[ена] Вл[адимировна] поэтому была очень не в духе, но она и вообще какая-то странная. Ну, Г[еоргий] В[асильевич] пел немного, посидели и разошлись. Под конец стало довольно скучно, и даже новые книги и картинки не помогли. Головань собирается ехать на год в Италию, потому что его уволили из того училища в Царском Селе, где он преподавал, за неподходящее к духу школы (а это школа, принадлежащая Синоду) направление.

В среду я пошел было к Шефферу и Глебову. Шеффер в Крыму, а Глебова тоже нет в Петербурге. О делах бывших участников «Жизни» ничего пока поэтому узнать не мог. Вернулся домой и сел заниматься, но в 4 ч. пришел Ив[ан] Пл[атонович], обедал у нас и ушел после 10 ч. Он мне надоел и утомил меня. Не умею я по нескольку часов подряд переливать из пустого в порожнее и больше от этого устаю, чем от каких угодно занятий. <...>

Мы в Териоках не гуляли, а все время топтались около дачи. Главным развлечением было сбивать с сосен разные застрявшие на них предметы: круг картонный, серсо, мячик, несколько палок. Мне все удалось сбить, но от этого упражнения сегодня руку немного ломит. <...>

Д. 8. Л. 46—47 об.

521

1 сентября

<...> Как пусто и скучно без тебя. Конечно, мне легче убить время занятиями, книгами, отчасти — но чем дальше, тем меньше — людьми, с которыми я близок. <...> Противная наша судьба, что мы никак не можем так устроиться, чтобы и детям было хорошо, и мы могли бы никогда не расставаться. С каждым годом все труднее нам подчиняться этому, а дальше и вовсе несносно будет; и теперь несносно, как же быть? В конце концов, это состояние тревоги и скуки даже заниматься мне мешает, энергии нет, не говоря уже о том, что нет увлечения. <...>

Послезавтра начинается учительский сезон: первые уроки в гимназии, во вторник экзамен на курсах, но лекции после 10-го. Когда с великими князьками начну заниматься, не знаю. Вчера мы с Ив[аном] Пл[атоновичем] отправились к Лаппо-Данилевскому и, как оказалось, приехали через $^1/_4$ часа после него: он с семьей только что вернулся из-за границы. Нам прислуга это сказала, мы и ушли, но он выскочил во двор и позвал нас назад. Так мы у него посидели, чай пили, а в 10 ч. ушли. Очень он милый господин и очень мило к нам относится. Они все лето прожили в деревне в Саксонии. Счастливые люди! Все лето прожили сами по себе без посторонних, хотя бы и родных, в уютном уголку! Конечно, он еще ничего не мог мне сказать о занятиях во дворце. <...>

Д. 8. Л. 48—49 об.

522

4 сентября

<...> Получил вицмундир, и он пришелся как по мерке. По-моему, очень хорошо вышло. Дверь в столовую заперли на ключ, и меня в кабинете никто не беспокоит. А шум и детская болтовня даже приятны, не мешают, а все-таки не такая мертвая тишина. В то же воскресенье приехала в Петербург и Маня. <...> Они наняли меблированную комнату на Николаевской № 6. Появилась Наташа. Она вчера у нас обедала и сидела весь вечер.<...>

Письмо твое (3-е) я получил только что, вернувшись с уроков. В гимназии у нас все по-старому, только 5-й класс будет для меня очень затруднителен: в нем оказалось 40 чел. По-моему, с классами, где больше 20—25 чел., никаких толковых занятий быть не может. На курсах неизвестно, когда лекции начнутся, вероятно, на следующей неделе. Приятно было мне узнать, что затея наших курсовых дам переделывать курсы на свой лад провалилась, и для Женского педагогического института, в который переделают «наши» курсы, назначат директора. Конечно, еще год, если не больше, пройдет до этого. Я, конечно, очень бы хотел, чтобы директором назначили Платонова, как, одно время говорили, хотел В[еликий] князь. Нынешний год пройдет по-старому. <...>

Вчера приезжала ко мне какая-то дама с дочкой просить, чтобы я с ее барышней занимался историей. Я отослал ее к Мише. Я уже упоминал о том, что у нас живут Ефремовы. Шурка почти не капризничает, вообще лучше стал, хотя мне он все-таки мало симпатичен. Зато Натка прелестная девчонка. Если бы ты видела, какая она стала хорошенькая. Кто очень выровнялся, так это Борис, и стал совсем сдержанным и симпатичным — почти уже юношей, а не мальчиком. Он много читает, очень любит музыку, хорошо разбирает, даже справляется с сонатами Бетховена. Когда мы ездили в Териоки, то он играл в 4 руки с Ив[аном] Ив[ановичем] valce-caprice Глинки. А Женя мне не очень-то нравится: в ней по-прежнему есть что-то вульгарное, перенятое от прислуги и немок. <...>

Общественное настроение в Петербурге довольно угрюмое, по-видимому. Кроме людей толстокожих, другие чувствуют над собой что-то обидное. Все эти аресты, высылки, запрещения — все это ощущается точно нашествие татарской орды, которая дурит над нами.[409] Встретившись, знакомые считают, кого нет, кого куда выслали. Нет почти никого, кто нашел бы в Петербурге всех своих знакомых. Точно подсчитывают последствия проигранной битвы с большими потерями. А то-то и обидно, что никакой битвы, борьбы нет и быть не может. Глупая жизнь наша российская, слабосильная, серенькая. Нам только в частной жизни и может быть хорошо — и то немногим счастливцам, как твой Саня. Ведь и этого личного счастья мало видишь кругом.

Бобик сидит и плачет. Катя уехала, а его не взяла. Я его понимаю, будь я собачкой, и я бы пищал, что моей Юли нет, но я не на четырех лапах бегаю, и писк мой остается в душе и в письмах. <...>

Д. 8. Л. 50—53 об.

523

8 сентября

<...> Странные вообще бывают люди. Вот Ямпольские много вчера рассказывали про Палибиных. Поразительно, что у Нади совсем плохо идут занятия с детьми и музыкой, и другими вещами — потому, что она раздражается, сердится, детям неприятны, скучны занятия, а ей дети надоедают, и она, очевидно, тяготится занятиями с ними. А как у них с Колей негладко — давно известно. И право, это не потому, что бы тут выбор мужей был неудачный. Я думаю, что за кого бы замуж ни вышли мои сестры, все равно то же самое было бы. Странный они народ. Как будто ничего, скорее хорошие, а для семьи не созданы, не подходят. Не понимаю я этого. Вот если бы все женщины были хоть немного похожи на мою Юлю — какое бы общество было, какая жизнь; тогда и общественной подлости не было [бы], люди бы другие были, гадостей бы не делали. Понимаешь ты это?

Это не фраза, а правда. Ведь людей сколько-нибудь твердыми кое в чем хорошем только счастье делает. <...>

Уроки в гимназии в полном ходу. На курсах во вторник, 11-го, совет, а потом начнутся лекции. О князьях ни слуху, ни духу. Сегодня думаю пойти в час на акт в школу Тенишева, чтобы посмотреть помещение и послушать Гревса, который будет речь говорить. <...>

А знаешь, Поссе уехал в Берлин, а оттуда его берлинская полиция выжила, очевидно, по каким-нибудь подлым инсинуациям здешней.[410] Говорят, он в Лондоне. Вот негодяи — и там человека, ничего противозаконного не делавшего никогда, в покое оставить не могут. <...>

Д. 8. Л. 55—58 об.

524

10 сентября

<...> 8 сентября был на акте в школе Тенишева. Здание этой школы удивительное. И удобно, и красиво. Среди здания большая зала амфитеатром, где предполагают читать публичные лекции. Акт был большой: отчеты, речь Гревса, пение артистов приглашенных, потом артисты Александринки читали, очень хорошо, «Женитьбу» Гоголя. Я ушел в половине 6-го, а С[ергей] Ал[ександрович] остался обедать и домой вернулся в час ночи. Вся компания преподавателей очень симпатична, куда серьезнее и значительнее нашей компании.

Вечером в тот же день я с Ямпольскими был у Оссовских: ну, тут музыка, разговоры, ничего особенного, кроме того, что Оссовский мне все больше нравится, а жена его все меньше. В воскресенье 9-го хотел позаняться, но целый день толокся народ, был Миша, пришел и долго сидел Штруп, приехал Вениамин, а потом за мной прислали Адриановы, у которых обедали Ямпольские, а к вечеру кроме меня пришли Катя, Вера Ник[олаевна], Ив[ан] Ив[анович] и Головань. Мы с С[ергеем] А[лександровичем] и Ив[аном] Пл[атоновичем] и там большую часть вечера в шахматы играли. Потом С[ергей] Ал[ександрович] много очень интересного рассказывал про речи и разговоры на тенишевском обеде. Ему очень понравились Страннолюбский и Струве (бывший инсп[ектор] инст[итута]). <...>

Д. 8. Л. 59—60

525

13 сентября

<...> Дни эти были шумные и суетливые. Во вторник был совет на курсах, конечно, сам по себе скучный, но мы совсем не слушали, что там творится, а болтали о своих университетских и преподавательских делах. После совета нас пятеро пошли к Лейнеру закусить и пива выпить. Много спорили и сплетничали. Впрочем, нового я ничего не узнал: положение наших курсов совершенно неопределенно. Лекции я начну во вторник 18-го. У меня будет 3 лекции, но в 2 дня: 1 во вторник и 2 в пятницу. Это, конечно, удобнее. На будущей неделе,

вероятно, начнутся и занятия с князьями: я получил письмо от Лаппо-Данилевского с просьбой прийти к нему, чтобы поговорить с ним и с преподавателем географии о занятиях с князьями. Кроме того, я программу должен ему представить — того, что пройдено в прошлом году: и, представь себе, несмотря на все усилия, не могу вспомнить! Не знаю, как составлю.

Вчера к вечеру народ собрался. Пришел Джон звать меня гулять, потому что погода очень хорошая, потом пришел Адрианов прочесть мне 2 главы из своей «Истории Министерства внутренних дел»,[411] потом Колпинский (из покойной «Жизни») предлагать мне, по секрету, участвовать в новом журнале, который он затевает. Это пока под секретом. Я даже никому из наших не сказал, ни Ив[ану] Ив[ановичу], ни Адрианову. Я не отказывался, но многого на себя не возьму, а чем могу, помогу. Если дело пойдет, то иметь журнал, где можно писать как свой человек, дело приятное во всех отношениях. Колпинского я познакомил с нашими, и он у нас чай пил. Потом долго сидели и разговаривали о разных делах. Колпинский много расспрашивал нас о разных женских гимназиях. Я решительное предпочтение отдаю гимназии Таганцевой, а С[ергей] Ал[ександрович] про гимназию Стоюниной такие истории рассказал, что Колпинский немедленно решил перевести сестру от Стоюниной к Таганцевой.

Когда все ушли, в 11 $^1/_2$ ч., С[ергей] А[лександрович] остался, чтобы прочесть мне свою «историю». Первая глава мне очень понравилась, а вторую я отказался слушать, ибо устал. Прочтет другой раз. <...>

Д. 8. Л. 62—63 об.

526

16 сентября

<...> Смешной твой Саня. Пишет точно жених влюбленный, пишет после стольких лет общей жизни нашей. А как же иначе? Разве дерево больше дорожит солнцем, которое его греет, в первые годы, чем потом? Нет, всегда жадно ловит свет и тепло. Как люди могут жить без этого, без света и тепла душевного. Кто это теряет, того душа сохнет и умирает. А я люблю жизнь, потому что люблю Юлю. Дорогой мой Юлечек, чувствуешь ли ты, что Санино сердце так бьется и говорит: Юля! Ю-ля! Я о тебе и не думал, а занимался своими летописями и вдруг вспомнил и захотелось сказать тебе много-много.

А больше писать нечего. Впрочем, два важных дела есть. Одно: у нас перемена министерства. Пришла Тоня просить, чтобы ее рекомендовали на какое-нибудь место. Мы с бабушкой решили, что надо ее взять к нам. <...> Нюша у нас будет, пока места не найдет, а Тоня сегодня вступила в исполнение обязанностей. Ефремовы сегодня уезжают. Вещи их уже уехали, лошади ждут, через полчаса они отправляются. <...>

Д. 8. Л. 64—65 об.

527

18 сентября

Дорогой мой Юлек, сегодня я скис и не пошел в гимназию («начинается!» скажут там): насморк, голова тяжелая, а впрочем, пустяки. На курсы на первую лекцию я пойду.

У нас есть новость. Дела Ямпольских решились, и к 1 окт[ября] Ив[ан] Пл[атонович] уезжает с Маней в Москву на 200 р. в месяц. Немного, конечно, но все-таки лучше, чем ничего. И у меня, по-видимому, изменение будет. Я был в субботу у Лаппо-Данилевского, и он желает, чтобы я взял третий урок у князей: а ведь это лишних 40 р. в месяц, да еще на курсах я рублей на 10 буду больше получать, чем в прошлом году. Это все-таки недурно. Впрочем, относительно урока у князей еще не решено. <...>

Заходил ко мне Голованы, и мы, по обыкновению, много спорили. Я усердно разносил его Мопассана и, кажется, огорчил его. Когда объясняешь, что Мопассан хоть и большой артист, ничего не стоит, потому что у него на душе пусто, что он не умеет ничего желать, ничем не увлекается, — невольно попадаешь в самого Голованя, который вбил себе в голову, что он нечто среднее между Мопассаном и Плошовским,[412] а, по-моему, Плошовский покрепче Мопассана, потому что он действительно любит Анельку, как я люблю Юльку, т. е. была в нем душа живая. Головань считает все мои рассуждения имеющими силу только для меня, а не вообще, и угадывает, в чем моя сила: в том, что я не могу быть «без догмата», потому что у меня есть «догмат» — моя Юля и еще есть и вторые члены символа веры: Гутик и Бэнусь, и мое убеждение, что без этого жить нельзя — конечно, удручающе действует на тех, у кого этого нет. Мы об этом не говорили, а только о Мопассане, Беклине, Гауптмане, Достоевском, Данте, но Головань давно уже чувствует, что тут основа другая и что вся моя философия основана на такой живой истине, что поколебать ее никак нельзя. Бедный Головастик, его мечты о поездке в Италию рассеиваются из-за причин денежных. <...>

Половина Петербурга, по обыкновению, переживает что-то вроде инфлюэнцы. Дни настали сырые и хмурые. А у вас все еще тепло и ясно? <...> Пиши. Твои письма хорошие, только в них слишком много карт. Если ты и в Петербурге вздумаешь играть, меня это огорчит. В картах есть что-то очень пошлое, армейское, буржуазное. Терпеть не могу этого времяпрепровождения. <...>

Д. 8. Л. 66—67 об.

528

19 сентября

<...> Вчера я начал лекции на курсах. Там встретился с Кульманом, который только что вернулся из Крыма. Он приезжал в Петербург в начале сезона, а потом, когда уроки уже начались, вдруг исчез к общему удивлению. Оказывается, что он ездил на три дня в Ялту по какому-то чужому «сердечному делу». Бывают истории! Вечером мы

с ним ездили к Лаппо-Данилевскому и окончательно столковались о том, как нынче заниматься с князьями, и решили, что мне надо не 2, а 3 урока. Конечно, это должно еще пойти на утверждение В[еликого] князя, но я не думаю, чтобы он стал что-нибудь изменять в расписании Лаппо-Данилевского. Это в денежном отношении приятно, а кроме денег, от этих занятий толку мало. Чем дальше, тем яснее, что старший безнадежен и ничего мы с ним не поделаем.

Только что Катя заезжала — они едут в оперу слушать «Тангейзера», и я, вероятно, сбегаю к Форстену на «школьное» собрание. Или нет, не пойду — скучно. Собой я вообще недоволен. Работаю мало, не клеится, уроки идут недурно, но за день я устаю и скисаю. Дрянь нынче народ стал. <...> Может быть, оттого, что я занимаюсь не тем, что было бы совсем по душе? А характера, энергии настоящей нет. Тьфу, заныл, глупо это.

В Петербурге пока мало интересного. О делах говорят с недоумением, не знают, чего ждать, и, по правде сказать, сами не знают, чего желать. Тусклость какая-то в людях. Это заразительно действует и усиливает мое состояние. Оттого мне так понравилось в школе Тенишева. Там чувствуется действительное увлечение. А у нас везде (гимназия, курсы) что-то тошное есть, шаблонное, не то, что в первые годы. Своим делом я, в общем, доволен, а говорю не про это, а про то, что нет кругом чувства, что мы общей жизнью живем и сообща что-то делаем. Каждый сам по себе и до других дела нет. <...>

Д. 8. Л. 68—69 об.

1902

529

5 июля

<...> Днем занимался в Комиссии, а вечером со скуки — как-то пусто стало, поехал к Шефферу. Он потащил меня гулять, и мы попали в Зоологический сад: покормили морских львов, послушали скверную музыку, а потом поужинали на поплавке у Летнего сада.[413] Шеффер на днях уезжает на 10 дней в Гапсаль[414] — передохнуть, а то он совсем умаялся.

Сегодня в Комиссии был Лихачев: его назначают на важный пост — вице-директора Публичной библиотеки. Я рад за него; у него большие ученые заслуги, а как-то он все оставался непристроенным. И для дела это хорошо будет: он не чиновник, а настоящий ученый.

Теперь начну заниматься вплотную. Сегодня я сообщил Лихачеву некоторые из своих наблюдений над летописями — ему они очень понравились. К сожалению, кажется, понадобилось бы съездить для полноты материала в Москву, но и времени, и денег для этого мало. <...>

Д. 8. Л. 71 об.–72

530

7 июля

<...> Наша погода было прояснилась, а сегодня вдруг снова стало свежо и дождь был. Папа собирался было съездить посмотреть свои владения в Поповке, да испугался погоды. Он очень занят проектом постройки — все время чертит и высчитывает. А я гадкий и скучный. Заниматься-то занимаюсь, но без свежести. Сегодня пробовал писать — ничего не вышло. Занялся снова сравнением летописей и выписками. Я свою работу, как вы, художники, говорите, — замучал, и выйдет она, если выйдет — бездарная. <...>

Вчера заходил ко мне вечером Ив[ан] Ив[анович] и потащил меня гулять в Таврический сад. А потом мы пошли к нему чай пить, и я домой пришел в половине двенадцатого. Он дал мне 3 первых листа своей диссертации, уже готовых. Не знаю, что дальше будет, а это пока совсем не интересно, хотя хорошо, просто и живо написано.<...>

Д. 8. Л. 73—74

531

10 июля

Дорогой Юлек! Голованъ приехал! Дело было так. Вчера, во вторник, Джон пришел за мной вечером, увлек меня в Павловск погулять. Мы побывали на ферме, поели варенцу, погуляли в парке. Пошли было музыку слушать, но в зале такая была давка и жара, да и Главач так отвратительно дирижировал шестой симфонией Чайковского, что нам его, после Никиша-то, слушать стало несносно, и мы ушли на террасу чай пить. Говорили о 6-й симфонии, я вспомнил, что она — любимая Голованя, и только о нем заговорили — поворачиваю голову, и, право, мне показалось, что я грежу и под впечатлением разговора о Головане принимаю за него господина, который летит почти бегом из парка в залу! Он нас не заметил, проскочил мимо. Я за ним, уронил палку, нашумел, но его поймал. Только третьего дня вернулся он домой и, конечно, не мог не прибежать на свою любимую симфонию. Худой, бледный, нервный, он выглядит хуже, чем перед отъездом. Жил за границей очень скудно, по отсутствию денежных знаков. Жил в полном одиночестве и хорошие впечатления испытывал только в музеях. Чем он наполнял остальное время, вне музеев, — не знаю, п[отому] что видели мы его мало; он музыку слушал, говоря, что совсем отощал от всей той гадости, которой угощают публику в римских и неаполитанских концертах. Только в антракте побеседовали и по окончании концерта до отхода поезда, и по дороге до Царского. <...>

Как видишь, я кучу без тебя. Днем работаю, сперва в Комиссии, потом дома, но вяло, выходит плохо. Я чувствую себя почему-то порядочно разбитым. Даже, чего со мной никогда не бывало, — последние ночи спать стал плохо, просыпаясь по нескольку раз и не засыпая подолгу. Поэтому и прогулка с Джоном — не потеря времени, потому что все-таки освежает, хотя ненадолго. Охотно все бы бросил — и уехал к тебе, и махнул на всякие «диссертации»! Все равно, при такой работе выйдет что-ниб[удь] мизерное.

А отдохнуть в Домброве, с тобой и детьми, куда как хорошо бы было. Что-то у вас? Как Бэнусечек, поправляется ли? С каждым днем какое-то беспокойство все больше закрадывается в душу.<...>

Получил письмо от Миши: очень огорчен падением башни в Венеции;[415] почти так, как если бы умер кто-ниб[удь] близкий; говорит, что лучше бы 10 архивов сквозь землю провалилось, чем эта башня! Просит очень тебе кланяться. <...>

Д. 8. Л. 75—77

532

15 июля

<...> Вечером или, вернее, ночью (в 12 ч.) в субботу мы с Ив[аном] Ив[ановичем] поехали в Сяломяги — к Гревсу и Лаппо-Данилевскому. Приехали на ст[анцию] Вайвара в 5 ч. и потому, добравшись до их дач на таратайке, нашли еще сонное царство. Поэтому пошли гулять по берегу моря, выкупались — и только после 7 ч. снова подошли к даче Гревса. В саду гулял гостящий у Гревса Ольденбург — мы с ним подождали, пока встал Гревс, потом послали за Лаппо-Данилевским. Напившись чаю, пошли гулять и совершили отличную прогулку верст в 15 — в одну сторону вверх по горам, а назад низом по берегу моря. Местность очень красивая, море настоящее — широко открытое, с непрерывным прибоем. Вот где бы Гутику море показать!

Погода была пасмурная. Это, конечно, портило красоту видов — недоставало освещения. Дождь несколько раз принимался мочить нас, но зонтики и плащи защитили отчасти, и прогулка была все-таки очень приятной. Только ноги промочили, и я должен был сидеть потом в туфлях Гревса. Конечно, много было всяких «ученых» разговоров и споров. Лаппо-Данилевский привлекает меня к большому ученому предприятию, затеваемому Академией. Гревс говорит, что ему «кажется» удалось устроить мой курс в гимназии Таганцевой.

Вечером — к 7-ми ч. отправились на станцию и к 1 ч. были ночью в Петербурге. По дороге туда мы совсем целую ночь не спали. На обратном пути почитали немного. Сегодня я до 12 ч. спал, а в 12 ч. меня мама разбудила, п[отому] что пришел ко мне Джон: мы сегодня едем к Голованю на именины. <...>

Д. 8. Л. 80 об.—81 об.

533

26 июля*

<...> Я завтра уезжаю. В Лавру поеду на риск, потому что слышал, что туда доступ для занятий затруднителен и бумага, взятая мною от Комиссии, за подписью гр. Шереметева, может не помочь. Поеду се-

---

* Опущены письма от 16 июля (Д. 8. Л. 84 об.—85) и 18 июля (Д. 8. Л. 86 об.—87).

годня в Царское к проф[ессору] Духовной академии Никольскому — может быть, он может мне помочь. Конечно, попав в Царское, зайду к ГоловаДню и Джона тоже увлекаю с собой.

Сегодня я закончил все, что можно сделать в Комиссии, и еще кое-какие справки навел в Пуб[личной] биб[лиоте]ке. Хотя я мало сделал начисто, но все еще надеюсь осенью довести дело до начала печатанья! Но теперь я об этом не говорю здесь, ибо Бог весть как все это сложится.

Я рад уехать хоть в Москву. Это все-таки для меня «по пути» в Домброво. А очень бы хотелось поскорее попасть к вам. Один я тут чувствую себя так же, как в Петровском-Разумовском у Полиевктовых, т. е. не дома. У нас с тобой, бедный мой Юлек, вообще давно своего «дома» в полном смысле этого хорошего слова нет — и долго не будет!

В Пуб[личной] биб[лиотеке] я, конечно, видел Вл[адимира] Вл[адимировича] Майкова. Милый Вовочка всегда так приветливо меня встречает, расспрашивает о детях, о тебе, просит очень кланяться «моей супруге». <...>

Я какой-то вялый, усталый, и это видно на письме; что-то бессвязное, точно мои летописи. <...>

Д. 8. Л. 92—93 об.

535

30 июля

<...> Из Лавры я только что приехал. А поехал туда только вчера утром, на другой день по приезде в Москву. Остановился там в Лаврской гостинице — приличный чистенький номер за 75 к. (я был с 1 часу пон[едельника] до 5-ти втор[ника], и взяли за одни сутки). Тотчас пошел в Духовную академию; начальства никакого в Лавре не оказалось, так что и разрешения спрашивать было не у кого. Библиотекарь принял меня очень любезно, хотя даже на дверях библиотеки было написано, что она заперта. Но толку вышло мало: та рукопись, которая мне всего важнее, не нашлась. Ее судьба с 1837 г., когда ее выслали в Арх[еографическую] комиссию, — так и неизвестна! Зато кое-что другое интересное я тут нашел и списал себе кое-какие тексты, которые пригодятся. Еще любопытны рукописи, которыми я занимался в библиотеке монастырской. Туда я пошел в пятом часу; меня направили в келью библиотекаря, о. Ипполита, который многих приезжавших заниматься прогонял! Я к нему пришел с письмом от проф[ессора] Никольского; не знаю, это ли письмо помогло или просто я попал в веселую минуту, — но меня о. Ипполит принял весело и радушно, предложил чаю, послал спросить благословения на занятия о. казначея — и полез со мной в библиотеку, которая помещается у них под куполом одной из церквей. Но рукописи оттуда мы понесли в приемные комнаты, где я мог заниматься, сколько хочу. Я и кончил, что надо было в Лавре сделать, — от 5 до 8 веч[ера].

Утром сегодня я опять пошел в Академию — библиотекарь нашел для меня еще 2 летописца, которые я описал себе (один из них надо будет в Петербург выписать) и с 2-х часов был свободен. Сделал еще визит старому отставному историку церкви проф[ессору] Голубинскому и, пообедав, поехал в Москву. Полиевктовых дома нет — московский Майков сегодня именинник.

Да: о. Ипполит так расчувствовался, что подарил мне описание рукописей Лавры — дорогое издание (5 р.) и на прощание расцеловался со мной. <...>

Занятия у меня не пойдут хорошо. Я впопыхах, никогда, кажется, еще так не торопился. <...> Но надо и Синод[альную] биб[лиотеку] кончить. Надеюсь, что 2—3 дней хватит.<...>

Д. 8. Л. 94—95 об.

536

2 сентября

Дорогой Юлек, доехал я благополучно, из вагона не вывалился, головы себе не разбивал. Ехать было, конечно, вполне удобно, хотя нас и оказалось четверо в купе (поезд был вообще битком набит). Со мной ехали какой-то жидок, гвардейский полковник, немец-юрист, отправлявшийся на съезд криминалистов в Петербурге; в Вильне купе, из которого меня высадили, заняли какие-то «молодые», судя по массе цветов, с которыми их провожали. В соседнем купе ехала еврейская семья, в том числе маленькая еврейка, которая заговорила с нашим полковником, спрашивая его, не знает ли он, кто я такой; она ученица гим[назии] Оболенской, переходит в V кл[асс], и ей показалось, что я их учитель, только она наверное не знала, а предполагала, что я учитель французского языка. Полковник ответил, что я не француз, а кто такой, он не знает.

Дома я никого не застал. Наши с пятницы на Пороховых. На столе у меня несколько писем — от Лаппо-Данилевского с приглашением к нему на 31-е авг[уста], от Гревса с сообщением, что меня приглашают в VIII кл[асс] гим[назии] Таганцевой, и с вторичным предложением уроков в школе Тенишева, от Острогорского о том же, от Елиз[аветы] Ник[олаевны] с сообщением, что сегодня у меня уроки от 9 $^1/_2$ до 2-х ч. А только что принесли еще 2 письма — от Л[аппо]-Д[анилевского] о том, что мои уроки у вел[иких] князей начнутся 5 сент[ября], в четверг, и что он хочет перед тем со мной повидаться, — и от Ел[изаветы] Ник[олаевны], что сегодня вечером назначено заседание Педагогического совета! На первый урок я во всяком случае опоздал — да и что за уроки после ночи в вагоне? Пойду сейчас к Гревсу, потом в гим[назию] Оболенской, вечером на совет, завтра — к Лаппо-Данилевскому. <...> Я еще не опомнился от перехода из домбровской тиши в петербургскую сутолоку, осадившую меня сразу рядом писем. <...>

В гимназию я не попал. Зашел к Гревсу, познакомился с Таганцевой: дело решено, я у них преподаю (2 ч.). От Таганцевой вернулся домой позавтракать, и как раз наши вернулись с Пороховых. Бабушка привезла девочек Палибиных и водворила их на Пороховых. Пока они очень веселы, по словам мамы, и чувствуют себя хорошо. Я маму спрашивал, помня, что это тебя занимает, какие слухи о ребенке Императрицы: тут все уверены, что был мальчик! Говорят даже, что это уже второй выкидыш и что первый раз тоже был мальчик. Мама уверяет, что бывает так, что не донашиваются специально дети то того то другого пола. <...>

Д. 8. Л. 96—98 об.

537

4 сентября

Дорогой мой Юлек, вчера я не успел тебе написать: после уроков пришлось идти внушать Острогорскому, чтобы он оставил меня в покое, потом к Макамбриной отказаться от предлагаемых уроков, потом ловить Форстена, чтобы узнать адрес Крусмана, которого я рекомендовал Макамбриной. Зашел к Адриановым — Ел[ена] Вл[адимировна] выглядит сносно, С[ергей] А[лександрович] какой-то вялый. Она просила передать тебе, чтобы ты о ней не сокрушалась — д[окто]р Экк ее успокоил! Надолго ли? <...>

У князей занятия начинаются 5-го, т. е. завтра. Они будут заниматься врозь, и поэтому у меня еще лишний урок прибавился. В итоге — 26 часов, это очень много, но зато и получать я буду 341 р. в месяц. Значит, без денег не будем. <...>

Сегодня я после уроков побывал у Таганцевой и на курсах, чтобы уладить расписание. Вышло оно довольно удобно.

Эта беготня меня совсем одурила, сразу перескочить в эту суету было очень резким переходом. А завтра надо еще начинать пренеприятные уроки во дворце. <...>

Пока мне даже не скучно, потому что я ничего не чувствую, а все верчусь и бегаю, а домой попадаю усталый и отупелый. Конечно, о каких-ниб[удь] «занятиях» пока и не вспоминал. Сегодня после обеда придут Кульман, потом Адрианов, с которым нам надо ехать к Шефферу по делам академическим. <...>

Вот, моя голубка, в какую твой Саня суету попал. Просто и думать ни о чем не думаю, а все бегаю и разговариваю. А еще не видал ни Платонова, ни Шахматова, не был в Академии.

<...> Я тут еще чувствую себя приезжим, еще полон чувством, что тут близко, около меня моя Юля и наши детки. Только иногда ясно представишь себе, что долго, долго не увижу я вас. Но такие мысли я гоню от себя — и так невесело, когда вспомнишь о залежавшейся «диссертации» и о злополучных летописях, ожидающих издания. Где я возьму на это времени, да и сил? Ну, да даст Бог, как-нибудь устроимся.

Настроение в Петербурге какое-то безнадежное. В университете ждут новой «обструкции», профессора не верят, что придется в этом году серьезно вести занятия. Все, кажется, махнули рукой на министерство Зенгера, которое пока успело только несколько больших глупостей сделать относительно гимназий. Ника-милуша[416] ездит по России и болтает что-то непонятное и бессвязное, а Зенгер даже в отставку уже подавал, потому что Плеве подал Государю проект обратить университеты в привилегированные учебные заведения для молодых барбосов из дворянских фамилий. Словом, хаос невообразимый, и никто не понимает, что изо всего этого выйти может. <...>

Сегодня в Комиссии я нашел рукопись, которой напрасно искал в Москве, в Лавре! Собственно, из-за нее я решил и ехать-то! А теперь она лежит у меня на столе! Бывают же курьезы. В Комиссии она Бог знает куда заложена была с 1837 г. и под совсем другими номерами, так что я ее случайно узнал. Если бы она мне сразу попалась, я, вероятно, и в Москву бы не поехал.

Попробую начать заниматься, как только пройдут первые дни суеты и беготни. <...>

Д. 8. Л. 99—102 об.

538

6/7 сентября

<...> Вчера помешали продолжить беседу с тобой, милая Юля. А потом пришло письмо от Лаппо-Данилевского, заставившее меня к нему поехать, чтобы окончательно выяснить дело с князьями. В прошлом году у меня было 3 урока, теперь оказывается — 6, и уложить их в расписании оказалось не так легко. Когда я у него первый раз был, мы с ним оба забыли о 2-х уроках, говорили о 4-х только, и потому считал я, что у меня всех будет 26. Оказывается теперь — 28. Если во дворце будут платить по-старому, то выйдет, что я с одного дворца буду получать 240 р. в месяц! В таком случае еще более досадно, что я так много набрал занятий, а теперь, когда уже начались, — отказаться от чего-либо трудно. Но третьего дня у меня был Кульман и рассказывал мне странные вещи. Будто В[еликий] к[нязь] К[онстантин] К[онстантинович] находит, что обучение детей обходится слишком дорого, и хочет изменить систему вознаграждения, чтобы было дешевле. Будто бы он даже сказал Лаппо-Данилевскому, что хочет третьего сына отдать в корпус «по причинам экономическим». Лаппо-Данилевский, который говорил с Кульманом и даже поручил ему предупредить другого преподавателя — Фохта, мне ни слова не сказал, а я спросить не мог, потому что когда видел его наедине, то ничего об этом не знал, а когда узнал, то видел его только при чужих людях.

Занятия мои у князей начнутся только послезавтра, в понедельник. Что будет из этих занятий — увидим. Л[аппо]-Д[анилевский] говорит, что В[еликий] к[нязь] совсем изменил мнение, по-видимому, жалеет, что затеял слишком сложное обучение детей, и хочет, чтобы их учили так же, как в корпусе. Вообще, по-видимому, нами, и кажется, особенно мною недовольны, но Л[аппо]-Д[анилевский] не соглашается, чтобы я отказался, требует, чтобы я еще год попробовал. Эх, если бы не проклятые деньги, я был бы счастлив избавиться от такого глупого положения! Во всяком случае, сколько бы князь ни платил, надо и остальных уроков держаться на случай возможного разрыва с дворцом.

На курсах тоже неладно, хотя и не у меня. О реформе курсов и думать нечего, потому что денег не дают, а не дают не только по скупости, но и потому, что, говорят, в Мариинском ведомстве боятся как бы повышение образования педагогичек не лишило всякой возможности конкурировать с ними институток!

А как, Юлек, сложатся наши педагогические дела? <...> Полька нам необходима, пусть будет из Варшавы, хотя я, по правде сказать, предпочел бы литвинку, хорошо говорящую по-польски, а главное, не очень набожную, ибо существо в духе m-me Копаньской было бы вредно и нестерпимо для детей, при всех других достоинствах. С[ергей] А[лександрович] учился летом по-польски и совсем увлечен польским языком, его красотой и выразительностью, читает Мицкевича. И я люблю этот язык и, право, не только потому, что это твой язык, язык моей Юли. <...>

Уроки идут своим чередом. Пока идут недурно, кажется. Но ведь пока я начал только в гимназии. Только к концу будущей недели машина пойдет на всех парах. В среду начну у Таганцевой. Вероятно, на первую лекцию придет и Гревс, и Таганцева — я напишу тебе, как выйдет. <...>

Д. 8. Л. 103—106

539

8 сентября

<...> Сегодня мы с Адриановым были у Шахматова, у него и завтракали, засиделись до 3-х ч. Толковали всего больше о разных российских политических делах, которые, по-видимому, ныне складываются хуже, чем когда-либо. Чем больше слышишь об этих делах, тем тошнее делается. Этот год опять будет тяжелый, бестолковый, обидный, вероятно, даже хуже прежних. Хорошо, что мы живем в стороне от большой русской жизни, хорошо, что дома, в своем углу, хорошо, а то не выдержать было бы.

Те же разговоры о том, что делается в разных министерствах и разных уголках земли русской, занимали нас и вчера у Штрупа, куда мы собрались с Ив[аном] Ив[ановичем]. <...> Сегодня вечером пойду к Платонову. Я его еще не видал, а потолковать интересно. Шахматов, конечно, мил, как всегда.

Да, ведь я еще был сегодня на акте в школе Тенишева — зашел туда ненадолго, чтобы взять отчет, где напечатаны записки Лаппо-Данилевского и Гревса о преподавании истории. <...>

Д. 8. Л. 108—109 об.

540

10 сентября

<...> Начал у князей — первый урок вышел недурно. С ними летом занимались, они поэтому кое-что помнят. Другие уроки, как всегда. Только теперь я все больше отучаюсь требовать что-нибудь, все меньше верю, что стоит учить «годам» и «фактам», и пользуюсь историей, чтобы говорить в классе о чем-нибудь психологическом, что только удобно связать с историей.

Много я за это время народу перевидал, и как-то все хорошо, весело, ласково встречают. Меня кругом довольно любят — а разве не потому, что я несу в себе Юлину любовь, которая делает меня лучше, чем я сам по себе. <...>

Д. 8. Л. 111—111 об.

541

11 сентября

<...> Что касается бонны, я говорил с бабушкой, она тоже находит, что лучше взять бонну, а не брать прачки; так как бабушка думает, что если будет бонна, то, может быть, Леося будет стирать. Что бонна будет полька, я, конечно, уже говорил и объяснял, почему я этого хочу; на это бабушка никакого мнения не высказала, а только сказала, что, конечно, немку брать было бы рано, ибо довольно двух языков. <...>

У наших теперь больное место палибинские дела. Коля никак с матерью не столкуется. Дело идет о передаче ему в собственность главного имения Ждамерова за 25 тысяч, которые надо выручить, заложив это же самое имение. Но оба друг другу не верят, путают, меняют решения, а Коля при том хочет из этой же комбинации выручить и денег для расплаты с долгами. <...>

А кроме того, идут уроки; вчера было заседание совета на курсах, где мы с Кульманом во главе подняли вопрос о том, чтобы нам дали часы кроме лекций на практические занятия. Вопрос этот будет поднят официально, но я сильно сомневаюсь, чтобы из этого что-либо вышло. Меня это мало касается, потому что я без того устроил себе час особый для занятий; разница будет в том, что если этот час назначат официально, то будут за него платить.

Кульман рассказывал мне, что на обеде в школе Тенишева, после акта, Адрианов сказал речь об «идеализме и действительности», речь такую талантливую, что о ней говорят. Ему рассказывали об этом несколько человек, бывших на обеде, между прочим, Гревс, который в восторге от речи. С[ергей] А[лександрович] действительно очень талантливый человек, и если он попадет в университет доцентом, после экзамена, то я ему предсказываю блестящий успех. Правда, что он что-то в этом роде говорит про меня — сулит мои университетские курсы студентам, которые жалуются ему, что нынешние профессора мало их удовлетворяют! К сожалению, я более прав, чем он. Между мной и университетом лежит моя диссертация, с которой не знаю, что будет. Пока удалось очень мало поработать. Да и способности мои не идут в сравнение с талантом Адрианова, горячим и красочным. <...>

Д. 8. Л. 112—115

542

13 сентября

<...> Вчера вечером я пошел к Форстену, а он меня взял с собой к Лапшину. <...> Г[еоргий] В[асильевич] пел и один, и дуэты с Сус[анной] Ден[исовной], и они потом играли Вагнера и Шопена. Жаль, что тебя не было. Этой зимой в Петербурге пойдет еще новая опера Ваг-

нера «Götterdämmerung» — «Гибель богов».[417] Г[еоргий] В[асильевич] обещает достать ложу и идти с нами. Он очень рад, что ты любишь Вагнера, и говорит, что будет тебе петь Вагнера.

Мне было приятно послушать хоть немного музыки, но жаль, что без Юли. В этот вечер Г[еоргий] В[асильевич] ни с того ни с сего вдруг говорит: «А помнишь, как я тебе на Малой Итальянской романсы Франца показывал?». Так и он помнит этот вечер, которого я никогда не забуду! Я тебе, наверное, когда-нибудь говорил об этом. Я пришел к нему после обеда, а он сидел один за роялем и пел. Меня он оставил сидеть в углу, и много пел, и как пел! Я такого пения больше не слышал, такая была тут сила выражения, столько чувства, ничем не стесненного. Так он, вероятно, поет только один. Мне было дорого, что я ему не помешал, не спугнул его настроения. А он потом сказал мне, почему он так пел: это были все любимые вещи, которые пела его Валя. И он помнит этот вечер. Если он меня любит, то, верно, с этого вечера, за то, что мог при мне петь так. Я не думал, что он это помнит. <...>

Я сегодня все пять уроков дал в гимназии. Это хуже, чем в разных местах, — все-таки смена мест, переезд освежает. Поэтому чувствую себя немного помятым. Завтра праздник, и я с удовольствием думаю, что у меня пропадает целых семь уроков! Вот какие у меня субботы будут! В том числе 2 часа у Таганцевой: благодаря завтрашнему празднику я начну там курс только в будущую субботу, 21 сентября. <...>

Д. 8. Л. 116—118

543

15 сентября

<...> Вчера была первая суббота. Собралось порядочно народу. Дам было две: Елиз[авета] Ник[олаевна] и Лиля. Человека 4 учеников Георгия Вас[ильеви]ча, 2 офицера Форстены, а из «наших» — Голованъ, Лапшин, Миша и я. Адриановы уехали в Гатчину. Весь вечер прошел в спорах с немчиками — Вульфиусом и др[угими] о разных делах. Музыки не было, но разошлись все-таки в половине 1-го.<...>

Погода серая, мокрая. И на душе у меня серо. Ничего живого, свежего написать тебе не могу. И новостей никаких нет. Впрочем, тебя занимает инцидент с Императрицей. Так вот Ив[ан] Ив[анович] уверяет, что во дворце решили в прошлом году попробовать над ней силу гипнотизма. Выписали будто бы из Франции известного врача, занимающегося гипнозом — Ив[ан] Ив[анович] фамилию мне называл, но я забыл,[418] это редактор журнала «Année Philosophique»,* и он ей внушил, чтобы она родила наследника. <...>

Д. 8. Л. 119—120

---

* «Философский ежегодник» (*фр.*).

544

17 сентября

<...> Только я опустил письмо к тебе, вернулся домой, как принесли твое милое письмо. Я сейчас сел отвечать, но звонок — и пришел Полонский. Я совсем не ожидал его увидеть в Петербурге, и можешь себе представить, как был ему рад. <...> Он приехал в Петербург, чтобы покончить дело о переходе в Москву, дело это почти решенное, даже совсем решенное. В Курск уже послали представление о назначении на его место другого, а в Москве, по просьбе Истомина, начальника канцелярии генерал-губернатора московского, Полонского согласны взять, да и не могут не взять, ибо Истомин сила большая (хотя и скверная); в министерстве Полонского считают одним из лучших податных инспекторов и, конечно, утвердят.

Итак, Аля расстается с Корочей. <...> В Москве дела будет гораздо меньше, служба легче, но скучнее. А такая работа, какую он нес в Короче, в конце концов была ему не по силам. <...>

Д. 8. Л. 121 об.—124 об.

545

19 сентября

<...> Утром рано дал 2 урока князькам, потом вернулся домой, позавтракал, пошел в гимназию, там 2 урока дал, а затем опять на 2 урока во дворец. Это потому дважды во дворец, что по субботам, когда собственно должны быть мои уроки, князьки пока уезжают в Павловск, где еще живет семья. Третьего князенка Константина отдают совсем в Корпус. Это, конечно, гораздо лучше и симпатичнее. По крайней мере, с людьми расти будет. Но я писал тебе, что К[онстантин] К[онстантинович] уверяет, что решился на это по причинам экономическим. И ген[ерал] Кеппен говорил Кульману, что в самом деле князья находятся в затруднении и опасаются, что, когда умрет старуха Александра Иосифовна, — они могут попасть в долги. А их семья одна только из великокняжеских семей свободна от долгов!

Как нам платить будут — я еще не знаю. Было бы недурно, если бы по-старому! Ведь тогда я получал бы больше 400 р. Было бы из-за чего работать!

Дела пока идут недурно. На курсах начал вчера. Григорий Спиридонович уверяет, будто ему курсистки наши говорили, что ценят только двух преподавателей — Кульмана и меня. У меня теперь состав курса хороший — живо слушает, работает, не весь конечно, но есть дельный кружок. Попробую с ними практические занятия — до сих [пор] у меня ничего не выходило, но на это я теперь назначил особый час. <...>

Д. 8. Л. 125 об.—126 об.

546

22 сентября

<...> Вчера начал у Таганцевой. Она сама сидела на обеих лекциях. Слушала очень серьезно, но не знаю, как у меня вышло. Я читал неспокойно, быстро, наговорил очень много сложных вещей, вероятно, трудно было сидеть и слушать.

А вечером вчера мы были у Манизер с Мишей и случайно попали на рождение Гени и именины Моти. Мы об этом не помнили и даже не поздравили, а только потом увидали, в чем дело. Оба гимназистика веселы, но Ген[рих] Матв[еевич] огорчен, что у Гени все время уходит на латынь, которая — т. е. грамматика — дается ему с трудом, а перевод берет много времени из-за словаря. Но пока у него все 4 и 5, и только по латыни 3—2. Это при его упорном трудолюбии пройдет. Но в школу он пока не ходит: некогда! Вот, что грустно. <...>

Сегодня пойду в университет на диспут, завтра — заседание неофилологического общества, и читает Веселовский, значит, мы [с] С[ергеем] А[лександровичем] будем.

В четверг <...> был я у Гревса. Его выбрали в университете в профессора, но не единодушно. Введенский что-то нелепое возражал, и Соболевский, по выражению Георгия Васильевича, «визжал как поросенок».[419] Это все противно, но хорошо, что выбрали, авось утвердят. Он сам не знает, останется ли притом в Политехникуме и бросит уроки у Таганцевой. Разговор занятный был об Адрианове. M-me Гревс, оказывается, большая его поклонница и даже нападает на Ив[ана] Мих[айловича], что тот его мало ценит, хотя Ив[ан] Мих[айлович] защищается. M-me Гревс говорит, что С[ергей] А[лександрович] даже к «гениальности» приближается! А Ив[ан] Мих[айлович], по-видимому, побаивается его неровностей. Все заняты мыслью, что выйдет из этого человека, и желают видеть его в университете на кафедре. <...>

Д. 8. Л. 127—129 об.

547

23 сентября

<...> Гутиком надо будет заняться, чтобы вылечить его порывы, его грубости, это очень грустно. <...> Я боюсь, что строгостью, хотя она и нужна, много от него не добьешься; надо бы добиться того, чтобы на него действовало огорчение; что он нас огорчает. Помню, что для меня самым сильным наказанием было, когда мама не приходила поцеловать меня вечером, когда я спать ложился, — и это производило действительно сильное впечатление, а всякие другие наказания хотя и заставляли сдерживаться и быть осторожнее, а потому тоже имели значение — но производили впечатления чего-то внешнего и вызывали в моей голове мысль, что мы теперь квиты: и я сделал неприятность, и мне тоже, стало быть, все правы. <...>

Днем вчера мы с Ив[аном] Ив[ановичем] были в университете на диспуте московского профессора философии права Новгородцева,[420] оттуда сбежали в 3 часа и отправились с ним с визитом к Оссовским, но Ал[ександра] Вяч[еславовича] не застали, а посидели минутку у них. <...>

Сегодня дал 6 уроков, но после них поспал перед обедом и потому отдохнул. Вечером идем с С[ергеем] А[лександровичем] слушать Веселовского. <...>

Д. 8. Л. 130—131 об.

1903

548

6 мая

<...> Странно у нас дома: такая мертвая тишина; ее еще как-то странно увеличивает тихий, глухой Степин кот, который медленно ходит по комнатам. Он все ищет себе места. Вчера мне принесли книги из университета, и я оставил на столе бумагу толстую, в виде пакета. Кот сейчас туда залез и вчера долго там сидел. Жаль, что я забыл сказать Тоне, чтобы она не трогала этой бумаги: коту понравился домик, а сегодня убрали.

Вчера я заходил после репетиции у оболенок к Таганцевой, чтобы выставить отметки VIII классу. Отметок не выставил, а получил деньги, все остальные: 85 р. отложил тебе. Таганцева рассчитывает на меня и в будущем году.

Вечером мы с С[ергеем] А[лександровичем] ходили к Дружинину, где был Пирлинг, — и засиделись до 12 часов. Сегодня я встал в половине 11-го! Зато выспался — еще на этом свете. <...>

Так на будущий год я остаюсь у Таганцевой — интересно знать, как отнесется к моему курсу Платонов, ведь его дочка переходит в VIII класс. Авось скажет что-ниб[удь], хотя они оба, и он, и Над[ежда] Ник[олаевна], предпочитают критиковать за глаза, чем в глаза. А для меня отзыв со стороны, от людей, чуждых нашим форстенятским интересам, был бы очень интересен. <...>

Д. 8. Л. 132—133 об.

549

8 мая

<...> Пришел Штруп. Даже бабушка заметила, что он усталый и нервный. Он мечтает о чем-то, о деле каком-либо большом и нужном, об издании каких-то книг, где новые мысли, широкие обобщения, нужные в наше время обществу, были бы подготовлены, намечены, пока придет гениальный человек, который их даст в полноте и силе. У нас многие, как жиды, ждут нового Мессию. И Адрианов верит также и даже уверяет, что ждать недолго. Штруп уверяет, что мы могли бы работать для этого будущего — мне вспомнились речи Сатина о том, что все живут для «лучшего человека», который придет.[421] И Адрианов — усталый, нервный, раздражительный. Ну, публика! Мечтает и злится.

И я был бы в таком же состоянии, если бы у меня не было тебя, тебя, мой Юлек, и деток наших.

Умер Ал[ександр] Ник[олаевич] Страннолюбский, сразу, скоропостижно! Грустно, хороший был старик, сохранивший свежесть хорошего времени, бодрость 60-х годов наших. Кроме венка от курсов мы, человек 8, еще отдельный венок заказали «от друзей», потому что, правда, любили его, он моложе нас был духом, верой, горячностью.

Последний раз, что я виделся с Таганцевой, у нас маленький разговор вышел, из которого видно, что я был прав, когда считал, что курс мой не совсем подошел к их гимназии, по двум причинам: 1) потому, что он трудный, а у них восьмиклассницы так завалены работой у Гревса, Вебера, Адрианова, что для меня работать не могли, как работают оболенки, а без самостоятельной работы он не дается, как следует, и 2) потому, что самый дух курса, интересы мои совсем чужды всему тому, что ученицы слыхали и слышат от других. У них все «общественность», «политика», а тут психология, религия, трагедия с ее личными, а не общественными идеалами. Их это с толку сбивает, как еще больше, чем мой, курс Адрианова. Таганцева этого всего не понимает, но видит, что курс мой как-то клином вошел в их обучение, но, все-таки, желает сохранить его. Адрианов это все лучше меня понимает и потому считает, что он, а б[ыть] м[ожет], и я нужны там, ибо даем ученицам что-то новое, нужное, чтобы они подумали над кое-чем таким, о чем они в гимназии не слыхали. В будущем, если я и дальше останусь в гимназии Таганцевой, надо будет заменить античную культуру чем-нибудь посвежее, например Шекспиром, о котором мне давно хочется почитать лекции. <...>

Д. 8. Л. 134 об.—136 об.

550

11 мая

<...> Закутил твой Саня: вчера были на совете у Оболенской, потом подносили Елене Гр[игорьевне] серебро столовое. Г[еоргий] В[асильевич] сказал ей очень сердечную речь, потом Миша говорил. Оттуда поехали к Таганцевой, тоже на совет, кончили только в 12 ч., а все-таки пошли с Гревсом во главе ужинать в ресторан Максимова на Садовой. <...>

У нас великие дела. Сегодня идем с Кульманом к Платонову на совещание о делах курсов. Ему предстоит все перестраивать заново, приглашать новых преподавателей и т[ому] под[обное]. Очень любопытно, какую физиономию примут курсы в руках Платонова.

Вчера без меня приходил какой-то г. Ден звать меня на 2 недели в Рязань читать лекции за 360 р. Жаль отказываться, все-таки рублей 150 осталось бы, или больше, ведь дорога недорого бы стоила; да брать-то ввиду наших планов, пожалуй, не стоит.

В пятницу хоронили Страннолюбского. Я пошел на выход, в церковь, на кладбище. На могиле говорили речи Гуревич, Бороздин и еще двое, потом учительница и одна курсистка. Народу не очень много собралось, но как контр-адмирала его провожал с музыкой взвод солдат, при опускании в могилу дали три залпа. Он умер 6-го, в тот день, когда Государь подписал преобразование курсов![422]

Таганцева и Гревс пристают, чтобы я 15-го у них в гимназии что-нибудь сказал о Петре Великом. Кажется, не удастся отвертеться, хотя мне это очень неприятно. <...>

Д. 8. Л.137—138 об.

551

12 мая

<...> Вчера Джон и Миша увлекли меня в музей Александра III. Миша показывал его VIII классу, но не с ними ходил, а один, высматривая, что для меня интереснее. А есть там много интересного. Осенью надо будет нам с тобой туда сходить. Все это мы видели, но давно, а тут есть среди многого неинтересного настоящая хорошая живопись. Из стариков XVIII века и первой половины XIX-го такие хорошие есть, что ими полюбоваться приятно. Серьезное, честное искусство! Да и из новых кое-кто, но мало.

Вечером был у Платонова. Боюсь, что он трусит. А ему надо ой-ой как твердо держаться! Дело предстоит большое, надо организовать, лучше сказать, заново создать курсы, при них еще и целую гимназию, найти людей подходящих, всем этим руководить так, чтобы машина работала дружно и в одном духе. На будущий год только первый курс будет идти по-новому, и только за лекции на первом курсе будут платить больше, а мы остаемся по-старому: на I курсе лекции по русской истории будет читать Платонов. Были у него Кульман, Рождественский и Петров. Мы наметили программу I курса на будущий год, которую Платонов и предложит совету. Дамы курсовые очень волнуются: как будто они, правда, рады, что на курсах предстоит оживление, но и побаиваются этой, пока неизвестной новизны. Все может конечно и хорошо устроиться, если у Платонова хватит сил и если наше подлое и мелкое ведомство не будет пакостей устраивать.

Вечером пойду в университет: Гревс назначил заседание Ист[орического] общ[ества]. Ону будет читать что-то по французской революции. <...>

Д. 8. Л. 139—140 об.

552

16 мая

<...> Эти дни вышли суетливые. Я писал тебе в понедельник; на другой день был экзамен, на котором у меня был Платонов. Вечером была конференция, оставившая очень печальное впечатление. Был В[еликий] к[нязь], был и Платонов. Все ждали чего-то, но князь ничего о будущем не сказал, а Платонова поразил тем, что явно уклоняется от разговора с ним. Быть может, что это какая-ниб[удь] случайность, но боюсь, что вышло недоразумение, которое может испортить все дело. Протасов-Бахметьев хочет, чтобы Платонов был директором и полным хозяином, и даже сказал: «Желаю Вам скушать m-elle

Папкову, а мы Вам соус приготовим», и Платонов, вовсе не желая кушать Папкову, находит, что для дела единство начальства нужно. Это он передал Кеппену. А у Кеппена и К[онстанти]на план сохранить значение женского начальства, и мы даже подозреваем, что у них есть своя кандидатка в начальницы — поважнее Папковой! Боюсь, что теперь они дуются на Платонова, подозревая, что он перешел на сторону Протасова: у них ведь люди подлые, и они всюду готовы понять мелко, по-интригански, поведение честных людей. <...>

В 2 часа мне пришлось идти в гимназию Таганцевой читать — на этот раз совсем без приготовления — о Петре Великом. Говорят, недурно вышло.

После обеда я отправился к Шефферу, потом к Гревсу. Ив[ан] Мих[айлович] и особенно Мар[ия] Серг[еевна] очень тебе кланяются. Мар[ия] Серг[еевна] вообще все приветливее делается. Прежде она мало на меня обращала внимания. Но с тех пор, как ты появилась, она и со мной взяла тон радушный.

Форстен на нас сердится за Гревса по-прежнему. Лапшина бранил, зачем мы ходили ужинать после совета у Таганцевой, а от Оболенской никогда ничего не затеваем. Миша отказался читать о Петре у Таганцевой, боясь обидеть Форстена. И мне, вероятно, достанется. <...>

Ну, до скорого свидания. Хорошо, что ты меня встретишь. Это будет 21-го в 2 ч. 40, если не ошибаюсь. Папа обещал билет. Значит, поеду в I классе.

Д. 8. Л. 141—143 об.

553

28 [августа]

Вот и день кончины нашего Бэнусечка![423] Какие страшные слова. Кроме сердечной боли при живом воспоминании о милом чудесном мальчугане — в этом есть еще что-то страшное, именно то, что никак себе не представишь, что это действительно так. <...>

Сегодня пойду туда, в Лавру, свезу цветов — а тебя нет со мной, моя дорогая. <...>

Получена телеграмма от Шмурло, что он приглашает Голованя работать вместе в Риме. Счастливые, как я был бы рад уехать куда-нибудь надолго, на тихую работу. Головань в Петербурге, но я его не видал. Сегодня возвращаются из Финляндии Форстен с Лапшиным. <...>

С вокзала поехал к Платонову: он назначил С[ергею] А[лександровичу] rendez-vous в 7 ч. Был еще Васильев — его Платонов приглашает на курсы читать среднюю историю. Потом пришли Васенко и юрьевский профессор Дьяконов. Засиделись до 12 ч., много было разговоров, и все один хуже другого. Рассказывали, как в Одессе организовывали стачку агенты тайной полиции — и, к сожалению, точно, из источников казенных, называя фамилии. Что-то бессмысленно низкое, подлое, злое в этой травле людей, чтобы подвести их под битье и выстрелы, есть. Рассказывали про мелкую, глупую, истинно карикатурную деятельность Зенгера и К°. С[ергей] Ф[едорович] прочел нам пару его резолюций: ты не можешь себе представить, до чего это безграмотно и нелепо. Будь крепкая реакция, суровый антипатичный порядок — все было бы лучше, чем эта мелкая, оскорбительно-ничтожная дрянь, которая теперь царит в деятельности правительства. Говорят со всех сторон: и назначение Витте на почетное место — есть падение его, что он просился даже в отставку, а причинами называют его заявление Государю, что наша внутренняя политика ведет Россию к гибели, а также доклад ездившего с Куропаткиным секретаря Государя Безобразова о положении дел в Маньчжурии и Корее. В[еликий] к[нязь] Александр Михайлович, быть может, тоже не без греха в свержении Витте. По всему, как разговаривают, — это похоже на правду и падение Витте есть: 1) победа Плеве; 2) победа мелко-полицейского режима над как-никак, а государственной политикой Витте.[424] Что хорошо, это дело нового Женского педагогического института — денег дали невероятно много. Сто тысяч на переустройство помещения, по 50—60 тысяч ежегодно.

Можно устроить что-ниб[удь] хорошее. Мне Платонов решительно предлагает практические занятия на курсах, т. е. на I курсе. Конечно, беру. <...>

Сегодня пойду в Округ, в Лавру. Вечером с С[ергеем] А[лександровичем] в баню. Мож[ет] быть, забегу к Форстену. Да: Петрову запретили всякие чтения и преподавание, вероятно, отнимут и церковь.[425] Он сам это рассказывал: они с Форстеном и Лапшиным вместе возвращались из Берлина. <...>

Д. 8. Л. 144—147 об.

554

29 [августа]

<...> Был в Лавре. Я свез туда 4 горшочка цветов — но, представь себе, нашел перед памятником клумбочку астр: это бабушка велела устроить на том местечке, которое остается перед памятником. <...> И так как-то угрюмо, скорбно на кладбище — я чуть ли не первый раз представил себе, почувствовал, что тут кругом странное и ужасное царство смерти. Тут и наши мальчики. <...>

Был я и в Округе. Узнал вполне определенно, что Яну необходимо получить из университета особое свидетельство о том, что кандидат математики такой-то — имеет право без нового испытания преподавать математику в средних учебных заведениях. Мне показали печатные бланки таких свидетельств — они должны быть в канцелярии университета. По такому свидетельству, которое выдается без всякого экзамена, по обычаю, попечитель учебного округа выдает свидетельство на право преподавания. По мнению чиновников нашего округа, получить последнее свидетельство правильнее в своем округе, т. е. в Рижском, если университетское свидетельство из Юрьева. Но говорят, что по юрьевскому свидетельству и петербургский попечитель выдал бы. <...>

Побывал на курсах, получил жалование, назначил на 5 сентября свой осенний экзамен. 2-го у нас совет на курсах, а лекции начнутся 12-го. В гимназии уроки начнутся 3-го. <...> Обеспокоены Адриановы судьбой школы Тенишева. Он умер и все имущество оставил жене. А та заявила, что не только ничего не даст на школу, но не может даже дом оставить школе без платы. Острогорский продолжает прием — не знаем, на какие средства он рассчитывает. Во всяком случае, если школа и будет существовать, то: 1) она становится коммерческим предприятием и 2) собственностью Острогорского! Fuit Troia — т. е. была Троя, а теперь конец, так или иначе. <...>

Сегодня я сижу дома — может быть, потом съезжу к Шефферу и Манизеру или Вяжлинскому. Надо дома привести хоть немного в порядок книги, бумаги и свою голову.

Тут все, даже Джон, согласны, что я правильно поступил, отказавшись от «методики». <...>

Д. 8. Л. 148—151 об.

555

30 [августа]

Дорогой Юлек, вчера я, написав тебе письмо, прежде чем его отправить, попробовал проверить, правду ли мне сказали, что Платонов уехал на дачу. Оказалось, что он дома, и из разговора с ним выяснилось, что Яну придется съездить за свидетельством в Юрьев. Документы, которые мне Ян с собой дал, отправляю сегодня заказным.

Потом Платонов начал говорить о моем унынии по части диссертации, отчитал меня как всегда — вполне основательно, но что из этого? Не знаю. Поручил мне передать Лапшину, что он к нему не обратился теперь же только потому, что Введенский ему заявил, будто Лапшин только 10 сент[ября] приедет. На будущий год С[ергей] Ф[едорович] непременно рассчитывает на Лапшина и поручил мне передать это Лапшину. Платонову нужно, чтобы я напечатал что-ниб[удь], что сошло бы за диссертацию, потому что он играет на том, что в Педагогическом институте все преподаватели будут со степенями. Придется дописывать, хотя бы пропуская половину уроков. Не знаю, что из этого выйдет.

А что творится с Введенским? Он летом был в Ялте с дамой, которую считали его женой и которая есть кончившая курс курсистка, Невежина. А дома у них такие отношения, что он со старшей дочерью обедает в одной комнате, а жена с другой — в другой комнате. Делом своим он совсем перестал заниматься, слушательницы жалуются, что его лекции сравнительно с прежними ничего не дают, Лапшин жалуется, что Введенскому до философии и дела нет. Пропадает бедный Введенский! <...>

Сегодня наши с Алей именины. Крепко его целую. <...>

Д. 8. Л. 152—153 об.

556

1 сентября

<...> 30-го ездили на Пороховые, хотя было пасмурно и накрапывал дождь. Папа не поехал, мама отправилась на извозчике, а мы с

Ив[аном] Ив[ановичем] и Мишей своими путями. Ну, там — обедали, гуляли, вечером Вениамин расщедрился на 2 пролетки. <...>

Вчера днем я съездил к Шефферу. Бедный Петя чувствует себя очень грустно. Дела запущены, приходится сидеть в конторе с утра и до вечера, даже по праздникам. Кроме того, его часто отрывают, вызывают то туда, то сюда, так что он пока совсем себе не принадлежит. Конечно, это временно, но и потом он рассчитывает только на вечера и с большой грустью говорит о невозможности большой работы над любимой русской литературой!

Когда я от него вернулся, вскоре пришел Полиевктов, обедал у нас, а после обеда мы с ним съездили искать учителя русского языка по поручению Форстена: я, кажется, писал тебе, что Дюков назначен инспектором 3-й гимназии, и пока неизвестно, кто его заменит. <...>

От Кораблева отправились к Манизеру. Они с 9 авг[уста] здесь, т. е. Г[енрих] М[атвеевич] с тремя мальчиками — Мотей, Робой и Алешей, а А[лександра] Эд[уардовна] и Геня дольше оставались во Пскове. Мы мальчиков и А[лександру] Эд[уардовну] застали при выходе — отправлялись они впятером с шестой немкой в оперу, на «Жизнь за царя».[426] <...>

Роба поступил в гимназию. Он очень доволен, хотя и на экзамене плакал, и теперь ему крепко достается от товарищей за то, что он «плакса». Забавно видеть его гимназистом. Геня теперь в 5 кл[ассе]? Кажется, так? Дело в том, что их спросили, желают ли они учиться греческому языку или нет? Г[енрих] М[атвеевич] предоставил ему решить, он заявил, что хочет. Мне это очень нравится, потому что это самостоятельно — ведь мода другая, и из 60 чел[овек] двух отделений всего 10 ч[еловек] «греков». Молодец Геня.

Сегодня утром я ходил в гимназию: у Вали Форстен переэкзаменовка, но она не изволила явиться. Потом отправился в канцелярию Мариинского ведомства, чтобы привести в порядок свой паспорт, в Академию, чтобы вернуть книги, которые с меня еще весной требовали, в Публ[ичную] биб[лиотеку] — записать себе рукопись на завтра и к Винтеру — взять часы. А теперь дома. Вечером пойду к Дружинину. <...>

Д. 8. Л. 154—156 об.

557

3 сентября

<...> Не знаю, что напишу сегодня. И у меня душа измучена, дрожит все внутри, мысли плохо вяжутся. А приходится все время быть на людях, говорить, что-то делать, о чем-то соображать. Пока я еще свободен, но это еще хуже, лучше бы уже наладились правильные занятия вместо этой суеты. Уроки начну только в пятницу, сегодня был молебен, а завтра я потому свободен, что по четвергам у меня не будет уроков в гимназии. Постараюсь устроить так, чтобы не дать часов на четверг ни на курсах, ни у Таганцевой. На курсах, т. е. в «Женском педагогическом институте», лекции начнутся 12-го — у меня будет 3 ч. на третьем курсе и, по крайней мере, один на первом. Об этих практических занятиях на первом курсе мы будем толковать у Плато-

нова в пятницу вечером. Или Рождественский, или я должны будем взять 2 ч. на первом курсе: я предложу ему, но если он не захочет брать больше одного, то придется мне брать два.

Вчера был совет на курсах. Платонов прочел план устава, очень хорошо обдуманный и широкий. Обсудили кое-что и начнем по-новому. Дело интересное, но я как-то со стороны смотрю, должен заставлять себя понимать, что это интересно. <...>

Там на курсах я узнал, что князьки оба уехали на всю зиму в Ливадию и будут заниматься с ялтинскими учителями. Уехали двое старших,[427] младшие остаются здесь, и с ними занятия пойдут по-прежнему, так что Кульман не все теряет во дворце. Кульмана я не видал. Кажется, он еще не приехал. <...>

Д. 8. Л. 157 об.—159 об.

558

6 сентября*

<...> Я упоминал во вчерашнем письме про собрания у Адрианова. Это Сазонов, учитель физики у Таганцевой и Тенишева, очень интересный человек, с которым мы в конце концов, вероятно, познакомимся, созвал к Адрианову нас: Гревса, Половцевых, меня и незнакомых тебе учителей из Таганцевской гимназии — Добиаш, брата и сестру, Закса, Соколова и математика, которого я фамилии не знаю. Начал он речью, в которой объяснил, что нужно сговориться и вместе продумать, что и как преподавать, и это не для себя только, а для того, чтобы потом начать преподавать то, к чему придем, чтобы создать среди педагогов общественное мнение в противовес бестолковым и низменным упражнениям министерства над нашей школой. Потом много спорили, как и что делать, и решили, что через месяц снова соберемся и что к тому времени физики и историки подготовят доклады о значении в школе своих предметов. Посмотрим, выйдет ли что. Меньше всех мне понравился Гревс, про которого правильно говорит Платонов, что он настолько отдельная личность, что для общего дела по натуре не годится, или, как это выражает Адрианов, «из кружковщины вырос, а до общественности не дорос».

Вчера вечером у Платонова собрались историки Женского педагогического института — поговорить о практических занятиях. Разговоры были интересные, но дело это трудное так, как его хотят устроить, боюсь, что мне не угнаться за Платоновым и Рождественским, у которых есть опыт университетских практических занятий.

Я беру 1 час этих занятий в институте. Пока мое расписание еще не составлено — и я не знаю, как будет с моим четвергом. Постараюсь его отстоять, но удастся ли! На курсах еще не могут ничего привести в порядок.

Голованъ не уедет раньше 25-го октября, так что ты его тут не раз увидишь. Он уже начинает приходить в уныние и заговаривать о том, что, может быть, лучше было бы не ездить! Кроме трудности дела его смущает и то, что он едет, оказывается, просто на личную службу к

---

* Опущено письмо от 5 сентября (Д. 8. Л. 160—162).

Шмурло, а не на должность, которая была бы устроена в подчинении у Шмурло Академией наук.[428]

В гимназии занятия идут своим чередом. Вчера дал 5 ур[оков], сегодня 4. Во вторник VIII кл[асс] начнет. Пока — ничего, что-то выходит, хотя довольно вялое. У учителей гимназии повальное безденежье — все ищут, где занять, но настроение у них веселое. <...>

Д. 8. Л. 163 об.—165 об.

559

8 сентября*

<...> Приехали Нахимовы и задержали меня. <...> Они, между прочим, съездили в Варшаву. Она в восторге от Варшавы, от ее оживленного, бодрого вида. Осматривали и дворцы, и церкви — и все оценили правильно. Изящная, бойкая Варшава после вялых русских городов не могла их не увлечь.

Шура принялась за преподавание — и меня расспрашивала об учебниках, но я ей помочь не мог, потому что не знаю ни одного порядочного учебника для детей по истории. За Нахимовыми пришел Полиевктов, который начинает лекции в университете по русской истории XVIII в., — пришел поговорить о своем будущем курсе, и мы с ним составили список нужных ему книг. Так и прошел субботний вечер. В воскресенье утром я зашел к Лапшину, чтобы получить от него те сведения о немецких и английских учебниках истории, которые он собрал, но оказалось, что он еще одевался, но уже спешил к Форстену. Мы с ним вместе пошли к Форстену, туда пришла Ел[изавета] Ник[олаевна] и Лиля, и меня они увлекли гулять на острова. Погода у нас стоит ясная, теплая. Даже жарко. Для Петербурга осень необычайная. Трава вновь выросла, кое-где на островах стоят копны сена; одуванчики, клевер, мышиный горошек, крапива — вновь зацвели. Листья на деревьях желтеют и краснеют, дорожки засыпает сухими листьями, а рядом новая, свежая зелень, новые цветы. Странная картина — соединение осенней грусти природы с молодой, свежей жизнью...

Г[еоргий] В[асильевич] необыкновенно бодр и весел. Он детство провел на Лахте — и любит вспоминать, как они босоногими мальчуганами бегали и шалили на островах и на Лахте. Много рассказывал он нам про свое детство, в очень бедной обстановке, и воспоминания его бодрые, веселые. Захотелось ему поехать на лодке (там, где мы с Гутиком ездили) — и мы больше часу покатались; гребли с лодочником по очереди: Джон и я. Лодочник попался хорошо знающий Лахту, и Г[еоргий] В[асильевич] все расспрашивал его, какие там теперь перемены сравнительно с его временем. Невозможно дразнит Г[еоргий] В[асильевич] Лилю, чуть до слез ее не довел. Вернулись домой к 4 ½ часам, почти прямо к обеду: а тут у меня лежит письмо от Платонова, что Колубовский неожиданно отказался от лекций по педагогике, и Платонов просит скорее разыскать Лапшина и привести его к нему. Пришлось после обеда бежать к Лапшину, пока он куда-нибудь не ушел, — я застал их только что пообедавшими, за чаем. Ив[ан] Ив[анович] с Сус[анной] Ден[исовной] пожелали сыграть мне в 4 руки куски из «Трио» Чайковского, а потом мы отправились к Платонову. Тут разговор обернулся так, что курс «истории педагогических теорий», который Лапшин читает на Бестужевских курсах и на Военно-педагогических курсах, не совсем то, что надо для Педагогического института, но что Платонов хочет просить Лапшина читать этот курс, чтобы овладеть им (Лапшиным) для института, а потом можно будет поручить Лапшину, напр[имер], историю философии, а для настоящей педагогики пригласить еще кого-ниб[удь], напр[имер] Каптерева. Понятно, что Лапшин предложил к Каптереву обратиться теперь же, а ему, Лапшину, дать лекций на будущий год. Решили так, что Платонов теперь же обратится к Каптереву, а если он почему-то лекций по педагогике не возьмет, то их берет Лапшин, а если Каптерев согласится, то Лапшин вступит в число преподавателей института с будущего года. Платонов всячески заботится о том, чтобы Лапшин не подумал, будто он холодно относится к приглашению его в институт. Отказ Колубовского, вероятно, проявление недовольства Платоновым за то, что он весною не выяснил, кто останется в институте, а чье преподавание кончится с концом Педагогических курсов. Но Платонов не мог этого сделать, так как его собственное положение определилось в самом конце мая, а официально в начале июня. Недовольных много, но это неизбежно при ломке старого здания для новой постройки. Я воспользовался случаем поговорить с Платоновым о моих будущих практических занятиях, — и мы кое до чего договорились. Платонов мои предложения одобрил, — и я теперь, по крайней мере, знаю, что мне надо будет попытаться сделать. Видел вчера Н[адежду] Ник[олаевну], но у нее были гости и избавили меня от разговора с нею. <...>

---

* Опущено одно письмо из двух, датированных 6 сентября (Д. 8. Л. 166—167 об.).

Сегодня праздник — и я дома. Надо кое-чем позаняться. На людях хотя утомительно, но лучше. Дома грустно, очень грустно. <...>

Д. 8. Л. 168—171 об.

560

11 сентября

<...> Сегодня мы открыли Женский педагогический институт, т. е. сегодня был молебен. Платонов говорил, что будет речь держать слушательницам — о задаче института, об их будущих занятиях. Я рассчитывал послушать и потому пошел на молебен с Ив[аном] Ив[ановичем], который отправился, чтобы представиться и сговориться относительно расписания. Было человек шесть преподавателей, но мы напрасно собрались, потому что, кроме молебна, ничего не слыхали: Платонов предпочел со слушательницами говорить в аудитории и нас просил не стеснять ни его, ни их. Так я попусту время потерял, а в субботу надо курс начинать, надо приготовиться, а то я все забыл и в голове как-то пусто. Занимаюсь я очень мало, почти совсем ничего не делаю, то устаю, то мешают. <...> Завтра вечером какой-то Вернер, открытый в Царском Селе Голованем, читает у Адриановых реферат о «Ницше и Достоевском» — тоже пойдем. А в субботу собираемся в

гимназии прощаться с Агнессой Николаевной, Дюковым и Григорием Спиридоновичем, покинувшими нашу гимназию. Ты знаешь, что Аг[несса] Ник[олаевна] назначена инспектрисой в Смольный, в аристократическую половину, где начальницей кн[ягиня] Ливен: это по рекомендации Григория Спиридоновича. Еще весною об этом были разговоры, она все колебалась, но должна была согласиться: слишком это выгодно. Классной дамой VIII кл[асса] вместо нее одна из наших кл[ассных] дам — Марья Федоровна, которой я фамилию забыл — недурная, но заурядная; не скажу, чтобы она мне особенно симпатична была. Она в первые дни занятий VIII кл[асса] пришла в восторг, так ей кажется интересно то, что мы болтаем, говорит, и видно от души, что время за день для нее пролетает незаметно.

Наконец мое расписание, кажется, устроено. Но для этого пришлось принести жертву — дать час от 10 до 11 ч. в четверг Таганцевой. Ну, что же, это мне еще не особенно испортит день. Начну у Таганцевой в понедельник.

Так что с будущей недели машина преподавания пойдет полным ходом. Сегодня А[лександра] Эд[уардовна] прислала мне какую-то девицу, третий раз пытающуюся попасть на курсы неудачно. Я послал ее к Платонову, чтобы узнать, нельзя ли ее записать кандидаткой на будущий год, хотя надежды мало: аттестат у нее плохой. Сколько таких, приезжающих искать высшего образования — и получающих отказ. Не хватает места, нет средств расширять дело, а надо просто еще и еще новые учебные заведения открывать. Даже в VIII кл[ассе] у нас больше 30 чел[овек], чего еще никогда не было. <...>

Д. 8. Л. 174—175 об.

561

13 сентября

<...> Вчера вечером были у Адриановых. Читал москвич — молодой юрист, Вернер, которого притащил Головань, найдя у него оригинальность мысли. Биография этого человека полна странными чертами. Был он студентом нашего университета, но должен был уехать в Москву, вследствие какой-то любовной истории, кажется — не особенно красивой. В Москве выдался талантливыми юридическими работами, но особенно заинтересовался вопросом о самоубийстве; и чтобы испытать ощущение опасности и смерти, бросился под поезд: его отбросило прочь, разбило, без опасности для жизни, но рот остался перекошенным. Теперь занят философией и читает доклад о «Ницше и Достоевском», который был бы интересен, если бы он в полчаса изложил главные мысли того, что размазал на целых 2 часа. Я даже вздремнул на кушетке за письменным столом С[ергея] А[лександрови]ча. Потом пошли споры. С[ергей] А[лександрович] говорил очень интересно и ясно: его размышления над Достоевским, очевидно, укладываются в порядок. Но их споры протянулись до 2-х ч., а я около 12-ти ушел, потому что сегодня 5 ч[асов] и должен был быть шестой — лекция на курсах. Но когда я приехал на курсы, оказалось, что все пусто. Курсистки разошлись, потому что расписания никак устроить не удается. Колубовский отказался от лекций, на что-то обидев-

шись, и его часы поделили между Лосским и Лапшиным. А вчера Лосский отказался, потому что, говорят, ему внушили его жена и теща, Стоюнины, приятельницы Колубовского, что это не по-товарищески. Теперь Платонов рассчитывает, что Ив[ан] Ив[анович] и эти несчастные 2 часа логики возьмет, — но Джон и так очень занят, а кроме того, все эти дрязги и личные недоразумения его могут испугать. Пока я не знаю, что он об этом думает. Видно, нелегко устроить новое учебное заведение. <...>

Штруп много рассказывал занятного про дела министерские. Назначение Витте председателем комитета министров — несомненное падение и совсем для него неожиданное: он так растерялся, как, по уверению Штрупа, сам в министерстве рассказывал, что ответил: «Это, В[аше] В[еличество], меня совсем не устраивает». — Почему? — «На частной службе, выйдя в отставку, я всегда заработаю тысяч 60». — Тогда Государь подарил ему 400 тысяч, лишь бы он принял предлагаемое место.

Об Эде Плеске говорят с пренебрежением — об его узкой аккуратности и плохом понимании смежных вопросов. Даже коммерческие люди на бирже называют его «Herr Finanzminister von Pleske, geborener Stolonatschalnik»* и мечтают устроить особое Министерство торговли. Вообще слухов и разговоров много, но хорошего ничего не слышно. Жандармы и полиция первое место заняли в государстве, а теперь ходит слух, что директор департамента полиции Лопухин будет министром юстиции. Хуже трудно что-нибудь выдумать.

Прости, голубка, что я пишу эти неинтересные для тебя вещи. Они могут занять других жителей Домбровы. <...>

Д. 8. Л. 177—179

562

16 сентября

<...> В субботу вечером мы собрались в гимназии прощаться с Агнессой Николаевной, Дюковым и Григорием Спиридоновичем. Были и ученицы VIII кл[асса]: это класс А[гнессы] Ник[олаевны]. Было скучно и бестолково. Но в 11 ч. все с Форстеном во главе ушли и отправились в ресторан Максимова (на Садовой), чтобы там поужинать с Дюковым. Конечно, только учителя пошли, без дам и без духовенства. Собралось 14 чел[овек], т. е. все учителя гимназии, кроме Никонова, естественника.

Вечер очень удачный. Дюков всех пленил искренностью и чистосердием, даже тех, кто настроен к нему враждебно или недоброжелательно был. Лесгафт прямо мне сказал, что у него крутые перемены к Дюкову, которого он не любил за узкоконсервативные взгляды, а теперь понял, что не это важно, а та прямота и искренность, которой Дюков выше всех нас был всегда. Самый Дюков говорил à parte** — и не знаю, чем кончится его намерение прийти ко мне — он уверяет, что я бываю ему очень нужен, что он меня ставит выше всех других, даже Форстена.

---

* Господин министр фон Плеске, прирожденный столоначальник (*нем.*).

** Отдельно (*лат.*).

В конце концов, этот тон серьезно-дружеский перепутался, ибо в конце — порядочно было выпито. Не то чтобы слишком, нет, этого, по счастью, не было, разве Миша размяк слишком, и то в пределах приличия, — но как-то беседа свелась на болтовню. <...> Вернулся я домой поздно — в 4 ч. Понятно, что в воскресенье я встал в 12 ч. и то не выспался, так что днем еще спал. <...>

Д. 8. Л. 180—181

563

18 сентября

<...> В субботу мы прощались с Дюковым, а завтра надо идти на обед [к] Петрову. Слава Богу, вместо того, чтобы устроить этот обед у меня, — предпочли в ресторане. А сперва было так разговор оборотился, что пришлось нашу квартиру предложить. Это было бы и для мамы беспокойно, и для меня мало симпатично. Вообще тут я вечно на людях и кажусь, вероятно, веселым, оживленным, а для меня между мною и ими какая-то пелена висит, хочется уйти, быть одному, совсем тихо. И преподавание идет легко и свободно, но как-то само собой, точно чужое, помимо меня. <...>

Четверг пришлось-таки испортить. Иначе расписание не выходило. До 3-х я, правда, свободен, но с 3—5 — два часа на курсах. Ну, это не беда, раз иначе нельзя было!

Вчера была первая среда у Платоновых — и именины Над[ежды] Ник[олаевны]. Надо было пойти, но я не мог, противно даже было подумать, чтобы быть на людях. <...>

Д. 8. Л. 182—183

564

21 сентября

<...> Два дня не мог я писать тебе, потому что совсем замотался — вчера, например, всего $^1/_2$ часа был дома, и то у меня сидели Лаппо-Данилевский и Джон.

В пятницу я дал 5 уроков, пришел домой и заснул, а в половине шестого пришел С[ергей] А[лександрович] за мной, и мы поехали на обед, который давали о. Григорию. Странный этот обед. Собирались неохотно; после того оживления и подъема, которое явилось в прошлую субботу. Казалось, что будет непременно скучно. И вначале сидели все уныло, беседа не клеилась, но потом оживились, стали речи говорить, хотя почти все мало, а то и почти ничего не пили, как я, например. Но речи пошли разные (я молчал) — о. Григорий, между прочим, сравнил нас с молодыми подосиновиками, собравшимися вокруг боровика — Форстена, а Миша удачно добавил, что грибы хорошо растут, когда влажно и когда их солнышко пригреет. Над «влажно» все посмеялись и выпили, а кого Миша разумел под солнышком — и Григорьев сейчас предложил послать Елизавете Николаевне цветов, а я прибавил к ним записку с надписью: солнышку нашей гимназии. Ел[изавета] Ник[олаевна] очень тронута этой лаской, — да и правда, что она того стоит. Не помню, писал ли я тебе, что Г[еоргий] В[асильевич] все думает устроить ее где-нибудь начальницей, ради пенсии. Эти разговоры заставили нас представить себе гимназию без нее — это было бы сразу что-то другое, чужое, да и Г[еоргий] В[асильевич] без нее и месяца не удержится при довольно натянутых отношениях с Мещерскими. На обеде все было чинно и трезво, кроме отчасти Миши и, особенно, Адрианова. Этот, оказывается, почти ничего не помнит, хотя трудно было подумать там, что так. Правда, он много, очень много говорил, под конец несколько слишком нервно — но если бы ты могла себе представить, как красиво, содержательно говорил. Одно только в его речах объясняется алкоголем — это что он заговорил о вещах, о которых он так редко заговаривает, — на темы отвлеченные, но ему дорогие, об искании Бога, правды, о русском народе — трудно передать, что он говорил, но было так ярко, стройно, с таким подъемом. Все это прерывалось неожиданными, странными тостами, то за одного, то за другого. Хорош и кстати был только тост за Ив[ана] Ив[ановича], лучшую сторону которого он отлично отметил, говоря, что Ив[ан] Ив[анович] потому держится критической физиономии, что за холодной логикой и желанием все критически оценить, за боязнью решительного мнения — у него кроется чуткая и, как он сказал, стыдливая душа, не решающая верить только себе, уважающая чужое мнение, строгая в критике, потому что ищет настоящей правды. <...>

Вчера была суббота. Это значит 5 уроков и 2 лекции на курсах, и я все это проделал и почему-то совсем не устал. Приехал домой голодный, закусил, хотел тебе хоть немного написать, да пришел Лаппо-Данилевский, а за ним Ив[ан] Ив[анович]. Нам предстоял опять обед, уклониться от которого было трудно: вчера праздновалось 20-тилетие гимназии Таганцевой, и Люб[овь] Ст[епановна] пригласила обедать к себе всех теперешних учительниц и учителей, а также всех прежде преподававших. Обед был скучный и парадный. Набралось человек до ста. Конечно, речи были — Гревса, Кульмана, Сазонова и др. Я сидел рядом с Платоновым, который был в ударе и все острил, и все удачно. Кульмана прозвал приходским петухом, а про Таганцеву, сидевшую рядом с ним с другой стороны, шепотом сказал, что он говорить не может, потому что его соседка — переносный ледник, отлично замораживающий все текучее и теплое. И то и другое метко, хотя, конечно, зло.

С обеда мы первые убежали и пошли на первую субботу к Форстену: Платонов, Лапшин, Кульман, Адрианов, заехавший за Ел[еной] Вл[адимировной].

Адрианов было не пришел на обед, но когда уже сидели за столом, то послали за ним, причем на визитной карточке С[ергея] Фед[оровича] записку ему написали Сазонов и Кульман, а подписались еще я и Гревс, последнее Платонов нашел даже противоестественным: что на его карточке да подпись Гревса! Вообще теперь Гревс к нему относится гораздо лучше, чем он к Гревсу. И моя судьба будет, вероятно, такая же.

Сейчас надо бежать ловить Ростовцева по поручению Лаппо-Данилевского, а еще надо поймать Закса да съездить к Шахматову.<...>

Д. 8. Л. 185—188 об.

565

24 июня

<...> Я ехал собственно один в целом отделении. По одному спутнику у меня было только от Ковно до Вильно, от Вильно до Двинска и от Гатчины до Петербурга. Ехал, значит, на свободе и читал Tetmajer'a «Na skalnem Podhalu»* — прочел первый томик и начал второй. С большим удовольствием читал. Это ряд новелл из жизни татринских горцев; написаны они хлопским языком, но читаются без особого труда, только изредка встретишь незнакомое слово. Новеллы очень поэтичны, в них много того чутья природы и любви к ней, которую я больше всего люблю у поляков. За это мне и Дыгасиньский так понравился. Я Тетмайера привезу, верно, и ты почитаешь. В 9 ч. был у мамы. У них хорошенькая, чистая, веселая квартира. Они решили тут и остаться. Бабушка веселая, бодрая, видно, рада, что устроилась, — и я с радостным волнением думаю о том, что мы тоже, как кот Киплинга, будем жить сами по себе. <...>

Может быть, чувство, что мы выходим на свободу, помогает тому, что мне так нравится наша новая квартирка. Но право, очень симпатичная, веселая, удобная. <...>

Сегодня я утром поймал Платонова — и написал Каверзневой, как и что надо прислать: она может быть принята, если в ее аттестате есть отметка по одному из новых языков — но я опасаюсь, что нет, а такое препятствие, по-видимому, непреодолимо.

Платонов только успел уехать к своим, как его вызвали в Петербург: В[еликий] кн[язь] достал денег, дом купили и теперь строят.[429] Конечно, Платонову лето этим испорчено, но зато институт устроится с шиком. Я думаю, что ты успеешь разделаться со всеми делами и попадешь еще на освящение. Завтра утром мы с Платоновым съездим посмотреть здание и место, а потом пойду заниматься. <...>

Д. 8. Л. 207—209 об.

566

25 июня

<...> Вчера, отправив тебе письмо, я пошел в редакцию. Оказывается, что напечатана только 1-я моя статья (в 2-х номерах) и за нее я получил 84 р. 80 к.[430] Остальные две пойдут в август, потому что много материала. Между прочим, Платонов дал им статью о Лжедмитрии. В августе я должен буду еще статью написать. Слава Богу, что пока не требуют. <...>

Г[енрих] М[атвеевич] находится в полном безденежье и потому решил поработать. Он даже пробовал искать заказа, обращался к разным лицам, нет ли работы. Но, как всегда, когда нужно, ничего нет. Отправил он три картины в «Америку» — это антреприза меховщика, что на Невском, кажется, против Казанского собора — как его?

---

* «На скалистом Подгале» (*польск.*).

Грюнберг или что-то в этом роде. Послал дорогу, что была на выставке, нового борзятника и Ал[ександру] Эд[уардовну] в русском костюме. Кроме того, пет[ербургские] худ[ожники] повезли свою мазню по России, и туда Г[енрих] М[атвеевич] дал несколько вещей, в том числе акварели.

Сам же он заново по памяти написал дорогу с удирающей от тучи бричкой, в меньшем размере, чем первая. Написал большой пейзаж из северной Нормандии по старому этюду, очень хороший и интересный, начал тоже большой пейзаж с коровами — по началу очень свежо и колоритно. Вообще он в каком-то подъеме, «с отчаяния», как говорят. А еще написал молодую даму, с письмом в руке, с полными слез глазами и полуоткрытым грустным ртом. Если бы он не засушил доканчивая — была бы отличная, сильная лирическая вещь. Но я боюсь заканчиванья! Посидел я с ним часа два. Такой он был ласковый, светлый, каким я его давно не видел. Пойду к нему как-нибудь вечером.

<...> Сегодня утром я в 9 ч. был у Платонова, и мы поехали с ним посмотреть купленное для института место и здания. Место огромное — 1 $1/_2$ десятины, здание капитальное; его переделают, пристроят два флигеля и 3-й этаж, разобьют сад. Дорога мне туда ближе через Литейный и Сампсоньевский мосты, чем через Троицкий. Но готово будет не раньше осени 1905 г., наверное. На эту зиму остаемся на Гороховой. Много Сер[гей] Фед[орович] интересного рассказывал. Между прочим, что в Торжке нашли дом, нанятый на имя частного лица, но на деньги Тверского земства, а в нем «конспиративную квартиру», склад революционной литературы, и даже... оружия! Это на случай восстания! Точно сказка. А он утверждает, что это достоверно. Знает он это от Гурлянда, который ездил с директ[ором] департ[амента] Штюрмером истреблять «революционный» дух в Тверском земстве. Будто бы они установили, что Тверское земство давало деньги на «Освобождение» и что Струве два раза приезжал в Тверскую губернию, конечно, по чужому виду.[431]

Ну, с Петербургской стороны я отправился домой, но и сегодня настоящих занятий не вышло. Пришлось, чего я раньше не вспомнил, идти покупать в Гв[ардейском] общ[естве] чернил, тетради, промокательной бумаги, потом в Археографическую комиссию за очередной рукописью, разбираться, приспособляться, ловить забытый ход мысли и перервавшуюся на полуслове нитку изложения. Словом, сегодня я только готовился писать и ничего не написал. Впрочем, я всегда так «начинаю». Теперь пойдет. <...>

Д. 8. Л. 210—213 об.

567

30 июня*

<...> Работа не клеится, ползет медленно; тоска начинает мучить, и, очевидно, это она мешает работать с большей живостью. <...> Никаких внешних причин нет. А так как-то душа не на месте...

---

* Опущено письмо от 27 июня с описанием дел в горийском владении Ю. П. (Д. 8. Л. 217—219 об.).

Все ли у вас там благополучно? Даже спал я те ночи скверно. Просыпался без толку и долго заснуть не мог, вставал, как Гутик — усталый. <...>

Во вторник мы, как я писал тебе, обещали приехать на Пороховые. Притом — приехать к обеду, т. е. к часу. Так что я по малодушию целый день потерял. Положим, оно, может быть, и лучше. Я наигрался в крокет и в мяч и эту ночь хорошо спал. Игра наша в мяч — мы с Ив[аном] Пл[атоновиче]м и Борей его друг другу ногой подбрасывали, как в игре foot-ball, — кончилась тем, что мяч попал в реку и поплыл по самой середине. Дворник побежал его ловить на запруде, а мы уехали. Наточка отнеслась очень спокойно к судьбе мячика и заявила, что если его не поймают, «то мы вам напишем, и дядя Ваня купит новый».

В крокет играют с нами Шура и Ната; Шура страшно горячится, неистовствует, но бьет верно, только бестолково; Ната очень хорошо проходит ворота и попадает в шары, но силенки не хватает. Во всяком случае обе играют гораздо лучше Кати и партии не портят. <...>

Вчера я пил чай у Мани, рассказывал им про Реймонта, Берента, Тетмайера, объясняя, почему я считаю современную польскую литературу — первой, самой замечательной, может быть, рядом только с немецкой (Гауптман, Ибсен, Шницлер) — и без сравнения выше новейшей европейской литературы. Это меня очень увлекает. Если бы разделаться с летописями и иметь время — я, право, попробовал бы, если бы хватило смелости, что-нибудь написать о современных поляках. Но это мечты, которые, вероятно, никогда не сбудутся. <...>

Д. 8. Л. 217—219 об.

568

1 июля

<...> В шараде, которую Форстен прислал, я почти все прочел: «Пять дней провели вместе в Риме, дорогой А. Е.; он меня встретил, выглядит бодрым, мы много гуляли: он великолепно знает Рим и его окрестности. Сегодня, 18-го, уезжаю в* Парму(?) до Генуи на пароходе. Шмурло не оставляет Голованя, так как ему ведь приходится платить из собственных денег; Головань же остается в Италии еще целый год. Поклон всем». Итак, Головань остается в Италии еще год на свои средства. Вероятно, не в Риме, я думаю, что он теперь поедет к северу, напр[имер], во Флоренцию, где ему давно хотелось пожить. Это все-таки хорошо. Там он живет хоть без дела и, судя по его письму, с тоской — но, по крайней мере, с богатыми впечатлениями, а тут — тоже без дела и с тоской, но и без впечатлений. Бесконечно жаль, конечно, что такой капитал впечатлительности, вкуса, знаний и искреннего чувства, как у него — пропадает даром. Но я и не надеюсь на проценты с этого капитала, кроме дружеских бесед и изредка писем. <...>

Как-то там Ив[ан] Ив[анович]? Сусанна Ден[исов]на говорила Мане, что получила от него письмо из Крыма, удивившее ее тоном:

---

* Зачеркнуто: «кажется, Париж, нет — в Парму».

она никак не ожидала, что крымская природа может привести его в такое лирическое настроение; она, как и все кругом, считает его неспособным к лиризму. Это больное место у Ив[ана] Ив[ановича] — он очень оскорбляется таким мнением. Помню, как однажды мы гуляли на островах с ним, Геор[гием] Вас[ильевичем] и Елиз[аветой] Ник[олаевной], и он обратил внимание на какой-то очень красивый уголок. Г[еоргий] В[асильевич] сейчас и говорит: «Ну, слава Богу! Ив[ан] Ив[анович] красоту в природе заметил! Вот чудо!». Джон и надулся.

Это старая история. Как-то раз, давно, у Полонских на пятнице, Ив[ан] Ив[анович] на эту тему даже экспромт сказал:

> Я — логической прозван машиной
> Неспособной любить, ненавидеть!
> Но — скажу Вам с печальною миной:
> Человека недолго обидеть!

А его часто так обижают.

Ив[ан] Плат[онович] рассказывал мне, что Штруп ничего интересного не ожидает от диссертации Ив[ана] Ив[ановича]; он думает, что у Ив[ана] Ив[ановича] для чего-либо самостоятельного и оригинального в философии не хватает глубины и силы отношения к великим вопросам мысли и жизни. А я полагаю иначе. Джон мучается противоположностью между холодной рассудочной мыслью и живым чувством и ищет пути их помирить. И это ему так искренне тяжело, что в результате должно получиться что-нибудь ценное и в диссертации о «формах познания и законах мышления».[432] Вся беда и для его философии в том, что он никак жениться не может. Только женатый, конечно, не формально только, а крепко любящий и любимый человек, владеет жизнью, чувством и живою мыслью: только женатый может быть философом, по крайней мере в наше время, когда и жизнь и мысль так сложны, что без огромного фундамента в личной жизни — эта сложность раздавит. Поэтому так нелепо, что католические священники не женаты: папам нужно, чтобы они не жили своей жизнью, были инструментом в руках Церкви — и только. И как их это ни калечит, все-таки это лишь отчасти удается. А я, напр[имер], менее «даровит», чем Ив[ан] Ив[анович], но сильнее его даже в философии — не умом, а духом, потому что у меня Юля есть, источник моей силы перед сложностью жизни и сложностью работы мысли. Понимаешь, моя дорогая? <...>

Д. 8. Л. 220 об.—222 об.

569

5 июля

<...> Вечером пошел к Вяжлинскому. От мамы до него совсем близко — минут 10 ходу. Его дома застал, и у них была целая коллекция тетушек. Но мы с ним ушли в кабинет, и мы болтали о разных делах. Говорит он тягуче, тяжело и скучно, но парень хороший. Все о войне да о политике. Даже он до того дошел, что с радостью сообщил, что у Плеве рак в печени. Я это давно слыхал, но Плеве выхо-

дит, ездит, не видно, чтобы болен был. До чего людей ожесточает наша подлая и глупая политическая жизнь. <...>

Д. 8. Л. 223—224 об.

570

8 июля*

<...> Когда Ефремовы ушли, около половины восьмого, — я уже дома остался — и взялся за «Popiołу».**[433] Первый томик, как я писал тебе, — мне понравился, но чем дальше, тем больше неестественного, театрального, растянутого — и все это с претензией, с трагедиями, которые, почти как у Пшибышевского, слишком ужасны, чтобы произвести впечатление. Ну, Бог с ним.

Мама рассказывала мне, что Карпович переписывается с Надей и просит ее приехать на Кавказ, потому что хочет поговорить с ней о детях. Миша Карпович, кажется, в 7 классе — и пока мечтает о филологическом факультете, но отец его смущает выбором университета. Хотелось бы направить сына в Петербург, под мою опеку, в школу моих профессоров — Форстена, Платонова, Гревса. Это, конечно, всего лучше было бы. Филологический факультет действительно всего лучше теперь у нас, в Петербурге. К тому времени и Адрианов будет читать в университете, может быть — и я. <...>

Ты спрашивала — видел ли я Гревса? Нет, его нет в Петербурге, и он еще ни разу не приезжал. Живет он в «Новой Кирке» по Финл[яндской] ж[елезной] д[ороге] — на даче, принадлежащей Веберу. Я сегодня написал ему записку. Не помню, писал ли я тебе, что, по словам Штрупа, совет Политехникума зовет Гревса назад (а Гревсу этого очень хотелось, потому что он хочет уйти с курсов, и он хлопотал через Кареева), но с тем, чтобы он читал связный курс, а не «эпизоды». Ламанский рассказывал, будто так и постановили, но странно приглашать человека, делая ему точно выговор за прошлое. <...>

Д. 8. Л. 227 об.—228 об.

571

9 июля

<...> На вокзале встретил Шеффера — он провожал кого-то. Потом поехал домой и меня с собой взял и довез до Манизера. Г[енрих] М[атвеевич] ждет работы, что-то ему обещали, но он еще не уверен. Пока же много пишет — еще написал довольно большое полотно: бабы возвращаются с бороньбы. Теперь принялся за этюды акварелью — по старым наброскам, доканчивает сапожника, любителя птиц (точит нож, а глядит на клетки), написал даже купающихся женщин (говорит: пишу на всякие вкусы). Сидят они дома по целым дням — Г[енрих] М[атвеевич] пишет, а Геня все читает. Геня очень много и серьезно читает. Заинтересовался историей. Я ему дал кни-

---

* Опущено письмо от 5 июля (Д. 8. Л. 225—226 об.).

** «Пепел» (*польск.*).

жечку Корелина о Возрождении — он ее уже проглотил. Прочитал «Логику» Минто,[434] читает лекции Георгия Вас[ильевича] о Реформации. Сегодня он заходил ко мне на Надеждинскую и взял несколько книг по истории. Читает и больших писателей — Тургенева, Толстого. Г[енрих] М[атвеевич] рассказывал мне, что Геня читает вдумчиво, делает себе разные пометки и выписки. Меня он кое-что спрашивал и рассказы слушает с увлечением, глазенки так и бегают. <...>

Д. 8. Л. 229—230 об.

572

12 июля

<...> Я занимаюсь хоть дома, но по рукописям, которые беру из Археографической комиссии.

Ты угадала, дорогая моя голубка, что мне было бы нужно. Ты, скучая без меня, готова предложить мне поездку, пишешь о Киеве. Пожалуй так, мне нужно бы «набраться впечатлений», но в Киев я не поеду и никуда не поеду. Впечатлений, которые бы действительно меня освежили и подняли, мне Киев не даст. Напрасная была бы поездка. Разве только Италия, или Галиция, или Берлин дали бы мне ту пищу, которая сразу могла бы вылечить мой умственный и духовный катар. Вся беда в том, что глупая моя натура, избалованная и слабовольная, живет разнообразными и большими интересами, бóльшими, чем те силенки, какие у меня внутри есть для удовлетворения этих интересов. Для худосочного «ученого» творчества моего нужно усиленное и искусственное питание.

Тебе, Юлек, может быть, не совсем понятна горечь такого сознания; может быть, даже несколько обидно, пожалуй, что это может иметь такое значение, когда у меня есть ты. <...> Но что делать, когда все мы, «товарищи», люди с большими задачами и малыми силами, нечто вроде лягушек и вола. Избалованные учеными и литературными интересами — а не хозяева в них! Избалованные успехом, которого ничем серьезным не оправдали. <...>

Несмотря на все, на недовольство собой, на твои тяжелые настроения, — я заставляю себя думать, что надо чего-ниб[удь] тут определенного добиться. О, если бы удалось — это стоило бы поездки за границу, это была бы для меня заря свободы в работе. Только стою ли я ее? <...>

Д. 8. Л. 231—233

573

18 июля

<...> У нас тут только и разговору, что об убийстве Плеве, которого никто не жалеет. Тоня утром пошла на почту, на Измайловский проспект, и увидала, что наряд бежит к Варшавскому вокзалу, пошла за ним и видела разбитую карету, кровь, раненых лошадей. Взрыв был сильный, с Пороховых вызывали 2-х офицеров для экспертизы, и они определили, что заряд был в 15—20 фунтов нитроглицерину или

динамиту. Бомба ударила в заднюю стенку кареты и взорвалась на воздухе, а не на земле, разрушив карету и убив министра вдребезги на месте. Убийца себя не назвал, по речи полагают, что финляндец.[435]

Толкуют, кого назначат. Есть кандидатура нелепая — Муравьева, м[инист]ра юстиции, бесцветного и нерешительного, есть подлая кандидатура финляндско-харьковского Оболенского, есть эффектная, но не думаю, чтобы вероятная, кандидатура Витте, который, говорят, очень доволен случившимся; ему Плеве поперек дороги стоял.[436]

Толкуют и о войне; эти дни шел большой штурм Порт-Артура, а каковы результаты — неизвестно, а Куропаткина японцы сжали на Лаоянской позиции так, что если он не хочет отступать всеми силами на север, то должен скоро принять большое сражение; хорошие карты положения дел в «Руси»[437] 17-го и 18-го июля.

Третьего дня и вчера я занимался в Пуб[личной] биб[лиотеке], видел Майкова, который тебе кланяется. Третьего дня был у Ив[ана] Пл[атоновича] и играл с ним в шахматы. Их отъезд отложился на неделю. Ив[ан] Пл[атонович] просил меня познакомить его с Боцяновским, так как он узнал, что «Русь» ищет сведений о кустарных делах и о деятельности М[инистерст]ва земледелия. Но оказалось, что Боцяновский третьего дня уехал за границу. Он живет близко от наших, во 2-й роте, где и книжная лавка, открытая им в компании с тремя товарищами, с вывеской «Литература и Наука».

Гревс приезжал на два дня в Петербург и написал мне об этом, но с его письмом что-то приключилось, оно 2 дня пролежало в Новой Кирке, и я получил его вечером в тот день, когда Гревс уже уехал. Значит, его уже не увижу.

То, что ты пишешь о Мише Карповиче, естественно; я только не понимаю, почему ты предчувствуешь, что Маня может «отнять» их от отца. <...> А не будет Мани в Петербурге, конечно, ему всего лучше было бы быть здесь. <...>

Д. 8. Л. 237—239

574

5 сентября

<...> В Вильне я походил по городу, купил образки у Острой Брамы и все-таки еще много оставалось времени... Сидел на вокзале и читал «Ziemia Obiecana»,*[438] и то не кончил еще второго тома в дороге. Дочитаю здесь и потом пошлю вам. <...>

От Елиз[аветы] Ник[олаевны] я узнал, что Г[еоргий] Вас[ильевич] согласился взять на Бестужевских курсах лекции, покинутые Гревсом, который совсем ушел с курсов. Поэтому Г[еоргий] Вас[ильевич] отказался от занятий у нас, в институте. А Ив[ан] Ив[анович] тоже пробовал отказаться от лекций на курсах, но его Введенский уговорил 1 курс сохранить, третий и второй он бросил, с тем, что на будущий год совсем уйдет.

От Елиз[аветы] Ник[олаевны] я поехал в Педагогич[еский] институт, чтобы и там позаботиться о сохранении свободных понедельников и сред. Жалования получить не удалось: кассирши не было. Ольга Ал[ександровна] встретила меня очень любезно, чаем с вареньем угостила. Посидел я у нее и поехал к Адриановым. Ел[ена] Вл[адимировна] лежит в постели. Ей Экк велел отлежаться несколько дней, хотя немного вставать и позволил. О положении ее С[ергей] Ал[ександрович] ничего не говорил, ну, и я не спрашивал. <...> Оказалось, на вечер С[ергей] Ал[ександрович] ждет компанию «педагогов» — нашу, обычную. Я и остался у него. Толковали о моих «ученых» делах, придет он и ко мне просмотреть, что написано, и, кроме того, помочь мне начать издание, порученное мне Арх[еографической] ком[иссией]. Рассказывал я ему о Реймонте, Беренте и т. п., ну, обычные наши разговоры.

---

* «Земля обетованная» (*польск.*).

Вечером пришли Сазонов, Гревс, Половцевы, Закс, Вебер, Добиаш и К°. Собрание обратилось в заседание; состряпали программу занятий на эту зиму. Делом занимались до 12 ч. с хвостиком, потом начали так всякие разговоры, понемногу стали расходиться, но остались еще Половцевы и я, и спорили мы вчетвером о народности, о национальных чувствах до 3 $^1/_2$! Так что я домой пошел в 4 ч.!! Сегодня проснулся в 11, с тяжелой головой, и только поспав после обеда и приняв феноцитину, теперь хорошо себя чувствую. Сегодня был дома. <...> Нашел дома кучу книг, журналов, полученных без меня, разбирал их; нашел официальное благодарственное письмо от попечителя за то, что читал в прошлом году гимназистам. <...>

Д. 8. Л. 242—245 об.

575

6 сентября

<...> Я сегодня свободен: в гимназии только молебен, да и вообще понедельники у меня будут свободны.

Завтра начинаю уроки в гимназии, а в институте только 11-го. Адрианов предупредил меня, что Платонов имеет на меня злостные виды: хочет, чтобы я взял 2 урока в гимназии при институте, а раз Платонов этого хочет, то сумеет меня заставить... Он говорил Адрианову, что в смысле «расписания» — сделает невозможное, лишь бы было для меня удобно... Свои два свободных дня я буду защищать, как Стессель Порт-Артур защищает, но боюсь, что ведь и П[орт]-Ар[тур] будет взят...

Лучше бы скорее все началось, а то я в таком состоянии, что свободное время для меня всего хуже. Придется бром пить. Эх, натуришка моя подлая!

Как видишь из вчерашнего письма моего, я сразу окунулся в петербургскую жизнь, в петербургские отношения. В этих отношениях любопытную новость составляет близость наша с Сазоновым и Половцевым. Эти естественники, эти люди совсем другой школы, другого склада; другого, как говорится, миросозерцания — сошлись с нами сразу, и не лично только, а мыслями, взглядами, чувствами. Это, пожалуй, даже вредно в известном смысле. Т. е. потому, что придает уверенности, что «мы» не так односторонни, как некоторые нас считают, и наше «мы» становится крепче, сильнее, увереннее, а это легко ведет к самоуверенности, которой я и так часто грешу и которую, как могу, часто, но не всегда удачно, стараюсь сдержать и сократить в себе. Но все-таки эта сторона дела — очень приятна, дает толчок к работе, надежду, что есть что сказать, что сделать... Если, чего я пока и представить себе не в состоянии, я справлюсь за зиму с диссертацией, если я выйду из этих пут, то кончены годы ученичества, я стал бы на ноги. Мечты, мечты! <...>

Абель ничего не напечатал. Не знаю, как сие понимать. Страшно некстати это теперь. Надо будет к нему зайти, чтобы посмотреть, можно ли на него хоть сколько-нибудь рассчитывать. Жалованья на курсах я не получил, потому не поехал на кладбище, ведь надо заплатить за цветы.

Я не писал тебе, что Адрианов провел себе электричество; как это украшает квартиру. Это, несомненно, тянет к комфорту, к эстетике. Если бы он имел средства, впал бы в роскошь, не сохраняя равновесия. Мне вспоминается твой отзыв, что богатство его бы испортило — пожалуй, так. <...>

Потом мне и домой надо, и хотелось бы повидать Лапшина и Форстена, надо и к Абелю, и там еще Манизер и Шеффер, Вяжлинский и Соловьев, Лаппо-Данилевский, которого мне нужно бы повидать. Много людей на свете. За Платоновым я не гоняюсь, потому что на душе мудреное положение летописей и вопрос о Мишиных уроках. Подождем, когда спокойнее будет. <...>

Д. 8. Л. 247—249

576

8 сентября

<...> День этот сложился неожиданно совсем не так, как я рассчитывал. За мной прислали Половцевы, предлагая прогулять последний свободный день за городом. Это показалось мне очень соблазнительным, и в 12.40 мы выехали по Балтийской дороге до Ораниенбаума, а потом сделали прогулку пешком в деревню «Венки» и имение Ратькова-Рожнова «Дубки», в очень красивой местности. Эти поселки — на возвышенном берегу, с широкими видами на море, с богатым лесом — парком по склонам к морю. Было серо на небе и на море, но все-таки ширь и чудный воздух — большое наслаждение после Петербурга. <...>

Вечером после прогулки я сидел дома, лениво почитывал кое-что. В «Библиотеке варшавской»[439] интересная статья о том, как изображена наполеоновская эпоха в «Попёлах» Жеромского. В «Вестнике для самообразования» очень интересные статьи Адрианова об Андрееве.[440] <...>

Вчера отправился к Бергу за сюртуком: надо было идти на уроки. Старый сюртук воскрес совсем, стал даже великолепным. Новый — примерил. У меня кроме новых брюк и старых, П[етра] В[икентьеви]ча, оказались еще превосходные черные, о существовании которых я забыл, кроме фрачных. Так что гардероб мой теперь очень богат: два пиджака, два сюртука, 3 пары брюк, не считая летних, которые мама чинит.

Начал уроки: что-то говорил о разных вещах, случайно, без плана в 2-х шестых и 2-х седьмых. Восьмой начинает только 15-го. В гимназии новостей интересных нет. Г[еоргия] В[асильеви]ча я не видал еще. Летом он перечитал «Братьев Карамазовых» Достоевского, очевидно, под влиянием моего реферата о «Великом инквизиторе», которого он не слыхал, но о котором мы с ним немножко говорили.[441] Огромное впечатление, судя по рассказу Ив[ана] Ив[ановича], произвели на него Карамазовы. Интересно будет поговорить с ним. <...>

Видел Платонова. Он, по счастью, отдал уроки в гимназии Вульфиусу и тем меня от них освободил. Зато придется взять лишнюю группу практических занятий на 2 курсе (т. е. продолжать занятия с моей прошлогодней группой, перешедшей на 2-й курс). Так что у меня будет не 4, а 5 часов (2 лекции и 2 часа практ[ических] занятий на I курсе, и 1 час на II-м курсе, где лекции Платонов читает). Это ничего, потому что уложится в те же часы, какие я им дал, т. е. не испортит моих свободных дней.

2 ч[аса] практических занятий на I курсе берет Е. Ф. Тураева (бывшая Церетели), и я ей обещал сегодня вечером приехать к ней, чтобы поговорить, что и как мы будем делать. Я туда с удовольствием поеду, потому что ее муж проф[ессор] Тураев (египтолог) очень меня интересует. Но сегодня же и первая среда у Платонова (снова по карточке) — туда я, наверное, не попаду, хотя С[ергей] Фед[орович] просил приехать от Тураевых. Но они — на Вас[ильевском] острове, пожалуй, трудно будет оборотиться. Вот беда, как ни вертись, а все расширяется круг отношений, да и отношений-то интересных, симпатичных. Ну, что тут поделаешь?

Видел я в институте и Кульмана. Он, как всегда, — уже спешит, летает, завален делами, самыми разнообразными, но весел и бодр по началу сезона. <...>

Д. 8. Л. 250—254

577

12 сентября

Вчера не успел я написать тебе, дорогой Юлек, целый день минуты свободной не было. В пятницу вечером мы с С[ергеем] Ал[ександровичем] отправились, как я тебе писал, на заседание педагогического совета в институт. Совет кончился рано, в 10 ч., и мы, человек 13, отправились ужинать к Альберу. Были Лапшин, Адрианов, Сазонов и Половцев, Бороздин и Лёве, Кульман, Гримм, математик Гюнтер, новый немец, Петров — испанец, Шишмарев. <...> Ели ризотто, пили кьянти, много спорили, было довольно интересно, благодаря Адрианову, но и неприятно, благодаря раздраженно-враждебному отношению к Адрианову Бороздина, который, впрочем, за последнее время и ко мне явно отрицательно относится. Ну и Бог с ним! Разошлись мы не поздно, часов в 12. <...>

У Форстена собрались Миша и Джон, Сер[гей] Ал[ександрович], человек 5 студентов, Лиля с братом и еще один племянник Г[еоргия] В[асильевича], артиллерийский поручик из Варшавского округа, едущий со своей бригадой на войну. <...> Г[еоргий] Вас[ильевич] был несколько усталый, но веселый, показывал новые вещи и больше 100 фотографий, привезенных из-за границы. Он в восторге от поездки за границу, говорит, что давно у него не было поездки, которая дала бы ему так много впечатлений; особенно рад он, что побывал в мелких итальянских городах: Парме, Сьене, видел новые богатые сокровища итальянского искусства, особенно Корреджио в Парме. В восторге он и от Голованя, от того, как глубоко и серьезно изучил он Рим, как изучает искусство. У Голованя много, много написано заметок, но Г[еоргий] Вас[ильевич] уверен, что он ими никогда не воспользуется, не даст попытки свести эти драгоценные заметки — в работе. Это, конечно, очень, очень обидно.

Сегодня я утром к 11 ч. пошел за С[ергеем] Ал[ександровичем], и мы вместе поехали к Шахматову, где и завтракали. Шахматовы были с нами милы, как всегда. Он горячо спорил с Сер[геем] Ал[ександровичем] о войне. С[ергей] Ал[ександрович] защищает Куропаткина, смотрит на ход дел не так мрачно, как другие, и не считает, что вся война произошла только от глупости и подлости нашего правительства, полагая, что серьезное столкновение между Россией и Японией было неизбежно, независимо от тех или других поступков государей и министров. Шахматов против всего этого спорит, а я больше согласен с Серг[еем] Алекс[андровичем]. Потом переговорили о летописных делах и поехали ко мне.

<...> Сер[гей] Ал[ександрович] приехал ко мне, чтобы посмотреть, что и как у меня написано из так называемой «диссертации», и я рассказал ему, что я еще могу написать, еще не изложенного, но уже приготовленного, что, стало быть, только написать начисто остается. Он всем этим остался очень доволен, сочинил даже оглавление будущей книги и рассчитал по пальцам, что она к Рождеству будет готова. Дай Бог, чтобы он был прав. Он вообще иногда увлекается мной и на стороне меня рекламирует, совершенно искренно, но, боюсь, преувеличенно. <...>

Д. 8. Л. 256—261

578

15 сентября

<...> После обеда я пошел к Платонову, чтобы узнать, что он говорил в виде вступления I-му курсу, которому я завтра начинаю лекции читать. Попал я так, что Сер[гей] Фед[орович] спал, но Над[ежда] Ник[олаевна] меня задержала и больше получаса сидела со мной, расспрашивая о том и о сем. Рассказал я ей и о тебе. О чем еще говорили, не помню, что-то о Введенском, о Кульмане и т. п. Потом пришел Платонов, переговорили с ним, и он предложил мне подождать, пока письма напишет, а потом ехать вместе к Дружинину. Я согласился и пошел с Н[адеждой] Н[иколаевной] чай пить, а потом поехали. Сер[гей] Фед[орович] по дороге рассказывал разные любопытные вещи про университетские дела. У Дружинина было, как всегда, скучновато, очень уже там солидные люди собираются. Впрочем, два рассказа, там услышанные, надо передать — для Гутика. Дружинин рассказывал, что у одних его знакомых курица в холодное время на

кухне цыплят вывела, и только они вылупились, с [ней] какое-то несчастье приключилось, кажется, ее дверью задушили нечаянно. И остались цыплята сиротами. Но это заметила кошка, которая с маленькими котятами жила на кухне. Она забрала себе и цыплят, и они грелись около нее вместе с котятами. Кошка была сердитая и никого к цыплятам не подпускала, как наша индюшка с утятами. И когда цыплята выросли, кошка все еще следила за ними и не давала их обижать.

А один из гостей Дружинина рассказывал, что у него был ручной дрозд, который спал на спинке его кровати; когда он болен был и доктор хотел его выслушать и постукать, дрозд рассердился и стал бросаться на доктора, летая над его головой. Кормил он своего дрозда мясом, и когда звал его есть, то дрозд от радости танцевал кругом него по полу, подскакивая на аршин от пола, и бил крыльями по воздуху. Он всюду летал за хозяином, даже в гости, а если его запирали, то часто ухитрялся потом ускользнуть и найти хозяина. Конец дрозда был печальный — его кошка съела.

Слушая эти рассказы, и я рассказал про нашу индюшку, и все решили, что она, наверное, еще ждет, что из уток индюшки вырастут.

Так я провел понедельник.

Вчера с утра был здесь, дома, но успел только прочесть все, что надо было для статьи о Соловьеве.[442] <...> Штруп, между прочим, говорил об Ив[ане] Ив[ановиче], который у него был. И он тоже удивляется тому, что теперь Джон о своей работе говорит, находит, что Джон очень развернулся и вырос. Дай Бог, чтобы Джон кончил работу, так как она теперь у него пошла. <...>

Сегодня с утра писал статью и еле к 5 часам кончил. Завтра утром пошлю к Абелю. Будет бранить меня Сергей Ал[ександрович]. Он хотел, чтобы я в эти 4 дня втянулся в диссертацию — а я ее и не трогал. И статья-то вышла маленькая, так что всего рублей в 25, пожалуй, будет. <...>

Д. 8. Л. 265—268 об.

579

16 сентября

<...> Сегодня встал в 7 ч., разбуженный, вероятно, чувством, что первая лекция не приготовлена. И вчера вечером, и сегодня утром было время приготовить, но я мыслей никак собрать не мог, несколько раз пробовал подумать об этом, но ничего в голову не приходило. Так ничего не приготовил.

Лекцию прочел плохо, мял, мял, еле вывез, случайно попадая на то, что дальше говорить. Хорошо впечатление для начинающих занятия!

После лекции меня поймали две кончившие курсы в прошлом году. Они и несколько их подруг собираются продолжить заниматься по русской истории и для этого войти в исторический кружок, устроенный из кончивших Рождественским. Еще весной об этом разговоры шли, чем и как заниматься. Теперь, чтобы возобновить эти переговоры, решили снова собраться сперва частным образом, и так как у меня только пустая квартира — а надо же их чаем поить! — то я сознался им в своем затруднении, и потому собрание назначено в среду вечером у Побединской, нашей оболенки, кончившей Педагогические курсы. Посмотрим, что выйдет из этой затеи.

На будущей неделе начнутся практические занятия в институте. Только тогда моя преподавательская машина пойдет полным ходом. В субботу получится 7 часов занятий! Везет мне по субботам — ведь так уже было один год. Зато мои два свободных дня уцелеют. <...>

Д. 8. Л. 270—271 об.

1905

580

13 мая*

<...> Два дня прошло с твоего отъезда — и я эти два дня почти дома не был. Вторник с утра до 5-ти экзаменовал на Курсах, потом приехал домой пообедать, а в 7 ч. был в гимназии — на совете, а потом пошел к Адриановым прощаться с Ел[еной] Влад[имировной].

Вчера утром — до 12-ти заканчивал экзамен на Курсах; одна группа еще в субботу будет держать, вместе с репетицией I-го курса. Потом дал 3 урока, а вечером поехал к Тураевой. Ты помнишь, что она получает практические занятия на том курсе — первом, где я буду лекции читать. Надо было с ней сговориться. Мужа ее, весьма симпатичного и интересного, не было дома — и он был недоволен, что меня не увидит; поэтому я обещал прийти еще 19-го. Я рад с ним поближе познакомиться. Это чистая душа и настоящий ученый — специалист по древнему Востоку. От Тураевой я поехал в гимназию Таганцевой на совет. А после совета кутили: Гревс, Лапшин, Адрианов и я пошли ужинать к Альберу. Ивану М[ихайлови]чу так понравилось это занятие, что он назначил нам rendez-vous на понедельник, в 7 ч., в Летнем саду, чтобы пойти на «поплавок» есть раков!

С[ергей] А[лександрович] ночевал у меня и сегодня окончательно водворяется в детской.

Вот тебе моя летопись. <...> Сегодня разберу книги и письменный стол, что мне нужно особо уложить, чтобы потом не искать.

А знаешь — я сегодня не пойду к Таганцевой. Просто подумать противно читать про Аристотеля. Ну что мне за дело — до Аристотеля? На завтра моя группа, с которой я практические занятия вел, звала меня ехать в Юкки. Я не поеду, не хочется. Буду писать статью для Абеля. <...>

Д. 8. Л. 191—192 об.

---

* Несколько следующих писем в архивном деле были ошибочно помещены среди писем 1904 г.

581

16 мая

<...> Вчера я покончил с курсами. Репетиция на I курсе всего 2 часа заняла, потом я там же позавтракал и домой вернулся к трем.

Вечером мы пошли в гимназию Оболенской — на прощальную вечеринку VIII класса. Был и Дюков, с которым мы много поболтали. Его дочка к нам на Пед[агогические] курсы поступает.

С[ергей] А[лександрович] живет у нас, и бабушка очень за ним ухаживает, угощает его, утром он кофе в постели пьет, вообще сибаритничает. Вчера только мы обедать собрались, пришли к нему таганки, так что обедал он после нас. У него большое влияние на девиц; они с ним совещаются о своих планах и делах, из-за его рассуждений 5 кончающих Таганцевскую гимназию идут в Педагогический институт, а не на Бестужевские курсы. Он им разъясняет всевозможные «вопросы», идут к нему, как к своего рода духовнику. Из него хороший ксендз бы вышел. Говорю «ксендз», а не поп, потому что наши попы такими влиятельными руководителями не бывают.

Интересно, что выйдет из его появления на курсах. Говорят, Делянов как-то сострил про анатома Лесгафта, что это тот же Иван Кронштадтский, только от анатомии; боюсь, что из С[ергея] А[лександровича] со временем может выработаться тоже Иван Кронштадтский, только от литературы. Фанатизму и проповедничества у него много. Нужно в университет. Мужская аудитория, менее увлекающая, чем женская, его поставит строже, научнее.

Пришли вести от Голованя. Форстен получил письмо в 28 страниц, начатое в ноябре и продолжавшееся потом по частям. Я еще не видал его. Зайду сегодня, чтобы прочесть. Осенью Головань возвращается в Петербург.

Сегодня Троица. День серый, дождливый. У нас сидит Кульман и занимается русским языком с Адриановым.

Мне надо сегодня повидать Платонова и Форстена. А обедать у нас будут Половцев и Ямпольские.

Пока писать некогда. Мешают. <...>

Д. 8. Л. 193—194 об.

581

17 мая

<...> Я с вокзала поехал к С[ергею] Ал[ександровичу], и мы чуть не до 2-х часов провозились с составлением протокола для Сергея Федоровича.

В воскресенье я, как встал — принялся за летописи и проработал до 3 $^1/_2$ ч. Сегодня я докончил эту работу, то, что в воскресенье и вчера сделал, отнес пачку листов к Скороходову. Одно дело, значит, сбыл с рук.

В воскресенье, по уговору, я обедал у бабушки, но после обеда сейчас ушел, чтобы что-нибудь еще по летописям сделать. Правда, почти нечего не сделал, потому что проспал. А вечером заседание в

Педагогическом институте. Неладно у нас в институте. Что-то фальшивое, узкое и недоброе в его атмосфере. Мне с деловой стороны еще почти не приходилось иметь дело с С[ергеем] Фед[оровичем], а теперь многое неладным кажется. Хорошо понимая суть большого дела в общем суждении о нем, на деле он вносит много формального и мелкого. По-видимому, часто поддается притом настроениям личным и влиянию чужих настроений. Вот и выходит, что талантливый математик Савич — уходит, потому что Пл[атонов] поторопился озаботиться найти ему преемника, когда только слух прошел, что Савичу предлагают кафедру в Электротехническом институте; что приглашает он на место Савича некоего Кояловича, которому порядочные люди руки не подают, очевидно, приглашает потому, что К[оялович] «консерватор». Вообще все приглашения последнего времени носят какой-то тенденциозный характер: все люди своей для Пл[атонова] «партии»; а так как в этой «партии» даровитых людей почти нет, то приглашения выходят сомнительные. Еще хуже, что, напр[имер], приглашен новый ботаник — без ведома Половцева. Как это понять? Половцев, естественно, говорит, что это пахнет желанием от него избавиться. И тут ничего незаконного не было бы, если бы можно было предположить, что речь идет о пользе преподавания, как ее Платонов понимает. Но в данном случае, как и относительно Савича, об этом не может быть речи: дело просто в недовольстве политическим настроением, ибо и новый «ботаник» Палладин из «партии порядка». А если так, то и до нас очередь дойдет.

Ну, поживем, увидим. Торопиться не следует.

После совета, который рано кончился, мы с Адр[ановым], Половцевым и Лапшиным пошли гулять на набережную, проехали на пароходе на острова, поужинали в Славянке. Была чудесная светлая ночь, богатая переливами тонов в сумеречном полусвете. А мы все время спорили о высоких философских материях, которые поднял Половцев. Странная натура этот твой любимец. Такая богатая и крепкая натура, и философия у него тоже крепкая, пожалуй, но такая логически-схематическая, рассудочная, как у средневековых схоластиков. Все ему надо округлить и зачеканить, а так как богатства мира не запрешь в коробку человеческого черепа, то он многое из этого богатства, которое он и видит и любит, просто оставляет в стороне, думая, что это так, временно только, потому что мы еще недостаточно учены, а когда разовьется наука как следует, то и все мировое богатство покорится лабораторному анализу. Типичный естественник, и ничего с ним не поделаешь. А хороший он, прямой, ясный и интересный, но с Сер[геем] Ив[ановичем] теплее. <...>

В понедельник я никуда не выходил и работал до 7 часов. Заходили ко мне Гревс и Миша. По счастью, оба сразу, так что не очень помешали. Ив[ан] Мих[айлович] заходил, чтобы уговориться окончательно о лекциях в VIII кл[ассе]. Поэтому я сегодня сбегал к Таганцевой, попал на экзамен русской литературы (которая преплохо преподается у них, много хуже, чем у нас) и позавтракал с ними. Ну, конечно, всякие любезности и от Люб[ови] Ст[епановны], и от Ив[ана] Мих[айловича].

Теперь опять я дома, в пустоте и принимаюсь за статьи для Яновского.

А вчера вечером было собрание «группы» у Бороздина. Было скучно и неприятно, п[отому] что все, что связано с институтом, подернулось тою фальшью, о которой я писал выше. Назад пошли пешком: Кульман, Адрианов и я. <...>

Как я далеко от вас! Там тишина, свежий воздух, зелень, сирень и каштаны цветут; детки на приволье, все им кругом интересно. Тут жарко, день и ночь у меня окно открыто, шумно, пусто и скучно. Но, по счастью, пока работается мне легко и спокойно. А это теперь главное, потому что дела много. Завтра репетиция у оболенок, и, должно быть, не последняя — придется еще одну назначить, а то очень уж их много.

А как Мих[алина] Мих[айловна]? Как тебе с нею, даст ли она тебе отдохнуть или будет приставать и утомлять по старости лет и беспокойству характера? Боюсь, что второе неизбежно, и портит мне мысль, что вам лучше там, в деревне, чем здесь, в городе. <...>

Д. 8. Л. 272—275 об.

582

19 мая

Какие ужасы, дорогой Юлек! Флота нашего нет. Рождественский в плену, раненый. 4 наших броненосца теперь увеличили и усилили японский флот.[443]

Конечно, ждали мы тяжелых потерь, но была какая-то наивная вера в Рождественского, точно один человек что-ниб[удь] может сделать! Ведь самое ужасное то, о чем пока не публикуют, то, почему несколько сильных судов сданы в плен. Эскадра пошла в путь с отчаянно-плохим составом команд, иногда сплошь из запасных. Офицеры-моряки говорили, уходя в море, что в пути они с этой сволочью справятся, но только при помощи самой жесткой дисциплины, а что на деле будет, Бог весть. И до нас доходили слухи о случаях побега с судов, о расстрелянии матросов...

В эскадре Рождественского достигли того, что к бою приготовились. А у Небогатова, который и сам не Рождественский, и шел прямо, не имея времени на муштровку команд, которой Рожд[ественский] занялся у Мадагаскара, дела были хуже. И вот во время боя, говорят, разыгрался бунт; говорят, Небогатова связали и выкинули белый флаг; говорят, что Рождественский ранен не японским выстрелом.[444] Были бунт и измена. Об этом не публикуют, но «Русь» сегодня (№ 131) напечатала статью, в которой говорит о бунте, хоть и осторожно. Деморализация военных сил огромная. Известие о разгроме эскадры произведет страшное впечатление и в армии Линевича. Война — кончена и по нашему мнению, и по мнению всех заграничных газет.

Наши газеты, даже такие как «Нов[ое] время» и «Слово», кричат: «довольно», больше нельзя так, надо передать правление в руки представителей народа!

Дай Бог, чтобы этот разгром, как Севастопольская кампания, как война 1870 г. для Франции, был для нас залогом внутреннего возрождения. И так будет, не умирать же России! Ходил слух, что Рожд[ественский] застрелился, но сегодня из Японии сообщают, что он — в японском госпитале.

Люди гибнут, государство колеблется в основаниях, а жизнь идет, — и у меня спокойно, в мелкой работе. Вчера Г[еоргий] В[асильевич] вздумал устроить «субботу» для «своих». Были только Ел[изавета] Ник[олаевна], В[алерий] В[икторович], Ив[ан] Ив[анович], Адрианов, Миша и я; потом вернулся из театра Леннард Вас[ильевич].

В[алерий] В[икторович] и Г[еоргий] В[асильевич] пели; он был в ударе, как всегда, когда нет «чужих». Около часу стали уходить, а Г[еоргий] В[асильевич] предложил поехать на острова. Поехали, пристроив В[алерия] В[икторовича] к Ив[ану] Ив[ановичу], а мы с С[ергеем] А[лександровичем], а Миша — один. Там много гуляли. Теперь светает уже после 2-х ч. Ясно, тихо, тепло, кругом свежая зелень. Ив[ан] Ив[анович] накупил роз «дамам», за что его единодушно дурнем обозвали, но было хорошо, хотя грустно, не знаю почему, из-за Рожд[ественского], из-за Адр[ианова] или потому, что мне теперь все время грустно... <...>

В субботу у меня еще последняя репетиция и совет в гимназии, а там «дела» покончены. Останутся только писания. <...>

Погода у нас стоит отличная. И в Петербурге каштаны цветут — у Шереметева в саду. Дай Бог хорошего лета в Домброве. Хотелось бы поскорее выбраться, а то тут тоска. И все кругом такие нервные, утомительные и утомленные. Лучше всего одному дома, когда пишется.

Теперь стряпаю «по Платонову» биографию Бориса Годунова, которую надо написать так, чтобы она была не моя, а его, чтобы он и подписал. Напишу и свезу ему на просмотр и к подписи.[445] Интересно с ним повидаться и поговорить, а то что-то между нами стало. Надеюсь, что это «что-то» прояснится и хоть отчасти рассеется. Пока прощай, не тужи, что письма мои такие внешние, иначе не выходит. <...>

Д. 8. Л. 195—197 об.

583

22 мая

<...> Сегодня утром С[ергей] А[лександрович] показал мне твое письмо, и к нему ты пишешь, что боишься, как бы у вас не разразились рабочие беспорядки до моего приезда. Все это меня напугало. и я думал было все бросить и уехать. Но С[ергей] Ал[ександрович] по обсуждении моих дел уговорил меня этого не делать, потому что те обязательства, в которые я впутал себя и нескольких сотрудников, потребуют исполнения. <...>

И зачем это я связался с Абелем! Ведь только это меня и держит. Сегодня я отнес Платонову статью, которую он должен поправить, подписать и напечатать как свою. Если он, просмотрев ее, откажется, позиция моя будет глупая. Надеюсь, что он этого не сделает. Оба Платоновы очень тебе кланяются. Я попал к ним на завтрак, а потом сижу дома и пишу «Филарета».[446] Буду торопиться, насколько могу, чтобы отделаться от этой проклятой работы. <...>

Л. 200—201 об.

584

22 мая

<...> В четверг утром подает мне Аким карточку: «Мар[ия] Ал[ексеевна] Александрова» и говорит, что просят сойти вниз. У подъезда на извозчике: М[ария]А[лексеевна] и ее сестра. Она только что приехала и прямо к нам, чтобы узнать, кто в Петербурге, и сговориться, как повидаться. М[ария]А[лексеевна] сильно постарела, осунулась, нервная и усталая. Но, как верно заметил Г[еоргий] В[асильевич], она теперь больше похожа на прежнюю М[арию]А[лексеевну] курсистку, чем на приезжавшую в прошлый раз генеральшу. 15 месяцев она жила одна в Хабаровске, так как муж ее — в действующей армии. Теперь она уехала оттуда совсем, распродав все вещи и ликвидировав все отношения, и будет ждать конца войны здесь. Тогда выяснится, что дальше будет с ее мужем и где им придется жить. <...>

Мар[ия] Ал[ексеевна] мало рассказывает интересного о делах военных, много бытового о жизни на Дальнем Востоке. О Линевиче судит как о боевом старичке, далеко не выдающемся, который как командующий ниже Куропаткина в глазах тамошних военных. Теперь ждут нового наступления японцев, и, по-видимому, никакой надежды на успех в нашей армии нет. А отступать теперь почти некуда, потому что за той позицией, где войска теперь, идут пустые пространства и до Иркутска нет ни укрепленных позиций, ни удобных мест для остановки... Вечером вчера мы опять были у Мар[ии] Ал[ексеевны]: Г[еоргий] Вас[ильевич], Елиз[авета] Ник[олаевна], Платоновы, С[ергей] Ал[ександрович] и 2 офицера. Миша и Ив[ан] Ив[анович] не пришли, чем всех очень огорчили. Г[еоргий] Вас[ильевич] был в отличном настроении, много говорил, рассказывал про свою старую жизнь, про своего покойного сынишку. <...>

Как видишь, я много кучу. Вчера много отняли времени, потому что вытащили меня днем. Но все-таки я кончил биографию Годунова и завтра днем снесу ее С[ергею] Фед[оровичу] на просмотр. Сегодня трудно его поймать. Да и у меня сегодня много дела. В 12 ч. репетиция в гимназии, потом пойду в институт получить деньги, оттуда в контору Герарда и Гея заплатить Фоксу, затем к бабушке обедать, а в 7 $^1/_2$ надо быть в гимназии, чтобы перед советом проэкзаменовать двух учениц. Это последний мой деловой день. Потом останется написать 2 статьи, выяснить, что сделали мои «сотрудники», сдать, что можно, в печать и — ехать. Надеюсь, что в неделю справлюсь, хотя не уверен в этом. <...>

Д. 8. Л. 202—204 об.

585

25 мая

<...> Когда выеду, еще не знаю. По-видимому, действительно не удастся уехать раньше среды, 1-го. И мои собственные статьи держат: надо не 2, а 3 написать, как оказалось, да и от других едва ли я

раньше соберу. Но позднее я оставаться не намерен и думаю, что это вполне возможно так устроить. <...>

На панихиде по Ел[ене] Вл[адимировне] я не был.[447] На выставку портретную с Мишей не пошел. У Манизер тоже не был. <...>

Дела политические — хуже худого. Ждем на суше большого сражения, разгрома армии. Ждем реакции во внутр[енней] политике. Булыгин ушел, кто на его место, неизвестно.[448] Газеты называют Танеева, но, по слухам, он не решается. Трепов обратился в министра полиции, с такими широкими полномочиями, что не поздоровится всей матушке России. На место Ламсдорфа прочат бывшего министра юстиции Муравьева. Все это дрянь на дряни. <...>

Д. 8. Л. 277 об.—278 об.

586

26 [июля]

Дорогой Юлек, получила ли ты уже Манино письмо — с известием, что у бабушки определили рак? Был консилиум, был пр[офессор] Афанасьев, и решили, что рак. Во время консилиума опухоль еще не прощупывалась, но третьего дня Соловьев сказал, что она быстро развивается. <...> Бабушка ничего не знает о раке, тем более, что пока болей вовсе нет; как в отношении болезненности будет далее, сказать трудно, все зависит от формы опухоли в дальнейшем развитии, т. е. от того, какие она нервы захватит. Толкует бабушка о возвращении в Петербург. Папа объясняет это тем, что, сознавая близость конца, она не хотела бы умирать у Ефремовых, чтобы уменьшить Кате «хлопоты». Это возможно, совсем в ее духе. <...>

Соловьев нашел, что процесс идет быстро, но это, по его объяснению, значит, что месяца 1 $^1/_2$ протянется, едва ли больше. Мне, конечно, раз я приехал, уезжать нельзя, стало быть, всего вероятнее, что я уже вовсе не попаду в деревню. Что касается до дальнейших планов, то папа мне ничего не сказал, а от Тони я случайно узнал, что существует проект выписать из Москвы папину сестру, Софью Львовну, и поселиться с нею и Женей на новой квартире. <...> Мне лично этот план представляется удачным. Тетя Соня человек умный и хороший, с характером и выдержкой.

<...> Бабушка была рада мне, спросила, надолго ли я? Сказал, что на 2—3 недели. Она расспрашивала о детях, о том, какая погода, поговорила 2—3 минуты — и устала, сама отпустила меня. Раза три в течение дня я так заходил на минутку к ней. Ей даже свет утомителен, попросила опустить занавеси. <...>

Поселюсь в кабинете, возобновлю сношения со Скороходовым, чтобы что-нибудь заработать с Комиссии на осень. Попробую работать. <...>

Бабушка вполне все помнит, и то, что она мне говорила, показывает, что у нее в памяти все мелочи моих писем. Она продолжает заботиться и распоряжаться — о переезде, о денежных расчетах и пр. <...>

Д. 8. Л. 279—282

587

[27 июля]

<...> Мы порешили, что в четверг придут артельщики упаковывать вещи, а в пятницу перевезут их на новую квартиру. <...>

А между тем нельзя сказать, чтобы уход за бабушкой был удовлетворительный. Катя часто отрывается детьми и домашними делами, Вениамина целый день дома нет, прислуга занята — и бабушка лежит одна, так что если позвать или позвонить, то сплошь и рядом — некому услыхать. Сегодня с утра я тут: сижу с корректурами в гостиной, прислушиваюсь и поминутно заглядываю к бабушке. Слаба она страшно. <...> Сознание и память совершенно свежие, иногда она поговорит о том или другом, но и минута разговора ее утомляет. Я не знаю, может ли так тянуться долго. Но неопределенность ожидаемого вызывает недоумение, приезжать ли тебе, приезжать ли Наде? Появление вас тут, вероятно, встревожит ее, и она будет негодовать, что из-за нее приехали, оставили детей и т. д. По-видимому, таково ее настроение. Мой приезд она, по-видимому, в самом деле приписала занятиям. <...>

Д. 8. Л. 283—284 об.

588

30 июля[449]

<...> Вчера мы с 7 ч. утра занялись переездом. Я до пяти был у папы на старой квартире, наблюдая за отправкой, а Маня принимала и распределяла вещи на новой. Так целый день прошел. <...>

Я сегодня ночевал на Пороховых. В 12 ч. приехал Боря из лагеря, через кухню пробравшись, чтобы никого не будить, в комнату, где мы с ним помещаемся. Он очень сильно загорел, окреп и возмужал; лагерная жизнь идет впрок. К понедельнику он должен вернуться в лагерь на «царскую» стрельбу, а вечером в пон[едельник] их, вероятно, отправят, до начала занятий в училище. <...>

Д. 8. Л. 287 об.—288

589

7 сентября

Дорогой Юлек, два дня как я в Петербурге, два дня суеты, разговоров, петербургской жизни, нервной, сложной, путаной! Люди, «вопросы», «дела», уроки, заседания и т. д., и т. д., совсем как в пушкинском описании Москвы: «мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри» и т. д. После долгого деревенского спокойствия просто сумбур какой-то. И письма-то я тебе до сегодня не мог написать, а теперь столько материалу накопилось, что не знаю, как это все уложить. Впрочем, на это у меня «летописный» способ есть: писать по порядку времени. <...>

В институте еще далеко не кончена внутренняя отделка, но 12-го будет заседание совета, а 15-го начнем лекции. Пока, вероятно, что мои часы будут по утрам в понедельник и среду. Из института, где я и деньги получил, отправились мы с Ив[аном] Ив[ановичем] к Таганцевой. Тут встретили Сазонова и Гревса, которым я почему-то обрадовался и с ними расцеловался. С Таганцевой согласились, что я буду читать в 8 классе по понедельникам от часу до трех.

Тут мы с Ив[аном] Ив[ановичем] расстались, и я отправился к Абелю. Он обещал сегодня прислать деньги; кроме того, они напечатали наконец в «Вестнике» мою статью о Татищеве, которая у них уже год пролежала.[450] Это та корректура, которая съездила в Ковно и вчера вернулась ко мне, хотя я уже ее раньше здесь исправил. Статья появится в следующем номере. <...>

У Мани я узнал, что Женя поступила в гимназию Стоюниной и живет у папы. <...>

От папы я поехал к Форстену, поговорить о делах моего преподавания, насчет учебника для 5-го класса, туда и Головань пришел. Г[еоргий] В[асильевич] в 7 ч. уехал в университет, выбирать ректора (но окончательно выберут сегодня, интересно, кого!), а мы с Голованем пошли к Адрианову.

Головань получил уроки в Царском, в частной женской гимназии. <...>

Вот какие дела. Пока трудно угадать, какие именно. Теперь потерять некоторый лишний доход было бы некстати, ввиду дворцовых дел. Я еще не знаю, чем кончится у меня со дворцом, но думаю, что, наверное, Кеппен пожелает от меня избавиться. <...>

Д. 8. Л. 289—293 об.

590

8 сентября

<...> Дела в гимназии, кажется, удастся уладить. Г[еоргий] В[асильевич] уже получил от самого Шохора сообщение, что тот остается, а что касается наших планов изменить некоторые порядки в гимназии, то Г[еоргий] В[асильевич] этим очень заинтересовался и хочет сообща с нами обсудить дело. Главная мысль этих перемен в том, чтобы гимназия стала учреждением, которое имело бы свои отдельные счета и свой капитал, в который бы отчислялась бы часть из доходов, словом, чтобы велось правильное хозяйство, не зависящее от домашнего хозяйства Мещерских. Вероятно, в воскресенье мы соберемся, чтобы потолковать об этом при участии Г[еоргия] В[асильеви]ча .

Вчера утром, когда я отправил тебе свое первое письмо, пришел С[ергей] А[лександрович] за книгами. Он объявил в университете очень интересный курс — «Историю русского идеализма» от масонов до славянофилов, а в институте должен читать древнюю русскую литературу. Теперь он работает, подготовляя курсы, а также печатая летописи.

<...> Снес объявление о 40-м дне[451] в «Новое время». Сегодня оно напечатано. Вечер вчера провел у Адрианова, где собрался наш «политический» кружок. Были Половцевы, Сазонов, Лапшин, Полиевктов и еще один институтский химик, Верховский. Много толковали

о «Положении о Г[осударственной] думе» и о выборах. Сегодня собирается группа преподавателей института, чтобы приготовиться к конференции 12-го. Словом, каждый день что-нибудь!

Так проходят день за днем. Сегодня праздник, сижу днем дома, обедать пойду к С[ергею] Ал[ександровичу]. У меня лежат 2 листа корректур от Скороходова — сейчас ими займусь. <...>

Д. 8. Л. 294—296

591

11 сентября

<...> А у меня дни по-прежнему идут в невероятной суете. Такая тут каша всюду заваривается, что и не продохнешь.

Последнее письмо я отправил тебе в четверг. Вечером в четверг у нас было собрание институтской «группы», и мы узнали, что можно опасаться волнений в институте, если у нас, как везде, не введут автономии. Историко-филологический институт уже разволновался по этому поводу, и там 3 дня не было лекций. Не знаю, как там уладят, но нам надо предупредить всякие истории. Наша группа, конечно, понимает, что заменять Платонова выборным директором по условиям, в которых находится институт, невозможно. Но можно устроить выборных деканов и вообще изменить внутреннее управление института так, чтобы мы сами наши дела решали, не ожидая на каждый случай приказаний из Мраморного дворца. Решили обдумать это и переговорить с Платоновым. А вчера, когда мы снова собрались, оказалось, что Гримм уже переговорил с Платоновым и узнал, на какие уступки он согласен. Обсудив дело, группа послала к Платонову сегодня трех: Половцева, Гримма и Адрианова — интересно, на чем они столкуются. Завтра на конференции института официально будет сообщен ответ В[еликого] князя, с которым Платонов сегодня переговорит.

Очень я рассчитываю на дипломатическое искусство С[ергея] Фед[оровича] — но и побаиваюсь поведения В[еликого] к[нязя]. Он только что разослал по военно-учебным заведениям циркуляр, предлагающий преподавателям вести дело «в строго-консервативном духе», внушая ученикам уважение к ныне существующему порядку. Что если он ляпнет что-нибудь подобное в институте? Положение будет скверное.

Я писал тебе, что у нас в гимназии тоже заварилась каша из-за Шохора-Троцкого. Я был уже совсем уверен, что ее удастся расхлебать в согласии с Г[еоргием] Вас[ильевичем], но вчера на субботе убедился, что Г[еоргий] В[асильевич] очень раздражен и примирительные его разговоры с С[ергеем] А[лександровичем] и Лесгафтом были не совсем искренние. Ну, поживем — увидим.

Все это треплет, волнует, утомляет. <...>

Вчера была первая суббота. Собрались все «свои» — и неожиданно появилась Е. М. Леванда. Она взяла из гимназии отпуск на год и едет за границу. На вид она такая же, как была, только как будто посмирнее стала и похудела. Была и Мар[ия] Ал[ексеевна], весьма разряженная. На субботе было невесело. Г[еоргий] В[асильевич] нервничал и был зол и натужно-весело любезен. Зато искренне счастлив был

Головань, который все восклицал: «Как хорошо так вернуться!». «Так» значит к Г[еоргию] В[асильевичу] — в атмосферу науки, искусства, серьезной музыки. Для Голованя это — все. Милый, славный Голованчик!

По поводу того, что я видел Над[ежду] Ник[олаевну], С[ергей] А[лександрович] рассказывал мне про нее, что она совсем растерянная, ничего не понимает и ничему не сочувствует из творящегося ныне в России. Даже с С[ергеем] Фед[оровичем] она во многом расходится, и это ее удручает. Он все-таки кое в чем шире и терпимее ее. Я его еще не видал, как не видал ни Манизера, ни Шеффера. <...>

Д. 8. Л. 297 об.—300

592

13 сентября

<...> А я, как вечный жид, мечусь по городу. В институте была конференция вчера, и Вел[икий] кн[язь] разрешил собрать совещание преподавателей, чтобы разобраться в положении служащих и слушательниц в институте. Платонов был настолько предупредителен, что предоставил нашей «группе» выбрать день совещания, и мы назначили четверг. У нас с Пл[атоновым] предварительное соглашение, главная суть которого, что каждое отделение выберет себе декана (думаем, Форстена), а кроме того, будет «сенат», который будет выбирать преподавателей и вообще более деятельно участвовать в управлении институтом. А состоять он будет из директора, начальницы, 2-х преподав[ателей], назначенных В[еликим] к[нязем], и 12 — выбранных нами, по 6 от отделения, не считая 2-х деканов.

Но, признаться, мало надежды на спокойные занятия в этом году. Социал-демократическая и социал-революционная агитация среди молодежи идут вовсю, настроение неопределенное, но тревожное. В университете идут сходки, которые, однако, пока спокойны. Не знаю, что сегодня будет. Сегодня состоялась общая сходка 3000 студентов, но что на ней происходило, я не знаю. В гимназии инцидент улажен. Г[еоргий] В[асильевич] в воскресенье пришел на собрание преподавателей у Адрианова, очень хорошо поговорил с ними и взялся передать княгине, что Шохор вернулся в гимназию только по просьбе товарищей и что товарищи эти считают ее неправой в этой истории. Княгиня ответила, что готова принять «порицание», но считает справедливым, чтобы такое же порицание получил и Шохор за то, что отказался от уроков не весной, как это принято, а осенью, поставив этим гимназию в трудное положение.

Я писал тебе, что получил письмо от Булгакова и что мне надо повидаться с пр[офессором] Духовной академии Карташевым. Я был у него в воскресенье и не застал. Вчера получил от него письмо, что он сегодня меня ждет. Надо будет пойти. От Карташева я прошел в Лавру: увы, каштан исчез, по-видимому, его украли, а садовника я не нашел, его на кладбище не было. Вчера я начал лекции у Таганцевой, а с понедельника начнется и институт, тогда машина полным ходом пойдет. Ко всему, что я предпочел, прибавились еще 2 часа для кончивших курс и классных дам, которым я буду читать историю царствования Александра II, Ив[ан] Ив[анович] — историю новой философии, С[ергей] Ал[ександрович] — новейшую литературу, М[ихаил] Ал[ександрович] — историю русского искусства. Можно утешиться тем, что за это 20 р. лишних прибавится. <...>

Д. 8. Л. 301—303

593

14 сентября

Вчера, мой дорогой Юлек, я был у Шеффера. Он встретил меня сообщением большой новости, что он отказался от службы у Вел[икого] князя. Не вынес он того, что канцелярско-придворная служба его совсем топит, лишая возможности не только работать, но хотя бы следить за своим предметом, вырывая его из среды умственных интересов, которые ему дороги. Как он устроится, еще не ясно. Год, может быть, два, он может продержаться и без заработка, так что время для устройства есть. Преподавание ему не очень улыбается, т. е. гимназическое; он думает, что поздно начинать. К ученой работе и университетскому преподаванию он относится нерешительно, думая, что слишком отстал и что теперь ему не стать опять на эти рельсы. Я надеюсь, что последнее настроение у него пройдет, когда он вздохнет свободнее. Сразу бросать дела ему невозможно, и до января, а может быть, и до весны придется еще оставаться в связи со двором. У Шеффера пообедал и потом поехал к проф[ессору] Дух[овной] академии Карташеву. Это молодой, очень молодой человек, горячо увлеченный идеей приближающейся на Руси церковной реформы. Для него эта реформа должна быть — не внешним преобразованием некоторых сторон церковного управления, а настоящей идейной религиозной реформацией. Он считает ее приближающейся и хочет идти ей навстречу, боясь, что затопят идейную сторону дела мелкая политика и заботы о нуждах житейских, будничных нуждах духовенства. Чтобы служить этому делу, он, чувствуя свой разлад с монашеско-поповской Академией, отказался от профессуры, ушел из Академии.[452] Его мечта создать новый орган, еженедельную церковно-реформационную газету, и, в союзе с Булгаковым и какой-то группой лиц, это дело начато, хлопочут о разрешении. Моя статейка понравилась им, потому что они рады были встретить вдруг, со стороны, выражение родственных мыслей. Булгаков не написал мне правду. Дело в том, что журнал «Вопросы жизни»[453] умирает по недостатку подписчиков и, вероятно, прекратится. А их мысль о новом журнале, и мою статью они хотят пустить в первых номерах как программную и боевую. Странное дело: я рискую случайно попасть в застрельщики русской религиозной реформации! Это «занятно», но грустно. До какой степени нет людей, до какой степени некому писать то, что надо теперь! Поговорив с Карташевым, я взял у него свою статью назад и возвращу ему ее в виде 2—3-х отдельных статеек меньшего, возможного для газеты размера.[454] Мне это дело интересно и симпатично, хотя лишний раз заставляет меня переживать чувство, что «бодливой корове Бог рог не дает». Тут нужен талант, сильная мысль, горячее слово. <...>

Я пишу так много о Карташеве, потому что он взволновал. Его горячая искренность почти до энтузиазма трогательна, нестерпимо трогательна. И рядом у меня горькое чувство, что этой искренней душе — предстоят сильные разочарования. И то, что он цепляется за меня, и то, что среди сотрудников он считал и нововременского талантливого, но полусумасшедшего и неопрятного Розанова и поверхностного журнального болтуна Волжского, заставляет меня думать, что из нового журнала едва ли что выйдет. Что я обещал, исполню, но веры в затею у меня нет. Я убежден в большой и серьезной необходимости той реформации, о которой мечтает Карташев; это моя старая мысль, о которой мы с С[ергеем] Ал[ександровичем] не раз толковали. Но мы могли бы служить ей в виде третьестепенных помощников крупного человека, который имел бы силу взяться за дело. Но такого нет, а когда он явится — мы ему нужны не будем.

Вечер я кончил у Адрианова. Тут узнал, как скверно обстоят дела высших учебных заведений. Я уже немного писал тебе об этом. Дело в том, что студенчество повсюду стоит за открытие учебных заведений, но не для занятий, а, как они выражаются, «в целях революционной тактики». Весною, когда в Петербурге затихли волнения, молодежь и агитаторы объясняли, что это потому, что с закрытием высших учебных заведений разъехалась масса молодежи, а с исчезновением этих дрожжей — затихло и брожение. Теперь хотят открытия учебных заведений, чтобы снова «сконцентрировать силы студенчества».

Вчера была огромная сходка в университете и прошла внешне спокойно, хотя собрались кроме студентов университета и курсистки, и студенты других заведений. Сходка была сравнительно спокойна, но тон ее — резко политический. Тучи собираются, и быть грозе. Устоит ли наш институт, как надеется Сергей Фед[орович], — в этом мы сильно сомневаемся.

А деспотизм Трепова разрастается до нелепых размеров. М[инистер]ство юстиции, как рассказывал у Адрианова Алекс[андр] Вячесл[авович], как оно ни приучено к покорности перед полицией, с трудом пробует иногда отбиваться от утомительно-бесконечных требований Трепова, который за то обвиняет юристов в потворстве революции. По делам крестьянских беспорядков арестуют в какой-ниб[удь] местности несколько сот человек; суд найдет улики против какого-ниб[удь] десятка и остальных приказывает освободить. Но по телеграмме губернатора Трепов в таких случаях, пользуясь положением об усиленной охране, приказывает всех оставить под арестом. И это везде. В настоящее время больше 80 тысяч сидит по тюрьмам по делам политическим. Идет российская революция, идет шатаясь, тяжелой поступью, идет и напирает. Не месяцами, а годами будем считать ее путешествие. Никто ее не остановит. Пока она только раскачивается и медленно подвигается. Года пройдут, пока мы увидим, если вынесем эти года, куда она нас ведет. <...>

Д. 8. Л. 304—307 об.

594

18 сентября

Милый, дорогой мой Юлек, только что получил письмо твое, которое не могло меня не встревожить. Если с такой остротой разрастается ковенская смута, если и в городе, и на шоссе чем дальше, тем менее безопасно, то нелепо ждать, пока станет еще хуже. Если бы я был хозяином наших дел, то увез бы всех не медля. Собственно, надо бы мне поехать за вами, хотя и трудно обрывать здешние только завязавшиеся занятия.

<...> Эти дни и свободного времени, чтобы спокойно подумать о себе и своих делах и написать сосредоточенно, — не было. Ведь суета эта и настроение всякое издергивает, снаружи внутрь проходит, тревожным, тоже суетливым настроением отравляет и душу, и мысль разменивает на мелочи, притупляет. Вот эта зависимость от внешнего мира и его среды, эта принужденность откликаться на то, другое, пятое, десятое отнимает человека у самого себя, <...> ставя поперек жизни нашей какие-то ненужные, мешающие ей стенки.

А суеты было много. Я только что пришел домой, целый день не был сам с собой и пишу под чувством, что через час меня опять ждут. <...> Сегодня утром надо было поехать к Гримму по делам института. В институте дело налаживается, благодаря нашему соглашению с Платоновым, и реформа будет исполнена, хотя не без трений и неприятностей. Завтра там опять заседание по этому делу. Занятия в институте начнутся 22-го, но ходят слухи, что и у нас дело начнется сходками.

Вчера, т. е. в субботу вечером, мы собирались у Адрианова потолковать о делах учебных заведений. Картина неутешительная. Революционное настроение сильно, хотя занятия, по-видимому, начнутся, но едва ли надолго. Кое-что, что мы тут узнали и сообразили, надо было сообщить Гримму.

От Гримма прошли к Шахматову. Вот оригинальный человек! Чтобы отдохнуть и успокоить свои нервы, он целое лето изучал мордовский язык и по деревням записывал мордовские песни и предания, которых теперь печатает целый том.

А вчера после уроков я поехал к Лаппо-Данилевскому, который прислал мне письмо, что ему надо меня видеть, у него я и обедал. M-me Л[аппо]-Д[анилев]ская много расспрашивала про тебя и детей. А[лександр] С[ергеевич] потребовал меня по делам Историч[еского] общ[ества]: хочет возобновить заседания, пока это возможно. Настроен и он довольно пессимистически. <...>

В пятницу — уроки, обед у Адрианова. Вечером был дома, но пришли Ив[ан] Ив[анович] и Сер[гей] Ал[ександрович], просидели весь вечер. Так время уходит, в вечной суете. <...> Нет уменья, нет силы вырваться, уйти в себя, сосредоточиться. <...> Мне нужно верить, что мы дружно победим все, что сбивает с важного пути нашу жизнь — что это не в корне, а только на поверхности ее, этой жизни нашей, лежит. <...>

Д. 8. Л. 308—310 об.

595

11 мая

Дорогой Юлек, сегодня рассчитываю найти у себя дома твою открытку. Как-то вы доехали? И какое там настроение? В Ковне бурлит, убийства все повторяются. Аграрное движение по Руси разрастается. Как-то там, в Домброве?

Я пишу у папы, где поселился. Тоня уехала к брату. Лиза вступила в хозяйство.

Во вторник я полдня потерял с папой, пока отправил его и Лизу сюда. Потом побывал в редакции, поспал дома, пообедал у Гревса и оттуда пошел к Адрианову, где был только Штруп. Вчера в среду — был экзамен в VII кл[ассе] в гимназии Оболенской, прошел сносно, но очень меня утомил, так что я, забежав на минутку в редакцию, пошел домой и лег спать, а потом отправился к папе обедать и тут остался, почитывая кое-что. Я еще надеюсь на этих днях наладить себя на какую-нибудь работу, на писание того, что заказано. Политическая жизнь наша принимает такой путанный характер, что мое общественное настроение становится все более безнадежным до того, что даже настоящий интерес падает. Хотелось бы уйти от нее куда-ниб[удь], уйти в себя, сосредоточиться, а на это не хватает силы, потому что чувствую себя усталым, разбитым. Для газеты я бесполезен, не понимая, что и как писать о политике. Хоть бы выгнали.

Завтра и послезавтра — утром репетиции в институте, днем завтра еще одна в гимназии. А по вечерам 2 заседания подряд в институте. Эти два дня опять пропадут, но с воскресенья я свободен.

Судьба адриановской столовой,[455] кажется, разрешится сама собой, так как безработных в большом количестве высылают из Петербурга. Адрианов в таком состоянии, что я не удивлюсь, если он впутается в какую-либо революционную историю и сломает себе шею. <...>

Д. 9. Л. 1—2 об.

596

Четв[ерг], 11-го
вечером

<...> На душе у меня тревожно. Не в революции дело, в грубо нарастающей волне хулиганства. Чуется в воздухе дикая, нелепая анархия. И в Петербурге собирается гроза... В Гвардейском офицерском собрании — какие-то черносотенные митинги офицеров с угрозами против Думы. Полиция запрещает собрания, созываемые кадетами, и со странной любезностью разрешает бурные митинги социал-демократов, где бранят кадетов и клевещут на Думу. Трогательный союз Трепова с революционерами. Трепов все больше выступает на первый план. Он дворцовый комендант — правая рука придворной шайки. От него ждут «спасения». А он шушукается с гвардией и обменивается любезными телеграммами с черносотенными компаниями,

которые снова появились в разных городах под знаменем, на котором написано: бей жидов и кадетов...

Все это донельзя грязно и презренно. Но наделать безобразий и ужасов они могут. Своей власти они не восстановят, но зальют Россию морем разнузданного хулиганства.

И на этот раз немцы будут правы, если скажут: «echt russisch!»* Дума... С нею тоже творится что-то неладное. Дошло дело до аграрного вопроса, и по этому поводу идет, как выразился М. М. Ковалевский, ее «расслоение». Среди «кадетов» некоторые готовы изменить «партии» и уйти из нее. Разногласия между «кадетами» и «трудовой группой» усиливаются. Большинство поляков тянется на сторону правую, к Гейдену, Стаховичу. Что изо всего этого выйдет — увидим... Кое-что увидим завтра, ибо будет ответ на адрес. Ответ ожидается дерзкий, иронический, который Думу возмутит. И я так полагаю, рассердившись, она лопнет.

Кажется, не усталые нервы, а действительность подсказывает мне такие мысли. <...>

Из Петербурга усиленно высылают безработных, которым приходится бросать здесь семьи, конечно, без всяких средств. Ожесточение в рабочем люде нарастает до крайности. Но что из этого? Это крайность отчаяния, а не силы. Силы нет у них — и если поднимутся, то только на погибель. На это и рассчитывает Трепов, очень довольный московской историей. Вчера в Петергофе обедало у государя несколько офицеров, громивших Остзейский край, и эти «герои» получили георгиевские (!) кресты.[456]

Россия попробовала выйти на путь приличной государственной жизни. Но наш старый порядок такая огромная скотина, что грозит, разлагаясь, задушить Россию в грязи.

Пишу тебе письмо, точно статью в революционный листок. Очень уж угнетающие впечатления принес сегодняшний день...

На «Страну»[457] я для вас подписался. Вышлют №№ с 1 мая. <...>

Д. 9. Л. 3—4 об.

597

Понед[ельник], 15 мая

Дорогая Юля, я сегодня говорил с Платоновым о поездке за границу. В даровой паспорт тебя вписать нельзя, и я беру просто отпуск для обычного паспорта. <...>

О том, как окончательно определятся мои занятия в институте, я на этот раз с ним не говорил. В пятницу я опять его увижу, тогда спрошу поточнее. В пятницу эту у нас опять заседание с епископом и попами о постановке закона Божьего. Выгадаем мы немного — всего на один час сбавим ему времени, но, по крайней мере, выживем Дернова и заменим его более приличным законоучителем. Таганцева пробует склеить что-ниб[удь] — набирает новых учителей... Но все это меня, признаться, мало интересует.

---

* Истинно по-русски! (*нем.*).

А что меня — интересует? Не знаю. Хотелось бы заняться чем-ниб[удь] своим, научным, сосредоточиться, оторваться от мучительной суеты. Хотелось бы уехать отсюда. А надо писать, что заказано. И ведь все равно ничего не выйдет! Как мы тогда вывернемся с долгом хотя бы Мих[алине] Мих[айлов]не? <...>

Да: Дьяконов взял с меня обещание, что я прочту курс по русской истории на тех курсах, которые они устраивают в гимназии Стоюниной. Я согласился на 2 ч., в том расчете, что это несколько возместит мне то, что я, вероятно, потеряю в институте. <...>

Д. 9. Л. 5—6 об.

598

[Без даты]

Дорогой Юлек, вчера я был у Миши, и он мне составил Rundreise:* Эйдкунен, Берлин, Кельн, по Рейну до Франкфурта, Нюрнберг, Мюнхен, Лейпциг, Берлин, Эйдкунен.

Билеты в III кл. — 60 р., а если ехать из Вержболова в Берлин — ночью, то 2-й класс спальный на 10 р. дороже (70 р.). Миша считает на остальные расходы 4 р. в день, на 35 дней — 140 р. Всего 210 р. На двоих 420, т. е. даже с 500 р. ехать можно. Если взять 600, то и на покупки хватит. Список, где останавливаться, где есть, где что покупать, он мне тоже дал. Я возьму заграничный паспорт, как только получу ответ на это письмо. Если домбровские дела не помешают, то поедем. <...>

Политическое положение наше неопределенно. Началась борьба между Думой и министерством, и я пока думаю, что правительство уступит. Но что из этого выйдет, не знаю.

Наша «Страна» будет жить. Ковалевскому еще 200 тыс. дали, и ссориться с ними невыгодно, хотя я очень мало для них делаю, так мало, что даже неловко.

Пришел Аким: просит написать ему прошение о принятии его дочери в четырехклассное городское училище — и помешал писать.

Встретил я сегодня на улице Побединского — он опять толкует о лекциях в будущем году, и я, по обыкновению, не отказываюсь. Если революционные бури не уничтожат педагогической жизни Петербурга, то работа и заработок найдутся.

Мне, к несчастью, прислали из Москвы очень интересную рукопись — и я сегодня вместо того, чтобы делать что-ниб[удь] «нужное», провозился с... летописями. On revient toujours a ses premiers amours.** Очень уж эта рукопись неожиданная по составу.

Сейчас надо бежать в редакцию. И то уже четвертый час. Потом обедать к папе, а вечером у меня rendez-vous с Шеффером, Сазоновым и Половцевым у Адрианова для обсуждения институтских дел. Так все колесом идет. А политику я бросил, с твоего отъезда раз был в клубе, да и то один, днем, чтобы позавтракать. <...>

Д. 9. Л. 7—8 об.

---

* Круиз (*нем.*).

** Всегда возвращаются к своей первой любви (*фр.*).

599

17 мая

<...> Вчера, отправив тебе письмо, я пошел в редакцию. С тех пор, как Ковалевский постоянно в Думе и мы его не видим, в редакции стало скучнее, да и главные политические задачи газеты пошли мимо нас, так что я лично начинаю чувствовать себя, как писал тебе, лишним. И помимо этого не знаю, как решить, оставаться ли мне на будущую зиму в газете? Ведь это вопрос серьезный и в денежном отношении, и в смысле времени. Напиши, что об этом думаешь.

Вчера я получил письмо от Дьяконова, который только что взыскал с меня 2 ч. в пользу стоюнинских курсов, теперь еще претендует на 2 ч. для Высшей вольной школы на курсах Лесгафта. Вероятно, я и на это соглашусь, если решусь бросить газету, тем более, что кое-какая литературная работа все равно найдется, да и Комиссию надо будет удовлетворить за мои грехи в нынешнем году. Это все в пользу ухода. А с другой стороны, большой и легкий газетный заработок как-то жаль бросать.

Из редакции я вернулся к папе, но после обеда сейчас ушел в Технологический институт, к Половцеву, чтобы привлечь его к нашим разговорам об институте, но он оказался занят. А потолковать есть о чем, потому что С[ергей] Фед[орович] определяет теперь точно, каким он хочет видеть институт, и против его определения горячо протестуют С[ергей] А[лександрович] и С[ергей] Ив[анович], а я, признаться, нахожусь между тремя Сергеями в некотором недоумении.

Из Техн[ологического] отправился домой, а потом, зайдя за С[ергеем] Ив[ановичем], к С[ергею] Ал[ександровичу]. Тут была Леванда, пришел и Шеффер. Шеффер боится браться за занятия в институте, и хотя я и С[ергей] А[лександрович] до половины второго его уговаривали, решительно отказался. Он чувствует себя оторвавшимся от науки и думает год потратить на то, чтобы вернуться к ней. Я его понимаю, но его отказ ставит нас в затруднительное положение.

Я и сам в таком же положении. Не думаю, чтобы был в силах браться снова за брошенную «диссертацию». Другие задачи — ее затирают.

Со столовой С[ергея] А[лександровича] дело оборотилось довольно неожиданно. Комитет помощи безработным согласился взять ее на лето на свой счет. А наши деньги мы сохраним на осень, положив их в банк на проценты. И денег этих набралось около 2-х тысяч!

На будущий год — предстоит другая денежная задача: организовывать помощь недостаточным слушательницам. Везде она имеется, кроме института. Дело прежде всего в борьбе с исключениями «за невзнос платы». Это дело настоятельное. <...>

Д. 9. Л. 9—10 об.

600

19 мая

Милый ты мой, дорогой Юлек, сегодня я получил твое письмо и рад вестям о тебе и детях.

А я в суете два дня не писал тебе — и теперь пишу наспех, потому что много дела. Надо ехать по поручению Таганцевой разыскивать Дьяконова, потом туда-сюда — жизнь петербургская!

Вчера был большой «исторический» день. Совет министров с Горемыкиным во главе изложил свою «программу» — почти во всем дерзко отрицающую адрес Думы государю. И выслушали министры ответы Думы. Сильные и ясные ответы. Суть одна: вы против нас, представителей народа, так уйдите. Министры стали понемногу уходить — ни один до конца не остался. Ты прочтешь это в 72 № «Страны». <...>

В институте у нас дела не очень-то хорошо стоят. Адрианов хочет если не уйти, то сократить число часов, чтобы легче было уйти по первому желанию. Вчера мы после заседания в институте ужинали с Гриммом, Сазоновым, Половцевым, Туром — и удалось уговорить Адрианова — не уходить сейчас, а Гримма — не отказываться от деканства. Надолго ли? Не знаю. Но год мы себе пока обеспечили, если, конечно, осенью не перевернется все вверх дном.

Проявился на моем горизонте Франк — хочет большого и постоянного участия в «Поляр[ной] звезде» — на современные, а не только исторические темы.[458] И преподавание в будущем году потребует работы, а то я опустился.

Я и стал потому склоняться к мысли не ехать, а в Домброве тихо поработать. Но как решить? Конечно, tourne* вдвоем — соблазнительно... <...>

Д. 9. Л. 11—12 об.

601

[Без даты]

Дорогой Юлек, ты обо мне не беспокойся. Как это ни странно, но я уже заметно начинаю отдыхать. Слабость налетает все реже, на минутки. В общем, чувствую себя лучше, хотя упрямой работы голова все еще не выдерживает. Как я «справлюсь» при таких условиях — не знаю; пожалуй, выйдет скандал: обещал и не исполнил.

О заграничной поездке я писал тебе дважды и обстоятельно. Если ты мнения о возможности поехать вдвоем не изменила, то поедем. Один я не поеду. Если бы ты не нашла возможность ехать, это меня не очень огорчит, хотя, признаюсь, мысль о нашей поездке меня увлекла — и я даже с невольной холодностью встречаю слова Г[еоргия] В[асильеви]ча или Ив[ана] Ив[ановича] о возможности встречи за границей, думал: да, Юля будет рада встретить Мишу или Джона, а я... нет. Вдвоем, без прочих, без детей даже — вот как!

---

* Путешествие (*фр.*).

Но мне начинает нравиться и мысль о жизни в Домброве. Я возьму с собой не диссертацию, ну ее (уж это ты мне, Юлек, подари), а ряд книг по XIX в. и составлю курс для издания. Кое-что и по XVIII и XVII вв. надо прочесть. Надо вооружиться, чтобы сохранить на приличном уровне хотя бы свою преподавательскую репутацию и свой научно-литературный багаж. А там — увидим.

Денежная сторона нашей поездки, если она состоится, устроится почти без займа, даже если я ничего экстренного не заработаю. Мы, считая, забыли 150 р. по чеку, и потому у меня сейчас, еще без 100 р. из «Страны», уже есть 800, а расходов обязательных (здешних, без домбровских) мы тогда насчитали около 170. Напиши мне о них точно.

Чек твой оказался удовлетворительным, и деньги по нему я уже взял, чтобы проверить свои сомнения в чеке.

Как мы распорядились деньгами, собранными с лотереи, я тебе уже писал, и про судьбу столовой — писал. Не знаю, писал ли, что снегиря я подарил кульмановскому швейцару. Детям этого или не говори, или утешь, если огорчатся, тем, что я куплю — кажется, он считался Гутика? — птичку повеселее. А как Славка относится к новой обстановке? Какие у него впечатления и интересы? И другие что поделывают? <...>

Политическое положение — странное и тяжелое. Сперлись два козла лбами, сплелись рогами и ни сдвинуть друг друга, ни разойтись не могут. Совсем в тупик Россия попала. И едва ли выйдет из него без треску. А тут еще Франца-Иосифа удар хватил. Помрет старик — такая пойдет заваруха общеевропейская, что и наши дела еще сильнее осложнятся, особенно же польские. Но пока ни тпру, ни ну. Хотя надо признать, что Дума молодцом себя держит. А все-таки без больших катастроф я выхода себе не представляю. Ну, поживем — увидим. <...>

Д. 9. Л. 13—14 об.

602

Понед[ельник], 22 мая

<...> В субботу провожали мы Г[еоргия] Вас[ильевича]. На вокзале оказался Половцев, принесший на поезд письмо жене. Вечер был ясный, и мы с Голованем, а Половцев с Лапшиным поехали на пристань к Летнему саду, потом на пароходе в Славянку и там поужинали. «Кутеж» состоял в том, что, как обычно у него, Головань предложил выпить шампанского — и мы с ним выпили бутылку «Мумма», а Лап[шин] с Пол[овцевым] пили грушевую воду. Вернулись домой около 3-х часов, так заболтались. А на другое утро — вчера — мы с Половцевым и Лапшиным сошлись утром у Сазонова и поехали на дачу к Адрианову, в Куоккала. В поезде оказался Танейзер с «женой» Юлией Безродной (есть такая бесталанная писательница). Ехали они тоже к Адрианову, но Танейзер сообщил, что в Териоках — финский социалистический митинг, и уговорил всех поехать посмотреть. В Куоккале к нам присоединился Адрианов. Поехали в Териоки и пошли искать митинг. Но он давно кончился, и толпа в 400 чел[овек] с

флагами пошла по Териокам через лес к морю, и мы, напрасно пройдя версты три, ничего не видали и повернули назад. Вдобавок погода была хмурая, кропил дождь. На териокском вокзале перекусили и поехали назад. Лапшин уехал прямо в Петербург, а мы вышли в Куоккале. Дача Адрианова в 20—30 минутах ходу от станции и расположена отлично. Уединенно, около десятины места, на горке, с которой прекрасный вид на берег и на море. До моря 16 мин. ходу.

Погода разъяснилась, мы погуляли на берегу моря и только после 9 ч. пошли на поезд, угодив на обратном пути под сильный дождь. Поездка нельзя сказать, чтобы удачная. Но и она меня освежила, все-таки воздухом подышал. <...>

О политике ничего не пишу. Все как-то тянется и неясно. Дума спорит по аграрному вопросу и пока столковаться не может. И что выйдет дальше, я думаю, никто сейчас предсказать не может. Чувствуется какая-то заминка, что-то еще должно определиться заново, но что, когда и как — надо подождать. <...>

Д. 9. Л. 21—22 об.

603

22 мая

<...> Завтра получу от Платонова отпуск и буду ждать: брать или нет паспорт. Я боюсь решать и так, и сяк. Выходит, что тебе трудно уехать, а если я тебя увезу, пожалуй, тревоги все равно отравят тебе всю поездку? <...>

Я не упоминал, кажется, что Миша уехал в Москву, а когда вернется, я в точности не знаю. Ив[ан] Ив[анович] кончил печатание своей книги, дело только в указателе, оглавлении и обложке.[459]

От Таганцевой он ушел. Положение этой гимназии нелепое — многие стесняются туда идти из-за Ив[ана] Мих[айлови]ча, который не относится враждебно к покинутому заведению, но считает, что туда идти могут только те, кто с ним не согласен. А такие его речи многих смущают.

К Манизер я, к стыду своему, все еще не собрался и ничего о них не знаю. Вот пока все, что могу сообщить к тому, что уже писал.

За электричество я заплатил и его прекратил уже.

На политическом горизонте ничего отчетливого не видно. Идут собрания, где члены Думы публике разъясняют деятельность Думы, но я нигде не бываю и поэтому отстал и не в курсе положения.

Работы Думы затянутся на весь июнь, а б[ыть] м[ожет], и дальше. Если она не выработает сейчас же реформы местного самоуправления, широкого и самостоятельного, с автономией для окраин, то не справится с положением. А что-то не слышно, чтобы над этим работали. Эта мысль для меня главная и убивает во мне интерес к другим событиям в Думе. <...>

Д. 9. Л. 15—16 об.

604

23 мая

<...> Сегодня — вторник 23 — у меня заседание в институте 6 1/2 ч. и, должно быть, до 10—11 ч. Сперва заседание нашего отделения, потом конференции. Гримм на даче, и мне в отделении придется за него председательствовать. А заседание может быть довольно неприятным, потому что Адр[ианов] такую кашу заварил с преподаванием русской литературы, что и не расхлебаешь. А в конференции будем разбирать, как мы «реформировали» Закон Божий, заменив богословие — «историей христианского учения в его первоисточниках» — и тоже, пожалуй, битва будет.

Завтра придется пойти на диспут Авалова.[460] А в четверг комитет кадетов требует зачем-то нас, выборщиков, к себе: это вечером. Пока не уедешь, не вырваться из колеи петербургской жизни. Да, впрочем, ни на что лучшее я и не гожусь. <...>

В «Стране» я почти ничего не пишу — и заработка почти нет. В след[ующей] книжке «Поляр[ной] зв[езды]» появится моя статья — и еще 2 я им дам, готовых, на лето. Скучно, на душе ничего нет, кроме желания забрать десяток книг и уехать в Домброву. Проехаться за границу — если спокойно можно уехать вдвоем — это, должно быть, освежило бы... <...>

Д. 9. Л. 17—18 об.

605

25 мая

Дорогой Юлек, папа в большой тревоге, даже мигрень у него разгулялась, и вчера он совсем скис. Думаю, что причина в известиях из Курска. Там военный бунт. Взбунтовался какой-то полк, избил своего командира, артиллеристы отказались усмирять, казаки не явились, идут митинги. Пока больше ничего не известно. А ведь Вен[иамин] Ник[олаевич] — комендант Курска, а теперь исполняет и обязанности начальника гарнизона, который в отпуску.

Как назло, сегодня в газетах известие об аграрных беспорядках в Тульской губ[ернии]. Крестьяне заставляют сельскохоз[яйственных] рабочих уходить из имений, были случаи нападения на усадьбы. Правда, пока упоминаются местности из других частей губ[ернии], но все-таки невольно думается о Палибиных... Начинается. Паника у них, вероятно, большая. Но меня больше тревожит Вен[иамин], который способен ли выйти из трудного положения? <...>

Сегодня папе, по крайней мере с утра, получше.

Вчера мне пришлось с Лосским идти к Лапшину, чтобы распутывать, как дела в Педагогич[еском] институте с философией на будущий год. Сегодня придется из-за этого ехать в институт, а потом еще распутывать кашу с преподаванием русской литературы. Гримм уехал, и мне приходится приводить в порядок запущенные им деканские дела. Много это времени отнимает. 30-го мы с Платоновым вместе пообедаем, чтобы переговорить о будущем годе.

Так текущие дела идут себе, хотя кругом известия о грозах и бурях. В Петербурге совсем тихо, и никаких признаков смуты, которая бы угрожала в ближайшем будущем, нет. Неудобно то, что Литейный район выдумал меня выбирать в члены районного комитета кадетской партии. Надеюсь, что не выберут, надоело метаться. <...>

Д. 9. Л. 19—20 об.

606

26 мая

<...> Очень меня взволновало и тронуло то, что ты пишешь о моей диссертации. Да, если бы она могла быть для меня «второю Юлей». Но ведь она никогда не была ничем подобным. Почему? Да потому, что это работа по существу, по задачам и материалу — безыдейная; как же ее полюбить? Только интерес некоторый и сознательные усилия связывали меня с нею. Платонов хорошо это понял, когда — давно, еще года два тому назад — говорил мне: «Беда в том, что Вы переросли свою диссертацию». А Форстен недавно уговаривал меня взяться за новую тему. Дело в том, что теперь отменяются магистерские диссертации. Ученая степень будет одна — докторская.[461] К ней и требования иные. И Платонов давно пугал меня тем, что если я до реформы, которая теперь уж с осени вводится, не покончу с работой, то потом такая книга, пожалуй, не подойдет к тому, что установят как докторскую диссертацию. Не знаю, так ли это, но он говорил серьезно. Я с ним об этом поговорю. Мы с ним сговорились во вторник, 30-го, где-ниб[удь] вместе пообедать (Н[адежда] Н[иколаевна] уехала, и теперь с ним разговаривать можно) и потолковать.

Форстен уговаривает меня начать немедля читать в «обновленном» университете... Посмотрим, как он «обновится».

Видишь, Юлек, для меня наука и диссертация о летописях вовсе не совпадают. Из того, что сработано, я нечто сделаю, хотя бы и не диссертацию. Но буду ли с этим возиться летом — не знаю. <...>

Д. 9. Л. 23 об.—24

607

27 мая

<...> У нас тут дела стоят странно неопределенно и напряженно. Беспорядков в Петербурге никаких не ожидается. Но с правительством — все колебания. Вчера «Биржев[ые] вед[омости]»[462] объявили, что м[ини]ст[ерст]во Горемыкина подало в отставку. А правда ли? И какое новое будет? И что из этого выйдет?

А я пока что очень мало справляюсь со своими делами. Чтобы написать хотя бы minimum того, что обещал, надо еще недели две пробыть, так туго и плохо идет. Правда, зато и деньги будут, и совестно не будет.

Пишу я тебе мало и плохо. Даже не выходит рассказа изо дня в день, как прежде писал. Отчасти это потому, что как-то не вспоминаю даже, что и где делал. Утром дома, потом редакция, потом опять дома. «Дома» это то здесь у дедушки, то у нас. Кроме того, я писал тебе, что как-то внутренне оторвался от здешних впечатлений — проходят они мимо, не задевая и мало следа оставляя. <...>

Принесли газеты. Все толки, что министры не выдержат и сбегут. «Страна» рекомендует Муромцева в премьеры. Мне кажется, что если решатся на «парламентское» министерство, то будут советоваться сперва с двумя Ковалевскими, Владимиром и Максимом. Не для того, чтобы М[аксиму] М[аксимовичу] предложить министерство (о Влад[имире] и речи не может быть), а для совета, как поступить. Чего доброго, мы и в самом деле «накануне исторических событий». Папа все «левеет». Совсем радикал стал, «кадет» 96-й пробы. <...>

Д. 9. Л. 25—26 об.

608

29 мая

<...> Вчера у меня опять день совсем пропал. Утром я отправился домой, кое-чем позанялся, надо было для писания еще материалов подобрать, потом вернулся, чтобы здесь писать, а пришел Лютомский, просидел 3 часа, оживленно расспрашивая о делах и людях в Петербурге, привел меня в такое неврастеническое утомление и возбуждение, что сам сказал: «Вижу, что пан такой же неврастеник, как я», — и ушел наконец. <...> Говорили о политике, литературе, русско-польских отношениях и т. д. очень откровенно, но на меня Лютомский произвел грустное впечатление комка слабых нервов, большой чувствительности и бессилия, при остром уме и тонком, хотя однобоком вкусе. Истинный польский интеллигент — со всеми его достоинствами и недостатками, только небольшого калибра — отжившее поколение, глядящее не вперед, а назад, к «классическому идеализму» и мистицизму «великой троицы» (Мицк[евич], Слов[ацкий], Крас[инский]). Ничего своего, нового, все воспоминания, все тоска по прошлому... Это хорошо, но с этим жить нельзя. Жить только наследством — значит вовсе не жить. И в такое истерическое состояние он меня привел, что стало душно, захотелось с физической необходимостью отдыха, покоя, воздуха. Наскоро пообедав, я поехал на Финляндский вокзал, на 6.25 в Куоккалу, несмотря на сырость и дождь. У С[ергея] Ал[ександровича] пробыл до 10 ½, а потом мы с ним поехали в город. Эта встряска меня успокоила, посидели во время чудного захода солнца на камнях, которыми кончается мол. Вот до чего твой Саня доходит!

Просто выдержать нет возможности, и я в один вечер на все плюну и уеду. <...>

Д. 9. Л. 27 об.—28 об.

609

Пятница, 2 июля

Теперь целых три дня не писал. Трудно как-то. Состояние мое тревожное, нервное. Без всякой отдельной причины, а так, как результат всего года. Сегодня я часов до 3-х не мог заснуть из-за этого состояния. Да и все время как-то места себе не нахожу. И делаю глупости. Заказа Иванюкову, наверное, не исполню, потому что такому, как я теперь, это не по плечу. Сегодня отделаю 2 статьи, старые, для Франка и пошлю.[463] Напишу статью для Сытина, извинительное письмо Иванюкову и уеду. Но день мне назначить трудно, и, вероятно, я буду телеграфировать, так как уеду «неврастенически» вдруг. Приеду с заграничным паспортом, который получу сегодня. Теперь расскажу тебе эти три дня. Во вторник утром я побывал дома, потом зашел в редакцию, сдал свой польский отдел, и мы с С[ергеем] А[лександровичем] поехали в университет на rendez-vous с Платоновым и Шляпкиным. У них было факультетское заседание, и потому все профессора съехались. Мы вчетвером уладили — очень важное дело преподавания русской литературы в будущем году и, по-моему, уладили благополучно. Оттуда Платонов уговорился с нами идти к Лейнеру обедать, чтобы поговорить. Надо было ждать до 4-х часов, мы пошли пройтись в Петровский парк и к 4 ч. приехали к Лейнеру. За обедом мы с С[ергеем] Фед[оровичем] записали, как быть расписанию в институте — у меня будет всего 3 часа... (вместо 5-ти). Потом потолковали, как быть с практическими занятиями, он мне кое-что интересное посоветовал.

После обеда вышли мы с С[ергеем] Ал[ександровичем] — и я ему предложил поехать к Голованю в Царское, потому что все равно чувствовал себя ни на что не годным. Поехали. <...> Выпили опять шампанского, потому что Г[оловань] на меньшее не согласен, а тут подвернулась компания, праздновавшая юбилей Кракау и прощавшаяся с ним, п[отому] что он окончательно уходит из гимназии Мая и поселяется на ст[анции] Преображенской. Мы к этой компании присоединились (Полиевктов, Липовский) и из Аквариума[464] поехали на острова, где попали в какую-то «Ниццу». Все было вполне прилично, но плохо то, что у С[ергея] Ал[ександровича] везде знакомые и, как видно, «знакомыя»,* которые его приветствуют как завсегдатая. Из «Ниццы» я ушел потихоньку домой, куда вернулся в 5 ч. утра, а остальные еще оставались и, по-видимому, перепились, особенно Миша.

Вот как иногда твой Санька время проводит. В среду я утром съездил домой, куда ко мне Миша зашел и нашел, что чемодан для заграничной поездки — велик. Сегодня попробую его переменить, если согласятся.

В среду у меня обедал Лютомский. Жиденький он и слабенький человечек. После разных разговоров о Толстом и Горьком, о политике и русско-польских отношениях он посвятил меня в свою домашнюю историю. <...> Он прав, говоря, что русская тирания развратила поляков, некоторых конечно. Конечно, он-то это сказал не по своему поводу и адресу.

Вчера он заходил в редакцию. Его статья принята, и дальше он кое-что для «Страны» пришлет.

Вчера вечером я был с Ив[аном] Ив[ановичем] у Полиевктова. Они в субботу, завтра (3-го), уезжают. Миша дал мне все, что отпечатано из его диссертации, не хватает еще только $1\,^1/_2$ листов, которые в наборе. <...>

---

* Т. е. знакомые женского пола.

Я подписался на «Думу» на имя Клюковского. Не знаю, стоит ли «Речь» выписывать. Бог с ней. Направлю туда же «Полярную звезду» и «Украинский вестник» — два еженедельника. Вчера я узнал, что меня избрали-таки вместе с Лапшиным и Нечаевым в районный кадетский — Литейный комитет.

В институте я теряю 500 р. Но 400 р. даст мне Высшая вольная школа Лесгафта и, не знаю сколько, курсы у Стоюниной. Так что скорее будет больше, чем меньше в общей сумме. «Страну», наверное, пущу в трубу. Комиссия возместит, хотя бы отчасти, а запускать ее нельзя. Писала Надя. Ничего особенного, кроме того, что все земские начальники, кроме Палибина, ушли в отставку, но как и почему, она не объясняет. О политике нечего написать. Газеты стали скучны. Дума топчется на одном месте. Благополучного выхода из «конфликта» ждать нечего. <...>

Д. 9. Л. 29—32 об.

610

Суб[бота], 3 июля

<...> Жарко. Душно. Скучно. Веду я себя, точно завтра уезжаю. Все ликвидирую. И настроение такое, что надо делать над собой усилие, чтобы не пойти на Троицкую за билетом. Чувствую, что на этой неделе — не выдержу и уеду, оборвав резко и нелепо все обязательства. Сегодня Джон с Мишей в 10.15 едут в Берлин. Вчера они провели вечер у меня. Папа был в заседании, вернулся не поздно и побеседовал с ними. Я пойду, провожу их.

Утром сегодня я сходил к Манизер. Все здоровы. Ген[рих] Матв[еевич] стал совсем уже белый, и в фигуре чувствуется уже настоящая старость. Сидит без денег — уехать или семью отправить не знает как.

Все кругом разбегается, рассеивается. Такую марку, как Петербург, сейчас выдерживать довольно мудрено. Тянет на волю. И зачем это я связал себя разными благоглупостями, которых все равно не исполню? Нелепое положение.

А жизнь в Петербурге идет себе. Идет съезд преподавателей гимназий, на котором мое отсутствие, в сущности, нелепо, но у меня ни охоты, ни интереса. Бог с ними... А меня даже пропечатали как участника в педагогических беседах.

Тянет на волю. Не внешнюю только волю, а какую-то другую. Побыть самому — с тобой, с детьми, без чужих, со своими мыслями — не по заказу, не «обязательными» — со своими чувствами. Уехать вдвоем за границу, если это возможно, — кажется необходимо. Ты, мой строгий и мучительный скептик, спросишь, пожалуй, почему же вдвоем? Один я бы совсем не хотел ехать. Душа так устала, так ноет, что мне нужно быть с тобой, нужно теплой веры, бодрости, силы, которую ты одна всегда мне давала. <...>

Паспорт я уже взял, а маршрут мы с тобой в Домброве проверим и сами составим. Материал для этого я с собой привезу.

Сегодня я получил в редакции последний гонорар. Эта «редакция» собралась сегодня на Иматру, Адрианов обещал присоединиться к ним в Куоккале. Я зайду туда в понедельник или во вторник попрощаться. Танейзер нашел какого-то молодого человека, который будет для них польские газеты читать. Об осени со мной никто не говорит, и я не заговариваю: Ковалевского не видно в редакции, Иванюков уехал на два месяца. <...>

Д. 9. Л. 33—34 об.

611

1 сент[ября]

Ну, дорогой Юлек, приехали мы благополучно и удобно, хотя с Двинска вагон был переполнен. Очевидно, наш излюбленный вагон вошел, к сожалению, в моду. В Петербург мы приехали с большим опозданием. Публики было много. Извозчики так дорожились, что я со зла взял... ландо, так как нам все равно на одном извозчике было бы не уехать. Поехали мы домой, где я нашел кучу повесток и писем, все деловых. Завтра — собрание у Стоюниной по устройству тех курсов, которые там затеяны и где я тоже обещал читать. Но из нашей гимназии весточки не оказалось, хотя я в «Речи» прочел, что начало занятий у Оболенской и Таганцевой — сегодня, а не 4-го. <...>

Вениамин уехал еще 20-го авг[уста], а Карповичи — 26-го. Миша поступил на филологический факультет в Москву, хотя папа уговаривал и почти уговорил его изменить это решение. Он даже уехал в Москву с тем, что возьмет бумаги и перешлет их в Петербург, но потом прислал телеграмму, что принят в Моск[овский] университет. Папу это очень огорчает. Молодые Карповичи пожелали видеть Маню. Папа вызвал ее телеграммой, сам Карпович ушел, а Маня полдня провела с детьми. Потом они ездили к ней в Павловск. Первой встречи папа не видел, он пришел через час после приезда Мани, но затем застал спокойную беседу. Я видел его немного, так как он уехал в министерство, а я сижу и пишу. Сейчас отправлюсь в институт добывать денег, так как из Москвы ничего не получено — ни денег, ни корректуры. А папа хочет из 75 р. сентябрьских вычесть, что я ему должен (около 30 р.), так что я при слабых окажусь финансах! <...>

Д. 9. Л. 35—36

612

2 сентября

<...> Ну, явился я в институт, получил деньги. В институте видел только 2-х дам и Трифонова. Так и пахнуло затхлым, нудным настроением. Оттуда я пробрался к градоначальнику, получил наши паспорта, и в электрическом обществе заявил о возобновлении освещения и подписал новый договор на год. Потом поехал к папе поспать, но минутку вздремнул и должен был встать, п[отому] что пришли полотеры. За обедом явилась Маня. <...> Маня немного говорила о детях. Они очень ей понравились, она находит их развитыми, начи-

танными, про Мишу говорит, что в нем еще много осталось детского, а Наташа удивляет ее своей зрелостью и уверенностью в разговоре и обращении с людьми, даже теми, кого она в первый раз видит. Наташа писала ей, что Миша приедет в Петербург до начала занятий в университете. Интересно было бы его посмотреть. <...>

После обеда я попробовал зайти к Адрианову, да не застал его дома. Оказывается, что он теперь все еще так же много работает в «Стране», как летом, сидит до 2—3-х ч. ночи в типографии, массу пишет статей. Это я узнал от Елизаветы Николаевны, которая прислала за мной, так что я из дому часов в 8 зашел к ней. Елизавета Николаевна выглядит совсем изнуренной, заметно похудела и начинает год утомленной. Пришел туда и Георг[ий] Вас[ильевич], веселый, бодрый. Мы разбирались с расписанием, и мне, кажется, удастся устроить 2 дня свободных от гимназии, но, вероятно, утром этих дней придется дать раз 2, раз 1 ч. в институте. Понедельник будет занят. <...>

Г[еоргий] Вас[ильевич] в ужасе от того, что творится в университете. Приняли до 8 тысяч человек, чего наши здания никак вместить не могут! В том числе много вольнослушательниц и вольнослушателей. В такой толпе конечно еще скорее надо ожидать политиканства и беспорядков, и удастся ли выделить группы, которые будут серьезно работать, — покажет будущее.

Политических новостей никаких сообщить не могу. Все как-то спуталось. Преобладает, по-видимому, настроение недоумения. Что делать, чего держаться? Пока даже «партии» не решили. Хорошего в этом мало.

Уроки в гимназии начнутся только во вторник, а лекции в институте 15-го. Значит, будет время оглядеться и сообразить что-ниб[удь]. <...>

Д. 9. Л. 37—39 об.

613

3 сентября

<...> Адрианов пополнел, выглядит совсем удовлетворительно. Семья еще на даче. Мне он рассказал всю историю «Страны», как ее запретили за № после закрытия Думы, как после долгих колебаний выпустили «Равенство», запрещенное без обвинения за определенную статью, а просто за продолжение «Страны», как опять разрешили. Мы с ним пошли в Комиссию, где я взял рукописи, потом в контору за гонораром (7 р. 70 к.) и в редакцию. <...>

Мы с ним [Иваном Ивановичем] пошли на собрание у Стоюниной. Были Гревс и Дьяконов, Струве и Франк, Кауфман, Лосский и еще кое-кто. Я буду читать 2 ч. — вечером от 7—8 час. по пятницам и еще в какой-ниб[удь] день.

Франк предложил мне оставшуюся у них статью мою «Революционное народничество» послать Евг[ению] Трубецкому в «Московский еженедельник».[465] Пусть посылает, м[ожет] б[ыть], Трубецкой ее и возьмет! Струве — вялый, как размазня, и говорит, что у него совсем нет энергии, чтобы снова затевать какое-ниб[удь] издание. <...>

Д. 9. Л. 40—41 об.

614

4 сентября

<...> В гимназии мои уроки начнутся в среду. Елизавета Ник[олаевна] распределила их на 4 дня: в пон[едельник], среду, пятн[ицу] и суб[боту] — будет по 5 ч. Остается еще 5, которых никак в один день не уложишь (2 у Таганц[евой] и 2+1 в инст[итуте]), так что вполне свободного дня устроить никак нельзя. <...>

С[ергей] Ал[ександрович] все хлопочет, чтобы втянуть меня если не в постоянную работу, то хоть бы в интересы «Страны», но пока это ему не удается. Дело в том, что политическое положение такое запутанное и темное, что ничего не сообразишь: о чем и как писать в газете. А без ясной руководящей мысли какое же писание возможно? С[ергея] А[лександровича] это смущает, и он хочет у меня найти какую-то помощь!! А с меня в этом направлении взять совершенно нечего. <...>

Д. 9. Л. 42 — 43 об.

615

5 сентября

<...> Сегодня приехал Миша Карпович. Славный, живой и очень развитой мальчик, держится очень свободно и очень скромно, и в лице и в тоне много мягкого и детского. Общее впечатление — очень милое и интересное. В Москве он попал в кружок, близкий к С. Н. Булгакову (бывшему прежде в Киеве, куда я ему, помнишь, статьи посылал). Он приехал на несколько дней, так как и в Москве занятия начнутся только после 15-го.

Я сегодня ночую дома, чтобы завтра дать первые пять уроков в гимназии. Поскорее бы втянуться в непрерывную обязательную работу. Тебе, моя голубка, там скучно и жутко, а я — я не могу тебе хорошего письма написать, потому что на душе какая-то тоска. Она, конечно, усиливается пустотою тут кругом меня, но корни ее какие-то другие, не знаю, какие. Скорее всего, нудная неопределенность отношений вокруг, неясность, чего держаться, за что стоять, с кем рука об руку идти в делах общественных. Ничто не вызывает полного сочувствия, все какое-то случайное, мелкое. Хотелось бы убежать от всего этого, уехать с тобой опять куда-нибудь, чтобы быть одним. Словом, сразу вернулось то настроение, какое было перед отъездом отсюда.

Буду с нетерпением ждать твоего приезда; тогда хоть дома буду дома, у себя, сам по себе. Потому что один я точно выбит из колеи. <...>

Д. 9. Л. 44 об.—45 об.

616

8 сентября*

Мне кажется, что раз Гутик будет ходить в школу, то бонна не очень необходима и с Леосей и Анной обойтись вполне можно. Конечно, ты это лучше сама рассудишь, но 3 прислуги и еще бонна — это для нашей квартиры население многолюдное. <...>

У нас тут разные дела понемногу раскачиваются. Уладилось расписание с Таганцевой: буду читать по вторникам от 10 до 12. Сегодня съезжу в «вольный университет» Лесгафта и там сговорюсь.

А вот новость, которая тебя очень огорчит. Я встретил Рашевскую-мать и узнал от нее, что Месмахер умер. По ее рассказу, он ослеп, и когда ему сказали, что это неизлечимо, что его работе конец, то он не выдержал и, вероятно, от разрыва сердца — умер. Жаль крупного, деятельного человека. <...>

Вчера я до 2-х ч. занимался дома, потом пошел пройтись и зашел в Эрмитаж. Галерея показалась мне — после заграничных — не очень большой, но превосходно подобранной. Очень хороши и голландский и фламандский отделы, и мы их должны с тобой вдвоем (это непременно на первый раз) посмотреть. Отличная коллекция Рембрандтов. Потом испанцы — Веласкес, которого мы за границей совсем не видали (мюнхенский портрет незначителен), и Мурильо. Итальянцы менее интересны. Но я только прошелся по залам, чтобы знать, что там есть. Смотреть будем, когда приедешь. Хорошо бы и в Строгановскую галерею попасть.

После обеда посидел у папы и пошел в заседание к Таганцевой. Новые учителя истории оказались знакомы — Барсков, Вульфиус, Клочков и один какой-то из Дерпта. <...>

Д. 9. Л. 49—50 об.

617

10 сентября

Вчера, дорогой Юлек, я опять не писал тебе. Днем был на уроках в гимназии, потом, несколько задержавшись в гимназии с Шохор-Троцким, — пошел к дедушке, посидел у него, поспал и отправился на совет в институт. Поехал туда пораньше, чтобы кое о чем переговорить с Платоновым.

Опять выплывают мелочи, дрязги. В нашем отделении — ряд мелких, пошлых фигур отравляют атмосферу — Бороздин, Витберг, несносен Кульман с мелким самолюбием и мальчишеским упрямством. Вчера весь вечер потеряли на пустяках, формальностях. Весь сыр-бор из-за приглашения Шляпкина в институт. Рассказывать не стоит. Приехал, как я писал тебе, — Сазонов. Он хворал летом, нога разболелась, и придется ему делать операцию. Я заходил к нему третьего дня — встретились очень радостно, дружески, расцеловались крепко. Он бодрый, веселый, общее его состояние удовлетворительно, хотя нога требует операции, но, по его словам, спешить нечего, и ходить можно. А что именно с ним — не знаю, рассказывать он не любит. Приехал и Половцев. Он стареет и тяжелеет, как мне кажется, — не физически, а духовно. За лето написал книгу о преподавании естественных наук. Должно быть интересно.

---

* Опущено письмо от 7 сентября (Д. 9. Л. 46—48 об.).

В Петербурге глухо бродят тревожные слухи. Факт тот, что Государь должен был вернуться в Петербург из Финляндии на смотр кавалергардского полка, но в тот момент, когда его ждали на пристани, послали навстречу катер, а он не приехал. Это — т. е. назначенное прибытие и внезапная отмена — повторялось несколько раз, несколько дней подряд. А в Петербурге идут усиленные аресты. Говорят о большом заговоре, о подготовленном покушении. В Петербурге какая-то апатия. Газеты бесцветные, еще и «Страна» лучше других. Публика в недоумении. Среди крайних «левых» упадок духа и энергии, кроме насильников-бомбистов, которые, по-видимому, совсем удила закусили. Кадеты бодрятся, но парализованы невозможностью собрать съезд, чтобы сговориться о программе. А «правые» озлоблены до крайности. Атмосферка не очень симпатичная. <...>

10 сентября*

<...> Вся атмосфера кругом нудная, недоуменная, она заражает вялым тоном. Редко пробуждается во мне бунт против этого тона жизни, потому что я все то на людях, то один в каком-то придавленном настроении. Иной раз, только редко, захочется вырваться — но сил нет — из этого настроения. Порыв нервный расплывается в мечтах и воспоминаниях. О чем? — о нашей поездке вдвоем, об отрешении с тобой, мой Юлек, от этой тины петербургской, которая нынче какая-то особенно серая. Но крепки связи с ней. А внутренней силы одолеть ее — во мне нет. <...>

Смутила меня твоя тревога относительно финансов. Трудно будет только первое время, самое нужное. Я тебя встречу только с тем, что 20-го получу, потому что теперь у меня очень слабо. Но получать я буду порядочно, так как 500 р., которые я теряю в институте, заменят 800, которые я получу от Дьяконова и Лесгафта, так что на 300 р. больше, чем в прошлом году. Но с летописями налаживается туго, и я корректуры от Скороходова не добился еще ни одной. Как мы долг отдадим Мих[алине] Мих[айловне], тоже не знаю. Но думаю, что унывать нечего, устроится как-нибудь. Только вот на первое время после твоего приезда мало будет. Право, Юлек, из-за денежных дел унывать не стоит — не так они уж плохи, не хуже, чем были всегда. Я сейчас не могу найти какого-либо extra-заработка, так как для «Страны» совсем не знаю, что писать, и не в состоянии себя заставить.

Поверь, моя дорогая, что эти дела уладятся как-нибудь и на все, что надо, средства добудем.

Сегодня ко мне пришли Маня с Мишей. Маня совсем в него влюблена. Играли и пели немного, а потом Маня, узнав, что Миша и Джон звали меня к Голованю, предложила, чтобы я и Мишу туда свез. Мы и поехали в 4 часа с половиной. У Голованя пообедали, поболтали, и теперь я пишу тебе, вернувшись домой. <...>

---

* Продолжение того же письма.

О Гутике ты пишешь, точно не считаешь дела с Тихеевой решенным. А я ей говорил как о поконченном деле, и она его записала, и я ей, взяв у дедушки, за полгода теперь заплатил, так как у них в правилах при зачислении просят платить сейчас и вперед 50 руб. Конечно, если бы что изменилось, то они отдадут назад. Но я не думаю, что тут есть еще сомнение. Ну, приедешь, так разберем это дело. Я писал тебе о своем визите к ней и что никаких толковых указаний о подготовке не добился; она все говорила, что это неважно, что у них так формально не смотрят, как в казенных учебных заведениях, а главное — это что нужно ребенку и какой класс подходит к его общему развитию. <...>

О Головане напишу завтра, хотя ничего особого нет. Он как всегда, а говорил больше об искусстве. Любопытно, что он Мише К[арпови]чу не особенно понравился, Полиевктов — больше.

Д. 9. Л. 51—55 об.

618

11 сентября

Дорогая печальная моя голубка, вчера я писал тебе поздно вечером, вернувшись из Царского, писал расстроенный и усталый. Вчера я худо себя чувствовал. Ночь спал плохо, несколько раз просыпался, вставал, ходил, опять ложился. На душе грустно и смутно. Никуда твой Саня не годится. <...> Вот хоть бы то, что тяготит тебя, — что мало я тебе даю, мало делюсь с тобой тем, чем, как кажется, сам живу. Но ведь корень в том, что не живу я этим, а украдкой, урывкой, как школьник шалящий, вместо того, чтобы дело делать, отдаюсь иногда тому, что мне лично нужно и полезно, что делает меня лучше, чем я обычно, что могло бы и нам с тобой дать много для общей духовной жизни. <...>

Завтра начинаю у Таганцевой. Только с будущей недели все пойдет полным ходом.

Прощай, моя голубка. Как бы хотелось обнять тебя, услышать твой голос, заглянуть в глаза твои. <...>

Д. 9. Л. 56—57 об.

619

12 сентября

Холодно, дорогой Юлек! Холодно и на душе, холодно в квартире нашей. Сразу как-то плохо стало. Холодно и на душе, одиноко мне. Стар становлюсь. В бороде седина появилась. И нервен стал. Словом, неудовлетворителен. От тебя писем мало, по неудобству сообщений. Ты далеко, и тут так молчаливо и пусто. Брр...

Я живу дома — у папы только обедаю. Папа эти дни хворает. <...> Миша сегодня уезжает. Славный он юноша, простой, искренний. Я думаю, что он бы тебе очень понравился. Маня сняла их с Наташей у Левицкого, и у меня есть эта карточка. Сегодня я начал у Таганцевой.

Там, кроме Серг[ея] Ив[ановича], все чужие. Но в те часы, что я там, и С[ергей] Ив[анович] бывает, мы с ним болтаем. <...>

Дома Лиза перетирала картины и книги. Я кое-чем позанялся и пошел обедать, а когда домой вернулся — пришел Закс. Этого ты не знаешь. Это не человек, а комок нервов. А теперь он ушел из Тенишевского училища и сидит без дела, ищет занятий. Ко мне он зашел узнать, нет ли часов на курсах Лесгафта, так как Павлов-Сильванский оттуда сбежал. Но я не знаю, как там дела. Закс сидел долго и чай у меня пил. От него я узнал, что и Добиаш сидит на 3-х уроках у Стоюниной. <...>

13 сентября*

<...> Относительно Дюрера я действительно думаю отдать его Джону. Главное, что я убедился, Головаю он ни к чему. Его интерес сейчас не идет позднее Van Eyck'ов**. Готика, северное искусство и его глубокое влияние на Италию, Ренессанс — вот в чем он вращается. И, кроме того, вопросы колорита, света — ему пока не важны, по-видимому. Дюрер же мой, не характерный для Альбрехта Дюрера, его не интересует. Он и от Рембрандта пока еще далек. Может быть, он к искусству как-то слишком по-ученому относится. Такое у меня осталось впечатление от последних с ним разговоров. <...>

Привыкли мы к разлукам, как они ни дорого нам обходятся, ой как привыкли! Так жизнь сложилась. Обидно, что деткам погода деревню портит. Может, разгуляется? Ведь для них мы проводим врозь столько недель. <...>

Д. 9. Л. 58—59 об.

620

13 сентября

Вернулся домой с уроков. Сегодня еще не полная табель — 8-й класс начнет в пятницу. Уроки производят на меня странное впечатление. Говоришь, объясняешь идейную сторону истории — а сам думаешь: многим ли из них это надо! не правы ли те, кто считает наше преподавание слишком аристократическим, а настоящей задачей школы — сообщение прочных полезных сведений? Что ты об этом думаешь, дорогой Юлек?

Ну и Бог с ними. Я иначе не умею.

Дома нашел записку от Миши. Он уехал сегодня в 3 ч. — а пишет, что хотел бы познакомить одного своего товарища с Голованем и Полиевктовым, потому что тот заинтересован археологией и историей искусства; но не сообщает адреса, так что неизвестно, как его просьбу исполнить. <...>

Сегодня после обеда останусь у дедушки, возьму с собой какую-нибудь книгу, потому что вечером надо к Стоюниной на совет наших вечерних курсов.

---

* Продолжение того же письма.

** Ван-Эйк.

А я, кажется, не писал тебе, что ко мне на днях заходил какой-то студент и принес билет на собрание делегатов от петербургских кадетов. Пока этого собрания не разрешили, но надеются устроить еще это дело. Меня и Ив[ана] Ив[ановича] выбрали в числе 12-ти от Литейного района.

Вообще, судя по газетам, оппозиция наша оживляется понемногу и надеется сыграть свою роль на выборах, как следует. Правительство компрометирует себя, кокетничая с диким «Союзом русского народа», а «октябристы» опять перессорились и раскололись. Это кадетам на руку, тем более, что и крайние левые пошатнулись сильно, так что даже отчаянные террористы начинают возвращаться в группы, отрицающие бомбы и убийства. Но пока все это неопределенно. В Варшаве царят «народовцы», а биберштейновские «прогрессисты» притихли и никакого значения не имеют.[466] Все-таки понемногу можно начать разбираться в том, что кругом творится, а это главное, а то в тумане очень уже нудно. <...>

Вообще я без дела никуда собраться не могу, как-то энергии и охоты нет. Да и заседаний много. И сегодня, и завтра, и в пятницу все разные заседания, и все такие, где нужно быть. Суетливое мое житье! <...>

Д. 9. Л. 60—61 об.

621

14 сентября

<...> Я вчера вечером был на собрании у Стоюниной по делам вечерних курсов. Там компания хорошая — Гревс, Лаппо-Данилевский, Дьяконов, Струве и Франк, Котляревский, Покровский и мы с Джоном. Но расписание устроили так, что мне придется читать по вторникам от 9 до 10 вечера, а по пятницам от 6 до 7. (А у Лесгафта четверг 5—7.) Слушать будет около 200 чел[овек] (т. е., конечно, не все всех будут слушать). Третья часть евреев, а $^9/_{10}$ женщин. Любопытно, что из этого выйдет. Начинаем во вторник. Сегодня я дома, только сбегал на минутку к Лапшину по поручению Гревса относительно часов его лекций. Джон продолжает тренировать себя по части искусства — бегает в Эрмитаж и читает книжки по искусству. Вечером сегодня заседаем в Педагогическом институте, что всегда не особенно приятно или даже особенно неприятно. Не люблю я этого заведения. Все-таки мне лучше всего в гимназии преподается. <...>

Мне иногда хочется невидимкой попасть в Домброво, чтобы незаметно, со стороны посмотреть, как вы там без меня живете, мои дорогие. <...>

Д. 9. Л. 62 об.—63 об.

622

18 сентября

Два дня, целых два дня не писал я тебе, дорогой мой Юлек. Это дни, когда по пяти уроков. Уроки я веду то порядочно, то слабо, но всегда как-то нервно и очень устаю. Утром не успеешь написать, потому что надо кое-что просмотреть, да и суетливо как-то, между уроками и обедом — сил нет, после обеда усталость так одолеет, что заснешь, а вечером душа какая-то измятая, что неохота тебе и показывать. Два дня я и не писал тебе. <...>

Дюрера мне принесли. Рамка очень хорошенькая, но гравюра мне не по вкусу. Боюсь, что и Джону не понравится. Светла она. А отдавать фотографию мне жаль. Может быть, сегодня снесу ему.

Рассказать мне тебе за эти дни нечего. Уроки, заседание у Лесгафта — все это так неинтересно, буднично, а настроение нервное, нетерпеливое, дребезжащее, ни на чем не останавливается из того, что здесь кругом творится. В четверг было заседание института — и с шляпкинскими недоразумениями кончили благополучно. Потом Адрианов затащил меня, Сазонова и Тура к Палкину. Но и с ними мало интересно. <...> Крутишься, вертишься в этой жизни питерской, а ни к чему прилепиться не можешь. Пустота какая-то. <...>

Д. 9. Л. 64—65 об.

623

18 сентября

Я сегодня в каком-то бреду, дорогой Юлек, право, в бреду, хотя здоров и жара нет. Утром послал тебе письмо — нервное и бестолковое. Опустил его, когда пошел к Ив[ану] Ив[ановичу] с Дюрером. Он очень был тронут, даже поцеловались мы с ним. Положил Дюрера на шкаф, а потом не раз снимал и поглядывал. Я рад, что доставил ему удовольствие.

А на душе какое-то беспокойство. В голове бродят разные мысли, острые, мучительные. Так ты думаешь, о чем? Эх, Юлек, все это мысли отвлеченные, ученые, философские — книжные, но почему они мучают меня, как одержимого бесом? И трудно объяснить, как это выходит, что мысли, напр[имер], об искусстве переплетаются у меня как-то так со всем окружающим, что они не посторонние, не о постороннем, а о нашем, своем мысли. Оттого они так назойливы, неотвязны. И Рембрандт, и ты, мой Юлек, и итальянцы, и дети, и жизнь, и поэзия, и вся будничная жизнь кругом меня, и все, что в жизни хорошего и горького, глубокого и мелкого, — все это стоит в том, что я своим бредом назвал, как один вопрос, одна сложная большая мысль, с которой моя бедная голова бьется без конца. Герой одной из самых трагических драм Ибсена — художник — говорил, что ему искусство представляется чем-то пустым и праздным, потому что жизнь в солнечных лучах, настоящая жизнь — совсем другое. И вот искусство, которое мы так любим, и меня мучает тем, что постоянно сбивается на прекрасную мишуру, от которой до жизни мало путей. И не то что искусство дает прекрасное, которого нет в жизни, нет, для меня, наоборот, обида на искусство в том, что глубокое, могучее, реальное благо жизни — оно часто забывает, думая создать лучше, сильнее, и впадает в слабость прикрасы, картинности бедной мишуры. Как все это на бумаге бледно, сухо и книжно выходит и как совсем иначе переживается в мыслях и чувствах!

Ты меня как-то спрашивала, отчего я не молюсь. Как и кому? Словами, Богу на небе? Зачем я буду рисовать картинку? Для меня в таких картинах правды нет, я их боюсь, боюсь их внешнего, условного, которое может обмануть, потому что силы в нем нет. Моя вера в жизнь, в людей, в то, что за внешностью, которая часто так мучительно пуста и скучна, — этой жизни есть что-то глубокое, большое, святое, дает другую молитву, настроение, которое описать трудно. Это уверенность, твердость в мысли, что есть на что опереться, на силу безусловную, которая и есть суть жизни. Что это не мечта, не «картинка», убеждает меня то, что всякие мои сомнения, уныния, мелочности и дрянности — смолкают, очищаются в душе, когда поднимается яркое сознание, что в моей смятенной душе есть сила, которая обращает в улыбку всякое отрицание в моем бреду, — это ты, Юлек, эта сила. Есть что-то настоящее, ясное, спокойное, непобедимое. И ведь опираясь на это свое личное богатство — смотрю кругом и на искусство и на жизнь — и мучает меня то, что всюду, даже на гениальных верхах, это знакомое мне благо — не господствует, а еле пробивается. И, оглянувшись на себя, вижу, что и свою жизнь строю не на том, что одно дает силу жить, хоть и трудно часто, растрачиваю свой духовный капитал, какой есть, по пустяку, с вредом и для себя, и для тебя. Не только моя личная жизнь, если взять ее на минуту искусственно отдельно от нашей с тобой жизни, не строится на той силе, которая одна ее питает, но и наши с тобой отношения не построены целиком на ней, как, казалось бы, легко было бы сделать. Тут я сбиваюсь. Попытка свой бред перевести на сколько-ниб[удь] понятный язык не удается. Много силы надо, чтобы быть всегда «настоящим», самим собой, искренним до мозга костей, чтобы то, что главное, важное в глубине души, — проявлялось всегда естественно и свободно наружу, окрашивало жизнь ежедневно и во всех деталях, даже мелочах, как следует. И я с тобой редко, слишком редко, настоящий, какой я для тебя внутри, и смущаю тебя напускною, нет, не напускною, а, как сказать, навеянной расстроенной силой усталых или раздражительных нервов — сухостью, апатией, жесткостью, равнодушием. Как мучительны эти минуты! <...> А я чувствую себя и теперь перед тобой тем «мальчиком Саней», о котором ты еще в Ковенском с удивлением говорила, что он вздумал стать твоим мужем... Помнишь, дорогой Юлек, как ты меня поразила недавно, сказав, что ты меня чуть ли не вообще выше себя чувствуешь. Мне это даже смешно показалось. И теперь, написав это, я невольно улыбнулся.

Видишь, Юлек, сколько эгоизма в моем отношении к тебе. Я никак не могу понять и оценить, что я такое могу давать тебе. Мне кажется, что главное — это твоя собственная любовь ко мне, а не что-ниб[удь] от меня. Ну что я такое? Елена Влад[имировна] как-то сказала, что я люблю жить на чужой счет. И она права. Я живу тобой, «на твой счет», и беру все, не думая и не зная, что же я за это тебе дать могу. И даю мало, страшно, мучительно мало. А по малодушию оправдываюсь перед самим собой и перед тобою, что я не могу дать больше, чем в силах моих, что не в силах устоять от напора мелочей жизни, разбивающих настроение, не дающих сосредоточиться, быть ровным, настоящим, искренним, а заставляющих бренчать и звучать диссонансами, как расстроенный рояль. И все это лично остро переживаемое — сливается с рядом неотвязных вопросов о всей жизни, о творчестве, искусстве, истории. Потому что всюду то же, та же неустанная борьба за правду, свет, силу, искренность, и всюду те же неудачи, только не в форме будничной прозы, как у меня, а в блестящих иллюзиях самообмана мишурой. А подкладка-то та же самая, только в разных размерах.

Эти мысли, чувства носились во мне целую неделю, иногда, к сожалению, и по ночам, мешая спать. Хотелось тебе их высказать, да до сих пор не мог. Еще сегодня утром не мог бы. А теперь все-таки что-то вышло, хотя мало похожее на то, что во мне творилось, потому что на словах как-то всегда беднее и условно выходит. Но ты, мой Юлек, поймешь?

Довольно бредить. Это письмо меня на время точно успокоило. А то нервы ходуном ходили. Буду ждать известия о том, когда же ты выезжаешь. Вероятно, получу его раньше, чем это письмо дойдет до тебя. <...>

Д. 9. Л. 66—69 об.

1907

624

25 авг[уста]

Ну, дорогой Юлек, вот я и в Петербурге. <...> Дома застал Маню с Мишей и Наташей и Сергея Ал[ександрови]ча, который хотя квартиру и нанял, но поселиться в ней может только дня через 3, так как у них ремонт. Пока он с Володей у нас. Мне очищают кабинет, С[ергей] А[лександрович] с Мишей в детской, Володя в гостиной, Маня с Наташей в спальне. Я недолго там побыл — помылся, кофе выпил и поехал к папе. Пока о них многого рассказать не могу. Наташа по наружности весьма «интересная» — хотя скорее некрасивая: слишком нижняя часть лица похожа на Маню. Хороши серые, какие-то выразительные глаза; она тонкая, гибкая, довольно смуглая. По-видимому, очень нервная, не меньше Мани, хотя и в другом роде — не столь болтлива и экспансивна. Таково первое впечатление. Тетя говорит, что Маня уже устала от детей, особенно от Наташи, и даже торопит ее в Москву, где она собирается поступить не то на курсы Герье, не то в университет: куда примут. С[ергей] А[лександрович] очень ими занят, ходят по театрам, на Шаляпина, идут и сегодня, причем С[ергей] А[лександрович] собирается добывать мне даровой билет. Оказывается, он все лето в «Руси»[467] был музыкальным критиком! А мы-то и не читали. <...>

Дедушка очень усталый. Теперь, ввиду Думы — вся сметная работа с вечерними заседаниями упала на лето. И это не помешало разным генералам разъехаться, так что теперь в комитете только трое, под председательством папы.[468] Теперь у него отпуск уже в кармане, но он еще не вполне уверен, что его отпустят хоть на 1 $^1/_2$ месяца (сентябрь—октябрь), хотя резонно говорит, что если не отдохнет, то свалится. Палибины опять просят денег — 600 р., но папа отказал:

как-то они выкрутятся? <...> Маня весьма отчаянно смотрит на палибинские дела, а больше на них самих, и даже находит, что лучше, если бы их дело скорее лопнуло, а Коля пошел бы на службу. Но на какую? Сам он мечтает о вице-губернаторстве. Как будто это так легко получить! Да и не уживется он. <...>

Д. 9. Л. 70—71 об.

625

27 августа

<...> Поговорил я с С[ергеем] А[лександровичем] о его делах. Дела прескверные. В «Руси» ему уже должны несколько сот рублей — и сидит он почти без гроша. В «Руси» дела так плохи, что гонораров и жалований не уплачивают. <...> Газетное и журнальное дело сейчас в Питере такое тугое время переживает, что о литературном, хотя бы случайном, заработке мне сейчас, видно, думать нечего. <...>

После обеда мы с Мишей отправились домой, а потом к нам явились Маня с Наташей, две Наташины подруги и студент Захаров, С[ергей] А[лександрович] принес мне даровой билет, и вся компания пошла в «Олимпию» на Бассейной слушать Шаляпина в «Фаусте».[469] Артист действительно великолепный, хотя с ларингитом и поет через силу. Игра его сильная, яркая, пластическая. Но... музыка Гуно жалкая, жидкая.

Остальные исполнители — средние, серенькие — «сам» — не в ударе. И большого впечатления не получилось. Хорошо бы его в чем-нибудь серьезном послушать — в «Борисе Годунове» или «Сальери».[470] Вот как я без тебя кучу — да еще даром, вполне, так как даже сидят в бараке Олимпии в пальто, а шли мы и туда, и назад пешком.

Вчера — в воскресенье были именины Наташи. Маня подарила ей большую гравюру «Христа в пустыне» Крамского, вещи сильной и интересной. Дедушка подарил ей черные часики. Сварили шоколад, на который к часу пришли 2 подруги и студент Захаров, а также Иван Платонович. Пели-играли, потом разошлись, а мы гуртом и с С[ергеем] А[лександрови]чем, который по этому случаю не пошел в «Русь», — отправились обедать к папе. Около семи часов папа лег спать, Маня с Наташей пошли к Ивану Платоновичу, который не обедал с нами, а мы с С[ергеем] А[лександровичем] пошли к Сазонову. Серг[ей] Ив[анович] встретил меня очень тепло, расцеловались мы с ним как родные. Он с Вадимом Ник[андровичем] занят напряженней работой: печатают руководство для практических занятий по химии, а кроме того, С[ергей] Ив[анович] написал и начал печатать и общее руководство по химии. Он нам с увлечением рассказывал о своих этих работах, так, что заслушаться можно было. <...>

Вечер провели у Ямпольских. Жаль мне Ив[ана] Пл[атоновича] — глупое его положение. Миша с его существованием не примиряется — из-за этого Маня и поселилась у нас. Третьего дня она ночевала там, а вообще здесь. Вчера он проводил нас до папы и ушел домой. Как-то все это шероховато.

Присматриваюсь я к Наташе. Странное она производит впечатление. «Умная головка» — говорит про нее С[ергей] А[лександрович].

Да, и с меткой наблюдательностью, очень сознательная, постоянно с оглядкой на себя и кругом. Замкнутая, сдержанная, минутами холодно-резкая, без признаков темперамента, увлечения — хотя впечатлительная, с «Бориса Годунова», говорят, совсем в слезах ушла, — скорее не очень разговорчивая, во всяком случае, не экспансивная. Конечно, много тут наложила фальшь окруживших ее с детства отношений. Но и про Тифлис, когда она упоминает, звучит что-то точно холодноватое. Хотел бы я знать, как она там, с отцом. К Ив[ану] Пл[атоновичу] она относится как-то снисходительно, сильно чувствуя его недостатки, отмечая зато его добродушие, какую-то простоту, которая в нем есть (это из ее разговоров с С[ергеем] Ал[ександровичем]).

Ив[ан] Пл[атонович] действительно очень симпатично, по-моему, несет двусмысленность создавшегося тут положения.

Миша рассеянный, часто очень задумчивый. Кроме всего прочего — он не знает, что с собой делать, сомнения явились относительно Парижа. И помочь ему трудно, труднее, чем Гене. <...>

В городе — хаос. Улицы перекопаны, конка от Окружного суда ходит по Надеждинской — и по Кабинетской, что для сношений с папой очень удобно. Электрическая — еще нигде не ходит, а по Невскому обещают скоро пустить... Все у них не налаживается дело. <...>

Вот мои первые два дня в Питере.

«Товарищей» и Форстена ждут 31-го. Наши тут на 31-е хлопочут о ложе на «Китеж» и меня зовут. Идет с ними Варя, очень увлеченная «Китежем».[471] <...>

Эти дни слишком были суетливы, чтобы скучать. И сегодня я с утра пойду по городу — в Комиссию, на Троицкую, в университет, в банк, в институт. А вечером к Лесгафту и, м[ожет] б[ыть], зайду к Манизер.

Если от этого всего отделаюсь, то завтра сяду за работу. А этих дел откладывать нельзя. <...>

Д. 9. Л. 72—74 об.

626

28 августа

Был я вчера у Манизер, дорогой Юлек. Геня поступил-таки на филологический факультет, и Генрих Матвеевич успокоился. Вчера они были очень веселые и приветливые. Генр[их] Матв[еевич] все лето сидел в городе и только на три дня ездил в Псков. Выглядит хорошо, свежо. И Ал[ександра] Эд[уардовна], по-видимому, отдохнула и поправилась. Заболтался и засиделся я у них очень долго — вернулся уже близко к 2-м часам. Вчера я вообще много мотался. Утром зашел на Троицкую насчет доставки вещей, когда приедут. Потом в банк. Обе закладные были просрочены (с 4-го и 20-го авг[уста]); получил я проценты, билет застраховал и отсрочил на 6 лет, а бумаги Фишер не позволил больше, чем на 3, причем очень мило внушал мне, чтобы мы к ноябрю собрались внести 50 р., так как не стоит перезакладывать (в ноябре надо не отсрочить уже, а перезаложить уже по новой квитанции) 2000 р. из-за 50 р. Не знаю, как это нам удастся. Видел на минутку Новацкого: очень тебе кланяется. Оттуда — в университет. Приятно было вступить, так сказать, в «обладание» университетом. Никого там, кроме старика Горчакова, не встретил. Взял обозрение преподавания, взял в библиотеке пару книг. Я очень недоволен тем, что со мной сделали в «обозрении преподавания». Во-первых, там ничем не выразилось, что мой курс не мой случайный, а по поручению факультета: для студентов он обозначен наряду с курсами Строева, Полиевктова и др[угих] как такой же случайный доцентский курс. Во-вторых, мои практические занятия из «просеминария» для начинающих обратились в «семинарий» для старших — это, конечно, в некоторых отношениях и лучше, и легче, но не то, что я себе представлял, и потому я и этим не совсем доволен. Наконец, они вовсе не назначили точно моих часов, а написали: «Дни и часы по соглашению со слушателями», что вовсе неудобно.

Из университета я вовсе напрасно съездил в институт: жалования не получил, п[отому] что дамы были заняты в гимназии, и С[ергея] Ф[едоровича] видел только мельком, так как он был занят приемом. <...>

Сегодня принимаюсь за летописи. А там, что Бог даст.

Д. 9. Л. 75—76 об.

627

30 авг[уста]

Третьего дня, дорогой мой Юлек, получил я твое письмо, когда только что отправил свое. И так замотался и «закорректировался», что до сегодня ничего не писал — и Але милому ничего не писал! И скучно как-то вчера было, хандра нашла и, как всегда при ней бывает, — разные сомнения (насчет дел моих университетских и др.) — словом, никуда не годился — а Юли со мной не было.

Забыл я в том письме написать тебе про Лесгафта — а я был у него. В школе никого не застал, но у дверей встретил одного из студенческих старост, и мы с ним пошли к Лесгафту. Старик очень мило нас принял, хотя ворчал и на сумасшедшую молодежь, и на ленивых преподавателей, которые не ходят на советы и ничем ему не помогают. Он уверен, что школу, по прошлогоднему примеру, прикрыли только на время выборов — и во второй половине октября открыть позволят. Вообще не унывает. Деньги за лето я получил тут же у него дома. <...>

Вчера заходил ко мне Крусман, только что приехавший. Он с Гревсом и целой компанией изъездил половину Италии, пожил в Мюнхене, потом в августе вернулся куда-то в деревню, где жила его семья. Под сильным он впечатлением Италии, но совсем разочаровался в Рафаэле (что и правильно). Загорелый, веселый, так что и поглядеть-то на него приятно. Грустно то, что он рассказывал про Форстена. Тот и в Париже еще был с не закрывшейся ранкой, перенеся опять заражение крови. Из Парижа поехал в Неаполь, чтобы купаться, если рана закроется. Бедный наш профессор. <...>

Вчера Володя увлек меня и Серг[ея] Ал[ександровича] завтракать к Штрупам. Тат[ьяна] Ник[олаевна] вполне здорова — и мальчик тоже. Марк Штруп мальчуган довольно крупный и до смешного похожий на мать, особенно характерным носом-картошкой. Выглядит крепеньким. Через штруповскую кухню прошли в квартиру С[ергея] А[лександрови]ча. Хорошенькая, светлая квартира в 3 комнаты, с порядочным коридором. Чисто, отремонтировано. А с другой стороны стена в стену живет Гиппиус. Вот собралось гнездо!

Кроме этих перерывов и обедов у дедушки я сидел за летописями. Дело не так худо. Из 3-х листов, какие я должен, один уже печатается, другой в наборе. Остается один, который я вчера начал. Глупо то, что одна моя рукопись затесалась в Академию наук, и завтра придется туда спутешествовать. Так что с этим я распутаюсь. И в институт надо завтра заглянуть — ведь я в первый-то раз даром туда прошатался. Времени жаль, да ничего не поделаешь. <...>

Вот так время и идет. На будущей неделе начнутся занятия в гимназиях. А там колесо покатится. Дай Бог, чтобы поскорее докатилось до твоего приезда, а то скука мной овладевать начинает. Все время я на людях — а как-то одиноко. Не умею я с людьми жить, право.

Ну, да это все пустое. Дела много и ничего идет себе, даже при такой обстановке и таком поведении. И даже интересное дело, только развернуться в нем, как бы хотелось, я не умею и не могу. Посмотрим, что этот год принесет. Пиши, моя дорогая. Твои письма как дождик на сохнущую землю. Хотя сперва-то я и заскучал, почувствовав, как я тут один. <...>

Д. 9. Л. 77—78 об.

628

31 августа

<...> Вчера справляли мои именины. До 5 ч. я сидел дома и занимался. Только сбегал узнать, не приехал ли Джон. Представь себе, что мне сказал старший дворник: получено было письмо, что они приезжают 28-го — а до сих пор нет. Неужели денежное затруднение мешает им выехать, как выходит сопоставление этого «28» с сроком — не позже 27-го — в Мишином письме.

Сегодня, по словам форстеновского швейцара, должен был профессор приехать. Вероятно, все вместе приедут. Узнаю.

Обедали вчера у Мани — Наташа, С[ергей] Ал[ександрович] и я. С[ергей] Ал[ександрович] вчера въехал в новую квартиру, а другую часть вещей отправил в Царское (третья часть осталась в складе). Ночевал сегодня у нас, встал в 7 ч. и пошел с Иваном разбирать вещи, устанавливать полки (Иван за столяра) и книги. Вечером надеется водвориться у себя. Особенно Володе хочется поскорее это сделать. <...>

Бедная Маня, мучают ее отношения к детям. А там, в Тифлисе, Мих[аил] Викент[ьевич] беспокоится, что Маня «отберет у него детей». Вот какие получились отношения!

Представь себе, что С[ергей] А[лександрович] привез мне к Мане подарок на именины: билет на «Бориса Годунова» с Шаляпиным на сегодняшний вечер... Так что я второй раз пойду без тебя в театр. <...>

Наташа уезжает 2-го. Я писал тебе, что она принята в университет, куда поступать не хочет, а относительно курсов Герье еще нет ответа. Судя по вчерашнему разговору ее с Маней, выходит, что если она не попадет на курсы, то приедет в Петербург, что вообще были какие-то разговоры и колебания, не остаться ли в Петербурге, и что на всем отношении Наташи к этим делам (это уже мое наблюдение) лежит какая-то печать не то равнодушия, не то большой сдержанности, смешанных с нетерпением, точно неопределенность и суета ее утомляют как замкнутого в себя человека — и так, что даже все равно, как сложится. Грустно это все... Миша, по-видимому, окончательно едет в Сорбонну. <...>

Д. 9. Л. 79—80 об.

629

1 сентября

<...> Смешной и глупый твой Санька. На него твои письма действуют точно так, как в дни Ковенского переулка.[472] И я вчера всюду, куда являлся, был такой веселый и бодрый, что все это отмечали с удовольствием. Глупые, совсем как в знаменитые дни «кружка форстенят», — они не знают, что это от того, что мне Юля написала или что я ее до школы утром проводил.

Из-за тебя, моя ненаглядная, вчера хороший день вышел. А я целый день по городу мотался. Только утром позанялся. А в 11 ч. пришел Ив[ан] Ив[анович] Гливенко, и мы с ним отправились в институт, узнав по дороге у швейцара, что Лапшин приехал. Видел я Сер[гея] Фед[оровича]. У меня с ним порядочная неловкость вышла: он по ошибке назначил мне на I курсе всего 3 часа, а себе взял лишний час. Я указал ему это, осторожно. Он сразу не понял, так как был очень затормошен, но обещал проверить. Надеюсь, что он вернет мне похищенные 250 р. Зато об университете он хорошо мне разъяснил, что и как надо мне устроить. Между прочим, я начну не раньше 15-го сент[ября].

В институте мы порядочно проболтались, так как С[ергея] Фед[оровича] все время отрывали и приходилось ждать.

Потом я забрал рукопись и несколько книг (м[ежду] прочим, «O Piaście i piaście»)[473] в Академии наук. Но Шахматова еще нет — а мне он нужен и для разговора, и для книг из иностранного отдела (мне только русские и польские дают без него).

Возвращаясь из Академии, я встретил на улице Ив[ана] Ив[ановича]. Итак, Миша и Джон приехали. Денежные затруднения у них вышли — из-за Парижа, где много спустили, особенно Головань, истративший 600 р. в две недели, а 80 р. потерявший. Но honni soit qui mal y pense* — не на кутеж Головань столько спустил, а на дорогие издания и фотографии. Говорят, собирается писать что-то. О, если бы... заяц летал! Про него — худые вести. В Венеции он не мог оставаться, п[отому] что тамошний ветер, сирокко, вызывал у него тяжелые сердечные припадки. Доктор запретил ему жить на юге, гнал на север, а он, правда, отказавшись от Неаполя, еще около месяца пробыл в Италии. Сердечные припадки повторялись еще и в Париже. А в этом душном Париже он сидел также слишком много (и теперь сидит еще, приедет к 10-му), упиваясь французской средневековой архитектурой до того, что даже Лувром пренебрег (чего ему Г[еоргий] В[асильевич] простить не может). Елиз[авета] Ник[олаевна] говорит, что выглядит Головань исхудалым и истомленным. У всех впечатление, что он на себя рукой махнул, горит и готов догореть... Помнишь его открытку из Флоренции? <...>

---

* Позор тому, кто дурно об этом подумает (*фр.*) — девиз Ордена Подвязки.

Оторвался надолго — ходил в гимназию репетировать оставшихся от осени, потом приехавшие вещи распаковывал — был Миша и т. д.

Интереснее то, что я вчера видел Шаляпина в «Борисе Годунове». Я писал тебе об этом подарке Сер[гея] Ал[ександровича]. Ай, как жаль, что тебя со мной не было. Дивная, могучая, яркая, выразительная музыка Мусоргского, драма Пушкина — игра Шаляпина. Да, Юлек, это и в самом деле сальвиниевская игра, игра не лица только, а рук, всей фигуры, тонких оттенков голоса, сложная, сильная, содержательная. Мучительная внутренняя борьба — мучительно сильно передана. Наташа опять не выдержала, да, признаться, и я был подавлен. Этакий художник... а теперь он на 2 года уезжает в Америку.

Кстати, по поводу музыки. Маня предлагает взять зилотиевские билеты пополам. Что ты об этом думаешь? Напиши. Раз она предложила, пожалуй, неловко предлагать Ив[ану] Ив[ановичу]. <...>

Зовут С[ергея] А[лександровича] в Москву и, кажется, на большие деньги (водочник Смирнов с большой газетой), но он не хочет, п[отому] что это значило бы совсем рвать с газетой. Кстати, теперь его мечта совсем вырваться из газетного мира: он чувствует, что это болото, которое его засасывает. И сделал бы он это, если бы не путаница материальных условий.

Три раза видел я Елиз[авету] Ник[олаевну]. Вчера в гимназию заходила, вечером перед театром у Г[еоргия] В[асильеви]ча и сегодня. Она, кажется, хорошо отдохнула, п[отому] что, на мой глаз, хорошо выглядит. Летом, когда Г[еоргий] В[асильевич] слег в Мюнстере, — она сейчас туда приехала и потом с ним в Италию ездила. Г[еоргий] В[асильевич] совсем поправился на вид, похудел, но выглядит свежо и бодро. Вообще все съехались освеженными, только Ив[ан] Ив[анович] непрезентабелен, потому что схватил хороший насморк. <...> Г[еоргий] В[асильевич] привез новых и чудных вещей: превосходную статуэтку — бронзу из Помпеи, мраморную головку и т. д. — много фотографий. Благодаря трудам Голованя и Крусмана фотографии в порядке, и надо нам с тобой их посмотреть, напр[имер], втроем с Мишей или Голованем, особенно мое божество — Веласкеса, которого теперь у Г[еоргия] В[асильевича] так много.

Словом, окунулся я в нашу питерскую атмосферу по уши и нахожу, что хорошая это атмосфера. Только бы дождаться поскорее твоего приезда.

Сегодня Наташа уезжает в Москву. Маня водворяется домой. С[ергей] А[лександрович] тоже. И останемся мы с Мишей.

У портного я был. Отремонтированный сюртук так великолепен, что нового, конечно, не надо. Послезавтра будут готовы новые брюки. Луиза получила твои условия, но я ее не видал. Теперь, как квартира наша опустеет, я разберусь во всем этом.

Суетливо все-таки, и много времени пропадает на трение между людьми. И дела делать мало приходится. А еще и библиотека не в порядке — книги приехавшие лежат грудой. О, Господи! Никола милостивый! <...>

Д. 9. Л. 81—83 об.

630

4 сент[ября]

<...> Мне не приходится жалеть, что я уехал, хотя так хотелось бы побыть с вами. Приехать надо было, потому что, несмотря на окружавшую меня суету (теперь она уже кончилась), — из 3-х листов, которые я задолжал Комиссии, один уже готов, а 2 в наборе, т. е. требуют только корректуры. На этих днях я еще вперед приготовлю. Кроме того, вчера я, с большою помощью Захарова — очень симпатичного студента, который, вероятно, будет у нас бывать, разобрал и привел в настоящий порядок большую часть своей библиотеки, остальное сделать будет уже не трудно. Вдобавок хотя на занятия по курсу времени не оказалось, но я достал и просмотрел нужные книги, кое-что из не хватавшего мне летом понемногу делаю. Все это облегчит зиму. Времени у меня впереди свободного и теперь еще порядочно. На этой неделе (сегодня вторник) будет разве что 3 урока в 7 классе у оболенок; только на будущей начнется остальное. Можно будет и летописи вперед подвинуть, и подчитать кое-что. Так спокойнее. Теперь кругом меня тихо. Наташа уехала. Исчезла Маня. Миша мало сидит дома, а когда он тут, то играет на рояле. Очень он хорошо читает ноты. Мусоргский, Вагнер (сегодня с утра он Парсифаля[474] разбирал) — и то ему нипочем. Грустит и нервничает бедный мальчик. Кроме вообще сложного семейного положения и неопределенности его планов на будущее — на душе у него еще «роман». Ухитрился он влюбиться в младшую Оникову, Лелю, гимназистку, которая одновременно с Наташей уехала в Тифлис кончить гимназию. Девица эта производит впечатление весьма незначительной хихикающей дурочки. Но Миша накануне ее отъезда был сам не свой. Захаров и самые его колебания, ехать ли в Париж, объясняет этими сердечными делами. <...>

Не помню, писал ли я тебе, что Влад[имир] Влад[имирович] окончательно остался в Азии, а его место занял в Политехникуме Лесгафт, покинувший поэтому нашу гимназию. Штруп говорит, что Вл[адимир] Вл[адимирович] хорошо, судя по письмам, там себя чувствует, доволен разъездами, дающими ему материал и для занятий по его специальности. Так что не увидишь ты своего Ламанского и в этом году, и мое ревнивое сердце может быть пока спокойно. А и мне почему-то жаль, что он хоть на время не приедет. Интересно бы с ним теперь потолковать. Что-то несомненно искреннее и цельное в нем есть. <...>

Сегодня взяли ложу на «Китеж», звали и меня, но я не хочу; пойдет зато, вероятно, живущий у Ив[ана] Ив[ановича] казанский профессор Ивановский.

На днях пробовали мы с Мишей и Захаровым зайти к Полиевктову — не застали его, дверь отворила Нат[алья] Мих[айловна] и почему-то обошлась с нами крайне грубо. Это не поддается описанию, напомни, чтобы я рассказал и изобразил это тебе в лицах.

Письмо мое скачет и обращается в бессвязную болтовню. Мой обычный летописный порядок рассказа перебился и спутался. Да и сидел я эти два дня дома — так что и рассказать-то нечего — время главным образом поделилось между уборкой книг и летописями. Обедаю у папы, но тотчас после обеда ухожу домой. По возможности буду и впредь так делать, а то и папе это приятно, да и целый день в пустой квартире скучно. Хорошо пройтись хоть на Ивановскую. Папа, по-видимому, в отпуск не поедет, предвидя, как я писал тебе, перемены в министерстве. Пока у него все еще идут вечерние заседания.

Вчера вечером заходил Ив[ан] Ив[анович] и пил у нас чай. Это ведь первый раз, что я его подольше видел. Он молодцом, но угнетен несколько приближением занятий и потому не в духе. Преподавание отрывает от интересной большой работы, которую он делал летом и хотел бы закончить. А надо готовиться к курсу и практическим занятиям, разбивая свое внимание. Все мы это переживаем... <...>

Д. 9. Л. 84—86 об.

631

5 сент[ября]

<...> Одной мысли, что Юля с детками весело в красивой осени, по греющему солнышку — с удовольствием идет рисовать, — мне достаточно, чтобы всякую кислоту с души как рукой сняло, чтобы я «слышал, как сердце цветет». Конечно, с тобой много лучше, чем без тебя. И право, как посмотришь кругом — кажется, что это не только потому, что мы любим друг друга, а еще и потому, что милые людишки кругом меня, кроме разве особенного Форстена, от которого толку на ежедневный обиход мало, — что они именно людишки, с которыми не проживешь. Что мелкое, личное какое-то ношенье с самими собой, со своими пустяковыми делишками — пугает меня в этих милых друзьях. Миша и Джон, увы, становятся старыми холостяками — Джона еще спасают его большие и все растущие философские задачи. А Мишу, хоть он спокойный и довольный, мне как-то жалко — такой он какой-то взрослый мальчик. С[ергей] Ал[ександрович] съеживает своей ненадежностью, неуверенностью, нетвердостью, доводящей его до цинизма в отношении к себе и к людям. А тут еще Маня — с ее жаждой жизни и неумением жить, брать жизнь и людей, отдавая себя им, требовательностью, взбалмошным самолюбием — и серый Иван Платонович... Когда подумаешь, отчего, напр[имер], Сер[гей] Ив[анович] совсем другой, то, хоть я ее не знаю, какая она, невольно думаешь, что это благодаря его жене. Вспоминаешь Стеллу и думаешь не умом, а всем сердцем о Юле, моем теплом, хорошем солнышке. <...>

Вчера я начал уроки в гимназии. Один урок в 7-м классе дал. У меня в этом классе беда: я в прошлом году как-то ухитрился не пройти курса до конца, и на нынешний год, когда и так большой курс, остался порядочный кусок; трудно будет справиться. Теперь до будущей среды у меня не будет урока: в субботу праздник. Но вообще расписание еще совсем не сложилось.

В университете начало занятий назначено на сегодня. Но сегодня студенты назначили сходку, а профессора — экстренный совет по тому поводу, что они приняли много вольнослушателей и вольнослушательниц, а министр, молчавший до конца приема, вдруг вчера запретил принимать вольнослушателей, кроме уже кончивших какие-либо высшие учебные заведения. Посмотрим, что изо всего этого выйдет. Платонов на сегодня назначил совет в институте. Если совет в университете тоже вечером, то не знаю, как это выйдет. Разве что Платонов в университет не поедет. Я хочу сегодня попробовать отказаться от секретарства в отделении, авось отпустят, а то мне очень уже надоела институтская канитель. <...>

Д. 9. Л. 87—88 об.

632

7 сент[ября]

<...> Я сегодня устраивал свои университетские дела. Решено: начну 17-го сент[ября], в понедельник в час — буду читать 2 часа — от 1 до 3-х. Выбрали мы с Мишей и аудиторию — VII-ю, где передо мной будет читать Лаппо-Данилевский. Помоги, Господи! О практических занятиях придется еще поговорить со студентами. Вообще мое расписание укладывается довольно хорошо. Один день — или четверг или пятница будет совсем свободный (смотря по тому, в какой из этих дней придется назначить 2 часа практических занятий). Только вечерние лекции не знаю еще, когда будут назначены. Пока, значит, моя неделя выглядит так: понедельник — 2 урока в гимназии (от 9 $^1/_2$ до 12 $^1/_2$) и 2 лекции в университете (1—3 ч.); вторник — 2 лекции у Таганцевой (10—14) и 3 в институте (1—4 ч.); среда — 2 л[екции] в VIII кл[ассе] у оболенок (1—3 ч.) и суббота — 2 л[екции] там же (12—2 ч.). Если добавить 2 ч. практич[еских] занятий в университете, 2 ч. у Стоюниной и 2 л[екции] у Лесгафта (которых, увы, м[ожет] б[ыть], и не будет!) — получится всего только 19 ч.

Дело в том, что в институте С[ергей] Фед[орович] так и оставил меня на 3-х часах, обещав к Рождеству дать 200 р. или даже 250 р. В денежном отношении это составит: университет, вероятно, — 1000 р., институт — с вычетом — 700 (+200), гимназия Об[оленской] — 560, Таг[анцевой] — 200, стоюн[инские] курсы — 500 (а м[ожет] б[ыть], и еще практические занятия) и Лесг[афт] (??) — 400 р. Maximum — 3560, откинув Лесгафта — 3160, немного, но Комиссия выручит, так как теперь времени для нее будет больше. Мне кажется, что хоть с трудом концы с концами свести можно.

Занятия вовсю начнутся только через неделю. На будущей неделе у меня будут только 2 ур[ока] у Таганцевой и 2 ур[ока] у оболенок, так как и 8-й класс начнет только 15-го. Да, ведь 15-е в субботу, значит, и у оболенок начну. Надо будет получше составить первую двухчасовую университетскую лекцию.

Сегодня я утром с Мишей путешествовал в университет — это, как всегда бывает, взяло порядочно времени. В университете такая толчея, что без Мишиной помощи я едва ли добился бы толку. Потом вернулся домой — очень мало позанялся, поспал и отправился обедать к папе. Тут были и Маня с Мишей. Маня получила письмо от Наташи с известием, что на курсы Герье ее не приняли, так как она принята вольнослушательницей в университет, то рассчитывает туда ходить. Не знаю, коснется ли распоряжение против вольнослушателей, о котором я тебе писал, и Москвы. У нас эта история вышла по особым причинам, в которой, кажется, виновата канцелярия университета, что-то напутавшая.

Вчера у нас было пренеприятное заседание отделения в институте. Бороздин устроил прескандальную историю — на 3-м курсе должен быть экзамен — окончательный, выпускной по русской литературе. Он назначил им готовиться по своей книге, которую печатает у Сытина, но книга по его вине не вышла к весне, экзамен отложили на осень, а книги и теперь нет — хотя он устроил подписку на нее и деньги со слушательниц собрал. В наши заседания он и весной не ходил, и теперь не пришел. И после разных тяжелых разговоров решили выразить ему порицание от отделения и заменить экзамен опросом слушательниц (без отметок), чем они занимались, и поручить это другим, а не Бороздину.

Не думаю, чтобы после такого ошельмования можно было Бороздину оставаться в институте... Хотя другие думают, что он все-таки останется. Пренелепая и тягостная история. После заседания Тур увел меня, Адрианова и Гливенко в «Вену»[475]... и домой я вернулся к 4 часам. Не сердись, Юлек, трудно было отказаться, и вполне прилично было, только С[ергей] Ал[ександрович] оказался несколько слишком развязным. 6 р. вылетело в трубу. <...>

Шахматова еще нет. А очень мне нужен. Ведь я порядочно-таки трушу практических занятий в университете, к которым не знал летом, да и теперь не знаю, как готовиться-то даже. Судьба до сих пор баловала меня — все как-то легко шло, иногда и не без успеха даже. Быть может, теперь предстоит испытание посерьезнее — и урок покрепче. Я верю в свою звезду, но все-таки как-то жутковато. Хотелось бы помощи, опоры, совета. От Платонова в этом отношении всегда мало толку было: сам он все мастерски делает в своей профессуре, но рассказать об этом с пользой для других он как-то не умеет и даже, пожалуй, не любит рассказывать... Это было всегда большим неудобством для его учеников. Ну, даст Бог — вылезем и из этой трудности, как вывозила кривая из других. Русский человек всегда едет на тройке: авось, небось, да третий — как-нибудь. Это такая поговорка есть, меткая и злая. <...>

Д. 9. Л. 89—92 об.

633

9 сент[ября]

<...> Утром надо было из-за одной курсистки сбегать к Ив[ану] Ив[ановичу], потом в 12 ч. мы с Мишей поехали к Гревсу. С Гревсом

настоящего разговора не вышло у Миши, п[отому] что ему было некогда и вскоре за ним зашел проф[ессор] Покровский. Но Гревс назначил Мише rendez-vous для разговоров о Париже. А главное, Гревс сообщил, что в Париже на всю зиму остается и будет там по истории работать Шаскольский. Ты его, вероятно, не помнишь у Форстена. Это очень способный ученик Гревса, дельный и довольно симпатичный. К нему Гревс и направляет Мишу, обещая дать письмо. Кроме того, он предлагает письмо к старику-профессору Monod; это, впрочем, пожалуй, и ни к чему, разве так, на всякий случай. Гревс очень понравился Мише, но еще больше Лаппо-Данилевский, которого мы там застали. Лаппо-Данилевского мы проводили от Гревса до дому, а потом попутешествовали по конкам домой. Обещали вчера открыть движение электрического трамвая по Невскому, но, конечно, оно не состоялось.

Домой попали после 2-х ч. И как-то так вышло, что я, еле кое-что потрогав, должен был уже идти с Мишей обедать к Лапшину, куда сам напросился, чтобы познакомиться с живущим у Ив[ана] Ив[ановича] проф[ессором] Казанского университета Ивановским. Пообедали (Ив[ан] Ив[анович] угостил нас очень вкусным обедом: сардинки и сыр из дичи, щи с помидорами и отличная каша, баранина и желе, но без вина), поболтали и отправились в университет на заседание Философского общества, где Ивановский должен был читать на заинтересовавшую меня тему о постановке преподавания философских предметов в университетах. Реферат вышел не очень интересный, и его порядочно разнесли, причем и меня Введенский вытащил на разговор — впрочем, я ограничился несколькими словами. <...>

А в университете от факультета вывесили объявление, что студентам-историкам рекомендуются 2 курса: Платонова и мой. Так что и это устроилось. <...>

Д. 9. Л. 93—94 об.

634

10 сент[ября]

Дорогой Юлек, у меня понемногу — в этом году медленнее, чем обычно, начинается «деловое» времяпрепровождение. Сегодня совсем «учительский» день вышел. Утром 2 урока в гимназии, от 2—4-х проболтался я в институте, экзаменуя нескольких осталых* от весны третьекурсниц. Завтра начинаю у Таганцевой. Но эта неделя еще свободная. Завтра — после 12-ти ничего еще нет. Затем среда, четверг, пятница еще совсем свободны. Вчерашний день до 3-х и сегодняшний вечер я просидел за летописями, ими буду заниматься и завтра, чтобы еще один лист закончить. А со среды надо начисто готовить первые лекции, которые у меня из головы куда-то исчезли и не хотят складываться. Вчера я в 3 ушел из дому к Г[еоргию] В[асильеви]чу передать ему указания Карташева относительно священника для VIII класса; потом обедать к папе. После обеда я сейчас ухожу домой, чтобы поработать. Впрочем, в воскресенье на это всего часа 2 вечером осталось. <...>

---

* Так в тексте.

М[ихаил] Ал[ександрович] приходил забрать книги по Петру Великому: у него новое настроение, о полном переходе на историю искусств уже и речи нет, говорит, что этот год будет преимущественно заниматься русской историей. И хорошо: нет у него сил на такой переход и на такую тонкую и сложную специальность. Не правда ли?

Ну, пришли они. А я отпустил Луизу заменить Тоню, ушедшую куда-то, а папа ждал Пушкаревых. Поэтому я сидел без чая и гостей принять не мог. Осталось идти к Джону чай пить. Миша пристал к его прислуге, чтобы она яиц достала на яичницу, и та заняла у соседей; Джон на улице у мальчишки-фруктовщика купил арбуз — и устроили пиршество! Потом и Ивановский пришел, читал нам очень остроумные свои стихи и пародии, даже пел «тропарь» на казанских профессоров. Было весело и забавно. А сегодня Миша К[арпович] ушел в театр на «Китеж», от которого он в восторге. Я жду его с чаем — за летописями и письмом к тебе. Славный он мальчик, и я к нему понемногу привязываюсь. <...>

Сегодня я купил Мише калоши. Он некрепкий, очень мерзнет. А сегодня сыро. Сегодня вообще день холодный, осенний. Свои калоши он оставил в Москве, писал, чтобы их выслали, но их нет. А денег у него нет. В Париже ему предстоит жить на 50 р., как и Наташе в Москве. Последнее возможно, первое — трудновато.

Головань приехал. До Царского доехать не мог: оставалось 10 к. За извозчика заплатил швейцар Г[еоргия] В[асильеви]ча, а профессор дал ему 5 р. Сегодня он хотел приехать, чтобы нас повидать. Не знаю, приезжал ли, но у меня не был. Г[еоргий] В[асильевич] говорит, что выглядит он хорошо. Они долго гуляли по островам, и Гол[овань] с увлечением изливал свои заграничные впечатления. <...>

Стараюсь тратить мало, но понемногу деньги все-таки уходят. И с помощью квартиры, С[ергея] А[лександрови]ча, портного и еще кое-чего второстепенного — у меня изо всего, что я получил, остается налицо не полных 60 р. Но постараюсь получить еще в сентябре с Комиссии за 2 листа, т. е. 130 р. В первом же ее заседании я уже могу это сделать, хотя Скороходов, хваставшийся, что он теперь подвинет мое издание, безбожно тянет. Из них заплатил за Гутика. <...>

Сегодня я получил странное письмо. Слушатели Вольной высшей школы желают обратиться к преподавателям для выяснения создавшегося положения и просят, между прочим, меня принять для разговора их «представителей». Я назначил среду в 3 ч. Но не знаю, что они от меня хотят? Я вообще не знаю, как там дела. Лесгафт нас не собирал, а стороной я слыхал, что он уверен в открытии школы — и будто даже принимает новых слушателей.

И в стоюнинских курсах не очень ясно дело. Гревс говорил мне, что запись на них идет слабо, но что один курс (думали в этом году что-то вроде двух курсов устроить) состоится... Тоже толкуют, что надо на этой неделе собраться, а не знаю, в какой день. Среда (у Манизер) и четверг (у Платонова) у меня заняты.

А в институте прескверная история. Я писал тебе о ней, о бороздинской истории. Сегодня узнал от Платонова продолжение. Он написал Бороздину письмо, где сообщил ему решение отделения и то, что оно выразило «моральное неодобрение» происшедшему; и даже прибавил, что товарищи, решаясь на это, понимали, что Бороздин может ответить на это уходом. Бороздин встретился с ним и сказал, что «что же, надо уходить...». Но письменно, как полагается, не ответил... В четверг собрание преподавателей, — и, конечно, об этом говорить будут, — и к этому дню что-ниб[удь] должно выясниться. Пренеприятная история. Ведь выходит, что его выставляют товарищеским судом. Ничего подобного на моей памяти еще нигде не бывало. Любопытно, что всего тяжеле[е] к этому отнесся Адрианов, все искавший способа выпутать «Корнилыча», — но что тут найдешь, когда человек сам себя топит... Не думал я, что мы в институте и до такой авантюры доживем... В сущности, это результат отсутствия товарищеского контроля — и все отделение виновато, что до этого дошло. Я это и высказал в заседании. Но от такого сознания не легче. Вот какие дела. <...>

Д. 9. Л. 95—98 об.

635

13 сентября

<...> Генрих Матвеевич веселый, ласковый. Но на душе у него забота о Гене. Третьего дня он забегал ко мне убедиться, не изменили ли обещание «раута», — и говорил о Гене. Еще смущает то, что Геня «бродит», упиваясь по-юному студенческой свободой, что ему пришла в голову мысль уйти из дому и жить отдельно, — по-видимому, мимолетно пришла, — потому что он не хочет «зависимости», — смущает увлечение некоторыми товарищами. Словом, старый аист тревожится, что птенец сам летать пробует, и летать как и куда хочется, пробует крылья, не зная куда лететь, наслаждаясь самою свободой и силой молодых крыльев. Тревожится и смущается тем, что естественно, необходимо и ничего тревожного не заключает в себе.

Какие-то совсем другие, чем Геня, Миша и Захаров. Они старше — и совсем иначе настроены. Им не сойтись, даже взаимного интереса нет... Вернулись к 2-м часам. Захаров, чтобы не тащиться пешком куда-то далеко на Васильевский остров, — поехал с нами, втроем и ночевал у нас. Утром, как встали, ушли в университет слушать Гримма. Вчера Г[енрих] М[атвеевич] вернулся домой к 11 часам, убежав с совета в школе. А я приехал только немногим раньше — тоже с совета на стоюнинских курсах. Там дела не очень блестящи. Записываются много меньше, чем в прошлом году, и, пожалуй, гонорар сойдет опять на 200 р.

Я буду читать по четвергам от 6—8 ч. Если практические занятия придется назначить в пятницу (для университета), то у меня не будет ни одного дня вполне свободного... Про школу Лесгафта ничего не знаю еще. Министр народ[ного] просв[ещения] только вчера вернулся — и теперь решится это дело. Вчера заходили ко мне слушатели школы — и они опасаются, что если разрешат открыть биологическое и педагогическое отделения, то, пожалуй, наше-то «социальное» не разрешат. Я этому не очень верю; скорее, либо все разрешат (кроме столовой), либо ничего... А, впрочем, кто их знает!

Говорили они мне и о Лапшине. Дело в том, что в прошлом году Лесгафт передал Ив[ану] Ив[анови]чу, что слушатели жалуются на торопливость и бессвязность его лекций. Ив[ан] Ив[анович] ему ответил, что уйдет. И Лесгафт ничего не сделал, чтобы его удержать, так что получилось впечатление, как бы он рад сплавить Ив[ана] Ив[анови]ча. Это, вероятно, так и есть. Лесгафт не понимает и не любит философии, а теперь хочет психологию поручить не философу, а физиологу. Слушатели говорят, что это им вовсе не нравится, что они Лапшиным очень дорожат, что и с Лесгафтом-то говорил один из главных поклонников Лапшина, очень его хваливший, но с прибавкой, в совсем частном разговоре, вовсе не в виде жалобы, замечания, что вот только иногда трудно следить за Лапшиным, потому что он несколько торопливо и не совсем стройно изложил некоторые трудные вопросы. А Лесгафт из этого совсем не то сделал. Если школа откроется, то слушатели будут очень просить Лапшина опять читать курс.

А в институте сегодня развязка будет бороздинской истории. Бороздин ушел. Это тяжелая история, потому что материальные дела Бороздина весьма затруднительны и потеря более тысячи рублей его зарезать может. Но что же было делать? Сегодня придется рассуждать о том, кем его заменить...

Вот какие у нас дела. А у меня первые лекции не приготовлены... И, как-то странно, нет настроения... Сегодня и завтра попробую что-ниб[удь] сделать. <...>

Д. 9. Л. 99—101 об.

636

15 сентября

<...> Ты вот говоришь, что я пишу тебе хорошие письма, а ты нет, только о том, что у вас делается. А мне, право, кажется, что никогда еще так много радости не приносили твои письма, как в эту осень. В них нет той тоски, той боли, какая прежде часто бывала, в них жизнь и бодрость, которые мне так теперь особенно необходимы. После твоих писем проходит всякое беспокойное настроение, является уверенность в себе, в своих силах, в будущем нашем. <...>

С[ергей] А[лександрович] 25 р. отдал мне сегодня. У него снова большие вопросы на очереди. Сытин зовет его в руководители «Русского слова» с тем, чтобы он оставался в Петербурге и тут организовал отделение редакции, а от времени до времени ездил в Москву. Во вторник он на неделю уезжает в Москву, чтобы разобраться, какие там есть люди и в каком дела положении, и тогда решить. Если согласится, придется бросить «Русь» и Комиссию. Конечно, сохранятся все лекции, будет значительно выгоднее материально. Он настроен очень энергично, грезятся ему широкие перспективы, но вырвалась и такая фраза: «Боюсь, что не выдержу, ведь это все на нервах едет». Что-то эти ноты часто у него звучать стали...

Пробовал я набросать первую лекцию для университета, и недоволен. Что-то вяло и пресно выходит. Не знаю, куда девался тот подъем, какой был у меня весной и летом... И вернется ли? А послезавтра начинать нужно... Завтра надо мне съездить к Шахматову, поговорить о том, как быть с практическими занятиями... А обедать буду у Ив[ана] Плат[оновича]. Маня с Мишей уезжает в Царское и прислала мне трогательное письмо с просьбой пообедать с Ив[аном] Пл[атоновичем], не оставлять его одного. Относительно музыки решили так, что они и мы взяли билеты на камерные концерты Зилотти; за 2 билета на 4 концерта — 14 р. А симфонические пустили в трубу. В этих «камерных» будут и Изаи, и старые инструменты, и программа вообще хорошая. Не знаю, одобришь ли ты. <...>

В четверг утром пробовал составлять лекцию, ничего не вышло, и какая-то хандра мешала сильно; бросил все и ушел бродить по музею Александра III. Это меня успокоило. Много там хорошего. Надо нам с тобой сходить. Я никак не ожидал, что в русской живописи, да еще не у Третьякова, а здесь, у Ал[ександра] III, столько настоящей живописи. Брюллов, Поленов, Левитан, Грабарь, Жуковский и пр. и пр. — даже — право так! — Семирадский, словом, я как-то иначе смотрю, вероятно, теперь на колорит, гармонию света — и этого тут не так-то мало. Интересно будет с тобой обойти эти залы.

Курьезно, что это так на меня освежающе подействовало. Забежав на минуту домой, я пошел обедать, потом дома читал кое-что, что оказалось нужным просмотреть для первой лекции, которая, Бог ее знает, почему, слагаться стала совсем иначе, чем я думал, т. е. на другую тему. В пятницу, вчера, я ее почти всю написал, но недоволен, что-то вышло хотя и деловое, но сухое и пресное. Очевидно, так и останется. Конечно, написал я для себя только, т. е. буду говорить, а не читать. Может быть, буду в ударе и оживлю свою мертвую схему, а м[ожет] быть, наоборот, она меня съест. Главное, что как-то пропала охота читать. Не то чтобы это меня тревожило, как, например, практические занятия. Нет, тут что-то другое. Пожалуй, повлияли на меня и рассказы наших студентов о первых лекциях других, Гревса, Гримма. И разговоры с Лапшиным, Полиевктовым — как-то это все не по мне, точно жмет сапог, которого я еще не надевал. Яснее пока сказать не умею.

Сегодня я начал в VIII кл[ассе] у оболенок. Начал с античной культуры. Первая лекция совсем не удалась, второй час — вышло недурно. Класс мне незнакомый, по-видимому, мало симпатичный, не то что у Таганцевой, где самые физиономии, которые я видел перед собой, и то, как слушали, развязали мне язык, и я без натуги легко провел два часа. Я теперь в очках читаю и поэтому лучше вижу аудиторию и ее настроение. Давно надо было мне очки надеть, право.

Потом вернулся домой и, позавтракав, пропутешествовал в институт. Сегодня там был молебен, и мне удобно было поговорить с Сер[геем] Фед[оровичем] о покупке летописей для студентов. Кстати, и о моих делах опять разговор вышел, и С[ергей] Фед[орович] сказал, что если нужно, он теперь, может быть, устроит мне выдачу 100 р. — в счет рождественских денег. Как ты думаешь? Тут в институте оказался и Адрианов, приехавший узнать, как обстоят дела с историей литературы. По-видимому, академик Истрин согласится заменить Бороздина. В доме этого Истрина, т. е. его отца, вернее, мы жили в Москве, когда мне было 6 лет.

С[ергей] А[лександрович] тут-то и рассказал мне свои сытинские дела, потом поехал к Истрину поговорить и уговорить. А я — к папе обедать. В конке встретил Нестора Котляревского. Вот тонкий, талантливый человек, с большой и сложной культурой и культурностью! Но встречи с ним, всегда приятельские, будят во мне грустные чувства. На беседах с ним так ярко для меня выступает все, чего нам, «товарищам», — недостает — столь нужной для нашего дела талантливости, которой не только ни у кого из нас нет, но по-настоящему-то нет и у наших «больших» — Форстена, Платонова — в достаточной мере. А плохо быть скрипачом на скрипучей скрипке. Ну, что же делать? Хорошо еще, что настоящих людей по нашей части и вообще мало, а то и вовсе нет, так что на безлюдье и такие «фомушки» — дворяне. Разве один С[ергей] А[лександрович] по-настоящему талантлив, но и это загубленный, разменянный, непродуктивный талант, как, по-настоящему, и сам милейший Нестор Котляревский.

Сейчас надо идти в гимназию Таганцевой на совещание учителей VIII класса. Не знаю, удастся ли скоро оттуда уйти, чтобы еще заглянуть к Форстену, чтобы посмотреть на Головань, которого я так еще и не видал. А и лекция еще не вполне готова, и корректуры лежат, правда, только что присланные. Жаль, не умею я по ночам работать. Сколько бы на этом можно было времени выиграть.

Сил, сил, вот чего мне не хватает. Не душевных, потому что этих у меня от Юли довольно, на какое угодно дело хватит, а умственных и физических... Воистину сказано: «Бодливой корове Бог рог не дает». Ну, довольно, что-то я стал малодушествовать, хотя все это я давно знаю и сознаю. <...>

Д. 9. Л. 102—106 об.

637

15 сентября

Только что пришел я от Форстена. Все еще там, еще нет 12 часов, а я ушел, ни с кем не простившись. Г[еоргий] В[асильевич], которому я сказал, что ухожу, не удерживал. Он думает, по лицу было видно, sancta simplicitas!,* что я иду готовиться к лекции. А я совсем не потому ушел.

Нервный, тоненький, изящный, еще похудевший, весь горящий восторгом, трепещущий Головань говорит об искусстве, о дивном Веласкесе, о могучей творческой современной французской живописи... и пошлый, вульгарный, прикрывающий тупое филистерство своей грубой натуры сомнительной «объективностью» и «скептицизмом» Вульфиус — ему возражал. Возражал как «умный» школьник, что, мол, все это «субъективно», что вы, мол, не докажете... И Головань о чем-то спорит. Что-то доказывает этому деревянному дурню. И так весь вечер. Правда, я поздно пришел, к 11-ти почти. Но вынести было нельзя. Глупо, скучно до обиды стало.

---

* Святая простота (*лат.*).

А тут еще Г[еоргий] Вас[ильевич] с обычной презрительной иронией, третирующей восторженные суждения Голованя... Вера Викторовна,[476] Фридолин и прочий соус... Я и ушел.

Отчего нельзя жить темпом и тембром, каким хочет жить Головань? Юлек, мой Юлек, я ушел со странным, жгуче-страшным чувством — отчего нельзя жить Голованям? Горит он, как в лихорадке, милый, чудный... Я с ним почти ни слова не сказал и ушел и унес его больше, чем когда-либо, в своем сердце... Только ты меня и поймешь, как его понимаешь и любишь. <...>

К Форстену я пришел от Таганцевой. Судили и рядили о занятиях восьмого класса. Надумали кое-что хорошее... Сделаем ли? Как трудно дело делать... Не умеем мы, не привыкли, разбросались. Сосредоточенности, силы, глубины нет. Да и как, говорим, дела делать, когда жизнь так разбрасывает. Когда вместо дела мелькают «дела», как в калейдоскопе, когда не то что дело сделать, а и себя-то найти внутри себя трудно за суетой, за толчеей, за раздробляющими внимание, ум и душу тысячами мелочей жизни и «текущих дел». Смешной народ — люди, право! А всюду дело настоящее, живое тут под рукой. И не делаешь его, а только себя и людей по губам мажешь.

И отчасти это оттого, что у нас так легко всем довольны остаются, так что и распускаешься. А отчасти оттого, что по-настоящему всем этим и не огорчаешься, потому что все равно жить на свете ей-ей совсем недурно, а даже и очень хорошо... Особенно, когда от Юли письмо получишь, хоть пару строк, как сегодня, или подумаешь так ясно, сильно подумаешь, что ведь еще несколько дней и она будет тут со мной, услышу голос ее, тут близко, близко возле меня она будет...

Право, даже нехорошо так любить. Право же, Юлек, нехорошо. У других и Бог, и искусство, и идеалы, и все, что надо, а у меня все это тоже есть, прекрасное украшение жизни, так вроде музеев и концертов, но есть что-то главное, большое, что всю душу наполняет такой странной силой, что... и не знаю, что, а вообще, если бы ты была права, будто я тебе даю столько же, как ты мне, — то как бы бодро, легко и весело жилось тебе на свете.

А пока прощай. <...>

Д. 9. Л. 107—108 об.

638

17 сентября

Ну, дорогой Юлек, лекции я прочел сегодня от 1 до 3-х.

Вынес такое впечатление, что читать в университете или в 8-м классе гимназии — все равно. Обе лекции я написал, чтобы доработать их сегодня, согрешил, не пошел в гимназию... А отправляясь в университет, и записную книжку с написанными лекциями, и листки, на которых я цитаты выписал, какие хотел вставить... забыл дома, положив в карман другую книжечку! Поехали мы с Мишей К[арповичем] к часу. Знакомых в профессорской немного по понедельникам — Лаппо-Данилевский, который книжку читал и ни с кем не разговаривал, Гессен, испанец Петров, Соболевский. Слушать меня собралось для филологии много, человек 50. Но из них 30 пришло потому, что хотели сговориться о практических занятиях. Будут ли курс слушать — еще увидим.

Я читал стоя, очень спокойно; слушали чрезвычайно внимательно, даже кивая головами в знак внимания и понимания. В перерыве между лекциями в соседней с аудиторией комнате толковали о практических занятиях. Решили собраться в среду в 10 ч. Вероятно, эти занятия вообще будут в среду утром — от 9—11. Хотя некоторые протестуют, находя, что это слишком рано, и предпочли бы вечер. Я был бы рад остановиться на этих часах, потому что тогда у меня пятница совсем свободна, да и четверг целый день, только от 6—8 у Стоюниной. Потом читал 2-й час — и в конце была даже — впрочем, неудавшаяся — попытка мне поаплодировать.

Итак, лед сломан, дело начато и теперь пойдет. Слава Богу, что начало за плечами. Слава Богу и то, что наш факультет бросил тот обычай, который и теперь соблюдают юристы, а прежде и у нас соблюдали: вступительные лекции новых доцентов начинать с помпой, с профессорами, с особыми объявлениями. Сегодня вечером поеду к Шахматову поговорить о практических занятиях. Я вчера утром у него был, у него и завтракал, — но было много народу, и потолковать не удалось. Вот он мне и назначил сегодняшний вечер. Может быть, он мне поможет разобраться в этой мудреной задаче — практических занятиях по летописям! Милый он человек, с каким он интересом относится к моему курсу, даже уверяет, что охотно сам бы его послушал! И это — от души... Такое доверие человека, которого считаешь большим, — сильно подбадривает. <...>

Д. 9. Л. 109—111 об.

1908

639

Пятница, 2 мая

<...> По-видимому, уход Г[еоргия] В[асильевича] из гимназии Оболенской через год — дело на этот раз серьезное, и, как мне Миша сказал, даже Е[лизавета] Ник[олаевна] с этим «примирилась»... Обсуждали мы и с Мишей, и с Ярошевским, что из этого выйдет, — и порешили, что гимназия в корне преобразится... Оба согласны, что мне браться за это невозможно, а об этом может подняться разговор... Другого же кандидата из среды нашего педагогического совета не выдумать, а стороннее лицо внесет конечно новое и чужое. Интересно будет узнать, что думает об этом Георгий Васильевич! <...>

Сегодня сижу дома, только бегал купить бумаги и подписаться на «Речь». Читаю уныло своих чехов. Вечером заседание у Сер[гея] Ф[едорови]ча, на которое придется пойти. Завтра занятия в университете и потом репетиция у оболенок. Пока прощай, Юлек. И письмо это такое же вялое, как я сегодня. Все нервы точно погасли. Авось это скоро пройдет... <...>

Д. 9. Л. 113—113 об.

640

5 мая

Вчера, дорогой Юлек, был у меня Адрианов. Я написал ему, спрашивая, какие принять меры для того, чтобы он поправил сочинения оболенок. Вот он и пришел их поправлять и отметки поставил. Потом поговорили мы с ним. Глупый он, усталый человек. И развел себе теорию, что он конченый, что его песенка спета, что он дошел до своего предела. На эту тему мы спорили, продолжая спор, который при тебе начался у Штрупа, пойдя, стало быть, от литературы и ее читателей, а пришли к личным настроениям Адрианова. В итоге вывод, что ему необходимо на лоно природы, проехаться, освежиться. А дела его такие: до июля протянется Дума, и для него напряженнейшая работа. В июле надо разобраться с квартирой, п[отому] что эту так бросить нельзя. И только на август надеется он вырваться. А устал он вдребезги теперь уже — и не без ужаса думает о такой же работе еще два месяца. <...>

После отъезда вашего, как из первых писем видно, я сразу осел и пришел в упадок, но, по счастью, это оказалось мимолетным — и я уже вчера и сегодня похож на человека и с увлечением разбираюсь в своих материалах. Но именно потому мне писать мало что. Голова занята древнерусским правом. А знаешь, если выйдут мои «Очерки по истории древней Руси», пожалуй, эта книжка может оказаться довольно скандальной.[477] Я должен поневоле ряд вопросов поставить в резкий разрез и Ключевскому, и Сергеевичу; Платонову это все равно, так как в древней истории он не работал, а больше чужое повторяет, хотя из разговоров с ним вижу, что понимает он тут больше, чем в лекциях высказывает. И попадет же мне на орехи! В этом, конечно, немало и лишнего интереса.

Представь себе, вчера педагогички пришли просить меня — ехать с ними в экскурсию на Кавказ! Excusez du jeu!* Смысл этих «экскурсий» в умеренной плате... и только, насколько понимаю. <...>

Д. 9. Л. 114—115 об.

641

7 мая

<...> А я вчера занимался дома, пообедал в час, а к 2-м надо было пойти на собрание учителей таганцевских, чтобы обсудить, как ознаменовать 25-летний юбилей гимназии. Решили адрес составить Л[юбови] С[тепанов]не и, кроме того, устроить подписку для деревенской библиотеки при народной школе в имении Таганцевых. И начали подписку тут же — С[ергей] Ив[анович] раскутился на 25 р., ну и мне, по малодушию, пришлось 10 р. подписать. Деньги вообще тают. Вчера студенты, высылаемые на родину, 5 р. у меня выпросили... Зато начальник Сенатского архива Блинов обнадежил, что мне будут выдавать по 75 р. в месяц, хотя не ежемесячно, а по 150 в 2 ме-

---

* Не взыщите! (*фр.*).

сяца. Это было бы недурно. К отъезду это выяснится определенно. Здесь в Архиве я побывал в понедельник посмотреть количество и порядок нужного мне материала. Оказалось не так страшно много — и справиться вполне можно. Посмотрим еще, как в Москве. Эта поездка в Москву, кажется, неизбежна, но ведь с Архива денег на нее еще не получишь, и я не знаю, как быть. Если Платонов не даст, то придется у папы просить. Некстати эта поездка, п[отому] что от работы отрывает. А я вошел во вкус этой работы.

Из Архива я в понедельник попробовал трамваем проехать к Карееву, но не застал его дома. Впрочем, вечером, во время университетского экзамена, я его видел, и он к 14-му обещал приготовить мне письма в Краков и Львов, хотя и говорит, что в июле—августе я никого там не застану, пожалуй. <...>

В понедельник экзамен в университете кончился рано, и Платонов предложил меня довезти, так как сам едет к Дружинину. Мне стало неловко, и я тоже поехал к Дружинину. По дороге мы много разговаривали, и меня прямо пугает — и трогает, как во всем тоне Платонова чувствуется, что он очень в меня верит и много ждет. Он этого не подчеркивает, а так в каждом слове это сквозит, тем оно крепче выходит. Дай Бог нашему теляти волка забодати...

У Дружинина было не очень скучно, так как разговоры пошли «ученые», да я рано и ушел, воспользовавшись уходом Платонова. <...>

Глупо, что так мало опять в это лето нам вместе быть придется. Тут столько времени пропадает на учительские дела, что я боюсь, уехать ли мне до июня... А ведь дело надо сделать во что бы то ни стало, а то совсем неладно выйдет. Векселей надавал — платить приходится. Пиши, дорогая моя. Надо бы мне детям написать, да не соберусь купить картинок. Даст Бог, Славкина болезнь миновала? Жду известий. Крепко, крепко целует свою радость твой Саня.

Д. 9. Л. 116 об.—118 об.

642

11 мая

Дорогой Юлек, я, кажется, в Москву не поеду. Мы с Платоновым уговорились, что особой необходимости тут нет. В Архиве я все равно много не сделаю в 2—3 дня, только осмотрюсь. А с московским сотрудником Числовым решили списаться. С этим Числовым целая история. Дело в том, что, когда затеялась история Сената, предложили устроить всю работу и руководить ею Платонову. А сенатор Зверев то же ухитрился предложить a parte* московскому Филиппову (профессору Моск[овского] ун[иверситета]). Вышло крупное недоразумение, из которого вышло то, что и Платонов отказался от роли главного редактора, и Филиппов ее не получил, а остался, с помощью Зверева, при Петре Великом. Но он раньше наобещал Числову — Сенат за царств[ование] Елизаветы, с тем, что Числов и диссертацию из этого сделает. А Платонов то же самое предложил мне.[478] В совещание об устройстве всего дела, под председательством сенатора Добровольского, где были Зверев и Филиппов, Платонов и Блинов, пришел я, а не Числов. Тогда Филиппов, который своей работой и заработком не хотел делиться, упросил Платонова дать что-ниб[удь] Числову. И Платонов попал в положение такое, что надо было расхлебывать мне. Я просил С[ергея] Фед[оровича] написать Филиппову, чтобы выяснить роль Числова, ставившего вопрос так, что он со мной может поделиться по соглашению. Пришлось Платонову отвечать, что дело поручено мне и от меня зависит его постановка. А мне пришлось сочинить Числову дипломатическое письмо, где я предлагаю ему принять от меня поручение, с правом для меня переделать по-редакторски то, что он мне даст, словом, роль моего помощника по разработке московского материала, с вознаграждением в тысячу рублей. Теперь я понимаю, почему Платонов тебе сказал, что эта работа даст мне 2000 р. Так оно и выйдет. Но со мной С[ергей] Ф[едорович] вел дело так, чтобы, не стесняя моей свободы, дождаться, пока я сам приду к тому выводу, какой наиболее удобен из создавшегося положения. Кроме того, несколько сотен я получу на поездки в Москву.

---

* Отдельно (*лат.*).

Что касается порядка получения денег, то помимо С[ергея] Фед[оровича] я уговорился, как писал тебе, с Блиновым о получении до 150 р. в каждые 2 месяца, но не знаю, утверждено ли это. Это составит за 2 года 1800 р., и под конец мне останется рублей 200, а м[ожет] б[ыть], и несколько больше, так как число 15 листов — приблизительное, минимум, а не максимум.

Жду теперь ответа от Числова: примет он роль моего подручника или обидится, так как ему, видно, Филиппов обещал более самостоятельную роль. <...>

А у Таганцевой дело неважно идет. Скучно идет. И ученицы жалуются на это, и учителя. Как-то ничего общего нет, все в разброде. Сама Люб[овь] Степ[ановна] только формальный порядок держит. Очень чувствуется отсутствие Гревса. Даже Над[ежда] Ник[олаевна] это признает и сильно бранит гимназию. А ее старшие дочери рады, что кончили при «старом режиме», т. е. гревсовском. Не помню, писал ли я тебе, что Серг[ей] Фед[орович] сухо отказался принимать какое-либо участие в юбилее гимназии... Впрочем, Сер[гей] Ив[анович] уверяет, что ему сам Платонов это объяснил как следствие того, что во время смуты, переживавшейся гимназией, «его отшили» от всякого участия в делах гимназии. Смутно вспоминаю, что что-то в этом роде и мне С[ергей] Фед[орович] тогда же говорил, т. е. насчет «отшивания»... Кстати, по поводу Сергея Ив[ановича]. Меня давно удивляло резко враждебное отношение к нему женской половины платоновской семьи, отражающееся и на пренебрежительном мнении о нем самого Платонова. Недавно Над[ежда] Ник[олаевна] определеннее сказала мне, в чем дело. Ее дочь, та, что теперь в 8-м классе, рада кончить вообще, п[отому] что не любит гимназию, а особенно рада никогда больше не встречаться с Сазоновым.

Над[ежда] Ник[олаевна] уверяет, что его и вообще не любят, и очень не любят в гимназии. За то, что он-де «самодур» — и выражается это в том, что он, раз составив себе мнение об ученице, упрямо стоит на нем, как, напр[имер], относительно некой Фохт, которая много работала по физике, отец ее геолог и дал ей возможность проделать дома все опыты, — и как бы она ни отвечала, пяти она никогда получить не могла. Притом Сазонов ее так спрашивал, что выходило, что и правда она не стоит больше четверки. Получалось неуменье понять ученицу, добросовестное, несознаваемое упрямство в суждении и потому — придирчивость в требованиях, недоверие к тому, что отвечено хорошо, и впечатление, что он во что бы то ни стало старается испортить ответ.

Мне обидно чувствовать, что доля правды в этом должна быть, догматичность и нетерпимость, деспотизм и «самодурство» крепкого сибиряка — должны сказываться в Сазонове. Очень хочется знать, что ты об этом думаешь. А мне вспоминаются слова в письме одного человека, которому — совершенно заслуженно — Сазонов сильный удар нанес: «Я знаю, Сазонов мужик сильный, и ему раздавить человека ничего не стоит!».

А я не утерплю, чтобы обо всем этом крепко не поговорить с ним. Буду только ждать твоего отзыва на это письмо.

Ну, а после репетиции я дома сидел и занимался. Брр, как много дела, интересного, сложного — в этой работе. Если удастся хоть что-ниб[удь] сделать, скажу, как Victor Hugo о «Misèrables»: «Ce livre est necessaire — je le publie».* Не нахал ли твой Санька? На это тоже ответь... А то ведь я, право, хорошенько не знаю, что ты обо мне думаешь. Помню, как когда-то давно Сер[гей] Ал[ександрович] сказал мне: «Ю[лия] П[етровна] хорошо знает, что мешает тебе облениться?». А — что??

Вчера, т. е. в субботу, была репетиция у педагогичек. Слушательницы очень удивлялись, что я в два часа их 23 обработал, поставив одну четверку и 22 пятерки. Потом позавтракал и поднялся к С[ергею] Фед[оровичу] для окончания истории с Числовым. <...>

Вечером было заседание в Комиссии, куда я принес Сергею Федоровичу для одобрения письмо к Числову. Потом пошел к Г[еоргию] Вас[ильевичу]. Г[еоргий] В[асильевич] вчера почему-то со мной особенно ласков был. А это всегда выражается у него воспоминанием об одном вечере на Малой Итальянской, когда мы были вдвоем, ни о чем не говорили, а он пел, пел романсы Франка. Бывают минуты, когда между людьми что-то произойдет невысказанное, что свяжет на всю жизнь какой-то особой связью. И меня эти его воспоминания, так мимоходом брошенные, трогают до внутренних слез. Ведь именно тогда он стал мне лично дорог, и все остальное в наших отношениях все-таки второстепенно.

Что касается его ухода из гимназии, то я поторопился придать значение этим разговорам. Вчера речи были иные. Г[еоргий] В[асильевич] в этом году очень, особенно устал. Конечно, потому, что в университете не клеилось. Теперь он «попробует» еще год, но уже заранее говорит — авось еще потянем... И я уверен, что потянет, п[отому] что очень надеюсь, что и у него, и у Платонова в будущем году пойдет лучше — на наших младших преподавателях, несколько подготовленных учениках. Ведь весь секрет в том, что действительно, благодаря «освободительному движению», попала в университет публика, мало подготовленная, которая не могла раскусить настоящую науку наших учителей. Хорошо, что на будущий год Миша объявляет просеминарий для начинающих. И я думаю в следующем году, если можно будет, сделать то же. Это очень нужно.

---

* Виктор Гюго об «Отверженных»: «Эта книга необходима — и я ее выпускаю» (*фр.*).

Ну, вот какая длинная летопись моих двух дней. По поводу того, что я писал о Форстене, вспомнилось мне нечто странное из другой оперы. Помнишь Спицына? Мы почти не встречаемся, его ученая физиономия и его житейские понятия мне чужды, не только не интересны, но почти неприятны. Но что-то остается из старых отношений — и он это ясно понимает, вспоминая «о некоторых событиях в Вильне». Помянул это и в понедельник у Дружинина. <...>

А Сер[гей] Фед[орович] сказал мне: «Адр[ианов] у нас на волоске висит... неужели и в будущем году такие пропуски будут?». Что я мог ему ответить... Мне даже кажется, что он был бы способен теперь же порвать. Если бы не считался с нами. Тяжело это.

Д. 9. Л. 119—124 об.

643

12 мая

<...> Г[енрих] М[атвеевич] собирался переехать на Охту на лето, а быть может, и совсем. Трудно, говорит, вытянуть. Но если наладится заказ двух портретов, для которых надо будет работать в Аничковском дворце, писать с живущих там стариков графа и графини Менгден, то попробует еще удержаться на старой квартире, которую ему, конечно, страшно жаль. А лето они все проведут, по-видимому, на Охте.

Заходила Маня. Миша уже бросил Париж, поехал в Тифлис, лето они проведут в Менглисе, а потом он хочет вернуться в русский университет... Не выдержал. Маня думает, что, кроме всего прочего, тут и его роман большую роль играет.

И Наташа думает о Петербурге, но тут ей разве Раевские курсы доступны. В университет не примут, а на Высшие курсы с ее аттестатом не пробиться.

Мечутся они. Маня говорит, что кончит Наташа, конечно, замужеством, но пока хочет все учиться и добиться «дела». А Мише тут после Парижа скучно будет. <...>

Сергей Ал[ександрович] в воскресенье ко мне переехал. Он теперь расхлебывает кашу с милюковским скандалом. Если «Речь» до тебя дошла, а то и из варшавских газет — ты знаешь, должно быть, что полемика «Речи» и «Руси» кончилась тем, что один из сотрудников «Руси» ударил Милюкова, совсем между тем не причастного к полемике, которую вел Иосиф Гессен. Теперь литераторы судят это дело, при деятельном участии Сержа.[479] <...>

О Москве и всяких делах не пишу в надежде, что мои письма дошли-таки наконец до тебя.

Я писал там, что меня количество работы очень смущает, так как трудно сказать, удастся ли мне скоро удрать к тебе. <...>

Работаю я как будто много. Но зарываюсь, сказал бы Платонов. Ну слыханное ли дело, чтобы для очерков по древнерусской истории читать чешские и сербские книги — да еще не зная этих языков — и рыться в сербских законах, хорватских статутах. А для меня в этом суть дела, ключ к ряду решений задач древнерусской истории. То, в чем вся моя сила. Вот и о Сенате. Платонов считает, что из занятий им должна сложиться докторская диссертация. Теперь оказывается, что Числов пишет об елизаветинском Сенате магистерскую. И я делаю вид, что, значит, мне тут делать нечего. А на деле уже сложился целый план сравнительного изучения Боярской Думы — допетровской — и Сената XVIII в. сравнительно с западноевропейскими государственными советами и с королевскими советами Франции и Англии особенно, чтобы определить государственную или политическую сущность нашего Сената, а не только его описывать, как делают Филиппов и, наверное, его ученик Числов. Я не понимаю изучения Сената в царствование Елизаветы. Ну, может ли ботаник изучать «березу в июне месяце»??

А при такой манере кто скажет, сколько надо работы? Где ее предел? Только практика показать может. Для истории древней Руси так мало данных, что их нельзя понять без широкого сравнения с чужой жизнью, вот в чем мой «трюк». <...>

Хорошо стало в Питере в смысле погоды. Еще не очень жарко, а солнечно. Впрочем, вчера и сегодня даже жарко на улице.

Утром, пока не откроешь, и в комнатах жарко. Я встаю очень рано, часов в семь. Это лучшее время. Уже несколько дней так встается. <...>

И грустно, и больно думать, что Юля, и усталая, и грустная, там одна, без меня. Бедная ты моя. А мне тут в конце концов так странно, что я на людей смотрю, точно в кинематографе: говорю с ними и забываю о чем, слушаю равнодушно, о чем толкуют — усталость сказывается. <...>

Д. 9. Л. 125—128 об.

644

14 мая

Милый, дорогой мой Юлек, я уже писал тебе, что считаю огромной ошибкой, что мы не взяли бонну. Ну, а если поехать придется на море, разве ты справишься с Марианной? Нельзя ли кого-ниб[удь] подходящего поискать в Ковно, хоть на время? А то ведь все лето пропадет. Ведь и я, когда приеду, плохой будет тебе с меня помощник, слишком много строчить придется. <...> Напрасно ты думаешь, что я не понимаю, какая на тебе лежит тягота. Напрасно думаешь, что меня не мучает моя невозможность или просто неуменье устроить твою жизнь иначе. Я очень крепко чувствую, что приношу твои силы и твою жизнь в жертву своим попыткам добиться целей, какие стали по части науки и университета... Но тут передо мной какая-то безвыходность. Ведь и ты не хотела бы, чтобы я от них отказался или хотя бы даже увертывался от них, как до сих пор... Ведь ты меня толкаешь в ту же сторону, и как будто искренно, а не только ради моих вкусов.

И в этом последнем твоем письме меня поразило, что ты жалеешь, почему я не хочу занять место Г[еоргия] Вас[ильевича], и собираешься об этом со мной говорить. Я думаю, что тут дело ясное — и невозможное. Но ты, по-видимому, предпочла бы, чтобы я и это дело, как нужное, общественное, взял на себя? А ведь каждый шаг к новой и более сложной ответственной работе еще тяжелее ляжет минусом на личную, семейную, на нашу настоящую жизнь. Тем более, что материально это не окупается, не дает возможности лучше, свободнее устроить обстановку этой жизни. Большое колесо жизни захватывает, лишает свободы — и дробит. А это лето? Я отдал его целиком «делам», оторвавши его у тебя. Целиком, п[отому] что мало времени проведем мы вместе, да и там я очень должен буду быть занят. Не знаю сам, можно ли было иначе поступить, надо ли было, или нет, ради будущего, которое, если выиграть поставленную карту, может быть лучше. Но ведь это «будущее», а года идут, время и молодость уходят... Голова кругом идет от всех этих мыслей, а жизнь решает их по-своему, тянет, куда ей надо... <...>

Что касается моего отъезда, то я не могу и теперь сказать ничего путного. Лишнего сидеть не буду. В Москву без крайней надобности не поеду, а понадобиться, по-видимому, особенно не может. Постараюсь подогнать к 25—26, но не знаю, удастся ли. Если на море не поедем, то буду июнь и пол-июля писать в Домброве, ну а если поехать придется, по-видимому, и мне надо ехать, хотя не представляю себе возможности систематической работы, напр[имер], так, как мы в Либаве жили. Ведь я толком могу работать только при гарантированном одиночестве, не урывками, а сплошь часами. Иначе напряжение мысли обрывается, прерывается, мнется — и ничего не выходит. Не знаю, понимаешь ли ты, что я хочу сказать. Сосредоточенность нужна, вот что. И Платонов, умеющий работать, недаром боится моего отъезда. <...>

Сегодня я получил от Кареева рекомендательное письмо к Бальцеру и 2 рекомендации в Краков. Не знаю, если я теперь напишу Яну, застанет ли его письмо в Варшаве; а я хочу напомнить ему о предложении Пиотровского тоже дать мне рекомендации в Краков. Вот эта краковская экспедиция — самое нелепое из обстоятельств этого лета. Я мог бы отлично без нее обойтись, и если тебе не удастся приехать ко мне, то она окончательно всякий смысл потеряет. <...>

Д. 9. Л. 129—131 об.

645

16 мая

<...> Если круг вопросов, о которых писать придется, выяснится мне и материал в руках будет, то, конечно, лучше уехать в деревню, тут много времени пропадает. Вот хоть бы вчера. Утром, только я чай выпил, пришел Сергей Иванович — поговорить о том, что его профессора Политехникума зовут в директора Лесной школы... <...> Потолковав, мы пришли к выводу, что принять С[ергею] И[вановичу] нельзя, так как он слишком резко расходится с педагогическим советом, который там «автономный», да и жаль бросить другие дела, ко-

торые желательно дальше вести. А главное, что на Петербургской стороне, на Церковной, нашлась школа двух учительниц, которая очень понравилась С[ергею] Ив[ановичу] и в которую он отдает своих мальчиков <...>. Пока там только приготовительный и первый классы. Так он и решил отказаться от Лесного.

Днем я позанялся, а вечером был экзамен в университете, потом я пошел к Альберу. Чудак Крусман. Он так сконфузился, что хотел сбежать. Поехал — и проехал в трамвае мимо Альбера, борясь с желанием уехать куда-ниб[удь] в другое место. Были: Форстен, Адрианов, Миша, Джон, Образцов, Ярошевский, Крусман и я. Головань болен ангиной. Знаменский (физик в гимназии) тоже. Звали еще Елиз[авету] Ник[олаевну], но она написала, что боится нас стеснить... Было, конечно, довольно уютно, хотя не очень весело. Три поколения не спелись. А у Миши даже такое впечатление, что «форстенята» пасуют перед младшими. У меня такого нет, но горькое чувство, что «форстенята» вышли мельче, чем хотели быть, и что то, что Миша считает специфическими чертами «нашей веры», — пусто, ничтожно, что и он, и Ив[ан] Ив[анович] размениваются на дробную мелочь, внутренно, и не в поступках только, быстро буржуазеют, С[ергей] А[лександрович] погружается в скептическое уныние, которое и у Голованя только прикрыто его тягой к «joie de vivre» и к «savoir-vivre»,* хотя у последнего это только сверху — и то и другое — т. е. и уныние, и тяга — а в сущности большой запас настоящей и полной понимания любви к высотам культуры и творчества. Жуткое и тяжелое чувство — в том, что я чувствую себя держащимся на ногах, устойчивым в том, что было настоящей верой «форстенят», жуткое и тяжелое не только потому, что я пишу «было», но и потому, что в душу закрадывается сомнение: не обманываю ли я себя — по наивности, по самомнению или как-ниб[удь] еще иначе... Нет, право, нет. Ведь через всю нашу «форстенятскую» жизнь красной ниткой шла, идет и пойдет сила слабого Сани, сила непобедимая, подымающая, которой чудесное имя: Юля.

Ведь так? Ведь ты понимаешь, что это не любовь моя говорит, а мой холодный ум просто делает из воспоминаний и настоящего ученый вывод. Да и все они — кроме Джона — во многом тобой прямо, а отчасти тобой же через меня держатся. <...>

Вернулся я в 3 часа с большим и вовсе несвоевременным минусом в кошельке. Вернулись мы пешком с Сер[геем] Ив[ановичем] и химиком Ипатьевым, которые, когда мы собрались уходить, оказались тут же у Альбера.

Вот как мы кутим. И ведь нельзя было не устроить этого, хотя, по правде сказать, ничего из вчерашнего вечера не вышло. Поцелуй Гутика за письмо. Сейчас некогда ему писать. Встал я сегодня, конечно, попозднее. Но удивительно, как кьянти и мумм освежают голову и весь организм! Надо работать. <...>

Д. 9. Л. 132—134 об.

---

* «Героизму» и «хорошему тону» (*фр.*).

646

18 мая

<...> А я в Москву совсем не поеду. Незачем. С Числовым и Филипповым происходит у нас, меня и С[ергея] Ф[едоровича], неприятная переписка; мне пришлось Числову написать категорическое письмо о том, какие условия работы я ему предлагаю, с просьбой сообщить мне, если, как выходит по его тону, он считает, что принять их не может. Лучше было бы от него отделаться, а то с такой публикой и потом неприятностей не оберешься. А вчера у меня был [Павлов]-Сильванский и сообщил, что у них в Государств[енном] архиве — довольно много и очень хорошего материала для той же работы. Так что самое важно[е] для меня — здесь, в Петербурге, но будущим летом придется много поработать в Москве, все равно, откажется ли Числов или нет.

С[ергей] А[лександрович] и Штруп — оба тут. Одного я поместил в спальне, другого в детской. Утомлен С[ергей] А[лександрович] до чрезвычайности, но выдерживает и выдержит. <...>

Завтра Миша с матерью уезжает в Москву. А Г[еоргий] В[асильевич] во вторник вечером — за границу. А я с ужасом думаю, что едва ли мне в одну неделю справиться с тем, что нужно тут еще сделать для того, чтобы уехать со всем нужным материалом... <...>

А у нас настоящее лето. Солнце печет сильно. Зелень шибко распускается. Тянет вон из города. Дай Бог, чтобы лето было хорошее, чтобы не оправдались зловещие предсказания метеорологов.

Петербург сильно занят приездом чехов, с Крамаржем, крупнейшим чешским политическим деятелем, во главе.[480] Они — чехи — с поляками — сильно подняли политическое настроение, до того, что такой «правый», как Вл[адимир] Бобринский, заявил в речи, что нам дана конституция — и это безвозвратно, и просил Крамаржа при проезде через Варшаву передать «привет нашим братьям полякам». При дворе смущены и недовольны. Ну, да это в «Речи» прочтешь. <...>

Д. 9. Л. 135—136 об.

647

19 мая

Жарко, Юлек. 9 ч. утра, а жара как в полдень. Это должно разразиться грозой, хоть дождем, а то уже очень тяжко. <...>

Сегодня Крусман читал в университете свои пробные лекции... С этими лекциями приключился эпизод, весьма характерный для нашего профессора. В субботу на прошлой неделе было факультетское заседание, в котором должна была быть назначена тема для Крусмана. Одну тему ведь он сам выбирает (ему, конечно, Ф[орстен] назначил, какую выбрать), а другую факультет назначает. У меня иначе было — я обе сам назначил Платонову. Ну, а тут так вышло, что Г[еоргий] В[асильевич] был занят экзаменом, в заседании не был и даже не позаботился написать, какую предлагает тему. Тогда пришлось Карееву назначать, и он первое, что в голову пришло, назначил: «Кромвель в новейшей историч[еской] литературе». Форстен находит, что это неправильно, но что же было делать факультету? И Крусману дольше откладывать нельзя, п[отому] что надо быть готовым для назначения в Одессу. И Крусман смутился, говорит, что тут много работы, в несколько дней нельзя сделать, надо отложить на осень. Так он решительно говорил еще в четверг. А в пятницу Ф[орстен] позвал к себе его, выбранил и велел читать сегодня. Крусман и будет читать, — если не сбежит. Его смущает эта «наша» манера, о которой много было разговоров в четверг у Альбера, храбро браться за что угодно, и у него даже вырвались слова: «Да что я, в шулера, что ли, готовлюсь».

Нелегка стыдливому юноше форстеновская школа. Но очень мне было бы интересно выяснить, какое от всего такого останется у «младших» впечатление от нас, старейших форстенят? Вот почему я тебе так пространно рассказываю этот эпизод. Для Форстена все мы «молодежь», но между ним и мною разница меньше, чем между мной и Ярошевским, которому всего 24 года (Крусману 28). Теперь, как я вошел в университет, мне чудно наблюдать, как стушевывается для студентов разница между, напр[имер], Форстеном и Гриммом. В нашей среде так сильно чувствуется разница поколений, а со стороны она тонет в среде г.г. преподавателей.

Да: я, кажется, забыл тебе написать, что в четверг у меня двое студентов на экзамене провалились, один первокурсник, а другой — старый студент, эфиоп невероятный, нечто крайне некультурное. Он уже с 1904 г. в университете и общего курса русской истории не может прилично сдать! А Миша, узнав от меня его фамилию — Шенкен, уверяет, что это председатель студенческого Союза русского народа и что в «Русском знамени», наверное, пропечатают, что доцент-кадет обижает «патриотов». Но если бы ты видела этого Шенкена!

Этим экзаменом кончились дела в университете. Я туда не раз еще зайду, впрочем, из-за библиотеки, денег, командировки.

В институте еще 22[-го] заседание. К тому времени будет и ответ от Числова, чего я жду с нетерпением. Опасаюсь, что все наши недоразумения с ним будут поняты как желание отделаться от него и забрать всю работу и весь заработок себе. Что же делать! Он так себя ведет, что иначе нельзя... Но я уверен, что он примет мои условия, хотя, признаться, предпочел бы отказ.

Прошел только что короткий, но сильный дождь. Стало легче, дышать можно.

А у вас как? <...>

Д. 9. Л. 137—139 об.

648

20 мая

<...> С Сазоновым я пока решил не пускаться в разговоры, его касающиеся, потому что кое-что пришлось выяснить в разговоре о школе в Лесном, да я и уверен, что это бесполезно. Что же касается Адрианова и «Руси», то ведь корень зла в «Руси» некий Семенов, заведующий конторой, пользующейся полным доверием Суворина, а

С[ергей] А[лександрович] и ушел из «Руси» из-за этого Семенова, прямо сказав Суворину, что он о Семенове думает. Суворин огорчился и не поверил. А все денежные дела, о которых теперь речь идет, разыгрались теперь, в этом сезоне... Дело, несомненно, грязное, деньги «фонда народного просвещения» были растрачены, а чтобы их пополнить, заставили дать себе денег из Международ[ного] банка посредством какой-то шантажной выходки. А Межд[ународный] банк деньги дал, но и протокол составил, который находится в кредитной канцелярии. Всего этого не отрицают и такие сотрудники «Руси», как Кузьмин-Караваев, который, однако, из газеты не вышел и даже подписал протест ее сотрудников против «Речи». Видел документ этот и М. М. Федоров.

С[ергей] А[лександрович] уверен, что Суворин-сын искренно негодует на «Речь», не допуская мысли, что близкие ему люди жулики, и думает, что, когда все раскроется, это будет страшным ударом для Суворина, так что он, пожалуй, и пулю в лоб себе пустит. Но последняя статья Суворина такая фальшивая, что я не очень полагаюсь на мнение о нем С[ергея] А[лександрови]ча. А, признаться, и поведение И. Гессена в этой истории только оправдывает мою постоянную антипатию к нему.

Вчера я целый день был дома, только на полчаса сбегал в гимназию прорепетировать двух учениц. Тут у меня вышли очень грустные разговоры с Ел[изаветой] Ник[олаевной] о Г[еоргии] В[асильеви]че. Она с большой тревогой следит за нарастающей его нервностью и говорит, что он в таком состоянии, что в каждую минуту готов или раскричаться, или расплакаться, а лето ему не отдых, п[отому] что он мечется в погоне за впечатлениями; а больше всего утомляет его гимназия, и она готова настаивать на его уходе, потому что как ни дорого ей это дело, но он дороже. И решили они еще попробовать, какой он осенью вернется, и тогда, б[ыть] м[ожет], он заявит княжне, чтобы она приискала в течение года замену.

Вот какие грустные дела. Вечером вчера заходил Джон, предлагает мне читать в июне лекции на учительском съезде. Затеяли хорошее дело, а делать его некому. Историков не хватает. Но и я отказался, хотя и по существу соблазн большой, и заработать сотни полторы-две можно. А Джон для Бороздина (для издания сочинений Радищева) написал статью, над которой много работал, а теперь, конечно, никак денег получить не может.

Вот все мои новости. Сегодня что-то не пишется, Юлек. Какой-то я вялый. Постараюсь тебе каждый день писать, с этого свой день начиная. <...>

Д. 9. Л. 140—141 об.

649

21 мая

Милая, дорогая моя, какое ты мне хорошее письмо написала. А то у меня, по разным причинам, уже какое-то малодушие стало являться относительно работы... Особенно вчера я проснулся с каким-то острым недоумением: что это я — мол — делаю? что затеял? и т. д. Нет, дело нужное и будет сделано... Ряд ценных наблюдений есть, и надо их выразить, и «если обстоятельства так складывались, что я другим и не мог быть», и продолжают так складываться, то так, значит, и надо. Но вопрос о моем «нахальстве» (видишь, какой я гадкий: сегодня пишу это слово уже в «кавычках»...) интересует меня психологически.. Через всю мою «биографию» до сравнительно недавнего времени идут упреки по моему адресу в недоверии к себе, за бессилие воли самоутверждающейся. Это и от Платонова бывало, и от других. Помню, как раз Леванда на моем экземпляре лекций Милюкова, там, где говорится об Александре I, что в его характере была особая складка — отсутствие необходимого доверия к собственным силам, — написала: «К чему это, А. Е.?». И я постоянно чувствую это в себе, отсюда, быть может, больше всего та ирония, тот цинизм, с которым я говорю о том, что делаю, та насмешка, с какой я часто отношусь к своим «успехам». Это, может быть, часто производит впечатление рисовки, но я не знаю, понимаешь ли даже ты, что это вовсе не рисовка, а действительное недоумение и некоторая тревога, что так все легко дается, не рисовка, а только чувство, выражение которого иногда, положим, вырождающегося в дурную манеру. <...>

Вчера мы проводили Форстена. Я пошел на совет в гимназию, потом выпили чаю с ученицами и побежали с Г[еоргием] В[асильевичем] к нему, забрать вещи, и на вокзал. Поехали мы с ним, а его племянник, брат Лили, студент — с вещами. На вокзал приехал Головань, Лили, Густ[ав] Вас[ильевич], Валя, Вишняков, еще кто-то. Г[еоргий] В[асильевич] очень усталый, издерганный. По дороге он рассказывал мне о своей семье, об отце — артиллеристе, инспекторе корпуса, хорошем педагоге, поэте в душе, писавшем стихи по-шведски и по-русски: эти он мне обещал показать; о матери — украинской польке, 17 лет попавшей из Украины в суровую Финляндию, овладевшей и языком чужим, и еще больше чужим складом жизни, хорошей музыкантше (она уроки музыки давала так, что потом в консерватории спра[шива]ли, кто этих учениц так хорошо приготовил), а по ночам работавшей на магазины вышивки, чтобы при 37 р. пенсии шестерых детей вывести в люди; о Леннарте, старшем брате, который, пожалуй, самая крупная натура среди братьев... Очень это все ярко и интересно. Пока он поехал в Берлин, потом будет в Италии — сравнительно дольше сидеть на одном месте... Какая это большая и драгоценная натура, какое интересное сплетение финско-шведской и южной натур... <...>

Д. 9. Л. 142—143 об.

650

22 мая

Дорогой мой Юлек, я, кажется, забыл написать тебе, что Генр[их] Матв[еевич] заходил попросить, чтобы я написал ему вексель в 300 р. для учета в Общ[естве] взаимн[ого] кредита. Я, конечно, написал, а что из сего выйдет, не знаю. А еще забыл я тебе написать, что в понедельник читал-таки Крусман лекции в университете и читал так свободно, спокойно и содержательно, что профессорское сердце Г[еоргия] В[асильеви]ча только умилялось и радовалось. Это ведь первое настоящее детище Форстена. С I курса университета он не пропустил ни одной лекции Г[еоргия] В[асильеви]ча, ни одних практических занятий и, кончив курс, продолжил у него работать. И надо видеть, с какой гордостью, с каким волнением говорит об этом Г[еоргий] В[асильеви]ч. Я вчера попробовал забежать к Крусману, чтобы поздравить его с окончанием его мытарств, но его таинственная жена сказала мне сквозь двери, что он уехал в Ярославль.

Вчера вечером заходил к нам Сазонов — Сер[гей] Ал[ександрович] был дома, п[отому] что день был не думский, а в редакцию он только к девяти пошел. С[ергей] Ив[анович] в воскресенье ездил в Лесной и окончательно отказался от школы. Профессора Скобельцын и Левинсон-Лессинг говорили ему, что его отказ отнимает последнюю надежду наладить школу. Ведь совет выбрал Закса — и это одно показывает, как слаб его состав. А в школе Германа се к'он аппель истоар:* у них правило, что в конце каждого года баллотируются в преподаватели заново. Васильев — препод[аватель] естествозн[ания] и ручн[ого] труда — отказался от уроков, чтобы передать другому, но того забаллотировали, а Васильев тогда сам баллотировался — и его тоже забаллотировали... В чем дело — не знаю. А прислать они мне ничего не прислали...

С[ергей] Ив[анович] серьезно занят мыслью строить новую школу на Петерб[ургской] стороне и размышлял о том, как бы приспособить Гревса: он его считает очень нужным для общего настроения и направления, но боится, что он слишком связан с людьми, которые вовсе нежелательны. Вижу, что нам придется через год переезжать на Петербургскую сторону, ради Али и Славы, да если дело пойдет, то и нам с тобой не миновать этой школы. <...>

Работа идет у меня недурно, но на неделю еще хватит. Много интересного выясняется и даже очень интересного. Но раздражает меня то, что один вопрос, который мне очень нужен — о древнерусских сотнях, — совсем не дается, вот из-за него-то я и не могу еще уехать, а, м[ожет] б[ыть], он и вовсе не вытанцуется. Но не сосчитавшись с ним, не могу писать начисто. Если же я с ним хоть немного справлюсь, может совсем любопытная штука выйти.

Из Москвы ответа еще нет.

Ты теперь читаешь «Речь». Последние дни воюет «послушная» Дума. Разность м[инистер]ства морского сулит провал требуемой правительством ассигновки на броненосцы. Но не думайте, что это настоящая «оппозиция»: правые и октябристы действуют по соглашению с частью министров — и только... Свои люди ссорятся.[481] <...>

Д. 9. Л. 144—145 об.

651

23 мая

А мы, дорогой Юлек, опять кутили... Собственно, по случаю отъезда Надежды Николаевны. Сергей Фед[орович] после заседания совета в институте вдруг выразил желание идти с нами в Аквариум, услыхав, что Тур об этом с Адриановым толкуют. И какой он был веселый и благодушный...

---

* Транслитерация французского: ce qu'on appelle histoire — так сказать, история.

В институте кончилось благополучно: Вел[икий] князь Гершуни утвердил, и даже Кеппен начинает мириться с инспектором. <...> А обратила ты внимание в «Речи», что наше министерство удалило всех вольнослушательниц из университетов?

Я, кажется, не писал тебе, что ко мне приходил один молодой человек из Москвы просить, чтобы я написал статью для сборника статей по русской и новой истории, который собираются издать московские историки. Статья им нужна к осени — и пришлось отказаться. Но на будущее время (так как несколько томов будет) они считают меня сотрудником.

Трудно теперь вперед рассчитывать, но выходит, что мне в начале сентября надо быть в Москве. Как это устроится, не знаю, но недели две надо бы в Москве провести. Ведь из августа ничего, пожалуй, не выкроишь? Очень, в конце концов, некстати моя поездка в Краков, и, вероятно, ее придется сократить до чрезвычайности... Сейчас надо отправляться в университет за разными справками в библиотеку. Вот что много времени берет: эти поиски книг, изданий, выписки из них...

Относительно школы в Лесном Тур и Сазонов выдумали новую комбинацию: направить туда директора реального училища, Фохта, который обижен на наш глупый и грубый округ и хочет уходить со службы. Только не думаю, чтобы это устроилось. А с Фохтом, почтеннейшим человеком, нелепая история, какой-то шутник написал донос, что у него мелочная лавочка (Фохта на вывеске) рядом с гимназией и что он там проводит утро, а не в гимназии. И олухи из округа стали «следить» и «расследовать»... Это карикатурно для наших «просветителей». Вообще безграмотность поведения нашего министерства невероятна. А знаешь ли, что в Варшаве решили они с осени снова по-старому открыть университет?? <...>

Д. 9. Л. 146—147 об.

652

24 мая

<...> Вчера утром я отправился в университет, в библиотеку. Встретил там Гревса. Представь себе, что у них обе дочери почти одновременно заболели базедовой болезнью, острой нервной болезнью, отражающейся на деятельности сердца. Младшая легче переносит, а старшая страдает от постоянной тошноты. Врачи говорят, что толком не знают ни причин этой болезни, ни радикальных средств лечения, хотя вообще это болезнь излечимая режимом. Едут Гревсы на лето в Чехию. Ив[ан] Мих[айлович] говорит обо всем довольно спокойно.

В университете еще не совсем опустело. Юристы еще не закончили экзаменов. Провозился я в библиотеке до двух часов — и весь день себе разбил, тем более, что и в Пуб[личную] биб[лиотеку] надо было зайти. Тут у меня с Шеффером вышел странный разговор. Я ему рассказал про дело о Сенате, про то, как я сразу согласился и потом стал соображать, как из всей сложности взятых на себя дел вылезу. Он удивился, считая, что так рискованно решаться нельзя, а я ему стал отвечать, что его главная ошибка в том, что он всегда много раздумывает и колеблется, и потому пропускает хорошие возможности, что его необходимо вытащить на науку и преподавание, что он должен взять на себя что-ниб[удь] подходящее, а там увидит, что можно и как с этим справиться. Шеффер вдруг испугался и со словами: «Уходи ты, уходи, не искушай» — убежал.

А дела-то мои действительно путаные. Ведь помимо всего прочего — надо еще выделить какую-ниб[удь] статью в сборник Платонову, и притом не из «Очерков», которые надо печатать независимо и, вероятно, раньше «Очерков»...[482] Это я как-то упустил из виду. Ну, да осенью выяснится, как с этим быть. <...>

А как у меня вчера мало занятия клеились, да в 8 час. Головань пришел, разговоры разговаривал, то я решил с ним поехать к Ямпольским чай пить. Вышло не очень удачно; во-первых, булок не было, а мы попали к 10 ч., пришлось кого-то посылать на фуражировку. Во-вторых, зашла речь об «Анне Карениной» и ревности, и Маня такие жестокие слова стала произносить, что я опять с ней довольно безжалостно обошелся, как-то невольно, хотя (или: «потому что»?) понимал, что ее громы направлены против Карповича. <...>

А сегодня я бегал в гимназию проэкзаменовать одну ученицу. Теперь вернулся, поднял С[ергея] А[лександровича], так как в Думе сегодня будет не в очередь заседание, и пишу тебе. Вчера книг набрал, надо поработать.

Миша собирается тебе писать. Сообщает, что, пока на Руси думают, как чувствовать Толстого, Петровский парк разрешил эту задачу по-своему — назвал «Ясной Поляной» шато-кабак, где ставят оперетку: «Певичка Бабинет». <...>

Д. 9. Л. 148—150 об.

653

25 мая

<...> Наработал я порядочно, но и плохо то, что последние дни уставать стал. И сплю неважно. Сегодня часа 2 среди ночи не спал, даже встал.

С Москвой совсем глупо выходит. Нет ответа. И я даже не знаю, дошли ли письма, мое и Серг[ея] Фед[оровича]. А теперь Плат[онов] уехал на дачу. <...>

Я забыл, кажется, написать тебе, что Хилинский (в Аквариуме) начертил мне план Краковского рынка, где стоит Hotel Drezdenski, и рекомендует мне там остановиться — за 2—3 короны (корона — 40 к.) комнату можно иметь. Стола там нет. Хилинский начертил мне, где кофейная, где утром кофе пить, и где «Havelka», ресторанчик, где по вечерам собирается литературный и художественный Краков. Все это на том же рынке.

Вот если бы мы могли с тобой вместе туда поехать! А? <...>

Вчера Головань забегал. Что-то такое сказал интересное по искусству, что я стал его бранить, чего он ничего не делает. И он сам себя бранит «бесплодной смоковницей». Еще не покинул он мечты что-ниб[удь] написать, но сам себя натаскивает на то, что это-де скучно — писать, выписки делать, когда это тебе ничего нового не дает... И так себя насамовнушит, что, конечно, ни одного клякса на бумагу не посадит. И верно, что он «недотепа»: потерял две записные книжки с итальянскими заметками. Этого не восстановишь.

А право, как бы хорошо было, ой, как хорошо, ай-ай, как хорошо, если бы Гутик оказался здоров и мы, посадив кого-ниб[удь] в Домброве, повторили бы свой voyage de noce* в Кракове и Вене... Право, ведь эти города совсем бы иначе выглядели при этом. <...>

В Петербурге оживление по поводу провала думской ассигновки на постройку новых броненосцев. Гучков и Столыпин явно столковались нанести этот удар по внешности морскому министерству, а на деле В[еликому] к[нязю] Николаю Николаевичу, который побранился с государем, и, пользуясь этим, пробуют его вовсе свалить, чтобы и военное дело ввести в «кабинет», т. е. уничтожить независимость от Думы и Столыпина — военного и морского министерств. Игра крупная. Посмотрим, что из нее выйдет. <...>

Д. 10. Л. 151—152 об.

654

26 мая

<...> Надо было ехать в университет, сдавать книги и взять свидетельство о командировке, чтобы представить в М[инистер]ство ин[остранных] дел. Ведь так как я еду в Австрию, то надо еще с паспортом в австрийское посольство пойти, чтобы там «визировать», т. е. чтобы там наложили свой штемпель и взыскали 3 р. Это нелепое правило существует в Австрии специально почему-то для русских паспортов.

Свидетельство мне сейчас же выдали, так как ректор оказался случайно тут же. Для этого мне пришлось сдать книги в университете, а так как мне некоторые еще очень нужны, то придется заниматься эту неделю больше в университете и Публичной биб[лиоте]ке, чем дома. И сегодня я там до трех часов выписки разные делал. А дома у меня те книги, какие я из Комиссии мог достать. В общем набирается немало материала и весьма любопытного. Только как-то я его обработаю! Вернувшись домой, я пообедал, а потом весь вечер дома писал, теперь тебе пишу, уже около десяти часов.

Надо уезжать решительно. А то мы вчера вечером опять кутили — это уже в четвертый раз! С[ергей] А[лександрович] был свободен, встал в 3 ч., пришел Головань, я ушел обедать к дедушке, а они — к Альберу, и — очень скромно — выпив только пиво! — обедали до 8-ми. Головань днем предлагал, захватив Джона, пойти вечером к Елизавете Николаевне, но пока они сидели у Альбера, ко мне пришел Джон и сказал, что идет в «Народный дом» на «Снегурочку».[483] И ушел. А Головань с Адриановым вернулись — визит к Е[лизавете] Н[иколаевне] отменили на среду, а меня стали уговаривать куда-ниб[удь] поехать. И если бы ты видела, как потешный Головань огорчился, когда я сказал, что мне совсем неохота... Ну, уговорили, и поехали мы пароходом (причем Г[оловань] в летнем пальтишке сильно мерз) на «Строительную выставку», возле «Славянки». Выставка еще совсем не устроена, всюду стучат, строят, красят, но есть зал, где играет шереметевский оркестр. И мы поужинали под музыку, ели великолепный шашлык, поданный грузином Сандро, выпили бутылочку красного бургундского. <...> И вернулись мы к часу домой, так что С[ергей] А[лександрович] все удивлялся, что это за день вышел: и обедал, и ужинал, и рано спать идет! «Так, пожалуй, — говорит, — и порядочным человеком сделаешься!». А ведь очень ему этого бы хотелось...

---

* Свадебное путешествие (*фр.*).

Читаешь ли ты последние думские отчеты? Большая идет игра. Ведь провал ассигновки денег на постройку 4-х броненосцев сопровождался такой резкой критикой морского министерства, что она получила совсем особый смысл. Большинство Думы воспользовалось предлогом, чтобы резко высказаться против влияния на государственные дела «безответственных» правителей, прямо указывая на то, что до полного и позорного разврата морское министерство довел Алексей, что недопустимо председательство в Комитете государственной обороны, независимость от Думы и от столыпинского Совета министров, который называется «правительством», такого безответственного лица, как В[еликий] к[нязь] Николай Николаевич, что огромное зло произошло от того, что дальневосточную политику отдали перед японской войной в руки тоже безответственного адм[ирала] Алексеева, который, как un bâtard royal,* считается полуофициально вроде принца крови; и требовали отдачи под расследование и суд всех виновников обидного расстройства русской военной силы.[484] И Столыпин откровенно сделал только вид, будто защищает военное правительство, а, в сущности, выдал его головой, так как вся эта компания большинства Думы есть по крайней мере наполовину его, Столыпина, компания. Дело поставлено круто и резко. Вероятно, постараются его смазать... Но С[ергей] А[лександрович] думает, что Столыпин, если не сейчас, то к осени — слетит, и тогда пойдет утроенная реакция. Ведь теперь, хотя и в очень вежливой форме — «вон» раздалось уже не по адресу министров, а по адресу великих князей и придворной клики. Вот те и «послушная» Дума! А если Столыпину уступят, то это будет все-таки победа нашего, хоть какой он там ни есть, а все-таки конституционализма. Вот почему мы считаем, что игра идет va-banque. Я, впрочем, не ожидаю, чтобы развязка этой игры скоро выяснилась... Скорее, постараются умалить ее настоящий внутренний смысл, проглотят отказ в ассигновке на броненосцы и до поры до времени потерпят... А там увидим. Дело в том, что теперь распустить Думу было бы крайне глупо. При таком настроении и по такому поводу устроить новую, т. е. опять выборы назначить, значит даже при нынешней избирательной системе получить Думу более левую, чем эта. А распустить Думу и не назначать выборов вовсе — совсем рискованно, едва ли даже возможно: это сейчас снова вызовет усиленное и острое брожение. Впрочем, трудно угадать, как поворотится все это довольно неожиданное дело. Во всяком случае, такого интересного момента еще за всю третью Думу не было. Да! Конституция, хоть плохонькая, воспитывает людей и делает их понемногу если не гражданами, то хоть полугражданами (вроде как в Москве трактирных половых называют: полупочтенный).

---

* Царский бастард (*фр.*).

Вот какое политическое письмо вышло.

А в университете волнуются бедные вольнослушательницы. И действительно, их положение нелепо: одни год, другие два в университете, а теперь наше милое министерство вдруг выбрасывает их на улицу. На Высших курсах переполнено, и туда перебраться очень трудно. <...>

Д. 9. Л. 153—156 об.

655

28 мая

<...> Хлопочу о паспорте. Вышла ерунда: в Министерстве иностранных дел паспорта не дали. Пришлось просить в университете новую бумагу на имя градоначальника.

Вчера вечером и сегодня утром я был в «ученом» волнении и даже Штрупа заразил, по поводу странного маленького текста «устава Ярослава о мостах». Я как-то писал тебе, что мне надо разобрать вопрос о древнерусских «сотнях», какой-то неясной военной и судебно-полицейской организации. О них в этом «уставе» говорится, а вопрос этот связан с разделением Новгорода на пять «концов», а его земли на «пять пятин». Вопросы эти я считал безнадежно-трудными, но кое-что нашлось, и вчера полезли в голову разные мысли. Подвернулся Штруп, и я стал ему рассказывать, а он тоже заинтересовался и стал разбирать текст, проявив много остроумия и какой-то впивающейся в дело наблюдательности, и много мне помог. Пока еще очень много неясного, но все-таки на верный путь я попал и рано или поздно разберусь, в чем тут секрет. Речь тут для меня идет в отыскании корешков организации публичной, от которой много разных ростков пошло в нашей исторической жизни.

Эта старина очень захватывает. Недаром раз Лаппо-Данилевский, разбирая мою программу курса русской истории для Педагогических курсов (его тогда Страннолюбский пригласил), назвал этот курс «эмбриологическим», т. е. гоняющимся за выяснением непременно самых зародышей исторических явлений.

Пишу дальше 29-го утром. Вернулись Штруп и Адрианов, пришел Головань, пришел Сазонов — и мы вместе чай пили. Затем Головань ушел в баню, Адрианов — в типографию, а мы с Сазоновым и Штрупом до часу ночи разбирали преинтересную, своеобразную и, право, талантливую записку Штрупа о том, как надо преподавать географию в средней школе... <...>

А в политике поход против «безответственных» членов правительства продолжается. Прочти, если еще не прочла, речь Гучкова в № 126 (среда, 28 мая), где он поименно перечисляет вел[иких] князей, занимающих ответственные посты и портящих военное дело, и среди них Конст[антина] Конст[антиновича], про которого Гучков потом говорил, что он совсем испортил корпуса. Воображаю негодование

Мрам[орного] дворца и наших дам! Резко поставил Гучков — и правильно. Рассказывают, что по поводу морского м[инистер]ства — государь был доволен, что за него неприятное дело делает Дума. Дай Бог, чтобы это оправдалось и удержалось. Если он уступит — это будет недурная победа Думы. <...>

Д. 9. Л. 157—158 об.

656

29 мая

<...> Я писал тебе сегодня утром. Потом отправился ловить Сергея Федоровича. Мне сказали, что он между 10 ½ и 11 будет, и когда я около ½ 11-го пришел, говорят — только в 11 приедет. Хорошо, что у меня в портфеле книга была; я сел читать в профессорской и так дождался его. Он приехал с Над[еждой] Ник[олаевной] и сегодня же уехал с Константином и его семьей «показывать» им приволжские города. Не очень мне нравится это превращение профессора в придворную челядь высшего ранга; ну, да это он себе совсем иначе представляет...

У С[ергея] Фед[оровича] — письмо от Филиппова из Москвы — с отказом Числова от сотрудничества и даже некоторой претензией на мое покушение «подчинить» себе Числова. Филиппов и сам не понял (или предпочел не понять), и Числову внушил неверное представление о моей роли. Ведь мне не частное дано поручение от Сергея Фед[оровича], а от Сената; моя фамилия стоит в докладе обо всем деле на Высочайшее имя, утвержденном государем. Стало быть, я не случайный сотрудник, а уполномоченный... И С[ергей] Ф[едорович] им сразу пояснил, что мне поручается весь текст 2-го отдела. Ну, да Бог с ними, благо развязались. Вероятно, я обойдусь совсем без помощника, как теперь на этом настаивает и Платонов, и Блинов. А Блинов смеется, что вольно же было Платонову крутить и путать без надобности. Он и С[ергею] Фед[оровичу] в этом роде нечто высказал... Но если я на себя всю работу возьму, то мне придется будущее лето провести, пожалуй, целиком в Москве. Не поехать ли нам всем на дачу Полиевктовых в Петровское-Разумовское?

Сегодня я покончил свои дела в университетской библиотеке, куда отправился от С[ергея] Фед[орович]а. Потом на минутку вернулся домой и в 4 ч. отправился обедать к дедушке. Обещал и завтра обедать у них. Завтра мне придется постранствовать, чтобы покончить паспортные дела и кое-какие твои поручения исполнить, а еще надо забрать книг из Комиссии, чтобы оставшиеся дни покончить еще некоторые справки; впрочем, и в Пуб[личной] биб[лиотеке] еще дело есть. Выеду во вторник, 3-го, с почтовым. <...>

Д. 9. Л. 159—160

657

16/3 августа

Дорогой Юлек.

Наконец я в Кракове. <...>

Ну, от Варшавы до границы (до 4 ч. 30) ехал удобно, дочитал «Исповедь», прочел еще одну небольшую книжку о Литовском статуте. В границе пересел в австрийский поезд, а через станцию еще раз в скорый краковский. С границы ехали мы с одним русским офицером, направлявшимся в Закопаны к семье. Он оказался из Тифлиса, из реального училища, где был в наше время. Так и разговорились. В Кракове он должен был ждать 3 часа и увязался за мной. По сведениям, указанным мне Б* и в вагоне каким-то господином, я не направился в Дрезденский отель, а сунулся было к Полнеру, где ни одной комнаты не нашлось; тогда я остановился рядом — в «Польской гост[инице]» в маленькой конуре. А сегодня утром переехал в «Украину», по карточке от Юзефович. Занял хорошую комнату за 3 короны,** буду здесь утром завтракать и ужинать, а обед мне не подходит: около часу! Адрес мой: Kraków, ul. Karmelicka, d. 40, «Pension Ukraina». Пробуду здесь, вероятно, до нашего 20-го и, м[ожет] б[ыть], отсюда уеду прямо в Домброву. Сейчас так настроен. А впрочем, увидим.

Сегодня воскресенье, и я прозевал «poste restante»*** утром. <...>

Пока не могу писать больше. Пойду по городу. Вечером еще напишу. <...>

Д. 9. Л. 162—163 об.

658

16/3 [августа]

Милый, дорогой мой Юлек! За всю жизнь не был я еще в таком глупом положении. В Кракове все наглухо заперто, и никакие занятия невозможны до 1 сентября. Библиотека Ягеллонская, университет — все заперто и пусто. Народ разъехался, и даже обратиться не к кому! И во Львове — то же. Пэх над пэхами!**** 3—4 дня на осмотр самого Кракова, раз в него попал, за глаза довольно... А что делать? Плюнуть на все и ехать домой, чтобы не терять дорогого времени? Или, раз уже выехал, — съездить в Вену? Все кверху дном... <...>

Уезжая отсюда — когда и куда?? — я оставлю заявление о высылке писем, если какие будут — в Варшаву posterestante, чтобы не пропали. Ей-ей ничего не останется сделать, как в четверг или пятницу уехать на 3—4 дня в Вену, а оттуда домой, п[отому] что в Львов можно и не ездить, раз дела там, даже минимального, не найдется... Сколько времени даром! Э-эх!

Сегодня я, написав утром тебе письмо, не знал, что с ним делать: почта была уже закрыта, а в лавках — казенных монопольках водки и табаку — марок не оказалось! Эти монопольки — тут просто кабаки, где солдаты и простонародье пьют водку и закусывают... Удалось мне марку достать у кельнера в ресторане, где я обедал. Утвердившись в «Украине», я походил по Кракову. Городишко небольшой, довольно грязный; старины в нем много, но, по-видимому, порядочно запущенной. Пообедав в саду на «плантах» — саду-бульваре, который кольцом идет вокруг города (настоящее название: плантации), я осмотрел выставку картин «Towarzystwa przyjaciol sztuk pieknych»* и Muzeum Narodowe.** Кто меня поразил и очень поразил, так это Jacek Malczewski. Я о нем никакого представления не имел. А ты? Между тем это очень большая фигура. Его ранние картины — 80-х гг. в мягких серых тонах, с единством тона, ну вроде как у голландцев, но по настроению романтичные (не в содержании эта романтика, а в тонах и линиях). А новые вещи — XX века — удивительны по какой-то особой свободе и силе техники. Рисовальщик он бесподобный и любящий смелые ракурсы в композиции. А в колорите — кое-что напомнило мне Клингера. Та же красочность смелая. Но Мальчевский настоящий прирожденный живописец, видно, думающий красками, тонами, светом. Ужасно жаль, что ты его не со мной смотришь. А вещей его тут немного. 5 вещей в товариществе, да 2 — в Музее Народовом; есть в последнем еще 8, но я их не сумел отыскать. Каталог в библиотеке. Зайду еще туда, чтобы поймать «kustosza»,*** авось он мне их укажет. В Товариществе я спросил кассиршу, нет ли еще где вещей Мальчевского; она мне сказала, что только у них да в Музее Народовом. А потом, когда я был на улице, она выбежала за мной, сообщить мне адрес его и посоветовать сунуться к нему в студию. Попробую. Вот и весь мой сегодняшний день.

---

* Фамилия не разобрана.

** Монеты, кроны (*польск.* Korona).

*** Почта до востребования (*фр.*).

**** Неудача из неудач. От польск. Pech — «неудача, невезение».

Насчет живописи тутошней что сказать? Много хорошего, но мало получаешь нового. Кроме Мальчевского, конечно. Матейко мне в красках не интересен совсем. Выспяньский как художник — странный, но тоже оставляет равнодушным. Выдумки, литераторства у него много, да и риторики. Очень хорош и сильный — Леон Вычулковский. И общий уровень хорош. Вот и все.

Проделаю всю «туристику» по Кракову, а вечерами буду писать дома. Но устал я. Гораздо больше устал, чем думал.

Вот пишу я о поездке в Вену. А ведь я оставил в Домброве путеводитель по Вене, данный мне Сер[геем] Ив[ановичем], и указание его, где остановиться... Если возможно поехать, куда сунуться?

Перспектива работы улетучилась. Одно уныние. А так, не ради работы, одному невыносимо скучно стало. Может быть, не выдержу такой глупой позиции, плюну, да и махну домой, а? Ведь от тебя и ответа-совета — совсем получить некогда. Да ты-то, конечно, стала бы меня в Вену посылать. А моя работа? Мой университетский курс? Мои практические занятия??

«Прощайте все мои соленья, все мои варенья, все мои грибки», как поется в «Травиате» наизнанку, на мотив addio il passate...****
<...>

---

* Общество друзей изящных искусств (*польск.*).

** Национальный музей (*польск.*).

*** Хранитель (*польск.*).

**** Прощай, прошлое (*итал.*).

И черт меня дернул впутаться в эту «командировку»!! Разве тот только прок от нее, что поневоле мозги отдохнут. А то как стали отдыхать, так и почуяли, как они, глупые, устали. Будешь хоть этим утешаться... <...>

Д. 9. Л. 164—166 об.

659

[17/4 августа]

Дорогой мой Юлек, не успел я еще отправить тебе своего отчаянного письма, как выяснилось, что дело обстоит не так худо. Лакей в «Украине», которому я сообщил о своей нужде, сообщил мне, что один из «гостей» ходит заниматься в библиотеку (оказалось — другую), но так как тот еще спал, то он с кем-то другим поговорил, и этот посоветовал мне разыскать секретаря Ягеллонской библиотеки, который должен быть тут. Я и пошел в библиотеку, да оказалось, что тот субъект, который так меня изогорчил, уже сам доложил д[окто]ру Курцу, оставленному на лето при библиотеке, и тот ответил, что меня, конечно, пустят. Принял он меня очень любезно, водворил в профессорской читальне и выдал тотчас все, что мне надо. Буду заниматься с 9 до 1 часу. А, кроме того, с 12—2-х открыта библиотека при Академии наук, куда можно будет обращаться, если чего не найдется в Ягеллонской (Ягеллонская библиотека — университетская). К Академии придется прибегнуть, потому что 2-х нужных мне книг не оказалось в Ягеллонской.

Ягеллонская библиотека помещается в очень интересном средневековом здании, с характерными внутренними двориками. Вообще старина в Кракове интересна, но не держится так цельно, как, напр[имер], в Нюрнберге, а перетасована с новыми, современными постройками, что ей, конечно, мешает. А я большую глупость сделал, что не привез бинокля. Напр[имер], церковь св. Марии, отделанная Выспяньским под руководством Матейки, из-за этого совсем для меня пропадает.

Сегодня посмотрел музей имени Чапских, принадлежащий теперь Народовому музею. Это странная мешанина египетских, персидских, японских вещей с старыми и современными картинами. Самое интересное — большая коллекция сильных, смелых, вдохновенных этюдов Вычулковского. Я уже поминал его в том письме. Не думал я, что среди современных польских художников найду такие большие и свободные силы, как он и Мальчевский. Что их от наших отличает — это отличное мастерство техническое, благородное, сильное, культурное. Оба учились на Западе (В[ычулковский] — в Мюнхене, М[альчевский] — в Париже), а закваску получили здесь у Матейки. Сильные люди. Одному 56 л., другому 54 г.

Я кончил тем, что остался в «Украине» «na calem utrzywaniu»,* за 3 короны. Утром дают кофе и 2 булочки с маслом; в 1 $^{1}/_{4}$ обед — как раз и прихожу из библиотеки — свежий, но очень вкусный и немного, но достаточно. В 5 ч. — кофе, как утром; в 8 ч. — ужин, какое-ниб[удь] мясо и сладкое с чаем. Вставать я, вероятно, буду рано, как сегодня, чтобы утром и вечером писать. И спать ложиться буду рано, часов в 10. Посмотреть мне, собственно, остается Замок, Вавель[485] и музеи: Матейки и Чарторыйских.

---

* На полном пансионе (*польск.*).

Купил я 2-х «Тадеушей» ludowych* издания Macierzy,** полный текст. А насчет Мицкевича скажи Копаньской, что IV том еще не вышел и неизвестно, когда выйдет. Книги о Вите Ствоше нет. Это очень давнее издание, а она не перепечатывалась. Приказчики в «Товариществе Выдавничем» ее помнят, сами читали и жалеют, что теперь не достать. <...>

Краков маленький город — и жизнь в нем мелкобуржуазная. Кроме лишь, конечно, интеллигентных верхов — университетских и академических, которых теперь нет. А Гутику скажи, что в Смочу яму нельзя заглянуть, потому что лестница сгнила и туда никого не пускают. А что она такое, я ему объясню, когда приеду. Попал я вчера дважды в процессии. Одна поразила меня тем, что молитвенное пение поддерживали военная музыка веселой галопадой...

Пока, прощай, моя радость, мое серденько, крепко целует тебя весь твой Саня. <...>

Д. 9. Л. 169—173 об.

660

[18/5 августа]

Дорогой Юлек, сегодня именины или рождение Франца-Иосифа — и потому библиотека оказалась запертой. Я этого не знал, пошел, не достучался, сходил на почту, где ничего — увы — не оказалось, — опять вернулся в библиотеку. Тут пришел библиотекарь, специально, чтобы извиниться, что накануне не предупредил меня о невозможности занятий в такой день, так как библиотека цесарское учреждение. Ну, с горя пошел в музей Чарторыйских. В нем много красивых вещей — литых бронзовых, вееров разных и т. д. Картинная галерея доступна только с особого разрешения — но я поймал «кустоша» и был весьма любезно впущен. Галерея маленькая, но в ней 2 поразительных вещи. Во-первых, Леонардо — Дама с лаской или куницей на коленях, а во-вторых, «автопортрет» Рафаэля. Об обоих идет спор — подлинны ли они. Я не знаю, что об этом думать, так как мастерство обоих такое, что в каждой точке видна рука великих мастеров — а этих ли, то каких же? Даму леонардовскую я нашел в фотографии и купил за 2 короны. Конечно, снимок не передает прелести красок... Но едва ли не больше заинтересовал меня Рафаэль. На Рафаэля он не очень похож, по правде сказать, ни лицом, ни манерой. Если это его рука, то тем интереснее. Такой свободной, непринужденной манеры я у него не видал. И так все дышит... Жаль, что фотографии не нашлось. Есть еще два небольших Рембрандта — хороших, но из «раннего» и «среднего» Рембрандта. Есть еще один пренеприятный портрет Вазари, как неприятно все, что этот кондитер писал, но интересный потому, что это известная особа, очень знакомое злое лицо, кажется, первого amore Микеланджело.

---

* Народных (*польск.*), т. е. в народном издании.

** Просветительского общества (*польск.*).

Тут в библиотеке исполнил я и поручение Рождественского, т. е. убедился, что нужного ему документа в библиотеке Чарторыйских нет. А потом пообедал дома, поспал (я эти дни в 6 $^1/_2$ встаю почему-то) и писал до ужина. Написал я с отъезда из Домбровы всего 20 страничек — не только потому, что мотаюсь, но и потому, что наткнулся на вопрос, раскусить который, точно камешек разгрызть, а обойти по плану работы нельзя.

Сегодня по случаю цесарского праздника целый день по городу шум, войска с музыкой ходят... Встретил я утром один такой хор военной музыки, а в середине его везут барабан турецкий на махонькой лошадке. Я даже не разобрал сразу, что это, не осел ли, и, остановив какого-то прохожего господина, спросил. А он объяснил мне, что в Австрии существует особая hodowla* лошадок, которых, по его словам, поят водкой, чтобы они не росли. Их покупают для детей, для повозок, для военных оркестров. И будто это им не вредит: вырастают крепкие, хоть и маленькие лошадки. Держу пари, что Аля и Слава попросят, чтобы я привез такую лошадку... <...>

Д. 9. Л. 174—175 об

661

[19/6 августа]

<...> С почты пошел в библиотеку и занимался там до часу. Этим моя работа на сегодня и закончилась. Пришел домой, пообедал и расклеился. Заснуть не мог, хотя так рано встал. Пошел бродить. Зашел в дом Матейки. Это дом, где он родился и умер. Обстановка характерная для него. Квартира раскинута в 3-х этажах (3-й мастерская). Большая коллекция древностей, многие очень редкостные. Целая предметная история польского костюма и вооружения. Множество материала для типов разных эпох. Затем много рисунков. Любопытны ранние, школьные работы, первые натурщики, эскизы, первые этюды с натуры. В них — странная законченность рано созревшего мастерства. Точно ему никогда учиться не надо было. Много рисунков и набросков карандашом. И все это — скучно. Право, скучно. Матейко, напр[имер], по-голованьски** — собственно не художник. Дикие слова, не правда ли? Но ведь его отношение к натуре, к природе совсем не интересно. Лучше сказать, что об этом и вопроса не возникает (хотя один нашелся этюд зимнего пейзажа с превосходным снегом). Матейко вообще никогда не писал ради чисто художественных задач. Выросши под огромным влиянием Вита Ствоша — скульптора, он выработал себе монументальность художественных представлений и в них воскрешал польскую старину, окартинивая ее широкой, могучей декоративностью. Эта сила подкупает и пленяет. Но лицом к лицу с красотой мира, жизни природы, людей, света, красок, теней — мы Матейку не видим. Великий он. Но его религия — «религия гро-

---

* Способ разведения (*польск.*).

** Т. е. по-Голованю.

бов», как сказал бы Выспяньский. Ученик ответил учителю — «Казимиром Великим». Вот почему Матейко точно человек прежних веков. Он там, а не с нами. Как чистый художник он для меня слишком декоративен, слишком иллюстратор. И риторики в нем много. Все — героично, как в ложноклассической трагедии. Вот какие ереси!

Оттуда вернулся я домой совсем усталый. Полежал без дремоты. Почитал. Писать не мог — и снова ушел. Поехал трамваем в «парк Краковский». Под этим громким названием небольшой и затрепанный сад. Посмотрел, как в лаун-тенис играют, как упражняются в толкании пушки весом в пару фунтов по железной волнистой полосе к цели, чтобы она, ударившись, разбила патрон,* как в цель стреляют и катаются по маленькому квадратному пруду на невероятно грязных лодках, выпил кофе в молочной — и пошел дальше по краю города, по захолустным улочкам, грязным и вонючим, пока не дошел до трамвая, которым и вернулся домой к ужину. Странный Краков. На многом лежит тут захолустный отпечаток, характер провинциального городишки. Одни афиши чего стоят! То, что в итоге дает печать интеллигентного центра — университет, Академия, хороший театр, — все это не вырастает из местной жизни здешней, а лежит поверх царящего в ней мещанства, поддерживаясь с большим трудом и напряжением. Настоящий центр галицийской жизни — Львов, который раза в три больше Кракова.

За ужином я спросил соседа, где он занимается, так как из разговора его с другими оказалось, что он из какой-то библиотеки ушел и ключи в кармане унес, так как сторожей не оказалось в здании. А занимается он в библиотеке Академии наук. Он предложил мне пойти, если нужно, туда с ним, а то — он принесет мне, что надо, на дом, если дело в pojedynczych księzkach.** Я попросил его принести мне одну книгу, которую не могу получить в университете. Обещал. Он сказал мне, что слышал о моих лекциях в университете от студентов в Варшаве и фамилию мою знает. Вот как «мы» известны! А сам он — Ян Киндельский из Варшавы, занимается историей польских разделов. А я завтра предпочитаю дома сидеть, пописать за сегодняшний день; да надо будет сбегать в университет, узнать, когда найду дежурного по историческому студенческому семинарию — там тоже одну книгу мне надо. Пока — addio. Крепко тебя целую и крепко скучаю без известий. Авось завтра что будет. <...>

Д. 9. Л. 176—178 об.

662

[20/7 августа]

<...> Встал я рано, с 7 ч. до 11 писал, а тут наткнулся на вопросы, для которых потребовались справки — и пошел в Академическую библиотеку, так как Ягеллонская по четвергам заперта. Киндельский представил меня Риделю, библиотекарю, я получил нужные книги и не только провозился до обеда, но и после обеда пошел с Киндель-

---

* А. Е. Пресняков изобразил здесь схему аттракциона.

** Отдельных книгах (*польск.*).

ским в библиотеку и занимался до пяти часов. Теперь у меня лежат книги в двух библиотеках. Завтра с 9 до 1 ч. буду у Ягеллонов, а после обеда — в Академии.

Вопрос, который меня теперь занял, мудреный. Понемногу подвигаюсь, пишу, но медленно. Ведь я, ты знаешь, помешался на сравнениях и охотно веду сравнительное изучение русских и польских порядков. А тут на очереди вопрос о положении древнерусского крестьянства, вопрос спорный, данные источников отрывочны и темны, но в ряде существенных черт напоминающие так близко черты ранней истории польского крестьянства, что оторваться от сравнения — да и получить без него что-ниб[удь] путное никак нельзя. Беда уже в том, что у поляков эти вопросы тоже вызывают большие споры между историками, так что приходится сравнивать, так сказать, два спора и, решая для себя русский вопрос, тем самым вырабатывать свое мнение и по одному из мудреных вопросов польской старины. Вот и вертись тут. А времени мало. Приходится все наспех делать. Так-то, мое серденько! Так день за днем уходит. Забежал я из Академии на почту — nic*! Завтра опять пойду.

Знакомство с Киндельским немного ввязало меня за разговорами при table d’hôt’e.** Мы тут обедаем и ужинаем вместе. Публика меняется, так как приезжают и уезжают по дороге в — и из — Закопан. Публика мало занимательная. Дама, едущая из Лондона к детям в Закопаны; другая с мужем из Закопан куда-то, должно быть в Россию, п[отому] что она выгнана из московской гимназии за непочтение к Иверской иконе; старик, все бранящий — погоду, Закопаны и т. д.; юноша неопределенного звания.

Вот как мне «Украина» помогла с библиотеками! А кроме того, лакей здешний купил табаку и гильз и делает мне папиросы. Выходит много дешевле и лучше, чем покупать казенные. Теперь освободилась комната наверху, на корону дешевле, да мне перебираться не хочется. А все равно рассчитываю 100 р. назад привезти, так как Краков такая «дыра», что едва ли тут что-либо путевое покупать стоит, да и не знаю что. Жаль купить? Где тут что порядочное? Магазины, в общем, не очень внушающие доверие. Пару книжек, конечно, купил для работы — и хороших. Приехал-то я, все-таки, не попусту и в работу втянулся. Но долго сидеть не буду. Вернусь, наверное, раньше, чем думал. А ты книг моих не пакуй. Я еще поработаю в Домброве. Отправим при моем отъезде. <...>

Д. 9. Л. 179—180 об.

663

22/9 августа

<...> Работу писать тут совсем невозможно. После занятий с 9 до 1 в одной и с 2—5 в другой (а вчера еще с 6—7 вечера в третьей, так будет и в понедельник) библиотеках не остается ни времени, ни мозгов. Да и заниматься приходится только тем, что к работе относится,

---

* Ничего (*польск.*).

** Общем столе (*фр.*).

а раз сюда попал, то подчитываешь кое-что и на зиму, для курса. Это разбрасывает, но что делать.

Хотелось бы деньков 10 в Домброве побыть, тогда привез бы конченную рукопись в Питер.

Сегодня вечером пойду в театр. Вернулась краковская труппа и дает «Wesele»* Выспяньского. Надо посмотреть. Вчера я не писал тебе, потому что вернулся от занятий только к ужину и уставши был. Дело в том, что я вечером забрался в университет, в помещение исторического семинария, нашел там студента, который и дал мне одно очень редкое издание старинное, давно мне нужное. В понедельник еще думаю туда пойти.

Хотелось мне купить себе польские хроники. Ну и попался я с ними — предложили мне за 54 короны — полное собрание сочинений Длугоша, роскошное издание в 15 фолиантах. Это за четверть цены почти. Ну как было утерпеть? А только 100 р. целых я из-за этого тебе назад не привезу... И как я повезу этого Длугоша! Придется отдельным пакетом.

Вот что значит твоему Саньке ехать с деньгами на чужбину! <...>

Посмотрю сегодня, какая публика соберется на «poważna»** пьесу — в мертвый сезон. А вообще относительно краковской публики — одно еще мне бросилось в глаза. Обилие мужских типов с резко выраженными восточными чертами. Большая в Галиции примесь армянской крови. Армян многолюдные колонии с XIV в. были в городах галицийских, а это тип крепко устойчивый. Вероятно, в этом и секрет.

Я доволен, что приехал. Пользуюсь рядом изданий, которые едва ли нашлись бы в Петербурге и которые полезны для моей работы. И со смердами, на которых я жаловался тебе, можно концы с концами свести; для себя конечно, но это главное; а как «критика» благосклонная и неблагосклонная отнесется — это поживем, увидим. <...>

Д. 9. Л. 181—182 об.

664

23/10 августа

«Wesele» Выспяньского! Хорошо играют в Кракове! Только одна роль — «рыцаря» была груба, а то все ладно. Эту вещь трудно играть. Надо много искренности в дикцию вложить, чтобы не вышла риторика. И это они сумели сделать.

А самая вещь — очень странная. Символизм pur sang,*** но на «реалистической» основе, вроде «Hannele» Гауптмана, где вся фантастика — очень правдивый бред больной девочки. И тут все эти «Chocholy», «Upióry», «Stańczyky»****[486] — бред больной польской души. Для сцены это не годится: грубо материализуется этот бред. Не то это, что сказочная фантастика «Потонувшего колокола»,[487] где фантастические фигуры — по замыслу реальны. Надо бы такие вещи иначе ставить, волшебным фонарем, что ли. Но Выспяньский так написал, что это невозможно сделать.

---

* «Свадьбу» (*польск.*).

** Серьезную (*польск.*).

*** Чистейший (*фр.*).

**** Чубы, Упыри, Станчики (*польск.*).

По содержанию — «Wesele» мучительно-больная и рассудочная вещь, при всем полете стиха, ритмичного, музыкального, звучного. Настроение à la «Балаганчик», только в мощной, бурной натуре. Piece à thèse* — публицистика и в то же время исповедь надорванного польского интеллигента. «Chłopi — to potęga — i basta»** — энтузиазм хлопомании — мука обиды за родину — все это выливается в речах, словах и берется в кавычки, ибо все «ciekawe», «interesuąco»,*** с концом: ха, ха, ха! Домучиться надо до этого. Выспяньский протестовал много против «религии гробов», поглощения польской душевной силы культом старины, прошлого исторического величия, но сам не свободен духом, его отношение к жизни отравлено, веры и силы нет и следа. «Великим поэтом» назвал его Тетмайер, на свадьбе которого с хлопкой пережито Выспяньским содержание «Wesela». И это — жестокие слова: слезы, муки, обиды, любовь, жизнь души и сердца — все только материал для поэзии! Вот эта мысль красной нитью идет через все «Wesele». Как ибсеновское «Когда мы мертвые пробуждаемся»,[487а] «Wesele» трагедия искусства, в котором, как жизненном деле, разочаровался поэт. Сильная вещь как исповедь треснутого духа. И не дающая ему выхода, wyzwolenia...****

Театр — очень хорошенький, со вкусом. И занавесь Семирадского в матовых, фресковых тонах — очень хороша, несмотря на свою условную «академичность». Грубовата немного; хотелось бы иметь нечто больше гобеленное. Ну, да Семирадский всегда резковат. А занавеси писать самое его дело. Ведь и «Фрина», и «Светочи Нерона» — большие декоративные «занавеси», а не картины.

Публики было порядочно, хотя и не полно. Простая публика, по-домашнему одетая, внимательная, не «салонная». Надо бы еще что-ниб[удь] посмотреть. М[ожет] б[ыть], раскачаюсь завтра на комедию Fredry. Должно быть, хорошо идет.

Сидел я за 4 короны в первом ряду балкона. Если еще пойду — то в кресло, за 3 короны, а то тут без бинокля было немного далеко. <...>

Д. 9. Л. 185—186 об.

665

[23/10 августа]

<...> Я так и думал, что по первым письмам ты сугубо будешь посылать меня в Вену. А я ни в какие Вены не поеду и во Львов не поеду, а поеду к Юле, в Домброво. То, что мне всего существеннее, я более или менее здесь сделаю. А туристикой заниматься мне некогда, да одному и охоты нет. Здесь пробуду еще несколько дней, да и домой.

---

* Вещь с тезисом (*фр.*).

** Крестьяне — это сила — и баста (*польск.*).

*** Любопытно, интересно (*польск.*)

**** Освобождение (*польск.*).

Сегодня воскресенье, библиотеки моей нет, в Академическую зайду на минутку только, потому что там книг не получал. Занимаюсь дома, но опять-таки не пишу, а читаю и разные справки навожу. Набралось разного материалу, и сразу его в письменное изложение не вклеишь.

Утром сильный дождь шел; теперь разгулялось. Слышал я, что завтра не будет представления Fredry, а то я хотел было пойти.

Д. 9. Л. 187—190 об.

666

[24/11 августа]. Понедельник (утром)

Сегодня опять дождь; все мокро, сыро. Хорошо, что у меня калоши с собой. И жаль, что нет зонтика. Дождь очень связывает. Ну да авось будет, как вчера, — утром долго дождь шел, а потом совсем разгулялось. Вчера я мало что путевого сделал. После обеда пошел на часок в Академическую библиотеку, а потом ходил по городу, пол-Кракова обошел, зашел в «город» и в катедру. Эта катедра на Вавелю весьма странное сооружение, состоящая из ряда разновременных пристроек и переделок. Такое по крайней мере дает она впечатление. И внутри она своеобразна. Общего вида на внутренность почти нет, так как собор очень загроможден «гробовцами». Надо будет урвать часок, чтобы [осмотреть] ее внимательнее, да и «замок» тоже.

К сожалению, и замок, и весь грод сохранили военную печать. Они во владении военных властей, только часть и то недавно уступлена Францем-Иосифом городу. А то тут войска стоят, казармы, госпитали военные понатыканы, очень все портят. И не все видеть можно из старины, п[отому] что что-то тут «refortyfikowano».* Нелепо это, п[отому] что какая тут «фортификация»! Все это устарело, и войска надо бы вывести в казармы за город, а это все обратить в национальный польский музей. Войска — австрийские, и речь слышишь в городе — немецкую. <...>

Д. 9. Л. 167—168 об.

667

[24/11 августа]

Ночь. Я давно спать лег, а не могу заснуть. Странно — я все время отлично спал, засыпал в 10 ч., вставал в половине седьмого. А сегодня что-то сорвалось.

Вот и встал, чтобы поболтать с тобой, мой Юлек. Льет сегодня дождь целый день. Только под самый вечер угомонился. Скучно это, серо, мокро. В Галиции, говорят, уже месяца два такая усиленная мокрота. Ожидали хорошего урожая, а масса хлеба сгнила на поле. Ни зерна, ни соломы. И картофель гниет. Пахать нельзя, а пора сеять. Боятся, что это подорвет и расчеты на озимые. Бедствий ожидают больших. Это в Западной, польской Галиции, а в русинской, Восточной — засуха много повредила.

---

* Перестроено как военное укрепление (*польск.*).

Я утром сегодня занимался в Ягеллонской библиотеке и наткнулся на очень интересные материалы. Пожалуй, отъезд мой затянется до конца этой недели. Так одни материалы указывают на другие, все идешь по нитке, которая сперва кажется очень короткой, а как начнешь мотать — длиннеет. В библиотеке сегодня поговорил я с проф[ессором] всеобщей истории Закжевским. Это старичок, уже думающий об отставке, и старичок, и профессор весьма посредственный. Рассказывал мне он о Риме, о Забугине. Помнишь ли ты его у Форстена? Туда он попал как музыкант-вагнерист. Потом уехал в Рим работать. Оказывается, его так втянула римская жизнь, что он принял католицизм — это Закжевскому Шмурло сообщил — обитальянился, собирается добиваться ученой степени в Римском университете. Слухи о переходе его в католицизм давно доходили до суббот. Забугин мечущаяся, неуравновешенная натура. Последнее ли его пристанище — в католическом Риме — Бог весть. Вероятно да, как могила для истрепавшейся вечным нервничаньем натуры.

Закжевский предложил мне познакомиться с доцентом Буяком, который будто бы знаком с вопросами, меня занимающими. Не думаю: он не историк, а экономист. А — может быть, п[отому] что тут люди вообще специализируются иначе, чем у нас. Я, конечно, выразил полное удовольствие. А тот, кто из краковских мне всего был бы интереснее и нужнее, Кароль Потканьский — недавно умер. Вообще же лучшие силы и более интересные люди не здесь, а во Львове.

После обеда позанялся дома, потом пошел в Академическую библиотеку за разными справками. А оттуда — в театр. Смотрел «Варшавянку» Выспяньского и комедию Fredry «Ożenić się nie mogę».* «Варшавянка» очень оригинальная вещь на сцене. Выспяньский — странная и сложная натура. Поэт с сильным гибким стихом, немузыкант с огромной музыкальностью, художник орнамента, формы, стилизованного рисунка, декоративной композиции — и в то же время пейзажист-импрессионист. Все это — в одном человеке. Человеке с огромным художественным талантом — и в то же время — с напряженной рассудочностью, скептической, критикующей себя, людей, жизнь. Embarras de richesse,** глубоко мучивший самого Выспяньского, не дожившего — в постоянном творчестве — до того, чтобы спаять в себе все свои богатства в одном огромном творческом акте. Так он и не нашел себя окончательно. Если верно католическое воззрение, что в Чистилище дозревает и достигает совершенства то, что осталось inacheve*** на земле, — Выспяньский там создаст что-ниб[удь] такое, чем самого Господа Бога приведет в изумление. Тут — при более крепкой личной силе — материалу хватило бы на второго Данте, право.

«Варшавянка» — одноактная вещь, нелегкая для понимания. Поражает самая форма. Много пения хором, с клавесином на сцене, с трубами за сценой. На этом фоне — диалоги и монологи обращаются в мелодекламацию, но без ее обычной фальши, п[отому] что это не мелодекламация, а речи и пение сливаются в одно содержание, в одно настроение, как разговор a parte под музыку, которая сама по себе дает только атмосферу. Основа настроения — огромная боль, та же, что в «Weselu», — боль по утраченной вере — в себя, людей, жизнь, родину. Что меня поразило как историка, это как в «Варшавянке» ogromnie wyczuta* история 31 года. Трудно это словами объяснить. Но лучшей оценки исторического момента польской жизни, когда чад наполеоновского энтузиазма угасал, оставляя по себе романтическую дрожь воспоминаний, когда улетели надежды, а осталось лишь нежелание с ними расстаться, невозможность помириться с их утратой и самообман героизма, ищущего благородной и красивой смерти без веры, что она нужна, что ставишь жизнь на карту ради нужной и желанной и возможной победы, — я не знаю. И рядом — острый стон молодой жизни, жаждущей жить, а не быть закланной ради безнадежной романтики прошлого, пережитого, мнимых теней. В «Варшавянке» нет содержания. Это симфоническая поэмка, поэтично-музыкальная передача настроений и, как всегда у Выспяньского, мысли — исторической и публицистической, но так прочувствованной, выстраданной, что он ее выливает в поэзии — не в простой речи. И поет же его стиль, его стих, у, как поет!

---

* «Не могу жениться» (*польск.*).

** Затруднение от избытка (фр.).

*** Недостигнутым (*фр.*).

Большой артист, что говорить. Только горемычный. Он слишком сердечен, чтобы в искусстве найти выход от мук жизни, — «пьянство от жизни» сказал бы жестко Толстой, и слишком романтик, чтобы взять жизнь, как она есть, и понять, что она хороша, несмотря на всю массу обидного, больного, грязного, как хороша музыкальная симфония, несмотря на множество диссонансов. Юльки у него не было — вот что его сгубило, не было личного чувства, которое давало бы надлежащий камертон крепкому пониманию жизни, как она есть.

А на спектакле конфуз вышел. Актеры хотели почтить директора Сольского (который отлично сыграл бессловную роль смертельно раненого солдата, приносящего рапорт Хлопицкому) — после «Варшавянки». Подняли занавес, публика сильно хлопала актерам, из-за кулис вынесли корзину цветов, а с другой стороны вывели господина в очках, и Сосновский ему сказал, что товарищи подносят ему эти цветы по случаю его именин! Публика не поняла — и перестала хлопать, Сосновский убежал, оставив Сольского в растерянном виде на сцене. И актеры, стоявшие на сцене, — не догадались дружно захлопать, окружить Сольского, приветствуя. Ну и опустили занавес при общем конфузе. Не вышло. <...>

Д. 9. Л. 169—186.

668

[27/14 августа]

<...> Юлек ты мой, ну зачем я в разные Вены поеду, когда мне хочется домой, к тебе, когда совсем ни о чем, кроме дела, не могу и думать, кроме тебя. И что ты со мной делаешь, право, не понимаю... Точно я не pan doktor, как меня тут титулуют, а зеленый юноша, впервые влюбившийся.

---

* Глубоко прочувствованная (польск.)

Ну, да постараюсь не очень торопиться. Пробуду тут до воскресенья, а в понедельник уеду или, смотря по поезду, во вторник рано утром. <...>

Сегодня я очень весел. Сердце цветет и бьется, согретое твоими строчками. И погода хорошая... <...>

А вчера я опять в театре был. И даже напрасно. Право. (Послушай, как сердце бьется: ю-ля-ю-ля — и без конца.) Смотрел «Болеслава Смелого» Выспяньского. Знаешь ли эту историю, как король Болеслав убил св. Станислава еп[иско]па, ему сделал карьеру святости (плохая карьера: ему нельзя было любить по-нашему, по-нашему), а сам потерял корону. Станислав погиб за борьбу «тиары с короной», был иерарх-политик. А стал патроном польским, символом зависимости Польши от Рима, а польского духа от отравы католической догматики и больной католической мистичной романтики... И что написал Выспяньский? Он в напряженной, сольной по своему духу пьесе говорил громко, криком — вековое проклятие поповское над мощным королем, заложившим основы польской национальной силы. Какое странное банкротство духа польского в этой пьесе. Какая двойственность и боль раба, не смеющего сказать правду о господине в сутане. Нехорошая пьеса. А все оттого, что не нашел Выспяньский прямой дороги через такой ogrom kochania,* какой бьется во всех жилках твоего Саньки. <...>

И играли плохо. Кричали резко, грубо. Совсем не тот тон. Общая постановка хороша, но пьеса не по силам этим актерам. Говорят, прежде лучше шла.

Вчера я перед театром пошел пройтись и попал на конец Костюшки. Это очень высокий шпиц, на который ведет витая дорожка, а на самой верхушке (Ю-лек!) памятник Костюшке, очень простой, оригинальный и подходящий — простой камень на камне, увенчанный железным суровым верхом. Вид с конца — широкий, далекий, живописный.

Сегодня я тоже, отзанимавшись в двух библиотеках, пошел гулять. Проехал трамваем на «Казимеж» и дорогой, по которой шли на коронацию польские короли, между двумя довольно высокими стенами, — к месту, где был древнейший собор Краковский, где был убит св. Станислав. Тихая, средневековая дорога. И по ней мне так вдруг захотелось идти не одному, а с Юлей, чтобы мой Юлек со мной шел, опираясь на мою руку, крепко, крепко, и шли бы мы в ногу, как одна душа, одна жизнь, одна любовь. На этой дороге — лучшая готика краковская — Августинская церковь св. Катарины. Суровая, простая, еще тяжелая готика. И внутри — пустая, разоренная, запущенная. Нет средств на реставрацию — а то бы это, пожалуй, лучший памятник Кракова был. В конце этой дороги на Скалку — церковь отцов Паулинов — барок,** построенный на старом готическом основании. Под церковью крипта, куда я, разыскав братишка сакристиана, проник, чтобы поклониться коллеге — Длугошу, первому польскому историку. Тут же могилы Крашевского, Семирадского, Поля, Асныка и Выспяньского. Ниша Выспяньского еще пуста — гроб в склепе, и памятника еще нет, но множество венков. И что за странная манера — венки из бумажек с фамилиями — коллекция визитных карточек. Вид их и навел меня на мысль, что я тут — с визитом у коллеги Длугоша.

---

* Массив любви (польск.)

** Барокко (от *польск.* barok).

Но где же Скалка? Все ровно, ни подъема, ни скалы. Спросил попавшегося на улице нервичного, подвижного субъекта. Оказался — завзятый археолог, который отрекомендовался «wykolejonym prawnikiem, ktyry jako polak, wszystkiem się po trochi zajamuje, a najwyczej architekturą»* — Поплавским. Он, хотя посмотрел на часы и сказал, что имеет лишь несколько минут, быстро прочел мне целую лекцию о св. Катарине, перед которой мы встретились, провел меня через собор Паулинов, объясняя разные детали постройки — все это, сравнивая с разными французскими и итальянскими соборами, показал мне с берега Вислы, что такое собственно Скалка, сообщил массу сведений о главных церквах Кракова, о краковском замке, об археологических достопримечательностях окрестностей Кракова (с указанием, как куда ездить, сколько платить и советом брать извозчиков или № 97, или № 80, последнего он мне и биографию рассказал: это ветеран войны еще 30-х гг.). Поговорил еще о Варшаве и Вильне, где не был сам.

Любопытный тип. Прощаясь, извинился, что уезжает, а то навязался бы в чичероне по замку. Так и простились. А я еще не все перечислил, что он успел насказать мне в 10 минут. И все — очень дельно и, видно, — обстоятельно!

Спасибо, мой Юлек, за выписку. Очень кстати пришла. Просил эти книги мне на завтра приготовить. Авось найдутся. Был у меня доцент Буяк, которого проф[ессор] Закжевский вызвал на знакомство со мной. У нас действительно немало общих интересов, а его работа, которую я теперь читаю, во многом проясняет иные мои сомнения. И его очень заинтересовали вопросы, которыми я занимаюсь. Он русскую историю мало знает, а ему она очень нужна. В нем и львовском Ст[аниславе] Закжевском чувствую поддержку своим мнениям. <...>

Д. 9. Л. 187—190 об.

669

[30/17 августа]

<...> Два дня я не писал тебе. Оба этих дня я сплошь сидел в библиотеках, чтобы закончить, что хотелось сделать. И кончил. Результатами я очень доволен, хотя так ничего и не написал и к курсу совсем не приготовился. Зато несколько разобрался в наиболее трудных вопросах и новыми материалами запасся для конца работы. <...>

Тут в пансионате несколько познакомился я с художником Чайковским, директором промышленного музея, и его женой. Они приходят ужинать. Такая милая пара, что я им «Исповедь» Горького подарил, а для нас в Варшаве куплю.

Сегодня я ходил осматривать замок. Этот дворец королевский был много лет под казармами — роскошные постройки и богатая отделка — испорчены дотла. Теперь идет реставрация, огромная работа, которая должна восстановить дворец в его более или менее давнем виде. Теперь — картина полного разрушения... <...>

---

* Свихнувшимся юристом, который как поляк занимается всем понемногу, а всего больше архитектурой (*польск.*).

Сегодня я еще пойду в Академическую библиотеку. Туда мне и в воскресенье можно. А третьего дня я там вечером один оставался — сторож куда-то ушел — и принимал я Бодуэна, который никак не мог сообразить, как это здешняя библиотека на моих руках оказалась. С Ягеллонской — я уже вчера распрощался. Сделал визит Буяку — и не застал его дома. Надо бы и к Чайковским зайти, да я хорошенько их адреса не знаю.

Скоро увидимся — Юлек ты мой дорогой. Ясно, что я не в состоянии без дела ездить один: твоя Величка совсем меня не трогает,[488] и я бы не поехал. А 4 сентября можно за 30 корон съездить на 3 дня на Чешскую выставку и осмотреть венские музеи по дороге. <...>

Д. 9. Л. 183—184 об.

670

11 сентября

<...> Вчера утром я отправился в университет для вступительной беседы со студентами о практических занятиях. Записал я их к себе 35 — и еще приходится отказывать. Беседа вышла, кажется, ничего себе; посмотрим, как удастся наладить занятия. Потом я еще проваландался с час в университете из-за записи студентов, из-за объявления о перемене часов моих лекций и т. д. Проф[ессор] Покровский, которого я видел и расспрашивал об университетских делах, вызвал во мне такое впечатление, что нельзя ожидать твердого настроения университетского совета пред настойчивостью Шварца. Ведь неврастеники они — прежде всего. Но в Москве новый, т. е. вновь выбранный, ректор Мануйлов перед выборами сказал речь, которая сегодня в газетах, о том, что м[инистер]ство не имеет права распоряжаться в университете, получившем от Государя автономию; и его выбрали после этой речи единогласно, выразив, по предложению профессора-октябриста, полное согласие совета с Мануйловым. Все это, все-таки, определенное и решительное возражение против Шварца. Появились, конечно, слухи об его уходе — будто его уберут перед собранием Думы, чтобы избежать столкновения. Это было бы недурно. Шварц относительно своих разногласий с университетом обратился за разъяснением в Сенат, и хотя от этого учреждения нельзя ничего ожидать, кроме лакейства, но все зависит от того, решило ли «правительство» поддержать Шварца или его выдают. Момент интересный. А в течение этой сессии Думы надо ожидать внесения нового университетского устава. Как повернется за год судьба университетов — важнейший для нас вопрос. Надо, думаю, ожидать и выступления в Думе польского кола* по вопросу о Варшавском университете. Студенты торопливо и усердно записываются на лекции и практ[ические] занятия — и признаков волнения не заметно. Это имеет и свою слабую сторону. М[инистер]ство уже ссылается на то, что студентам нет

---

* Здесь: польской национал-демократической фракции в Гос. Думе.

дела до «профессорской политики», и не боится столкновения; все зависит от того, что против Шварца общество сильно настроено, правые не меньше, чем левые. Пока, словом, неясно, как оборотится дело, но позиция пока не безнадежна.

Из университета сунулся я было на Политехнические курсы на Пушкинской — но они переехали на Загородный, 66, и я туда не пошел, а вернулся домой. От этого мотанья вчера у меня из занятий ничего не вышло, тем более, что пришел Сазонов, хлопочущий об устройстве таганцевского юбилея, и взял с меня слово, что вечером я приду к нему — обрабатывать адрес Люб[ови] Ст[епанов]не. <...>

Д. 9. Л. 195—197 об.

671

12 сентября

<...> Вчера прислали мне первый лист корректуры моей «диссертации», как означено на ней карандашом. Начинаем, значит, печатать. Qui vivra — verra*...

Завтра кончу отделку второй части и отдам уже всю рукопись Скороходову. А с понедельника — пойдет машина полным ходом. Надо и в Архиве работу начинать. Сезон открывается. Что-то он принесет?

Заходил вчера Сер[гей] Ал[ександрович]: надо было ему вексель подписать и на другой — достать подпись Джона. Джона я не застал дома — но он потом ко мне зашел и пресерьезно просил, чтобы я ему вкратце объяснил суть своей книжки. Я изложил, как мог. Джон весьма внимательно расспрашивал. Очень это мило, но боюсь, что он начнет пересказывать дальше, по обыкновению — раздувая и путая... Ну, да все равно.

Погода в Питере хорошая, а холера — все по-прежнему. Умер очень быстро ученик Гревса — Карташев (не тот, что мы знаем) в 4 дня после прививки. Второй случай скорого конца после прививки... Врачи объясняют это тем, что, значит, зараза уже была в организме, но, кажется, тут твердого еще ничего нет. Умерла в два дня праздников (1—8) одна из учениц школы Германа, кажется, Смирнова. Вчера я получил от школы приглашение на сегодняшний вечер — будет совещание о том, что должны делать школа и семья для предохранения детей от заболеваний. Пойду послушать. <...>

Завтра в университете сходка. Не думаю, чтобы из нее что-нибудь серьезное вышло. А, впрочем, увидим. Эта сходка покажет настроение студенчества — отсутствие всякой возможности подъема какого-нибудь общего настроения. <...>

Д. 9. Л. 198—199 об.

---

* Поживем — увидим (*фр.*).

672

14 сентября

<...> Вчера я думал, что будет суббота, — и пошел к Форстену. Он был дома, но не принимал. Меня, конечно, пустили, и я застал у него Голованя и Мишу. Профессор темнее тучи. Говорит, что отвратительно себя чувствует, что нервы расходились так что, кипит в нем беспричинное раздражение, что это очень тяжело. Он так устает, что вынести субботы не в состоянии. Мне немного удалось его разговорить, но состояние его, видимо, скверное. Объясняет он это тем, что летом не отдохнул, а причина в нездоровье Елизаветы Николаевны. Постоянное беспокойство за нее, видимо, его и связало, так что он не мог отдаться отдыху, и утомило. Мы у него только чаю напились и ушли. Головань и Миша — в театр, на ученический спектакль, а я домой, где у меня лежала 4-я форма набора. Уже листа 3 набраны. Я написал Платонову письмо с просьбой о позволении посылать ему листы в корректурах. Он ответил: «Попробуем, если буду задерживать, то прекратим». Ну, попробуем.

Головань, узнав, что столько уже набрано, заявил, что зайдет посмотреть, как это выглядит.

А у Платоновых кухарка и ее дочь от холеры умерли — не у них, а в больнице. Но вообще холера понемногу слабеет. <...>

В школе я был. Назначено было к 4 $^1/_2$. Я и отправился вовремя. По дороге встретил Генр[иха] Матв[еевича], который сообщил мне невероятную новость: Мотя провалился в Академию, и притом именно по скульптуре! Объясняет это Г[енрих] Матв[еевич] тем, что, занятый экзаменами, он не мог сосредоточиться на экзаменационной работе. А все-таки очень странно... И в университет ему попасть нельзя: поздно, прием прекращен. Г[енрих] М[атвеевич] просил меня узнать, правда ли, что в Юрьевский университет можно попасть и позднее. Я написал И. И. Лаппо и жду ответа во вторник. <...>

Приходил Романов. Принес корректуру своей статьи.[489] Ему очень хочется быть причастным к печатанию моих «Очерков» — предлагал помочь мне в корректуре — и остался очень доволен, когда я предложил ему составить указатель.

Получил я письмо из Москвы: предлагают написать статью по истории политических настроений русского общества в XVIII в. Я согласился, так как этот материал все равно придется собирать для истории Сената. А надо и за Сенат приниматься... С пятницы надо бы наметить занятия в Архиве. Завтра начинаю курс в университете. А все утро ушло на Романова и это письмо. Теперь уже 12 часов. Мало дней в неделе, мало часов в сутках. <...>

Д. 9. Л. 200—202 об.

673

15 сентября

Дорогой Юлек, из писем твоих не видно, получила ли ты хоть одно письмо мое. Это четвертое, да еще одно от Гутика было. Я и марки в первом письме послал.

У нас вообще довольно грустно. В университете в субботу сходка «принципиально» решила устроить забастовку, а сегодня решает — еще не знаю, как — начать ли ее завтра или отложить. Если студенты превут занятия, то сильно испортят выгодное и верное положение, которое заняли профессора.

Я начал сегодня лекции. Одну прочел, а второй не читал, так как студенты ушли на сходку. Посмотрим, что дальше будет. Завтра начинаю у Таганцевой и в институте. Словом — пошла машина. <...>

Был у меня сегодня Вениамин. Приходил поговорить о переводе Наточки из института в Константиновскую гимназию — не сейчас, а с января. Поговорю завтра с Платоновым. У меня с ним встретились Миша и Адрианов — и все трое друг другу обрадовались.

Скороходов довольно скоро печатает. Три листа набраны, первый уже сверстан. Сергей Федорович велел и себе корректурный лист присылать. Посмотрим, что он скажет, когда почитает. Завтра надо с ним поговорить о втором оппоненте, вероятно, Лаппо-Данилевском. А С[ергей] Фед[орович] просил в факультете денег на печатание моей «диссертации».

Когда начну у Побединского — еще не знаю. А надо еще к Блинову зайти, начать работу в Сенатском архиве. Что останется en fait de temps* на Комиссию? Чувствую себя в каком-то настигшем меня круговороте. <...>

Прости за письмо, похожее на отдел в хронике газетной. Я прихожу в зимнее состояние, когда внутри какая-то усталая сутолока. Крепко целую тебя и деток.

Твой Саня.

Д. 9. Л. 203—204 об.

674

18 сентября

<...> К холере отношусь совсем равнодушно, так как при мало-мальски грамотном и внимательном поведении заболеваний не должно быть. <...> О Гутике я тебе писал. Скучает он. Главное, мало у него движения. Он часто говорит, как вчера: «Засиделся я, хочется побегать, а негде и не с кем». Попробует один порезвиться, да, конечно, ничего не выходит, надоедает сразу.

Вчера мы с ним ходили на Загородный с клеткой и купили птичку. Но не нашли чижика, а купили малиновку, которая год жила уже с чижами. Наш чиж к ней отнесся очень равнодушно, зато все три кенаря за ней ухаживают. Надо будет и канарейку купить, но это уже когда ты приедешь.

---

* В смысле времени (*фр.*).

Начал я в институте, начал и у Оболенской. Тут я вчера читал и сегодня буду читать. Нынешний мой восьмой класс — старый знакомый, не очень-то внимательный. А я уже, видно, избаловался, и невнимание меня раздражает. У Побединского начну в понедельник. Третьего дня зашел ко мне вечерком Головань — посмотреть мою работу в наборе. Он внимательно просмотрел корректурные страницы и много расспрашивал про дальнейшее содержание. Остался весьма доволен, ожидает большого скандала, что «Очерки» мои произведут впечатление. Но он думает, насколько может понять (он по русской истории слаб), что я прав. Любопытно, что из всего этого выйдет. Ну, пора идти в гимназию. Допишу потом, а то опоздаю. <...>

Говорят, что студенты в субботу начинают забастовку. Ничего из нее не выйдет, кроме ряда отвратительных положений, раздвоения между студентами, одни будут слушать лекции, ходить на занятия, другие нет — и, пожалуй, еще мешать будут. Исчезнут из аудитории, наверное, именно более симпатичные элементы, останутся вялые или гг. союзники истинно-русские. Гнусное положение.

Забежал домой за книгами — из гимназии — иду в институт на практические занятия от 3—4-х. А вечером в институте заседание. <...>

Д. 9. Л. 205—206 об.

675

19 сентября

Сегодня во всех газетах — некрологи Павлова-Сильванского. В «Слове» моих несколько строк. Умер он не 18-го, как Адри[анов] поставил, а 17-го вечером — в Боткинских бараках. 16-го заболел, 17-го умер. Странное дело: когда слышишь подробности относительно холерной смерти интеллигентов (Карташев, Сильванский) — всегда оказывается, что погибли люди, особенно сильно боявшиеся холеры. <...>

Умер человек, так нелепо закончивший жизнь, сложившуюся так странно, нелепо, что она дробила его психику, сбивала его с толку. Есть что-то особенно тяжкое в том, что конец его жизни как-то вяжется со всем складом ее в личном отношении, даже с его характером.

Это большая потеря. Ты его недолюбливала. Но для меня это потеря очень большая. Сильванский не увидит моей книги, не будет ее разбирать, говорить о ней. Она так с ним связана. В ней много влияния его работ, его мнений. Мне приходилось очень осторожно писать некоторые места, чтобы не похитить себе иные его мнения, да и то кое-что захватил я неизбежно. Такого сочувствующего целому и строго, горячо разбирающего все детали читателя я другого не найду. На меня точно обрушилась обязанность развивать дальше то направление работ, в котором я думал идти с ним и за ним. Я был ближе, чем кто-нибудь, к его мнениям, к его интересам. И небольшой пакетик его писем получает теперь особое значение. В этих письмах —

его тревоги, волнения, жажда сочувствия, поддержки в новостях его работ, против которых на первых порах высказывались многие.

Сер[гей] Фед[орович], от которого я в институте узнал о смерти Н[иколая] П[авловича], совсем расстроен. И все кругом поражены, с трудом мирятся с мыслью, что нет Ник[олая] Павл[овича], который так всех интересовал, приковывая к себе общее внимание. Это не малое событие, нелегкая потеря для нашего ученого муравейника. После Сильванского остался готовым в рукописи большой труд. Архив Государственный немедленно принял меры, чтобы охранить его рукописи. Конечно, не замедлят устроить издание. Сегодня в 2 ч. панихида в церкви М[инистер]ства иностр[анных] дел. <...>

Сегодня пятница, но я в Архив не пошел: нет в Петербурге Блинова, а без него я не могу устроиться с занятиями. Надо проделать корректуры первых двух листов. Первый сегодня пойдет в печать начисто. Второй завтра: подожду замечаний Сер[гея] Фед[оровича]. По поводу первого листа получил от него записку: «Замечаний не имею, любопытно!».

Вяжлинский, у которого я побывал, решительно советует исполнить твой план и оставить детей подольше вне Петербурга, если только их отдельная доставка позднее сюда не представляет чрезмерных неудобств. К этому ответу нечего прибавить — надо, по возможности, исполнить. <...>

Д. 9. Л. 208—209 об.

676

21 сентября

«Петербургский университет по постановлению Совета профессоров закрыт» — ввиду начавшегося волнения, причем, несмотря на постановление сходки, что «обструкции» не будет, — вчера «сорваны» были лекции Платонова и других (С[ергей] Фед[орович] не читал, заявив, что уступает физическому насилию) — ничего другого нельзя было сделать.

Надолго ли? Бог знает. Совет, сообщив о своем решении министру, — изложил ему и те меры, какие надо принять, чтобы восстановить «правильную академическую жизнь». В точности не знаю пока, какие. Но дело идет, наверное, об уступках со стороны м[инистерст]ва, в смысле восстановления прав Совета на самостоятельное управление университетом, т. е. на восстановление всего, что было создано советами и разрушено министерскими циркулярами.

Едва ли кто сейчас может угадать, чем это дело кончится.

Вчера был юбилей Таганцевой. Вышло недурно, конечно — холодновато, деловито, довольно официально — но, можно сказать, юбилей удался. Телеграмму Гревса приняли аплодисментами. Вечером был обед в половине 8-го. Мы сели своей компанией — Сазонов, Адрианов, Гливенко, я — и потому не очень скучали. Ты всегда о menu спрашиваешь: закуски, бульон с какими-то давлеными козявками, вкуса жеванной гуттаперчи, и с пирожками, в которых была какая-то слизь, вроде мозгов, превосходная лососина, ростбиф с богатым гарниром, цыплята или дичь, мороженое, вино Голубева (красное — отлично), шампанское не наше, конечно (demisec, а мы пьем даже не sec, a brute*), кофе. После обеда мы с С[ергеем] Ив[ановичем] и Гливенкой сейчас ушли.

Когда я уходил с акта, внизу встретил Германа с адресом. Он, Гуревич и школа Тенишева (не Острогорский, который очень опасно болен) — опоздали. Но их адреса были прочитаны. Я-то ушел и не слыхал, но, говорят, что адрес Германа — был лучший, потому что был очень искренне и красиво написан и прочитан. Очень мило со стороны Германа — ведь он один из «ушедших».

Адресов было порядочно, телеграмм сотни три. Вообще — прошло благополучно. Г[еоргий] В[асильевич] — захворал. М[ожет] б[ыть], еще хорошо, что его состояние оказалось на почве инфлюэнцы. Вчера Вильчур был. Но я еще не знаю, что он сказал. Вчера утром я пошел на панихиду по Н. П. Павлову-Сильванскому — на Ник[олаевский] вокз[ал] — откуда гроб отправили на Преображенское кладбище. Были 3 курсистки, двоюр[о]д[ный] брат Н[иколая] П[авловича], какой-то старичок, Боцяновский и я. Больше никого. А на кладбище и мы с Боцом не поехали: пришлось бы, благодаря поездам, полдня потерять.

Меня просят написать некролог для журнала М[инистерст]ва народ[ного] просвещения. Попробую.

После него осталась А. В. Капустина с двумя мальчиками — 6-ти лет и — неск[ольких] месяцев, без всяких средств и прав. Хлопочут о них — м[ожет] б[ыть], устроят им пенсию из Литерат[урного] фонда и пособия от разных учреждений. <...>

Д. 9. Л. 210—211 об.

1909

677

4 июня
Москва. Петровское-Разумовское.
Новое Шоссе, дача Полиевктовой

Милый, дорогой мой Юлек, вот я сижу «у Соломенной сторожки» — перед окном, за которым ровно, упрямо, не спеша льет дождик. Он уже несколько дней такой — и вид у него не обещающий скорого прекращения... <...>

Мы даже не попрощались как следует — и это на два длинных месяца. Отъезд вышел суетливый. Я и на 9.30 билета не достал: разобрали члены Думы, которым выдавали не в очередь. Но я стал вторым на курьерский, и когда в 10 ч. начали выдачу, то получил. Этот поезд был даже не полон: нас двое ехало в купе. О том, что ехать было более чем удобно, нечего и говорить. Приехав в Москву, я на извозчике отправился сюда. А тут живут не только Миша с Нат[альей] Мих[айловной], но и брат ее Петр Михайлович. Он тоже в Архиве работает, в том же, где Миша. Я их уже не застал. Нат[алья] Мих[айловна] напоила меня чаем, и я, преобразившись, поспешил в свой Архив Юстиции. Это на другом конце Москвы, 4 станции (1 паровиком и 3 — двумя трамваями, т. е. 20 к. конец), а времени берет на переезд 55 м. В Архиве я представился Самоквасову — директору. Он принял меня очень любезно, и когда я подарил ему свою книгу, то он мне 3 своих дал и еще обещал. А все-таки не признал, что у меня уже есть разрешение заниматься, заставил подать себе прошение, да еще с 75 к. маркой, но документы мне сейчас дали, и завтра я начну заниматься по-настоящему. От Самоквасова я отправился ловить Мишу в — Архив М[инистерст]ва иностр[анных] дел — и так удачно, что встретил его при выходе. Мы выпили кофе у Филиппова, купили галоши и запонки (моей коробочки со всеми запонками не оказалось в чемоданах!), вернулись на дачу, пообедали, а теперь я письмо пишу.

---

* Полусухое... не сухое, а брют (*фр.*).

На даче все по-старому. Только верх отделали и устроили особый туда вход. На воротах надпись, что дача внаймы отдается (верх): но никто и не смотрит, чему Нат[алья] Мих[айловна], по-видимому, рада! В Петербурге она твердит, что дачу надо продать, а сюда приедет — жалко! Да никто и не купит: П[етровское]-Р[азумовск]ое несомненно совсем падает как дачное место. <...>

На душе у меня спокойно, но так же грустно и серо, как на здешнем небе. Предоставляется тебе, моя радость, думать, что это оттого, что мое солнышко далеко от меня. Не светит своей улыбкой, не греет своей лаской. Я, кажется, даже ревновать начинаю. Завидно думать, что другие тебя видят, слышат твой голос. Этого чувства у меня никогда еще не было. Откуда оно? Странное дело! А оно такое определенное, четкое — это странное ощущение. И подумать только, что — на два месяца! Так нельзя, понимаешь ты: нельзя! А сидеть буду тут, в роли архивной крысы.

Ну, прощай. Назвался груздем, полезай, Санька, в кузов. <...>

Д. 9. Л. 213—214 об.

678

5 июня

Сегодня я начал заниматься в Архиве, и сразу выяснилось, что положение мое совершенно нелепое... Чтобы исполнить взятую на себя работу как следует, мне следовало бы просмотреть около 2000 книг! т. е. около 2-х тысяч толстых фолиантов. Сегодня я за целый день просмотрел половину одного!! Очевидно, что надо будет резко изменить манеру работы. Любопытно, что из этого выйдет! Это так нелепо, что я даже и не обеспокоен... Поживем — увидим... <...>

Приехал я в Москву не очень-то удачно... День позанялся, а завтра суббота, Архив заперт. Думаю завтра отправиться в город — к Полонскому, к Крахту. Может быть, и по городу помотаюсь...

Тут тихо, спокойно, но как-то грустно. Замирающее, устарелое Петровское-Разумовское. Наши старики — нервно встревоженные умиранием привычной для них жизни, точно люди из другого века... Пахнет «Вишневым садом», чем-то вне жизни, ладаном, точно на панихиде. Отсюда то, что в «большой жизни» творится, точно из другого света только видно, сквозь маленькое запыленное окошко. Настоящая археологическая обстановка.

А воздух чистый, свежий. Так хорошо дышится после города. И сама Москва не производит на меня такого «городского» впечатления, как Петербург. Как-то тут свободнее, проще. И зелени больше — а она пока еще свежая, незапыленная... Архив Юстиции — на большой площади, на которой целый сад разбит. Дорога к нему наполовину вдоль бульваров, по зелени. Все это совсем недурно. И люди московские — другие, в трамваях, на улице... Спокойные, веселые, никуда не торопятся, не суетятся. А вместе с тем Москва растет, меняется, пожалуй, больше, чем Петербург... Правду говорят: «Что город, то норов». <...>

Миша очень втянулся в работу, попал на большой интересный материал. Да и моя работа интересна — жаль, что нельзя ее исполнить по-настоящему. Утром в 10 ч. отправляемся паровиком в Москву втроем — до Страстного монастыря. Тут расходимся, и меня трамвай везет на Девичье поле, где мой Архив, — ровно к 11 ч.; в 3 ч. надо уходить, и мы с Мишей встречаемся у Филиппова, пьем кофе или я стакан простокваши спрашиваю, и едем домой. В половине 6-го обедаем, потом чем-ниб[удь] занимаемся, а то гуляем. Это общее расписание, то же, что в прежние годы. Потеплеет — начнем купаться по утрам. Так прошел сегодняшний день, так и остальные дни пойдут «архивные». А неархивные — на чтенье кучи привезенных мною книг. Так-то. <...>

Д. 9. Л. 215—216 об.

679

8 июня

<...> Вчера я получил весточку от тебя: письмо и открытку. Спасибо, дорогая. Буду теперь ждать письма из Домбровы, а пока продолжаю свой «дневник».

Суббота у нас день, как ты знаешь, неархивный. Мы с Мишей отправились в половине одиннадцатого в город — он к какой-то тетке, а я к Полонскому. Но А[лександра] Я[ковлевича] я не застал — пошел вверх по бульварам на Большую Пресню к Косте Крахту. Там мне дворник сказал, что К[онстантина] Ф[едоровича] нет дома, а «барышня» тут. По-видимому, это его натурщица ждала. <...> И побрел я по Москве. Трамваем на Тверскую, к Филиппову, съел у него простокваши и кофе выпил, а потом — в Румянцевский музей, где в 2 ч. мы должны были встретиться с Мишей. По дороге посмотрел памятник Гоголю.[490] Как памятник это очень плохо. Постамент и весь ансамбль просто бездарны. Но что-то неожиданно интересное есть в фигуре. Однако только с одной стороны: задумана она человеком, который себе образ «Гоголя» представил с одной точки, в одной плоскости (как рисунок) именно слева, в профиль, а потом сочинил остальное. И en face, и справа — плохо; сзади слишком нелепо (высокое каменное «кресло», над которым чуть-чуть торчит макушка Гоголя), но слева фигура, вовсе не вяжущаяся с креслом и постаментом, снятая с них — интересна по общим печальным линиям, в которых есть что-то больное, хрупкое, точно сжавшееся подобно mimos'е от прикосновения жизни. Памятника, монумента — все-таки нет.

Он — в нескольких шагах от музея, куда мы решили зайти, чтобы узнать, нельзя [ли] кого-н[ибудь] из московских историков посмотреть. Я пришел раньше Миши. Яковлев — уехал, Готье — тоже, Богословский — тоже. Ну я поднялся в картинную галерею. Она очень небольшая. Один этаж — русский. Тут Иванов[491] — плохой он, выдуманный, с большим мастерством отдельных фигур, хотя и очень сочиненных, без вдохновения, композиция — мертвая, точно «живая картина» позирующих фигур, колорит, не вяжущийся в одно целое. Зато тут превосходные Тропинины, Левицкие, Боровиковские, Лампи — портреты, которые мы отчасти видели в Таврическом дворце. А наверху иностранное искусство — второго сорта, много копий, много сомнительного.

Пришел Миша, обошли мы с ним галерею, потом заглянули по соседству в еще не открытый музей истории искусств (Цветаевский) — красивое здание под антик, — узнали тут, что Романов (здешний доцент по ист[ории] иск[усств]) в Москве и может нам показать этот музей, и попутешествовали домой, к Соломенной сторожке.

По вечерам (и по утрам, так как я встаю рано, между 7 и 8) я читаю разные «ученые» книги. Так прошел и вечер в субботу. День вышел пустой, было скучно и тебе не писалось. Разболтались мы вечером с П. М. Майковым. Это очень живой, образованный и умный человек, очень ко мне внимательный и приветливый. Только спорить с ним нельзя: сразу раздражается и дребезжит, как треснувшая гитара. Все они, Майковы, потрескались. <...>

Д. 9. Л. 217—218 об.

680

8 июня

Дописываю, дорогой Юлек, письмо, уже посланное утром. <...> Я хотел тебе о Косте Крахте рассказать. Расспросил я его про личные его дела. Он с женой не живет и рад этому: два, говорит, я в жизни хороших дела сделал, за которые многое мне простится: бросил юриспруденцию для искусства и семью для свободы. Себя освободил и ее освободил. Сам ушел в скульптуру, а она нашла себе свое дело — изучает сцену, уже начала выступать... Костя уверяет, что есть у нее дарование. И отношения, говорит, у нас только лучше стали. Она в Москве, он там каждый день обедает и проводит время с детьми, пока те спать не лягут. У них двое мальчиков и одна девчонка 11-ти, 7-ми и 4-х лет; дети, говорит, удачные. И видно по тому, как он о них говорит, что он их любит. И про нее говорит так дружески, тепло, но как о хорошем товарище. Своеобразные люди... Своеобразно для меня и его отношение к искусству. Вот насквозь художник, не эстет, Боже упаси, а именно художник. И такой он ясный, праздничный, простой. «Реальность», говорит, действительность такова, что от нее уходить надо, нет в ней цельной, без изъяна красоты, все подшито тленом, дрянью, уродством, гибнет, разрушается. И уходит художник в свой мир вечных, неизменных, нетленных образов, свободных от смрада действительности. Но и он ведь в ней сам. Его трагедия в том, что он сам, воплощая свои образы, творит реальность, включает свои мечты в грубую материю и, никогда не довольный, не может остановиться, творит, творит и ищет. И эта «трагедия» лучшее, что есть в жизни, ею он живет. И даже не верит, что можно иначе смотреть и на «реальность», и на искусство, что искусство — вечный гимн в честь «реальности», вечная тяга понять по-настоящему всю ее неисчерпаемую красоту. Тут между нами — стенка, хотя во всем, что до искусства касается, до отдельных вещей и художников, то мы с ним друг друга с полуслова понимаем и сходимся — до странности. Он очень хочет, чтобы мы часто виделись, да и я тоже. Что-то в нем тихое, углубленное и ясное есть, что меня тянет...

Сговорились, что я приду к нему в среду из Архива. Хочет меня со «своими» познакомить. Кто эти его «свои», я не знаю, но среди них Брюсов (его нет сейчас в Москве) и Андрей Белый (этот будет в среду). Очень интересно...

А на воскресенье попробует он устроить осмотр щукинской коллекции произведений современной французской живописи.[492] Говорят, она весьма замечательна. Но я не очень надеюсь ее видеть, так как самого Щукина, по слухам, в Москве нет, а без него дом заперт.

Вообще в Москве немало интересного. Как было бы хорошо приехать сюда с тобой, вдвоем (и только вдвоем), как за границу ездили, дней на пять-шесть, и осмотреть ее на свободе, как осматривали мы Берлин или Дрезден.

Приезжай-ка в начале августа — вместо моей фантастической поездки за границу.

От Крахта пошел я к Ал[ександру] Як[овлевичу]. Оказывается, он ждал меня к себе целую неделю, думая, что я у него остановлюсь. Что о нем рассказать? Все он такой же милый, такой же бедный, не живущий полной жизнью, а как-то так сбоку к ней. <...>

А сегодня сюрприз: явился Ростислав, одетый пешеходом, звать Мишу на экскурсию вдвоем. Он отправляется на Волгу, в Калязин, оттуда пешком с крестным ходом на открытие мощей св. Анны в Кашин, затем частью водой, часть по ж[елезной] д[ороге], но больше пешком по разным городам, в погоне за стариной, за древностями. Будь время, такая экскурсия меня бы увлекла — конечно, больше, чем хождение по Швейцарии. Жаль, что некогда. Я Великороссии совсем не знаю, а как бы это нужно было. <...>

Д. 9. Л. 220—223 об.

681

11 июня

<...> А я в конце концов втянулся в работу и чувствую сильно то удовольствие, какое и тебе хорошо знакомо, когда ты этюды пишешь. Удовольствие работы, своего рода творчества. В Архиве много интересного, дело идет, и колоссальное количество материала меня как-то не беспокоит. Многое можно пропускать, еле перелистывая, потому что очень много однообразного, шаблонно повторяющегося. <...>

А вчера я после Архива пошел к Крахту, оставшись в городе. У него никого не было, и никуда мы не ходили. <...> От 4-х до 9 мы с ним болтали в его мастерской... Интересный он субъект. Присматривался я и к его работам. Он ищет простых, но сильно обобщенных, т. е. сложно-выразительных, линий — и находит их твердой, ясной рукой. Мастерская полна выразительных, интенсивных фигур. Все это говорит и живет странной, напряженной жизнью. У меня такое ощущение, что, останься я один в мастерской, я не чувствовал бы, что я один. Я ему это сказал. А он отвечает, что ему иногда кажется, что он теряет над фигурами власть, которой он, волей своей, замкнул их в камень, заставляя их держаться, как ему надо; что когда он отвернется, они меняют позу и... смеются. До того сильно чувство, что раз изваянные — образы становятся сами по себе, что он творит «реальность», только насильно подчиняющуюся его воле выражать его настроения, его мысли. А в такой реальности есть что-то, кроме того, что художнику надо, что всегда готово сбросить созданную им форму, разрушить ее и... смеяться над ним. Искусство для него — борьба с реальностью, хотелось бы насквозь, а не на поверхности только, создавать свободно свое. И тут начинается не то метафизика, не то религия. Пройдя жизнь в творческой, всегда неполной борьбе с реальностью, художник дойдет до момента, когда тесно станет ему в этих условиях. И тогда он созреет для величайшего творческого акта — смерти. Она освободит его силу, и, освобожденная, она перейдет в другие условия, в другое сознание, полное, совершенное знание, понимание и творчество. Смерть — величайший творческий акт в том смысле, что созревший для него художник сам себя в этом акте создаст как воплощение того художественного совершенства, которого он искал в жизни, отбросив случайное, разрушающее, мертвое, материальное. А в жизни творчество — трагедия вечно не удовлетворенной жажды, вечно неполных достижений, непрерывных попыток одолеть зависимость от реальных условий, связывающих и дух, и творчество. И это у него не выдуманная теория, а насквозь пропитывающее его чувство, которое он в разговоре пытается поймать и высказать. Так мы толковали целый вечер. А я только сжал, что осталось в памяти, как общий смысл.

Для меня все это почти наоборот: я не мог бы быть художником, я люблю реальность и думаю, что то, что художники отвлекают от нее как красоту, — разлито в ней гораздо глубже и богаче, чем в искусстве; для меня искусство — не уход от реальности, а хвалебный ей гимн... Хотя всегда художники стремились победить ее и создать «совершенное» в противовес несовершенству реальности. Язычник я — до мозга костей — и не променяю ради «будущего» совершенства настоящей жизни, светящей Юлиной улыбкой. [Получил от Голованя открытку — с подписью Верховского и Голованя — из Берлина: после «Нюрнбергских мейстерзингеров» пошли в «Rheingold» и пили наше здоровье].*

Д. 9. Л. 224—226 об.

---

* Последняя фраза — приписка А. Е. Преснякова на полях.

682

11 июня

<...> Получил я письмо от С[ергея] А[лександровича]. Просит статью для «Слова» по случаю полтавской битвы, т. е. ее двухсотлетия, 27 июня. Надо бы написать. Ведь это целый фельетон.[493]

Только материалу нет под руками. Впрочем, здесь можно найти, если что надо. Пишет он еще, что ремонт в нашей квартире производится такой радикальный, что всю ее разрушили, и печи, и полы, и потолки. Успеют ли? <...>

Сегодня утром Нат[алья] Мих[айловна] предложила мне и в июле оставаться на их даче. Чай утром и вечером м[ог] б[ыть] обеспечен Феклой, а обедал бы я в городе. Вероятно, если я останусь в Москве, так и устроится. <...>

Так, значит, я работаю в Москве. Ну, работаю. Дело идет. Материалу много. И это даже интересно. Но это не «моя» работа, не выросшая изнутри, а пришедшая извне. Если бы я сам по себе работал, то совсем иначе и над другим. А между тем она — не имея на то и тени внутреннего права, так она не внутренно необходима, а лишь внешне обязательна — оторвала тебя и меня друг от друга, не дает полной свободы даже в такую тяжелую минуту, когда нам всего нужнее быть вместе. <...>

Д. 9. Л. 227—228 об.

683

12 июня

<...> Каждый день перепадают дожди, но солнечно, в общем. Запоздало лето. Москвичи тоже запоздали с отъездом. По брестской дороге — via* Варшава за границу — все билеты на много вперед распроданы. Полиевктовы достали только на 30-е июня. Поеду на Варшаву—Александрово—Берлин. Петр Мих[айлович] уедет раньше — 24-го, через Петербург к себе куда-то в деревню. Очень мне этот старик нравится. Такой он живой, подвижной. <...> Все ему интересно, и много он знает. Но нервный, горячий, нетерпимый, как вся их майковская порода. По поводу Архива я познакомился еще с професс[ором] Томского университета Новомбергским (странная фамилия, должно быть, поповская) — юристом, по полицейскому праву. Он подошел ко мне сам, когда мы вместе трамвая в Архив дожидались. Молодой человек, работает с азартом, много печатал, обещал мне прислать свои работы; в понедельник свезу ему свою книгу. <...>

Завтра с утра отправимся, вероятно, вместе с Мишей, к Крахту. Авось он устроит нам осмотр щукинского собрания картин. А если нет, то посмотрим что-ниб[удь] другое. О Крахте этом я тебе много писал, и ты понимаешь, почему он меня так интересует. Хотелось бы его тебе показать здесь, в мастерской...

---

* Через (*лат.*).

Вне занятий архивных я почитываю привезенные с собой книги. Учусь. Много надо учиться «пану профессору»... Много нужного для «юриста» я совсем, совсем не знаю и не понимаю. В этом, конечно, и интереса много, себя расширяешь.[493а] Только бы мозгов хватило все это переварить и построить, как хотелось бы, свое...

Как-нибудь отсюда сходим в Головинский монастырь. Это версты три от Академии. Мы там раз как-то были в прошлые годы. Теперь там на кладбище Крахт поставил большой памятник — закрывшего лицо руками ангела... Монахини говорят, что он им не ангела, а черта поставил. <...>

Д. 9. Л. 229—230 об.

684

15 июня

<...> Потешный Алька со своими рассуждениями. До чего они все каждый на свой образец, у каждого свой стиль, Гутик так никогда не разговаривал! Что Гутик мне ничего не напишет? Например, о том, как сделана сетка, как удаются опыты сушки растений, что пока засушили? Ты его не заставляй, а только скажи, что папа так спрашивает; захочет, так напишет. <...>

Да, трудно тебе «отдыхать» с детьми. А я совсем отошел. Феноцетин остается нераспечатанным. Купанье, воздух, движение уравновешивают работу. Да и работа спокойная, и за ней нервы отдыхают. В субботу я целый день просидел за первой корректурой начала работы Павлова-Сильванского и вчера отправил ее в Петербург. Сразу порядочную пачку прислали. Теперь пойдет печатанье. Это порядочно времени отнимает, а у меня ведь еще конец работы не готов для печати.

Вчера (воскресенье) с ночи шел дождь, было мокро. Но мы все-таки отправились с Мишей в город — к Крахту. Его застали, как он цветы в садик под дождь выносил. Захватив его, отправились трамваями к Щукину, который оказался в Москве и позволил нам посмотреть свои картины.

У него около сотни картин новой французской живописи. Подбор очень интересный. Он покупает новых, смелых, ищущих новых путей. Особенно ярко у него представлены трое. Гоген (Gaugin), увлекшийся Востоком — и обобщающий в своем творчестве краски и формы природы по-новому, но в стиле персидских миниатюр, какие я видел у нас в Публичной биб[лиоте]ке. Яркие, сильные цвета, простые, классические формы. Костя говорит, что он и скульптор интересный. А живопись его сильная, красочная, южная и какая-то крепко-созерцательная. Он много, пристально видит, но только яркий, жаркий юг его привлек. Что-то животное, растительное есть в его фигурах, в его картинах. И красочность — на первом месте для него в природе. За красками — за силой теплого, глубокого цвета — видно, больше всего гоняются новейшие французы. А в соседней комнате Матисс, который только краску, сильную, глубокую, и любит, краску да еще движение. Этот из тех, кого еще и Париж не признал особенно. А Щукин ему заказал две большие фрески для лестницы своего дома. Его картины (если это «картины») часто похожи то на майолику, то на вышивку, то на аппликэ* из кусков, вырезанных из материй разного цвета. Но сила краски — удивительная.

Есть превосходные Monet — родственные Сегантини (особенно той его «пашне», которую мы видели в Лейпциге), с дрожащим рассеянным светом, иногда точно растворяющим в себе, пластикой форм и четкостью линий, то в море разлитого в атмосфере солнечного света, то в слабо освещенном тумане. Есть Monet — ясный, прозрачный, простой пейзаж. Сезанн, Дегаз и всякие другие, беспокойно, талантливо ищущие своих путей в живописи. Это действительно богатое, сильное творчество. Много entrain,** много смелости, порыва, вдохновения... Вот и это все я видел — без тебя, без моей Юли... Я думал про то, про другое: вот как это или то Юле бы понравилось...

Однако 8 ч. — надо одеваться. Через полчаса двигаемся из дому. Прощай, моя голубка, Господь с тобой. <...>

Д. 9. Л. 231—233

685

16 июня

Эти дни, и надолго, у меня особенно много дела. Лемке присылает порядочными пачками корректуры работы Сильванского, и на них все время уходит вне Архива. А трудно с уверенностью корректировать, когда нет под руками изданий и книг. Вчера пришлось пораньше уйти из своего Архива и поехать в Мишин к 2-м часам, чтобы раздобыть для корректуры некоторые справки. И завтра придется сделать то же самое. Зато в таком случае мы на полчаса раньше домой попадаем, так как этот Архив много ближе, чем мой, к Филиппову и к Страстному монастырю, от которого мы едем трамваем к паровику в Петровское-Разумовское. <...>

Сегодня утром мы с Мишей пораньше выбрались в город; и у него дела были, и я отправился в «пассаж» за солдатиками. Мне их уложили в ящичек — для посылки. В Архив я все-таки вовремя попал, так как в Москве трамваи много бойчее ходят, чем у нас.

С Архивом и корректурами у меня вся голова занята. Ни почитать, ни подумать некогда. Даже переварить ряд интересных впечатлений, связанных с Крахтом и щукинской галереей, — становится невозможным. Что-то интересное запомнилось было в голове по поводу современного искусства, да теперь сбито и задавлено. А жаль. Это вопросы, очень меня занимающие, и хотелось то, другое тебе написать, но все куда-то разбежалось... <...>

Д. 9. Л. 234—235 об.

---

* Здесь: аппликация (*фр.*).

** Увлечение, задор (*фр.*).

686

19 июня

<...> Так со Славой, по-видимому, дело налаживается... Теперь-то и нужна крайняя осторожность, теперь-то и будет всего для тебя утомительнее. Славка, естественно, делается капризнее, и утомлять тебя будет еще больше, бедный мой Юлек. Ведь выходить выздоравливающего, пожалуй, больше требует напряжения, чем даже присматривать за больным.[494] <...>

Дедушке я дважды писал, а сегодня еще письмо отправляю одновременно с этим. А от него ничего не имею, не знаю, как его дела. И от Голованя ни строчки о профессоре. Это тем более странно, что он должен был списаться с Мишей, когда и куда тому заехать к Георгию Васильевичу. Простая ли это голованьская медлительность, или он совсем пришел в апатию от грустных впечатлений, не знаю, как думать. <...>

Люди, с которыми я живу, — бедные люди. Сколько в Полиевктовых узости и мещанства! И в Мише тоже. Судьба, право, вытянула его из той среды и атмосферы, где он — дома. Какая-то слабость его интересов, мещанство вкусов, маленький эгоизм — часто огорчают именно потому, что много в нем подлинно хорошего. И давит, мельчит его Нат[алья] Мих[айловна].

А ей сестра, к несчастью, присылает «Русское знамя».[495] Начитавшись этого грубого и злобного листка, она ходит надутая, озлобленная на все и вся. <...>

А жаль, что из-за «съезда» придется бросить мечту, такую хорошую, провести несколько дней в Москве с тобой и ехать с тобой... Как бы оно чудесно было...

Я люблю Москву, а ты ее не видала. Это неправильно. Да и для тебя тут много нашлось бы интересного — Третьяковка, Щукин... И на зиму мало надежды, хотя мне очень было бы нужно приехать для закончания занятий. И у меня мало времени будет, да и тебе вырваться от детей и дедушки мудрено... Придется отложить эти мечты... Напишу я Елизавете Николаевне. Миша знает ее адрес (почтовая станция Котлы, Петербургской губ.); постараюсь узнать от нее, какие новости о профессоре. <...>

Д. 9. Л. 236—238 об.

687

20 июня

<...> С[ергей] А[лександрович] прислал мне письмо от Виноградова из Oxford'а, при котором и три брошюры приехали. Они, впрочем, остались в Питере. Меня почему-то особенно забавляет это внимание его ученого превосходительства...

Так сегодня я по Москве пошатался. Право, помимо пристрастия, хороший город. Гораздо шире, красивее Петербурга. Я рассказывал тебе, что тут и магазины много эффектнее, и как-то все крепче и свободнее. Очень бы хотелось тебе Москву показать. И как-то боязно, что тебе моя милая Москва — совсем не понравится. Ведь она довольно неряшлива и во многом — все-таки купчиха. Не то, что элегантная, бойкая Варшава. Но по-своему она мне гораздо больше нравится. Тут мне, вероятно, и жилось бы хорошо, шире и свободнее, чем в Петербурге. Тут в жизни больше энергии и меньше суеты. <...>

Д. 9. Л. 240—240 об.

688

23 июня

<...> Вчера я получил и от дедушки письмо. Пишет, что в отставке он с 20 июня. Хотели считать с 1-го, но оказалось невозможным, так как папа все время подписывал бумаги и ассигновки. Это значит, что ему должны выдать жалование за 20 дней, а это около 300 р. До назначения пенсии рассчитывает получать по 140 р. в месяц эмеритуры,[496] так что обойтись может. 20-го папа прощался с комитетом, и ему поднесли золотой портсигар с выгравированными фамилиями сослуживцев, 33 фамилии. <...>

Статью «Полтавская годовщина» посылаю С[ергею] А[лександровичу] сегодня. Если он и напечатает, то в субботу, 27-го, в день Полтавского юбилея. Прошу его гонорар прислать мне сюда, так как у меня может не хватить денег, особенно, если придется нанять комнату. А хотелось бы пару книг купить. <...>

А третьего дня — в воскресенье — мы всей компанией ездили в «Новый Иерусалим». Это большой монастырь, основанный патр[иархом] Никоном. Там и его могила. Сели на виндавский поезд на платформе Зыково, которая тут же у Петровского парка, ехали 2 часа до станции «Новый Иерусалим». От станции до монастыря за 40 к. на паре в четвероместном извозчике. Монастырь расположен в очень красивой местности; старый, никоновский, сгорел, а нынешняя постройка — времен Елизаветы, и строил Растрелли. Снаружи постройка очень странная, Растрелли был связан моделью Иерусалимского собора — и вышло ни то, ни се. Но внутри архитектурный размах замечательный. И отделка была бы очень интересна, если бы монахи и купцы не «обновляли» ее грубой раскраской и грубой позолотой, сильно опошлившей, например, элегантные иконостасы в стиле... рококо. <...> В окрестностях Москвы много интересного, чего я совсем не знаю. Много и старины художественной, и XVIII-го века хорошего.

Написал я письмо Елизавете Николаевне с просьбой сообщить что-ниб[удь] о профессоре. Головань упорно молчит. Да и Е[лизавета] Н[иколаевна] обещала с Мишей списаться, так как ведь он должен был сменить Голованя до приезда Елизаветы Николаевны. Миша ей писал отсюда вскоре после моего приезда, но ответа до сих пор нет. Это молчание начинает как-то тревожить. Хотя я уверен, что, случись что новое, — сообщили бы. Но в таком молчании — жутко становится. Посмотрим, ответит ли Г[оловань], получу ли я ответ от Е[лизаветы] Н[иколаевны]. А так хотелось бы хоть что-ниб[удь] узнать. Я даже нервничать начинаю. Вчера ночью мне пригрезился Г[еоргий]

В[асильевич], такой, как на вокзале был, и я потом долго заснуть не мог...

Тут у меня так мало времени... От Архива остаются какие-то отрезки времени, с которыми ничего не сделаешь. <...> А тут еще поездка в Ждамерово. Хорошо, если С[ергей] А[лександрович] пришлет гонорар. Не хотелось бы просить о высылке денег из университета.

Встаю я рано. К 7 ч. всегда уже за столом, по утрам тебе пишу или читаю. Последние дни немного уставать стал. Думаю оттого, что было такое нервное состояние из-за молчания Голованя. И что с ним случилось? Ему я и не пробовал писать. Все равно не ответит. Ну и публика!

Миша в большом затруднении, как же маршрут составлять для кругового билета. Ведь неизвестно даже, поехал ли Г[еоргий] В[асильевич] в Мюнхен, да и сроки неизвестны. А надо Джону инструкцию послать. <...> Миша надеется, что Джон бросит мысль ехать морем на Штеттин, а просто нагонит их в Берлине. Затем поедут на Штутгарт, на Фрейбург — во Францию, в ряд маленьких городов и в Париж, а потом купаться куда-то к северу от Бордо.

С[ергею] А[лександровичу] я в статью вложил письмо, где пишу, что не хочу ехать за границу, что предпочитаю Домброво — Швейцарии. Что ты на это скажешь? Ей-ей — ни к чему. Да ты в 8-м письме уже точно помирилась с этой мыслью. Ведь мне и сентябрь в значительной степени придется одному быть. Не довольно ли?

У нас настали жаркие летние дни. Еще бы! Ведь я зонтик купил и пока его не потерял. А хорошо погреться после стольких мокрых сырых дней. В Петербурге, говорят, небывалая жара. Ты пишешь, что аккуратно читаешь «Слово». Недавно была статья Лазаревского о польской живописи. Читала ли ты ее? Я был бы доволен, если бы она сохранилась. Я ее не видал, а только знаю, что была. Тебе я привезу, если деньги будут, новый том «Шиповника», где «Мария Магдалина» Метерлинка: по-французски она выйдет только через полгода.[497] А вышел отдельной брошюрой «Конь блед» Ропшина.[498] Привезу и его: ты хотела прочесть его после статьи С[ергея] А[лександровича]. <...>

Д. 9. Л. 241 об.—244 об.

689

25 июня

<...> Пришла наконец открытка от Голованя. Пишет, что они в Friedrich-Roda (в Тюрингии, около Готы), куда пришлось уехать из Берлина, уступая настояниям профессора и «по другим обстоятельствам». Пишет, что 2 недели пребывания там обеспечены, надеется, что и больше. Про Г[еоргия] В[асильевича] пишет, что он что-то стал плохо действовать ногами. Видно, все то же, с медленным ухудшением... Предписаны ему обтирания и лежанье на воздухе. А погода стоит там холодная, так что даже печи пришлось топить.

Адрес: Fr[edrich]-Roda, Sanatorium Dr. Lotz. Послал ли он тебе? Если что больше писал, ты, Юлек, сообщи. Я писал тебе, что П[олиевкто]вы уезжают во вторник, 30-го. А я останусь здесь на их даче. Обедать буду в городе. Мне Петр Мих[айлови]ч указал хорошую и дешевую столовую возле памятника Пушкину, на Тверском бульваре, т. е. как раз по дороге из Архива в Разумовское, там, где пересадка из одного трамвая в другой. Очень удобно. Буду обедать сейчас после Архива, по дороге. А утром и вечером самовар Фекла поставит, яиц сварит, заведу себе сыр или ветчину. Так пойдет мое хозяйство. Значит, и адрес остается тот же до конца. <...>

Занятиями в Архиве я в общем доволен. Сегодня кончу один большой отдел документов — дела генерал-прокурорские. Примусь за другие. Идет быстрее, чем я надеялся, хотя еще нет уверенности, что все нужное действительно успею посмотреть.

Обработка тоже представляет большие трудности. Много, понятно, нового получается, так как весь материал новый. А при этом легко разойтись с соседями — Филипповым и Чечулиным.[499] Это не моя вина и прямо меня не касается, но все-таки неприятно будет, если наша «История Сената» окажется похожей на заплатанный халат из пестрых кусков. Общего-то редактора ведь нет.

А и то меня начинает беспокоить, что я мало успеваю сделать, кроме Архива. Боюсь, что университетский курс окажется неподготовленным, да и практические занятия тоже. Слишком много зайцев, за которыми гоняюсь.

Будешь писать Адрианову, узнай, что он написал для «Вестника Европы», и внуши, чтобы он тебе прислал оттиски. Прочтем. <...>

Д. 9. Л. 245—246 об.

690

27 июня

Многое хотелось бы сказать моей Юле, да налетела какая-то суета, разбивающая настроения, разгоняющая мысли. Копошатся какие-то соображения. Все по поводу Крахта. Я был у него опять в четверг вечером. <...> Застал его за работой. Он с помощью мастера отливал в гипсе большую фигуру. Отливки я не видал — фигура стояла почти готовая, только без рук. Руки отлиты отдельно, и они вдвоем их пригоняли на место. Простая работа, немудреная. Но почему-то я, глядя на них и присматриваясь к другим вещам, наполняющим мастерскую, так, что пройти негде, как-то крепче и яснее почувствовал, что такое его творчество, что тут творится и что в нем тут творится. Хотелось бы это рассказать тебе, но трудно. Охватило какое-то напряженное и притом — не умею иначе назвать — чуть не до боли скорбное чувство. Какая ужасная вещь творчество, собственно говоря. По крайней мере — такое, которое не копирует, не воссоздает натуру, а ее совсем перерабатывает, «стилизирует», стараясь, хотя бы и бессознательно, освободиться от зависимости от натуры, пользуясь ею совсем по-своему. Перед скульптором — натура, живое существо, жизнь. А он берет из нее, от нее — те другие черты, как материал, вместе с глиной, гипсом, мрамором — и лепит свое, тоже живое странною жизнью или полужизнью? как это назвать — существо, новое, другое. Ведь эти скульптурные произведения нельзя назвать мертвыми, они живые по-своему, в них заперта, замурована какая-то частица жизни, «стилизованная», заколдованная искусством. Эта фигура без рук, странная, прекрасная фигура. Трудно сказать, что она такое. Откинутая несколько назад, с закинутой головой, глядящая вперед, куда-то вдаль, не видя, с протянутыми руками — тоже куда-то вдаль, одной ногой вперед выдвинутой в каком-то ходе, точно в лунатическом. Фигура человеческая, но формы освобождены от детальности натуры, взяты, прочувствованны в главном, характерном, в «общих чертах». Фигура несомненно женская, но даже это сглажено, обобщено, не выражено резко. Костя сам отметил, что тут он ушел от «подражания» натуре. И какая она все-таки живая, анатомически верная, хотя и далекая от «реализма». Руки только пригонялись. И когда правая, вытянутая рука вставлялась на место, она вздрогнула — и я вздрогнул: повеяло какой-то странной жизнью от этой фигуры, ее жизнью, не похожей ни на что. Не знаю, чувствуешь ли то ощущение, которое хотелось передать. Вот что делает Костя в своей «борьбе с реальностью». Я понимаю теперь, почему он, вкладывающий в искусство всю душу, такой тихий, почему он так рассуждает, почему называет смерть величайшим творческим актом, до которого надо дойти, развивая свои творческие настроения. Ведь из того, что он берет от жизни в своих впечатлениях, он строит иную жизнь, далекую от «настоящей», и все его симпатии не здесь, а там, в этом странном ином мире. И мне казалось, что ощущение, какое должно его наполнять в моменты творчества, должно быть и радостным (как всякое ощущение творчества), и в то же время напряженно-скорбным, потому что создаваемая им жизнь от жизни уходит, живет какою-то неполной, хотя и очень сильной, напряженной жизнью.

Не знаю, есть ли в этих строчках что-нибудь понятное. Или они производят впечатление бреда? Ответь мне на это, Юлек. Глядя на Крахта и его вещи, я понял лучше ибсеновское «Когда мы мертвые пробуждаемся».

А еще он отлил в гипсе свою «Саломею» — голову с протянутыми в почти египетском профиле руками, которыми она держит какой-то цветок, лилию, упиваясь наркозом, видимо, сильного аромата.[500] Эту вещь кто-то ему заказал высечь из песчаника. Заказу он рад — это даст ему возможность поехать во Флоренцию. Ведь в Италии он не был. А чувствует, что нужны ему новые впечатления, потому без них некуда вперед идти. А еще отлил голову какую-то острую, вперед устремленную; он ее называет goutte d'eau*, вроде тех голов, которые торчали на концах средневековых сточных труб при крышах. Он представлял ее себе на кронштейне у стены. Но я ему сказал, что ей нужен брусок сзади, чтобы она была точно конец балки. Это ему очень понравилось, и он будет высекать ее из песчаника (серого) так с бруском, т. е. сделает брус, а конец его обработает головой. Мне с ним очень легко и свободно, болтаю о его вещах, спрашиваю, делаю свои замечания, и видно, что это ему нисколько не мешает. Очень это все интересно — а тебя, мой Юлек, нет со мной... Я уверен, что тебе было бы в этой мастерской так же интересно, как мне.

Сегодня еду к Палибиным в 3 ч. 25 м. (по-петербургски), поезд придет туда в 7 ч. 36 м. А обратно в понедельник, в 6.24, в Москву

---

* Капля воды (*фр*.).

10.20. Чуть к 12 ч. доберусь в Петровское-Разумовское. <...> Четыре часа в поезде. Я возьму с собой «Вехи»,[501] который не прочел, потому что читал паршивого «Мелкого беса», который, в конце концов, право же, ничего не стоит, не в обиду будет сказано Сергею Александровичу, как и весь Сологуб. В Архиве со вторника начнем заниматься не внизу, в канцелярии, где до сих пор занимались, а наверху в зале библиотеки, где кончили ремонт. Остается мне 22 дня рабочих, т. е. всего 88 часов! А материалу еще целые колоссальные груды.

Миша получил письмо от Ив[ана] Ив[ановича]. Этот выезжает из Петербурга 5-го, вероятно, не морем, а по железной дороге, а Полиевктовых догонит либо в Friedrich-Roda, либо в Штутгарте. Пришла открытка от Люши, что Головань собирается 5-го ехать в Венецию, если доктор позволит оставить профессора одного. Миша писал Петровским, спрашивая о Головане, когда мы не могли дождаться от него известий. Но он и домой написал только одновременно с открыткой сюда. Миша будет в Friedrich-Roda 7-го. Обещает написать, как найдет профессора. <...>

Д. 9. Л. 247—250 об.

691

29 июня

Сегодня, дорогой мой Юлек, я вернулся из Ждамерова раньше, чем прежде думал, потому что у них кроме одного ночного поезда в Москву дневных всего два — в 9 утра и в 7 вечера. Этот после 11 в Москву приходит, так что я, пожалуй, или к часу добрался бы с Курского вокзала в Разумовское — или пришлось бы очень много извозчику платить. Я и уехал с 9-часовым, конечно, к великому неудовольствию Палибиных, особенно Коли. Я здесь 2 твоих письма нашел. <...>

Ну а теперь по порядку, начиная с субботы. От папы я не получил ответа и думаю, что он не приедет. Утром, выкупавшись, поехал в город, получать деньги за Колю. Потом шатался по Кремлю. А как это красиво — Кремль и общий вид на Москву. День был яркий, солнечный. Все «сорок сороков» сияли. Заходил в церкви, соборы. Потом позавтракал в Большом Московском. И хоть времени много было — но было слишком жарко, чтобы гулять еще. Отправился трамваем на Курский вокзал и там часа два читал в вестибюле «Вехи». Когда поезд подали, обошел буфет и зал I класса — папу не нашел. А зевать было некогда. День был предпраздничный, и много ехало народу. Занял место — и поехал, с интересом читая «Вехи». <...>

В воскресенье целый день народ толокся. Собственно позвала Надя только д-ра Кедрова, генеральшу Медовикову и Кремера. Кедров, — толстый доктор (немногим уступает Максиму Максимовичу[502]), умный, начитанный, очень симпатичный. Он приехал утром и пробыл весь день, с большой охотой беседуя с папой и со мной о всякой всячине. Медовикова — «генеральша» — видимо, энергичная барыня, простая и умная, должно быть, с ней легко, она из тех, кто берет простой тон и никого не стесняет. Кремер приехал с братом — учителем русской литературы в Москве и еще одним молодым человеком, недавно кончившим университет математиком, который тоже учительствует в Москве. Этот — хороший, говорят, музыкант, большой поклонник Римского, об операх которого много было разговоров. Мне вообще много пришлось болтать, даже про то, как на Литве хозяйничают, пробовал рассказывать. Приехали и вегетарианцы целой семьей. Еще какие-то дамы. Сосед — помещик Дубинин (так, кажется) — член «Союза русского народа», такой же ярый, как Нат[алья] Мих[айловна], только посдержаннее в манере. Словом, целый калейдоскоп новых физиономий. <...>

Ну что сказать о Палибиных? Все те же. Суеты много, порядку мало. Коля постоянно нервничает, в отчаяние приходит, что ничего не успевает сделать вовремя. А делает сам, как и Надя, все не вовремя, все кое-как, и удивляются, что получается суета. Милочки не было — она еще не вернулась из поездки. Леля — конфузливая девочка, совсем ребенок. Ни за что не скажешь, что она курс кончила уже. Надя прочит ее в Строгановское училище, говорит о ее способностях к рисованию. Но все это как-то странно. Надя, представь себе, ничего не видала из того, что Леля в гимназии рисовала, а Леля дома ничего не рисует для себя, кроме рисунков для забавы младших девочек да виньеток. И это, кажется, характерно для Нади. Как-то она по всему точно скользит только. <...>

Уехали Полиевктовы. Я один в пустой даче. Нат[алья] Мих[айловна] ни гроша с меня не взяла...

Неужели мы только понапрасну дразним себя мечтой, что ты могла бы уехать из Домбровы — в Петербург и сюда ко мне. Нат[алья] Мих[айловна], с которой я поделился этой мечтой, весьма одобряет и просит тебя располагать дачей. Вот бы великолепно было! а? <...> И Москву бы посмотрели, и побыли бы вместе, одни, как за границей. <...> А я за границу совсем не хочу, а хочу к Юле. Я по Кракову знаю, что такое заграница без тебя. Бог с ней, так она ни к чему мне. А Москва с Юлей — это какой-то сон сказочный. Увидать бы его наяву, то и на зиму вдохновения и энергии хватит. Право, вот увидишь! <...>

Д. 9. Л. 251—255 об.

692

2 июля

Серо, холодно, дождливо. Совсем Москва — мокрая. Скучно. Как все зависит от освещения, даже настроение. Впрочем, это не всегда так. Иногда — даже обыкновенно — я даже люблю серенькую погоду. Но теперь хотелось бы солнца. Может быть, потому особенно, что мое живое солнышко так далеко...<...>

Вчера я обычным порядком после купанья отправился в Архив — и опять сердит на беспорядки в Архиве. Эти дни у меня уже несколько раз случается, что не могут найти нужных мне дел. Кое-что разыскали — с трудом и большой потерей времени. Оказывается, что чиновники Архива, которые чем-ниб[удь] занимаются, забирают дела, держат без всякого порядка и записи целыми годами. Большое это безобразие — да нельзя с ними ссориться, а то стоило бы сказать директору. После Архива я отправился в «центр», как выражается Новомбергский, купить у Лаферма папирос и где-ниб[удь] пообедать. Нашел очень хорошие обеды за 50 к. — в «Богемии» на Неглинном проезде. И крюк туда мне небольшой. Дома же у нас хозяйство такое: утром чай и пара яиц, булка и масло, вечером — чай, сыр и булка с маслом. Берем молоко в Академии: 6 к. на два дня. Надо купить чаю, сахару, свечей.

Да, все зависит от освещения. И Костя вчера мне показался серее. И его вещи мельче. Ему надо углубления, расширения. Скульптурный талант большой у него, право, так. Но развернуть его по-настоящему можно только обилием ярких впечатлений, которых не дает его отшельническая жизнь в Москве и кружковая, хотя бы и очень интересная компания. А, по-видимому, какое-то женское существо играет роль в этой мастерской, и не только роль натурщицы. Я видел вчера личико, похожее на некоторые его произведения. <...> Надо мне еще одним делом позаняться: разыскать доцента Романова, если он в Москве, и устроить Косте покупку обломков мрамора в Цветаевском музее. <...>

Д. 9. Л. 256—257 об.

693

4 июля

Вчера — кончаю я занятия в Архиве, выхожу в переднюю, а там меня ждет Надя. Она приехала в Москву за покупками и деньги получать. <...>

Потом, не зная, куда деваться, я предложил Наде поехать к Крахту. Надя с любопытством рассматривала его работы, хотя ничего в них не разобрала. А затем много беседовала с Костей о Леле, причем он решительно настаивал, что учить ее не надо, особенно в школе, а уж менее всего в Строгановском училище. Училище это ему очень не нравится по тону. В нем гоняются больше за «искусством», чем за худож[ественно]-промышл[енными] задачами и, по его мнению, только калечат способных людей. Особенно — настроение учеников его раздражает, которые учиться считают лишним, а стараются «гениальничать» по новой моде. Школа живописи и ваяния — еще хуже. Учение художественное Костя признает только в мастерской, путем помощи для черновой работы художнику. А главное — свободное развитие вкуса, интереса, любви к искусству и т. д. — да самостоятельная упорная работа. Он меряет на аршин родившегося художником. А другим этим делом ни к чему заниматься: только зря измучаются. Не надо никого толкать на эти занятия. Надо удерживать и отталкивать. А если, несмотря на то, пойдет на них человек, не перестанет добиваться, тогда ему это в самом деле нужно, и тогда, после такого искуса, ему всячески помогать надо. Говорил он весьма убежденно, и Надю совсем с панталыку сбил. А главное, говорит, что барышням ее надо устроить жизнь в Москве, чтобы они и людей, и жизнь видели, а для этого Наде надо в Москве жить, а не взваливать на них толчею школьной жизни, замкнутой в пестрой и случайной среде «учащихся». В этом есть смысл — и Надя ушла, еще больше проникшись желанием переехать в Москву, чего ей давно хочется. Тут она жила бы с дочерьми, отдав младших в гимназию, ведь им — 11 и 13 лет — и до сих пор Надя сама их ведет; дальше ей это не по силам. <...>

Встретил я тут того молодого математика-музыканта, которого видел в Ждамерове. Он познакомил меня с отцом своим. Этот старик — профессиональный музыкант, специалист по хоровому пению, и собирает летом регентов разных хоров со всех концов России, разучивая с ними новые вещи по церковному пению и устраивая для них нечто вроде съездов народных учителей. Звал он меня послушать их пение, да некогда мне. <...>

Д. 9. Л. 258—260 об.

694

5 июля

Какие мы с тобой, дорогой ты Юлек мой, должно быть, действительно странные люди!

Вот разговаривала Надя с Крахтом о том, как ей с детьми быть, и оба соглашались, что надо бы ей в Москву переехать. Я было спросил, а как же Николай Николаевич? Но Надя по этому поводу говорит, что родители не должны же о себе думать, что надо детей устроить, как им лучше. Мы с Костей на это не согласились. Я думаю, что для детей лучше всего, когда их поменьше воспитывают, и уверен, что нет для детей хуже идеальных мамаш, которые «только и живут, что для детей» и т. д. Они тогда невозможно въедаются в жизнь детей, не дают им свободно развивать свою индивидуальность, навязывают им ход жизни и развитие душевное со стороны, обезличивают. Сколько я таких видал. Детям, именно детям надо, чтобы у родителей была своя жизнь, возможно полная, чтобы они чувствовали, что родители живут живой жизнью, а не обращаются в какую-то прибавку к детской. Вся беда и жизни нашей, и воспитания в том, что так мало людей живут чем-нибудь по-настоящему, а большинство просто тянет время, наполняя его хозяйством, детьми, газетами, разговорами, картами. И в семьях плохо, потому что одному до другого дела нет, а так больше случайная привычка, без которой легко и обойтись.

А мы друг для друга необходимы, как воздух и свет, и все, чем живы люди и вся природа. Ведь так? По крайней мере, я и дышу, и вижу, и живу Юлей. <...> А Костя так рассуждает — это он Наде говорил — лучше расстаться, отношения делаются глубже и интенсивнее, поглядели бы, говорит, на меня. Мне же хотелось сказать (конечно, я этого не сказал): «А поглядел бы ты на нас, где уж тут искать большей глубины и интенсивности отношений?» Правда, и нам расставаться хорошо, чтобы заново искать друг друга, но для этого довольно побыть полчаса в разных комнатах. А как хорошо сидеть в кабинете, слышать Юлин голос, Юлины шаги в других комнатах; и так тогда хочется, чтобы она хоть на минутку зашла, взглянула, приласкала... Правда, иногда гонишь ее — да ведь так иногда некогда бывает, а она рассеивает, голову туманит... Она ведь у меня такая несносная, что даже теперь в Архиве иногда мешает... Иной раз улыбнешься над документами и просияешь: соседи-то думают, что Пресняков очень интересный документ нашел, — чтобы не выглядеть сумасшедшим, начнешь внимательнее читать.

А вот с нетерпением жду я выхода «Марии Магдалины» Метерлинка. Она еще не вышла, а было только изложение в «Русских ведомостях». Там Метерлинк такой мотив взял. Мария и римлянин Вер — глубоко любят. Метерлинк понимает, как это бывает по-нашему. Так совсем, насквозь любят, как мы. И вот встречает она Христа. Его пугает сперва эта сразу заполонившая ее сила, которая отрывает ее от самой себя и от ее любви. Его благодать проникает в душу, всю ее заполняя, не оставляя места ничему другому. Она просит Вера унести ее, не отдавать... и уходит от него, внутренне, душой уходит. Так бывает. Почему? И могло ли быть так с нами? Я как-то очень сильно почувствовал этот вопрос. Даже жутко стало. Люди для чего-либо большого жизнью жертвуют, и жертвуют всем, что больше жизни, душой со всем, чем живет она. Даже жутко стало. Но сразу сильное ощущение поднялось, что не так это. Встреть мы Христа, мы пошли бы к нему и за ним вместе, нас разорвать ничто не может, потому что не сердца только бьются вместе, но душа в глубинах слилась в одно. Не так ли? И какие люди были бы сильные, если бы все были так...

Ну, довольно. Надо что-нибудь другое писать.

Вчера я исполнил все Мишины поручения. Отправил книги в Бордо, чемодан в Петербург, старые портреты отнес в Румянцевский музей. Там я не застал Яковлева и оставил ему пакет. Была половина 12-го. И близко от музея проходил трамвай в Замоскворечье — к Третьяковской галерее. Я и поехал. Какая она большая! 1809 №№ масляных, сотни рисунков и акварелей, немного очень плохой скульптуры. Много новых приобретений, «новой» живописи. Я только обошел ее, посмотрел некоторые комнаты. И до чего я «омодернился». Все, что старше Серова, — скучновато, за редкими исключениями. Интересно тут следить за Левитаном, можно понять хоть его развитие от передвижнического реализма к все большей субъективности и тонкости восприятия природы. Не нравится мне расположение, развеска картин. Надо бы ее ввести в исторический порядок, а не смешивать старое с новым на одной стене. Получается совсем не художественный беспорядок, неприятные перебои впечатлений. И хоть недолго я побыл в галерее — а устал. Пообедал на Тверском бульваре — и домой, за корректуры. Вчера все прокорректировал, что прислано, но очень огорчен: я пропустил, кажется, уже непоправимо — ошибку в нумерации параграфов. <...>

О Крахте я уже писал тебе несколько в ином тоне. Но это не то. И думаю, не совсем верно, что мы с Голованем ко всему несколько раздуто подходим. Ведь согласись, по крайней мере мне так кажется, что именно мы с ним требовательнее других. Миша и Джон? Да, они меньше увлекаются, но зато им одинаково может нравиться что-нибудь весьма посредственное с очень значительным. А мы разве нередко ошибаемся? Что я «раздувал»? Все вещи значительного калибра. Регера, Клингера, Дузэ, Дункан, Юлю; да еще теперь — французов от Щукина. Тут и раздувать нечего. Костя, конечно, не очень крупен. Я этого и не говорю. Но ведь для меня не то важно, что им достигнуто, а то, что это действительно творчество личное, искреннее, необходимое для него, а не сочинительство на выдуманную тему, не иллюстрация для «Нивы», как, к сожалению, все, что пробует бедный Генрих Матвеевич. В том, что он делает, — душа человеческая. Что ему надо — это душу эту обогатить и развернуть, а то он скоро весь выскажется. Углубляться ему надо. А хватит ли его на это — я не знаю. Главное, душа у него живая и искренняя. Это большой плюс. И сам он по себе, а не плетется по шаблону. Это тоже плюс. <...>

Д. 9. Л. 261—264 об.

695

6 июля

<...> Сегодня утром я прочел в московской понедельничной газетке о харакири, которое совершила над собой редакция «Слова».[503] А затем получил открытку от Сергея, сообщающую, что пришлось «ликвидировать все предприятие». Но это, видимо, не подрывает возможности для него поехать за границу, так как он спрашивает, добыл ли я от Миши билеты на мюнхенские вагнеровские спектакли. Увы, разговор о них был, но Миша увез-таки их, не знаю, по правде сказать, почему. <...>

А еще пришла открытка от Миши из Берлина с грустными вестями от Голованя. Головань уныло ему пишет, что болезнь Г[еоргия] В[асильевича] принимает все более психический характер; да и сам Г[оловань], видно, очень удручен и издерган. <...>

Уже 6-е! А дела — конца не видать. Конечно, Юлек, дольше конца июля я сидеть тут совсем не в состоянии. Но уеду, теперь это очевидно, много недоделав. <...>

Д. 9. Л. 265—266 об.

696

8 августа*

<...> Я писал тебе третьего дня утром, а вчера утром проспал, а вечером бродил по Петровскому парку — и не писал. А прогулки мне здесь не удаются. Какое странное ощущение отчужденности моей от всей окружающей местности, какой-то моей ненужности тут — портит мне попытку гулять здесь. Так должны чувствовать себя японцы в Европе, европейцы в Южной Америке. Не знаю, что это такое. Это, только более определенно, то самое чувство, которое помешало мне из Кракова съездить в Вену. А совсем не было его, когда мы с тобой по Берлину или Мюнхену бродили.

Холодно у нас. И странно — ведь довольно солнечно и ветер не особенно сильный, а в тени днем 10—12 гр[адусов], на солнце 16—17. Это в июле-то. Жать рожь начнут чуть в конце июля. Новомбергский говорит, что этому должны быть космические причины, что Земля либо на какую-нибудь планету налетит, либо еще что-нибудь такое.

---

* Это и следующее письма имеют дату «1909», проставленную при разборе писем. Возможно, Пресняков ошибочно проставил «август» вместо «июль». Следующее письмо от 9 июля опущено.

Не знаю, что будет, а пока — холодно. Хотелось бы погреться. <...> И внутри Саня застыл. Что-то скучно стало, вяло эти дни. Буду рад уехать. А может быть, секрет в том, что и материалы в Архиве скучнее стали, и новизна знакомства с Крахтом — прошла, и ничего особенно интересного нет. В Архиве сердит меня халатность и беспорядок, из-за которого иногда нельзя добиться нужного материала. По содержанию и порядку я хуже не видал Архива, а я еще очень покладист. <...>

Д. 9. Л. 267—268 об.

697

11 июля

Сегодня суббота, дорогой Юлек, день, который у меня пропадает. Позаймусь дома, выкупаюсь, благо сравнительно теплее стало, поеду в город пообедать, да и в Румянцевский музей надо — 2—3 справки в книгах сделать. Ведь этот музей соединен в одно с Московской Публичной библиотекой. Да и к Крахту надо зайти: я получил письмо от Романова относительно Цветаевского музея и с указанием, как выяснить вопрос о покупке мрамора. Конечно, таким шатанием я теряю время, которое мог бы дома употребить на занятия. Но занятия-то эти плохо идут, а, шатаясь, — отдыхаю. <...>

Лето проходит, а его и не было. Тут так четыре года подряд, говорят. И мое лето проходит, и я в зиму вступлю неподготовленный. А Платонов в «Журнале М[инистер]ства народ[ного] просвещения» напечатал рецензию на мою книгу.[504] Ничего нового: он просто отдал в печать свой факультетский отзыв. Стоило того!

В Архиве вчера появился Клочков. Загорелый, как цыган. Приехал он из Крыма, говорит, что там очень тепло было. Я позавидовал: хорошо погреться на юге. Только не в Крыму — Крым мне мало симпатичен. Теперь Клочков сюда поработать приехал. Говорит, что в прежние годы он устраивался так, что и по субботам приходил заниматься! Неофициально, конечно. Я об этом ничего не слыхал. Обидно, если прозевал возможность и столько дней потерял. <...>

Д. 9. Л. 272—273 об.

698

12 июля

<...> Крахту я при Наде возражал почти так, как ты пишешь, и она, когда потом была у меня, решила отдать Лелю в Строгановское училище. Но вообще твои замечания не совсем попадают в то, что Крахт говорил. Он как раз считает, что поступить в школу как раз значит сразу специализироваться, что это сразу сузит круг интересов и понимания, так как среда учащихся там малообразованная, что выбирать себе дело надо, оглядевшись и развернувшись, созревши. И это верно. Наши школы — не только художественные — мало развивают, а поэтому все — и особенно художественные — легко прививают дилетантизм, при том, обучая ремеслу, — дилетантизм самоуверенный, узкий, думающий, что он достаточно владеет делом. У нас на

глазах хороший пример: Мотя. Боюсь, что при хороших его способностях и технике ничего из него не выйдет, так как он усвоил то же самое узкое и самоуверенное довольство рутиной, которое так сильно в суждениях Генриха Матвеевича. У этого — понятно. Его жизнь замяла. Но Мотя задаром посажен судьбою в клетку дилетантской самоуверенности по отношению ко всему, что непривычно. Жестокие это слова, но разве не правда? <...>

Ты спрашиваешь, что я получу 20 августа: в университете за 3 месяца по 66 р. 66 к., т. е. 199 р. 98 к., и в институте 76 р. — всего 275 р. Да в Сенате должны мне за август дать 70 р., не знаю, когда дадут. Впрочем, так как смета утверждена и в июне—июле выдали по моей доверенности 70 и 60 р. (не знаю, почему так) на уплату Блинову за «аванс», то 60 или 70 р. я непременно должен получить, когда приеду. А 20 сентября я считаю — 440 р., приблизительно (без рублей и копеек). Это совсем недурно, по-моему.

Вчера моя поездка в Москву вышла совсем неудачной. В Рум[янцевском] музее я Яковлева опять не застал, и сказали мне, что он 5-го уехал в отпуск. Так я ничего не узнал о судьбе портретов, пожертвованных Мишей. И книг, какие мне были нужны, — не оказалось — взяты кем-то. С горя купил я у них за 20 к. одну брошюру (они распродают ненужные дублеты) и той не получил, так как ни у кого не нашлось ключей от витрины. Тогда я пошел обедать на Тверской бульвар, оттуда пропутешествовал на Кузнецкий мост — улицу самых нарядных магазинов — купить себе папирос; часа два бродил по улицам и поехал к Крахту. Его я застал злым и расстроенным. Он только что вернулся из монастыря от своего памятника. Оказалось, что рядом поставили другой — и его сооружение стало садиться, даже небольшая кривизна получилась. Костя попросил съездить туда одного приятеля инженера, чтобы определить, насколько это опасно. Но главное у него не то. А сам он недоволен своей фигурой. Считает, что поспешил ее поставить, что над ней еще бы год поработать надо. Его торопили к годовщине. Кроме того, она не вяжется до такой степени с окружающим, что у него охота взять ее назад, заменив крестом или распятием. Постаментом он доволен и думает, что можно хорошо — и без диссонанса с окружающим — закончить его распятием — полуположенным, напр[имер] — а фигуру убрать, доработать для себя и поставить в саду. А на месте работать тесно, неуютно, под глазами ротозеек-монахинь и т. д. Сговорились мы, что я приду в монастырь во вторник на консилиум. Это версты 3 от Академии. <...>

Д. 9. Л. 274—276 об.

699

12 июля

В утреннем письме, дорогой Юлек, я сделал ошибку: не считал в сентябрьскую цифру «Маяка» — т. е. 75 р., так что сумма получится не 440—442, а 515 с лишним (курсы 210, унив[ерситет] — 66, институт 76, гимназия 20, Сенат — 70).

Получил я письмо от дедушки, <...> он пишет, что поторопится уехать из Ждамерова, чтобы ускорить вопрос о выдаче эмеритуры, не дожидаясь назначения пенсии. Но оказалось, что не только это затягивается, но что до сих пор нет указа о его отставке и даже доклад об испрошении Высочайшего указа о его увольнении — не написан! Не знаю, как согласить это с тем, что папа говорил, будто его отставка уже состоялась с 20 июня. А теперь Государь за границу собирается. Впрочем, сам же папа пишет, что все это не имеет значения, так как он обеспечил себя средствами, необходимыми на предстоящие расходы. <...> Видел папа, по-видимому, С[ергея] Ал[ександровича], потому что пишет, что Адрианов, несмотря на харакири «Слова», храбрится и даже собирается уехать за границу. Дай Бог, это ему очень бы нужно было. А сегодня в «Речи» я видел оглавление июльской книжки «Вестнике Европы»: там есть статья С[ергея] А[лександровича] о Чехове.[505] Он, конечно, пришлет тебе оттиск. Интересно, что у него вышло.

А я, написав тебе письмо утром, пошел купаться в Академию. Сторож при купальне в отчаянии: так мало, благодаря погоде, купаются, что и ему никакого дохода нет. Со скуки он обыкновенно приходит занимать меня разговорами — о погоде, о хозяйстве и о политике. Читает газеты, критикует Госуд[арственную] думу и особенно новый закон о крестьянском землевладении. Он порядочно «распропагандирован» разговорами со студентами и любит презабавно употреблять иностранные слова, понимая их по-своему. <...>

Говорят, без меня приходил Новомбергский. Жаль, что он меня не застал, а то я вообще как-то чувствую, что мало к нему внимателен. Да как быть, когда он, право, совсем мне ненадобен, а встречаемся мы с ним и разговариваем достаточно — в трамваях. Он так, пожалуй, симпатичный, но испорчен провинциально-университетской жизнью, приучающей быть всегда начеку, и поэтому не всегда внушает мне доверие.

Ты писала, Юлек, что Даль-Троццо достали мне книги. Этому я очень рад. Это старые книги по польскому праву, которым мне очень хотелось бы позаняться повнимательнее при первой возможности. Годика 2—3 работы на курсах, и я настоящим юристом стану. Вот увидишь! <...>

Д. 9. Л. 277—278 об.

700

15 июля

<...> Мои дела тут, как я писал тебе, не очень блестящи. Приходится спешно скользить по документам, делая много меньше выписок, чем хотелось бы. А на неспешную работу нужен бы еще год лишний, а то и больше. Это и раздражает, и утомляет. Ну, а теперь расскажу тебе свои дни. Впрочем, понедельник был обычный: Архив, столовая, Соломенная сторожка. Столовая мне опротивела. Ты можешь быть довольна. Я приучаюсь мало есть. Утром 2 яйца, обед: тарелка щей и кусок рыбы (иногда мороженое). Раз кутил: съел ботвинью и цыпленка за 75 к. вместо 50-ти. Зато сегодня ограничился тарелкой щей за 25 к., а другого чего-нибудь не захотел. Стар становлюсь и капризен. <...> Дома пью чай с лимоном и булкой с маслом.

Масло покупает Фекла на ферме, а булки беру у Филиппова: пять копеечных булочек на вечер и утро. Иногда добавляю сухарей от Филиппова. Вот мое хозяйство. Белье мне Фекла стирает. Освещаюсь 2-мя свечами. Вчера был на редкость жаркий день. Парно было и душно. А я после Архива и обеда — забросил на дачу портфель и пошел в Академию, там выкупался и дальше — в Головинский монастырь. Местность за Разумовским очень красивая: шел я лесом, по берегу большого пруда, потом полями. Часам к семи добрался до монастыря. Этот монастырь — уголок мещанской пошловатой жизни в красивой природе. Все чистенько, мило, очень безвкусно и набожно: постройки, цветнички, типы. Я пошел искать кладбище и сразу наткнулся на Костин памятник. На двух плитах, нешироких, в вышину вершка по 3, по краям которых — действительно очень простой, строгий и удачный орнамент — стоит фигура ангела, большая, закрыв лицо руками. Он закрылся весь огромными крыльями, запахнув их спереди, стоит, упираясь на одну ногу, а другую точно ведет назад, весь точно пятится поэтому, готовый оттолкнуться и улететь, с болью — руки ведь закрыли поникнувшее вперед, вниз лицо. Вещь хорошая, по-моему, полная «настроения». Но я понял сразу, что смущает Костю. Она в некоторых деталях недоделана, с левой стороны поэтому линии грубоваты, надо бы доработать. А его заставили поставить памятник ко 2-й годовщине, тут же обстановка не такая, чтобы можно было отдаться работе, да и погода — сумасшедшая московская погода — постоянно мешает.

Посмотрев памятник, я пошел искать Костю, — и нашел его в монастырской гостинице. Пошли мы с ним к памятнику — и я, конечно, был рад, что все, что мне показалось минусами, как раз оказалось тем самым, что его смущает.

Жаловался он мне еще, что мрамор попался очень ломкий, колющийся при сильном ударе, так что опасно работать вовсю, да и некоторые линии пришлось сделать грубее, чем надо, ради осторожности. А мрамор чудный — он на солнце серебром блестит и как-то странно играет бликами, то синими — от неба, то зелеными — от лужайки. Богатый мрамор. Это норвежский сорт.

Затем пили чай у него в келье. И опять философствовали. На счет Бога и дьявола, искусства и природы. Это еще Достоевский сказал, что как сойдутся два русских мальчика — то сейчас обсуждают, есть ли Бог или нету? Только не знаю, можно ли резче расходиться, чем мы с ним. Интересно, понравился ли бы он тебе. Я в этом не уверен. А мне он очень по душе. Хотя я предпочел бы влить в него другие настроения. С этими его искусство может зачахнуть. <...>

А какой он — парижанин. Не то, что твой мужик Саня. Совершенно машинально — он удивительно вежлив. Совсем не замечая — непременно встанет, если говоришь с ним стоя, дорогу даст, подаст что-ниб[удь]. С ним и сам машинально научишься. А грусть в нем какая-то есть...<...>

О Головане я тебе писал, что, по слухам от Петровских, он должен был сперва в Венецию ехать, а когда предполагать его в Париже, я не знаю. Миша около 20-го июля должен быть в Бордо (Bordeaux). И Джон с ним. Миша 7—9 был в Фридрих-Рода, но оттуда мне никакой вести не дал. Так и я, кроме того, что писал тебе об его открытке из

Берлина, — ничего не знаю. И корректуры от Стасюлевича нет. А на август ведь придется их прекратить. Да я и второй части работы Сильванского, которую для окончательной отделки сюда привез, — им еще не послал. Я ее и не раскрывал. А надо до отъезда из Москвы и с ней покончить. В деревне я бы не справился с этой работой: разные справки нужны. Да и на Домброво другое дело есть: надо написать статью «Политические настроения русского общества в 18 в.» для московского сборника — к 1 сентября!!![506] А ты еще мне напомнила, что надо бы курс готовить. Где ж его готовить?? Все это конечно «образуется» как-нибудь. А вот сидеть в Москве мне очень надоело. А потерпеть еще надо. <...>

Д. 9. Л. 279—283 об.

701

16 июля

<...> Сегодня у нас тихая солнечная погода. Природа точно сорвала всю злобу во вчерашней буре и успокоилась. И солнце через плечо смотрит в мое письмо и смеется: глупый ты, глупый Санька... А я ему: ты само такое — теплое, светлое, радостное и жуткое, до дрожи — от избытка любви и энергии, как мое сердце, когда оно бьется именем: Ю-ля! Ю-ля! <...> Забавно, что ты о Славе пишешь, — его рассуждения, его конфузливость. Милый он — и совсем опять другой, чем те. <...>

30-го авг[уста] надо быть в Петербурге на открытии «Маяка».[507] Не люблю я вспоминать об этом «Маяке». Почему-то мне кажется, что там я долго не уживусь. Дух-то там, в конце концов, трудно будет удержать такой, какой бы надо. <...>

Терять же время от своего Архива до крайности жаль. Интересного в «делах» опять много нашлось, и времени мало. Ты не понимаешь прелести исторических занятий. А ведь это та же жизнь. Сколько людей интересных встречаешь, сколько сложных фактов жизни. Жаль только, что так разбрасываться приходится, некогда углубиться, вдуматься, до корней дойти. Это дразнит — и сердит. А оторваться — жаль. <...>

Д. 9. Л. 284—285 об.

702

19 июля

<...> Не знаю, что я тебе такого написал, что ты решила, будто я так устал, что больше не могу работать, что нет смысла сидеть и мало делать. Я, правда, очень мало делаю вне Архива, но архивная работа, ради которой я сижу, идет бойко. Если я иногда, может быть, выражался так, что вот-де сегодня я в Архиве мало сделал, так это значит не то, что я не мог больше, а то, что пришлось просматривать много материалу такого, который ничего не дал, только для того, чтобы убедиться, есть ли там что нужное или нет. Это всегда, неизбежно бывает при архивной работе. Приходится целые толстые томы просматри-

вать описей к материалам, чтобы выискать из них то, что нужно. Иногда часы уходят, не давая результата. Это скучно — но неизбежно. Завтра надеюсь закончить такой обзор. Останется взять для изучения важнейшие из отмеченных дел, чтобы все основное было изучено, а на зимнюю пору, если она удастся, оставить тоже определенный, уже намеченный круг материала.

Дома я за это время прочел несколько толстых книг, но только прочел, не обрабатывая вычитанного для курса. Это не работа — а только чтение, хотя и нужное для работы. <...>

Эти два дня я несколько изменил свои порядки. Обедать вернулся на старое, знакомое когда-то место, за Большим театром. Тогда это был Вельде, но старик помер, и теперь это учреждение называется «Малый Эрмитаж». Тут обеды по 55 к. — и, право, лучше, чем у пресловутой Троицкой, разнообразнее, а главное, помещение большое, а народу меньше, так что не душно. <...>

После Архива и обеда побродил я по улицам и бульварам — и зашел к Крахту — за очками, которые забыл у него в монастыре. Он жалуется, что мало работает в последнее время. Вместо скульптурных образов — в голове слишком много мыслей — теоретических. Трудно «интеллигенту» быть чистым художником, ох как трудно. Он продал фигурку, которую называет «мечта камня», — за 600 р. И еще 2 заказа у него есть. И опять толковали об искусстве, литературе, театре. Представь себе у него какая затея с Эллисом, здешним литератором! Затеяли открыть вдвоем курсы, преимущественно для молодых актеров. Эллис будет читать общую эстетику, а Крахт — пластику, т. е. очерк истории пластики и теорию пластической экспрессии с практическими занятиями, которые состояли бы в том, чтобы разрешать экспрессивно-пластические задачи собственной фигурой à la Дункан.

Про школу у Станиславского — Книппер (это не сестра Книппер, а жена ее брата, разошедшаяся с мужем) Крахт говорит, что вышло нечто беспомощное, так как она лишь передразнивает Дункан. Я этому верю, потому что самые рассказы об этом в Петербурге внушали мне почему-то сомнение, что бы тут было что-ниб[удь] серьезное. Затея Эллиса—Крахта любопытна, но не думаю, чтобы из нее что-либо вышло, кроме пропаганды известных идей, взглядов на искусство. Конечно, и то хорошо было бы, если сколько-нибудь пойдет. В Петербурге наверное бы не пошло. Ну а в Москве — как знать, Москва город странный.

Вернулся я от Крахта домой и, идя с паровика на дачу, — встретил А. Д. Голицына. Оказывается, он у меня был, рассчитывая, что суббота день у меня свободный. Пошли мы с ним на дачу, чай пили, беседовали. Потом я пошел его провожать на трамвай в парк. А оттуда он меня — обратно. Кончилось тем, что зашли в пивную Трехгорного завода и выпили по 3 кружки пива. Было уже 10 ч. веч[ера], и до 11 мы просидели на веранде этой пивной. Он меня расспрашивал про мою работу, про диспут, про преподавание — с большим интересом. Он ведь очень начитанный и всем по-своему интересуется. И мечтатель неисправимый. Обломок старых времен московской романтики. <...>

Д. 9. Л. 286—288 об.

703

21 июля

<...> Вчера, написав тебе письмо, я поехал в город, пообедал в «Богемии», пошел бродить по улицам — я ведь люблю московские улицы — и к половине 6-го зашел к Голицыну, который взял с меня такое обещание. Его еще не было дома, и он просил меня подождать, а пришел минут через 20. Пока я читал у него «Письма» В. С. Соловьева.[508] Пришел Голицын не один, а с Юрьевым, своим приятелем, у которого он и обедал. Он этого Юрьева очень ценит. Это учитель какого-то естествознания. По типу сытый купчик, и мне он показался очень неинтересным. Пили мы чай, ели лимбургский сыр и немного пива. Вернулся я домой 9-часовым паровиком, убедив Голицына, что позднее стемнеет и идти будет трудно, так как целый день шел дождь и много глинистой грязи накопилось. Это вчерашний кутеж. А сегодня Новомбергский увлек меня обедать в «Ливорно» — это ресторанчик такого же типа, как «Богемия» — с обедами по 50 к. У Новомбергского было rendez-vous в «Ливорно» с неким Богдановским, человеком неопределенной профессии, но известным автором некоторых работ по исследованию Сибири. Живая и несомненно даровитая фигура, хотя в общем типа нам мало симпатичного. <...>

Вчера одновременно с письмом к тебе я отправил послание к С[ергею] А[лександровичу] — с сентиментальностями, а также разными литературными «суслями-мыслями», как выражается Сергей Иванович. <...>

Я писал тебе, что С[ергей] Фед[орович] напечатал в виде рецензии свой факультетский отзыв. Новомбергский его прочел — и нашел, что это чрезвычайно симпатично характеризует Платонова, это теплая исповедь в дружбе, даже привязанности к ученику с такой горячей оценкой его способностей. И это верно. Как посмотришь на других, особенно в других университетах — напр[имер] здесь, в Москве — совсем другие отношения... И Платонов ведь со всеми учениками, как родной. Помню, как об этом говорил после своего диспута Рождественский, а на моем «шмаусе» Сергеич. <...>

Д. 9. Л. 289—291 об.

704

21 июля

<...> Утром сегодня я перед путешествием в Архив отправился получать деньги в Академию. Там мне дали и твое письмо, Юлек ты мой хороший.

Я прочел его, ожидая под навесом московского паровика. Шел дождь, как у нас обычно. А среди дня разгулялось и теперь тепло и солнечно. Потом беседы с Новомбергским в паровике и трамвае, Архив, обед в «Ливорно» — solo, конечно, п[отому] что Н[овомбергский] своим хозяйством, покупка булок к чаю — и путешествие домой. Тут тихо и пустынно. Но мне так лучше одному, чем с чужими.

Утром сегодня отправил в Петербург пачку корректур — и написал, что 29-го уезжаю и придется на месяц прекратить посылку корректур. Их невозможно делать в Домброве: постоянно нужны разные справки. Отложим до возвращения в Петербург.

Обидно, что завтра день пропадает. Царский день — и в Архиве никак нельзя заниматься. Буду ли дома сидеть или по Москве шататься — не знаю, какое настроение будет. Ехать-то в город все равно надо — чтобы пообедать. Может быть, зайду в Третьяковку посмотреть иконы, описанные Лихачевым. Это бы надо было. Их там немного, штук 60, но есть хорошие экземпляры. Прошлый раз я на них только мельком взглянул. Пока купил десятый «Шиповник» — и Брюсова о Гоголе.[509] Как-ниб[удь] куплю сапоги, игрушки и остальные книги. <...>

Мише я написал в Бордо, просил в Ковно написать, как он нашел Г[еоргия] В[асильеви]ча. Впрочем, «друзья» наши отличаются (кроме, конечно, Сергея) тем, что их «преданности» хватает лишь пока мы у них на глазах... <...>

Д. 9. Л. 292—293 об.

705

22 июля

<...> Пишешь ты о поездке по Неману. Давно мы об этом толкуем. Я, конечно, очень буду рад, если такая поездка устроится. Люблю воду. Только бы погода хорошая была. У нас тут такое лето, что я как-то и представить себе не могу, чтобы где-нибудь была хорошая погода.

Сегодня у нас праздник, т. е. пропащий день. Утром я читал очень хорошую английскую книгу Виноградова, написал тебе — впрочем, нет, писал я, кажется, вчера, а сегодня только послал письмо.

А потом отправился в город — в Третьяковку и тщательно пересмотрел иконы — с описанием Лихачева в руках.[509а] Есть действительно очень замечательные образцы русской иконописи — и я даже заметки себе понаделал о некоторых. Саму галерею я и не смотрел, только прошелся по ней да посидел перед Мусатовым. Тонкий он, только едва ли развернулся во всю силу. И не мудрено. Нынешним художникам нужны особые задачи, чтобы они могли развернуться. Картины им тесны. Мусатова интересно было бы попробовать на фресках, à la Puvis de Chavanne.* Оттуда трамваем пропутешествовал в «Ливорно» и съел неожиданный обед: ботвинью и шашлык, и представь себе, совсем настоящий шашлык. И ботвинья была кстати, так как день был парный и душный. Москва до такой степени промокла, что как выдается теплый день — так и парит, а от этого снова набирается дождь — и теперь он уже идет, и ночью, наверное, сильный будет. Из «Ливорно» пошел на Кузнецкий мост и купил пару книг. А Свенцицкого нельзя купить: запрещен и конфискован. Оказывается, что и «Антихрист» его отобран, и все, что он позднее писал.[510] Тут как-то никто и не знает о книжке, которую я искал. <...>

---

* В духе Пюви де Шаванна (*фр.*).

Относительно Моти — не думаю, чтобы он так уж совсем неподходящий пример был. Ну, да это сложная материя, о которой я думаю* да, признаться, мне в этих делах многое и самому не ясно. Всего вернее, пожалуй, что каждый молодец на свой образец, и каждому надо — по его натуре — одному одно, другому другое. Костя-то работал в мастерской К. Мёнье — а где они Мёнье? Ведь это один из огромных талантов, какие не каждое десятилетие рождаются, этот Мёнье. <...>

Д. 9. Л. 294—296 об.

706

23 июля

<...> О Гутике ты если упоминала в письмах — то жалуясь на него. И мне грустно каждый раз было. И жаль его. Будь, Юлек, добрее к нему. Ведь не он себя таким сделал — иногда несносным, невнимательным. Помнишь первый год его жизни? Такая нервность сразу не проходит, а многими годами. И он какой-то замкнутый растет. А не мы ли его замыкаем? Душонка у него нежная, привязчивая. Ты меня вот как любишь, а я в детстве много несноснее и слабее его был. Мне так грустно за него, потому что я всегда вижу, что это он мой наследник. Во многом он от меня унаследовал то, что тебя раздражает. И растет он одиноко, как я рос.

Не знаю, понимаешь ли ты меня. Скорее ты, как часто, подумаешь, что я тебя в чем-то упрекаю, обидишься, на минуты забыв, как бывало, как бесконечна любовь моя. А мне сегодня очень грустно. <...>

Как-то думал, что если бы я разлюбил тебя? Не то что потерять тебя, а если бы я внутренно разлюбил тебя? И такое острое ощущение было темноты, что все гаснет, свет и цвета, ничего нет, кроме дикой, глупой, зияющей пустоты... А что страшнее пустоты? <...>

Не правда ли, я сегодня совсем сумасшедший? Но мне так грустно. Впрочем, могу быть и разумнее, если хочешь. Ведь я это всегда умею. Могу рассказывать про Новомбергского, как мы опять с ним обедали в «Ливорно», ели раковый суп и какие-то ромштексы, вроде бифштексов, пиво пили, как я купил сапоги — очень дорогие, но превосходные — в «Механич[еской] обуви» и т. д. Только все это скучно. И Москва мне надоела, хоть я ее очень люблю и она много лучше Петербурга. <...>

Д. 9. Л. 297—299 об.

707

26 июля

<...> Я писал 23-го — и хотя в твоем письме, которое я в тот день получил, упоминалось о годовщине свадьбы нашей — я, когда писал, не думал об этом, а потом только сообразил, когда, отправив тебе

---

* Дальше одно слово не разобрано.

письмо, перечитывал твое, почему это такая буря тоски по моей Юле на меня налетела. Да, жаль, что столько утекло времени. Хорошо бы с начала начать и без конца с начала начинать. <...>

Получил я наконец письмо от Миши. И он пишет о Г[еоргии] В[асильевиче] более чем печальные вещи. Прочтешь письмо в Домброве. Пишет, что Головань, который жил все время в одной комнате с профессором, — совсем извелся. Легко себе вообразить. До чего должен был дойти бедный Головань! А они втроем теперь в Вандее, на каких-то «песках», друг другу мешают и в «омерзительном» настроении. Жаль мне их, но вижу, что это естественно. От себя никуда не уйдешь.

Ты как-то писала: отчего это свет так скверно устроен. А я скажу: и отчего это люди так устроены, что и себе, и кругом себя портят жизнь, не видя, как много она готова дать. <...>

Д. 9. Л. 300—301 об.

708

3 сентября

<...> А вчера был занят так, что не успел тебе написать. Надо было кончить обработку рукописи Павлова-Сильванского для печати.[511] И я ее кончил, начав считывать ее утром с Мишей, а потом один — и вечером доделал до конца. Сегодня взял ее с собой в университет, чтобы отделать примечания с помощью разных изданий. Завтра доставлю в типографию.

А уже лежит на столе весьма почтенная пачка корректур. Хорошо, что от первой рукописи успел отделаться, хотя вчера работа перебивалась разной беготней. Надо было к часу явиться к Елизавете Николаевне на rendez-vous с Мишей и Джоном для составления расписания VIII класса. Я буду в гимназии читать по вторникам от $10^1/_2$ до $11^1/_2$ и по средам от 12 до 1 ч. Начнем 9-го, в среду, и как раз с моей лекции. Нынешний VIII кл[асс] еще немного знает меня: я преподавал у них в V классе.

Потом вернулся домой, а к 4-м часам отправился к Платонову — на rendez-vous с Ал[ександром] Густ[авовичем] Форстеном — поговорить о делах Г[еоргия] Вас[ильевича]. Ал[ександр] Густ[авович] рассказывал и у Платонова, и по дороге обратно много подробностей житья Г[еоргия] В[асильевича] в Фридрих-Рода и их путешествия из Берлина на Штеттин морем в Гельсингфорс — много мелочей, раскрывших мне впервые ярко и невыносимо тяжко картину глубокого психического расстройства нашего бедного профессора. Это несомненное глубокое и полное расстройство, хотя целыми днями он бывает «нормальный». И как странно-трогательно звучит радость Елиз[аветы] Ник[олаевны], что он «ethisch hat gar nicht gelitten»,* при сравнении с тем, что с ее же слов рассказывает Ал[ександр] Густ[авович] о том, как мучил и третировал он ее в Фридрих-Рода. Тяжко ей было. А им овладело болезненное недоверие ко всем близким. Она ходила за ним, как за ребенком, одевала его, обувала, изводясь даже физически. По последним письмам от Торстена, Г[еоргий] В[асильевич] все чаще начинает сознавать, что погибает, что «сходит с ума» — и ужас начинает охватывать его душу.

---

* Морально совсем не страдал (*нем.*).

Врачи в Фридрих-Рода говорили о быстром развитии процесса, что он едва ли дотянет дальше будущего лета... Это какой-то дикий кошмар, Юлек. Такой ли конец — для него, для нашего профессора.

Вечером я сидел дома и работал над рукописью П[авлова]-Сильванского. Лучше кончить так, как он — в один день. А трудно привыкнуть к мысли о ликвидации профессора из живой жизни. Надо, однако, теперь же позаботиться о его рукописном наследстве. Подумаю об этом и попробую принять меры.

Я засиделся вчера за работой — и сегодня проспал так, что не успел утром написать тебе. Надо было ехать на курсы к 10 ч. на экзамен. Оказалось, слава Богу, что только 2 курсистки записались. Оттуда я отправился в университет за справками — и тут провозился до 3-х часов. Конечно, не все за работой. Надо было и со студентами потолковать — собираю их в понедельник для «записи» и предварительного разговора о занятиях. И с Гриммом надо было побеседовать. Этот отлично выглядит. Отдохнул, загорел и даже $^1/_2$ пуда весу приобрел.

Из университета забежал в Академию за нужной книжкой, которой в университете не оказалось. <...>

Сейчас надо одеваться и идти на совет. Начинается время, когда все «надо» по часам. Никогда еще не начинал я года с такой неуверенностью, что справлюсь, с такой прямо робостью. Даже думать вперед не хочется! А дела так много! Неподготовленного, недоделанного, запущенного... Авось Бог вывезет. <...>

Д. 9. Л. 302—304 об.

709

4 сентября

<...> Я писал тебе вчера. А потом пошел на совет. Совет оказался небывалый... Набралось столько народу, что едва места хватало. Андреянов сказал речь — со всякими «уважениями» по адресу Г[еоргия] В[асильевича], но с гораздо большим панегириком княгине и с заключением, что сохраняет за собой право пересмотреть постановку дела... Что он под этим разумеет, сразу охарактеризовалось тем, что первый «вопрос», который он поднял, — это признание рукоделия обязательным предметом, таким, который преподается во всех классах и отметка (!) по которому будет влиять на перевод из класса в класс. Княгиня очень остроумно вышутила эту министерскую идею, сказав, что нужны будут и переэкзаменовки по рукоделию. Общий хохот совета ее наградил — и показал Андреянову, что совет не склонен серьезно относиться к всякой глупости, какую напишет министерство в циркулярах. Но, в общем, совет прошел гладко. Грустно было очень. У Елиз[аветы] Ник[олаевны] все время были слезы на глазах и платок в руке. Посмотрим, что будет дальше. Если Андреянов вздумает подгонять гимназию под шаблон министерской казен-

щины — а на то похоже, — то он ее убьет, а мы все разбредемся прочь.

Так, верно, и будет.

А сегодня что я делал? <...> Побежал в Комиссию, чтобы доделать корректуру по разным изданиям. Одного не нашел. Пришлось ехать за ним в Академию. Оттуда пошел в 5-ю линию к Лемке,[512] отдал ему и рукопись статьи Сильванского, и корректуры, а потом — домой. Так день и прошел до обеда. Пообедали мы с дедушкой и за столом о делах говорили. <...>

После обеда я было почитал кое-что, да пришла одна из кончивших курс педагогичек — советоваться о том, как ей работать над древнерусскими житиями святых и как преподавать в школе для рабочих. Только что ушла, и я наспех пишу тебе письмо, п[отому] что через четверть часа надо одеваться и идти в «Маяк» на первую лекцию Витберга. Пошла, как видишь, в ход суета петербургская. <...>

Д. 9. Л. 305—306 об.

710

6 сентября

<...> А вчера я отправился позаняться в Госуд[арственный] архив, но так отвык от этого дела, что запутался, шла работа как-то вяло и бестолково. К 2-м часам рассердился и бросил, с горя пошел... в Эрмитаж! И тут опять меня всего больше привлек Рембрандт. Особенно потому, что в витринах оказались его гравюры — не те, что были в прошлом году, и некоторые такие, каких я не знал. Надо бы как-нибудь пересмотреть издание его гравюр. Меня они манят и дразнят. В них такая особенная глубина чувства, какого я, право, в искусстве больше нигде не знаю. Хотелось бы раз покончить с ним, а то сколько лет он меня смущает, этот Рембрандт. <...>

Иван Платонович соблазнил меня приобрести «вечное перо» американской системы, стоящее 5 р. Правда, это будет очень удобно для Архива, так как моя манера писать карандашом очень даже нелепа, а пользоваться чернильницей очень противно; но дорого это — а дешевые ничего не стоят. <...>

Д. 9. Л. 307—309 об.

711

7 сентября

<...> А вчера я вечером в «Маяк» не пошел. Мне, собственно, и не было надобности, т[ак] к[ак] воскресные лекции меня ведь не касаются. Читал Платонов, а через две недели будет читать Тур, а не пошел я потому, что совсем было собрался, нарядился в сюртук, как пришел С[ергей] А[лександрович] и просидел у нас весь вечер. Много опять рассказывал и так, что сегодня мне дедушка говорит: ведь если бы Адрианов написал то, что рассказывает о Дрездене, — недурной рассказец бы вышел. А дело было так. В Берлине С[ергей] А[лександрович] оставил вещи на вокзале, напился кофе у Бадера, купил пиджак у

Герцога и пошел в Музей. Они — Fridericianum и Neues Museum* оказались заперты. Это его так рассердило, что он отправился на Friedrichstrasse Bahnhof, чтобы переехать на другой и тотчас уехать в Дрезден. Его поспешность еще увеличилась, когда на вокзале его встретил берлинский корреспондент «Слова» и пробовал удержать ради встречи с «русской» компанией. И в тот же день в 2 ч. выехал он из Берлина. Ночь накануне не спал. Ехал по жаре, в новом пиджаке и в «крахмалах» из уважения к немецкой культуре. Приехал в Amalienhof, в 1 $^1/_2$ марковую комнатку наверху (помнишь, с окном в коридор каюту), побродил по городу и попал в театр на «Анну Каренину» в нелепой французской переделке для сцены, а оттуда в Zentral-Kafe, причем увлекся после жаркого дня холодным пивом. Сидит и пьет кружку за кружкой. А рядом компания студентов — и вдруг она приветствует его своими кружками, а один подходит и предлагает присоединиться ему к их компании. На его удивление поясняет, что по некоторым признакам они догадываются, что он не «филистер», а принадлежит к университетской корпорации. Почему? А не один «филистер» так пива не пьет! Видно, есть какая-то «академическая» манера пить пиво... И когда С[ергей] А[лександрович] подтвердил, что он доцент П[етербургско]го у[ниверсите]та, то восторг студентов был шумный. Стали пить вместе. Затем они заявили, что считают честью и долгом ввести гостя в дрезденскую жизнь. Пошли шумно по городу. Дойдя до первого шуцмана — по команде выстроились в ряд перед ним и... отлили пиво. Шуцман смотрел строго, но молчал. Потом взяли под руки С[ергея] А[лександровича], взялись за руки и, окружив шуцмана, исполнили вокруг него качучу. Потом заявили ему: мы — студенты! «Это очевидно», — ответил шуцман. «Да — но с нами — русский профессор!». Это шуцмана заинтересовало — и ему представили торжественно С[ергея] А[лександровича]. Пожали руки друг другу, а потом, взяв шуцмана в кольцо, пошли с ним до следующего поста. Тут первого отпустили и то же (кроме первого акта, ибо еще материал был израсходован) исполнили со вторым... и т. д. Это по улицам Дрездена, в центре города. Дошли до кофейни. Тут спросили «бульона с яйцом»: оказалась смесь разных напитков с взболтанным сырым яйцом — пьют ее через соломинку — очень холодной. С[ергей] А[лександрович] уверяет, будто вкусно. Затем опять пиво пили. Тут один из студентов нашел отца своей невесты, старичка, который присоединился к ним, но потом ушел, благословив их витиеватой речью на дальнейшие похождения. И дальше, так кончает Сергей, попали мы в такие места, что и рассказывать нельзя...

А вот другой момент его путешествия, совсем иной по тону. Поздно вечером, пройдя целый день под дождем и снегом, двинулся он из Hospenthal'я в Hospitium на Сен-Готардском перевале. Совсем стемнело. На 10 сажен уже ничего не видно. Но в этом круге таинственно выступают то и дело новые и новые образы снегов и скал в ночном полусвете. Узкая дорога вдруг идет между двумя горными озерами, и тяжелого, серо-свинцового цвета воды тихо, бесшумно, медленно плещут на края дороги маленькими волнами. Мрачно, холодно, сурово. Точно спустился куда-то в недра преисподнего мира. Не тут ли родилась та грусть, о которой он писал нам с Лаго-Маджиоре, грусть, которую, видно, только Флоренция победила.

---

* Музей Фридриха Великого и Новый Музей (*нем.*).

И так все в его путешествии. Ярко взято — в разных тонах. И искусство он берет не как знаток-ценитель, вроде Голованя, но как дилетант штудирующий, как Миша; а что берет, то глубоким внутренним чувством. Микеланджело вовсе ему не давался, пока не попал он в медичевскую капеллу и не ушел оттуда, полный серьезной, мраморной скорбью Микеланджело, такой суровой и в то же время чуткой и наболевшей до просьбы: о, говори потише, не буди меня...

Пришли, хотя уже 11 ч., Миша и Джон. Шатаются, не зная куда деваться. Миша заходил за Джоном, который экзаменовал на курсах Побединского, и поехали почему-то к Верховским. Вад[им] Ник[андрович] оказался на даче. Тогда они явились к нам. Напоили мы их чаем и отправили домой. Бродят бесприютные души... А я вернулся к письму. Я ведь летописи дней своих еще не написал тебе, увлекшись Сергеем. Сегодня утром у меня оказалось по ошибке 2 экзамена в одно и то же время — в 10 ч. — и на курсах, и в институте. Сказал на курсы по телефону, что приеду в 11, и отправился в институт. Тут одну слушательницу проэкзаменовал, устроил лекцию Тура в «Маяке», выяснил, что у меня будет только 4 лекции, а не 5, и поехал на курсы. И тут всего 1 слуш[ательница] меня ожидала. Узнал не без удовольствия, что и в институте, и на курсах занятия начнут только после 15-го. <...>

В университете толковал со студентами. На семинарий у меня собралось всего 12 ч[еловек]. И все, кроме 2-х, старые знакомые. Да и из новых 1 — почти знакомый: Ваулин, сын управляющего домом на Моховой, сестра которого была невозможной слушательницей Пед[агогических] курсов. Попробую в среду (9—11) начать занятия с ними. А лекции начну только 21-го, так как ближайший понедельник — праздник.

Потом домой вернулся. Пообедал, поспал и отправился к Побединскому на экзамен. Отвратительно отвечали, так что я одной предложил держать другой раз, наставил троек, а потом поспешил в «Маяк» на первую лекцию М. З. Образцова. Гейлорд доволе́н.[513] Говорит, что за 10 лет первый раз сразу и в полном порядке начаты занятия. All right!* И воскресные лекции мы ему наладим не хуже. Ему, кажется, и то импонирует, что только вчера возник этот вопрос, а сегодня лекция Тура на 20-е уже устроена. Потешный янки! Видно, не избаловали его за 10 лет русские люди... А «Маяк» все расширяется. Стало уже тесно в этом доме. Наняли квартиру на углу Надеждинской и Спасской, и там завтра начнутся занятия в музыкальных классах и русского языка. И Гейлорд с гордой уверенностью говорит, что со временем весь этот квартал Надеждинской будет одним помещением разросшегося «Маяка».

На завтра получил корректуры от Лемке, да надо и вступление к семинарию подготовить на среду. В среду же 9-го начинаю в 8 классе у оболенок. <...>

Д. 9. Л. 310—315 об.

---

* Отлично (*англ.*).

712

9 сентября

<...> Интересно, что мне заплатят на курсах в сентябре. Боюсь, что не все, что мне надлежало бы. По двум причинам: во-первых, потому что я еще не уверен в профессорах, а во-вторых, потому что у них как-то странно обстоит с практич[ескими] занятиями: их в расписание еще не поставили. <...>

Вчера был праздник, и я сидел дома. Утром — корректуры, потом чтение для лекций. Приготовил «введение» в семинарий. Все это плохо идет. Скучно мне очень. И не знаю, за что толком взяться. Этакое подлое неврастеническое настроение. И люди-то кругом неинтересны стали. И в университете, и на курсах — какие-то все стертые пятаки, манекены старые, поношенные. Понятно, что это у меня на носу такие очки, которые так все окрашивают, и отчего бы это? <...>

Серг[ей] А[лександрович] вчера вечером около 11 ч. вызвал меня к телефону, чтобы я ему прислал 15 папирос на квартиру Тырковой. Что-то в его голосе, тоне заставило меня подумать: быстро слиняет заграница и затянет его опять «журналистская» вульгарщина. <...>

Вот и Сергей — его у меня жизнь крадет, да и у него она крадет возможность что-нибудь путевое сделать. Он говорит, что мне надо было быть во Флоренции. А я ему отвечаю, что у меня нет охоты гоняться за впечатлениями, хотя бы самыми яркими и глубокими, потому что мешает чувство, что ведь сделать-то из них ничего не сделаешь. А «так» — и не надо. Конечно, иное дело — окунуться во всю эту красоту с тобой. Это было бы головокружительно хорошо. А иначе — зачем? <...>

К телефону меня каждый день 2—3 раза зовут, и это начинает мне надоедать.

Приходила какая-то дама просить, чтобы я ее дочерям читал русскую историю. Я отказался, хотя она уверяла, что их желание — чтобы именно я читал...<...>

Д. 9. Л. 316—318 об.

713

10 сентября

<...> Что касается моих занятий, то я не упомянул во вчерашнем письме, что моя попытка вчера начать практические занятия в университете [не удалась]: явилось всего 5 студентов и сообщили мне, что другие в этот день экзамены держат. Так мы и разошлись. Мне надо было дождаться 10 ч., когда откроют библиотеку, и я ходил по коридору с полчаса, разговаривая с Романовым. Потом позанялся корректурными справками в библиотеке и отправился домой. А после завтрака — читал первую лекцию у оболенок. <...>

Д. 9. Л. 319—321 об.

714

13 сентября*

<...> Не знаю, что будет с Тоней. Она с женихом наняла квартиру в доме, где Паша дворничихой, за 48 р. со всем, чтобы сдавать комнаты со столом, заключили контракт и дали 15 р. задатку, а когда он вернулся домой за Моск[овскую] заставу, то его там ждала полиция, арестовала его (впрочем, отпустив в городе, чтобы предупредить, что квартиру он занять не может); его высылают куда-то в провинцию. Что теперь будет со свадьбой и с Тоней, я не знаю. <...>

Вчера в университете Рождественский взял с меня 3 р. на юбилей Витберга, а на курсах мне сообщили, что сегодняшний юбилей Гревса обойдется 6 р.! Караул!

На курсах я вчера составлял себе группу для словесниц — набрал 35 ч[еловек] и еще 30-ти отказал. Просят еще группу устроить. Если бы мне гарантировали за нее 300 р., я бы взял. Но какая-то неясность лежит на моих курсовых расчетах, а спросить Гревса я как-то стесняюсь.

Сергей Фед[орович] вчера говорил, что собирается отказаться от деканства в институте и провести в деканы Рождественского. Я буду всячески этому содействовать. У С[ергея] Фед[оровича], видимо, и дальнейшие планы есть. Он все больше надеется на «ренту» с учебника и с ее помощью мечтает избавиться от директорства, но это связано с полным изменением положения института. Новый устав и новые штаты, в главных чертах выработанные и отделанные, должны пойти в Госуд[арственную] думу — и тогда очень вероятно, что институт передадут из Мариинского ведомства в М[инистер]ство народ[ного] просвещ[ения].

Этот момент С[ергей] Ф[едорович] и выберет, чтобы сложить директорство. Но едва ли скоро все это произойдет. Думаю, что года 2 протянется.

Вчера в трамвае я встретил Штрупа, и тот сообщил мне о блестящем успехе Половцевой: она назначена адъюнктом по кафедре философии в Берлинском университете при профессоре Бенно Эрдманне! Сергей Ив[анович] очень рад, надеясь, что Вал[ериан] Викт[орович] останется в его пользовании хотя бы полгода в году... Ведь когда она тут — В[алерий] В[икторович] не существует. У меня со вторника преподавательская машина заработает полным ходом. И слава Богу. А то такая суета в душе и в мозгах, что из рук вон. Втянусь в работу — это пойдет... Дней через 10—12 и ты вернешься. Тогда жизнь наша возродится... Ну, прощай. Больше ничего не пишется. Не такое состояние. <...>

Д. 9. Л. 324—326 об.

---

* Опущено письмо от 12 сентября (Д. 9. Л. 322—323 об.).

715

14 сентября

Вчера, дорогой Юлек, был юбилей Гревса. Собралась в сущности небольшая и довольно пестрая компания. Это был еще не официальный, дружеский, так сказать, вечер. Собрались на Серпуховской, 6, в училище Грюнвальд, где председателем пед[агогического] совета Шаскольский. Назначено было к 9. Собрались к 10. Ив[ан] Мих[айлович] приехал в одиннадцатом часу. В зале был накрыт стол, на стене висел портрет Васильевского, увеличенный (на редкость хорошо) с карточки, которая и у меня есть. Были из профессоров — Кареев, Зелинский, Ростовцев, а Браун прислал письмо, так как не мог быть. Из юристов — Пергамент, Покровский. Конечно, был Лаппо-Данилевский с женой. Был Нестор Котляревский с женой. Была m-me Ростовцева. Были курсовые дамы, несколько учениц Ив[ана] Мих[айловича] (Лихарева, Константинова, Брюллова) и его ученики — Шаскольский, Карсавин, Оттокар и еще два-три младших. Были Ал[ександр] Добиаш (его сестра — за границей), Закс, Соколов, Знаменский. Был Герман. Из наших Лапшин и Полиевктов. Был Вячеслав Иванов как личный друг Гревса. Вот, кажется, все. Это должно было изображать тесный кружок «друзей» Ив[ана] Мих[айловича], хотя сошлись люди мало, а то и вовсе незнакомые, чужие друг другу и в весьма разных отношениях стоящие к Ив[ану] Мих[айловичу]. Уютно не было. Но вышло недурно. Говорили речи, все «характеризуя» Ив[ана] Мих[айловича] с разных сторон. Всего метче удалось, по-моему, Ив[ана] М[ихайлови]ча очертить Вячеславу Иванову. Говорил и Ив[ан] Мих[айлович] — очень просто и искренне. Я, конечно, молчал, хотя меня заставляли говорить — от имени сазоновского кружка или помянуть Васильевского. Мне не хотелось, т[ак] к[ак] это значило бы говорить перед совсем чужими, для которых и сазоновский кружок, и имя Васильевского ничего не говорят. А поэтому и у меня ничего бы не вышло, как не вышло у попробовавших это сделать Добиаша и Миши.

Была и семья Гревса. Мар[ия] Серг[еевна] заметно постарела. Барышни грустно выглядят. Герман, ничего не знавший об их болезни, сказал мне: «Какие у них странные глаза и какой болезненный вид».

Ждали Сазонова и Половцева, которые были приглашены, но почему-то не приехали. Кульман прислал телеграмму. За ужином я сидел с Германом. С ним только и разговаривал. А после ужина сбежал, вернувшись в 2 часа домой. Остальные там еще потом чай пили. В общем, у меня осталось какое-то грустное впечатление. И семейное горе, и какая-то беспомощность Ив[ана] М[ихайлови]ча среди «друзей», не составляющих ничего целого, — все это навеяло какую-то жалость <...>

Д. 9. Л. 327—328 об.

716

15 сентября

<...> Вчера вечером я пошел к Ямпольским за Мишиным адресом и чтобы Маня мне бандероль сделала на экземпляр моей книги, который я послал в Москву некоему Сторожеву. Он мне свою книгу прислал, явно желая получить мою, так и свой адрес приложил. У них я посидел до тех пор, пока не пора было идти в «Маяк». А вернувшись из «Маяка» домой, застал у нас С[ергея] А[лександровича]. Они с дедушкой сидели в столовой и ждали меня к чаю, хотя я только к десяти пришел. Мы с С[ергеем] А[лександровичем] затеяли литературные разговоры — о Брюсове, о Сологубе — и дедушка, должно быть, скучал. С[ергея] А[лександровича] он несколько смутил комплиментами насчет его «дара слова». А я до того дошел, что мне и с С[ергеем] А[лександровичем], в сущности, все-таки скучно было. Прямо Бог знает, что такое. Какая-то оскомина в душе. Маня в недоумении, как Надя устроится в Москве без Крахт, относительно девиц своих. Миша ей писал, что в Москве нынче очень трудно насчет комнат, а Надя к тому же совсем не умеет устраиваться. Ив[ан] Пл[атонович] мне американского вечного пера не купил, а просил Крыштофовича прислать мне такое перо, какой-то новой, особенно хорошей системы из Америки, куда тот на днях уезжает. В Соединенных Штатах они так распространены, что чернильницы совсем выведены из употребления и все школьники в школу ходят с вечными перьями. Но практичны только золотые, что и у них 2 доллара стоит. Я писал у Ив[ана] Пл[атоновича] таким пером, очень хорошо. А мое, говорят, лучше будет. Только когда я его получу?

А сегодня я час читал в гимназии — недурно, и слушают пока хорошо. Потом начал читать на курсах. Аудитория большая, народу на первый раз было много. Слушали внимательно, я говорил бойко, но по содержанию что-то путал. Едва ли они меня поняли — и аудитория, полагаю, быстро растает. Потом читал в институте. Мне моя лекция довольно понравилась, но слушательницы болтали и перешептывались, мало на меня обращая внимания. Тут, на этом курсе, у меня дело решительно не идет, вот уже третий год, что я с ними иду. Вечером сегодня совет в институте. Надо ехать. Между прочим, есть надежда, что у нас начнет читать Шахматов. Это превосходно. Сергей Федорович уже говорил с ним, и это наверное устроится. В институте я видел Кульмана и Сазонова. С[ергей] Ив[анович] сообщил мне, что, верно, новый конфликт будет между ним и С[ергеем] Фед[оровичем]. С[ергей] Ив[анович] поднял вопрос о том, что нужен второй лаборант по химии, в чем С[ергей] Ф[едорович] согласен, но С[ергей] Ив[анович] желает пригласить Николадзе, а С[ергей] Фед[орович] против нее, что, конечно, весьма нелепо. При том, что он С[ергею] Ив[анови]чу так ответил, что сейчас ничего не может сказать, пойдет ли он навстречу его предложению или будет противодействовать, а ответит вечером. Очевидно, разговаривать будет с кем-нибудь — с дамами? с Мраморным дворцом?[514] Это мне совсем не нравится.

В пятницу на курсах будет панихида по Павлове-Сильванском, и С[ергея] Фед[оровича] просили сказать несколько слов о нем — для новых слушательниц. Вернулся я домой из института, и мы с Гутиком сбегали купить ему чертежные принадлежности для геометрии. Я еще плохо понимаю приемы Шохора, но Гутик что-то заданное чертит.

Потом пришел Романов за книгами. Про него С[ергей] Фед[орович] начинает говорить почему-то: «Как бы из „Вашего Романова“ не вышел пустоцвет». Интересно, какую репутацию заработает Романов у Лаппо-Данилевского, у которого он нынче работает в семинарии. Потом пришла Людмила Евстафьевна — и в субботу начнутся уроки музыки. Она очень огорчилась, узнав, что Гутик опять летом не мог играть, и совсем недовольна тем, как ты поставила рояль — «для украшения, не для игры». А как быть с нач[альной] школой? С гимнастикой? <...>

Д. 9. Л. 329—331 об.

717

17 сентября

<...> Что в Петербург тебя не тянет, немудрено. Усталость и с тобой сделала то же, что со мной, — неохота никого видеть. Ты делаешь исключение для Сергея. Пожалуй, и я тоже, хотя после первого дня только раз его видел, и было не так как-то...

Приехал Головань. Я видел его только мельком вчера днем. Собрался я идти в гимназию, и вдруг в гостиной идет навстречу Головань. Я не слыхал, чтобы отворяли дверь, — и даже не сразу сообразил. Поговорили мы 10 минут, и надо было идти на урок. Выглядит он недурно, Париж для него пропал почти, по настроению и самочувствию. Зато чрезвычайно доволен поездкой в Бельгию, которая ему много дала по части искусства. Привез мне леонардовского Христа. Впрочем, этого я еще не видал. Хотелось бы мне en fait de Iesus* — иметь распятие Веласкеса. А впрочем, Христа настоящего еще нет в искусстве.

Сегодня вечером Головань придет. Предупредил об этом. Не знаю, как я сочетаю это с обязанностью сбегать в «Маяк». Хорошо бы Сергея позвать, пусть разговаривают. А я послушаю. Что я вчера делал? Утром начал занятия со студентами — введением. Сегодня с курсистками — задал им задачу по летописям, а пока тоже «Введение» начал. <...>

Елиз[авета] Ник[олаевна] на днях ездила к Г[еоргию] В[асильевичу], вернулась с мигренью, но очень довольная его состоянием, которое нашла гораздо лучше, чем за границей. Но ведь это едва ли надолго. Потом отправился в «Новое время». Там продали моей книги на 117 р.[515] Я их еще не получил, потому что они желают сделать сразу расчет по брошюрам, а для этого нужна квитанция, которая у Миши. После обеда отправился к нему. Обещал отыскать. У него я просидел до 8 ч. А сегодня с курсов, позавтракав там, отправился в Госуд[арственный] архив и позанялся там до 3-х. <...>

---

* Что касается Иисуса (*фр.*).

Стало свежо, пора бы окна замазать, да уж дотянем до твоего приезда. Тут тебя ждет все то же: хлопоты, мелочи, заботы. Надо бы нам и развлечений. 28-го идет в первый раз пьеса Бориса Зайцева. Надо пойти. А жаль, что нельзя абонироваться на Зилоти. <...>

Д. 9. Л. 332—333 об.

718

17 декабря

Ну, дорогой Юлек, вот я и в Москве. Как-то это вдруг случилось. Мы даже не попрощались как следует. И проводить тебе меня не пришлось, да еще и поссорились немножко на прощанье. И как-то я так вдруг уехал. На вокзал я приехал, конечно, слишком рано и целых полчаса сидел в вагоне до отхода поезда. Стал читать «Царицу Тамару»[516] и увлекся. Красивая, тонкая вещь. Право! Она так и просится на сцену, на постановку в тонах «Зобеиды»,[517] хоть и с совсем другим настроением. <...> Хорошо бы нам с тобой посмотреть эту вещь на сцене. Читая, только угадываешь ее богатые краски. Вот Сергей говорил не раз, что Станиславскому нечего играть, не потому ли, что они все-таки несколько однотонны? Пробовали ли они Гофмансталя? А у него есть что поставить. А «Тамару» они решительно должны дать. Прочтешь, так увидишь, что я не преувеличиваю. <...>

Приехал к Полонскому около 10 ч. — наш поезд на целый час опоздал, да и по городу путь немалый. А[лександра] Я[ковлевича] застал еще в постели. Он, бедняга, страдает бессонницей, как только поработает вечером. А дела теперь много у податных инспекторов по случаю подготовки введения податного налога; они всерьез выясняют нужный для этого материал. <...>

От квартиры Полонского до Архива 5 м[инут] ходу. Тут я нашел Мишу, потом пришел Рождественский. Миша передал мне билет на поезд, который в 5.30 из Москвы выходит. Должно быть, по московскому времени, по-петербургски в 5 ч. А, впрочем, не знаю. В Архиве сразу сел за дело, так как приехал читать определенные номера документов. А много их! Едва ли я успею все пересмотреть, что наметил... Положим, это и не необходимо, все равно работа делается вся наспех и вовсе необстоятельно. <...>

Открывается выставка, куда и Костя ставит свои вещи. Он обещает мне билет на «вернисаж». 19-е это ведь воскресенье. Очень боюсь, удастся ли добиться позволения заниматься в Архиве в субботу. Попытка начинать занятия раньше 11 ч. — не удалась. Да покарает Господь москвичей. Архив [Министерства] юстиции — богатейший у нас, один из богатейших в Европе. Тарле считает, что он богаче французских архивов. А разработка его поставлена в самые нищенские условия и в смысле работ самого Архива, и в смысле занятий посторонних! А на нем одном можно и надо пересоздать всю науку русской истории... <...>

Д. 9. Л. 334—335 об.

719

18 декабря

<...> Я, вероятно, приеду раньше, т. е. 23-го утром, в среду. Вся беда в том, что билет взят на 23-е, но завтра попробую переменить. В Архиве занятия прекращаются на 22-м. А гг. архивариусы не склонны делать поблажки.

Впрочем, сегодня я занимался сверх порции. Один из чиновников Архива работал сегодня вечером, и я к нему пристроился от 6—8 ч. В сущности, я, кажется, успею-таки просмотреть то, что наметил, если не натолкнусь на непредвиденные трудности.

День мой? С 11 до 3-х, с 6 до 8 в Архиве был. В промежутке обедал у Ст[епана] Бор[исовича] Веселовского, молодого ученого, который встретил меня в Архиве и после занятий повел к себе.[518] Это богатый господин, который живет пока в наемной квартире, ожидая отделки собственного дома. Их двое и пять мальчиков-сыновей.

У них я недолго побыл; толковали мы с ним о разных архивных делах и документах. У него богатый материал собран.

От него поехал я на rendez-vous с Крахтом, но он удрал, так как вышло какое-то недоразумение с разрешением выставки, открытие которой завтра; 19-е ведь суббота, не воскресенье. Девица, объяснявшая мне это, вручила мне и билет на завтрашний «вернисаж». Но состоится ли он? Завтра я свободен, так как Архив закрыт и устроить себе там занятия не удалось. Утром отправлюсь в центр[альную] кассу, потом толкнусь на выставку, а потом попробую сделать 2—3 визита москвичам. Хочу побывать у Любавского, Богословского, Яковлева.

У А[лександра] Як[овлевича] — тесно, у него народу много, а какого — определить не очень умею. <...> Хуже всего для меня то, что позаняться мне негде и статью писать невозможно. В комнате, где я помещаюсь, работает за столом А[лександр] Я[ковлевич] А так, на приступочке и не наедине, я писать не умею. Ничего не выходит. <...>

Д. 9. Л. 336—337 об.

720

19 декабря

Уф, устал! Зато у меня билет на вторник, и в среду утром я буду с тобой. Перед кассой пришлось больше часу простоять, а потом кассир сказал мне, что дал бы мне билет и не в очередь, так как это только обмен...

Оттуда пошел в Худож[ественный] театр и взял себе билет на сегодня. Буду смотреть «Анафему».[519] Соблазнился! И билет-то достал только в 4 р. Ведь дальнейшие наши планы неопределенны, да и «Анафему» теперь реже ставят, больше Тургенев на очереди.

Далее на выставку. Если ты соберешься в Москву, интересно будет и сюда зайти. Вытавка «Моск[овского] товарищества» удалась, потому что она небольшая и живая. Костя выставил 10 небольших вещей. О них я ничего не могу сказать. Я их уже знаю, а ты нет. Кое-что я писал о них. Мне нравится искренность его вещей. Тут во всем что-то в самом деле пережитое, перечувствованное. Не в том даже дело, хорошо ли «объективно», а в том, что — настоящее. Одна фигура вдруг изменилась от постановки. Эта скромная деревянная фигурка с ребенком. Очень простая и мягкая — в прямых линиях. А на выставку он ее поставил, одев тумбочку в интересную ризу с вышитыми на ней золотом Христом и апостолами (ему какая-то старушка-раскольница такое старье носит). И получилось нечто неожиданно трогательное, переносящее в настроение старых церквей русского севера. А всего-то два-три штриха! И вышла Богоматерь, святость материнства, без «апофеоза», а созерцательно-уютно и сердечно. Не спросил я его о другой вещи. Той, что он называл «Саломея», — головка с расширенными ноздрями, вытянутые руки держат что-то вроде лилии или лотоса. Композиция рельефа, в стену, что ли. Мне то интересно, что связал все линии тем, что дело в остром запахе, волнующем, возбуждающем, который идет от цветка. Тогда Костя ничего не сказал. А теперь нет Саломеи, а есть «Цветок зла». Я бы эту вещицу отпечатал охотнее, чем бердслеевские рисунки на заголовке уайльдовской «Саломеи».[520]

На выставке была жена Кости. Он меня подозвал поздороваться с ней, так как я ее не узнал. Она, видимо, хорошо знает его вещи, бывает в мастерской. Теперь это — дама, высокая, интересная; юность ушла, и это ее очень изменило. Ведь лет 10 прошло с тех пор, как они были у нас в Петербурге. Я сейчас ушел от них, чтобы смотреть выставку одному. Из знакомых — Богаевский (не люблю его), Кузнецов (очень хороший), выставлен проект музея Покровского (а ведь, правда, очень хорош). Еще кое-кто, Фокин, Имберс. Есть интересные незнакомцы. <...>

Д. 9. Л. 338—339 об.

721

20 декабря

Зачем я пошел в театр вчера, дорогой Юлек? Даже обидно! Лучше бы этого не видеть! Но разве мог я ожидать от Худож[ественного] театра такого ничтожества замысла, такого мелкого и наивного понимания или непонимания задачи?

Довольно того, что «Анафема» раскалывается у них резко надвое, точно «Св. Антоний» Метерлинка:[521] на ряд бытовых сцен и диссонансом врезывающуюся в них сверхъестественную силу. Они дают ряд сцен из еврейского быта! Некоторые, сами по себе, если их принять, очень хороши, особенно 4-я картина, комический эпизод с «оркестром»; пляска и пение (на еврейской теме) при торжественной встрече Давида Лейзера, — очень живые сцены. Но представь себе, действующие лица говорят акцентом жидков из Бердичева и соответственно себя держат. В третьей картине — дворец Лейзера — мы в доме разбогатевшего жида-банкира, который нанял какого-то вульгарного лавочника учить Наума танцам, а кавалеры красавицы-дочери, должно быть, служат приказчиками в Гостином дворе. Прибавь сюда, что во второй картине мы чувствуем себя в бедном предместье какого-то местечка, а не в забытом, жутко одиноком уголку — и ты поймешь мое отчаяние! Сам Лейзер — бедный, больной еврей, очень добрый, но не переживающий почти никакого подъема, нет у него нарастания экстаза, а только ряд умилений, которых он сам не понимает, сменяемых жалкой трусостью бедного жидка. И играет его Вишневский прескверно. Вся постановка — совсем другая, чем у нас. Первый акт — скалы, а на них та фигура «Некоего», которая изображена на обложке издания «Анафемы». И говорит за нее актер — своим обычным голосом. Выходит очень голо. Вторая — очень красивая, светлая, с широким морским видом, где на берегу уходят вбок, направо, лавчонки предместья. Ничего жуткого, одинокого. А «дворец» Лейзера! Вместо большой залы — терраса с лестницей в сад, а Наум танцует за открытыми дверями на террасу. И кабинет Лейзера — кабинет большого барина, very fashionable.* И то, что красиво, дает обычную бытовую обстановку. Что тут было делать Качалову? Он хорошо декламировал, только голоса в первой и последней сцене не хватало. Но без необходимого фона, ансамбля — он, Анафема, болтается на воздухе.

Где та великая скорбь, которая была в Петербурге общим впечатлением спектакля? Где то «Евангелие бедных», которое заставило меня думать о Рембрандте? Эх, москвичи, москвичи! И публика местами усмехалась на комические моменты сценок из еврейского быта. Это одно — убивало Анафему и Давида.

Было кое-что хорошее. Шествие в танце мимо Лейзера — вышло dance macabre.** Это хорошо, но для Петербурга. А тут почему так? Удачный момент не вышел в целое. Хорош шум толпы в конце первой картины — целая увертюра ко всей пьесе из гула и восклицаний, с обрывками музыки — очень ярко! И везде, где толпа ревет и вопит, — очень ярко. Но все это только техника...

А в Москве толкуют, что Качалов в Анафеме наконец показал себя «великим» актером! И, говорят, что он этому верит. Я же не умел бы ответить, какое, в конце концов, качаловское понимание Анафемы? Цельного ничего он не дал. А ряд моментов у него отличных есть. И если бы не некоторая сухость голоса, мог бы он дойти до больших подъемов.

Вот тебе письмо-рецензия. <...>

Д. 9. Л. 340—341 об.

722

20 декабря

<...> Утром сегодня писал тебе об Анафеме. Отпустил его, когда пошел странствовать. Заниматься тут совсем невозможно. <...>

Я пошел утром в Третьяковку. Посмотрел некоторые картины. Побро́дил по залам. И мне сегодня грустно, тоскливо. Ни к кому идти не хотелось из новых-то людей, которых мне надо бы навестить. Пообедал в 2 ч. в «Ливорно» и отправился к Крахту. Я знал, что он дома, т. е. в мастерской. Поболтали с ним, так, довольно вяло. Потом пришли два молодых актера, начинающих, которые к нему ходят заниматься «пластикой». Они разучивали «Моцарта и Сальери», а я суфлировал. Очень интересно было следить за замечаниями Крахта. Потом один ушел, а пришел студент. Из разговора выяснилось, что у Кости систематически сходится несколько человек, в том числе одна или две балерины, актрисы и актеры из молодежи, по-видимому, человек 5—6 всего. На этот раз один пришел, студент этот. Переодевшись в трико, стал разрешать «задачи»: выразить в позах — andante, piu mosso, presto, maestoso* — и переходы из одного ритма в другой. Юноша, очевидно, талантливый, и его «дунканизм» был далеко не бесцветен. Странно это все... Непривычно.

---

* Очень респектабельного (*англ.*).

** Танец смерти (*фр.*).

Только что говорил по-польски в телефон с m-elle Маклаковой. Просит привезти из Петербурга ее платье, которое принесут к нам. Прими картонку, если бы это случилось без меня. А говорит она по-польски отвратительно. Выучилась, флиртуя с членами Госуд[арственной] думы. <...>

Д. 9. Л. 342—343 об.

1910

723

6 января

<...> Крещенское утро. Я опять у А[лександра] Я[ковлевича]. Точно сон какой-то пролетели наши чудесные московские дни. Начинаются мои московские будни. Потом вернусь к тебе, начнутся петербургские будни. Об этих я думаю не без беспокойства... И «Маяк» мною недоделан, еще 2-х преподавателей не хватает. И университетские занятия не подготовлены. И для Высших курсов придется наспех готовить курс Московского права, которого я в прошлом году, по краткости времени, почти не читал, так что совсем новое готовить надо. Конечно, как-нибудь вылезу изо всего этого, но именно как-нибудь, и для преподавания моего второе полугодие будет напряженнее, чем было первое. Да и Сенат писать надо, начинать пора, а я, как всегда, рукописного материала набрал много, а печатного совсем не знаю. Тут надо написать еще два некролога для отчетов университетского и Высших курсов — о Забелине и Павлове-Сильванском...[522] Обещана рецензия на Веретенникова — Нечаеву...[523]

Зато я хорошо отдохнул, и на душе такое тепло осталось от свободных дней с тобой, мое солнышко. Точно за границу съездили. Ведь Москва и заграница — только рамка, фон для моей любви. <...>

Попробую сейчас хоть один из некрологов написать. А потом пойду по «историкам». <...>

Д. 9. Л. 344—345 об.

---

* Итал.

724

7 января

Дорогой мой Юлек, вчера, отправив тебе письмо, я выбрался делать визиты. Было около 12 ч. Пошел я к М. М. Богословскому. Это близко отсюда — несколько шагов от Смоленского рынка, в одном из приарбатских переулков. Он был дома. Вид имел весьма помятый, глаза красные, прищуренные. Оказывается, вчера изволили быть у С. К. Богоявленского (того, который с нами у Щукина был) и вернулись в 4 ч. Сперва у нас разговор шел туго. Начали «по-профессорски», с науки, говорили о Ключевском, об Архиве и т. д. Очень любопытны были откровенные суждения Б[огословского] о Ключевском, о его трудах, чем он увлечен, что критикует. И о личности Ключевского много характерного я слышал. По этому поводу съехали на политику, и опять интересно было послушать, как об этом московский историк рассуждает. Впрочем, что такое Б[огословский] по части политики, мне так и осталось неясным. Едва ли не октябрист... А с политики съехали на университетские отношения, наши и московские. Меня интересует странное положение Виноградова в московской университетской среде, теперь я несколько его понимаю. Словом, посплетничали. Меня Б[огословский] расспрашивал о Лаппо-Данилевском, о Платонове. Несколько раз я пробовал уходить, но Б[огословский] удерживал. Около 2-х я наконец попрощался. Но проходили через столовую, стол оказался накрыт, и Б[огословский] предложил мне позавтракать. Позвал жену, хорошенькую дамочку. Завтрак оказался обедом. Пообедали, выпили портвейну. После обеда я опять собрался уходить, но — звонок, и пришел киевский профессор Довнар-Запольский. Заявил он, что ему меня необходимо видеть. Опять подсели к портвейну. Довнар привез Б[огословскому] две новые книги, пришлось и мне подарить. Дело оказалось в статье для издаваемой Д[овнар-Запольским] книги «Чтения по русской истории». На будущее время я обещал что-нибудь написать. Ушли мы вместе с Довнаром, но было уже больше 4-х часов — мне пора было к Голицыну. Так я только один визит и сделал, зато основательный... У Голицына пришлось второй обед съесть и пиво с ним пить. <...> Так прошел мой первый день без тебя. Вернулся я домой усталый и не мог тебе писать, тем более, что А[лександр] Я[ковлевич] весь вечер писал свои бумаги. Я просмотрел книгу Довнара, а потом почитал Веретенникова. Без меня принесли письмо от Веры Фед[оровны] — очень она жалеет, что с тобой не познакомилась, звала меня вчера обедать... Надо будет к ней вечерком собраться.

Расчеты Ив[ана] Пл[атоновича] на переход Голицына в Петербург явно безнадежны. Трудно, сверхъестественно для него сняться с московских корней. Вся жизнь прошла тут, связав его тысячью нитей с московской жизнью, московскими людьми, улицами, домами, камнями, мостовой. Его натуре перенестись на чуждую почву нельзя себе и представить. Разве крайность, вроде потери здесь места, принудила бы его к тому. <...>

Вчера утром я успел-таки написать заметку о Забелине для университетского отчета, сегодня напишу о Павлове-Сильванском. <...>

Д. 9. Л. 346—347об.

725

8 января

<...> Очень глупо прошел у меня вчерашний вечер. Мне просто нечего было делать, и я без толку бродил по Москве. Из Архива отправился к Косте, чтобы застать его дома. Посидел у него немного, рассказал про выставки, потолковали о Сарьяне, о Гончаровой. На выставке «Союза»[524] Костя не был еще. Видимо, это ему и не очень интересно. Я, кажется, уловил, в чем дело. Он про «Пахаря» Сарьяна сказал, что это несущественно, потому что тут Сарьян писал что-то, уже раньше найденное, у него готовое, так что это только увеличение (по размеру) чего-то уже готового, а не передача свежего, искомого впечатления. А ведь и у «союзников» много такого повторения того, что художником найдено, на чем он успокоился — так и у Серова, и у Бенуа, и у Добужинского, а у других еще больше. Это существенный вопрос и притом двойной: во-первых, то, о чем мы всегда говорим, — о свежести этюда, всегда значительно погибающей в картине: по Костиной эстетике, конечно, правильной, цельно в искусстве только то, что дает во всей силе новое, захватившее художника впечатление, свежие искания, а не перерабатывает уже изжитое, исчерпанное, путем завершительной работы, не необходимой, а спокойно рассчитанной. Отношение эскиза к большой вещи должно быть иное — эскиз только набросок, еще неуверенный момент нащупывания, искания, а находка — дает окончательную вещь. Если эскиз дает все, что хочется дать, то больше работать незачем: это значило бы только портить и лгать перед собой. Потому, напр[имер], Репину незачем было писать «Запорожцев» и даже большого эскиза их, что в Третьяковке, так как то, чего он хотел, исчерпано в меньшем эскизе. Вся дальнейшая работа была ни к чему, вытекала не из художественной потребности. А, во-вторых, художественно ценно только то, что есть творчество, т. е. где есть просящееся наружу новое слово, искание неудовлетворенное, ищущее удовлетворения. Без этого самая «мастерская» вещь будет «хорошо сделана», но художественно мертва. Кроме того, в суждениях Кости есть еще одно, характерное для него. Его коробит, когда в работе художника остается что-ниб[удь] «натуралистическое», не в смысле реализма, а в смысле не претворенной творчеством «натуры»; когда чувствуется, что художник списывал с натуры, стараясь ее передать так, как копии пишут. Это не нужно, это не художественно, этим не должно и пахнуть. Только совсем претворенное, прочувствованное должно входить в состав художественного произведения. И Костя очень чуток насчет этого, находя даже у П. Кузнецова налет «остатков» натурализма.

Не знаю, понятно ли? Если ты меня поняла, расскажи Сергею — ему это интересно... А я как-то особенно залюбовался вчера Костиными вещами. Меня до сих пор интересовали они больше тем, чем его настроения характеризуют. А вчера в сумеречном полусвете я просто смотрел на них как на «вещицы» и залюбовался. Как они просто красивы! «Слепая» и другие — сколько в них именно простой, чистой, скромной и живой красоты, красоты линий и форм, «вкуса», как мы говорим. Ты их видела, Юлек, и теперь не скажешь, что я подхожу к Косте «приподнято» — он, правда, особенный. <...>

Ушел я от Кости с мыслью пойти на концерт Ландовской. Но вышло так, что дневная продажа билетов кончилась, а вечерняя не начиналась. Пока я это выяснил, мне уже расхотелось. Без толку бродил по улицам и переулкам. В 6 ч. зашел в «ряды» — съел уху с расстегаем, оттуда прошел к Лаферму купить папирос и вернулся на Зубовский бульвар. Ал[ександра] Як[овлевича] не было дома. Я сидел и читал книжку Веретенникова. Тебе писать не хотелось, потому что я чувствовал себя каким-то смятым, серым. Потом пришел А[лександр] Як[овлевич]. Мы с ним много болтали, до половины первого, т. е. болтал он, а я слушал. Рассказывал про Ольгу Маклакову, сестру милосердия, отравившуюся на войне, которая и была ему всего ближе из М[аклаковых]. Рассказывал про «нашу красавицу», которую изображал очень интересной, но внутри деревянной и пустой, вроде брата. Вспоминал старину, перебирая всех «форстенят» по очереди и расспрашивая о них. Вообще душу отвел и был очень хорош.

Пора вставать. Уже голос А[лександра] Як[овлевича] слышен. Прощай, Юлек. Сегодня я письмо от тебя получу! <...>

Д. 9. Л. 348—350 об.

726

9 января

<...> Напрасно я надеялся. Дела нужного еще очень много остается. И как нарочно, под конец попались очень нужные материалы. Что делать, буду до конца тянуть. Будь добра, предупреди об этом Елизавету Николаевну. Узнай, как она съездила, что нового о Георгии Васильевиче. <...>

В Архиве вчера привел меня в большое расстройство Веретенников. Бедный мальчик — он напечатал книгу, чтобы представить ее на степень магистра. Но он ученик Лаппо-Данилевского, а С[ергей] Фед[орович] поэтому отнесся к нему более чем сдержанно. После истории с моей диссертацией он не знает, как быть, и не хочет подавать ее в Петербурге. Такое решение ему совсем тяжело дается. Очень скромный, нервный, даже робкий, он, видимо, совсем измучен необходимостью считаться с проклятыми личными отношениями между профессорами. Здесь, в Москве, он поговорил с Любавским, Богословским и Кизеветтером. Вероятно, диспут устроится здесь. Но если бы не устроился, то это будет ему незаслуженным ударом. Книга, безусловно, стоит ученой степени. Но Любавский очень осторожно относится к появлению в Москве беглецов из чужого университета. А Веретенников переживает эту необходимость стучаться в чужие двери как незаслуженное унижение. Обидно все это за наш бедный факультет. Интересно, как расхлебается. Я непременно побываю у Любавского, поговорю с ним. <...>

Д. 9. Л. 351—352 об.

727

10 января

<...> Вчера, несмотря на субботу, я хорошо поработал. С 10 до 3-х, т. е. начал даже на час раньше, чем нормально у них. После Архива попробовал зайти к проф[ессору] Любавскому, но не застал его дома. Обедал у Полонского, а после обеда меня вызвал Мельгунов. Третьего дня у них было собрание редакционной комиссии по той хрестоматии, что они издают. Двое, Мельгунов и Пичета, читали мою статью и докладывали о ней.[525] Оба ее весьма одобрили, но просят кое-что добавить. Я добавить всегда готов, сокращать — это было бы неприятно. От Мельгунова вернулся домой к Ал[ександру] Як[овлевичу] — и вечером он занимался делами, а я читал сперва свое, а потом стал перелистывать Чехова. Мы с тобой Чехова почти не знаем, а он тонкий, своеобразный и интересный. Когда деньги будут, заведем себе собрание его сочинений. И С[ергей] Ал[ександрович] в своей статье очень мало взял и дал из Чехова. А в нем много что есть.

А[лександр] Як[овлевич] рассказывал вчера про свое детство и про то, отчего он такой вышел. Дома невероятная безалаберщина была, и его решили отдать в пансион, и притом в самый отвратительно грубый, каким всегда был пансион при гимназии Человеколюбивого общества. Затхлая, тупая атмосфера пансиона, с протухшим воздухом, с плохим питанием и плохим ученьем смяли его на первых же шагах. Под конец университета он уже был с расшатанными силами. Бедный Аля, такой он чудный и такой надорванный, слабый. И дай Бог, чтобы впереди не было много горя. Дети славные, но возьмет ли верх хорошая натура над захватывающей их улицей — кто знает? А улица их к себе тянет, довольно-таки грубая и бестолковая.

Сегодня мне надо попасть к Любавскому и к Готье. Вечером — у Веры Фед[оровны]. А еще сходим мы с Ал[ександром] Як[овлевичем] в «Союз». Надо бы мне на минутку забежать на «Золотое руно».[526] И позаняться надо хоть часок, чтобы отчетливо наметить сенатские дела на остающиеся четыре дня. Не знаю, как это все распределить. А до отъезда необходимо побывать у Веселовского. <...>

Завтра из Архива отправлюсь покупки делать — книги и открытки. Напишу Георгию Васильевичу.

Москва как-то полиняла после твоего отъезда. Осталась только большая радость, что я тебе Москву показал и что она, моя Москва, тебе понравилась. А меня тянет домой, к тебе. Но дела еще много. А Петербург меня пугает тамошними делами, запущенными и трудными. Ну, прощай. <...>

Д. 9. Л. 353—354 об.

728

11 января

<...> Утром писал тебе письмо. Потом к 12 ч. пошел к проф[ессору] Любавскому. У него застал харьковского доцента Савву. Они как раз говорили о Веретенникове, который был у Л[юбавского] и произ-

вел на него не очень-то благоприятное впечатление, просто потому, что ему пришлось заговорить о личных отношениях петербургских по поводу диссертации. Я высказал им свое мнение о Веретенникове, рассказал кое-что о питерских «отношениях». Любав[ский] резонно говорит, что несправедливо петербургский факультет перебрасывает свою работу на других. Он только что развязался с диссертацией Богословского, занялся своим делом, а тут — Веретенников. Он решил, если примет диссертацию, отложить диспут на осень. Вдобавок я теперь не уверен в книге В[еретеннико]ва. Я бы ее без колебаний принял. Но при более строгих требованиях — она сделана робко, скупо, и потому бедно. Это следствие личной натуры Веретенникова. Любавский, наверное, будет ее читать пытливо и требовательно. А было бы очень обидно, если бы результат вышел неблагоприятным для Веретенникова. От Люб[авского] я вернулся к Ал[ександру] Як[овлевичу], и мы с ним отправились на выставку «Союза». Посмотрели довольно внимательно. Но мне почти конфузно стало, что нам с тобой почти совсем понравился Кустодиев. Груб он очень, вульгарен, почти рыночен, особенно в «ню» — и это, конечно, не искупается его умелой техникой. Ну, распространяться о знакомой выставке не стоит. Хочу еще зайти и на «Золотое руно», благо оно открыто и по вечерам при электричестве. С выставки — домой. Ал[ександр] Як[овлевич] заехал еще один визит сделать. А я почитал детям вслух, потом Гамсуна читал. <...>

И представь себе, Юлек, что Вера живет в той самой квартире, где они, Крахты, жили, когда мне 9—10 лет было, где мы бывали и много шалили. Но я совершенно не вспомнил ни улицы, ни дома, ни квартиры. <...>

Д. 9. Л. 355—356 об.

729

16 февраля

<...> Ушел твой поезд. Сергей со Степой и с детьми поехали домой на извозчике. Мальчуганы веселы были. Сразу они, видно, и не почувствовали разлуку. Я попал в трамвай № 3 — на Сенной пересел в № 1 — в институт. Три часа свои отзвонил — теперь мне этого достаточно, чтобы устать. Отправился домой. Пообедали. Слава хорошо суп ел, п[отому] что ему много сухариков от дедушки досталось, вареников не захотел, предпочел котлету. Аля немного сыру поел и вареников. После обеда Тоня детям довольно много читала, потом они невероятный концерт устроили, пустив в ход все, что есть у них по части инструментов... Пришел Гутик из рисов[альной] школы. Он сообщил мне, что следующий за ними младший класс распущен, потому что там много кори. <...>

Приготовил он уроки; французские стихи наизусть и писать со мной ушел. Потом поиграл, сравнительно довольно внимательно. А я ушел в «Маяк» на rendez-vous с Туром. Сегодня Тур читает, но он мне сообщил, что ему врачи велели сильно сократить чтение, так что он постарается заменить себя в «Маяке» кем-ниб[удь] другим. Очень это все неприятно. Только чуть наладилось как будто, и расползается дело. Неприятно чувствовать себя ответственным за других и за разные случайности. <...>

Сегодня я встретил Рождественского — и он торопит с биографией Константина Аксакова для словаря, а она у меня еле начата. А охоты писать ее — очень мало. <...>

Д. 9. Л. 357—358 об.

730

17 февраля

<...> Мой день прошел обычно. Утром — университет, оттуда в гимназию, где позавтракал и читал 2 часа. <...>

Из университета я говорил по телефону с Ник[олаевским] кавалер[ийским] училищем. Добился канцелярии, а там меня соединили с квартирой офицера, заведующего канцелярией. На основании разговора с ним я из гимназии в 2 ч. поехал туда — это у Балтийского вокзала. Там мне дали правила конкурса на памятник Лермонтову. Дело мало симпатичное. Прежде всего, памятник будет на улице перед училищем (вроде того, как стоит Ольденбургский на Литейном), а улица грязная, запущенная. Потом — жюри состоит из 26 чел[овек], а именно: 1) 12 человек «Комитета съезда русских художников», где председатели гр. Голенищев-Кутузов и Павел С[ергеевич] Шереметев; тут членами и Добужинский, и А. Бенуа, и архитекторы Покровский и Фомин, тут и Рерих; но: 2) 12 кавалеристов — 2 генерала, 9 полковников и 1 капитан, от училища, которые желают, как мне этот капитан объяснил, иметь свое суждение и влияние, и наконец, 2 «литератора»: Буренин и Гнедич! Что бедному Косте делать с таким жюри! Мой бедный идеалист решился, видно, искать заказа, потому что «реальность», против которой он бунтует, — дает себя чувствовать — отсутствием денег. Боюсь, напрасно он потратится на этюд.

Оттуда с «правилами», планом места, где будет памятник, и фотографиями здания вернулся я домой к 4-м часам. <...>

Едучи из училища, встретил в трамвае Шевякова. Он сел возле Технологического, из нового места службы своей. Не помню, говорил ли я тебе, что он теперь важная персона, начальник отдела технических училищ в М[инистерст]ве народ[ного] просв[ещения]. Говорят, скоро будет товарищем министра. И выйдет из крупного ученого — заурядный «администратор». Жаль, что я ему этого не высказал...

Говорил он мне, что в ректора не пойдет — еще бы! — что, вероятно, ректором будет Браун. <...>

Д. 9. Л. 359—360 об.

731

18 января*

<...> Конечно, Юлек, постараюсь устроить детей на детский праздник, если ты к тому времени не вернешься. А, м[ожет] б[ыть],

---

* Ошибочно, надо: февраля.

вернешься? Нет, я на это мало надеюсь. Знаю тебя. Как ни будет тебе тяжело, будешь, пожалуй, тянуть. А зачем? Твое дело более или менее наладить режим, а главное, выяснить вопрос о присылке туда особы для ухода за Мих[алиной] Мих[айловной]. <...>

Ну, а я что? Утром — на курсах был. Там, кстати сказать, наклевывается как будто интересная ученица — Ефимовская. С ней что-то странное у Платонова. Она собирается воспользоваться правом, которое предоставлено курсисткам, с разрешения университетских факультетов — держать при университете государственный, а затем и магистерский экзамен. Но, не знаю почему, — она, по-моему, очень живая и толковая, С[ергей] Ф[едорович] ее не поддержал, и она хочет экзамен держать в Москве, причем, как мне говорила Вера Викторовна, она себе там уже устроила разрешение. Глупо это, потому что дает право москвичам удивляться, чего это Платонов людей из Петербурга разгоняет. Надо будет при случае его расспросить. А ко мне Ефимовская попала потому, что С[ергей] Ф[едорович] ее даже к себе в семинарий на курсах не принял, послав ко мне. А у меня ей почти нечего делать, настолько она сильнее и зрелее других. Ведь С[ергей] Ф[едорович] на курсах занимается только с отборными, с гвардией, уже прошедшей хорошую школу.

С курсов — домой. Подчитывал материалы для биографии Аксакова.[527] Вчера вечером я часть ее написал-таки. Но оказалось для дальнейшего нужным подчитать. Авось завтра кончу. Завтра лекций нет. Праздник: 19 февраля. И у Гутика, и даже у Али уроков нет. <...>

Маня осталась у дедушки, а я отправился в институт. Видел тут С[ергея] Ф[едоровича] — расстроенного ссорой из-за портрета Императрицы, который он повесил внизу в приемной, а О[льга] А[нтоновна] сердится, находит, что это около швейцарской, вроде передней и для Ее В[еличества] унизительно. Совсем большие дети!

Ну, из института — домой; пообедали, поспал я и тебе пишу. Теперь семь часов. Надо еще приготовить лекцию, которую я сегодня читаю в «Маяке». <...>

18 января*

<...> Прислали мне последний пакет из типографии. Уже обложка, оглавление — словом, последние остатки. Через неделю книга Сильванского выйдет. Слава Богу. Присланное уже просмотрено, завтра утром поедет к Лемке. Завтра у меня только 11—1 ч. на курсах, да вечером концерт. Но в Архив я все-таки и завтра не пойду, а попробую покончить со статьей для Москвы. Сегодня из-за корректуры и Гутика не успел этого сделать.

В воскресенье — в 2 ч. заседание в «Маяке» <...> В школе сегодня собрание родителей III класса для «обмена мнениями о постановке воспитательной части». Это что? «бенефис» Теофилии?[528] Поделом ей, если так. <...>

Д. 9. Л. 361—364 об.

---

* Ошибочно, надо: февраля.

732

19 января*

<...> Сегодня я дома. Праздник. Никуда не выходил и не выйду. Написал биографию Аксакова для Рождественского. Завтра отошлю. Надеюсь сегодня еще переделать московскую статью — и тоже завтра отослать. Теперь только половина шестого. Мы только что пообедали. Гутик сегодня утром только русский приготовил и отпросился куда[-то] на собрание товарищей по поводу журнала. Вернулся в половине 4-го, приготовил географию, пообедал и ушел в начальную школу. Остается ему еще немецкий урок и поиграть. Не знаю, как он успеет. <...>

О «празднике цветов» завтра Аля должен толком расспросить учительницу. Он записал на бумажке, что спросить. Алька опять лепит, вылепил оленя, охотника и собаку, очень недурно, и установил их в группу в какой-то коробочке со стеклом вместо крышки. А бледненький он какой, и ест очень, слишком мало... Что делать с ним? Слава — молодцом. Сейчас за обедом съел 2 голубца и котлету, и киселю. И выглядит он много лучше Али. <...>

Вчера я читал в «Маяке». А ведь я нигде не читаю так, как там. Горячо, с оживлением, откуда что берется! Даже странно... И аудитория, видимо, довольна.

Вот я и сегодня дома сидел, писал, а в Архив не пошел. В конце концов, пора начать беспокоиться о судьбах моего «Сената». Но у меня этого беспокойства как-то вовсе нет. Впрочем, разделавшись с мелкими долгами, примусь и за него. Но ведь надо еще по архивам побегать. <...>

А в «Речи» сегодня очень недурно Любовь Яковлевна[529] написала о Комиссаржевской, и даже 3 ее портрета вышли в газете, против обыкновения, недурно, по крайней мере так, что можно разобрать изображение, а не вроде тех «загадочных картинок», какие обыкновенно бывают в «Речи». <...>

Д. 9. Л. 365—366 об.

733

20 февраля

<...> Ну, а у нас что? Буду продолжать дневник. Утром сегодня — в 10 ч. явился Миша, совсем расстроенный. Опять что-то у них там вышло. А, главное, дома, с Нат[альей] Мих[айловной] у них совсем Бог знает что. Содом и Гоморра. Головань проболтался мне, что Нат[алья] Мих[айловна] дошла до угрозы, что Мише никаких денег не оставит, все по монастырям распишет. И, представь себе, это на Мишу весьма угнетательное впечатление произвело. До такой гадости у них дело доходит.

У меня Миша минутку был; я скоро отправился на курсы. И понапрасну. На курсах вообще было очень мало народу — хоронили в

---

* Продолжение того же письма.

А[лександро]-Н[евской] лавре Комиссаржевскую. Как искренне и сердечно жалеют ее самые разные люди! Когда будем с тобой в Лавре — и мы сходим на ее могилу, снесем ей цветов... <...>

Пришел Головань за книгой, которой у меня не оказалось. Стали с ним о художествах рассуждать, рассказывал, что и как объясняет он своим театралам в Эрмитаже. Он их систематически водит в Эрмитаж — показывает с объяснениями — одну, две комнаты на каждый раз. Вот эти, если что поймут, могут изучить Эрмитаж! <...>

В концерте была с нами Алека. Она была с детьми на гимнастике, видела там наших малышей (Гутик не пошел опять) — а потом Г[енрих] М[атвеевич] пришел за ними, а она в концерт. Концерт не очень-то удался, потому что дирижировал вялый, глухой Глазунов. Но симфония Скрябина красивая, очень интересная и мастерская. Только половина ее красок, несомненно, пропала из-за Глазунова. Потом играл Скрябин. Его игра и его вещи никак не для большой залы. Да и то и другое — скорее интересно, чем захватить и увлечь может. Это действительно наброски, очень индивидуальные, отрывочные, почти случайные. <...>

Д. 9. Л. 367—369 об.

734

21 февраля

<...> Сегодня воскресенье. С утра готовил лекции на завтра, потому что кончить вчера не успел, да целый день — т. е. то немногое, что от него осталось для этого — и провозился. А немного осталось потому, что в 12 ч. ко мне пришел Ал[ександр] С[ергеевич] Грушевский, бывший одесский, теперь московский доцент, который хочет в будущем году у нас читать. Расспрашивал, как в нашем университете поставлено преподавание русской истории, какие есть доценты, какие курсы читают, какие тут отношения. А когда он ушел, скоро пришлось идти в собрание лекторов «Маяка», где я много ораторствовал, объясняя и расспрашивая, что надо сделать, чтобы наладить по-настоящему дело, чтобы все об этом думали и действовали, а не я один. Кажется, удалось несколько раскачать публику. Кое-какие усовершенствования теперь уже наметились.

<...> Разошлись рано — в 12 часов. Теперь половина первого — мы с Сергеем вдвоем. Он усталый, невеселый. Заморился с Думой, с похоронами Комиссаржевской, куда возил венок от думской печати...

22 февраля*

Вчера, дорогой Юлек, я после ухода гостей так одурел, что, разговаривая с Сергеем, «дописал» вместо письма тебе — протокол лекторского собрания в «Маяке»... и отправил с помощью Сергея. Там, стало быть, и найдешь конец этого письма! Вот до чего дошел!

Теперь утро понедельника. Гутик уже ушел. Я сейчас примусь за приготовление лекции для Гатчины. Я искал ее программы — когда нашел это письмо, а думал, что оно вчера уже отправлено!

---

* Продолжение того же письма.

У меня еще часа два времени, так что успею несколько подготовить лекцию. Не скажу, чтобы была особая охота ехать и читать...

Ну, что тебе рассказать? Ночью ничего не случилось, только кот Мурка бродил по комнатам — но, кажется, никакой особой шкоды не учинил. Впрочем, я и слыхал его не долго, пока не заснул еще, а лень была пойти прогнать его на кухню.

Вчера «воскресенье» не вышло. <...> Я рад был, что не набралось много народу. Так-то. А протокол жалко. Придется заново писать, но сегодня не успею, а мне нужно было завтра его в «Маяк» доставить. Напишу, вернувшись из Гатчины.

Д. 9. Л. 371—373 об.

735

23 февраля

<...> Вчера, отправив тебе письмо утром, я читал на курсах и в университете. Середонин спрашивал меня, не поеду ли я на профессуру в Казань! Бедные русские университеты! 3 кафедры русской истории вакантны — Варшава, Одесса, Казань — и никто ехать не хочет! В Варшаву, впрочем, приспособляют Клочкова. <...>

Вернувшись домой — пообедали, поспал я немного и отправился на Варшавский вокзал. До Гатчины 55 м[инут]. Читал я в театральном зале клуба, на сцене, перед какими-то розовыми декорациями. Народу было порядочно, около половины мест. Но цены у них такие: первый ряд 75 к., последний 5 к., так что и то рублей 5 убытку вышло. Мне 25 заплатили. Читал я так себе, не очень свободно, как-то дыхания мало было. Кончил около половины 11-го, а поезд 11.05, в Питере — в 12 ч.

Лекция моя, оказывается, взбудоражила местный отдел Союза русского народа, и он даже «агитировал», чтобы публика не ходила.

Что тебе о детях написать? Веселы они, все идет обычно. Вчера их купали. «Праздник цветов» — 26-го, в пятницу. Надо билеты взять. <...>

Напечатана моя рецензия о Веретенникове. Вышло всего 3 стр[аницы] (9 р.). А деньги так и летят, так и летят! Когда ты приедешь, ужаснешься состоянию кассы. <...>

Завтра заседание в университете Ист[орического] общ[ества], а я едва ли успею составить протокол.

Вот, Юлек, какое я тебе последнее письмо пишу. Точно хроника из «Биржовки». Но мешает мне, что надо спешить. И то я так замотался, что последние дни лекции плохо читал, потому что плохо их приготовил. <...>

Д. 9. Л. 374—375 об.

736

Петр[овское]-Разум[овское]. 3 июля*

Двое суток не писал я тебе, дорогой мой Юлек. И так много, много хотелось сказать тебе. <...>

---

* Дата проставлена при разборе писем. Других писем за этот период нет.

День отъезда прошел в Питере так. Утром я встал в 6 ч. и писал об Александре II для памятника.[530] К 8-ми кончил. В 9 доложил Платонову, что готово. Забежал на минутку в Арх[еографическую] комиссию, съездил за одной маленькой, но необходимой справкой в Сенатский архив. Вернулся к завтраку. Потом пришел Остафьев — я ему прочел Ал[ексан]дра — понравилось. Это, как я писал тебе, переведут на французский язык и разошлют скульпторам всей Европы. Заговаривал он о «вознаграждении», но я решительно отклонил это. Ты скажешь «напрасно». Но иначе нельзя было. И Сергей одобряет. Дело в том, что тут Вел[икий] князь и все прочее. Поручение, которое С[ергей] Ф[едорович] считает очень почетным, а мы — не очень ловким, как казенное и «династическое». Он бы, напр[имер], т. е. Сергей, не мог бы и сделать его по своему положению журналиста. Я другое дело, но и то в форме пустяшной услуги, не заказа. Тут, видишь, у нас несколько потешная «политика» замешалась. <...>

На вокзале сразу прошел в вагон, хотя еще почти час был до поезда. Бродил по платформе. Это все-таки лучше, чем дома томиться. Ехал сносно, хоть спать пришлось на узкой доске под окнами. Со мной были три книжечки — «La lavandière»,* та, что Дузе играла, под назв[анием] «Трактирщица»,[531] рассказы Банга, что Маня так хвалила, и Томаса Манна, который мне больше по душе, чем его брат Генрих. Читал их вечером, читал и утром. Встал я в 4 часа, пил кофе в Твери, стоял до Клина на площадке. Все залито солнцем, жары еще нет, зелень такая свежая, так все жизненно. И сердце мое такой гимн пело солнцу и Юле, моему чудному солнышку. Это нельзя передать. Отчего я не музыкант — сколько чудного можно было бы вырвать из сердца и бросить в мир в звуках. Словами никогда не передашь тех странных песен, которые подымаются в душе навстречу тебе, мое солнышко. <...>

Приехал я в Москву. Хорошая она, право. Даже по улицам приятно ехать. У Соломенной сторожки Мишу уже не застал. Нат[алья] Мих[айловна] очень ласково меня встретила. Помылся, чаю выпил и без двадцати 11 был уже в Архиве Юстиции. Тут сразу повезло. До 12-ти нашел все, что надо. В час был уже в другом Архиве, Ин[остранных] дел. Тут списал несколько нужных документов. Тут позаймусь и сегодня, и завтра. Хорошо, что приехал. Очень интересны оказались и нужны для работы те документы, из-за которых я приехал. И к субботе все будет готово. Сделаю все, что наметил. Теперь это ясно. В воскресенье — уеду. <...>

Вчера после Архива — у Филиппова простокваша, обед на даче, вечером купанье в Академии. Надо «вставать». Пойдем купаться, потом в город. <...>

Д. 9. Л. 376—379 об.

---

* Прачка (*фр.*).

737

10 сентября

Уехала! А мы с Сергеем остались на перроне. Что же делать? Побрели домой. Сели в трам. Ну, конечно, говорили, говорили... О чем? О литературе, о поэтах наших, о том, о сем. Бедный Сергей! Как его тянет писать, работать, подводить итог пережитому, передуманному. Бодливой корове Бог рог не дает. Я спрашивал его, будет ли он писать о Комиссаржевской. Говорит, что напишет, что это не к спеху, потому что никто в сборник ничего не написал. А о новейшей литературе для Овсянико-Куликовского писать не будет, потому что на это много надо времени, да и трудно это, так как надо выразить нечто очень сложное и совсем еще не готовое. И обо всем этом мы толковали в трамвае, на Жуковской и дома, где дедушка нас ждал с чаем. Сергей рассказывал об интересной полемике Брюсова с В. Ивановым и Блоком о поэзии. Это надо будет у него взять — посмотреть. <...>

Утром я получил извещение с курсов, что на мой экзамен никто не записался. Поэтому я дома сидел и писал Сенат. Около часу пришел Романов и сообщил мне довольно утешительные сведения о словарном деле — и мы, по-видимому, от других не отстанем.[532] Хуже всего, стало быть, с философией ввиду измены Ив[ана] Ив[ановича].

А Оссовский проявился (оказывается, он здесь со 2-го!) — у него вся буква «А» готова, просит работы на «Б».

К двум часам пошел я на панихиду в гимназию.[533] Был Сер[гей] Фед[орович]. Но больше никого из негимназических. Были Миша, Джон, Сергей. Но не было Голованя. Не знаем, что и думать: уж не заболел ли он. Напишу ему сегодня.

Свящ[енник] А. Васильев (духовник Вяжлинского) сказал перед панихидой очень хорошее, короткое и сильное слово, дьякон попался совсем артист, с красивым голосом и очень тонкой фразировкой, пели недурно, служили 3 священника, а Васильев служит отлично... Было торжественно и красиво. Жаль очень, что тебя не было.

После панихиды Ел[изавета] Ник[олаевна] позвала меня к княгине, а та спросила, не соглашусь ли я остаться у них членом попечительного совета. Этот совет ведет денежное дело, разрешает все нововведения в гимназии и т. д. Состоит он из князя и княгини Мещерской, Случевского и Н. М. Дюкова. Теперь хотят меня прибавить, причем княгиня сказала, что ей это будет спокойнее, п[отому] что если она умрет, то попечительный совет будет решать дальнейшую судьбу гимназии. Я, конечно, согласился. Это ведь времени не возьмет, а сохранится связь с гимназией. Да главное не то, а, видно, так хотелось Елиз[авете] Ник[олаевне]. Да и со стороны княгини это вышло так трогательно, как я от нее не ожидал. Согласился, по всему этому, с благодарностью и от души.

Потом в учительской потолковали о том, как устроить сбор на стипендию имени Г[еоргия] В[асильеви]ча. Решили 20-го созвать педагогический совет, чтобы объявить этот сбор и от его имени. <...>

Сегодня я и в «Маяк» не пойду, хотя там Сергей читает. Лучше еще хоть немного попишу, благо сегодня как-то пошло. Завтра день совсем свободный, можно его весь дома просидеть.

А с понедельника — постепенно — всякое преподавание начнется... Ничего-то я для него не сделал. А так хотелось бы кое-что обработать в связи с курсом. <...>

Д. 9. Л. 380—382 об.

738

11 сентября

Скучно. Мы только что пообедали. Сомневаюсь, чтобы мог сегодня еще поработать. Даже не читается, да и нечего читать. Перед началом занятий такое состояние у меня всегда, что пока не напишу их, совсем не знаю, что для них делать. <...>

Оторвали меня от письма — сперва одна дама по делу, потом — Пиотровский. А теперь Саня совсем уже другой, веселый, бодрый, счастливый. Это потому, что фрейлен приехала! Представь себе, что я ей так рад! Ты, пожалуй, должна бы ревновать. Но что с ней делать, она Юлино письмо принесла, понимаешь ты! Юлино, Юлино письмо! И такое славное, бодрое, уверенное, отдохнувшее. Да — теперь ты понимаешь, что так побыть одному, с недурной книжкой, в тишине и одиночестве, в полупустом вагоне — хорошо. Уходишь в себя, как-то собираешься. Как бы я хотел невидимкой ехать с тобой, чтобы только смотреть на тебя, как ты так одна едешь, думаешь, читаешь, следить за игрой лица твоего. Ты пишешь, что любишь живопись все больше и природу, в которой каждый уголок тебе так многозначителен. И удивляешься, что у других не так. Но ведь ты сестра родная им обеим, и это в тебе так значительно и странно. Я тебе это из Москвы писал, но ты такие вещи не понимаешь или не хочешь понять, принимаешь с улыбкой, как глупую влюбленную болтовню. А право, тут моя влюбленность совсем ни при чем — это просто наблюдение, которое меня самого изумляет. И сама-то влюбленность эта из него происходит — с тех пор, как давно-давно повеяло на меня особой ясностью, как от свежего солнечного утра, и какой-то радостной и щемящей в то же время глубиной, как от природы и искусства — от твоей улыбки. И вот годы за годами всей душой всматриваюсь я в эту улыбку и в ту жизнь, которая за ней, — и ухожу в эту глубь все дальше, дальше, без конца, с все новым и новым изумлением и восторгом. <...>

Д. 9. Л. 383—384 об.

739

12 сентября

Вчера, дорогой Юлек, как только отправил я тебе письмо, пришел Головань. Оказывается, на панихиде он не был потому, что всю неделю сидел в Царском — и только. Неохота ему было ехать. Им вообще овладела какая-то тяжелая, мертвенная апатия. <...> Напился чаю и в половине десятого поехал к Густаву Вас[ильеви]чу, чтобы взять письмо к Платонову о выдаче нам ящика с бумагами Георгия Вас[ильеви]ча. Ящик этот Сергей предлагает перевезти к нему, в Володину комнату, и там разбирать. Володю он не хочет держать в маленькой комнате, а думает сам остаться в комнате, а его поместить в спальне, а Володина комната остается свободной. Тут и будем разбирать наследство Георгия Вас[ильеви]ча. Так симпатичнее, чем в институте.[534]

Только ушел Голованъ, пришел Сергей. Он вышел вместе с Пиотровским, поехавшим на вокзал, и приехал ко мне посидеть. Так как от Ефремовых никаких вестей нет, то решили мы послать детей на авиацию[535] с фрейлен и Мишей, на рублевые места. Сегодня чудная погода, программа очень интересная, и народу будет, наверное, масса. Поэтому я сегодня утром послал Гутика с фрейлен взять билеты заранее.

Ну, Сергей посидел у меня довольно долго. Потолковали о его статье для «Вестника». Он хочет писать о полемике Брюсова с Блоком и Вяч[еславом] Ивановым,[536] но стонет, что это все «философия», очень интересная и ему нужная, но непонятная, п[отому] что он «философского образования» не получил. Дело конечно не в том, чтобы он чего-либо тут не понимал, но ясно построить свое понимание, выразить его в словах он ощущает трудностью большою. А сосредоточиться, почитать спокойно, подумать — некогда. Истинная мука Тантала! Говорили мы с ним о новом искусстве. Его смущает, что в поэзии современной так ясно, что поэтики наши не видят жизни, не видят действительности, тянутся уйти, убежать от нее в стих, в звуки, в картины, оторванные от прямой реальности, которой не чувствуют, не видят и боятся до ужаса... А в живописи, напротив, он видит редкую зрячесть к природе, такую зрячесть, перед которой он, Сергей, «стоит как варвар». Я ему говорил, что не вижу такой разницы между поэтами и художниками. Ведь и последние стремятся к отвлеченности, к обобщению, так, чтобы от действительности остались линии, самые общие, гамма красочных пятен, красота декоративная, орнаментальная, то самое, что Голованъ называет «византийщиной». И они, как Костя, не любят «реальности» и готовы предпочесть культ смерти культу жизни. Типичные, характерные представители новых течений в искусстве именно таковы. Сергей понял меня, когда я прочел ему из твоего письма то, что ты пишешь о живописи и природе, о том, что для тебя «в каждом уголку, в каждой травке, в каждой пылинке есть что-то большое». А для них, для «модернистов», хоть мы их так любим, на первом месте «что-то большое» прежде всего в них самих — и они стремятся это выразить, свое субъективное, этому подчинить восприятие природы. Когда они смотрят — для них все кругом линии и краски, материал для картины. И нам это тоже близко и понятно, за то мы их и любим, что они эту сторону так ярко чувствуют, берут и передают. Но слушают ли они то, что за этим, ту величавую и глубокую тишину, ту великую свою большую жизнь, которая во всем так чудно хороша? Их тянет ее слышать, ее уловить, понять. Но мешает то, что они собой больше заняты, не расширяются, не дышат полной грудью, а «холодные, стальные» и мучающиеся своим одиночеством, как Сергей говорит про поэтов. Одиноки люди, глядящи[е] на жизнь как на материал для творчества. И трудно, ой, как, должно быть, трудно художнику не быть таким! Еще старик Ибсен написал «Когда мы мертвые пробуждаемся», где ведь пользование «натурой» для искусства убивает живое, личное, свое — человеческое, отношение к живому существу, к жизни, к людям, к природе. Эта трагедия искусства, не совсем-то понятная, очень меня занимает, по нынешним временам, в ней едва ли не ключ к самой сути «современных» его течений.

<...> Сижу весь день дома, только сбегал за папиросами. Пишу свой проклятый Сенат, который никак не могу кончить. Боюсь, что он в конце концов распухнет сверх всякой нормы... Очень уж материала много, и то я многое комкаю поневоле.

А бедному Петербургу грозит явная погибель от наводнения музыкой. Кроме всего прочего, сегодня объявлен абонемент на серию симфонических концертов московского дирижера Кусевицкого, причем он дает 9-ю симфонию Бетховена под управлением заграничного дирижера и ряд вещей Скрябина. Может быть, если хватит сил и денег, мы не утерпим... Что-то даже безумное есть в этом наплыве музыки в такую пору, когда атмосфера жизни такая вялая, тупая и душная. Люди ищут забвения в острых, волнующих художественных впечатлениях. Не иначе как так, право.

Сергей прислал мне полемику брюсовскую. Хочет, чтобы я ее прочел, чтобы потолковать о ней. Прочту. Это очень немного, статьи небольшие. Но надо сперва свой урок о Сенате дописать.

Вернулся Гутик — огорченный. Оказывается, фр[ейлен] увела их так рано — еще пяти часов не было, что они только три номера видели. Она испугалась, что холодно, что Гутик простудится. <...> Вслед за Гутиком пришел и Сергей, одетый туристом, по-заграничному. Оказывается, и он был на авиации, ему Любош принес билет на вход на аэродром, и он не утерпел. Говорит, что самое красивое и интересное было уже без Гутика, но ему он так рассказал, что он-де все любопытное видел, а потом так себе было. Гутик и успокоился. Сергей в полном удовольствии — говорит, что нынешние полеты вовсе не то, что мы видели, а что-то очень смелое, сильное и гораздо интереснее. С [аэро]дрома до нас он пешком пришел, бодрый, оживленный. Пил у нас чай, потом мы с ним толковали о статьях, которые я успел-таки просмотреть. <...>

А завтра у меня утром экзамен на курсах, а в час до трех лекция в университете. Я, конечно, ничего не приготовил. Встану завтра пораньше и просмотрю свои записки. Сергей думал начать во вторник и очень обрадовался, когда я ему сообщил, что это праздник, так что начало его занятий оттягивается еще на неделю. У него ведь нынче лекций в университете не будет, а только практические занятия по Достоевскому. <...>

Д. 9. Л. 385—388 об.

740

13 сентября

А представь себе, дорогой мой Юлек, что вчера на авиации были и Миша с Джоном, и Головань, и все они друг друга не видели! Головань даже два дня подряд был, да еще в 3-х рублевых местах. Это его захватило, оживило. Сегодня, когда он ко мне зашел, я первый раз видел его оживленным и глаза его — не потухшими. Настоящий неврастеник, типичнейший из нас всех... Я его уговаривал пойти в этом году на Изаи, на Казальса, ведь он ни того, ни другого никогда не слыхал, — а он говорит, едва ли, денег нет. Я ему на это: ведь на авиацию можешь по 3 р. платить, неужто на тех не найдется? Ну, отвечает, может быть, пойду, так, как на авиацию, когда надо будет куда-ниб[удь] сунуться, когда «внутренне существовать нечем». Сергей верно говорит, что это от безделья, что Головань совсем отвык от какого-ниб[удь] усилия, какого-ниб[удь] сосредоточения воли, ничего у него нет неизбежно нужного, а это убивает волю, разлагает всякую силу. И едва ли наш бедняга Голованьчик из этого когда вылезет.

Заходил он ко мне уговориться насчет сундука с форстеновскими рукописями. Я поговорил с Сер[геем] Фед[оровичем] по телефону, и решили, что в среду состоится перевоз этого сундука к Сергею <...>

Я в профессорской разговаривал с Гревсом о заседании, которое они хотят устроить в память Форстена. Гревс рассчитывает на доклад Вульфиуса, потом хотел бы, чтобы кто-нибудь из учеников дал его характеристику как профессора. Головань советует указать Боровского.

Потом просматривал новые журналы, которых много лежит у нас на столе, потом начал лекции. Скучновато вышло, все повторение старого, ведь я курса совсем освежить не мог.

Вернулся Штруп. В Берлине Оппенгейм его несколько ободрил, прописал ему режим, при котором можно, как он уверял, избежать ухудшения дальнейшего, и велел через 4 месяца опять приехать. Сергей не очень этому верит, думает, что так говорили, чтобы только подбодрить Штрупа.

Гутик очень скучает, даже жалкий он какой-то. Придет — приласкается, голову на плечо мне положит, постоит и убежит.

Ну, надо дотерпеть нам обоим до твоего приезда. Что делать! Судьба! А мне сегодня сразу прислали из типографии весь набор всего, что я уже отдал из своего Сената. А у меня еще и это не кончено. Тарле говорит, что за мной и ему работа.[537] Всюду со всех сторон — работа, но не та, не такая... <...>

Д. 9. Л. 389—390 об.

741

14 сентября

<...> Сегодня я весь день дома писал. Ничего себе, пишется, но все-таки еще не кончил. Никто сегодня не мешал, никто не заходил. Так что я даже не знаю, куда вчера девались Сергей с Голованем. Не догадался по телефону спросить, ведь тебе это было бы интересно.

Вечером поехал на курсы, на совет. Выбрали вместо Фаусека директором С. Е. Савича,[538] 50 голосами против 4-х. По-моему, единственный возможный выбор. Кажется, я уже писал тебе, что вместо Петражицкого выбрали на философию права того Ф. В. Тарановского, который раз у нас был. Он будет приезжать читать лекции из Юрьева, должно быть, на два дня будет приезжать каждую неделю, потому что у него 4 часа. Он предпочел бы, я знаю, не философию, а историю права, да тут я ему мешаю. А у меня так глупо складывается с расписанием, что придет[ся] практические занятия на курсах назначить вечером, должно быть, от 7 до 9, только не знаю, в какой день. Иначе на курсах совсем часов свободных нет. Ушли мы с заседания, которое почти и кончилось, рано, так что я в 10 ч. дома. Поехали трамом с Мишей и Джоном, но они вылезли около Лейнера и пошли ужинать. А я — домой.

Странно быть так далеко от тебя. Ты так давно уехала, я столько писал, столько разных дней, а в них разных впечатлений прошло — а вот твое первое письмо оттуда, а ты только первое мое получила, когда это отправляла... Дико это и «ни к чему», как любит выражаться Сергей.

Чудак Джон. Опять набрал себе целых 19 лекций. Отказался было от фребелевских курсов,[539] а пришел к нему Шохор и уговорил. Добро бы какое путевое место было...

А я осовел как-то и тоже впал в уныние и апатию, вроде тебя. Не то что устал, а как-то серо и скучно на душе. На этот раз даже твое письмо не помогло, хотя ездило со мной на курсы: жаль было дома его оставить. Твои письма неугомонные — всегда всюду со мной первый день ездят. Но на этот раз и это не помогло.

Завтра надо начинать семинарий в университете, послезавтра на курсах. Совсем не представляю, что я, собственно, говорить буду студентам, а не думается и нет никакой охоты что-нибудь приготовить. А вечером завтра, кажется, я это писал тебе, заседание Историч[еского] общества, доклад римского Шмурло. М[ожет] б[ыть], Головань приедет его посмотреть. Гревс очень хлопочет об устройстве заседания в память Форстена. Хотел бы, чтобы я говорил, а что я сказать могу? Такой он сложный был и все менявшийся. Над ним много поработать надо, чтобы что-нибудь понятное сказать. Завтра, наверное, опять будут разговоры о таком заседании. <...>

Д. 9. Л. 391—392 об.

742

16 сентября

Вернулся я домой перед обедом — бьет 4 часа — и нашел твое письмо. Сегодня я не заслужил его, потому что как раз вчера первый раз и не писал тебе, так день сложился. А письмо твое опять хорошее, милая моя, дорогая, художница ты моя. Помнишь, как я звал тебе всегда «художницей», когда еще не смел, по крайней мере вслух, сказать: «Юля», а это словечко только в сердце билось?

Жаль, что нет меня с тобой — в этой осенней Домброве. Наши места вообще красивы, и осенние краски вообще должны придать им особую прелесть. Кругом Домбровы и так в этих далях разлито для меня много какой-то широкой поэзии, ведь это все пейзажи «с настроением», которые не только глядишь, но и слушаешь как музыку. <...>

Целый день живешь тобой и с тобой. Встретишь кого, подумаешь что — сейчас мысль, вот это надо Юле написать. Целый день держится мысль, что все, что делаешь, видишь, слышишь — пойдет вечером в письмо к тебе. Так и легче.

А вчера так тебе и не написал. Какой-то глупый день вышел. Утром встал рано, в 7 часов, кое-что приготовил для университета и к 9 туда отправился. Было человек 25. Введение мое вышло довольно живо, хотя несколько скомкано и, м[ожет] б[ыть], не совсем для них ясно. Ну, это успеется подправить. Потом вернулся домой. Кое-что поработал, но мало, как-то туго шло, не клеилось. К этому же сперва пришла Маня, а после обеда Ярошевский. Маня приходила денег просить, но у меня не было. Обещал ей сегодня, получив на курсах, занести, но вечером она по телефону сказала, что не надо, деньги нашлись. Она без гроша, потому что каждый Мишин приезд дорого ей стоит. Мих[аил] Викент[ьевич], благодаря старым долгам, всегда в затруднении и детям ведь очень мало дает. А Миша стесняется ему сказать, когда чего не хватает. Приедет он — и Маня все, что заметит нужное, покупает ему. <...> Странная получается позиция — Ив[ан] Пл[атонович] содержит частью карповичевскую молодежь. <...>

Наташа поступила на Раевские курсы, мечтает на будущий год перебраться на наши, наводит справки, как это сделать. Хочет учиться, заниматься по русской литературе. А у кого у нас ей учиться литературе-то? Плохо стоит этот предмет вообще в Петербурге. <...>

После обеда вскоре пришел Ярошевский. Мне жаль, что ты его так определенно не любишь. Что-то заставляет меня держаться за него, хотя ни в его отношение к науке, ни даже в особенные способности и интересы по этой части я плохо верю. Но если бы ты знала, кого иногда наши профессора, Кареев, Гревс, Шляпкин, тянут, ты поняла бы меня. В Ярошевском есть сила. А что кругом на него надвигается недоверие и антипатия — теперь и Елиз[авета] Ник[олаевна] на него гримаску делает весьма выразительную — это его, в конце концов, действительно свихнуть может. Трудно человеку на надлежащем курсе стоять без попутного ветра. А ведь на душе у меня вопрос о Пузино. Не лежит у меня к нему сердце. Что-то в нем двусмысленное есть. Стал я о нем расспрашивать. И как-то все не в его пользу настроены. Ну, Ярошевского в стороне оставим: кажется, его антипатия к Пузино главная причина перемены к нему Елиз[аветы] Ник[олаевны]. Но Головань, Романов, Боровский, все товарищи университетские сторонятся, как и он от них. Елиз[авета] Ник[олаевна] тронута тем, что он [был] с нею в последнюю, самую тяжкую минуту, в деревне у Георгия В[асильеви]ча. Но как-то дико, что он там же, в такую минуту, плакался, что вот он опору теряет, нужную для оставления при университете, для получения заграничной командировки. Или то, что он сам пошел к Сер[гею] Фед[оровичу] проситься в заместители Г[еоргия] В[асильевича] по занятиям в институте? Правда, по словам Елиз[аветы] Ник[олаевны], семья в затруднении, он нуждается и стонет об этом. Но на днях Густав Вас[ильевич] показал Голованю письмо, где Пузино предлагает ему купить библиотеку Г[еоргия] В[асильеви]ча! Пусть он рассчитывал купить дешево, за 1000 р. — с тем, что ею будут пользоваться все, кто пользовался при Г[еоргии] В[асильевиче], пусть это деньги, полученные в недавнее наследство. На нужду это не похоже! Да еще: об этом проекте говорил он с Елиз[аветой] Ник[олаевной], она ему отсоветовала, сказав, что передача в университет по воле Г[еоргия] В[асильевича] дело решенное. Я не знаю, когда он писал Густаву, до или после этого разговора. Выходит как будто, что даже после. Но все равно — странно... Все это, может быть, односторонне, какие-то, быть может, предвзятости накопились. Но все-таки получилось у меня настроение раздвоенное. А просьбу Елиз[аветы] Ник[олаевны] — завязать с ним отношения — как-то трудно не исполнить, и выйти может фальшиво. Напиши мне, как тебе Пузино показался и что ты об этом всем думаешь.

Вечером отправился я в университет на заседание. Лаппо-Данилевский болен, председательствовал Кареев. Вышло, по случаю Шмурло, довольно людно, несколько профессоров пришло, даже старик директор Архива М[инистер]ства ин[остранных] дел приехал. И Головань пришел на свою Шмурлу посмотреть... Он вошел, когда заседание уже началось, хотел в уголку сесть, а я его позвал в середку, к нам, и Шмурло вскочил с ним поздороваться. Незнакомые спрашивали, кто это, что его так встречают. Кареев звал меня ужинать со Шмурло, но я отказался. Шмурло, Кареев, Пергамент, Барсков и К° все это мало привлекательно как компания. Впрочем, Миша пошел, кажется, Головань тоже. Я начинаю иногда чувствовать на курсах, что держусь как-то особняком и остаюсь чужим в их среде. Близость моя с нелюбимыми Платоновым и Гриммом, ослабление отношений с Гревсом, хотя встречаемся мы с ним очень и очень радушно, и с Лаппо-Данилевским — ведь мы почти не виделись последнее время — все это меня отделяет от среды г.г. профессоров, да, главное, и мне-то с ними как-то холодно и чуждо. Мы другой жизнью живем, и для нее, для этой нашей жизни, так мало-мало остается времени и свободы, что губить эти остатки нашего времени для поддержки каких-нибудь отношений было бы прямо невыносимо. И для работы мало времени, а еще меньше и еще нужнее — для тебя. Ну, на выставки-то мы будем серьезно бегать и изучать их, это ведь очень и мне нужно, и, право, не только из-за тебя, хотя так дорого это потому, что это самое наше общее. Дома со стариками как-нибудь уладим. Надо, чтобы они поняли и чувствовали, что это моя воля, моя потребность, что это я тебя тащу, а не ты меня. Так ведь?

Так я после заседания поехал домой, бросив их всех, возвращался рано, к 11, и думал, что сейчас тебе писать буду, а нашел в столовой Сергея с дедушкой. Вот с ним мы и провели остаток вечера. А когда он ушел, у меня уже сил не было даже на письмо к тебе. Зато сегодня пишу двойное, столько накопилось чего рассказать. Тяжелый разговор вышел с Сергеем. Он мне рассказал, что о прежних форстеновских отношениях рассказала Ариадна Тыркова. Угрюмая ненависть между Тырковыми и Форстеном и тяжелые, удушливые сплетни Ариадны. Она уверяет, что был сумасшедший роман ее брата Сергея, ученика Г[еоргия] Вас[ильевича], с Валентиной Форстен, нескрываемый, явный. Уверяют, что смерть В[алентины] Ф[орстен] — они, Тырковы, не считают случайной, что «ошибки» не было; рисует картину, как по требованию В[алентины], умирающей мучительно, при ней неотлучно был Сергей Тырков, как они — втроем! — перебирали и уничтожали следы их отношений. А потом этот Сер[гей] Тырков женился на сестре Вал[ентины] — по ее желанию или потому, что у него потом начались галлюцинации — являлась Вал[ентина] и требовала этой женитьбы; он женился и спился.[540] Что-то странное. Головань рассказывал, что после катастрофы, случившейся в одну ночь, он неотступно был при Г[еоргии] В[асильевиче], много раз рассказывал, каков был в ту пору Г[еоргий] В[асильевич], много и о прежнем их житье. И никогда таких нот не звучало, что бы делало вероятными подобные рассказы. И Г[еоргий] В[асильевич] — которого помню в прежние годы, поглощенным при мне памятью о Вале, ее музыкой, ее романсами — при глубоком горе, не походил на человека, прошедшего через ужас крушения и убийства.

Безумное что-то в таких рассказах и полное злобы, раскрашивающей жизнь красками бульварного романа. И что-то свинцовое осталось на душе от этих рассказов.

Ну, ушел Сергей. В воскресенье у него собрание по словарю, т. е. не у него, на этот раз он созывает на Троицкую, в контору издателей.

Со своими сотрудниками я говорил: думаю, что к сроку будет готово.

Утром сегодня начал практические занятия. Вышло, право, совсем недурно. И девицы, кажется, сразу заинтересовались. Насколько легче работать с курсистками, чем с нашими институтскими. Тут сразу поддержка и отклик в аудитории есть. Их только толкнуть — они сами идут, добиваются, требуют. Жизнь есть.

Посмотрим, что будет на юридическом факультете, где я завтра лекции начну. Там занятия у меня шли в прошлом году недурно в первое полугодие, но потом держались тоже на филологичках, которые и сюда ходили.

А потом, после курсов, я попусту весь день потерял: Платонов назначил в 2 ч. экз[амен] в у[ниверсите]те. Я мог бы домой попасть к 12 $^1/_2$, а потом скоро назад, на остров. Решил лучше сделать пару справок, казавшихся нужными — в Госуд[арственном] ар[хиве] и в Сенатском. А справки-то оказались вовсе пустыми. Потом чуть не час ждал в у[ниверсите]те, думая, что Платонов зайдет в профессорскую, сидел там, а когда пошел его искать, в 20 м[инут] третьего, оказалось, что они с Рождественским почти кончили экзамен, народу мало было. Потолковал с Романовым, Платоновым — и только в 4 ч. домой попал, сел тебе писать, пообедали и теперь кончаю письмо. И куда-то время ушло: уже около семи! <...>

Д. 9. Л. 393—397 об.

743

18 сентября

<...> Сегодня суббота. День этот у меня свободный остался. Расписание мое так сложилось: понедельник от 12 до 3-х (час на курсах, два в университете); вторник 12 до 1 ч. на курсах, потом путешествую в институт и читаю от 2 до 4-х ч.; в среду две крайности: от 9 до 11 в университете, от 7 до 9 на курсах; в четверг от 9 до 11 на курсах, остальной день свободен; там же и в пятницу от 10 до 12-ти ч. Все-таки свободного времени порядочно остается. Его надо посвятить словарю и Арх[еографической] комиссии. Но и затем останется полная возможность нам взять с выставок все, что они дадут, и отдать им столько, сколько понадобится. А прошлогодний сезон такой, в конце концов, интересный был, что я с нетерпением жду, когда определится, что нынче устроят. Вот жаль будет, если «салоны» не возобновятся. Ведь «Аполлон»-то, кажется, больно плохо себя чувствует.[541] <...>

Сегодня я дома сидел до половины третьего, писал кое-как Сенат свой. Пора бы давно его кончить, а я все тяну и тяну. Ну, ты-то его уже не застанешь. И корректуры все просмотрел, в понедельник отошлю. Есть, конечно, порядочно слабые места, но, в общем, кажется, прилично.

А к трем я по глупости нарядился в сюртук и попутешествовал на курсы, купив по дороге галоши. Бог знает как дорого: 3 р. 60? Разве всегда так было? Я купил на подкладке, п[отому] что мои зимние тоже исчезли. Оказалось, что странствовал я и доканал свою простуду понапрасну. Я прочел в «Речи», что сегодня будет собрание в память Фаусека, о котором, что надо его устроить, на совете говорили. Я и подумал, что неловко не быть, а «собрание»-то оказалось сходкой курсисток без профессоров. Так тотчас назад и отправился. После обеда опять пописал. И с Гутиком немецким позанялся. <...>

Завтра в Педагогическом институте панихида по Форстене. Придется поехать, хотя мне это совсем некстати, ни из-за простуды (а у нас мокрота стоит), ни из-за работы. Ну, посмотрим, может быть, приду в порядок.

Позвал меня к телефону Тарле. Что-то у них там бестолково выходит, и я, кажется, попусту с ними связался. Поговорив с ним, я позвонил к Сергею. Оказался дома. Про Володю говорит, что все то же. Жарок, боли, слабость, есть перестал, наяву галлюцинирует и пугается этого, говорит, точно с ума схожу. Бедный мальчик и бедный Сергей. <...> Сегодня он как-то странно удивился, что я про Володю спрашиваю и беспокоюсь. Моя манера помалкивать и ему, видно, кажется равнодушием? А мне его до чертиков жаль...

Льет дождь. Не могу я идти к нему. Меня и так дрожь разбирает от одного звука падающих капель. На ночь еще хины приму. Некстати это мне совсем. <...>

Д. 9. Л. 398—399 об.

744

19 сентября

<...> Сегодня я даже на панихиду не пошел. Думаю, что и вечером на собрание по словарю не пойду. Лихорадит меня и от кашля грудь клокочет. Боюсь, буду ли в состоянии завтра лекции читать. Совсем это в начале года некстати. Зато, как всегда у меня, такое состояние не только не убивает меня, а взвинчивает, и Сенат пишется благополучно. Миша еще своего отдела в чечулинскую «Екатерину Великую»[542] не сдавал, значит, совсем ничего, что я немного затянул. Да и Блинов уехал в деревню. А у меня на днях готово будет, а остальное уже и набрано, и прокорректировано.

Заходил сегодня Миша. Он в весьма рабочем настроении. И то и другое собирается сделать. В течение октября составит статью о трудах Георгия Васильевича, чтобы прочесть ее в Историч[еском] обществе. Потом примется за работу о русской торговой политике после Петра В[еликого] — если напишет, а у него материалу довольно много подобрано, доктором будет.[543] В дальнейшей перспективе еще работа по истории русского искусства — об аллегорических мотивах в старинной религиозной живописи. Первые два дела он, конечно, сделает. Ну, а последнее — не знаю. Он, кажется, совсем не представляет себе всей трудности подобной задачи, требующей, как всякая работа по истории религиозных и иных сюжетов, начитанности в произведениях старинной литературы, о которой он никакого понятия не имеет.

Но хорошо, что у него вообще настроение такое. Джон на днях выпускает в свет книжку о «чужом я», из статей, печатавшихся в «Ж[урнале] М[инистерства] н[ародного] п[росвещения]»,[544] этот всегда хорошо работает. <...>

Д. 9. Л. 400—401 об.

745

20 сентября

<...> Дедушка получил письмо от Нади, очень довольное. Мушка и Бебочка увлечены своей гимназией — они поступили в какую-то частную гимназию, где преподают по-новому, историю, судя по тому, как она пишет, в духе нашего преподавания у Оболенской, рисование — листья, цветы с натуры и со «стилизацией» их. Пишет Надя, что и Леля втянулась в занятия Строгановской школы, тоже «стилизует», но Наде ее стилизация не вразумительна. А Милочка с успехом и увлечением работает по истории на курсах. Видно, их охватила после глуши деревенской рабочая атмосфера столичных учебных заведений. Денег пока не хватило на доплату 100 р. в гимназию. Очевидно, дедушка пошлет. Это, судя по всему, нужное и хорошее дело. Мне Надины девочки представляются живыми и стоящими. Нет в них, надо полагать, ни вялой ординарности ефремовской семьи, ни перенервничавшегося модернизма Карповичей, расслабленного и не очень-то здорового, пожалуй, даже у Миши, хотя он и не то, что Наташа.

Сегодня я отослал с Луизой в Сенат корректуры, с письмом Мурзанову. Пусть исправят и еще пришлют. <...>

А тебя жду всей душой и всем сердцем в воскресенье. Жду и твоих этюдов. И мне кажется, что так ты еще никогда не писала — особенно дом домбровский и стодолу,* пожалуй, и темные снопы, хотя они совсем другие, меньше кончены. Интересно очень, что ты нового привезешь... А мне мнение Голованя тут мало интересно. Кому бы я, и притом без тебя, показал бы эти этюды, это Крахту. Он очень строгий, но очень непосредственный, и потому его впечатление всегда содержательно.

А мне придется сегодня выйти. Ведь сегодня этот совет в гимназии об том, как что сделать для памяти Георгия Васильевича. Нельзя мне не быть. Да, кажется, я отхожу. Если только этот вечерний выход не испортит дела, завтра буду лекции читать. <...>

Опять перерыв в письме. Гутик помешал, потом надо было идти в гимназию. Хорошо, что пошел, а то чепуха бы вышла. Ну, это неинтересно. Порешили просить о разрешении начать сбор на стипендию имени Г[еоргия] В[асильеви]ча от имени гимназии и выбрали «комитет», ну, конечно, всю компанию и еще 3-х дам. Тут же Миша нам сообщил, что от факультета с венком поедут Кареев и Гримм, но желают, чтобы мы ехали. Решили поехать: Сергей, Миша, Джон, Ярошевский, Боровский и я. Рассчитываем, что, быть может, и ты соберешься. Поедем 1, вернемся 3 октября, так что я ни одной лекции из-за этого не пропущу. <...>

---

* Ригу (*польск.* stodoła).

Володе сегодня получше, но слаб он, и дело с ним, очевидно, сильно затягивается. Сергей опять простужен, немногим лучше меня, но статью для «Вестника» написал — о кризисе русского символизма, по поводу полемики Брюсова с Блоком и Ивановым. Должно быть, очень интересно, хотя он и говорит, что совсем не так все выразил, как надо бы. Но мысли его интересны. Мы из-за них и проспорили часа два, причем Головань возопил, что добросовестно слушает, но ничего не понимает. Мы, впрочем, в этих вопросах все трое друг друга плохо понимать стали. Все время разговор как-то перевертывается. Усложнились очень вопросы, а распутаться в них некогда, ну и не можем мыслей своих, которые еще бродят, а никак оформиться не могут, ни в порядок привести, ни выразить, хотя бы друг другу вразумительно.

Все необходимое — написал. А потому прощай, спокойной ночи, моя голубка. <...>

Д. 9. Л. 402—405 об.

746

21 сентября

<...> И скоро ты уедешь оттуда, от этой осени, от этой красоты. Жаль это. Какая отличная мечта у тебя мелькнула, если бы мы могли там всем этим хоть несколько дней вместе подышать, одни, вдвоем. А приезд твой сюда точно с воли в клетку. Разве не чувствуешь, не понимаешь ты то самое, что я хочу выразить, говоря, что ты природе и искусству сестра родная? Разве не там твоя настоящая глубокая жизнь, которая тебе и силу, и радость дает? Разве не там твое родное? Как ты крепко чувствуешь, что природа — никому не дается, всегда остается и останется сама по себе. Наши «символисты», о которых вот Сергей пишет, за это ее боятся, от нее убегают. А тебе это дает «страшный наплыв», тебя к ней, в нее тянет — и нашу любовь с нею слить хочется. <...>

Я не мог не написать тебе о Г[еоргии] В[асильевиче] и этих диких рассказах, хотя как-то дико и жутко даже передавать это. Верить им, я думаю, немыслимо. Тут все переломлено ненавистью и какой-то отталкивающей рисовкой. Недаром эта Ариадна всегда мне была противна, что не нравилось Сергею. А, конечно, если хоть часть — правда, то тут что-то огромное и невыносимо жалкое, мучительное и в то же время сила и большая натура... Но именно потому Тырковы едва ли могли понять, в чем суть, и по видимости внешней построили и то, что, может быть, считают «фактами», а что совсем не так, глубже, наверное, и сложнее было. <...>

У Кусевицкого с его симфоническими, должно быть, не блестяще пошло, п[отому] что он рассылает тетрадки своих программ по адрес-календарю. И программы хорошие, но, по-моему, кроме 2—3 конц[ертов], у Зилоти интереснее. <...>

Получил я записку от Гримма. Он сообщает, что если 1-го окт[ября] поедут, то он не может ехать, потому что 2-го необходимо быть в важном заседании факультета, а предлагает ехать 2-го вечером, пожертвовав «не без удовольствия» лекциями в понедельник. Не знаю, каковы планы Кареева, считает ли и он столь существенным быть в заседании. Но у меня в понед[ельник] 4-го лекция в Гатчине. Положим,* мне кажется маловероятным, чтобы Кареев изменил срок поездки, с другой стороны, если это так сложится и выяснится немедленно, то можно еще успеть перенести лекцию на другой день. Надо с Мишей столковаться. <...>

Уж начал неприятности рассказывать, расскажу еще одну, которую вчера недописал. На совет в гимназии почти никто из учителей не пришел: только двое, а много было учительниц и классных дам. Ярошевский говорит, что это едва ли случайно — были разговоры в учительской: к чему это? с какой стати? и т. д. Вовремя я оттуда ушел. Пожалуй, лучше было бы и в попечительный совет не попадать. Ну, это надо сделать для Елиз[аветы] Ник[олаевны], а может быть, удастся кое-что и поддержать.

Впрочем, неизбежно, чтобы эта гимназия очень скоро стала по духу вовсе нам чуждой. Но отступать было поздно, те, кто был, единогласно приняли предложение о проекте учреждения при университете стипендии имени Г[еоргия] В[асильеви]ча, а попечительный совет одну из своих стипендий в гимназии назвал его именем. И на том спасибо. <...>

Д. 9. Л. 406—407 об., 212—212 об.

747

[Без даты]**

<...> Доехал отлично — телом, хотя на душе было, Бог знает, как тяжело, с острой болью, от которой губы раскрывались и что-то бормотали, так что приходилось уходить на площадку, чтобы соседи не приняли за сумасшедшего. Усталость это? Не знаю, но что-то во мне бурлит и бунтует, куда-то рвется и тоскует. Тихо, душечка, все равно ни до чего не доскачешь...

Приехал, ну, дома все в порядке. Много новых книг прислано. <...> Дедушка выглядит недурно — рад был мне. Говорит, что на нынешний год нечего и думать о переезде в Москву, так как Надя уже водворилась на новой квартире, и ломать ее устройство пока было бы слишком затруднительно. Маня уверяет, что папа в Москву не хочет, потому что удерживает его самая большая его любовь, т. е. я!

Телефонировал Сергею. Усталый, тусклый голос... Сообщил мне он, что в этот же день, т. е. вчера, будут делать операцию Володе. <...> По совету Соловьева положили его в Евангелической больнице на Васил[ьевском] острове. Сегодня уже операция, значит, миновала. Но это только первая. <...> Володя после нее вчера был удовлетворителен. Вечером Сергей опять там был — ездит каждый день утром и вечером. <...>

---

* Продолжение письма на л. 212—212 об.

** Датируется предположительно. Помещено в деле среди писем 1909—1911 гг.

Потом пришел Платонов — только для того, чтобы расспросить о «Сенате». Завтра у них заседание, надо ему было знать, что говорить. Скажет, что я кончил, осталась только мелкая отделка того, что я в деревне не мог сделать. Это почти и верно. Хорошо, что он пришел, а то я и не знал, что завтра у меня экзамен в университете. <...>

Я пока сбегал к Елиз[авете] Ник[олаевне]. У нее сидела Тураева, так что мы только мельком и виделись. У нее то и дело слезы на глазах. Просила зайти вечером. <...>

У Сергея вид очень усталый, потухший. Голос тягучий, ленивый, хотя загар еще не прошел. И сколько силы и яркого чего-то в его лице, несмотря на то... И сколько нежности подымается в душе, когда вглядываешься в него. Хотелось погладить его по лицу... Я не могу его «жалеть», это не идет к нему. <...> Хорошо, что я не женщина, а то он мучил бы меня во сто раз больше, чем теперь. Какой он сложный, яркий, светлый... Я вчера заново влюбился. Но ведь ты, Юлек, не станешь ревновать? <...>

Уговорились мы с ним встретиться у Мани и зайти к Гримму. Я раньше его к Мане пришел. У них прехорошенькая квартира, странного плана, как-то звездой разбросаны комнаты. 90 р. со всем — дешево, п[отому] что дом новый, потом, конечно, набавят. Ив[ана] Пл[атоновича] нет: уехал в Седлец, где они с помощью тамошних православных монахинь насаждают русскую кустарную школу. Тоже «обрусители»... Маня очень рада была нам, поила нас чаем. Рассказывала о Палибиных отчаянные вещи. Коля, по ее мнению, совсем ненормальный, развинченный истерик. Хозяйство он вовсе забросил, имение нечем ни ему, ни папе спасти от продажи за долги. Коля ушел в свое «землеустройство», которое считает великим делом, и махнул рукой на семью и имение. Он и сам так дедушке говорил. Жить семье нечем, кроме того, что дает папа. Как это все сложится, что впереди предстоит, трудно и угадать.

От Мани пошли к Гримму. Надо словарь двигать.[545] У Гримма готово 100 слов, у Адрианова — 80, у меня — ничего! Дело плохо, тем более, что Сенат не кончен... Написал Романову, чтобы выяснить, что сделали мои сотрудники с данной им работой. Но один из них, Чернов (я знаю от Платонова), прохворал тифом... Как справлюсь, боюсь думать...

Возвращаясь домой, мы с Сергеем много толковали. Трудно пересказать. Я жаловался, что руки связаны, а перед глазами носится возможность хороших, больших задач. Он это обще взял, о русской жизни и науке говорил... Сил много, все вразброд, ничего не организуется, оттого они даром пропадают. Веры в людей и жизнь, веры в русских людей и силы русской жизни у него так много. И в меня он так верит... Рано, говорит, итоги подводить, ты только ведь, в сущности, начинаешь. А трудно всем — от одиночества в деле. Я и говорю, что жаль, не пошел их путями, его и Голованя, я бы их связал и двинули что-ниб[удь]. Говорит, нет, все равно, ты бы один работал, а мы бы только понимали и сочувствовали. Но сколько бы они мне дали и от меня бы брали... А теперь я ползу по каким-то тропинкам крутым. <...>

Прощай, моя Юля, жизнь, сердце, все ты мое... Господь с тобой. <...>

Л. 408—411 об.

748

27 мая

Уехала. Пусто, тихо кругом, как в развалинах. На душе какая-то «мертвая зыбь», беспокойное чувство, заставляющее без толку ходить по пустым комнатам.

Вчера после ухода поезда — поехали 9-м № домой, съели раков (оказались отличными), говорили о словаре (конечно!); потом почему-то обо мне. Я пробовал объяснить Сергею, что мои интересы и мое понимание всяких вещей, что он так крепко ценит, странное: я люблю, напр[имер], Пушкина, музыку, искусство — и он считает, что я прямо и легко схватываю самую суть, но все, чем я дорожу — мне довольно взглянуть, послушать, чтобы знать в чем дело — а не отдаюсь я этому ничему, не перечитываю любимых вещей по десять раз, как он, не могу без конца погружаться в рассмотрение, смакование, что ли, а взял, отметил в себе и мимо. Я могу двадцать раз взглянуть на Сикстину, но сидеть перед ней дольше 5 минут — мне скучно. Поэтому мои «меткие» восприятия — тверже, но, в сущности, беднее, чем у тех, что умеют вживаться в впечатления, погружаясь в них подолгу. А я иду и иду мимо, оглядываясь, присматриваясь, но не останавливаясь. Он пробовал объяснить, что мне и не надо иначе, да я не очень понял. А м[ожет] б[ыть], это так у меня потому, что я одному отдался без остатка и во всем все одно и то же вижу и чувствую. Ты знаешь — чему, моя мучительная радость. И это безумное рабство так иногда больно обходится. А без него — что я такое? Но об этом мы не говорили.

Утром встал рано. Занялся словарем. Выправил «Австрию» и т. п. <...>

Получил паспорт. У градоначальника хвост за паспортами с концом на улице — больше часу ждал. Купил Короленко. В редакции больше 2-х ч. просидели за корректурами. <...>

Надо втянуться в работу. Сегодня больше бегать. А завтра — от 5—7 обед у Альбера с Гриммом, с 7 — у меня «сотрудники». В воскресенье, в час — к Хлопину. Платонова сегодня я не пойду провожать: он едет к Белому морю с экскурсией курсисток, я с ним по телефону говорил.

Право, Юлек, лучше совсем не писать, чем так писать. А я весь измолот на какие-то кусочки, как и письмо мое. Не вовремя это. Так надо бы подобрать все силы, собрать их в одно — для больших ученых затей. Дадут ли они мне толчок к тому, чтобы подобраться? Поможет ли лето, Париж? Вот, помнишь, как удвоилась моя бодрость и сила после первой нашей чудной заграничной поездки? <...>

Попробовал поспать, да без толку, к телефону позвали — некий Михайлов, довольно-таки неприятный субъект, вздумал просить, чтобы я о его статейках где-нибудь рецензию написал... Так я и не передохнул. Делать — ничего сейчас не делается. Посмотрим, не будет ли завтра лучше.

<...> А м[ожет] б[ыть], к вечеру хоть отойду и позаймусь. Дела-то столько! В воскресенье попробую заказать себе билет на 5-е, вечер. Значит в Париже буду только 9-го июня. Сегодня я узнал, что раньше 15-го французский «Paris» Бедекера не выйдет.[546] Возьму у Сергея старый или куплю немецкий, хотя это и не симпатично. Это очень мне не нравится. Ну, прощай, Юлек, Господь с тобой.

Д. 10. Л. 1—2 об.

749

29 мая

Сегодня, дорогой Юлек, на небе — ни облачка, солнце сияет вовсю, но воздух еще холодный (всего 8° — в 8 ч. утра) и такой прозрачный, что дальние предметы выступают отчетливо, точно в очки смотришь. Дай Бог, чтобы и у вас там ясно было. Когда я думаю о ветрах и дождях домбровских, мне делается тревожно за Алю. Гутику я купил Авенариусов, даже и тех, что достали у Манизер. По-моему, эти книги надо иметь, они и Але пригодятся, а потом и Славе. Купил и Короленко — всего; это авось и ты почитаешь. <...>

Вчера я так и не успел написать тебе, кроме посланной днем записочки. А Гримм надул. Перед уходом моим в редакцию заявил мне по телефону, что на rendez-vous явиться не может, слишком устал из-за ночного экзамена накануне и дневного вчера. Поехали мы поэтому к нему. <...> А его дома не оказалось. Швейцариха сказала, что он-де поехал в университет. Мы туда. А там говорят — только что посылали по спешному делу к проф[ессору] Гримму и тоже получили ответ, будто он в у[ниверсите]т поехал, но он и не показывался. Так и канул, как топор в воду. Пришлось махнуть на него рукой и пообедать у Лейнера с лёвенбрей и пильзенером для предвкушения «заграницы».

Дела в словаре, собственно, очень плохие. Печатание и корректирование идет из рук вон плохо. Сергею приходится входить во все мелочи — и то ничего не выходит. Хлопин вовсе не редактирует своего материала, и во второй корректуре, после которой надо верстать гранки в страницы листами, их отдел неряшлив и невозможен. Кончится тем, что и эту работу Сергею придется делать. Сегодня предстоит, очевидно, резкое объяснение с Хлопиным. А Сергей не умеет говорить твердо, определенно и решительно без того, чтобы не раздражиться и не внести лишнего. Это вредно, потому что мешает получить нужные результаты, а подменяет их ссорой, передрягами и путаницей. Мне трудно тут что-ниб[удь] поделать, ведь я только самозванное прилагательное при Сергее по нашему отделу. А Гримм как «главный редактор» вовсе в тираж вышел.

Хоть тебе до тошноты надоел наш словарь, но, наверное, эти сведения все-таки любопытны. <...> Потом отправились по домам. Я в дверях встретил Романова и Любомирова. Чудак Любомиров — взял да сбрил усы и бороду и теперь похож на старую обезьяну. Потом и остальные трое подошли. Ну, слава Богу, буква «Д» пришла в полный порядок. Покончив с делом, пили чай в столовой. Лиза подала кусок телятины с салатом и лицерией, и все это исправно съели, выпив сперва по рюмочке «ерофеичу», по очереди, из одной рюмки. Потешная моя молодежь. Они меня угощали и за мной ухаживали, точно я у них, а не они у меня в гостях. Глупо чувствовать себя «папашей» среди группы молодых людей. Эх, старимся мы, Юлек, старимся. И хоть ты называешь себя старухой, но к физической старости я иду много быстрее, чем ты, и твои прежние опасения, что ты уже, как говаривала, старухой будешь, а я еще останусь с молодой жаждой жизни, оборачиваются совсем наоборот, угрозой для твоего Сани...

А все-таки я стою сейчас перед новым и для меня значительным штурмом в свою жизнь как «ученого», и если штурм удастся — хорошо бы это было. Только бы силенки и самообладания хватило, несмотря на растрепанность, да еще веры, веры в жизнь, что она, несмотря на все тягости свои, стоит много увлечения. Это лето многое прояснить и выяснить должно. <...>

Д. 10. Л. 3—4 об.

750

30 мая

<...> Вчера, дорогой Юлек, день странный вышел. Все безотрадные впечатления. Ну, утром дома себе был, разобрался в летописи, которую порядочно забыл. Кажется, можно без труда сдать в набор конец тома, который я печатаю в Арх[еографической] комиссии.[546a] И то слава Богу. Но что за безобразие, что я тянул больше двух лет, когда работы осталось на три дня! Прямо затмение какое-то. <...>

Написал я, что все безотрадные вещи были, а пишу о хороших — о летописи, о Сазонове. Но вот дальше. Пошли мы к Хлопину к часу и сидели с ним до без четверти шесть. Тут не очень-то приятно было. То и дело слышатся весьма враждебные нотки с обеих сторон, и от Сергея, и от Хлопина. Сергей всеми силами старался говорить ровно и даже приветливо, но возражения Хлопина вызывали всплески весьма раздраженные. А Хлопин старался дать почувствовать, что знает, что говорят о нем, и т. п. Но, в конце концов, он был очень осторожен и внимательно отмечал все замечания, так что в общем часы, что мы с ним возились, не пропали даром; он понял, чего от него хотят, и хоть брыкается, а кое-что сделает. Но много толку не будет. Хлопин не может, если бы и захотел, быть таким редактором, какой нам нужен. <...>

Только вздремнул — разбудили: какие-то «учащиеся» пришли на бедность просить и получили рубль. Попытка заняться летописью — не удалась, и, потоптавшись без толку, я к пол[овине] десятого отправился к Сергею. <...> Разговоры пошли о Фаусеках, о Гревсах. И такие вышли тяжелые. Началось по-хорошему. С[ергей] Ив[анович] показывал выработанный Ю. И. Фаусек «курс» особых предметных уроков своих. Меня дернуло сказать, что я всегда о Фаусеках думал: никогда не верилось мне в их душевное здоровье и жизнерадостность, в их лицах постоянно мелькало что-то сдавленно-грустное под внешней веселостью, что-то нездоровое, их отношения к друг другу отзывались холодком, а детей-подростков они слишком рано втянули в какую-то слишком сознательную внутренюю жизнь, в ковырянье душевных состояний. И С[ергей] Ив[анович] сразу согласился, да еще прибавил, что в семье Ю[лии] Ив[ановны] коренился психоз. И как-то с Фаусеков съехал на Гревсов.

Говорил он про них очень тяжелые вещи. Мар[ию] Сергеевну, оказывается, давно считают глубоко больной натурой, которая на людях держалась усилием, под которым столько усталости было, а дома — была всегда очень тяжелая атмосфера, тем более, что у них живала сестра Ив[ана] Мих[айлови]ча, вовсе душевнобольная. Теперь те, кто у них бывает, Юл[ия] Ив[ановна] Фаусек, Шидловская (племянница Ив[ана] Мих[айловича]) — говорят, что там все разговоры, припоминания об умершей дочери, споры о том, был ли ветер в день ее похорон, с раздражительностью, точно этот «вопрос» всех задевает, и т. п., а младшая дочь — с сильно развивающейся болезнью. Удивлялись мы, что Ив[ан] Мих[айлович] так бодро сносит все это. Но С[ергей] Ив[анович] по этому поводу довольно сурово отозвался, что Ив[ан] Мих[айлович], в сущности, суховатая и жестковатая натура, по которой поэтому много скользит. Этим он совсем доконал Сергея, да и меня, так что ушел я от всяких этих «анализов» и пересудов наших, от «клинических» разговоров — совсем развинченный. <...>

Сегодня никуда не пойду. Буду над летописями сидеть. Надо прежде всего с этим покончить.

Для словаря необходимое успею тоже сделать. Билет надо завтра брать, а то и вчера, и сегодня касса вовсе закрыта.

По мере приближения к отъезду начинаю, к сожалению, приходить в краковское настроение. Большая охота поработать и весьма малая что-ниб[удь] смотреть. О Берлине и говорить нечего. Скучно даже подумать о музеях, представить себя одного в этих огромных залах. А кассельский Рембрандт? Умом понимаю и держу свой интерес к нему. Но думаю, что только заставлю себя посмотреть его, потому что глупо не заставить. Но на что мне эти переживания — без тебя? Чтобы письмо о них тебе написать только. Без тебя — только работа имеет некоторую свою цену, раз не выпало мне на долю (а, вернее, не сумел я) создать себе работу, пропитанную тобой, большой моей любовью. А это можно было. Ну, да о чем тут думать! Слишком Саня жаден. Но ведь это закон природы. Теперь, когда цветы распускаются, как жадно пьют они солнечный свет, как тянутся к нему и никнут после заката... Никнут или отдыхают? И я «отдыхаю», уходя от сердечных напряженностей в архивы и библиотеки — в тишину спокойной, одинокой мысли. Но лучше сгореть в цельной, насквозь прохваченной жизни, чем так «отдыхать», разве нет? Только с тобой я бы не выдержал, надобен уголок, куда иногда убежишь, чтобы сердце пришло к более ровному и глубокому бою: Ю-ля, Ю-ля, а то ты ему слишком большую работу задаешь. Только все это ведь выдумки. Я всегда «выдумываю», чтобы себя настроить так, будто все к лучшему в этом лучшем из миров. <...>

Д. 10. Л. 5—7 об.

751

31 мая

<...> Может быть, и вправду тут больше усталость моя виновата и «нарушенное равновесие нервной системы», как говорил Бертенсон... Только нет, не в этом дело. Но разве не естественна жажда, при такой растрате сил, как при нашей жизни, иметь источник их роста и возрождения — в своем личном уютном и светлом сердечном уголку, когда можно быть с тобой самим собой, переживать лучшие настроения, от которых душа растет к крепнет? <...>

Вчера — до вечера — я сидел дома; проработал весь текст, оставшийся от издания летописи. Сегодня или завтра покончу с подготовкой его для типографии. А остальное время — для словаря. <...>

Вечером вчера я занимался, пока не наткнулся на необходимость справки в отпечатанных листах моей летописи, а их у меня не оказалось. Поехал к Романову, застал его дома одного с каким-то товарищем — математиком — и просидел за чаем весь вечер.

Теперь сижу за летописями, чтобы возможно скорее покончить. <...> Пришли «Русские ведомости» от Полонского со статьями о Ключевском.

Лиза собирается уезжать. Поэтому весела. У нее все время новый кавалер на кухне сидит, и она под его гармонику песни поет. А в воскресенье куда-то «на вечер» уехала. <...>

Телеграфировать не буду. В понедельник встретимся. А Сергей говорил мне, что раньше начала июля не выберется из Петербурга. Что же, это и выйдет, как сперва предполагалось, т. е. что я месяц один в Париже, а там вы подъедете, а там что Бог даст. <...>

А у меня к тебе, Юлек, большая просьба. С 1 июня ты будешь получать «Речь». Просматривай внимательно, или Гутику скажи, чтобы следил, будет ли что о Ключевском. Милюков не кончил своих статей о нем, и хотелось бы сохранить все, что он напишет. И вообще, хорошо бы сохранить до моего приезда все статьи, подписанные «Милюков» или «П. М.». Он летом от нечего делать часто интересные статьи пишет. Полонский прислал мне ст[атью] Кизеветтера о Ключевском. Я все, что собрал, привезу в Ковно, чтобы перечесть, когда вернемся. М[ожет] б[ыть], вместе со статьей Сергея Федоровича, кот[орая] будет в Жур[нале] Мин[истерства] народ[ного] просвещения — это вдохновит меня начать осенью курс лекций о Ключевском. Следовало бы, хотя и трудно. <...>

Д. 10. Л. 8—9 об.

752

Четверг, 2 июня

<...> А я вчера тебе не писал. Заработался и очень был зол. На кого? На Шахматова! Вчера я закончил подготовку конца летописи к печати и очень намучился с неудобным и неправильным планом издания, какой выдумал Шахматов, а мне приходится выполнять. Издание выйдет довольно-таки нелепое. Ну, да лишь бы сбыть с плеч. <...>

В Париж, по совести сказать, я поеду только потому, что так нахвастал большими задачами этой поездки, что надо хоть вид сделать. Такое у меня сейчас настроение. Да еще по одной причине, о которой лучше не упоминать.

Не знаю, надо ли мне перед отъездом у кого-ниб[удь] побывать. Манизеру я обещал. Но его и надуть можно. К Джону надо бы забежать. Это м[ожет] б[ыть] сделано. <...>

Пока до свидания, моя радость, моя жизнь, моя Юля. Скорее, скорее бы к тебе.

Д. 10. Л. 10—11 об.

753

Без даты

Вержболово проехал, дорогой Юлек, а теперь пишу в Эйдкунене[547] в ожидании обеда. В Вержболово я справлялся о ночевке; там имеются комнаты по 1 р., 1 р. 50 к., в здании вокзала во втором этаже. В Эйдкунене — около вокзала 2 гостиницы. Думается, что второе — удобнее, так как на вокзале шумно, и спать не будешь. Вообще как-то странно представить себе тебя, ищущей ночлега в чужом, незнакомом месте! <...>

Впереди — скучная ночь и скучный Берлин. Но к Парижу — во здравие Голованя — интерес есть. <...> Я вообще до смешного умею себя настраивать — и тут начал книжками это делать, как только утром в поезде из Петербурга проснулся. Но каков бы ни оказался Париж, Головань не прав (i poverino!*), ставя парижские впечатления так, что-де то или другое может быть очень худо для тебя или для него. Он не знает, не предчувствует даже, что нам нового его Париж немного дать может, что то, что он там ищет, — в тебе все есть, только цельнее, чем он и от Парижа взять может. Этого, впрочем, ни тебе, ни тем более ему не объяснишь, по крайней мере сейчас я не сумел бы. <...> Ведь когда я встречаюсь с новыми, ярко-смелыми, неожиданными порывами «современного» творчества — я не теряюсь перед ними, беру их и понимаю, только потому, что ведь для тебя они такие простые, понятные и родные (Вагнер, Скрябин, новое искусство), точно ты с детства в них выросла. А это потому, что в твоей душе все эти грезы и искания естественно родились <...> И это мне дает ясность и веру в правду современной жизни духа, в ее ценность и истину. Ибо ты — моя вера, моя любовь, моя истина. А все остальное такие пустяки при этом главном. <...>

Д. 10. Л. 12—13

754

[24 июня]**

Итак, у меня, по-видимому, есть парижский адрес: 8, Rue Toullier, Hôtel des Mathurins. Впредь и пиши, Юлек, по этому адресу. Говорю: по-видимому, потому что Саня твой — ошалелый, усталый, сбитый с толку, без вина пьяный. И все ему кажется не действительностью, а какой-то странной феерией.

---

* Бедняжка! (*итал.*).

** Дата проставлена карандашом при сортировке писем.

Давно-давно я не видел тебя и не писал тебе. Эти безночные сутки, отрывистые, наспех, вокзальные письма — все это так растянуло время. И так ты далеко: вся Европа между нами. Ты в такой по-своему прекрасной — особым чувством затихшей широты — Домброве, где жизнь складывается так тяжко, обидно и удушливо, а я... Ну, нет, это потом, буду как летописец писать по порядку.

Письмо, которое я писал тебе на эйдкуненском вокзале, пришлось оборвать, потому что сперва Тур появился, потом мы с ним абордировали Максима Ковалевского. М[аксим] М[аксимович] оставался в Петербурге так долго, потому что писал статью «Англия» в энциклопедический словарь Граната. Скажите, какое усердие!.. А у нас таких имен знаменитых в словаре нет... Пошли садиться в поезд. Но носильщики так распорядились, что я попал не в их поезд (на Кенигсберг), а в другой — на Торн — и уехал на 10 м[инут] раньше их (5.42), нарушив расписание Сергея. Носильщик уверял меня, что торнский поезд всегда свободнее... Но публика менялась, выходила и уходила, а нам от того не легче было. Всю ночь в купе 5 чел[овек] оставалось, а то и 6. Спать не пришлось, сидя плохо умею. Больше, как писал тебе, проболтался в коридоре и на площадке. Поужинал в шпейзевагоне,* съел яичницу с ветчиной, запил пивом и кофе. Читал Бодлера, который в конце концов мне надоел. Ни о чем не думал, придя в какое-то тупое состояние. В Берлин приехал, словно в Ковно — и по настроению, и потому, что сразу нужные улицы вспомнил. Поезд, которым мне Сергей назначил ехать — в 1 час дня из Берлина — отходил от Потсдамер-банхофа и не соединен с фридрихсгамским вокзалом. Поэтому, если вы поедете этим же (часовым) поездом, надо сделать, как я: переехать с Фридрихштрассе, где окончательная высадка, извозчиком на потсдамский, там оставить вещи и туда к $^1/_2$ первого вернуться. Я тут же утром и взял Fahrkarte** Berlin—Paris (37.20, а Эйдкунен—Берлин — 24.10). В парижском поезде спальные вагоны имеются только для I кл[асса]; II-го класса спальных нет, и в нем только тем лучше, что места разделены ручками (и у изголовья, по профилю: **L**), так что лучше облокотиться можно и мягче. С вокзала пошел по Берлину. Ведь было всего 6 ч. утра. Купил по дороге сотню венгерских папирос за 2 $^1/_2$ марки, выпил кофе где-то на Фридрихштрассе. В Берлине — сезон ли такой, или*** что-то неладно пошатнуло берлинскую торговлю, но поражает количество распродаж и отдаваемых внаймы свободных помещений для магазинов. Какие красивые Damenkonfectionen выставлены на Лейпцигерштрассе (Mannheimer и бр.) и, кажется, сравн[ительно] дешево. В 8 ч. добрался к Герцогу, зайдя по дороге в помещение университета. Тут выбрал костюм за 65 марок (а не 60, как я, кажется, писал) и к 12 он был готов, даже раньше. Времени было еще много. Пошел опять бродить. Купил 2 тома Верлена на дорогу, позавтракал в Victoria кафе (напротив Бауэра, рядом с нашим Linden'ом, кот[орый] был еще закрыт). В Виктории мне за 1 m. 20 — дали 4 куска сыра с хлебом и маслом, яичницу из 4-х яиц и 2 ч[ашки] кофе. Потом обошел Национальную галерею, о странных впечатлениях от которой я вскользь писал тебе. Беклин кажется недоразумением, ненужным и манерным. По крайней мере, берлинские Беклины[548] —

---

* Вагон-ресторан (*нем.*).

** Билет (*нем.*).

*** Одно слово не разобрано.

вовсе плохи. Зато тут же поразил меня тонкой и чуткой живописью старик Ансельм Фейербах («Из весенних настроений» — три дамы; автопортрет) — а наверху Боде, точно назло немцам, повесил пожертвованных музею французов, которые (второго сорта вещи) убивают все остальное. Правда, владелец коллекции остроумно тут же подвесил несколько номеров — чтобы показать, как иные из немцев раньше и по-своему дошли до того, чего захотелось французам. <...> Подозрительны очень берлинские Родены. Лучше бы их не было вовсе. Бегло обойдя галерею, пошел к Герцогу, подождал — думал там тебе писать, да жара, духота и толчея не дали. С картонкой от Герцога, куда и два Верлена попали — поехал трамом на вокзал — уложил костюм в чемодан, написал тебе пару отрывистых строк — и уехал. Вот и весь мой «Берлин». С 6 до 12 на ногах, кроме двух кофепитий — и ничего. Усталость сказалась разве пустотой в мозгу и на душе. Тура больше не встречал. Дорога на Кёльн—Париж — такая же была. Жарко, тесно, без сна. Купленный Верлен (не стихи, а автобиография, худож[ественная] критика и публицистика) оказался скучным и убогим. Компанию попутчиков составляли — мальчик-школьник, едущий из Берлина посмотреть Париж, да юноша-художник, американец, учащийся живописи в Париже, но теперь долго проживший в Берлине. Остальные — менялись. Американец — сын скрипача Гуго Германна, который лет 5 тому назад играл у Зилоти.

Было тесновато, спать опять пришлось меньше, чем мало. Писать в вагоне было, как я и опасался, негде, да и настроения никакого не было. <...> С вечера стало холодно, дождь шел — так проехали кусочек Бельгии и Франции до Парижа. Париж встретил меня нахмурясь и холоднее холодного. Лишь потом разгулялся, видя, что я ничего — смирный. Да, Париж, Париж! Что с ним-то делать? Сама увидишь!

Ну, приехали — с опозданием — часов около 9 по здешнему. Французское время на 1 ч. 55 м. назади против Петербурга, на 55 — против Mitteleuropäisch.* Gare du Nord.**

Чемодан оставил в depôt.*** Сел в подземный метрополитен — до бульвара С[ен]-Мишель, поднялся бульваром до Сорбонны, свернул в прилегающие к ней улочки Латинского квартала — и ул. Toullier. M-r Menoud, старичок, рекомендованный Степой — у него все занято, студенты еще не разъехались, идет время экзаменов. Завтра будет комната, но большая — 75 фр. месяц. Нет ли рядом, у его тещи? Пошли вместе в Hôtel Toullier — но у тещи ничего нет и не предвидится. <...> И уговорили меня старики взять завтра ту комнату, а сегодня переночевать у второго старичка, m-r... — забыл уже, как его... Усталый, с ноющим зубом — не хотел я искать. А главное, из осмотра и расспроса выяснилось, что фр. за 45—50 можно иметь вообще комнатку очень маленькую, очень студенческую, а мне на так долго это как-то не очень уютно показалось. Тут — комната будет готова для двоих. К тому времени и Сергею что-ниб[удь] у Menoud освободится. Словом, согласился. Прельстил меня тихий закоулок, полный жизни, даже шума, но тихий по странно-простому уюту этих улочек Латинского квартала и его «отелей». Только что от письма тебе я выскакивал на улицу посмотреть, чего там большой шум. К сыну моего хозяина пришли толпой его товарищи по школе и с ним ушли куда-то шумной процессией среди улицы. Menoud — сидит на своем крылечке, газету читает. Неподалеку судачит пара кумушек. Мы en pleine province* — далеко от «столичности» большого города — и в двух шагах от б[ульвара] С[ен]-Мишель и Сорбонны.

---

* Центральноевропейского (*нем.*).

** Северный вокзал (*фр.*).

*** Камере хранения (*фр.*).

Menoud проводил меня до угла, показал, в какой трам сесть, рассказал, как пройти от места его остановки к Gare du Nord. Взял там свой чемодан, привез его на фиакре, умылся, нарядился в новое, погода будто стала разгуливаться, пошел без пальто, накупил по дороге на бульваре С[ен]-Мишельском зонтик за 6 ф. и соломенную шляпу, на бульваре ле Sébastopol — попал к англичанину — специалисту по настоящей панаме и разорился на целых 12 фр. Зато шляпа на голове, точно я в ней родился. Вообще с первых шагов меня охватило в Париже странное чувство, точно я не в чужом незнакомом месте, а так, как на улицах Москвы, более «дома», чем в Петербурге. Это чувство все нарастало сегодня. Нарастало удивление, что вовсе нет того чувства отчужденности, которое так сильно в знакомом Берлине было. Париж сразу принимает в себя, как хорошо сидящая перчатка руку, так как свободно, просто уверенно чувствуешь себя на его улицах, так легко спросить о чем-ниб[удь] прохожего или приказчика у дверей магазина. Ответят весело, покажут, проводят.

Нарядившись по-новому, я принял, видимо, общий шаблон на себя. Уличные продавцы, преследующие иностранцев всякою дрянью, оставили меня вовсе в покое. Отправился я с ул[ицы] Le Pelletier (Ле Пельтье — а если скажешь Пеллетье — переспрашивают: непонятно!) в Рус[ско]-Аз[иатский] банк. Взял 100 фр. на расходы, 1500 ост[авил] на счету. Этого надолго хватит.

Туда я долго брел по разным улицам и бульварам, по Монмартру и бул[ьвару] des Italiens. Захотелось есть, пообедал за 2 ф. 10, где Степа указала. Оказалось, что обедать надо там за 1 ф. 60 (это наз[ывается] завтрак), потому что того не съесть, а еще в обоих $^1/_2$ б[утылки] вина y compris.** Потом опять долго бродил по улицам, до изнеможения, пока подкосившиеся ноги не заставили взять «такси» (1 фр. 50). Дома прополоскал надоедливый зуб теплой водой, начал писать, написал до Парижа — заснул, проснулся в 8 ч. веч[ера] и стал продолжать.

Да, Париж, Париж! Ходишь по его улицам, и все тянет дальше, дальше. Две бессонные ночи, зуб ноющий — забылись как-то. Купаешься всеми нервами и неожиданной большой красоте. Живописен Париж до чрезвычайности. Много старины — память французского средневековья неожиданно составляет фон. И новое разнообразно, богато неожиданными ensemble`ями. Вообще неожиданность того, что за тем-другим поворотом откроется, бесконечное разнообразие. И все это не главное. А главное живет, движется, шумит на улицах голосами, возгласами, криками, свистками, сигналами. Слушаешь, оборачиваясь туда, сюда, откликаясь на каждый звук. Что-то в этих звуках — даже механических — особенно жизненное, задорное есть, остроумное, художественно-неожиданное есть. Как это пояснить? Ну, вот, кондуктора французские, отправляя поезд, вместо свистка сжимают какую-то штучку и она кричит, как детские игрушки от.* Так и хочется подсмотреть, что это такое, поиграть что ли. Или вдруг по улице идет человек и играет в какую-то дудку что-то бесконечно-задорное: это просто реклама, для привлечения внимания, а в ней то талантливо-бульварное, что нас так прельщало в парижанине-куплетисте Аквариума. И так без конца. Без конца разнообразны и типы. Толпа, подвижная и суетливая, экипажи столь разнообразных типов все время захватывают любопытство, потому что и тут все неожиданности, то и дело мелькнет что-ниб[удь] подчеркнутое, выразительное, яркое своей экспрессивностью. Тип франц[узского] рабочего, оборванца-апаша, странные женские типы, пестрота лиц и одежд — сюртук и шляпа на тянущем тяжелую повозку чернорабочем, фигура апаша с внимательным и вызывающим лицом в самом «парадном» месте улицы, тип полицейского, приказчика и т. д. и т. д., все это такие переливы, что... Не знаю, что, Юлек. Но вот: бродя по улицам, я вспомнил, что завтра Dimanche** — все заперто, что я буду делать? Пойти в Лувр? Даже смешно стало: осматривать «музей» искусства, когда тут, бродя по улице — наблюдая и глядя — творишь сам большое в себе искусство. Это не фраза, и вот то и странно, что тут на улицах Парижа — это не фраза... Хотелось бы поминутно делать croquis,*** зафиксировать линии, краски, движения, потому что это делается в тебе самом. <...> А рядом какая детская жизнерадостность, уверенность, приветливость. Какой смех, какая игра жестами, движениями, какая экспансивность. Но и какие на каждом шагу усталые, усталые лица, сколько злости в глазах, вызова в позах. И вернувшись в захолустное Toullier — рад, что не живешь там, на Монмартре и еще где, что есть и отдых.

---

* В глубокой провинции (*фр.*).

** Включительно (фр.).

Headed Голованя — полная и неожиданная победа. И что я это все пережил, заметил один, без тебя. Ну, кончено. Иду на бульвары. Не ревнуй, Юлек, но я сразу влюбился в парижские бульвары. Их не надо трогать искусству. Они сами большое и жуткое искусство. Вот так так! И так сразу!

Д. 10. Л. 16—20 об.

755

26 июня, Lundi
7 h. Matin.
Paris 8 Rue Toulier,
Hôtel des Mathurins, 10.

В субботу вечером, дорогой ты мой Юлек, я послал тебе восторженное письмо. Вчера такое же не вышло бы, а сегодня, вероятно, еще менее. Есть такие температуры, при которых воздух делается жидким, цветы и гуттаперча рассыпчатыми. Париж идет не такой температуре. Холодина препротивная. Дождя немного, но через час по столовой ложке. Но вчера я не писал тебе не потому, чтобы замерз, а потому, что был выброшен на целый день sur les pavés de Paris.* Комната, где я ночевал, была сдана со вчерашнего дня, а эта — была занята. Я как ушел утром в кафе, так и мотался весь день до 5 часов. Устал до чрезвычайности, так что в 5 пришел к mr. Menoud и заявил ему, что я a bout de mes forces** — и комнату мне тотчас очистили. Но я стал отдыхать за большущей пачкой корректур, чтобы их сегодня утром отправить, да и проотдыхал за ними и вечерний кофе, так как никуда уже не выходил, и возможность тебе письмо написать, потому что пришел от них в идиотическое состояние. Бедный Сергей, корректуры все еще плоховаты — особенно по хлопинскому отделу. Посылаю их с письмом к нему.

---

* Одно слово не разобрано.

** Воскресенье (*фр.*).

*** Наброски (*фр.*).

А тут устроился я не очень благополучно. Комната мне нравится, но она невелика, так что второй кровати собств[енно] негде поставить. <...>

В субботу вечером я с письмом к тебе — пошел искать ящика. Это не так просто. Эти ящики незаметно приделаны внизу у стены, и разглядеть мудрено, так как и окраска темная. Надо искать вывеску Tabac — так как у этих лавок, торгующих монопольной дрянью, и они обычно помещаются. Бродил по бульвару St. Michel — и дальше по линии бульваров. Место — этот картье латин*** — не очень удобно для наблюдения Парижа, центры жизни которого далеко отсюда — и без удобных сообщений — на Монмартре и boulevard des Italiens. Вообще система парижских сообщений далека от совершенства. Есть ряд направлений — основных — где ни трам, ни метро не помогут. Иной раз выручают омнибусы, и то не всегда. Да и дорого все ездить да ездить. Еще не знаю, как наладится мое сообщение с Национ[альной] библ[иотекой] — она очень далеко отсюда.

А хороши бульвары и ночью. Фон темный, на нем много разноцветных огоньков. У французов, видно, в крови какое-то колористическое чувство. Меня на каждом шагу поражало, как ловко брошены на стены пестрые пятна крикливых объявлений, давая пятна как раз там, где надо для ансамбля. Ходьба по улицам Парижа — все равно, что хорошая выставка талантливых картин. То и дело остановишься и не сразу дальше пойдешь. И даже — и, пожалуй, там особенно — в закоулках.

Побродив и выпив кофе — вернулся — и спал, как убитый. Утром уложился для переезда через улицу, расплатился (3.50) и пошел на почту. Шел по rue de la Seine — узенькой рыночной улочке. И тут в окружении лавчонок — маленькие эстампные лавки, на окнах оригиналы офортов лучших художников, красивые издания. И на бульварах есть открытые стойки — librairie, где для толпы мимо идущей, рядом со всякой дрянью — положены книги по искусству, иллюстрированные издания. Эта мелочь — характерна. В Париже самая суть — его настоящий демократизм, где высоты культуры смешаны нераздельно с жизнью и интересами улицы. Ведь тут самое интересное и талантливое — богема, живущая одною жизнью с этой улицей.

---

* На мостовые Парижа (*фр.*), т. е. остался без крыши над головой.

** На исходе сил (*фр.*).

*** Латинский квартал: Quartier Latin (*фр.*).

На почте 3 пакета корректур. Послал оттуда открытки. Бросил записку на posterestante* на имя Голованя. Тут же рядом выпил утренний кофе — и пошел в Лувр спасаться от холодного ветра и капель дождя. Странное что-то со мной. Кажется, я дошел до крайности рафинирования художественных впечатлений, уже такой, что она суживает и обедняет восприятие. Начал с древней скульптуры. Венера Милосская не запишет меня в свои поклонники. Скучная статуя. Банальная голова, которую портит более почему-то светлый оттенок мрамора, чем на торсе. Складки одежды — грубы и некрасивы. Целого нет. Право — так. Нет обаяния красоты. Мертво.

Вся эта скульптура в Лувре попорчена бездарной реставрацией. Смотреть надо куски, части. И то не много выглядишь такого, что нас в Берлине поразило — помнишь? В гигантомахии — как живет античный мрамор. Этого нет в Венере. А есть в 2—3 торсах поломанных. Но дивно хороши луврская Минерва и еще очень архаичная Гера, без головы.

Поднялся к живописи. Леонардо, Джоконда, Madonne au rocher,** Креститель, etc. Манерная, нездоровая экспрессия, плетеная композиция. Не взял и он меня. Живопись Ренессанса бегло посмотрел с чувством, что это для меня только археология. Ожил — on revient toujours a ces premiers amours*** — перед Рембрандтом. Этот настоящий, глубокий. Или я так его полюбил, потому что мы с тобой его так захватывающе смотрели? <...> И это все, большое и чудное, как Божье сияние красоты. Заглянул и в то, что французы называют sculpture moderne**** — это Гудон, Карпо и прочая декоративная труха. Омнибусом вернулся в cartier latin. Бродил по Люксембургскому саду — большой, красивый сад. Зашел от дождя в небольшой Musée du Luxembourg — тут ряд Роденов. Отличный бюст — портрет какой-то дамы, интересная «Danaide» — роденовский pendant***** к «Мечте камня» Кости Крахта. Но очень хороша скульптура Родена, только слишком она умная и мастерская, мало в ней внутренней жизни. Так что и это мимо прошло. В Люксембургском музее много «новой» живописи, но той умеренной, какую казенное учреждение признало. И это для изучения, не для себя. Измодернился я до крайности. Вот после Люксембурга я уже вовсе еле двигался. Зашел в кафе на boulevard St. Michel поесть, а попал в первоклассный ресторан, где пришлось за 4 фр. перевалить. Вообще эти 2 дня вышли много дороже, чем возможно. Надо приспособиться. Путешествовать на Монмартр, куда по указанию Степы я ходил — мудрено, потому что далеко. Надо иначе приспособиться, возле Нац[иональной] библиотеки где-нибудь. Пообедав, вернулся в rue Toullier — и сел на весь вечер за корректуры. Сегодня кажется еще холоднее, пасмурно и уныло. Надо подготовиться к делу, чтобы знать, с чего же начать, а то в голове все перепуталось. Надо к консулу и в библиотеку. А консульство только от 2—4 открыто. Впрочем, до того и лучше дома-то разобраться и подготовить, что потребовать у библиотекарей.

---

* До востребования (*фр.*).

** Мадонна в гроте (*фр.*).

*** Всегда возвращаешься к первой любви (*фр.*).

**** Современная скульптура (*фр.*).

***** Аналог (*фр.*)

Теперь сбегаю кофе выпить и в почтовое отделение корректуры отправить. А, право, лучше было бы остаться с тобой. Какие Парижи стоят таких 2-х дней с тобой, как последние два... Будь ты здесь... Ну, не надо дразнить своего бедного сердца. Оно и так готово плакать, хотя я написал Голованю, что в Париж влюбился так же сразу, как в твою улыбку, которую встретил глазами и сердцем на Головинском возле цирка. А он, этот Париж, уже ожил своим шумом, который издали в здешнем захолустье слышен. Теперь за дело, и Бог с ним, с Парижем.

Крепко целую мою чудную Юльку, мою жизнь, мое сердце, мое все. И бывают же на свете такие создания. Ведь не одна же ты такая? Или все мироздание только для меня породило один раз такую прелесть? Вернее, что так. <...>

Д. 10. Л. 21—22 об.

756

26 июня

Дорогой Юлек, я так ждал твоих писем. Вчера ничего не было, а сегодня сразу три. Но такого неожиданного содержания! Так умерла бабуня.[549] По-видимому, угасла без мук, тихо? Кончилась жизнь, уже сломанная болезнью. Такое тихое, простое впечатление у меня получилось. Так и ты это прими. Ведь так оно на самом деле? Завтра похороны, а я за письмами только в половине седьмого зашел, потому что работал в Национальной библиотеке до 6 ч. Прочел их в ресторане, куда зашел пообедать, а оттуда омнибусом приехал домой, в rue Toullier, и пишу тебе. Пока надо распоряжаться — ты держишься крепко, «только руки дрожат». Но придет, пожалуй, минута реакции, когда нервы сдадут, тогда я был бы тебе нужен. Но ехать боюсь. Это тебя, как видно по письму, огорчило бы, да и возможность выманить тебя за границу — удерживает. <...>

Буду ждать еще известий. Пойми и поверь, что если рухнет почему-либо наша мечта о твоей поездке за границу, я дней через десять могу отсюда уехать без особого ущерба для работы, начатой сегодня, и для меня в этом никакого убытка не будет. <...> Предоставь мне определить, насколько я могу сократить свое пребывание здесь, и поверь, что я к этому вопросу отнесусь очень деловито и зря ничего не брошу. Ведь необходимо мне тут рассмотреть некоторые старинные, недоступные в Петербурге издания (XVII и XVIII вв.), к чему я сегодня и приступил, а остальное — могу и дома делать, купив неск[олько] книг. Таково худшее, что я предполагаю. Но теперь мне больше, чем когда-либо, хотелось бы спасти твою поездку за границу. А тут ведь весь вопрос только в детях да в той домашней войне, которая может без хозяйской руки Бог весть чем разразиться. Существенно было бы знать, как вообще определится дальнейшая судьба Домбровы.[550] <...>

А я сегодня взялся за дело. Утром послал Сергею корректуры, потом до часу дома занимался, подготовив материал для библиотеки. Позавтракал в кафе и пошел к русскому консулу, так как для иностранцев допущение в salle de travail* требует консульской рекомендации. Только около трех добрался до библиотеки, но там сразу попал на дело (она открыта с 9 до 6 ч.). Встретил Фридмана и Тарле. Тарле помог мне понять порядки, показал, где искать справки, как пользоваться каталогами и т. д. Первое, что мне дали, было такое редкое издание 1618 г., что его не дали на место, а пригласили меня в «резерв» — особый стол, вместе с библиотекарями, где занимаются особо редкими изданиями под их наблюдением. В три часа времени я выписал оттуда все, что надо, и заготовил себе материал на завтра, отложенный для меня. Теперь пойдут правильные рабочие дни, и я быстро, не теряя времени, справлюсь с тем, что необходимо действительно сделать здесь. Дождь сегодня льет целый день, но не так холодно, как было. Нашел я себе ресторан, недалеко от библиотеки, где недурной обед с вином за 2 фр. Так что и в смысле расходов войду в норму. А Париж, живой и шумный, поднимает энергию, бодрые силы. И знаешь, он только для очень убогих пошляков — веселый город в легком смысле слова. На самом деле его тон — деятельный и очень глубокий. Тут все толкает на думу, на очень серьезное, какое-то «ответственное» настроение, на большие требования к себе и к жизни. Тут не тешиться жизнью можно, а изучать ее и работать над ней, радуясь ее яркости и силе. Содержательность глубокая, глубокая в этом Париже. <...>

Д. 10. Л. 14—15 об.

757

27 июня. Вторник

<...> Дома нашел трогательно-милое письмо от Сергея. А я ему утром послал несколько слов, взволнованный его заботой обо мне. Теперь он мне пишет тоже: располагай мною, как самим собой, неужели твое лето полетит вверх ногами, готов разорваться, чтобы предотвратить беспорядок, и т. д. И видно, что ему такая была бы радость пригодиться на что-ниб[удь], что даже пишет, ему-де «величайшая беда», если не окажется нужным. Но что тут сделать? Ведь и нарочно не выдумаешь ничего. <...> Не зная, что писать тебе и о домбровских обстоятельствах, буду рассказывать. Сегодня у вас похороны. Ты напишешь мне, как дети. А главное, как ты? <...>

Письмо я тебе вчера вечером отправил. Конверты незаметно вышли — занял у madame Menoud. Когда вечером я опустил их и вернулся, Menoud задержали меня внизу у себя; у них каких-то два румына сидели. Болтливая m-me сыпала комплиментами моей французской речи, уверяла, что меня никак не принять за иностранца. <...> Потом я от них спать сбежал. Встал в половине шестого. Пробовал [сесть] за «Байронизм» для Сергея,[551] да ничего не вышло. В половине восьмого пошел искать омнибус к Нац[иональной] библиотеке, неподалеку от нее кофе пил с сандвичем (булка с маслом и ветчиной) и явился в библиотеку в числе первых, как только в 9 двери отворили.

---

* Зал для научной работы (*фр.*).

Занятия идут недурно. И действительно, в тех вопросах, какие меня интересуют, я только здесь сразу разобраться могу, так как без каталогов Нац[иональной] библ[иотеки] и не узнал бы о существовании нужных книг и изданий, да и не достал бы многих. А тут все под рукой. Часам к 12 пришел Тарле, занимавшийся утром в верхнем этаже, и увел меня завтракать к одному из бесчисленных «Дювалей». Накутил я с ним почти на 3 фр. — и хвалил, хотя то, что мы ели, было плоховато. За эти деньги в Париже можно позавтракать, как у Кюба,[552] а не то, что в столовой Дюваля. На это ушел час, впрочем, необходимой передышки, так как ведь библиотека до 6 открыта. Я ушел в половине шестого, зашел на почту и оттуда побрел на бульвар Монмартр, потолкался в пестрой, шумной толпе. Сегодня нежарко, но хоть дождя-то нет. Пообедал у Blond, указ[анного] Степой. Там за 2 ф. 10 [сантимов] (с вином) дают действительно отличный обед, много раз лучше, чем на Unter den Linden. Супы хороши, как дома; 2 салата разных на выбор, рыба, мясо или птица; компот из ананасов или пирог с вишнями, фрукты (я отличный персик съел), $^1/_2$ б[утылки] вина легкого и приятного. Теперь, когда я улицы знаю, к Blond от библиотеки совсем недалеко, а от него омнибус на Place St. Michel или к Пантеону, т. е. очень близко к моему обиталищу. В конце концов, не метрополитен и не трамы, а омнибусы (весьма первобытные кукушки-моторы) самое удобное парижское сообщение. Таким омнибусом я и приехал. Сижу и пишу. Вот и весь мой день. Чувствую я себя хорошо и несомненно отдыхаю. Ведь при том все чужое, а день занят работой, которая приводит в какое-то гипнотическое равновесие. По вечерам сижу дома, ложусь спать без кофе, потому что аппетита никакого после такой кормежки, да и лень идти. На увлечение Парижем в одиночку нет энергии и охоты. Старик Menoud предлагает прогуляться со мной в свободное утро. Он забавный, и в воскр[есенье] мы с ним, должно быть, пойдем бродить. Тарле мечтает сплавить жену (которая тоже что-то делает в Нац[иональной] биб[лиотеке], но сидит где-то в другом месте, и я ее не видел) к каким-то знакомым, а со мной пообедать. Это можно, он мне не скучен, а денег у него нет, так что дело сведется к 3—4 франкам. В биб[лиотеке] много русских. Васильев, Тарле, Кистяковский, Ященко из Юрьева, Фридман и еще какие-то. Но, по счастью, только здороваемся. Тарле сидит в биб[лиотеке] рядом со мной и на первых порах очень заботливо много мне помог. От Парижа новых впечатлений у меня нет, так, я все верчусь в тех же местах, с какими сразу познакомился. А он огромный и сложный. И сколько-ниб[удь] углубиться в него нельзя иначе как при полной свободе, большой энергии и месяца в 2—3, право так.

В общем, мне тут не только не хуже, а даже лучше, чем в Москве. И чувства одиночества не больше, чем там, т. е. ровно столько, как не может не быть, когда тебя нет со мной. <...> А тосковать я вовсе не тоскую. Таких острых приступов тоски, как в Петербурге бывало, — нет. Слишком притупляют впечатления и от работы, и от Парижа. Вот плохо, что вечера даром пропадают. Порция дневная не дает силы еще дома работать. И не то чтобы я себя особенно усталым чувствовал, а так не клеится. Больше потому, что связать то, что дома можно делать, с тем, что в библиотеке делаю, — не удается. Только и сделаю за эти дни, что пошлю Сергею «Байронизм» и рец[езию] на

Тугендхольда,[553] да кое-что подчитаю, хоть немного. Книги, что я привез, для справок дома мне постоянно нужны, но справки — не работа.

Сижу у открытого окошка. На улице гуляют студенты Сорбонны со своими amies.* Тут постоянно вечером встречаешь парочки. И потешный же это тип — парижская гризетка. Ведь это все по 16—18 лет. А потом? Но пока много веселья в молодой жизни Латинского квартала, безудержного, но не грубого. <...>

Голубка моя дорогая, отчего я не с тобой... Тебе Саня теперь особенно нужен был бы. А он тут «отдыхает». Э-эх! как дела-то сложились.

Господь с тобой, любовь моя, моя Юля дорогая. Поцелуй деток и скажи им, чтобы написали мне все трое. Крепко, крепко твой

Саня.

Да: Тарле предлагает сходить со мной к портному, где можно за 100 фр. (= 37 р. 50 к.) иметь отличный сюртук (на заказ, по мерке, из лучшего, какой выберешь, материала). Боюсь только траты.

Д. 10. Л. 23—24 об.

758

Четверг. 29 juin

<...> Утром несколько запоздал с вставаньем, т. е. встал только в 7 ч. Позанялся кое-какими справками — а там уже пора стало идти. С часами моими что-то случилось. Под утро пружина лопнула. Отдал их в починку часовщику, указанному m[r] Menoud. Будет готово в субботу и обойдется 4 фр. Купил в лавочке конвертов — вот этих, желтых, такие попались. Купил книжку об апанажах и папирос. Папиросы я курю недурные по 75 с[антимов] 20 штук, а так как в Нац[иональной] биб[лиотеке] курить вовсе нельзя, даже во дворе, то их мне хватает на 2 дня. Есть еще и остаток от берлинских, но те я берегу почему-то. Папиросы тут большею частью без мундштуков, так что приходится курить с деревянным мундштуком. Потом поехал омнибусом в окрестности библиотеки, пил кофе с сандвичем на Place de l'Opera и пошел заниматься. Минут на 20 опоздал к открытию. Еще одно удобство занятий: оказывается, все главные издания документов по истории Франции — королевских ордонансов, грамот и т. п. стоят тут же в зале, кругом на полках, и их можно самому брать себе на место. А эти издания меня всего больше затрудняли, так как мне их надо целиком пересмотреть, так как я не знаю, где что в них пересмотреть; тут же можно искать самому, не стесняя себя библиотекарем. А другое удобство в том, что в биб[лиотеке] есть буфет — «buvette», где можно за 80 с[антимов] — 1 фр. недурно позавтракать с вином. Тарле совсем зря таскал меня к Duval`ю. Мы вчера там завтракали с Тарле и Фридманом, т. е. в этой buvette. Но вчера я почему-то к 5 ч. устал и ушел. Зашел на почту, где ничего не было, потом побрел на б[ульвар] Монмартр, к Blond обедать, и домой. А дома так

---

* Подружками (*фр.*).

вдруг скучно стало, что я, немного отдохнув, в 8 ч. отправился омнибусом в Тюльери. Это чудный по широкой красоте сад. Но так тоскливо стало мне от его пустоты и парадной красивости XVIII в., что я сбежал в омнибус, едущий на бульвары. А бульвары ночью — сущая феерия. На них точно вечная иллюминация разноцветных огней, и кишат они пестрой, суетливой толпой. Тут можно без конца фланировать. У меня от природы мало к этому таланта, но тут только силы изменяют и усталость убивает фланерство. Сел у одного из кафе и раскутился на превкусный café-glacé* с рюмочкой коньяку (целых 2 фр.!), а потом к Menoud и спать. Это вместо того, чтобы Сергею «Байронизм» описать! Надо сегодня приняться.

Как я тут физически себя чувствую, видишь из того, что я в 6 ч. встаю, ложусь в 11, днем не сплю и бодро занимаюсь. Чего же еще? Зуб свой я успокоил йодом почти совсем, и он мне не мешает.

Но при монотонности моих дней — мне даже тебе каждый день писать-то нечего. Вчера мое настроение и усталость помешали. Сейчас же лег, как вернулся. Но монотонность у меня не только в распределении дня, а и внутри. Как-то ровно, гладко, ни о чем не думается, кроме непрерывных вопросов, что у вас, как Юля. Только когда что-ниб[удь] очень красивое увидишь — в окне ли магазина, как, напр[имер], вчера перед Тюльери в художественных ювелирных, или на бульваре — поднимается чувство — ну, к чему все это, когда нет Юли. И Тюльери так пусто показалось, потому что мне одному на что оно? Только в толпе, одурманивающей шумом, суетой, разнообразием и характерными фигурами, в огнях и перспективах оживленных улиц, — исчезает чувство одиночества и ненужности. Да еще за работой, когда мысль занята, да и дома, где ничто не дразнит и верх берет охота отдохнуть. В общем, как видишь, недурно. А лучше не может быть, когда нельзя постоянно жить большими и глубокими настроениями нашей любви, а держать их взаперти, как шампанское в крепко закупоренной бутылке, довольствуясь тем, что она есть, хотя и лежит под спудом, но будут минуты, когда снова вырвется на свободу — на пару чудных мгновений. Париж такой, что не смотреть его охота, а жить в нем всею силою своего внутреннего богатства. И — faute de mieux** мои увлекательные парижские впечатления — целый гимн Юле, счастью и радости. Только это трудно словами передать. Ты так почувствуй, что это такое... <...>

Д. 10. Л. 25—26

759

Четверг, 29 juin

<...> Грустно, что не пришлось быть с тобой в эти тяжелые дни. А то так это далеко, далеко. Я уже обжился в Париже, порядочно насмотрелся и наработал, а получаю сегодня твои строчки, где узнаю, что ты только два моих письма с дороги получила!

---

* Кофе со льдом (*фр.*).

** За неимением лучшего (*фр.*).

Я сегодня бросил занятия в библиотеке после завтрака. Опять Тарле утащил меня к Duval`ю... На этот раз я согласился, потому что решил вовсе уйти, поработав только с 9 до 12. Напишу тебе пару слов и примусь за статью для словаря. Жарко сегодня и в Париже. Слава Богу, а то надоело мерзнуть.

Утром я писал тебе. Потом побрел на свой омнибус, отправив письмо и три открытки детям. Просил их написать мне что-нибудь. Твое письмо, адресованное posterestante, я получил уже дома, потому что дал на почте свой адрес. <...>

Я жизнью здесь очень доволен, и, судя по рассказам других, в иных местах, если где дешевле, то грязновато, и тут, по-моему, очень, сравнительно, чисто, а главное, тихо. Встаю я, как писал тебе, с петухами — и даже не тороплюсь кофе пить, а проделываю это у самой библиотеки, перед ее открытием. Вчера отдал белье в стирку. Сапоги и платье усердно чищу сам. Остальные подробности житья своего я уже писал тебе. Езжу почти исключительно омнибусными автобусами, на площадке стоя, чтобы улицы, площади, дома и мосты перед глазами мелькали. Метрополитеном пользоваться неохота. Что за удовольствие ездить не по Парижу, а под Парижем? Раз, другой это занимательно, чтобы и с этим познакомиться, но постоянно — благодарю покорно! А трамы тут как-то для меня неудобно расположены.

Чем больше я набираюсь «Парижа», тем больше поражает меня, какое-то внутреннее родство, не* очень grand,** конечно, между ним и Москвой. Припоминаю, что от кого-то уже слыхал это сравнение, чуть ли не от Полиевктовых. В чем дело, трудно определить. Должно быть, в свободной уверенности толпы, размахе и живописности города, да еще в историчности, которая так сливается с нынешней живой жизнью. Конечно, Москва крохотная, и все в ней жидковато, даже очень, сравнительно с здешним. Но и те московские черты, за которые ее называют большой деревней, сродни тому, что я отмечал тебе как провинциализм, которого так много в Париже. Говоря «по-ученому», оба города глубоко национальны, в отличие от Петербурга или Берлина. А таких городов, как эти, не может быть во Франции: слишком она насквозь жизненна и национальна. И в этом ее вечная сила, этой la belle France.*** <...>

Д. 10. Л. 27—28 об.

760

1 juillet, суббота

Вчера, дорогой Юлек, я бросил утром открытку Голованю, а вечером получил от него «рвотное письмо», как Сергей их называет. Пишет наш бедный Голованьчик, что 14-го перебрался в Рим — не знает, собственно, зачем, так вот как на старое пепелище люди приходят взглянуть, и быть может — кто знает! — в последний раз... Все дальше, пишет, уходят от души эти места, неприемлемая южная доля латинства, его северная душа дает сочувственные переживания не дальше Флоренции. Не больше недели пробудет в Риме, а потом на неделю в Неаполь и то больше по обязанности. Просит написать, ибо и для него, пишет, наступает период, когда начинает сказываться скука одиночества. <...>

---

* В оригинале «en» вместо «не».

** Большое (*фр.*).

*** Прекрасной Франции (*фр.*).

Когда в Петербург едем и пароходом на острова, по правой руке много фабрик и рядом роскошные виллы фабрикантов. Говорят, тяжело в них жить, чувствуя рядом со своим чрезмерным благополучием тяжелую нужду и трудовую жизнь рабочих. Понимаешь ты это чувство? И понимаешь, почему я это вспомнил? Мое безмерное счастье часто подшито каким-то жутким стыдом. Кругом так много одиночества, горя, тоскливой лямки. А мы точно дразним людей собой, нашим огромным, чудесным счастьем, какого в обычной жизни не бывает. И не только это. Вся моя жизнь прошла так без нужды, без тяжелой заботы, без борьбы, так все давалось и дается само собой — и все это под ярким, чудным светом Юлиной любви, Юлиной ласки. Точно сказка какая-то. У тебя бывают минуты испуга, ты на такие мои слова готова сказать: не говори так, Саня, нельзя, слышишь, что-ниб[удь] случится. А мне иногда кажется, что, свались на меня какое-ниб[удь] большое горе, которое меня бы раздавило, выбросило вон из этой счастливости — напр[имер], если бы Юля меня разлюбила и бросила, — это было бы только заслуженной справедливой расплатой за украденную у судьбы целую жизнь, такую безумно прекрасную, полную большой любви, большой и настоящей поэзии чувства и такого странного ослепительного счастья. <...> Если ты поняла мое эйдкуненское письмо, то поймешь и это, поймешь, что это не порыв влюбленной нежности, а спокойная мысль «ученого».

Не Головань, собств[енно], навел на это все меня теперь, а Тарле. Вчера мы с ним «кутили». Утром я дома позанялся кое-чем, отослал Сергею «Байронизм», который в четверг написал, как мог (не знаю, что он с ним сделает, по-моему, не вышло), пошел в библиотеку. Работали мы до 6 ч., позавтракав тут же в buvette. А потом Тарле предложил пойти пообедать, так как жена куда-то в гости ушла, и повел меня в большое кафе, где мы очень шикарно поели и выпили бутылку бургундского по 4 $^{1}/_{2}$ франка. Потом пили кофе на бульваре, бродили. И жаль, что я не был осторожен. Он сам расспрашивал о разных университетских делах, сам помянул свое прежнее трудное положение, после истории с диссертацией. Меня угораздило спросить, как понять странные промахи того перевода «Утопии» Т. Мора, который он там напечатал.[554] Его это сразу привело в расстройство, и вечер был испорчен. Он уверяет, что все это несправедливые нарекания и т. д. Я думал, что все это у него давно прошло, а попал на старую рану, и при том он не признает, что был сделан большой промах. Но не в этом дело. А в том, что ему в среде университетской страшно трудно, одиноко, натянуто. Человек знающий, даровитый треплется около жизни, не умея ее взять, а она не дается. Это трудно пересказать. Но почему мне она сама дается? Ответ простой: как астрологи говорили, что вся судьба человека зависит от того, под какой звездой он родился, так я родился под знаком Венеры и живу под сиянием Юли. А это значит — удача во всем и всегда, потому что все пустяки перед этим одним огромным. <...>

Д. 10. Л. 50 а—50 б об.

761

3 juillet, lundi

Вчера я получил твое письмо, дорогой Юлек, о похоронах. Слава Богу, что все так сложилось тихо и торжественно, как сама смерть Мих[алины] Мих[айловны] была тихой и спокойной. Теперь буду ждать дальнейших известий о том, как ты свои дела устроишь. При первой возможности спишись с Сергеем, чтобы узнать, выясняются ли несколько его планы и сроки. Я вчера получил первую корректуру, первый набор до слова «Аларих»,* а ему надо пропустить все корректуры до «Артуа». Стало быть, еще большая порция еле набираться начинает. Но, вероятно, он может тебе теперь приблизительно наметить, когда освободится. Если бы он слишком запоздал, ты готова одна ехать. Но: какое бы это ни было для меня счастье с тобой вдвоем побыть здесь, это было бы слишком жестоко по отношению к нему, и только крайняя необходимость должна привести к такому исходу. У меня тут дела бесконечно много, и я могу не торопиться, тем более, что Новгород — теперь уже несомненно пущу в трубу. Необходимости в нем нет, а у меня и так дела много, да вторично расставаться с тобой было бы уже совсем невыносимо.

Вчера было воскресенье, и я его использовал для того, чтобы еще кусок Парижа осмотреть. Утром пошел в Notre Dame. Это, несомненно, самое значительное — en fait de monuments** — что есть в Париже. Создание поистине гениальное — сложное и сильное. Надо непременно хоть один еще из готических соборов посмотреть — Кельнский у нас намечен. Попал я туда во время проповеди. Был день ап[остолов] Петра и Павла — и старичок патер говорил красиво, с большой энергией — о святости великой церкви и свел к призыву молиться за здравие ватиканского отца. Было интересно послушать. Так ясно у него выразилась суть католической церковности — вера в то, что все «спасение», какое Христос миру принес, заперто за семью печатями в сундуке Ватикана, а мир людской остался в руках дьявола, и церковь из него вылавливает грешников своими сетями, как рыбу из моря. Бедный Христос — ведь если так, то выходит, что его дело œuvre manquée,*** и Пий X его продолжает и поправляет!

Внутри N[otre] D[ame] — очень темно, благодаря небольшим по ее размеру и цветным окнам, и потому не дает вполне того яркого впечатления, как снаружи, когда к ней приближаешься en face, и она все растет и растет. Выйдя, я поднялся наверх. Сперва туда к гаргулям**** — оттуда широкий вид на Париж, который весь расстилается в своем общем рельефе. А потом еще выше, на верх правой башни — широко. День был довольно ясный, хотя и ветреный. А внизу маленькие шевелящиеся точки — люди, экипажи, точно муравейник. Из N[otre] D[ame] отправился я Лувр. Так как я уже немного пришел в себя, то рассмотрел много чудес искусства, действительно интересных. Великолепные есть антики, но их выискивать надо. Один Рафаэль — портрет Иоанны Арагонской невероятно сохранился по краскам, таким сильным. Ван-Дик, мой Рембрандт... Его рисунков много в маленьких залах. Но главное, там много рисунков Леонардо. Из-за них я туда еще специально пойду. Но вообще Лувр слишком колоссален. Осмотреть его, хотя бы поверхностно, но полно — значило бы неделю каждый день туда ходить. Из Лувра пошел позавтракать тут же по соседству, а потом прошел все Тюльери, где били фонтаны по случаю воскресенья, посидел там немного и добрался до двух Palais — Grand et Petit.* В первом оказался еще открытым «салон» этого года. Так что я и знаменитый «салон» видел. Огромный манеж — наполнен множеством скульптуры, а в верхних антресолях ряд зал — с живописью, гравюрами, рисунками, etc. И ни одной вещи я не видел, которую хотелось бы запомнить. Много хорошей техники, но банальщина царит вовсю. Тут многое даже от петербуржцев было бы на месте. Где же прячется настоящее новое французское искусство? В салон его, очевидно, не пускают! Гораздо интереснее напротив G[rand] Palais — в Petit P[alais] — постоянная выставка нового искусства, то, что куплено par l`Etat.** Тут есть кое-что из значительного и свежего, но ни один художник не представлен полно. Кажется, я уеду из Парижа, буквально ничего не прибавив к тем сильным впечатлениям от нового франц[узского] искусства, какие мне дала Москва. Странно!

---

* Слово читается предположительно.

** Из памятников (*фр.*).

*** Неудавшееся дело (*фр.*).

**** Водосточным желобам (*фр.* Gargouilles).

Устал я от всего этого так, что поехал омнибусом домой — и лег спать. А к 1 ч. отправился обедать в table d`hote*** Blond, побродил немного по бульварам и домой. <...>

С Тугендхольдом пока ничего не выходит. Придется пропустить хоть полдня занятий для него. Хотелось бы написать, да времени жалко. А в воскресенье надо же кое-что осмотреть, чтобы тебе показать. Вот и не знаю, как быть.

Пойду сегодня в банк. А то мои первые 100 ф. уже на исходе.

Господь с тобой, моя любовь. Поцелуй деток.

Д. 10. Л. 29—30 об.

762

4 juillet. Mardi

Вчера, дорогой Юлек, я получил письмо от Сергея: он рад, что я остался в Париже и т. д., пишет, что вы с ним снеслись и по вопросу о поездке. Очень ему понравилась роденовская головка, с которой я ему открытку прислал (портрет какой-то дамы) — «сущее, говорит, очарование, если весь Париж такой, то надо прямо сдохнуть». Сильно сказано. Но головка — не типична ни для Парижа, ни для Родена.

---

* Большой дворец, Малый дворец (*фр.*).

** Государством (*фр.*).

*** Здесь: столовая (*фр.*).

А я вчера среди занятий ушел на часок — позавтракал с Тарле у Duval`я, потом прошел в Русско-Азиатский банк, взял там еще 100 фр. Утечка денег начинает меня пугать. Кажется, я немного трачу, а вот за 11 дней вышло 120 франков. Это, кажется, очень много. Правда, покупки были, но все-таки. Не считая взятых, остается 1400. Как сообразить, сколько из них надо на после Парижа, сколько на Париж? Не могу сообразить.

Напал я на след частных коллекций. Есть тут газетка «Comœdia» — где все известия о парижских театрах, музыке, выставках. Есть несколько маленьких выставок, которые должны быть очень интересны, и притом закроются через неделю. Надо бы их обойти. Но когда? Урывать время от занятий невозможно, благо я с перерывом на завтрак выдерживаю с 9 до 5 ч. (до 5 ½ или 6 — раза 2 только дотянул), а потом — заперто. Попробую в воскресенье все их обойти — еще будут открыты. На следующей неделе в пятницу, 14-е (1-е) — парижский праздник; вероятно, Головань подъедет, тогда больше помехи занятиям будет. А они интересны, эти занятия, хотя мои темы потребовали бы, собственно, целого лета. <...>

После библиотеки вчера побрел я по улицам в такую сторону, где еще не бывал, — к церкви Madeleine. Это центр католической аристократии Парижа. По воскресеньям тут у мессы tout Paris.* Но летом, должно быть, никого нет. Впрочем, надо будет в воскресенье к поздней мессе зайти. Париж огромный, всего не обойдешь. Но еще две прогулки — на Монмартр еще раз и к Марсову полю, Эйфелю и Трокадеро — и главные части я буду знать. Уже теперь недурно разбираюсь в незнакомых улицах, держа нужное направление, а Бедекера только в первые дни носил с собой. В пальто он еще сносен, но пока стоит хорошая погода — мешает. Пальто и зонтик могут дома висеть. А зонтик пока еще цел. Без него было бы совсем невозможно в дождливые дни. Вчера опять охватила меня сила парижского движения. Поехал я на бульвар Hausmann — где шла распродажа (soldes) магазинов с дамскими вещами, всякой papeterie,** посуды, кухонных вещей и чего угодно. Перед магазинами на тротуарах выставлены прилавки с товарами, и такая осаждает их толпа дам, с таким шумом и гамом, что я подошел, думая, что случилось что-ниб[удь] чрезвычайное. Такая же сцена, необычайно крикливая, мелькнула вчера и у биржи. Но я это только издали: некогда было подойти (я шел из банка в библиотеку). Пообедал у Blond, хотя его однообразие начинает мне надоедать. Все одно и то же изо дня в день.

Головaню я написал в Рим, что жду его к 14-му. Это большой день Парижа, на улицах устраиваются шествия в костюмах и т. д. Один я тут не разберусь. Авось Головань приедет.

Ну, пора идти в библиотеку. Прощай, моя голубка дорогая. Пиши.

Д. 10. Л. 31—32 об.

---

* Весь Париж (*фр.*).

** Писчебумажных товаров (*фр.*).

763

5 июля, четверг*

<...> Тебе там так тяжко, а я тут сибаритствую в Париже, отдыхаю, занимаюсь, пишу тебе счастливые письма... Вчера мне все это показалось такой ненужной роскошью, таким эгоистическим баловством. И моя пресловутая «работа» — такой блажью, таким чем-то пустым и лишним. Хотелось бы все это бросить. Ведь я мог бы необходимое отлично и там сделать. Ведь не диссертацию же мне по французской истории писать. Но только боязнь, что это тебя огорчит, что это расстроит поездку, которая тебе нужна для отдыха, удерживает меня от «поступков». <...>

Ну, расскажу вчерашний день. Утром я очень рано вышел, пошел к Пантеону — это бывшая церковь, в римском стиле с колоннадой, где теперь гробницы знаменитостей французских. Перед ним стоит Penseur** Родена. Чудесная статуя, подаренная городу по публичной подписке. Чудесная вещь — и так на месте. Глубоко задумался человек — над всем пережитым Францией в ее вековой истории. За Па[н]теоном — старинная церковь времен Францизска I-го.

Побродил и поехал в библиотеку. Занял место, пошел за книгами, вернулся — а напротив за столом сидит Гревс. Он отвез семью в Швейцарию, устроил дочь в санатории и приехал один поработать. Встретились мы очень дружески, и он говорил, что сегодня пойдем пообедать и походить по Парижу. Выглядит бодро, загорелый, но очень постарел. Устроили перерыв для завтрака — Гревс, Тарле и я. Гревс находит, что мы дорого кормимся, что можно дешевле, и обещал показать, как. Завтрак действительно обошелся дешевле и не был хуже. Посмотрим сегодня обед. На первый день Гревс ушел раньше, а я в шестом часу пошел пешком домой, чтобы не таскаться с тетрадкой, что мне надоело, потом отправился обедать к Блон, где встретил опять Тарле. Жена его куда-то ушла, он был один. После обеда пошли пить кофе в кафе, а потом доехал с ним до его квартиры и зашел к нему, посидел, потом жена его пришла, и тут я с ней познакомился. Не знаю, какая она, но едва ли очень симпатичная. Было уже к 10 ч. — пошел я по Rue des Ecoles домой. Лунная была тихая ночь — очень красивая. Жаль, что устал, а то пошел бы на набережную Сены. Как-нибудь надо будет ночью побродить по Парижу. Идя мимо Globe — наткнулся на Гревса, и он зазвал меня на минутку к себе.

В Globe чисто, уютно, но больше настоящая гостиница, чем у нас. Меньше 90 фр. моя комната там не стоила бы. Хозяйке Globe я сказал, что 10/23 приедут Полиевктовы и Лапшин; муж ее записал это в книгу. У Гревса я $^1/_4$ часа побыл. Смотрели в окно на College de France и Сорбонну, умилялись над прелестями Парижа. И домой. В 6 ч. еще не было твоего письма, а теперь оно пришло. Очень огорченный, что я не с тобой, я против обычая до половины первого не спал — все думалось о тебе, о глупой разлуке нашей. Ну, пока буду работать и поглядывать на Париж — и ждать, как судьба сложится.

---

* Правильно: среда.

** Мыслитель (*фр.*).

Теперь побегу в библиотеку. В Париже установилась хорошая погода. И что тут странно, в городе певчих птиц постоянно слышишь. Должно быть, французы их много держат. А в Тюльери они как будто и так летают. <...>

Д. 10. Л. 33—34 об.

764

Четверг, 6 июля

<...> Право, я иногда боюсь надоесть тебе — ведь говорят, так слишком отдаваться не следует — цену теряет. Глупые люди! Ведь только в этом и жизнь, а то зачем бы и жить? <...> Вот и опять начал, неисправимый Санька. <...> А вот что стыдно: я только сегодня дедушке письмо написал. Как встал в половине шестого, вспомнил и написал. А теперь тебе пишу, моя дорогая, и люблю тебя всей душой, сколько в ней сил есть.

Вчера позабавил меня Гревс. Он сам третьего дня сказал, что-де сегодня уговоримся, как вместе время провести; а сам уклонился от завтрака вместе, а потом, когда закончились занятия, улизнул, даже не попрощавшись. Секрет, по-видимому, в том, что я с Тарле рядом сижу, а он ведь его недолюбливает, и сам он путается с Бутенко-младшим[555] — весьма вульгарной и банальной фигурой, а знает, что я Б[утенко] ни в грош не ставлю. Впрочем, с Б[утенко] у нас отношения вполне корректные. Вчера мы вместе выходили на улицу и в скверик против библиотеки покурить. Тут такой порядок, что не только в здании библиотеки, но и в ее дворе курить нельзя, и входят в залу в шляпах и в пальто, и не выпустят уже, пока книг не сдашь. Но без шляпы можно выходить из залы — для разных надобностей или в бюветку. Вот курильщики, как мальчуганы, и пользуются этим, уходя без шляп на улицу покурить. Мы с Б[утенко] гуляли в сквере, он вспоминал вас, Кимонтов, и сообщил, что не помнит Петра Вик[ентьевича], который был, однако, его первым знакомым на этом свете, так как принимал у его матери при родах. Потом расспрашивал о том, чем я занят и т. д.

После биб[лиотеки] я вернулся домой, пообедал поблизости (решил экономить и зашел к Дювалю: съел немного рыбы, цветн[ой] капусты, сыру и чашку кофе выпил — и заплатил... 3 франка!), прогулялся на Марсово поле, видел вблизи Эйфел[еву] башню, под ней прошел, обошел Трокадеро и омнибусом по другой стороне Сены вернулся на бульвар С[ен]-Мишель. Да, красив Париж. Его основной тон темный, грифельный — дает великолепный красочный фон и особую цельность всему разнообразию города. <...>

Д. 10. Л. 35—36 об.

765

8 juillet, Samedi*

Настали парижские жары, дорогой Юлек. 33 (Цельсия) в тени (ок[оло] 28 наших). Парижские старожилы, вроде Гревса, говорят, что это еще ничего, будет хуже. В библиотеке, под конец занятий, становится жарко и душновато. На улице раскаленные камни, духота. <...>

Мне же до чрезвычайности хочется заполучить тебя в Париж. Мне тут так хорошо, столько значительных впечатлений, что обидно думать, неужели ты на это все не взглянешь. Сила Парижа тебя должна захватить, несмотря на душевную усталость, огорчение и т. д. И мне бесконечно жалко будет, если ценные впечатления останутся только моими, если ты их узнаешь и поймешь только по письмам. Непременно надо это устроить. Миша пишет, что в Париж попадет только к 15 июля, так как задержится в Берлине. До 2-го его адрес — Берлин, до 12-го Baden-Baden. Он написал мне большое письмо о своих занятиях искусством, о мечтах прийти через Запад к русскому искусству — чтобы его связать с европейским, как я связываю русскую историю с западной в одно дело. Путь его верный, но трудный. Может быть, и одолеет, раз так верно понимает, что надо. Собирается объехать во Франции места ранней, зарождающейся готики: Нойон,** Суассон, Лан, Реймс, Лангр, Сан... Даже завидно. Готика такое чудо искусства, и подсмотреть ее рождение такое, должно быть, глубокое наслаждение. Пишет еще Миша, что заслуживает бранного слова за то, что не писал тебе, но, говорит, не настало еще время для письма тебе. Вероятно, разумеет сердечные дела свои.

Сазонов из Киссингена сообщает, что начинает приходить в человеческое состояние, пока в том, что ему охота читать Александра Дюма и особенно графа Монтекристо. Просит устроить ему знакомство с каким-нибудь французским книгопродавцем, который выслал бы ему книги. Я дал его адрес Альфонсу Пикару — и ему напишу об этом.

Третьего дня я, поработав до 5 ч. в библиотеке, ушел и отправился на rue Lafitte — посмотреть, что такое коллекция Duran-Ruel`я. Это собственно торговля картинами, но вход свободный, и картины частью размещены так, что можно удобно смотреть. Их немного — 20—30 — но это новое искусство, чудесные Pissaro — пейзажи с легкими, прозрачными, синеватыми тенями. Таких Pissaro хороших я еще не видал. Очень характерные Claude Monet и т. п. Это непременно посмотрим вместе. О личной коллекции Дюрана, в его квартире, я еще не спрашивал, схожу еще раз.

А на днях открылась выставка рисунков и акварелей Бакста, больше сотни. Судя по газетам — это epatant,*** и самое интересное, что сейчас выставлено в Париже. Туда схожу завтра. Ведь завтра воскресенье. Я наметил себе обойти несколько маленьких выставок, где есть, кажется, кое-что интересное. Но новых — Гогена, Ван-Гога —

---

* Опущено письмо от 8 июля (Д. 10. Л. 37—37 об.).

** Так в тексте. Правильно: Нуайон.

*** Потрясающе (*фр.*).

нигде нет. Буду у Дюрана и других о них спрашивать. Надежда, что ты приедешь, дает мне снова энергию на всякие интересы... Вечером третьего дня бродил по городу, пил citronnade glace,* не обедал, а в 8 $^1/_2$ веч[ера] поел (tranche de melon** и кусочек жареной рыбы). Обедать в Париже совершенно лишнее. Так вот 2 раза за день поесть совершенно достаточно — с $^1/_2$ б[утылкой] вина.

Вчера утром — корректуры, потом библиотека, куда я теперь пешком хожу. Удивительно, как сокращаются расстояния, когда знаешь улицы. Теперь мне смешно, когда я вспомню, что все ездил в б[иблиотеку] омнибусом: ведь это 20 м[инут] неторопливой ходьбы. И домой пешком иду, если только к вечеру не слишком устал. Из библиотеки мы ходили завтракать: Тарле, Ященко и я. Ященко — профессор-естественник[556] из Юрьева, но на самом деле — парижская богема, вдумчивый человек с грустными глазами, женатый на нормандке-крестьянке. Когда Тарле куда-то ушел, он мне очень интересно говорил о Париже как городе, незаменимом для одиноких людей.

В Париже много жизни, толпы, внешней общительности, но в этой толпе и жизни человек остается один, так как парижская толпа это сумма уединенных индивидуальностей и общительность ее чисто внешняя; друг до друга, по-нашему, славянскому, тут никому дела нет, и можно жить свободно и независимо своей внутренней жизнью в такой толпе и в таком обществе. Это, кажется, очень наблюдательно, а Ященко несколько лет в Париже жил. А Гревс не любит французской толпы и собирается уехать на 14 и 15 в Брюгге, когда тут будут национальные празднества и большая жизнь на улицах. Гревс говорит, что парижское веселье деланное и выдуманное, что толпа парижская — недобрая толпа, и даже передергивает его, когда он о ней говорит. У него много тяжелого с Парижем связано. Когда я написал это — мелькнула тяжелая мысль — нет ли чего личного в воспоминаниях, в этом нервном отношении к толпе. Вчера Ив[ан] Мих[айлович] предложил мне пойти из библиотеки к Пикару, одному из больших парижских libraire,*** чтобы меня с ним познакомить. И побрели по большой жаре. Посмотрели у Пикара, что нового вышло, поговорили с ним, потом я зашел домой, оставить тетрадь и взять Бедекера, и зашел за Ив[аном] Мих[айловичем], чтобы отправиться в Булонский лес. Но сперва поели у Шартье (это etablissment,**** где дешевле, чем у Duval`я). В Париже так медленно подают (франц[узы] любят без конца сидеть в кафе и ресторане), что было уже без 20-ти 8 ч., когда сели в трам — паровик (курьезно отсутствие в Париже электрического трамвая; лет 8 тому назад все только на лошадях ездили, и теперь много лошадиных омнибусов) и поехали в Bois de Bologne.***** Это очень большой и красивый парк. И тут опять: в натуре ряд картин, целиком объясняющих мотивы новой живописи, Клода Моне, Писсаро и др. Право, природа сама дает все, что составляет «открытия» современной живописи. Ив[ан] Мих[айлович] жил с семьей тут, вблизи Bois. Каждый шаг связан с воспоминаниями об умершей дочери. Он говорил о ней. Вот, говорит, не могли мы дать никакого религиозного воспитания, а вышла очень религиозная натура, сильно любившая жизнь, но не боявшаяся смерти. Я в первый раз решился спросить, а как у них дела. Про вторую дочь сказал, что совсем хорошо идет, что теперь слава Богу, но вот Мар[ия] Серг[еевна] никак поправиться не может. Говорил и о Лаппо-Дан[илевском], что вот человек, у которого все условия для самого счастливого существования и большой работы, а он, в сущности, очень несчастная натура и болезненно беспомощен в доведении до конца готовой большой работы. Огромное самолюбие, говорит Ив[ан] Мих[айлович], составляет главную беду Лаппо. Говорил и об разных учениках, своих и т. д. Так прошел вечер — и я после 10 домой вернулся. <...>

---

* Лимонад со льдом (*фр.*).

** Кусок дыни (*фр.*).

*** Книготорговцев (*фр.*).

**** Фирма (*фр.*).

***** Булонский лес (*фр.*).

Д. 10. Л. 39—40 об.

766

Воскресенье, 9 juillet

<...> Разлука с Домбровой тебе, естественно, крайне тяжела, да и ценность ее для нас и для детей очень велика. Но как это все сложится, плохо себе представляю. Будь у нас деньги, чтобы ее выкупить, другое дело. <...> Если я получу известие, что судьба разрушает твою поездку — для меня будет невыносимо тут сидеть и Париж потеряет всякую цену. И сегодня — воскресенье — я не знаю, что с собой делать, настроение такое, что раз биб[лиотека] занята — мне все остальное ни к чему. Убью день как-нибудь. Пойду искать Бакста, еще что-ниб[удь]. М[ожет] б[ыть], в Версаль трамваем проеду, чтобы спастись от жары. <...>

Неохота вовсе писать о чем-нибудь другом. Тебя это теперь не развлечет. Слишком много заботы на бедной душе твоей. Да и что рассказать? Вчера я писал тебе, что жара тут стоит чрезвычайная. В библиотеке к концу занятий душно делается, и мои мозги вчера после четырех часов перестали работать. В половине пятого я отправился домой, получил твои письма, наспех ответил и пошел по Парижу. <...> Не удалось мне вчера и сюртук заказать. Тут летом большие магазины очень рано закрываются. С горя выпил в кафе une citronnade glace, что очень освежает, и поехал трамваем на верхотурке — в Bois de Bologne. Попал еще засветло и прошел большой его кусок. Это большой парк типа «английских», т. е. расчищенный лес. По дорогам, как сумасшедшие, летают автомобили. Было и там жарко, но хороший воздух вдыхался после города с наслаждением. Часа два бродил я по нему, все думал о делах наших — и ничего, конечно, не мог выдумать. Потом выбрался на другую окраину леса и тут уже нашелся трамвай, который привез меня к Латинскому кварталу. Я не обедал и порядочно проголодался. Но рестораны после 9 ч. уже закрыты, т. е. того типа, где мы завтракаем и обедаем. Пришлось зайти в кафе на бульваре St. Michel. Съел дыни кусок и ветчины, запил пивом и кофе и оставил там 3 фр. 60. <...> Дома долго заснуть не мог. Было душно, несмотря на открытое окно. Ложился, вставал и опять ложился. <...> Наконец заснул, а сегодня встал как всегда — еще шести часов не было.

Вот мой день. Надо умываться, одеваться и куда-ниб[удь] брести. Убью как-нибудь день, а как, напишу завтра утром. <...>

Гутику я послал залу библиотеки, где занимаюсь, и отметил, какое мое место. Посылаю по нескольку слов Мише, Джону и Сазонову. <...>

Д. 10. Л. 41—42 об.

767

10 juillet. Lundi

<...> Париж вчера опять меня захватил — на этот раз уже искусством — и я чуть не расплакался (совершенно буквально) от обиды и досады. Тут столько красоты — это было в Musée des arts decoratifs,* которая мне чужая и ненужная, если не согрета тобой, твоими интересами и впечатлениями. <...>

День выдался сносный, даже отличный, так как был ветерок. Я решил употребить его на осмотр кой-чего. Утром, после кофе, побродил по городу, а к 10 ч. пошел в этот музей декоративного искусства, в одной из зал которого выставлены этюды Бакста. Неужели ты не увидишь парижского Бакста? Неужели не увидишь этого чудного музея? Бакст меня действительно поразил. Что с ним сталось? Такой сказочный размах красок, такая сила «декоративности», что куда это крупнее того, что мы в Петербурге в этом роде видали. Он точно обобщает, итог подводит добытому Бенуа и Анисфельдом, Рерихом и Сапуновым. Но для меня главное не в этих превосходных, фантастически-смелых красках. А представь себе рисунки — не помню, чьи в «Салоне», — только полные движения, порыва, жизни. Бакст дает фигуры в сильных движениях танца, прыжка — и краски одежд поэтому точно летят, как интенсивный, головокружительный фейерверк. Пока он достигает этого только для балета. Но сохранить движение, бег линий, порыв напряжения — при господстве сильных красочных поверхностей одна из величайших задач современного искусства. Неужели Баксту суждено ее разрешить! И какой он отличный рисовальщик... Тут его рисунки карандашные есть — пейзажи, деревья, плоды, ветви — это рисунок такой выразительный, конкретный и в то же время такой обобщающий, дающий так много одним штрихом, все существенное сразу. Совсем большой мастер стал. А музей! Это чудное помещение, дворец, где так свободно расположена масса резьбы, посуды, тканей, металла, гобеленов, статуэток и т. д. Богатейшее собрание итальянских тканей времен Возрождения, старинные французские вещи. Как дивно хороши французские гобелены XIV— XV вв., насколько они тоньше и художественнее пресловутых гобеленов времени Людовиков (кот[орые] я недаром никогда оценить и понять не мог) — нюансировка красок, композиция в них прямо верх вкуса и красоты. <...> Вышел на улицу — идет военная музыка французская. Это что-то совсем не похожее на нашу. И тут столько entrain,** столько выразительной, задорной бравады, что действительно захватывает. Пошел рядом в Тюльери — и испытал, что такое французский милитаризм. Существует здесь общество военного воспитания — и оно в Тюльери устроило les concours* гимнастики, военных упражнений, воен[ной] музыки. Масса подростков изучает все это под руководством военных инструкторов. Мысль та же, что у нас «потешные». Но вместо пошлости, какую у нас из этого сделали, — тут веселая, задорная жизнь, увлечение, при очень строгой дисциплине. Смотрел я испытания бокса, бега, хоров военной музыки и долго уйти не мог. Пошел наконец в Jeu de paume,**[557] где выставка голландских мастеров из частных собраний. Богатая выставка — 20 одних Рембрандтов, не считая его рисунков.

---

* Музей декоративного искусства (*фр.*).

** Живости (*фр.*)

Все это меня утомило — и я, зайдя отдохнуть в Лувр, в итальянскую залу, отправился домой, чтобы оставить каталоги, позавтракал поблизости — и зашел в музей средневековой церковной старины — Musée de Cluny.*** Древнее здание — само памятник старого художества. А внутри множество предметов старого французского искусства — резьба, скульптура, ткани. Я спутал: итальянские ткани, в большом количестве, здесь, а не в Musée des arts decoratifs; осмотреть это мудрено, изучать пришлось бы витрину за витриной. Оттуда пошел посмотреть «La Sainte Chapelle» в Palais de Justice — часовню времен Людовика Святого — лучшую, после Notre Dame, готику Парижа. Она особенно поразительна по красочному ensembl`ю внутри. Это что-то такое яркое и цельное по колориту, что мне даже не верится, чтобы это было типично для готики, или, вернее, этой стороны ее я вовсе не знаю. И тут — дано в ensembl`е то, чего ищут для картин Врубели и Анисфельды.

Из капеллы, напившись свежего молока, потому что все-таки жарко было, — поехал на верхотурке лошадиного омнибуса — к кладбищу Père-Lachaise. По дороге скандал вышел. В узкой улочке наш омнибус задел тележку, на которую складывали вещи d`un déménagement**** — и поднялась ссора; потерпевшие уверяли, что что-то им попортили. По-моему, кондуктор не виноват, что они всю улицу заняли — так как напротив поставили еще фуру. Кончилось тем, что записали и мою фамилию и адрес. Пожалуй потянут к juge de paix.*****

Кладбище Лашезское — огромное.[558] Видел я тут Бартоломе памятник «Aux morts»****** — помнишь: в среднюю нишу входят две фигуры, мужская и женская, а за ними скорбно тянутся другие группы... Это красиво, но меня больше поразило то, чего на обычных фотографиях не видно, — внизу, под памятником, лежат муж[ская] и жен[ская] фигуры, а на них — ребенок, точно раздавленные (сделаны плоско) роком, а они прижались друг к другу, и руки в руках — и у его губ. Вот если умереть, то умереть бы так вместе. Видел памятник Шопена, скромный, старый, какой-то грустный — и долго сидел на его лесенке. Так и прошел мой день. В город добрался к половине восьмого, пообедал и вечер дома сидел, читая кое-что, между прочим, номер «Art et decoration»[559] со статьей о Баксте. <...>

---

* Соревнования (*фр.*).

** Зал для игры в мяч (*фр.*).

*** Музей аббатства Клюни (*фр.*).

**** Переезжающего (*фр.*).

***** Мировому судье (*фр.*).

****** Умершим (*фр.*).

Д. 10. Л. 43—44 об.

768

11 июля, вторник

Не знаю, что со мной, дорогой мой Юлек. М[ожет] б[ыть], от моих воскресных хождений и волнений, но вчера я был целый день такой вялый и разбитый. И как-то вдруг почувствовал себя усталым. Работа не клеилась, и вкус потерялся, еда всякая надоела — ничто не по вкусу — словом, обратился в какую-то кислятину. Библиотека пустеет, понемногу публика разъезжается. Едут кто на море, кто куда — отдыхать. Может быть, это усиливает мое ощущение усталости. Кажется, правда, что пора отдохнуть. Даже глаза начинают уставать от постоянного читания. Стареть начинаю. Да и нервы устали от впечатлений, не хочется им больше никаких впечатлений.

А как раз Головань едет. Я в открытке упомянул тебе об этом. И я рад ему. Он меня спасет от полной нелепости, в какой я бы себя чувствовал в течение дней (а ведь 3 дня подряд: пятница, суббота и воскресенье), когда библиотека будет закрыта. <...>

Вчера мы с Тарле заходили заказать сюртук. Сегодня примерка. Материал, кажется, хороший. По настоянию Тарле я заказал за 100 фр. сюртук и жилет без брюк. Он уверяет, что брюки лучше купить готовые за 15 фр. maximum. Портной — это большой магазин, по уверению Тарле, лучший в Париже — в двух шагах от библиотеки, так что мы заказ сделали, идя мимо завтракать к Duval`ю. Да, завтраки-таки утвердились за Duval`ем. Бюветка библиотечная немногим дешевле, а дает невкусно. А главное, столько в библиотеке русских набралось, что лучше завтракать в другом месте. Хотя, в общем, встреча со знакомыми в библиотеке скорее приятна, но мимоходом. Наконец, и покурить хочется после завтрака.

<...> Вернулся я домой сейчас после пяти и пролежал до половины 8-го, потом пошел поесть и опять домой. Сижу один, ничего не делая и почти ни о чем не думая. Немного читаю книжку о «Lirisme Contemporain»* — но и то так только, чтобы время убить. И сегодня я, кажется, такой же, как вчера был. Кажется, это не случайно, а действительная усталость. Это не важно.

Головань написал мне взволнованное письмо, растроганное моими парижскими впечатлениями. Опять твердит, что хотел бы жить вблизи парижских бульваров, «где так удивительно сочетаются два тока высочайшего напряжения: физиологическая жизнь и культура».

А. Гревс говорил мне о нем. Гревс его очень высоко ценит и говорит, что хотел бы привлечь его на курсы, но что это трудно сделать, так как у Голованя никаких внешних прав на это нет, а с Айналовым они не столкуются. Слушательницы, которым Головань нынче целый курс прочел в Эрмитаже, тоже толкуют, что его надо на курсы. А про Мишу Гревс говорит довольно кисло, что он хорошо-де делает, что отходит понемногу от истории искусств. Да, большой капитал даром пропадает в нашем Головане. Вот интересно, как выяснится осенью вопрос о Публичной библиотеке. Ведь у Чечулина теперь есть свободное место. Надеюсь, что он не надует Голованя. <...>

---

* Современном лиризме (*фр.*).

Д. 10. Л. 45—46 об.

769

Четверг, 13 июля н[ового] с[тиля]

<...> Так, значит, решено? Я даже не скакал на одной ноге, а как-то притих, почти испугался. А вдруг опять сорвется? Это было бы совсем, совсем невыносимо. Теперь я воскресну, а то совсем в упадок пришел. И чувствовал себя скверно, и занятия вкус терять стали, и на Париж смотрел исподлобья, зло: на что, мол, ты, если Юля тебя не увидит? А сочетание Юли с Парижем — это такая бесподобная симфония, какая никаким Скрябиным на снилась. Теперь другое! Уже вчера вечером сразу Саня оживать стал, ряд новых вопросов для Национальной библиотеки явился, все стало снова интереснее, ярче. <...> Теперь и Голованю можно приехать. Я не огорчу его равнодушием. Он завтра утром будет. Ведь завтра национальный праздник Парижа. Уже с неделю идут приготовления. По всему городу строят балаганы, карусели. В разных местах у площадей даже маленькие развешены плакаты: grand bal le 13, 14, 15 juillet.* Начнут, значит, сегодня, все ночи напролет шум, веселье, танцы на улицах. Собственно, уже начали то там, то здесь. Карусели работают. Днем дети катаются, по вечерам — молодежь, студенты, гризетки, не заботясь о том, что делают карусель и ветер с их юбками. Музыка всюду слышна. Вчера вечером около нас проходила военная музыка — так лихо, бойко, задорно — и толпа приветствовала ее криками. И ушла музыка, ушли возгласы, постепенно затихая. Что твой Вагнер получилось!

Я очень, собственно, плохого мнения об искусстве. «Si nous avions la vie, nous n`aurons pas besoin de l`art»,** — прочел я вчера в газете цитату из фр[анцузского] перевода вагнеровской автобиографии: «Ma vie».*** И тут, в Париже, есть жизнь; а где она есть — она сама творит и дает то, что люди, с беды, ищут в искусстве. Мне кажется, что быть художником может только тот, кто потерял большую жизнь, большую любовь — или лишен ее, стремясь и ища ее. Жизнь и любовь должны убивать потребность в своем искусстве. Их сила может исказить в нем отражения — и только. И я, кажется, так люблю искусство потому, что вижу в нем то, что у меня есть иначе, лучше, глубже — в жизни нашей любви <...> И, право, странно, как это может быть в самом деле так, так просто и ясно и несомненно? <...>

Вы непременно предупредите точно о дне и часе приезда, чтобы я мог встретить вас с Голованем. Если это на Gare du Nord, то не указывайте вокзала в телеграмме, а если другой — то укажите. И поезд укажите, а то их тут так много. Экспромтом приезжать нельзя, а то ведь я очень рано из дому ухожу.

---

* Большой бал 13, 14, 15 июля (*фр.*).

** «Если бы у нас была жизнь, мы не нуждались бы в искусстве» (*фр.*).

*** «Моя жизнь» (*фр.*).

Вчера я не писал тебе. Третьего дня заказал сюртук high-life tailor`y.* Вчера была уже примерка, в понедельник будет готово. Сюртук должен выйти отличный. Они так по-особому примеряют! Скроят вчерне, и первая примерка — очень тщательная пригонка к фигуре, так как кроят с запасом, не скупясь на обрезки материала, и потом перекраивают уже точно по фигуре. Странно было бы, если бы плохо сидело. Жена Тарле у того же портного делала платье; говорит, что и дешево, и очень хорошо — с нею я разговаривал третьего дня довольно много, потому что встретил их у Blond за обедом. Уходя, они назначили мне rendez-vous в одном кафе на Place de l`Opera. Мы тут часто так делаем: не пьем кофе там, где обедаем, а где-нибудь рядом в кафе. Посидели там (причем я стакан разбил, предлагал заплатить — не взяли), потом пошли пешком до них, они попросили зайти, и я посидел у них. Ничего они публика, только какие-то примятые оба. На днях, кажется, уедут в Остенде.

Утром вчера я встретил Ив[ана] Мих[айловича] в молочной, где прекрасный кофе, и мы с ним погуляли, так как было много времени до открытия библиотеки. Он со мной очень мил. Говорил, между прочим, что хотел бы на курсах заменить ушедшего Платонова мною, чтобы я перешел совсем с юридического факультета на филологический. Мне все равно, и если выяснится, что Платонов через год не захочет вернуться, то такой вопрос может возникнуть; тогда, вероятно, Тарановский не откажется взять историю права. Ну, да это далекие дела.

После библиотеки я вчера дома сидел. Твое письмо я получил, когда из библиотеки вернулся, и с ним — открытку от Миши из Берлина. И Джон, конечно, с ними. Когда вы будете проезжать — они уже в Baden`е будут. <...>

Д. 10. Л. 47—48 об.

770

1/14 июля, пятница

Ожидаю Голованя. Писал он, что будет сегодня утром, если не умрет в Неаполе от холеры. Но ничего не написал в точности, в каком часу приедет, где остановится. Надеюсь, что догадается прямо сюда приехать. Тут есть свободная комната. Сегодняшний день — предел парижского учебного и всякого иного сезона. Экзамены кончились, разъезжаются студенты: закрылись многие театры и выставки. Париж начинает пустеть. Это за последние дни было уже заметно по уменьшению движения на улицах и, между прочим, по библиотеке, где стало сразу порядочно пустовато.

Я сгоряча решил вчера, что больше не буду писать. Но это, должно быть, напрасно. По крайней мере это письмо до тебя еще дойдет. Расскажу вчерашний день, хотя он и ничего особенно интересного не представляет. Русские парижане не очень-то сочувствуют национальному празднику. Говорят, что он очень «упал», что неинтересно и т. д. Многие на эти дни разъезжаются. Гревс уехал в Брюгге еще вчера утром. Тарле едут сегодня утром в Фонтенбло. Пробовали и меня с собой звать. Но я им пояснил, что приезжает Головань, а потому... С Тарле у меня совсем дружба какая-то. Хотя летняя: я, например, вовсе не хотел бы завязывать с ним каких-либо отношений в Петербурге.

---

* Модному портному (*англ.*).

Вчера утром я опять встретил Гревса в молочной, где мы оба кофе пьем. Было еще очень рано — и пошли бродить по набережной Сены. Потом он пошел брать билет, а я в библиотеку. Около 12-ти, так как Тарле не было, я один пошел к Дювалю позавтракать. Туда и Тарле пришел. Сообщил он мне, что жена его опять покидает на обеденное время, и предложил пообедать вместе и притом как-нибудь «экстравагантно». Поработав до 6, пошли мы на Avenue de l`Opera в ресторан, где за 3 фр. дают обед с шампанским. Обед недурной, но не лучше Blond; шампанского полагается по $^1/_2$ б[утылки] на человека. Не знаю, какое дали, но сладковатое. Потом к 8 ч. пошли в кафе «de la Paix» на Place de l`Opera — Тарле выдумал послать открытки Лапшину с Мишей и Гримму. Послали что-то несуразное. Потом Тарле куда-то в гости поехали, в незнакомую мне часть города, и меня взяли с собой на таксиметре. Отпустили его на каком-то бульваре, и m-me Тарле, увидав какую-то освещенную церковь, предложила зайти. Ну, зашли. Шла какая-то поздняя служба. Послушали орган, так себе, будничный. По выходе из церкви распрощались. Я пошел домой пешком, это оказалось недалеко и по прямой линии бульваров. Дома нашел открытку от Миши и извещение от «Деятеля», что мне посылается 96 листов корректуры. Но пакета с самими листками не оказалось. Авось сегодня принесут, тогда завтра утром сделаю и отправлю. А теперь сижу и жду Головани. И когда-то он приедет? Я не знаю, ждать ли его или сбегать кофе выпить, а то, пожалуй, у него «утро» не очень раннее окажется, да и не вздумает ли он остановиться где-нибудь в другом месте, а потом прийти. Может быть, от ожидания Головани у меня настроение рассеянное какое-то, и не очень пишется это письмо, как видишь. Такое ощущение, что вот-вот оторвут. <...>

Париж уже вчера начал танцевать. В разных местах города оркестры музыки играют танцы, а публика на улицах и площадях танцует. Признаться, то, что я вчера видел, не очень мне понравилось. Мало оживления, как-то вяло. Может быть, еще разойдутся. А на этот день в Париж съезжается множество «провинции»; говорят, что сами парижане гораздо равнодушнее к своему «дню». Из коренных парижан многие пользуются днями свободы, чтобы уехать из города. Да и жара снова стояла вчера большая, будет не меньше и сегодня, судя по утру. <...>

Д. 10. Л. 49—50 об.

771

6 сентября

<...> Воскресенье шло отвратительно. Разбитость, тяжесть в голове... Позанялся, после письма к тебе, корректурою летописи, но рано лег спать. Вчера с утра много накорректировал, так что сегодня кончу и отошлю Скороходову. Приятная, успокоительная работа это печатание летописи. Оно меня вчера — совсем в равновесие привело, а занимался я им целый день, с перерывом, когда после завтрака спуте-

шествовал в университет и в Городскую станцию. Отдал накладную, а в университете вывесил объявление, что начну лекции в понедельник, 12 сентября, от 2—4-х. Поздновато это, но проф[ессор] Андреев занял [с] 1—2 мою аудиторию, читать же в другом помещении, чем наш Историч[еский] семинарий, — несимпатично. Говорил я с Д. Д. Гриммом об Энгеле[560] — и вышло глупо, потому что Гримм отнесся еще формальнее, чем Покровский, и ответил мне даже с раздражением. Пришлось написать Энгелю письмо, что надежды совсем мало, раз правда, что Juristen sind böse Christen.*

Вечером забежал Полиевктов, но через пять минут за ним явился Сергей и увел меня на Троицкую. Там долго, до половины первого, обсуждали дело словаря, и, как ни старался С[ергей] А[лександрович] настаивать на «отчаянном» положении, в итоге получилось впечатление, что при очень больших неудобствах и крупных недостатках дело все-таки идет довольно твердым шагом и налаживается совсем недурно. Конечно, кое в чем надо потянуться и кое-кого подтянуть. Но и это можно сделать.

Из редакции мы втроем — Гримм, С[ергей] А[лександрович] и я пошли к Палкину, ели омары и грибы в сметане с 2 бут[тылками] хорошего красного бургундского. Прокутили по 8 р. и ушли около 3-х. В самом начале какой-то офицер обратился к публике с речью, что только что получена телеграмма о смерти дорогого и управлявшего Россией с таким достоинством П. А. Столыпина, и предложил отменить игру музыки в ресторане. Все согласились, и музыканты ушли. Минута получилась и вправду тяжелая, точно смерть пролетела над нами...

За ужином Гримм говорил о диссертации Вульфиуса,[561] которая убедила его, что В[ульфиус] — глубоко бездарный человек и совсем не историк. Говорили о том, чего ждать. Гримм уверен, что волнения начнутся скоро, и всего больше объясняет это тем шатанием, которое проявляет министерство, бестолково распоряжаясь и отменяя бестолковые распоряжения. Нашумели грозными исключениями, потом принимают обратно, признавая, что зря исключали. Это вовсе роняет остатки его авторитета, а в толпе, всегда малодушной, рождает ощущение, что участвовать в движении вовсе уже не так опасно. Если вожаков раззадоривает опасность, то толпу — дразнит надежда на безнаказанность или малый убыток. Это довольно верно. Смерть Столыпина (10 ч. веч[ера] вчера — от заражения крови вследствие ее застоя во внутреннем кровоизлиянии) создает весьма сложное и очень интересное для историка положение. Если назначат Коковцова — это будет настоящая «смена министерства», потому что Коковцов постарается подобрать других людей, вместо Щегловитова (м[инистра] юстиции), Рухлова (путей сообщ[ения]) и Кассо. А выходит, если так будет, вот что. Бессилие политической и общественной оппозиции добиться, как это бывает в конституционных государствах, отставки непопулярного министерства или отдельных несносных министров, объясняется у нас тем, что верховная власть наша боится уступить общественному мнению, чтобы не вышло «парламентаризма», т. е. точно Государь выбирает министров, применяясь к политическому настроению общества. А теперь смена окажется созданной — пулей террориста. Это поднимает кредит революционного террора — и у тех, кто ему сочувствует, и у тех, кто его ненавидит. Для кадетов это послужит доказательством, что избавиться от террора можно, только установив настоящую конституцию с парламентским министерством. Во всяком случае, киевская драма — не только «злодейство», но и исторический факт, для русского историка очень существенный, имеющий серьезное значение.

---

* Юристы — дурные христиане (нем. поговорка).

Вот тебе, мой Юлек, маленькая историко-политическая лекция, м[ожет] б[ыть], и для тебя любопытная. Как видишь, я для убийства Столыпина уже нашел место в «общем курсе русской истории». Интересно, оправдается ли мое построение.

Сегодня я отлично спал и встал в половине восьмого совсем бодрый. Удивительно хорошо на меня действуют несколько стаканов хорошего вина. Напишу это письмо и примусь за окончание корректуры моих летописей. Это прежде всего надо закончить, а то в типографии набор лежит. <...>

Сегодня придется, вероятно, сходить на Троицкую, чтобы просмотреть материал для 2-го тома (1-й наконец весь набран), пора ему идти спешно в набор. А вечером заседание на курсах, на котором нельзя не быть: оно уже 2 раза не состоялось, весной и 31 августа из-за отсутствия гг. профессоров. А завтра у меня экзамен, на который записалось 18 слушательниц, значит, 3 часа уйдет, вечером же заседание в институте, куда тоже нельзя не явиться. Кувырком идет петербургская жизнь. <...>

Д. 10. Л. 51—54 об.

772

7 сентября

<...> Вот, говорят, идет к тому, чтобы лучистую силу радия, который, оказывается, и в теле нашем есть, признать тем, что творит жизнь, развитие, расцвет. В тебе, где-то вглуби, должно быть много этого радия, по крайней мере, от тебя идет все, что меня поднимает, вдохновляет и дает рост моему духу. Что бы я был — без тебя? <...>

Вчера, отправив тебе письмо, я закончил корректуры летописи,[562] забежал в Комиссию справиться для них же и отдал все Скороходову. Это уже конец текста. Остается только указатель, кот[орый] мне Романов составляет, и предисловие, кот[орое] мы с Шахматовым должны сочинить. К Рождеству том выйдет. Дружинин спрашивал меня, думаю ли я сейчас же начать новое какое-ниб[удь] издание или сделаю передышку, чтобы опять не вышло, что издание будет лежать. А я и не знаю, как сделать...

А еще не знаю, отчего, когда я твои записочки перечитываю, — так сердце и замирает и скачет, так каждое слово в себя бы и всосал, выпил, не знаю что?

Ну, а из Комиссии зашел в типографию, а оттуда поехал (дождь шел) в редакцию, пересмотрел статьи, которые должны идти в набор, сократил их.

Видел тут Руднева: он опять линяет, голова в больших плешинах, что за странная штука? Пришел Ястребов. К обеду я вернулся домой и стал было после обеда поправлять последние гранки I-го тома (сокращаться сильно приходится, а то мы на 30 % больше дали материала, чем в томы вместить можно), половину сделал, и тут привезли вещи. Я забыл предупредить дворника, и ящик вперли по черной лестнице, а войти — нельзя! Пришлось его распаковать на лестнице, внести вещи. Артельщик, извозчик, Лиза, Гутик и Романов мне помогали. Романов как раз пришел на эти,* я и его запряг носить вещи. Пострадала несколько корзиночка: повыскакивали плохо приклеенные ее спицы, а одна сломалась. Но это не при распаковке, а в дороге, судя по их положению в сене: видно, книги продавили. Сено в ящике убрали на чердак. Сено чудное, ароматичное, так что Романов им восхитился. Корзины поставили в детской и у Гутика. Я пока их еще не трогал.

А по распаковке поехал на совет на курсах. Там выбрали Гливенку в преподаватели; а скандал вышел с Клочковым. Ты помнишь историю о нем? Теперь баллотировали порученные ему курсы лекций (он пока только практич[еские] занятия ведет), и получилось 9 за и 9 против. Решили устроить перебаллотировку в след[ующем] заседании. А возможно, что так его и вовсе провалят! Это будет равно исключению ни с того, ни с сего с курсов человека, который несколько лет много на них работал. Интересно, чем это кончится. С курсов Гримм, Петров и Браун пошли к «Кингу», а мы с Мишей и Джоном удрали от них по домам. Вернулся я рано и успел кончить гранки, кот[орые] сегодня отослал Сергею.

А еще вчера принес мне книги сторож-переплетчик: счет на 20 р. 65 к.! Правда, книг много и переплетено хорошо, но это дорого. <...>

Гутик вернулся весь радостный: его посадили в старшую французскую группу, и он убедился, что справляется не хуже некоторых, кто там уже сидит. Если бы ты видела его рожицу! Но он уверяет, что вовсе и не хотел туда попасть. Уверяет он, что скорее в немецкой группе «провалится», чем во французской. Я спрашивал: почему? Да, говорит, тут учительница такая... Очень эта француженка, видно, ему по вкусу пришлась. Читать будут хрестоматию, из Гюи де Мопассана, Золя, Додэ, Терье и т[ому] под[обное]. В добрый час.

Д. 10. Л. 55—57 об.

773

9 сентября

<...> Голова у меня вовсе пустая. Целый день с 7 утра пишу для Каллаша,[563] с остановками, когда мысль и фраза вдруг изменяют. Идет, конечно, медленнее, чем хотелось бы и чем надо, и вижу, что не поспеть мне никак к назначенному мной самим, отсроченному сроку. Очень это неприятно, и в такой позиции я еще никогда не был. Да и как выйдет, не знаю, очень уж я через силу строчу, хотя все-таки не так тяжко идет, как в Домброве было.

---

* Далее одно слово не разобрано.

У нас настали мягкие, солнечные дни. И хорошо это, и как-то грустнее еще, что тебя нет, что не слышу твоих шагов, твоего голоса. А то, бывало, и во время работы, пройдешь ты, скажешь что-ниб[удь], и сердце мое улыбнется тебе навстречу. <...>

Сегодня вечером заседание юридического факультета. Но я не пойду. И некогда, и опостылели мне наши профессора-юристы, с их большой претензией и узким формализмом всех отношений. Последняя история с Энгелем вовсе мне их испортила. Завтра еще могу весь день писать. А в воскресенье надо хоть какую-нибудь лекцию для университета приготовить. Ведь я экспромтов никогда не читаю, а тут как-то даже и не думал, с чего начну. А еще к тому же и нездоровится мне чувствительно эти два дня.

В общем, как видишь, довольно кисло, хотя не очень. Все-таки, должен признаться, я за эти дни одиночества несомненно отдохнул, а не устал. Есть что-то странное в моей жизни.

Ты там сидишь без газеты. А вокруг киевской драмы развертывается что-то вовсе странное, точно само убийство устроено охраной, попытавшейся потом получить Богрова — и скрыть концы.[564] Вероятно, что-то неразъясненное так и останется. А у Тырковой был обыск, по телеграмме из Киева, но ничего не нашли, она же поместила негодующее письмо в «Речи». Как понять такой инцидент?

Ну, надо дальше писать статью. Вечная срочность, вечная спешка. И все кажется, что, будь побольше времени, которым мог бы распоряжаться как хозяин, можно бы что-нибудь «настоящее» сделать. Но где его взять? <...>

Д. 10. Л. 58 об.—59 об.

774

Воскресенье, 11 сентября
8 ч. утра

<...> У Шеффера и чай вечером пил, и хорошим вином кавказским он меня угощал и еще несколько музейских отпечатков с картин подарил. Рассказывал он мне про разные дела музея, про панику, какая у них была по случаю кражи Джиоконды,[565] так как охрана их собрания больше в том, что ничего там особенно ценного нет. Эрмитаж, кстати сказать, закрыт на несколько месяцев по случаю переделки отопления. <...>

Разговоры с Дельвигом лишний раз заставляют меня с особенным интересом ожидать твоего разговора с Свижевским о смете возможных доходов и расходов Домбровы и его мнения о том, может ли Домброва выдержать то, что от нее требуется, не «посадив» нас больше, чем на 300 р. в год, а если больше, то как он это себе представляет? Конечно, и его соображения могут не оправдаться, но желательно, чтобы он понял, что с нас тянуть много нельзя, что «оборотного» капитала нет. Мне трудно будет выработать в этом году побольше. И то очень вероятно, что мечта о «докторской» в 2 года — улетит в трубу. А как мы справимся? <...>

Д. 10. Л. 60—61 об.

775

11 сентября

<...> Написав тебе утром письмо, я закончил к завтраку и немножко после завтрака вторую главу каллашевской статьи. Решил написанное завтра послать ему, чтобы не очень плакал, а остальное дослать, когда напишется. Такой пэх* вышел, что одной книги, очень нужной для дальнейшего, не оказалось под рукой: куда-то улетучилась. Придется завтра в университете взять. А к тому же я, запечатав написанное в конверт, пришел в такое настроение, точно я что-то закончил. Поэтому съездил к Сергею по 2-м словарным мелочам и за одной справкой. Он сидел над Пушкиным, так как во вторник надо ему курс о нем начинать. А мне — завтра! А ничего не приготовлено!! Ну, это в скобках. <...> Потом Сергей поехал на публичное заседание «Народных университетов», неведомо зачем, а я — домой. <...>

Дедушка чуть ли не всерьез думает о покупке дачи в Сестрорецке. Вступил в переписку по объявлению; предлагают за 13 $^1/_2$ т[ысяч] на наличные. Говорит, могу уплатить половину, это у меня есть, а вторую — заложив дачу. «Дача», по-видимому, в городе и без сада. Говорил со мной про домбровские дела. Он верно ставит арифметическую задачу, которую хорошо бы обсудить с Свижевским: сколько составляет денежный годовой расход Домбровы вместе с арендной платой и что из него может Домброва, предположительно, сама окупить? Я бы только прибавил еще вопрос: сколько и когда может Домброва требовать авансов — до весны? Наши соображения и расчеты все сюда уложатся.

Из петербургских новостей, не помню, писал ли я тебе, что Маковский с Врангелем устраивают-таки выставку современных французских художников. По-видимому, на этот раз наверное, так как есть известие, что собираемые в Париже картины временно будут храниться в Лувре. Вероятно, увидим кое-что знакомое по Парижу. Приятно будет встретиться. <...>

Д. 10. Л. 62—63 об.

776

12 сентября

<...> А я сегодня начал лекции в университете кое-как, вышло противно и неясно, и с претензией. Так недоволен я не помню, чтобы когда-либо был. А слушать собрались все старики. И Романов, и Чернов, и Любомиров, и Тищенко, и Лавров и т. п. и т. п. Требовательная и ответственная аудитория.[566] Что дальше будет!

Дома меня сегодня целый день не было. Утром экзаменовал на курсах, кончил в первом часу. А лекция — в 2. Домой возвращаться не стоило, отправился в университет, в библиотеке кое-что посмотрел, потом так, в профессорской кое с кем разговаривал. Совсем меня огорошил Тарле. Заявил, что желает меня и Гримма пригласить пообедать в ресторане по случаю его избрания в профессора Высших курсов! И глупо это, и странно, но отказаться значило бы его обидеть. Я ему сказал, что пусть сговорится с Гриммом.

---

* Неудача (*польск.* pech).

Вечером я после такого дня, конечно, ничего состряпать не мог. А потом пришел Сергей тащить меня в редакцию, где сегодня боевое собрание. Я было отпросился у него, да потом он вспомнил, что Клоссовский сделал ряд замечаний на мою статью об Антоновиче[567] и хотел поговорить со мной. Пришлось поехать. Потолковал с Клоссовским, поправил по его указаниям статью (он А[нтонови]ча лично знал), а потом потихоньку сбежал. Не хотелось там с ними сидеть, да и меня все некоторая степень лихорадки не покидает. Вот теперь дома. Сейчас спать лягу. С утра писать буду продолжение каллашевской статьи. На душе томительно и невыразимо грустно. И это не одна усталость, а, право, грустно, очень грустно вообще на белом свете. И наша любовь — только покрывает это, уводит от этого, дает забыть. Без нее все бы рухнуло. <...>

Д. 10. Л. 64—65 об.

777

13 сентября

Содом и Гоморра! Утром пришли полотеры паркет мыть. Потом дворники стали выносить и выколачивать мягкую мебель... Я было приютился у Гутика и там кое-что написал. Но все-таки эта атмосфера скуки, суеты, уборки — мешает мне, по расхлябанности моих нервов, черт бы их побрал. Они стали так капризны насчет условий, при которых не мешают работать. Шеффер уже советовал мне отправиться в водолечебницу. А сегодня еще надо будет начать практические занятия на курсах. Хорош я буду, должно быть, не лучше вчерашней университетской лекции. <...>

Хорошо, как наладится сколько-ниб[удь] сносно наше министерство внутренних дел, а то если оно останется похожим на российское управление, как было весь прошлый год, то мы с тобой совсем в комок сомнемся. <...>

Под влиянием всех этих настроений является желание просто уйти куда-нибудь, совсем как у тебя. И я сегодня иначе настроился к мысли, напр[имер], о концертах. «Спровоцировал» меня, как на нынешнем варварском жаргоне говорят, Кусевицкий, которого «бетховенскую» программу сегодня почему-то прислали на дедушкино имя. Идет, как знаешь, весь симфонический Бетховен — 27, 28 и 30 сентября и 1 октября. Наши диваны на 4 концерта стоят 7 р. 40 к. Я теперь ничего не имел бы против того, чтобы пойти, если ты захочешь и найдешь возможным. А до сих пор думал, что и денег, и времени мало — так лучше воздержаться. <...>

Вчера Сергей 200 р. Гливенке дал, Голованю послал, последний 3 р. Ярошевскому отдал, а сам остался с горсточкой мелочи. Говорит, что сегодня раздобудет. Верно — на векселях играет. А и наш заиграть придется, как только станут на очередь Штрупьи дела. О Штрупе я только от тебя узнал, что Татьяна его в лечебницу устраивает. И такой я теперь растерянный, что забыл вчера сообщить это Сергею.

Гутик сегодня утром повторил немецкий, и вышло, по-моему, сносно; но большого это ему напряжения стоит, как и французский тоже. Думается, что перевод его по обоим языкам в старшие группы — большая ошибка. Посмотрим, как дальше пойдет, особенно когда возобновятся французские уроки дома. А с немецким я ему как-ниб[удь] помогу, но моя помощь недостаточна; а с немкой — много ли он разговаривает? <...>

Д. 10. Л. 66—67 об.

778

14 сентября*

Со мной что-то делается, дорогой Юлек, и очень странное. Не знаю, как сумею сказать, что именно.

Ты вот как-то писала, что мы ко всему приподнято подходим. А меня мучает чувство, что я точно смотрю кругом через какие-то особые очки, пристальные и вскрывающие все мелочи да мелочности, окрашивая все в какой-то серенький, болезненно-сероватый тон. И только одно большое остается в жизни и людях, если на них так смотреть: скорбь какая-то, боль их, бедных, но боль большая. Это ты, к сожалению, поймешь, потому что у тебя на боль и тревогу талант совсем особенный.

Примеры, куда это применяется, — случайные. Я писал тебе о Гревсе-юбиляре. Гибельная болезнь детей его, безумно-трагическое, в сущности, дело, и какое-то почти спокойное, трогательное смирение, какое читается на их лицах, в их тоне, и Мар[ии] Серг[еевны] и Ив[ана] Мих[айловича] — не тогда, когда они об этом говорят, нет, с ней я ни слова не сказал, а всегда, на всем их тоне. И помимо этого, сам он насквозь такой: и славный, и милый, точно еще юноша с сильной сединой и 25-летним юбилеем, для многих странный, непонятный, противоречивый, «точно он еще не определился, да и никогда не определится», как о нем сказал Платонов. И в нем, правда, есть что-то, напоминающее молодого студентика бродящего, про которого трудно сказать, что он хороший или худой, искренний или с фальшецой, так трудно ему дается быть самим собой, ясно и отчетливо. И все его отношения такие. А Платонов? Не помню, говорил ли я тебе, что одна черта мне его объяснила недавно лучше прежнего. Он как-то весной сказал мне, что не любит моря, широкого, открытого моря. Такое оно у него тягостное, давящее впечатление вызывает, что он уходит вниз в каюту, когда из порта выходит пароход в открытое море. Чувствуешь, сколько тут слабости, бессилия — в этом прятанье от величавой красоты? Маленький человечек не смеет с ней лицом к лицу стать. И перед морем житейским, выражаясь риторически, он такой же. И перед людьми, перед душой человеческой тоже. Это какой-то объясняющий свет бросает на его отношение к людям, в которых он то с какой угодно степенью ничтожества мирится, то не прощает пустяков, если они лично неприятны или лично обидны. Глядит на мир — из каюты. А притом рядом столько таланта наблюдения, и частностей, и картин широких, не только в истории, но и в жизни! Вот и разбери... Увлечешься этим — и наткнешься вдруг на что-то узко-личное, злопамятное, мелкое, ненастоящее, наносное, нажитое, как мозоли на потрепанной душе.

---

* Опущено первое письмо, датированное 14 сентября (Д. 10. Л. 68—68 об.).

И меня это не отталкивает. Люблю я таких quand-même,* хотя это больно, зачем так. Но почему я в таком настроении, что пишу это, да еще так жестоко пишу, с таким чувством, точно наболевшее место ковыряю. В конце концов, только потому, что сам неврастеник, что летом мало отдохнул, что мне скучно и одиноко тут без тебя и т. д. Т. е. просто потому, что нервы напряжены и растрепаны.

И никуда идти не хочется, никого видеть. У Манизер не был, к Шефферу, как обычно осенью, не зашел, нигде не был. Дома все время занят, но это не работа плодотворная, а мелкая суета, по необходимости. Даже в Архиве раз только и был.

Завтра читаю второй раз в гимназии, завтра начинаю историю русского права на курсах и лекции в институте. По вторникам, кажется, сумасшедший день будет — 5 часов подряд. Оно и выгоднее: разгружает другие дни. Но настроение мое мешает начать дело с подъемом. А это нехорошо — для аудитории. Впрочем, посмотрим, как завтра выйдет. А пока тебе докучаю своим нытьем... <...>

Надо мне сегодня еще к Мане сбегать. Я получил от какого-то ссыльного в Мезень письмо для М[ихаила] К[арпови]ча. Очевидно, мой адрес дан как условный. Мане я этого не скажу, а скажу, что какое-то письмо, не посмотрел-де откуда. А что К[арпови]чу — это написано внутри, не на конверте, а так, сокращенно. Миша забыл меня предупредить.[568] Пойду к ним к 6 часам, к их обеду, а к 8 — в «Маяк». Завтра меня выбирают окончательно (в Совете) в профессора.[569] А тут меня уже не раз спрашивали, правда ли, что я уезжаю из Петербурга. Васа Ползикова говорила, будто в «Слове» (?) читала, что я перехожу в Киевский университет... Откуда это взялось? Разве отражение моих разговоров с Линниченко об экстраординатуре в Одессе?

Тоня ходила к градоначальнику с просьбой, чтобы отложили высылку жениха, дали бы им обвенчаться. Хочет с ним ехать. Ответа, кажется, окончательного нет. По-видимому, его сгубила именно свадьба. Так как он католик, то вместо оглашения потребовалось полицейское свидетельство, а обращение за ним напомнило о нем полиции и вызвало высылку.

Д. 10. Л. 69—71 об.

779

18 сентября

Ну, дорогой Юлек, придется мне огорчить тебя... Денежные дела наши обстоят так худо, что я совсем себе не представляю, как быть... Оказывается, что на курсах могут платить мне по-новому, по-профессорски, только с момента не избрания, а утверждения меня министром! Поэтому я получил еще по-старому. Мало того: за практические занятия я получу и за сентябрь, но в октябре, а филологический факультет считает меня не профессором, а преподавателем и платит не 300, а 200 р! <...> Совсем не знаю, как мы из этого вылезем. Даже книга мало поможет, так как надо за Гутика платить.

---

* Все-таки (*фр.*).

А пока расскажу тебе что-нибудь для развлечения от этих неприятных мыслей. Я ошибся вчера, написав тебе, что Париж «пропал» для Голованя. Он сказал это только о занятиях, что мало получил нового по искусству. А впечатлений у него много — отчасти тяжелых, правда, от его Парижа, и он снова подавлен яркостью, «сконтрированностью», как он это называет — жизни в Париже. Вчера он вечером пришел, а раньше его пришел Миша. Пробовали вызвать Сер[гея] Ал[ександровича], но его дома не оказалось. Я хотел их оставить, сбегать в «Маяк» и вернуться, но тут за Голованем прислали, так как на квартире Г[еоргия] В[асильеви]ча собрались Форстены и Елиз[авета] Ник[олаевна] на совет о квартире. Они оба туда пошли, а я в «Маяк», а оттуда зашел на Спасскую, 12, отдать прис[яжному] пов[еренному] Селюку книги для Щеголева — и домой к 9. Гостей моих еще не было. Я сидел и рассматривал фотографию Христа из «Т[айной] вечери» Леонардо, которую мне привез Головань. Это превосходный снимок, большого формата. Одна фигура — Христа. Хотелось бы написать тебе об этом Христе, сколько в нем кроткой и глубокой душевной боли, бесконечной боли, и — не «всепрощения», как Головань это называет, а любви, которая остается любовью, несмотря на ужасную душевную боль, на ужас даже, причиняемый тем людским миром, который он любит. Дойти до такого Христа — страшно тяжело. А сказать о нем трудно, надо иметь фотографию перед глазами. А она передает испорченный оригинал, в пятнах весь, бледный, не умаляя выражения. Только всмотреться надо. Я должен был очками для дали вооружиться, смотря вблизи.

Часов в 10 пришли они. Пили мы чай, а потом Миша рано ушел. Головань же остался и тут разошелся. Папа послушал, да и ушел к себе. А Головань ушел от меня в 2 часа. Сперва речь шла о живописи. Он очень доволен тем, что узнал в Бельгии. И правда, любопытно. Получаются несомненные основания говорить о сильном влиянии нидерландской живописи на Италию второй половины XVI в., на происхождении с севера главных особенностей живописи Леонардо, его светотени, его «золотистого» тона — зеленовато-золотистого тона последних вещей, словом, его колорита. И от Леонардо, так объясненного и так понятого, у Голованя прямой путь к Рембрандту. Наконец, подошел он к Рембрандту. Ну, теперь нескоро от него отделается. Это — большое расширение его кругозора. Медленно идет он, но верно и содержательно. Однако к чему? Только для личных переживаний. Говорит он, что «хотел бы» прочесть реферат о реставрации «Тайной вечери», другой о нидерландских влияниях в Италии, но, видно, что и сам себе не верит, да и я не верю. А жаль... Потом поспорили о Микеланджело и Леонардо. Как он много видел, и как странно тем не менее оценивает он Микеланджело. Ну, да это мелочь.

Потом стал рассказывать о Париже. Нынче он спустился в вертеп и с болезненным ужасом всмотрелся в дикую изнанку парижского разгула и разврата. И больно ему видеть эту сторону в любимом Париже. А он любит этот город как дорогое существо, как любимую женщину. Так и говорит: «Знаешь, Евгеньич, когда любишь этот город, тяжело это видеть». Для него Париж — цельное существо, которое все, все стороны жизни сливает в один сложный характер. «И все это надо видеть, надо понять, что все это — одно, один Париж», в котором так невероятно сильно выражены и высокие, и низменные стороны жизни, все доведено до величайшего напряжения — и все, даже «апаши», возведено в искусство, в художественность. Когда он приехал в Париж, сильно захотелось ему послать мне телеграмму: «Приезжай, Евгеньич, сюда...». Этого я не забуду. Не ожидал я такой ласки от него, каюсь, не ожидал. Ну, понятно, не послал, подумав: «Все равно не приедет».

Так и беседовали до 2-х ч. А в 10 была лекция, 2 часа на курсах. И я легче, свободнее читал, чем в первый раз. Потом повозился с книгами в университет[ской] биб[лиотеке] — вернулся домой, а к 4-м надо было снова путешествовать на курсы из-за панихиды по Павлове-Сильванском. После панихиды Сер[гей] Фед[орович] сказал речь о Сильванском, дал тонкую, внимательную и чуткую, очень простую характеристику его личную; вышло очень искренне, даже тепло. Спасибо ему за это. Грустно было. И у него точно голоса под конец не хватило... <...>

Квартиру Г[еоргия] В[асильевича] ликвидируют. Его библиотеку Ал[ександр] Густ[авович] предложил устроить где-ниб[удь] так, чтобы ученики его могли ею пользоваться. Какая деликатная мысль! Рассчитывают на Панину, на помещение в ее доме. <...>

Д. 10. Л. 72—75 об.

1912

780

27 мая

<...> Своих дел никак еще не соображу. Ведь до отъезда в Саратов всего 10 дней, а еще четверг выпадает, потому что и экзамен есть, и в унив[ерситет] надо зайти, книги сдать, кое-что взять.

Пришел Головань, на минутку зашел из Публ[ичной] биб[лиоте]ки, книги оставить. <...> Штильману послал телеграмму с просьбой reponse rapide.* Сидит С[ергей], да и задумается; спросишь — о чем? — да все, говорит, о делах газетных. Удручен эпизодом «Протопопов—Волковысский»,[570] ждет, как манны небесной, Арефина, что тот как-нибудь да уладит. А Арефин по волжским городам разъезжает. Послали ему телеграмму, чтобы торопился. <...>

Перечел я; начало тебя не задело? Не надо, Юлек. Ведь просто мои преусталые нервы — еще больше устали от ощущения острой усталости кругом. А, главное, на душе у меня очень много очень для меня сложной и трудной заботы — по вопросу о «книге»,[571] о которой мысль все время крутится, крутится, а раскрутиться не может. Все вместе утомило, потому что все впечатления как-то дробят, в разные стороны тянут, концы с концами не сходятся. Надо одному побыть, а это только в дороге случится, все-таки не тут. <...>

Д. 10. Л. 76—76а об.

---

* Ответить срочно (*фр.*).

781

27 мая*

Утром стал писать и строчил с маленькими перерывами до 7 часов веч[ера], но статьи все-таки не кончил. Сергей прислал сказать, что уговорился с Платоновым, что заедет вечером к нему, чтобы устроить дело о заграничной командировке, и что, стало быть, зайдет за мной. Я С[ергею] Ф[едорови]чу завез половину статьи, а вторую повезет Надежда Ник[олаевна], которая едет в среду. Я не спросил, почему столь странное распределение статьи. Заграничную командировку Сергей получит из Комиссии по резолюции С[ергея] Ф[едорови]ча на его прошение, которое они тут же сочинили. Условились со мной, что я доставлю Н[адежде] Н[иколаевне] статью, С[ергей] Ф[едорович] почему-то подчеркнул — «в запечатанном конверте», и когда я ответил, да, я занесу и оставлю пакет, он, видимо, остался доволен моей сообразительностью. Спрашивал он меня, что я летом буду делать, и когда на вопрос о работе для «книги» я ответил нет, «для курса» — пожал плечами. <...>

Д. 10. Л. 77—78

782

29 мая

<...> С утра строчил в Энциклопедию. Это занятие мирное, отдохновенное, точно работа в Архиве. Целый день я один, потому что Головань в Публ[ичной] биб[лиотеке]. Сергей долго спит, потом газеты читает, чуть в час выползает — и опять газеты читает. Потом ждет Головайя и обеда, сидя в кресле, и все о чем-то крепко думает. Вчера у нас с ним политический разговор вышел — причем я его сильно пришиб настойчивым доказыванием того, что нынче и надолго никакого общественного движения в России ждать нечего. Его это крепко сокрушает и по личному настроению, и — для газеты, которая задыхается от скуки. Пропал тот патриотический оптимизм, с которым начинали газету. А на смену ему ничего одушевляющего не пришло.

Государственный горизонт — грязно-хмурый. Толкуют о роспуске Думы — не на лето, а совсем — и назначении новых выборов, чтобы издать кое-какие законы без нее, а саму новую Думу подобрать хоть насильно еще более бессильную, чем эта. За последние дни, в связи с тем, что в Москве вокруг царька происходило и новых усилий «объединенного дворянства» захватить политику в свои руки, — налетело ожидание решительной и грубой реакции, хуже прежнего. Говорят, что остановка только за тем, что никто не берется заменить Коковцова.

Тебя эта «политика» мало интересует, но тут она создает общий фон настроения. В понедельник вечером мы были у Полиевктовых. <...> Впечатление осталось крайне унылое. Головань так совсем в расстройство пришел. Он как-то особенно переживает Мишину историю. Точно дело не только в том, что он Мишей и за Мишу огорчается, а как-то прикидывает все к себе и скулит очень лично... Тут он особенно подчеркивал пустоту и какую-то мертвенность отношений между женихом и невестой, отсутствие не только чего-либо душевного, но и простой внешней влюбленности. <...> Дай Бог, чтобы все это было не совсем так, как нам кажется. <...>

---

* Здесь, вероятно, ошибочно указана дата. Надо: 28 мая. Это письмо написано позже предыдущего.

Во вторник пообедали втроем, Сергей ушел в редакцию, я немного пописал еще, потом пришел Джон, принес свою статью, очень интересную — «О перевоплощаемости в художественном творчестве»[572] и утащил Голованя в Павловск. А я стал кончать какую-то статейку. Странная у меня голова: я, напр[имер], не помню, что вчера писал, что сегодня. Правда, что за 3 дня я их 20 написал, т. е. за 2, потому что в понедельник — только одну.

Потом пришел Сергей, собирался, закусив, пойти к Гуревичам, да Гримм позвонил узнать, есть ли у Сергея вторник, а узнав, что он тут, приехал к нам. Я послал за ветчиной и омарами, и мы часов до 12 потолковали, довольно вяло, но как-то очень (даже слишком) «умно» — об университете, о революции и т. п., точно три старых профессора. Вероятно, потому, что вина не было. <...>

Д. 10. Л. 79—81 об.

783

30 мая

<...> Вчера я утром встал в 6 ч. и стал писать. К одиннадцати кончил-таки платоновскую статью. Я писал тебе, что беспокоит меня, как она вышла. Но один недостаток и сейчас уже вспоминается. Ей надо было дня 3-4 полежать, чтобы я мог прочитать ее со свежей головой, а тут пришлось отдать так, с пылу, с жару. Надеюсь, что хоть корректурные-то гранки мне дадут поправить. Платонову я об этом написал и еще напишу.

Кончив статью, отвез ее Над[ежде] Ник[олаевне], но отдал сторожу, чтобы тот снес наверх, а сам отправился в университет, были делишки в библиотеке. Вчера был день экзамена по русской истории, но мы раньше экзаменовали без Рождественского и условились, что на 29-е он один за то на себя экзамен возьмет. Утром я получил повестку об этом экзамене, записалось 15 чел[овек], но я не поехал, надо же было статью кончить! А в университете, куда я к часу попал, встречаю Рождественского, совсем унылого: он с десяти экзаменовал, потом пришлось ему прервать и идти в собрание Комиссии о государственных экзаменах, где он секретарем. Уговаривал меня экзаменовать остальных, но я было уклонился, тем более, что студенты разошлись, чтобы вернуться к половине третьего. Получил я гонорар для Сергея (23 р. с коп.), сдал книги в библиотеке; тут встретил Мишу и Джона, поболтали. Миша уже водворился на новой квартире. Ну, пошел назад, да увидал, что в аудитории сидят 2 студента, ожидая уныло экзамена по русской истории. Стало мне их жаль, я зашел их проэкзаменовать, тут другие подошли, да так я с ними больше часу и провозился; когда Рождественский пришел, ему только 2 человека осталось. <...>*

Д. 10. Л. 82—83 об.

---

* Опущены два письма от 31 мая (Д. 10. Л. 84 об.—87 об.) и письмо от 1 июня (Д. 10. Л. 88—89 об.).

784

25 августа

<...> Ночевал я у Сергея, с ним мы вечером опять мучили память Достоевского и договорились до одинакового и крайне смелого понимания «конца Карамазовых», которое у меня с прошлого года в записной книжке записано, а Сергей утверждает, что оно у него еще в фельетон «Речи» намечено, хотя мне казалось, что он довольно решительно отвергал его в прошлом году, когда на тему «конца Карамазовых» фантазировал Головань. А это вопрос большой — о возможности «оправдания» сознательного убийства. Как-нибудь напишу тебе об этом, потому что очень бы надо было мне узнать, откликнешься ли ты как-нибудь на это или нет, и как. А если не напишу, то и не скажу, должно быть. Ведь я почти никогда не умел «говорить» с тобой. Перед тобой всякие «рассуждения» так не нужны, так мертвы, так выдыхаются в каком-то смущении. Совсем как перед природой и перед всем, чем надо дышать и любить, а не рассуждать. Утром я корректуры делал, а часов после 11 пошел домой. К Сергею пришел Иван, и они там целый день книги переставляют. Я дома работал над чечулинскими «гранками» и половину, ту, которая с поправками может остаться, успел ему сегодня отправить. Завтра примусь за то, что надо заново делать. В 4 ч. отправился к Ефремовым, там и обедал. Представь себе, что Шура с экскурсией из Peterschule проделал нынче на Кавказе весь путь Сергея, т. е. из Алагири прошел Военно-Осетинскую дорогу до Кутаиса, оттуда ездили в Тифлис. Молодцы, немцы. <...>

В Энциклопедии опять все перегрызлись. Макс со своей «конторой» переезжает в соседнюю квартиру, отдельно от Цера и Дика. Только ватерклозет остается общий. Кроме того, немцы за лето перессорились с Ястребовым и Рудневым. Все эти дрязги, конечно, очень досадны, а Сергею приходится их расхлебывать. <...>

Д. 10. Л. 137—138 об.

785

26 августа

Вчера вечером явился Головань. Получив мое известие о приезде, зашел к нам, а потом к Сергею. Дело было вечером, мы уже чаю отпили, для Голованя новый самовар подали. Сергей на радостях стал искать, нет ли чего особенного в буфете, и нашел непочатую бутылку бенедиктину. Ну, пошла беседа часов до 2-х. Головань, конечно, норовил на последний поезд, тем более, что сам пригласил архитектора на сегодня к 9 ч. утра, и, конечно, пропустил поезд, но не архитектора, т[ак] к[ак] я его разбудил без четверти семь. Я проснулся утром с ощущением чего-то очень красивого в душе, мелькнула мысль, что это ты, но потом — нет, это вчерашний вечер. Пошла речь о впечатлениях Сергея, и Головань разошелся, стал давать характеристики художников Возрождения, которых он чувствует как близких, знакомых людей, «пушистую светотень» Андрея дель Сарто, художественную женственность и силу Корреджио, безумного фантаста Пьеро ди Козимо; дал целую схему переливов европейского художественного творчества, определил «свою» тему по истории французской живописи — историю светотени, тему, которую пояснял своими наблюдениями над французскими миниатюрами XIII и XIV вв. Эта тема — для того, чтобы исторически найти разгадку великой тайны творчества Ван-Эйка. Все это у него лилось так свободно, ясно, стройно, согретое веселым настроением, радостью свидания, сквозившей в его голосе и в движениях его, что-то тайное и ласковое. Ну, конечно, не мог он не вставить: «Надо тебе, Евгеньич, во Флоренцию ехать». А когда я признался, что, хоть очень хочется — и не только во Флоренцию, но есть и чувство, что — зачем, раз только для того, чтобы взглянуть, что-то почуять, а не отдаться, не выйти в эти переживания, не «сделать» из них чего-то, как у меня и с москвичами было, то Головань стал — неожиданно странно — объяснять, почему «это не выдерживает критики». А сказал он так: сошлась, хорошо сошлась компания, закружилась, увлеклась, хорошо, «по-мальчишески», а потом опомнилась и сказала себе: «как это глупо, глупо, что мы это так, по-мальчишески...». Я сперва подумал, что он это говорит применительно ко мне, как упрек что ли, но он признался, что будто сам нечто такое пережил (я этому не очень верю, скорее, это он «сделикатничал». Странно было бы...). Попытался я ему объяснить, что мое чувство совсем другое: раз перед тобой что-то безусловное и прекрасное, то как на него смотреть, гуляя туристом? Или вовсе не смотреть, или всей душой отдаться, жить этим, жить активно, отдавая силы, чувство, время, ум этим переживаниям, чтобы они не ушли так, мимо, только сверкнув, а закрепить их, проработать душой и умом, чтобы недаром попользоваться ими, а заплатить за них — собою. Словом, «настоящая психология влюбленности», как когда-то сказал Сергей по поводу моих рассуждений в этом роде. Настоящая «психология» моей любви к Юле, которой ведь не отделишь от всего этого. Но и тут, и там «настоящая» психология не осуществляется, потому что жизнь связывает, дробит в половинчатость какую-то и суету. Голованъ спорил против такого: «или все, или ничего», говорил — возьми, что можешь, дай хоть кусочек отклика, что найдется, а там само попадет на место. Да не понимает он как будто, или нет, не то, чтобы вовсе не понимал, а не хочет признать, что так ведь и делаешь, по необходимости, что мука бесплодия — законна, естественно сожаление, иногда очень острое, что большие для тебя ценности пропадают, мельчают, размениваются. Так вот, за такой беседой и за бенедиктином прошел вечер. Кончился бенедиктин, и Головань, понятно, захотел дополнения. Но я промолчал, а Сергей сказал, что мы-де не вошли еще в петербургские настроения. <...>

Утром, разбудив Голованя, я уже больше не спал. Сделал корректуру листа Энциклопедии, почитал Сологуба (прелестные вещи: «Опечаленная невеста» и «Елкич»).[573] Потом кофе пили, и я пошел домой, где ни Лизы, ни монтера еще не оказалось.

Голованъ мечтает о дальнейшей работе в Bibliotheque Nationale, но скорбит, что недоступны важнейшие рукописи, которые получить для изучения оказалось невозможным. Мелькает у меня мысль, нельзя ли римское знакомство Сергея с г[оспо]жой Станкевич, которая доктор истории искусства Сорбонны и начинает в этом году преподавать на Московских высших курсах, а в Риме с большим интересом расспрашивала о Головане, — использовать, чтобы через ее парижских профессоров-учителей достать Головаю доступ к этим рукописям. Настраиваю Сергея писать Станкевич (не об этом, а под каким-либо предлогом, напр[имер], по моей просьбе узнать о ее работах), а когда будет в Москве, зайти к ней и поговорить. Я, кажется, писал уже тебе о ней, о том, как она в Москве слыхала о лекциях Голованя на Французской выставке, а в Италии об их экскурсии, и добивалась узнать, кто же это такой. Они с Голованем одной, французской школы, той, что от Куражо идет. <...>

Д. 10. Л. 139—141 об.

786

27 августа

Сегодня, дорогой Юлек, я получил твое первое письмо (и корректуры). Я писал тебе вчера днем, как только вернулся туда от Сергея. Потом позанялся, хотя почти ничего не склеилось, пришел монтер, починил предохранители, где довольно серьезная порча оказалась, потом пришел Романов, загорелый, веселый. Он так рано приехал, потому что у него какая-то путаница вышла с документами, нужными для утверждения учителем, а еще Ярошевский телеграммой предложил ему уроки у Таганцевой, откуда ушел Барсков. Кончилось тем, что Романов набрал себе 11 уроков — многовато это. А тут еще такое дело: его сестра выходит замуж за военного врача, который только что назначен в Красноярск, и отпуска, хотя бы и для женитьбы, ему не дают. Придется ей туда ехать; и Романов сказал мне, что либо мать с ней поедет, либо он. Я только сегодня от Ярошевского узнал, что это — на вторую половину сентября и на 2 с $^1/_2$ недели! Дело, по-моему, совсем невозможное, как это Романов не понимает, что после прошлогодней истории нельзя ему уезжать в начале занятий. Надо будет ему это поскорее внушить. Ну, так Романов окончательно перебил мое время, и я по его уходе уже прямо отправился к Сергею, а с ним — обедать в «Афганистан». <...>

Сегодня же утром разговаривали по телефону с Гриммом, условились завтра пообедать вместе у Палкина. Как видишь, мне часто приходится обедать по трактирам, а это денег стоит. О Лизе пока ни слуху, ни духу. Надеюсь, что она приедет не сегодня завтра! <...>

А Миша, пожалуй, и впрямь близок к женитьбе? Ну, что же, дай ему Боже; посмотрим, что из этого выйдет. Совсем неженатый человек, несомненно, четверть человека, но женатый без настоящей любви (а есть ли она там? может быть, и будет?) рискует вовсе исказиться. Много в жизни важного, нужного, глубокого, но все это живет при одной только любви, ее свет все освещает, а без нее, как впотьмах, и другого не разглядишь, хоть и большого, и яркого. Сколько моей любви в искусстве, в людях, в науке, сколько я вижу чудного тобой и через тебя, мой Юлек. Ведь без твоей любви, чувствую, все бы погасло, и мои жалкие минуты сомнения мне дороги тем, что так ярко дали мне это почувствовать снова и сильнее, чем когда-либо, точно на краю горного провала, когда так, говорят, жутко, что вся жизнь сразу встает перед глазами.

Д. 10. Л. 142—143 об.

787

28 августа

Вчерашний вечер ушел на корректуры. Сергей уезжал к проф[ессору] Дерюжинскому, который вызвал его, обещав что-то сообщить для «Русск[ого] слова»; оказался вздор на тему о выступающей в «Вилла Родэ» певичке Кассо, что надо это использовать для балагана по поводу Кассо, что вообще надо покрепче травлю на него устроить, и т. д. Сергей вернулся домой злой и утешился, только рассказывая мне свои впечатления от разных подробностей Акрополя, и снова поразил меня необычайным чутьем и тонким безошибочным вкусом. Недаром же он так тебя любит...

Утром я позвонил С[ергею] Ф[едоровичу], чтобы кое-что спросить у него по поводу статьи о царе Михаиле, которая все у меня не налаживается.[574] Оказалось, что Чечулин ему только намекнул что-то о производимых мною изменениях, но С[ергей] Фед[орович] заговорил, конечно, об университетских делах, очень горячо хвалил Эрвина, говорил, что он прямо показал себя деятелем крупного калибра, что он им прямо любуется. Сегодня же передам это Эрвину, ему подкрепление духа всегда нужно. Сергея С[ергей] Фед[орович] опять подвел, навязал ему 8 лекций, а профессуры не устроил и что-то крутит. Не знаю, как Сергей это переварит. В четверг С[ергей] Ф[едорович] звал нас к себе, потому что вообще чувствует потребность побеседовать. Приятно то, что он дает для нашего словаря три обещанные статьи.

От С[ергея] Ф[едоровича] я заехал еще в Комиссию — тоже за материалом для статьи. Видел тут И. И. Лаппо из Юрьева. Опять сетовали на Кассо, который дрянным кошмаром навис над университетами. Выделывает Бог знает что. Вот теперь назначил в Москву председателем комиссии для государственного экзамена у филологов — Чечулина (!), человека, который никогда с экзаменами дела не имел, человек почти ненормальный, и говорит так неразборчиво, что, и зная его, трудно понимать. Хороши будут его объяснения со студентами, а объясняться председателю с ними приходится очень много. И С[ергей] Ф[едорович] очень зол на Кассо, говорит, что с Шевяковым прямо трудно встречаться, так противно, а приходится сдерживаться, потому что личный разрыв с ним неудобен — он для института как профессор и декан еще нужен. Про Эрвина С[ергей] Ф[едорович] еще сообщил мне «по секрету», что против него очень настроена «левая» часть профессоров; это я давно знаю, знаю и то, что тут гвоздь в его брате, Д[ави]де Д[авидови]че. Но я вполне согласен с С[ергеем] Ф[едоровичем], что Эрвину пока уходить нельзя, он один сейчас возможен как ректор, сумел себя поставить. Но выдержит ли он между министерством и «левыми» коллегами, когда и то, и эти против него! Жаль парня, а надо держаться. Я рад, что виделся с С[ергеем] Ф[едоровичем] сегодня, как раз перед обедом с Гриммом, по крайней мере кое-что узнал и зарядился. Узнал еще и то, что Дерюжинский почему-то суетится и всячески подбивает на скандал, так что Эрвину приходится его сдерживать. Уж не мечтает ли он о министерстве вместо Кассо? Такая мысль мелькнула вчера у Сергея. И мы не думаем, чтобы эта двуличная шельма была лучше Кассо, а Сергей так прямо говорит, что было бы еще хуже. Очень ему интересно будет узнать о моих разговорах с С[ергеем] Фед[оровичем]. Атмосфера тут очень напряженная и душная, бьет по нервам общее настроение бессилья и обиды. <...>

Д. 10. Л. 144—145 об.

788

29 августа

<...> Тут на будущей неделе начинаются у меня экзамены, а за эту неделю уже разберусь в делах, отделаюсь от Чечулина и Нольде. Дела потом сразу много будет, так как и на словарь необходимо приналечь, надо в начале сентября букву Г закончить, кстати, ряд статей для нее и на Д написать, а ведь и курс-то у меня не подготовлен. <...>

А видно по всему, тяжелый сегодня год будет. Уже остро ждут университетских беспорядков. После эпизода с Покровским[575] Д. Гримм, Шахматов, Дьяконов, Браун затолковали об уходе в отставку, и другие с ними, видно, не понимая, что это значит бросить университет на произвол судьбы, да еще такой подлой, как произвол г. Кассо. По-видимому, их удалось пока что уговорить, но настроение настолько нервное, что, м[ожет] б[ыть], кое-кто не выдержит нового появления полиции в университете и сбежит. Устали люди от обид и дикостей. Так, толкуя о горьких делах, пообедали, а к 8 ч. Эрвину надо было в заседание, мы же отправились домой к Сергею. Тут ждали новые корректуры, но недолго ими пришлось заниматься. Только сели чай пить, Сазонов по телефону предупредил, что будет, а потом явился. Вид и энергия у него вполне удовлетворительные. Но чудак он: ему надо сейчас «хорошего» историка, а где его в 2—3 дня взять! <...>

Д. 10. Л. 146—147 об.

789

30 августа

С именинником, дорогой Юлек! Но у твоего именинника так руки замерзли, что не знаю, как напишу письмо. <...>

Вчера писал до 4-х, потом зашел за Сергеем в редакцию, и мы поехали к Ефремовым, пообедали, потом я вернулся к себе, но писанье уже не пошло, повертел кое-что, вздремнул и отправился к Сергею, пил чай один, просмотрел пришедшие пока корректуры, потом читал стихи Брюсова, очень даже хорошие стихи. Утром сегодня редактировал статьи Ярошевского, потом дома писал, и вот только что кончил статью, потом сбегал узнать, не приехали ли наши лоботрясы, но Джона еще нет (Сусанна здесь, но я к ней, понятно, не заходил), а я вернулся к себе и вот пишу.

На сегодня по случаю моих именин решили дома у Сергея обедать. Прачка сварит нам каши и цветной капусты; будет еще и чай. Надоело шляться по трактирам, да и дорого. Денег у нас вообще, оказывается, очень мало, ведь от Чечулина когда-то я еще получу. Чтобы тебе послать, 150 р. постараюсь завтра с Цера за V т[ом] получить и переведу à la Kimont, по телеграфу скорее будет.

Сегодня утром в половине девятого говорил со мной Сер[гей] Фед[орович] — нужен ему учитель истории для 2-го кадетского корпуса вм[есто] Приселкова, который ушел в лицей. И ему надо, и Сазонову. А где их взять? Все говорят, надо, чтоб хороший учитель был. Я ему назвал Грекова — забраковал, Боровского — тоже почти что. А молодежь наша уже занята, про Любомирова я не знаю, в прошлом году он не хотел уроков брать. <...>

А вечером сегодня мы с Сергеем у Платонова. Интересно будет поговорить с ним об университетских делах и об институтских. Сазонов совсем иначе рассказывает о назначении профессоров, чем С[ергей] Фед[орович]. Кто-то что-то путает. Статью для Чечулина, благо он в Москву уехал, свезу Платонову. Пусть делает с ней, что хочет, а мне хоть половину гонорара сейчас выхлопочет. Вот как. <...>

Д. 10. Л. 148—149 об.

790

31 августа

Вчера, дорогой Юлек, я, написав тебе письмо, отправился к Сергею на наше именинное пиршество. За кашей и цветной капустой мы удивлялись, зачем до сих пор «дураков валяли» по ресторанам. Решили сегодня также дома пообедать, а с завтрашнего дня начать хозяйство у меня. После обеда Сергей сел за корректуры Львовской летописи (он ее в этом году кончит и, вероятно, расстанется с Комиссией), а я за Брюсова, который меня волнует красотой и неожиданностью не только форм, но еще больше сложной, богатой, хоть искалеченной, заморенной психики. Жаль, что бодливой корове Бог рог не дает, а то я — ох как охотно — занялся бы вопросами художественного творчества, для которых столько накопилось пережитого и передуманного. Так сидели, изредка перебрасываясь словами, как в телефон позвонила Маня. Она очень удивилась, что я ей отвечаю. Сговорились назавтра к ним обедать, заказали себе рыбу и грибы в сметане.

Ну, а затем поехали к Платонову. При ближайшем рассмотрении он видом своим объясняет свои письма из Ялты. Он спокойный, уравновешенный, но в этом равновесии — что-то смятое, утомленное; как-то он вдруг постарел, даже в манере говорить сказывается что-то старческое, чуть-чуть шамкающее. Приехали мы к нему в начале 9-го ч[аса], а пробыли до 12 ч[асов]. Много и с большим интересом расспрашивал он Сергея о его валуйских впечатлениях, потом рассказывал разные петербургские дела, и даже о театре много говорили, причем С[ергей] Фед[орович] очень интересно, по своим впечатлениям, рассказал историю Александринки, как в ней умерла в 70-х годах драма, вытесненная опереткой и мелодрамой, и как произошло воскрешение ее сцены, благодаря Савиной и гастролям Федотовой. Он, видимо, отдыхал за простой беседой, хотя, как мне показалось, под конец устал. Не хотелось его трогать, и вопрос о назначении профессоров института — не сошел у меня с языка. Не только с Сергеем, по-видимому, не вышло так, как он собирался устроить, но и со мной тоже, так как Рождественский назначен инспектором лицея, а в то же время ординарн[ым] проф[ессором] института.

В институте новость: неожиданно ушел Шляпкин, и возникает вопрос о преподавании истории литературы на первом курсе. Сергей отнесся к делу с тою преданностью интересам института, которая меня всегда в нем поражает, преданностью искренней и теплой, какой у меня, к стыду моему, вовсе нет; и кончилось тем, что он согласился сверх тех 8 лекций, какие у него есть, взять еще 4 на первом курсе, всего 12! И нельзя сказать, чтобы его С[ергей] Фед[орович] уговорил. Он сам сразу так поставил, что больше некому, так что же делать, надо. Нелегко ему это будет.

Потом домой вернулись, спать легли, а теперь утро, Сергей еще спит, а я пишу.

Сегодня надо отправить статью Чечулину в Москву и письмо ему написать, достать у Цера денег и тебе перевести, а потом писать статью о «Русской Правде» для бар[она] Нольде. Авось кончу и ее сегодня, ведь наполовину она написана в Домброве. Затем надо просмотреть указатель к моей летописи и сдать его в набор и пора, очень пора приниматься и за работу для словаря. На той неделе начинаются экзамены то тут, то здесь, а после 10-го надо начинать преподавание. Хорош бы я был, если бы только завтра приехал. <...>

Д. 10. Л. 152—153 об.

791

31 августа

<...> Я тебе сегодня утром писал. Приятно писать тебе утром. Только проснулся — и первый привет моему солнышку дорогому. <...> Утром мы с Сергеем отправились купить вексельной бумаги, я подписал ему вексель на 300 р., и он поехал его учитывать в Калашниковской бирже, а я пошел к Максу за деньгами. Там меня сильно задержали, так что и Сергей успел приехать, подсыпали мне ястребовскую статью на сокращение и дали чек на 400 р. за 5-й том. Оттуда пришлось лететь в Комиссию на rendez-vous с Дружининым, с которым я утром по телефону говорил, прося узнать адрес Чечулина в Москве и справиться, лежат ли те корректуры, что я ему послал, на дому здесь или пересланы к нему. Оказалось, что адреса не знают, а корректуры лежат. Послал я ему письмо, чтобы получить адрес и поручение все ему в Москву доставить, так как ведь он месяца на 1 $^1/_2$, на 2 уехал. Как получу ответ, все вышлю и тогда же похлопочу о гонораре.

Дружинин тоже долго меня задержал, и я только около 2-х часов попал в Азовский банк. И тут не повезло, долго с чеком ждать заставили, так что перевести тебе деньги сегодня оказалось возможным только с главного почтамта. Но я уж решил отложить на завтра. С горя, что весь день растрепан, купил себе у Вольфа «Fleurs du mal»* Бодлера, вернулся домой и вот болтаю со своей Юлей. <...>

Д. 10. Л. 150—151 об.

792

1 сентября

По-видимому, дорогой Юлек, мы в делах университетских сидим вроде как на пороховом погребе. Только что звонил ко мне Эрвин и сообщил, что его брат настаивает на уходе группы профессоров в отставку; Эрвин еще не знает, кто именно к этому склоняется, но больше всего обеспокоен, что, по-видимому, Шахматов один из решительно настроенных в эту сторону, а Шахматов такая нравственная сила, что его уход произведет впечатление крупной демонстрации. Но он именно этого и не хочет, так как вообще фанфар не любит, м[ожет] б[ыть], на этом-то и удастся удержать его. Эрвин просил меня повидаться с Шахматовым и поговорить с ним. А такое свидание не так-то легко. Попасть к Шахматову труднее, чем в царствие небесное, а того телефона, через который можно его добиться, я никак целый день получить не могу, все занято да занято. Не знаю, как сделаю. А Эрвин хочет завтра обедать с нами, чтобы поговорить. Завтра в 2 ч[аса] у них собрание «академической группы», на которой, надо полагать, придут к какому-ниб[удь] решению, а потом Эрвин нам сообщит. Мне надо повидаться с Шахматовым до этого собрания. Сделаю попытку завтра утром.

Мое настроение тут странное. Я понимаю настроение профессоров, которые хотят уходить, потому что их положение становится все более унизительным, но согласен с Гриммом и Платоновым, что такой уход загубит наш университет, разрушит преподавание и вдребезги развинтит студентов. Вот и выбирай тут, какое из двух больших зол проглотить пожелаешь. Остается настроиться так, что «поживем — увидим», моя любимая прибаутка. <...>

Обедал я у Сергея, потом долго возился со статьей «Венгрия»,[576] которую надо было сократить, и только к 8 ч[асам] ушел домой, думая тут что-ниб[удь] поделать. Но — пришел Головань. Он и Сергей получили повестки об открытии «Бродячей собаки» 31 авг[уста]. Ну, конечно, полетели. <...> Я сегодня пока дома (теперь 4 часа), и все мерзну, руки и ноги стынут, такой в Питере холод. Придется начать протапливать. С[ергей] Ф[едорович], когда мы у него были, уже топил свой камин.

А пока Лизы нет, не знаю, что бы я делал, если бы дедушка вздумал домой вернуться.

Сегодня, как ты знаешь, мы обедаем у Мани. Туда мне Гримм будет звонить о новостях, какие еще сегодня найдутся. Да, такие дела у нас. Неужели наш университет вверх тормашками полетит? Пока что-то не верится, а все может быть. Завтра к вечеру многое решится, и я тебе тотчас напишу.

Д. 10. Л. 154—155 об.

---

* «Цветы зла» (*фр.*).

793

2 сентября

<...> Утром встретил Гутика, отправил деньги, свез багажную квитанцию. Дома напился чаю, и пришел за мной Сергей — ехать к Шахматову. Гутик один дома остался; я предлагал ему к Ефремовым поехать — не захотел.

У Шахматова был посторонний народ, но мы с ним урвали минутку побеседовать об университетских делах, пока публика осталась после завтрака в столовой, где Сергей, сообразив в чем дело, усердно занимал ее. Ал[ексей] Ал[ександрович] настроен весьма хорошо, пришлось только поддерживать и кое-что ему сообщить. Его мысль — что пока надо поддержать Эрвина и сделать усилие, чтобы закрепить единство совета, но беспокоит его мысль, что есть же предел, дальше которого нельзя терпеть унизительное положение, и когда прежде всего ректору, а затем и профессорам уходить придется. Пропустить такой момент, перетерпеть и его — нельзя; но как его определить, не поддаваясь нервическому порыву, а спокойно и сознательно? Вот трудная задача.

Очень интересно, как у них нынче оборотится дело в товарищеском совещании. Авось Гримм нас-таки вызовет сегодня. Вчера он не мог определить часа, когда будет свободен. Мы решили с Сергеем пообедать с Гутиком дома, а потом видно будет, позвонит ли Гримм.

Вчера мы обедали у Ямпольских. Забрались они в 16-ю л[инию], угол Среднего. Кругом грязновато, трактиры, лавчонки. Но у них хорошенькая квартира в новом доме. <...>

Потом поехали к Сергею за моими вещами: ночевал-то я дома. Туда к Сергею пришел Миша, на мой вопрос он ответил, что женитьба его дело решенное — на февраль—март, перед постом; срок определили вместе, так-де по соображениям практическим и ему удобнее. Ну, а заграничной поездкой он очень доволен, не только Испанией, но и Тиролем, по маршруту, за который он очень благодарил Сергея.

Только что забегал Генрих Матвеевич. Алека недоумевает, что не было от тебя ответа. Я рассказал, как ты захлопоталась летом. Г[енрих] М[атвеевич] с Мотей ездили за границу: 2 дня в Вене, потом в Венеции, Флоренции, неделю в Риме, Неаполе, о[стро]в Капри, назад на Геную, Милан, Вену. Г[енрих] М[атвеевич] очень доволен и поездкой, и Мотей. Теперь у них Андрей лежит в плеврите, Дэви в жару.

А у меня сегодня весь день пропал. Завтра в 10 ч[асов] экзамен в университете.

Г[енрих] М[атвеевич] ушел. Сергей дремлет на диване в ожидании обеда. <...>

Д. 10. Л. 156—157 об.

794

3 сентября

<...> Вчера, вернувшись от Шахматова, мы принимали Манизера, потом я тебе писал, Гутик отнес письмо в ящик, подали обед, пришел

Романов, обедал с нами. Сегодня он начинает уроки у Михельсон, завтра у Таганцевой. У Стоюниной его уроки не состоялись, да и будет с него. Потом явился на минутку Чернов. Тщетно ждали мы звонка от Гримма. В 7 ч[асов] я сам к нему позвонил и нашел его дома, усталого, замученного. Собрание их группы не дало никаких результатов. Решительно настроены к уходу Давид Гримм и Жижиленко (юрист). Гревс колеблется и растерян. Ростовцев говорит громкие слова, но ищет отступления, Зелинский дает волю «радикальным» фразам, но не говорит ничего определенного; Браун молчит, не желая высказаться. Шахматов настаивал на том, что надо совету что-то сделать в форме постановления, осуждающего министерскую политику, и сказал так, что если совет окажется не в состоянии как-либо поддержать свое достоинство, то он, Ш[ахмато]в, сочтет себя вправе уйти в виде протеста как против действий министерства, так и против несостоятельности совета. Много говорил Эрвин, но не мог сам мне характеризовать своей роли. Его поддержал только один кто-то, кажется, Андреев.

Порешили отложить все обсуждение до субботы, когда опять соберутся, а пока Эрвин с Шахматовым должны подготовить определенное предложение. Соберутся на этой неделе и «правые» профессора по созыву Платонова, а в воскресенье произойдет совещание представителей обеих групп. Тогда и выяснится, что можно ожидать от совета в целом. Если совет вовсе распадется, и даже его две части, каждая в себе расколется, то ректору останется уйти, так как не над чем ему будет ректорствовать. Не знаю, так ли смотрит Эрвин. Но плохо тут то, что все зависит от такого скользкого обстоятельства, как проект «резолюции», которая не должна показаться «фразой». Мы с Сергеем вчера после моего разговора по телефону с Эрвином долго все это обсуждали. И у меня очень руки чешутся попробовать сочинить резолюцию для совета и предложить ее Гримму и Шахматову, которые сойдутся в среду. Может быть, и рискнем на это, по совету моему с Сергеем. Надо ведь что-то такое, что поддержали бы Платонов, Тураев, Ивановский. На волоске висит дело. <...>

Д. 10. Л. 158—159 об.

795

4 сентября

Только что был у меня дедушка. Привез 425 р. за июнь—сентябрь. Старш[ий] дворник уже упоминал о плате. Ведь отдать ему придется за июнь 160, да за июль—сентябрь по 175, т. е. 525, а всего 685! К дедушкиным надо прибавить 260 р. Не много у меня останется ко дню твоего приезда! Авось Чечулин мне пришлет гонорар за статью. Я ему выслал ее в Москву и написал, что прошу теперь же хоть половину прислать. Дедушка с большим смаком рассказывал о своих лужских владениях. Он купил участок около 1000 кв. с[ажен] с домиком, который обращен будет в службы, а дом будет новый, в 6 комнат, и все вместе обойдется 8 $^1/_2$ тысяч, впрочем, без чистой отделки дома, на которую уйдет еще около 1000 р.

В конце недели он переедет домой, так как «начинает стеснять» ввиду съезда ефремовской родни. Надо будет ему окна замазать, комнату убрать, штепсель восстановить, звонки починить, а то они у нас не звонят. <...> Лугу дедушка очень хвалит, городок стоит в сосновом лесу, и на дедушкином участке растут сосны. Очень все это его тешит. <...>

Опустив тебе письмо, я вчера отправился в университет на экзамен. Вместо 25 оказался список в 39 ст[удентов], и что всего удивительнее, только 4 не явилось. Платонов заехал, только чтобы предупредить, что уезжает по вызову В[еликого] князя, Полиевктов сейчас после 11 уехал экзаменовать в Академии Генер[ального] штаба, и я остался один, так что освободился только к половине второго. <...> Сегодня я с утра писал статью для Нольде, но и то еще не кончил. Надо бы сегодня ее прикончить, а то она что-то затягивается и пухнет.

Пришел Гутик из школы. У них уроки будут начинаться 8.55, а по средам кончаться к 12-ти. Из их класса 5 осталось на второй год — оба Потуренковы, оба Куриловы и еще Самоволин, а в их классе один второгодник. Преподающие, кажется, все прежние.

Сегодня вечером придется мне съездить к Дружинину, чтобы убедиться, высланы ли все корректуры Чечулину в Москву, ведь Чечулин живет над Дружининым.

Начала обычной петербургской жизни ожидаю с робостью и чувством чего-то постылого, а это ничего хорошего мне не сулит, да и тебе тоже. Охватит раздражающая усталость, все внутри снова сожмется и помнется, так что не продохнуть. Эх ты, жизнь наша питерская! Связанная, скомканная. А не уйдешь от нее. Вот какое мое настроение. <...>

Д. 10. Л. 160—161 об.

796

5 сентября

<...> Статью для Нольде я с грехом пополам кончил. Сегодня занесу к нему, он на Фурштатской живет, а кстати зайду к Мише и к Джону, которого я еще не видал.

Вчера я целый день дома сидел, все царапал статью. Сегодня примусь за словарную работу, с которой надо поторопиться. Слетал вчера без нужды к Дружинину, с ним мы поднялись в квартиру [к] Чечулину, спугнули в его кабинете двух его племянниц, обыскали поверхность его письменного стола, и я убедился, что все корректуры у него в Москве, а вовсе не здесь, так что Дружинин мне ошибочные сведения дал. Хорошо еще, что он не выслал зря того ненужного, что у Чечулина на столе лежит. Из разговоров я узнал, что Чечулин совсем зажиточный человек. У него с братом и дом в Ялте, и большое имение на р. Шексне.

Утром вчера звонил ко мне Середонин. Представь себе, что они всерьез выбрали меня читать методологию истории на Раевских курсах, хотя я дважды категорически отказывался. Пришлось объяснять Середонину, что я и так чрезмерно занят. Конечно, очень лестно, что меня считают пригодным на всякий предмет, которого некому читать, но с одного вола трех шкур не дерут. Посоветовал им просить Н. И. Кареева, а больше некого, потому что Лаппо-Данилевский не пойдет. Странное дело — везде вводят обязательный предмет, которого и преподавать некому! Да и предмет-то этот еще сочинять приходится, каждому по-своему.

У Гутика идут себе уроки. Француженка задала им сочинение — «La vie au Tarascon»* по «Тартарену» Додэ! И Петр Андр[еевич] задал сочинение о Добролюбове написать. Не шутят!

<...> Когда вовсе расклеилось писание, я стал читать биографию Бодлера. Очень он интересный и странный тип. Что-то есть в Гогене с ним родственное, хотя и резко они различны. Гоген крепче и здоровее.

Не нашлась ли на полу в нашей комнате моя маленькая запонка, которую я потерял, завязывая корзины? Привези и мой карандаш, мне твой не по руке, что меня огорчает, напоминая, как много твое мне, а мое тебе не по руке. Не забудь забрать «Легенду млодей Польски» и вообще все книги, которые я, кажется, в беспорядке по разным местам оставил. <...>

Д. 10. Л. 162—163 об.

797

7 сентября

<...> Пришло твое письмо, пишешь ты, что скоро приедешь, и Саня сразу избавился от меланхолии, весел и болтлив с Гутиком. Но в четверг я не могу тебя встречать. С 10 ч[асов] лекция у Лесгафта. Впрочем, встретить могу, но тотчас улечу на лекцию, так что ты с этим не считайся, а приезжай, как тебе удобнее.

8 сентября**

Письмо оборвалось. Гутик помешал, потом еще что-то, а там и пора оказалось ехать к Адрианову, т. е. за ним и в институт. Зашли к Сергею Фед[оровичу] (нарочно пораньше поехали), и тут два Сергея окончательно договорились, что наш Сергей берет первый курс, идет на 8+8, т. е. 16 лекций!! Я этого никак не поддерживал, но Сергей никакого не обратил внимания на мои оговорки, ни раньше, ни у Платонова. Вышло, однако, другое. Когда мы вниз на заседание спустились, С[ергей] Фед[орович] вдруг, поговорив кое с кем, отозвал меня в сторону и говорит, что дамы и разная другая публика — стоят за поручение I-го курса старику Витбергу, хотя сами дамы говорили ему, что Витберг уже поглупел от старости; хлопочет об этом больше всего и других подговаривает — Кульман (а самого Кульмана в заседании не было, куда-то уехал). Потому С[ергей] Фед[орович] решил не решать дела, а отложить, передав в «комиссию», которая и соберется в воскресенье днем. Любопытно, что С[ергей] Ф[едорович], видимо, сам не замечая, что делает, прочел нам у себя, наверху письмо Кульмана, который предлагал поручить I-й курс либо акад[емику] Миллеру, но так как этот не возьмется, то шляпкинскому ученику Громову или Витбергу, а в крайнем случае, хотя он, Кульман, не сторонник, в интересах института, поручения в одни руки 3-х курсов, С. А. Адрианову.

---

* «Жизнь в Тарасконе» (*фр.*).

** Продолжение того же письма.

Сергей всем этим очень обижен и, кажется, готов отказаться от всякой своей «кандидатуры», тем более, что его справедливо обижает и то, что С[ергей] Фед[орович], желая от него огромного труда для института, как-то очень уж холодно относится к его прочному устройству профессором. С[ергей] Фед[орович], по-видимому, тут под сильным давлением антиадриановского настроения окружающих, особенно — дворца. А у меня даже мелькает подленькая мысль, не от Кульмана ли идет и настроение В[еликого] князя, по крайней мере отчасти. Я совсем не знаю, как быть, как ко всему этому отнестись. Пожалуй, сегодня повидаю Сергея, чтобы поговорить с ним, а завтра в эту «комиссию», должно быть, не пойду. Особенно жаль, что тебя нет, хорошо бы все это с тобой обдумать. После заседания я затеял пойти куда-ниб[удь] поесть, голоден был, и решили взять с собой одного Гливенка. Поехали в «Вену», поужинали, выпили 2 б[утылки] красного вина, много болтали, довольно интересно. Я из «Вены» звонил к Эрвину узнать, как его дела. Оказывается, что он пришел к решению не допускать никакой демонстрации совета, чтобы не навлекать на профессоров репрессий, а хочет весь конфликт с министерством взять на себя, так что в заседании совета, который будет в субботу, 15-го, он скажет речь, где постарается высказать от себя все, что накипело у профессоров, чтобы совету ничего не осталось, как согласиться с ним, а весь конфликт превратится в личное столкновение ректора с министром, потому что совет ни с чем не выступит. Так я понял мысль Эрвина. Он хочет играть va-banque, понимая, что неприятности крупные навлечет на себя, но этого и хочет, чтобы не выдать совета. И, признаться, меня увлекла мысль о той красивой роли, которая может выпасть на долю Эрвина и которая, с одной стороны, ему лично нужна как победа над враждебными настроениями брата и его друзей, а также Ростовцева с компанией, а с другой может дать полный достоинства выход из невыносимо глупого положения. И у меня не повернулся язык ему возразить что-либо, я только сказал: ну, Господь с тобой, помоги тебе Боже, такими странными словами, точно благословил его на решительный шаг. Большую игру ведет человек и душу свою на карту ставит, такое у него сейчас настроение.

Из «Вены» я, сонный, хотел домой ехать, но Сергей утащил нас к Донону в «бар»[577] и, конечно, заказал «Cordone rouge». Выпили бутылочку, еще за ней болтали о Париже, Италии. Любопытно, что Сергей рассказал, как о его монмартрских похождениях кому-то из русских рассказывали потом... в Сорбонне, знали и фамилию их героя, а кто-то из профессоров заметил: maintenant nous comprenons qu`est ce qu c`est Mitja Karamasoff!!*

Из бара побрели пешком по набережной, тут Гливенко с Сергеем меня разбирали, очень как-то странно. Сергей был очень возбужденный и возбужденно-сосредоточенный, не пьяно, а как-то нервно (выпили ведь мы совсем немного), точно эта их тема разговора сильно его волнует, а кончил тем, что возле Дворцовой площади вдруг попрощался с нами, ушел один вперед — и исчез. Гливенко совсем в столбняк впал от этой неожиданной выходки. Очевидно, все нервное напряжение дня — а Сергей очень нервно относится ко всей институтской истории — разрядилось каким-то кутежным предприятием или чем-либо в этом роде, solo, т. е., конечно, не solo.

---

* Теперь мы знаем, что такое Митя Карамазов (*фр.*).

Д. 10. Л. 164—166 об.

798

9 сентября

Правду ты говоришь, Юлек, трудно жить на свете. Или еще, как раз Романов мне жаловался, трудно жить с людьми. Вчера мы долго беседовали с Сергеем об институтских делах. Для него вопрос стоит очень остро. Вместо укрепления позиции в институте, после 9 лет преподавания, какое-то третирование, отсутствие опоры в факультете, набитом Фридолиными, Каптеревыми и т. п. мещанско-пошлой публикой, над которой царит Кульман, брат ей по духу, только поэнергичнее и поумнее. Нет опоры и в Сер[гее] Фед[оровиче], до того ослабевшем, что он, сам, по-видимому, не вполне сознавая, играет роль человека, которым вертят мелкие «обстоятельства», не без элементарной ловкости и большой бесцеремонности подобранные Кульманом. Ты опять скажешь, что насчет Кульмана всегда так и предвидела и судила так о нем. Но теперь он разросся и идет чуть не в преемники С[ергея] Фед[оровича], который ему все больше подчиняется. Скучно и противно. Сергей решил сегодня убрать свою кандидатуру на I-й курс, потому что раз выдвигают Витберга, то ему противно вторично служить тараном для обид старика. Но важнее другое. Трудно, даже невозможно помириться с тем, что, пытаясь взвалить на Сергея огромную работу, истинную жертву, какую он готов принять на себя, чтобы выручить, институт не хочет признать его ценность, г.г. члены отделения фыркают на него, а С[ергей] Фед[орович] ведет себя очень двусмысленно. Если Кульману, Сазонову, Туру — дают ординатуру без ученых степеней, какому-то Фридолину устраивают профессуру, то непризнание Адрианова становится более чем грубой выходкой по его адресу. И все это наводит на Сергея глубокую грусть. Столько сил ухлопано, и никакого результата, приходится снова идти на улицу, в богему погони изо дня в день за заработком, без последней надежды получить хоть тут прочное положение. Сергей считает, что сегодня только откажется брать на себя первый курс, а потом не избежать тяжелого разговора с С[ергеем] Фед[оровичем], который должен кончиться заявлением, что этот год он протянет с тем, что обещал, на старших курсах, а весной уйдет. Наши фантазии, будто с переустройством института мы могли бы больше для него работать, снова (в десятый раз!) вылетают в трубу. И я снова чувствую себя тем случайным гостем, терпимым, как Сергей выразился, пока не пытаюсь подеятельнее участвовать в жизни института. Сторонние люди удивляются, и приходится объяснять и мне, и Сергею, как это так, что все профессуры идут мимо нас. Мне это все равно, потому что у меня свой путь и так пока есть, но и то подобные разговоры неприятны, потому что под ними звучит: хорош ваш С[ергей] Фед[орович], да и вечная позиция полупрофессора, без службы на пенсию, без определенности положения — невыгодна. А для Сергея это какой-то тяжелый итог беспокойной трудовой жизни.

Так дело стояло вчера. Сегодня они там соберутся; я решил, что не пойду. <...> Но ведь того, что неизбежно-фальшивого будет там сегодня, — не снимешь. Сергей определенно отказался заранее переговорить с С[ергеем] Фед[оровичем] и мне не позволил. Он не хочет, чтобы те выводы, какие он делает из создавшегося положения, приняли характер давления на Сер[гея] Фед[оровича], поддержки того, на что он, конечно, имеет право. Я очень хотел, наоборот, сперва выяснить С[ергею] Фед[оровичу] наше мнение, чтобы отказ Сергея в комиссии сегодняшней от разговора о первом курсе — не был для С[ергея] Фед[оровича] неожиданностью, и все собрание не обратилось в смятый, сбитый с толку хаос, тем более, что, по мнению Сергея, вовсе не ясно, знает ли Витберг, какие на его счет планы, и согласен ли он на них. Вот это делает для меня поездку туда крайне трудной; я могу только из интереса поехать, чтобы самому видеть и знать, как там дела идут. А может быть разно: либо Витбергу отдадут лекции, и С[ергей] Фед[орович] это проглотит, точно не понимая (а, право, он, кажется, не все тут видит и понимает), что это его провал; либо — я, право, и это не считаю еще невозможным — он сумеет свести Витберга к отказу и даже уговорить Сергея взять все эти лекции, а потом, все равно, ничего для него не добьется. Что я тут могу? Разве уйти вместе с Сергеем из того болота, в какое обращается, при развязном участии Кульмана, наше «отделение»? <...>

Приезжай скорей, а то душе моей без тебя очень трудно. Трудно жить на свете и с людьми «применительно к подлости».

Д. 10. Л. 167—169 об.

799

9 сентября

Только что вернулся из института, дорогой Юлек, и получил твое письмо. Дело так оборотилось. Я написал тебе, потом сидел и что-то будто читал, а на самом деле думал о Сергеевых делах, вдруг сзади шаги — приехал он сам, потому что с ним говорил Платонов по телефону и передал свой разговор с Витбергом, который было согласился взять первый курс, но Платонов выразил сомнение насчет практических занятий, тогда они порешили нелепо, что Сергей уступит Витбергу 4-й курс, а сам возьмет первый. С[ергей] Фед[орович] при этом представил дело так, что Сергей 4-й курс уступит Витбергу только фиктивно, а на самом деле будет рядом читать и свой курс там «приватно». Это Сергею совсем не понравилось, и он сказал, что ему надо еще сообразить. Тогда С[ергей] Ф[едорович] попросил его приехать к часу, чтобы поговорить до собрания. Сергей — ко мне, и мы так решили, что надо С[ергею] Ф[едорови]чу все высказать (то, о чем я в предыдущем письме писал), а от 1-го курса оказаться, если С[ергей] Фед[орович] не ответит определенным предложением профессуры.

Сергей так и сделал, потому что С[ергей] Фед[орович] ответил объяснением, что никак не может провести для него профессуру. Их разговор прошел без меня, потому что у С[ергея] Фед[оровича] мы застали А. А. Васильева, потом еще Миша пришел, а С[ергей] Ф[едорович], оставив их мне, увел Сергея и говорил с ним, расхаживая по коридору. Потом С[ергей] Ф[едорович] и со мной поговорил, в сущности очень неудовлетворительно, тоном большого недоумения по поводу Сергея и даже недоверия к нему; С[ергей] Фед[орович] говорит, что вся манера Сергея относительно института делает естественной трудность провести его в профессора, а Сергей говорит, что вся манера института относительно него делает естественным все его поведение по делам институтским. Беда в том, что оба по-своему правы, но мое-то мнение в том, что дело учреждения ставить нужных людей так, чтобы они чувствовали себя нужными и имели возможность спокойно работать. Приблизительно так я и С[ергею] Фед[оровичу] сказал, но он, несомненно, выбит из седла и пока сам не знает, ни как ему быть, ни даже чего он сам хочет. В заседании комиссии все прошло просто. Порешили отменить практические занятия на I курсе, а 2 ч[аса] лекций поручили Витбергу после того, как С[ергей] Фед[орович] спросил Сергея, не возьмет ли он, а тот отказался. С[ергей] Фед[орович] надеется, что, потолковав и что-то уладив, можно будет и практические занятия на I-м курсе устроить — и притом с помощью того же Сергея. Выдумал он себе и план. Вот приедет акад[емик] Вс[еволод] Фед[орович] Миллер, который у нас на 2-м курсе читает, и С[ергей] Фед[орович] будет его просить взять на себя общую постановку истории русской литературы, т. е. роль декана, что ли, по этой части. С[ергей] Фед[орович] надеется, что Миллер с Сергеем столкуются и что тогда С[ергей] Ал[ександрович] согласится и «расширить» свое преподавание (т. е. взять-таки занятия на 1 курсе); а что до положения Сергея, то С[ергей] Фед[орович] очень недоволен, что С[ергей] не хочет быть «штатным преподавателем», что ему бы «все-таки» дало бы службу на пенсию. Сергея же обижает это отношение к нему как чуть ли не начинающему. А С[ергей] Ф[едорович] говорит, что без магистерства его не проведешь в профессора. Кульмана — провели, Сазонова и Тура провели, потому что тут Вел[икий] князь лично пошел на особый доклад Государю, и утверждены они — «не в пример прочим, в отступление от закона». Экстраординарных у нас никого еще не утвердили, потому что ведомство не соглашается утвердить не имеющих ученой степени. Словом, с этими учеными степенями такая каша, которую не знаю еще, как институт расхлебает. Так дело и размазалось в что-то туманное, временное и неопределенное. Если комбинация с Миллером, который С[ергею] Ф[едорови]чу важен как фигура выдающаяся и Сергею симпатичная, не удастся, то, говорит С[ергей] Фед[орович], останется прибегнуть к отдельному разговору у Альбера или Кон[стантинови]ча, чтобы расхлебать запутавшиеся отношения и настроения. <...>

Сегодня в институте толковали еще об устройстве преподавания латинского языка. Вера Викторовна человек, по-видимому, вовсе конченный. С[ергей] Фед[орович] только сегодня еще одно сказал мне, что у нее во время ее расстройства еще ребенок был, и не от Зелинского, а от Митрофанова. И наша почтенная профессура, Гревсы, Ростовцевы и К° все это покрывают, такой негодяй, как Зелинский, обративший свой семинарий на В[ысших] к[урсах] в какой-то гарем, сидит себе в факультете с медным лбом.[578] Черт знает, что такое. Я Гревсу как-нибудь это выложу.

Вообще, трудно как-то стало. Очень кругом много всякой пошлости и подлости вылезает, просто душно становится. Охота от всего посторониться, замкнуться в себе и в своей работе, а как раз ни то ни другое совсем невозможно. Настоящего как-то в людях и в отношениях мало и все меньше чувствуется. <...>

Д. 10. Л. 170—172 об.

1913

800

2 июня

Чтобы быть сильным, надо бы самим собой быть и самому в себе оставаться. Все, что бродит в душе — и боль, и радость, — переживать самому, одному, не высказывать никому. Тогда это было бы брожением духовных соков, которые создавали бы крепкое пиво. В любви и дружбе много разбивающего, выводящего человека из его своей жизни, он никогда не один, думает внутри себя в форме письма или речи к другому. Есть в этом что-то не то детское, не то рабское, растрата всего-всего, что могло бы капиталом скопиться, и отдача себя без остатка в другие руки. Сильный человек берет то, что ему дается, да и то, что ему не дается само; а любовь без остатка — разве не слабость и источник слабости? От нее — источник силы вне тебя, а как он эту силу давать перестанет, как эта почва, такая чарующая, из-под ног уходить станет? А может ли она быть «вечной»? Ведь в самой бесконечной отдаче себя есть момент, когда отдаваемое становится для того, кому отдаешься, уже не приобретаемым, обогащающим, а взятым без остатка, обладанием, которое уже недостаточно, потому что стало обычным, будничным.

Это «теория». Трудно мне это вправду понять, потому что моя натура — или твоя чарующая сила? — таковы, что все растет и растет отдача себя тебе. Попытки найти и удержать себя в себе самом ничего дать не могли, кроме боли. А пора, так житейский разум говорит, проститься с «романтикой» жизни (ведь это все «романтика», не правда ли?), пора сводить «глупую» жизнь к разумному, спокойному, производительному быту. Только маленькая собачка до старости щенок. Но что делать, когда не только сил, но и охоты нет стать большим псом? Скучная философия. Ну, не буду.

Уехал Головань. Он оставил во мне тоже ряд щемящих ощущений, все вспоминается стих Блока с грустным проклятием: «Всем, кто намеренно щадит, кто без желанья больно ранит».[579] Из этих двух черт слишком многое — от нас с Сергеем — слагается в впечатлениях Голованя. Только за самое последнее время стал я это замечать, когда, помнишь, Головань и при тебе это говорил, и потом. Бедный, бедный Головань. Он все острее видит проигрыш всей жизни, которая не дала ни ярких воспоминаний, ни глубоких переживаний. Вчера он, напр[имер], говорил о том, что не было у него ничего яркого с женщиной, а это ведь то, что его всего больше бы наполнило. И мне чуется, что теперь он так любит или готов любить, как никогда. Будь деньги большие, говорит, забылся бы, создал бы себе что-ниб[удь] хоть так яркое. <...>

Сергею сегодня много лучше. Вчера газету[580] у нас стряпали. Приходил Штильман, приходил Ромис, приходил Белоблоцкий. И № воскресный хорошо вышел.

Через 3 дня брошу все и уеду. Придется Сергею вдобавок ко всему прочему без меня и за Энциклопедией еще присмотреть. Без того нельзя. Зато я указатель к его летописи без него напечатаю. Когда вернусь сюда, будет еще порядочно дела, и с указателем, и с Энциклопедией, и с попытками выяснить себе, как за диссертацию браться. Ведь этого, кажется, бросать все-таки не следует, как думаешь? А мне на это лето, пожалуй, лучше бы и бросить. Посмотрим. Пока все, прости, что свои состояния тебе несу, хотя не стоят они того и лучше бы их про себя оставить. <...>

Д. 10. Л. 90—91 об.

801

4 июня

Завтра уезжаю, дорогой мой Юлек. Уеду, недоделав словарной работы, отчасти по усталости, отчасти потому, что много мешали. В Саратове я буду 7-го; 8-го начну лекции, 14-го кончу. Уеду из Саратова 15-го, в 1 ч. 37; 16-го в Москве ок[оло] 10 утра. Это будет воскресенье. Пробуду в Москве 17 и 18, а 18 веч[ером] уеду сюда, если только не удеру 17-го вечером.

У нас такой же холод. Совсем грустно будет, если все лето выдастся такое. Да еще тот отчаянный развал домбровского хозяйства, о котором ты пишешь.

Сергей совсем здоров; вчера мы с ним ходили на его квартиру, надо ему было кое-что забрать. Вообще вчера выдался денек, который весь в трубу вылетел. Приехал Арефин, Сергей его очень ждал и обсуждал с ним газетные дела, привлекая и меня к беседе. Арефин у нас и обедал. Приходил Джон, посидел довольно долго. <...>

Сегодня вечером Сергей созвал в редакцию совещание по делам газеты. Придется и мне быть. Что до меня, то по письмам моим ты видишь, что я никуда не гожусь. То нервничаю без толку, то вял, как сегодня до того, что еле перо ходит. <...>

Боюсь, как бы без меня Энциклопедия не наделала Сергею хлопот. Макс уехал, а дел там, особ[енно] благодаря неаккуратности Нечаева, порядочно запуталось. Но помочь я этому сейчас не могу. Ехать надо, да и хорошо проехаться, хоть на Саратов особого аппетита у меня нет. А что потом буду делать, решу только по возвращении, несколько протрезвившись. Боюсь, что остатки текущих дел и общее состояние мое заставят бросить мечту о немедленном приступе к диссертации. Ну, увидим. <...>

Д. 10. Л. 92—93 об.

802

5 июня

Забыл я, дорогой Юлек, написать, что по отъезде вашем нашел у себя на столе том «Озерная область» девриеновской «России». Не тот ли, что Гутик с собой хотел взять? Пусть сообщит, привезти ли его в Домброву. Посылаю дополнительную повестку о чтении на лето, и тут пусть Гутик сообщит, что ему из это[го] привезти.

Вечером вчера было редакционное собрание. Снова обсуждали, в каком же духе издавать газету. А, по-моему, дело не в «духе» или «направлении», а в том, что некому писать, нет публицистики, а без пишущих перьев никакого направления, сколько ни обсуждай, все равно не выйдет.

А выйти нечто любопытное, пожалуй, могло бы. Вчера у Сергея в кармане было письмо из Рима от Григ[ория] Шредера, очень умное и ясно ставящее вопрос, для чего и на каких условиях он пошел бы в газету. В сущности, это то самое, что мы говорили накануне с Арефиным, обсуждая вопрос, при каких условиях можно обеспечить живучесть газеты. С Шредером, если бы он вошел в редакцию, пришли бы сотрудники, опытные публицисты из «Русс[кого] богатства» и бывшего в революционную эпоху «Сына Отечества», пришло бы и боевое политическое настроение, т. е. то, что газете необходимо, если только Шредера на границе не арестуют и газету не закроют.

Это задачи, которые Сергею придется решать на этих днях, пока я буду в Саратове. Если все это не провалится сразу здесь (вместе с дальнейшим существованием газеты), то не миновать ему поездки в Рим в 20-х числах июня (т. е. на Ковно—Вержболово). А других путей у газеты нет. Сергей совсем здоров, но бережется, слава Богу. Вчера с заседания вернулись домой, обсудили письмо, которого он никому не показывал еще, наметили, как действовать пока, и легли спать. <...>

Сегодня еду. Про «Россию» мне говорят, что там и дорого, и прислуги много, настоящая гостиница с претензиями, да еще и ремонт там идет. А другой указать не могут. Посмотрю на месте, за «Россию» уже то, что я такой тебе адрес дал. А вдруг придется остановиться в другой? Авось если письмо будет, добьюсь его, по соглашению с швейцаром. Но постараюсь остановиться в этой «России».

В Москву мне Арефин дал поручение переговорить с старообрядцами, от которых он старается получить корреспонденции об их делах. Без него один из видных московских старообрядцев прислал такую статью, что я ее забраковал. А хотелось бы из-за этого не расходиться с ними. Поручение, как видишь, тонкое и больше — дипломатическое. Но интересно познакомиться с этой публикой. У меня несколько адресов. Надо будет карточки с собой взять. А жаль было бы, если бы газета развалилась. А если новая комбинация устроилась, жаль будет, если ее прихлопнут. Будь же так, что эта комбинация пройдет, не убивая «Молвы», очень существенная штука могла бы выйти: попытка революционной по существу газеты в момент общественного затишья. Не утопия ли это? И теперь «Молву» душат штрафами. Что же тогда начнется? А все-таки другого пути никакого нет, это ясно. Вот наши дела. А мои личные выяснятся так или иначе по возвращении в Петербург. Прощай, Юлек, до Саратова. Поцелуй деток.

Д. 10. Л. 94—95 об.

803

[6 июня]*

Дорогой Юлек, пишу тебе пару слов в Москве на Рязанском вокзале. Ехал я удачно, хотя сперва попал в компанию пьяных мещан, баб и маленьких детей. По счастью, проводник сжалился и перевел меня в другое отделение, снабдил меня матрасом и подушкой. Встал рано, в 5 ч. Встретил солнечное утро, свежее, зеленое. Кофе пил в Клину, а теперь собираюсь на законном основании позавтракать, хотя теперь только 10 ч. (по-московски 10 $^1/_2$). Наш поезд идет в 12 ч. и еще почти сутки [ехать]. Уехал я не вовремя — как раз вчера были в Думе прения по городскому самоуправлению в Царстве Польском. Я бы охотно статейку написал, а из Саратова уже поздно будет. Утро хорошее было, а теперь опять хмурится небо. Неужели у вас все холод и холод? <...> Напишу еще пару строк из Рязани. А пока прощай.

Твой Саня.

Д. 10. Л. 261

804

[6 июня]**

<...> Я читаю преинтересную, но крайне одностороннюю книгу Яблоновского — «Dookola Sfinksa»,*** опыт определения «русской души» по русск[ой] литературе и философии. Ее и ты, вероятно, прочтешь с интересом. О Яблоновском я попробую в «Молву» написать.

Рязань. 4 ч. Тут подкормился. Город, видно, маленький, зато весь в зелени. Вокзал тоже небольшой, меньше ковенского. Я почему-то воображал, что Рязань более значительный пункт. Еще вечер, ночь и наутро Саратов. В конце концов интересно, что у меня там выйдет. Признаюсь, я не очень в себе уверен, по общему состоянию своему.

Твой Саня.

Д. 10. Л. 294

805

5 июня

Ну вот я и в Саратове, дорогой Юлек. Приехали, как водится, с опозданием на целый час. Остановился я в «России» за 1 р. 75 к. Чисто, № довольно большой, в 2 окна, за ширмой кровать, столик, потертый умывальник. В комнате диван, 2 кресла, круглый стол, ломберный, шкаф и комод. Можно было № и за рубль получить, но мне показалось тесно и душновато. Водворившись, умылся, переоделся и пошел в городскую аудиторию, где лекции происходят. Попал на лекцию нашего петербуржца Нечаева (минералог и географ из Педагогического института). Зала большая, высокая. Слушателей можно ждать до 300 чел[овек], если конечно заинтересуются. Больше $^2/_3$ учительницы; да учителя, кроме того, меньше посещают, предпочитая прогулки по городу. Повидался кое с кем из здешних и даже впутали меня в группу, которая снимается сегодня. Это уже в кредит. Вид кафедры, аудитории, слушателей, да еще с преобладанием привычного для меня женского элемента, сразу настроил меня на привычную обстановку и привычное дело. Взял свою программу (отпечатанную); книжки у меня в помощь памяти есть; вечером намечу себе, что и как говорить. Да еще сегодня я потолковал с московским химиком, который здесь уже читал и читает, и он мне очень наглядно охарактеризовал состав аудитории.

---

* Датируется по штемпелю.

** Открытка. Помещена отдельно в конце дела № 10. Датируется по штемпелю.

*** «Вокруг Сфинкса» (*польск.*).

Саратов встретил меня ливнем; хорошо еще, что разразился он, когда я был в аудитории; так что с вокзала и туда к ним добрался я засухо. Я привез, по счастью, дедушкин зонтик, а без него тут, пожалуй, при переменчивой погоде было бы трудно.

Не могу еще не поделиться с тобой особым удовольствием от новых механических ботинок, которые я купил себе в последний момент перед отъездом. Ведь старые — дырявы как решето, а другие — внутри испортились (образовалась складка на подкладке — источник всех бед моих); я пробовал послать их к сапожнику, но тот взял двугривенный, а ничего не сделал. В «Механ[ической] обуви» мне предложили прислать к ним, они-де поправят. Я уже не успел, Эмилии такого крайне сложного для нее дела поручить нельзя; сделаю, когда вернусь. Так и поехал я в новых ботинках и всю дорогу удивлялся, что это нисколько не утомляет ног. Удивительная фирма «Механич[еская] обувь». Вот тебе, Юлек, целая страница о ботинках! Прости за увлечение такой темой! Но я почти полгода мучился и хромал; а все только потому, что не догадался пощупать рукой, в чем же дело...

Думаю, что приезд в Саратов подействует на меня хорошо. Дело не в новых впечатлениях, а в отсутствии старых, питерских, которые слишком надоели. <...>

Д. 10. Л. 96—97 об.

806

8 июня

<...> Только здесь ясно чувствую, какое мое питерское состояние было. Право, такое ощущение, точно понемногу от какой-то серьезной болезни поправляться начинаешь. Что же дальше будет?

Сегодня я начал лекции. Читал с трудом, горло не совсем слушалось, выходило все с какой-то натугой. Но слушали очень внимательно, а эта лекция, как всякое введение, была наиболее трудной. Надеюсь, что дальше пойдет легче и живее.

В понедельник мне придется проделать некий tour de force:* читать вдвойне — от 12—2 $^1/_2$ (с перерывом в полчаса) и от 6—8. А в пятницу, 14-го, я устроил себе передышку: буду не вечером читать, а среди дня, от 12—2 $^1/_2$, так что уеду отсюда в тот же день и уже в субботу буду в Москве. Пожалуй, в Москве только так остановлюсь, чтобы взять отсюда билет прямо до Петербурга: он действителен на 5 дней, и я могу уезжать не только в понедельник, но даже во вторник с тем же билетом.

Я писал тебе тотчас по приезде. Отослав письмо, пошел сниматься в группе, причем опоздал на целый час, забыв, что тут не петербургское время, а надо часы на 1 ч. 30 м. вперед переставить. Однако попал вовремя, ибо только еще собирались. Снимались во дворе Губернской земской управы многолюдной группой, которой я, впрочем, наверное, и не увижу. Потом вчетвером пошли обедать в «Россию» — Нечаев, я, химик В. В. Челинцев (из Москвы) и какой-то здешний Ив[ан] Ив[анович].

Оказывается, они все вообще в «России» обедают, и мы с Челинцевым и Нечаевым сегодня опять обедали вместе. После обеда я пошел по городу, объехал разные улицы двумя трамваями. Странный город Саратов. Улицы широкие, много сравнит[ельно] зелени, красивые церкви 18 века (совсем интересный старый собор времен Елизаветы), немало очень недурных зданий, но небольших (тут квартиры очень дороги, не дешевле петербургских, но домов выше 3-х этажей не строят почти вовсе; говорят: «В 4-м этаже никто жить не станет»). Первое впечатление — весьма культурное. Какой-то общий отпечаток остается, что нет ни в чем безвкусицы. Даже дамы здешние, вообще очень провинциального типа, en masse** оставляют, однако, впечатление, что в Саратове умеют одеваться.

Но стоит поближе присмотреться, поражаешься, до чего город запущен: грязь, много немощеного, совсем заваленная мусором набережная, так что к Волге в городе и прогулки нет. Город богатый, а все — кое-как. Еще резкое впечатление: масса оборванцев, хулиганья, безработных, попрошаек. Разыграйся тут что-ниб[удь], погром и грабеж будут пирамидальные. Вернулся домой усталый, лег спать рано, спал скверно. <...> Утром подготовлял лекцию (каюсь, несколько нервничал), потом пошел посмотреть здешний «Радищевский» музей, «художественно-промышленный», который особенно замечателен тем, что в нем нет ровно ничего, относящегося к Радищеву (даже его портрета) и ничего «промышленного». Художество сводится к плохим копиям с иностранных мастеров, картинкам Боголюбова, целой комнате Бронникова, тошно-слащавой мазне; это перемешано с китайскими разными вещицами, самоедскими поделками, какими-то ископаемыми и парой археологических находок. Сущий «Паноптикум», 15 к. за вход. Только белых крыс не хватает. После музея — на лекцию, потом пообедали. Кормят тут очень хорошо, но дорого, 1 р. 25 к. Сегодня я завел свое хозяйство, чай, сахар, сухари, а то у них спрашивать и дорого берут, и мало дают. Придя домой с покупками, сел было тебе писать, да пришел Чернов и просидел до 10 ч. Вот только что ушел. Поил я его чаем, говорили об исторических новинках, о Романове, Любомирове (о кот[ором] ни слуху ни духу). У Чернова-отца тут бакалейная торговля, по-видимому, довольно крупная.[581]

---

* Усилие (*фр.*).

** В большинстве (*фр.*).

Завтра я утром схожу в Археологический музей, а потом мы идем «экскурсией» осматривать оползающую гору. Нечаев-географ даст там объяснения. Это, пожалуй, будет интересно. Состояние мое странное для меня самого. Вовсе нет скуки, какая-то ровная апатия. Нервы опустились, сразу стали нормальные, но как-то притихли, точно равновесие это ненадежно. Пожалуй, Сергей прав, что полезна была бы поездка какая-ниб[удь], прогулка большая. Только и так обойдется, п[отому] что никуда я, конечно, не пойду и не поеду.

Д. 10. Л. 98—100 об.

807

10 июня

Вчера я опять не писал тебе, дорогой Юлек. Вообще я в этом году что-то меньше пишу. До того дошел! Минутами хотелось бы забыться в ощущении, что никому от меня ничего не нужно, что я сам по себе, как будто только в этом и был бы полный отдых, полная поправка истрепанной душевной силы.

Ну, продолжу летопись дней своих. Живется тут недурно. Хоть приходится с людьми общаться, но не так много; остаюсь один достаточно, и это мне хорошо. Кое-что читаю, но мало, кое о чем думаю, но еще меньше. И скуки нет, и оживления нет. Так, ровно как-то. О начале лекций я тебе писал. Сегодня второй раз читал, гораздо свободнее и, кажется, вошел в нужный тон. Говорят, публика вполне довольна. Слава Богу, а то неприятно невольно подводить людей. Вчера же был день воскресный, от лекций свободный. Встаю я тут рано, между 6 и 7 ч., рано и ложусь, между 10—11 ч. Это наилучший для меня режим. Жаль, что невыполним он в Петербурге и что так решительно расходится с твоими привычками. Утром вчера подчитал кое-что для лекций, потом пошел бродить по городу. В одной своеобразной церковке (типа базилики) попал на архиерейское служение. Потом в другую зашел и еще в одну, постройки 17 в., теперь единоверческую. Саратов город странный, купеческий, и богослужение в нем на любителя, хорошо служат, выразительно. В этом есть своя эстетика. Потом пошел к Н. Д. Россову (это член Губ[ернской] земск[ой] управы, устроитель курсов, которые у меня в Петербурге были); там же Нечаев живет, чтобы идти с ними на «оползень». Довольно долго они там собирались, потом обедали, и я у них супу съел и мороженого. Россовы, он и сестра, бывшая бестужевка, типичные люди 70—80 гг., с Михайловским, Чеховым и Короленкой, на чем их восприятия и кончились. Немного наивный, но искренний и крепкий тип, без нашей «сложности» и нашего бессилья с нею справиться.

Поехали трамом через весь город на «оползень». Эта «катастрофа» с саратовской горой — долгая история. Песчаная, да еще на фундаменте глиняного слоя, гора давно сыпется, ползет и трещины дает, больше 30 лет, но только поведение ее все резче становится. Обрывы, глубокие трещины, полопавшиеся стены. Волга тут совершенно ни при чем. Работают грунтовые воды при благосклонном содействии городского управления, которое на склоне этой же горы устроило обширные водоемы, куда накачивают волжскую воду для того, чтобы она отстоялась и, пропущенная через фильтры, поила город. Водоемы не цементированы, и вода из них свободно просачивается в гору, увеличивая ее размокание изнутри. Экскурсия вышла бестолковой. Человек триста расползлось в разные стороны, почти ничего им толком не объясняли, но прогулка вышла хорошая. Оттуда, с горы, прешировкий вид на Волгу, но вид плоский, мало живописный; только ширь да зелень прельщают. Находился я там много, а в 5 ч. ушел домой через овражную часть города, где жалкие хибары теснятся друг на друга, такие нищие, придавленные, по берегам песчаных оврагов. Выбрался в город и прибрел в «Россию» совсем усталый. Пообедал и сидел у себя за лекцией, когда пришли уже в $^1/_2$ 8-го Россов с Нечаевым предупредить меня, что Нечаев так устал (у него сердце сильно пошаливает), что боится на другой день утреннюю лекцию читать и просит меня с ним поменяться. Дело в том, что по расписанию он должен был читать от 9—11, а я 12—2 и 6—8. Я же читал сегодня утром и буду еще читать вечером, а он — среди дня, а потом уедет по Волге пароходом до Нижнего.

Так я вчера долго толкался в толпе наших слушателей и слушательниц. Серая глубинка, не выше «Маяка». Я буду читать поэтому в том же роде, как в «Маяке» читал. Так пройдут эти дни. В пятницу еду в Москву, побываю у Соломенной сторожки, повидаю Костю, разыщу порученных мне старообрядцев, да и в Питер. Может быть, посмотрю что-нибудь. Ни в какие архивы не пойду. Незачем, в сущности. Я еще слишком плохо сам себе представляю, что же мне надо по ученой части. Думаю, что соберу кое-какие книги и издания и начну писать в Домброве. А это мне представляется тоже не лишенным затруднений. В сущности, я мог бы хорошо работать только там, где писал магистерскую диссертацию, т. е. в даль-троццевской комнате наверху. Внизу шумно, а в нашей комнате целый день солнце. Впрочем, ведь из этой фантазии все равно едва ли что выйдет. Или ты попробуешь так устроить? А иначе, боюсь, не пойдет мое дело.

Не скажу, чтобы меня радовала мысль о возвращении в Петербург. Там опять Энциклопедия, «Молва», измученный Сергей, унылый Головань, петербургский Саня, вся наша квартетная клиника и множество обязательных деталей и мелочей. А у меня такая жажда некоторой свободы для внутренней работы своей, подобраться, не размениваться в дребедни. Ты осудишь этот эгоизм, но, право, это просто чувство самосохранения, без которого я и вам совсем не на пользу, а на тягость стану и становлюсь. Ну, как-нибудь одолеем все это.

Химик Челинцев уехал вчера. Через некоторое время он едет в Тифлис, где назначен съезд натуралистов. Я ему на всякий случай указал Шенгера, Карповича и даже Кимонта, кот[орый], быть может, и в съезде членом будет. Он их имена записал. Надеюсь, что из этого никакой неловкости не выйдет? Челинцев производит впечатление довольно тактичного человека.

По временам, особенно когда гляжу на Волгу, подымается сожаление, отчего я отказался ехать в Пермь. Три дня на пароходе — хорошая штука. Да еще по Каме, в новые, совсем чужие места. А фантазия Сергея, который (я, кажется, писал тебе) опять толковал, чтобы я с ним в горы шел, если бы и была возможна, меня бы не устроила. Думаю, что сейчас я плохой ходок бы оказался, а главное, мы с ним понесли бы с собой слишком большой запас петербургских забот и переживаний, разговоров и недомолвок. <...>

Д. 10. Л. 101—104 об.

808

11 июня

Сегодня опять будем сниматься группой. Тут очень много снимаются. Учителя каждого уезда устраивают свою группу, приглашая в нее тех лекторов, какие сейчас налицо. Ведь лектора все меняются, одни приезжают, другие уезжают. Я начал с Нечаевым и Челинцевым. Теперь они уехали, а появились физиолог Словцов, кажется, из Петербурга, и гигиенист Тизлякин, здешний врач, громоздкая и грубоватая фигура, вроде чеховских провинциальных врачей. А вчера меня снял a parte* один из слушателей «для открыток». Оказывается, что тут даже фотографы даром снимают лекторов, чтобы продавать слушателям и слушательницам открытки с их физиономиями. Где-то на улице я видел выставленными две фотографии Шохор-Троцкого. Он и в этом году сюда приедет, но, слава Богу, когда меня уже не будет. Я еще только с Айхенвальдом встречусь, мимолетно, в последний день, когда он приедет читать лекции по русской литературе. Это — блестящий еврейчик, имеющий истерический успех у учительниц, а, впрочем, человек весьма талантливый и по-своему очень содержательный.

Вчера я благополучно читал дважды, утром и вечером, хотя горло плохо слушалось. Сказалась переменная погода, вызвала что-то горловое, даже читать немного больно стало. Я полощу перекисью водорода. Сильно смягчает. Но и насморк появился. Посмотрим, как сегодня выйдет.

Теперь в остальные дни я буду читать от 12 до 2-х. Вчера после первой лекции я проголодался, пообедал рано, во втором часу, написал тебе письмо, послал, а потом стал соображать, что же я им вечером читать буду. Дело в том, что, занятый горловым усилием, я утром потерял подготовленный план и пошел читать вне программы, спутал ее и, сжав изложение, почти все, что полагалось для следующей лекции, сказал в первой. Ну, пришлось и вторую, вечернюю двухчасовую, построить совсем вне программы, и я ее кончил вместо часа в 40 минут.

Слушают хорошо, но не очень; во время лекции начинают болтать, да и народу поменьше стало. Настоящего «успеха» лекции мои не имеют, хотя прилично пока все еще идет. Посмотрим, как дальше будет.

---

* Отдельно (*фр.*).

Холодно. При закрытом окне спать не могу, а от открытого, да еще при ветре, должно быть, горло и шалит, хотя я и занавеску опускаю, и у кровати еще ширма стоит. Глупо, если все лето такой холод будет. Впрочем, для лекций это лучше; не душно в многолюдной аудитории, а то, говорят, обычно в Саратове июнь очень жаркий, и тяжко бывало на курсах. И как это вообще публика выдерживает летом по 6 ч. слушать! Конечно, далеко не все на все ходят, но многие ходят же. <...>

Д. 10. Л. 105—106 об.

809

12 июня

<...> А я себе лекции почитываю. Еще 2 осталось, а там в Москву. Кажется, сносно выходит; не первый сорт, но вполне удовлетворительно.

Получил из Италии письмо от Любомирова. Он еще там, пишет по делам предполагаемого кареевского журнала. Надо будет ему ответить.

Вчера я после лекции обедал с физиологом Б. И. Словцовым (петербургский), потом мы ходили сниматься группой с учительницами и учителями Хвалынского уезда, а после съемки пошел я бродить по городу, выбрался почти за город, побродил по глухим местам, да и домой. Так день на другой похож. Утром рано встал, пошел бродить по городскому саду (очень порядочный тут сад есть), потом на лекцию, потом обедал с земцем здешним Н. А. Сырневым, а теперь сижу у себя в номере и пишу. Сегодня очень теплый солнечный день. Первый такой за все время. Сейчас опять пойду бродить. Надо трамваем когда-ниб[удь] за город выбраться. Хотя тут «окрестностей» никаких нет, да и волжский берег всюду загорожен. Ну, пока прощай, Юлек. Поцелуй деток. <...>

Д. 10. Л. 107—108 об.

810

13 июня

Пора ехать. Я в Саратове как-то обжился, но чувствую, что делать мне с собой тут окончательно нечего, и пустого времени, которое меня до сегодня не тяготило, а даже казалась нужной его тупая пустота, — ничем не наполнишь. Попытки подчитывать кое-что взятое с собой, написать для польского отдела — не по силам; совсем неохота, не думается, не клеится. Распустился твой Саня, да и забастовала машина.

До такой степени забастовала, что пошел я было искать здешнего корреспондента «Молвы» Мизякина, да вдруг так не захотелось разговаривать с ним, что сел в противоположный трамвай. Так его, по-видимому, и не успею повидать. Потолкался без толку по городу, да и пошел в «Россию» чай пить и спать. Ложусь ведь я в 10, 10 $^1/_2$, встаю в 6—7.

Как стало потеплее, воздух стал хуже. Много в нем городской вони, весьма скверной, а окон не закроешь — душно.

С планом выбраться за город ничего не вышло; колебания по поводу Мизякина к тому привели, что все время разбил. Утром сегодня я рано выбрался, отчасти потому, что перевернул стакан горячего чаю, залил масло, сыр (я тут себе целое хозяйство завел) и сбежал от такого свинства. Пропутешествовал на вокзал, чтобы точно установить поезд, каким завтра поеду. Наш путеводитель я подарил Володе на дорогу, а то он покупать собирался. Куплю тебе другой. Поеду в 6.17, буду в Москве в 4.25. Вот не знаю, какими трамваями ехать в Петровское-Разумовское с Рязанского вокзала. Поеду прямо к Полиевктовым, и пойдем купаться прямо в Академию. Я билет возьму прямо до Петербурга, а плацкарту до Москвы. Это дает право 3 дня пробыть в Москве. Дома буду в среду утром. А там, что Бог даст. Сейчас я рад в Москве хоть мельком побывать. Отчасти потому и билет беру прямо до Петербурга, что боюсь соблазна, а задерживаться нельзя, к сожалению.

После лекции сегодня мы с Б. И. Словцовым отправились осматривать строящееся здание Саратовского университета. Отличное у них выходит сооружение. Пока строят только здание для медицинского факультета, несколько отдельных корпусов, очень удобных и красивых. А рядом готова большая площадь — для других факультетов, когда их соберутся тут завести. Вечером пойдем с Россовым и Словцовым в клуб «играть в кегли», говорит Россов, «посмотреть новые журналы в читальне», говорит Словцов. Россов обещал мне сегодня денег дать, чтобы я мог утром взять билет на городской станции.

В общем, моя саратовская поезда вышла совсем недурной, а так как это и заработок невредный, буду внимательно относиться к предложениям такого рода, буде подвернутся. В Пермь я бы особенно охотно съездил.

А Любомирову я так и не ответил. Напишу утром. А сегодня — не хочется. Ленив я стал до чрезвычайности и как-то внутренне капризен, точно беременная женщина. Теперь напишу тебе из Москвы. Завтра едва ли что будет писать.

Д. 10. Л. 109—110 об.

811

14 июня

Вчера, дорогой Юлек, отправив тебе письмо, не знал я больше, что с собой делать. Что называется, места себе не находил. После теплого дня, какой был накануне, стали собираться облака, нависли над Саратовом, и такая тяжкая духота нависла, что, казалось, неизбежна гроза. В номере было невозможно, даже чай с лимоном не помогал. На улице скука какая-то, прямо серая тоскливость.

А. П. Нечаев — у него сердце не в порядке — говорит, что он сам лучший барометр, может по своему настроению точно сказать, какой цифрой выражается барометрическое давление. При очень низком барометре у него мрачномыслие крайнее — мечты о самоубийстве, отвращение к людям. Пофилософствуй, так покажется нелепым и обидным такая зависимость человека от... барометра. Ну, положим, у меня ни мрачномыслия, ни тем более мечтания о самоубийстве не было (я ведь сердцем почти здоров), но места себе все-таки не находил.

Не знал я, куда деваться, пошел в городскую аудиторию, сидел там в нашей лекторской и чай пил. Пришел Россов, потом Словцов пришел, и мы с ними в клуб отправились. Духота спала, дождик стал накрапывать, но обошлось без грозы. Россов выдал мне 30 р. путевых, и я себе с утра билет возьму. А даже вкусно подумать, что я хоть немного по Москве потолкаюсь, хотя и вовсе без надобности. Правда, поручено мне со старообрядцами разговаривать. Но Арефин, по-моему, попал сам неудачно и меня неудачно направил — к самым заскорузлым, самым поповским из староверов. Впрочем, внешним образом поручение придется исполнить.

В клубе сперва показывали мне помещение — отличное, богатое. Хорошая библиотека, довольно большие залы, большой притом картеж, которым клуб и живет. Потом играли в кегли. Из 4-х партий я все-таки две выиграл, хотя чуял, что рука у меня слаба, и вместо мускулов дряблая дрянь какая-то. Собственно 1 партию взял, потому что другую «доиграл» после Россова.

Потом поужинали. Съел я порцию осетрины, мороженого и чашку кофе выпил только и, кажется, поэтому все-таки скверно спал. Просыпался чуть не каждые полчаса, вставал, пробовал читать, да опять ложился, и снова... Теперь 6 ч., я встал и тебе пишу пустые слова. Ночью дождь лил как из ведра, и долго. Теперь разгуливается — славный воздух, птицы бойко чирикают.

Читали вы в «Русской молве», как «Гранд» отлично летает? Теперь это что-то не чужое из-за милых Алехновичей.[582] В скучную минуту в Петербурге, может быть, раскачаюсь попросить, чтобы мне дали возможность посмотреть. <...>

Д. 10. Л. 111—112 об.

812

Рязань, 8 ч. утра. 15 июня

Дорогой Юлек, вот я на дороге к Москве. Вчера кончил лекции, попрощался с аудиторией. Много хлопали, пришлось, точно актеру, дважды выходить и раскланиваться и сказать несколько теплых слов, поблагодарить, что слушали с вниманием, и т. д. В гостинице, когда я из аудитории обедать пришел, мне подарили три чудных больших розы и письмо от слушательниц, с очень тепло и умно написанной благодарностью за лекции. Видно, для народных учителей и учительниц в их трудном сером быту такие лекции новых университетских людей действит[ельно] свежее впечатление. Да еще в лекторскую пришли учителя одного уезда особо меня поблагодарить. <...>

Д. 10. Л. 262

813

17 июня

<...> Я из Ржева, кажется, послал тебе открытку с сообщением, как меня из Саратова отпустили. <...> На всякий случай упомяну, что аудитория меня шумно приветствовала после последней лекции, кое-кто отдельно благодарил, а слушательницы занесли в гостиницу 3 превосходных розы и очень милое письмо.

Ехать до Москвы было очень удобно и свободно; читал я по дороге интересные записки Веры Серг[еевны] Аксаковой, сестры Константина и Ивана Аксаковых.[583]

В Москву приехал в субботу, в 4.25, и на извозчиках проехал к Соломенной сторожке. Полиевктовых застал за обедом, ну и меня покормили. Тут нашел твое письмо. Меня они ждали на другой день, но я ведь выгадал сутки, перенеся последнюю лекцию с вечера на день. Вечером должен был начать свои лекции Айхенвальд, первый тенор курсов, но когда я распрощался, его в Саратове еще не было, чем публика была весьма обеспокоена. Не знаю, чем кончилось. Надо написать Россову, пусть он сообщит мне, оно любопытно. Уезжал я из Саратова в грозу с ливнем. Хорошо еще, что загодя забрался на вокзал, убегая от духоты в номере. А сегодня привез им тепло, даже жару, которая сразу установилась после холода и дождей.

В субботу мы с Мишей побродили немного поблизости. Узнал я, что режиссирует свадьбу Полонский, который живет на даче в Останкине — шереметевском имении (Александра Шер[емете]ва), это час ходьбы от Петровского. Занятные вещи рассказали мне Н[аталья] Мих[айловна] и Миша о Джоне. Вещи, которые они давно знают, но молчали, а Н[аталья] М[ихайловна] случайно проговорилась, а тогда пришлось уже все рассказать. Оказывается, что Джон едет в Лондон вдвоем с Забеллой-Врубель, причем едут maritalement,* только Джон недоумевал, брать ли ему одну или две каюты, опасаясь, что вдруг кого-ниб[удь] знакомого встретит; то же его смущает и в вопросе, как останавливаться в Лондоне. Поездка эта — по предложению Забеллы (так по Джону выходит). Недоумевает он еще больше и с большим беспокойством о том, чем же все это кончится, т. е. как же осенью-то будет? Не знает, чего Забелла хочет: замуж за него выходить или так сойтись. Первого, по Мишиному мнению, Джону вовсе не хочется, но, с другой стороны, опасается он и оказаться в комичном положении сожителя на летний сезон, которого по возвращении пускают в трубу как «дачного» мужа, зимой неудобного. Все эти варианты он считает возможными и обсуждает с Мишей. Пошлость это все невообразимая, и хоть жалко Джона, но если он так или иначе в калошу сядет, то будет вполне по заслугам. Все это сообщено мне под большим секретом и, конечно, особенно от Сергея, из опасения его грубо-пренебрежительного вышучивания Джона. Это и ты имей, стало быть, в виду.

А хорошо в Петровском-Разумовском. Море зелени, много птичьих голосов, и, несмотря на толчею дачников и всякой езды, все же чувствуется великая тишина природы, такая глубокая и полная богатой симфонией своих звуков, цветовых тонов и бесконечно художественных форм. Отдаться этой полнозвучной тишине — большое возрождение, но лишь урывками и слабо проникает она в мою истрепанную и взбаламученную душу.

---

* Как муж и жена (*фр.*).

Наутро в воскресенье я рано проснулся, открыл окно — и такое чудное утро было, что я не утерпел. Вылез в окно, чтобы с кухни достать себе сапоги (а за ними в туфлях путешествовал). Дело в том, что Н[аталья] М[ихайловна], идя спать, оба выхода запирает изнутри, так что и прислуга утром, пока не отворят, выйти не может. Потом пошел в Академию купаться. Полиевктовы купаться начали в тот же день по моему примеру, а то, говорят, все холодно было. Сторож купальни узнал меня, спрашивал о Мише. Вернулся, когда П[олиевкто]вы встали к чаю. А потом поехал в город, взял себе плацкарту на вторник и посмотрел Музей изящных искусств, новый. Здание отлично устроено, а снимки античной скульптуры и средневековой — очень хороши. Часть их — заказана в мастерских Трокадеро, часть в Мюнхене и Берлине. Но всего интереснее египетский отдел, отлично подобранный покойным Голенищевым[584] и устроенный Б. А. Тураевым. Тут для нас особенно интересны александрийские портреты, живопись дивной сохранности и глубоко интересная, столько она поднимает сложных художественных впечатлений и стилистических вопросов. Это мне очень хотелось бы тебе показать, чтобы ты в них крепко вгляделась и зажили они твоим восприятием. И не меньше интереса представляет тут маленькое собрание итальянских примитивов. Собственно только несколько вещиц, но сиенцы такие, каких мало где на свете, и одно распятие XIV в. (Сеньо Бонавентуры) крайне интересное. Эти отделы — закрыты для публики, но я обратился к дежурному чиновнику, он устроил мне телефонный разговор с А. В. Назаревским, и тот сперва разрешил мне посмотреть, а потом сам пришел в музей, показывал мне итальянцев.

Осмотр музея штука утомительная, в конце концов. Оттуда я пропутешествовал в Совет старообрядческих съездов, тут, конечно, никого не нашел по случаю воскресенья, но узнал у сторожа, когда публику эту сегодня можно застать. Потом подкрепился по доброму старому обычаю у Филиппова простоквашей и поехал к Соломенной сторожке к обеду. <...> Толковали о свадьбе. Приедет Русудана с сестрой и братом и матерью, приедут 2 ее подруги, дяденька Петр Мих[айлович] Майков, еще кто-то, человек 10—12. После свадьбы обед на даче (по-видимому, домашними средствами с принанятой прислугой), потом все тотчас разъезжаются, а молодые с Нат[альей] Мих[айловной] едут за границу, ее устраивают в Киссингене, а сами едут почему-то в Норвегию.

Ну, потолковали мы с Мишей, а потом пошли Полонского в Останкино провожать, путь (50 мин.) через лесок и полем очень приятный. Зашли к нему на дачу. <...> Посмотрели мы в Останкине знаменитую церковь времен Алексея, которая своими манерными формами d'une japonnerie moskovite* много вреда принесла так наз[ываемому]

---

* Московской японщины (*фр.*).

«русскому стилю» в 19 веке. Посмотрели шереметевский дворец (снаружи) — довольно слабый образчик «классицизма» и красивый Останкинский парк. Этот шереметевский дворец выстроен барином для любовницы-крестьянки, стало быть, памятник той истории, которая «воспета» в старой песенке, пародированной в «Летучей мыши» (чем так возмущался барин Волконский). А потом на невероятной трясучке автобусе и извозчике добрались до нашего академического паровика и были в обед дома в столько времени, как пешком шли. Поехали-то мы из-за меня, устал я, просто ногами устал, что со мной теперь, к сожалению, часто бывает. Стар я становлюсь и духом, и телом, и не скажу, чтобы это ощущение и сознание было из приятных. Шибко и без толку капитал проживаем. Но оглянешься — и неужели банкротство? При таком хозяйничанье с ним, как мое, немудрено это. <...> Так прошел второй день, воскресный. А сегодня мы с Мишей в половине 8-го встали, пошли, или, вернее, на паровике поехали купаться, пришли затем чай пить, а после чая поехали в город. Миша — в Архив, а я к Мюру. <...> Потом я купил тебе альбом, Але и Славе книги и отправился, по уговору, к своим старообрядцам. Тут в «Совете» застал братьев Мельниковых, долго разговаривал сперва с одним, потом с другим. Они как будто поняли, что собственно нам от них надо, и согласны с этим, но потрафят ли исполнить, я не уверен. Очень уж весь тон и склад их нам чуждый. От них пошел на rendez-vous с Ал[ександром] Як[овлевичем] в вегетарианскую столовую, устроенную Бирюковым, Чертковым и др[угими] «толстовцами». <...> За 50 к. я получил зеленые щи с яйцом (вегетарианство-то не очень еще суровое), потом potravke* из кабачков с картофелем и бутылку квасу. Очень бы все недурно было, если бы вилки и ложки были почище и меньше давали еде металлического привкуса. А[лександр] Як[овлевич] назавтра звал нас к себе в Останкино, чтобы осмотреть внутри дворец, где, говорят, много любопытного. Но мы с Мишей решили уклониться. У Миши завтра дела в городе, а я лучше разыщу Костю, а потом — ну, хоть Третьяковку посмотрю. Костю я сегодня пробовал ловить. Приехал трамваем на Большую Пресню — его дома нет, но у двери прибита аспидная доска с надписью мелом: «Сию минутку». Я и сел в его садике «Русскую молву» читать, фельетон Коствачева об уничтожении Монмартра, который должен огорчить Голованя. <...> Костин дворник сказал мне, что Костя в Москве, да оно и по всему видно: в саду куски мрамора заготовлены и какое-то сооружение из досок явно как подставка и стенка для лепки какой-то крупной фигуры. А застать наверняка Костю, так дворник сказал, можно часов в 10—11. Я завтра и поеду с утра, сейчас как выкупаюсь. Авось поймаю. Обидно было бы не повидать его!

А вечером завтра уеду в 8 ч. Там посмотрим, сколько просидеть придется. Тянуть не стану, очень торопиться тоже нельзя. Разобраться надо, да и доделать придется не так-то мало, особенно необходимо наладить печатание указателя.

---

* Кушанье (*польск.*).

Пролетела только что гроза. Освежила. Прощай, Юлек. Крепко целует тебя

твой Саня.

Д. 10. Л. 113—120 об.

814

19 июня. Санкт-Петербург

Петербург, как и полагается, встретил меня серой слякотью. Впрочем, как я писал тебе из Москвы (письмом и открыткой), я и оттуда уехал под дождем. Нат[алья] Мих[айловна] очень грустно меня отпустила. Видно, что и мое пребывание у Соломенной сторожки для нее частица той старой жизни, которую приходится теперь ликвидировать.

С Костей вышло очень прискорбно. Говорят, он вернулся через четверть часа после того, как я ушел из его садика, но в тот же вечер уехал из Москвы на 4 дня, оставив мне записку, где, в расчете, что, вернувшись, еще меня в Москве застанет, пишет, что ему много хочется мне сказать и посоветоваться. Я даже пожалел, что так устроился мимолетно с Москвой и не могу остаться. Чувствую это как прямую потерю для себя — этот разговор с Костей. Пробрался я к нему под дождем, но погода утихла, и я махнул в Третьяковскую галерею. Тут довольно много нового, но почти все знакомое, кроме нескольких маленьких вещей Серова и Борисова-Мусатова. Потом выпил кофе у Филиппова и проехал в Петровскую академию купаться и домой к обеду. А вечером уехал. <...>

Сергей все в неопределенном положении, тем более, что Ариадна совсем расхворалась и выбыла из строя, а ведь на время его отсутствия она должна была его заменить. Теперь налаживает дело со Штильманом, вероятно, сегодня столкуются и тогда определится время его отъезда, но придется еще снестись с Кутаисом относительно Сванетской экскурсии.

Дома у нас все на месте. А поездка в Саратов и в Москву как-то особенно остро возбудила во мне желание старое — поездить по городам средней и северной России, осмотреть их старину, взглянуть на их жизнь. Имел я неосторожность сказать что-то об этом Сергею; он сейчас заявил, что готов бросить Сванетию, поедем-де по моему маршруту. Но нынче это совсем невозможно, да и настроение не то, тем более, что потом, если когда-либо удалось [бы] собраться, я, ей-Богу, предпочту один, один ехать. Мне такая поездка дала бы то, что мне всего бы важнее, — возможность сосредоточиться, уйти в себя, отрешиться от всяческой нашей суеты.

Все это, говоря высочайшим языком, «бессмысленные мечтания», а пока я в Петербурге, сижу за корректурами Энциклопедии, беспокоюсь о том, что же мне и как надо еще делать, за что браться, точно и не уезжал.

Нашел тут твое письмо, дорогой Юлек, постараюсь с возможной аккуратностью все исполнить. Нашел и открыточку от Чернова из Саратова: он прозевал мой отъезд и жалеет, что не удалось повидаться. А сюда уже успел Романов забежать. Милый мальчик, несомненно влюбленный, и неохота ему уезжать из Петербурга. Переживает лучшую весну, какая в жизни бывает. Дай ему Бог, чтобы она была такой же долголетней и солнечной, как моя; бывает ли только это? <...>

Д. 10. Л. 121—122 об.

815

21 июня

Вчера, дорогой Юлек, весь день в трубу вылетел. Не брани своего Саню, что он вместо того, чтобы торопливо дела делать и к тебе ехать, теряет тут попусту время. Так вышло. Недаром Господь Бог послал мне за грехи мои Голованя! <...> Вчера на вечер был назначен его отъезд, на утро сегодня, теперь на 4 ч., но в то же время есть проект съездить вечером в Сестрорецк. Голованя вообще настраивает, чтобы мы с Сергеем по возможности урывали время, чтобы по вечерам подышать воздухом хоть в Павловске или на островах. В теории мысль резонная, но ведь у Сергея она обязательно должна принять особый характер. Уже вчера только мой решительный отказ отклонил поездку в Аквариум.

Третьего дня я рано лег, вчера утром встал честь честью в 7 ч., проредактировал 3 статьи, принесенные мне Сергеем, написал заметку о «политиканстве в учебном деле»,[585] которая сегодня напечатана. Эта заметка вышла из рассказа Голованя о том, на что Н. А. Хардина жалуется в делах гимназических. По этому поводу мне удалось переговорить с ней, чтобы подбить ее на сообщение сведений о школьном деле в провинции для газеты. К 11 ч. пошли к ней. Очень она дельный, вдумчивый и симпатичный человек. К делу моему отнеслась с интересом, обещала устроить от них из Самары корреспонденции, а из Полтавы, куда она едет (к Васьковой-Старицкой), приспособить Гр[игория] Старицкого, который в земстве полтавском заведует школьными делами. А их в Самаре утеснения до того довели, что она подумывала, не закрыть ли свою гимназию. От нее я зашел в университет деньги получить, видел мельком Гримма, который вчера же уехал на дачу, так что больше не могли повидаться. Между прочим, он, тоже мельком, сказал, что с осени думает занять свою казенную ректорскую квартиру в университете, которая пока пустует.

С Голованем мы сговорились в половине третьего встретиться у Я. И. Смирнова в Эрмитаже. Он взял с собой фотографии с фресок Джотто в Падуе, чтобы сравнить их со снимками с византийских фресок в г. Мистре (где старая Спарта), потому что большой французский ученый Берто считает их родственными друг другу, т. е. видит в фресках Мистры прямой источник Джотто. До этого rendez-vous у меня было еще часа полтора. Я выпил стакан кофе в кофейной Александровского сада и пошел в Эрмитаж, где в ожидании Голованя осмотрел все залы. Новая развеска картин странная, Бенуа правильно нападал на нее за то, что теперь разбросаны по разным местам картины одних и тех же художников, которые прежде были больше собраны по авторам. Есть кое-что новое: несколько ранних итальянских вещей из коллекции Строгановых, но почему-то не все. Удивило меня заново, какое особое совсем впечатление производит на меня Рембрандт. Что-то близкое, родное в нем есть, чего я ни перед какой другой живописью не чувствую. Какая-то в нем особая глубина испытанной жизни, какая-то смелая прямота есть, а красота какая-то особая, свободная от всякой внешней красивости. <...> Потом пошел к Смирнову. Головань, конечно, сильно опоздал (бегал с Хардиной по магазинам). Фрески Мистры очень любопытны, но сопоставления Берто неудачны, что Головань только робеет признать, или, вернее, признает, но думает, что Берто надо как-то иначе понимать, не так буквально. Домой к обеду вернулись после 4-х ч., к великому отчаянию Эмилии, которая так и не знала, что делать, п[отому] что затеяла стирку, и металась как угорелая. После обеда пошел в «Молву», снес Сергею статейку, посмотрел польские газеты. Без меня Сергей сам написал очень удачную статейку о польском коле,[586] наделавшую шума в польских газетах.

Ну, а когда домой вернулся, то после целого дня мотанья оставалось только с Голованем разговаривать, когда он вернулся к 10 ч. А мы из редакции с Сергеем приехали, покормился он, потом я газеты польские читал, Сергей тоже что-то перелистывал. Пришел Головань, перебирали мы с ним «византийский» вопрос, со справками в книгах, так что Сергей даже раньше от этой учености в типографию ушел, а мы об искусстве вообще стали препираться, об «экспрессии» и «стиле», да и до 2-х часов заболтались, причем получились из этих разговоров весьма определенные и интересные выводы. Так день и прошел. Встал я сегодня поздно. Теперь половина 11-го, а я еще за дело не принимался, вот письмо пишу. <...> Головань был еще с Хардиной в музее Александра III и высказал мне, между прочим, любопытные замечания о Серове. Про «Иду Рубинштейн» говорит, что это «бездушная попытка очень большого мастера» по-новому работать, а еще вообще про Серова, что у него под одеждами никогда не чувствуется тело, костяка нет, что Г[оловань] объясняет манерой письма, растрепанным мазком Серова. М[ожет] б[ыть], и верно? <...>

Д. 10. Л. 123—126 об.

816

22 июня. Суббота

Тяжко в Петербурге, дорогой Юлек. Жарко. Духота невыносимая. Временами пахнет грозой, тучи покажутся, погремят, даже попрыскают и уходят, не освежив.

Вчера особенно тяжелый был день. От духоты тяжелая была и голова. Кое-что поделал, но немного. Больше маялся целый день. А к 6 ч. пошли мы с Голованем в редакцию, а оттуда втроем поехали в Сестрорецк. Попали 3-м № только на поезд в 7.23, стало быть, часов в 9 с минутами в курорт. Очень там красиво. «Маркизова лужа» с пляжа выглядит точно и вправду море. Мы приехали к закату, любовались бесконечным многообразием переливов. Как-то мягко и спокойно было, и так хорошо дышалось чистым и влажным воздухом — после городской духоты. Голова сразу стала легче, осталась только какая-то сонная усталость. На берегу хороший сосновый лес. Проездом видели приют Вяжлинского. Конечно, и не думали заходить.

Ведь так поздно было бы, да и едва ли нашлась бы охота. В курорте музыка, которой мы не слушали. А потом — поужинали. Просто есть захотелось, а дома, пожалуй, ничего путного не нашлось бы. Выпили и бутылку кордону. Потом поехали домой поездом, который только в час пришел в Петербург. Пошли с вокзала; Сергей стал пищать, что кофе хочет, Головань обсуждать, где бы его получить, я было стал их просить не стесняться мной, а меня отпустить. Но, говорят, тогда идем все домой. И таким это тоном, что нельзя было не пойти в Виллу Родэ.[587]

Тут мы действительно пили только кофе и по нескольку рюмок бенедиктину, да немного виски. Зато кофе три машинки выпили, ну и пришли оттуда в 4 часа. Было довольно интересно. Какая-то сложная фарсовая штука — из сорта «негритянских фарсов» — прямо удивила богатой красотой гармоний и ритмическим размером музыки. Потом еще — эффектная сценка с французскими солдатами.

Разговоры же наши приняли понемногу — началось еще в Сестрорецке — все более острый характер. Дело в том, что я, не помню уже повода, вдруг задел Голованя упреком в странном пристрастии к аристократизму, внешнему, породистому и салонному, где обыкновенно, по-моему, мелкой, внешней красивости больше, чем подлинной красоты.

Голованя это сильно уязвило, что он стал объяснять целую теорию о том, что всякая подлинная культура всегда создавалась на общественных верхах, «белой костью», дворянством. И эту аристократическую культуру он бесконечно любит, потому что в ней — красота умирающего общественного слоя, красота красивой, благородной смерти, высшая, какая быть может; «черная кость» не способна так умирать, как «белая», быть той «больной красотой», какую любит Головань. И веяло от слов его красками и образами Борисова-Мусатова, запахом «вишневого сада». Сергей, конечно, ополчился на него, доказывая, что вся «аристократическая» культура создана мещанскими руками Мольеров, Шекспиров, художников, портных и т. д. А те-де только кормили это творчество заказами. Я, как всегда, был посередке, пробуя от Сергея отстоять большую дворянскую культуру, которая вдохновляла ее исполнителей, давая им вкус, тон, формы, стиль, а от Голованя — независимость этой культуры от физиологических свойств белой кости, наследственности и т. д., на чем он так настаивал. И ведь до чего настаивал! Позднее, уже дома, где мы, собираясь спать, до 6 ч. доболтались, он про себя говорил, что не понимает, откуда у него много «белокостных» склонностей и свойств, хотя он себя считает костью «черной», по всей породе отцовской, а для объяснения (и утешения?) он, представь себе, выдумал себе «гипотезу», что мать его (из семьи тоже недворянской) едва ли не незаконная дочь какого-ниб[удь] аристократа, потому что недаром же она и воспитывалась в каком-то очень дворянском доме, причем никто это толком объяснить не умеет.

Развязалась речь Голованя, и пошел он, правда, подстрекаемый мною, применять свои рассуждения к нам. И не рад я потом был, что толкнул его на это, такие странные вышли разговоры. Во-первых, я оказался «белой» костью, по его, голованьскому, понятию, человеком тонкой, одухотворенной культуры, недейственным поэтому, а таким, который, собственно, не живет, а красиво умирает. Можешь ты представить себе Саню в таком странном наряде? Но говорил это все Головань с такой какой-то особой нежностью, почти влюбленностью, какой я от него по своему вопросу и не ожидал бы. Взыграла его сентиментальная натура. Сергей же оказался «черной костью», началом деятельной силы, и Головань усердно убеждал его жить, не спрашивая других, проявлять себя по-своему: он очень нападает на манеру Сергея всегда оглядываться на «Евгеньича» или на Пресняковых, спрашивать и считаться с их мнениями и замечаниями, что его сбивает, портит его статьи. До полного пафоса дошел Голованьчик на тему о нашей единой троице, которая не может порознь быть, и т. д. А я почти растроганный этим — когда на другой день Головань уезжал, мы крепко-крепко с ним расцеловались, — в то же время чувствовал, что у меня есть своя жизнь, совсем отдельная от «троицы» и довольно чужая им, что мой, наш дуэт — не часть — для меня по крайней мере, квартета, а что-то много глубже этого сочетания. <...> Было интересно, волнующе, и ведь это не то, что разговор за вином, потому что выпито было очень мало за весь вечер, а наутро у Головань было такое настроение, что-де до того договорились, что надо непременно уехать, и я рад был его отъезду, потому что атмосфера раскрытой интимности должна была прекратиться, а то она очень мешает. <...>

Наутро вчера (я пишу уже 23-го) я встал в половине десятого, пошел в «Деятель» за разными справками, потом сбегал за папиросами. День был жаркий, но не такой душный, а вечером дождь пошел. Сегодня же хмуро и свежо, слава Богу. Вчера я опять не много успел сделать, и хоть смущают меня твои письма, полные напоминаний о скором, вот-вот, на днях, отъезде, я, Юлек мой, не в силах торопиться, не только потому, что внешне так эти первые дни по возвращении из Москвы сложились, а по какому-то внутреннему состоянию медлительности, нерешительности, отсутствия усилия, энергии. Не сердись за это на меня, дорогая, я, право, должно быть, очень устал, и не только от работы, но и от напряженной психологической трепни, какой пропитан весь наш квартетный быт, а, видишь, тут опять пришлось в него окунуться. Пусть все это ребячество, с точки зрения «зрелых» и «сильных» людей, но ни скинуть этого, никого не ушибая, ни принять так, чтобы это не трепало, я не умею. Мы сплошь занимаемся «психологией», которая и нервы, и мозговые ткани бесплодно стирает и снашивает. Приходится считаться и с последствиями столь утомительного занятия. Нет, впрочем, худа без добра. Головань уехал веселый и едва ли скоро вспомнит о цианистом калии. Ну, пообедали мы с ним, и он уехал. А я пошел к Джону. Мне Лаврентий сказал, что он утром забегал, когда я в «Деятеле» был. Джона я нашел каким-то странным, красным, с красными глазами, расстроенным и пришибленным. Я еще ничего не знал о неожиданной смерти Забеллы-Врубель, хотя в вечерней «биржовке» уже был ее некролог. Джон думал, что я знаю и что знаю, что он с ней собирался в Лондон ехать. Странная история. Он накануне вернулся с лекций в Смоленске, получил вечером телеграмму от ее сестры, что она больна, а в ночь она умерла [Джон говорит, что у нее давно бывали по ночам легкие эпилептические припадки; по-видимому, на этой почве и случилась неожиданная катастрофа],* так что он, кажется, ее не видел. Как Сергей говорит, вдруг то, что мы так юмористически и с осуждением даже приняли, вдруг осложнилось трагическим ударом, таким особенно странным, потому что Джон к таким трагическим штукам совсем не приспособлен. В Лондон он не едет, от заказанной каюты отказался, поедет к матери в Нарву на неделю, а потом за границу другим путем, должно быть, на Берлин. Посидел я у Джона, отправился в редакцию. Тут много нашлось польских газет; надо было перечитать, и на сегодня я дал порядочный кусок «польской печати». Потом домой, стал тебе это письмо писать. Да пришел Сергей, покормил я его, потом он заснул в кресле, я прилег «на минутку», думая, что вот сейчас дальше писать буду, а проснулся без четверти 12, разбудил Сергея, сплавил его в типографию, но тотчас и сам лег, такой был сонный. Днем я теперь почему-то совсем не сплю. Дописываю письмо утром в воскресенье.

Смущает меня денежный вопрос. Из поездки я привез всего 165 р. Получил в университете 66 р. С «Молвы» получу 100 р. С «Деятеля» 400 р. И это все. Печатанье 6-го тома затянулось так, что 200 р. за него получу только в сентябре, по-видимому. Еще, стало быть, остается 66 р. в июле и 66 — или половина? в августе, не помню, из августа или сентября вычитают они за квартирный налог. Фоссу можно не платить, конечно, тогда можно 100 р. выслать Даль-Троццо. Но что мы вообще осенью будем делать? Денег-то вовсе не будет...<...>

Д. 10. Л. 127—132 об.

817

24 июня

<...> Сергей решил ехать вместе со мной в воскресенье, так что мы в понедельник утром в 5 ч. будем в Ковно и останемся до след[ующего] поезда, как ты ему писала. Его-таки отпускают на два месяца, но он все-таки предпочитает поехать в Швейцарию и в Рим для окончательных переговоров со Шредером.** Заменят его Авалов и Арефин вдвоем. <...> Я завтра прикончу с Энциклопедией и займусь своими делами, подготовлю свой отъезд, хотя боюсь, что серьезного в смысле диссертации едва ли что сделаю. Плохой я, в конце концов, работник, т. е для работы мне нужны и внешние, и, главное, внутренние такие условия, которых на заказ не получишь. <...>

А так как я эти дни писал все, а выходил только под вечер в редакцию, то ни впечатлений, ни материала для рассказа нет. Впрочем, только что заезжал ко мне Джон, на минутку, узнать адрес Голованя. Он послезавтра уезжает к матери. Рассказывал он, что ему один студент говорил, будто идет энергичная подготовка студентов к ряду политических выступлений. Возможно, что и правда, тогда будущий год горячий будет, и с жесточайшими репрессиями. Как-то Эрвин эту марку вынесет. Надо бы его повидать. А еще Джон рассказывал, что Пузино встретил, и тот ему жаловался, что читал он пробные лекции в факультете, и Эрвин их признал неудовлетворительными, а между тем он одну из них напечатал в Журн[але] Мин[истерства] народн[ого] просвещения,[588] а другую посылал проф[ессору] Ардашеву в Киев, и тот вполне согласился с его изложением. Поэтому Пузино считает себя несправедливо обиженным. Надо будет расспросить Эрвина и прочесть, что такое Пузино напечатал. Эта история, видимо, давно была, и я, наверное, ее знал, да ничего не помню. Джон хвастает, что тебе письмо написал и сегодня пошлет. Любопытно, напишет ли он про Забеллу и как.

---

* Фраза в скобках — приписка А. Е. Преснякова на полях.

** Зачеркнуто: Штильманом.

Сегодня я только на минутку сбегал в редакцию посмотреть польские газеты. Потом опять дома пописал, потом Сергей пришел, потом ушел в Юридич[еское] собрание, где трудовики обсуждают славянский вопрос. Звал меня, да я не хочу, ну их. А ведь жутко подумать, что там у славян творится. Идет огромный бой. Третий день дерутся, человек до 40 тысяч выбыло из строя; а бой все идет.[589] К чему тут разговоры? Вообще, не знаю, что бы сейчас меня заинтересовать могло. Разве работа, если бы Бог дал в нее втянуться.

Надо кончать все тут и ехать. Хорошо бы далеко, далеко поехать, без цели, так, в пространство. Да бодливой корове Бог рог не дает. Ну, прости. <...>

Д. 10. Л. 133—134 об.

818

25 июня

Нежданная смерть Забеллы всех поразила. И Голованъ, и Миша сегодня прислали мне запросы. Голованъ даже пишет: «Как понимать эту смерть, приговор судьбы или самоубийство? Положительно, говорит, не могу счесть столь неожиданного совпадения случайностью, и хоть знаю, что глупо, но в голову упрямо лезет бесформенная, беспочвенная белиберда романического свойства и навязывает себя, как возможное, а точнее, совершенно невозможное объяснение». Жаль, не написал, какое. Было бы очень, очень интересно получить образчик романического творчества Голованя.

А еще он пишет: «Теперь я понял причины тяжкого осадка в душе при отъезде. Скажи Сергею, что умираю от стыда перед ним за многое из сказанного, если не за все». Этого я не понимаю, и Сергей тоже не понимает, и, очевидно, добросовестно, потому что даже очень заинтересовался, что бы это такое было. Голованъ разумеет наши ночные разговоры, о которых я тебе писал.

Странная, в сущности, фигура — наш Голованъ. Из этого разговора вспоминаю одну фразу: «Для меня, говорит, характерно, что никогда женщина не входила органически в мою личную жизнь». Он разумеет при том не внешний, конечно, факт, а свое внутреннее, что-де так, а не иначе только и может быть. И это тот Голованъ, который восклицает, что нет ничего на свете лучше женщин. С последним я согласен, а первое на свой лад переделал бы так: «Для меня характерно, что ничто, кроме Юли, не входило органически в мою жизнь», п[отому] что так, а не иначе и могло только быть, и то только так открываются глаза мои на все, что есть в мире жизни и творчества подлинно превосходного.

Разные бывают люди.

А сегодня заходил Романов, сообщил мне, что женится, но не раньше, как через год, потому что надо же его невесте хоть гимназию кончить, теперь она в 8-й кл[асс] переходит,[590] оттого он и отказался преподавать там.

М[ожет] б[ыть], это и глупо. Но ей-Богу, хорошо, если только в самом деле искренно, а видно, что так. Только нелепо будет их положение в течение этого года. Ведь шила в мешке не утаишь, а в гимназии, конечно, это и теперь уже известно подругам. Ну, как-нибудь обойдется.

А подвел меня Романов. Я было все кончил для Энциклопедии, а он меня, по влюбленности своей, надул с Ив[аном] Грозным; придется мне самому его написать, сегодня и завтра утром.[591] Совсем мне это некстати. И Лавров надул с указателем — не доставил и сам без вести пропал. Сущая беда с ними.

В газете у Сергея опять Протопопов путает. Совсем столковались с Аваловым и Арефиным, а теперь он продолжает переговоры со Штильманом о замене Сергея. Он боится медлительности Авалова (но на то корректив есть в энергии Арефина), а я больше бы боялся бестактной развязности Штильмана, который может такого наболтать в газете, что потом и не расхлебаешь, с чем, в сущности, и Сергей согласен, да как-то апатично. Ему так, видимо, хочется уехать, что настоящей энергии, интереса к газетным делам не хватает.

Д. 10. Л. 135—136 об.

1915

819

16 мая

Бывало, Юлек, я в первые дни одиночества отдыхал тишиной. А на этот раз сразу стало скучно, скучно. <...> С дороги жду весточку, как устроились в пути, как едется вам. Повидаешься попутно с Елизаветой Николаевной. <...>

Сегодня я с утра экзаменовал на курсах, к часу кончил. Позавтракал дома и пошел в «Деятель» за кое-какими справками, потом дома — редактировал статейки, так мялся на месте; зашел Миша за «подписью». Они завтра идут. Постараюсь забежать после обеда. Завтра зайду к Шахматову и на диспут в университет. <...>

Когда статьи для «Деятеля» вовсе притупились — стал почитывать диссертацию Карсавина[591а] и совсем удивлен! После всего, что кислого говорил о ней Гримм, после того уныния, какое она навела на самого Карсавина, я глазам своим не верю: страница за страницей идет живая, очень насыщенная новыми наблюдениями талантливая и умная книга. Как бы у меня с ней не вышло того же, что случилось у нас с «Осенними скрипками». Дай Бог, но я пока, конечно, только очень маленький кусочек прочел. <...>

Д. 10. Л. 173—174 об.

820

17 мая

<...> Ночью мне сегодня почему-то не спалось, кажется, холодно было. В 5 ч[асов] я стал читать Карсавина и по-прежнему очень доволен. Меня почему-то волнует вопрос об оценке его книги, очень бы хотелось большой оценки. Потом поспал и к 9 встал. Зашел Миша попрощаться и передать мне голос на вторничное заседание Высших курсов. Там чего-то дамы комитетские суетятся, хотят в «женский университет» переименовываться. Это могло быть серьезным вопросом, но у них просто перемена вывески на более эффектную. В 11 ч[асов] отправился к Шахматову. У него много народу оказалось, в том числе и Сакулин, с которым мы как-то при встрече вместе держимся. Позавтракали там и пошли на диспут. Я только Шахматова прослушал и то не до конца, потому что Кареев в 3 ч[аса] извлек меня с диспута на заседание Комитета исторического общества. Бедный старик, все его зудит какую-нибудь большую роль сыграть! Опять толкует об историческом журнале, теперь уже от общества, об устройстве съездов историков и преподавателей истории, тоже от историч[еского] общества, лишь бы с ним во главе. И все это так неумно, беспомощно, потому что не ради дела, а ради роли. Так попусту и болтали. Были при этом Лаппо-Данилевский, Карсавин, Хилинский и я, а больше никого.

Эрвин забежал перед диспутом в университет, чтобы предупредить, что заедет сегодня вечером ко мне. Успел только шепнуть, что ему Платонов сказал, будто гр[аф] Игнатьев имеет на него, т. е. на Эрвина, виды. Эрвин этим взволновался, хотя давно готов к тому, что ему предложат товарища министра, мы с ним об этом даже говорили.* И конечно пойдет, если предложат. Оно и недурно. Тогда министерство у нас в кармане, если что понадобится. Конечно, и для дела, напр[имер], для нового университетского устава, он весьма будет полезен: кто же эти дела лучше его знает? А, м[ожет] б[ыть], еще из этого ничего и не выйдет. Посмотрим. А любопытно. <...>

Пошлю это письмо завтра утром: припишу, что Эрвин расскажет. Сейчас должен прийти.

Эрвин забегал на полчаса и полетел к гр[афу] Бобринскому по делам перестройки университетских зданий. Не могли найти другого времени, как 11 ч[асов] вечера.

Завтра он будет у министра. С[ергей] Ф[едорович], уйдя с ним сегодня из университета, с диспута, опять с ним говорил, с очевидным намерением предупредить, что надо быть осторожным и сто раз крепко подумать раньше, чем связываться с Игнатьевым. Идет напряженнейшая борьба его с Маклаковым. Они даже не здороваются при встрече и лишь издали друг другу кивают. Игра идет va-banque, и С[ергей] Ф[едорович] не предполагает выигрыша нашего графа.

На последнем приеме Государь уже сказал ему, что не любит «обывательской политики», разумея популярничанье. Спешка со всякими реформами, спешка, действительно весьма не чуждая легкомыслия в постановке дела (напр[имер], по средней школе), — дает против графа сильное оружие. Вот и неизвестно, как быть. С[ергей] Ф[едорович] настроен очень против графа, потому все, что он делает, толкует в худшую сторону, но кое-какая доля правды в его отзывах, конечно, есть. А у Эрвина такая позиция, что ему не так просто уклониться от предложения, если оно последует. К сожалению, я тут ему ничем помочь не могу, ибо сия область мне вовсе неизвестна. Ох, жаль, нет в Петербурге А. И. Гучкова. С его помощью можно бы разобраться в положении, тем более, что как-то чувствуется, что он скоро опять выплывет и будет большую роль играть. Бестолковая каша заварилась на Руси. Как-то ее расхлебаем.[592] <...>

---

* Одно слово не разобрано.

Д. 10. Л. 175—177 об.

821

18 мая

Ты увезла мой сон, дорогой Юлек. Сегодня опять я чуть не полночи не мог уснуть. Но как-то это не мешает работать с утра. Пишу в словаре статьи по алфавиту, одну за другой. <...>

Гуткино свидетельство из участка я получил. Теперь займусь припиской вольноопределяющимся. Забыл я спросить его, где это делается. <...>

Жду с огромным нетерпением известий из Батурина. И чем больше жду, тем больше страх берет: а вдруг ты и впрямь попала в невозможные условия? Вчера я Грушевскому говорил, что едем мы в усадьбу Кочубея. Он утверждает, что называется она Диканька. Если так, то это, пожалуй, вовсе не примыкает к местечку, а в стороне от него? Как доходят письма? На который день? Это — третье. <...>

Д. 10. Л. 178—179 об.

822

20 мая

<...> А вчера вышел у меня неожиданно разговор с Зоей Петровной. Я, после экзамена в институте, проехал к ним за томами Брокгауза, но Сергея дома не застал — он в «Деятель» ушел. З[оя] П[етровна] воспользовалась этим, чтобы поговорить со мной о нем. Говорила, как много он ей дал, взяв ее истрепанную, изломанную и измученную, дал ей равновесие, силу и бодрость, как это ее углубило и как эта любовь — а любит она Сергея не меньше, чем свое искусство (это она пересолила), — как эта любовь пошла на пользу искусства, обновила ее силы как артистки, удвоила охоту работать и работать. Но мучительно ей, что она видит, как Сергей, такой даровитый, «полнозвучный» и содержательный своей особой «мудростью», выдыхается, разменивается. Спросила меня, правда ли это? Я не мог отрицать. Ее мучает, что ничего он не делает, ничего не читает, даже в «В[естник] Е[вропы]» не пишет, хотя каждый месяц ему мучительно хочется написать, но он только раздражается, когда она ему о сроке напоминает, говорит, что «подталкивания» ему только мешают... Ду-

мает она, что тут много значит, что она его от нас оторвала, что тормозит его поминутно мелочами и создает кругом него суету, что нет у него своего неприкосновенного угла, где бы он мог подумать (он ей сам говаривал, что она часто мешает ему думать, сосредоточиться), и готова сделать ряд усилий, чтобы он немного «отошел» от нее, дать ему возможность чаще оставаться одному и чаще с нами бывать, но думает и боится, что дело не только в этом, а еще в пугающей мысли, что Сергей — она не знает, почему — не в силах ничему цельно и без оглядки отдаться, что его большие и яркие увлечения какой-ниб[удь] темой, идеей, настроением отмечаются какой-то черточкой, дальше которой не идут, через которую переступить не могут, на которой прямо срываются. По-моему, все это очень метко, и я отвечал ей, что, конечно, надо помочь Сергею иметь и свое время, и вынашивать свои мысли, и набираться свежих впечатлений, но не мог не сказать ей и того, что она преувеличивает, что все это на свой счет берет, так как все эти черты Сергея, которые ее тревожат, мне давно, давно знакомы, что был момент, когда и сам Сергей, и я думали, что вот-вот назревает перелом к возможности начала цельной, своей его работы, но вот тут-то и пошла история с ней, причем, по-моему, к его большому увлечению примешивалось чувство освобождения от какой-то ответственности перед самим собой и от тревоги, что мечта о такой работе все равно так и останется мечтой. Она подхватила, что вот это-то ее и мучает, и пугает, что она думает и даже ему говорила, что он только «сваливает» на то, что ею занят, ею поглощен, только «сваливает» — и эта мысль ее ужасает, так как она ужасно боится разочароваться в Сергее. А хотелось ей, чтобы ее любовь и ему то же дала, что ей, — расцвет настоящего личного творчества. Мне, кажется, удалось ей объяснить, что у Сергея для настоящей работы — не заказной — не хватает не только времени, но и техники, навыков, даже подготовки, что все он берет большой даровитостью, и потому так трудно ему что-нибудь покрупнее и законченнее сделать. А она уверяет, что и лентяй он большой, любит dolce far niente.* В конце концов она прямо просила меня, как сумею, помочь Сергею вернуться к его личным интересам, зажить ими снова, потому что мне он очень верит. Надо бы как-нибудь потолковать с Сергеем, конечно, без намека на такой разговор с Зоей. Напиши, что ты обо всем этом думаешь.

А во время экзамена С[ергей] Ф[едорович] предложил мне билет на «Смерть Пазухина». Я решил пустить в трубу Высшие курсы и пойти. Решил и сделать попытку захватить с собой к Сергею после спектакля Лужского и Москвина. З[оя] П[етровна] послала телеграмму Головань о вине, но когда я от нее вернулся домой, у нас появился Головань с вещами и водворился у Гутика. Он целый день был в хлопотах, вечером у Дризена, где Немирович докладывал о новых постановках Худ[ожественного] театра. Судя по рассказу Голованя, ничего интересного он не сообщил. Оттуда Головань после нас приехал к Сергею. А я перед спектаклем зашел в уборные к Москвину и Лужскому. Оба оказались на этот вечер занятыми в приятельской компании, но Лужский сразу вспомнил, что собственно уже обещал этот вторник З[ое] П[етровне] (так мне и она говорила), а после спектакля, когда мы зашли за Лужским, оказалось, что и Москвин отпросился с нами ехать. Мы — это значит Эрвин и я; ведь был 4-й абонемент, т. е. Эрвинов. Была в том театре, конечно, и Недзвецкая, но и весь «семинарий» Э[рвина] Д[авидови]ча с Высших курсов.

---

* Сладкое ничегонеделанье (*итал.*).

А спектакль был превосходный, еще лучше, чем в нашем абонементе. Жаль, что тебя не было со мной. Москвин был как-то особенно в ударе, играл, как сам выразился, «с озорством», т. е. очень живо и много ярче, выпуклее, чем в первый раз. Это всех, как у них бывает, заразило, и спектакль так прошел, что минутами аж дух захватывало от удовольствия. Эрвин тоже совсем в азарт пришел от спектакля. В таком настроении поехали к Сергею; тут оказалось немного коньяку и 2 бут[ылки] красного вина, взятые взаймы у кого-то в редакции (для отдачи Головань привезет). Засиделись почти до 4-х часов, т. е. к 4 были дома. Отличная ночь вышла. Москвин был разговорчив, Лужский как всегда. <...>

Скажи Але, что Шевяков и Тур указали мне для него книги: 1) определитель насекомых; 2) руководство к воспитанию насекомых из личинок и 3) о жизни насекомых. Постараюсь их привезти.

А на Высш[их] курсах решили перекреститься в Петроградский женск[ий] университет всеми голосами против 2-х (Вульфиуса и Хилинского). Глупо как-то это! Очень «по-дамски». <...>

Д. 10. Л. 180—183 об.

823

22 мая

<...> Странный и неприятный вышел вечер третьего дня в Педагогическом институте. Это собиралась «государственная комиссия» подводить итоги экзаменам. Как ни странно, у С[ергея] Ф[едоровича] оказались документы о них запущенными и перепутанными, так что мы с ним возились до 12 ч. ночи, еле разобрались и исправили несколько крупных ошибок, вроде того, что «разыскали» двух-трех слушательниц, которые должны диплом получить, а значились у С[ергея] Ф[едоровича] еще не кончившими экзамены. С[ергей] Ф[едорович] нервничал, рассердился на меня, что я ему заявил, что комиссия сама виновата, допустив слушательниц держать латынь после государственных экзаменов; и неизвестно, что делать: ведь они государственные сдали, а провалились на одном полукурсовом, без которого не следовало бы и допускать к государственным. По счастью, это сегодня уладилось. Слушательницы, посланные С[ергеем] Ф[едоровичем] в министерство, принесли известие, что министерство готово разрешить нам устройство осенью передсдачи латинского экзамена задним числом, после государственных. Столько проявилось неряшества у С[ергея] Ф[едоровича], что приходится думать, что ему совсем дела надоели, надоело и директорство. Да и усталый он до чертиков. Какие-то у них странные отношения с Васильевым, который, хоть он декан и секретарь государственной комиссии, а очень мало С[ергею] Ф[едоровичу] помогал.

Ну, а вчера, с утра у меня какая-то бестолочь пошла. Я целый день проболтался в сюртуке с утра — дома. <...> Чуточку позанялся — а там понадобилось навести справки у Сергея. Я кстати ему свез на просмотр первую корректуру моего учебника.[593] У них все идет обсуждение, как ехать в Италию. З[оя] П[етровна] тянет на северный путь, Сергей — через Балканы. Приехал к ним какой-то русский (едва ли не еврей) — доктор из Парижа, который много лет там живет, с трудом говорит по-русски (думает по-французски), а о России спрашивает так наивно, точно никогда в ней и не жил.

А после обеда, к 7 ч., пришли 2 слушательницы — поговорить о «дипломных» сочинениях, потом увезли меня в институт на вечеринку кончивших курс. Были Сакулин, Васильев, Каринский, Хилинский, С[ергей] Ф[едорович] и я, Вульфиус еще. Выбрался я в первом только часу. Было не скучно слушать их болтовню и музыку Васильева. Так весь день прахом пошел. Вульфиус в полном восторге от диссертации Карсавина, даже волнуется, говоря о ней. <...>

А приходят ли газеты? Сегодня сообщение о сдаче Перемышля. Его пришлось бросить. Сообщение спокойное, но видно, что немцы напирают очень большой силой. Там, на Сапежишках, решительный момент борьбы. А с наступлением немцев там связана казнь нашего офицера Генерального штаба Бенсона, который был помощником военного агента в Париже и в Швейцарии...

Сейчас поеду на ВЖК, где у меня маленький экзамен, зайду в университет, потом в канцелярию попечителя по вопросу о латинском экзамене Гутика. Другие его поручения постараюсь исполнить.

Сегодня ясный солнечный день. Совсем лето, но утро прохладное. Зато воздух превосходный, совсем не петербургский. <...>

Д. 10. Л. 184—186 об.

824

23 мая

Вчера, дорогой Юлек, около 9 час. веч[ера] Сергей позвонил мне из редакции, что идет поесть к Палкину, потому что З[оя] П[етровна] куда-то уехала, куда ему незачем ехать, и чтобы я приехал с ним поболтать. Сидели мы там за редиской и селянкой до 12 ч. Разговор вышел крупный. Начал-то я о том, что вижу, как ему, по временам, скучно, потом, что для З[ои] П[етровны] он нужен не как «прилагательное» к ней, а как «существительное», на которое можно опереться, которое живет своей силой и своим, а не ее содержанием. <...> Будь около нее творческая работа, хотя бы ей и чуждая по содержанию, это было бы менее необходимо, по свойствам натуры З[ои] П[етровны], которая должна чувствовать около себя содержательную силу. Словом, что уже не для него только, а для нее и для будущего их союза надо ему в себя вернуться, быть самим собой и что-то из своего личного содержания осуществлять — не только в содержательных лекциях, которые так выдыхаются, но и в книгах или хоть статьях. Надо свою ценность растить и развертывать, как она свою, а не истрачивать впустую и понижать до опустошения. <...> Вот недавно он как ребенок разогорчен был тем, что очень ему захотелось писать о М. Горьком («Детство» и «По Руси»), а время так растрепалось, что и не удалось. Тоскует он по временам о работе, о чтении, о своих впечатлениях. И З[оя] П[етровна] это понимает. Недавно спросила его, что он в университете читать будет? «Тургенева». «Значит, — говорит она, — на лето надо Тургенева с собой взять». «Зачем? Я его знаю». Она возмутилась: «Это, — говорит, — все равно, как если бы я стала петь романс, который пять лет тому назад пела, не освежив его, это пусто и невозможно». Она говорит, что очень ценна «мудрость» Сергея, та, которую он вкладывает в речь о писателе, ища человеческого содержания в его творчестве и больших вопросов, а с этим нельзя неряшничать и шарлатанить по небрежности. Надо жить этим и творить, работая. Сергей и чувствует, что на карту поставлена его личная ценность в ее глазах. Трогательно и немного тяжко (м[ожет] быть, даже не «немного») звучит у него мысль, что вот так вышло, что та точка, к которой все его раньше вело — и мы в том числе, оказывается такой «закономерной», что от нее никак не уйдешь. Подошел он к З[ое] П[етровне], чтобы вырвать ее из ее мирка, который ее принижал и калечил, как человек из другого мира, где больше настоящих ценностей нужных и для ее искусства, и для лучшей личной жизни, а теперь надо платить по такому векселю. <...> Он чувствует себя перед необходимостью влезть на ступеньку, перед которой давно стоит, не уверен, что его на это хватит, мучительно ежится, а главное, чувствует себя глубоко усталым, просто физиологически, в мозге и нервах. <...> Я ему на это и говорю, что тут единственная возможная гигиена и лечение не отдых только, а питание — книгой, работой, возвратом к своим мыслям и интересам. Хоть бы на первый раз, за лето подготовить, освежить курс университетский о Тургеневе, и то уже много бы дало. Его натуру, анархическую и личную — смущает и почти угнетает, что все эти вопросы, которые он привык трактовать как касающиеся только его одного, оказываются обязательством перед З[оей] П[етровной] и роковой неизбежностью, чтобы не только себя, но и ее, которую он на свою душу взял, не расшибить. <...>

А сверх всего этого, его смущает, что душа и все мысли захвачены у него, конечно, больше, чем у кого из нас, войной, особенно перед жуткой перспективой сдачи Перемышля и ее последствий. Чем эти последствия будут тяжелее, тем меньше для Сергея возможно[стей] уехать за границу, тем сильнее нарастающая потребность впутаться как-нибудь ближе в работу для этого дела, поехать туда, на места. Подходит он к мысли, что возможно расстаться, самому этим заняться, а З[ою] П[етровну] одну в Италию пустить. <...>

А у меня вчера был небольшой экзамен на курсах. Потом я получил в университете жалованье (полностью; квартирный налог вычтут из июньских). Потом дома был. Меня Сергей и «Деятель» еще подвели, навязав лишнюю и трудную статью («Масонство»), с которой я вчера целый день возился и сегодня провожусь. Трудно определить, когда же я выеду.

А еще из Москвы прислали корректуру учебника. Сергей ее прочел очень внимательно и дал ряд ценных поправок. Он очень доволен моим текстом, даже удивляется, что я мог так написать. Дай Бог. <...>

Д. 10. Л. 187—190 об.

825

23 же мая

<...> Работаю я не так быстро, как бывало, потому что «серое мозговое вещество» весьма истрепано и от времени до времени бастует. <...>

А Саня тебе не совсем еще надоел? Такой серый, вялый, опустившийся, нетерпеливый, измятый. Ну, да Бог с ним, все равно. Сегодня целый день пишу, пишу. А забежал, по счастью на 10 минут, Барсков, чтобы умолять меня прийти завтра в его заседание, а то боится не справиться, особенно с Ястребовым. И сам Ястребов, и Заозерский о том же хлопочут. Придется пойти. И отчего это я перед чужими точно и впрямь для них не гасну, а только перед тобой? Не по плечу ты мне. Вот еще С[ергей] Ф[едорович] обо мне говорит, что я «студень» и «мягкотелый» — это мне педагогички насплетничали. А право же, у меня темперамента хватит на десяток его друзей, таких как Васенко и Рождественский. Я избаловал его своей уступчивостью ему. А он не понимает, что это отчасти потому, что мне его жалко, отчасти по брезгливости, мешающей торговаться. А поэтому он будто бы и говорит, что, если бы Господь Бог его спросил, кто есть хороший человек на земле, он бы сказал, что, пожалуй, лучше А[лександра] Е[вгеньевича] не сыщешь. Очень любезно, но и то и другое так наивно и безвкусно, что едва ли в стиле С[ергея] Ф[едоровича]. <...>

Д. 10. Л. 191—192 об.

826

24 мая

<...> Заседания барсковские — у Самсонова, рядом с Сергеем. Я туда и зашел на минутку. Гляжу, оба как в воду опущенные. З[оя] П[етровна] говорит, что решили в Италию не ехать, Сергей-де не хочет, предлагает ей одной ехать, а сама чуть не плачет. Говорит, что послали тебе телеграмму, нет ли для них чего в Батурине. Не понимаю, что из этого выйдет. З[оя] П[етровна] — целое лето без пения (без аккомпанемента, да и без инструмента)! Это ей убийственно. Что-то несообразно. Сергей сегодня в редакцию не пошел, поехали они в Лигово. <...>

Заходил Ив[ан] Ив[анович] вчера. Говорит, будто Гревс и Кареев «рвут и мечут» против диссертации Карсавина — а как думаешь, за что? За то, что там много «неприличных» цитат! Если правда (а ведь возможно!), то поздравляю их с бельмом на глазу. Вокруг этой диссертации много еще разыграется нелепого и неприятного. Надо бы с Эрвином поговорить. А он все занят. Сегодня думал заехать, да предупредил, что не может. <...>

Голований ушел к Джону. А я статью дописывал. Эх, много еще этих статей... А придется еще порядочно времени и на Гревса потратить. Сегодня я до конца заседания сбежал, а они — Барсков, Ястребов, Бутенко, Хилинский потом ко мне пришли, чтобы условиться, когда следующее заседание. При таком натиске трудно отбояриться. И Гуткина приписка к воинской повинности еще не сделана, и о латинском экзамене нужны справки, и в министерстве хлопоты. Очевидно, я раньше 10 июня не выберусь отсюда, да еще в Ждамерове трудно будет не остановиться хоть на сутки. Так все подошло сразу.

Сегодня дождит, сыро. Сугубо мутно. Дедушка киснет, скучает, в Ждамерово ему явно не хочется, и он очень поддерживает, что мне нельзя торопиться. Ну, да при первой возможности уеду. <...> А я еще мечтал и в Акад[емии] наук и в Публичн[ой] биб[лиотеке] позаняться. Нет уж, Бог с ними. Всякая охота пропала. Только бы развязаться и уехать. <...>

Д. 10. Л. 195—196 об.

827

25 мая

<...> Рассчитывал я на целый день спокойной работы, а Сазонов предупредил по телефону, что он с Половцевым придут ко мне завтракать в 12 ч., просил и Сергея вызвать. Я послал Сергею записку, так как телефонная трубка была конечно снята. Случайно подошел и Романов. Вуенке* пришлось всех завтраком кормить. Около двух разошлись, а пришел проезжий из Москвы И. Н. Бороздин. Этот сообщил мне, что в Москве собираются издавать «Историю русской культуры» под ред[акцией] Любавского, а Киевскую Русь поручить мне. Я бы, пожалуй, написал, потому что буду все равно готовить, а затем читать курс по Киевской Руси. Посмотрим, обратятся ли в самом деле.

Половцев говорит, что жертвует профессурой в Одесском университете, главным образом потому, что в Одессе его жене невозможно работать. <...> Половцев очень занят работой над новым планом средней школы, и, конечно, тут у него много интересного. <...>

Д. 10. Л. 197—198

828

26 мая / 27 мая

Спасибо, дорогой Юлек, за письма. Деткам спасибо за открытки. Дом выглядит очень симпатично. Только это очевидная постройка 19-го века и ничего не имеет общего ни с Мазепой, ни с Кочубеем. Это дом, построенный в эпоху Александра I, так Головань определяет. К тому же Матрена (Мария) никогда не жила у отца в Батурине, так как у Кочубея-отца тут и усадьбы не было, а «увез» ее Мазепа совсем не из усадьбы (у Кочубея — Диканька, Полтавской губ[ернии]), а сама она к нему ушла. Кочубея пытали и казнили возле Киева, у Белой церкви. Так рассыпается вся батуринская легенда. <...>

В седьмом часу пришли кончившие педагогички поговорить о «дипломных» сочинениях и книг попросить. Привезли мне из Лесного большой пук расцветшей черемухи, который мы вставили в кувшин с водой. Одной из них я дал рекомендательное письмо к

---

* Тетке (от польск. wujenka). Речь о С. М. Якубовской.

В. М. Нечаеву, авось он ей уроки даст в городской школе. Нечаев назначен попечителем такой 4-хкл[ассной] школы. Это своеобразная черта городского управления — ведать школьное дело через незнакомых с ним людей. <...>

Вечером сегодня зайдет Эрвин, зайдет и Ястребов. Эрвин хочет узнать, что творится с программами по средней истории, ввиду учебника, который он все-таки рассчитывает написать. Я с ним серьезно поговорю о том, чтобы он как ректор затребовал из министерства список коммерческих училищ, из которых ученики имеют право поступать в университет, сдав экзамен по латинскому языку. М[ожет] б[ыть], это поможет. <...>

Д. 10. Л. 199—200 об.

829

29 мая

<...> Писание мое для «Деятеля» — идет успешно, но еще много работы. Выедем отсюда только десятого, так как еще и для Комиссии есть работа, и корректуры московские, и беготня по министерствам, и программы для средней школы, и то и се, — невозможно! Надеюсь у Нади застрять не больше суток. Я еще не подсчитывал дней и часов по путеводителю; надо ведь в Конотоп в будни попасть. <...>

Настроение удрученное делами на фронте. Головань вовсе скис. А я нет. Жду резкого поворота и чую его неизбежность. Упруга наша сила, только бы снарядов и оружия побольше было, а то перевес начисто наш. Так и в армии говорят. Хозяева тыла очень уж плохи, это правда, но из-за них не проигрывать же великого дела. У меня за пару дней настоящей работы сила рабочая проснулась и бодрость воскресла, а с нею все ярче и то, чем жива душа моя, моя вера, моя любовь, моя Юля.

Д. 10. Л. 201—202 об.

830

30 мая

<...> Хотелось бы получить твой отклик на мои рассказы о беседах с Сергеем и с З[оей] П[етровной] раньше, чем это письмо до тебя дойдет. Что-то ты на все это скажешь? Мудрая ты моя. Конечно, З[оя] П[етровна] права, что и Сергей во своему «мудрый», только в нем черт сидит и всю ему мудрость кверху ногами ставит, а часто и в корешках портит. Одолеет ли он позицию, в которую попал? Надо бы одолеть. А уже то, что он так боится ступеньки, на которую лезть приходится, большие внушает опасения. По существу, большие все это дела душевные, хоть Достоевскому в них разбираться.

Не знаю, в каком положении оставлю дело о Выборгск[ом] училище. Были мы дважды с Федоровым в М[инистер]стве торговли и промышленности. Сегодня второй раз. Говорили с Хренниковым, я говорил с Малининым, сегодня были у Галинского (так, кажется его фамилия; мы его у Н[иколая] Март[ыновича] встречали) — а я еще говорил с секретарем Лагорио. Но дело в том, что Лагорио хочет лично переговорить с гр. Игнатьевым, так как вопрос весь для них представляется общим, а не о том или другом отдельном училище. Я всем им объяснял, как нам всем важно использовать это право теперь же. Уверяют, что так и будет, но что закончить делопроизводство никак нельзя раньше 2—3-х недель. Ну, а сидеть до июля я не могу. Сделаю, что могу, а потом будем ждать известий. Постараюсь обеспечить себе получение новостей от Фурсенка и Гливенка. Эрвин Дав[идович] обещает наблюдать за делом. Ну, что я еще могу сделать? Не помню, писал ли я тебе, что «Деятеля» больше не существует, а есть акционерное общество «Муравей», в кот[ором] главные акционеры Карбасников и Девриен. <...> Для нас от всего этого ничего не меняется.

<...> Вчера вечером мы с Голованем и Джоном отправились в Павловск. После жаркого дня стало дождить, нависли облака, было тяжко и парно. А все-таки было приятно и в вагоне проехаться, и по парку, хоть кропил дождик, побродить. Музыка была французская. «Море» Дебюсси — прескучное, так что мы с его третьей части в парк ушли. Джон остался на Царскосельском вокзале поесть, а мы с Голованем поехали домой и спать легли. Я как-то мало тебе про Голованя пишу. Как-то нечего про него писать. Все такой же бесконечно милый, совсем свой, как бы родной по крови, по обиходу дома. С ним можно бы уютно всегда вместе жить. Только лишняя теплая нотка добавляется. Теперь он несколько отошел от большой подавленности галицийскими делами, накупил каких-то новых карт. Карты, указанные Гутиком и кое-какие новые, привезу. У нас тут интересные политические [события] разыгрываются, крупного калибра. Промышленный съезд решил обратиться к Государю с цельным заявлением о состоянии страны. А в Москве толпа стала гудеть и шуметь. Там теперь с 10 ч. веч[ера] до 5 утра нельзя на улицу выходить под страхом большого штрафа. Ну, да это вы из газет знаете. <...>

Д. 10. Л. 203 об.—205 об.

831

2 июня

Дорогой Юлек, двое суток не писал я тебе. Все писал и писал для «Муравья». Это писание приводит под конец в состояние такого оцепенения, что даже тебе письмо написать невозможно. Зато теперь уже немножко осталось. А там корректуры московские и летописные, и дела по городу, библиотека университетская etc. <...>

Адриановское интермеццо переходит в прелюдию драмы. Что[-то] очень напряглось между ними, вот-вот треснет. З[оя] П[етровна] вчера прибыла ко мне вся взбудораженная, в слезах. Чего-то главного она мне не сказала, очевидно. Но и того, что сказала, почти достаточно. Навинтив себя на пожертвовании своих интересов Сергеевым, она, как только выяснилось, что Батурин не миф, а близкая реальность, вся содрогнулась и затосковала, так ясно-ясно ей стало, что без Италии и Ванцы ей нельзя. Теперь рада бы одна уехать, гнет на то, что и Сергею лучше одному побыть, благо он что-то в этом роде сказал. Его она посылает на войну куда-ниб[удь]. А он твердит, что пока ему ни одиночества, ни поездки на театр военных действий не надо. Твердит в то же время, что жаждет поработать, писать книгу о Достоевском, а З[оя] П[етровна], видимо, этому не очень верит, потому что говорит так: если это в самом деле, то ему в Батурине всего лучше будет. А главное — между ними довольно резкие трения по тому поводу, что Сергей возмущается Зоиным равнодушием к войне и России, что ей интереснее, что творится даже в этом отношении за границей, в Париже и Италии; его обижает (прямо обижает), что, напр[имер], Москва ее вовсе не интересует (он и мне об этом говорил), готов самое ее искусство признать пустоцветом, раз оно лишено национальных корней, возмущается, что у нее может быть ее пение и работа у Ванцы так сильно на уме, когда его так болезненно сильно захватил переживаемый Россией опасный и напряженный момент. <...>

Сергей глубоко и, вероятно, безнадежно неправ и в своих национальных настроениях, т. е. не в них самих, а в их нетерпимости, и в том, что он против Зоина «искусства» говорит, но ведь не в этом дело, а в его состоянии, которое все эти настроения и суждения обостряет, и в его физическом надломе, который очень меня беспокоит. Вот, Юлек, какие дела.

Что еще? Третьего дня были у меня Любомиров и Чернов, пришел и Сергей, долго сидел с нами. Вчера меня в 7 ч. вытребовал Барсков в свою комиссию о программах, а после заседания, в 12 ч., Барсков, Ястребов, Фурсенко увлекли меня ужинать к Альберу. Ели окрошку и ботвинью с осетриной. Сегодня вечером опять комиссия и надо будет пойти, потому что на очереди русская история. <...>

Д. 10. Л. 206—207 об.

832

3 июня

Умер В[еликий] к[нязь] Константин Константинович. Завтра поеду в Педагогический институт на панихиду. Трудно, дорогой Юлек, угадать, какие следствия эта смерть будет иметь для института. Все положение должно, по-видимому, измениться. Трудно представить себе Сергея Федоровича директором без К. Р.

Что до Академии наук, то, по-моему, имеется естественный кандидат в ее президенты: В[еликий] кн[язь] Николай Михайлович — ведь он доктор русской истории Московского университета и председатель совета Имп[ераторского] Исторического общества.

Вчера я с 8 утра и до 6 веч[ера] писал и писал с перерывом только на обед и завтрак. Зато, очевидно, успею все дела свои прилично закончить до отъезда. Вечером был в заседании Барсковской комиссии и устроил там маленький скандал из-за того, что Барсков докладывает комиссии совсем непродуманные и неподготовленные проекты программ, что это не серьезно и попусту время теряем. Попрощался и ушел к Адриановым. Что у них творится, не разберу, но плохое что-то. З[оя] П[етровна] явно с отвращением относится к мысли о поездке в Батурин, да и вообще куда-либо, кроме Италии. Скулит, что как же так жить, что даже негде принять 2—3 знакомых, которые хотели приехать погостить. Хоть бы на том кончилось, что ты ничего не найдешь, и баста! Право, это бы всего лучше. А у Сергея тон с нею жесткий, сухой какой-то, хотя нежничают они по-прежнему. Головань, конечно, предсказывает «конец романа» и т. д. Головань тоже вчера был у Сергея. Мы вместе и домой поехали.

Сегодня я утром возился с московскими корректурами: после завтрака съездил в университетскую библиотеку для нескольких справок. Видел Э[рвина] Д[авидовича], сговорились, что он завтра будет у нас. А Головань в пятницу уезжает в Финляндию. Это теперь не так просто. Для проезда через финляндскую границу требуется особое свидетельство из полиции. Не знаю, где же Головань его возьмет, должно быть в Царском. Сегодня он отправился с фотографическим аппаратом в Публичную библиотеку, а к обеду хотел прийти домой. Он купил мне новые карты всего фронта, такие подробные, что и Шалшук и Домброва имеются.

Я только что вернулся из «Муравья» (что за странное название!). Сдал большую часть статей. Деньги получу в понедельник, когда остальные статьи доставлю. Мои сотрудники очень задерживают. <...>

Д. 10. Л. 208—209 об.

833

5 июня*

<...> Если тебе удалось устроить Адриановым дачу, они, должно быть, поспешат выехать (поскольку билеты достанут) и появятся в Конотопе (думаю, что не на радость ни себе, ни нам), пожалуй, раньше меня. <...>

Вчера я был на панихиде по В[еликому] кн[язю] К[онстантину] К[онстантиновичу] в Педагогическом институте. С[ергея] Фед[оровича] вызвали из Череповецкого уезда. Не знаю, где он там был. Я только на панихиде был и ушел, ни с кем поговорить не удалось, да теперь едва ли уже какие-нибудь определенные вещи можно узнать о том, как же дальше сложатся судьбы института. Вечером вчера собрались у меня — Ив[ан] Ив[анович], Эрвин, Головань и я. Головань привез из Царского остатки монтраше. Засиделись за ним и кофе до 5 почти ч[асов] утра. Мы с Э[рвином] Д[авидовичем] решили обстоятельно написать в Москву «Братьям Салаевым», т. е. Клочкову и Гандеру, о том, как быть с учебниками ввиду изменения программ средней школы. Ну, а потом толковали о Москве, о войне, о разной «политике». <...>

Вчера мы с дедушкой утром ездили получать пенсию. Дедушка 2 дня готовился к этому выезду: целые дни ходил в сапогах и удивлял нас твердой походкой. Меня он еще тем удивил, как он уверенно и легко поднимается на лестницу: сразу, без передышки, и ровным шагом со ступеньки на ступеньку. <...>

Д. 10. Л. 212—213 об.

---

* Опущено еще одно письмо от 5 июня (Д. 10. Л. 210—211).

834

6 июня

<...> Головань сегодня-таки уехал. Он опять заволновался по поводу Публичной библиотеки. Я просил Эрвина через бар[она] Нольде похлопотать у директора Публичн[ой] библиотеки Кобеко. Сегодня говорил с Бычковым и Чечулиным. Общее впечатление почти безнадежное; кажется, там уже намечен кто-то из своих. Сейчас напишу Головaню, чтобы он написал письмо Сакетти, который заменит Чечулина в заведовании отделом художеств в Публичной библиотеке, и попросился к нему в помощники. <...>

Из Москвы мне еще работу подкинули — корректуру второй статьи о летописях; сегодня отправил ее, сделав утром, отправил и предложение учебника. А с корректурами для Скороходова и с «Муравьем», бывшим «Деятелем», не совсем еще разделался.<...>

А Маклакова-таки убрали, слава Богу. Головань, положим, сострил по этому поводу, что недаром назначают министром внутренних дел управляющего государственным конезаводством, но все-таки, каков бы ни был кн. Щербатов, приятно избавиться от такого скандального министра, как Маклаков. Это наша grande nouvelle нынешнего дня. Ну, пока до свидания, хотя, увы, еще не скорого. Прости, моя дорогая, моя жизнь, моя любовь, моя Юля, если что кисло написал. Люблю, люблю бесконечно, как мальчик влюбленный, право.

Твой Саня.

Д. 10. Л. 214—215

835

7 июня

<...> С делами Голованя очень плохо. Эрвин говорил с Нольде, и тот сказал почти то же, что Чечулин, т. е. что место будет замещено повышением кого-либо из младших служащих, а не со стороны. Все это я Головаю написал и все-таки советовал послать письмо Сакетти. <...>

Дедушка так заинтересован тем, что слыхать по поводу отставки Маклакова, что даже просил меня вернуться пораньше, чтобы ему рассказать, что услышу. Я ему советовал меня не ждать, потерпеть до утра, и действительно вернулся чуть к 3 часам. Много Сергей и Эрвин рассказывали интересного. По-видимому, отставка Маклакова была для всех — в Думе, в Госуд[арственном] совете и для него самого — совсем неожиданной. А привели к тому разные причины. Встревожило тяжелое положение на войне — и стали внимательнее к настояниям «ставки» о необходимости убрать Маклакова. Встревожили московские события, в которых московский генерал-губернатор Сумароков-Юсупов-Эльстон, близкий человек во дворце, обвиняет Министерство внутренних дел и полицию: московский обер-полицмейстер Андреянов сменен, а за ним — и Маклаков. Прибавилось и то, что съезд промышленников, московский съезд земского союза, городские Думы Москвы и Петербурга — настаивали на необходимости созыва Государственной Думы; а в самой Госуд[арственной] Думе съезжается все больше членов, собираются в Таврическом дворце на частные совещания, обсуждают тяжелое положение страны и неудовлетворительность правительственной работы, а Пуришкевич привез туда горькие и резкие жалобы армии на то, что не умеют сорганизовать доставку ей необходимого оружия и довольствия; Родзянко все это обсуждал с Горемыкиным, докладывал Государю. Говорят, что Горемыкин поддержал настояния на созыве Думы и удалении Маклакова, подав прошение об отставке, на случай, если Государь не согласится. Государь 3—4 дня обдумывал, потом вернул Горемыкину прошение об отставке и подписал рескрипт об отставке Маклакова. Как-то ничего не говорят о том, откуда взялся новый министр внутренних дел, кн. Щербатов. Скорее всего, кажется, его изобрели при дворе, чтобы не назначать кандидата, предложенного председателем Государственн[ой] Думы (Родзянкой) — кн. Волконского, товарища председателя Думы. Такое назначение было бы неприятно верхам, так как напоминало бы нечто слишком конституционное, вроде «парламентаризма» на английский манер, когда министров берут из парламента. Под тяжкими испытаниями войны просыпается русская земля, медленно, но крепко потягивается. Все это как-никак серьезные признаки политического движения. Поживем — увидим, насколько оно глубоко и что плодотворного сумеет принести для России, или, как бывает у нас, остановится на слабом полупути. Интересно очень жить в наше время, но и жутко, и грустно. Грустно разошлись мы вчера, в каком-то настроении, что мы-то, принимая все это очень к сердцу, только сторонние зрители, которые глядят на все из своей маленькой частной норки. Хорошо тому, у кого в своей норе, в сердце своем есть что-то спасающее от подавленности, свой родимый источник любви к жизни, к людям, любви и веры в них, в жизнь и людей, — есть такая бесконечно любимая и такая чудная Юля. А много ли таких, незаслуженно одаренных счастьем, полных любовью, радостью и болью, жизнью и жаждой жизни, верой глубокой — сердца, что бьется постоянно и полно дорогим именем? Опять протолковали до поздней ночи или до утра. Мне это ничего, но Сергей такой усталый, надорванный, да и Эрвин тоже, хоть и напряжен он, как струна натянутая. От Сергея мы с ним пешком пошли. По дороге он развивал мне широкий план постройки нового университетского здания, к юбилею 1919 года. Старое здание — отдать под национально-историч[еский] музей в память нынешней войны, а выстроить новое — рядом, очистив соседние здания, в стиле empire, широкое и прекрасное. План очень интересный, и он работает над проведением его официально. Если бы удалось, Эрвин соорудил бы себе прямо историческую память. Как-то не верится, чтобы это прошло, хотя у него все очень ловко обдумано и с критической стороны. О личных делах он не успел ничего сообщить. Очень тебе кланяется; обещает при малейшей возможности приехать. <...>

Д. 10. Л. 216—218 об.

836

8 июня

<...> Софья Мих[айловна] получила открытку от Стася — и счастлива. Он возле Россиен — в походе и, очевидно, в боях. <...>

Третьего дня вечером, точнее, вчера на рассвете, я забыл у Адр[иановых] свой портфель и утром заезжал за ним. Застал их в огорчении, что по твоей телеграмме видно — ускользнула дачка, кот[орую] ты так хвалила. Думают выехать 12-го — так что приедут накануне моего приезда. Я огорчил тебя несочувствием их плану батуринскому. Дело не только в том, что суету они и напряжение внесут в душевную атмосферу усадьбы Кочубея — а вот еще З[оя] П[етровна] вчера толковала, не без удовольствия, что в Батурине, по-видимому, много знакомств придется завязать и т. д. <...> Главное, что тебе это, пожалуй, и не будет скучно, даже, м[ожет] б[ыть], лучше будет отчасти, а я — такой приеду усталый и силами, и душой, что заранее чувствую себя обузой, сторонним элементом, который клином торчит. Так хотелось бы тихого, сосредоточенного уюта, какой у нас бывал в хорошие времена, и как-то мечтается о их возврате, хоть немного, хоть ненадолго. А то лучше даже одному побыть, чем так. Вот чего я боюсь. Чувствую, что несносно, эгоистично это мелкое брюзжанье, но я никогда, кажется, не излечусь от привычки целой жизни быть с тобой таким, какой я сам внутри себя, и все высказывать. Сто раз думал, что надо сдержать в себе все, что тебе только всякое удовольствие портит, да не умею. А они меня и тут истрепали своими конфиденциями. З[оя] П[етровна] вот и вчера очень подчеркнула, какой Гримм стал бодрый и хороший, какой в нем подъем чувствуется, а когда я с этим связал его широкий план постройки нового университета, она и говорит Сергею: «Видишь, как бывает?». Чем и его, и меня весьма смутила. Ей хотелось бы быть для Сергея тем, что ты для меня, источником любви, и веры, и творчества, чтобы при первом порыве энергии сердце пело любимым именем. Но для этого надо быть тобой, а м[ожет] б[ыть], и любить, как я. <...> Но и чует она, что и он до дна отдаться не умеет — так ей кажется — ни любви, ни творчеству. Лучше не думать, не говорить об этом, а то чуешь себя камнем у кого-то на шее. А тебе эти мои наболевшие точки кажутся праздной фантазией, сентиментальным эгоизмом — не знаю, чем? Может быть, и так — но не моя вина, что я жил, живу и буду жить тобой и только тобой, моя жизнь, моя боль, мое все в тебе и от тебя.

Д. 10. Л. 219—220 об.

837

9 июня

Есть свежие вести из Домбровы, дорогой Юлек. <...> Хотя немцы в Сапежишках и Гудэлэ, т. е. верстах в 12—15 от Домбровы, но, видимо, укрепившись на этой линии, они сделали ее заслоном от Ковно и вовсе не двигаются в сторону Ковно, а все усилия направили к северу, в Коссиенский уезд и на Шавли. У тебя, видно, не было вестей от

Адели, а я не знаю, что бы дал за пару строк от них. Въезд в Варшаву запрещен, там строго проверили состав населения, кто имеет право оставаться. Положение осадное. <...>

Со мной что-то странное творится. Такая жажда работы настоящей одолела. Как бы я охотно писал диссертацию вместо учебника. Так и роятся разные мысли, и как всегда при таком настроении все глубже и острее ты чувствуешься. А чувствуется и первородный грех мой: отчего не пошел я по такой дороге, где моя работа была бы близка и дорога тебе — как твоим был мой фельетон о Дункан.[594] Какое головокружительное было бы счастье и какой подъем в работе над такой диссертацией. И ведь это было бы на темах и мне кровно более близких, чем все, что я делаю. Правду говорят, что судьба индейка. <...>

Д. 10. Л. 193—194 об.

1916

838

10 мая

<...> Я приеду 18-го в субботу — тем же поездом, что Гутик. Привезу сахару, по крайней мере 20 ф[унтов]. Мне Аля Полонский обещал достать, а ему как податному инспектору — по его связям в торговом мире это доступно. В Московск[ой] губ[ернии] вводят систему порционную, да и в Москве, говорят, скоро введут. <...>

Я покончил занятия в Историческом музее; попытки получить нужные мне рукописи в Румянцевском музее и в Синодальной библиотеке — не удались, потому что библиотекари сих учреждений в отпуску до июня, а без них, оказывается, ничего добиться нельзя. Вчера я начал заниматься в Архиве Иностранных дел, где довольно большой интересный для меня материал есть. Отработаю его и уеду в Богатищево; только в середине июля, пожалуй, понадобится съездить в Москву ради Румянцевского музея и Синодальной библиотеки. Точно не знаю, когда перееду к вам. Считаю, что в конце июня.

Вчера я побывал у А[лександра] Я[ковлевича]. Застал его дома, и мы с ним проехали на Воробьевы горы, где и пообедали. Он все такой же милый и такой же бедный. Теперь собирается переехать податным инспектором из Москвы в Одессу, к морю и солнцу, а больше для того, чтобы вырваться из опостылевшей московской обстановки. Это должно решиться в течение лета. <...>

Думаю, что мне в Москве едва ли что удастся посмотреть из того, что хотелось бы. Время от 11 до 3 занято в Архиве, а это то время (10—4), когда все открыто. Разве часок перед занятиями урвать как-ниб[удь], чтобы забежать в Третьяковскую галерею? Ее ведь наново развесили, и она от меня в Архив по дороге. Хотелось бы с Костей съездить на старообрядческое Рогожское кладбище, где богатое собрание старых икон, побывать у С. И. Щукина в коллекции новых французов. Да едва ли из этого что выйдет.

Работа, в смысле писания, пока вовсе не клеится. Писать по-настоящему буду только в Богатищеве. Иначе не выходит. Время разбито Архивом. <...>

Д. 10. Л. 234—235 об.

839

30 мая*

<...> Сергея я видел, когда заехал прощаться от З[ои] П[етровны]. Из «Биржовки» ушел, а организация новой газеты начнется со вторника. Пока предполагается, что Сергея пошлют за границу — налаживать дело иностранной корреспонденции. Он решил тогда и З[ою] П[етровну] с собой взять. Обещал написать, когда дело выяснится вполне определенно. <...>

Д. 10. Л. 221

840

31 мая. [Москва]

<...> Определяются условия моего житья у Кости в их «коллективе»: у них каждый делает свой вклад в хозяйство — натурой. Стало быть, и я буду привозить то яиц, то свечей, то спичек и т. д. Это занятно. А в пятницу постараюсь тебе привезти пуд сахарного песку. Тут его пока, говорят, нетрудно достать.

Сегодня первый день, что я могу пойти в музей и начать занятия. Сейчас туда и поеду. Туда попрошу направить и Гутика, если бы он появился в «Круглом доме».[595] <...>

Надо бы мне сегодня же побывать и у Лужского, и у Ст[епана] Бор[исовича] Веселовского. Этот говорил Мише, что напрасно я нанимал комнату, он предложил бы мне две комнаты, да еще с ванной. У него свой дом на Арбате. Я попрошу у него позволения пользоваться для занятий его библиотекой, особенно «Полным собранием российских летописей». <...>

Я рад, что попал в Москву, что удастся поработать; начинаю приходить в свое «московское» настроение. Любопытно, что даст это лето! Даст ли тот необходимый результат, какой требуется от него? Я не уверен, чувствую какую-то робость. Нынче в Архиве и по субботам можно заниматься. <...>

Д. 10. Л. 224 об.—225 об.

841

12 июля

Дорогой Юлек, надо было мне не в воскресенье ехать, а в понедельник. Все равно вчерашний день даром пропал. Синодальная библиотека, которую я разыскивал для понедельника, меня жестоко обманула. В июне мне сказали, что она в июле будет открыта, а вчера заявили, что «вакация» продолжена до 1 августа. А больше деться было некуда: Румянцевский музей был закрыт (он всегда закрыт по понедельникам), Ист[орический] музей тоже оказался закрытым (по-летнему). Только сегодня можно будет позаняться. Расчетов это моих в общем не меняет, так как я понедельник назначил в Синодальную, а она, к сожалению, отпадает. <...>

---

* Начало письма, как и конец, утрачено. Дата проставлена при сортировке писем, карандашом.

Милочка пишет из Кременца, что в их «отряде» обеспокоены судьбою двух трофеев: «часовни», захваченной в ставке принца Леопольда, и «пьедестала» к памятнику Франца-Иосифа. Надя просила меня узнать в Ист[орическом] музее, не спишутся ли они об этих вещах с «отрядом». Случайно я в Ист[орическом] музее, в вестибюле, наткнулся на ген[ерала] Апухтина, кот[орый] заявил мне (я его давно знаю), что устраивает при музее отдел памяток по нынешней войне. Он даже очень благодарил меня за сообщение о находках и за Милочкин адрес и все это записал.

Я так глупо устроился, что без толку проболтался в Москве, сделал неудачную попытку попасть в Музей изящных искусств — он оказался тоже запертым на весь июль, сделал несколько мелких покупок, позавтракал у Филиппова. Около часу налетела гроза с ливнем. Я успел после него купить еще яиц для «Круглого дома» и добраться до него, а потом пошел дождь до самого вечера и ночи. И теперь холодно, пасмурно, и дождь моросит. <...>

Сегодня вечером, если погода позволит, мы, быть может, сходим ко всенощной в Благовещенский собор. Там будет служба в верхних церковках, тут служат только 3—4 раза в году.

Сегодня рассчитываю позаняться в Историческом музее, остальные дни в Румянцевском. Авось хоть там больше повезет. <...>

Д. 10. Л. 228—229 об.

842

13 июля

<...> Еще беда: сапоги расшились. Пока немного. Но я не привез с собой второй пары, и нельзя отдать починить, а починка «na poczekanie»* в американском починочном учреждении невозможна. Ввиду обилия работы они не берут починки меньше, чем на час времени. Нельзя же час целый сидеть в магазине без сапог.

Боюсь, что останемся мы и без сахару; Полонский только вчера вернулся в Москву, т. е. не вчера, а третьего дня. Вчера я с ним говорил по телефону, о сахаре не говорили (тема — для телефона — не вполне, по-моему удобная); не знаю, сможет ли он в эти два дня что-нибудь устроить. Условились, что я сегодня зайду к нему после занятий.

Сегодня буду заниматься еще в Историческом музее. Вчера столько оказалось нужных выписок, что я не успел, как легкомысленно рассчитывал, проделать все, что наметил, в один день. Придется и сегодняшний день (ведь для таких занятий это только с 11 до 3-х) пробыть там. А на музей Румянцевский останутся четверг и пятница. Это достаточно, так как в Историческом — я проделаю часть того, что думал делать в Румянцевском. Затем хотелось бы из этих же трех дней урвать что-либо (часок) для того, чтобы посмотреть еще одну рукопись в Архиве Иностранных дел. При достаточной оборотливости и это не невозможно. <...>

---

* На ходу (*польск.*).

Косте окончательно надоело возиться с медью в Симоновском складе. Хлопочет о переходе в адъютанты к инспектору артиллерии московского округа и имеет на это шансы. Завтра поедет ему представляться.Теперь на должность инспектора назначен какой-то генерал, а до него был Галтенов. Помнишь Галтенова в Тифлисе? Это тот самый. Теперь он на фронте. Костя его знает, встречался с ним и очень его хвалит. Галтенов, между прочим, рассказывал ему, что однажды ему почему-то пришлось представляться Императрице в Ливадии. При ней был маленький наследник. Он стащил у Галтенова фуражку так, что тот и не заметил. Когда аудиенция кончилась, он с помощью Императрицы долго ее искал, пока наследник не признался, что унес ее «к себе» и спрятал. А Костя только теперь рассказал, что лет десять (давно еще, до Парижа) владел с одним инженером марганцевыми копями в Чиатурах, много раз ездил на Кавказ, живал в Кутаисе и Рионе, ездил по военно-осетинской дороге. Потом пришлось продать все дело немцам. Разнообразна биография Кости Крахта! И много интересного он рассказывает о своих встречах и впечатлениях. <...>

Д. 10. Л. 226—227 об.

843

14 июля

Сахару, дорогой Юлек, нет и не будет. Не привезу его нисколечко! Полонский снесся со своим поставщиком и получил ответ, что последний привоз разошелся, а когда придет следующий, неизвестно. Вероятно, через несколько дней. Полонский было приготовил для нас полпуда, но, пока он гостил у Маклаковых, его сожительница использовала этот сахар для варки варенья. Если и вы ничего не достали, то мы сразу сядем на мель. В Москве сейчас действительно туго с сахаром. Мало лавок, у которых стоят бесконечные, сотнями, очереди, а в большинстве просто ничего нет. Маисовой муки в Москве нет. Говорят, она была вся заграничная, распродана, привоза нет. Что ядрицы тоже нет, я тебе уже писал.

Вчера, покончив занятия в Историческом музее, я отправился к Полонскому, у него и обедал. Теперь он очень колеблется, ехать ли ему в Одессу, хотя в переписку об этом с Шпаковским он уже вступил. Дело в том, что со введением подоходного налога связано значительное усиление работы московских податных инспекторов, усиливают их канцелярии, дают помощников, уменьшают объем участков. Это обстоятельство и некоторый интерес к новому делу склоняют А[лександра] Я[ковлевича] к тому, чтобы, пожалуй, остаться в Москве. А гонят его отсюда, по-видимому, больше всего — дурные отношения с начальством и желание несколько разрядить домашнюю обстановку, избавившись от родни его «супруги».

Сегодня пойду в Румянцевский музей. <...>

Вчера утром я зашел к обедне в верхние церковки Благовещенского собора. Их четыре на соборной крыше. Очень они интересны (я только одну видел) по отделке и иконам. Вообще внутри Благовещенский собор несравненно интереснее остальных. <...>

Писала ли ты Гутику? Я — нет. А нехорошо оставлять его без писем. Мне же как-то не пишется (кроме как тебе).

Д. 10. Л. 230—231

844

Четверг. 16 июня

Дорогой Юлек, с сахаром мы, кажется, устроимся. Сегодня я получу от Полонского пуд, а Перета Александровна обещала еще достать на мою долю; поговорю и с Полонским о том, чтобы он к будущей пятнице тоже достал мне хоть 20 ф[унтов], так что надеюсь еще пуд в тот приезд привезти. В середине июля мне, по-видимому, надо будет еще съездить в Москву, тогда еще достанем. Так что можно напоследки Гутика сладким покормить. Его дела сложились действительно несуразно. Вновь поступающим в университет дают отсрочку, даже тем, кто в 1896 г. родился, так что, пожалуй, Гуткина возраста и вовсе трогать не будут. Все-таки, по-моему, пожалуй, лучше, если он теперь отбудет воинскую повинность в таком порядке, как сложились обстоятельства. По разным соображениям, я думаю, что отбывание ее после войны станет много тяжелее по всей обстановке.

На будущей неделе, как я писал тебе, я закончу свои московские занятия. Но вот беда: я не уверен, что мне удастся освободить себе от Архива завтрашний день, чтобы зайти в Ковенский окружной суд. Сегодня вовсе не могу. Не сердись, что я делаю «grand cas»* из всяких «поручений», но я, право, не так хозяин своего времени, как кажется. Заведующий Архивом Белокуров не каждый день бывает в Архиве. Сегодня он мне назначил просмотр при его участии некоторых важных древних грамот, которых без него получить нельзя ввиду их ветхости. Авось завтра, хотя он будет в Архиве, можно будет отложить дело на вторник. Тогда сбегу.

Вчера я обедал у Лужских. Зовут на каждый вторник; рассчитывают, что тебя повидают, когда ты заедешь по делам в Москву. Я говорил им, что, по-моему, тебе следует приехать с Гутиком 23-го к вечеру, в четверг.

Я постараюсь во вторник, среду или четверг прикончить свои дела в Архиве. По расчету — это вполне возможно. Я только что — сегодня утром (встаю я в 6 ч., а сегодня в 5 встал и занимался) составил список всего, что еще надо просмотреть.

Сегодня после Архива у меня rendez-vous с Полонским, для — кроме причин сентиментальных — сахарного вопроса. Вчера — между Архивом и обедом у Лужских я съездил в Новодевичий монастырь — посмотреть памятник, который там поставил Костя. Очень хотелось бы его тебе показать. Писать о нем — не стоит, лучше расскажу. Есть еще один памятник его работы, которого я не видал, — у Бутырской заставы. Надо бы и его посмотреть. А галерею Щукина и т. п. приходится бросить. Времени не найдешь. Вот бы с тобой к Щукину попасть! Да ведь тоже времени не будет...<...>

---

* Серьезное дело (*фр.*).

Д. 10. Л. 232—233 об.

845

23 октября
Военная цензура 8/XI*

Дорогая, милая Юля, вернувшись домой, я нашел одну открытку твою, а сегодня утром принесли еще две, отправленные вместе.

К Сакулину я не попал. В Белоострове порядочно задержали поезд, и я чуть в 10 ч. добрался до дому; поздно было ехать. Написал ему письмо, а в будущую субботу авось соберусь. Ехал я обратно скоро, так что целый час на вокзале сидел, только раскутился на еду. В буфете встретил Надю Ильину, которая сдала териокскую дачу на всю зиму, и возвращалась в Петроград с двумя курами в саке и весьма трепетала, что у нее их по дороге отберут. Но в конце концов съестное и многое другое довольно свободно провозят: наша таможня на это не претендует, а финляндского осмотра не бывает. Ехали мы врозь, потому что я вовремя почуял, что в вагонах будет такая же «ходынка», как из Петрограда, и доплатил до 2-го класса; и там было полно, но по крайности удалось найти место. Поезд в праздники переполнен петербужцами, которые ездят в Териоки и в Выборг за покупками. Едут со всяческой «контрабандой» и ворчат, что в Финляндии тоже «ничего нет», что цены те же, что в Петрограде, и т. д., а все ездят, тратятся на дорогу, на гостиницы, на еду, и покупают, покупают.

Конечно, насчет «писанного» вздор, никого об этом не спрашивают и не ищут писем или чего подобного. Да при осмотре в вагонах это и невозможно.

Так что вернулся я и дома остался. Дети еще не спали. Они субботу дома провели, а сегодня ушли к Юре. Обещали не бороться и не драться, о чем Аля и Юра по телефону предупредили. Будут отливать оловянных солдатиков, что у них все лучше налаживается.

Сегодня тихо, пусто. Ночевал Стась, но уехал с утра куда-то в город. Мы и обедали вдвоем с Софьей Михайловной. Я писал почти до обеда. Никто не заходил и даже в телефон не звонил. Впрочем, вчера без меня звонил Сергей Федорович; я ему сегодня позвонил, оказалось, что ему хотелось знать, что было в пятницу в Археологическом обществе. Там уверяли, что ему приглашение послано, а он утверждает, что справлялся у письмоводителя и в списке, кому посылать повестки, его не было. Собрание было «частным совещанием» по вопросу, кого выбирать на место гр. И. И. Толстого;[596] выбирать будем Кондакова — против эрмитажных чиновников, которые хотели бы посадить своего патрона — директора Эрмитажа, брата гр. Толстого, — Дмитрия. Отчего это с С[ергеем] Ф[едоровичем] всегда какие-то для него уязвительные анекдоты выходят? На этот раз — особенно это нелепо, так как он первый предложил устроить это собрание и, кажется, первый же предложил Кондакова! Не знаю, как тут вышло, но, в общем, С[ергей] Ф[едорович] иногда очень дорожится и щекотливится, и кончается тем, что приходится без него обойтись. И напрасно он приучает людей к тому, что, в конце концов, можно и без него обойтись. Это очень жаль. <...>

---

* Приписка цензора карандашом.

Конечно и С[ергей] Ф[едорович], и Маня, а затем Миша расспрашивали о тебе, о санатории (С[ергей] Ф[едорович] очень обстоятельно расспрашивал) и т. д. Вернулся ли Э[рвин] Д[авидович], не знаю, а мне не хочется к нему звонить. <...>

Гели* как будто тебя и не ищет, напр[имер], и по утрам. Сразу понял, что ты уехала, и порядочно хандрит, а меня, когда вернусь домой, встречает с особым азартом, faute de mieux.** <...>

Д. 10. Л. 236—237 об.

846

Пятница. 25 ноября

Вот какая случилась история, дорогой мой Юлек: я сегодня дома не ночевал. Засиделись вчера у Гримма, а без трамвая и без извозчиков возвращаться домой не захотелось. Эрвин уговорил меня остаться ночевать у него в кабинете. Собственно говоря, вечер пропал даром и попусту. Был Амфитеатров — вспоминали мы с ним о Тифлисе; был Горелов и только стеснил беседу; был Карсавин, Ленский, Нечаев-юрист, Редкозубов, Лучицкий, Кульман. Но разговоры шли так себе, разные, обычные, а про газету почти совсем не говорили. А между тем у меня все определеннее слагается впечатление очень странное. Эрвин до странности ничего себе не представляет по части того, как идет работа в газете; я с ним до этого договорился, так как пришел раньше других с экзамена на В[ысших] курсах. Он сам признался, что совсем не представляет себе, что и как должно делаться в налаженной газетной работе, и потому вовсе не может от себя что-либо существенное внести в организацию дела. Сергей — тоже до странности не имеет никакого значения в деле и влияния на него; это тоже Эрвин подтвердил. Амфитеатров только что приехал и в воскресенье уезжает в Москву. Остается один Горелов, который, видимо, очень дорожит ролью единственного хозяина дела, но он опытный газетчик-ремесленник и никакого тона газете сделать не может, а подбирать людей готов из числа мелких и даже сомнительных газетных работников. Что может у них получиться при таких условиях — право, не понимаю. И типография обставлена слабо, не очень надежно. Однако рассчитывают, будто 3 декабря газета выйдет. Что-то вялое и прямо поверхностное чуется в их деле. Сергей как-то говорил мне, что рассчитывает на руководящую роль Эрвина, а я из разговора с

---

* Собака.

** За неимением лучшего (*фр.*).

Эрвином вынес определенное впечатление, что этот расчет может оказаться ошибочным. Эрвин замучен, растрепан, растерян, и едва ли его на то хватит. Право, очень тревожной представляется мне судьба их затеи при том остром боевом положении, в какое они попали. Все это я Эрвину высказал, и он, в сущности, сам с этим согласился, но странно — как будто только в момент этого разговора у него проснулось некоторое беспокойство. А начнет выходить газета без определенной общественной и политической мысли и физиономии — это будет подлинно «Калоша», после всего шума, какой вокруг нее создался. Выяснилось мне и то, почему меня в газету не зовут. Горелов, оказывается, считает себя специалистом по польскому вопросу и сразу настроился против того, что меня хотят особенно на эти темы ввести в состав редакции. А какой тон возьмет он в этом сейчас таком остром и сложном деле — трудно угадать. Может легко получиться что-нибудь и мало симпатичное... А с Гореловым я помянул Голованя, и он мне ответил, что у него осталось впечатление, что Головань «тупой» человек и, во всяком случае, ничего не понимает в искусстве! И такой субъект будет властно организовывать, напр[имер], отделы художественной критики, театра, музыки, приглашая людей, подходящих к его вкусам и пониманию. А кругом идет прежняя грязная шумиха. В «Речи» была статейка, где по поводу того, что Марков 2-й смешал двух Гриммов в своей речи, — пояснялась великая разница между «кристально-чистым» Давыдом и «покупателем Доминика» Эрвином. Писал статейку явно Иосиф Гессен при участии Веры Ив[ановны] Гримм, жены Давыда Д[авидови]ча, еврейки, приятельницы Гессенов и Пергаментов, которая злобно ненавидит и травит Эрвина. Его письмо в газетах произвело некоторое впечатление. А вчера в «Дне» появилось письмо редакции новой газеты за подписями Сергея, Амфитеатрова, Л. Андреева, Гредескула, Тана и других, выражающее, что они все вполне разделяют ответственность за чистоту и денежной и общественной постановки газеты с Эрвином Давидовичем. Это многих заставит быть осторожнее, но, вероятно, усилит резвость героев «Речи». Мне даже жаль, что нет и моего имени под этим письмом. Ольга Конрадовна говорила мне, что в том разговоре ее с Аркадакскими, о котором я писал тебе в открытке, произвела на Аркадакского впечатление ссылка на мою дружбу с Эрвином и мое сочувствие его делу. Никак я не думал, чтобы у меня была такая «репутация». Бедная О[льга] К[онрадовна] очень мучительно переживает всю эту травлю на Эрвина и решилась на смелый шаг. Знакомая с m-me Аркадакской (не с ним), она поехала к ним, чтобы выложить все, что ей известно о Эрвине, об отношении к нему его учениц и ряда лиц, о самом газетном деле. Оказалось, что Аркадакский, как и другие газеты, — целиком под влиянием Иосифа Гессена и Веры Ив[ановны] Гримм, и он слушал, рот разиня, что есть много порядочных людей, которые считают гадостью их травлю на Эрвина. Свою пользу это, может быть, и принесло. О[льга] К[онрадовна] вчера еще раз звонила мне и снова дополняла рассказ о своей беседе с Аркадакским. Ей особенно тяжело, что она не может деятельно помочь Эрвину в трудное время и стать рядом с ним, когда окружили его такими нападками. В частности — ее тревожит, как будет поставлен в газете польский вопрос, так как она правильно считает, что они в нем ничего не понимают.[597]

Ну, Юлек, а другие дела я тебе изложил кратко в открытках. Писал тебе, что бурочные сапоги у Адельханова по 30 и 38 р., что Стась не может подшить валенки, так как у него ни кусочка кожи нет. С обувью у них в роте так дело плохо, что солдаты в караулы ходят босиком, а надевают сапоги тех, кто в предыдущую очередь стоял в карауле. На всех сапог не хватает. Туго и с кормежкой. У солдат уже по 4 дня постных в неделю, и много заболеваний, которые доктор прямо объясняет недостаточной, а иногда и плоховатой пищей. Ходят слухи — из Государственной Думы, что вообще дело продовольствия армии внушает очень серьезные опасения. Этого только недоставало!

Вчера Горелов и К° утверждали за верное, что Бухарест пал еще 23 ноября, но будто это скрывают. Ах, впрочем — я только сейчас заглянул в газету — это сегодня опубликовано. Тяжелое создается положение. Гутик вчера вечером был в отпуску и ночевал дома — у них день училищного праздника, и он сегодня опять придет в отпуск. Вчера Аля сильно кашлял, я его в школу не пустил, а сегодня он пошел. <...>

Завтра вечером у нас на курсах заседание, в воскресенье утром придет портной, в 2 ч. надо бы заехать к Карееву на заседание комитета исторического общества. Впрочем, постараюсь это как-нибудь сочетать с визитами Мещерскому и Прянишникову; а этот последний визит глупее первого. <...>

Посылаю тебе № «Русских ведомостей» со статьями о Серове. По возможности сохрани их и привези назад.

Гутик пришел опять в отпуск. Сегодня ведь у них праздник. Угостили их хорошим обедом и отпустили. А завтра у мальчуганов уроков нет по случаю Георгиевского праздника.

Д. 10. Л. 238—242 об.

1918

847

Раннее утро
вторник, 2 июля

Дорогая Юля, открыток я с собой не взял, а день вчерашний так сложился, что я и не смог написать тебе. Судьба же моя московская сложилась оригинально и неожиданно — до чрезвычайности. Но по обычаю расскажу все по порядку.

На вокзал мы приехали ровно за час до отхода к поезду и без всякого затруднения прошли в вагон, причем никаких удостоверений у нас никто и не спрашивал, ничего, кроме билетов. Платонов и Николаев поместились в малом купе; я с каким-то чужим в другом. Так что ехали с большим удобством. С[ергей] Фед[орович] был беспокоен, даже раздражителен, по-видимому потому, что был встревожен мыслью об ожидаемых острых событиях, которые пришлось бы встретить врозь семье в П[е]тр[о]г[ра]де, а ему в Москве. Но все-таки по дороге побеседовали с ним не без интереса, напр[имер], он рассказал кое-что о своей юности, чего я не знал. Ну, приехали. С[ергей] Фед[орович] отправился сам по себе к Зин[аиде] Ник[олаевне] Шамониной, а мы с Николаевым, после долгих и тщетных попыток попасть в трамвай, вынуждены были поехать в Архив Иностранных дел на извозчике — 30 р.!! Принял нас Белокуров очень мило, но оказалось, что свободные помещения архивских зданий захвачены разными совдепскими канцеляриями, да и от квартиры Белокурова отрезали 2 комнаты. Однако нашлось две свободные комнаты, где можно будет устроить Канцелярию Главного архивного управления, стало быть, и нас устроить. Трудность была за мебелью, так как комнаты были вовсе пустые; можно было достать 2 кровати с матрасами из-под раненых — лазаретных. Решили на этом, но дело обернулось неожиданно совсем иначе.

Николаев сразу принялся с Белокуровым за дела по архивным сметам, и я отчасти с ними. Тут появился, нежданно-негаданно, Б[орис] Дм[итриевич] Греков из Перми. После короткого разговора с ним выяснилось, что он остановился у епископа Иоасафа в Богоявленском монастыре и считает возможным нас тоже там устроить на всем хозяйстве, которое можно вести с помощью владычного повара, закупая в складчину провизию. Так и исполнено.

Мы зашли вместе с Серг[еем] Фед[оровичем], который в Архив явился, к владыке Иоасафу, у которого живет Греков, и оказались пристроенными на диванах в его приемных комнатах. Монастырь помещается в центре города, в 10 мин. ходьбы от Архива, где будут наши занятия. Обедать будем около 3-х часов вместе, а вечером ужин (в сущности — второй обед тот же), чай, хлеб на купленную в складчину муку своего печения, и день обойдется рублей по 15-ти. Монастырь расположен в саду. Очень уютно. Владыко Иоасаф — очень скромный и приветливый человек. Вот как отлично устроились. Вчера мы сюда перебрались к вечеру и тут ужинали — очень вкусно и сытно (суп, селедка, ветчина, гречневая каша с маслом, хлеб, чай), а днем пообедали в «домашних обедах», указанных Рязановым, — очень вкусно, но дорого (вышло по 11 руб.). Позавтракать можно, например, простоквашей в молочной за 1 р. 20 к.

В Москве пока легче с продовольствием, чем у нас, но цены явно растут, а продукты убывают. Так по всем рассказам выходит. В Москве Серг[ей] Фед[орович] срезу успокоился, так как Москва, по уличным впечатлениям, явно спокойнее Петрограда и только начинает, сравнительно с нами, опасаться настоящей голодухи. Что тут почти невозможно, это попасть в трамваи. Все больше пешком ходим.

Вчера мы с С[ергеем] Ф[едоровичем] пытались попасть к Яковлеву — не застали. Оттуда прошел к Лужским — их нет в Москве — у себя на даче. Тогда я прошел к М. М. Богословскому, который живет совсем близко от Лужских. Он только что прочел мою книгу и сразу стал рассуждать о ней и спорить.[598] Я мог у него пробыть только час, и мы решили в среду или в четверг снова поговорить у него, причем он зовет и Любавского, и Платонова. Очень интересны эти разговоры. Они до очевидности выясняют то же самое, что видно было и из возражений Дьяконова, т. е. что я выполнил только необходимую черновую работу, а надо еще много прояснить по существу, что необходимо напечатать мою речь перед диспутом, так как выяснять в спорах о книге приходится всего больше то самое, что я в речи говорил и что я напрасно не изложил всего этого в предисловии к книге.

От Богословского я отправился (на этот единственный раз трамваем) в Архив к Белокурову за Николаевым и вещами, пошли с ним в монастырь (на Никольской улице, но адрес для писем в Архив, Белокурову), поужинали, потолковали о «переживаемом моменте» с Грековым и Николаевым и легли спать. Сижу и пишу при открытом окне в сад, точно на даче.

Вчера у Грекова не приняли телеграммы в Пермь. Что-то там произошло, но что, неизвестно.

А я не знаю, как вывернусь из того, что я паспорта с собой не привез: пробую прописаться по документу о командировке, а вдруг не пропишут?

Сегодня я свободен до обеда. Попробую съездить в «Круглый дом».

Крепко целую. Застанет ли письмо еще детей? Очевидно, нет. Ну, Господь с тобой. Рассчитываю на твои открытки.

Д. 10. Л. 243—245 об.

848

[3 июля]*

Сегодня, дорогой Юлек, не буду долго писать. Только открытку. А завтра утром письмо напишу. Жарко до чрезвычайности в монастыре, в саду ничего, а на улицах очень раскалено.

Вчера вечером было собрание с московскими архивистами.[599] Впечатление грустное, почти до безнадежности. Может, и готов работать почти что один Белокуров; другие, кто мог бы, сдержанны и, по возможности, уклончивы, а большинство ни на что не годны. Без нас ничего не было сделано. Приходится начинать заново. У Николаева даже охота бросить Москву на произвол судьбы и заняться только петроградскими делами. Это, по-моему, невозможно. С тревогой следит Николаев и за Серг[еем] Фед[оровичем], пугаясь его как бы возрастающего равнодушия и колебаний. Всю надежду он на меня теперь возлагает, но мы вдвоем немного сможем. Впрочем, сегодняшний вечер, который мы проведем у Богословского с С[ергеем] Ф[едоровичем] и Любавским, — покажет. Приехал Рязанов. С ним успели обменяться только парой слов, не очень утешительных, а завтра с утра потолкуем определеннее.[600]

Д. 10. Л. 247

849

Четверг, 4 июля

Не успел как-то озаботиться — не запасся бумагой и карандашом, а с собой не привез. Поэтому пишу опять открытку. Письмо я тебе только одно написал, а открытка эта — 3-я. Вчера вечером был у

---

* Открытка без даты.

М. М. Богословского — были Плат[онов] и Любавский, был русский историк Бахрушин, Д. Н. Егоров (пренеприятный учитель Милочки, но с ним о ней не говорил), проф[ессор] Петрушевский и еще кое-кто. Любавский намеревается стать во главе московского архивного дела, заместителем Рязанова, но я еще очень не уверен, приемлем ли окажется Люб[авский] для здешних политиков. А жаль было бы, если бы встретились чисто формальные затруднения, так как трудно будет устроить какую-либо иную комбинацию. Я рано ушел, условившись с Богословским, что в субботу приеду к нему специально, чтобы поговорить о книге. По вечерам мы много разговариваем с Грековым и Николаевым, запаздываем спать ложиться, а встаем рано (я по обычаю в 6 ч.). Приехал Крусман, разыскал нас тут, оставил телефон, по которому надо условиться о встрече. Рад буду его повидать. А сегодня с 10 ч. начинается работа с Рязановым. Как-то она пойдет? Сейчас у Николаева бодрая надежда, что московские дела наладятся скоро. Но вчера Ряз[анов] обронил слова, что, д[олжно] б[ыть], мне придется в Кириллов м[онасты]рь съездить!!

Д. 10. Л. 248

850

Четверг, 4 июля

Жаркие дни. Сейчас точно гроза собирается. А странно, дорогой Юлек, что другая, политическая гроза — чувствуется в Москве несравненно меньше, чем в Петрограде, хотя обычно иначе рассказывали. За дни, проведенные в Москве, я убедился, что московская жизнь, как бы ни была она стеснена, далеко не так сильно нарушена и подавлена, как в Петрограде. Уличная жизнь производит впечатление вполне обычной, даже разговоров на темы «переживаемого момента» слышишь много меньше. Странно во внешнем облике Москвы только разве заметное обилие матросов, притом весьма вызывающего типа, да очень заметнее следы старых и недавних уличных боев. До странности много, почти на всех улицах, простреленных окон, попорченных стен и т. п.

Цены московские в общем, конечно, ниже петроградских, но далеко не так, чтобы эта разница особенно резко сказывалась на отдельных продуктах. Скорее так как все несколько дешевле, то средний уровень дороговизны тут несколько ниже. Вот примеры кое-каких цен: масло 15 р. ф[унт], мука — 300 р. пуд, молоко 2 р. 50, сахару вовсе почти нет, да и остальные продукты достаются случайно, как и у нас, и с трудом. Рассказы о московском обилии касаются уже прошлого. Теперь московским все туже приходится.

Ну, я в исключительном положении, благодаря Б. Д. Грекову. Сегодня посмотрели мы счеты. Выходит за три дня чрезвычайно вкусного и сытного продовольствия по 50 р. с человека, приблизительно. Хозяйство идет в складчину, причем владыку мы в расчет не принимаем. Два раза с нами обедал Серг[ей] Фед[орович] и требует, чтобы за ним признали «пай» и право иногда еще приходить.

Д. 10. Л. 246

851

Пятница, 5 июля

Как пойдет дело дальше, очень все у нас еще неясно. Наладили было очень удачно два главных дела: смету по всем московским архивам (трудами изумительного работника — Николаева) и отношения к делу москвичам;* наметилось совсем хорошее устройство управления московскими архивами (Любавский, Белокуров, С. Б. Веселовский). Но вчера произошло резкое столкновение Рязанова с здешними военными архивистами, которое произвело тяжелое впечатление и может все испортить. Сегодняшний день покажет, тогда напишу. Кроме того, приехал мой «помощник инспектора архивов» Бородин из Кирилло-Белозерского м[онасты]ря и сообщил об ужасном положении, в каком находится вывезенный туда отдел Государственного архива, из-за безобразий агентов Чичерина, норовящего отнять эти ящики у нас. Из этого у Бородина, а, кажется, и у Рязанова явилась мысль, что надо меня послать в Кириллов для разбора этих дел, т. е. minimum на месяц. Бородин при этом уговаривает устроиться там с семьей. Думаю, что из этого ничего не выйдет, что правильнее туда Мишу командировать, так как он назначен заведовать переустройством Госуд[арственного] архива. Все это сегодня надо выяснить.

К половине десятого встретимся с Рязановым и Платоновым и поедем в Лефортово, где военные архивисты, выяснять и налаживать испорченное конфликтом. В 2 часа rendez-vous с Крусманом, который появился в Москве. Интересно будет его повидать.

Вчера Греков и Николаев увлекли меня в баню. Очень было приятно, но обошлось... по 12-ти руб.!! Все, даже баня, становится недоступной роскошью. А я у Полонского еще не успел побывать... Трамвайные сообщения так трудны, а пешком туда идти так далеко... До сих пор никакой весточки от тебя... Что-то ты там поделываешь? Где дети? Как с деньгами? Как с продовольствием? Возьми папиросы по купончику «Алжира», возьми еще удостоверение на июль...

Д. 10. Л. 249—250 об.

852

Пятница, 5 июля

Побывал я у Полонского. Грустно с ним. При очень усиленной работе и жизни совсем-таки впроголодь — на 700 р. — он вовсе без сил. Исхудал, осунулся, иссиня бледен. Тяжелое, больное впечатление. В беседе приободрился, ожил немного, под конец — устал, силы опять упали. Собирается в отпуск. Детей — с матерью думает послать в их, т. е. ее, родное село, а сам пожить в ближайшем городке, кажется Новоосколе, подкормиться и отдохнуть.

Утром мы с Рязановым и Сер[геем] Фед[оровичем] ездили в Лефортово осматривать военный архив, в авто — 15 м[инут] через всю

---

* Так в тексте.

Москву. Удачно съездили, столовались хорошо с военными, совсем их успокоили. Оттуда в Архив — где дела обсуждали. За С. Б. Веселовским посылали в его имение нарочным одну из служащих в Архиве — сегодня он приехал, завтра его увижу. Подбирается дельный люд, авось пойдет и организация. О посылке меня в Кир[илло]-Бел[озерский] м[онасты]рь речи и нет. Я тут нужен. В 2 ч. пришел в Архив Крусман, пообедали мы с ним в «Домашних обедах», где и в первый день. Потом зашли к Грекову, а затем я отправился в дальний пеший путь на Зубовский бульвар. Только что вернулся.

Д. 10. Л. 251

853

Суббота, 6 июля — утро

Не может быть, дорогой Юлек, чтобы ты мне не писала. Но я до сих пор ничего не получил. Как-то странно жить, ничего не зная о тебе. <...> Полонский говорил про Олю Адрианову, что она отлично устроилась с Володей и его женой; все трое зарабатывают больше полутора тысяч и, стало быть, сыты. Ну, их я разыскивать не буду, да и не знаю, где. Отъезд наш отсюда, по-видимому, оттянется до четверга или еще дольше. Ничего определенного сказать нельзя.

Сегодня порядочно дела. Затем к 7 часам к Богословскому. Завтра в «Круглом доме», из-за которого приходится отказаться от поездки с Серг[еем] Фед[оровичем] в Головинский монастырь, т. е. в Петровское-Разумовское.

Д. 10. Л. 252

854

Воскресенье, 7 июля

Вчера, дорогой Юлек, был очень у меня интересный день разнообразных впечатлений.

Началось с утра с Рязанова. Он по поводу рассуждений об образовательном цензе (гимназическом) для поступления в высшие учебные заведения (речь шла об Археологическом институте и школах для архивистов) стал нам объяснять, почему они, революционеры, так против всяких «цензов». А вышло объяснение не этого, а той ненависти, той озлобленности, которую носит в себе революционная интеллигенция. Рязанов из того поколения, которое начало учиться в гимназии при министре Головнине, в школе более свободной, более либеральной, но еще в младших или средних классах пережило переход к порядкам толстовской школы, когда вдруг изменился весь тон школьных отношений, пошло усердное истребление в учащихся вольнодумного духа, подлое подсиживание их за недостаточную «благонамеренность», изводящее преподавание за недостаточную покорность, исключения из школы, чем выбрасывались на улицу, часто, наиболее способные, многие и вовсе гибли, а бывали и случаи самоубийства учащихся. Говорил он и об учителях, с которыми до Толстого установились было хорошие отношения, а тут они вдруг, угождая начальству и блюдя свою карьеру, меняли тон, становились вовсе другими, вызывая отвратительное впечатление лакейства и подлости. Все это так глубоко отравляло молодые души презрением, негодованием и ненавистью, что на всю жизнь эта отрава оставалась в силе. Их поколение, рязановское, принесло теперь к власти эти настроения, чувства ненависти и мстительности, которые залегли в них в школьные годы. Это поколение много мягче вспоминает тюрьму и каторгу, чем школу. Не передал тона и выражения, но это было сильное впечатление, которым, кстати сказать, многое объясняется в нынешних властителях, вышедших к власти из революционного подполья, куда их загнала с юных лет политика самодержавной российской бюрократии, политика Александра III.

А мне один из здешних историков[601] рассказывал биографию Ленина (Ульянова). Сын астраханского мещанина — чиновника-учителя в Симбирске (помнится — директора народных училищ) он рос в семье очень аккуратной, строго упорядоченной, все братья и сестры отлично учились, кончали с золотыми медалями, была почтенная, несколько сухая и чопорная семья, провинциально-интеллигентная и провинциально-культурная. Потом разгром этой семьи благодаря замешанности старшего брата в политическую студенческую историю, которая вызвала в нем негодование за дикий произвол полиции над студентами и загнала его в террористические кружки, а затем на виселицу. Обыски у родни, потеря ею всего общественного положения, семьи, вовсе не сочувствовавшей движению молодежи, осуждавшей его, смерть отца, который не выдержал, — все это неукротимо — озлобленностью, презрением и мстительностью отравило второго брата Владимира (нынешнего Ленина).

Так воспитанные боевые революционеры полны настроением к отрицательной борьбе против прежних порядков жизни, но в них слабы корни для положительного строительства. Оно сверху лежит на них, чуждо им по существу. В этом весь Ленин. Разрушение — в глубине его духа, строительство только в голове доктринера.

А рядом — другие мои вчерашние впечатления. В Румянцевском музее, куда мы заходили с Серг[еем] Фед[оровичем], вышел преинтересный разговор с москвичами, много разъяснивший мне ряд московских впечатлений. Я писал тебе, что Москва менее подавлена, меньше выбита из колеи, чем Петроград. Зато в прежние дни она больше натерпелась и нагляделась. И в Москве такая неукротимая ненависть к большевикам, какой у нас нет, такая жажда расправы и мести, которая сулит ожесточенную борьбу и ряд реакционных гнусностей и насилий в отместку за насилия большевиков.

М[ожет] быть, что-то уже начинается. Вчера я попал в Денежный переулок (возле Арбата), куда шел на обед к проф. М. М. Богословскому, вскоре после того, как в дом, где живет гр. Мирбах, была брошена бомба. В доме окна вылетели, но какие в точности последствия — не знаю. Кажется, никто не пострадал. Это было в седьмом часу вечера. А ночью и сегодня утром довольно сильная стрельба по улицам. Я, впрочем, еще не выходил. Рано. Отправлюсь в «Круглый дом».

Вчера после Архива мы с С[ергеем] Ф[едоровичем] заходили к Яковлеву в Рум[янцевский] музей, а после обеда у владыки вторично обедали у Богословского, который отлично угостил (даже клубникой и кофе) — нас и Любавского. Потом туда еще и Яковлев пришел.

А от тебя никаких вестей. Ни строчки. Доходят ли мои??

Д. 10. Л. 253—254 об.

855

Понедельник, 8 июля

Вчера, дорогой Юлек, Москва пережила тревожный день. Только я отправил письмо, как прочел правительственное сообщение о том, что германский посол, гр. Мирбах, убит. С ночи пошли стычки левых с.-ров с большевиками, но бои не разыгрались в большое дело, и, кажется, к вечеру попытка с.-рского* была ликвидирована. Теперь вопрос в том, как немцы будут реагировать на смерть своего посла.

А мы своими делами заняты. Вчера был день праздничный. С[ергей] Фед[орович] собирался ехать с Николаевым в Головинский монастырь, Греков с Крусманом в Кунцево, а я — в Круглый дом. Но утром по телефону сообщили, что С[ергей] Фед[орович] не приедет за Николаевым, и мы пошли к нему. Познакомился я с Зинаидой Никол[аевной] Шамониной, сестрой Над[ежды] Ник[олаевны]; дама очень энергичная и симпатичная, вроде Мани, только умнее. Накормила она нас отлично — с кофе и даже портвейном. Оттуда я пошел к Косте, где и пробыл целый день, а к 8-ми ч. встретился с Серг[еем] Фед[оровичем] у Яковлева. Завтра напишу. Вчера — первая твоя открытка.

Д. 10. Л. 255

856

Вторник, 9 июля

Дорогая Юля, приехал Сергей, привез письмо и посылку, за которую я весьма признателен. Встретились мы с ним вчера на съезде, а сегодня он посылку принес в Архив; я тут же переоделся. Пережили мы тут денек горячий. Левые с.-ры убили германского посла гр. Мирбаха, а затем сделали попытку восстания, захватив несколько зданий, но к вечеру дело было подавлено. Сегодня мы узнали, что участие в попытке борьбы приняли и правые элементы, которые будто бы отступили в порядке и держатся порядочным отрядом (тысяч в шесть) под Москвой. Ждем отклика немцев, а вернее, уже знаем, что немцы признали, что убийство дело врагов нынешней власти, и не требуют поэтому ввода своих войск в Москву.[602] Дело в том, что положение немцев рискованно с Москвой: форсировать ее, значит, пожалуй, толкнуть ее совсем в руки союзников. И у вас была игра; беспокоит меня Пажеский корпус, который, по нашим сведениям, подвергся бомбардировке. Ведь там засели с.-ры с бомбами. Уезжая, я поэтому поручил Ромишовскому вывезти оттуда архив, но едва ли он успел...

---

* Пропущено слово.

Личной опасности в Москве нет и пока отнюдь не предвидится. Жить тут хорошо и приятно, отдых большой, силы восстановились, точно неделю в санатории провел... Есть чувство стыда, что я тут так живу, без тебя, когда ты там в тягостном положении. Но до конца этой недели придется задержаться. Вчера я не успел узнать на съезде, получила ли ты деньги в институте и на Выс[ших] женских курсах? Сегодня узнаю. Отсюда едва ли что привезу. Дорого и разыскать трудно. Попробую еще, но мало надеюсь. Придется на профессорском съезде побывать, хотя он меня пока мало интересует.[603] Приехали Рождественский, Браун, Дьяконов, Марр и др. Вчера со съезда пришел к нам в монастырь Петрушевский, и у нас с ним преинтересные разговоры были по ученой части... Надо будет к нему сходить. Вообще тут интересно людей посмотреть. Письмо Гутика мне очень нравится, хотя мальчик, быть может, головой играет. Что делать, таковы обстоятельства. Пишу наспех в Архиве. Это письмо свезет Бородин, который сегодня поедет в Петроград. Больше некогда. Крепко целую. Господь с тобой.

Твой Саня.

Д. 10. Л. 256—257

857

[21 ноября]*

Кажется, дорогой Юлек, крайний пессимизм моей вчерашней открытки не оправдался. Приезд мой сюда оказался действительно необходимым, тут такой развал организации и работы, что надо серьезно переговорить с москвичами и хоть что-ниб[удь] наладить. И Д[авида] Б[орисовича] надо поставить наконец на точку надлежащую, поскольку это возможно. За перевод денег Г[лавного] а[рхивного] у[правления] взялся Сторожев, а Рязанов при мне ему внушал то, что надо; адрес для перевода дан Сторожеву. И дальнейшая организация первооснов поставлена правильно, но как будет осуществлена — за это не отвечаю. На завтрашнее утро созывают общее московское совещание по общей организации дела; москвичи прямо просят наших директив, я их, как умею, даю, а Рязанов не возражает. Конечно, в уме остается мысль, что от слов до дела у нас всегда, к сожалению, далеко. Это, если сможешь, прочти Платонову.

За Веселовским послали нарочного. Москва встретила меня зимой, холодом, снегом. Сегодня пойду к Богословскому, к Лужским, к Яковлеву. Боюсь, что не смогу выехать в субботу, хотя сделаю для этого все возможное.

Д. 10. Л. 258

---

* Датируется по штемпелю на открытке.

858

[14 декабря]*
Суббота — 6 ч. утра

Дорогой Юлек, вчера я не успел тебе написать. Ехали мы и удобно (по дивану на чел[овека]) и очень скверно (в вагоне было очень холодно и никакого освещения, кроме трех огарков в коридоре), а главное, так медленно, что в Москву приехали только в два часа. С вокзала пришлось ради вещей взять извозчика (60 р.) — мы поехали с Николаевым, а Миша — трамваем. По дороге собрали провизию в общее хозяйство (у Николаева были большие куски отменной баранины и хлеб, у Миши крупные ржаные лепешки и котлеты), да и еще немного прикупили в буфетах, так что были сыты, несмотря на продолжительную езду. Остановились пока в Гл[авном] арх[ивном] управлении. Первое известие: С. А. Белокуров скончался от испанки, перешедшей в воспаление легких, его хоронят в Донском монастыре. Потеря невознаградимая для нашего московского дела. Побеседовали с Любавским, Рязанова еще не видали; пошли пообедать — хорошо пообедали, но очень дорого: в Москве с того моего визита цены в столовых поднялись ровно на 50 % в тех, где я едал, кроме студенческой, где зато стало очень плохо и голодно. Как выдержим, не знаю. Зашли к Полонскому, попытка достать у него простыни не удалась, потом к 8 ч. у Любавского совещание наметило план действий[604] (тут опять полный развал всей работы, надо заново налаживать) — раньше конца будущей недели не вернусь — предупреди учебные заведения. Ночевали, точно в вагоне, в Г[лавном] а[рхивном] упр[авлении], без белья, не раздеваясь. Как устроиться, не знаю. Ни у Любавского, ни у Полонского нельзя (занято), у Кости — далеко. Утром сегодня пойду к Лужским — надо на вечер попасть на «Село Степанчиково»; завтра в университете заседание (публичное) в память Тихонравова. Коллеги мои еще спят. Чай и самовар у нас есть, но больше ничего до часу не достанем — ни кусочка...

Крепко целую тебя и деток.

Твой Саня.

Д. 10. Л. 259

1926

859

Среда,** 24 июня
7 ч. утра

<...> Утром к 10 ч. пошел в Центрархив. Там разрешения на занятия были уже приготовлены, и это я получил в $^1/_2$ часа. Но в редакционно-издательском отделе, где надо было поговорить о нашей с Га-

---

* Датируется по штемпелю.

** Ошибка. Правильно: четверг.

баевым книге, меня задержали довольно долго. Пришлось около часу ожидать заведующую — С. М. Антонову, которая вернулась с дачи. Книга, вероятно, действительно выйдет при мне, но заплатить Антонова не обещает сразу теперь же, предупреждая, что едва ли деньги будут. Буду еще добиваться, но признак это нехороший. В утешение она подарила мне издание Центрархива «Пугачевцы»[605] — так что ты, Юлек, протелефонь, пожалуйста, Ирине, чтобы она, если еще этой книги, ей заказанной, не покупала, то пусть не покупает, а лучше достанет тебе «Дни» Шульгина,[606] а если купила, то не может ли обменять.

Пришел в Центрархив М. К. Любавский, заведующий тем Архивом, где я буду заниматься, и посоветовал мне лучше в этот день проделать в городе все другие дела, чтобы потом уже не отрываться от Архива, хотя там дела для меня уже приготовлены. Я ведь еще накануне был у С. К. Богоявленского, на руках у которого нужный мне отдел Архива, и рассказал ему, чего хочу, да и расспросил его о размерах и составе этого материала. А он большой знаток своего Архива. Мы с ним наметили план занятий, и выяснилось, что материал настолько обширен, что, пожалуй, я могу рассчитывать за срок, каким располагаю, проработать его за время с 1699-го по 1705 год, а не по 1721, как было бы нужно. В один приезд этого не сделаешь, а задерживаться мне дольше нельзя, хотя разрешение на занятия мне выдали по 15-е июля. Кроме того, из разговора с Богоявленским выяснилось, что тема моя, в сущности, требует также изучения никем еще не тронутых материалов польской «Коронной метрики» (т. е. государственного архива Польши), которая хранилась здесь же, а теперь выдана полякам и увезена в Варшаву. А тема «Русско-польские отношения при Петре Великом» или «Польская политика Петра Великого» — очень интересна как завязка всех дальнейших русско-польских отношений до «разделов» включительно и в то же время завязка новой европейской политики России. Эрвин очень понял и оценил значение этой темы. Я размечтался — сделать, до окончательной своей забастовки, еще хоть одну большую научную работу. Если бы не проклятый «немецкий» заказ,[607] я бы, пожалуй, застрял тут до 15 июля. А на него месяца два, пожалуй, нужно.

Так вот я и решил первый день загубить на внешние дела. Отправился в Наркомпрос узнать про судьбу командировки Бориса Ал[ександрови]ча. В общей канцелярии меня направили в общую регистратуру, тут указали стол Главпрофобра, куда она поступила, из стола сообщили, что Главпрофобр дал ей ход и на окончательное разрешение в Главнауку. В Главнауке — у секретаря Станкевича — надо узнать решение. Но Станкевича на месте не оказалось, сказали, что он как раз у Ходоровского в заседании комиссии по командировкам. Я по совету помощника Станкевича оставил ему записку с просьбой, что обращусь к нему сегодня по телефону. Заодно написал записку Ходоровскому с ходатайством о поддержке командировки, имеющей целью завершение ценного научного исследования, просил передать. Но мне отказали в передаче во время заседания. Что же делать? Оставил, пусть хоть потом передадут. Узнаю сегодня, есть ли уже хоть какое-нибудь решение, так как комиссия по очереди рассматривает ходатайства — в ряде заседаний. Завтра напишу, что еще узнаю. Это ты прочти, пожалуйста, Б[орису] А[лександровичу] в телефон.

Канитель в Наркомпросе заняла часа два, так как всюду подождать приходилось. Из Наркомпроса я отправился в «Каторгу и ссылку», т. е. в контору издательства. Тут я узнал, что причитается мне 70 рублей, но заплатить мне могут только 2 июля. Заведующий конторой выдал мне ордер на получение этих денег на 2 июля. Так что я раньше 2—3 июля отсюда не уеду. Надо получить эти деньги, а также книгу «14 декабря» и, может быть, все-таки удастся получить и деньги за нее, для меня и для Габаева. Да: я пропустил, что между Центрархивом и Главпрофобром я еще зашел было к Д. Б. Рязанову в его «Институт К. Маркса и Энгельса», чтобы узнать о положении в Москве дела Габаева, но его не застал. Попробую его сегодня ловить в телефон.

Ну, из конторы «Каторги и ссылки» (помещается она в Лубянском пассаже, где имеется кафе нескольких организаций) было жарко и я съел там порцию мороженого за 25 к. (очень хорошего), мне надо было еще зайти в редакцию этого журнала, но не раньше 3-х часов, когда приезжает Б. П. Козьмин с дачи. А до того оставалось еще часа полтора. Я купил на Арбате себе большой блокнот (за 70 к.!) для Архива и конверт (за 2 к.), чтобы складывать исписанные листки, а потом зашел к Лужским поблизости. Теперь у них вход с переулка, сразу в сад, так что впечатление совсем усадьбы. В саду сидела с вытянутыми на пуф и закутанными ногами Перета Александровна и с ней какая-то дамочка с девочкой. <...>

Рассказывала про театр, который очень оживился и дал в этом году ряд новых и интересных постановок и еще новые готовит. Видно, что они вышли из заминки. Звала меня обедать в четверг к 5 ч. Не знаю, как со всем этим быть ввиду приезда Адриановых. Вовсе, признаться, они мне некстати. На сегодня звал к себе Якушкин. Назавтра — к обеду — Перета Ал[ександровна], а вечером к 9 ч. — Яковлев, у которого кое-кто из московских историков будет, а на пятницу — Петрушевский, так как собрание будет у него, а не у Богословского.

Петрушевского я видел вчера вечером в «Исследовательском институте истории».[608] Был и Тарле. С нашим «Иссл[едовательским] инст[итутом]» что-то совсем странно. Удальцов (Александр) уверяет, что вовсе не писал Тарле того, что тот нам сообщал по его письму, а мы объявили urbi et orbi,* т. е. что будто наш институт утвержден ГУСом. Неужели, говорил Удальцов, я сделал такую описку в письме и вместо «коллегии ассоциации институтов» написал — ГУС? А Тарле утверждает, что он тут узнал в Наркомпросе, будто дело об институте не только прошло через ГУС, но и дошло уже и до малого Совнаркома, который вынес мудрое решение — институт утвердить, но на этот год не вводить его в финансовый план. Тарле слова «на этот год» толкует — до января, но финансовый год ведь с октября по октябрь? Во всяком случае дело что-то темно. Так я толку и не добился. Пусть Б[орис] А[лександрович], которому ты этот листок тоже прочти в телефон, добивается толку от Тарле, и не по телефону, а лично.

---

* Городу и миру (*лат.*) — в значении «всем и каждому».

Я решительно ничего понять не могу. А заседание было отчетное — и я познакомился с тем, что такое здесь Ист[орический] инст[итут].

Заседания с учеными докладами, а главное дело — работа с аспирантами, и она ведется (их 35) очень солидно; организован ряд семинаров, читают они отчетные доклады по каждому вопросу своей программы, организованы для них особые занятия латинским и новыми языками. А про нас говорят в здешнем институте, что если он будет, то еще вопрос, будут ли при нем аспиранты. Тут аспиранты по русской истории в ведении только Рязанова и Покровского. Историков немарксистов — не допускают к ним. Это видно из отчета. Это все — для Бор[иса] Ал[ександрови]ча. <...>

Д. 10. Л. 275—279 об.

860

Пятница, 25 июня [Москва]

Вчера, дорогой мой Юлек, порадовало меня получение твоего письма. Но зачем оно такое грустное? Устала ты, моя бедная. А я — уехал. Как было бы хорошо, если бы мы могли вдвоем куда-нибудь уехать, подальше, в интересные места, н[апри]мер, за границу, а еще лучше — в Домброву и пожить себе спокойно. Ну, придется пока удовольствоваться маленькой передышкой в Елизаветине...

А все-таки, хоть и хотелось бы с тобой быть и не разлучаться, тут дела так, по-видимому, идут, что я не 2—3 уеду, а 4 или 5-го. Кстати, к 5-му Эрвин должен закончить какую-то работу (литературный заказ) и думает тогда уехать куда-нибудь на дачу.

В Москве стоят жаркие дни. Вчерашняя ночь была тоже жаркой, точно на юге. И сегодня день начинается прямо южный. Очень жалею, что нет у меня с собой летних жилетов. С тоской иногда вспоминаю и о легких брюках, только что сшитых. Вероятно, и в Питере так же тепло?

А странная у меня была ночь со среды на четверг; помнишь, как бывало, что я чуть не целую ночь не спал иногда, особенно весной. Вот и вчера так. Валк ушел от нас после 12. Легли спать. Но я так и не заснул до половины пятого. И это не бессонница, когда хочется спать, а не можешь заснуть. Нет, просто и не хотелось. Читал записки поляка Билинского. В половине пятого лег и заснул. А в шесть вскочил, точно меня толкнули. И больше не спал, а встал. В Архиве позанялся с 9.30 до часу, и стало клонить ко сну. Я решил тогда пойти во французское посольство. Это недалеко от Архива. Пошел туда, но оказалось, что там справки дают только от 10 до 12 $^{1}/_{2}$ ч. Я опоздал. Придется сегодня узнавать об адриановских вещах, сделавши перерыв в архивных занятиях на полчаса. Хорошо еще, что близко. Из посольства я вчера уже не возвращался в Архив, а поехал трамваем в Центрархив, в редакц[ионно]-издат[ельский] отдел, чтобы получить II том «дела о декабристах» и книжку «Красного архива». «Кр[асный] архив» дали, и II том получу на днях — пока еще очень мало готово экземпляров. Уверяют, что к моему отъезду выйдет и мое «14 декабря».

Пошел домой. Жарко было до чрезвычайности. Дома принял душ. Тут очень хорошая ванная: вся крашена маслом и пол кафельный. Но душ довольно слабый и не очень прохладный — ведь это 7-й этаж! Эрвин был уже дома. Я пришел, вздремнул полчаса и стал собираться к Лужским. Видел Вас[илия] Вас[ильевича]. Оба старика похудели. Перету Ал[ексан]др[овну] несколько беспокоит, что у В[асилия] В[асильевича] временами боль в груди бывает (по-видимому, расширение аорты). Но работает он много. И видно действительно большое оживление работы МХАТа. Собств[енно] следовало сходить на один из остающихся двух спектаклей. Когда В[асилий] В[асильевич] ушел на репетицию, П[ерета] А[лександровна] меня спросила, остается ли у меня интерес к театру? Я говорил ей, что мы отстали, потому что они 11 лет уже не были у нас, но интерес у нас, конечно, тот же. <...> А потом я пошел к Яковлеву. Это тоже недалеко от них. У Яковлева набралось довольно много народу. Был, между прочим, молодой историк — янки, довольно свободно говорящий по-русски. Он профессор истории в Колумбийском университете, а здесь он усердно занимается — аграрным, крестьянским движением в 1917 году. Поговорили мы с ним о материалах по этой части — и он в Ленинграде хочет зайти ко мне, чтобы получить кое-какие более точные указания. Записал мой адрес и телефон. Пришел к Яковлеву и Тарле. Он добился-таки свидания с Покровским, и тот уверяет, что Ист[орический] инст[итут] у нас будет-таки с осени, хотя и говорит об этом не очень определенно. Когда Тарле сказали, что ему Кристи сообщил, что-де института в финансовый план не вводят, Покровский отвечал, что он именно поэтому и не проводил нашего института через ГУС, но на слова Кристи, что можно к январю подогнать, ответил, что можно и с осени устроить. А про аспирантов Тарле и не спрашивал. Он к этому равнодушен, и тогда я ему передал, что секретарь здешнего института помянул в разговоре со мной, что, м[ожет] б[ыть], у нас, при нашем институте аспирантов и не будет, Тарле ответил — ну, и пусть не будет. А, по-моему, институт без аспирантов нежизнеспособен и окажется беззащитным против нападок на его ненадобность. Могут, как было, открыть и снова закрыть. Конечно, лучше хоть так, чем никак. Это все передай, пожалуйста, Б. А. Романову. Я пишу тебе, а ему отдельно не пишу, отчасти и потому, что мне как-то приятнее, чтобы ты была вмешана в наши дела. Тебя это, кстати, не затрудняет? Были еще и Бенешевич, который тут по курьезным делам «Палестинского общества», и Степан Веселовский, и Дм[итрий] Ник[олаевич] Егоров и еще кто-то. Угощал Яковлев коньяком и деревенским медом. <...>

Д. 10. Л. 270—272 об.

861

Понедельник, 28 июня
6 ч. у[тра]

<...> Вчера мы с В. Н. Куном сходили в Исторический музей на выставку русского быта XVIII и XIX века. По устройству она никуда не годится сравнительно с тем, что делает Приселков[609] у нас. Но материал: портреты — дворянские, купеческие, крестьянские, — костюмы и вещи, напр[имер] украшения, посуда, разные безделушки —

очень хороший и интересный, хотя очень и очень небольшой. Мебели совсем мало. Зато, что странно, есть в другом месте, говорят, богатая историческая выставка мебели. Туда я, очевидно, уже не соберусь. Вот если бы ты была со мной, мы бы наверное туда сходили. А мы с Куном попытались еще сходить в картинную галерею С. И. Щукина, но она оказалась закрытой на месяц с 15 VI по 15 VII.

Скажи Б[орису] А[лександровичу], что архивохранилище на Девичьем поле будет закрыто с 1 августа по 1 сентября! Это ему вовсе неудобно...

Вообще все отделения Центрархива закрываются на месяц, но каждое из них на свой срок, т. е. само выбирает, с какого по какое число. Архив Наркоминдела — открыт все время, без перерыва. О командировке Бор[иса] Ал[ександровича] я ничего еще не знаю. М[ожет] б[ыть], в субботу и сегодня это решится. Буду сегодня узнавать и, конечно, тотчас напишу.

Интересно мне, что и как рассказал Тарле Б[орису] А[лександровичу] про свою московскую поездку! <...>

К Полонскому я еще не собрался. Схожу сегодня или завтра. Надо будет и у Лужских еще раз побывать. Очень они радушны. <...>

Вл[адимир] Ник[олаевич] Кун — очень ровный, добрый, деликатный, интересный человек, с большим, утонченным вкусом, очень культурный во всем своем обиходе. В общем, тут — тихий угол, совсем далекий от жизни. Эр[вин] Дав[идович] много работает, пишет большую работу. А я читаю мемуары Билиньского, австрийского поляка — министра,[610] и душой и мыслями всегда с тобой, моя дорогая. <...>

Д. 10. Л. 273—274 об.

862

Вторник, 29 июня
6 $^1/_2$ ч. у[тра]

Поцелуй Алю и Лару за их великодушный жест по моему адресу. Вся Москва должна их благодарить. Стоило им прислать сюда мои восхитительные брюки, как погода смягчилась: поняла, что с ней не шутят. Надвинулась туча, к вечеру разыгралась гроза с сильным дождем. Посвежело. Сегодня — ясное, солнечное утро, но духоту, такую тяжкую в течение ряда дней, как рукой сняло. Однако погода московская настолько деликатна, что не намерена лишать Але-Ларину посылку большого для меня значения. День обещает жару — и для меня большое облегчение избавиться от сукна.

Вчера я послал Б[орису] А[лександровичу] телеграмму: командировка сто пятьдесят! Случилось то, что я считал вовсе невероятным: мне секретарь Главнауки сообщил, что командировка доцента Романова утверждена и ему ассигновано 150 р.; сообщил это по справке в журнале комиссии о командировках. На мой вопрос, как же это реализуется, он ответил, что пошлют в Ленинград выписку из этого журнала и ассигновку в университет, где Б[орис] А[лександрович] и получить их должен. Теперь одна тревога, как бы не затянули они высылку. Я был бы рад думать, что в таком исходе дела имело некоторое значение мое обращение к Ходоровскому: м[ожет] б[ыть], в этой неожиданной удаче и мои 2 грамма имеются?? Возможно...

Интересно мне будет узнать, как Адриановы дальше действуют? Не придется ли Сергею лично ехать в Москву за вещами? Или их туда перешлют? Я не догадался спросить. И когда они едут? Напомни Сергею, что он обещал оставить мне книги Мейера Грефе[611] и другую, марксистскую, о Достоевском, а тебе — дневники А. Г. Достоевской и ее переписку с мужем.

Большое тебе спасибо за присылку книги Циона. Эрвин ее не знал, а она ему очень даже нужна. Не можешь ли позвонить к Розенбергу, Ал[ексан]дру Михайловичу (№ в списке), и узнать у него адрес Владимира Ивановича Ковалевского; сам он не знает, попроси узнать и сообщить. Он знает его сына. Это для Эрвина.

Вчера Вл[адимир] Н[иколаевич] Кун ездил нанимать дачу — по Рязанской дороге — в «Песках» и нанял. Это в 2 часах ж[елезно]дорож[ной] езды от Москвы. Он уедет туда с тещей в пятницу, 2-го, а Эр[вин] Дав[идович] с Ан[ной] Ив[ановной] — в понедельник — 5-го. А я уеду к тебе в субботу 3-го и в воскресенье буду дома. Каким поездом, напишу завтра; Э[рвин] Д[авидович] обещает сегодня взять мне билет. М[ожет] б[ыть], Слава меня встретит? Я бы очень был ему благодарен, хотя необходимости в этом, конечно, нет.

В субботу и вчера — начались у меня в Архиве по-настоящему интересные материалы. За неделю сделаю намеченный минимум (до 1705 г.), а там что Бог даст.

Мечтаю я, чтобы ты сделала мне ценный подарок на именины: вечное перо. Гутик купил такое — и хорошее — перо в «Международной книге» — на Литейном. Ну это дорогая игрушка.

Вечером вчера, часов в семь, в еще очень тяжкую жару, я с отчаяния, что ничем нельзя заняться тут в нашей солнечной квартире, отправился к А. Я. Полонскому. Он был дома. Я застал его в образе почти Адамовом: устроил он себе омовение. Очень был мне рад. Я провел с ним вечер. Пили чай с лимоном на балкончике, выходящем во двор, где у них много зелени, да и кругом — сады. Стало свежеть, надвинулись облака. Где-то далеко — зарницы блистали. Я больше молчал и слушал. Он все про себя рассказывал, точно торопился. Он порядочно изменился. Как-то отяжелел; сильно пополнел, что ему нездорово. Его даже лечат от ожирения! Вообще его лечит какой-то энергичный врач, который находит в нем целый ряд болезней, начиная с сильного склероза, признаков здорового ожирения и, насколько я понял, — склонности чуть ли не к «белокровию». Уверяет врач, что исполнение энергичной системы лечения может его поправить за год на 60%, а повторение курса через год и на все 100%. Поит его два раза в неделю какой-то жестокой горькой водой, я забыл ее название — что-то вроде «Бекерелевской»?? И еще нитроглицерином в каком-то стотысячном растворе, который сильно поднимает жизнедеятельность организма. Аля очень обеспокоен, что у них идет сокращение, а он как человек с надорванными силами — кандидат на отставку. А что до лечения, то ему дают только две недели отпуска, а в ходатайстве о санатории и хотя бы месячном, если не 2-х месячном, как требует врач, отпуске для серьезного лечения — ему отказали, т. е. отказали в сохранении содержания, да и не только это, а он опасается, что и без того хлопоты усилили шансы «сокращения». Бедный наш Аля!

Но мне он был очень рад, и я еле сбежал, когда стала вовсе надвигаться гроза с ливнем. Дома я застал у Кунов гостей — тетку В[ладимира] Н[иколаеви]ча и жену В. Ф. Шишмарева, с которой Анна Ив[ановна] очень дружна. Это дочь А. Н. Веселовского.[612]

Ушли эти дамы еще под дождем, в 12 ч. ночи. Сегодня из Архива зайду в Центрархив узнать, как дела. В «Каторге и ссылке» уже печатаются две мои рецензии; одна на днях выйдет, а другая ждет очереди, четвертая — заказана.

Д. 10. Л. 280—282 об.

863

Вторник 13-е (?) июля

Дорогой Юлек, тут очень хорошо. Елизаветино — бывшее имение Трубецких (а раньше Белосельских-Белозерских), а идет от одного из первых фаворитов Екатерины Великой. Большой, красивый, запущенный парк. Старинный барский дом с крыльцом à la Растрелли. Вне парка, но у самого входа в него — здание бывшей мануфактурной фабрики, заброшенной с давних пор. Тут мы и живем. У нас большая комната — с кроватью для тебя и диваном для меня. Рядом — Ал[ександр] Гр[ригорьевич],[613] столовая и кухня. Хозяйничают сестры Рооп. Воздух чудный, местность совсем не похожа на окрестности Петербурга. Вчера, приехав, мы обошли парк. Утром сегодня я много по нему бродил. Очевидно, ходить буду больше, чем ты мне советовала. Состояния усталости, утомляемости — в этом воздухе — как не бывало. Только проспал я сегодня до 8 часов. Зато днем ко сну не клонит.

Жаль, что я не привез керосинки. Видимо, она бы пригодилась, хотя А[лександр] Гр[игорьевич] уверяет, что топить плиту тут дешевле, чем жечь керосин.

Макса* привозить явно не стоит. Трудно за ним уследить будет. А местность сложная, путаная. Много построек и много населения. <...>

Кормимся молочным (творог, молоко, масло), овощами, картофелем, кашей. Очень кстати пришелся сыр, он имеет успех особенно. <...> Много отличной земляники. И вчера и сегодня ее ели. Здесь она по 20 к. ф[унт]. <...>

Купаться я не пробовал. Тут есть определенное место для купания с табличкой для мужских и женских часов. Купаются же только свои, мои соседние дачники.

Телефонные сношения с городом не так-то удобны. Когда слушаешь их разговоры по телефону, видно, что и соединиться довольно хлопотливо, и слышно плохо: повторяют, переспрашивают; бывают какие-то перерывы и шумы, когда обе стороны друг друга не слышат.

Ни за какое «дело» я еще не принимался. Хочется надышаться чистым воздухом.

---

* Собаку.

Очень грустно, что ты сразу со мной не поехала. Тут и ты поотдохнешь. Приезжай скорей, не тяни до 23, если можно. Право, приезжай. Макса, к сожалению, лучше оставить в городе, а керосинку привези. Если бы пришла из Москвы бандероль с книгой, тоже привези. Интересно, будут ли деньги для Габаева и благополучно ли пройдет их получение.

Д. 10. Л. 260—260 об., 263—263 об.

864

Среда, 14 июля

Только что вернулся с 1 ½ часовой прогулки по лесу и вовсе не устал. И вчера мы больше этого пробродили с А[лександром] Г[ригорьевичем] — даже почти с дороги сбились (А[лександр] Г[ригорьевич] был очень доволен, что сумел «сохранить направление»). В этом воздухе и дышится, и движется легко.

Погода жаркая, но все время сильный и довольно свежий вечер, так что даже на ходу не особенно разогреваешься. Идет уборка сена. Тут ведь у них свое порядочное хозяйство — и полевое, и молочное, с «учебными» целями — для подготовки народных учителей кроме помощников по агрономической части. «Образцового» в этом хозяйстве мало. Средств не хватает на надлежащую постановку. И без «наемного труда» обойтись не могут. Молодежь же не очень охоча на работу и все норовит свалить побольше на наемных. Хозяйство ведется с расчетом, по возможности, на продажу, чтобы хоть заштопать дыры в дырявом бюджете. «Социализмом» и не пахнет...

Местность тут красивая. Многим напоминает наши домбровские места: сильная холмистость, хвойные леса с примесью лиственной, глина и песок, глинистые дороги с глубокими колеями, местами — болотисто-торфяная почва с кочками. Очень ветрено — это тоже по-нашему.

Дышится легко. Погулять есть где, хотя все это хоть и довольно живописно, но, в конце концов, однообразно.

А живет тут особый «педагогический» мирок, поглощенный своим делом. Все разговоры — об учащихся, о занятиях и их разных хозяйственных комбинациях и затруднениях. И всем этим руководит А[лександр] Г[ригорьевич], подробно входящий во все детали. Теперь он мечтает раздобыть тысячу рублей, чтобы закупить в Архангельске холмогорских коров и наладить по-настоящему молочное хозяйство. В коровницы (так как нынешней они не довольны) он хотел бы привлечь Мишину кузину, замужнюю, по-видимому, жену сына Петра Мих[айловича] Майкова, если таковой существует, или что-то в этом роде. Словом, дело идет о каких-то Майковых — он занят в Ленинграде извозом, а она специалистка по коровьему делу! [Об этом уже пошли тут неприятные толки о «бывшем помещике», которого А[лександр] Г[ригорьевич] пытается устроить на чье-то место, — и на этом все сорвется, вероятно].*

---

* Фраза в квадратных скобках — примечание А. Е. Преснякова на полях.

Роопы очень рады появлению на горизонте Мих[аила] Ал[ександрови]ча, рассчитывают его повидать, когда он будет в Ленинграде. Они обе тут в Елизаветине постоянно. Одна Марго — преподает физику и ведет метеорологические наблюдения. Другая Мария Феликсовна (Феликсеевна, как ее тут бабы называют) — общественница и помощница А[лександра] Г[ригорьевича] по всему управлению.[614] Обе очень деловые, работящие, простые, прямые и потому милые. Вообще тут, как и в Ленинградском педтехникуме, очень хороший тон. Но А[лександру] Г[ригорьевичу] явно трудно все это в руках держать, а к нему со всякой мелочью идут. В воскресенье А[лександр] Г[ригорьевич] с Роопами собираются идти за 8 верст. Соблазнительно и мне, если только порция мне не велика окажется. <...>

Д. 10. Л. 264—265 об.

865

Воскресенье, 18 июля

Письмо твое, дорогой мой Юлек, очень меня огорчило. Видно, нескоро я тебя тут увижу... А мне тут лучше, не торопясь, посидеть. Может быть, и в самом деле удастся стряхнуть с себя слабость и достигнуть более или менее прочного результата. А, впрочем, уже 18-е! Как время-то бежит! Числа 23-го, по твоему расчету, надо будет съездить в город, деньги получить, а там мы с тобой вместе сюда приедем. Так? Вспомнил я о векселях С[ергея] А[лександрови]ча. Первый — не помню — на какое число? На 20-е июля или августа? Кажется, не июля, а августа. А вдруг июля? Посмотри, пожалуйста. Эти векселя с бланками доверенности Сергея — в моей расчетной книжке (институтской) в правом ящике стола. Ведь надо накануне позвонить в издательство «Мысль» — Вольфзону и спросить, в котором часу зайти. Надеюсь, что это надо сделать в августе, а не в июле.

У нас, как и у вас, погода переменная. Вчера было холодно и хмуро, сегодня опять солнечно, ветра нет, но довольно облачно на небе.

С большим удовольствием я убедился, что здесь для меня два часа довольно скорого хода вовсе не утомительны. Сегодня план прогулки изменился. Пойдем всего верст за пять — на «Пятую гору».

По случаю воскресного дня — в церкви служба. Зашли мы туда. Церковь 18-го века, с типичным иконостасом рококо, но довольно скромным. В церкви — несколько женщин и маленьких детей.

А[лександр] Г[ригорьевич] пошел по полям как настоящий хозяин посмотреть, в каком они состоянии, и взял с собой записную книжку. Как-то забавно слушать его деловые разговоры — о клевере, распашке, уборке, о коровах, удое и т. п. А он, по возможности, во все входит. <...>

Очень грустно за Габаева. Открытка его сына смутила меня тем, что в ней, правда, в какой-то неясной фразе о том, что надо ждать справки прокурора о приговоре, упоминается об «инкриминируемой статье», хотя ты определенно указываешь на ст. 61.

Думаю, не дожидаясь никаких справок, написать Рязанову или Мише, чтобы он поговорил с Рязановым? Ведь Габаеву инкриминируется, по-видимому, не столько связь его с «оккультистскими» кружками, сколько то, что он отказался назвать участников кружка, в котором выступал со своими (нелепыми) докладами по этой части, а этот отказ толкуется как «нежелание оказать содействие советской власти»! Вот и все его «преступление»...[615]

Очень было приятно получить весточку о нелепом Джоне. Придется примириться с его отказом от переписки. Очевидно, и ему лучше не писать, чтобы его не беспокоить.

Пока пишу рецензию, почитываю кое-что (не мог оторваться от интереснейшей книги — немецкой — о Достоевском; когда увидишь Голованя, спроси его — не еврей ли Мейер Грефе: не мог же немец написать такую книгу о Достоевском; а еще: нет ли у Вл[адимира] Ал[ександровича]* его книги о Ван-Гоге?), набрасываю схему «немецкого заказа»... Но вот что странно: не могу вставать так рано; раньше 8 ч. не подымаюсь.

Крепко целую. Поцелуй Алю, Славу и Макса.

Твой Саня.

Д. 10. Л. 266—267 об.

866

Понедельник, 19 июля

А[лександр] Г[ригорьевич] уехал в город. Я просил его сказать тебе по телефону, что книги Платонова о Петре В[еликом] дома нет.[616] Я ее перед отъездом отдал, кажется, Лаврову. А кто это за ней заходил — я не знаю. Тут мне очень недурно и явно полезно, хотя и не купаюсь (к удивлению А[лександра] Гр[игорьеви]ча). Но, дорогой мой Юлек, минутами тоска нападает. Думаю, что этого не было бы, если бы ты была со мной, если бы и ты отдохнула. А так как-то на душе и не легко, и не спокойно. Да и будет ли еще — легко и спокойно, хоть ненадолго? Ну, не надо так...

Я достаточно много гуляю. И легко ходится. Леса тут большие и очень красивые дороги и уголки. То, что я писал об однообразии, — неверно, стоит только подольше походить по разным дорогам и в разные стороны. <...>

Вчера А[лександр] Г[ригорьевич] пошел было с нами, т. е. он, я, две Рооп, живущий у них мальчик Алеша Пиленко (не очень приятный), еще одна учительница (кажется — химичка) и юный сеттер (очень забавный), по имени Руслан. Но А[лександр] Гр[игорьевич] недалеко ушел — и вернулся домой, а мы продолжили довольно большую прогулку по лесным дорогам (на «Пятую гору» без А[лександра] Гр[игорьевича] решили не идти). По дороге — в лесу, особенно на порубках — масса земляники, крупной и спелой. Ее тут много приносят, каждый день, по 20 к. фунт. И едим ее каждый день.

На прогулке Марго Рооп расспрашивала меня про всех сыновей, весьма обстоятельно, чем они интересуются, что делают, что дальше думают делать. И про своих рассказывала. Оказывается, что эти Рооп — родные племянницы архиепископа Роопа — католического аскета, который теперь живет в Варшаве в намеренно скудной обстановке. А их отец, его брат, инженер, старик 70 лет, оптировался было в Польшу, съездил в Варшаву, ничего там у него не вышло, как-то вернулся, отказавшись от оптации, но его все-таки выслали. <...> У них было имение в Копорье и там какое-то пристанище осталось и тоже какая-то тетка живет.

---

* В. А. Голованя. — *Примеч. ред.*

По словам А[лександра] Гр[игорьеви]ча, эта Марго Рооп — самая надежная его помощница и много облегчает его хлопотливую работу.

Спасибо за присылку книги (вовсе не той, какую я ожидаю) и особенно сапожных принадлежностей: это очень кстати. Думаю устроить и здесь стирку белья.

Зовут чай пить. Прощай, Юлек. Крепко целует тебя твой Саня.

Д. 10. Л. 268—269 об.

1927

867

4 февраля (8 ч[асов] у[тра]) (№№ 1, 2)*

Вчера, дорогой Юлек, никак не смог написать. Ехали мы вдвоем в купе, много болтали с С[ергеем] Ф[едоровичем] — т. е., вернее, он почти все время говорил о себе, точно торопился все свое личное (и настроение, и работу, и Академию, и личное) высказать. С вокзала — трамваем. Ну, тут встретили и приняли меня, как всегда. «Дело» отнюдь с ними не кончено; обвинение — еще в ходу, но пока не ясно, когда все выяснится, какой оборот оно примет. Напившись кофе, отправился к Петрушевскому и еле ушел от него, так он меня радушно принял, много расспрашивал и рассказывал. Условились, что во вторник в 10 утра я буду в заседании Коллегии здешнего института и доложу свои дела. Зашел к Сыроечковскому поговорить об издательских делах; вечером Сыроечковский пришел к нам — предупредить, что для этих издательских дел надо будет в среду в 8 ч. вечера собраться с Куном к Козьмину, редактору «Каторги и ссылки». Сегодня зайду туда в контору — обещают заплатить.

От Сыроечковского пошел к Кунам. Обедали в 3 ½ часа. У них еще брат В. Н. Куна тоже живет. Пришел К. А. Ленский, приехавший также на съезд.[617] От него я узнал, что съезд открывается только завтра (во вторник) утром, а сегодня мне только надо зарегистрироваться. Вечером пришел к ним Сер[гей] Фед[орович], посидел довольно долго, был в ударе, много интересного рассказывал. Они с Сыроечковским ушли рано, часов в 9, а мы в 11 ч. легли и вот наутро тебе пишу. Сегодня пойду на регистрацию, потом в издательство «Пролетарий» к Анатольеву, потом в редакцию «Кат[орги] и ссылки». Постараюсь сегодня же побывать у Лужских и Гливенок. Съезд закончится только в воскресенье, так что я приеду только в понедельник; хотя в воскр[есенье] будет заключительный банкет, но я думаю, что с него сбежать можно будет.

---

* Письмо написано на двух почтовых карточках, пронумерованных А. Е. Пресняковым при отправке.

Пока все. Если можно, сохрани некролог Рожкова, написанный Покровским, в Веч[ерней] Красн[ой газете]. <...>

Д. 10. Л. 283, 285

868

7 февраля (№ 3)
2 $^1/_2$ ч[аса] дня

Сегодня, дорогой Юлек, я зарегистрировался в бюро, получил делегатский билет и книжку «Спутник делегата съезда» с программой и тезисами докладов.

Оттуда поехал в контору «Каторги и ссылки» и обеспечил себе получение гонорара в среду. Это почти напротив помещения съезда, так что легко будет зайти в назначенное время. По соседству зашел к Перете Але[ксан]дровне, приняла меня, как родного, расспрашивала о тебе и обо всех. Я про Алю рассказал ей, и про Лару, и про Гутика дела; она мне про своих и про дела МХАТа, где Вас[илий] Вас[ильевич] отказался от администрации, так что теперь всем делом управляет К[онстантин] Серг[еевич] Ст[аниславский]!! А потом пришел домой и тебе пишу. Вечером к 8 ч. надо будет сходить в Исследовательский институт на доклад и повидать кое-кого. Удивительно, как бодро чувствую себя в московском климате: мягкий морозец, тихо.

Твой Саня.

Д. 10. Л. 284

869

9 февраля (№ 5)
7 ч[асов] у[тра]

Вчера утром я к 10 отправился в Исследовательский институт. Докладывал свое дело. Коллегия приняла список действительных членов (11 ч[еловек]), дала указания, как свести число наших научных сотрудников I-го разряда с 30 на 27; обещала выхлопотать 300 р. на первые нужды, требуя моего вторичного приезда с докладом о научных сотрудниках. В пятницу утром все это будет доложено президиуму Ассоциации (куда и меня вызывают). Это сообщи Борису Ал[ексан]др[овичу], а он пусть Тарле доложит. Труден вопрос об академиках (ввиду капризной двойственности настроений С[ергея] Фед[оровича]). Пока я их оставил в стороне — под видом, что не имею их согласия. А Тарле соврал, говоря, что академики — обязательно сверхштатные (Богословский — штатный). Это тоже сообщи Б[орису] А[лександровичу]: пусть сообразит, что это означает, т. е. действия Е[вгения] В[икторовича].

А еще у меня путаное дело с редакцией «Книги для чтения» по русской истории, от которой решил отказаться: тутошние настаивают, уверяя, что будут меня в Москву вызывать для связи с московскими сотрудниками! А мне с ними нечего делать. Буду настаивать на отказе. <...>

Потом — съезд, неинтересный съезд. Видел Гливенку. Он все время на съезде — с 9 до 1 ч. и от 3 до 7. Вечером опять был в Исследовательском институте на докладе профессора Егорова. Оттуда пошли к Яковлеву (С[ергей] Ф[едорович], Богосл[овский], Любавск[ий], Готье, Бахрушин, Богоявленск[ий], Егоров): вечер с московскими историками. Сегодня — съезд, редакция «Каторги и ссылки» в перерыве, опять съезд. А вечером издат[ельские] дела с Куном и Сыроечковск[им] у Козьмина. Когда вырвусь к Елиз[авете] Борис[овне], не знаю, верно, завтра. Пока прощай, дорогой Юлек.

Отдай в починку мои сапоги!

Твой Саня.

Д. 10. Л. 293, 292

870

9 февраля. 6 1/2 ч. (№ 7)

Сегодня, дорогой Юлек, я взял билет на субботу, 9.30. Значит, в воскресенье утром буду дома. Съездить было и хорошо, и нужно. Но довольно, оставаться на воскресенье не стоит. С[ергей] Ф[еорович] уезжает в пятницу. Сегодня мы с ним осматривали толстовский музей. В нем служит один из младших Шохор-Троцких, с которым мы с С[ергеем] Ф[едоровичем] вели разговоры об отношении между Московск[им] и Ленинградск[им] толстовскими музеями. Потом я съездил в Наркомпрос к Елиз[авете] Бор[исовне].[617а] Она взялась говорить с Крупской, но просит прислать ей подробный curriculum vitae Елиз[аветы] Ник[олаевны], т. е. педагогической работы, и особенно работы в советское время, а также записку о ее теперешнем положении.[618] Это я сделаю, когда вернусь, посоветовавшись с А[лександром] Гр[игорьевичем]. Елиз[авета] Бор[исовна] очень, конечно, дружески меня встретила, выглядит отлично, по-видимому, вполне довольна своим положением. Пока — все. Крепко целую.

Гонорар получил — 35 р.

Твой Саня.

Д. 10. Л. 291

871

10 февраля. 8 ч. утра. (№ 8)

Итак, дорогой Юлек, билет в кармане. <...> Покупка ж. д. билета дает человеку прочное самочувствие, уверенное положение. Действует, как добрый балласт на судно. Москва, Москва, но, кажется, отсюда меня редко как* тянуло домой, как теперь. Будь я суеверен, я подумал бы, что дома что-нибудь неладно, тем более, что никакой весточки нет. Ну, надеюсь, что у тебя все обстоит благополучно. Но у меня какое-то беспокойство о тебе. И даже погода в Москве испортилась. Сильно морозит и с ветром. В воскресенье буду дома. Если Ал[ександр] Григор[ьевич] в городе в воскресенье, нельзя ли условиться, что мы к ним съездим или он к нам? А на вечер, если это тебе удобно, нельзя ли мне заказать Б[ориса] А[лександровича] Романова? М[ожет] б[ыть], обоих на вечер? Они друг с другом давно не видались. Пореши, как хочешь. Хлопот в Москве много. И все «ответственные». Не хочешь ли в Москву переехать? Есть возможность, говорят так.

---

* Так в тексте.

Крепко целую. Твой Саня.

Д. 10. Л. 290

872

10 февраля. 8 ч. у[тра] (№ 9)

Вчера, дорогой Юлек, вечером мы с В. Н. Куном пошли к Козьмину, редактору «Каторги и ссылки», был еще самый интересный из учеников М. Н. Покровского — Мильман. Спланировали еще один сборник о декабристах, который выйдет только, впрочем, к осени (моего там ничего не будет). Весь вечер просидели за разбором собранного материала статей. Вернулись к 12 ч.

Я долго не мог заснуть, часов до 2-х. Москва на этот раз не дала мне обычного отдыха. И съезд, и институт, и редакционно-издательские дела, все дела и время — по расписанию. А приехать надо было: деловая вышла поездка. Сегодня вечером первый раз буду, кажется, свободен. Да и то, м[ожет] б[ыть], позовут к Богословскому. Назавтра объявили мой доклад в комиссии о декабристах — но я отказался, так как буду у Готье. Крепко целую.

Твой Саня.

Д. 10. Л. 289

873

11 февраля. 7 $^1/_2$ ч. у[тра] (№ 11)

Вчера, дорогой Юлек, я получил твою открытку. Очень я ей рад был и Эрвину прочел. Кстати, это было потому, что у меня тут большое огорчение. М. Н. Покровский отложил заседание Президиума Ассоциации Исслед[овательских] институтов, где я должен доложить дело нашего института, на понедельник. Говорил я и с ним, и с Волгиным, и ездил к Петрушевскому, нельзя ли без меня; все находят, что лучше остаться, что нужно мне самому докладывать. После долгих и странно-тяжких колебаний я решил послать тебе телеграмму. Надеюсь, что сумеешь предупредить университет по телефону канцелярии Ямфака и пед. инст[итут] по телефону 5 40 10 или другому, что я вернусь только во вторник. А, кроме того, выйдет и расход лишний, так что я тебе только 30 р. привезу. Кажется, ничего не трачу особенного, а деньги уходят. Придется и банкет проделать — по 2 р. с человека. С[ергей] Ф[едорович] уезжает сегодня, обедаю с ним сегодня у Готье. Крепко целую.

Твой Саня.

Д. 10. Л. 288

874

11 февраля. 2 ч. дня (№ 13)

Дорогой Юлек, я в перерыв между двумя заседаниями съезда вернулся в Трубниковский, и хочется поболтать с тобой. На съезде атмосфера сгустилась и стала тревожной: попытки высказать многое против Наркомпроса в защиту науки и ее поддержки — смяты усилиями официальности и выродились в ряд разрозненных выступлений, иногда резонных, иногда беспомощных. По моему впечатлению, обе стороны в тупике, из которого вылезти трудно, прежде всего по крайнему недостатку средств. Я ушел с заседания, чтобы съездить переменить ж. д. билет на понедельник (получил 2-й вагон, место № 5), вернулся к концу еще послушать, записался на банкет, а потом ушел сюда и тебе пишу. Надарили мне книг, трудно будет везти.

Может быть, на второй сеанс не пойду. Утомительно все это. Хотя, может быть, надо пойти, чтобы быть в курсе всех оттенков положения. Итак — до вторника. Завтра еще напишу — последнюю.

Твой Саня.

Сдай в починку мои старые сапоги.

Д. 10. Л. 287

875

12 февраля. 6 ½ ч. у[тра] (№ 14)

Эта открытка рискует приехать к тебе вместе со мной или после меня. По-видимому, остаться на понедельник было неизбежно, хотя это и убыточно, да и тягостно. <...> На съезде вчера были «номера»: изящная, свободная речь Орбели и блестящая, резкая речь Ольденбурга. Ленинград вообще проявляет столичные по качеству силы, а Москва, нарядившаяся столицей, — провинциальная салопница. Это факт.

Обедал я у Готье с С[ергеем] Ф[едоровичем] и Богословским. С[ергей] Ф[едорович] сегодня уехал, весьма нежно со мной простился, хотел по приезде тебе звонить! В Москве (на 3 недели) А. И. Заозерский, но я его не видал.

А со мной (неофициально и приватно) заговаривают о переезде в Москву, от чего я отказываюсь, и о поездках в Москву по 2 раза в месяц, от чего я не отказываюсь, но ставлю денежные условия: не меньше 250 р. в месяц. Ясно, что из этого ничего не выйдет. До скорого...! Крепко целую.

Твой Саня.

Д. 10. Л. 286

ДНЕВНИК[619]

1889

1) **17 июня**. Последние тифлисские впечатления были чудные: это игра Пановой. Я видел ее всего 4 раза — в «Сюлливане»[620] (Лелия), в «Княжне Мане» (Маня), «Фрице»[621] (Сюзель) и «Неклюжеве»[622] (Наташа). Как жалок Ленский со всей его изящной школой перед ее искренней, задушевной игрой. В «Кн[яжне] Мане» Ленский еще поддерживал тон; объяснение их вышло так естественно, просто и тепло, что впечатление было сильное. Но «Наш друг Неклюжев» был днем Пановой. Ленский (бенефициант) стушевался, исчез, его мало замечали. Сцена объяснения вечером в саду была лучшая у Пановой и самая неудачная у Ленского.

Вечером после «Неклюжева» ужинали в «кружке»,[623] почему на другой день, день отъезда, у меня трещала голова. Выехали из Мисхора в полов[ине] 11-го утра. Дорога была очень удачная: тепло, не очень жарко. Целканы — Душет — Ананаур (замок арагвских эриставов) — Ущелье Черной Арагвы — Пассанаур (инжен[ерная] церковь) — Млеты — в Млетах ночуешь.[624]

2) **18 июня.** Воскресенье. В пол[овине] 1-го выехали из Млет; дорога круто идет в гору, туманно. Гудаур. Высшая точка — на первой версте от Гудаура, 130-й — от Тифлиса и 70-й от Владикавказа — ущ[елье] речки Белой — Завалы — Коби (сходятся реки: Белая, Коби и Терек) — Кислые источники — ущелье Терека — селение Сион — Казбек. Дарьяльское ущелье величественно, но мертво, безжизненно, некрасиво. Ларс Балта. Под Владикавказом местность меняется: зелень, лужи, болотца — все имеет другой характер, мягкость тонов и очертаний приятно действует после Кавказа. Нет, тут в России и природа лучше!

19 июня. Владикавказ — Ростов.

20 июня. Пароход «Император Александр III». Аксайская станица — Старо-Черкасская (12 ч. 15 м.), Арпачин (1 ч. 40), Маныч (2 ч. 10), Багаевская (3 ч.).

Удивительные оттенки на реке, в воздухе, на берегах — перед дождем, во время непродолжительного дождя и после оного. Мелиховская *3)* (6 ч.); Семикаракоры (9 ч. 15 м.) — Константиновская (ночью).

21 июня. Николаевская (6 ч. 47), Мариновская (8), Командовская (11 ч. 5), Цимлянская (1 ч. 50). Играл с полк[овником] Гауфельдом и получил три мата. — Филипповская (5 ч. 55 м.) — Нижне-Курмаярская — Верхне-Курм[аярская] — Потемкинская.

22 июня. Нижне-Черская (9 ч. 30) — еще три мата. Калач (3 ч. 30) — женский монастырь — купанье. Тихий вечер; на реке кто-то поет: совсем идиллия. Из Калача 8 ч. утра.

23 июня. Царицын — 11 ч. 50. Столичная гост[иница]. Жара, комары!!!

24 июня. «Дмитрий Донской» (3 ч. 40) — Волга — Дубовка (4 ч.), Камышин (4 ч. утра).

25 июня. От Щербатовки — столбичи — обрывы по правому берегу. Миллион бугров Ст[епана] Разина. Золотое (1 ч. 10). Столбичи прекратились — оба берега ровные. Ровное (4 ч. 25) выход, стоянка — 2 часа. Нагорный правый берег. Ахматовка (4 ч.). Вечер, заход солнца, лучшее время — сумерки. *4)* Раковка (8 ч.) красивое село. Сосновка (8 ч. 20) — немецкая колония с 2-хэт[ажной] кирхой. Цвет воды, как на картине Лагорио «Неаполитанский залив». Темнее. Замечательное богатство оттенков; выпуклая поверхность воды отливает всеми цветами с металлическим блеском...

Саратов (11. 30).

26 июня. Екатеринштадт (7 ч.) — Вольск (11 ч). Широкая, гладкая поверхность воды, сильно освещенная солнцем; в сияющей воде резкое отражение берегов, небольшой маяк. Кирса (11 ч. 40) — Балаково (12. 45) — Хвалынск (5 ч. 15) — на рукаве.

Тишь.

8 час. Идем у левого лесистого берега. Правый, нагорный, вдали синеватыми пятнами обрисовывается на небе, окрашенный последними лучами заходящего солнца. На Волге попеременно: розовые, голубые, синеватые отливы. Еще довольно светло, отражения берегов в воде ясны, отчетливы. Все тихо, покойно... Лунная ночь.

5) Сызрань (12 ч. 30).

27 июня. Самарская лука... Ровные, лесистые берега, сильно освещенные.

Самара (10 ч.). Стояли 4 часа. Город красив с Волги, круто поднимаясь прямо от воды. Собор Александра Невского (недоконч[енный]) с варяжскими куполами, театр небольшой, вокзального типа (с башенками). Монастыри, дача Аннаева. Выше Самары, на левом берегу Соколовские горы, а справа Серная гора, образ[ующая] Самарские ворота.

Жигули сплошь покрыты лесом. Благодаря им Самарская лука — самая красивая часть Волги.

Марквашинский буерак (7 ч.) — Отважное — Жигулевская труба.

Ставрополь (1 ч. 45 — 8 ч.). Не видно от пристани реки. Ус-Молодецкий камень. Заход солнца.

28 июня.

Симбирск (7 ч. 30 м. — 10. 30). Не видел.

Жара!

Час. Оба берега плоские, левый лесистый, правый то песчаный, то покрытый светло-зеленой *6)* травой. Тихо. То и дело попадаются уютные уголки, особенно в тени левого берега. Лесок появляется и на правом берегу; песок и трава — на левом. Картина все та же мягкая, широкая, облитая солнечным светом. Какое неотразимое впечатление производит невозмутимое спокойствие реки, тишина, мягкость тонов и очертаний. Только такая природа и может вполне поглотить человека, охватить своим настроением его всего; тут-то искать отдыха, умиротворения; но мягкость и спокойствие такой природы расслабляет: руки опускаются — разве можно горячиться, увлекаться, когда кругом все так покойно, ясно, хорошо?

3 часа. Водораздел (на пр[авом] берегу) между Волгой и Свиягой. 5 ч. На берегу часовня Петра и Павла (явленная икона). Толпа народу ждет крестного хода, разбросавшись в зелени. Красные рубахи, цветные сарафаны образуют эффектные пятна на берегу.

7) 5 ч. Тетюши. Тетюшские горы — глинисто-известковые, в верхней части розовые, внизу с белыми и розовыми разводами. Сикева — алебастровая каменоломня. Спасский затон. Впадение Камы (11 ч.).

29 июня. Казань (6 ч. — 10 ч. 15 м.). Город в 4-х в[ерстах] от пристани. Казань вовсе не носит азиатского характера (кроме татарских физиономий), а скорее напоминает Москву.

Сундырь (5 ч. 40) — Чебоксары (8 ч.) — масса церквей. Козьмодемьянск (12 ч. ночи). Боже, как я был глуп сегодня ночью и угрюм! Впрочем, не я один; трудно решить, кто из нас оказался глупее; однако я потерял тем, что не сохранил апломбу.

10 ч. утра Макарьевский монастырь.* С. Лысково, Исады.

Нижний Новгород (4 ч. 30).

Лучший вид на Нижний от памятника Минину и Пожарскому (жалостный обелиск). Отсюда открывается широкий, необъятный вид на ярмарочную сторону, на слияние Оки с Волгой и далеко, далеко за Волгу; только уходящий в синюю даль горизонт ограничивает картину. Сюда *8)* подходят слова «Кумы»:[625] Глянуть с Нижнего, со крутой горы, etc. И в самой тебе та же ширь да гладь... Общего вида на город нет ниоткуда: он слишком разбросан. На нагорную часть лучший вид со стен Кремля.

Скверный сад «Медведь» и проливной дождь!

Из Нижнего в 10 ч. в[ечера].

Июня 30. Под Москвой виды убогие, однообразные. Мелкий лес, все береза да осина, осина да береза, иногда молодые сосенки; не веселая, не симметричная картина.

Москва (10 ч.).

1 июля. Кремль — Ив[ан] Великий. Успенский и Архангельский соборы.

П. П.[626] юридического факультета не одобряет, практические результаты от него находит невозможными, как и я; а теоретическую сторону сопоставляет со словом «фьюить» и думает, что [ее] у нас нет и быть не может.

2 июля. Ф. Ф. Крахт юридич[еский] факультет тоже не одобряет (пока никто не одобрил) и советует *9)* правоведение. <...>

---

* Здесь и далее подчеркнуто А. Е. Пресняковым.

3 июля. Храм Спасителя — штука изящная, лучше, чем я думал. Вся живопись нежная, матовая. Лучшие вещи: Саваоф (Маркова) — с добрыми глазами, на хорах: в сев[ерном] притворе (Св. Николая): 3 собора Творожникова, 4 соб[ора] Сурикова; картины Вл. Маковского «Милостыня Св. Николая», «Посв[ящение] Св. Николая в иереи» Прянишникова, «Св[ятой] Николай остан[авливает] казнь» и «Чудесное спасение от бури», 2 кар[тины] Бадаревского.

Лучшая — «Милостыня». В юж[ном] притворе: Прян[ишникова] «Освящение Св. Сергием Троицкой лавры» — хорош жанр; В. Маковского «Явл[ение] Богородицы св. Сергию» — неважная; Семирадского 4 кар[тины] из жития Ал[ександра] Невского.

10) **4 июля.** Обстоятельный осмотр Третьяковки. Что за прелесть Поленов!

5[июля]. Постоянная карт[инная] выставка по случаю летнего сезона представляет весьма жалостный вид. Недурны Клевера «Закат солнца в лесу», Лепори «Эльбрус» и «Константинополь», Поленова этюды «Еврей», «Еврейка», Маковского «Хохол», Сурикова «Головки» (для карт[ины] «Меншиков в Березове») — это младшая дочь, кот[орая] у ног отца, но тут она блондинка; Лепория «С высоты».

6 июля. Получил шахматы.

Из Москвы в 3 ч. 30 <...>

7 и[юля]. Петербург (10 ч. утра).

8 [июля]. Написал письмо Шенгеру.

Петербург мне решительно не нравится: жалостные памятники, плохие дворцы, ни одного красивого здания — скука.

<...> *11)* **15[июля].** Прянишников организовал в Киеве товарищество (взяв все расходы на себя). Прогорит он, как всякий «человек с пламенем», а нареканий на него много, не только со стороны всякой шушеры à la Буква, а и от людей знающих, людей, безусловно хороших. Дикое, хотя обыкновенное дело. По-моему, так мало людей, которые живут для чего-то вне своей личности, кот[орые] любят дело, как он, что таким дорожить надо. Обидно не за него, а за тех, кто против него; зачем они поддаются мелким и нехорошим побуждениям. Впрочем, многие не согласятся, что он такой. <...>

12) **20 [июля].** Записался в Университет.

21. Ничего. <...>

24 июля. Ездили в Лигово. Вечером — Ботанический сад — скверное немецкое царство.

25[июля]. Глинка для серьезного знакомства с музыкой советует Глюка, Баха и Генделя. Как бы было славно *13)* познакомиться с музыкой систематично. Да это невозможно для немузыканта. Жаль, что Глинка не высказывает полнее своих взглядов.

26 июля. В Аквариуме оркестр много лучше Павловского, да и Энгель лучше Лаубе. Увертюра Бородина к «Кн[язю] Игорю» — прелесть, лучше Руслана. Начинается широкой темой [элемент Игоря],* потом вступает песня и т. д. Местами замечательно арии аккомпанемент — гаммами. Гайдна «Lareso» из 5-го квартета — певучее и красивее — в струнной оркестуре очень хорошо. Особенно эффектно, как тема переходит в контрабасы. <...>

---

* Два слова вписаны над строкой.

27 июля. Александро-Невская лавра. Могилы Глинки, Бородина, Мусоргского — художественные памятники. Даргомыжского могила простая, даже бедная, но славная: белый крест под двумя березками. *14)* Серова — такой же крест.

Как хорошо, сильно написаны письма Бородина. Жизнь, увлечение так и бьют ключом; интересно бы познакомиться с музыкой пресловутой кучки. Я начинаю верить, что они, пожалуй, и впрямь преемником Глинки. Дело, которому преданы такие люди, не может быть фальшью. За них Лист (его симфонические вещи я не знаю, а котлетные транскрипции и венгерские штуки... брр!) и немцы, а немцы кое-что в музыке смыслят.

28 июля. Досадно, что нельзя в Павловск: Лаубе «Ифигению» Глюка[627] играет.

Стасов находит, что «Власть тьмы» — «просто шедевр, Шекспир»; решительно у него масса истинного чутья.

29 июля. <...> Купил книжку и привожу в порядок всю ерунду, которую читал и выписывал о живописи. Надо или сделать это, или выкинуть все клочки и листочки, *15)* которые накопились в бюваре, да еще карандашом! Да и больно соблазнительна мысль Ренана сопоставить иудейство и эллинизм как две главные стороны духовного развития. Мысль верная и очень плодотворная; из нее можно много почерпнуть для истории искусств и истории общественной. <...>

31 [июля]. <...> Слушал в Аркадии Гугеноты,[628] труппу Рауля Гинсбурга. Шла опера очень хорошо; гладко, чисто, отчетливо. Солисты, кроме безголосого Шевалье, пользующегося огромным успехом, и баса Далена (Марсель), — хороши. Renaud-Heber — очень хороший певец, с красивым голосом, уверенный, отличный. Бусса слишком эффектничает, доходит до абсурда. Впрочем, эффектничают все французы бессовестно. Игра целиком внешняя. Замечательна французская манера петь, *16)* «подавать» каждую ноту отдельно. Рено, для большей отчетливости, от усердия даже головой мотает. Из дам лучше Дюфран: с огнем, играет искренне, хотя и то много внешнего, поет энергично, голос очень красивый. <...> Хоры невелики, но сравнительно с ними оркестр еще меньше. <...>

18) **19 августа.** Бетховенской Леоноры[629] и увертюры Игоря не слыхал — Valse Рубини на рояле лучше; Энгель сыграл его по-штраусовски и опошлил; Шуберт Ave Maria красиво. <...> *19)* Капитальная вещь — «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, оконч[ена] Рим[ским]-Корс[аковым] в 86 г. Начало: «подземный гул нечеловеческих голосов, появление духов тьмы и вслед за ними Чернобога и черная служба, <...> завывания флейты, фраза медных, несколько раз повторяемая, ансамбль; но еще лучше конец: «в самом разгуле шабаша раздаются удары колокола». Духи разбегаются. Утро.

21—22 [августа]. Ничего.

23 [августа]. Записался на лекции; дело швах. Программа случайная, специальная — не то.

<...> **24 [августа]**. Экая голова! До сих пор толком не подумал, куда меня несет. Прав ли я был, не заботясь о практических результатах учения, о так называемой «деятельности» и толкуя об «учении для учения»? Оно, может, недурно *20)* выходит, да бесцветно и фразисто. Что это за «образование»? Приехал и наткнулся на странную,

какую-то случайную программу. Что из нее выкроить? Особенно не зная, чего нужно. Это что-то на пустозвонство смахивает и приводит к грустным заключениям. 19 лет прожил и ни к чему! Сидишь, как рак на мели, и не знаешь, куда двинуться. Счастливы люди, которым все трын-трава, идут за другими и знать ничего не хотят. А я все мечтаю, что мне не того нужно, что этого я не понимаю, что мне этого мало. Мало! Что за самомнение! Однако все это прекрасно, а решение нужно; бессознательно, «так» ничего не выйдет, руки опустятся. Подожду, не набежит ли откуда-нибудь эта самая сознательность! Господи, как пусто на душе, до слез; а чем эту пустоту наполнить? Вдруг — ничем? Это несносно. А вдруг и сознание пустоты исчезнет? Брр...! придет *21)* же гадость в полоску!

Во всяком случае задача ясная: нужно дело, не какое-нибудь, а такое, каким бы я увлекся, как увлекаюсь, ну, музыкой или чем там еще. В этом весь вопрос.

25 [августа]. Пока что, а музыки не упускаем. В Аквариуме «Антар» Римского-Корсакова.[630] Начало: тема, изображающая Пальмиру; красивая тема переходит в характеристику Антара — разочарованность, однообразие, какая-то прозрачная монотонность — в спокойную, расплывающуюся, но характерную музыку врывается массаж скрипок — это бег газели. Подвывания флейт и рожков — страх: газель бежит от черной птицы (духовых). Убив птицу, Антар остается один, повторение начала — чертоги Пери. Тут я не разобрал, в чем дело. Конец опять в разв[итие] Пальмиры. Музыка первой *22)* части в высшей степени поэтическая, но не такая оригинальная, как я думал. Впрочем, не знаю, оттого ли, что я ловил знакомые темки, или оттого, что так уж написано, — но цельного впечатления я не поймал, все кусочки. Следующие две части проще по музыке. Вторая — сладость мести — интереснее. Ее характеристики — тревожное crescendo струнных, завершающееся грозными повторениями темы Антара. <...> Третья часть — сладость власти — изображает, вероятно, азиатски-роскошный двор: музыка легкая, похожая на танцы, но очень красивая и роскошная трактовка. *23)* Четвертая часть имеет много общего по колориту с первой. <...>

26 [августа]. Отчего я везде зеваю от разговоров в гостиной, кроме Павловска — что тут особенного? Кажется, ничего, а хорошо. Равнина около ж[елезной] дороги наполнена туманом, стелющимся по земле, нигде ничего, кроме тумана, не видно; но небо чистое и только на горизонте — облако. Точно иллюстрация к Мильтону.

27 [августа]. Гатчинский парк. Очень красивые оттенки получил парк осенью; особенно клен, окрасившийся в желтые, лиловые, красные тоны.

24) **28 августа.** <...> Чайковского увертюра «1812 [год]» — тяжелая, деланная вещь.

30 [августа]. Мои именины <...>

1 сентября. Сергеевич обещает очень много. Вступительная лекция Лесгафта, фразисто, но умно. «Руслан», чудесный «Руслан», идет тут не так, как я ждал. Очень хороши: оркестр, хоры (особенно женский) и Мравина. В оркестре я заметил совсем новые места, например, аккомпанемент к «Полю»; женский хор удивительно вступает в «Чудном мгновении», которое вообще не вышло, *25)* беззубый Мельников тут подвел; но арию «О поле, поле!» он начал очень хорошо. («О Людмила!» — неважно). Мравина прелестная Людмила; особенно удачно выходит обращение к Фарлафу в 1 акте; поет она очень чисто, хотя ее небольшой голос как-то странно звучит (к ней идет сравнение с колокольчиком). Славина была бы вполне хороший Ратмир, если бы ей голос основательный. <...>

Я не знаю, что со мною делается, только делается что-то неладное, во-первых, постоянно зол на себя, так что *26)* плюнуть хочется, а иной раз до слез больно, хотя физиономию ухитряюсь сохранить собственную.

21 октября. Период мракобесия, по-видимому, кончился, хотя я с места все-таки не сдвинулся. Юридический факультет надо бросить неукоснительно; тут мне делать нечего; конечно, только на филологический можно перейти. Ну, а там видно будет. <...>

4 ноября. Подписался на Пам[ятники] лит[ературы] и прочел Бомарше. Жизнь, блеск, одушевление, дух захватывает! <...>

31) **12 ноября.** Какая жалость оркестр музыкального общества в цирке под управлением Зике — рыцаря печального образа. Но пойти все-таки стоило, чтобы слышать «Фауста» Ленау Листа.[631] Первый эпизод необыкновенно хорош. Образность тут поразительная; сперва ландшафт; затем шествие, настоящее шествие, такое же «наглядное», как глазуновское. А лучше всего плач Фауста: когда шествие исчезает вдали и уже пропал последний луч факелов, Фауст один в темноте, припадает к гриве своего коня, обнимает его шею и плачет такими горючими слезами, каких никогда еще не проливал во всю жизнь свою. *32)* Когда замирают последние звуки «шествия» и печальный Gerr Зике делает паузу, то английский рожок начинает плакать так горько, что что-то к горлу подступает. Зато вальс Мефистофеля и наполовину не оправдывает ожиданий, если половину эту отнести за счет Зике, то пожалуй... <...>

33) **Декабря 3-го дня.** Мендельсоновская a dur* — препротивная: только вторая часть начинается не мендельсоновской, а русской темой. «Пленник» Кюи прескучен, хотя переделан «в 1882 г.».[632] Григорович молодец на фокусы. Антракт. В оркестре появляется широкая крупная фигура с окладистой бородой и чисто-русским, предобродушным лицом, берет палочку и твердо дирижирует своей «Орестейей».[633] Орестейя похожа на Танеева, как стулья Собакевича на самого Собакевича: широкая, могучая и в то же время мягкая; начало, где нужно изобразить злобу и месть, — хорошо, но сочинено; зато как дело идет к торжеству светлого начала, музыка все лучше, захватывает и увлекает. Совсем хорошая вещь. Ромильи Фигнер поет плохо, эффектничает в ущерб музыкальности. Patrie — плохи. <...>

35) **17 декабря.** Четвертое симфоническое соб[рание]. Играл Рубинштейн. Удивительно сыграл удивительный концерт Бетховена. Первая часть Allegro moderato** — рояль составляет одно целое с оркестром, да еще Рубинштейн сам головой дирижирует, так что поневоле внимание не раздваивается; но в начале второй части — Andante*** — рояль и оркестр составляют дуэт. Рояль, под пальцами

---

* Ля-мажор (*итал.*).

** Умеренно-быстро (*итал.*).

*** Быстрой (*итал.*).

Рубинштейна, поет небольшие, страшно грустные мелодические фразы, на которые оркестр отвечает грубыми подергиваниями скрипок; пение рояля невольно сливается с фигурой самого Рубинштейна; он играет спокойно, но его дряхлая голова как-то странно идет к грустным звукам. Мне чудилась какая-то борьба этого печального старика с грубым оркестром; звуки рояля все нежнее и грустнее... Но затем *36)* фортепианная партия оживляется; рояль (Al[legro] con moto* непрерывно переходит в Rondo vivace**) ведет за собою оркестр все быстрее и быстрее... Старик победил. Фантастическое впечатление еще сильнее от Erlkönigа.[634] Какая известная вещь, и как мало ее понимаешь! Тут прежде всего масса средневекового духа, что-то готическое, затем фантастическая сторона: вечер, буря и мотив романса, изображающий постепенное умирание и бред ребенка. Как изумительно раздалась последняя фраза: в руках его мертвый ребенок лежал... Рубинштейн аккорды повторяет не громогласно, как Рейденауер или Тиманова, а глухо, порывисто, как завывания ветра. Играл еще «Auf dem Wasser zu Singen» и «Valse» List'а.

37) **19 декабря.** Веду что-то вроде дневника, записываю все, что угодно, кроме того, что меня касается. И нельзя сказать, чтобы это время лично для меня ничего не значило; напротив, давно так мало ерунды во мне не происходило. Но записать весь этот сумбур мыслей и чувств совершенно невозможно; это гораздо труднее, чем записывать музыкальные вещи. Тут немало общего: если бы я умел как следует передавать музыкальные впечатления, я справился бы и со своим «сумбуром». Но для этого надо бы иметь необыкновенный эзоповский слог; богатство слога, как изрек, кажется, Бурже, делается «обновляющей силой, почерпнутой в перенесении приемов одного искусства в другое». Передать словами впечатление пласт[ического] произведения живописи или симфонич[еской] картины, хотя бы риторично, значило бы создать свой, необыкновенный слог. Этот-то слог один бы и годился для изображения сумбура ощущений, вызванного нервным брожением. В обоих случаях задача в том, чтобы уловить массу оттенков, переливов, не имеющих ничего общего с миром реальности, но составляющих колорит, а колорит есть все. За невозможностью этого приходится поставить крест на всем личном, а разве что отмечать как вехи, *38)* мнимые результаты. Мое положение — положение человека, воображающего (или чувствующего?) в себе запас какой-то поднимающейся энергии, но выбитого Бог весть чем из уверенности в себе, в том, что что-ниб[удь] значишь, что-нибудь стоишь. Меня упрекали в самомнении, и, кажется, это неправда. Прежде я был просто жизнерадостным балбесом, не ставившим особенно высоко ни себя, ни тех, кто обращался ко мне с такими упреками. Есть люди, к кот[орым] я относился иначе и кот[орым] не приходило в голову такое мнение обо мне. Самодовольного равновесия у меня никогда не было; слишком много самоедства, слишком много теоретичности, в этом вся беда. Она довела меня до того, что я совсем потерял ту «бессознательную самоуверенность», кот[орая] заставляет других не присматриваться вперед, а полагать, что непременно все ладно будет. Настоящая самоуверенность в том и состоит, что люди, говоря: я буду делать то-то, не задаются вопросом: а куда ты годишься, голубчик? Но зато эти люди, не признавая такой самоуверенности, ясно видят и ни за что не прощают другую самоуверенность — ту, кот[орая] на слова: так не делают — отвечает: а я делаю; ту, которая, раз поставив себе вопрос, не останавливается ни перед каким ответом, ни перед каким упреком.

---

* Еще более быстро (*итал.*).

** Живой темп, повторяемый несколько раз (*итал.*).

39) Такой самоуверенностью я бы очень хотел обладать. Я сказал, что мое положение — положение человека, воображающего в себе запас энергии. А потому, чтобы выйти отсюда, мне нужно решиться искренно и спокойно поддаваться своему настроению, своим вкусам, верить, что то, что мне на ум пришло, имеет право на существование, не пугаться упреков в самомнении и оригинальности. Относительно вопроса, чем ты будешь — ставить ответ не так: я полезу в такую-то отлитую форму и верю, что она будет по мне, а я буду по ней, а так: я верю, что, следуя своим инстинктам, я найду себе дело, будет ли это в готовой форме — отлично, а нет — то найду новую, по себе. Это дерзко, не правда ли? Но другого ответа я не хочу найти. Ведь это вовсе не свидетельствует о преувеличенно высоком мнении о своих силах, а просто о том, что человек привык спрашивать и разбирать, а потому не может иметь никакого определенного мнения о том, что предстоит, чего еще нет, условия чего еще неизвестны. Ну, не глупо ли иметь определенное мнение о том, что будет с данным человеком (который *40)* изменился) при даннных условиях (кот[орые] известны только самым внешним образом, и не изменятся) через данный промежуток времени! Однако на такую, единственно верную постановку вопроса смотрят косо; не хотят понять, что в ней вовсе нет претензии на neue Bahnen.* Что просто нельзя судить о том, чего не можешь себе представить, а обманывать себя не стоит. Слова «...то найду новую для себя» вовсе не означают необходимой претензии на что-ниб[удь] значительное; это просто выражение такой мысли: главная суть в самом человеке; если есть в нем, что приложить к делу, то приложение это произойдет по необходимости. И больше ничего.

Я не договариваю чего-то. Как трудно говорить о подобных вещах, добиваясь точности! Дело в том, что вера в себя, т. е. в то, что главное-то — я, а форма, в которую я войду, — дело второстепенное, далеко еще не все. Это дает спокойствие, но не жизнь. А жизнь дается только увлечением. Нужно завлекающее дело, нужна поглощающая цель. Интерес занятий «науки» только суррогат ее и суррогат временный. Его найти не *41)* трудно. А в деле жизни найти «завлекающее дело» гораздо важнее, чем найти «веру в себя». На ту прореху, кот[орая] закрывает последнее, можно просто закрыть глаза, да если есть первая, то ее и не видно, она не возникает перед глазами. Тут тоже, чтобы выйти из лабиринта, надо поставить на веру «мнимый результат», надо верить, что интерес занятий, «суррогат дела» (а он подсказывается инстинктом), приведет к настоящему делу (т[ак] к[ак] связь между ними должна быть самая прямая; впрочем, за это не ручаюсь)... Ну, будет, довольно!

---

* Новые пути (*нем.*).

20 декабря. Вчера слушал «Мефистофеля» — плохая итальянская опера, с претензией на оригинальность. Отчего я не замечал «Снегурочки»? Странное дело. Придется отложить до второго раза, если попаду.

22 декабря. Как Стасов плохо понял Иванова и как дико он рассуждает о религиозной живописи! Несмотря на громкие фразы, что Иванов — Рафаэль и Леонардо да Винчи XIX века, «пересмотренное и дополненное издание старых итальянцев» — он *42)* все-таки находит, что в сюжете Иванова «далеко еще нет того великого мирового содержания, какое приписывает ему художник».

Если даже согласиться, содержание картины можно резюмировать словами: проповедь Иоанна Крестителя и впечатление, произведенное ею на толпу еврейского народа, то еще было бы спорным, можно ли так легко отнестись к подобному моменту. Но это неверно: картина Иванова — картина из жизни Христа, тот момент, когда Христос, выйдя из борьбы, искушенный, уравновешенный и цельный, пошел на проповедь новой жизни; это необходимое дополнение «Христа» Крамского. Я говорю не о выполнении ни Иванова, ни Крамского, а только об идее. Стасов считает выполнение Ивановым этой идеи — не придавая, однако, цены ей — совершенным. «Такого Христа, так[ого] чистого еврея по внешнему виду, но великую, необычайную личность, полную глубины, благости, мысли и чудного спокойствия, тоже никогда *43)* не создавала кисть ни одного другого европейского живописца», — говорит он и в то же время заявляет, что в картине нет «мирового содержания», значит, изображение момента выхода Христа из тяжелого периода борьбы, первого его появления в новом виде перед толпою — не мировое содержание. К сожалению, Стасов, нередко такой чуткий к настоящей правде в искусстве, так и смотрит, в непомерном увлечении исключительно жанром. В чем тут упрек его Иванову? <...> *44)* Перенеся задачу изображения Христа с церковно-религиозной почвы на почву историческую, не умаляя нисколько идеального его значения, Иванов первый в живописи дал содержательное произведение, полное новых идей, нового понятия о высшем идеале человеческом — Христе. Выражение *45)* в образах нового «человечного» понятия о Христе — это результат, кот[орый] имеет значение не только в специальном отделе искусства, — хотя отдел этот едва ли когда потеряет свое высшее значение (опыты Крамского, Мункаччи — достаточно говорят за это, а англичане?), этот результат имеет общее значение для искусства, раскрывая новый путь, на кот[орый] и вступила русская школа, — путь реального, но глубоко содержательного искусства. Было ли тогда что-ниб[удь] подобное на Западе? Не знаю, но в Германии это было время овербековщины и каульбаховщины, во Франции — и до сих пор ничего подобного нет и не ожидается. Увлечение вещь хорошая, но «зачем же стулья ломать»? Чтобы подчеркнуть самобытность и новость русской школы, нужно ли уверять, что Иванов «отрекался от своей картины» и что он «на счет «профессорства» и «заказов» иной раз как будто колебался», ведь факт, что он не писал заказов, несмотря на крайнюю нужду?

46) **22 дек [абря]** вечером.[635] <...> *47)* Высший человеческий идеал может облечься только в человеческую форму. Погоня за воплощением его в исторических рамках — мечта, выполняемая, может быть, но едва ли не лишняя. Отчего не изобразить идеи, каковы бы ни были они, в современной форме? При всей фальши национальная религиозная живопись в основе имела здоровый инстинкт. Если есть жанр критический, то отчего не быть жанру идеальному? Перенести образ Христа с символа на историческую почву, в кот[орой] он создан легендой, есть только переходный момент к отрешению от легенды, к современной нам форме воплощения Спасителя...

48) **27 декабря.** Как приятно бывает встретить где бы то ни было, в людях или в книгах, на самом деле или в воображении, свои собственные мысли, свое собственное настроение! Когда в безостановочном самоедстве дойдешь до того, что сам себя подкосишь, то ничего не ободряет так мысль, как то, что это лишь обычное, при известных условиях, настроение, встречающееся в иную минуту у многих; но встретить человека, характер, в котором невольно узнаешь свой колорит, свои настроения, и не только в общих чертах, а до мелочей, до отдельных мыслей, до взглядов на какие-нибудь ист[орические] факты или житейские случаи, — это неоценимое удовольствие. Что же сказать, когда находишь такое созвучие, подобно тому, как камертоны отзываются на свою ноту, откуда и в каких сочетаниях она бы ни раздалась, — когда найдешь это в писателях, т. е. человеке, которого можно изучить à fond!* Нечто подобное испытал я, читая *49)* этюд Брандеса об Ибсене. Главная наука, которая так меня настроила, — это черта, характеризовавшая отношение к людям, его «теория одиночества». Ибсен был сосредоточенной, скрытой натурой и в то же время производил впечатление задушевности. И это не противоречие, и вот что: Брандес называет Ибсена «пессимистом» и «скептиком» совершено напрасно.

Верующий человек, с романтическим, если хотите, настроением, непременно, по существу — экспансивен. Но представьте себе, что это натура робкая, видя насмешливое или лицемерное отношение со стороны всех и вся к тому, во что хотел бы верить и верить, человек замыкается — не по замкнутости натуры, а против своей воли. И как упорна такая замкнутость, как трудно из нее выйти, особенно, если немногие попытки нарушить ее являются странными недоразумениями, такими минутами, о которых потом совестно вспомнить! Тут является замкнутость сознательная, теория одиночества. «Сильнее всего *50)* тот, кто одинок...». Человек, который неуклонно идет к раз намеченной себе цели, не может иметь друзей: «Всякое сближение с другой личностью, хотя бы в виде товарищества, дружбы или даже брака, представляет серьезную опасность...». Такие афоризмы неизбежно создаются в уме, который больше всего боится потерять то, что ему дорого, под напором «общепринятых мнений», боится видеть свои идеалы захватанными чужими руками, и какими! — теми, которые тоже близки и дороги; которому тяжело слушать пересуды вкривь и вкось о взглядах, ему близких, как тяжело ложится на сердце несправедливое мнение о близком человеке. И вот он заявляет: «Мне всегда довольно чуждо было чувство солидарности; я к нему всегда относился как к чему-то традиционному. Если бы у человека хватило мужества, чтобы совсем отрешиться от него, он, быть может, скорее всего, избавился бы от того балласта, который давил его личность». ...И вот он *51)* хочет твердо поднять голову и идти своею дорогою, хочет, но не может... Какое-то глухое внутреннее чувство говорит ему, что он не прав, «умственный аристократизм», презрительный и самоуслаждающийся, претит ему, он ищет солидарности, которую осудил, ищет соглашения, отрицая компромиссы. Дело в том, что верующая натура всегда экспансивна; отрицая солидарность как компромисс между своим настроением и всеми остальными, она ощущает жгучую потребность в солидарности как общей вере в то, во что она верит. Пропаганда, уяснение истинной веры себе и другим — все ее содержание. Если есть средства удовлетворять этой потребности — то благо ей, а если нет — тогда что? Что может заменить это стремление? Не знаю, но такое положение крайне тяжело.

---

* Основательно (*фр.*).

И как регулировать в таком настроении «обыденные отношения с людьми»? Мнимая замкнутость натуры разлетается в прах от одного светлого *52)* луча, от одного теплого слова; и если кажется, что тебя не только понимают, но поддерживают сердечным отношением, — о, тогда на душе так светло, сил так много; тогда кажется, что находишь необходимую веру в себя, в свои силы и в людей, в их лучшие качества. Пропаганда — вся верующая натура целиком; отсюда неизбежная ее склонность к полемике. Но для полемики — не озлобленной и личной, а соединенной с сознанием, что авось что-либо выйдет, для полемики как орудия пропаганды — надо верить в «благонамеренность» противника, в то, что люди все имеют твою же цель, но только стоят на других точках зрения, что в общих интересах прийти к солидарности, истинной, прочной и сознательной.

Wo ist der Hund begraben?* Чего я «стихи в прозе» пишу? Вчера мы долго ночью сидели danz gemutlich** втроем и говорили тепло и занятно.

53) **29 дек[абря].** Всю жизнь биться из-за комфорта, внешнего блеска, всю жизнь удовлетворять одни хищнические инстинкты, жить с пустой душой, не иметь ни минуты искренней, настоящей радости и удовольствия — какое странное существование, какая непонятная борьба, невесть за что. Какая сила может бросить человека в подобную «борьбу за жизнь»? «Чем живы» такие люди? Чужая душа — потемки; но особенно темна для меня внутренняя жизнь какого-нибудь Поля Астье.[636] И этот чудовищный образ, сильно и резко обрисованный Доде, созданный так цельно и отчетливо — чужд и непонятен мне. Как драма «La lutte pour la vie»*** — вещь слабая, «действие», завязавшееся в первом акте, усложняется во втором и третьем, но затем, несмотря на разрешающее значение двух «катастроф», как смерть Lidie, о которой узнают в 4-м, и объяснения Поля с женой в 5-м, ослабляется, падает, и последний акт, по внутреннему смыслу происходящий *54)* «после драмы», искусственно прерывается пистолетным выстрелом. Для «внутренней драмы», для обрисовки главного образа этот акт лишний, расхолаживающий; но и вся она построена неопределенно. <...> Играют французы превосходно. Они не играют, а живут, так просты их манеры и дикция. (Только во 2-м акте, в первом объяснении с женой, Гитри попал не в свои сани и был неестествен.) Так и видишь со стороны жизнь людей, а не игру актеров. <...>

---

* Где зарыта собака (*нем.*).

** Очень уютно (*нем.*).

*** «Борьба за жизнь» (*фр.*).

55) **30 декабря.** Молодой музыкант, нервная, впечатлительная натура, измятая неблагоприятными жизненными обстоятельствами, томится стремлениями к счастью, довольству, блеску и принимает их за стремления идеальные. Это болезненное, томительное, но далеко не просветленное настроение. И вот это напряженное искание чего-то, что внесло бы свет в его душу и успокоило бы его, находит исход в любви к женщине. Поэтому его любовь представляется результатом неопределенных, но идеальных стремлений... Но эта любовь — несчастная, сильная, «ожесточенная» страсть, в которой много поэзии, но ничего мягкого, ласкающего, успокоительного. Она не дает истерзанной душе поэта умиротворения. С мучительным наслаждением предается он «грезам и волнениям», быстрым переменам настроения, неожиданным переходам от «меланхолического настроения к безотчетной радости, к безумной страсти с ее порывами ревности и отчаяния»... Влюбленный артист на балу. *56)* Звуки красивого, изящного вальса, окружающего веселья — не веселят, не рассеивают его. На душе у него смутно, томительно-грустно. Тут в блеске бала он встречается с любимой женщиной; но встреча не радует его; она усиливает его мучительно-приятное возбуждение, но счастья в нем нет...

Сельская сцена. Поэт один в глуши полей. Вдали двое пастухов перекликаются, играя на своих рожках. Кругом все тихо. Только легкий шелест листьев присоединяет свои полные оригинальности звуки к дуэту пастухов. На душе у поэта — затишье. Слишком покойно кругом; мечты берут свое; в груди поднимается смутная надежда; наболевшее сердце замирает... Но светлая минута продолжается недолго; опять сомнения, опять болезненные предчувствия! Вся буря мучительных ощущений — вновь поднимается с новой силою. Природа откликается на новое настроение души поэта. В ответ на призывные звуки рожка вместо отклика *57)* раздаются глухие раскаты грома, все грознее и грознее, потом все глуше и зловещее... Закат солнца. Одиночество, безотрадная, мрачная тишина. Страдания доводят поэта до мрачного отчаяния. Ему грезится, что он идет на казнь за убийство той, которую он любит и которой обязан всеми страданиями. Мерно движется шествие под резкие звуки мрачного марша. Размеренный и зловещий гул шествия потрясает душу поэта; зловещий гул этот прерывается только шумными возгласами, резкими и злорадными. Настал момент казни. Последний отзвук мелодии любви сразу прерывается резким ударом. Поэт умер. Но грезы не останавливаются на этом. В диком отчаянии он глумится над любовью своею и над верой своей. С каким-то исступленным наслаждением он рисует себе дикую пародию на свое погребение в виде безобразного, безумного шабаша, где в опошленном, искаженном виде участвуют мелодии *58)* любви и молитвы за погибшего. С визгом, хохотом, пляской — отвратительные ведьмы и, среди них, его возлюбленная — пародируют торжественный гимн «Dies irae»...[637] Как это гениально и как это бесчеловечно! Все эти настроения обрисованы удивительно сильно; но странно (а, пожалуй, и вовсе не странно), что Берлиоз обрисовывает их преимущественно гармоническими, почти исключительно гармоническими средствами. Тем, мелодий почти нет; зато гармонические приемы иногда удивительно оригинальны (например, удары смычков по скрипкам — что дает шелест, — и долбежка в одну ноту в шабаше). Все это так смело, так ново и в то же время, несмотря на резкость характеристики, так красиво и так музыкально! В самых резких местах — вкус, изящество, красота. Наиболее доступный Valse и Pastorale — хотя эффектное, потрясающее «Шествие на казнь» вызвало крики «bis!». *59)* «Эффектное — потрясающее»; слово «эффектное» не совсем идет сюда, т[ак] к[ак] говорит о чем-то внешнем, декоративном, а у Берлиоза все глубоко, прочувствованно, значительно.

Как нашей «кучке» еще далеко до своего учителя!

31 декабря. Чем держится общежитие? Excusez du jeu!* — вот вопрос, который я хотел бы себе выяснить. Большинство смотрит на общество как на сброд людей с различными целями и взглядами и потому стоит за «культурность», т. е. внешнюю дрессировку. Даже те, кто глубже смотрит, и те видят в пресловутой «культурности» хотя minimum, но минимум необходимый. Прежде всего так ли это? Не представляет ли внешняя дрессировка чего-то противоположного истинному общению? Ведь что же она представляет, как не внешнюю маску, скрывающую под благообразной личиной неблагообразное содержание? В чем главная черта ее, как не в лицемерии? Имеет ли «воспитание в гостиной» какое-нибудь «духовное влияние», правда ли, что «гостиная» *60)* развивает... и придает большую тонкость чувствам, как думает Герье? Я думаю, что гостиная развивает поверхностность, привычку относиться легко к тому, о чем идет речь, претензию на всесторонность. И никто лучше не доказывает этого, как Тэн. Век Людовика XIV, как он выразился в произведениях Расина, может быть назван «веком гостиных». Что же он создал? Культуру, которую Тэн правильно характеризует ораторским духом. Красивое слово ценилось выше содержания, ловкие, светские манеры — выше искреннего, хорошего отношения. В «культурности» увидели «дело жизни», маску приняли за лицо. И какое глубокое падение было результатом всех этих грустных заблуждений! Нет, отрицательное отношение к «культурности» слишком верно! Остается другой вопрос: где же та сила, которая может создать истинную общественность, такую, какая бывает в секте, в общине, основанной на согласии взглядов и целей?

1890

61) **3 января.** Историки, публицисты, философы и пр. и пр. толкуют о прогрессе, задают вопрос: что такое прогресс?; отвечают на него и вносят смуту и сумбур в человеческие понятия. Прогресс как понятие нравственное имеет смысл только по отношению личности; он существует, если существует усовершенствование «человеческого типа», но нет, если этот тип неизменен. Одним словом, «вопрос о прогрессе» надо перенести на психологическую почву. С этой стороны взялся за дело Ип[полит] Тэн. «Прогресс и цивилизация заключаются в усовершенствовании и утончении психологических и физиологических процессов, совершающихся в человеке и проявляющихся в мышлении, в чувствованиях и в действии воли», — таков принцип, который Герье усматривает в основании взглядов Тэна. От этого исходного пункта естественен переход к построению «индивидуальности», выражаясь высоким слогом, к *62)* теории исторического процесса, т. е. к тому, чего Тэн не делает. Приступая к изучению истории народа, правильно начать с «естественнопсихологических условий его развития» (по терминологии Щапова). Т. е. с естественных, природных влияний на психологические, характерные особенности населения. Это то, что Тэн называет «расой». Но для этих «простейших элементов» исторического процесса Тэн устанавливает закон: Loi des dependances mutuelles* — закон «целостности народного развития», учение о «народном духе», проникающем все проявления народ[ной] жизни всех времен, гипотезу о неизменности коренных расовых свойств — весьма еще спорную и подозрительную. Не вправе ли руководствоваться другим взглядом, который прямо вытекает из quasi-тэновского и совершенно верного определения прогресса, выставленного Герье, а именно тем, который мог бы быть назван: loi de l’evolution *63)* psychologique et physiologique du peuple?** Видеть все истории влияний природы на человека и закрывать глаза на обратное влияние, которое оказывает деятельность населения на естественные условия жизни, видоизменяя их самих и их психологическое влияние, — значит не принимать в расчет существенных данных для изучения. Естественнопсихологические элементы истории, имеющие господствующее значение в начале пути, потом все больше подаются под давлением другой силы — условий социально-педагогических, т. е. воспитательного влияния общественной среды. Из взаимодействия «расы» и «среды» создается в каждое данное время дух эпохи — это закон Тэна «loi des conditions»*** (дух английского народа и деспотизм Тюдоров и Стюартов создали революцию; дух итал[ьянского] народа и средневековья — Возрождение и т. п.). Закон установлен верный. Но, развивая свой взгляд на значение его, Тэн впадает в искусственность. *64)* Вот как Герье характеризует его теорию «вековых формул»: «Будет ли историк подводить под особую формулу явления каждого века, а затем из ряда этих формул выводить общую формулу человеческой истории в хронологическом развитии, или же историк будет устанавливать формулы для возникновения каждой особой деятельности человеческого духа — религии, музыки и т. д. В обоих случаях конечная цель истории будет заключаться в составлении отвлеченных формул». Искусственность и ошибочность такого отношения к истории прежде всего в том, что пресловутые «формулы» создаются для «каждого века», что такое «век»? искусственное деление истории на периоды мертвит ее и вовсе не научно, а между тем на нем Тэн основывает всю «научность» истории! Хороша же будет «общая формула», выведенная из этих «вековых формул»! *65)* Что в ней останется живого и что общего будет она иметь с действит[ельным] ходом жизни?

---

* Не взыщите! (*фр.*).

---

* Закон взаимных зависимостей (*фр*).

** Закон психологической и физиологической эволюции народа (*фр.*).

*** Закон условий (*фр.*).

Главное значение Тэна для истории в том, что он перенес интерес изучения на психологическую почву, поставив задачу — «перенестись» взглядами, складом ума и нравственными понятиями. И указать путь для этого в изучении искусств и литературы. Но его философия истории неосновательна. Герье метко указал на главные ее недостатки: на отрицание творческой индивидуальности и на отрицание единства истории человечества. Тэн свою систему называет построением истории как науки, но к ней больше шел бы термин «разрушение истории».

Личность — единственный элемент, придающий жизнь и значение истории. Характер — тот элемент, который придает значение личности и дает ей творческую силу. А между тем у Тэна *66)* понятие личности получило такое определение, вследствие которого стало совершенно излишним как в истории, так и в психологии. В истории, как мы видим, личность была сведена на степень частного проявления великой силы — расы и среды, взаимодействие которых создает историю; в психологии личность является лишь коллективным понятием известного рода мелких психологических и физиологических процессов, вызванных к жизни и направляемых теми же двумя историческими силами «расой» и «средой». Сравнивая личность с готическим собором, Тэн сам указывает на свою ошибку: как в соборе он видит зерна песку и кремнезема, не замечая идеи архитектора, придающей единство зданию, так и в личности он видит физиологические причины явлений, не замечая разнообразия комбинаций этих влияний в различных личностях, т. е. характера.

История создается двумя великими силами: расой и средой. *67)* Но обе действуют только через личность. Творчество жизни — если можно так выразиться — делание истории принадлежит именно тем оригинальным формам, которые эти великие силы принимают в отдельных индивидуумах. Это источник жизни и движения. Каждая новая комбинация, каждый новый характер — есть завоевание, шаг вперед. Это источник значения личности. Если личность имеет свой характер, новый и достаточно «экстензивный», по терминологии Гюйо, то она кладет свой отпечаток на общую жизнь, и в этом ее бессмертие. Характерные влияния личностей, комбинируясь между собой, создают дух среды — известной «единицы общежития». Эти «единицы общежития» своими взаимодействиями создают «дух народа». Взаимодействие наций создает всемирную историю. Такова лестница существований, имеющих значение в истории. Значение и назначение *68)* (употребляя скользкий мистический термин) всякой низшей величины — в том, что она вносит в жизнь единицы высшей. Жизнь и содержание каждой большой группы в самобытности и самостоятельности меньших групп, и составляющих ее индивидуальность. Аналогию этому можно найти в развитии языка. Если язык имеет тем высшее значение, чем больше та группа, для которой он служит литературным органом, то все-таки живое значение его, его жизненность и развитие опираются на самобытности и самостоятельности местных толков и наречий. Отсюда живою струею входят в литературные языки образные и характерные слова и выражения; тут залог дальнейшего их развития, гарантия прочной замкнутости и омертвения, прочной остановки на пути выработки единого, общего, всемирного литературного языка. <...>

69) **9 января.** Никогда, кажется, «Руслан» не производил на меня такого впечатления, как вчера. Есть ли в каком-нибудь другом произведении столько силы и глубины? Берлиозовская мощь — нервная и жгучая — сюда не идет; сила Вагнера — огромная, но тяжеловесная и подчас грубоватая, бледнеет перед изумительным изяществом и той глубокой внутренней красотой, которая проникает всю музыку Глинки!

Вчерашнее исполнение показалось мне много лучше, *70)* чем в первый раз. Баян — очень плох, но что за гениальная вещь его партия! Зато хоры в первом акте отлично поют; секстет — у нас в Тифлисе, с Прянишниковым и Звягиной лучше; тут не получается цельного аккорда, а все как-то врозь. В первом акте первое место занимает Мравина; как прелестно выходят у нее обращения к Фарлафу, к Ратмиру, к отцу («О, ты, родитель незабвенный!»), к Лелю («Светлый Лель, будь вечно с нами»)... Сцена пробуждения идет не совсем гладко (особенно с Серебряковым); но женский хор все спасает, и впечатление получается надлежащее. Конец первого акта — ансамбль витязей — самое «странное» место в «Руслане»; это и красиво, и очень известно, но до сих пор поражает оригинальностью. Финн (Вас[ильев] III) — возмутительный. Сцена Фарлафа — не сценична, и ее никогда не спасает музыка. «О, поле, поле!» Мельников вчера спел превосходно: первую часть — широко, с «замашками большого голоса», с настоящей руслановской мощью; *71)* он единственный, у кого речитативы в этой арии хорошо выходят; третью часть: «О, Людмила, Лель сулил нам радость» — Мельников берет слишком быстро; получается разухабисто; может быть, это так витязю и подобает, но жаль красивой темы, которая так хорошо выходит у Прянишникова. Сцену у Черномора Мравина поет очень мило, грациозно, но если первая часть, о «доле», так и должна быть, то для дочери «Светозара, гордости Киева» надо бы больше силы. Мравина слишком детски-капризна. Слова: «О, жизни отрада, младая сестра» у Мельникова, по старости его, не удаются. «Радость, счастье» — слова, которыми он будит Людмилу, выходят у него лучше, но еще лучше повторяет их Мравина. Хор последнего акта надо будет повнимательнее прослушать, я его все упускал из виду. Ратмир-Славина — сколько страсти и истомы вкладывает в арию: «И жар, и зной», в вальсе, в арии «Она мне жизнь», что искупает недостатки голоса.

72) По мнению В. В. Стасова (ст[атья] о Глинке), Лист «прямой наследник той игры, которую создал и завещал искусству Бетховен, но которая оставалась решительною тайною и даже какою-то враждебною загадкою всем тем, кто вырос в преданиях прежней виртуозной школы» (в том числе для Глинки). О Листе как исполнителе могут иметь представление только слышавшие его. Но как сопоставлять глубокие создания Бетховена с эффектными, блестящими, но внешними, «котлетными», по выражению Глинки, транскрипциями и фантазиями Листа? <...> Стасов находит, что у Листа и Берлиоза «одинакие высокие совершенства и странные *73)* недостатки», что они «на одинаковом пути подвинули музыкальную Европу вперед к постижению высших созданий Бетховена и его школы и тем приготовили дорогу будущим творческим талантам»... Для симфонических вещей это верно; но для фортепианных? Если Лист и Берлиоз стояли на одном пути, то все-таки это величины не равные. Лист как фортепианный виртуоз [«Пылкость, поразительность и неожиданность» Стасов считает «одним из первых достоинств импровизации и истинно талантл[ивой] фортепианной игры»]* и в произведениях своих сбивается на виртуозность, и даже сознательно: в письме к Кюи по поводу переложения его «Тарантеллы» он извиняется, что, в угоду требованиям виртуозности, уснастил ее техническими трудностями (см. соч[инение] Стасова «Лист, Бер[лиоз] и Ш[уман]»). Недаром Берлиоз где-то замечает, что, не будучи пианистом, он счастливо избег увлечения «фортепианностью», влиянием, которое слишком часто оказывает фортепианная виртуозность на композицию и даже на симфонические вещи. Вот подлинные слова Берлиоза: *74)* он находит, что был счастливо «огражден от тирании привычки пальцев к фортепианным пассажам, столь опасной для творчества, и от увлечения звучностью вульгарных вещей» (ст[атья] Трифонова). Аффектации было много и в фортепианных произведениях, и в самой личности Листа: внутренняя грация Берлиоза была слишком интенсивна для этого. Что же касается исполнения, то вот слова Кюи о Берлиозе: «Высшая степень артистического развития, ступень, на которую натура и с самой счастливой организацией очень редко в состоянии подняться, это — простота. Этим неоценимым качеством Берлиоз владел в высшей степени». *75)* <...> Бетховен и Глюк — любимые авторы Берлиоза — нашли в нем гениального истолкователя.

14 января. Наконец слышал шумановского «Манфреда». Декламация с музыкой! К чему это? Пеший конному не товарищ, но нельзя соединять простую декламацию с оркестром. Единства никогда не получится, даже при странной, для драмы поющей декламации Малого театра, сбивающейся на речи Лариве. Одно из двух: или речь, разговор — или пение, речитатив. Декламация, входящая в оркестр, должна подчиняться правилам гармонии, след[овательно] — стать речитативом. *76)* Но форма «мелодрамы» (декл[амация] с акк[омпанементом]) еще лучшая. А что сказать о перерывах музыки «объяснительным чтением»? Это производит очень неприятное, расхолаживающее впечатление. «Манфред» — сюжет очень музыкальный. Характер Манфреда, этого очищенного Фауста, достигшего власти собственными усилиями, «трудом, наукою, отвагой, упрямством гордых дум», а не продавшего себя за нее злым духам; его борьба, тяготеющая над ним тайна преступной любви, его конец — могли бы дать богатый материал для музыки. Но Шуман задался иною целью; он дал музыку к тексту, а не симфоническую картину. Увертюры я не понял, что в ней? Характеристика Манфреда?? Манфред призывает духов, духи являются и отвечают пением: дух эфира (контральто), дух моря (сопрано), дух земли (бас) и тьмы (тенор) — пели плохо, и порознь, и вместе. Диалог (вместо поющих *77)* духов отвечает декламирующая актриса!). Мелодрама — явление «звезды Манфреда» в образе прекрасной женщины. Заклинание духов — речитатив мужского квартета, невозможно истерзанный исполнителями... Опять-таки нежная «пасторальная» музыка вовсе не переносит в величественную обстановку Альп. Во второй части лучшее место Манфреда — поэтичное появление феи Альп: это настоящее музыкальное воспроизведение образа феи, являющейся в радужных брызгах водопада... Диалог. Сцены Манфреда и Аримана в музыке — нет, нет ни Аримана, ни его обители, ничего. Хор духов Аримана был плохо исполнен: оркестр заглушал. Сцена с Астартой. В третьей части — лучшая мелодрама: «прощание с солнцем» (музыка хороша, но пейзаж...). Смерть Манфреда: небольшой реквием. Amen!

---

* Фраза в квадратных скобках — примечание А. Е. Преснякова на полях.

«Иоанн Грозный» *78)* Рубинштейна[638] — вещь не вредная, довольно интересная, особенно молитва виолончелей, предшествующая ей мрачно драматическая часть и главная тема, действительно русская, напоминающая Калашникова. Но Грозного тут нет и следа.

В Общедоступном конц[ерте] слышал Первую симфонию Чайковского — очень милая, грациозная вещь, почему-то напоминающая мне сказки Гримма или басни Крылова; напр[имер], Marche miniature* — это шествие, но не людей, а птиц или насекомых...

21 января. Зеленый концерт — концерт очень удачный. Лирическая комедия «Le Flibustier»* Кюи.[639] Отрывки, кроме вычурных танцев, — красивы, особенно вступление. <...> Затем две капитальных вещи: «Восточная рапсодия»[640] Глазунова и «Шехерезада» Корсакова.[641] Рапсодия, как все глазуновское, очень сильно, ярко оркестрирована. Вечер; слышны оклики часовых: «Слушай!»; вдалеке раздается мелодия *79)* — монотонная импровизация восточного певца. Эта «импровизация» сделана очень тяжело и густо. За нею следует лезгинка — чудесно разработанная и притом настоящая; выражаясь высоким слогом, эта лезгинка действительно «перл». Рассказ старика. Начало его — тема, несколько меланхоличная; старик, видя оживление молодежи, вспомнил свое былое; рассказ постепенно оживляется. Составляют ли следующие части рассказ старика? Трубные клики... победа... радость... Что это? Его воспоминание или описание фактов? Пир; появление тяжеловесного импровизатора; дикий разгул. В общем, музыка производит впечатление написанной на программу, выдуманную заранее, особенно вторая половина; тут много силы, да мало образности; для картины кавказского пира, плясок, разгула — мало обрывков лезгинки, которые появляются в конце, мало и гармонических, «бестемных» красок...

«Шехерезада» — вещь, родственная и «Антару», и «Садко», но как-то сильнее их. Н. Н. [Страхов] заметил лучшую, *80)* поистине гениальную сторону сюиты: Бог весть чем [Кажется, суть в ритмической стороне],** но ей придан и строго выдержан характер рассказа. Музыка льется, как чья-то речь. Это не ряд картин, а одно связное, вытекающее постепенно и непрерывно, целое. В то же время каждая сказка — тоже органическое целое; тут нет ни длиннот, ни повторений, чего, к сожалению, довольно редко избегают кучкисты. Одно только жаль: не зная сказок, трудно разобраться в музыкальных образах. I. Море — отличный морской пейзаж, вроде того как в Садке и с тем же живительным ритмическим изображением движения корабля. В середине — что-то драматичное. Буря? Надо знать сказку... В конце опять море. II. Рассказ царевича Календера — замечательно увлекательный и сильный. Тут особенно виден «рассказ» — и тут тоже сила сосредоточена в середине, где быстрые перекликания духовых (фанфар?) так энергичны и выразительны. III. Царевич и царевна — широкая, *81)* мягкая, певучая музыка, прерываемая в середине танцами. IV. Блестящий багдадский праздник. Море, буря, корабль разбивается об скалы. Трудно сказать, что лучше тут: пожалуй, средние части красивее, особенно сильный рассказ Календера; но и последняя часть, несколько длинная, все-таки цельная, а не растянутая; слабее первая.

---

* «Морская миниатюра» (*фр.*).

** Фраза в квадратных скобках — примечание А. Е. Преснякова на полях.

4 февраля. Льюис о драматическом искусстве. Если публика всегда и всюду — дура, то нигде это не выражается так резко, как в суждении о драме. Полный хаос понятий: смешение суждений о пьесе, о роли, об авторе — с впечатлением игры и суждением об артисте; смешение искусства и таланта с физическими достоинствами и недостатками — явление самое обычное. На чем, напр[имер], основано разделение артистов на «впечатлительных» и «опытных». Все эффекты заранее обдуманы, подготовлены и заучены. И это неизбежно. Вдохновенно, внезапно и неподготовлено бывает только первоначальное ощущение при знакомстве с ролью; но это лишь мгновение: быстрое соображение схватывает правду *82)* первого движения, улавливает его и затем подчиняет искусству, т. е. точному и всестороннему расчету. Вдохновение — только содержание искусства, а не само искусство. <...>

93) **7 февраля.** Трудно найти сюжет, более подходящий к музыке, чем сюжет «Снегурочки». Поэтичная сказка сама проникнута музыкальностью. Судьба дочери Мороза *94)* и Весны, холодной Снегурочки, которая родилась зимою, живет в царство матери своей Весны, вложившей в ее сердечко искру любви, и, согретая любовью, полная отрадного томления, гибнет, тая под лучами бога Ярилы; характеристики народа берендеев, простодушных и веселых, преданных служенью красоте, с их прототипами — добродушным царем и веселым, пригожим Лелем; трагичная сторона сказки — любовь Мизгиря к недолговечной Снегурочке и его страшная гибель — это ли еще не сюжет для оперы! Трудно найти композитора, которого индивидуальные свойства более подходили бы к этой задаче, чем Н. А. Римский-Корсаков. Корсинька — пейзажист по преимуществу. Лучшие места его произведений — море в «Садке» и «Шехерезаде», Пальмира в «Антаре» и т. п. — все это пейзажи. И что за пейзажи! Музыкант — не живописец; у него нет ни контуров, ни красок, он не может быть натуралистом. *95)* Музыкант-пейзажист не гонится за «изображением»; он схватывает музыкальную сторону природы, которая так изумительно богата, улавливает всплески моря, в различных его «настроениях», шум и шелест леса, все неуловимое, таинственные, чудные отзвуки, неизвестно откуда несущиеся и Бог весть, где тонущие, составляющие все вместе один торжественный, задушевный гимн — гению природы. Для такого таланта сюжет «Снегурочки», так глубоко захватывающий вглубь поэтичную жизнь природы, — сущий клад! И Корсинька сумел им воспользоваться; его музыка сливается с сюжетом в одно неразрывное целое. Лучшая сторона оперы — ее стихийные элементы, если можно так выразиться. Резкими, грубоватыми штрихами обрисован Мороз («Любо, любо мне!»); характеристики Весны (речитатив и ария пролога «В южных странах», и, особенно — сцена появления ее в 4-м акте и заклинание *96)* Снегурочкина венка) — очень напоминают шумановские пасторали в Манфреде (появление феи и пастораль — сцена с охотниками); но лучше всего — сама Снегурочка: ее музыкальный образ с удивительно оригинальными интервалами, цельный и замечательно выдержанный — кладет отпечаток на всю оперу, придавая ей такой весенний характер; в музыке постепенное развитие Снегурочкиных тем — от морозного пролога до чудной ее кончины, когда она исчезает в лучах бога Ярилы, — прекрасно воспроизводит возрождение природы весною, полное чудных, таинственных, задушевных звуков. Человеческая сторона сказки — берендеи, которых веселая, беззаботная жизнь прельщает Снегурочку, с их проводами Масленицы («Прощай, прощай, наша Масленица!» и ответ Масленицы), хвалою царю, великому Берендею, ночным гуляньем в Иванову ночь (хоровод, пляска скоморохов: медведь, Лиса, Хмель и Хмельчиха), брачною песнею («А мы просо сеяли, сеяли») и 97) гимном Ярилы («Света сила, бог Ярила») и оригинальным маршем. [Скопирован с руслановского.]* Народ, характеристика которого сама по себе — благодарная музыкальная задача; представители его — царь Берендей (сцены с Купавой; с Снегуркой: «Полна, полна чудес могучая природа», ночное гулянье; заключение Снегурочки, [ее] чудесная кончина и страшная погибель Мизгиря») — патриархальный образ царя-художника, добродушного покровителя счастливых берендеев; и близкий ему веселый, пригожий Лель, который так горазд на песни (3 песни Леля: о ягоде-землянике, о веночках и «Буря с громом сговаривалась»; хвала Берендею и Яриле). Но в народе не все благополучно, «исчезло в них служенье красоте», нарождается новый тип — богатый гость Мизгирь, страстный и гордый человек; Мизгирь и его жертва — Купава (рассказ ее: «Батюшка, светлый царь, где это видано, где это слыхано»), у Мизгиря: суд, сцена со Снегурочкой: рассказ о жемчуге, род баллады (последний дуэт) — это драматическая сторона «Снегурки»; без них не было бы действия, лиризм поглотил бы все.

98) Наконец, трудно найти большее соответствие между ролью и исполнением, чем у Мравиной в «Снегурочке». Мравина и Снегурочка, Снегурочка и Мравина сливаются в один образ, цельный и поэтичный. Все: наружность, манеры, интонации, голос, как нельзя больше идет к роли. Впечатление замечательно цельное, начиная от первого «Ау, ау!», рассказ о жизни берендеев («С подружками» и т. д.); «Мама, я слышала» — о Леле; встреча с берендеями, прощание с лесом («Прощай, отец, прощай, мама!»), сцены с Лелем, с Купавой, с Мизгирем (Лелю: «Уйди от нас, уйди! не я гоню»), с царем («Здравствуй, царь!»), ночное гулянье («Возьми меня, пригожий Лель»; «Красавица Снегурочка, красавица!»), сцена с Мизгирем («Твои слова меня пугают»), с Весною («Мучительную ревность я узнала, любви не зная»), пробуждение любви: «А небо, мама, небо!», последний дуэт («Нет, не страхом полно мое сердце»), и наконец, «таяние» («О, мать-Весна, благодарю!») — все замечательно выдержано. В общем, музыка, текст, содержание и исполнение все оставляет цельное и крайне отрадное впечатление.

---

* Фраза в квадратных скобках — примечание А. Е. Преснякова на полях.

99) **Седьмого вечером.** О Макбете. Драматическому артисту выпадает завидная доля наиболее сильного влияния на людей; но зато вся его деятельность не оставляет ни малейшего следа, более или менее существенного... Истолкователь чужих мыслей и образов, он оставляет извечную традицию понимания и воспроизведения драмы — и только; да и то еще оставляет ли? Разрозненные воспоминания и свидетельства очевидцев, бездарные преемники на сцене — плохие хранилища! А между тем как важно было бы сохранить и увековечить, насколько возможно, передачу, например, Шекспира лучшими представителями сцены, и особенно высшим из них — Т. Сальвини! [р. 1 января 1829].* Сальвини — лучший истолкователь Шекспира, и если иногда он ошибался, позволяя себе «поправлять Шекспира», то все-таки многое, вне его игры, было бы не вполне ясно. Что касается до Макбета, то это лучшая, наиболее безукоризненная роль его.

Среди произведений Шекспира Макбет занимает исключительное положение как потому, что он *100)* не так популярен, как другие драмы, так и потому, что он выше их. Могучая сила, проникающая эту драму, ее «оссиановский» оттенок — делает ее чуждою нам. Но истолкование ее Сальвини вносит столько человечности, жизненности, что под эпически подавляющим величием раскрывается глубокая драма человеческого сердца. <...>

119) **15 февраля.**

XVIII передв[ижная] выставка (от 11 февраля).

«Передвижные выставки вымирают», — таково общее мнение. Общий уровень, вместо того, чтобы подыматься, падает! Правда ли это? Если правда, то остается спеть с Татьяной: «Как обидно, как больно!». Эти выставки и русские концерты — наше живое дело. Без них что останется? — брр... Вот-те и «национальное искусство»! Правда, концерты все очень и очень хороши. Что они пусты — это ничего... Но, право, все эти неоноваторы, эти Wunderkinder:** Глазунов — будущая глава, Лядов и К° — хуже Бородина, Балакирева, Мусоргского, Корсиньки. Глазунов дал много и много хорошего, но я не верю в него, не верю, чтоб он далеко пошел; он вылился в свою форму, он, по-моему, уже высказался. Во всяком случае — темна вода во облацех, но упадка пока нет. С передвижными выставками дело обстоит труднее: нельзя *120)* отрицать, что нынешняя выставка хуже двух предыдущих. Там были капитальные вещи: Ярошенка «Всюду жизнь», Репина «Св. Николай», капитальные портреты его же: Фофанов, Толстой, Ковалевская, Бородин, Глазунов, Щепкин и «Пахарь»; капитальные пейзажи <...>; капитальные жанры: В. Маковского («Перед консисторией», «Дилетант», «Под хмельком», «Молебен», «Проповедь», «Свекор», «По начальству» и 17 других), Ярошенка («На качелях»), Кузнецова («Мир[овой] посредник», «После обеда»), Клодта («Женщина-врач»), Максимова («Все в прошлом»), Неврева и др. Тут таких вещей вовсе нет: выставка беднее прочих не только числом (119 вместо 132 и 141), но и качеством — сплошь. Все художники представлены на ней слабее, чем бы следовало. Репин дал один портрет — бар[онессы] Икскуль, который, как он ни хорош, не станет в число лучших; Сурикова — *121)* вовсе нет. Есть еще пейзажи — Волкова (особенно его «Осень»), Киселева — довольно много, но ничего первостепенного, Поленова («Северная деревня» — славная вещь, но не производит впечатления; его же «Осень» — не из удачных); Шишкин («Зима в лесу» и «Болеро» — мягкое, нешишкинское), Холодовский («Садовод»), Ярцев («Слобода» и «Весной») — и только! Первых номеров тут нет. Что представляет из себя Васнецов? Он «самобытничает» сильно; он или необыкновенен, или... плох; Бог знает, а я не судья! «Ифигения» решительно неудачна: тут все что угодно, кроме натуры, да и затея — неестественная, дикая. Почему это — Ифигения? И к чему она?... «Бейдарские ворота» много лучше; местами даже хороши (например, внизу, в лощине — совсем славно), но 1) таких резко-лиловых тонов, вероятно, никто, ниже сам Васнецов, не видал, даже на Кавказе, а не то что в Крыму, и 2) правая *122)* скала, туман, да и налево — кое-что — donnent a pencer* — наводит на грустные заключения. Другие пейзажи: Боголюбова — милые («Вид города Арксилона»), но ординарные; славные вещи Дубовского, особенно его «Притихло» — одна из лучших вещей на выставке. <...> *123)* По части портретов — слабо, кроме Репина, хорошие «Сын Менделеева» и «Евдокимов» Ярошенки, г-жа Бодаревская г-на Бодаревского, его же г. Бодаревский (это слабее) — все портреты «заказные», а не художественные. Лучше было бы, если бы репинское письмо «Серов» — Серова — тут есть характерность и смысл. А «вещей» — вовсе нет, кроме хорошей по мысли «Не сошлись характерами» Савицкого (исполнение тут тоже хорошее, даже с блеском, но слишком, если так можно выразиться, сильное, рельефное, так что надо смотреть очень издали) и крайне гнусной вещи «Что есть истина?» Ге. Ге или из ума выжил, или с ума сошел: такой бездарной вещи даже и он не давал еще никогда, хотя и очень хороших-то у него не бывало (лучшие «Перед Варфоломеевской ночью» и «Петр»). Даже жанры и те отощали, хотя это «наш конек». *124)* Маковский дал «трагедию в красках» — «Ночлежников», которая на меня впечатления не произвела и показалась более поучительной», чем сильной; дал «Урок», «Ссору из-за карт» и «Охотников на отдыхе» — прекрасные, «солнечные» жанры, — «маленькую ярмарку» и «Купальню», по поводу которых так глупо острят господа газетчики. Что же еще? «Ночное» Коровина — недурно, но, во-первых, и по мысли-то оно из тех произведений, которые похожи на массу других, а по исполнению — из неважных. <...> Богданова-Бельского «Будущий инок» — сюжет в других руках превосходный. Сколько еще «несовершенных носителей идей», как выражался Крамской! И больше ничего! *125)* Скучно! Есть и прямо плохие вещи: даже у Прянишникова («В мастерской художника»), не говоря о разных Гугуновых, Нестеровых и т. п.

---

* Последняя запись — примечание А. Е. Преснякова.

** Вундеркинды (*нем.*).

18 февраля. Во вздорном фельетоне Жителя о выставках задет старый вопрос о технике и школе. Как туманны об этом понятия даже у людей авторитетных, как Крамской, видно из его писем: то он одно говорит, то другое: сам он «ищет»... Я думаю, что Льюис на это ответил бы так: великому художнику надо быть гениальным и талантливым вместе. Гений подразумевает глубину натуры, ее сильную отзывчивость, способность проникновения и любовного отношения к жизни, в тех или других формах. Талант подразумевает способность выразить свою идею во внешней форме, которая была бы не ниже замысла. И то и другое — сырой материал. Гению нужно всестороннее образование, таланту — школа. Техника относится к области таланта. Техника *126)* должна быть талантлива, иначе говоря, содержательна. Что такое «талантливая техника»? Для меня мало внешнего уменья, блестящего исполнения; на связь техники с содержанием указывал не раз Крамской. Выразительность, сила передачи, главное условие художественности — достигается тогда, когда в форме чувствуется большое, энергическое содержание, так сказать, сбереженная мощь. Эти неопределенные слова отчасти характеризуют трудно определимое понятие «содержательной, талантливой техники». Очевидно, что шик, блеск есть нечто совершенно иное; это умелость, иногда вкус, но такая техника (помимо даже замысла) бессодержательна, ergo — бездарна. Особенно чувствуется эта разница в пейзажах, где внешняя ловкость и талантливое исполнение различаются как-то легче. <...>

---

* Заставляет задуматься (*фр.*).

127) Талантливая техника противоположна холодному умению. Конечно, источник горячности исполнения, который создает «настроение» картины (отличное от его идеи и видимое даже в мелочах, не имеющих к первой отношения), все-таки в искреннем увлечении сюжетом. Конечно, концепция — главное условие такого исполнения, условие sine qua non,* но при наличности его самое выполнение получает особый горячий, цельный, выразительный характер; результатом его является художественное воплощение замысла в жизненную, цельную форму, в которой не видно труда, которая легко выливается из замысла. Но это не все: правило rem tene, verba sapientur** справедливо при наличности физических данных (талантливый, т. е. экспансивной натуры) и искусства (школы)... Черт знает.

Беда, коль сапоги начнет печи сапожник,
А пироги тачать пирожник...

128) **19 февраля.**

Последний русский симфонический концерт.

Главный интерес его составляли «Море» Глазунова и отрывки из «Млады» Корсакова. «Море», посвященное памяти Рихарда Вагнера, — по-моему, более изображает море, чем передает чувства человека, который сидел на берегу и «все, что видел и что в душе своей перечувствовал, то он поведал другим людям», как сказано в программе. Зато изображение моря — изумительное. <...> *131)* Играл Вержбилович. У него масса вкусу, простоты, здорового, не слащавого чувства. Лучшая из исполненных им вещей — «Элегия» Глазунова: певучая, меланхолическая в начале и конце, но особенно выразительная, почти драматичная в середине, где наибольшего развития достигает фортепианная партия (виолончель piccicato***), аккомпанировал Блуменфельд — чудесно.

---

* Без чего нет (*лат.*).

** Держитесь сути дела, а слова найдутся (*лат.*).

*** Буквально: в щипок (*итал.*) — манера звукоизвлечения.

132) **20 фев[раля].** Росси стар и слаб, особенно для Отелло. Первые два акта он вовсе не играл, а только «присутствовал на сцене», в третьем были, по старой памяти, удачные моменты, но ни увлечения, ни впечатления, то же и в последних двух. Относительно его понимания роли нехорошо то, что: 1) Отелло у него негр, что ни с историей, ни с здравым смыслом несообразно; 2) что Отелло у него опошляется, низводится до буржуазного уровня — всем тоном вообще, а особенно разными вульгарными междометиями; 3) что Отелло у него добродушный дикарь, а не выдающийся полководец самой образованной и аристократичной республики.

133) **21 фев[раля].** В моей этике был пробел, личным опытом непополнимый — его разрешила изумительная по глубокой правдивости, по жгучей силе и смелости анализа, по художественному исполнению «Крейцерова соната»...[642] Граф Толстой — гениальный художник, в то же время бесспорно гениальный мыслитель. Начав с обыденного миросозерцания своего круга, этот изумительный человек годами упорной работы постепенно, может быть, не без отступлений в мелочах, — дошел до высшего миросозерцания, до которого в главных, общих пунктах, но в другой форме, только отчасти дорабатывался и на Западе, например, Гюго. Это высшее миросозерцание — христианство XIX в. (или, вернее, XX-го). Единственный вечный источник «смысла жизни», единственный и великий ответ на вопросы: «в чем счастье?» и «что делать?» и «кто виноват?». И про эти, такие ясные, простые и великие ответы говорят, пожимая плечами. Говорят, что это идеи ложные, что в Толстом умирает и художник, в Толстом, который дает нам «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы» и «Крейцерову сонату»!

134) **21-го же.** Главное зло всякого исторического изучения и изложения — то, что, говоря об исторических личностях и фактах, люди только употребляют условный язык собственных имен, именно имен, за которым, собственно говоря, не кроется никакого живого содержания. Говоря о Владимирах, Мстиславах, Иванах, Петрах, — представляют себе эти имена со всем тем, что о них говорится в памятниках и исследованиях, а не живых людей с оригинальным содержанием и собственной внутренней жизнью. Говоря о фактах — о соборах, смутах и т. п., — также думают об известном, не переносясь в среду с ее живой организацией и складом. А в этом все дело.

На историю можно смотреть двояко: или ее задача — восстановить дух и картину прежней жизни — задача более художественная, или ее цель — идея, теория прогресса, и тогда история — арсенал фактов для публицистической пропаганды. *135)* Собственно говоря, тут даже нет противоречия: как в содержательной картине чисто художественное творчество неизбежно проникается тенденцией — образом мыслей чуткой натуры художника, так и историк, восстановляя на основании научного, критического изучения памятников картину прошлой жизни, неизбежно вносит свою оценку, свое освещение, свою группировку лиц, событий, идей по степени возбуждаемого ими интереса и симпатий. Но лучшим историческим воззрением, лучшей нравственной теорией, какой руководится историк в своей обработке материалов, будет такая, которая дает ему возможность наиболее полно и всесторонне заинтересоваться и охватить материалы и памятники: такими не могут считаться ни государственные воззрения, оставляющие в тени областную жизнь, ни все политические системы, не замечающие ни бытовой, ни идейной стороны жизни, упускающие связь истории с литературой. <...>

148) **1 марта.** Со мной произошел странный случай: я как-то сам себя потерял. Отчего это произошло, право, не знаю. Неужели Толстой прав, говоря о развращающем влиянии музыки? Неужели эта масса сравнительно интересных музыкальных вещей, которые пришлось слышать, так обесцветила меня? Я стал какой-то серенький. Господи! Да неужто я погружаюсь в спокойное самодовольство, в пошленький индифферентизм? Радужного настроения во мне много, а чем оно питается? Музыкой, оперой, выставками. Вот так фунт? Я понял, что что-то неладно, странным образом: статья Максимова окунула меня в настоящие мои интересы, которые я всегда считал своими («Литературная экспедиция»), те, которые считаю наиболее законными, жизненными и питательными. Но и этого заряда хватило на один день. Мое настроение *149)* жизнерадостного балбеса — то же, что тогда на Волге, когда чудесная природа размягчает, нежит, обезличивает ум. То, что заменило мне Волгу, — искусство, и того я ни на грош не понимаю. Фельетон Михайловского — вот что надо было вынести с передвижной выставки: ее общее — общественное настроение. А мои впечатления оказались сухими, бесцветными, серыми, бессодержательными. Эх-ма! Все это точно сон и, что всего хуже, приятный сон. Вот почему я чувствую, что не то что заснул, а как-то себя потерял. Дело было так: был заряд, был жар и даже дело «подготовительное», затем это уныние, сильное и не очень-то приятное — от посторонних причин, затем успокоение — из-за музыки?? — и какое-то физическое, расточительное довольство, со смутным сознанием, что дело смахивает на «Современную идиллию». И противно все это — теоретически, и хочется проснуться, да не знаешь как. Господи! что за наваждение? Черт знает, что такое! И чем кончится?

150) **2 марта.** Еще одно доказательство справедливости переноса вопроса о прогрессе на психологическую почву: главное зло в несовершенстве человеческого ума, в грубости восприимчивости и узости понимания. Есть масса людей, собственно говоря, благонамеренных; несчастие их в том, что каждая идейка, каждая мысль дается им с огромным трудом, и потому они цепляются за нее с нечеловеческой силою. Отсюда все «мерзавцы по убеждению». По обыкновенной человеческой логике человек убежденный, человек идеи всегда честен. Но дело в том, что одно из требований честности — осторожность при выработке убеждений, особенно, если они могут привести к враждебности, столкновению с другими, — это требование редко выполняется. Причина — не столько узость ума, сколько отсутствие нравственной чуткости: зло, вытекающее из убеждения, не считается симптомом *151)* логической ошибки в рассуждении. Вера в собственную непогрешимость заставляет людей не допускать мысли, что, может быть, в моих убеждениях есть погрешность: это можно объяснить только тем, что результаты умств[енной] работы слишком высоко ценятся, потому что трудно даются. Прямолинейные подлецы по убеждению являются и благонамеренные бездушные бюрократы, доносчики по благородству характера etc.; неблагонамеренные — политические убийцы, etc. Кто из них ниже, Бог знает! Последние причиняют зло более сильное, первые — более прочное и продолжительное. Одни проливают кровь, другие вносят разврат. Только что пришлось иметь дело с субъектом последнего разряда.

4 марта. Вчера Рубинштейн исполнил всю музыку «Князя Холмского»[643] и девятую симфонию. Увертюра *152)* Холмского явилась в совсем новом виде. Рубинштейн чудесный дирижер: столько увлечения, страсти и отделки! Увертюра, показавшаяся мне бесцветной в исполнении Корсакова, вчера очень понравилась — это лучшее место «Холмского». Вся еврейская старина недостаточно характерна: воспоминания Рахили о древней славе народа (антракт 2 дейст[вия]); песня и сон Рахили были плохо спеты. Антракт перед 3-м действием: Глинка изобразил любовь князя Холмского к баронессе Адельгейде — в виде вальса! Псковское вече — марш с трубными фанфарами! Последний антракт — отчаяние Холмского интереснее других. В общем, музыка хорошая, но изобразительная часть очень слаба.

Симфония мощная, торжественная и глубокая. Allegro понравилось мне меньше. Горячее скерцо было великолепно исполнено (Рубин[штейн] дирижир[овал] его наизусть). Adagio — чудесная кантилена (особенно где piccicato скрипок, зад[них] альтов, виол[ончели] и контрабаса по очереди). *153)* Финал с хором — торжественный и светлый гимн к радости, несмотря на посредственных солистов, окрашен хорошо, благодаря хору (хотя и тот вступает неровно).

Бузони, итальянский пианист, исполнил концерт Шумана (a-moll*-концерт) как шумановский, в высшей степени немецкий («очень немецкой» я называю музыку, которая для меня отзывается Augustin'ом), но, несмотря на это, весьма красивый, особенно andantino grandiozo (intermezzo).** Бузони хороший пианист; на bis сыграл что-то Листа или à la List.

6 марта. Кажется, заявить, что Росси слаб в «Отелло» по старости, было промахом. Более молодая роль — Гамлет — была превосходно передана. Росси-Гамлет — полный, лимфатический, но изящный; нет ни вульгарных восклицаний, ни размашистости. Роль ведется замечательно ровно: образ нервного, выбитого из колеи принца, цельный, во многом оригинальный. Подробнее потом.

154) **7 марта.** В «Реквиеме»[644] Верди, как следовало ожидать, нет почти ничего молитвенного. Зато много красивого и превосходное исполнение. «Dies irae» сильно благодаря массам хора и оркестра. По выразительности (исполнения?) следующие: «Liber scriptus proferetur» и «Quid sum miser?», спетые Славиной — один из лучших номеров. Дуэт «Recordare» и соло тенора «Ingemisco», опять выразительно — скорбное соло Славиной «Lacrimosa».[645] Во второй части слишком профанная и разухабистая фуга Sanctus искупается самым молитвенным номером — «Lux aeterna luceat est»[646] (опять Славина).

12 марта. Разбирать художественное произведение с точки зрения соответствия или несоответствия идеи и исполнения, по мнению Кондакова, «акт поразительного эстетического невежества». Дело в том, что художественное произведение, или лучше — художественная концепция, есть психический продукт совершенно самостоятельный, а не результат подыскивания формы для воплощения отвлеченной *155)* идеи. Поэтому и «форма художественного произведения принципиально неотделима от содержания и принципиально, всегда соответствует своему содержанию». Концепцию можно рассматривать с точки зрения формы — красоты и содержания — истины, но в ней эти области слиты и нераздельны. Само рассмотрение, мысленно, формы и содержания как чего-то друг от друга самостоятельного в конце концов приводит к этому заключению. Закон красоты формы: отрешение от материального. Форма тем совершеннее, чем более она создание человеческой мысли, чем более она отделена от материи. Высшее ее выражение — когда она сама становится идейной — как в музыке. Содержание сводится к известному психическому складу художника, выражающемуся в его творчестве и зависящему от принадлежности его к тому или другому народному (в тэновском смысле) типу: сводится *156)* потому, что в художественном произведении нет ничего, кроме формовки его художником. Таким образом, в этой творческой формовке заключается содержание, и к ней же сводится и форма; оба понятия сливаются в одно понятие «стиля». Всякий тип, а в фантазии автора они составляют бесконечный ряд, — всякий тип есть форма, но форма содержательна, п[отому] что она характерна; это постольку же результат наблюдения, поскольку сознание самого субъекта, потому что без него не было бы самого содержания, т[ак] к[ак] никто бы его не понял с такой стороны. Эта последняя мысль, старая мысль Ригведы, которая появление сознания в природе, первые сознательные существа, зовет поэтами, которые, «взыскуя разумом», поняли всерьез тайну бытия и потому «они творцы, они велики были». Таким образом, всякое содержание, раз оно возникло в уме художника, тем самым создает *157)* форму. Но везде ли форма связана с содержанием? Что такое бессодержательное произведение? В том-то и дело, что пробудившаяся в творчестве содержательность не выливается в уме художника в независимую самобытную форму, созданную художником и, кроме того, проходит через всю традицию, созданную историей искусства, на которой он вырос. Элемент условности, шаблона неизбежен; это понятие обнимает всякое формальное, не вызванное внутренней силой заимствование. В тесном смысле шаблонно то, что не сопряжено с народным типом, т. е. чуждо внутреннему складу художника и сфере его наблюдений; шаблонно то, в чем нет внутреннего смысла, дающего право на существование; нелепо то, что выражает одну внешность. <...> Так и в искусстве: нельзя святого писать непременно унылым и изможденным, а злодея глядящим мрачно и исподлобья. Это есть условно-шаблонное воспроизведение, т. е. бессодержательное и лишенное внутреннего смысла. Какой же закон для воспроизведения? Какое воспроизведение не шаблонно? Так наз[ываемые] натуралисты видят цель его в типичности, а тип понимают как копию с действительности. Но как достигнуть типичности? Тип родовой для искусства значения не имеет: он должен быть индивидуален. А художеств[енная] индивидуальность заключается в экспрессии духовного *159)* темперамента. Художественная концепция извлечения образа есть проникновение во внутреннее его содержание и выработка формы, в которую он воплощается, экспрессивной и характерной. При этом на создание ее оказывают влияние условные формальные элементы, данные школой, но они законны, если теряют служебную роль и прилагаются к содержанию, почерпнутому из «народного типа». Они не то что законны, а составляют неизбежное зло.

---

* Ля-минор (*нем.*).

* В темпе, более живом, чем анданте, возвышенно (*итал.*).

14 м[арта]. В университете беспорядки. Что значит этот шум, о чем он? Подкладка, бесспорно, хорошая. Но формы таковы, что ничего, кроме новых осложнений и новых беспорядков, вызвать не могут.[647] Все это результаты сложных, неискренних, фальшивых отношений друг к другу и к тому, что все-таки считают делом. Считают ли? Но трудно предположить, чтобы была сознательная подлость, своекорыстная речь, просто страшное царство тьмы. И дело в Каре,[648] инцидент с Цебрик[овой] — *160)* все это ошеломляет, туман наводит. Какое удручающее впечатление производят эти страшные проявления «власти тьмы» и как душно в ней... Об это может разбиться всякая теоретичность, а значит, всякая последовательность, принимая оттенок «благоразумия». Поддаться этому — ну что ж? Выхода нет, сколько-нибудь действительного, не поддаться — выходит: «Поразмыслив аккуратно, я избрал себе дорожку и иду по ней без шума, понемножку, понемножку»?

16 м[арта]. Вопрос выясняется. Ф[орстен] — наш руководитель поворачивает дело так, что пресловутые «требования» отчасти отходят на задний план. Дело в том, что нет студенчества, нет ни малейшей сплоченности, нет жизни и оживления. «Инцидент» несколько одушевил публику, сплотил студенчество. Если б это не выдохлось! Да нет, выдохнется, без следа исчезнет, и нечего себя обманывать. Другое дело, если бы удалось *161)* организоваться. Но как? Легально нечего и думать: нашего общества не восстановят.[649] Едва ли есть надежда, чтобы отнеслись сочувственно к такому желанию, хотя ведь приняли «петиции» и у нас, и у технологов; но это, вероятно, наверное, — для отвода глаз. А нелегально как? В каких формах? Какими практическими путями? И как избегнуть на этом пути поверхностного, хоть и задорного политиканства, которое просто теоретически неприятно, п[отому] что фальшиво.

Платонов ставит следующие требования историку: 1) собрать исторические факты; 2) исследовать их достоверность; 3) восстановить точно отдельные исторические факты; 4) указать между ними прагматическую связь и 5) свести их в общий научный обзор или в художественную картину. Требования и не полные, и не определенные. Что такое «исторические» факты? Есть ли факты «неисторические», или историк должен *162)* обнять все, что осталось от старины, все мельчайшие подробности прошлой жизни, какие только уловимы и доступны? Факты прошлого можно, кажется, разделить на две группы: с одной стороны, все, что составляет среду, обстановку, с другой — все, что относится к действиям, к движению. К первым относится «внешний анализ» — тот самый, который выдвигают Гонкуры. Они поставили задачу изучения мелочей обстановки; на основании этого изучения восстанавливается то, что они наз[ывают] нравами. «Нравы заключают в себе черты, которыми один человек становится похожим на целый класс людей» (Бурже). Это восстановление — дело воображения, художественного сведения материалов в картину. Понятно, что это воскрешение прошлого, при помощи документов, «как бы оно ни было искусно и добросовестно, все же остается лишь гипотезой» (отсюда для достижения большей точности — обращение Гонкуров к совр[еменным] нравам); такого *163)* же мнения Костомаров, в ст[атье] «Отношение этнографии к истории». Такой «внешний анализ» важен потому, что «нравы составляют все внутреннее содержание обыкновенных людей и добрую половину содержания людей выдающихся». Это элемент пассивный, состояние, а не деятельность. То, что Бурже подразумевает здесь под «нравами», чаще называют «культурою». В противоположении с культурой стоит цивилизация — движение, действие. <...> *164)* Жизненность всяких крупных единиц (обществ, языков) в индивидуальной самобытности составляющих их единиц (общин, личностей, наречий, говоров). Мысль, способность мысленного творчества есть результат самобытности характера. Это ясно уже из того, что мысль индивидуальна; связь ее с характером объясняется приведенными словами Бурже. Это, конечно, только пояснение, а не обоснование. Обоснование должно быть научно-психологическое. <...>

176) **20 марта.** В речи о «Разработке теоретич[еских] вопросов ист[орической] науки» Кареев отмечает значение «теорий исторического процесса», кот[орое] он отождествляет с контовской «соц[иальной] динамикой». Ее задача: изучение «сущности исторического процесса, отвлеченно взятого, сил, его создающих, психологических и социологических законов, в нем проявляющихся». Нужно строго различать *177)* эту «теорию исторического процесса» от «теории исторических исследований», «понимание истории» от ее изучения или изложения. К этому пониманию ведут, собственно говоря, разнородные исследования, которые и должны быть объединены в одну теорию. Возникает ряд вопросов: вопросы естествознания: о естеств[енно]-психологических условиях, т. е. влиянии природы, этнографии, антропологических данных; вопросы психологии, которая «должна поместиться между биологией и социологией», и выводы, которые особенно важны. Тут первое место занимает социальная психология. <...>

182) **27 м[арта].** Чего они хотят от меня? Куда меня толкают? «Таких как ты мало», — эти слова так надоели, если б они знали, что все эти заявления на меня действуют хуже всяких шпилек и неприятностей, что они просто обидны, обидны. Нельзя разве просто смотреть на людей и на вещи? Разве известная доля «развития», если она и нравится, может служит мерилом для оценки? Все это ложь и фальшь. Для себя, для «работы над собой» можно ставить какие угодно критерии, для себя можно прилагать всевозможную логику — словом, то, что называется «развитием», имеет личное, внутреннее значение для отдельного субъекта. Но выносить этот сор из избы — ошибочно. Нельзя оценивать людей по «развитию» (нельзя и тыкать им в глаза — а то получается глупое и гнусное положение), потому, что для такой оценки нельзя установить никакого критерия, *183)* нельзя судить других (судить в смысле осуждения и одобрения, а не в смысле мнения и впечатления) и потому, что нельзя вносить логику в чуждые мнения, взгляды, нельзя залезать в чужую душу. А значит, нельзя и отношения определять по такому критерию, который имеет только субъективный смысл.

28 марта. Вчера ходили в Публичную библиотеку и познакомились со Стасовым. Стасов высокий старик, с большой седой бородой, крупными, мягкими чертами лица и такими же руками. У него больная голова и потому ни в какие разговоры не вступал, а только указал, где ивановские альбомы, и скрылся. Альбомы Иванова вещь действительно весьма замечательная. Понимание сюжетов вполне оригинальное и верное. *184)* Евангельские сюжеты — сцены земной жизни Спасителя разработаны, правда, неполно, но чудесно. Именно в целом ряде сцен проповеди Иисуса, Иисуса между учениками, проповеди в храме — удивительно схвачен кроткий, мирный дух учения, который и передавался настроению слушателей. Эти наивные, полные теплого сердечного чувства сцены в то же время глубоко реальны, во всех подробностях: типы, уличные сцены, позы, движения... Реализм Иванова — отрицание условности. Иванов указал верный путь для всякого живого понимания: простоту отношений. Все его сцены прежде всего поражают простотой. Это сочетание простоты с глубокой содержательностью — главная черта и самая ценная особенность его альбомов. Жаль, что мы торопились и видели *185)* только мельком: эти альбомы надо знать, а общего впечатления, которое у нас осталось, — мало. Подробности почти уже изгладились. А такие эскизы, как «Благовещение», «Крещение Иисуса», несколько сцен проповеди (например, в лодке), «Возвращение с нагорной проповеди», «Трапеза с грешниками», «Исцеление» (Хр[истос] возлагает руку на больного) жены во время распятия и много, много др[угих], хотелось бы посмотреть пообстоятельнее. Альбомы Иванова не исчерпывают евангельской легенды. Да и можно ли ожидать другого? В них отсутствует целая сторона: все напряженные моменты, сильные движения, словом, вся «драматическая» сторона Евангелия. Она или не затронута, или не удалась (как, напр[имер], страдание и раскаяние). Кажется, самый оживленный эскиз — это «Крещение». Другая особенность альбомов — это полное отсутствие в них, при всем их *186)* реализме, реалистич[еского] отношения. Напротив, в них немало черт прямого, простого, буквального церковного понимания, напр[имер], сцены «Искушения», второго пришествия и др. В них сказывается русское церковное, православное понимание — без картинности католичества, без рационализма и символизма протестантства. Такое же наивно-буквальное понимание, как и у темной православной массы и в старинной русской легендарной литературе.

Стасов ставит эскизы к «Ветхому Завету» выше евангельских. Но первых так немного сравнительно с последними, что в них библейский дух едва ли мог сильно выразиться: они особенно неполны и неразнообразны. Впрочем, их мы просмотрели слишком бегло. <...>

188) **3 апреля.** «Гибель Фауста» вчера слушал еще раз. По пению очень хорош номер «Цветут здесь розы» Мефистофеля; вся сцена с эльфами — цельная, поэтичная, в стиле шумановского «Манфреда», с прозрачной скрипичной оркестровкой. Балет эльфов — не самостоятельный номер, а финал сцены: его тема — тема женского хора и начала этой сцены. Серенада Мефистофеля мне больше понравилась во второй раз: тут комизм музыкальный, а не внешний. Славину заменила Фриде — и не к лучшему. Скачка в бездну цельнее и лучше, чем мне показалось в первый раз. Но ад — балаганен и вообще музыка слишком часто неоригинальна и нехарактерна. Напр[имер], тема* обработана в форме шаблонного маршика; сама тема только и подкупает.

7 апреля. И сила, и слабость французской революции — в ее космополитизме. Вопрос был поставлен слишком теоретично и слишком широко. *189)* Но если это вызвало крушение, то это же и придало движению мировое значение. Чрезмерная абстрактность взглядов уничтожила их практическое значение. В отвлеченных правах человека не нашлось ничего, что бы навело на правильную оценку индивидуальности. Революция привела к завершению централизационных стремлений старой монархии — и только! Эта односторонность была тотчас почувствована и вызвала реакцию национальности. Идея народности воскресает с небывалой силой в век Наполеона I. Ее задача: поправить ошибку революции, сохранив ее гуманные, демократические элементы (в чистом виде идея народности всегда демократична) — она внесла больше жизненности, подняв значение меньших групп общежития. А революция была слишком космополитична, поэтому, несмотря на свое прекраснодушие и подъем настроения, — суховата. Но на струне *190)* народности разыграли реакционную музыку. И это потому, что создали антагонизм народности и человечества, патриотизма и космополитизма, отождествивши с антагонизмом реакции [антагонизм] освободительных движений. Первого антагонизма вовсе нет, или он дутый, так же как [нет] антагонизма личности и общества. Закон личной жизни, отождествляющий ее интенсивность с ее экстенсивностью, еще сильнее применяется ко всякой группе общежития, и в том числе к народу: чем выше его собственная жизнь, чем она интенсивнее, тем сильнее его общение с другими народами, тем он космополитичнее. В высшем развитии народной жизни — результаты, добытые разными нациями, сливаются в общую работу человечества: причем *191)* самобытность национальности есть условие жизненности дела, а космополитизм есть неизбежный результат ее. Другими словами, развитие самобытной жизни ведет к устранению антагонизма народностей, ведет к «вселенской правде».

8 апр[еля]. Восьмая симфония Бетховена может быть точно так же названа «моцартовской», как и вторая. В этих симфониях слиты глубина и серьезность Бетховена с изяществом и грацией Моцарта. Тот же элемент грации является у Моцарта и Бетховена в разных оттенках; у Моцарта это наивная простота и непосредственность, у Бетховена — глубокое, мощное спокойствие сильного духа: точно добрая улыбка на серьезном, полном мысли лице. Такое впечатление производит особенно первая часть — allegro vivace.** Средние части — allegretto*** и менуэт — легче, веселее. В «Menuett et fuge» из квартета *192)* больше неги; может быть, этот ласкающий оттенок получается и усиливается исполнением квартетной музыки струнным оркестром. Рубинштейн сегодня понравился мне меньше. Его концерт — вещь плохая. Только средняя часть красива, да и то искусственным образом, а не цельным настроением. Шопена он или вообще играет слабее других своих амплуа, или сегодня был не в ударе, но сыграл хоть хорошо, да обыкновенно, кроме «Berceuse»* и Vals'а на bis, который он сыграл как никто. Из остального — баллада с нешопеновским мужественным чувством и без малейшей чувствительности — местами вышла чудесно, но именно местами.

---

* Далее слово не разобрано.

** Очень быстро, оживленно (*итал.*).

*** Allegretto — более умеренно, чем allegro (*итал.*).

10 апр[еля]. Врачи-терапевты советуют, руководясь правилами медицины, индивидуализировать каждый частный случай. Хоть болезни, говорят они, при общих чертах имеют свои особенности для каждого данного *193)* организма; наука изучает только общие, постоянные черты, поэтому ее выводы приложимы не буквально, а с оговорками, дают только основания и больше ничего. Этот взгляд верен не для одной медицины: все отношения, нравств[енные] и др[угие] — точно так же должны индивидуализироваться в каждом отдельном случае; если и необходимы «общие принципы» и нравственные «основы» в жизни, то ведь это и есть только основы, и прилагать их прямолинейно к человеческим отношениям нельзя. Для регулирования жесткости отвлеченных истин и принципов в отдельных живых приложениях есть и особый фактор — любовь... Все зло междучеловеческих отношений происходит от непонимания этой простой истины, что отвлеченное знание ниже живого понимания, что отвлеченные принципы ниже частных решений «любви к ближнему». А между тем отвлеченные решения и искусственные построения возводятся в стройные «системы», системы перехода в «учреждения», а режут по живой жизни ничтоже сумняшеся!

194) **16 апреля.** Нашел бумажку, на которой отмечено, что и когда я читал с переезда на Кавказ. Этот переезд имел для меня решительное значение: переезжал я совсем ребенком, а тут начал кое-как мозгами шевелить. Начало этого я живо помню: первый толчок дала статья Грота «О системах философии» в «Рус[ском] богатстве», кото[рое] я прочел из любопытства, чтобы посмотреть, что такое «серьезная статья» и как это люди такие статьи читают. Статья написана была очень популярно, и я ее понял — дело было в третьем классе. Тут же прочел еще какую-то статью об индийской религии и философии Ригведы. Из этой последней я вынес только случайный интерес, и потому она живо изгладилась. Из Грота я понял мысль о последовательности философских систем и повторений их круга и затем читал Льюиса, прилагая в выписках в записной книжке гротовскую схему к фактам Льюиса. *195)* Первую тетрадку такую я выбросил, переписав в след[ующем] году выписки в черную коленкоровую книжку, которая у меня цела. В пятом классе читал Гизо, Шерра — но новый толчок получил от В. И. Новомарьевского, который задал на Рождество изложить эстетику Белинского. Сочинения я не подал, но Белинского всего перечел и начерно собрал его взгляды на народность, тенденцию и прочее. В 7-м классе я Белинского перечел с перепиской, изд[ание] Пыпина. Это был фундамент. Лето 1886 г. в Феодосии и знакомство с студентами Розенблюм натолкнуло меня на книгу Щапова, которая мне сильно пришлась по вкусу, и на Бокля, которого я в ту же зиму еще перечел. Но главное: Розенблюмы дали мне каталог статей в журналах, изд[анный] библиотекой какого-то городка Казан[ской] губ[ернии], кажется, Чистополя, и я стал зачитываться старыми журналами *196)* «От[ечественные] зап[иски»], «Дело», «Знание», которые брал в «Кружке». Тут (1884 г.) главную роль для меня играли Лавров-Миртов и Михайловский как «субъективисты», затем Писарев (которого Вениамин стащил у Пащенка), Чернышевского «Эст[етическое] отн[ошение] иск[усства] к действ[ительности]» и Кавелина «Задачи этики», которые произвели на меня неприятное впечатление произвольностью и метафизикой. Да, вообще, настроение тогда было такое, хотя мне трудно дать себе отчет в нем, что философские рассуждения, которые прежде так меня занимали, стали терять интерес: в Миртове и Михайловском я нашел как будто завершение всяких «вопросов» отвлеченных. Не то чтобы я считал, что для себя сам в них нашел решение, а, относясь к этому как-то поверхностно, довольствовался намеками на что-то, казавшееся превосходным, и вместо того, чтобы приглядываться и изучать, *197)* говорил: «Это потом подробнее разберем» и шел дальше, и именно к общественным вопросам, к истории. Тут меня в 1887/88 г. заняли сильно — национальный вопрос (Градовский, затем Костомаров с его федеративной теорией, кот[орая] теперь для меня в первом номере, и украинофильством (Шевченко), Гоголя — Кулиша, [идеализм Гоголя не связан с его беспомощностью])* и история русского общества — от Щапова, кот[орый] доходит до Белинского; дальше — Пыпин о Белинском, Скабический «Оч[ерки] умст[венного] разв[ития]» и «Ист[ория] ценз[уры]», Добролюбов и Писарев, затем «Новые люди» и «Знам[ения] врем[ени]» Мордовцева. Как завершение эскизной системы, которую предстояло разработать в будущем, мне представлялся Прудон с его критикой обществ[енных] отношений и новым, логическим построением социологии из общих начал. В это же время в 7-м классе *198)* меня опять сильнее заняли отвлеченности, а именно Кавелин с его перепиской в «В[естнике] Евр[опы]», «Зад[ачами] психологии» и пр.; Кавелин нравился мне, несмотря на то, что все его выводы, или, по крайней мере, главные, казались непригодными — тем, что он строил цельную систему из общих начал; затем Ланге «Ист[орический] материализм». В последний год я вообще читал меньше, но получил намек о Гюйо и прочел две его книги: Irreligion[650] и Esq[uisse] de morale. В общем, мне мое гимназическое учение представлялось целой программой отвлеченных умозрений и обществ[енных] теорий — программой настолько обстоятельной, что в университете ее пополнить будет легко, и потому надо искать: 1) дела — практического и 2) изучать не теорию, а действительность — поэтому я и поступил на юридический факультет. Но первое же столкновение с юриспруденцией, *199)* с ее притязаниями на самостоят[ельное] мышление, с своими философ[скими] основаниями меня отпугнуло и опять отправило в отвлечение. Дело, кажется, в том, что мое решение быть «практичнее» было не столько естественным, сколько надуманным из мысли Флеровского, что юноша-теоретик затем, в известный период ищет практики... Я очень легко и, пожалуй, легкомысленно сделал volte-face:* переменил факультет, чтобы начать «wieder von vorne an»,** с обстоятельного проделывания своей «программы» — «в строгих правилах искусства, по всем преданьям старины». Что из всех этих мудрований выйдет — единому Аллаху известно! Первый университетский год потерян попусту (говорят, так всегда бывает!) на переход и шатание, на музыку и зубрение лекций к экзамену.

---

* Колыбельная (*фр.*).

---

* Фраза в квадратных скобках — примечание А. Е. Преснякова над строкой.

200) **17 апр[еля].** Славянофильство как факт умств[енной] истории общества коренится в системе официальной народности, воззрения и самомнение которой слишком отразились на нем. Связующее их звено — С. Т. Аксаков (ср. Милюкова: Р[усская] м[ысль]. [18]91. (9)). Славянофильство как философская система отличается высоким нравственным полетом и глубиною, в нем немало общечеловеческих истин — доселе неизвестных. Славянофильство как историческое воззрение — слишком отвлеченно: но главная его ошибка — неразличение типа развития от степени и признание высшего типа — за высшую степень — еще недостаточно указана критикой.

То же. Умственное возбуждение, вызванное гегельянством, впервые выдвинуло необходимость выдвинуть общие основы жизни. Первой попыткой удовлетворить этому запросу было славянофильство. Но в нем *201)* коренилась существ[енная] ошибка — преодоление традиционной теории. Они остались за флагом, и направление западническое, уступая им на первых порах в цельности (что в значительной степени зависело от его «нецензурности»), последовательно выработало орудие для цельного воззрения — критическую сознательность для подобного воззрения, для «системы жизни». Писарев сильно подчеркнул значение естеств[енно]научной точки зрения для этой цели. Основание для разумного жизненного понятия должно быть психологическое. Первой попыткой дать такую цельную жизненную теорию [гр[аф] Толстой крупнее их, но стоит особняком потому, что работает один, помимо чужих взглядов и науки]*** были соч[инения] Кавелина, слишком метафизические и произвольные, и «субъективная школа» Лаврова и Михайловского, которая не могла высказаться вполне. <...>

202) **20 апреля.** Первоначальной «единицей общежития», той «клеточкой», из которой развился пресловутый «государственный организм», — была община. Родовое, семейное и т. п. устройство, из которого она развилась, касаются ее происхождения — и только; государственная история начинается с общины — сельской или городской. Так и стадо — общежитие животных — развилось, вероятно, из нерасходившейся группы «кровных родственников», а не из соединения посторонних друг другу субъектов — факт, ровно никакого значения не имеющий. Задача, цель или, говоря попросту, причина нарождения общины — стремление облегчить дело жизни. Теория «борьбы интересов в обществе» есть ложь по отношению к первоначальным «единицам общежития»: они составлялись из единиц, по натуре способных уживаться между собою, живших под взаимным давлением настроения, а не силы: это выяснит приложение к вопросам общежития теории внушения, как у Гюйо — к воспитанию. Патриархальный *203)* взгляд на первобытную жизнь в «любви и единении» справедлив для прошлых, настоящих и будущих небольших единиц общежития. Борьба возможна реально в больших группах между чуждыми суб[ъектами]. Усложнение дела вызывается столкновениями отдельных общин: как до общины отдельные индивидуумы решали свои встречи физической борьбой, так и общины; но ввиду тяжести такого занятия и ввиду особых условий: организации, дисциплины, необходимой для успешной борьбы, — община ценит умелых субъектов, выделяет их в особую организацию — военную, государственную. Тут начало различия общества и государства. Этот новый элемент, сосредоточивший в себе физическую, а затем отчасти и экономическую силу, получает влияние и всюду, где захочет — возникает власть, т. е. сила. Под такою властью общины перерабатываются в государства. Есть в истории и такие *204)* факты. Но чаще общины, организуя средства борьбы, соединяются в группы — и тогда подавление властью отдельных общин еще легче: защита превращается в государство. В государстве сильнее единство, иногда оно всепоглощающее — централизация достигает высшего развития. Факты в истории весьма разнообразны, но стремление к централизации, как оно ни осложнялось, есть всегда. Сравнивая, как принято, «государственную организацию» с «индивидуумом», придется сказать, что: 1) как физическое развитие концентрирует силы индивидуума, придавая его натуре целостность, так и государственное развитие придает единство обществу; 2) как цельность натуры достигается в высшей ее степени — полнотою умственного развития, а физическое имеет значение, лишь уменьшая нервозность и расшатанность нервной системы, так и *205)* единство народное достигается «коллективностью народного творчества», развивающейся на почве все того же «внушения», одна из форм которого есть «традиция». А государственное развитие имеет лишь значение объединяющей формы, причем это объединение развивается на почве вражды между народностями — вовне и местного эгоизма — внутри (а отчасти узурпации сверху); 3) если физическая природа по существу неизбежно требует физич[еского] развития, то общественное устройство может, по существу дела, отлично обойтись без политической и государственной власти. Под государственной властью вырабатывается объединение весьма сложное; в него входят самые разнообразные местные элементы. Оно и понятно: на почве высших интересов они сошлись бы только после многих веков развития; а на почве элементарных физических потребностей — замирения сходятся рано, *206)* да и как не сойтись, когда «честью просят!». Эти два элемента: объединение для организованной защиты и узурпация этой организацией власти над защитниками — составляют главные черты государственной истории. Созданная таким путем форма общежития порождает ряд весьма сложных явлений: власть может идти впереди общества и стать фактором прогресса — революции сверху и снизу, реакции оттуда же и т. п., — во всем этом трудно разобраться. Государство стягивает к своему центру все находящееся в лучших культурных условиях и потому вырабатывает теорию культурного господства и цивилизующей опеки; но цивилизация, создаваемая на почве кружкового, а то и единоличного теоризирования, сплошь и рядом делает шаги сомнительные. С другой стороны, своекорыстные инстинкты порождают теории охранения status quo, не только политических, экономических, но и образовательных различий и перегородок. *207)* В организме — жизнь умственная и нравственная есть жизнь высшая, нередко стесненная и омраченная физическою жизнью и низшими инстинктами. Но если тут физические условия составляют факт, с которым необходимо считаться, то для общественной жизни этого нет и быть не может: эта жизнь может и должна поставить себе высший идеал чисто идеальной жизни, черпающий свою силу не в единстве централизации, а в солидарности высших интересов. <...>

---

* Поворот (*фр.*).

** Снова с начала (*нем.*).

*** Фраза в квадратных скобках — примечание А. Е. Преснякова на полях.

14 июня. В человеке дорого одно лишь das ewig Menschliche.* Остальное вздор. Это главная существенная мысль христианства. Все искусственное: идейность, теоретические убеждения, знания, развитие — все, с чем, как с писаной торбой, носятся, — все это подозрительно. Оно имеет цену как орудие, инструмент, но не само по себе. Оно ценно поскольку не мешает главному делу жизни. Источник, сила жизни — вера, разумение жизни. Но не критическою мыслью достигают этого источника, этого разумения. Тут роль мысли — только довести до сознания — не доказать, но выяснить тот характер, основную черту человеческого существа, которая может быть названа das ewig Menschliche, которая одна придает цену человеку, делает его дорогим, обаятельным. Разумение сознательная вера. Нужно лишь, чтобы сделать ее твердым практич[еским] правилом, *212)* идеалом, который властвует над человеком как наваждение (suggestion**), и единственным критерием для оценки людей и людских отношений и в жизни, и в истории. <...>

29 [июня]. Неслуховский («Из моих воспоминаний...») приводит такие слова Костомарова: «Наша задача примирить с собою славян, дать всем им возможность жить и развиваться самостоятельно и спокойно под гегемонией России. Эта духовная самостоятельность, это разнообразие в умственной, общественной и бытовой жизни, при могущественной центральной силе русского правительства, даст богатые плоды и в умственной, и в политической жизни народов славянского племени. Тогда повторится в истории эпоха Греции во времена Перикла». Золотые слова! *213)* Сравнение с Грецией мне особенно любопытно. Мысль, что правильный тип народного единства — в Греции, с ее полным государственным раздроблением и полным — при всем богатстве местных самобытных оттенков — духовным единством — занимает меня с тех пор, как впервые попал в мои руки учебник Гуревича. Не отсюда ль и богатство греческого языка? Не обязан ли он этим многочисленности наречий и толков? <...>

Только что покончил с К. С. Аксаковым: в его взглядах общественных если не вся правда, то большая часть ее: жаль только, что то, что должно быть, он воображает осуществленным в допетровской Руси!

---

* Извечно присущее человеческой натуре (*нем.*).

** Внушение (*фр.*).

215) Цельные натуры создаются полнотою жизни духовной и ясностью созерцания; физическое развитие играет у них роль регулятора, уменьшающего нервозность и расшатанность. Единство народное создается полною ясностью народного творчества в умст[венной] сфере (вроде «школы»), единство государственное имеет значение регулятора, уменьшающего местные эгоизмы и столкновения материальных интересов. Но у централизации есть и оборотная сторона медали.

Июль. 1—9. 9 дней в Павловске. «Не следует запираться в свои обобщения, не следует считать их навек нерушимыми, а надо помнить, что они — более или менее удобная остановка для мысли, теряющейся в многообразии фактов».[651] <...>

217) В последнее время опять затолковали о славянофильстве. Но как странно к нему относятся! До сих пор то обличают его, как Соловьев, то защищают, как Самарин. Все полемика да полемика и ни слова к делу. Пыпин много говорит о том, чего не понял Аксаков, чего он не указал, что переврал; и ни слова о том, что он понял лучше других, что он своего вложил. А Чуйко... ну, Чуйко — умница; все-то он понял, «беспристрастно» обсудил и «сделал кое-какие выводы». Во-первых, вывел, что все славянофильство «целиком» заимствовано у Гегеля, Руссо и де Местра. *218)* Настоящая он «бронзовая голова»!

Пыпин приводит мнение Герцена, что славянофилы не только не подвергают анализу «опору своей точки зрения», но даже избегают высказывать ее. А между тем весь источник славянофильства — философский. Ив. Киреевский — признанный его основатель. Требует национальной, своей философии. «Наша философия должна развиваться из нашей жизни, — говорит он, — создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта». По мысли его, философия — не логическое построение, а выражение «целостного созерцания», внутренней целостности разума», а путь к ней — объединение веры (у него — православия) и знания (т. е. собст[венно] философии). <...> Семейная община — источник обществ[енных] воззрений славянофилов — наложила печать свою на все отношения древнейшего периода русской жизни, и в ней славянофилы увидели высший идеал общественный. В дальнейшем развитии их теоретич[еских] и обществ[енных] воззрений немало странностей, но это ядро драгоценно. *220)* Философский фундамент для вытекающего из этого ядра воззрения славянофилы искали в православии и в византизме. Это была ошибка. Хомяков, кажется, сознавал ее, говоря, что Руси предстояли другие задачи, ставившие ее выше Византии. Славянофилы как-то проглядели, что именно православие внесло к нам начало «внешней правды». Благодаря этому, «вопрос национальный — общественный был уже связан и даже подчинен вопросу религиозному и основному» (Пыпин).

Почерпнув свои обществ[енные] идеалы в типических формах в древнерусской общественной жизни, славянофилы впали в идеализацию древнерусской действительности. Правда, Хомяков резко различает «начала» и «формы» этой жизни, но К. Аксаков смешивает их, откуда его «пиэтический *221)* оптимизм», которым так возмущается Герцен. В общем, надо различать отношение, например, К. Аксакова к реальным вопросам (здесь многое объясняется его личностью и барским воспитанием) от его веры, его теории, которая, хотя, конечно, дело чисто субъективное (слова Пыпина), но не так чужда науки, как кажется: она слишком полна общечеловеческого смысла. К. Аксаков больше, чем кто-либо, напирает на то, о чем Чуйко вскользь упоминает, что, мол, «некоторые из них оправдывали свою „односторонность“ тем, что наша русская правда, по своей полноте, должна выражать собою все идеалы человечества». Дело в том, что славянофильство есть, прежде всего, философское учение и вера. <...> *222)* <...> Идеализация древнерусской и особенно московской действительности, так же как и москвофильство в ущерб общему делу, бесспорные недостатки славянофилов, сблизившие их черт *223)* знает с кем (Погодин, Шевырев, затем Катков и пр.). Но и тут ошибка их понятна: они нашли корни своего учения в древнерусском семейно-общинном складе быта: не понятно ли увлечение стариной, на которой основана и из которой вытекает задушевная вера их? Славянофильство сложилось, бесспорно, на русской национальной почве, что бы ни болтали разные бронзовые учености, славянофилы — только выразители начал, которыми проникнуты типичные формы русской жизни. Правда, они не сумели обосновать свою веру, свое учение, выпустили из рук лучшее орудие — здравую критику, упустили из виду, что тот же быт, те же начала были всюду, *224)* только кратковременно, иногда в зачаточных формах, но ведь зато они и остались «за флагом» и выродились. А все-таки верны слова Герцена: «Наша европейская западническая партия тогда только получит место и значение общественной силы, когда овладеет темами и вопросами, пущенными в обращение славянофилами». А кто до сих пор оценил эти темы?

В каком смысле является для славянофилов крестьянин-земледелец «лучшим русским человеком»? Очевидно, как тип, воплотивший в себе ту целостность воззрения, к которой они стремятся. Отношение идеализации «мужичка» к вопросу об образовании, который ставит Пыпин, — должен *225)* решаться, по мысли Михайловского, различающего высший тип развития — целостность развития и воззрения крестьянина-земледельца, — от высшей ее степени — целостности развития человека высоко и всесторонне образованного. Совершенно верно, что славянофилы, указывая для характеристики реальных взглядов своего «лучшего русского человека» [на] то, что он создал самодержавие, что он «хранитель православного предания и обычая» и «хранитель старого общинного быта», — забывают про вольницу и подвижников, про раскол и про современное разложение общины (которого они, кстати сказать, и не видали). Но эти три ошибки не надо сливать в одно: преклонение перед московским государством и церковностью — есть москвофильство, а высокая оценка общинного начала — справедлива и с общечеловеч[еской] точки зрения. *226)* Оказывается, что внесение византизмом и православием начала «внешней правды» указано Ор[естом] Миллером.[652] <...> А. П. Дятковский («Из истории нашего литературного и обществ[енного] развития») говорит, что это «положительная сторона татарского ига», «положительная [не в смысле «хорошее», а в смысле «творческое», что ли]* политическая сторона». «Татарское иго сделало жизненным и необходимо важным для нас *227)* вопрос об усилении государственной власти». Отсутствие такого внешнего варварского давления помогло тому, по его мнению, что на Западе церковь и государство «своей взаимной враждою, своим постоянным соперничеством давали возможность установиться в обществе различным политическим партиям и умств[енным] направлениям». «Умств[енные] направления» были и у нас после ига, а партий не было и не могло быть, потому что у нас не было общественно-политической инициативы. На Западе политически-правовые воззрения развились в обществе, обществом реципиировалось римское право, вошедшее в жизнь; а у нас римско-византийское право входило в жизнь туго и постоянно оставалось (да и остается) началом внешним. Мысль о противоположности Земли и Государства не так бесплодна, как хотят представить... *228)* Если специфическою славянофильскою чертою считать их вражду к Западу и их самытничанье, то западничеством надо признать культуртрегерство и «европейско-христианский гуманизм XIX в.». Конечно, и то и другое понимание узко: и западничество, и славянофильство — движения несравненно более богатые и плодовитые. Но таковы специфические черты их: остальные заслуги и свойства их — общие, а не партийные. В таком случае спор западников со славянофилами и задача для оценки их теперь ставится так: где истины — в западной культурной дрессировке или в восточном общинном воспитании? Какой общественный идеал выше и здоровее? Раз этот принципиальный вопрос будет решен — остальные исторические и политические выводы сделать нетрудно... Дело в этом, а не в факте исторического склада и действит[ельного] характера Западной Европы *229)* и России. Вопрос принципиальный, а не частный. Так смотрел Хомяков, говоря, по словам Ап. Григорьева, что «Англия — лучшее из существующих государств, а Россия — лучшее из возможных, да вслед за тем со злом и грустной иронией прибавлял всегда, что, может быть, так она и останется лучшим из возможных». Дело не в личности «хищного типа», созд[анной], по мнению Григорьева, Западом — и «смирного типа» русского (выясненного впервые Пушкиным), а в их оценке...

---

* Фраза в квадратных скобках — примечание А. Е. Преснякова.

Славянофильство ценят слишком низко, потому что смотрят на него сквозь призму тех наносных черт, которыми обвенчали его позднейшие оппоненты, начиная с Ив. Аксакова, который «сделал славян[офильское] учение доступным пониманию среднего человека, сузив его в определ[енную] схему или формулу, в которой учение преобразилось в несколько общих положений, далеко не отличающихся глубокомыслием» (Чуйко).

230) **23 июля.** Что такое спор западников со славянофилами? Это не спор людей, признающих одно общечеловеческое против национальной исключительности, а спор двух равно исключительных сект. Так, по крайней мере, выходит по Чуйке. Западники признают «всемирно-историческое значение только за Западной Европой, и «за это говорят весьма многие солидные данные». (За «только»!) Эти данные, во-первых — наука. Это так. Затем «только в Европе осуществилось в возможно полных формах и в возможно чистом виде христианство как религия всемирная». Боже! прости Чуйке, не ведает бо, что говорит! Европейская жизнь и христианство! Нет, не на христианстве она создалась, а на язычестве, на римском праве, на римском начале «юридической личности». И, слава Богу, не для одного *231)* Данилевского «европейская цивилизация не есть обязательная форма жизни человечества». Эти начала западноевропейской жизни, слава Богу, мало проникли в русскую жизнь, и в ней потому сохранилось нечто лучшее — во-первых, «языческая» для церкви, но, в сущности, евангельская и общечеловеческая черта — отрицание предания и нравственность не по долгу, а по инстинкту, une morale sans obligation ni sanction:* отсутствие сильного предания, традиции замечено давно («беспочвенность нашей интеллигенции» и пр. см. хоть у Мих[айловского]). Насчет нравственности «по инстинкту» — у западников (Добролюбов и др.). Во-вторых, на Руси сохранился больше и, главное, заметнее, на первом плане, тип земледельца, тот *232)* «целостный тип», о котором столько толковали, сопоставляя «город и деревню», сохранились и связанные с этим типом отношения: община — семейная, на трудовом начале. Все это не специально-русские или славянские «начала», а общечеловеческие, и в этом славянофилы неправы. Тут Чуйко удачно ссылается на «Власть земли» Успенского. Но славянофилы выдвинули на надлежащее высшее место тот культурно-исторический тип, который они неосновательно называют «славянским», т[ак] к[ак] он только виднее в славянских землях и в славянской истории. Этот тип не признанный большинством как идеал, не говоря о том, что он вытравлен в жизни. К нему действительно приходят путем «переворота», *233)* как Достоевский и особенно Толстой. Мораль Толстого есть мораль «славянского культурно-исторического типа», мораль Платона Каратаева. Нелепо считать этот тип «выразившимся в жизни и ставшим руководящим началом в русской истории», это тип — высший и в то же время первоначальный, т[ак] к[ак] простота первобытных отношений в земледельческой трудовой семейной общине доисторической — есть низшая степень того же типа простых человеческих отношений, которые должны быть идеалом для общества. История России, как и всякая — есть корзина тяжелого развития от низшей степени — к высшей путем отклонений от основного типа *234)* к другим, в которых получает незаслуженное превосходство та или другая сторона его, а то и просто черты, ему чуждые, ergo болезненные, но созданные исторической жизнью. На стороне русской истории то преимущество, что в ней мало культурности, т[ак] к[ак] она не приняла культурной дрессировки от Рима, благодаря чему на Руси не закрепились эти односторонние типы отношений, которые слагаются при усложнении исторической жизни (тип сословный, в котором отношения регулируются началом кровного происхождения; тип плутократический, или бюрократический и т. п.). В этой несложности нашей культурно-историч[еской] и общественной жизни и заключается то «отчуждение от начал внешней правды», которым *235)* восхищались славянофилы.[653] <...>

Так и философское основание и общественные идеалы — здравые и истинно-христианские — в главных чертах указаны славянофилами надлежащие. Остается вопрос о том, «насколько они присущи русскому народу». Если Успенский прав, говоря, что те же взгляды и то же значение можно найти в каждой земледельческой среде, что та же «лесная правда» (не справедливость) кроется в каждом «строе жизни, повинующейся законам природы», то нельзя ведь отрицать *237)* и того, что масса русского населения жила и живет исключительно жизнью, «повинующейся законам природы», чего почти (только почти, а не совсем) нет в Зап[адной] Европе. И это могучее социально-педагогическое условие сильно влияло на народ, сильно выразилось в народной словесности, в русской литературе, поскольку она народна, и в русской интеллигенции, поскольку она продукт нашей исторической жизни. Если искать в народной словесности и народной жизни духа народного, то получается нечто неуловимое, неопределенное, то общее настроение, общий угол зрения, под которым всегда и повсюду видит народ все события, перетолковывает их по-своему: у нас это наша правда, правда Платона Каратаева. Доказать *238)* наличность такого любовного отношения к жизни во всех самых мелких проявлениях, отношения, являющегося следствием «целостного духа» и полного душевного спокойствия, полной веры в то, что любовное настроение, или при большей, полной сознательности — учение любви не может не разрушить в лучшем виде всякого частного жизненного факта; доказать, говорю я — наличность такого взгляда в русской народной словесности — дело общего обзора ее во всем ее размере. То же начало или отношение к жизни, та же «вера — разумение жизни», бессознательно кроющаяся в уме всякого первобытного, непосредственного человека, п[отому] что у него ничего за душой нет, кроме одного das ewig Menschliche — то же *239)* воззрение в сознательной форме является в литературе, поскольку она национальна: у нас наша литература с Пушкина через ряд писателей — выработала Льва Толстого. То же настроение проникает и интеллигенцию, поскольку есть в ней что-ниб[удь], на чем глаз человеческий может остановиться без осуждения. Возьмите нашего оплеванного «интеллигента». Он не культурен, потому что его не дрессировали, и потому он только тем руководится, во что верит, что усвоил действительно, потому и лучшим людям, вроде Белинского, приходилось выстрадать свою веру, т[ак] к[ак] иначе — по традиции — ничего не имелось. Он не «предприимчив», у него нет «инициативы», потому что мало-мальски *240)* незаурядный субъект, и даже просто всякий, кто дорвался до образования, воротит нос от «предприимчивости», плюет на «промышленное развитие страны», чуя тут шахермахерство и наживу. Эти золотые качества — предприимчивость и деловая инициатива возможны лишь там, где нет настоящей веры, а есть культурная дрессировка. А раз «интеллигент» поставлен в такие условия, что, чуть у него явилась охота к образованию, он строит сам свой дом сполна, он, в конце концов, подвергается опасности стать верующим; а известно, что, кто хоть в Библии «до Христа дочитался», тот человек пропащий: вместо «практического ума» явятся фантазии, вместо предпринимательской жилки — *241)* чуть не аскетизм, а вместо «твердости характера» какие-то «глупые сантименты».

---

* Нравственность без принуждения или же одобрения (*фр.*).

30 [июля]. В интересной статье «Юридическая школа русской историографии (Соловьев, Кавелин, Чичерин, Сергеевич)» П. Н. Милюков характеризует ту школу, которая хотела «в истории государственности видеть полную философию нашей истории».[654] С благою целью «не делить, не дробить русскую историю на отдельные части — периоды, но соединять их» юридическая школа сводила историю к формальной, безжизненной схеме смены общественно-юридических отношений. Не за внутренним единством, в котором историческая жизнь народа сливается в одну картину, блещущую всем разнообразием *242)* красок и течений, следили ее представители, а строили свое, особое единство истории, основанное на схеме, более или менее произвольной. «Между тем, несмотря на это преобладание схемы над содержанием, юридическая формула являлась в науке с претензией быть высшим синтезом, полною философией истории». Чтобы понять подобное явление, надо иметь в виду связь нашей юридич[еской] школы с европейским учением, которое после наполеоновского времени поднялось против рационализма и на смену договорной теории государства и космополитических идей поставило теорию органического развития отдельных народностей. Это течение создало историю и социологию *243)* как науки; оно воскресило уважение к фактам; но, признавая факт — явлением, необходимо разумным, оно, «будучи по существу — научным, стремилось приобрести значение этическое». А этическое влияние его могло быть только реакционным. Гегелевская схема стала государственной прусской философией. Эта философия стремилась слить в одно антагонизм «субъективного и объективного духа», созданный критикой Канта, установляла для «развития субъективного духа в объективный» три стадии: внутреннее определение воли — право, внешнее, наследственное ее определение (Kampf um Recht*) — долг и, наконец, как синтез этих противоположностей — нравственность. Для объективного духа также устанавливаются *244)* три дальнейшие ступени развития: нравственность проявляется первоначально и определяет собою отношения в семье; но затем с разложением семьи нравственные связи слабеют и силою определенных отношений является личный интерес — возникает гражданское общество. Синтезом обоих является государство как выражение объективно-нравств[енных] целей на общую пользу. Эти же три стадии усмотрела юридическая школа и в русской истории, где сменяли друг друга отношения кровные, частно-правовые и государственные. Соловьев выпускает средний период и видит только смену родовых отношений государственными; Кавелин и Чичерин *245)* связывают два периода третьим — частно-правовым или владельческим (причем Чичерин отодвигает первый, кровный [период] в эпоху доисторическую); к Чичерину непосредственно примыкает и Сергеевич. При этом Кавелин видит нечто предстоящее: развитие индивидуального значения личности, а Чичерин резче всех в государстве находит свой quasi-идеал.

Юридическая школа русской историографии — одно из течений западничества. Источник ее — философский. Но противурационалистические стремления научного рационалистического направления, в сущности, сами сводятся на чистое рационализирование исторической действительности. <...> Изучение, очевидно, исходило постоянно из предвзятой мысли. И это почти сознательно: в истории непременно искались «начала». Одни искали их более философски, отвлеченно: Чаадаев — оттого, что зап[адная] история «начинала с идеи религиозной — *247)* католицизм» выводил, что «у нас не было истории и не будет ее результата — культуры, если мы не пройдем чрез эту стадию католицизма». Возражение напрашивалось само собою: у нас есть своя религиозная идея — православная, и, следовательно, должны быть своя история и своя культура. Отсюда два течения — скептическое и самобытническое. К первому примыкают, по большей части, западники, иногда заменявшие «католицизм» одною «культурностью» с ее источником — политически-правовым развитием зап[адно]евр[опейского] общества, основанном на рецепции римского права. Другие искали «начала» более научно — в фактах: но тут искание, очевидно, должно было свестись на избрание «любимого *248)* факта»: у юридич[еской] школы это «образование государства», у славянофилов «община». <...> Попытки отыскать в русской истории «развитие общинного начала» (у Щапова) остались невыполненными, быть может, по фантастичности самого явления. А «развитие государства» создало «Историю России с древнейших времен».

---

* Борьба за право (*нем.*).

249) **31 [июля].** <...> Хорошо, когда вдруг найдешь где-либо выражение мысли, которая издавна носилась перед тобою в виде тревожно-недоумевающего чувства. Это словно откровение. Так было со мною при чтении Стасова. При первом знакомстве с былинами в гимназии меня поражала чуждость их русской жизни: особенно странны, книжны казались эти 40 калик со Каликою, Соловей Будимирович и Дунай. Теперь дело для меня разъяснилось. *250)* В хаосе древнеславянской словесности, вероятно, мифологии, явилась твердая точка опоры — восточные влияния. Затем — далее — с двух слов Стасова о сходстве некот[орых] греческих мифов с теми восточными привидениями, которые он сближал с былинами, у меня явился вопрос: нельзя ли сделать того, что Стасов сделал для былин, — и для Гомера? Это было бы шагом к решению «гомеровского вопроса». И вот, разыскивая повсюду, нет ли чего на эту тему, нахожу ст[атью] Стасова же «Египетская сказка, открытая в Петербургском Эрмитаже» (В. С. Голенищевым), в которой приводится целиком записка Голенищева: Le papyrus № 1 de St. Pétersbourg в «Zeitschrift für aegyptische Sprache und Alterthumskunde» 1876 г. Этот новооткрытый папирус «заключает, по его мнению, интерес совершенно необычайный вследствие того *251)*, что призван (как я надеюсь) пролить некоторый свет на происхождение нескольких очень известных арабских и древнегреческих рассказов, с которыми он имеет величайшее сродство». Правда, сближения Голенищева профану кажутся немного par le cheveux:* рассказы о кораблекрушении и спасении мореходов, о чудесных странах и пр. слишком понятны. Тем не менее любопытно сближение эпизода «Улисс в земле Феакийцев» со странствованиями моряка-Синдбада и древнейшим египетским папирусом. <...> Так, с данным папирусом поразительно сближается предание о земном рае.

«В наше время, — замечает по этому поводу В. В. Стасов, — получается все более и более убеждений, что в литературе, как и в пластическом искусстве, греки, не изобретая сами ни одного первоначального, основного мотива, брали таковые всегда с древнего востока и с гениальной художественностью обрабатывали их, сообразно с требованиями *253)* своей расы и своего тонкого интеллекта, выносили на свет создания как будто совершенно новые, но в сущности образовавшиеся поверх скелета, принадлежавшего первоначально чуждым народностям. Это с достаточною осязательностью прослежено уже художественными историками и критиками в области архитектуры и живописи. Что мудреного, если то же самое совершалось и в литературе? И нашему петербургскому маршруту выпала честь принести, для доказательства этого, один очень важный фундаментальный камень». Вопросы — важности первостепенной: они ведут к новому понятию о культуре еврейской как части египетской и культуре европейской как части всемирной культуры, зародившейся в изумительном богатстве на Востоке. Нет ли чего-нибудь *254)* на эту тему у Воеводского в «Введении в мифологию Одиссеи» (Од[есса], 1881) и в его мифологическом исследовании, которое касалось и русских сказочных преданий и помещено было в Зап[исках] Новорос[сийского] универ[ситета]. Авось толки о великом участии в гомеровской поэзии «исторической жизни греческого народа» — поубавятся.

---

* Притянутыми за волосы (*фр.*).

1 августа. L'evolutionisme des idées-forces* Фуилье придает учению Гюйо твердую психологическую почву и открывает des aperçus** на целое мировоззрение в его духе. Он связывает в одно внутренний мир идей и мотивов с внешним миром действий, так неуклюже разодранные Кавелиным.[655] <...> Таким образом, всякая идея есть не только мотив, она есть начинающееся движение, которое, конечно, может быть подавлено — но это не меняет дела; всякая идея есть образ — т. е. возрождение известной группы ассоциированных ощущений. Слышать что-либо и быть свидетелем чего-либо значит воспринимать новую идею-силу и быть участником в этом движении-силе: отсюда сила внушения и симпатии, отсюда воспитательное значение среды — источник коллективности, общего творчества группы людей.

256) **6 августа.** Отличительная черта русского человека — отсутствие условности, предвзятой традиции, заранее определяющей его мировоззрение, беспочвенность его развития. Этот упрек, если только это упрек, а не высшая похвала — стал избитым местом. Замечательно смешение понятий по этому поводу: славянофилы в лице К. Аксакова — высоко ценят в русском человеке отсутствие условности и картинности. Но откуда идет такая особенность? Из Древней Руси? Как бы не так... Вот что говорит автор безымянной статьи об «Исторических очерках» Буслаева: «Припомним, что наш народный эпос находился в прямом соответствии с древним русским бытом: его поэтическая обрядность и величественная, но неподвижная и однообразная красота отвечала образу древней русской общественной и частной жизни и находилась с ними в теснейшем и весьма естественном союзе, как весьма и 257) даже довольно подробно развито в исследовании Буслаева». А ведь и автор этот, и, тем более, Буслаев — люди славянофильствующие. Вся беда в том, что именно в петровском культурном разрыве мы потеряли старую традицию, а новой не получили, что именно Петру обязаны мы своею свободой и безусловностью, что Петр сделал всех нас Белинскими «в поте лица», по слову Божию, вырабатывающими, ценою жизни своей, необходимую для человека веру — разумение жизни. <...>

---

* Эволюция «идеи-силы» (*фр.*).

** Взгляд, суждение (*фр.*).

258) **17 авг[уста].** Занятия Тэна историей Бурже характеризует как интересное и полное оригинальности зрелище своеобразной обработки исторического материала умом, приготовленным, в сущности, к иному труду. Тэн — ум, по преимуществу систематический и обобщающий. Необычайная логическая сила, смелость и точность его отвлечений сближают его с Кантами, Гегелями, Спинозами. Обращаясь к истории, Тэн вносит и в исторические труды свои общие приемы. Перед ним, по собственным словам его, — «задача психологической механики»...[656] <...> Так Французская революция для него — результат столкновения отвлеченной теории об отвлеченном «человеке» и общественном договоре, теории, выработанной *260)* французами из классического наследства и справедливо названной Бурже — «plus oratoire, qui crèatree»;* с моментом падения аристократии и духовенства и средою — недовольного третьего сословия и доведенной до отчаяния черни. Тэну удается воспроизвести нравственную атмосферу изучаемой эпохи, те элементы, те общепризнанные истины ее, которые заранее непроизвольно определяют типическое миросозерцание для данного времени. С другой стороны, перед ним задача воспроизвести и личности, эти «ходячие теоремы», по его выражению. Но трудно соединить подобные цели в одно. Выясняя, что есть данного в эпохе, Тэн недостаточно показывает, как это данное в связи с чем-нибудь своеобразным получает живое, индивидуальное значение в личности, не показал он и жизни общества, столкновения личностей в живом общении, во взаимном их влиянии друг на друга. Тэн слишком абстрактен. *261)* Бурже основательно указывает, что у нас нет критики, такой, как понимали ее в старину, п[отому] что нет кодекса, по которому легко критиковать. «Разве не составляет разнообразие умов открытия нашего века, быть может, опасного, но несомненного?» — спрашивает он. «Философским основанием старой критики как старой политики был картезианский догмат тождества умов». Но догмат этот пал, когда народности стали узнавать и себя, и друг друга, стали сравнивать свою жизнь и литературу с чужими. Тогда поняли, что к художеств[енному] (и какому бы то ни было) произведению нельзя приступать с своей меркой, а с одним лишь интересом (tout aimer, — pour tout comprendre**), поняли, что, чтобы понять данную страницу, необходимо условие: представить себе подобное состояние души. (Кстати, разве не то же безусловно верно и для музыки, как для всякого человеческого произведения *262)* — будь то мысль, слово, поступок или художеств[енное] произведение?) Критика не судит, а изучает восприимчивость и ум человека, стремясь познать общие законы, их проявление. Отсюда и единственный закон и эстетики, и жизни — искренность, полная верность самому себе. <...>

---

* Более ораторской, нежели творческой (*фр.*).

** Все любить — чтобы все понимать (*фр.*).

23 авг[уста]. «Толстовцы вычеркивают всю общественную и гражданскую жизнь не в отдельных формах и попытках, но в целой совокупности ее строя. Вместо этого строя, форм жизни *264)* и борьбы за них, они выставляют самодовлеющую моральную личность, для которой не требуются никакие формы и которая, действуя в пределах собственного морального закона, уже этим одним устанавливает и гармонию, и порядок, и справедливость, и деятельную любовь во взаимных отношениях. Понятно, что если подобная личность явится распорядительницей и руководительницей всех отношений, то не потребуются ни юридические, заранее установленные и указываемые законом и учреждениями принудительные и обязательные для всех гражданские требования, ни тем более борьба за них. Этот именно смысл и заключается в формуле „непротивления злу“ как формуле политическо-гражданской» (Шелгунов Н. В. Р[усская] м[ысль]. 1890. (8)). Но откуда же, по мнению Шелгунова, связь такого воззрения с успокоением мысли и потребности деятельного чувства как формулой «возвращения долга народу», на деле «не идущей дальше практики сельских учителей и учительниц, земской медицины и земских путей сообщения».[657]

1) **Сентябрь.**[658]

«У нас ум — разум самого Христа
Самого Христа, царя Небесного»
(Из Голубиной книги).

«В чем моя вера?» Льва Толстого.

Христос сказал, что все люди, как бы ни были они различны по учености, развитию, уму, — все равны перед словом Божиим, и даже немудрые скорее поймут истину, потому что не мудрят, а смотрят ей прямо, безыскусственно в глаза. Мудрые же всею массой толкований только затемнили учение Христа, привнеся целую массу прямо противоречащих ему положений и утверждений. Даже лучшая сторона учения Церкви, та, которая говорит о любви и смирении, самоотвержении, воздаянии добром, и она — помимо второстепенной роли — приняла оттенок, чуждый и несогласный с евангелическим учением. Учение Церкви стало государственным учением и вместо евангелических правил жизни освящает правила мирские. Чтобы отделаться от евангельских правил, *2)* церковь выставила учение о благодати, по которому спасение человека недостижимо для личных усилий его, без помощи свыше. Вытекло это из общего воззрения на природу человека как на нечто до крайности ничтожное и низменное, а на жизнь его как на временное несчастие. Оставалось ему отрешиться от воли своей и спасаться верою и молитвой. Еще более, что из бессилия и ничтожества человека подобное воззрение вытекало из взгляда на то, что осуждалось Христом, как на высшее благо и самую суть человеческой жизни, а на евангельские требования как на требования тяжелых лишений, несвойственных человеческой природе. Забылись слова Христа, что ... его благо и бремя его легко; не поняли того, что Христос ничего не предписывает, а *3)* указывает единственный путь к блаженству, к радостной жизни, к царствию Божию на земле. <...>

6) И этот столь простой смысл учения Христа остается *7)* скрытым под массою чуждых ему идей, вошедших в учение Церкви. Богословские теории и изобильные толкования мешают просто и прямо отнестись к учению Христа, мешают понять его. Эти толкования, разрушившие учение Христа и заменившие его языческим правовым отношением к жизни, начинаются особенно с Иоанна Златоуста, который, защищая закон Моисеев: око за око, зуб за зуб, утверждает, что это «величайший знак человеколюбия Божия» (толкования на Евангелие Моисея) ввиду благопотребности страха для обуздания людей. Едва ли существует более важное историческое явление, чем рецепция языческого права христианскою Церковью, красною ниткою проходящая в писании «отцов церкви» с V-го века, поставивших себя при помощи учения о благодати Св. Духа, пребывающей в иерархии, — на место Учителя: «изволися им и Св. Духу»!

8) Что сделала Церковь с 5-ю заповедями Христа, выраженными в Ев[ангелии] Матфея, V, 21-28? Первою запрещается гнев, недоброжелательство, раздражение против ближнего; Церковь, канонизируя неправильный перевод греч[еского] eίκη, которого ни в большинстве списков нет, нет и в переводе Лютера, ограничила его запрещением напрасного гнева! Тут же Христос запрещает говорить про человека рака (растоптанный, уничтоженный, пропащий) или безумный, слова «мнимоосвобождающие нас от человеческих обязанностей (отношений?) к ближнему», нет «пропащего или безумного человека», который не стоил бы имени брата, ближнего, который мог бы вызвать справедливый гнев, похвальное раздражение. Для гнева нет извинения. «Живи в мире со всеми людьми, никогда своего гнева на людей не считай справедливым», — говорит Учитель; *9)* и чужого гнева на себя не презирай, и потому, если есть человек, который сердится на тебя, спеши умиротворить его, помириться с ним, чтобы уничтожить это дурное враждебное чувство. О второй заповеди: «не прелюбодействуй» — Толстой тут, кажется, рассуждает иначе, чем в «Крейцеровой сонате»... Во всяком случае, в словах Христа — прямое запрещение развода: «кто разведется с женою своею, кроме вины прелюбодеяния [Поζγεια — явл[яется] сущ[ествительным]. Распутство никогда не означает поступка, а порочное состояние]* подает ей повод прелюбодействовать». Третья заповедь запрещает клятву. Ничто не может быть так противно свободному учению искренней любви, учению Христа, как присяга, т. е. обязательство исполнять чужую земную волю, *10)* не сообразуясь с требованиями какой бы то ни было нравственности. Идеи «высшего долга» и «salute publique»,** почерпнутые из римских воззрений, не могут быть соглашены с христианским учением нравственной веры и искренности, и это невозможное соглашение достигается присягой. Четвертая заповедь есть заповедь о непротивлении злу. Не воздавайте злом за зло, говорит Христос, потому что этим лишь увеличивается общая сумма совершаемого зла. Для христианина нарушение этой заповеди невозможно, потому что как определит он злого, как решится осудить его? Кто захочет взять у тебя — дай больше, потому что, может быть, ему нужно, а твое — твое лишь тогда, когда оно никому не нужно; и кто принудит тебя *11)* идти с ним на одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя дай, и от хотящего у тебя не отвращайся. А если кто тебя обидит — терпи, т. е. не то что «проглоти обиду», а воспитай себя так, чтобы не придавать ей значения, чтобы ничто не было обидой от руки любимого брата, ближнего. Пятая заповедь излагается так: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить над добрыми и злыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Прежде всего предписание *12)* христианину любить врагов было бы нелепостью.[659]

---

* Фраза в квадратных скобках — примечание А. Е. Преснякова.

** Общественного блага (*фр.*).

75) **28 сентября.** Был на Лоэнгрине.

30 сентября. Был у Кимонт.

<...>

27 [октября] Вчера был на втором представлении «Кн[язя] Игоря». Успех огромный и прочный. Предубеждение не может удержаться перед чудесной музыкой. А музыка действительно чудесна. Увертюра из тем самой оперы очень интересна, особенно где являются темы Игоря и Ярославны (т. е., собственно говоря, слов Игоря: «Ты одна, голубка-лада»). Пролог цельный и мощный, весь из хоровых масс: «Слава!», хор бояр: «Разбей их», etc. Очаровывает разнообразие хоров, самостоятельность отдельных партий и голосов. Затмение. Прощание. Слава!

Первая картина первого акта — гулянье у Владимира Галицкого — одна из самых «народных» сцен в Игоре: первый хор, песни Скулы и Ерошки с хором, сцены пьянства. А на народно-хоровой песенной канве два перла: лихая песня князя «Гой, гой, гуляй!» и хор девушек — «О-ой, лихонько; о-ой, горюшко!».

Флейты!

140) Вторая картина — чуть ли не лучшая; тонкая работа, прелесть всех малейших реплик и фразок и общая цельность и содержательность — хоть бы Глинке — эта картина берет тем, что в ней всякий такт — равного достоинства, начиная с интродукции. Ариозо Ярославны («Немало времени... Ах, где ты, где ты... Мне часто снится...»). Сцена с девушками, особенно речитатив: «Ты помилуй нас, не во гнев тебе», дуэт с Владимиром («А кто бы ни была — тебе какое дело»). Но прямо потрясающее место — хор бояр: «Мужайся, княгиня», потом более веселый темп: «Нам, княгиня, не впервые» — и ответ, полный надежды: «Спасибо вам, бояре, мне ваши речи любы, я верю вам, бояре...», etc. (Ответ этот очень хорошо вышел у Тозирович.) Звон — набат.

Второй акт — в половецком лагере. <...>

1891

155) **10 марта.** На передвижной выставке.

11 марта. Письмо: «Вы больше не придете?» — So?!*

19 марта. Пришел.

Существовал ли при Иване VI вопрос о том, чему отдать предпочтение — походу на Крым или Ливонию? Кажется, нет. Относительно

---

* В самом деле? (*англ.*).

Крыма оборонительная засечная система укрепления границ и колонизация южной Украины, система Романова и Воротынского восторжествовала над наступательным проектом Адашева. А тяга к Западу была еще раньше — с 1547 (Шлиттен): требование юрьевской дани совпадает с разгаром завоевательного движения по Волге. Кто был ее [тяги, а не дани]* — носителем в 1547 г., в то время, когда Иван — в руках Макария. Макарий — новгородский западник? Да и роль Романовых — врагов «рады» — не выяснена и ценится мало, а может быть, hier liegt der Hung begraben.**

21 марта. Изучение русской истории должно быть ведено путем сравнительным. Только сравнительный метод и даст что-либо твердое. Как иначе изучать формы личной зависимости — разные виды холопства и состояний полусвободных, как изучать крепостное право, вырастающее перед глазами исследователя в целый крепостной режим? Сравнительный метод осветит и историю идей: наши поборники аскетического общественного идеала — представители общего средневекового аскетического мировоззрения — изложенного Эйкеном. В сравнительном методе две стороны: одна есть, во-первых, уясняющая смысл явлений аналогии, доказывающая общие основы исторических процессов (самостоят[ельная] народная организация — во Франции 1792 и России 1611—1612; источники обоих движений в среднем классе; значение обоих — возведение этого класса на политическое господство); а во-вторых, *157)* прямо связывает части в сущности одного общеевропейского исторического процесса: наши ереси и полемика нестяжателей — отголосок западного рационалистического движения.

<...>

22 марта. Я по натуре жид. Смерть не люблю еретиков. А потому не люблю и избегаю «умных» людей. Встретишь этакого идола и заведешь, неизбежно, бестолковый и бесцельный «теоретический» спор — пропащая трата времени! С «умницей» и каши не сваришь; никаких человеческих отношений быть не может; без теоретичных рассуждений не обойдешься — а больше ничего и нет. Хорошо было бы, если бы сходились. Да возможно ли это? *158)* До сих пор не случалось. А разошлись — так лучше бы и не сталкиваться: я еретиков не признаю, для меня теоретические ошибки происходят не от логических промахов — у умных людей их без причины не бывает, — а от недохватки в чутье, в нравственном чувстве. А уж это — последнее дело.

24 марта Что может дать историку исследование folk-lore'а, и, прежде всего, исследование народных сказаний и письменности? Это вопрос большой и темный. Но для историка русского важна общая точка зрения на легендарную литературу и литературу повестей, на то значение, которое дается в этой области еретическим движениям. «Не в ортодоксальных, а в иноверческих кружках зачалась и развилась литература апокрифов», — говорил Gaster. И с этими «иноверческими», т. е. еретическими (богомилы, вальденсы и др.), кружками придется все ближе и ближе знакомиться нашим фольклористам — в области литературного folk-lor'а. Быть может, тут в изучении сложного хода развития народной религии — от рационалистических сект, нередко глубоких и подчас возвышенных — до мрачных изуверских толков, тут найдет литературный фольклор почву для обобщения — выход из бесчисленной массы мелких наблюдений. На этой же почве придется строить русскому историку изучение раскола. Не говоря о том, что даст ему знакомство с исследованиями литературного folk-lor'а в смысле понимания народно-религиозного творчества — наши еретические и раскольнические движения стоят, вероятно, в большей непосредственной связи с движениями общими, чем это отмечается. А еще важнее те наблюдения народных правовых, общественных и моральных воззрений, которые могут быть почерпнуты из таких изучений.

---

* Фраза в квадратных скобках — пояснение А. Е. Преснякова, вписанное над строкой.

** Вот где собака зарыта (*нем.*).

26 марта. Нынешняя передвижная выставка отличается, по общему признанию, особым подъемом общего уровня. Что же я с нее получил? Во-первых — уверовал в Васнецова. Чудной этот А. М. Васнецов. Его «Ифигения» и многое другое могут ввести в уныние. Но на нынешней выставке он решительно хорош, а главное, удивительно нов. Его пейзажи отмечены чем-то церковным: так пишут на иконах. И «Весенняя тишь» (на этот раз лучшая), и «Тайга», и «Утро в Уральских горах» — это та «мати пустыня», которую поют раскольники. Васнецов пережил и передал то чувство природы, которое увлекает отшельников, созерцателей, сектантов. Из трех видов «Тишь» меня больше удовлетворила, потому что на других горы, кажется, не совсем хороши и портят настроение, зато на них удивительны макушки елок. Видно то чувство, которое наполняет «будущих иноков» в их «тайных молитвах» *161)* у Богданова-Бельского. Бельский и по чувству, и по манере близок Васнецову. Его «бесприютные» написаны теми же тонами, что «Весенняя тишь». Превосходен портрет Виктора Васнецова, писанный Кузнецовым; и лицо славное — это ясное, спокойное лицо умного, верующего человека.

Портрет Терещенко — Кузнецова — одна из лучших вещей выставки. Из других пейзажей — Поленова «Ранний снег». Тоже полон настроения и все того же северного, серенького, щемящего. Его же «С обрыва» — погоня за силой, за эффектом, которого достигнуть можно и прекрасно, как в «Лесной речке» Шильдера, но не у Поленова. Хорош этюдик «Баргетто» Левитана, его же: «Ветхий дворик». Еще из пейзажей: Шишкина «Дождь» — великолепный, как его же солнечная «Полянка». А особенно затрагивающего, собственно говоря, больше ничего и нет. Дубовского *162)* «Под Эльбрусом» — тяжелые облака, неестественно яркие тона; «Утро в горах» — лучше. Странный человек Холодовский — его вещи, как «Весна» (вероятно, и «Ночь», и «Прилет ласточек»), выигрывают в выражении в оттисках: во всяком случае, чувства в них тонкие, музыкальные; а в его «Водяных лилиях» — и вполне передано. Говорят, во всяком случае, не об этих вещах, а о «Найме прислуги», написанном не по-маковски, а по-прянишниковски, а типы ударяют в карикатуру и т. п. Что касается до Ге, то Иуда решительно лучше, чем говорят о нем: надо понять момент: в первый раз запало в душу Иуды раскаяние; он еще не дошел до сознания, но он замер на месте, с напряженным выражением полуоткрытого рта и бровей, в деревянной позе, но натуральной для момента. *163)* Резко выделяется Харламов: его удивительно изящная манера увлекает тонким благородством; но «головки» — картинки, а не картины. Нельзя этого сказать про «В Нормандии» — это вещь чудесная.

Посмертная выставка Литовченка показывает, что он не то, чем казался; он дал бы что-нибудь, кроме московских костюмов. Его «Смерть Офелии» показывает сильное чувство, несколько романтическое, пожалуй, не без болезненности, но тонкое и сильное [То же — и в очень напряженной степени в женской головке],* напоминает англичан. Религиозные сюжеты, по-видимому, сильно занимали Литовченка, и на этом пути он, пожалуй, дошел бы до многого: много чувства, искреннего, несколько мистического. Одна из фотографий с его работы — фигура Христа в саду напоминает альбомы Иванова. Жаль его. <...>

31 марта. На академической выставке: ничего выдающегося, ничего обращающего особое внимание. Лучший пейзаж — Кондратенка «Сазгарин» (Новгород[ской] губ.).

<...>

3 апреля. Христос в Гефсиманском саду... Как понимать этот момент, что пережил Спаситель? Была ли это минута сомнения, минута «взгляда назад»? Или просто *165)* минута слабости? О первом и речи быть не может: Христос не усумнился в деле своем: выйдя из пустыни на проповедь, он был тверд и покоен — таким он и остался в своих мыслях и чувствах. Значит, слабость? Как это понять? Христос — глубоко изящная, тонкая, нежная, художественная, творческая натура; его покойная, ясная, обаятельная проповедь любви — создала ему успех. Но его идеи слишком резко дисгармонировали с существующей организацией жизни, отсюда столкновение, борьба; Христос увлекся борьбою, а не отступил перед нею; он видел пропасть, отделяющую его учение от учения мира, — и настаивал. Но борьба неравная. Сила проповеди — в ясном порыве твердого, убежденного слова, в невозможности компромисса. Настал *166)* острый, критический момент. Или компромисс, или гибель, вечное молчание. Христос не усумнился в выборе; но глубокая скорбь, острая боль охватила его. За что? За слово и дело любви вражда и месть? И что будет? На что ушла вся жизнь? На что потрачены силы? Где результаты? Оптимизм Христа получил первый удар; вера в настоятельную близость царствия Божия на земле пошатнулась. Отсюда момент — только момент бессилия и слабости духа. Христу надо было вернуть свое светлое настроение, умереть с ясным, любящим взором, с которым он учил людей. И вот, уединившись и не находя поддержки в учениках, он в молитве (meditation) поднял свое настроение, успокоился и вышел к врагам с радостным, ясным настроением.

Шаховской в картине своей схватил момент молитвы, наметил минуты выхода Христа из удрученного настроения, минуту умиления. Лицо Спасителя, размягченное, носит еще следы слабости, но взгляд светлый, настроение отрадное. Христос победил.

6 апреля. Гюйовская «философия жизнерадостности» — палка о двух концах. Хорошо, когда «основы жизни» вытекают из бьющей ключом joie de vivre.* А как нет? Как западет в душу тоска, беспричинная, глухая тоска? Как и жизни-то нет? Откуда ее взять? Радость деятельности, в которой развертываются все силы, вещь хорошая и доступная. Но ведь это радость личная, а раз она интенсивна — она требует для себя возможности стать экстенсивной, возможности, которая от личной воли не *168)* зависит. Вот и осечка. Силы падают, руки опускаются. Ребяческие вопросы: зачем? на какого черта? — злобные, глупые, безответные, не вопросы и не причина бессилия — это только показатель уныния. Не то чтобы нужна была сознательная, точно определенная цель (если она и есть, то и это — показатель, а не причина). Нужна жизнь, нужно оживление, нужен источник жизни. А где он? В чем он? Источник этот — не личный. Он в сочувствии, в консонансе, в любви. Он есть, когда просящаяся на руку жизненность находит отзвук, поддержку, развитие в дружелюбном, радостном сочувствии. А то одиночество да одиночество. «На Севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна». На то она и сосна, чтобы торчком торчать. Нет, в одиночестве не сила, а бессилие.

---

* Фраза в квадратных скобках — примечание А. Е. Преснякова.

169) И чье сочувствие нужно? Хорошо ли людям, у которых общие «высшие интересы», хотя как личности они друг другу и чужие, или возможна близость людей, у которых промеж себя нет ничего, кроме das ewig;** или же и то, и другое — conditio sine qua non?*** Последнее едва ли бывает; теоретическая почва — почва разделяющая. Первое я себе плохо представляю: сколько всегда в группах мыслящих людей, в «творческой единице» — фальши и как скоро она распадется и выделит из себя и умственных, и нравственных антиподов! А среднее... не знаю; только много должно быть этого Menschliche, чтобы можно было сказать от души, положа руку на сердце: «блаженны нищие духом».

7 апреля. Вражда! Вражда! Что может быть хуже вражды на почве мировоззрения, что может быть хуже взаимного *170)* непонимания, различия натур, различия исходных пунктов, противоположности оснований. Неужели же нет между людьми понимания, согласия, сочувствия? А как нужно, до боли, жгучей боли нужно сочувствие человека, который тебя знал бы, понимал, прочувствовал твою натуру. Без этого нет жизни, нет и энергии. Одна боль, уныние, до слез, до истерики. Человек часть целого, а не сама себя удовлетворяющая единица; оторванный он гибнет и ничего не стоит, ничего от него не останется. Вьется и корчится, как разорванный надвое червяк, и жалеть его нечего — и плевка не стоит. Но когда сам, сам вьешься и корчишься — и больно, и тоскливо, и хочется выхода, воздуха, воздуха жизни. Держи карман.

9 апреля. Полно дурить; сказал умный человек: «Топи жизнь в деятельности и не задумывайся над личными вопросами, а то сердце разорвется» — ну и надо слушаться. Пьянство от жизни, в той или другой форме — вещь необходимая. Чем чище, благороднее формы — тем лучше. Лучшая из форм — работа мысли, деятельность научная, идейная. А все-таки и это не что иное, как пьянство от жизни.

---

* Радости жизни (*фр.*).

** Т. е.: das ewig Menschliche — вечно человеческого (*нем.*).

*** Условие прежде всяких других (*лат.*).

Всякий перерыв, просвет, минута полного сознания — крайне мучительны. Топи, топи жизнь в деятельности, не давая себе передышки, чтобы не было таких «просветов».

21 апреля. <...> Я настоящий суздалец. Мне либо никакого дела *172)* нет до людей и до какого бы то ни было мнения обо мне, или дорог малейший оттенок, и больно отзывается малейшая тень, всякое пятнышко. Нехорошо и неприятно быть до того мнительным. Зато и все хорошее так чувствуется! (От угла Кирочной до Баскова переулка.)

Получил картинку.

Нравственные вопросы слишком личны, чтобы спорить о них. Это выходит заглядывание в чужую душу. Каждый должен решать их за свой собственный счет, и никто не судья ему. Другое дело — литература. Там место дебатам о законности той или иной мерки, которую каждый прикидывает к своей внутренней жизни. В сущности, несомненно, что такая мерка должна быть одна для всех, что ведь одна — нормальная и, в этом смысле, общеобязательная. Но все-таки она личная и только личная. В отношениях с другими ее позабыть надо, она — только для себя. Для оценки других — мерки нет, и не должно быть; надо быть как можно ровнее. Остаются случайные симпатии.

173) **23 апреля.** Неужели же я поеду в Тифлис? Похоже на то. Мама за меня. Неужто поеду? Просто не верится, до того это чудесно бы было; так хорошо, что дух захватывает.

24 [апреля]. Я не буду писать на медаль не потому только, что мне не до того, что я уезжаю и не в силах не уехать; есть и более солидные причины: свой собственный ответ на тему Платонова у меня не созрел, а он слишком резко станет в разрезе с общепринятыми толками о Московской Руси, чтобы соваться не во всеоружии. Поэтому об «роде князей Шуйских» я не пишу. Тема Чечулина («Землевладение в Тв[ерском] уезде в XVI в.») этого не требует: она легче, почти механическая. Но не полезнее ли от нее уклониться? Много более живого и важного еще не приобретено, так стоит ли гоняться за подготовкой к чисто-специальной работе, которой научиться едва ли так мудрено? А потом самая мысль тем на медали — карьеризм, чечевицей пахнет.

5 мая. Теперь очевидно — еду. Очевидно и то, что я раздул в себе желание ехать и мотивы к поездке. Собственно говоря, их нет и следа. Выдумала их моя нервическая фантазия, ей же нет пределов. Стоило маме додуматься до того же «увлечения», чтобы я понял, что его далеко нет. Ну а не ехать нельзя — раком назовут. Да, во всяком случае поездка доставит, должна доставить мне большое удовольствие, главное оживить меня, поднять дух, а то он что-то падает.

8 [мая]. Новая перспектива: папа назначается в Харьков. Если мама уедет с ним — где я буду? Жить с Палибиными мне бы не хотелось вовсе; ни их бестолковый режим, ни их родня мне не по душе. Да и странно сказать — я ничего не имел бы против того, чтобы остаться одному. Тяжело и тоскливо будет — это так. Но, может, это разбудит меня; я слишком избалован, и отсюда моя апатия, отсутствие энергии, настойчивости, неспособность к работе. Последнее меня вконец погубить может. Да и результат всего этого скука — с жира, от сибаритства.

1897—1899[660]

1 января 1897. Надо учиться рассматривать внутреннюю жизнь всех, кроме (?) членов семьи, как действительно «чужое» одушевление, а не как элемент своей внутренней жизни. Странная житейская поправка к экспансивности интенсивной жизни. Экспансивная жизнь питается чужой жизнью. Баланс даваемого и получаемого — никогда не верен. Экспансивность нужна не в равной мере.* Она создает личные отношения, которые реализованы быть не могут. «O welch ein Glück»** — в житейских условиях обращается в Unglück.*** Законно**** — в пределах организованной единицы. Таких у нас, кроме семьи, нет. А семья — институт консервативный, узкий, не дающий почвы для интенсивной жизни. Для дела нужна полнота жизни, а они непримиримы.

9 января. И[ван] И[ванович][661] утверждает, что санкция морали есть своего рода априорная мысль. Это пустая форма, которой эмпирическое содержание из нее не определимо. Оно состоит в логической обязательности одного принципа для житейского поведения, каков бы он ни был. Выводить из условий биологических и т. п. — одна из нелепостей эволюционного позитивизма. Sic. Но из обязательности такого принципа вытекает его абсолютность, его «обоготворение», т. е. его неизбежно рассматривать как абсолютно священный и абсолютно обязательный. <...>

Л. 2—2 об.

16 февраля. 15-го Бородинский концерт.

Суть занятий историей в духе жизни, веющем в судьбах человечества. Чем люди жили, во что верили? Оценки этих течений не с точки зрения «совр[еменных] идеалов», а ради их выработки. «Итоги прошлого» — основа будущего.

17 февраля. История мистических движений. Францисканское движение (Тоде, Жобар). Раннее Возрождение в Германии.

Потом — пробел?? — Реакция XIX в. Идеалистическая философия — масонство должно указать связь этих движений, характеризующих два конечных пункта новой истории.

16 марта. Основной тезис «философии жизни» — жизнь ценна сама по себе; проявление этого — любовь к жизненному, к людям, к природе. «Смысл жизни» — стр[емление] согласить с естественной основой — сознательную деятельность и критерий.

Л. 4

6 апреля. Программа Л[аппо]-Д[анилевского]: 1) систематика социальных явлений разных порядков; 2) систематика родов каждого порядка; 3) систематика видов каждого рода; 4) сосуществование порядков и закон соответствия морфологических форм; 5) эволюция и систематика степеней развития.

Л. 5 об.

---

* Далее слово не разобрано.

** О, какое счастье! (*нем.*).

*** Несчастье (*нем.*).

**** Далее слово не разобрано.

13 октября. Л[аппо] считает основною формой всякого творчества свободную волю, создающую новые неожиданные и не обусловленные ясною логическою связью комбинации мыслей. Эта черта общая у худож[ественного], метафизического и научн[ого] творчества. <...>

28 января 1898. Три типа поэтических путей. Пушкин — «этическое достоинство в эстетической гармонии»; Петрарка, Боккачио, Данте — в личной любви, ведущей к добру, как гетевское Ewig Menschliche; Шекспир — в гражданской, общественной корректности, в поисках нового мировоззрения.

Л. 6

8 августа 1898. Любопытны некоторые аналогичные пункты Леопарди и Батюшкова. Прирожденная болезненность, жажда общения, жажда интеллигентной атмосферы и вынужденное уединение, разлад с отцом, необеспеченность, отсутствие связи между личными отношениями и идейным согласием, назойливая склонность к меланхолии, мелочная впечатлительность рядом с высокими порывами, «вечные поиски за чем-то лучшим, более широким, осмысленным, полным жизни». Все острее для Леопарди.[662]

Л. 24 а

[Без даты] «Самый ученый человек без книг, без пособий — знает мало и не твердо. Знание профессоров науки есть знание или искусство пользоваться чужими сведениями».

«Талант не любопытен; ум жаден к новости» — «и талант есть ум, но ум сосредоточенный».[663]

Л. 29—29 об.

26 августа. Вчерашний вечер был очень любопытен. Между прочим, поднялся вопрос о польском характере. Ф[лексер] настаивает на «пластичности» польского быта и литературы. Матейко и Микеланджело (сопоставление мое). Я спросил В[ладимира] В[икторовича], не теми ли сторонами дорог ему Достоевский, которые роднят его с польской литературой. По этому поводу Ф[лексер] неожиданно целую теорию развил о том, что польская психика есть психика воли, вся сшита из волевых движений — это характерно и для искусства польского. Волевые типы — пластичны. Такова суть пластики Микеланджело. «Его Исайя — еврей или поляк, но не славянин» (слова Ф[лексе]ра). Волевая психика — существенна и для Достоевского — его Ставрогин, Свидригайлов такие же «маски» (словечко Ф[лексе]ра), как образы М[икел]а[ндже]ло (сопоставление Адрианова).

Л. 33 об.—34

[Без даты] Если мир таков, каким его представляют современные теории, то нет истины, нет общих целей, нет добра и прав Ницше: «Если бы мы больше чувствовали нравственный смысл наших теоретических взглядов и их глубокую нерасторжимую связь с нашими нравственными воззрениями — мы относились бы к коренным вопросам теоретического знания живее и серьезнее. Нам все представляется, что, каким бы мир ни был, и из чего бы ни слагалось наше собственное существо, законы правды и добра, непосредственно очевидные в своей осязательности, навсегда останутся при нас, как наша вечная, неотъемлемая собственность». Такие писатели, как Ницше, разрушают эту иллюзию — этим они, несомненно, содействуют жизненной и твердой постановке основных проблем философии.

Л. 42 об.—43

25 октября. Меня упрекают в излишнем критицизме, в излишнем анализировании и рационализировании моих впечатлений. Это — не то. Я ищу себя в изучаемых проявлениях жизни и мысли, каким сам полон. Изучение дает твердую веру в их общность, в их силу, глубину и верность. В истории и творчестве оно вскрывает их, не как мое субъективное, а как ewig Menschliche, общее, объективное. Объективность изучения дает опору самоутверждению субъективности изучающего. «Я и они» — одно, одна жизнь, одно течение мысли, проявляющееся в массе разнообразных форм, резко различных и, по существу, тождественных. Есть три пути: узкое самоутверждение индивидуальности (критика всего с точки зрения субъективной), узкое самоотречение (рабство перед qausi-объектом) и равенство, сродство себя и объекта (понимание сути жизни в себе и во Всем, как единой, все той же сути).

Л. 47 об.—48

25 мая [1899]. Устами младенцев глаголет истина. Но они говорят, не понимая истинного смысла слов своих. Пушкин. Его черты. Широкое наблюдение и воспр[иятие] жизни. Это не натурализм — а реализм. Взгляд художника глубоко проникает все натуралистическое — но за этим видит нечто большее — он одухотворяет реальное — видит то, что неразложимо анализом как натуралистическое, видит собственную действительную индивидуальную (психич[ескую]) жизнь бытия. Живая, широкая восприимчивость к значению жизни и существования (всякого), чутье значительности всего — основа реализма. Тут и драма. Чутье к душевной жизни своей и чужой — до предела das ewig Menschliche, перед которым бледнеют черты, понятные эксп[ериментальной] психологии, т. е. натуралистические. Возвысить творчество художественное до творчества мистического — мало гениального дарования, огромная нужна сила воли и самосознания — для того, чтобы, возвысившись от положительных определений до трансцендентных, до «абсолютного в сердце» — подняться на примирительную и примиряющую высоту пушкинского творчества. Надо самому стать близко к этому абсолютному в духе своем. Пушкин чествуется не как поэт, а как тип.

Отсюда учительство, указание идеального пути «к моральной области, чувства долга и автономия воли, резигнация, представление Добра и Блаженства, греха и прощения, иррациональное удовольствие, которое сопровождает исполненную заповедь, — все это выходит за пределы рассудочного понимания и все это озаряет душу мистическим светом».

«Каждая песнь Пушкина — есть молитва».[664] Она реальна, но с антропоморфическим одухотворением сути явления, потому тень певца правды и любви широкой, как молитва, раскрывая суть Абсолютного, будит добрые чувства, дает разумение Абсолютного в сердце — заповеди.

В этом суть учительного склада русской литературы.

Красота — третий кумир поэта — в форме. Но форма — речь, язык, глубокий, индивидуальный склад которого уловлен чутким ухом. Каждое слово — живой организм с внутренней жизнью, «внутренней формой», своим конкретным представлением, которое есть символ, проявляющийся в явлении индивидуальной, характерной жизни. Такова суть красоты языка. Красота — в форме. Но форма — ритм, тембр — нечто символически отражающее тут же характерную жизнь, неуловимую натуралистическим анализом.

И выше всего — свобода. Свобода духа, идущего до предела понимания. Свобода личности — абсолютно ценной. На этих двух китах стоит мировоззрение апостола свободы — и стремление к ее воплощению в политических, социальных и моральных отношениях людей. Sic!

Л. 64—66 об.

КОММЕНТАРИИ

[1] Упомянуты сестра А. Е. Преснякова Надежда и ее муж Н. Н. Палибин.

[2] Парголово, Юкки Дранишки — поселки к северу от Петербурга.

[3] В это время Е. Л. Пресняков получил служебное назначение, связанное с постоянным пребыванием в Петербурге. Речь идет о переезде старших Пресняковых (отца и матери) к Палибиным, с которыми в студенческие годы жил сам А. Е. Пресняков.

[4] Прислуги.

[5] А. Я. Либерман — товарищ А. Е. Преснякова по университету.

[6] Имеется в виду изд.: *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Кн. 1, т. 5: Княжение Иоанна III Васильевича. М., 1855 (1-е изд.).

[7] Речь идет о попытках Е. Л. Преснякова перейти на службу на Риго-Псковскую жел. дорогу. В это время он занимал весьма неопределенное положение чиновника для особых поручений, прикомандированного к Временному управлению казенных жел. дорог.

[8] Слух о назначении И. В. Помяловского ректором не оправдался, он остался деканом историко-филологического факультета. Ректором университета в 1890 г. был избран П. В. Никитин. К. Н. Ярош — профессор Харьковского университета. «Русский вестник» — литературный и политический журнал, издававшийся М. Н. Катковым в 1856—1906 гг.

[9] Речь идет о делах Закавказской жел. дороги. Е. Л. Пресняков был управляющим этой дорогой в 1883—1890 гг.

[10] Пресняков иронизирует по поводу положения в 1-й Тифлисской гимназии, директор которой Л. Л. Марков отличался амбициозностью.

[11] «Гражданин» — политический и литературный журнал-газета, основанный кн. В. П. Мещерским. Издавался в Петербурге в 1872—1877 и 1882—1914 гг. Субсидировался правительством и воспринимался как рупор «верхов».

[12] И. П. Прянишников в 1886—1889 гг. был солистом и режиссером Тифлисского оперного театра, в то время одного из лучших оперных театров России. Он принадлежал к числу близких друзей семьи Пресняковых, поэтому его роль в формировании у юного Преснякова тонкого музыкального вкуса несомненна. В данном случае речь идет о попытке И. П. Прянишникова организовать в Киеве первое в России оперное товарищество (1889—1892).

[13] «Князь Игорь» — опера А. П. Бородина с его же либретто, закончена после смерти автора Н. А. Римским-Корсаковым и А. К. Глазуновым (1888). Русское оперное товарищество под управлением И. П. Прянишникова поставило эту оперу в 1892 г. Опер «Вильям Ратклиф», «Анджело» Ц. Кюи и «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова И. П. Прянишников не поставил.

[14] М. В. Карповича.

[15] Боря, Муся, Женя — племянники Преснякова, дети его сестры Екатерины Евгеньевны и Вениамина Николаевича Ефремовых.

[16] «Татьяна Репина» — комедия в 4 действиях А. С. Суворина (1887).

[17] М. П. Кимонтом.

[18] М. В. Карповичу.

[19] Акстафа — станция Закавказской жел. дороги, где служил М. В. Карпович.

[20] Посад Коджоры — пригород Тифлиса.

[21] В. Н. Ефремовым.

[22] «Крейцерова соната» — повесть Л. Н. Толстого (1887—1889). Впервые опубликована в 1891 г., до этого ходила в списках. Вызвала широкий читательский резонанс. См. запись в дневнике А. Е. Преснякова 21 февраля 1890 г. (с. 841 наст. изд.), указывающую на то, что он был знаком с этим произведением еще до его опубликования. В 1891 г. повесть Толстого была запрещена специальным постановлением Св. Синода.

[23] Формулировка А. Е. Преснякова, которого нет никаких оснований подозревать в антисемитизме, — это не более чем резонанс реальных событий 1891 г., связанных с началом «очистительных мер» нового московского ген.-губернатора вел. кн. Сергея Александровича по выдворению из Москвы нескольких десятков тысяч евреев, в основном мещан и мелких торговцев, не получивших «права жительства». В основу этих мероприятий лег закон от 28 марта 1891 г.

[24] Т. е. городскому голове Коджор.

[25] Это письмо при подготовке к изданию Б. А. Романовым ошибочно отнесено к «1894 и 1895 гг.». В фонде Преснякова оно находится в отдельной стопке писем с надписью рукой Юлии Петровны: «1891. Из Москвы и Петербурга. Напечатано» (т. е. перепечатано на машинке): Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 2. Д. 1.

[26] Ю. П. Кимонт и Е. Ползикова, ее подруга.

[27] Прислуга.

[28] Фальц-Фейн — семья предпринимателей, судовладельцев, родственники Набоковых по материнской линии. Владели несколькими доходными домами в Москве, в том числе меблированными комнатами на Тверской, в которых останавливался Пресняков.

[29] «Лоскутная гостиница» (товарищество наследников А. М. Попова) находилась в Охотном ряду (территория современной Манежной площади), здание построено в 1881—1883 гг. арх. А. С. Каминским.

[30] Встреча с П. Н. Милюковым во время московской командировки для Преснякова была не первой. П. Н. Милюков в своих воспоминаниях свидетельствует, что в 1890 и 1891 гг. он провел в Петербурге «два летних сезона», во время которых близко познакомился с участниками платоновского кружка «русских историков», в том числе Пресняковым. См.: *Милюков П. Н.* Воспоминания (1859—1917). М., 1990. Т. 1. С. 161, 163.

[31] Диссертация М. С. Корелина «Ранний итальянский гуманизм и его историография» (М., 1892; 2-е изд. М., 1914). Диспут по диссертации М. С. Корелина являл собой редкий случай, так как за диссертацию, представленную на соискание ученой степени магистра, автору была присуждена степень доктора. См.: [Отчет о диспуте] // Историческое обозрение. 1892. Т. 5. С. 191—198; *Иванов А. Е.* Ученые степени в Российской империи XVIII в.—1917 г. М., 1994. С. 64—65.

[32] Встреча Е. Л. Преснякова с С. Ю. Витте, который в тот момент возглавлял Министерство путей сообщения (до назначения его министром финансов), очевидно, связана с его служебными обязанностями как чиновника особых поручений при министре путей сообщения.

[33] «Русские ведомости» (М., 1863—1918) — одна из наиболее авторитетных либеральных газет.

[34] «Порыв», драма в 4 действиях Н. О. Ракшанина.

[35] Имеется в виду сборник эссе М. Нордау «Условная ложь». См.: *Nordau M.* Die Konventionellen Lüden der Kulturmenschheit. 1886 (1-е изд.).

[36] Диспут П. Н. Милюкова вызвал разногласия среди членов совета. П. Г. Виноградов и В. И. Герье, а вслед за ними и большинство совета, считали, что диссертация «Государственное хозяйство России в первой половине XVIII в. и реформа Петра Великого» дает основания присудить П. Н. Милюкову ученую степень доктора, но это предложение встретило сопротивление со стороны В. О. Ключевского, добившегося того, что его ученику присудили лишь степень магистра. См. об этом: *Милюков П. Н.*

Воспоминания. Т. 1. С. 160—161. Возможность присуждения докторской степени П. Н. Милюкову обсуждалась именно в связи с результатами диспута М. С. Корелина, бывшего всего неделей раньше. Подробнее см.: *Макушин А. В., Трибунский П. А.* Павел Николаевич Милюков: Труды и дни. Рязань, 2001. С. 67—73.

[37] Вероятно, издание: *Waitz Georg.* Urkunden zur deutschen Verfassungs-geschichte. Berlin, 1886. N 10, 11, und 12 Jahrhundert.

[38] Упоминаются философско-исторические лекции Т. Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841), публиковавшиеся в рус. переводе с 1856 г.

[39] Имеется в виду книготорговая фирма «Август Дейбнер», которая находилась на Большой Морской ул.

[40] В это время И. П. Прянишников переехал в Москву, где в 1892—1893 гг. продолжало существовать созданное им оперное товарищество, занимавшее помещение театра Шелапутина.

[41] Т. е. Иоанна Кронштадтского.

[42] Овдовев в 1891 г., С. Ю. Витте вторично женился на М. И. Лисаневич, добившись ее развода с мужем. Скандальная история развода, однако, не испортила его карьеры. О любви и доверии, на котором основан был это брак, свидетельствует переписка Витте с женой. См.: Письма С. Ю. Витте жене (1896—1897) / Публ. А. А. Ивановой // Английская набережная, 4. СПб., 2001. С. 313—328; Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. СПб., 2003. Т. 1, кн. 2. С. 991—992; *Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш.* Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С. 406—407 (прилож.).

[43] Преемник Вышнеградского на посту министра финансов, С. Ю. Витте, отнюдь не преувеличивал его неудач в ведении дел с иностранными банками. См.: *Витте С. Ю.* Воспоминания. Т. 1. 1849—1894. М., 1960. С. 293—295.

[44] В Чикаго летом 1893 г. проходила Всемирная Колумбовская выставка.

[45] Я. П. Полонский в 1846—1850 гг. служил в Тифлисе в канцелярии наместника на Кавказе М. С. Воронцова.

[46] Отец Юлии Петровны, Петр Викентьевич Кимонт, был до выхода в отставку в 1896 г. дивизионным врачом 1-й Кавказской дивизии.

[47] Вероятно, имеется в виду биография Л. Н. Толстого, опубликованная Р. Ловенфельдом: Leo N. Tolstoj, sein Leben, sein Werke, sein Weltanschaung. Berlin, 1892. Th. 1.

[48] «Каменный гость» — опера А. С. Даргомыжского, оркестрованная Н. А. Римским-Корсаковым (1872), «Майская ночь» (1880) — опера Н. А. Римкого-Корсакова.

[49] В. И. Желиховский, родственник С. Ю. Витте, в 1870-х гг. был директором Тифлисской гимназии, затем инспектором Кавказского учебного округа.

[50] Упоминается одно из первых изд. книги очерков П. И. Ковалевского «Император Павел I; Император Петр III; Навуходоносор, царь Вавилонский; Саул, царь Израилев; Людвиг, король Баварский» (СПб., 1901. 7-е изд.) или его же: «Иоанн Грозный и его душевное состояние; Христина Шведская» (СПб., 1901. 7-е изд.).

[51] Премьера оперы-балета Н. А. Римского-Корсакова «Млада» состоялась 20 октября 1892 г. в Мариинском театре. Сюжет оперы основан на сказаниях прибалтийских славян.

[52] Имеется в виду 3-й, невышедший, том работы М. Н. Петрова «Лекции по всемирной истории» (Т. 1—2 / Под ред. В. К. Надлера. Харьков: изд-во Полуехтова, 1888).

[53] См.: *Renan O.* Feuille détaché: Faisant suite aux Souvenirs d'enfance et de jeunesse. 2 p. Paris., 1892; *Иконников В. С.* Обзор русской историографии. Киев, 1892. Т. 1, кн. 2.

[54] Имеется в виду учебник Гардинера по истории Англии с древнейших времен до 1885 г.: *Gardiner Samuel.* The student's History of England. London; New York, 1891—1895. 3 vol.

[55] После запрещения повести Л. Н. Толстого «Крейцерова соната» и прекращения циркуляром обер-прокурора Св. Синода в 1891 г. полемики о ней в печати возможны были только официозные интерпретации в духе той, что упоминается Пресняковым. А. Я. Либерман же, как следует из контекста, намеревался сделать деньги на читательском ажиотаже вокруг «скандального» произведения.

[56] Правильно: «Disjécti mémbra poétae» («Растерзанные члены поэта») — отрывок из Горация: «Если в писаньях моих и Луциллия ритм уничтожить / И переставить сло-

ва, поменяв последнее с первым, / Будет не то, что в стихах... / В тех и растерзанных ты распознаешь члены поэта» (Сатиры. I, 4. С. 39—44, 56—62).

[57] Театр В. А. Неметти (Офицерская ул., д. 39).

[58] См.: *Кареев Н. И.* История Западной Европы в Новое время. Т. 2: Реформация и политическая жизнь в XVI и XVII вв. СПб., 1893.

[59] В 1892/93 уч. году А. С. Лаппо-Данилевский начал читать специальный курс по русской историографии. А. Е. Пресняков был в числе немногих постоянных слушателей этого курса (см.: *Пресняков А. Е.* Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Пг., 1922. С. 23—24).

[60] Общество литераторов и художников, группировавшееся вокруг Я. П. Полонского, было примечательным явлением в жизни столицы. С. Ю. Витте, далекий от мира искусства, отмечает, что «общество Полонского» и после смерти поэта продолжало собираться несколько раз в год в его память. См.: *Витте С. Ю.* Воспоминания. Т. 1. 1849—1894. М., 1960. С. 330.

[61] Симфония Ф. Листа «Франциск Ассизский» (1859).

[62] Т. е. как на учащихся Имп. Александровского лицея или Училища правоведения, привилегированных учебных заведений, воспитанники которых традиционно носили особую форму с треуголками, напоминавшую форму студентов начала XIX в. Форменная одежда для студентов университетов была восстановлена в 1887 г. и изменена в 1896 г., когда были введены тужурки гладкого серого сукна.

[63] Тему исследования об И. Д. Беляеве Пресняков вскоре оставил.

[64] См.: *Пресняков А. Е.* Царственная книга, ее состав и происхождение // Записки историко-филологического факультета Петербургского университета. СПб., 1893. Ч. 31, вып. 2. С. 1—52.

[65] Лекция П. Н. Милюкова «Разложение славянофильства (Данилевский. Леонтьев. Вл. Соловьев)» опубликована: Вопросы философии и психологии. 1893. № 3 (18). С. 46—96. Что касается программы лекций В. О. Ключевского, то, вероятно, это курс по историографии, который должен был читаться в Московском университете в 1893/94 уч. году. См.: *Нечкина М. В.* Василий Осипович Ключевский. М., 1974. С. 600 (примеч. Р. Г. Эймонтовой).

[66] Неточная цитата из «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина:

> Мне не смешно, когда маляр негодный
> Мне пачкает Мадонну Рафаэля.
>
> (*Пушкин А. С.* Моцарт и Сальери //
> Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1981. Т. 4. С. 289)

[67] Выпускники университетов, сдавшие государственные экзамены, по действующему положению зачислялись на государственную службу с чином XII кл. (губернский секретарь). Чин титулярного советника (X кл.) соответствовал статусу магистра. Изменений в градации чинов и ученых степеней в данный момент не последовало.

[68] Опера Р. Вагнера «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (на Мариинской сцене с 1874 г.).

[69] Сравнение с «панамским скандалом» во Франции 1892 г., когда компанией инженера Лессепса, добивавшейся разрешения на производство работ по постройке Панамского канала, были подкуплены многие политические деятели. В результате на выборах 1893 г. левая оппозиция получила необычайно много голосов в парламенте. «Панама» стала нарицательным именем мошенничества в государственных масштабах.

[70] См.: Учебник древней истории / Сост. П. Виноградов, проф. Московского университета. М., 1892. Вып. 1. Позднее появились 2-й и 3-й выпуски пособия, несколько раз переиздававшегося. В основу школьного курса П. Г. Виноградов положил свой опыт преподавания всеобщей истории в 5-й московской гимназии, где вел уроки с 1892 г.

[71] Студенческие волнения 1893 г. проявились в том, что накануне 19 февраля были распространены прокламации с призывом бойкотировать лекции и провести манифестацию в годовщину крестьянской реформы. Занятия в этот день были сорваны, однако массовых студенческих демонстраций не последовало, за исключением Харькова. См.:

Щетинина Г. И. Студенческое движение в России. Последняя четверть XIX в. М., 1977. С. 199.

[72] Страстная неделя — 7-я неделя Великого поста, непосредственно перед Пасхой.

[73] См.: *Кареев Н. И.* История Западной Европы в Новое время. Т. 3: История XVIII в. Консульство, Империя, Реставрация. СПб., 1893.

[74] Работе с рукописью, владельцем которой был А. Н. Лебедев, Пресняков отдал много времени. В его архиве сохранились материалы, рисующие попытки сличения текста этой рукописи с реконструированной им редакцией Царственной книги. «Лебедевская» рукопись была издана владельцем. См. ниже, письма 79, 87, 90—91, 108, 121, 135—137.

[75] Речь идет о перспективах получения Е. Л. Пресняковым должности начальника Варшавско-Тираспольской жел. дороги.

[76] Рецензия К. Н. Бестужева на работу Преснякова о Царственной книге была опубликована (ЖМНП. 1893. № 6. Отд. 2. С. 547—548). Кроме того, в «Историческом вестнике» появилась и рецензия Г. Щапова, тоже весьма доброжелательная (см.: Ист. вестник. 1894. Т. 58. Ноябрь. С. 554).

[77] Неточная цитата из IV действия комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 3/4. С. 256.

[78] «Театр Панаева» — театр оперетты на Английской наб., принадлежавший Николаеву-Соколовскому; «Паяцы» — опера Р. Леонкавалло (1892); «Друг Фриц» — опера М. И. Глинки.

[79] «Пиковая дама» — опера П. И. Чайковского (1890).

[80] О каком инциденте идет речь, не установлено.

[81] А. Е. Пресняков был участником IX Археологического съезда. Археологические съезды созывались раз в три года в различных городах России Московским Археологическим обществом, во главе которого стояла графиня П. С. Уварова.

[82] Речь идет о посещении костела св. Терезии в Вильне, где находилась знаменитая капелла Остробрамской богоматери.

[83] В архиве А. Е. Преснякова сохранился конспект его доклада на Археологическом съезде — «Московские летописные своды», написанный во время пребывания в Вильне (Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 1. Д. 163). См. также: *Пресняков А. Е.* Рец. на кн.: Труды IX-го археологического съезда в Вильне. 1—14 авг. 1893. Т. 1. М., 1895 // ЖМНП. 1896. № 2. С. 446—450.

[84] В Верках находилось имение князей Радзивиллов, перешедшее к Л. П. Витгенштейну (1799—1866), сыну российского фельдмаршала, после его женитьбы на дочери известного магната Доминика Радзивилла. Во дворце Радзивиллов находилось знаменитое собрание картин польских и западноевропейских мастеров.

[85] Имеется в виду местечко Новые Троки в 20 км от Вильны.

[86] Вел. кн. Константином Константиновичем, президентом Академии наук.

[87] Средние торговые ряды в Москве были построены в 1888—1892 гг. по проекту А. Н. Померанцева и Р. И. Клейна.

[88] После смерти С. М. Третьякова его собрание европейской живописи было по завещанию передано московской городской думе вместе с коллекцией старшего брата, П. М. Третьякова. Объединенная коллекция получила название «Московской городской художественной галереи П. и С. Третьяковых».

[89] Имеется в виду Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

[90] Вел. кн. Владимир Александрович состоял с 1869 г. товарищем Президента, а с 1876 г. — Президентом Императорской Академии художеств, в связи с чем претендовал на то, чтобы иметь репутацию покровителя искусств.

[91] В течение 1893—1894 гг. А. Е. Пресняков активно сотрудничал с еженедельником «Филологическая библиотека» (а не «Филол. вестник», как он пишет), издававшимся А. Я. Либерманом, здесь появилось несколько рецензий Преснякова на книгу И. А. Никитского «История экономического быта Вел. Новгорода», магистерскую диссертацию Н. Д. Чечулина. Здесь же была опубликована одна из трех рецензий на его собственное исследование о Царственной книге (см.: Филол. библиотека. Критико-биб-

лиографический'журнал. СПб., 1894. Ч. 2. С. 25—26), автор которой обозначен криптонимом «Л.». Быть может, это был сам А. Я. Либерман.

[92] «Пророк» — опера Дж. Мейербера (1849).

[93] С. Д. Шереметев опубликовал этот источник позднее. См.: Московская трагедия, или Рассказ о жизни и смерти Димитрия / Перевод с лат. А. Браудо и И. Росциуса. СПб., [1900]. С изысканиями С. Д. Шереметева, не получившими широкого научного признания, связывали желание вел. кн. Константина Константиновича видеть его вице-президентом Академии наук (см.: Мемуары графа С. Д. Шереметева. М., 2001. С. 588).

[94] В качестве докторской диссертации С. Ф. Платонов защитил монографию «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.» (СПб., 1899). См.: Диспут С. Ф. Платонова // Ист. вестник. 1899. № 12. С. 1282—1283.

[95] В качестве докторской диссертации Г. В. Форстен представил монографию «Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях (1544—1648)» (СПб., 1893—1894. Т. 1—2). См.: Диспут в СПб. университете // Ист. обозрение. СПб., 1895. Т. 8. С. 242—256.

[96] И. И. Лаппо.

[97] Имеется в виду изд.: *Wundt M.* Logik Studgart, 1880—1883.

[98] Свидетельство о благонадежности запрашивалось иногородними студентами (магистрантами) ежегодно для предоставления в канцелярию университета, которая затем выписывала «вид на жительство», действующий в течение года. Такое свидетельство за подписью с.-петербургского градоначальника В. В. фон Валя присутствует в личном деле А. Е. Преснякова (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9403. Л. 5).

[99] «Кольцо Нибелунгов» — цикл опер Р. Вагнера, образующих тетралогию: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов». Весь вагнеровский цикл был поставлен немецкой труппой Неймина в Москве и Петербурге в 1889 г. и шел на немецком языке, с оригинальным либретто. Первая постановка на русском языке произошла в 1907—1910 гг. в Мариинском театре. Опера Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» вошла в репертуар немецкой труппы в Петербурге только в 1898 г.

[100] «Зал Кононова» — концертный зал на Мойке, д. 61. «Хованщина» — опера М. И. Мусоргского (начата в 1872 г.), законченная и оркестрованная Н. А. Римским-Корсаковым (1883).

[101] А. Е. Пресняков вскоре опубликовал рецензию на первый том книги Г. В. Форстена: «Борьба из-за Ливонии». См.: Филол. библиотека. 1894. Т. 2, ч. 2. С. 73—76.

[102] В 1891 г. при явке к воинской повинности А. Е. Пресняков был зачислен «в ратники ополчения II разряда» как негодный к действительной службе по состоянию здоровья (косоглазие). Копия свидетельства 1891 г. есть в личном деле Преснякова в фонде Петербургского ун-та (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9403. Л. 2).

[103] Имеется в виду Историческое общество при С.-Петербургском университете, существовавшее с 1889 г. и руководимое Н. И. Кареевым.

[104] Метафора относится к проблеме выбора места службы: Министерство просвещения или Министерство финансов. «Зеленый кант» был одним из отличий форменной одежды чиновников Министерства финансов.

[105] Речь идет о бракоразводном процессе сестры А. Е. Преснякова Марии Евгеньевны с мужем — М. В. Карповичем, который настаивал на оставлении за собой малолетних детей — Натальи и Михаила.

[106] Знакомые семьи, приятели старших Пресняковых.

[107] Речь идет о раскрытии злоупотреблений на Закавказской жел. дороге после приобретения ее в казну и ликвидации дел частных акционеров. См. об этом: *Соловьева А. М.* Железнодорожный транспорт в России во второй половине XIX в. М., 1975.

[108] После путешествия цесаревича по Дальнему Востоку под его покровительством была устроена выставка в Эрмитаже. См.: Каталог выставки предметам, привезенным вел. кн. Николаем Александровичем из путешествия Е. И. В. на Восток в 1890—91 гг. СПоб., 1893.

[109] Имеется в виду итальянская опера, располагавшаяся в зале Консерватории, на Мариинской пл.

[110] Театр «Аквариум» (Каменноостровский пр., д. 10) был местом проведения симф. концертов.

[111] Первое студенческое Научно-литературное общество, созданное в 1882 г. О. Ф. Миллером, было закрыто в 1887 г. в связи с процессом по делу кружка А. И. Ульянова и «второго 1 марта». А. И. Ульянов был секретарем естественного отделения студенческого Научно-литературного общества. См.: *Гревс И. М.* За культуру // Былое. 1918. № 2; *Валк С. Н.* Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет // *Валк С. Н.* Избр. труды по историографии и источниковедению. СПб., 2000. С. 37, 67. Попытки воссоздания студенческого научного общества затем предпринимались не раз. А. Е. Пресняков выступил одним из организаторов такого общества под названием «Беседы по проблемам факультетского преподавания».

[112] Т. е. Историческим обществом при С.-Петербургском ун-те под председательством Н. И. Кареева. В иронических отзывах А. Е. Преснякова о Карееве слышатся отголоски «кружкового» противостояния, поскольку «русские историки» во главе с С. Ф. Платоновым, с которыми ассоциировал себя Пресняков, критически относились к амбициям Кареева. О противостоянии «партийных» группировок внутри факультета см.: *Ростовцев Е. А.* Н. И. Кареев и А. С. Лаппо-Данилевский: из истории взаимоотношений в среде петербургских ученых на рубеже XIX—XX вв. // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. № 4. С.108—121.

[113] В салоне К. К. Арсеньева проводились литературные вечера (точнее, беседы по вопросам философии, политэкономии, литературы), именовавшиеся «шекспировскими чтениями». Арсеньевы привлекали к участию в кружке и молодежь, и известных деятелей культуры. Эти собрания воспринимались как наследие либеральных традиций 1860-х гг. См.: *Пирумова Н. М.* Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX в. М., 1986. С. 95.

[114] Т. И. Филиппов профессионально занимался собиранием и исследованием фольклора и возглавлял с 1884 г. песенную комиссию при Имп. русском географическом обществе. См.: *Шилов Д. Н.* Государственные деятели Российской империи. 1802—1917. СПб., 2001. С. 693.

[115] Письма А. Я. Полонского к А. Е. Преснякову, и в том числе те, о которых здесь идет речь, сохранились. Сохранились и ответные письма Преснякова (см.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 2. Д. 7, 11).

[116] «Лоэнгрин» — опера Р. Вагнера с его же либретто по сагам XIII в. В Мариинском театре поставлена в 1868 г.

[117] Святая неделя — т. е. пасхальная.

[118] «Вестник Европы: Журнал истории, политики и литературы» — журнал, выходивший в 1866—1909 гг. под ред. М. М. Стасюлевича, в 1909—1917 гг. — М. М. Ковалевского и К. К. Арсеньева, с 1917 г. — издатель Д. Н. Овсянико-Куликовский, ред. Д. Д. Гримм.

[119] 26 апреля 1894 г. на заседании отделения славянской и русской археологии Российского археологического общества П. Н. Милюков сделал сообщение «К вопросу о составе служилого класса в Московском государстве XVI в.», основанное на «Тетради дворовой». См.: *Макушин А. В., Трибунский П. А.* Павел Николаевич Милюков... С. 93.

[120] Квартирной хозяйки.

[121] С 1890 по 1917 г. владельцем дома Мурузи был Оскар Федорович Рейн, отставной ген.-майор.

[122] Имеются в виду издания: *Толстой Л. Н.* Смерть Ивана Ильича (1889); лондонское издание рассказов В. Г. Короленко (1893); *Green J. K.* A short history of the English people. London, 1891; Книга о книгах: Толковый указатель для выбора книг по важнейшим отраслям знаний / Сост. под ред. И. И. Янжула. М., 1892.

[123] «Мефистофель» — опера А. Бойто, либретто композитора, по поэме «Фауст» Гете. На Мариинской сцене поставлена в 1886 г.

[124] Речь идет о подготовке реферата по книге: *Lacombe P.* Histoire, considérée comme science. Paris, 1894.

[125] См.: [*Пресняков А. Е.*] Рец. на кн.: Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 9. М., 1894 // ЖМНП. 1894. № 12 (за подписью «А. П-в»).

[126] В мае 1894 г. А. С. Лаппо-Данилевский по предложнию Л. Н. Майкова, А. Ф. и И. А. Бычковых и Е. Е. Замысловского был избран в члены Археографической комиссии. 20 сентября 1894 г. в ее члены избран и С. Ф. Платонов, которому было поручено продолжение издания ПСРЛ.

[127] Т. е. в Императорской Археологической комиссии Министерства народного просвещения.

[128] Замешательство при приведении к присяге можно объяснить тем, что многие в Петербурге не ожидали скорой развязки: бюллетени о болезни и смерти Александра III выглядели весьма противоречиво, публиковались задним числом под наблюдением министра двора И. И. Воронцова-Дашкова. Об этом см. записки врача-хирурга Н. А. Вельяминова: Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. 1994. Вып. 5. С. 249—313.

[129] См.: *Лихачев Н. П.* Бумага и древние бумажные мельницы в Московском государстве: Историко-археографический очерк. С прил. 116 таблиц. СПб., 1891. 106 с.

[130] Имеется в виду книга Н. П. Лихачева «Библиотека и архив московских государей в XVI столетии» (СПб., 1894).

[131] М. В. Карпович.

[132] «Псковитянка» — первая опера Н. А. Римского-Кораскова по одноименному произведению Л. А. Мея (1873). В 1895 г. поставлена уже в 3-й авторской редакции.

[133] Реферат Н. И. Кареева был опубликован. См.: *Кареев Н. И.* Новый труд по теории истории (P. Lacombe. De l'histoire considérée comme science. Paris, 1894): Протоколы заседаний // Ист. обозрение. СПб., 1896. Т. 8.

[134] А. Е. Пресняков прочел реферат в Историческом обществе при университете и вскоре опубликовал рецензию на книгу П. Лакомба под названием: Новый труд по теории исторической науки: P. Lacombe. De l'histoire considérée comme science. Paris, 1894 // ЖМНП. 1895. № 10. С. 328—353.

[135] Венчание Николая II с дочерью вел. герцога Гессенского Людовика IV Алисой состоялось 14 ноября 1894 г.

[136] См.: *Соловьев В. С.* Народность с нравственной точки зрения // Вестник Европы. 1895. Январь. С. 337—355.

[137] Реферат В. С. Соловьева «О нравственных основах общежития» опубликован: Вестник Европы. 1895. № 1. С. 337—355.

[138] Речь о предполагаемом назначении В. Н. Ефремова на Михайловский Шостенский пороховой завод, находившийся в ведомстве Военного министерства.

[139] П. А. Кулаковский занимался историей славянства и отличался антипольскими, антикатолическими взглядами. Его магистерская диссертация была посвящена деятельности Вука Караджича в сербской литературе, докторская, о которой идет речь, называлась: «Иллиризм. Ислледование по истории хорватской литературы периода возрождения» и отличалась тенденциозностью «человека партии».

[140] По всей видимости, речь идет о статье: *Гревс И. М.* Очерки из истории римского землевладения во времена Империи. Очерк I: Римское землевладение в момент утверждения империи по сочинениям Горация // ЖМНП. 1895. № 1. С. 66—187.

[141] Очерк о М. Т. Каченовском был написан и опубликован. См.: РБС. Т. Ибак—Ключарев. СПб., 1897. С. 577—580.

[142] В первые недели нового царствования на фоне оживления общественной активности студенческие петиции были заметным явлением. В них содержались помимо требований восстановления университетской автономии в вопросах учебной и административной деятельности и требования общедемократических свобод. См.: *Щетинина Г. И.* Студенчество и революционное движение в России. Последняя четверть XIX в. М., 1987. С. 200—201.

[143] Вероятно, речь идет о цикле литературных очерков: *Верещагин А. В.* На войне в Азии и Европе: Воспоминания. М., 1894.

[144] Речь идет об известной работе Г. В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», опубликованной под псевдонимом Н. Бельтов. Об отношении Преснякова к марксизму тогда и позднее нет единства мнений. Марксистская литература присутствовала в списке его чтения в эти годы, судя по записным книжкам (Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 1. Д. 117. Л. 54). См.: *Жуковская Т. Н.* А. Е. Пресняков и марксизм: опыт историографической демифологизации // Россия в XIX—XX вв.: Сб. статей к 70-летию со дня рождения Р. Ш. Ганелина. СПб., 1998. С. 28—40; *Каганович Б. С.* А. Е. Пресняков, петербургская школа и марксизм // Cahiers du Monde Russe 2001. N 42/1. Janvier—Mars. P. 31—48.

[145] Злоупотребления А. К. Кривошеина сводились, как свидетельствует С. Ю. Витте, к личному обогащению за счет казны. Доклад о состоянии министерства делал гос. контролер Т. И. Филиппов. Это было первое крупное дело о коррупции, раскрытое при новом царе, а потому особенно «громкое». См.: Из архива С. Ю. Витте... Т. 1, кн. 1. С. 410—412.

[146] М. И. Хилков несколько лет провел в Америке, где начал службу простым рабочим ж/д депо, затем помощником машиниста и машинистом. На пост министра путей сообщения был рекомендован С. Ю. Витте. См.: *Витте С. Ю.* Воспоминания. Т. 2. 1895—октябрь 1905. М., 1960. С. 24—26.

[147] Очерк Д. Н. Овсянико-Куликовского о романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» вошел в его книгу «История русской интеллигенции» (М., 1908. Т. 2. Гл. IV: Базаров как отрицатель и как общественно-психологический и национальный тип). Воспоминания об А. А. Потебне вошли в сб.: *Овсянико-Куликовский Д. Н.* Воспоминания. Пг., 1923.

[148] Имеется в виду религиозно-философский трактат Л. Н. Толстого «Царство божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» (1890—1893), вышедший в 1893 г. в изд-ве Дейбнера в СПб., см.: *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. М., 1992. Т. 28.

[149] Речь о перспективах нового назначения Е. Л. Преснякова. В 1892—1894 гг. он исполнял должность зам. начальника Курско-Харьковско-Азовской жел. дороги и одновременно числился чиновником для особых поручений при Министерстве путей сообщения. Ввиду образования общего управления трех южных дорог (Курско-Харьковско-Азовской, Лозово-Севастопольской, Джанкой-Феодосийской) отец Преснякова рассчитывал на перевод в Петербург или получение в управление дороги, чтобы, как писал он министру путей сообщения М. И. Хилкову, вернуться к «живой самостоятельной деятельности». 22 февраля 1895 г. он был назначен пом. начальника соединенной Курско-Харьковско-Севастопольской дороги (РГИА. Ф. 229. Оп. 19. Д. 2129. Л. 140—142 об., 100а).

[150] «Каширская старина» — драма Д. В. Аверкиева. В репертуаре Александринского театра с 1872 г.

[151] «Московская история» 1894 г. заключалась в подаче 42 профессорами во главе с А. А. Остроумовым петиции о смягчении участи высланных из Москвы студентов, под которой стояли подписи В. И. Герье, В. О. Ключевского, П. Г. Виноградова и др. Петиция была расценена как противозаконное действие См.: *Макушин А. В., Трибунский П. А.* Павел Николаевич Милюков.... С. 133—134; *Иванов А. Е.* Высшая школа России в конце XIX—начале XX в. М., 1991. С. 247 и др.

[152] Журнальный вариант «Очерков по истории русской культуры» П. Н. Милюкова публиковался в журнале «Мир Божий» в 1895—1896 гг. (1-й том) затем в 1900—1901 гг.

[153] «Ночь перед Рождеством» — опера Н. А. Римского-Корсакова по одноименному произведению Н. В. Гоголя (1895).

[154] См. примеч. 149.

[155] «Травиата» — опера Дж. Верди, либретто Ф. Пьяве, по драме А. Дюма-сына «Дама с камелиями» (1853).

[156] Имеется в виду пресловутый ответ Николая II 17 января 1895 г. депутации от дворянских обществ, земств, городов по случаю его бракосочетания. В речи царя, со-

ставленной К. П. Победоносцевым, проекты о расширении прав земств именовались «бессмысленными мечтаниями» (Правит. вестник. 1895. 18 янв.).

[157] Фигура Матильды Ивановны Лисаневич, ставшей в 1892 г. женой С. Ю. Витте, вызывала незаслуженные упреки и подозрения в ее причастности к «темным» финансовым делам. Сам С. Ю. Витте в мемуарах упоминает только о том, что брат М. И. Лисаневич без его ведома заключил крупный контракт, прикрываясь именем высокопоставленного свойственника. Ср.: Из архива С. Ю. Витте... Т. 1, кн. 2. С. 991.

[158] Слухи о беременности Марии Федоровны не подтвердились.

[159] Магистерская диссертация В. Г. Дружинина «Раскол на Дону в конце XVII в.» (СПб., 1889).

[160] О студенческих волнениях 1895 г. см.: *Щетинина Г. И.* Студенчество и революционое движение... С. 200—202.

[161] Имеется в виду известный ресторан Н. Палкина на углу Невского и Владимирского пр.

[162] Речь идет о высылке П. Н. Милюкова специальным распоряжением министра И. Д. Делянова за нарушение запрещения читать лекции. Милюкову запрещалось в течение двух лет жительство в столичных городах и губерниях, Твери и Н. Новгороде. Подробнее о ссылке Милюкова см.: *Трибунский П. А.* Рязанская ссылка П. Н. Милюкова // Отечественная история. 1997. № 3. С. 180—192; *Макушин А. В., Трибунский П. А.* Павел Николаевич Милюков... С. 144—148.

[163] Приват-доцент П. В. Безобразов был выслан в Тулу за недопустимые высказывания во время лекции «О женщинах в истории» 10 января 1895 г. в Историческом музее. Высылку П. Н. Милюкова в Рязань руководство Министерства народного просвещения определило как меру, аналогичную наказанию П. В. Безобразова.

[164] «Правительственный вестник» (СПб., 1869—1917) — ежедневная официальная газета, редактором которой в это время был К. К. Случевский.

[165] Речь идет о попытке А. Е. Преснякова поступить на службу в Министерство финансов ввиду истечения срока его «стипендиатства» при университете.

[166] Идейное направление рассказов и повестей Элизы Ожешко, несмотря на национальный колорит, близко толстовству, если под последним понимать общегуманистическую направленность, скрытый и явный протест против безысходности и бесправия народных «низов», что, собственно, и подчеркивает Пресняков.

[167] См.: *Милюков П. Н.* Воспоминания... Т. 1. С. 181—182. О масштабе демонстрации при проводах П. Н. Милюкова см.: *Макушин А. В., Трибунский П. А.* Павел Николаевич Милюков... С. 150.

[168] Неофилологическое общество при С.-Петербургском университете в основном сосредоточивалось на исследовании романо-германских литератур. Кроме действительных членов (около 200) в его состав входили и почетные члены.

[169] Рассказ В. Г. Короленко «Река играет» опубликован в сб.: Помощь голодающим. М., 1892. Рассказ «Чудная» (1893) напечатан отдельно, в Лондоне.

[170] Преемником В. В. фон Валя, ушедшего в отставку 6 декабря 1895 г., на посту петербургского градоначальника стал Н. В. Клейгельс.

[171] Рецензия на диссертацию А. Н. Филиппова в библиографии А. Е. Преснякова не учтена. В 1909 г. он опубликовал рецензию на кн.: *Филиппов А. Н.* Учебник истории русского права. Пособие к лекциям. Ч. 1. Юрьев. 1907 // Журнал Министерства юстиции. 1909. № 2. С. 293—297.

[172] После окончания Ю. П. Кимонт училища бар. Штиглица А. Е. Пресняков получил наконец согласие ее родителей на брак.

[173] См.: [*Пресняков А. Е.*] Рец. на кн.: Новые данные для изучения московских летописных сводов. «Летописец русский (Московская летопись)» / Пригот. к изданию действ. член Орловской ученой архивной комиссии А. Н. Лебедев по рукописи, ему принадлежащей. М., 1895 // ЖМНП. 1895. № 6. С. 466—475.

[174] См. предыдущие примеч.

[175] Речь идет о Высших женских курсах и назначении С. Ф. Платонова деканом филологического факультета ВЖК.

[176] Попытки издания лекционного курса В. Г. Васильевского тогда не осуществились. А. Е. Пресняков занимался исправлением текста по сохранившимся конспектам. См.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 1. Д. 43: Лекции по истории Франции, записанные в 1891—1893 гг.

[177] Инженер и крупный предприниматель С. С. Палашковский был инициатором ряда авантюристических проектов, в том числе проекта постройки нефтепровода через Сурамский перевал для Закавказской жел. дороги, акциями которой он владел в 1880-х гг., затем выступал контрагентом казны при постройке Батумского порта. См.: *Соловьева А. М.* Железнодорожный транспорт в России во второй половине XX в. С. 184—185.

[178] См.: *Пресняков А. Е.* Рец. на кн.: Adolf Pawiński. Sejmiki Zemskie. Warszawa, 1895 // ЖМНП. 1895. № 10. С. 328—353.

[179] «Власть тьмы» (первоначальное название, ставшее впоследствии подзаголовком пьесы: «Коготок увяз, всей птичке пропасть») — драма Л. Н. Толстого (1886), до 1895 г. запрещенная к постановке. Этим, собственно, и объясняется необыкновенный успех пьесы. Сразу же после снятия запрета она почти одновременно ставится в нескольких театрах. Так, 16 октября 1895 г. состоялась ее премьера в театре Литературно-художественного общества («суворинском»), всего через 2 дня — в Александринском театре, в конце месяца — сразу в трех московских театрах.

[180] Лекционный курс А. Е. Преснякова, читавшийся на Женских педагогических курсах в 1895/96 уч. году, был литографирован полностью и сохранился в архиве (Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 1. Д. 18: История России XVI—XVII вв.).

[181] Вел. княжны Ольги Николаевны.

[182] См.: *Афанасьев А. Н.* Государственное хозяйство при Петре Великом // Современник. 1847. № 6, 7 — первая печатная работа А. Н. Афанасьева.

[183] Т. е. студенческое научное общество. См. примеч. 111.

[184] Данная интерпретация причины преследований П. Н. Милюкова отражает официальную версию, которую склонен был поддержать и сам Милюков. О доносах Н. П. Боголепова как возможном источнике недовольства П. Н. Милюковым см.: Памяти русского студенчества: Сб. воспоминаний. Париж, 1934.

[185] См. о цензурных поправках к опере: *Римский-Корсаков Н. А.* Летопись моей музыкальной жизни. М., 1928. С. 340—341, 347—348.

[186] Имеется в виду книга Е. А. Белова «Русская история до реформы Петра Великого» (СПб., 1895). Рецензию на нее А. Е. Пресняков не написал.

[187] Жена С. А. Шереметева, бывшего командующего Кавказским военным округом, которая поддерживала отношения со старыми «тифлисцами» Кимонт и их дочерью.

[188] Речь идет о смерти ребенка Платоновых, Михаила.

[189] Статьи о Ст. Яворском и К. Сальдерне А. Е. Пресняковым не были написаны.

[190] В 1896 г. А. Е. Пресняков начал преподавать в Николаевском сиротском институте, среднем учебном заведении, предназначенном для дочерей чиновников военного и гражданского ведомств. Институт находился на Мойке, д. 48.

[191] Начальницей Николаевского сиротского института в это время была Е. Н. Шостак.

[192] Медвежий стан — поселок в 5 км от Пороховых, вверх по Охте.

[193] Хутор Домброва (Домброво) находился в Пренской волости Сувалкской губернии и был куплен П. В. Кимонтом накануне выхода в отставку.

[194] University extention — университет для широкого народного образования, основанный на программе домашнего чтения, изданиях вроде «Библиотеки для самообразования» И. Д. Сытина. Эта форма образования включала и чтение университетских курсов профессорами для посторонних слушателей, в том числе в провинциальных центрах. Подобная форма существовала в Кембридже и в 1895—1895 гг. широко обсуждалась в среде петербургской и московской профессуры. О деятельности П. Н. Милюкова в пользу University extention см.: *Милюков П. Н.* Воспоминания... Т. 1. С. 174—175. Упомянутая А. Е. Пресняковым статья П. Н. Милюкова «Распространение

университетского образования в Англии, Америке и России» опубликована: Рус. богатство. 1896. № 3. С. 79—121.

[195] См. примеч. 176.

[196] Об отставке Н. М. Чихачева и ее причинах см.: Из архива С. Ю. Витте... Т. 1, кн. 1. С. 396—398.

[197] Сыновья Александра II Владимир Александрович, Алексей Александрович, Сергей Александрович, Павел Александрович имели нелестную репутацию, каждый в своем роде. Говоря о «Константиновичах», Пресняков имеет в виду потомков вел. кн. Константина Николаевича: вел. кн. Константина Константиновича и Дмитрия Константиновича, унаследовавших просвещенность отца и государственные таланты. «Михайловичи» — потомки вел. кн. Михаила Николаевича: Николай Михайлович (историк, коллекционер, председатель Императорского русского исторического общества), Георгий Михайлович (управляющий Русским музеем, председатель Императорского русского генеалогического общества) и упомянутый здесь Александр Михайлович, ставший морским министром. Об отношениях великих князей с молодым императором см.: Из архива С. Ю. Витте... Т. 1, кн. 1. С. 400—401.

[198] Т. е. вел. кн. Сергея Александровича.

[199] Т. е. на X Всероссийском Археологическом съезде, который проходил в Риге.

[200] В Николаевском сиротском институте существовали классы, готовившие преподавательниц французского языка, отсюда такое внимание методике его преподавания.

[201] «Родник» — ежемесячный иллюстрированный журнал для детей школьного возраста с приложением «педагогического листка» — для родителей. Издавался Н. Н. Моревым, ред. — А. Н. Альмединген.

[202] О благотворительной деятельности Г. В. Форстена см.: *Кан А. С.* Историк Г. В. Форстен и наука его времени. М., 1979.

[203] См. примеч. 111.

[204] Докторский диспут Н. Д. Чечулина состоялся 8 декабря 1896 г. Его диссертация «Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II. 1762—1774 гг.» (СПб., 1896) получила отрицательный отзыв В. И. Ламанского, одного из оппонентов. Публичный диспут был прерван из-за недопустимо резкого тона полемики, вынесенной затем на страницы газет. См.: *Кареев Н. И.* Заметка по поводу «исследования» г. Чечулина // Вестник Европы. 1897. № 1.

[205] Одним из этапов магистерских испытаний, сохранившимся с начала XIX в., было написание письменного сочинения по вопросам, назначенным экзаменаторами. См.: *Иванов А. Е.* Ученые степени в Российской империи... С. 105.

[206] Речь об отъезде В. Н. Ефремова с семьей, назначенного председателем хозяйственного комитета на Шостенский пороховой завод.

[207] Николай II зимой 1896—97 г. переболел брюшным тифом.

[208] См. примеч. 156.

[209] Начальницей гимназии Оболенской в это время была М. А. Мещерская.

[210] Имеется в виду одно из товариществ похоронных процессий, существовавших в Петербурге.

[211] Биография Ст. Яворского для «Русского биографического словаря» не была написана.

[212] «Вопросы философии и психологии» — журнал, издававшийся с 1889 г. А. А. Абрикосовым и Н. Я. Гротом при Московском психологическом обществе.

[213] Имеется в виду Философское общество при Петербургском университете.

[214] В январе 1897 г. Е. Л. Пресняков был произведен в чин действ. статского советника (РГИА. Ф. 229. Оп. 19. Д. 2129).

[215] См.: *Середонин. С. М.* Исторический обзор деятельности Комитета министров. СПб.: Изд. Комитета министров, 1902—1903. Т. 1—4.

[216] «Вильям Ратклиф» — опера Ц. Кюи по сюжету одноименной романтической трагедии Г. Гейне. В Мариинском театре была поставлена еще в 1869 г. «Снегурочка» — опера Н. А. Римского-Корсакова, либретто композитора, по одноименной пьесе А. Н. Островского. В Мариинском театре поставлена 29 января 1882 г. «Садко» — опе-

ра-былина Н. А. Римского-Корсакова, либретто композитора, при участии В. В. Стасова, В. В. Ястребцева, Н. М. Штрупа и др. Была поставлена 26 декабря 1897 г. в Московской частной русской опере.

[217] Защита С. В. Рождественским магистерской диссертации «Служилое землевладение в Московском государстве XVI в.» состоялась 20 апреля 1897 г.

[218] Речь идет об обстоятельствах отставки П. В. Кимонта, совпавшей с назначением Г. С. Голицына командующим войсками Кавказского военного округа вместо С. А. Шереметева. П. В. Кимонт служил дивизионным врачом 1-й Кавказской дивизии. С. Ю. Витте дает нелестную оценку новому главнокомандующему в сравнении с истинным «кавказцем» С. А. Шереметевым (*Витте С. Ю.* Воспоминания. Т. 2. С. 105, 108).

[219] В течение нескольких лет А. Е. Пресняков читал в гимназии Оболенской курс по истории древнегреческой культуры, который был литографирован. Сам Пресняков придавал большое значение этому курсу, который, как он считал, занял важное место в его научной биографии. См. его Curriculum vitae, сост. к 35-летию своей научной деятельности (1928), сохранившееся в фонде С. Ф. Платонова: ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 3945. Л. 40.

[220] Рецензию на книгу Н. В. Сперанского «Очерки истории народной школы в Западной Европе» (СПб., 1896) А. Е. Пресняков не написал.

[221] Докторская диссертация С. Ф. Платонова публиковалась в «Журнале Министерства народного посвещения» в течение 1897 г.

[222] Имеются в виду статьи географа А. Н. Краснова. «Книжки „Недели“» — ежемес. журнал романов и повестей (1885—1901), издававшийся П. А. Гайдебуровым (с 1887 г.).

[223] В 1897 г. А. Е. Пресняков присоединился к Лаппо-Данилевскому, начавшему разрабатывать в то время вопросы исторической методологии. Подробнее см.: *Ростовцев Е. А.* Н. И. Кареев и А. С. Лаппо-Данилевский... С. 113.

[224] Общество музыкальных собраний (Русское музыкальное общество) — кружок А. А. Давидова, М. А. Гольденблюма, Н. А. Римского-Корсакова.

[225] «Моцарт и Сальери» — опера Н. А. Римского-Корсакова (1898), своеобразие которой состоит в преобладании речитатива. Как видим, любительское исполнение этой оперы в «кружке» опередило ее постановку на большой сцене.

[226] А. Е. Пресняков сотрудничал с литературным и политическим журналом «Новое слово» — органом леволиберальной группы во главе с П. Б. Струве. Издавался в 1894—1898 гг. под ред. И. А. Баталина, затем П. Б. Струве. Здесь была опубликована рецензия А. Е. Преснякова на кн.: *Семевский В. И.* Из истории общественных течений в XVIII—первой половине XIX вв. (Ист. обозрение. Т. 9. СПб., 1897) // Новое слово. 1897. № 3. С. 112—114.

[227] Е. Л. Пресняков продолжал помогать сыну и после его женитьбы в течение нескольких лет, сохранив за ним ту сумму, которую высылал ему в студенческие годы, — 50 р., а затем 75 р. ежемесячно, т. е. примерно 900 р. в год. Он помогал также семьям дочерей. Жалование самого Е. Л. Преснякова в 1897—1898 гг., когда он занимал должность зам. начальника Курско-Харьковской жел. дороги, составляло 7600 р. в год, «с разъездными и квартирными» деньгами (РГИА. Ф. 229. Оп. 19. Д. 2129).

[228] Акушеркой.

[229] Далее следует несколько писем, адресованных отцу, поскольку некоторое время Мария Пафнутьевна жила у старшей дочери в Шостке. Ей в это время А. Е. Пресняков не писал, надеясь, что письма, отправленные отцу, будут прочтены обоими.

[230] Имеется в виду магистерская диссертация В. М. Грибовского «Народ и власть в Византийском государстве. Опыт историко-догматического исследования» (СПб., 1897).

[231] Речь идет об открытии публичных заседаний Санкт-Петербургского философского общества 31 января 1898 г. А. И. Введенский выступил на открытии с речью «Судьбы философии в России», опубликованной в журнале «Вопросы философии и психологии» (1898. Кн. 42).

[232] Имеется в виду реакционная деятельность обер-прокурора Св. Синода Н. А. Протасова в 1840-х гг. по руководству духовным образованием и его вмешательство в дела цензуры и народного просвещения.

[233] Имеется в виду книга М. А. Дьяконова «Очерки из истории сельского населения в Московском государстве XVI—XVII вв.» (СПб., 1898).

[234] Речь идет о книге А. Вертеловского «Западная средневековая мистика в ее отношении к христианству» (СПб., 1911. 2-е изд.).

[235] Дело Альберта Дрейфуса, капитана франц. Генштаба, было построено на ложных обвинениях в шпионаже в пользу Германии и тянулось с 1894 г. Дрейфусу был вынесен суровый приговор в каторжные работы. В 1898 г. под давлением французской общественности дело было пересмотрено, но Дрейфус был «помилован», а не оправдан. Полная реабилитация произошла только в 1906 г.

[236] Доклад В. С. Соловьева «Жизненная драма Платона» опубликован: Вестник Европы. 1898. № 3. С. 334—356; № 4. С. 769—793. В это время В. С. Соловьев готовил собрание сочинений Платона. 1-й том «Творений Платона» в его переводе вышел в 1899 г., 2-й — уже после его смерти.

[237] См. примеч. 194.

[238] Д. Г. фон Дервиз занимался благотворительностью и состоял тов. председателя общества народных столовых. Столовая Дервиза находилась на углу 12-й линии и Среднего проспекта и была местом проведения вечеров студенческих землячеств. Здесь же проходили публичные лекции в пользу недостаточных студентов.

[239] «Мир Божий» — литературный и научно-популярный журнал для юношества, выходивший в 1892—1906 гг. В состав редакции входили так называемые легальные марксисты П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановский. Редактором журнала был А. И. Богданович, а с осени 1899 г. — П. Н. Милюков.

[240] «Тристан и Изольда» — опера Р. Вагнера с его же либретто (1859). В России впервые поставлена немецкой оперной труппой в Петербурге в 1898 г., в 1899 г. поставлена на русской сцене — в Мариинском театре (дирижер Ф. М. Блуменфельд).

[241] Лазарева суббота — суббота перед Вербным воскресеньем.

[242] Имеется в виду сквер во дворе дома С. Д. Шереметева на Фонтанке, д. 36.

[243] Биография К. Н. Батюшкова, написанная для «Русского биографического словаря», не была опубликована. Черновая рукопись этой работы сохранилась в архиве А. Е. Преснякова (Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 1. Д. 50).

[244] Имеется в виду издание: *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. 2-е изд. Харьков, 1888.

[245] Имеется в виду биография Александра I.

[246] С назначением Н. П. Боголепова, первого министра из профессорской среды, связывались определенные надежды. Но первые же действия нового министра воскресили худшие времена «аракчеевщины» в просвещении. В некотором смысле феномен «боголеповщины» проясняет характеристика, данная министру С. Ю. Витте, писавшим, что тот был «человеком хотя прямым и честным, но не умным, узким, черствым и трусливым» (*Витте С. Ю.* Воспоминания. М., 1960. Т. 2. С. 199—200).

[247] См.: *[Пресняков А. Е.]* Рец. на кн.: Пыпин А. Н. История русской литературы. Т. 1: Древняя письменность. СПб., 1998 // Мир Божий. 1898. № 3. Критич. отдел. С. 71—74.

[248] Филипповский (Роджественский) пост начинается за 4 недели до Рождества.

[249] Если учесть, что отец Преснякова занимал ответственную должность в Министерстве путей сообщения, то шутка приобретает остро политический подтекст. В ней содержится намек на крушение царского поезда, случившееся в 1888 г. у ст. Борки.

[250] Реферат В. С. Соловьева, прочитанный в Санкт-Петербургском философском обществе в сентябре 1898 г., был посвящен 50-летию со дня смерти Белинского.

[251] В 1930-е гг. могила Я. П. Полонского оказалась на территории лагеря. По настоянию родственников прах поэта перезахоронен в Рязани.

[252] К. П. Победоносцев, обер-прокурор Св. Синода, считался вдохновителем консервативного курса последних двух царствований. Пресняков воспроизводит распро-

страненный каламбур, основанный на фамилиях двух реакционеров: Боголепова и Победоносцева.

[253] Г. С. Петрова.

[254] А. Н. Страннолюбский был близок вел. кн. Константину Николаевичу, деятелю эпохи «великих реформ», главноуправляющему морским ведомством. «Константиновцы» воспринимались как группировка, влияние которой выходило далеко за пределы ведомственной компетенции. См.: *Долгоруков П. В.* Петербургские очерки. М., 1991. С. 123—126.

[255] «Начало» — журнал, выходивший в Петербурге в 1899 г., орган легальных марксистов. Фактическими редакторами его были П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский и А. М. Калмыкова.

[256] Статья А. Е. Преснякова об Александре I в те годы опубликована не была. Интерес историка к александровской эпохе нашел отражение в его лекционных курсах, цикле статей 1920-х гг. и монографии «Александр I», вышедшей в 1924 г. в серии «Образы человечества».

[257] В 1901—1905 гг. С. Ю. Витте возглавляет созданное по его инициативе Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, в центре которого оставался вопрос «устройства быта нашего главного земледельца, именно крестьянина». См.: *Витте С. Ю.* Воспоминания. Т. 2. С. 532; *Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш.* Сергей Юльевич Витте и его время. С. 112—120.

[258] Позиция С. Ю. Витте в отношении студенческих волнений 1899 г. отражена в его известной записке, направленной против действий И. Л. Горемыкина и Н. П. Боголепова. Главной их ошибкой он считал то, что «вследствие всего произошедшего дело возросло из школьной шалости на степень общественного явления». См.: *Ганелин Р. Ш.* Петербургский университет и правительственная политика (Из истории студенческого движения) // Очерки истории ЛГУ. Л., 1989. Т. 6. С. 114—115; Из архива С. Ю. Витте... Т. 1, кн. 2. С. 566—567.

[259] О расследовании по делу о студенческих беспорядках см.: *Щетинина Г. И.* Студенческое движение в России... С. 223—227.

[260] Первая постановка «Гамлета» в переводе К. Р. прошла 17 января 1897 г. на «измайловских досугах», собрании офицеров Измайловского полка. Представление же «Гамлета», описанное А. Е. Пресняковым, было оценено неоднозначно. Например, на бывшего на спектакле министра императорских театров С. М. Волконского оно произвело впечатление дилетантизма и натянутости (*Волконский С. М.* Мои воспоминания. М., 1992. С. 43).

[261] Среди упомянутых в ироническом контексте фамилий сановников значится Н. А. Зверев, товарищ министра народного просвещения при Н. П. Боголепове, впоследствии член Государственного совета, сенатор, начальник Главного управления по делам печати. Человек с репутацией реакционера. Историк Н. И. Кареев в своих воспоминаниях приводит четверостишие, написанное по поводу прихода в министерство Боголепова и Зверева: «Вселились в министерство / В довольно равной мере / Божественность и зверство / В нелепом богозвере» (*Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 334. Коммент. В. П. Золотарева).

[262] Речь идет о первом собрании сочинений Г. Сенкевича на польском языке, издававшемся с 1899 г. «Tygodnik Wilenski» — журнал, выходивший раз в две недели.

[263] Имеется в виду книга П. П. Семенова-Тян-Шанского «Эпоха освобождения крестьян в России (1857—1861 гг.) в воспоминаниях» (СПб., 1893—1894. Т. 1—2).

[264] Имеется в виду изд.: *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1878—1896. Т. 1—12.

[265] Фомина неделя — 6-я неделя Великого поста.

[266] А. Е. Пресняков поместил в «Русском биографическом словаре» три статьи о Бестужевых-Рюминых: Алексее Петровиче, Михаиле Петровиче — сановниках елизаветинского царствования, их отце Петре Михайловиче. См.: РБС. Т. 2. Алексинский—Бестужев-Рюмин. СПб., 1900. С. 770—787, 787—796, 796—799.

[267] «Жизнь» — литературный, научный и политический журнал (1897—1900). В книге М. А. Дьяконова «Очерки из истории сельского населения в Московском госу-

дарстве XVI—XVII вв.» (1898), на которую отозвался рецензией А. Е. Пресняков, проводится близкая В. О. Ключевскому теория закрепощения. См. также: *Пресняков А. Е.* Труды М. А. Дьяконова по русской истории // Русский исторический журнал. 1921. Кн. 7.

[268] Вел. княжна Мария Николаевна.

[269] Имеется в виду книга: *Никольский Б. В.* Академический Пушкин. СПб., 1899.

[270] Роман Г. Сенкевича.

[271] См.: *Петров Г. С.* Евангелие как основа жизни. СПб., 1899.

[272] Племянник А. Е. Преснякова: сын Адели и И. А. Даль-Троццо.

[273] Цесаревич Георгий Александрович в юности готовился к морской службе, но уже в 1890 г. у него обнаружился туберкулез. С 1892 г. почти безвыездно он находился в Абастумане, высокогорном курорте. О характере его времяпрепровождния можно судить из писем В. О. Ключевского, читавшего наследнику курс истории нового времени в течение двух зим (см.: *Нечкина М. В.* В. О. Ключевский. С. 332—335; 355—366). В официальных некрологах сообщалось, что Георгий Александрович погиб во время прогулки на мотоцикле, не справившись с управлением.

[274] Речь об обсуждении проекта введения земских учреждений в Западном крае, составленного И. Л. Горемыкиным. Против проекта выступил С. Ю. Витте. Несмотря на широкий общественный резонанс, проект расширения местного самоуправления был оставлен. См.: *Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш.* Сергей Юльевич Витте и его время. С. 100—109.

[275] Имеются в виду циркуляр министра народного просвещения и опубликованные «временные правила», выработанные совещанием шести министров, об отбывании воинской повинности студентами, исключенными за участие в беспорядках, об упорядочении комплектования университетов и т. п.

[276] Удаление из университета неугодных профессоров распоряжением министра шло в комплексе «очистительных» мер и не носило личного характера, так как никто их удаленных не скомпрометировал себя перед правительством именно участием в событиях зимы 1899 г. Н. И. Кареев восстановлен в профессорском звании только в 1906 г., как и С. А. Венгеров. Об истории с увольнением профессоров см.: *Валк С. Н.* Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет. С. 43; *Кареев Н. И.* Прожитое и пережитое. С. 204—209.

[277] «Южный край» — периодический журнал, издававшийся в Харькове.

[278] 17 сентября ст. ст. — день поминовения святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

[279] М. Л. Магницкий и Д. П. Рунич — реакционеры и обскуранты 1820-х гг. Их выступления с обличениями «вольного духа» в русских университетах стали причиной упадка Казанского университета, попечителем которого стал Магницкий, и Петербургского, исполняющим обязанности попечителя в котором сделался Рунич. В начале николаевского царствования разоблачены как коррупционеры.

[280] В августе 1899 г. П. Н. Милюкову было разрешено проживать в Петербурге (правда, за ним был установлен негласный надзор полиции), и с 27 августа он поселился в столице. Об отношениях Милюкова с петербургскими историками после его возвращения см.: *Макушин А. В., Трибунский П. А.* Павел Николаевич Милюков... С. 232—233.

[281] А. Е. Пресняков в течение двух лет преподавал русскую историю князьям Иоанну Константиновичу и Гавриилу Константиновичу.

[282] Летом 1899 г. возникло громкое «мамонтовское дело» по поводу постройки ж/д ветки Вологда—Архангельск, запутанное в ходе фиктивных сделок и комбинаций. С. И. Мамонтов как председатель общества Московско-Ярославской жел. дороги добился от Министерства финансов концессии, которая могла спасти положение общества. В разоблачении С. И. Мамонтова неблаговидную роль сыграл С. Ю. Витте. См.: Из архива С. Ю. Витте... Т. 1, кн. 2. С. 987—988. В. В. Максимов, директор ж/д департамента, уличенный в даче крупной взятки, был отправлен в отставку.

[283] См. примеч. 202.

[284] Сам Милюков зафиксировал в «Воспоминаниях» как раз существование в Петербурге двух кружков, однако их характеристики, как можно заметить, построены не только на наблюдениях 1891—1892 гг., к которым они привязаны по тексту, но и наблюдениях более поздних — 1899 г. Именно к этому времени можно отнести характеристики Милюковым А. Е. Преснякова, М. А. Полиевктова и других учеников С. Ф. Платонова. См.: *Милюков П. Н.* Воспоминания... Т. 1. С. 162—163.

[285] И. И. Лапшин занимался, в частности, психологией познания. Сохранилась его переписка с А. Е. Пресняковым, затрагивающая и проблемы науки (см.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 2. Д. 28).

[286] Редактором «Мира Божьего» формально оставался А. И. Богданович, П. Н. Милюков возглавил редакцию научного отдела, активно привлекал новых авторов, стремился к обновлению журнала, что вскоре вызвало конфликт с издателями. См.: *Макушин А. В., Трибунский П. А.* Павел Николаевич Милюков... С. 234—237.

[287] См.: *Пресняков А. Е.* 1) [Рец. на кн.:] Ланглуа и Сеньобос. Введение в изучение истории. СПб., 1899 // Жизнь. 1899. № 7. С. 380—382; 2) [Рец. на кн.:] Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населения в Московском государстве (XVI—XVII вв.) СПб., 1898 // Жизнь. 1899. № 10. С. 373—379.

[288] Т. е. Ф. В. Дорлиака, преподавателя франц. языка.

[289] Данная работа в печати не появилась.

[290] См.: *Лапшин И. И.* О психологическом изучении метафизических иллюзий // Жизнь. 1900. № 1. С. 72—83.

[291] См.: *Лихачев Н. П.* Государев родословец и Бархатная книга. СПб., [1900].

[292] Об отношениях А. Е. Преснякова с А. А. Шахматовым см.: *Чирков С. В.* А. А. Шахматов и А. Е. Пресняков (По материалам архива А. Е. Преснякова) // Ист. записки. М., 1974. Т. 88. С. 384—395.

[293] В этот день М. А. Дьяконов защитил докторскую диссертацию по книге «Очерки из истории сельского населения в Московском государстве XVI—XVII вв.». О диспуте М. А. Дьяконова см.: Ист. вестник. 1900. № 3. С. 1225—1226.

[294] Магистерская диссертация И. И. Лапшина «Законы мышления и формы познания» (СПб., 1906) была защищена в мае 1907 г.

[295] «Отелло» — опера Дж. Верди, либретто А. Бойто (1887). Это был один из последних выходов Сальвини в роли Отелло, с которой, собственно, начался расцвет его творчества в середине 1850-х гг. Интерпретация образов шекспировских героев Т. Сальвини считалась непревзойденной.

[296] Речь о выборах в почетные члены Академии наук в январе 1900 г., когда были избраны В. Г. Короленко, А. П. Чехов, В. С. Соловьев и др.

[297] О какой именно статье Е. Л. Преснякова идет речь, не установлено. Под «угольным делом» в конце 1890-х гг. подразумевался комплекс проблем, связанных с необходимостью упорядочения тарифов на перевозку топлива, поскольку при удешевлении угля при росте угледобычи на Юге России тарифы на его перевозку (как и на перевозку нефтяного топлива) в несколько раз превышали цену угля, причем сильно варьировались на разных дорогах. Государственное регулирование тарифов, установленное в это время, означало фактически государственное субсидирование перевозок топлива. См.: *Соловьева А. М.* Железнодорожный транспорт в России во второй половине XIX в. С. 175.

[298] См.: *Пресняков А. Е.* Московская историческая энциклопедия XVI века // Изв. ОРЯС АН. 1900. Т. 5, кн 3. С. 824—876.

[299] Диспут по поводу защиты И. М. Гревсом магистерской диссертации «Очерки по истории римского землевладения (преимущественно во время Империи)» (СПб., 1899. Т. 1) проходил 21 мая 1900 г. См.: Ист. вестник. 1900. № 6. С. 349—351.

[300] Короча — уездный город Курской губ., в 120 км от Курска.

[301] Имеется в виду одна из булочных, принадлежащая фирме «Филиппов Иван и наследники», основанной И. М. Филипповым (1824—1878). Главная булочная находилась на Тверской ул., д. 10, в ее пекарне выпекались фирменные сайки и калачи. Сеть филипповских булочных была разбросана по всей России.

[302] В июне 1900 г. вспыхнуло народное восстание в Китае, подготовленное тайным обществом Ихэтуань («Отряды справедливости»), направленное против иностранцев и сопровождавшееся осадой иностранных посольств. Военные действия развернулись и в районе строящейся КВЖД, угрожая экономическим интересам России. В начале июля была объявлена мобилизация в Приамурском военном округе, и сводный отряд под командованием Н. П. Линевича принял участие в международной экспедиции в Северный Китай. В подавлении восстания также принимали участие войска Германии, Франции, США, Австро-Венгрии и Италии.

[303] Предметом занятий А. Е. Преснякова стал Московский лицевой свод. См. его работы: 1) Московская историческая энциклопедия XVI в. С. 824—876; 2) Заметки о лицевых летописях // Изв. ОРЯС АН. СПб., 1902. Т. 6, кн. 4. С. 295—304.

[304] Третий сын Пресняковых Вениамин.

[305] Тифлисский приятель семьи Пресняковых.

[306] С. Ф. Платонов назначен деканом историко-филологического факультета университета.

[307] Докторская диссертация Н. М. Бубнова «Сборник писем Герберта как исторический источник (983—997)» (СПб., 1888—1890. Ч. 1—2) была защищена в 1900 г.

[308] См. примеч. 303.

[309] 20 декабря 1900 г. А. Е. Пресняков зачислен сотрудником Археографической комиссии АН.

[310] «Северный курьер» — ежедневная газета (1897—1903).

[311] Речь идет о новом назначении Е. Л. Преснякова членом Комитета управления жел. дорог при МПС, вторым заместителем начальника Управления жел. дорог (РГИА. Ф. 229. Оп. 19. Д. 2129. Л. 161, 165а).

[312] См. рукопись курса лекций по истории России XIX в. Ч. 1: Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 1. Д. 13.

[313] Имеются в виду Временные правила об отдаче студентов в солдаты за участие в беспорядках, принятые при Н. П. Боголепове.

[314] Дворец «Лазенки» — резиденция польских королей XVI—XVIII вв. Бельведерский дворец с 1815 г. — местопребывание наместников Царства Польского.

[315] Поместье Даль-Троццо.

[316] Имеется в виду ответ Л. Н. Толстого на решение Св. Синода об отлучении писателя от церкви. См.: *Толстой Л. Н.* Ответ на определение Синода 20—22. II и на полученные мною по этому случаю письма // Полн. собр. соч. Т. 34. С. 245—253. В «Миссионерском обозрении» — противосектантском журнале, издававшемся в Киеве в 1896— 1917 гг., — ответ Толстого был напечатан с купюрами. См.: Миссионерское обозрение. 1901. № 6. С. 806—814.

[317] В 1901 г. Е. Л. Пресняков получил место в Комитете по управлению жел. дорогами, и родители переехали в Петербург. С этого времени прекращается регулярная переписка А. Е. Преснякова с матерью. Сохранились только два письма 1905 г.

[318] См.: *Пресняков А. Е.* Василий Никитич Татищев // Вестник к библиотеке самообразования. 1905. 15 сент. № 37. С. 1171—1178.

[319] Обращение Т. Рузвельта к воюющим сторонам послужило прологом Портсмутского мирного договора. См.: *Бовыкин В. И.* Очерки истории внешней политики России. Конец XIX века—1917 год. М., 1960. С. 45—47.

[320] См.: Люди Смутного времени / Под ред. А. Е. Преснякова: Прилож. к журн. «Вестник к библиотеке самообразования». 1905. А. Е. Пресняков помимо предисловия был автором очерков о Прокопии Ляпунове и митрополите Филарете.

[321] См. примеч. 71.

[322] А. Е. Пресняков имеет в виду трудности, стоявшие на пути к его браку с Ю. П. Кимонт в связи с различием вероисповеданий. См. письма к матери за 1893—1894 гг.

[323] О семейной драме Г. В. Форстена см.: *Кан А. С.* Историк Г. В. Форстен и наука его времени. С. 30.

[324] Немецкое название города, именовавшегося впоследствии Двинском (ныне Даугавпилс).

[325] В родословную дворянскую книгу Калужской губернии был занесен дед А. Е. Преснякова — отставной капитан Лев Петрович Пресняков и его дети — только в 1857 г. (сведения, сообщаемые в кн.: *Брачев В. С.* Русский историк А. Е. Пресняков (1870—1929). СПб., 2002. С. 6).

[326] Имеется в виду сад «Аркадия» в Новой Деревне.

[327] Речь идет о С. А. Адрианове.

[328] См.: *А[дриано]в*. Рец.: Проф. В. Сергеевич. Русские юридические древности. Т. II. Власть. Вып. 2. Советники князя. СПб., 1896 // Северный вестник. 1896. № 9. С. 144—149.

[329] Речь здесь и в следующих письмах идет о X Всероссийском археологическом съезде (Рига, 1896).

[330] Имеется в виду В. Н. Ефремов.

[331] Речь идет о подготовке к печати курсов лекций В. Г. Васильевского. Издание их не состоялось.

[332] Здесь и далее, говоря об «институте», Пресняков имеет в виду Николаевский сиротский институт в Петербурге, в котором он преподавал в 1896—1899 гг. См. примеч. 190.

[333] Речь идет о рецензии А. Е. Преснякова на изд.: ЛЗАК. СПб., 1895. Вып. 10 // ЖМНП. 1896. № 9. С. 153—162. Вторая статья, сданная им в редакцию этого журнала, была опубликована позже. Это рецензия на книгу П. Ф. Каптерева «Сношения иерусалимских патриархов с русским правительством с конца XVI до конца XVIII столетий» (ЖМНП. 1896. № 11. С. 127—138).

[334] Докторская диссертация С. Ф. Платонова была опубликована через три года. См.: *Платонов С. Ф.* Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. (Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время). СПб., 1899.

[335] Большая и Малая Иматра — два водопада, которые образует р. Вуокса. Земля вокруг водопада Большая Иматра была сдана в аренду акционерной компании, построившей здесь гостиницу. Малая Иматра находилась на государственной земле.

[336] Речь идет о Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде.

[337] Речь об отношениях М. А. Полиевктова и Е. В. Чуйко.

[338] См. об этих занятиях в кн.: *Пресняков А. Е.* А. С. Лаппо-Данилевский. Пг., 1922. С. 30.

[339] См. примеч. 217.

[340] «Через край» — комедия Вл. Старцева (В. А. Тихонова).

[341] См.: *Платонов С. Ф.* К истории опричнины XVI в. // ЖМНП. 1897. № 10. С. 260—276.

[342] См.: *Бороздин А. К.* Протопоп Аввакум. Очерк по истории умственной жизни русского общества в XVII в. СПб., 1898.

[343] Имеются в виду статьи для «Русского биографического словаря», см. письмо 298 и примеч. 266.

[344] «Без догмата» — роман польского писателя Г. Сенкевича.

[345] См.: *Пресняков А. Е.* Бестужев-Рюмин Алексей Петрович // РБС. СПб., 1900. Т. 2. Алексинский—Бестужев-Рюмин. С. 770—787.

[346] Т. е. в магазин Гвардейского экономического общества, находившийся в здании на Б. Конюшенной ул., которое ныне занимает ДЛТ.

[347] Речь о романе Г. Сенкевича «Семья Поланецких».

[348] Имеется в виду неподписанная рецензия на книгу А. К. Бороздина «Протопоп Аввакум» (СПб., 1898): Мир Божий. 1898. № 9. С. 69—71.

[349] «Руслан и Людмила» — опера М. И. Глинки (1842).

[350] Статья А. Е. Преснякова об Александре I в это время написана не была. Спустя четверть века в биографической серии «Образы человечества» вышла его книга: *Пресняков А. Е.* Александр I. Пб., 1924.

[351] См.: *Волынский А.* Леонардо да Винчи. СПб., 1899.

[352] Трактат Л. Н. Толстого «Что такое искусство» печатался в журнале «Вопросы философии и психологии» (1897. № 11; 12, 1898. № 1; 2), затем вышел отдельным изданием.

[353] Графиня Дельфина Потоцкая была возлюбленной польского поэта З. Красинского. Их переписка считается блестящим памятником польской культуры XIX в.

[354] См.: *Лукоянов И. В.* Восточная политика России и П. А. Бадмаев // Вопросы истории. 2001. № 4. С. 114—123.

[354a] См. письма А. Е. Преснякова к матери за это же время (291—293, 295) и примеч. к ним.

[355] О волнениях 1899 г. на Бестужевских курсах и реакции на них в правительственных и общественных кругах см.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 1878—1918: Сб. статей. Л., 1973. С. 32—37.

[356] По-видимому, имеется в виду труд немецкого искусствоведа Р. Мутера «История живописи в XIX в.» (СПб., 1899—1901. Т. 1—3).

[357] Речь идет о проекте реорганизации Женских педагогических курсов при Мариинских гимназиях, на которых преподавал А. Е. Пресняков. Реорганизация их осуществилась в 1903 г. (см. ниже).

[358] В. В. Сиповский защищал магистерскую диссертацию «Н. М. Карамзин как автор „Писем русского путешественника"» (СПб., 1899). Позже А. Е. Пресняков написал рецензию на первое полное издание «Записки о древней и новой России» Н. М. Карамзина, подготовленное В. В. Сиповским (СПб., 1914). См.: Научный ист. журнал. 1914. Т. 2, вып. 3. № 12. С. 409—411.

[359] «Исторический вестник: историко-литературный журнал», издавался в 1880—1912 гг. С. Н. Шубинским, в 1912—1918 гг. — Б. Б. Глинским.

[360] Рецензия была опубликована в журнале «Жизнь» (1899. № 10. С. 373—379).

[361] Интересно отметить, что после смерти А. Е. Преснякова его вдове и детям пришлось продать его библиотеку: при содействии М. М. Карповича библиотека была продана Колумбийскому университету в США.

[362] Этнографический отдел Русского музея был открыт в 1902 г. В 1934 г. выделен в самостоятельный Государственный этнографический музей (ныне Российский этнографический музей).

[363] Вел. кн. Михаил Михайлович в 1891 г. женился морганатическим браком на графине С. Н. Меренберг, внучке С. А. Пушкина, получившей титул графини де Торби. Супруги постоянно жили за границей.

[364] На Гаагской мирной конференции 1899 г. были приняты конвенции о мирном разрешении международных споров и о законах и обычаях сухопутной войны.

[365] В. Г. Васильевский был похоронен во Флоренции.

[366] Торжественная увертюра П. И. Чайковского «1812 год» для оркестра (1880).

[367] В 1899 г. в России широко отмечалось 100-летие со дня рождения А. С. Пушкина.

[368] См.: Пушкинская юбилейная выставка Академии наук в Санкт-Петербурге (май 1899 г.): Каталог. СПб., 1899.

[369] Речь о финале «университетской истории» 1899 г., которую А. Е. Пресняков излагает в письмах к матери февраля—марта 1899 г.

[370] В. В. Майков был племянником акад. Л. Н. Майкова.

[371] Точное название: Разряд изящной словесности при Академии наук.

[372] См.: *Веселовский А. Н.* Пушкин — национальный поэт // Изв. ОРЯС. 1899 АН. Т. 4, кн. 3. С. 781—799.

[373] См.: *Кони А. Ф.* Нравственный облик Пушкина // Вестник Европы. 1899. № 10. С. 490—525.

[374] А. К. Глазунов. Торжественная кантата в память столетней годовщины А. С. Пушкина для соло, хора и оркестра. Ор. 65. 1899. Слова К. Р.

[375] Гунгербург — курортный поселок, ныне вошедший в состав г. Усть-Нарва.

[376] См. также отд. оттиск: Речь высокопреосвященного Антония, митрополита С.-Петербургского, пред панихидой при поминовении А. С. Пушкина в день 100-летия со дня его рождения 26 мая 1899 г. СПб., 1899.

377 См. примеч. 255.

378 Речь идет о докторской диссертации С. Ф. Платонова «Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.» (СПб. 1899).

379 См.: *Рождественский С. В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802—1902. СПб., 1902.

380 Рецензии А. Е. Преснякова не были опубликованы в журнале «Начало» ввиду последовавшего в скором времени запрета журнала.

381 Имеется в виду редактор журнала «Мир Божий» А. И. Богданович.

382 См. примеч. 266.

383 Издание журнала «Начало» было приостановлено за «вредное направление» 22 июня 1899 г.

384 В журнале «Жизнь», органе легальных марксистов, выходившем в Петербурге в 1897—1901 гг. (фактический редактор В. А. Поссе), были опубликованы рец. А. Е. Преснякова на книги: *Дьяконов М. А.* Очерки из истории сельского населения в Московском государстве XVI—XVII вв. // Жизнь. 1899. № 10. С. 373—379; *Ланглуа, Сеньобос*. Введение в изучение истории. СПб., 1899 // Жизнь. 1899. № 7. С. 380—382.

385 См. примеч. 342.

386 Либерально настроенные профессора и приват-доценты Н. И. Кареев, И. М. Гревс, С. А. Венгеров, Н. М. Книпович и А. А. Исаев были уволены из Петербургского университета после студенческих волнений 1899 г. по распоряжению министра народного просвещения Н. П. Боголепова (см.: ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 8732. Л. 389—390, 402).

387 «Quo vadis» («Камо грядеши») — роман польского писателя Г. Сенкевича.

388 *Гревс И. М.* Василий Григорьевич Васильевский как учитель науки. Набросок воспоминаний и материалы для характеристики // ЖМНП. 1899. № 8. С. 27—74.

389 Речь о делах Палибиных, живущих в своем имении Екатериновка Тарусского уезда Калужской губ.

390 Данными о сотрудничестве А. Е. Преснякова в газете «Сев. курьер» мы не располагаем.

391 «Забава» — пьеса австрийского писателя А. Шницлера. Об игре В. Ф. Комиссаржевской в этой пьесе на сцене Александринского театра см.: Из дневника С. И. Смирновой-Сазоновой // Комиссаржевская В. Ф. Письма актрисы, воспоминания о ней, материалы. М., 1964. С. 309.

392 См. примеч. 280.

393 Имеется в виду трижды рассматривавшееся в 1898—1900 гг. дело об убийстве консисторскими чиновниками братьями Скитскими секретаря полтавской консистории А. Комарова. См.: *Карабчевский Н. П.* Речи. 1882—1902. 2-е изд. СПб., 1902. С. 471—544.

394 См. примеч. 302.

395 Данная статья в числе публикаций М. А. Полиевктова не обнаружена.

396 Речь идет о статье: *Пресняков А. Е.* Московская историческая энциклопедия XVI в. // Изв. ОРЯС АН. 1900. Т. 5, кн. 3. С. 824—876.

397 Имеется в виду изд.: *Джемс У.* Психология / Перевод с англ. И. И. Лапшина. 3-е изд. СПб., 1901.

398 Речь идет о хлопотах по возобновлению журнала «Жизнь» (о нем см. выше), издание которого было приостановлено весной 1901 г. Редактором журнала после его возобновления предполагалось утвердить А. Е. Преснякова.

399 См.: *Поссе В. А.* Мой жизненный путь. М.; Л., 1929. С. 241—247.

400 Возможно, речь идет об «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, в котором сотрудничал И. М. Гревс.

401 Известная частная общедоступная библиотека-читальня: Невский пр., д. 54.

402 «Славянка» — ресторан С. А. Норина в Новой деревне.

403 Ресторан Лейнера находился на углу Невского пр. и Мойки, там, где сейчас «Литературное кафе».

404 «Дама от Максима» — комедия Ж. Фейдо.

405 «Прекрасная Елена» — оперетта Ж. Оффенбаха.

[406] Романтическая поэма А. Мальчевского «Marja, powieść ukraińska» — написана в подражание Дж. Байрону. В ее основе — события XVII в. на Волыни.

[407] Где напечатана работа Е. Л. Преснякова не установлено.

[408] П. С. Ванновский, преемник Н. П. Боголепова на посту министра народного просвещения, отличался крайней осторожностью. Однако за два года управления делами народного просвещения своим «бездействием» ему удалось несколько сгладить остроту конфликта 1899 г., хотя в ближайшие годы студенческие волнения не утихли.

[409] Речь идет о репрессиях, связанных с разгоном студенческой демонстрации 4 марта 1901 г. у Казанского собора против применения «временных правил» 1899 г., и последовавших вслед за этим протестов оппозиционной интеллигенции против новых репрессий.

[410] В. А. Поссе, рассказывая о своем отъезде из Берлина в Лондон в 1901 г., ничего не говорит о происках русской полиции. Ср.: *Поссе В. А.* Мой жизненный путь. М.; Л., 1929. С. 248—251.

[411] С. А. Адрианов был редактором издания: Министерство внутренних дел: Исторический очерк (1802—1902). СПб., 1902 и автором отдельных очерков, помещенных в этом изданиии, например очерка по истории почтового ведомства.

[412] Леон Плошовский — герой романа Г. Сенкевича «Без догмата».

[413] Плавучий ресторан «Парус».

[414] Упсала — город в Швеции, известный курорт.

[415] А. Е. Пресняков оговорился. Речь, конечно, идет о «падении» знаменитой башни XII в. в Пизе.

[416] Вероятно, имеется в виду Николай II.

[417] «Гибель богов» или «Сумерки богов» («Die Götterdämmerung») — муз. драма Р. Вагнера из цикла «Кольцо Нибелунгов». До 1903 г. шла в Мариинском театре на нем. языке.

[418] Вероятно, речь идет о гипнотизере-медиуме Филиппе, пользовавшемся доверием у царской четы. См. о нем: Из архива С. Ю. Витте... Т. 1, кн. 1. С. 595—596.

[419] Известный филолог-русист акад. А. И. Соболевский принадлежал к правой части профессуры (после 1905 г. он вступил в «Союз русского народа»).

[420] В качестве докторской диссертации защищалась книга П. И. Новгородцева «Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве» (М., 1901).

[421] Реминисценции из пьесы М. Горького «На дне».

[422] В 1903 г. Женские педагогические курсы были преобразованы в Женский педагогический институт, директором которого был назначен С. Ф. Платонов.

[423] Третий сын Пресняковых Вениамин («Бэнусь») умер в Домброве 28 июля 1903 г. А. Е. Пресняков описал ход его болезни (патологическое увеличение зобной железы) в письме С. Ф. Платонову из деревни в первых числах августа: ОР РНБ. Ф. 595. Оп. 1. Д. 3943. Л. 18—20.

[424] Об обстоятельствах отставки С. Ю. Витте с должности министра финансов и назначении его председателем Комитета министров в 1903 г. см.: *Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш.* Сергей Юльевич Витте и его время. С. 127—132.

[425] Г. С. Петров с 1893 по 1903 г. был настоятелем церкви благоверного князя Александра Невского при Михайловской артиллерийской академии и училище. Кроме преподавания в гимназии Оболенской был проф. богословия в Политехническом ин-те. Несмотря на популярность его лекций (их в Политехникуме даже посещал С. Ю. Витте), проповеди Г. С. Петрова в духе христианского социализма и выступления в левой печати повлекли за собой снятие священнического сана. См.: *Фирсов С. Л.* Священник Григорий Спиридонович Петров // Российская интеллигенция на историческом переломе. Первая треть XX в.: Тез. докл. СПб., 1996. С. 209—210.

[426] «Жизнь за царя» (авторское название «Иван Сусанин») — опера М. И. Глинки (1836).

[427] По решению врачей из-за слабости здоровья младшего из братьев, Гавриила, оба мальчика должны были провести зиму в Крыму, где уроки не прекращались. Об уроках истории Гавриил Константинович в своих мемуарах не упоминает. См.: *Гавриил Константинович.* В Мраморном дворце. Нью-Йорк, 1955.

428 С 1903 г. Е. Ф. Шмурло был ученым корреспондентом Академии наук в Риме.

429 Речь идет о строительстве здания Женского педагогического института на Малой Посадской улице, д. 26.

430 Вероятно, имеется в виду статья: *Пресняков А. Е.* Московское царство и Петровская империя // Вестник к библиотеке самообразования. 1904. № 21. Стб. 813—820; № 22. Стб. 851—856.

431 В числе основателей Союза Освобождения были видные тверские земцы И. И. Петрункевич и Ф. И. Родичев. О приездах П. Б. Струве в Тверскую губернию в эти годы его биографы ничего не сообщают.

432 См.: *Лапшин И. И.* Законы мышления и формы познания. СПб., 1906.

433 «Пепел» — роман польского писателя С. Жеромского.

434 Книга «Дедуктивная и индуктивная логика» Вильяма Минто переводилась при участии П. Н. Милюкова и вышла в 1895 г. в рус. переводе. Этот популярный учебник был включен в программу так называемого домашнего чтения University extention и впоследствии переиздавался несколько раз.

435 Министр внутренних дел В. К. Плеве был убит 15 июля 1904 г. эсером Е. С. Созоновым.

436 Преемником Плеве на посту министра внутренних дел стал кн. П. Д. Святополк-Мирский.

437 «Русь — ежедневная газета либерального толка. Ред. А. А. Суворин (1903—1908).

438 «Земля обетованная» — роман польского писателя В. Реймонта.

439 «Biblioteka Warszawska» — научно-литературный ежемесячник, издававшийся с 1841 г. в Варшаве. В 1900-х гг. приобрел научно-публицистический характер.

440 Имеется в виду статья: *Адрианов С. А.* Трагедия уединенной личности. О сочинениях Леонида Андреева // Вестник к библиотеке самообразования. 1904. № 36. Стб. 1355—1365; № 37. Стб. 1389—1400.

441 Где был прочитан этот реферат, не установлено. Среди печатных работ А. Е. Преснякова его нет.

442 Речь идет о статье: *Пресняков А. Е.* С. М. Соловьев // Вестник к библиотеке самообразования. 1904. № 41. Стб. 1515—1520.

443 Речь идет о поражении русского флота в Цусимском сражении 14—15 мая 1905 г.

444 Н. И. Небогатов, командующий 3-й Тихоокеанской эскадрой, в Цусимском сражении командовал отрядом. После ранения вице-адмирала З. П. Рожественского принял командование оставшимися от эскадры 4 броненосцами и в течение ночи отражал атаки японских миноносцев. Оказавшись в окружении превосходящих сил, Небогатов сдал корабли противнику и попал в плен. По возвращении в Россию был предан военно-морскому суду и приговорен к смертной казни, замененной 10-летним заключением. Помилован в 1908 г. Ложная версия о неповиновении судовых команд во время Цусимского боя возникла как попытка хоть как-то объяснить причины тяжелейшего и неожиданного исхода битвы.

445 Речь идет о научно-популярной статье для подготовляемого А. Е. Пресняковым сборника «Люди Смутного времени». См.: *Платонов С. Ф.* Борис Годунов. Из «Очерков истории Смуты» // Люди Смутного времени / Под ред. А. Е. Преснякова. СПб., 1905. С. 6—11 (Приложение к «Вестнику к библиотеке самообразования»).

446 *Пресняков А. Е.* Филарет Никитич, митрополит Ростовский, патриарх всея Руси // Люди Смутного времени. С. 49—53.

447 Вторая жена С. А. Адрианова умерла в мае 1905 г., находясь на лечении за границей.

448 Слух об отставке А. Г. Булыгина с поста министра внутренних дел оказался ложным: Булыгин оставался министром до октября 1905 г.

449 Других писем жене за июль—август 1905 г. нет. М. П. Преснякова скончалась в начале августа 1905 г., после чего А. Е. Пресняков, очевидно, уехал в деревню к жене и детям.

450 *Пресняков А. Е.* В. Н. Татищев // Вестник к библиотеке самообразования. 1905. № 37. Стб. 1171—1178.

451 Т. е. о панихиде по матери в 40-й день.

452 А. В. Карташев в дореволюционные годы был членом кружка Д. С. Мережковского и разделял идеи последнего о «новом религиозном сознании» и союзе религии с демократией.

453 «Вопросы жизни» — журнал, издававшийся в 1905 г. как продолжение журнала «Новый путь».

454 Статьи А. Е. Преснякова, о которых идет речь, нам неизвестны и, по-видимому, в печати не появлялись.

455 Речь идет о каком-то благотворительном начинании С. А. Адрианова.

456 Слухи о награждении георгиевскими крестами участников карательных экспедиций не соответствовали действительности.

457 «Страна» — еженедельная газета, выходившая в Петербурге с февраля 1906 г. по февраль 1907 г. под редакией М. М. Ковалевского и И. И. Иванюкова. Фактически являлась органом партии демократических реформ. А. Е. Пресняков опубликовал в ней ряд статей.

458 «Полярная звезда» — еженедельник, выходивший в Петербурге с декабря 1905 г. под редакцией П. Б. Струве и С. Л. Франка. А. Е. Пресняков опубликовал в нем статьи «Декабристы» (1905. № 1. С. 43—57) и «В поисках народности» (1906. № 6. С. 424—432).

459 Имеется в виду книга: *Лапшин И. И.* Законы мышления и формы познания. СПб., 1906.

460 В 1906 г. З. Д. Авалов защитил на юридическом факультете Петербургского университета магистерскую диссертацию «Децентрализация и самоуправление во Франции» (СПб., 1905).

461 Магистерские степени в дореволюционной России отменены не были.

462 «Биржевые ведомости» — ежедневная бесцензурная газета, в то время выходила в трех изданиях (утренний и вечерний выпуски и удешевленный, для провинции), которые выпускались разными редакционными группами. В одну из групп входил С. А. Адрианов.

463 Имеются в виду еженедельники «Страна» и «Полярная звезда», в которых участвовал А. Е. Пресняков.

464 В публичном саду «Аквариум» (Каменноостровский пр., д. 10—12) находилось несколько увеселительных заведений: летний и зимний театры, кафешантан, каток с искусственным льдом и пр.

465 См.: *Пресняков А. Е.* Революционное народничество // Московский еженедельник. 1906. № 27. С. 38—47. «Московский еженедельник» издавался в 1906—1910 гг. под ред. кн. Е. Н. Трубецкого.

466 Под «народовцами» А. Е. Пресняков имеет в виду польскую националистическую партию «Democracja narodowa». Что понимается под «биберштейновскими прогрессистами», не ясно.

467 Газета «Русь» выходила в 1903—1908 гг. под редакцией А. А. Суворина.

468 Речь идет о работе Е. Л. Преснякова в Комитете Управления жел. дорог.

469 «Фауст» — опера Ш. Гуно. Ф. Шаляпин пел Мефистофеля в этой опере с 1896 г., но, судя по всему, А. Е. Пресняков слышал его в этой роли впервые. Сад «Олимпия» — демократический театр на Бассейной ул.

470 «Борис Годунов» — опера М. И. Мусоргского (1868—1869, 1871—1872, 2-я ред.). Партия Бориса исполнялась Ф. И. Шаляпиным с момента его поступления в частную русскую оперу С. И. Мамонтова (1895). В опере «Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова (1898) он пел Сальери. Мамонтовская опера почти ежегодно бывала в Петербурге с этими произведениями, и Шаляпин имел здесь громадный успех еще в 1890-х гг. (*Римский-Корсаков Н. А.* Летопись моей музыкальной жизни. С. 363). В ноябре 1904 г. «Борис Годунов» с участием Ф. Шаляпина шел на сцене Мариинского театра, но А. Е. Пресняков его, очевидно, пропустил (*Шаляпин Ф. И.* Мои воспоминания. М., 1957. Т. 1. С. 151—152, 767).

[471] «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова по мотивам древнерусского эпоса. Премьера в Мариинском театре 31 августа 1907 г.

[472] В Ковенском переулке Юлия Петровна жила, будучи невестой Преснякова, в 1892—1894 гг.

[473] Имеется в виду работа: *Wojciechowski T.* O Piaście i piaście. Lwow, 1895.

[474] Музыкальная драма «Парсифаль» (1882) — последнее произведение Р. Вагнера.

[475] «Вена» — ресторан И. С. Соколова на углу Гороховой и Малой Морской, популярный среди петербургской интеллигенции.

[476] Вера Викторовна Петухова.

[477] Речь идет о работе над магистерской диссертацией, которая получила название «Княжое право в древней Руси: Очерки по истории X—XII столетий».

[478] Речь идет о подготовлявшемся издании: Правительствующий Сенат за 200 лет. 1711—1911. СПб., 1911. Т. 1—5. В этом издании напечатана работа А. Е. Преснякова «Правительствующий Сенат в царствование Елизаветы Петровны» (Т. 2. С. 3—325).

[479] В полемике с газетой «Русь», издававшейся А. А. Сувориным, кадетская «Речь» писала о псевдолиберальном характере «Руси» и указывала на ее шантажистские действия в отношении ряда банков. В ответ 10 мая 1908 г. два сотрудника «Руси» ударили П. Н. Милюкова, одного из редакторов «Речи», что вызвало громкий скандал.

[480] О визите чешской делегации в Петербург в мае 1908 г., политическом подтексте этого события и участии кадетов в приеме «славян» см.: *Дякин В. С.* Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907—1911 гг. Л., 1978. С. 112—113.

[481] III Гос. Дума отвергала кредиты на постройку новых судов, требуя реорганизации Морского министерства и возможности ревизии военных расходов. Правительство в лице П. А. Столыпина смогло превратить критику Думы в мощное средство перестройки управления флотом. С назначением И. К. Григоровича морским министром в 1910 г. управление и состояние флота качественно изменились. См.: *Шацилло К. Ф.* Русский империализм и развитие флота накануне I мировой войны (1906—1914 гг.). М., 1968. С. 168—180.

[482] См.: *Пресняков А. Е.* Иван III на Угре // Сб. статей, посвященный С. Ф. Платонову. СПб., 1911. С. 280—298.

[483] Имеется в виду Лиговский Народный дом, открытый в 1903 г. на средства графини С. В. Паниной. «Снегурочка» — опера («весенняя сказка») Н. А. Римского-Корсакова по одноименной пьесе А. Н. Островского (1882).

[484] В обществе ходили слухи, что адмирал Е. И. Алексеев являлся внебрачным сыном Александра II.

[485] Имеется в виду Вавельский холм над Вислой в старом Кракове, бывший местом пребывания польских князей и королей с середины XI до начала XVII в.

[486] Персонажи пьесы С. Выспянского «Свадьба».

[487] «Потонувший колокол» — пьеса Г. Гауптмана.

[487а] Речь об одном из последних произведений Г. Ибсена — драме «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899).

[488] Речь о перспективе посещения знаменитых соляных копей и озера в Величке.

[489] См.: *Романов Б. А.* Смердий конь и смерд (в летописи и Русской Правде) // Изв. ОРЯС АН. 1903. Т. 13, кн. 3. С. 18—35.

[490] Памятник Н. В. Гоголю работы скульптора Н. А. Андреева был открыт в Москве в 1909 г.

[491] Речь идет о картине А. А. Иванова «Явление Христа народу», хранившейся в Румянцевском музее до ее передачи в 1924 г. в Третьяковскую галерею.

[492] Коллекция С. И. Щукина полотен импрессионистов включала работы Пикассо, Матисса, Моне. Галерея Щукина в Б. Знаменском переулке стала общедоступной в 1910 г.

[493] См.: *Пресняков А. Е.* Полтавская годовщина // Слово. 1909. 27 июня.

[493а] В это время А. Е. Пресняков разрабатывал курс по истории русского права, который начал читать на юридическом факультете ВЖК.

[494] Младший сын Пресняковых Ярослав перенес тиф.

[495] «Русское знамя» — газета крайне правого направления, орган Союза русского народа (1905—1917).

[496] Эмеритура или эмеритальные суммы складывались из специальных отчислений, сделанных во время службы, и являлись прибавлением к государственной пенсии. Эмеритальные кассы существовали при МПС, морском и военном министерствах.

[497] См.: *Метерлинк М.* Мария Магдалина / Перевод с рукописи Л. Вилькиной и В. Бинштока // Шиповник. СПб., 1909. Кн. 10. «Шиповник» — лит.-художественный альманах (1907—1917), в котором печатались Л. Андреев, И. Бунин, А. Куприн и др.

[498] Повесть «Конь блед» — литературный дебют Б. В. Савинкова, писавшего под псевдонимом В. Ропшин. Впервые: Рус. мысль. 1909. Кн. 1. С. 1—77.

[499] Речь идет об участии в издании: «Правительствующий Сенат за 200 лет».

[500] Саломея — библейский персонаж, дочь Иродиады и Антипатра, тетрарха галилейского, плясавшая голой на балу царя Ирода Антиппы и вызвавшая восторг у Ирода и его гостей. В награду за танец Саломея, настроенная матерью, потребовала принести голову Иоанна Крестителя, который и был убит в темнице Махеронт.

[501] См.: Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909.

[502] Имеется в виду М. М. Ковалевский.

[503] Петербургская газета «Слово» (1903—1909), близкая после 1906 г. к Партии мирного обновления, в которой с 1908 г. (с приходом в нее С. А. Адрианова) печатался А. Е. Пресняков, перестала выходить из-за конфликта между владельцами и редакторами (среди которых главную роль играл М. М. Федоров).

[504] См.: *Платонов С. Ф.* Рец.: А. Е. Пресняков. Княжое право в древней Руси. СПб., 1909 // ЖМНП. 1909. № 7. С. 213—216.

[505] См.: *Адрианов С. А.* Памяти А. П. Чехова // Вестник Европы. 1909. № 7. С. 338—349.

[506] Речь идет о статье: *Пресняков А. Е.* Политические настроения русского общества в XVIII в. // Книга для чтения по истории нового времени. М., 1911. Т. 2. С. 665—689.

[507] «Маяк» — «спортивно-просветительское общество для содействия нравственному, умственному и физическому развитию молодежи», существовало в Петербурге с 1900 по 1918 г. и было создано по инициативе американского предпринимателя Дж. Стокса, приехавшего в Россию в 1899 г. с христианской миссией. Попечителем общества был принц А. П. Ольденбургский, председателем — сенатор И. В. Мещанинов. В программу «Маяка» входили обучение европейским языкам, бухгалтерии, стенографии, занятия фехтованием, французской борьбой и т. п. Популярность «Маяка» была столь велика, что лекции в нем читали ведущие историки, словесники, юристы Петербурга. В 1908 г. С. Ф. Платонов стал членом совета «Маяка» и пригласил к сотрудничеству А. Е. Преснякова. Позже отделения «Маяка» появились в Москве и во многих провинциальных городах.

[508] Имеется в виду издание: Письма Вл. С. Соловьева. СПб., 1908. Т. 1.

[509] См.: *Брюсов В.* Испепеленный: К характеристике Гоголя. М., 1909.

[509a] Речь о книге: *Лихачев Н. П.* Материалы для истории русского иконописания: Атлас [снимков]. СПб., 1906. Ч. 1—2.

[510] Имеется в виду сочинения В. Свенцицкого «Антихрист (Записки странного человека)» (СПб., 1908), «Второе распятие Христа. Фантазия» (М., 1908) и др. В период революции 1905—1907 гг. В. Свенцицкий был организатором «Христианского братства борьбы», стремившегося сочетать христианские и революционные идеи.

[511] Речь идет о подготовке А. Е. Пресняковым к печати издания: *Павлов-Сильванский Н. П.* Соч. Т. 3. Феодализм в удельной Руси. СПб., 1910.

[512] М. К. Лемке заведовал в это время типографией М. М. Стасюлевича.

[513] Ф. А. Гейлорд в 1903—1916 гг. был секретарем дирекции «Маяка» и вел переговоры с лекторами. Сохранилась, например, его переписка с С. Ф. Платоновым по делам «Маяка» (см.: ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2611). А. Е. Пресняков несколько лет был членом лекторской группы «Маяка».

[514] В Мраморном дворце находилась резиденция вел. кн. Константина Константиновича, попечителя Женского педагогического института.

[515] Речь, очевидно, идет о продаже тиража книги «Княжое право в древней Руси».

[516] «Царица Тамара» — пьеса К. Гамсуна.

[517] «Свадьба Зобеиды» — пьеса Гуго фон Гофмансталя.

[518] Встречи с А. Е. Пресняковым во время его командировки в Москву отражены в дневнике С. Б. Веселовского. (Вопросы истории. 2000. № 8). Благодаря личному знакомству в 1911 г. завязалась переписка Преснякова с Веселовским, касавшаяся совместных издательских проектов московских и петербургских историков, например, проекта повременного издания специального исторического журнала. См.: Переписка С. Б. Веселовского с отечественными историками / Сост., коммент. Л. Г. Дубинской, А. М. Дубровского. М., 2001. С. 214—227.

[519] «Анафема» («Анатэма») — пьеса Л. Андреева, поставленная Московским Художественным театром в 1909 г.

[520] Популярные в эпоху модерна иллюстрации О. Бердслея к «Саломее» О. Уайльда (1894).

[521] Имеется в виду пьеса М. Метерлинка «Чудо св. Антония» (1909).

[522] А. Е. Пресняковым были напечатаны некрологи: Памяти И. Е. Забелина // Вестник Европы. 1909. № 2. С. 805—811; Н. П. Павлов-Сильванский // ЖМНП. 1908. № 11. С. 11—17; Из доклада приват-доцента Петербургского университета А. Е. Преснякова «Н. П. Павлов-Сильванский» // Отчет о деятельности учебного отдела Общества распространения технических знаний за 1908 и 1909 г. М., 1910. С. 46—51.

[523] Рецензия А. Е. Преснякова на книгу В. И. Веретенникова «История Тайной канцелярии Петровского времени» (Харьков, 1910) опубликована: Журнал Министерства юстиции. 1910. № 2. С. 278—279.

[524] Имеется в виду Союз русских художников.

[525] Речь идет о 6-томном издании «Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем» под ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичеты, в котором опубликованы статьи А. Е. Преснякова «Дворянство и крестьянский вопрос в депутатских наказах» и «Дворянство и крестьянский вопрос в екатерининской комиссии» (М., 1912. Т. 1. С. 191—203, 204—217).

[526] Имеется в виду художественная выставка в журнале «Золотое руно».

[527] См.: *Пресняков А. Е.* Аксаков Константин Сергеевич // Нов. энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1911. Т. 1. С. 736—740.

[528] Речь о ком-то из классных дам.

[529] Л. Я. Гуревич.

[530] Вероятно, речь идет о биографической справке к программе конкурса на сооружение памятника Александру II.

[531] «Трактирщица» — пьеса К. Гольдони.

[532] Имеется в виду работа над «Русской энциклопедией» под ред. С. А. Адрианова, Э. Д. Гримма, А. В. Клоссовского и В. Г. Хлопина, выпускавшейся в 1911—1915 гг. издательством «Деятель» в Петербурге. А. Е. Пресняков заведовал в нем отделом русской истории.

[533] Речь о панихиде по случаю смерти Г. В. Форстена.

[534] Колоритный рассказ о сундуке с бумагами Г. В. Форстена, находившемся в квартире С. А. Адрианова, и о вечерних встречах его учеников якобы для разбора их см. в кн.: *Егоров И. В.* От монархии к Октябрю. Воспоминания. Л., 1980. С. 126.

[535] Т. е. на авиационный праздник.

[536] См.: *Адрианов С. А.* Краткие наброски // Вестник Европы. 1910. № 10. С. 386—398.

[537] О какой работе для Е. В. Тарле идет речь, остается невыясненным.

[538] Вероятно, описка, возникшая вследствие созвучия фамилий: директором Бестужевских курсов после смерти В. А. Фаусека был избран С. К. Булич.

[539] Имеются в виду Фребелевские курсы, существовавшее с 1872 г. платное учебное заведения для подготовки воспитательниц детей дошкольного возраста в семьях и детских учреждениях.

[540] История эта совершенно неправдоподобна. Сергей Тырков в описываемое время только что стал студентом Лесного института и учеником Форстена не был. См. о

нем: *Тыркова-Вильямс А. В.* Воспоминания. То, чего больше не будет. М., 2002. С. 101—102, 147, 150.

541 «Аполлон» — худ.-литературный журнал символистов (1909—1917), ред. С. К. Маковский, Н. П. Врангель.

542 По-видимому, речь идет о каком-то издании, подготовлявшемся Н. Д. Чечулиным, но так и не увидевшем света.

543 Докторская диссертация М. А. Полиевктовым написана не была.

544 См.: *Лапшин И. И.* Проблема «чужого я» в новейшей философии. СПб., 1910.

545 Имеется в виду «Русская энциклопедия», А. Е. Пресняков возглавлял ее исторический отдел.

546 Имеется в виду книга о Париже в серии путеводителей, которые выпускались фирмой «Карл Бедекер».

546а Речь о подготовке издания: Хронограф редакции 1512 г. СПб., 1911 (ПСРЛ. Т. 22. Ч. 1).

547 Эйдкунен — пограничная станция (с немецкой стороны) на жел. дороге, соединяющей С.-Петербург и Берлин.

548 Т. е. картины А. Беклина.

549 Речь идет о смерти М. М. Кимонт.

550 После смерти М. М. Кимонт Домброва осталась в совместном владении ее детей — Ю. П. Пресняковой, М. П. Кимонта и А. П. Даль-Троццо.

551 Имеется в виду статья «Байронизм в России» (Русская энциклопедия / Ред. С. А. Адрианова, А. Е. Преснякова и др. СПб., 1911. Т. 2. С. 188—189).

552 Ресторан «Кюба» («Café de Paris») на Б. Морской ул.

553 Рецензия А. Е. Преснякова на какую-либо книгу художественного критика Я. А. Тугендхольда нам неизвестна.

554 См. об этом: *Каганович Б. С.* Евгений Викторович Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995. С. 6—8.

555 Историк В. А. Бутенко родился в г. Гори и учился в Тифлисской гимназии. По-видимому, Пресняковы были знакомы с давних пор с его семьей.

556 Неточность: А. С. Ященко был юристом.

557 Павильон дворца Тюильри, в котором проводятся художественные выставки.

558 Пер-Лашез — самое большое и известное кладбище Парижа, названное в честь духовника Людовика XVI отца Лашеза, жившего в доме призрения иезуитов, который располагался на этом месте.

559 Французский журнал, выходивший с 1897 г.

560 Вероятно, речь идет о Е. А. Энгеле, тогда студенте-юристе, большевике, который в начале 20-х гг. стал видным членом группы «левых профессоров» в Петрограде.

561 Магистерская диссертация А. Г. Вульфиуса: Очерки по истории веротерпимости и религиозной свободы в XVIII в. Вольтер. Монтескье, Руссо. СПб., 1911.

562 В это время А. Е. Пресняков по линии Археографической комиссии занимался подготовкой к изданию Симеоновской летописи в Полном собрании русских летописей. Вышла в 1913 г. как 18-й том ПСРЛ.

563 Очевидно, речь идет о статье: *Пресняков А. Е.* Московское государство первой половины XVII в. // Три века / Под ред. В. В. Каллаша. М., 1912. Т. 1. С. 4—84.

564 Речь об убийстве П. А. Столыпина в Киеве Д. Г. Богровым, подозреваемым в связях с Охранным отделением.

565 В 1911 г. «Джоконда» была похищена из Салона Карре и только два года спустя обнаружена в одном из отелей Флоренции.

566 С. Н. Чернов, Б. А. Романов, П. Г. Любомиров посещали лекционный курс А. Е. Преснякова по истории Киевской Руси и семинарий по истории социального строя и политических отношений в древнерусском государстве с 1907 г. См.: *Андреева Т. В.* Сергей Николаевич Чернов — ученый и человек // *Чернов С. Н.* Павел Пестель: Избранные статьи по истории декабризма. СПб., 2004. С. 11.

567 По-видимому, речь идет о статье для «Русской энциклопедии».

568 М. М. Карпович в то время был членом студенческой эсеровской организации. О его отношениях с А. Е. Пресняковым и о влиянии последнего на профессиональное

самоопределение племянника см.: *Бирман М. А.* М. М. Карпович и «Новый журнал» // ОИ. 1999. № 5. С. 125—126.

[569] Речь идет о профессуре на Высших женских (Бестужевских) курсах.

[570] Имеется в виду какой-то конфликт между издателем «Русской молвы» Д. Д. Протопоповым и журналистом Н. М. Волковысским.

[571] Т. е. докторской диссертации.

[572] См.: *Лапшин И. И.* О перевоплощаемости в художественном творчестве. Харьков, 1913.

[573] А. Е. Пресняков, вероятно, читал рассказы Ф. К. Сологуба «Опечаленная невеста» (1908) и «Елкич» (1906), вошедшее в VII том Собр. сочинений Ф. К. Сологуба (изд-во «Шиповник». СПб., 1910).

[574] Речь идет о статье: *Пресняков А. Е.* Царь Михаил Федорович // Государи из дома Романовых. М., 1913. Т. 1. С. 20—61.

[575] В 1912 г. профессор римского права Петербургского университета кадет И. А. Покровский был против его воли переведен в Харьков, после чего подал в отставку. Годом ранее аналогичная мера с тем же результатом была предпринята в отношении кадетского профессора М. Я. Пергамента. Часть кадетской профессуры подумывала о коллективном уходе в отставку в знак протеста. А. Е. Пресняков, как явствует из ряда его записей, сочувствовал ректору Э. Д. Гримму, стремившемуся сохранить университет.

[576] Очевидно, имеется в виду статья для «Русской энциклопедии».

[577] Ресторан Донона у Певческого моста.

[578] Филолог-классик Ф. Ф. Зелинский был известен своими романами с курсистками. Его сын от В. В. Петуховой А. И. Пиотровский стал впоследствии известным переводчиком с античных языков.

[579] Цитата из стихотворения А. Блока.

[580] Газета «Русская молва», редактируемая С. А. Адриановым, выходившая с декабря 1912 по август 1913 г. А. Е. Пресняков опубликовал в ней около 20 статей.

[581] Отец С. Н. Чернова, Николай Дмитриевич Чернов (1847—1920), купец 2-й гильдии, владел несколькими бакалейными магазинами в Саратове, имел безупречную репутацию, избирался заместителем гласных, а с 1913 г. — гласным Саратовской городской думы.

[582] Речь об испытании модели аэроплана Г. В. Алехновичем, с семьей которого А. Е. Пресняков был дружен.

[583] Имеется в виду издание: *Аксакова В. С.* Дневник за 1854—1855 гг. / Примеч. Н. В. Голицына и П. Е. Щеголева. СПб., 1913.

[584] Неточность: В. С. Голенищев продал свою коллекцию из-за материальных затруднений.

[585] См.: *А. Пр[есняков].* Политиканство в учебном деле // Русская молва. 1913. 21 июня (4 июля). № 187.

[586] Т. е. о польской фракции в Думе.

[587] «Вилла Родэ» — загородный ресторан, открытый управляющим Крестовского сада Адольфом Родэ.

[588] *Пузино И. В.* Рассуждения Филиппа де Комин (1490 г.) в защиту национальной монархии (Критические заметки) // ЖМНП. 1913. № 1. С. 78—99.

[589] Речь о событиях II Балканской войны.

[590] Невестой Б. А. Романова была ученица гимназии Михельсон Елена Павловна Дюкова, ставшая впоследствии его женой.

[591] См.: *Панеях В. М.* Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 35—36.

[591а] *Карсавин Л. П.* Основы средневековой религиозности в XII—XIII вв., преимущественно в Италии. Пг., 1915.

[592] После смерти ультрареакционера Л. А. Кассо министром народного просвещения был назначен гр. П. Н. Игнатьев, который повел относительно либеральный курс. На своем посту он удержался относительно недолго, несмотря на свою прежнюю близость к Николаю II. Характерен как прогноз С. Ф. Платонова, так и его позиция.

[593] *Пресняков А. Е.* Русская история (Курс младших классов). М.; Пг., 1915.

[594] См.: *Сандро [А. Е. Пресняков].* Воскрешение танца // Слово. 1908. 12 (25) февраля. № 378.

[595] Вероятно, имеется в виду дом Крахтов.

[596] Гр. И. И. Толстой был председателем Классического отделения Русского Археологического общества.

[597] Речь идет о конфликтах в кадетской партии, связанных с созданием в конце 1916 г. при участии крупного капитала газеты «Русская воля», которая должна была в качестве либерального издания поддерживать курс министра внутренних дел А. Д. Протопопова, стоявшего за кулисами всего дела. В газете согласились участвовать А. В. Амфитеатров, Л. Н. Андреев, Э. Д. Гримм, Н. А. Гредескул, В. Г. Богораз-Тан, Ф. К. Сологуб, А. Н. Толстой, А. И. Куприн и др. См.: *Оксман Ю. Г.* «Русская воля», банки и буржуазная литература // Литературное наследство. М., 1932. Т. 2. С. 165—186. Более левые круги кадетской партии были против этой комбинации.

[598] Речь идет, очевидно, о докторской диссертации А. Е. Преснякова «Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII—XV столетий» (Пг., 1918).

[599] Речь идет о начале реформы архивного дела, активным участником которой был А. Е. Пресняков, ставший инспектором Петроградского отделения Главархива. См.: *Пресняков А. Е.* Реформа архивного дела в России // РИЖ. 1918. Кн. 5. С. 205—222.

[600] Д. Б. Рязанов был нзначен председателем комиссии по централизации архивного и библиотечного дела, а затем Главного управления архивным делом.

[601] Вероятно, имеется в виду А. И. Яковлев, отец которого заведовал в Симбирске учительской школой для чувашей и был хорошо знаком с отцом Ленина и всей семьей Ульяновых.

[602] Судя по всему, А. Е. Пресняков принимает официальную версию событий «левоэсеровского мятежа».

[603] С 8 по 14 июля 1918 г. в Москве проходил съезд по вопросам реформы высшей школы, в котором приняли участие руководители Наркомпроса А. В. Луначарский и М. Н. Покровский и ряд видных университетских профессоров. А. Е. Пресняков был участником этого съезда.

[604] В это время А. Е. Пресняков участвовал в совещаниях с московскими историками о реформе архивного дела. Ю. В. Готье в те дни записал в своем дневнике: «Несколько раз пришлось видеться с петербургскими историками Пресняковым и Полиевктовым. Раньше это не осознавалось, но теперь, при обострении жизни, как все-таки ясно чувствуется разница в психологии Петербурга и Москвы. Они легче приспособляются к РСФСР и оптимистичнее смотрят на настоящее, чем мы» (*Готье Ю. В.* Мои заметки. М., 1997. С. 202).

[605] Имеется в виду издание: Пугачевщина. Из архива Пугачева / Сост. С. А. Голубцов; Вступ. статья М. Н. Покровского. М.; Л., 1926. Т. 1.

[606] Имеется в виду издание: *Шульгин В. В.* Дни / С предисл. С. А. Пионтковского. Л., 1926.

[607] Не ясно, о какой работе идет речь.

[608] Речь идет об Институте истории РАНИОН и переговорах об открытии его Ленинградского отделения. Отделение было открыто в начале 1927 г. и существовало 2 года. Директором его был А. Е. Пресняков, он же возглавлял секцию русской истории. Председателем секции всеобщей истории был Е. В. Тарле.

[609] М. Д. Приселков в 20-е гг. заведовал Историко-бытовым отделом Русского музея.

[610] А. Е. Пресняков опубликовал рецензию на эти мемуары. См.: Историк-марксист. 1927. Т. 4. С. 260—263.

[611] Имеется в виду книга: *Meier-Graefe J.* Dostojewski der Dichter. Berlin, 1926.

[612] По-видимому, неточность: девичья фамилия жены В. Ф. Шишмарева — Усова.

[613] Александр Григорьевич (фамилию установить не удалось) — управляющий санаторием в Елизавстино.

[614] Одна из упомянутых Пресняковым женщин, Рооп Мария Феликсовна — в прошлом обществ. деятельница, до революции — член Дамского благотворительного комитета, занимавшегося улучшением быта заключенных, оказанием помощи лицам, освободившимся из-под стражи, и членам их семей.

[615] Г. С. Габаев, бывший полковник л.-гв. Саперного полка, еще до революции составил себе имя исследованиями по военной истории («Столетие военного министерства» и др.). В 20-е гг. он стал сотрудником Центрархива (см.: *Автократов В. Н.* Жизнь и деятельность военного историка и архивиста Г. С. Габаева (1877—1956) // Сов. архивы. 1990. № 1—2). Г. С. Габаев был автором военно-исторического очерка «Гвардия в декабрьские дни 1825 г.», напечатанного в качестве приложения в книге А. Е. Преснякова «14 декабря 1825 г.» (М.; Л., 1926). В 1922—1925 гг. он участвовал в собраниях кружка Г. О. Мебеса и М. А. Нестеровой, занимающегося вопросами теософии, и уже с декабря 1925 г. почти непрерывно допрашивался по делу этого кружка. Габаева арестовали в мае 1926 г., и 18 июня того же года постановлением Особого совещания ГПУ по ст. 109 УК он был приговорен к административной высылке на три года. Ссылку отбывал в п. Усть-Вымь (Коми области), после досрочного освобождения жил в Курске. Вторично арестован 6 марта 1930 г. по «Академическому делу» и включен следствием в состав так называемой «военной организации» «контрреволюционного заговора». 10 мая 1931 г. особым отделом ГПУ Габаеву был вынесен приговор по ст. 58—11: смертная казнь с заменой 10 годами лагерей, а 21 июня он был отправлен в Соловецкий лагерь (ОР РНБ. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 33. Л. 29, 51 об., 54—55 об.).

[616] Имеется в виду книга: *Платонов С. Ф.* Петр Великий. Жизнь и деятельность. Л., 1926.

[617] В феврале 1927 г. в Москве проходил Второй Всесоюзный съезд научных работников.

[617a] О ком идет речь, не установлено.

[618] Очевидно, речь идет о назначении пенсии Е. Н. Герстфельд, которая проработала в гимназии Оболенской всю жизнь, оставаясь ее директрисой после революции, когда гимназия была преобразована в 16-ю единую труд. школу.

[619] Рукопись дневника находится: Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 2. Д. 36, 37 и представляет собой две одинаковые переплетенные тетради. Листы заполнены плотно, с обеих сторон, в характерной для Преснякова манере. Им же пронумерованы страницы обеих тетрадей. Архивная пагинация отсутствует, поэтому при публикации фрагментов дневника номер страницы указывается курсивом в начале каждого отрывка. Существует машинописная копия дневника (с купюрами), подготовленная Б. А. Романовым к публикации в то же время, что и письма А. Е. Преснякова. См.: Ф. 193. Оп. 2. Д. 41; РГАЛИ. Там же. Ф. 1337 (Коллекция мемуаров). Оп. 1. Д. 215.

[620] «Сюлливан» («Любовь и предрассудок») — комедия в 3 действиях Ж. Де Мельвиля, перевод Федорова.

[621] «Женитьба Фрица» — лирическая комедия в 3 действиях Эркмана-Шатриана.

[622] «Наш друг Неклюжев» — комедия в 5 действиях А. И. Пальма.

[623] Вероятно, речь идет о дружеском кружке, сложившемся в гимназические годы Преснякова.

[624] Целканы, Душет, Ананур, Пассанаур, Млеты — селения вдоль Военно-Грузинской дороги.

[625] «Кума-затейница, или Девичья хитрость» — пьеса А. Е. Крученых.

[626] Павел Павлович (фамилия не установлена) — московский знакомый Преснякова.

[627] «Ифигения в Авлиде» — опера-трагедия Х.-В. Глюка по Ж. Расину (1774).

[628] «Гугеноты» — опера Д. Мейербера, либретто Э. Скриба и Э. Дешана по повести П. Мериме «Хроника времен Карла XII».

[629] Из трех увертюр Леоноры к опере Л. В. Бетховена «Фиделио» (1805) наиболее часто исполняется третья.

[630] «Антар» — восточная сюита Н. А. Римского-Корсакова (1868).

[631] Имеется в виду симфоническое произведение Ф. Листа, написанное композитором на основе эпизодов поэмы Н. Ленау «Фауст» (1836) — «Мефисто-вальс» и «Ночное шествие».

[632] «Кавказский пленник» — опера Ц. Кюи по А. С. Пушкину (1883).

[633] «Орестейя» — опера-трилогия С.И. Танеева на основе трагедий Эсхила «Агамемнон», «Хоэфора», «Эвменида». Постановка осуществлена в Мариинском театре только в 1895 г.

[634] «Erlkönig» — баллада Ф. Шуберта.

[635] Запись сделана под впечатлением «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева и помещена после рассуждений о прочитанном.

[636] Герой драмы А. Доде «Борьба за жизнь».

[637] «Dies irae, dies illa» — «День гнева, этот день...» — начало католических погребальных песнопений.

[638] Имеется в виду опера А. Г. Рубинштейна «Купец Калашников» по поэме М. Ю. Лермонтова (1880).

[639] «Le Flibustier» («У моря») — опера Ц. Кюи (1894).

[640] Под «Восточной рапсодией» А. Е. Пресняков, вероятно, имеет в виду рапсодию А. К. Глазунова «Грезы о Востоке» (ор. 14. 1886).

[641] «Шехерезада» — 4-частная сюита Н. А. Римского-Корсакова (1888).

[642] «Крейцерова соната» — повесть Л. Н. Толстого (1887—1889), до 1891 г. ходившая в списках, а потом запрещенная специальным постановлением Св. Синода. Восторженный отклик А. Е. Преснякова весьма характерен для круга интеллигентной молодежи, лишенной ханжества и достаточно свободомыслящей.

[643] «Князь Холмский» — произведение М. И. Глинки по трагедии Н. В. Кукольника (1841), состоящее из увертюры, 4 антрактов, 3 песен.

[644] «Реквием» — опера Дж. Верди (1874).

[645] Lacrimosa — конец второй части «Реквиема»: «Lacrimosa dies illa» («Скорбный день этот...»).

[646] А. Е. Пресняков упоминает 4-ю и 6-ю части «Реквиема».

[647] Зимой 1889/90 г. студенческие волнения, начавшиеся в Москве, были поддержаны петербургскими, харьковскими, казанскими студентами. 7 марта 1890 г. 700 студентов на сходке направили через Д. И. Менделеева петицию на имя министра народного просвещения о восстановлении университетской автономии, свободном доступе в университет без различия вероисповеданий, свободе сходок, восстановлении читальни и Студенческого научно-литературного общества. Министр петицию не принял, а участники сходки были арестованы. См.: *Суринов В. М.* Студенческие волнения 1890 г. // Советские архивы. 1982. № 3.

[648] В 1889 г. в Усть-Карийской и Нижнекарийской каторжных тюрьмах для гос. преступников покончили с собой 18 заключенных (среди них 4 женщины-народоволки) в знак протеста против жестокого режима содержания. Эти события привели к ликвидации в следующем году Карийской тюрьмы. Все заключенные (включая неполитических) были переведены в Нерчинск. См.: *Клер Л. С.* Карийская каторга. Ее место и роль в карательной системе самодержавия // Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в.—февраль 1917). Иркутск, 1985. Вып. 9. С. 217—231.

[649] Речь идет о Студенческом научном обществе (см. о нем в письме 114 и др.).

[650] См.: *Guyau M.-J.* D' irreligion de l'avenir. Paris, 1880.

[651] Источник цитирования не установлен.

[652] Далее Пресняков приводит выдержки из работ В. В. Чуйко и О. Ф. Миллера и комментирует их.

[653] Опущено несколько строк, где Пресняков полемизирует с В. В. Чуйко и Н. Н. Страховым.

[654] Речь идет о статье: *Милюков П. Н.* Юридическая школа в русской историографии // Русская мысль. 1886. Кн. 6. С. 80—92.

[655] Далее следует воспроизведение основной концепции Фулье.

[656] Здесь и далее следует пересказ критической статьи Бурже о Тэне.

[657] Эта запись — последняя в первой тетради дневника.

[658] Начало второй тетради: Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 2. Д. 37.

[659] Далее следуют пространные размышления о Христе и его учении, формулируемые под впечатлением от чтения Толстого или с прямыми цитатами оттуда.

[660] Фрагменты дневника за 1897—1899 гг. сохранились в одной из записных книжек А. Е. Преснякова (Архив СПбИИ РАН. Ф. 193. Оп. 1. Д. 117). Они перемежаются с конспектами прочитанной литературы, библиографическими записями (в том числе сделанными рукой Ю. П. Пресняковой), планами лекционных курсов. Для публикации выбраны почти все записи дневникового характера, которые, как правило, имеют дату.

[661] И. И. Лапшин.

[662] Эта запись — явное отражение занятий А. Е. Преснякова летом 1898 г. написанием биографии К. Н. Батюшкова, которую он так и не опубликовал. Среди прочитанного им фигурируют работы о религиозных и политических течениях конца XVIII—начала XIX в., мистицизме.

[663] Источник обеих цитат не установлен.

[664] Источник цитирования не установлен.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. Е. ПРЕСНЯКОВА*

1870, 21 апреля (3 мая) — родился в Одессе, в семье инженера путей сообщения Е. Л. Преснякова.

1879 — поступает в 3-ю Московскую военную гимназию.

1883 — после переезда семьи в Тифлис поступает в 1-ю Тифлисскую классическую гимназию.

1889, май — заканчивает 1-ю Тифлисскую гимназию с золотой медалью.

1889, август — поступает на юридический факультет С.-Петербургского университета.

1890, январь — переводится на историко-филологический факультет С.-Петербургского университета.

1890—1891 — сближается с кружком «русских историков» С. Ф. Платонова.

1892 июнь, август — занимается в Синодальной библиотеке рукописью Царственной книги во время научных командировок в Москву.

1893, март — делает предложение Ю. П. Кимонт, но получает отказ ее родителей.

1893, апрель—май — сдает государственные экзамены за курс университета.

1893, апрель — публикует конкурсное сочинение «Царственная книга, ее состав и происхождение», удостоенное золотой медали.

1893, август — участвует в IX Археологическом съезде в Вильно с докладом «Московские летописные своды».

1893, октябрь — оставлен С. Ф. Платоновым при университете для подготовки к профессорскому званию сроком на два года со стипендией.

1893, декабрь — избирается в члены Исторического общества при С.-Петербургском университете.

1894, осень — входит в кружок Г. В. Форстена.

1894, 23 ноября — выступает с рефератом о П. Лакомбе на первом заседании студенческого научного общества в Петербургском университете.

1895, 23 июля — женитьба на Ю. П. Кимонт.

1895, август — принят на должность помощника столоначальника в департамент окладных сборов Министерства финансов с испытательным сроком (оставляет департамент в декабре 1895 г., до утверждения в должности).

1895, август — дебютирует в качестве преподавателя старославянского языка и литературы в гимназии К. Мая.

1895, сентябрь — начинает читать курс всеобщей истории на Педагогических курсах при с.-петербургских женских гимназиях (с 1903 г. — Женский педагогический институт).

---

* Основные вехи службы А. Е. Преснякова в Академии наук, университете и других образовательных учреждениях отражены в формулярных списках из его личного дела, хранящегося в составе фонда Петербургского университета (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9403).

1896, 22 апреля — рождение сына Петра (ум. в марте 1897).

1896, сентябрь — начинает преподавать русскую историю в Николаевском сиротском институте.

1896—1897 — сдает магистерские экзамены.

1897, сентябрь — начинает преподавание в частной гимназии княгини Оболенской, где читает курс истории античной культуры.

1897, 8 декабря — рождение второго сына Евгения.

1897—1899 — читает публичные лекции в «народном университете».

1899 — награжден орденом св. Станислава III степени.

1900—1903 — работает над диссертацией по истории Московских летописных сводов XVI в., оставшейся незаконченной.

1900, 21 апреля — рождение сына Вениамина (ум. в июле 1903).

1900, январь — по представлению А. А. Шахматова и Л. Н. Майкова зачисляется стипендиатом Академии наук.

1900, декабрь — принят постоянным сотрудником в Археографическую комиссию Академии наук.

1900—1901 — читает курс по русской историографии XVII—XIX вв. на словесном отделении Педагогических курсов при с.-петербургских женских гимназиях.

1902, 14 января — рождение сына Александра.

1902, сентябрь — поступает в частную гимназию Л. С. Таганцевой.

1904, 5 ноября — рождение сына Ярослава.

1905, январь — награжден орденом св. Анны III степени.

1905, август — смерть матери.

1906, декабрь — избран в действительные члены Археографической комиссии.

1907, сентябрь — начинает чтение лекционного курса по истории Киевской Руси в С.-Петербургском университете в звании приват-доцента и руководит семинарием.

1907—1908 — работает над магистерской диссертацией «Княжое право в древней Руси».

1908, август — работает в Кракове в библиотеке университета и Академии наук над лекционным курсом по истории Западной Руси.

1908—1909; 1909—1910 — читает курс лекций по истории Западной Руси и Литовско-русского государства.

1908—1917 — преподает историю русского права на юридическом факультете Высших женских курсов при Петербургском университете.

1908 — избирается экстраординарным профессором ВЖК.

1909, 19 апреля — защищает магистерскую диссертацию «Княжое право в древней Руси. Очерки по истории X—XII столетий». (Официальные оппоненты С. Ф. Платонов и Э. Д. Гримм.) Утвержден в степени магистра истории 20 мая 1909 г.

1910, 26 апреля — назначен членом V класса (статский советник) Имп. Археографической комиссии.

1911, январь — награжден орденом св. Анны II степени «за службу и особые труды по Академии наук».

1911, июнь—июль — едет в научную командировку в Париж для работы в Национальной библиотеке.

1911—1912 — читает курс лекций по истории Северо-Восточной Руси в С.-Петербургском университете.

1912—1913 — читает курс лекций по истории Московского государства в С.-Петербургском университете.

1912—1918 — работает над докторской диссертацией по истории Московского государства.

1915, 30 марта — избирается на должность профессора Женского педагогического института.

1916, январь — награжден орденом св. Владимира IV степени.

1916 — смерть отца.

1917, 25 сентября — избирается на штатную должность доцента по кафедре русской истории.

1918, 20 апреля — по представлению историко-филологического факультета избран заместителем представителя Петроградского университета в Совете управления архивами (Центрархив).

1918, 28 апреля — защищает докторскую диссертацию «Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII—XV столетий». (Официальные оппоненты С. Ф. Платонов и С. В. Рождественский.) Утвержден Ученым советом Петроградского университета в степени доктора истории 29 апреля 1918 г.

1918, 10 июня — утвержден Советом Петроградского университета в должности профессора по кафедре русской истории.

1918, май—июль — читает лекции на общедоступных курсах при Петроградском университете.

1918, 21 мая — избирается на должность профессора русской истории историко-филологического факультета (с 1919 г. — факультета общественных наук) Петроградского университета.

1918—1923 — исполняет обязанности заместителя директора Петроградского отделения Центрархива.

1919 — избирается профессором Археологического института, а затем его деканом.

1920—1923 — руководит историко-археологическим отделением факультета общественных наук Петроградского университета.

1920, 4 декабря — избирается членом-корреспондентом Академии наук.

1921—1926 — участвует в качестве почетного члена в собраниях неформального кружка, организованного молодыми историками Петрограда.

1921—1923 — является действительным членом, а с 1922 г. директором Исторического научно-исследовательского института при Петроградском университете.

1923 — избирается председателем архивно-археографического цикла факультета языка и материальной культуры Петроградского университета.

1924—1928 — преподает в Педагогическом техникуме (Педагогическом институте им. А. И. Герцена).

1926, июнь—июль — работает в московских архивах с материалами по истории русско-польских отношений в XVIII в. Ходатайствует о предоставлении командировки в архивы Варшавы, Кракова и Львова, но получает отказ.

1926—1929 — является действительным членом Института истории РАНИОН, директором его Ленинградского отделения (1927—1928) и руководителем русской секции.

1927 — назначается на должность профессора Института красной профессуры в Москве.

1928, май — передал в дар Ленинградскому университету часть личной библиотеки.

1928, июнь — приглашен к участию в работе польского съезда историков и VI Международного конгресса историков в Осло, но не смог поехать из-за болезни.

1928 — выдвинут Ленинградским университетом в действительные члены Академии наук, но не включен в список для голосования.

1929, январь — Правление Ленинградского университета ходатайствует о присвоении А. Е. Преснякову звания заслуженного работника науки.

1929, январь — получил командировку от Наркомпроса для поездки во Францию (официально — с научной целью, фактически — для лечения), но не смог ей воспользоваться.

1929, 17 февраля — торжественное чествование в Ленинградском университете 35-летия научной деятельности.

1929, июль — избирается заведующим кафедрой истории России до XIX в. ЛГУ.

1929, 30 сентября — умирает от рака.

Похоронен на Никольском православном кладбище Александро-Невской лавры.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Абаза Александр Аггеевич (1821—1895) — гос. контролер (1871—74), министр финансов (1880—1881), член Гос. совета 44, 91

Авалов Зураб Давидович (1876—1944) — магистр гос. права, преподаватель Петербургского Политехнического ин-та, публицист, сотрудник газеты «Русская молва». После революции — в эмиграции 543, 766, 768, 898

Авенариус Василий Петрович (1839—1919) — беллетрист, автор повестей для детей и юношества 686

Агнесса Николаевна — см. Герстфельд А. Н.

Ададуров Николай Евграфович (1836—?) — инженер путей сообщения, член Инженерного совета Министерства путей сообщения (1899) 155

Адашев Алексей Федорович (ум. 1561) — гос. деятель, член Избранной рады при Иване IV

Аделя см. Даль-Троццо А. П.

Адрианов Владимир Сергеевич — сын С. А. Адрианова 558, 561—562, 672—673, 680, 682—683, 756, 797

Адрианов Сергей Александрович (1871—1942) — историк, лит. критик, журналист. Друг А. Е. Преснякова. Окончил Петербургский ун-т, преподавал в гимназиях. С 1905 приват-доцент Петербургского ун-та, проф. Женского пед. ин-та. Член АК (1896). В 1906—1907 гг. член редакции газеты «Страна», в 1909 г. ред. газеты «Слово», в 1912—1913 гг. — «Русской молвы». Печатался в «Вестнике Европы» и «Русском слове». Один из редакторов «Русской энциклопедии» изд-ва «Деятель» (1911—1915). После революции — проф. ЛГПИ им. Герцена, переводчик западных писателей 21, 103, 182, 188, 192, 194, 196—197, 199, 203, 208, 217—222, 233, 235, 238, 242, 245, 278, 250, 255—256, 259—260, 269, 274—275, 278—283, 286—287, 290, 303, 311—312, 318, 332, 337, 359—360, 361—367, 369—371, 374—376, 379—381, 383—384, 387—388, 390—392, 394—408, 419—421, 423, 428—431, 435—440, 445, 447—450, 452—453, 469, 478, 481—482, 489, 491—492, 495—497, 499—500, 503, 506, 508—509, 514, 517—527, 530—536, 538—546, 548—550, 554, 556, 558—562, 564, 566, 568, 570, 572—574, 577, 580—581, 584—587, 589—594, 611, 613—615, 622, 625—628, 630, 635, 638, 642, 647—650, 653—655, 661, 663—664, 668, 670—671, 673—676, 678—680, 682—689, 691—692, 695, 697—699, 701—705, 718, 720, 722—723, 726—739, 741—748, 752, 754,

---

* Лица, о которых не удалось найти сведений помимо тех, что можно почерпнуть из текста писем и дневников А. Е. Преснякова, в указатель не включены. Содержание биографических справок соответствует времени и контексту упоминания тех или иных лиц в публикации. В указатель не включены лица, упоминаемые только в комментарии и предисловии.

761—767, 770—780, 782—783, 785, 790—791, 799, 807, 810, 872, 893, 896—898, 900—903

Адрианова Анна Алексеевна — первая жена С. А. Адрианова 397

Адрианова Елена Александровна — сестра С. А. Адрианова 445

Адрианова Ольга Сергеевна — дочь С. А. Адрианова 797

Адя — см. Литерман А. Я.

Айналов Дмитрий Власьевич (1862—1939) — историк искусства, проф. Петербургского ун-та, чл.-корр. АН (с 1914) 714

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928) — лит. критик, в 1922 г. выслан за границу 754, 758

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист, поэт, обществ.-полит. деятель, один из идеологов и лидеров славянофильства 274, 758, 851, 854, 856

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — поэт, публицист, обществ. деятель, идеолог славянофильства 665, 667, 758, 853, 854, 855, 861, 901

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), рус. писатель, чл.-корр. Петерб. АН (1856) 851

Аксакова Вера Сергеевна (1819—1864) — сестра К. С. и И. С. Аксаковых, мемуаристка 758, 903

Алека см. Манизер А. Э.

Александр I (1777—1825) — император с 1801 г. 5, 12, 48, 279, 285, 287, 295, 298, 312, 342, 408, 431—432, 441, 454, 588, 776, 888—889, 893

Александр II (1818—1881) — император с 1855 г. 285, 293, 533, 670, 886, 899, 901

Александр III (1845—1894) — император с 1881 г. 11, 40, 85, 117, 145, 153—156, 163, 166, 425, 498, 573, 763, 797, 882

Александр Вячеславович — см. Оссовский А. В.

Александр Густавович см. Форстен А. Г.

Александр Михайлович, вел. кн. (1866—1933) — адмирал, ген.-адъютант, зять Александра III, муж вел. княгини Ксении Александровны. С 1918 г. в эмиграции 222, 412, 500, 886

Александр Невский (1220 или 1221—1263) — вел. кн. владимирский (с 1252), полководец 818, 820

Александр Яковлевич см. Полонский А. Я.

Александра Иосифовна (урожд. принцесса Саксен-Альтенбургская) (1830—1911), вел. княгиня — мать вел. кн. Константина Константиновича 494

Александра Федоровна (урожд. герцогиня Гессен-Дармштадтская) (1872—1918) — императрица, жена Николая II 157—158, 165, 172, 181, 204, 289, 295, 488—489, 493, 666, 787, 882

Алексеев Евгений Иванович (1843—1919) — адмирал, ген.-адъютант, наместник на Дальнем Востоке (1903—1905), главнокомандующий морскими и сухопутными силами во время войны с Японией (1904) 593, 899

Алексей Александрович, вел. кн. (1850—1907) — четвертый сын Александра II, ген.-адмирал, главный начальник флота и морского ведомства (1881—1905), чл. Комитета министров (1892—1905) 222, 593, 886

Алексей Михайлович (1629—1676) — рус. царь с 1645 г. 28, 50, 199, 290, 759

Алехнович Г. В. — авиатор. В 1913 г. установил абсолютный рекорд высоты (1350 м) на биплане Г-VIII 757, 903

Альбрехт Давид Иванович — инспектор студентов Петербургского ун-та 94, 330, 450

Аля см. Пресняков А. А.

Аля — Полонский А. Я.

Амилахвари Иван Егорович, кн. (1829—1905) — ген. от кавалерии (1896), командующий Кавказским армейским корпусом (1893—1897), ген.-адъютант (1901) 245, 332

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938) — писатель и журналист. После 8 лет работы в «Новом времени» перешел в нач. XX в. в лагерь оппозиции царскому режиму, с 1921 г. в эмиграции 790—791, 904

Андреа дель Сарто (1486—1530) — итал. художник 730

Андреев Иван Дмитриевич (1868—1927) — проф. истории церкви Петербургского ун-та 718

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — рус. писатель, драматург 518, 739, 791, 897, 900—901, 904

Андреевский Иван Ефимович (1831—1891) — юрист, преподавал в Училище правоведения, проф., в 1883—1887 — ректор Петербургского ун-та, директор Археологического ин-та, ред. Энц. словаря Брокгауза и Ефрона 62

Андреянов — моск. обер-полицмейстер 781

Андреянов Михаил Александрович — историк, преподаватель Женского пед. ин-та и Николаевского сиротского ин-та 224, 242, 252, 379—381, 646

Анисфельд Борис Израилевич (1878—1970) — рус. художник, театральный декоратор, после революции жил в эмиграции 72

Аничковы — дворянский род, восходящий к XIV в. 174

Анна Иоанновна (1693—1740) — рус. императрица с 1730 г. 206

Анненков — возможно: *Михаил Николаевич Анненков* (1835—1899), ген. от инфантерии, зав. передвижением войск по жел. дорогам, нач. военных сообщений Закаспийской области 166

Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902) — скульптор, автор ист. скульптурных портретов 274

Антоний (в миру Александр Васильевич Вадковский) (1846—1912) — митрополит С.-Петербургский и Ладожский (1898) 437

Антоний Падуанский (1195—1231) — св. католической церкви, монах-францисканец, знаменитый проповедник 348

Антонова С. М. — зав. редакционно-издательским отделом Центрархива 802

Антонович Владимир Бонифатьевич (1834 или 1830—1908) — укр. историк, археолог, проф. Киевского ун-та, чл.-корр. Петербургской АН 12, 106, 321, 723

Ардашев Павел Николаевич (1865—1922) — историк, специалист по новому времени, проф. Киевского ун-та 767

Арефин С. Я. — журналист, сотрудник газеты «Русская молва» 727, 747—748, 757, 766, 768

Ариадна см. Тыркова А. В.

Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреч. философ и ученый-энциклопедист 522

Аркадакский Константин Васильевич (1849—1930) — публицист, сотрудник газеты «Речь» 791

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919) — юрист, лит. критик, либеральный публицист, участник земских съездов 1880-х гг., один из основателей «партии демократических реформ» (1905—1907) 82, 129, 137, 159, 881

Аснык Адам (1838—1897) — польск. поэт, участник восстания 1863 г. 608

Ауэр Леопольд Семенович (1845—1930) — скрипач, дирижер, возглавлял квартет Имп. Рус. муз. общества. Проф. Петербургской консерватории 310

Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871) — историк, литературовед, исследователь славянского фольклора. Сотрудник журнала «Современник» (1848—1853) 205, 885

Бадмаев (Батмаев) Петр Александрович (Жамсаран) (1851—1920) — сын бурятского кочевника, целитель, доктор тибетской медицины; полит. авантюрист, автор плана проникновения России в Китай и Маньчжурию 410, 894

Бакст Лев Самойлович (1866—1924) — рус. театральный художник, график, член худож. группы «Мир искусства» 709, 711—712, 714

Балакирев Милий Алексеевич (1836/37—1910) — композитор, пианист, дирижер, глава творческого объединения рус. композиторов «Могучая кучка» 838

Бальцер Оскар (1858—1933) — польск. историк права, проф. Львовского ун-та 583

Балюкевич Федор Иванович (?— 1896) — сослуживец Е. Л. Преснякова, нач. телеграфной службы, затем службы движения Закавказской жел. дороги 126

Банг Герман (1857—1912) — датский писатель 670

Баранов Николай Михайлович (1837—1901) — петерб. градоначальник (1881), нижегородский губернатор (1883—1897), сенатор 54, 263

Барнай Людвиг (1842—1924) — нем. актер и театральный деятель, организатор Немецкого театра (Берлин) 232

Барсков Яков Лазаревич (1863—1937) — историк, ученик В. О. Ключевского, преподавал в гимназиях, архивариус гос. архива в Петербурге 551, 678, 732, 775, 779

Бартоломе Альберт (1848—?) — фр. скульптор, автор памятника безымянным умершим на кладбище Пэр-Лашез 713

Бартольд Василий Владимирович (1869—1930) востоковед, проф. Петербургского ун-та (1901), чл.-корр. АН (1910), акад. (1912) 378

Барятинский Владимир Владимирович, кн. (1874—1941) — драматург, журналист. В 1899—1900 гг. издатель и ред. полит. и лит. газеты «Северный курьер», закрытой за неблагонадежность 341

Баторий Стефан (1533—1586) — польск. король с 1576 г., полководец, в ходе Ливонской войны осаждал Псков (1581—1582) 344

Батюшков Константин Николаевич (1787—1855) — поэт, лит. критик 276, 395, 397, 872, 888, 907

Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920) — историк романских литератур, в 1885—1899 гг. приват-доцент Петербургского ун-та и ВЖК. Журналист, ред. журнала «Мир Божий» (1902), театральный критик 450

Бауэр Василий Васильевич (1833—1884) — историк-новист, ученик М. С. Куторги, проф. Петербургского ун-та (1866) 68, 132

Бах Иоганн Себастьян (1685—1750) — нем. композитор, органист 820

Бахрушин Сергей Владимирович (1882—1950) — рус. историк, проф. Московского ун-та, чл.-корр. АН (1939) 795, 814

Башкиров Вениамин Александрович — чиновник Министерства гос. имуществ, правитель комиссии управления Кавказскими минеральными водами 100, 158

Бедекер Карл (1801—1859) — нем. издатель, основатель изд-ва путеводителей по различным странам 686, 706, 710, 902

Безобразов Александр Михайлович (1855—1931) — статс-секретарь, член Особого комитета по делам Дальнего Востока (1903—1905), глава группы сторонников агрессивной политики на Дальнем Востоке 500

Безобразов Павел Владимирович (1859—1918) — историк-византинист, публицист, прозаик, в 1888—1892 гг. приват-доцент Московского ун-та, в 1914—1917 гг. — Петербургского ун-та и Психоневрологического ин-та 174, 884

Безродный Александр Васильевич — зав. Сенатским архивом 54

Бекетов Николай Николаевич (1827—1911), физико-химик, проф. Петербургского ун-та, акад. (1884) 289—290, 292

Беклемишев Владимир Александрович (1861—1920) — скульптор, близок по духу к искусству передвижников, ректор Академии художеств 131, 205

Беклин Арнольд (1827—1901) — швейцарский художник, представитель символизма и стиля модерн 483, 691, 902

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — лит. критик демокр. направления 283, 399, 849, 850, 858

Белов Евгений Александрович (1826—1895) — историк, педагог, критик, сотрудник еженедельника «Гражданин». Преподавал в Саратовской гимназии, в Александровском лицее в С.-Петербурге. Автор работ о Смуте и Петре I (1872) 77—78, 207, 885

Белокуров Сергей Алексеевич (1862—1918) — рус. историк, археограф, директор Московского архива иностр. дел, чл.-корр. АН (1903) 126, 136, 460, 464, 788, 793—794, 796, 801

Белосельские-Белозерские — княж. род 808

Белый Андрей (наст. фамилия, имя, отчество Бугаев Борис Николаевич) (1880— 1934) — рус. писатель-символист 620

Белюгов Александр Евгеньевич — историк, доцент Одесского ун-та 218, 361—362

Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873) — историк-славянофил, проф. Московского ун-та (1852), автор трудов по истории крестьянства 33, 79—80, 81, 85, 91—92, 878

Бенешевич Владимир Николаевич (1874—1938) — византинист, историк канонического права. С 1905 г. приват-доцент, позднее проф. Петербургского ун-та, чл.-корр. АН (1925). В 1928—1933 гг. — в тюрьме и лагере. В 1934—1937 гг. сотрудник ГПБ. Расстрелян 805

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — рус. художник, лидер группы «Мир искусства» 661, 665, 762

Бенуа Альберт Николаевич (1852—1937) — художник-акварелист 413, 420, 449

Беранже Пьер Жан (1780— 1857) — фр. поэт-сатирик 274

Берви-Флеровский Василий Васильевич (1829—1918) — социолог, экономист, публицист. Сотрудник журналов «Слово», «Дело», «Отеч. записки» 850

Бердслей Обри (1872—1898) — англ. художник-график 657, 901

Берент Вацлав (1873—1941) — польск. писатель-прозаик, близок символистам 512, 517

Берлиоз Гектор (1803—1869) — фр. композитор, дирижер, создатель жанра романтической программной симфонии 830, 833, 834

Бёрн-Джонс Эдуард Коли (1833—1898) — англ. живописец, декоратор 408

Бертенсон Лев Бернардович (1850—1929) — петерб. врач 689

Берто Эмиль (1869—1917) — фр. искусствовед 762—763

Бестужев-Рюмин Алексей Петрович, гр. (1693—1766) — гос. деятель и дипломат, канцлер (1744—1758) 295, 320, 398, 421, 426, 431—432, 441, 443, 893

Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829—1897) — историк, директор ВЖК в Петербурге, проф. Петербургского ун-та и ВЖК, акад. (1890) 9, 13, 51—52, 55, 77—78, 98—101, 110—112, 117, 119, 121, 132, 141, 185, 879

Бестужев-Рюмин Михаил Петрович, гр. (1688—1760) — дипломат, посланник в ряде европ. стран, брат А. П. Бестужева-Рюмина 295, 320, 445

Бестужев-Рюмин Петр Михайлович, гр. (1664—1743) — дипломат и сподвижник Петра I, впоследствии опальный 295, 320

Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — нем. композитор 444, 480, 674, 723, 823, 833—834, 848, 905

Бибиков Александр Ильич (1729—1774) — военачальник, ген.-аншеф, предс. Уложенной комиссии (1767) 312—313

Билинский Лео (1846—1922) — австр. экономист, проф. Львовского ун-та. В 1895—1897 и 1909—1910 гг. министр финансов Австро-Венгрии 804, 806

Бирюков Павел Иванович (1860—1931) — последователь учения и биограф Л. Н. Толстого 760

Блинов Иван Андреевич — инспектор, затем директор Сенатского архива 577, 579, 595, 613, 615, 637, 680

Блок Александр Александрович (1880—1921) — рус. поэт 671, 673, 682, 746, 903

Блуменфельд Феликс Михайлович (1863—1931) — пианист, дирижер, композитор. В 1895—1911 гг. дирижер Мариинского театра, проф. Петербургской (с 1897) и Московской (с 1922) консерваторий 840, 888

Бобриков Николай Иванович (1839—1904) — ген. от инфантерии (1898), ген.-адъютант, нач. Петербургского воен. округа, финляндский ген.-губернатор с 1898 г. Убит финскими патриотами 155

Бобринские Екатерина (1883—1954), *Домна* (1886—1956) — дочери А. А. Бобринского 239, 242—243, 374, 380, 381, 382

Бобринский Алексей Александрович, гр. (1852—1927) — археолог и полит. деятель. Член Гос. совета (с 1912 г.), предс. группы правых в Гос. совете. В 1916 г. товарищ министра внутренних дел (май—июль), министр земледелия (июль—ноябрь) 232—233

Бобринский Владимир Алексеевич, гр. (1867—1927) — полит. деятель, член II, III, IV Гос. дум, один из лидеров фракции правых и националистов, деятель Общества славянской взаимности. После революции в эмиграции 271, 585, 769

Богаевский Константин Федорович (1872—1943) — рус. художник, автор стилизованных пейзажей 657

Богданов-Бельский Николай Петрович (1868—1945) — художник-жанрист и портретист 839, 866

Богданович Ангел Иванович (1860—1907) — журналист, с 1893 г. сотрудник, затем издатель журнала «Мир Божий» 415, 439, 442, 447, 454, 888, 891, 895

Богдановский Александр Евстафьевич (1866—?) — автор работ по исследованию Сибири 642

Боголепов Николай Павлович (1846—1901) — юрист, проф. права Московского ун-та, затем его ректор (1883—1887; 1891—1893), министр нар. просвещения (с 1898). Смертельно ранен бывшим студентом эсером П. В. Карповичем 262—265, 280, 283—284, 288—289, 295, 313, 318, 322, 342, 412—413, 416, 888—889, 892, 895—896

Боголюбов Алексей Петрович (1824—1896) — художник-маринист, проф. Академии художеств (1860), внук А. Н. Радищева, организатор музея Радищева в Саратове 751, 839

Богословский Михаил Михайлович (1867—1929) — рус. историк, проф. Московского ун-та, акад. (1921) 619, 656, 660, 662, 793—795, 797—799, 800, 803, 813—816

Богоявленский Сергей Константинович (1871—1947) — рус. историк и архивист, чл.-корр. АН (1929) 660, 802, 814

Богров Дмитрий Григорьевич (1887—1911) — убийца П. А. Столыпина 721, 902

Бодаревский Николай Корнильевич (1850—1921) — художник, автор ист. полотен, портретист, участник передвижных выставок 820

Боде Вильгельм фон (1845— 1919) — нем. искусствовед, генеральный директор берлинских музеев 692

Бодлер Шарль (1821—1867) — фр. поэт 691, 741

Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (1845—1929) — польск. лингвист, проф. Петербургского ун-та, с 1918 г. в Польше. Чл.-корр. РАН, член Польской АН 610

Бокль Генри Томас (1821— 1862) — англ. историк, социолог-позитивист, автор труда «История цивилизации в Англии» (1857—1861) 849

Болеслав II Смелый (ум. 1081) — польск. князь, с 1076 г. король 608

Болотов Андрей Тимофеевич (1738—1833) — тульский помещик, агроном, мемуарист 116

Бомарше Пьер Огюстен (1732—1799) — фр. драматург 823

Бонифаций (680—754) — св., деятель западной церкви, с именем которого связано становление церк. организации в германских землях 103

Борги-Мамо Аделаида (1829—1901) — итал. певица, солистка парижской Гранд-Опера (1856—1860), гастролировала в России 127

Борис Александрович см. Романов Б. А.

Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870—1905) — рус. художник, участник выставок «Мира искусства» 643, 751, 764

Боровиковский Владимир Лукич (1758—1826) — художник, представитель ист., церковной и портретной живописи 619

Боровский Иван Сергеевич (1850—1901) — директор Одесского коммерч. училища, педагог, историк 675, 677, 682, 735, 776

Бородин Александр Порфирьевич (1834—1887) — композитор 28, 256, 820, 821, 838, 875

Бородин Аркадий Владимирович — историк, участник архивной реформы 20-х гг. 413, 418, 796

Бороздин Александр Корнильевич (1863—1918) — литературовед, историк обществ. движения, с 1895 г. приват-доцент Петербургского ун-та, преподавал также в Историко-филол. ин-те и Женском пед. ин-те 308, 323, 332, 393, 419, 433, 436, 437, 445, 497, 519, 525, 551, 568, 570—572, 573, 587, 893

Бороздин Илья Николаевич (1883—1959) — историк, выпускник Московского ун-та, после 1917 г. проф. 776

Борткевич Владислав Иосифович (1868—?) — статистик, приват-доцент Страсбургского ун-та (1895—1897), преподавал на ВЖК и в Александровском лицее 425

Боря см. Ефремов Б. В.

Боткин Михаил Петрович (1839—1914) — живописец, гравер, акад. Коллекционер 37

Боттичелли Сандро (1444—1510) — флорентийский художник эпохи раннего Возрождения 274, 408

Боцяновский Владимир Феофилович (1869—1943) — лит. критик и драматург, историк литературы 300, 376, 516, 616

Бочалов Павел Степанович — владелец ресторана в Петербурге 203

Брандес Георг (1842—1927) — датский лит. критик 827

Брандт Александр Андреевич (1855—?), инженер путей сообщения, инспектор, затем проф., а в 1906—1911 гг. директор Ин-та путей сообщения 291

Браун Федор Александрович (1862—1942) — филолог-германист, проф. Петербургского ун-та (с 1900). В 1906—1918 гг. декан ист.-филол. ф-та. Чл.-корр. АН (с 1927). С 1920 г. жил в Германии 208, 224, 652, 665, 720, 734, 739, 800

Брикнер Александр Густавович (1834—1896) — историк, автор трудов по истории XVIII в., русско-шведских отношений 273

Брокгауз Фридрих Арнольд (1772—1823) — нем. издатель, основатель издательской фирмы энц. словарей 382, 442, 770

Бронников Федор Андреевич (1827—1902) — рус. художник, проф. Академии художеств 751

Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — художник, представитель классицизма 573

Брюллова-Шаскольская Надежда Владимировна (1886—1937) — историк, жена П. Б. Шаскольского. После революции подверглась репрессиям как член партии эсеров. Расстреляна 652

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — рус. поэт-символист 620, 643, 653, 671, 673, 682, 734, 900

Бубнов Николай Михайлович (1858—1943) — историк-медиевист, проф. ВЖК в Петербурге, Киевского ун-та (с 1891). После 1917 г. в эмиграции 185, 332, 892

Бузескул Владислав Петрович (1858—1931) — историк, антиковед, автор трудов по источниковедению и историографии, акад. (1922) 54

Бузони Ферручио-Бенвенуто (1866—1924) — итал. пианист и композитор. Концертировал в Петербурге, в 1890 г. награжден премией А. Г. Рубинштейна 843

Буква см. Василевский И. Ф.

Булацель Надежда Васильевна — начальница Николаевского сиротского ин-та 379

Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — первоначально экономист, позднее религиозный философ и богослов. С 1918 г. священник. В 1922 г. выслан за границу, проф. Богословского ин-та в Париже 532—533, 550

Булич Сергей Константинович (1859—1921) — лингвист, библиограф, чл.-корр. АН (1903)

Булыгин Александр Григорьевич (1851—1919) — моск. губернатор (1893—1901), министр внутр. дел (1905), гофмейстер, статс-секретарь, член Гос. совета 528, 897

Бунге Николай Христианович (1823—1895) — гос. деятель, экономист, акад. (1890), министр финансов (1881—1886), предс. Комитета министров (1887—1895) 165, 197, 370

Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — литератор, публицист реакционного толка, сотрудник журнала «Новое время» 665

Бурже Поль (1852—1935) — фр. писатель, лит. критик, член Французской Академии 824, 845, 846, 862, 906

Буслаев Федор Иванович (1818—1897) — лингвист, фольклорист, историк, проф. Московского ун-та (1859), акад. (1860) 149, 274, 861

Бутенко Вадим Аполлонович (1877—1931) — историк, специалист по Франции первой половины XIX в. Ученик Н. И. Кареева. Приват-доцент Петербургского ун-та. После революции проф. Саратовского ун-та. Арестован по «Академическому делу». Умер в лагере 708, 775, 902

Буяк Францишек (1875—1953) — польск. историк, специалист по эконом. и аграрной истории, проф. Краковского и Львовского ун-тов 606, 609, 610

Бычков Афанасий Федорович (1818—1899) — археограф, директор Имп. Публичной библиотеки (с 1882), предс. АК (с 1891), акад. (1866) 44, 52, 148—149, 164, 248, 882

Бычков Иван Афанасьевич (1858—1944) — историк литературы, библиограф, чл.-корр. АН (1903) 44, 781, 882

Вагнер Рихард (1813—1883) — нем. композитор и дирижер 118—119, 492—493, 565, 690, 715, 833, 840, 878, 880—881, 888, 896, 899

Вадим Никандрович — см. Верховский В. Н.

Вазари Джорджо (1511—1574) — итал. художник и архитектор, автор «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» 599

Вайц Георг (1813—1886) — нем. медиевист, издатель актового материала, проф. Кильского и Геттингенского ун-тов, акад. 49, 877

Валерий Викторович см. Половцев В. В.

Валк Сигизмунд Натанович (1887—1975) — источниковед, археограф, историк обществ. движения в России. Проф. ЛГУ (с 1946), сотрудник ЛОИИ 5, 6, 804, 881, 890

Валуа — династия фр. королей (1328—1589), ветвь Капетингов 26

Валь фон Виктор Вильгельмович (1840—1915) — ген., петерб. градоначальник (1892—1895), виленский губернатор (1901—1902), товарищ министра внутр. дел и командующий отдельным корпусом жандармов (1902—1904), член Гос. совета 146, 174—175, 181, 206, 880, 884

Ван Гог Винсент (1853—1890) — голландский художник-постимпрессионист 709

Ван Дейк (Ван Дик) Антонис (1599—1641) — фламандский художник 705

Ван Эйк, братья: Хуберт (ок. 1370—1426) и *Ян* (ок. 1390— 1441) — голландские художники 731

Ванновский Петр Семенович (1822—1904) — ген. от инфантерии, воен. педагог, воен. министр (1881—1898), член Гос. совета, министр нар. просвещения (1901—1902) 155, 206, 289—290, 291—292, 343, 412, 417, 473, 478, 896

Ван-Путерсен Михаил Дмитриевич — врач Петербургского воспитательного дома 237

Варвара Николаевна, Варя см. Половцева В. Н.

Васенко Платон Григорьевич (1874—1934) — рус. историк, ученик С. Ф. Платонова, член АК, приват-доцент Петербургского ун-та, проф. Женского пед. ин-та. Репрессирован по «Академическому делу», осужден на 10 лет 308, 499, 775

Василевский Ипполит Федорович (псевд. Буква) (1849—после 1918) — фельетонист, публицист 820

Василевский Павел Петрович — предс. Управления казенных жел. дорог 168, 194

Василий Васильевич — см. Лужский В. В.

Васильев Александр Александрович (1867—1953) — византинист, ученик В. Г. Васильевского. С 1901 г. приват-доцент Петербургского ун-та, в 1904—1912 гг. проф. Юрьевского ун-та, в 1912—1917 гг. — Женского пед. ин-та, в 1917—1925 гг. — Петроградского ун-та. Чл.-корр. РАН (1919). С 1925 г. жил в США 42, 46, 65, 68, 125, 187, 499, 589, 699, 745, 772—773

Васильев Афанасий Васильевич (1851—?) — в 1893—1896 гг. ген.-контролер ж/д отчетности, сторонник гос. монополии жел. дорог, оппонент С. Ю. Витте 44, 118, 167

Васильевский Василий Григорьевич (1838—1899) — историк-византинист, стоявший у истоков петерб. ист. школы, проф. Петербургского ун-та, акад. (1890) 9, 26, 45—46, 48—49, 55—56, 58, 63, 69, 72, 78, 90, 101, 104, 106, 113, 132—134, 136, 140, 144, 152, 157, 161—162, 167, 170, 173, 175—176, 178, 180, 185, 189, 198, 206—207, 218, 232, 234, 236—237, 239, 248—249, 253—254, 332, 366, 372, 388—390, 397, 426—429, 450, 652, 885, 893—895

Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856—1933) — художник-пейзажист, участник выставок «Мира искусства» и Союза рус. художников 109, 839

Васнецов Василий Михайлович (1848—1926) — живописец, создатель фольклорно-ист. жанра, художник- монументалист 310, 867

Васькова (Старицкая) Екатерина Гавриловна — выпускница ВЖК, участница кружка Г. В. Форстена, учительница в Полтаве 374—375, 426, 441, 453, 762

Введенский Александр Иванович (1856—1925) — философ-неокантианец, логик, проф. Петербургского ун-та. После революции жил в эмиграции 26, 55, 62, 69, 71, 92, 130—131, 174, 180, 182, 231, 239, 263—264, 268, 284, 289, 372, 377, 501, 516, 520, 569, 887

Вебер Александр Эдуардович — препод. гимназии Таганцевой и Николаевского сиротского ин-та 497, 517

Веденеев Евгений Львович — чиновник Министерства путей сообщения, нач. Закавказской жел. дороги 355

Веласкес Диего (1599—1660) — испанский художник 551, 564, 574, 654

Велионский Пий Адам (1849—?) — скульптор, акад. скульптуры 145

Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк рус. литературы, библиограф, ред. энц. словаря Брокгауза, преподавал в Петербургском ун-те с 1896 г. 274, 302, 446, 890, 895

Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867—1941) — лит. критик, историк западноевроп. литературы, переводчица 274

Вениамин (в миру Василий Антонович Муратовский) (1856—1930) — епископ Ямбургский, викарий СПб. епархии (1897), впоследствии архиепископ Рязанский и Зарайский (1920), примкнул к церковному «обновленчеству», глава обновленческого Св. Синода (1925) 284

Вениамин Николаевич см. Ефремов В. Н.

Вера Викторовна см. Петухова В. В.

Вера Федоровна см. Крахт В. Ф.

Веретенников Василий Иванович (1880—1942) — рус. историк, выпускник Петербургского ун-та, ученик А. С. Лаппо-Данилевского. С 1910 г. приват-доцент Харьковского ун-та, в 1913 г. избран проф., но не утвержден министерством. В 1914—1915 гг. приват-доцент Московского ун-та, в 1916—1917 гг. — Петроградского, в 1917—1920 гг. проф. Саратовского, в 1920—1930 гг. Харьковского ун-тов 659—660, 662—664, 669, 901

Верещагин Александр Васильевич (1850—1909) — ген.-майор, публицист, мемуарист. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., адъютант М. Д. Скобелева 165, 882

Верещагин Василий Васильевич (1842—1904) — художник-баталист, путешественник 474

Вержбилович Александр Валерианович (1849—1911) — рус. виолончелист, проф. Петербургской консерватории 310, 396, 840

Верлен Поль (1844—1896) — фр. поэт-символист 691, 692

Вертеловский Александр Федорович — историк-медиевист 264, 266, 888

Верховский Вадим Никандрович (1873—1947) — химик, преподаватель Женского пед. ин-та, брат поэта Ю. Н. Верховского 530, 559, 649

Веселовский Александр Николаевич (1838—1906) — филолог, проф. Петербургского ун-та, акад. (1880) 427, 435, 495—496

Веселовский Алексей Николаевич (1843—1918) — историк литературы, почетный акад. 35, 180, 274, 894, 808

Веселовский Степан Борисович (1876—1952) — рус. историк, проф. Московского ун-та, член АК (1924), акад. (1946) 656, 663, 785, 796—797, 800, 805, 901

Ветвеницкий Петр Иванович — инспектор Коломенской гимназии 373

Виктория (1819—1901) — королева Великобритании с 1837 г. 273

Вильчур Александр Илларионович — врач, директор школы Имп. Женского Патриотического общества 616

Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925) — историк-медиевист, проф. Московского ун-та (1884—1902; 1908—1910), акад. (1914). С начала XX в. одновременно был проф. в Оксфорде 35, 90, 92, 179, 625, 643, 660, 876, 878, 883

Висковатов Павел Александрович (1842—1905) — историк литературы, проф. Дерптского ун-та 199

Витберг Федор Александрович (1846—?) — филолог, автор биографий рус. писателей XIX в. 433, 551, 647, 651, 742—744

Витворт — англ. путешественник, автор записок о России 116

Витгенштейны — графский род, на рус. службе с конца XVIII в. 107

Витте (урожд. Хотимская, по др. источникам Нурок, по первому браку Лисаневич) *Матильда Ивановна*, графиня (1863—после 1920) — вторая жена С. Ю. Витте 44, 61, 170, 884, 877

Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — гос. деятель, министр финансов (1892—1903), предс. Совета министров Российской империи (1905—1906) 35, 44, 52, 61, 170, 181, 184, 207, 265, 287—289, 291, 298, 307, 311, 313, 319, 328, 412, 425, 500, 507, 516, 876—878, 883—884, 886—890, 896

Вишневский Александр Леонидович (1861—1943) — актер Моск. Худож. театра 658

Владимир Александрович, вел. кн. (1847—1909) — сын Александра II, президент Академии художеств (1876), ген. от инфантерии, Главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского воен. округа (1884—1905), член Гос. совета 879, 885

Владимир Александрович см. Головань В. А.

Владимир Викторович см. Чуйко В. В.

Владимир Владимирович см. Ламанский В. В.

Воеводский Леопольд Францевич (1846—1901) — филолог-классик, проф. Новороссийского ун-та 861

Волгин Вячеслав Петрович (1879—1962) — историк-марксист, акад. (1930) 815

Волжский (наст. фамилия Глинка) *Александр Сергеевич* (1878—1940) — лит. критик, писал по религиозным вопросам 534

Волков Ефим Ефимович (1844—1920) — художник-пейзажист, участник передвижных выставок 839

Волковысский Николай Моисеевич — журналист, кадет, сотрудник газеты «Речь» 727, 903

Волконская (урожд. княгиня Белосельская-Белозерская) *Зинаида Александровна,* княгиня (1789—1862) — поэтесса, прозаик, музыкант, хозяйка моск. муз.-лит. салона 274

Волконский Владимир Михайлович, кн. (1868—1953) — полит. деятель, депутат III и IV Государственных Дум. В 1915—1916 гг. товарищ министра внутр. дел. После революции в эмиграции 274, 760, 782

Волконский Петр Дмитриевич, кн. (1846—1919) — шталмейстер двора Александра III, подольский уездный предводитель дворянства 174, 181

Волконский Сергей Михайлович (1860—1937) — театр. деятель, худож. критик, мемуарист. В 1899—1901 гг. директор Имп. театров 760, 889

Волынский Аким Львович (наст. фамилия, имя, отчество Флексер Хаим Лейбович) (1861—1926) — лит. и худож. критик, историк, теоретик искусства 169, 281, 374, 376, 396, 398, 408, 420, 448, 451, 477, 872, 893

Вольф Маврикий Осипович (1826—1883) — основатель книгоиздательской и книготорговой фирмы 117, 737

Вольфсон (Вольфзон) Илья Владимирович (1882— 1950) — издатель 810

Воронцов Михаил Семенович, кн. (1782—1856) — фельдмаршал, наместник на Кавказе (1844—1854) 47, 91, 877

Воронцов-Дашков Илларион Иванович, гр. (1837—1916) — ген.-майор свиты, позднее ген. от кавалерии, ген.-адъютант, министр двора (1881—1897), наместник на Кавказе (1905—1915), 882

Воротынский Михаил Иванович, кн. (ок. 1510—1573) — боярин и воевода при Иване Грозном 866

Врангель Николай Николаевич (1880—1915) — искусствовед 722, 902

Вуенка — см. Якубовская С. М.

Вульфиус Александр Германович (1880—1941) — историк, ученик Г. В. Форстена, проф. Женского пед. ин-та и Герценовского пед. ин-та, после революции проф. ЛГУ. С 1930 г. подвергался репрессиям, умер в лагере 493, 519, 551, 574, 718, 772—773, 902

Вундт Вильгельм Макс (1832—1920) — нем. философ и психолог, один из основателей экспериментальной психологии 115—116, 880

Вурцель Евгений Дмитриевич — сослуживец Е. Л. Преснякова, нач. службы тяги Курско-Харьковско-Азовской жел. дороги 126

Выспянский Станислав (1869—1907) — польск. драматург и художник, центральная фигура культуры польск. модернизма 597—598, 601—602, 604, 606—608, 899

Вычулковский Леон (1852—1936) — польск. живописец и график 597—598

Вышнеградский Иван Алексеевич (1831—1895) — директор, затем проф. Технологического ин-та (с 1875), министр финансов (1887—1892) 44—45

Вяжлинский Николай Константинович — врач-педиатр, служил в Николаевской детской больнице 212, 216, 237, 261, 285, 291, 306, 309, 447, 466, 501, 513, 518, 615, 671, 763

Вяземский Леонид Дмитриевич, кн. (1848—1909) — ген.-майор, нач. Гл. управления уделов 225

Вяземский Петр Андреевич, кн. (1792—1872) — поэт, лит. критик, «либералист» в царствование Александра I 293, 889

Габаев Георгий Соломонович (1877—1956) — полковник, воен. историк. С 1918 г. сотрудник Центрархива. В 1926—1937 гг. был репрессирован, после освобождения жил в провинции 801—803, 809—810, 905

Габель Станислав Иванович (1849—1924) — проф. пения Петербургской консерватории, исполнитель, автор романсов 74

Гавриил Константинович, кн. (1887—1955) — сын вел. кн. Константина Константиновича, офицер л.-гв. Конно-гренадерского полка, мемуарист. После революции в эмиграции 306—307, 890, 896

Гайдебуров Василий Павлович (1866—после 1940), с 1897 г. издатель газеты «Русь», журнала «Неделя» (после смерти отца в 1893 г.) сотрудник «Биржевых ведомостей», посредственный поэт 268, 887

Гайдн Франц Йозеф (1732—1809) — австр. композитор 820

Гамсун Кнут (1859—1952) — норвежский писатель 664, 901

Ган Карл Федорович — препод. древних языков в I Тифлисской гимназии 27

Гардинер (Гарднер) Самуэль Раусон (1829—1902) — англ. историк-новист, источниковед 57, 877

Гари Александра Францевна — акушерка, сотрудница общества «Ясли» 209, 211, 226

Гарин (наст. фамилия Виндинг) *Дмитрий Викторович* (?—1922) — театр. и обществ. деятель, препод. Моск. театр. училища 36

Гартвиг Александр Генрихович — полковник, предс. хоз. комитета Охтенского порохового завода 360

Гастер Мозес (1856—?) — фр. этнограф 866

Гауптман Герхарт (1862—1946) — нем. драматург 274, 296, 483, 512, 603, 899

Ге Николай Николаевич (1831—1894) — живописец, один из основателей товарищества передвижников 839, 867

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — нем. философ-классик 376, 854, 896

Гейден Петр Александрович, гр. (1840—1907) — обществ. и полит. деятель, один из лидеров партии октябристов, затем партии мирного обновления 537

Гейлорд Франклин Августович — секретарь дирекции просветит. общества «Маяк» 649, 900

Гейне Генрих (1797—1856) — нем. поэт, публицист 92, 886

Гендель Георг Фридрих (1685—1759) — нем. композитор и органист 820

Генрих Матвеевич см. Манизер Г. М.

Георгиевский Лев Алексеевич — директор Царскосельской Николаевской гимназии 49

Георгиевский Павел Иванович (1857—?) — проф. политэкономии и статистики Петербургского ун-та 244, 258

Георгий Александрович, вел. кн. (1871—1899) — второй сын Александра III, наследник-цесаревич с 1894 г. 41, 298, 890

Георгий Васильевич см. Форстен Г. В.

Геппенер Ричард Николаевич — инспектор классов приюта принца П. Г. Ольденбургского, преподавал на ВЖК 387

Герберштейн Сигизмунд, барон (1486—1566) — нем. дипломат. Посетил Россию в 1517 и 1526 гг. Автор «Записок о Московитских делах» 72, 116

Герд Иван Александрович — географ, препод. реального училища, учрежденного в 1895 г. кн. В. Н. Тенишевым, сын первого директора гимназии княгини Оболенской А. Я. Герда 287

Герман Петр Андреевич (1868—1925) — педагог, директор частной гимназии в Петербурге 589, 611, 616, 652

Геродот (между 490 и 480—ок. 425 до н. э.) — древнегреч. историк 38

Герстфельд Агнесса Николаевна — классная дама в гимназии Оболенской, затем инспектриса Смольного ин-та, сестра Е. Н. Герстфельд 505—507

Герстфельд Елизавета Николаевна — помощница начальницы гимназии Оболенской в Петербурге, спутница последних лет жизни Г. В. Форстена 426, 478, 488, 493, 504, 508, 513, 516, 526—527, 549—550, 564, 576, 584, 587, 592, 625—626, 645—646, 654, 662, 671, 677, 683—684, 726, 768, 814, 905

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — полит. публицист, писатель, философ, мемуарист 854—855

Гершуни Александр Львович — физик, преподавал в реальном училище Я. Г. Гуревича, затем инспектор Женского пед. ин-та, с 1902 г. — проф. Артиллерийского класса в Кронштадте 590

Герье Владимир Иванович (1837—1919) — рус. историк, проф. Московского ун-та, основатель ВЖК в Москве 35, 563, 568, 830—832, 876, 883

Гессен Владимир Матвеевич (1868—1920) — юрист., проф. Петербургского политехнического ин-та и Бестужевских курсов 425, 575

Гессен Иосиф Владимирович (1866—1943) — юрист и публицист, один из лидеров партии кадетов. В 1906—1917 гг. ред. газеты «Речь», центрального органа кадетской партии. После 1917 г. в эмиграции 581, 587, 791

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — нем. писатель, мыслитель, естествоиспытатель 184, 250, 383, 881

Гизо Франсуа (1787—1874) — фр. историк и гос. деятель, представитель романтической историографии 244, 849

Гильтебрант Петр Андреевич — правитель дел АК 248

Гинсбург Рауль — руководитель нем. труппы в Петербурге 821

Гиппиус Василий Васильевич (1890—1942) филолог-русист, преподаватель Тенишевского училища. Проф. Пермского ун-та (1922), доцент ЛГУ (1937—1942) 562

Гитри Люсьен (1860—1925) — фр. актер и драматург 827

Главач Войцех Иванович (1849—1911) — дирижер, органист, композитор. Руководил симфонич. оркестрами в Петербурге и Москве 86, 318, 485

Глазунов Александр Константинович (1865—1936) — композитор и дирижер 435, 668, 835, 838, 840, 875, 894, 906

Глазунов Илья Иванович (1856—1913) — владелец книготорговой фирмы в Петербурге и Москве 101, 147

Глебов Михаил Павлович — член редакции журнала «Жизнь» 343, 347—478

Гливенко Иван Иванович (1868—1931) — филолог-итальянист, приват-доцент Петербургского, позднее проф. Харьковского и Московского ун-тов 563, 568, 615—616, 718, 720, 723, 742—743, 813

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — композитор, основоположник классической композиторской школы 480, 820—821, 833, 865, 879, 893, 896, 906

Глинский Борис Борисович (1860—1917) — историк, писатель, сотрудник журнала «Исторический вестник» 203, 894

Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787) — нем. композитор 820—821, 834, 906

Гнедич Василий Григорьевич (1849 — ?) — служил в Министерстве гос. имуществ, с 1887 г. — директор Гос. банка, в 1894—1896 гг. директор СПб. конторы Гос. банка 192—193

Гнедич Петр Петрович (1855—1925) — драматург и переводчик 665

Гоби Христофор Яковлевич (1847—1919) — ботаник, проф. Петербургского ун-та (с 1885) 289

Гоген Поль (1848—1912) — фр. художник постимпрессионист 623, 709, 741

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — рус. писатель 274, 293, 481, 618, 643, 850, 879, 883, 899—900

Годунов Борис (ок. 1552—1605) — рус. царь с 1598 г. 112, 526—527, 559—560, 562, 564

Голенищев Владимир Семенович (1856—1947) — египтолог, хранитель Эрмитажа. С 1915 г. жил за границей. Был проф. Каирского ун-та 665, 759, 860, 903

Голицын Григорий Сергеевич, кн. (1838—1907) — член Гос. совета (1893), главноначальствующий гражданской частью на Кавказе, командующий войсками Кавказского воен. округа (1897) 245, 316, 465, 660, 887

Головань Владимир Александрович (1870—1942) — искусствовед, известный экскурсовод, критик, преподавал в гимназии княгини Оболенской и на драматических курсах при Петербургском реальном училище, после революции сотрудник Эрмитажа. Друг А. Е. Преснякова. 134, 162, 165, 196, 203, 223, 258—259, 279—280, 285, 320, 347, 367, 370—372, 374, 383, 387—388, 391, 399, 401, 415, 453, 455—456, 476, 478, 481, 483, 485—487, 493, 499, 503, 505—506, 512, 520, 523, 530, 532, 541, 546, 552—554, 563—564, 570, 574—575, 584, 588, 591—594, 612, 614, 625—627, 630, 634—635, 639, 645, 649, 667—668, 671—678, 681—682, 684, 690, 694, 696—697, 702—703, 706, 710, 814—717, 723, 726—732, 737, 746, 753, 760, 762—766, 771, 775—778, 780—781, 791, 811

Головнин Александр Васильевич (1821—1886) — министр народного просвещения (1861—1866), принадлежал к группе либеральной бюрократии 797

Голубинский (Песков) Евгений Евстигнеевич (1834—1912) — историк церкви, акад. (1903) 488

Гольмстен Адольф Христианович (1848—1920) — юрист, проф. Петербургского ун-та, ректор (с 1899), затем декан юрид. ф-та 303, 451—452

Гомер (VIII в. до н.э.) — древнегреч. эпический поэт 860

Гонкуры: Эдмон (1822—1896) и *Жюль* (1830—1870) — фр. писатели, авторы социальных романов 845—846

Гончарова Наталья Сергеевна (1881—1962) — рус. художница, с 1915 г. жила в Париже 438, 661

Горбунов Константин Павлович — чиновник канцелярии Дворянского земельного банка 61

Горемыкин Иван Логгинович (1839—1917) — министр внутр. дел (1895—1899), предс. Совета министров Российской империи (1906, 1914—1916), член Гос. совета 202, 289, 307, 412, 540, 544, 782, 889—890

Горчаков Михаил Иванович (1838—1910) — протоиерей, историк канонического права, проф. церковного права Петербургского ун-та 561

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868—1936) — рус. писатель 312, 460, 546, 774, 896

Готье Юрий Владимирович (1873—1943) — рус. историк, археолог, проф. Московского ун-та, акад. (1939) 5, 619, 663, 814—816, 904

Гофмансталь Гуго фон (1874—1929) — австр. поэт и драматург 655, 901

Грабарь Игорь Эммануилович (1871—1960) — живописец, историк искусства 573

Градовский Александр Дмитриевич (1841—1889), историк гос. права, публицист либерального направления 171, 391, 850

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — историк-медиевист, один из основоположников ист. школы западного средневековья, популярный лектор, проф. Московского ун-та (1849) 56, 62, 77, 86, 90, 92, 100, 113

Гревс Александра Ивановна (1894—1910) — младшая дочь И. М. Гревса 590, 652

Гревс Екатерина Ивановна (1887—1942) — старшая дочь И. М. Гревса, преподаватель музыки 590, 652

Гревс Иван Михайлович (1860—1941) — историк-медиевист, ученик В. Г. Васильевского, специалист по истории античности и европейского средневековья, педагог, краевед. Проф. ВЖК (1892); с 1889 г. приват-доцент, с 1902 г. проф. Петербургского ун-та. Один из лидеров либеральной группы на ист.-филол. ф-те. Член кадетской партии со времени ее основания 11, 17, 47, 51, 54, 56, 58, 70—72, 113—114, 128, 130, 132—137, 161, 185, 206, 208, 210, 212, 215, 218, 234, 239, 241, 253, 256, 260, 268, 291, 302—305, 318, 322, 332, 337, 366, 378, 388, 423, 427, 446—447, 450—452, 456, 469, 481, 486, 488, 491—492, 495, 497, 498—499, 503, 509, 514, 516—517, 522, 524, 530, 536, 549, 555, 561, 568—570, 579—590, 611, 615, 651—652, 675—678, 708—711, 713, 716—717, 720, 724, 739, 746, 775, 881—882, 891, 895

Гревс (урожд. Зарудная) *Мария Сергеевна* (1860—1941) — жена И. М. Гревса 495, 499, 652, 711, 724

Гредескул Николай Андреевич (1861—конец 30-х) — юрист, проф. Харьковского ун-та, затем Петербургского Политехнического ин-та. Кадет (до 1916). После революции сменовеховец 791, 904

Греков Борис Дмитриевич (1882—1953) — рус. историк, с 1912 г. приват-доцент, с 1921 г. проф. Петербургского ун-та, акад. (1935). Позднее директор Ин-та истории АН СССР и проф. МГУ 734, 793—797, 799

Грибовский Вячеслав Михайлович (1867—1931) — юрист, проф. Новороссийского (1909—1911) и Петербургского ун-тов 262, 268, 887

Григорий Спиридонович — см. Петров Г. С.

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — поэт, лит. и театр. критик 419, 430, 856

Гримм Вера Ивановна — жена Д. Д. Гримма 791

Гримм Давид Давидович (1864—1941) — проф. римского права Петербургского ун-та, кадет. В 1911 г. принужден министерством покинуть ун-т. После революции в эмиграции, проф. в Праге и Тарту. Брат Э. Д. Гримма 718, 733—734, 739, 791, 881

Гримм Эрвин Давидович (1870—1940) — историк, ученик Г. В. Форстена, друг А. Е. Преснякова. С 1899 г. приват-доцент, с 1903 г. проф. всеобщей истории Петербургского ун-та, в 1911—1918 гг. ректор Петербургского ун-та. В 1920— 1923 гг. в эмиграции в Болгарии. Вернулся в Россию в 1923 г., до 1930 г. был консультантом архива НКИД в Москве, позднее подвергался репрессиям 519, 531, 535, 540, 543, 571, 573, 586, 646, 733—734, 737—739, 742, 766—767, 769—770, 775, 777—778, 780—782, 790—791, 802, 804—807, 815, 901, 903—904

Гримм Якоб (1785—1863) и *Вильгельм* (1786—1859) — нем. филологи, фольклористы, собиратели сказок 835

Грин Джон Ричард (1837—1883) — англ. историк 146, 881

Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — рус. философ, проф. Московского ун-та (1886), предс. Московского Психологического общества 170, 849, 886

Грушевский Александр Сергеевич (1877—1942) — историк, брат М. С. Грушевского 668

Грушевский Михаил Сергеевич (1866—1934) — историк Украины, полит. деятель, акад. АН СССР (1929) 338—339, 770

Грюнвальд Людвиг Эдуардович — препод. англ. языка в Реформатском училище, затем директор петерб. частной гимназии 652

Гуго Герман — скрипач 692

Гудон Жан Антуан (1741—1828) — фр. скульптор 696

Гуно Шарль (1818—1893) — фр. композитор, автор популярных опер 152, 559, 898

Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940) — лит. и театр. критик, переводчица, издатель журнала «Северный вестник» 667, 901

Гуревич Яков Григорьевич (1843—1906) — обществ. деятель, педагог, основатель (1883) и директор частной гимназии и реального училища, автор школьного учебника античной истории. Отец Я. Я. Гуревича и Л. Я. Гуревич 133, 370—372, 497, 853

Гуревич Яков Яковлевич (1869—?) — педагог и литератор, сын Я. Г. Гуревича 616

Гурлянд Илья Яковлевич (1868—1923) — юрист, журналист, член совета Министерства внутр. дел 511

Густав IV Адольф (1778—1837) — король Швеции в 1782—1809 гг. из династии Готторпов 273

Гутик см. Пресняков Е. А.

Гучков Александр Иванович (1862—1936) — полит. деятель, лидер партии октябристов, воен. министр Временного правительства (март—май 1917), позднее в эмиграции 592, 594—595, 770

Гущин Михаил Михайлович — чиновник Управления жел. дорог МПС 168—169

Гюго Виктор (1802—1885) — фр. поэт, прозаик и драматург 381, 580, 841

Гюйо Жан Мари (1854—1888) — фр. философ-утилитарист 71, 832, 850, 851, 861, 906

Гюнтер Николай Максимович (1871—1941) — математик, чл.-корр. РАН (1924), АН СССР (1925) 519

Давыдов Владимир Николаевич (наст. имя и фамилия Иван Николаевич Горелов) (1849—1925) — актер, педагог, нар. артист Республики (1922). С 1880 г. — в Александринском театре 156, 319

Даль-Троццо (урожд. Кимонт) *Аделя Петровна* (1872— ?) — сестра Ю. П. Пресняковой 212, 215, 219, 244—248, 272, 277, 329, 341, 344, 784

Даль-Троццо Богдан (ум. 1903) — сын И. А. Даль-Троццо и Адели 329, 331, 298, 890, 902

Даль-Троццо Иван Антонович — муж сестры Ю. П. Пресняковой, Адели 298, 345—346, 890, 892

Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885) — публицист, естествоиспытатель, идеолог панславизма 857, 878

Данилов Георгий — экономист, однокашник А. Е. Преснякова 87

Данте Алигьери (1265—1321) — итал. поэт и полит. деятель 483, 606, 872

Даргомыжский Александр Сергеевич (1813—1869) — композитор, последователь М. И. Глинки 821, 877

Дебюсси Клод (1862—1918) — фр. композитор 778

Девриен Альфред Федорович (1842—?) — основатель изд-ва в Петербурге, выпускавшего книги по естествознанию, географии, сельскому хозяйству 778

Дега Эдгар (1834—1917) — фр. художник-импрессионист 624

Дейбнер Август (1842—после 1917) — владелец Петербургской книготорговой фирмы 38, 117, 883

Делянов Илья Давыдович, гр. (1818—1897) — министр нар. просвещения в 1882—1897 гг. 83, 87, 167—168, 170, 204, 206, 234, 263—264, 284, 342, 523, 884

Дервиз Дмитрий Григорьевич фон — статс-секретарь, член Гос. совета, товарищ предс. Общества нар. столовых 226, 888

Дернов Александр Александрович (1857—1923) — выпускник юрид. ф-та Петербургского ун-та, протоиерей, законоучитель на Женских пед. курсах 418, 537

Дерюжинский Владимир Федорович (1861—1920) — проф. полицейского права Петербургского ун-та. Ред. «Журнала Министерства юстиции» 733

Джеймс (Джемси) Уильям (1842—1910) — амер. философ и психолог, один из основателей прагматизма 467, 895

Джон см. Лапшин И. И.

Джотто ди Бондоне (ок. 1267—1337) — итал. художник 762

Длугош Ян (1415—1480) — польск. средневековый хронист, автор «Истории Польши» в 12 книгах 608—609

Дмитрий Константинович, вел. кн. (1860—1919) — третий сын Константина Николаевича, командир л.-гв. Конно-гренадерского полка, главноуправляющий гос. коннозаводством. Расстрелян в 1919 г. в Петропавловской крепости 290, 886

Добиаш Александр Антонович (1875—1933) — брат О. А. Добиаш-Рождественской, физик 503, 517, 554, 652

Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1874—1939) — историк-медиевист, проф. Бестужевских курсов и Петроградского ун-та, чл.-корр. АН (1929) 666

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — лит. критик и публицист 178, 741, 850, 857

Добужинский Мстислав Валерьянович (1875—1957) — художник, член группы «Мир искусства» 661, 665

Довнар-Запольский Митрофан Васильевич (1867—1934) — рус. историк, этнограф, проф. Киевского ун-та 660

Доде Альфонс (1840—1897) — фр. писатель 720, 741, 827, 906

Долгов Семен Осипович — историк, архивариус Румянцевского музея 35

Долина М. И. — солистка Мариинского театра 435

Дорлиак Фабиан Викторович — препод. фр. языка в Смольном ин-те и в Женском пед. ин-те 224, 891

Достоевская Анна Григорьевна (1846—1918) — жена Ф. М. Достоевского 807

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — писатель 37, 100, 281, 309, 399, 429, 431, 483, 505—506, 519, 639, 674, 730, 777, 807, 811, 857, 872

Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895) — укр. историк, этнограф, публицист, деятель либерального движения. С 1876 г. в эмиграции, с 1889 г. проф. Софийского ун-та 206

Дрбоглав Иосиф Федорович — инспектор I тифлисской гимназии, с 1889 г. — директор II тифлиской гимназии 27, 53

Дрейфус Альфред (1859—1935) — капитан фр. Генштаба. В 1894 г. по ложным обвинениям осужден за шпионаж в пользу Германии. Реабилитирован в 1906 г. 265, 888

Дризен Николай Васильевич, барон (1868—1935) — театровед, руководитель Старинного театра в Петербурге 771

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — писатель, лит. критик 274

Дружинин Василий Григорьевич (1859—1936) — рус. историк. Помощник предс. АК. Чл.-корр. АН (1920). В 1930—1935 гг. в тюрьме и ссылке 114—115, 173, 235, 374, 381, 405—406, 437—438, 496, 502, 520—521, 578, 581, 719, 736, 740, 884

Дубовской Николай Никанорович (1859—1918) — художник-пейзажист 474, 839, 867

Дубровин Николай Федорович (1837—1904), ген. от артиллерии, воен. историк, археограф, акад. (1890) 204

Дузе Элеонора (1858—1924) — итал. актриса 232, 634, 670

Дункан Айседора (1877—1927) — амер. танцовщица, одна из основоположниц школы танцев модерн 634, 641, 784

Дурдин Николай Дмитриевич — инженер, владелец доходного дома 413, 417, 422

Дурново Иван Николаевич (1830—1903) — министр внутр. дел (1889—1895), предс. Комитета министров (1895—1903) 153, 167, 170, 175, 181, 206

Дыгасинский Адольф (1839—1902) — польск. писатель 510

Дьяконов Михаил Александрович (1855—1919) — рус. историк, ученик В. И. Сергеевича, специалист по истории крестьянства, проф. Юрьевского ун-та (1889—1904), Петербургского Политехнического ин-та (с 1905), акад. (1912) 13, 124, 132, 134, 172, 222, 264, 295, 308, 316, 368, 377, 418—419, 438, 499, 538—540, 549, 552, 555, 734, 793, 800, 888—891, 895

Дюков Николай Михайлович — препод. рус. языка в 5-й Петербургской гимназии, затем директор 2-й Петербургской гимназии (гимназии Александра I) 502, 506—508, 523, 671

Дюкова Елена Павловна — ученица гимназии Михельсон, невеста, впоследствии жена Б. А. Романова 729, 903

Дюма Александр (1802—1870) — фр. писатель, автор популярных историко-приключенческих романов 709

Дюран-Рюэль Поль (1831—1922) — владелец выставочной галереи в Париже, лучшего собрания фр. импрессионистов 709, 710

Дюрер Альбрехт (1471—1528) — нем. художник и график 554, 556

Дюфран — певица фр. труппы 820

Евгения Михайловна см. Леванда Е. М.

Егоров Дмитрий Николаевич (1878—1931) — историк-медиевист, проф. Московского ун-та, чл.-корр. АН (1928) 795, 805, 814

Екатерина I (1684—1727) — росс. императрица с 1725 г. 273, 262

Екатерина II (1729—1796) — росс. императрица с 1762 г. 51, 55, 77, 201, 206—207, 211, 228, 258, 260, 680, 808

Елена Владимировна см. Чуйко Е. В.

Екатерина Гавриловна см. Васькова Е. Г.

Елена Григорьевна (фамилия неуст.) — преподавательница гимназии кн. Оболенской 406, 426, 431, 497

Елизавета Маврикиевна (урожд. принцесса Саксен-Альтенбургская) (1865—1927) — жена вел. кн. Константина Константиновича 290

Елизавета Николаевна см. Герстфельд Е. Н.

Елизавета Петровна — (1709—1761) — рус. императрица с 1741 г. 197, 202—203, 277, 281, 283—285, 287, 401, 404, 413, 415, 446, 524, 582, 626, 751, 899

Ермолов Алексей Сергеевич (1847—1917) — статс-секретарь, министр земледелия и гос. имуществ (1893—1905), член Гос. совета 289

Ермолов М. С. — ред.-издатель журнала «Жизнь» (с 1899 по 1901) 289

Ермолова Мария Николаевна (1853—1928) — актриса Малого театра, нар. артистка Республики (1920) 36

Ернштедт Виктор Карлович (1854—1902) — филолог-классик, проф. Петербургского ун-та, акад. (1898) 258

Ершов Иван Васильевич (1868—1943) — оперный певец, с 1895 г. в Мариинском театре 435

Ефименко (урожд. Ставровская) *Александра Яковлевна* (1848—1918) — историк, этнограф, археолог. Почетный доктор рус. истории (1910, Харьковский ун-т). С 1910 г. — проф. ВЖК 106—107, 274

Ефремов Борис Вениаминович — племянник А. Е. Преснякова 28, 30, 32—33, 146, 164, 167, 213—214, 256, 270, 363, 398, 403—405, 415, 424, 451, 480, 512, 529, 876

Ефремов Вениамин Николаевич — полковник, инженер Охтенского порохового завода, шурин А. Е. Преснякова, муж его сестры Екатерины Евгеньевны 43, 85, 109, 117, 123, 129, 135, 146, 154, 156, 158—159, 179, 188, 192—194, 199, 202, 207, 209, 212, 214, 217, 225, 232, 234, 236, 251—252, 256, 293, 311—312, 319, 336, 360—361, 363, 443—445, 451, 454, 459, 471, 481, 502, 529, 543, 548, 613, 875—876, 882, 886, 893

Ешевский Степан Васильевич (1829—1865) — историк, специалист по истории позднего Рима, медиевист, проф. Московского и Казанского ун-тов 62

Жданов Александр Маркелович (1858—1914) — математик, проф. Петербургского ун-та, его ректор (1900—1904) 289, 318

Жданов Иван Николаевич (1846—1901) — историк рус. литературы, фольклорист. Чл.-корр. АН по Отделению рус. языка и словесности (1893), проф. Петербургского ун-та, акад. (1899) 231, 318, 419

Жебелев Сергей Александрович (1867—1941) — историк-антиковед, археолог, проф. Петербургского ун-та (1904), акад. (1927) 154, 264

Желиховский Владимир Иванович — директор тифлисской гимназии, затем инспектор Кавказского уч. округа 53, 877

Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908) — поэт, публицист, сотрудник «Вестника Европы», почетный акад. Петербургской АН (1908) 319

Жеромский Стефан (1864—1925) — польск. писатель 518, 897

Жижиленко Александр Александрович (1873—?) — юрист, проф. Петербургского ун-та, член партии кадетов. После революции сотрудник ГПБ 739

Жобар — монах-францисканец, философ и проповедник 871

Жуковский Иван Владимирович (Ивик) — зять В. В. Чуйко, помощник присяжного поверенного 377, 421, 431, 573

Жуковский Станислав Юлианович (1873—1944) — рус.-польск. художник-пейзажист 573

Забела-Врубель Надежда Ивановна (1868—1913) — рус. певица, жена художника М. А. Врубеля, выступала в Московской частной опере Мамонтова, с 1904 г. в Мариинском театре 758, 765, 767

Забелин Иван Егорович (1820—1909) — историк, предс. Московского общества истории и древностей российских, с 1883 г. руководитель Исторического музея 12, 347, 659—660, 901

Забугин Владимир Николаевич (1880—1923) — историк-медиевист, ученик Г. В. Форстена, с 1903 г. жил в Риме, был доцентом Римского ун-та 606

Завадский Михаил Ромуальдович — попечитель Кавказского уч. округа 346

Завитневич Владимир Зенонович (1853—?) — историк церкви и рус. культуры, проф. Киевской духовной академии 369

Закжевский Станислав (1853—1936) — польск. историк-медиевист, проф. Львовского ун-та 606, 609

Закс Арт Яковлевич (1878—1938) — историк-педагог, препод. Тенишевского училища и других петерб. средних уч. заведений. После 1917 г. работал в Москве в Накомпросе 503, 509, 517, 554, 589, 652

Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — рус. писатель, драматург. С 1922 г. в эмиграции 654

Замойские — польск. графский род, восходящий к XV в. 345

Замысловский Егор Егорович (1841—1896) — рус. историк, проф. Петербургского ун-та (1884—1890), чл.-корр. Петербургской АН (1888) 66, 69, 882

Заозерский Александр Иванович (1874—1941) — рус. историк, приват-доцент, в 1917—1923 гг. проф. Петроградского ун-та. Позднее сотрудник БАН. С конца 20-х гг. подвергался репрессиям 775, 816

Зверев Николай Андреевич (1850—1917) — юрист, проф. (1895), ректор (1898) Московского ун-та, товарищ министра нар. просвещения (1898—1902), член Гос. совета, сенатор, нач. Главного управления по делам печати (1902—1905) 578—579, 889

Звягина — артистка Тифлисского оперного театра 833

Зелинский Фаддей Францевич (1859—1944) — филолог-классик, с 1887 г. проф. Петербургского ун-та. В 1922 г. репатриировался в Польшу, был проф. Варшавского ун-та, членом многих академий 652, 739, 745—746, 903

Зембрих Марчелла (наст. имя и фамилия Марцелина Коханьска) (1858—1935) — польск. певица, пела в крупнейших театрах мира, в том числе в США 88

Зенгер Григорий Эдуардович (1853—1919) — филолог-классик, министр нар. просвещения в 1902—1904 гг. 489, 499

Зике Карл Карлович (1830—1890) — композитор, проф. Петербургской и Московской консерваторий, дирижировал в симф. концертах Имп. рус. муз. общества 823

Зилотти Александр Ильич (1863—1945) — рус. дирижер и пианист, проф. Московской консерватории. С 1919 г. в эмиграции 573, 682, 692

Знаменский Петр Алексеевич (1878—?) — физик, методист, препод. Женского пед. ин-та, в советское время проф. ЛГПИ им. А. И. Герцена 652

Золотницкий Эрнест Дмитриевич — сослуживец Е. Л. Преснякова, нач. службы движения Закавказской жел. дороги 126, 355

Золя Эмиль (1840—1902) — фр. писатель 265, 277, 720

Зомбарт Вернер (1863—1941) — нем. экономист, историк культуры, социолог. Проф. во Вроцлаве (с 1890) и Берлине (с 1904). 439

Зоя Петровна см. Лодий З. П.

Ибсен Генрик (1828—1906) — норвежский драматург 512, 556, 827, 899

Иван III (1440—1505) — рус. царь с 1462 г. 197, 875, 899

Иван IV Грозный (1530—1584) — рус. царь с 1547 г. 50, 58—59, 105, 112, 154, 250, 321, 768, 865

Иван Иванович см. Лапшин И. И.

Иван Михайлович см. Гревс И. М.

Иван Платонович см. Ямпольский И. П.

Иванов Александр Андреевич (1806—1858) — рус. художник 100, 619, 826, 847, 868, 899

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — рус. поэт, теоретик символизма, знаток и интерпретатор античности 652, 671, 673, 682

Иванов Гавриил Афанасьевич (1826—1901) — филолог-классик, проф. Московского ун-та 90—91, 111

Ивановский Виктор Викторович (1854—1926) — юрист, проф. гос. права Казанского ун-та 565, 569—570

Ивановский Игнатий Александрович (1858—?) — проф. гос. права Петербургского ун-та 739

Иванюков Иван Иванович (1844—1912) — экономист и публицист, проф. Московской сельскохозяйственной академии и Петербургского Политехнического ин-та 546, 548, 898

Иващенков Анатолий Павлович (1842—1906) — ген.-контролер департамента военной и морской отчетности, член Совета гос. контролера (1886), товарищ министра путей сообщения (1892), товарищ министра финансов (1892—1897), член Гос. совета 165, 311

Ивик см. Жуковский И. В.

Игнатьев Павел Николаевич, гр. (1870—1926) — министр нар. просвещения (1915—1916), почетный акад. (1917) 769, 778, 903

Изаи Эжен (1858—1931) — бельгийский скрипач и дирижер, автор скрипичных сочинений и транскрипций 573

Иконников Владимир Степанович (1841—1923) — историк, проф. Киевского ун-та, чл.-корр. АН (1893), акад. (1914) 55, 321, 877

Икскуль фон Гильденбрандт Варвара Ивановна, баронесса (1852—1929) — светская дама, обществ. деятельница, инспектриса гимназии Оболенской 376

Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — историк, публицист, автор учебников по отечественной и всеобщей истории 78, 221

Иоанн Златоуст (между 344 и 354—407) один из отцов церкви, архиепископ Константинополя (с 397), представитель греч. церковного красноречия 42, 864

Иоанн Константинович, кн. (1885—1918) — сын вел. кн. Константина Константиновича, казнен большевиками 306—307, 890

Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча) — персонаж Нового Завета, проповедник прихода Мессии 826, 900

Иоанн Крондштадтский (в миру Сергиев Иоанн Ильич) (1829—1908) — проповедник, духовный писатель, протоиерей и настоятель Андреевского собора в Кронштадте 42, 410, 523, 877

Иоллос Григорий Борисович (1859—1907) — публицист, сотрудник газеты «Русские ведомости», один из лидеров кадетской партии, депутат I Гос. Думы, убит черносотенцами 273

Ипатьев Владимир Николаевич (1867—1952) — ген.-майор, проф. Михайловской артиллерийской академии. Химик, акад. (1916). С 1927 г. за границей 584

Истомин Владимир Константинович — гофмейстер, нач. канцелярии моск. ген.-губернатора 494

Истомина Елена — актриса, жена И. П. Прянишникова 102

Истрин Василий Михайлович (1865—1937) — историк рус. литературы, акад. (1907) 573—594

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — публицист, историк гос. права, деятель реформ 1860-х гг. 79, 850—851, 858—859, 861

Казальс Пабло (1876—1973) — виолончелист, дирижер, композитор 674

Казимир-Перье Жан Поль Пьер (1847—1907) — фр. полит. деятель, президент Франции (1894—1895) 145

Каллаш Владимир Владимирович (1866—1918) — историк, литературовед, издатель 720, 722—723, 902

Каминский Станислав Клементьевич — ген.-лейтенант, инспектор Пороховых заводов 398

Кант Иммануил (1724—1804) — родоначальник нем. классич. философии, проф. Кенигсбергского ун-та, почетный член Петербургской АН (1794) 136, 859, 896

Капетинги — династия фр. королей (987—1328) 26, 206

Капнист Павел Александрович (1848—1904) — педагог, попечитель Московского ун-та 168

Каптерев Петр Федорович (1849—1922) — специалист по теоретической педагогике и психологии, препод. ВЖК, Женского пед. ин-та, Александровского лицея 505, 893

Капустин Михаил Николаевич (1828—1899) — юрист, проф. Московского ун-та, попечитель Петербургского уч. округа (с 1891) 27, 76—77, 153

Карабчевский Николай Платонович (1851—1925) — адвокат 456, 895

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — писатель, публицист, историк, официальный историограф (с 1802) 42, 273, 428, 894

Карбасников Николай Павлович (1850—1921) — владелец издательской и книготорговой фирмы 778

Кареев Николай Иванович (1850—1931) — историк, специалист по истории Западной Европы нового времени, философ, социолог. Проф. Петербургского ун-та (1886—1899) и ВЖК. Восстановлен в профессорском звании в 1906 г., почетный акад. (1929). Видный либеральный обществ. деятель, после 1905 г. глава партии кадетов 2, 55—58, 60—61, 68, 71, 76, 90, 96, 103, 112, 115, 128, 130, 132—134, 146, 148, 152, 155, 157, 161, 166, 182, 196, 216, 223, 228, 231—232, 234, 242, 302—305, 318, 363, 366, 382, 387, 411, 446—447, 514, 583, 652, 677—678, 683, 741, 769, 775, 792, 846, 878—882, 886, 889—890, 895

Каринский Николай Михайлович (1873—1935) — филолог-славист, чл.-корр. РАН (1921) 430, 773

Карл V (1500—1558) — император Священной Римской империи (1519—1550) 102, 306

Карлейль Томас (1795—1881) — англ. историк, философ, публицист 38, 350, 877

Карно Сади Мари Франсуа (1837—1894) — президент Франции (1887—1894) 145

Карпо Жан Батист (1827— 1875) — фр. скульптор 696

Карпович Михаил Викентьевич — шурин А. Е. Преснякова, первый муж его сестры Марии Евгеньевны. Сын тифлисского губернского врача. Инженер-техник на Закавказской, а с 1893 г. — на Курско-Харьковско-Азовской жел. дороге 28, 30—32, 40—41, 125—126, 155, 191, 197, 330, 334, 337, 343, 370, 514, 548, 562, 591, 677, 753, 875—876, 882

Карпович Михаил Михайлович (1888—1959) — историк, племянник А. Е. Преснякова (сын его сестры Марии Евгеньевны от 1-го брака). Окончил ист.-филол. ф-т Московского ун-та в 1917 г., уехал в США в качестве секретаря посла Временного правительства Б. А. Бахметева. С 1927 г. препод., позднее проф. рус. истории Гарвардского ун-та. С 1946 г. гл. ред. «Нового журнала» 514, 516, 549—550, 552—553, 558—560, 563—566, 568, 570—571, 575, 581, 585, 677, 725, 753, 880, 894, 902—903

Карпович (в замужестве Терентьева) *Наталья Михайловна* — племянница А. Е. Преснякова 479—480, 512, 549, 553, 558—559, 562—565, 568, 570, 581, 677, 880

Карсавин Лев Платонович (1882—1952) — историк-медиевист и философ, ученик И. М. Гревса, проф. Петербургского ун-та. В 1922 г. выслан за границу 652, 768—769, 773, 775, 790, 903

Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — историк церкви, до революции близкий кружку Мережковских. Министр исповеданий Временного правительства. С 1920 г. в эмиграции в Париже 532—534, 569, 611, 614, 898

Карцев Николай Сергеевич — препод. педагогики в Николаевском сиротском ин-те, инспектор Мариинского ин-та 224

Кассо Лев Аристидович (1865—1914) — юрист, проф. Московского ун-та, в 1910—1914 гг. министр нар. просвещения 718, 733—734, 903

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — историк, публицист, издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Моск. ведомости». Один из вдохновителей контрреформ 1880-х гг. 855, 875

Каульбах Вильгельм фон (1805—1874) — нем. живописец и рисовальщик, представитель национальной академич. школы 184

Кауфман Александр Аркадьевич (1864—1919) — экономист и статистик, проф. Бестужевских курсов, один из лидеров партии кадетов 256, 549

Качалов Василий Иванович (1875—1948) — актер Московского Художественного театра 658

Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842) — лит. критик, переводчик, историк, проф. Московского ун-та (с 1835), акад. (1841) 116, 161, 175, 882

Каянус Август Германович — нач. Варшавско-Тираспольской жел. дороги (с 1893) 102

Кедров А. — историк, приват-доцент Петербургского ун-та 198

Кениг Иосиф Иосифович — директор Annenschule 186

Кеппен Владимир Егорович — пом. правителя дел канцелярии Правления АН 468, 470, 484, 499, 530, 590

Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — рус. историк, ученик В. О. Ключевского, проф. Московского ун-та, кадет. Чл.-корр. РАН (1917). В 1922 г. выслан за границу, жил и работал в Праге 662, 689

Кимонт Михаил Петрович (Михась) — брат Ю. П. Пресняковой, врач-хирург в Тифлисе 29, 31—32, 168, 191, 299, 346, 375—377, 379—380, 388, 753, 876, 902

Кимонт Михалина Михайловна (ум. 1911) — мать Ю. П. Пресняковой 97—98, 182, 212, 214, 219—221, 238, 245—246, 249, 281, 306, 308, 323, 331, 336, 346, 348—349, 461, 525, 538, 552, 666, 704, 902

Кимонт Петр Викентьевич (ум. 1899) — отец Ю. П. Пресняковой, врач, до 1895 г. служил в Тифлисе 49, 67, 97—98, 148, 188—189, 190, 212, 216—217, 238, 244—246, 248—249, 251, 277, 301, 306, 308—309, 331, 336, 365, 404, 449, 518, 708, 877, 885, 887

Кимонт Эвелина Петровна (Эва) (ум. 1893) — сестра Ю. П. Пресняковой 49, 85—86, 118, 121, 132

Киндельский Ян — польск. историк 601—602

Киплинг Джозеф Редьярд (1865—1938) — англ. писатель 510

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — религиозный философ, лит. критик и публицист-славянофил 854

Киселев Александр Александрович (1838—1911) — художник-пейзажист 839

Кистяковский Богдан Александрович (1866—1920) — теоретик права и социолог, кадет. Проф. в Москве 699

Клевер Юлий Юлиевич (1850—1924) — художник-пейзажист 820

Клейгельс Николай Васильевич (1850—1916) — ген., варшавский обер-полицмейстер (1888—1903), с 1903 г. петерб. градоначальник 288, 884

Клеопатра (69—30 до н. э.) — последняя царица Египта из династии Птолемеев, супруга Марка Антония (с 37) 53

Климовский Георгий Александрович — препод. рус. языка и логики в I тифлисской гимназии 339

Клингер Макс (1857—1920) — нем. художник, представитель стиля модерн 597, 634

Клодт Михаил Петрович (1835—1914) — живописец, один из учредителей Товарищества передвижных худож. выставок 838

Клоссовский Александр Викторович (1847—1917) — метеоролог, проф. Петербургского ун-та, чл.-корр. АН (1909) 723, 901

Клочков Михаил Васильевич (1877—1951) — рус. историк, выпускник Юрьевского ун-та. В 1914—1920 гг. проф. Харьковского ун-та. Позднее преподавал с перерывами в провинциальных пед. ин-тах 551, 636, 669, 720, 780

Клюковский — врач, сосед семейства Кимонт по имению, петерб. знакомый Пресняковых 298, 346, 349, 466, 547, 689, 723

Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — рус. историк, проф. Московского ун-та, акад. (1900) 5, 7—8, 11, 13, 35, 37, 84, 170—171, 263, 577, 660, 689, 876, 878, 883, 890

Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868—1959) — актриса Московского Художественного театра 641

Кобеко Дмитрий Фомич (1837—1918) — историк, гос. деятель, директор Имп. Публичной библиотеки с 1902 г. Чл.-корр. АН (1890) 781

Ковалевская Софья Васильевна (1850—1891) — математик, астроном, первая женщина-акад. Петербургской АН (1889), мемуаристка 838

Ковалёвский Владимир Иванович (1848—1934) — гос. деятель, близкий к С. Ю. Витте, в 1892—1900 гг. директор Департамента торговли и промышленности Министерства финансов Товарищ министра финансов (1900—1902). В 1906—1916 гг. предс. Русского технического общества. После революции предс. Гос. ин-та опытной агрономии 328, 538, 545, 807

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — историк и социолог, проф. Московского, позднее Петербургского ун-тов, акад. (1914). Видный либеральный обществ. деятель. Чл. Гос. совета (с 1907) 54, 273, 537, 545, 691, 881, 898, 900

Ковалевский Павел Иванович (1849—1923) — врач-психиатр, проф. Харьковского ун-та (1884), автор трудов о механизмах психич. деятельности и психопатологии ист. личностей 53—54, 877

Козьмин Борис Павлович (1888—1958) — историк рев. движения, в 1922—1935 гг. зав. редакции журнала «Каторга и ссылка», позднее проф. МГУ и научный сотрудник Института истории АН СССР 803, 812, 814—815

Коковцов Владимир Николаевич, гр. (1853—1943) — министр финансов (1904—1914) и предс. Совета министров Российской империи (1911—1914) 718, 728

Колубовский Яков Николаевич (1863—?) — препод. истории педагогики и логики Женского пед. ин-та (1892—1894), библиограф, сотрудник ЖМНП 504—507

Колумб Христофор (1451—1506) — мореплаватель 225

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — рус. драматическая актриса 318, 381, 455, 667—668, 671, 895

Кондаков Никодим Павлович (1844—1925) — историк визант. и древнерус. искусства, археолог, старший хранитель Эрмитажа по средневековому отделу. Проф. Петербургского ун-та, акад. (1898) 55, 789—790, 843

Кондратенко Гавриил Павлович (1854—?) — художник-пейзажист 868

Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — обер-прокурор уголовного кассационного департамента Сената, член Гос. совета (с 1907), обществ. деятель, литератор, мемуарист, почетный акад. (1896) 166, 274, 319, 435, 894

Констан де Ребек Бенжамен Анри (1767—1830) — фр. писатель и публицист, лидер либеральной партии эпохи Реставрации 273

Константин Константинович, вел. кн. (1858—1915) — сын вел. кн. Константина Николаевича, президент Имп. Академии наук, почетный попечитель Педагогических женских курсов (с 1889), нач. военно-учебных заведений, поэт и переводчик, известный под именем К. Р. 21, 286, 290—291, 293, 304, 306—307, 313, 435, 468—470, 490, 490, 494, 499, 594—595, 779—780, 879—880, 886, 889, 894, 900

Константин Николаевич, вел. кн. (1827—1892) — брат Александра II, ген.-адмирал. В 1853—1881 гг. руководил Морским министерством, участник подготовки крестьянской реформы, наместник Царства Польского (1862—1863), предс. Гос. совета 286, 886, 889

Константинова Александра Андреевна (1871—1944) — искусствовед, преподавательница ВЖК, после революции сотрудница ГПБ 652

Конт Огюст (1798—1857) — фр. философ, один из основоположников позитивизма 136, 268

Копаньский — петерб. адвокат, сосед семейства Кимонт по имению, петерб. знакомый Пресняковых 298

Корелин Михаил Сергеевич (1855—1899) — историк-медиевист, проф. Московского ун-та, ученик В. И. Герье 34—35, 515, 876—877

Коркунов Николай Михайлович (1853—1904) — юрист, инспектор классов и препод. энциклопедии права Александровского лицея, затем проф. Петербургского ун-та 224

Коркунова Александра Михайловна — преподавательница истории в Николаевском сиротском ин-те, сестра Н. М. Коркунова 224, 252, 383

Коровин Константин Алексеевич (1861—1939) — рус. художник 839

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — рус. писатель и публицист 27, 146, 180, 183, 218, 319, 416, 685—686, 752, 881, 884, 891

Корреджио Антонио (ок. 1489—1534) — итал. художник 731

Корсаков см. Римский-Корсаков Н. А.

Корсаков Дмитрий Александрович (1843—1919) — историк, проф. Казанского ун-та 172—173, 401

Корш Петр Всеволодович — пом. нач. Закавказской жел. дороги 118, 355

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — историк, представитель этногр. направления в рус. историографии, археограф, беллетрист 42, 846, 850, 853

Костюшко Тадеуш (1746—1817) — герой польск. национально-освободительного восстания 1792—1794 гг. 608

Котляревская Вера Васильевна — жена Н. А. Котляревского 290, 652

Котляревский Нестор Александрович (1863—1925) — литературовед, специалист по рус. литературе, проф. ВЖК, акад. (1909) 290, 450, 555, 574, 652

Котов Григорий Иванович (1859—?) — архитектор, проф. Академии художеств, директор Центрального училища технического рисования барона Штиглица 228

Кочев Христо — студент-революционер 161

Кочубей Василий Леонтьевич (1640—1709) — укр. деятель конца XVII—нач. XVIII в. 776, 783

Кочубинский Александр Александрович (1845—1907) — историк-славист, проф. Новороссийского ун-та, публицист 274

Коялович Борис Михайлович (1867—1941) — математик, проф. Петербургских высших уч. заведений. Сын историка М. О. Кояловича 524

Кракау Василий Александрович — директор гимназии Мая 186, 193, 372, 546

Крамарж Карел (1860—1937) — чешский полит. деятель, лидер партии младочехов, после 1918 г. национал-демократической партии 585

Крамской Иван Николаевич (1837—1887) — рус. художник, один из основателей и идеологов передвижничества 474, 559, 826, 839—840

Красинский Зыгмунт (1812—1859) — польск. поэт и драматург 399, 408, 545, 894

Краснов Андрей Николаевич (1862—1914) — ботаник и географ, проф. Харьковского ун-та 253, 887

Крахт Вера Федоровна — сестра К. Ф. Крахта 663—664

Крахт Константин Федорович (1869—?) — друг А. Е. Преснякова, скульптор 34, 37, 205, 315, 470, 611, 617—624, 628—629, 632—639, 641, 653, 655—659, 662, 665, 673, 681, 696, 753, 760—761, 784—786, 789, 799, 801, 904

Крахт Надежда Ильинична — мать К. Ф. Крахта 34

Крахт Ольга Федоровна — сестра К. Ф. Крахта 34, 37, 315

Крахт Сергей Федорович — брат К. Ф. Крахта, врач 315

Крахт Федор Федорович — отец К. Ф. Крахта, моск. знакомый семьи Пресняковых 34—37, 62, 125, 153, 315, 819

Крашевский Юзеф Игнаци (1812—1887) — польск. писатель, популярный ист. романист 476—477, 608

Кремлев Николай Александрович (1833—1910) — юрист, проф. Казанского ун-та, приват-доцент Петербургского ун-та, предс. Пушкинского общества литературы и искусства 217

Кривошеин Аполлон Константинович (1833—1902) — директор хоз. департамента Министерства внутр. дел (1891), управляющий Министерством путей сообщения (1892), министр путей сообщения (1893—1894), член Гос. совета 44, 117, 153, 155, 166, 172

Кристи Михаил Петрович (1875—1956) — старый большевик, в 1918—1926 гг. уполномоченный Главнауки в Петрограде 805

Кромвель Оливер (1599—1668) — деятель англ. революции XVII в. 76, 585

Крупская Надежда Константиновна (1869—1936) — жена В. И. Ленина, член коллегии Наркомпроса 814

Крусман Владимир Эдуардович (1879—1922) — историк-медиевист, ученик Г. В. Форстена. С 1908 г. приват-доцент, позднее проф. Новороссийского ун-та, с 1917 г. Пермского ун-та 561, 564, 584—586, 588—589, 795—797, 799

Крылов Иван Андреевич (1769—1844) — писатель, баснописец, акад. Петербургской АН (1841) 161, 835

Крюгер Э. Э. (1865—1938) — скрипач 310

Ксения Александровна, вел. княгиня (1875—1960) — дочь Александра III 145

Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1858) — историк-медиевист, проф. Московского ун-та (1855) 62, 77, 100

Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878—1968) — рус. художник, член группы «Голубая роза» 657, 661, 838, 866

Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859—1927) — проф. права Военно-юридической академии, обществ. деятель. Один из основателей Партии демокр. реформ (1905) 587

Кулаковский Платон Андреевич (1848—1913) — славист, проф. Варшавского ун-та 160, 882

Кулин Василий Петрович (1822—?) — педагог, директор Петербургских ВЖК (1889—1894) 145

Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897) — укр. писатель, историк, этнограф. В 1846—1847 — член общества Кирилла и Мефодия 850

Куломзин Анатолий Николаевич (1838—1923) — управляющий делами Комитета министров (1883— 1902), статс-секретарь (1883), управляющий делами Комитета Сибирской жел. дороги (1893—1905), член (1902—1917) и предс. (1915—1917) Гос. совета 165, 167, 313

Кульман Николай Карлович (1871—1940) — историк, литературовед, проф. Женского пед. ин-та и Александровского лицея, редактор еженедельника «Летопись средней школы» (с 1915), после революции в эмиграции в Париже 161, 310, 318, 428, 430, 483, 489—490, 492, 494, 497—498, 503, 509, 519—520, 523, 525, 551, 652—653, 741—745, 790

Куманин Лев Константинович (1869—1920) — филолог, журналист, с 1907 г. чиновник для особых поручений при министре внутр. дел, член партии октябристов, зав. Министерским павильоном при Гос. думе 33, 51—52, 55—56, 110, 112, 114—115, 117, 130—131, 170, 187, 357

Кун Владимир Николаевич — историк 805—808, 812, 814—815

Куник Арист Аристович (1814—1899) — историк, филолог, акад. (1850), член АК (1850) 56, 112, 176

Куницкий Владимир Николаевич — инспектор Николаевского сиротского ин-та, преподаватель Женского пед. ин-та 332, 381

Куражо Луи (1841—1896) — фр. искусствовед 732

Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) — ген. от инфантерии, воен. министр (1898—1904), главнокомандующий рус. армией в Маньчжурии во время русско-японской войны, член Комитета министров 289, 500, 516, 520, 527

Кусевицкий Сергей Александрович (1834—1951) — контрабасист и дирижер. С 1920 г. в США 674, 682, 723

Кустодиев Борис Михайлович (1878—1927) — художник 664

Кутлер Николай Николаевич (1859—1924) — вице-директор (1895), с 1899 г. — директор департамента окладных сборов Министерства финансов. Видный экономист-практик, управляющий Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банками, главноуправляющий земледелием и землеустройством (1905—1906), один из лидеров партии кадетов. В 1922—1924 гг. участвовал в подготовке денежной реформы 193

Кюи Цезарь Антонович (1835—1918) — композитор, член «Могучей кучки», муз. критик, инженер-генерал, проф. Николаевской инженерной академии 28, 176, 243, 823, 834, 875, 887, 906

Лаврентьев Леонид Иванович (?—1914) — юрист, попечитель Западно-Сибирского уч. округа, затем помощник попечителя Петербургского уч. округа 182, 194

Лавров Николай Федорович (1891—1942) — рус. историк, ученик А. Е. Преснякова. С 1921 г. сотрудник Центрархива 17, 722, 768, 811

Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — философ, социолог, публицист, один из идеологов народничества 415, 851

Лагорио Лев Феликсович (1827—1905) — живописец и акварелист, известен морскими пейзажами 778, 818

Лазаревский Иван Иванович (1880—1948) — худож. критик 627

Лакомб Поль (1834—1919) — фр. историк и социолог 155, 157, 160—162, 164, 168—169, 204, 881—882

Ламанский Владимир Иванович (1833—1914) — историк, филолог-классик, основоположник петерб. школы славяноведения, проф. Петербургского ун-та, акад. (1900), известный славянофил 104, 129, 133, 146, 160, 228, 289, 389, 450, 886

Ламанский Владимир Владимирович — сын В. И. Ламанского, член форстеновского муз. кружка, препод. Политехнического ин-та 129, 132, 169, 279, 447, 452, 514, 565

Ламздорф Владимир Николаевич (1844—1907) — министр иностр. дел (1900—1906), член Гос. совета 528

Ланге Фридрих Альберт (1828—1875) — нем. философ-неокантианец и экономист 850

Ландовска Ванда (1879—1959) — польск. клавесинистка и пианистка 662

Лаппо Иван Иванович (1869— 1944) — историк, специалист по Литовской Руси. Проф. Юрьевского ун-та. После революции жил в Праге и Каунасе 49, 51, 55, 71, 112—113, 144, 121, 134, 137, 144, 146, 427, 612, 711, 733, 880

Лаппо-Данилевская (урожд. Бакарюкова) *Елена Дмитриевна* — жена А. С. Лаппо-Данилевского 535

Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863—1919) — рус. историк, источниковед, теоретик ист. науки. Приват-доцент (1890), затем проф. Петербургского ун-та и ВЖК, акад. (1899) 5, 12—13, 17, 48—49, 52, 69—70, 77, 103, 112—114, 116, 119, 123, 127, 129—135, 144—145, 147, 152, 154—155, 161, 168, 171, 173, 176, 197—198, 241, 248, 256, 259, 268, 304—308, 334, 376, 378, 423, 427, 447, 452, 479, 482—484, 486, 488, 490—491, 508—509, 516, 535, 567, 569, 575, 594, 613, 652, 654, 660, 678, 711, 741, 769, 871, 878, 881—882, 887, 893

Лапшин Иван Иванович (Джон) (1870—1952) — философ, психолог, друг А. Е. Преснякова. Занимался гносеологией и эстетикой. С 1897 г. приват-доцент, с 1913 г. проф. Петербургского ун-та, с 1906 г. проф. ВЖК. В 1922 г. выслан за границу. С этого времени жил и работал в Праге. Известен как муз. критик, исполнитель-дилетант 79, 110, 115, 129, 131, 135—137, 139—140, 146, 155—156, 165, 168—169, 174, 182, 187, 195, 205, 217, 226, 231, 233, 239—241, 243, 250, 256—257, 259, 271, 275, 279—280, 287, 290, 302, 304, 309, 312—313, 317—318, 326, 334, 337, 347, 371—380, 383—384, 387—388, 391—392, 401, 447—550, 452—453, 467, 469—470, 476, 478, 480—482, 485—489, 491—493, 495, 498—502, 504—505, 507—508, 512—513, 516, 518—519, 521—522, 524, 526—527, 530, 533, 535, 540—543, 546—547, 549, 552, 554—556, 562—571, 573, 584, 587, 592, 611, 627, 630, 634, 639, 645, 649, 652, 671, 674, 676, 681—682, 690, 702, 712, 716, 720, 729, 734, 740, 747, 751, 758, 765—767, 775, 778, 780, 811, 891, 893, 895—898, 902—903, 907

Лапшина Сусанна Денисовна — мать И. И. Лапшина 492, 505, 512, 734

Лаубе Д. М. — музыкант, знакомый А. Е. Преснякова 820—821

Лебедев Андрей Николаевич — коллекционер, действ. член Орловской ученой архивной комиссии 98, 108—110, 124—126, 136, 149, 152—154, 185, 198, 321, 879, 884

Леванда Евгения Михайловна — выпускница ВЖК, участница кружка Г. В. Форстена, с 1901 г. преподавала в I тифлисской гимназии 182, 200, 203, 389, 391, 397, 415, 419, 423, 431, 438, 440—441, 444, 478, 531, 539, 588

Лёве Евгений Августович — преподаватель нем. языка Женских пед. курсов 418, 436—437, 519

Левинсон-Лессинг Франц Юльевич (1861—1939) — геолог, петрограф, проф. Петербургского ун-та и Политехнического ин-та, акад. (1925) 589

Левитан Исаак Ильич (1860—1900) — рус. художник-пейзажист 474, 573, 634, 867

Лемке Михаил Константинович (1872—1923) — историк рус. обществ. мысли и рев. движения 624, 647, 649, 666, 900

Ленау Николаус (1802—1850) — австр. поэт-романтик 823, 906

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — рус. революционер и полит. деятель 798, 904

Леннарт Васильевич см. Форстен Л. В.

Ленский К. А. — участник съезда архивистов в Москве в 1925 г. 812

Ленский (наст. фамилия Оболенский) *Павел Дмитриевич* (1855—1910) — актер театра Литературно-худож. общества 817

Леонардо да Винчи (1452—1519) — итал. художник 408, 464, 599, 696, 705, 726

Леонов Степан Степанович — ген., родственник семьи Пресняковых 126, 227

Леопарди Джакомо (1798—1837) — итал. поэт-романтик 872

Леося — няня в семье Пресняковых 331, 337, 346—347, 349, 492, 551

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — рус. поэт 419, 665, 906

Лесгафт Петр Францевич (1837—1909) — рус. анатом и педагог, проф. Казанского ун-та, Медико-хирургической академии, Петербургского ун-та. Создатель Курсов Лесгафта и Вольной высшей школы 62, 507, 523, 531, 539, 547, 551—552, 554, 556, 560—561, 565, 567, 571—572, 741, 822

Лесевич Владимир Викторович (1837—1905) — философ-позитивист 204

Лешковская (наст. фамилия Ляшковская) *Елена Константиновна* (1864—1905) — актриса Московского Малого театра (с 1888), нар. артистка Республики (1924) 36

Лжедмитрий I (?—1606) — рус. царь с 1605 г. 112, 510

Либерман Адольф Яковлевич (Адя) (1868— ?) — филолог, издатель еженедельника «Филологическая библиотека» (1893—1895) 25, 42, 60, 109, 113, 117, 123, 127, 147, 875, 877, 879—880

Либерман Яков Ильич — предприниматель, совладелец Грузинского издательского товарищества, отец А. Я. Либермана 109, 111, 114, 119, 123, 147, 169—170, 172

Лидия Карловна (Лиля) — родственница В. В. Чуйко 387, 406, 420

Линевич Николай Петрович (1838—1908) — ген. от инфантерии, командующий войсками на Дальнем Востоке в 1905—1906 гг. 525, 527, 892

Линниченко Иван Андреевич (1857—1926) — историк Юго-Западной Руси, с 1896 г. проф. Новороссийского ун-та. Чл.-корр. АН (1900) 725

Лист Ференц (1811—1864) — венг. композитор, пианист, дирижер 74, 135, 429, 821, 823, 833—834, 843, 878, 906

Литовченко Александр Дмитриевич (1835—1890) — художник-пейзажист 868

Лихарева Наталья Ивановна — ученица И. М. Гревса 652

Лихачев Николай Петрович (1862—1936) — историк, специалист по вспомогат. ист. дисциплинам, палеограф, член АК (1894). В 1902—1914 гг. пом. директора Публичной библиотеки, акад. (1925) 101—102, 108, 153—154, 165, 170—173, 176, 314, 484, 643, 882, 891, 900

Лобанов-Ростовский Александр Борисович (1824—1896) — дипломат, с 1895 г. министр иностр. дел 181

Лобачевский Николай Иванович (1792—1856) — математик, создатель неэвклидовой геометрии 263

Лобко Павел Львович (1838—1905) — ген. от инфантерии (1900), проф. Николаевской академии Генштаба, гос. контролер (1900—1905), член Комитета финансов 311

Ловенфельд Рафаил — нем. писатель, лектор славянских языков в Бреславском ун-те, переводчик сочинений Л. Н. Толстого на нем. язык 49, 877

Ловягин Александр Михайлович (1870—1925) — библиограф и историк 439

Лодий Зоя Петровна (1886—1957) — камерная певица, после революции — проф. Ленинградской консерватории, третья жена С. А. Адрианова 770—775, 777—779, 783, 785

Ломброзо Чезаре (1835—1909) — итал. психиатр и криминалист 109

Лонго — художник, педагог 449

Лопухин Алексей Александрович (1864—1928) — директор департамента полиции (1902—1905) 507

Лоренс А. — владелец фотографии (Невский пр., 4) 131, 135, 172

Лосский Николай Онуфриевич (1870—1965) — философ, проф. Петербургского ун-та. В 1922 г. выслан за границу 507, 549

Лось Иван Людвигович — приват-доцент славянской филологии Петербургского ун-та 116

Лужская Перета Александровна, жена В. В. Лужского 788, 803, 805, 813

Лужский (наст. фамилия Калужский) *Василий Васильевич* (1869—1931) — актер, режиссер, театр. педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1931), один из основателей и ведущих актеров Московского Художественного театра. 20, 771—772, 784, 805, 813

Льюис Джордж Генри (1817—1878) — англ. философ, последователь О. Конта 836, 840, 849

Любавский Матвей Кузьмич (1860—1936) — рус. историк, член АК (1922), проф. МГУ, акад. (1929) 656, 662—664, 776, 793—796, 799, 801—802, 814

Любовь Степановна см. Таганцева Л. С.

Любомиров Павел Григорьевич (1885—1935) — рус. историк, ученик С. Ф. Платонова и А. Е. Преснякова. В

1915—1917 гг. приват-доцент Петербургского ун-та, в 1917—1920 гг. проф. Томского, в 1920—1930 гг. Саратовского ун-тов. С 1931 г. работал в Москве 17, 686, 722, 735, 752, 754—755, 757, 779, 902

Людовик IX Святой (1215—1270) — король Франции с 1226 г. 713

Лютер Мартин (1483—1546) — нем. религиозный реформатор 306

Лявданский Ришард Карл — пом. аптекаря 324

Лядов Анатолий Константинович (1855—1914) — композитор и дирижер 838

Ляпунов Сергей Михайлович (1859—1924) — рус. композитор, пианист и дирижер 131

Мабли Габриэль Бонно де (1709—1785) — фр. историк и полит. мыслитель 103

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1844) — публицист, попечитель Казанского ун-та (1819—1826) 263—264, 303, 890

Мазепа Иван Степанович (1644—1709) — укр. гетман (с 1687) 776

Мазини Анджело (1844—1926) — итал. певец 182

Май Карл Иванович (1824—1895) — педагог, основатель и директор частной гимназии в Петербурге 186, 192—195, 198, 239, 379, 546

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт-лирик, переводчик «Слова о полку Игореве» 139

Майков Владимир Владимирович (1863—1942) — археолог, палеограф, библиограф, член АК с 1906 г., чл.-корр. АН (1925) 427—428, 435, 487, 894

Майков Леонид Николаевич (1839—1900) — филолог, пом. директора Публичной библиотеки (1882—1893), акад. (1891), вице-президент АН 43—46, 51—52, 102, 149—150, 167, 176, 316, 342, 358, 373, 419, 516, 882, 894

Майков Петр Михайлович — дядя М. А. Полиевктова 488, 616, 619, 622, 627, 759, 809

Макарий (1482—1563) — митрополит Московский, член Избранной рады Ивана Грозного 50, 866

Маклаков Николай Александрович (1871— 1918) — министр внутр. дел России (1912—1915) 769, 781—782

Маклакова (псевд. Нелидова) *Лидия Филипповна* (1851—1936) — беллетристика и публицистика 659

Маковский Александр Владимирович (1869—1924) — художник, педагог 205, 722, 820

Маковский Владимир Егорович (1846—1920) — художник-передвижник 37, 109, 838—839

Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — искусствовед, ред. журнала «Аполлон», мемуарист 722, 902

Максимов Василий Владимирович (1850—?) — директор департамента ж/д дел Министерства финансов (1892—1899) 307

Максимов Василий Максимович (1844—1911) — художник-передвижник 838

Мальчевский Антони (1793—1826) — польск. поэт, автор романтической поэмы «Мария» 477, 896

Мальчевский Яцек (1854—1929) — польск. художник, близкий к символизму 597—598

Мамонтов Савва Иванович (1841—1918) — промышленник и меценат, акционер ж/д и промышленных обществ. Разорился в 1899 307, 890, 898

Манасеин Николай Авксентьевич (1834—1895) — министр юстиции (1885—1894), сенатор 35, 54, 125

Манизер (урожд. Андерсен) *Александра Эдуардовна (Алека)* (1874—1947) — вторая жена Г. М. Манизера 281, 312, 393, 395, 397, 400—401, 414, 421, 433, 438, 444, 455, 502, 506, 511, 560, 645, 668, 738

Манизер Андрей Генрихович — сын Г. М. Манизера от второго брака 738

Манизер Генрих Генрихович (1889—1917) — этнограф, специалист по индейцам Бразилии, сотрудник Музея антропологии и этнографии АН, сын Г. М. Манизера 378, 385, 404, 408, 421, 495, 502, 514—515, 560, 571

Манизер Генрих Матвеевич (1847—1925) — художник, преподаватель училища Штиглица 20, 127, 135, 139, 152—153, 253, 257, 264, 268, 272, 276—278, 281, 299, 317, 320, 333—334, 337, 376, 379, 384—386, 390, 392—397, 399—401, 405—407, 414, 421—422, 433, 437—438, 440, 442, 444—445, 449, 455, 495, 501—502, 510—511, 514—515, 518, 528, 532, 542, 547, 560, 570—571, 581, 588, 612, 635, 637, 668, 690, 738

Манизер Матвей Генрихович (1891—1966) — скульптор, нар. художник СССР, действит. член Академии художеств СССР, лауреат Сталинских премий, сын Г. М. Манизера, автор надгробного памятника А. Е. Преснякова 141, 145, 385—386, 396—397, 421, 495, 502, 612, 637, 644, 738

Манизер Роберт Генрихович — сын Г. М. Манизера 141, 407, 502

Манизер Стелла Соломоновна (1862—1897) — первая жена Г. М. Манизера 139, 246—247, 250, 258, 384—386, 400, 421, 441, 566

Манн Генрих (1871—1950) — нем. писатель 670

Манн Томас (1875—1955) — нем. писатель 670

Мануйлов Александр Аполлонович (1861—1929) — экономист, проф. Московского ун-та, в 1908—1911 гг. его ректор. Уволен министром Кассо. Член кадетской партии, министр нар. просвещения Временного правительства. В 20-е гг. служил в советских учреждениях 610

Мария Николаевна, вел. княжна (1899—1918) — третья дочь Николая II 295, 890

Мария Сергеевна см. Гревс М. С.

Мария Федоровна (урожд. Луиза-Софья-Фредерика-Дагмара) (1847—1928) — императрица, жена Александра III 158, 181, 204, 235, 884

Маркевич Алексей Иванович (1847—1903) — историк, проф. Новороссийского ун-та 105

Марков Алексей Тарасьевич (1802—1878) — художник 820

Марков Андрей Андреевич (1856—1922) — математик, проф. Петербургского ун-та (1886), акад. (1896) 450

Марков Евгений Львович (1835—1903) — публицист и беллетрист, директор нар. училищ Таврической губ., земский деятель 52—53

Марков Лев Львович — зоолог, директор I тифлисской гимназии, брат Е. Л. Маркова 27, 49, 875

Марков (2-й) Николай Евгеньевич (1876—1945) — лидер Союза русского народа, депутат III и IV Гос. дум, сын Е. Л. Маркова 791

Марков Павел Александрович (1841—1913) — сенатор, товарищ министра юстиции (1883—1889) 234

Маркони Франческо (1855—1916) — итал. оперный певец (тенор) 88

Маркс Адольф Федорович (1838—1904) — петерб. издатель и книготорговец 408

Маркс Карл (1818—1883) — нем. философ, экономист, полит. деятель 130, 157, 439, 803

Марр Николай Яковлевич (1864—1934) — филолог и археолог-кавказовед, лингвист. Проф. Петербургского ун-та, акад. (1912) 800

Мартенс Федор Федорович (1845—1909) — дипломат, член совета министра иностр. дел, проф. междунар. права Петербургского ун-та, чл.-корр. АН (1908) 273

Матейко Ян (1838—1893) — польск. художник, автор ист. и батальных полотен 597—601, 872

Матильда см. Витте М. И.

Матисс Анри (1869—1954) — фр. художник 623, 899

Мейер-Грефе Юлиус (1867—1935) — нем. искусствовед 807, 811, 904

Мельгунов Сергей Петрович (1879—1964) — историк и обществ. деятель, ред. журнала «Голос минувшего». С 1922 г. за границей 663, 901

Мельников Иван Александрович (1835—1906) — певец Мариинского театра, оперный режиссер 60, 78, 823, 833

Мельников-Печерский Павел Иванович (1818—1883) — писатель, публицист 77

Менгден — возможно: *Менгден Владимир Михайлович*, барон, управляющий Департаментом экономии, член Гос. совета 581

Менье Константин (1831—1905) — бельгийский скульптор и живописец 644

Мередит Джордж (1828—1909) — англ. писатель 274

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — рус. писатель 273—275, 898

Месмахер Максимилиан Егорович (ум. 1906) — петерб. архитектор, директор Центрального училища технического рисования барона Штиглица 228, 551

Местр Жозеф де (1753—1821) — фр. полит. деятель и философ 854

Метерлинк Морис (1864—1949) — бельгийский драматург, представитель символизма 627, 634, 657, 900—901

Мещерская Мария Андреевна (1858—1915) — дочь княгини А. А. Оболенской, после смерти матери директриса основанной ею гимназии 671, 886

Мещерский Владимир Петрович, кн. (1839—1914) — камер-юнкер, издатель полит. и лит. еженедельника «Гражданин» 27, 58, 203, 792, 875

Микеланджело Буонаротти (1475—1564) — итал. скульптор, художник и поэт 600, 649, 726, 872

Микешин Михаил Осипович (1835—1896) — скульптор 154

Миклашевский Иван Николаевич (1858—1901) — экономист и статистик, проф. Петровской сельскохозяйственной академии, затем проф. Харьковского ун-та, препод. полит. экономии 129, 325, 461

Миллер Всеволод Федорович (1848—1913) — фольклорист, этнограф, историк литературы, проф. Московского ун-та, акад. (1911) 742

Миллер Орест Федорович (1833—1889) — литературовед, фольклорист и обществ. деятель, проф. Петербургского ун-та (1870—1887) 128, 745, 855, 881, 906

Мильман С. С. — советский историк, ученик М. Н. Покровского 815

Мильтон Джон (1608—1674) — англ. поэт 822

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк и полит. деятель. В 1886—1895 гг. приват-доцент Московского ун-та, затем жил за границей. С 1905 г. лидер партии кадетов. Министр иностр. дел Временного правительства. С 1919 г. в эмиграции в Париже 34, 37, 39—40, 66, 78, 80, 84, 140, 168, 170—171, 174—175, 177, 179, 206, 217, 263, 305—306, 308—310, 368, 456, 588, 689, 851, 858, 876—878, 881, 883—886, 888, 890—891, 897, 899, 906

Милюкова Анна Сергеевна (урожд. Смирнова) (1861—1935) — выпускница ВЖК в Москве, ученица В. О. Ключевского, жена П. Н. Милюкова 374

Милютин Дмитрий Алексеевич, гр. (1816—1912) — ген.-фельдмаршал, воен. министр (1861—1881), член Гос. совета, воен. историк 206

Минин Кузьма (ум. 1616) — нижегородский купец, организатор борьбы с поляками (1611—1612) 819

Минто Вильям (1845—1893) — англ. логик, автор популярного учебника «Дедуктивная и индуктивная логика», неоднократно изданного на рус. языке 515, 897

Мирбах Вильгельм, гр. (1871—1918) — с апреля 1918 г. германский посол в Москве. Убит 6 июля 1918 г. левым эсером Я. Г. Блюмкиным 798—799

Митрофанов Павел Павлович (1873—1917) — историк, специалист по истории Австрии XVIII в., приват-доцент Петербургского ун-та 745

Михаил Александрович, вел. кн. (1878—1918) — младший сын императора Александра III, наследник в 1899—1904 гг. 203

Михаил Александрович см. Полиевктов М. А.

Михаил Михайлович, вел. кн. (1861—1929) — дядя Николая II, выслан из России после заключения неравного брака. Умер в Англии 298, 425, 894

Михаил Федорович (1596—1645) — первый царь из династии Романовых (с 1613) 199, 733, 903

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — лит. критик, социолог и публицист, идеолог народничества 166, 752, 842, 850—851, 855, 857

Михалина Михайловна см. Кимонт М. М.

Михась см. Кимонт М. П.

Михельсон Мария Семеновна — директриса частной женской гимназии (Владимирский пр., д. 5) 739, 903

Мицкевич Адам (1798—1855) — польск. поэт, классик национальной литературы 116, 431, 477, 545, 599

Мишле Жюль (1798—1874) — фр. историк 103, 244

Модзалевский Борис Львович (1874—1928) — архивист, библиограф, литературовед, один из организаторов Пушкинского Дома, чл.-корр. АН (1918) 422

Моисей — в преданиях иудаизма и христианства — первый пророк Яхве, законодатель, религиозный и полит. вождь еврейского народа в период его исхода из Египта в Палестину (XII в. до н. э.) 864

Молоствов Николай Германович (1871—1910) — переводчик, публицист, сотрудник газеты «Биржевые ведомости» и журнала «Северный вестник» 451

Моне Клод (1840—1926) — фр. художник-импрессионист 623, 709—710, 899

Моно Габриэль (1844—1912) — фр. историк-медиевист, проф. Сорбонны 569

Монтескье Шарль Луи (1689—1755) — фр. философ и писатель 103, 902

Мопассан Ги де (1850—1893) — фр. писатель 483, 720

Мор Томас (1478—1535) англ. гуманист, лорд-канцлер 703

Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905) — рус. и укр. писатель 850

Морозов Савва Тимофеевич (1862—1905) — моск. фабрикант и меценат 173

Москвин Иван Михайлович (1874—1946) — актер Московского Художественного театра 20, 771—772

Мостович (ум. 1900) — родственник Ю. П. Пресняковой, управляющий ее наследственным имением в Гори 330—332, 337, 419

Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) — австр. композитор 452, 848

Мравина Евгения Константиновна (1868—1913) — рус. певица, артистка Мариинского театра 60, 91, 822—823, 833, 836

Музиль Николай Иванович (1840—1906) — актер Малого театра 36

Муне-Сюлли Жан (1841—1916) — фр. актер 232

Мункачи Михай (1846—1900) — венг. художник 826

Муравьев (Виленский) Михаил Николаевич (1796—1866) — ген. от инфантерии, министр гос. имуществ (1857—1861), виленский, ковенский и минский ген.-губернатор, командующий войсками Виленского округа (1863) 258

Муравьев Николай Валерианович, гр. (1850—1908) — министр юстиции (1894—1895), посол в Риме (1905—1908), член Комитета министров, гос. секретарь при Александре III 54, 125, 141, 163, 165—166, 175, 181, 289, 343, 473, 516, 528

Мурзанов Николай Алексеевич — секретарь Сенатского архива, организатор издания «История Правительствующего Сената» 681

Мурильо Бартоломе (1618—1682) — испанский художник 551

Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910) — юрист, проф. Московского ун-та, публицист, участник земских съездов, один из основателей партии кадетов, предс. I Государственной думы 304, 545

Мусатов см. Борисов-Мусатов В. Э.

Мусоргский Модест Петрович (1839—1881) — рус. композитор 28, 118—119, 564—565, 821, 838, 880, 898

Мусселиус Владимир Васильевич — секретарь совета училища Штиглица, сотрудник Русского исторического общества 422

Мутер Рихард (1860—1909) — нем. историк искусства 413, 894

Мякотин Венедикт Александрович (1867—1937) — историк, ученик Н. И. Кареева, публицист, один из лидеров нар. социалистов, с 1918 г. — проф. Софийского ун-та 232, 304

Надежда Николаевна см. Платонова Н. Н.

Назаревский Александр Васильевич — искусствовед, приват-доцент Московского ун-та, хранитель Музея изящных искусств в Москве 759

Наполеон I (1769—1721) — фр. полководец и гос. деятель, император (1804—1814) 848

Наталья Михайловна см. Полиевктова Н. М.

Наталья Павловна см. Чуйко Н. П.

Небогатов Николай Иванович (1849—1922) — контр-адмирал, командующий 3-й Тихоокеанской эскадрой во время русско-японской войны 525, 897

Неврев Николай Васильевич (1830—1904) — живописец-жанрист, близок передвижникам 838

Недзвецкая (в замужестве Самарина) *Ольга Конрадовна* (1887—1972) — историк, выпускница ВЖК. После революции преподавала иностр. языки в мед. вузах Ленинграда 772, 791

Незеленов Александр Ильич (1845—1896) — историк литературы, приват-доцент Петербургского ун-та 26, 419

Неклюдов Николай Александрович (1840—1896) — криминалист, товарищ гос. секретаря (1894) и министра внутр. дел (1895) 166

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943) — режиссер и драматург, основатель Московского Художественного театра 771

Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942) — художник 839

Нечаев Александр Павлович (1866—?) — минералог и географ, преподаватель Женского пед. ин-та 389, 391, 750—754, 757

Нечаев Василий Михайлович (1860—?) — юрист, проф. гражданского права Юрьевского ун-та и Петербургских ВЖК 236, 239, 243, 547, 659, 777, 790

Никитин Петр Васильевич (1849—1916) — филолог-классик, с 1888 г. — адъюнкт АН по греч. и римской словесности, с 1890 по 1897 г. ректор Петербургского ун-та, акад. (1892), вице-президент АН (1900) 86, 160, 255, 875

Никиш Артур (1855—1922) — нем. дирижер 413, 485

Николадзе Николай Яковлевич — педагог, обществ. деятель 653

Николаев Александр Сергеевич (1877—?) — историк-архивист, нач. архива Министерства нар. просвещения, с 1918 г. сотрудник Центрархива 792—793

Николай I (1796—1855) — росс. император с 1825 г. 5, 12, 273, 312, 342

Николай II (1868—1918) — росс. император 1894—1917 гг. 155, 157, 165, 170, 172, 204, 222, 257, 289—291, 412, 416—417, 435, 489, 498, 552, 728, 769, 782, 880, 882—884, 886, 896, 903

Николай Мартынович см. Штруп Н. М.

Николай Михайлович, вел. кн. (1859—1919) — ген. от инфантерии, историк, предс. Русского географического (1892—1917) и Русского исторического (1910—1917) обществ. Расстрелян большевиками 41, 779, 886

Николай Николаевич, вел. кн. (1856—1929) — командующий войсками Петербургского воен. округа (1905—1914), предс. Гос. совета обороны (1905—1908), верховный главнокомандующий (1914—1915). С 1919 г. в эмиграции 592—593

Николай Николаевич см. Палибин Н. Н.

Никольский Борис Владимирович (1870—1919) — юрист, литератор, полит. деятель, приват-доцент Петербургского ун-та, позднее проф. Юрьевского ун-та по кафедре римского права. Один из лидеров «Союза русского народа» 137, 140, 296, 487, 890

Никон (Никита Минов) (1605—1681) — патриарх Московский в 1652—1658 гг. 50, 626

Никонов — директор частной гимназии 507

Ницше Фридрих (1844—1900) — нем. философ 505—506, 872

Новацкий — дядя Ю. П. Пресняковой 233, 251, 259, 442, 449, 561

Новгородцев Павел Иванович (1866—1924) — юрист, проф. Московского ун-та 495, 896

Новомарьевский Василий Иванович — препод. словесности в I Тифлисской гимназии 849

Новомбергский Николай Яковлевич (1871—1949) — историк, автор работ о Московской Руси. В 1906—1919 гг. проф. юрид. ф-та Томского ун-та. В 1919—1930 гг. работал в эконом. учреждениях Омска и Новосибирска. В нач. 30-х гг. репрессирован за участие в правительстве Колчака. В последние годы жизни проф. Архангельского пед. ин-та 638, 642, 644

Новосельский Николай Александрович — член совета при министре финансов 176, 185, 193—196, 200, 202

Нольде Борис Эммануилович, барон (1876—1948) — юрист и историк, проф. междунар. права, советник МИД. После революции в эмиграции 734, 736, 740, 781

Нордау Макс (1849—1923) — австр. литератор, автор психолого-философских сочинений 37—38, 876

***О**боленская Александра Андреевна,* княгиня (1830—1890) — директриса частной женской гимназии в Петербурге 188, 191, 235—236, 239—240, 242, 250, 252, 254, 256—257, 263, 280, 285, 303—304, 332, 338, 376, 379, 381—383, 387, 391, 397—398, 418, 454, 488, 497, 499, 523, 536, 548, 567, 576, 614, 681, 886—887

Оболенский Иван Михайлович, кн. (1853—1910) — шталмейстер (1901), ген.-лейтенант (1903), херсонский (1897) и харьковский губернатор (1902), финляндский ген.-губернатор (1904—1905) 61, 516

Овербек Фридрих (1789—1869) — нем. живописец, основатель группы «назарейцев», объединения нем. художников-романтиков 826

Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920) — рус. литературовед, проф. Харьковского ун-та, почетный акад. (1907) 167, 175, 177, 183, 671, 881, 883

Ожешко Элиза (1841—1910) — польск. писательница 177, 181, 183, 884

Озерова Александра Сергеевна — фрейлина вел. княгини Ольги Федоровны 235

Олеарий Адам (1603—1671) — нем. путешественник, автор описания Московии 116

Олив (урожд. Колемина) *Мария Александровна* (1850—1938) (вдова кн. Лобанова-Ростовского). Ее дочери: Софья (1879—1975), Елизавета (1880—1909) 225—227, 397

Олив Сергей Васильевич (Вильгельмович) (1844—1909) — ген. от кавалерии (1907), в 1895—1898 гг. временно заведовал делами Гл. управления уделов, управлял делами ведомства императрицы Марии 225

Ольга Александровна, вел. княжна (1882—1960) — дочь императора Александра III, после 1917 г. в эмиграции 203

Ольга Антоновна см. Добиаш-Рождественская О. А.

Ольга Конрадовна см. Недзвецкая О. К.

Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934) — востоковед-индолог, акад. (1908), непременный секретарь АН (1904—1929) 241, 256, 378, 486, 816

Ольденбургский Александр Петрович, принц (1844—1932) — член Гос. совета, попечитель Училища правоведения и Института экспериментальной медицины. После 1917 г. в эмиграции 118, 474, 665, 900

Ону Александр Михайлович (1865—1935) — историк-новист, приват-доцент Петербургского ун-та, проф. Александровского лицея. После 1917 г. в эмиграции 498

Орбели Иосиф Абгарович (1887—1961) — археолог и филолог-кавказовед, акад. (1935) 816

Оржевская Наталья Ивановна — жена П. В. Оржевского 107

Оржевский Петр Васильевич (1839—1897) — ген.-лейтенант, ген.-губернатор Виленской, Ковенской и Гродненской губерний (1893—1897) 107, 165

Оссовский Александр Вячеславович (1871—1957) — музыковед, муз. критик, проф. Петербургской консерватории (1916) 259, 276, 287, 383, 430, 452—453, 481, 495, 671

Остерман Андрей Иванович (1686—1747) — член Верховного Тайного совета (1725—1730), канцлер (1734—1740) 326

Островский Михаил Николаевич (1827—1901) — министр гос. имуществ (1881—1892), предс. Департамента законов Гос. совета (1893—1899), член Комитета финансов (1894) 91, 319, 339, 453, 475

Острогорский Александр Яковлевич (1868—1908) — педагог, с 1899 г. директор Тенишевского училища в Петербурге, издатель журнала «Образование» 287, 488—489, 501

Отай — доцент Лилльского ун-та, русист 47

Оттокар Николай Петрович (1884—1957) — историк-медиевист, ученик И. М. Гревса. Приват-доцент Петербургского ун-та, с 1917 г. проф. Пермского ун-та. С 1922 г. за границей, проф. во Флоренции 652

Павел I (1754—1801) — росс. император с 1796 г. 273, 312, 877

Павел Александрович, вел. кн. (1860—1919) — младший сын Александра II, ген. от кавалерии, командир 1 Гвардейской кавалерийской дивизии (1896), ген.-инспектор гвардии (1916—1917). Расстрелян большевиками 222, 886

Павинский Адольф (1840—1896) — польск. историк-медиевист, проф. Варшавского ун-та 105, 198, 274, 885

Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869—1908) — рус. историк, выпускник Петербургского ун-та. Архивариус Гос. архива. Автор оригинальной теории рус. феодализма 5, 10, 12, 554, 585, 614—616, 623—624, 640, 645—646, 653, 659—660, 727, 900—901

Павловская (урожд. Берман) *Эмилия Карловна* (1853—1935) — оперная певица, в 1884—1888 гг. солистка Мариинского театра. Муз. педагог 91

Палашковский — инженер, автор утопических техн. проектов, в том числе проекта нефтепровода через Персию (1891) 197, 370, 885

Палибин Николай Николаевич (Коля) — шурин А. Е. Преснякова, муж его сестры Надежды Евгеньевны 24, 82, 91, 99—100, 144, 168, 188, 230, 271, 273, 298, 300, 315, 341, 348, 451, 462, 466, 480, 492, 547, 559, 630, 631, 633, 684, 875

Палладий (Павел Иванович Раев) (1827—1898) — митрополит Петербургский и Ладожский (1892—1898) 87, 145

Палладин Владимир Иванович (1859—1922) — ботаник, препод. Петербургского ун-та, акад. (1914) 524

Пальм Сергей Александрович (1850—1915) — рус. артист оперетты, антрепренер, режиссер петерб. Малого театра 96

Панина Софья Владимировна (1871—1957) — обществ. деятельница, занималась благотворительностью, член ЦК кадетской партии (1917), министр гос. призрения в кабинете Временного правительства. С 1920 г. в эмиграции 727, 899

Панченко Борис Амфианович (1872—1920) — историк-византинист, выпускник Петербургского ун-та, позднее препод. Юрьевского ун-та 161, 165, 206, 317, 364, 378, 388, 399, 410, 427

Папкова Ольга Александровна — начальница гимназии при Женском пед. ин-те 418, 499

Пергамент Михаил Яковлевич (1866—1932) — юрист, проф. гражданского права Петербургского ун-та, кадет. В 1911 г. министром нар. просвещения принужден уйти из ун-та. Восстановлен после Февральской революции 652, 678, 903

Перета Александровна см. Лужская П. А.

Перетц Владимир Николаевич (1870—1935) — филолог-русист, препод. Киевского, затем Петербургского ун-тов, акад. (1914) 110

Перикл (ок. 490—429 до н. э.) — афинский полит. деятель 265, 269, 853

Перуджино (Пьетро ди Кристофоро Вануччи) (ок. 1446—1523) — итал. живописец эпохи Возрождения, учитель Рафаэля 377

Петр I (1672—1725) — рус. царь (1682—1721), император (1721—1725) 116, 128, 179, 197, 205, 207, 228, 262, 266—267, 290, 498—499, 570, 578, 680, 802, 811, 862

Петр II (1715—1730) — росс. император с 1727 г. 273

Петр Викентьевич см. Кимонт П. В.

Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931) — юрист, проф. Петербургского ун-та, кадет. В 1918 г. репатриировался в Польшу 675

Петрарка Франческо (1304—1374) — итал. поэт-гуманист эпохи Возрождения 872

Петров Григорий Спиридонович (1868—1925) — священник, проповедник и публицист. В 1893—1903 гг. настоятель храма Александра Невского в Михайловской артиллерийской академии и училище, законоучитель в гимназии Оболенской и Женском пед. ин-те, проф. богословия Политехнического ин-та. Член II Гос. думы, христианский социалист. Лишен сана за полит. деятельность, умер в эмиграции 296, 304, 406, 414, 427, 465, 467, 494, 498, 500, 506—508, 889—890

Петров Дмитрий Константинович (1872—1925) — филолог-романист, проф. Петербургского ун-та. Чл.-корр. АН (1922) 271, 519, 575, 720

Петров Михаил Назарович (1826—1887) — проф. всеобщей истории Харьковского ун-та 54, 90, 877

Петров Николай Павлович (1836—1920) — воен. инженер, проф. Петербургского технологического ин-та, товарищ министра путей сообщения (1892—1895), член. Гос. совета 44, 167

Петрушевский Дмитрий Моисеевич (1863—1942) — историк-медиевист, проф. Московского ун-та, акад. (1929) 795, 800, 803, 812, 815

Петухова (Митрофанова) Вера Викторовна (1874—1942) — участница кружка Г. В. Форстена, преподаватель лат. языка на ВЖК, после революции в Петроградском (Ленинградском) ун-те 200, 203, 372, 374, 391, 575, 666, 745, 899, 903

Печковский Владимир Николаевич (1846—?) — инженер путей сообщения на Николаевско-Харьковской жел. дороге 156

Пий X (1835—1914) — римский папа с 1903 г. 704

Пикар Альфонс — парижский книготорговец 709

Пирлинг Павел (1840—1922) — фр. историк, член Ордена иезуитов 496

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — лит. критик 850—851

Писсарро Камиль (1830—1903) — фр. художник импрессионист 709—710

Пичета Владимир Иванович (1878—1948) — рус. историк, славист. Профессор Московского и Минского ун-тов, акад. (1946) 663, 901

Платон (ок. 428—348 до н. э.) — древнегреч. философ 266, 414, 888

Платонов Михаил Сергеевич (1899—1942) — сын С. Ф. Платонова, впоследствии проф. химии 302, 446

Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — рус. историк, учитель А. Е. Преснякова. Проф. Петербургского ун-та (с 1890) и ВЖК, директор Женского пед. ин-та, акад. (1920) 3—5, 9, 11, 14, 17, 26—28, 34—37, 41—52, 54—60, 62, 64—70, 72, 77, 79—84, 88—89, 91—93, 96—97, 99—107, 110, 112, 114, 116, 119, 121—124, 126, 128—129, 131—135, 137, 139—140, 142, 144—145, 147—154, 156—157, 159—160, 162, 164—167, 169, 171—179, 183—188, 191, 196—200, 202—204, 208—210, 215—218, 220, 223—224, 228, 230—233, 235, 243—245, 248, 250, 254, 257—258, 264, 268—269, 279, 281—283, 291, 293, 300, 302, 305—308, 314—315, 317, 321—322, 325, 332—333, 338, 340, 342, 351—352, 358, 362—365, 367, 369, 372, 374—375, 378—380, 384, 387, 391—393, 399, 401, 405—407, 412—413, 426, 434, 437—438, 440, 446—447, 451—452, 454, 461, 469, 478, 480, 489, 491, 495—507, 510—511, 514, 517—520, 523—524, 526—527, 532, 534, 537, 539—540, 542—544, 546, 551, 561, 563, 567—570, 573—574, 576—583, 585, 587, 589, 591, 595, 612—613, 615, 636, 642, 645, 647, 651, 653—654, 660, 666, 670—671, 675, 677—679, 684—685, 689, 716, 724, 727—728, 733—737, 739—745, 769—773, 775, 779—780, 789—790, 792—799, 811—816, 845, 870, 880—882, 884—885, 887, 891—893, 895, 896—897, 900, 903, 905

Платонова (урожд. Шамонина) *Надежда Николаевна* (1861/62—1928) — жена С. Ф. Платонова 168, 199, 299, 369, 374, 392—393, 407, 478, 496, 505, 508, 520, 532, 544, 579, 589, 595, 727, 729, 799

Плеве Вячеслав Константинович фон (1846—1904) — директор департамента полиции (с 1881), сенатор, с 1899 г. — министр-секретарь Вел. княжества Финляндского, с 1902 г. — министр внутр. дел и шеф отдельного корпуса жандармов. Убит эсером Е. С. Созоновым 153, 500, 513, 515, 897

Плеске Эдуард Дмитриевич (1852—1904) — временно управляющий департаментом окладных сборов (1888), с 1894 г. — управляющий Гос. банком, в 1903—1904 гг. — управляющий Министерством финансов, член Гос. совета. Пианист, член дирекции Моск. отделения Имп. Русского муз. общества 192—193, 207, 489, 507

Плеханов Георгий Валентинович (1857—1918) (псевдоним Н. Бельтов) — теоретик марксизма, философ, обществ. деятель 166, 883

Побединский Михаил Владимирович — учредитель Высших коммерческих курсов в Петербурге (1906) 538, 613—614, 649

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — проф. римского права Московского ун-та, обер-прокурор Святейшего Синода (1880—1905), идеолог консервативного направления 153, 206, 289, 343, 473, 889

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — рус. историк и писатель, проф. Московского ун-та, акад. (1841) 56, 77, 855

Пожарский Дмитрий Михайлович, кн. (1578—1642) — руководитель борьбы с поляками (1611—1612), 819

Покровский Владимир Александрович (1871—1931) — архитектор 657, 665

Покровский Иосиф Александрович (1868—1920) — проф. римского права Петербургского ун-та, кадет. В 1911 г. Министерством нар. просвещения принужден покинуть ун-т. Проф. Московского коммерческого ин-та 555, 569, 611, 652, 734, 804—805, 813, 903

Покровский Михаил Николаевич (1868—1932) — историк и коммунистический деятель. С 1918 г. заместитель наркома просвещения 4, 51, 815, 904

Полежаев Александр Иванович (1804—1838) — рус. поэт 273

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927) — художник 474, 573, 820, 839, 867

Ползикова Леля — подруга Ю. П. Пресняковой, инспектриса в Павловском ин-те (с 1900) 332, 725, 876

Полиевктов Михаил Александрович (1872—1942) — историк, ученик С. Ф. Платонова и Г. В. Форстена. Друг А. Е. Преснякова. Приват-доцент Петербургского ун-та, проф. ВЖК. В 1917—1920 гг. — зав. секцией ЕГАФ, проф. Тбилисского ун-та (1920—1924), работал в Гос. архиве Грузии (1925—1934) 135, 165, 189, 192—193, 198, 239, 241—242, 250, 256, 268, 271, 275, 280—281, 287, 304, 317—318, 320, 324, 326, 334—335, 342—343, 347—348, 355, 361, 365, 372—374, 378—379, 382—383, 389—391, 397, 399, 401, 403, 405—413, 417, 419, 423, 428, 430, 433, 435, 440, 452—461, 464—466, 469—471, 474—478, 480—481, 486, 493, 498—499, 502, 508—509, 518—519, 524, 526—528, 538, 542, 546—549, 552, 554, 562—563, 566—570, 576, 581, 584, 586, 591, 612—613, 616—620, 622, 625, 627, 630, 634—635, 637, 639, 643, 645, 649, 652—655, 667, 670—671, 673—674, 676, 678, 680—683, 709, 712, 714, 716—718, 720, 726, 728—729, 732, 738, 740, 745, 758, 760, 767, 769, 785, 790, 796, 801, 809—810, 891, 893, 895, 902, 904

Полиевктова Наталья Михайловна — мать М. А. Полиевктова 324, 459, 460—461, 466—467, 470, 616—617, 622, 625, 631, 667, 670, 758—759, 761

Полиевктова-Николадзе Русудана Николаевна — дочь известного грузинского обществ. деятеля, публициста Н. Я. Николадзе, жена М. А. Полиевктова. В 1930-х гг. зав. кафедрой химии Грузинского политехнического ин-та 759

Половцев Валериан Викторович (1862—1918) — ботаник, приват-доцент Женского пед. ин-та, приват-доцент Петербургского ун-та, Технологического ин-та, впоследствии приват-доцент кафедры физиологии растений Одесского ун-та 367, 418, 436—437, 448, 517, 519, 523—524, 526, 531, 538—541, 552, 651—652, 776

Половцева Варвара Николаевна — жена В. В. Половцева 308, 499, 651, 775

Половцов Александр Александрович (1832—1909) — гос. деятель, гос. секретарь (1883), почетный член Петербургской АН (1884), организатор и предс. Русского исторического общества, издатель «Русского биографического словаря» 228, 277, 399, 422

Полонская (урожд. Рюльман) *Жозефина Антоновна* (1844—1920) — вторая жена Я. П. Полонского (с 1866), скульптор, автор бюстов Полонского, Чехова, Фета и др. 40

Полонский Александр Яковлевич (*Аля*) (1868—1934) — чиновник Министерства финансов, друг А. Е. Преснякова 47, 73, 80, 89, 104, 115, 128, 132, 148, 165, 180—181, 183—184, 187—188, 191, 193—194, 196, 208—209, 217, 223, 234, 249, 271, 283—284, 311, 323—324, 338, 358, 361, 364, 366, 371, 389, 392, 399, 440, 456—459, 463, 465, 478, 494, 617—618, 620, 655—656, 659—660, 662—664, 689, 759, 760, 784, 786—788, 796, 801, 807—808, 881

Полонский Яков Петрович (1819—1898) — рус. поэт 73, 250, 282—284, 384, 877—878, 888

Поль Винценти (1807—1872) — польск. поэт, участник восстания 1830 г. 608

Помяловский Иван Васильевич (1843—1906) — филолог-классик, проф. Петербургского ун-та (1873), декан ист.-филол. ф-та (1888—1897), член Уч. комитета при Министерстве нар. просвещения, член АК, чл.-корр. АН (1890) 27, 255, 258, 875

Понятовский Станислав Август (1732—1798) — польск. король (1764—1795) 344

Попова Ольга Николаевна (1849—1907) — издательница, переводчица, театр. критик 470

Пороховщиков Эмиль Людвигович — владелец типографии 170

Поссе Владимир Александрович (1864—1940) — публицист, издатель, обществ. деятель 313, 470, 895—896

Поссе Константин Александрович (1847—1928) — математик, проф. Петербургского ун-та, ВЖК и Женского пед. ин-та 481

Постников Петр Алексеевич (?—1900) — полковник артиллерии, брат М. А. Постниковой 328, 463, 467

Постников Федор Алексеевич — ген. казачьих войск, брат М. А. Постниковой 365, 463

Постникова Мария Алексеевна — выпускница ВЖК, участница кружка Г. В. Форстена, учительница в Хабаровске (с 1899) 119, 188, 217, 271, 280, 328, 369—374, 376, 391, 441, 456, 463, 467, 478, 527, 531

Потанин Григорий Николаевич (1835—1920) — географ, этнограф, исследователь Сибири 274

Потебня Александр Афанасьевич (1835—1891) — филолог и лингвист, проф. Харьковского ун-та, чл.-корр. АН (1875) 121, 167, 274, 278, 888

Потемкин Григорий Александрович, кн. таврический (1739—1791) — ген.-фельдмаршал, гос. и воен. деятель, фаворит Екатерины II 206

Потехин Александр Антипович (1829—1908) — рус. писатель 319

Потканьский Кароль (1861—1907) — польск. историк-медиевист, проф. Ягеллонского ун-та в Кракове 606

Пранцен Луиза — прислуга в доме Пресняковых 297, 312, 410, 412, 437, 439—440, 442, 444—445, 565, 570, 681

Пресняков Александр Александрович (Аля) (1902—1953) — сын А. Е. Преснякова, с 20-х гг. режиссер киностудии «Ленфильм», позднее работал на Ленинградской студии научно-популярных фильмов 348—349, 501, 561, 589, 600, 623, 664, 666—667, 686, 760, 772, 789, 792, 811, 813

Пресняков Вениамин (Бэнусь) (1900—1903) — сын А. Е. Преснякова 335—336, 338, 340, 342, 344—346, 464, 466, 468, 483, 486, 499, 892, 896

Пресняков Евгений Александрович (Гутик) (1897—1962) — сын А. Е. Преснякова. Геолог, в 1926 г. окончил Горный ин-т, в 1932—1937 гг. заведовал кафедрой геологии Иркутского ун-та, в 1944—1952 гг. — зав. кафедрой геологии и декан горного ф-та Дальневосточного Политехнического ин-та во Владивостоке 21, 261, 266, 267, 272, 276—277, 283, 285, 287, 291—292, 295—299, 304, 306—310, 312, 314, 316—317, 319—320, 322—323, 329, 331—332, 334—337, 339—340, 342, 345—346, 348—349, 407—408, 411, 416, 420—422, 432, 440, 443, 446, 449, 455, 462, 464, 472, 483, 495, 512, 520, 541, 551, 553, 570, 584, 592, 599, 613, 623, 644, 654, 664, 666—668, 673—675, 680—681, 686, 689, 712, 720, 723—724, 726, 738, 740—741, 748, 770—771, 773, 775, 778, 784—785, 788, 792, 800, 807, 813

Пресняков Евгений Львович (1840—1916) — отец А. Е. Преснякова, инженер путей сообщения. В 1883—1890 гг. управляющий Закавказской жел. дорогой, в 1891—1900 гг. — зам. начальника Курско-Харьковско-Азовской (затем соединенной Курско-Харьковско-Севастопольской) дороги, в 1901—1909 гг. — член Комитета управления жел. дорогами при Министерстве путей сообщения 8, 19, 24—25, 29, 39, 49, 55, 67, 74, 86, 89, 93, 95, 100—101, 108, 115, 118, 123, 125—126, 140, 146, 155—156, 159, 161, 167—169, 179, 182, 189, 191, 194, 207, 210—212, 221, 229, 235, 241, 244, 251, 252—255, 257, 259, 261—262, 264, 266—267, 277—278, 283, 285—286, 296—298, 307, 317, 319, 323—326, 328, 330—332, 334, 341—343, 346—348, 355, 361, 365, 367, 370, 386, 390, 392, 397—398, 415—418, 453—454, 462, 467—468, 471—472, 478, 528—530, 536, 538—539, 543—544, 551, 553—554, 562, 592, 625—626, 637—638, 647, 653, 666, 671, 678, 681, 684, 708, 737, 739—740, 780, 875—876, 879, 883, 886—887, 891—892, 896, 898

Пресняков Петр (Путик) (апр. 1896—март 1897) — сын А. Е. Преснякова 212, 217, 219—221, 223, 226—229, 231, 233, 235—238, 241, 323, 360, 365, 504

Пресняков Ярослав Александрович (Слава) (1904—?) — сын А. Е. Преснякова, актер нар. театров. В первой половине 30-х гг. работал в драматических театрах в Орехово-Зуеве и Дмитрове 348—349, 541, 578, 589—600, 625, 640, 667, 688, 760, 807, 811, 899

Преснякова Евгения Львовна — сестра Е. Л. Преснякова 251

Преснякова (в замужестве Ефремова) *Екатерина Евгеньевна (Катя)* (1864—не позднее 1936) — сестра А. Е. Преснякова 19, 26, 28, 30, 32, 56, 73, 85—88, 95, 125, 132, 135, 146, 154, 164, 167, 189, 192, 194, 202, 207, 209, 211—214, 236, 251—252, 257, 279, 292, 320, 332, 337, 354, 360, 395, 397—398, 404, 409, 413, 416, 437, 443, 450, 454, 478, 480—481, 484, 512, 528—529, 875

Преснякова (в первом браке Карпович, во втором Ямпольская) *Мария Евгеньевна (Маня)* (1867—не позднее 1936) — сестра А. Е. Преснякова. Жила в Москве 19, 40—41, 85, 109, 117, 123, 143, 191, 278—279, 307, 314—315, 319, 326—328, 342, 347, 349, 411, 413, 437, 443—444, 447, 449—450, 455, 471—472, 475—476, 479, 483, 512, 516, 528—530, 548, 552—553, 558—559, 562—568, 573, 581, 591, 653, 666, 677, 683—684, 725, 735, 737, 790, 799, 880

Преснякова (урожд. Лопатина) *Мария Пафнутьевна* (1842—1905) — мать А. Е. Преснякова 8, 14, 18—20, 355, 361, 365, 370, 395, 411, 421—424, 439—440, 444—446, 459, 462, 466—468, 472—473, 478, 482, 486—489, 492, 495—496, 500—501, 508, 510, 513, 518, 523, 527—529, 887, 892, 897—898

Преснякова (в замужестве Палибина) Надежда Евгеньевна (Надя, Дина) (1865—после 1936) — сестра А. Е. Преснякова, в 1930-х гг. жила в Москве 19, 24, 79, 94, 100, 213, 217, 229, 257, 315, 327, 347, 451, 462, 466, 475, 480, 513, 529, 547, 630—633, 636, 653, 681, 683, 786, 875

Преснякова Софья Львовна — сестра Е. Л. Преснякова 476, 528

Преснякова (урожд. Кимонт) *Юлия Петровна* (1870—1947) — жена А. Е. Преснякова 8, 14, 21—22, 30, 33, 48, 52, 56, 65, 67, 73, 75, 78—79, 81—82, 84—85, 87—89, 95, 97—98, 118, 121, 127, 132, 139, 141—144, 148—153, 156, 158, 163—164, 166—167, 169, 176—177, 181—184, 188—190, 192—193, 198—203, 205, 208—209, 211—214, 216—220, 223—229, 231—238, 240—243, 244—246, 248—251, 255—258, 260—261, 266, 268—269, 272, 277, 279, 281—282, 285—287, 291—297, 301—302, 304, 306—309, 311, 314, 316—317, 319—321, 323, 326—332, 335, 337, 339—349, 865, 876—877, 884, 892, 898, 902, 907

Приселков Михаил Дмитриевич (1881—1941) — рус. историк, специалист по летописям, проф. Петербургского ун-та, позднее ЛГУ 734, 805, 904

Протасов Николай Александрович (1798—1855) — ген.-лейтенант, ген.-адъютант, обер-прокурор Св. Синода (с 1836), член Гл. управления цензуры 263, 888

Протасов-Бахметьев Николай Алексеевич, гр. — (1834—1907) ген.-адъютант, главноуправляющий СЕИВК по учреждению императрицы Марии (1890—1906), член Гос. совета 202, 498—499

Протопопов Дмитрий Дмитриевич (1864—1918) — общественно-полит. деятель, кадет. В 1912—1913 гг. издатель газеты «Русская молва» 727, 768, 903

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — фр. социалистический мыслитель 850

Прянишников Иван Петрович — художник, брат Ип. П. Прянишникова 40

Прянишников Илларион Михайлович (1840—1894) — художник-передвижник 820, 833, 839

Прянишников Ипполит Петрович (1847—1921) — певец, режиссер, муз. педагог 20, 28, 40, 48, 53, 88, 91—92, 94, 96, 102—104, 111, 129, 146, 792, 875, 877

Прянишникова Софья Николаевна — первая жена Ип. П. Прянишникова 44, 49, 91—92, 94

Прянишникова Наталья Ипполитовна — дочь Ип. П. Прянишникова 40, 44, 48, 53, 88, 102, 104, 118—120, 135, 139, 146

Пузино Иван Владимирович (1888—после 1960) — историк, специалист по Возрождению, ученик Г. В. Форстена. С 1913 г. приват-доцент Петербургского ун-та. После 1920 г. в эмиграции 766—767, 903

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — полит. деятель, член II, III, IV Гос. дум, лидер крайне правых 782

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — рус. писатель 84, 137, 259, 274, 295, 318, 428, 433, 435, 437—438, 440, 564, 628, 685, 722, 856, 858, 872—873, 878, 890, 894, 906

Пушкина (урожд. Гончарова) *Наталья Николаевна* (1812—1863) — жена А. С. Пушкина 438

Пушковский — препод. Женских пед. курсов 389

Пшибышевский Станислав (1868—1927) — польск. писатель-модернист 514

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — историк обществ. мысли, рус. и зарубежной литературы и фольклора, акад. (1898) 210, 273—274, 282, 849—850, 854—855, 888

Пьеро ди Козимо (1462—1521) — итал. художник 731

Пюви де Шаванн Пьер (1824—1898) — фр. художник-монументалист 643

Радищев Александр Николаевич (1749—1802) — рус. писатель и мыслитель 587, 751

Радлов Эрнст Львович (1854—1928) — философ, ред. ЖМНП, чл.-корр. АН (1920) 263, 274

Раев Николай Павлович (1856—1919) — директор петерб. ВЖК (1895—1905), член совета министра нар. просвещения 145, 186, 291, 293, 388, 413

Раевский Александр Сергеевич (1871—?) — историк, специалист по истории древней Руси 419—420, 429, 439, 581, 676

Разин Степан Тимофеевич — предводитель казачьего восстания 1669—1671 гг. 199

Рамбо Альфред (1842—1905) — фр. историк 47

Ранке Леопольд фон (1795—1886) — нем. историк, основоположник новой ист. школы, акад. 113, 133

Расин Жан (1639—1699) — фр. драматург, поэт, представитель классицизма. С 1677 г. королевский историограф 830, 905

Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (1700—1771) — рус. архитектор итал. происхождения 626, 808

Ратьков-Рожнов Владимир Александрович (1834—1912) — петерб. городской голова 518

Рафалович Федор — глава банкирского дома в Одессе 91

Рафаэль Санти (1483—1520) — итал. художник 85, 408, 561, 599, 705, 878

Рашевский Иван Федорович — директор Женских пед. курсов 197, 209, 211, 215, 236—237, 373

Регель Эдуард Людвигович (1825—1898) — ботаник, директор Ботанического сада в Петербурге 204

Регер Макс (1873—1916) — нем. композитор и органист 634, 824

Рейденауер — пианист 824

Реймонт Владислав (1867—1925) — польск. писатель, автор реалистических романов 512, 517, 897

Рейн Оскар Федорович — ген.-майор, владелец дома Мурузи 144, 881

Рембовский Александр (1847—1906) — польск. историк, библиотекарь в Варшаве 345

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский художник 554, 556, 599, 647, 658, 688, 696, 705, 726, 762—763

Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — фр. историк, востоковед, философ, акад. 54—55, 821, 877

Ренкуль Николай Амандович, барон — начальник Курско-Харьковско-Севастопольской жел. дороги в 1890-х гг., сослуживец А. Е. Преснякова 167

Рено Морис (1861—1933) — фр. оперный певец 821

Репин Илья Ефимович (1844—1930) — рус. художник 154, 159, 187, 205, 376, 474, 661, 838—839

Рерих Николай Константинович (1874—1947) — рус. художник, с 20-х гг. жил в Индии 665, 712

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908) — рус. композитор 28, 51, 53, 129, 148, 156, 169, 184, 206, 242, 256, 259, 341, 375, 384, 630, 821—822, 835—836, 838, 840, 843, 875, 877, 880, 882—883, 885—887, 898—899, 905—906

Рихтер Александр Александрович (1837—1898) — директор департамента Министерства финансов 181

Ришелье Арман де (1585— 1642) — кардинал, фр. гос. деятель 113, 115

Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895) — юрист, гос. деятель, историк, искусствовед, сенатор 274

Рогов Алексей Петрович — педагог, препод. в I Мариинском женском училище, директор школ Патриотического общества 414, 444

Роден Огюст (1840—1917) — фр. скульптор 696, 705, 707

Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924) — полит. деятель, один из лидеров партии октябристов. В 1911—1917 гг. предс. Гос. думы 782

Родосский Алексей Степанович — библиотекарь Духовной академии 47

Рождественский Василий Гаврилович — протоиерей, проф. богословия в Петербургском ун-те, отец С. В. Рождественского 199

Рождественский Сергей Васильевич (1869—1934) — рус. историк, ученик С. Ф. Платонова. Приват-доцент, позднее проф. Петербургского ун-та. Чл.-корр. АН (1920). Умер в ссылке в Томске, где находился с 1931 г. 34, 36, 92, 124, 128, 168, 178, 197—198, 201, 203, 208, 210—212, 228, 243, 304, 308, 316, 378—380, 382, 415, 418—419, 428, 436—437, 439, 498, 503, 521, 600, 642, 651, 655, 665, 667, 678, 729, 736, 775, 800, 887, 895

Рожественский Зиновий Петрович (1848—1909) — вице-адмирал и ген.-адъютант (1904), командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой, разбитой при Цусиме. После возвращения из плена (1906) в отставке 525—526, 897

Рожков Николай Александрович (1868—1927) — историк, выпускник Московского ун-та, меньшевик 813

Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — рус. писатель и мыслитель 534

Розенберг Александр Михайлович (1900—1955) — историк-медиевист, доцент, позднее проф. ЛГПИ им. Герцена 807

Романов Борис Александрович (1889—1957) — рус. историк, ученик А. Е. Преснякова. В 1918—1928 гг. сотрудник Центрархива, в 1928—1929 гг. ученый секретарь ЛО Института истории РАНИОН, возглавляемого Пресняковым. В 1930—1933 гг. в тюрьме и лагере. С 1944 г. сотрудник ЛОИИ, одновременно до 1951 г. проф. ЛГУ 4, 5, 8, 17, 21, 612, 650, 654, 671, 677, 679, 684, 686, 689, 719—720, 722, 732, 739, 743, 752, 761, 768, 776, 802—806, 813, 815, 876, 899, 902—903, 905

Романов Николай Ильич (1867—1948) — искусствовед, хранитель картинной галереи Румянцевского музея в Москве 619, 632, 636

Романов Федор Никитич см. Филарет

Рооп Маргарита Феликсовна — преподавательница физики 808, 810—812

Рооп Мария Феликсовна — обществ. деятельница 808, 810, 905

Ропшин см. Савинков Б. В.

Россетти Данте Габриэль (1828—1882) — англ. художник-прерафаэлит и поэт 408

Росси Эрнесто (1827—1896) — итал. актер, прославился в ролях шекспировских пьес. В России гастролировал в 1877, 1878, 1890, 1895, 1896 и др. годы 841, 843

Россов Николай Дмитриевич — член Саратовской губернской земской управы 752—753, 756—758

Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952) — историк античности, проф.

Петербургского ун-та с 1901 г. Акад. (1917). После революции в эмиграции, проф. в США 509, 652, 739, 742

Ростовцева Софья Михайловна (1880—1963) — жена М. И. Ростовцева 652

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — пианист, композитор, дирижер, педагог и музыкально-обществ. деятель 31—32, 823—824, 835, 843, 848, 906

Руднев Андрей Дмитриевич (1878—1958) — монголист, приват-доцент Петербургского ун-та 720, 730

Рузвельт Теодор (1858—1919) — президент США (1901—1909) 348, 892

Рунич Дмитрий Павлович (1778—1860) — попечитель Петербургского ун-та (1821—1826), известный обскурант 263, 303, 890

Руссо Жан Жак (1712—1778) — фр. писатель и философ 103, 854, 902

Русудана см. Полиевктова-Николадзе Р. Н.

Рухлов Сергей Васильевич (1852—1918) — министр путей сообщения в 1909—1915 гг. 718

Рыбаков Константин Николаевич (1856—1916) — актер Московского Малого театра 36

Рыдель Люциан (1870—1918) — польск. поэт и драматург 601

Рязанов (Гольдендах) Давид Борисович (1870—1938) — деятель рев. движения и историк. В 1918—1920 гг. зав. Центрархивом, в 1920—1931 гг. директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Акад. (1929). В 1931 г. смещен со всех должностей и выслан. В 1938 г. расстрелян 793—797, 800—803, 810, 904

Сабингус Давид Юрьевич — препод. истории и географии 1-й тифлисской гимназии, в 1890-х гг. владелец фотомастерской в Петербурге 135, 254, 390

Савва Владимир Иванович (1865—1920) — рус. историк, доцент Харьковского ун-та 663

Савина Мария Гавриловна (1854—1915) — рус. актриса, ведущая артистка Александринского театра, предс. Русского театр. общества 29, 319, 735

Савинков Борис Викторович (лит. псевдоним Ропшин) (1879—1925) — один из руководителей Боевой организации партии эсеров, автор романов 627, 900

Савицкий Константин Аполонович (1844—1905) — художник-передвижник 839

Савич Сергей Евгеньевич (1864—?) — математик, препод. Женского пед. ин-та 524, 675

Сазонов Сергей Иванович — учитель-естественник, преподавал в частных гимназиях Петербурга, Женском пед. ин-те 503, 509, 517, 519, 530, 538—540, 551, 556, 559, 567, 577, 579—580, 583—584, 586, 589—590, 594, 597, 611, 615—616, 642, 652—653, 687—688, 709, 712, 734—735, 743, 745, 776

Саккетти Ливерий Антонович (1852—1916) — проф. эстетики и истории музыки Петербургской консерватории, сотрудник Публичной библиотеки 781

Сакулин Павел Никитич (1868—1930) — литературовед, проф. Московского ун-та, акад. (1929) 769, 773, 789

Салов Василий Васильевич (1839—1909) — директор Департамента жел. дорог Министерства путей сообщения (1884—1887), предс. Инженерного совета министерства, член Гос. совета 118

Сальвини Густаво (1859—1930) — итал. актер-трагик, сын Т. Сальвини 232

Сальвини Томмазо (1829—1915) — итал. актер, неоднократно гастролировал в России 318—319, 341, 564, 838, 891

Сальдерн Каспар (1711—1788) — рус. дипломат, посол в Варшаве 211, 885

Сальери Антонио (1750—1825) — итал. композитор 259, 599, 659, 878, 898

Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — мыслитель и обществ. деятель, один из лидеров славянофильства 854

Самоквасов Дмитрий Яковлевич (1843—1911) — историк, директор Московского архива Министерства юстиции 617

Сапунов Николай Николаевич (1880—1912) — рус. художник, член группы «Голубая роза» 712

Сарьян Мартирос Сергеевич (1880—1972) — армян. художник, в молодости член группы «Голубая роза» 661

Сафонов Василий Ильич (1852—1918) — рус. пианист и дирижер 53

Свенцицкий Валентин Павлович (1879—1931) — литератор, публицист, религиозный деятель 643, 900
Сегантини Джованни (1858—1899) — итал. художник 624
Семевский Василий Иванович (1848—1916) — историк освободительного движения, рабочего класса и крестьянства, приват-доцент Петербургского ун-та (1882—1886), с 1905 г. предс. комитетов по оказанию помощи политссыльным и политкаторжанам 128, 140, 157, 887
Семенов-Тян-Шанский П. П. — историк, мемуарист 293, 889
Сементковский Ростислав Иванович (1846—1918) — публицист и историк 203—204
Семирадский Генрик (1843—1902) — рус. художник польск. происхождения, проф. Петербургской Академии художеств 573, 604, 608
Сенкевич Генрик (1846—1916) — польск. писатель, автор популярных романов на ист. и современные темы 277, 279, 370, 396, 889—890, 893, 895—896
Сент-Илер Константин Карлович (1868—1941) — зоолог, приват-доцент Петербургского, позднее проф. Юрьевского и Воронежского ун-тов 186
Сергеевич Василий Иванович (1832—1910) — историк права, один из основоположников гос. юрид. школы в России, проф. (1872), затем ректор (1897—1900) Петербургского ун-та 9—10, 51, 82—83, 86, 171, 255, 288—289, 293, 304, 365, 577, 822, 858, 893
Сергей Александрович см. Адрианов С. А.
Сергей Александрович, вел. кн. (1857—1905) — брат Александра III, моск. ген.-губернатор (1891—1905), командующий войсками Московского воен. округа. Убит эсером И. П. Каляевым 107, 109, 222, 263, 876, 886
Сергей Иванович см. Сазонов С. И.
Сергей Федорович см. Платонов С. Ф.
Серебряков — оперный певец Мариинского театра 833
Середонин Сергей Михайлович (1860—1914) — рус. историк, ученик С. Ф. Платонова, приват-доцент Петербургского ун-та, автор работ по ист. географии, истории быта и нравов 48, 51, 62, 72, 105, 107, 126, 132, 197—198, 200, 223, 236, 239, 242, 332, 369, 378—379, 380—381, 411, 422, 451, 668, 740, 763, 886
Серов Александр Николаевич (1820—1871) — композитор, один из основоположников рус. муз. критики, отец В. А. Серова 821
Серов Валентин Александрович (1865—1911) — живописец и график, член худож. объединения «Мир искусства» 634, 661, 761, 792
Симановский Николай Петрович — врач-отоларинголог, проф. Военно-мед. академии 359
Сиповский (ум. 1895) — историк, препод. Николаевского сиротского ин-та 197, 201
Сиповский Василий Васильевич (1872—1930) — историк литературы, приват-доцент, позднее проф. Петербургского ун-та, чл.-корр. АН (1921) 193, 418—419, 423—424, 426, 428—429, 894
Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853—1902) — министр внутр. дел (1899—1900). Убит эсером С. В. Балмашевым 307, 342—343, 468—470, 473
Сипягин Петр — выпускник Петербургского ун-та, востоковед, участник миссии в Китай (1892) 47, 50
Скабичевский Александр Михайлович (1838—1911) — лит. критик народнического направления 204, 850
Скальковский Константин Аполлонович (1843—1906) — директор Горного департамента, журналист, автор многочисленных книг 267
Скобельцын Владимир Владимирович (1863—1947) — физик, проф. и директор Петербургского политехнического ин-та 589
Скороходов Иван Николаевич — владелец типографии, казначей совета детских приютов ведомства императрицы Марии 98, 523, 528, 531, 552, 570, 611, 613, 717, 719, 781
Скрябин Александр Николаевич (1871—1915) — рус. композитор 668, 674, 690
Слава см. Пресняков Я. А.
Славина Мария Александровна (1858—1951) — певица Мариинского театра 60, 146, 823, 843, 847
Слободчиков Иван Дмитриевич — директор департамента окладных сборов Министерства финансов 194, 196, 200, 202, 204

Словацкий Юлиуш (1809—1849) — польск. поэт и драматург-романтик 545

Словцов Борис Иванович (1874—1924) — физиолог и биохимик, петерб. проф. 754—757

Случевский — член попечительского совета гимназии Оболенской 671

Смирнов Яков Иванович (1869— 1918) — специалист по восточному искусству, хранитель Эрмитажа, акад. (1917) 438, 762—763

Смирнова-Россет (урожд. Россети) *Александра Осиповна* (1809—1882) — фрейлина имп. двора, мемуаристка 438

Смиттен Владислав Густавович — гл. контролер гос. жел. дорог западного направления 141

Соболевский Алексей Иванович (1856—1929) — филолог, препод. старославянского языка, проф. Петербургского ун-та, акад. (1900) 26, 40, 50—51, 102, 106—108, 160—161, 428—429, 495, 575, 896

Соколов (ум. 1895) — начальник Мариинских учреждений 198

Соколов Федор Федорович (1841—1909) — историк-эллинист, проф. Петербургского ун-та 12, 185, 503, 652

Сократ (ок. 470—399 до н.э.) — древнегреч. философ 264

Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901) — рус. издатель и коллекционер 37

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — религиозный философ, поэт, критик 136—137, 158, 266, 274, 283—284, 319, 642, 854, 859, 878, 882, 888, 891, 900

Соловьев Михаил Петрович (1842—1901) — начальник Главного управления по делам печати (1896—1899) 36, 268, 313

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — рус. историк, проф. Московского ун-та, акад. (1872) 7, 11, 13, 25, 274, 875, 897

Сологуб Федор Кузьмич (1863—1927) — рус. поэт и прозаик 630, 653, 731, 903—904

Сольский Людвик (1855—1954) — польск. актер 607

Сомов Андрей Иванович (1830—1909) — искусствовед, хранитель Эрмитажа, препод. Академии художеств и ВЖК 44, 55, 154

Сонин Николай Яковлевич (1849—1915) — математик, проф. Варшавского, затем Петербургского ун-тов, акад. С 1899 г. попечитель Петербургского уч. округа, предс. Ученого комитета Министерства нар. просвещения 291, 293, 302, 318, 321—322, 333, 342, 412—413, 446

Сорель Жорж (1847—1922) — фр. мыслитель, теоретик анархо-синдикализма 103

Софиано Леонид Петрович (1820—1898) — ген.-адъютант, товарищ ген.-фельдцейхмейстера, член Гос. совета 360

Софокл (ок. 496—406 до н.э.) — древнегреч. трагик 387

Софья Львовна см. Преснякова С. Л.

Софья Михайловна см. Якубовская С. М.

Спасович Владимир Данилович (1829—1906) — рус. юрист и лит. критик 158, 274

Спенсер Герберт (1820—1903) — англ. философ-позитивист, социолог, идеолог либерализма 171

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — гос. деятель, статс-секретарь (1809—1812), полит. мыслитель 116, 231

Сперанский Николай Васильевич (1861—1921) — историк-медиевист, специалист по истории школы 247, 887

Спиноза Бенедикт (1632—1677) — голландский философ 862

Спицын Александр Андреевич (1858—1931) — археолог, приват-доцент Петербургского ун-та, позднее проф. ЛГУ, чл.-корр. АН (1927) 105, 107, 123, 140, 162, 165, 220, 223, 368—369, 392, 438, 581

Сталь (урожд. баронесса Неккер) *Жермена де* (1766—1817) — фр. либеральная публицистка, писательница 273

Станислав (1030—1079) — краковский епископ, убит по приказу короля Болеслава II, канонизирован католической церковью 608

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938) — актер и режиссер, основатель Московского Художественного театра 641, 813

Станкевич — доктор истории искусства Сорбонны, преподавала на Московских высших женских курсах 731—732

Старицкий Григорий — член полтавской губернской земской управы 762

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — муз. и худож. критик 821, 826, 833, 847, 860, 887

Статковский — чиновник Министерства путей сообщения 27

Стахович Михаил Александрович (1861—1928) — обществ. и полит. деятель, один из лидеров партии октябристов, член Гос. думы, после революции в эмиграции 537

Ствош Вит (Штос Фейт) (ок. 1455—1533) — средневековый польск. скульптор 599—600

Стелла Соломоновна см. Манизер С. С.

Степанов Николай Васильевич — историк, преподаватель Женских пед. курсов 439

Степанов Павел Иванович — пом. нач., затем нач. училищ ведомства императрицы Марии 208, 418, 439

Стессель Анатолий Михайлович (1848—1915) — ген.-лейтенант, комендант Порт-Артура, сдавший его японцам в декабре 1904 г. 517

Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — гос. деятель, министр внутр. дел и предс. Совета министров Российской империи в 1906—1911 гг. 19, 592—593, 718—719, 899, 902

Сторожев Василий Николаевич (1866—1924) — историк, педагог, сотрудник Московского архива Министерства юстиции 105, 653, 800

Стороженко Николай Ильич (1836—1906) — историк литературы, проф. Московского ун-та 35

Стоюнин Владимир Яковлевич (1826—1906) — педагог-практик, историк педагогики и литературы 339

Стоюнина Мария Николаевна (1846—1940) — педагог, директриса частной женской гимназии в Петербурге 239, 405, 407, 482, 530, 538, 547—549, 554—555, 567, 676, 739

Стравинский Федор Игнатьевич (1843—1902) — рус. певец, артист Мариинского театра 60, 290

Страннолюбский Александр Николаевич (1839—1903) — контр-адмирал, педагог, препод. математики в Морском училище и других уч. заведениях, инспектор Женских пед. курсов, автор учебников по математике для средней школы 286, 310, 337, 418, 421, 423, 425, 433, 436—437, 481, 497, 594, 889

Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — философ, публицист, лит. критик, чл.-корр. АН (1890) 129, 139, 835, 906

Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882) — попечитель Московского уч. округа, археограф, предс. Археологической комиссии. Меценат, основатель так называемого Строгановского училища технического рисования 274, 377

Строев Василий Николаевич (1873—?) — историк, приват-доцент Петербургского ун-та (с 1902), служил в Гос. архиве и Канцелярии Гос. совета. С 1924 г. за границей 561

Строев Павел Михайлович (1796—1876) — историк, археограф, основатель АК, акад. (1849) 248

Струве Василий Бернгардович (1854—1912) — педагог, инспектор Николаевского сиротского ин-та, позднее директор Межевого ин-та в Москве 215—216, 220—224, 252, 259, 268, 270—271, 291, 323, 367, 379, 381, 389, 431, 465, 481, 511, 549, 555

Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — экономист, публицист, полит. деятель. Последовательно был легальным марксистом (1890-е), кадетом (до 1915), идеологом белого движения и монархистом. С 1920 г. в эмиграции 130, 166, 438—439, 440, 444—445, 887—889, 897—898

Стюарты — королевская династия в Англии (1603—1649, 1660—1714) 831

Суворин Алексей Алексеевич (1862—1937) — журналист и издатель, после революции в эмиграции 586, 587, 897, 898—899

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) журналист, драматург, издатель газеты «Новое время» 29, 140, 203, 875

Сумароков Василий Сергеевич — директор департамента жел. дорог Министерства путей сообщения 167

Суриков Василий Иванович (1848—1916) — художник 474, 820, 839
Сусанна Денисовна см. Лапшина С. Д.
Сухомлинов Михаил Иванович (1828—1901) — историк литературы, проф. Петербургского ун-та, акад. (1872) 320
Сыроечковский Борис Евгеньевич (1881—1961) — историк, специалист по истории декабризма. Работал в моск. вузах 812, 814
Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934) — издатель 546, 568, 572, 885
Сытка Ян — художник 465

Таганцева Любовь Степановна — владелица и директриса петерб. женской гимназии 187—188, 239, 337, 376, 419, 447, 482, 486, 488, 491, 493, 495—499, 502—503, 506, 509, 522—524, 530, 532, 537, 540, 542, 548, 550—551, 553, 567, 569, 573—575, 577, 579, 611, 613, 615, 667, 732, 739
Тан-Богораз Владимир Германович (1865—1936) — этнограф, писатель и журналист. В молодости народоволец 791
Танеев Александр Сергеевич (1850—1918) — статс-секретарь, главноуправляющий СЕИВК (1896—1917), член Гос. совета, композитор 528
Танеев Сергей Иванович (1856—1915) — композитор, пианист, проф. Московской консерватории 823, 906
Тарановский Федор Васильевич (1875—1936) — историк права, проф. Юрьевского и Петербургского ун-тов. После революции в эмиграции 675, 716
Тарле Евгений Викторович (1874—1955) — историк нового времени, приват-доцент (с 1903), позднее проф. Петербургского ун-та, акад. (1927) 655, 675, 680, 698—700, 702—703, 706—708, 710, 714, 716—717, 803, 805—806, 813, 901—902, 904
Тарле Ольга Григорьевна (1874—1955) — жена Е. В. Тарле 699, 703, 707, 716
Тартаков Иоаким Викторович (1860—1923) — певец, солист Мариинского театра 40, 44, 153
Татищев Василий Никитич (1686—1750) — рус. историк и гос. деятель 348, 530, 892, 898
Татьяна Николаевна см. Штруп Т. Н.
Таубе Михаил Александрович, барон. (1869—1961) — проф. междунар. права, товарищ министра нар. просвещения (1910—1914) 48
Тацит Корнелий (ок. 58—120) — римский историк 38, 820
Творожников Иван Иванович (1848—?) — художник-жанрист, автор полотен на ист. темы 820
Теккерей Уильям (1811—1863) — англ. писатель 49
Тенишев Вячеслав Николаевич, кн. (1844—1903) — археолог, социолог и этнограф, основатель Тенишевского реального училища 287, 322, 404, 417, 481, 484, 488, 491—492, 501, 503, 616
Тернер Федор Густавович (1828—1906) — товарищ министра финансов (1887—92), сенатор, член Комитета финансов (1895), предс. финансового департамента Гос. совета 44
Терье Андре (1833—1907) — фр. писатель 720
Тетмайер Казимеж (1865—1940) — польск. поэт и прозаик, представитель модернизма 510, 512, 604
Теруц Крунисл Юрьевич — член книжного товарищества «Просвещение» 160
Тиманова Вера Викторовна (1855—?) — пианистка, муз. педагог 824
Тиссо Жак-Жозеф (1834—1903) — фр. художник, работавший в Англии 440—441
Тихонравов Николай Саввич (1832—1893) — историк рус. литературы, проф. Московского ун-та, акад. (1890) 293, 801
Тищенко Андрей Вячеславович (1890—1914) — историк и археолог. Окончил в 1913 г. Петербургский ун-т. Погиб на фронте 722
Тоде Джакопоне да (XIII в.) — монах-францисканец, философ и проповедник 871
Толстой Алексей Константинович, гр. (1817—1875) — поэт и драматург 274, 430
Толстой Дмитрий Андреевич, гр. (1823—1889) — министр нар. просвещения (1866—1880), министр внутр. дел (1882—1889) 797
Толстой Дмитрий Иванович, гр. — директор Эрмитажа (1909—1918), брат гр. И. И. Толстого 790

Толстой Иван Иванович, гр. (1858—1916) — нумизмат, общ.-полит. деятель, вице-президент Академии художеств (1893—1905), министр нар. просвещения (1905—1906) 789, 904

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — рус. писатель 167, 173, 175, 177—178, 181, 205, 319, 345, 408, 546, 591, 607, 841—842, 851, 857—858, 863, 876—877, 881, 883, 885, 892, 894, 906—907

Торвальдсен Бертель (1770—1844) — датский скульптор, представитель классицизма 399

Торстен Васильевич см. Форстен Т. В. 646

Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906) — ген.-майор, с января 1905 г. петерб. ген.-губернатор, с апреля товарищ министра внутр. дел, с октября дворцовый комендант 528, 534, 536—537

Третьяков Павел Михайлович (1832—1898) — предприниматель и коллекционер, основатель худож. галереи 34, 37, 573, 879

Третьяков Сергей Михайлович (1834—1892) — коллекционер, владелец собрания европейской живописи, брат П. М. Третьякова 109, 879

Трифонов Николай Алексеевич — математик, препод. Женских пед. курсов 308, 410—411, 418, 548

Тропинин Василий Андреевич (1776—1854) — живописец-портретист 619

Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920) — рус. философ и обществ. деятель либерального толка, проф. Московского ун-та 549, 898

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919) — экономист, историк, приват-доцент Петербургского ун-та, приват-доцент Политехнического ин-та, «легальный марксист», министр финансов Центральной Рады (конец 1917—январь 1918) 294, 888

Тугендхольд Яков Александрович (1882—1928) — искусствовед и худож. критик 700, 705, 902

Тупиковы, братья: Григорий Андреевич и Сергей Андреевич — владельцы доходных домов на Литейном проспекте 220, 364

Тур Федор Евдокимович (1866—?) — физиолог, препод. Женского пед. ин-та 540, 556, 568, 570, 647, 664, 691, 743, 745, 772

Тураев Борис Александрович (1868—1920) — египтолог и историк древнего Востока, проф. Петербургского ун-та, акад. (1918) 519, 522, 739, 759

Тураева (урожд. Церетели) *Елена Филимоновна* (1867—1948) — жена Б. А. Тураева, автор работ по рус. истории, преподавательница Женского пед. ин-та 387—388, 519, 684

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — рус. писатель 167, 195, 656, 774, 883, 906

Тырков Сергей Владимирович (1867—?), брат А. В. Тырковой 678, 901—902

Тыркова Ариадна Владимировна (1869—1962) — журналистка и литератор, обществ. деятельница, член кадетской партии. Участница белого движения. После революции в эмиграции 650, 678, 682, 721, 761, 901

Тьерри Огюстен (1795—1856) — франц. историк, представитель романтической историографии 244

Тэн Ипполит (1828—1893) — фр. историк и философ-эстетик 830—832, 862, 906

Тюдоры — королевская династия в Англии (1485—1603) 831

Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт, публицист 274

Уваров Сергей Семенович, гр. (1786—1855) — министр нар. просвещения (1833—1849), президент Академии наук (1818—1855) 263

Уварова (урожд. княгиня Щербатова) *Прасковья Сергеевна,* графиня (1840—1924) — предс. Московского археологического общества (с 1884), организатор Всероссийских археологических съездов 104, 222, 368, 879

Удальцов Александр Дмитриевич (1883—1958) — историк-медиевист. Чл.-корр. АН (1939) 803

Уотс Джордж Фредерик (1817—1904) — англ. художник 408

Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — писатель, публицист 857—858

Успенский Федор Иванович (1845—1928) — историк-византинист, проф. Новороссийского, позднее Петербургского ун-тов, акад. (1900) 105

Утин Евгений Исаакович (1843—1894) — адвокат, публицист, сотрудник «Вестника Европы» 137

Ушинский Константин Дмитриевич (1824 — 1870) — педагог, основоположник пед. психологии как целостного метода воспитания 339

Фаминцын Андрей Сергеевич (1835—1918) — ботаник, проф. Петербургского ун-та, акад. (1884) 274, 289—292

Фаусек Виктор Андреевич (1861—1910) — зоолог, проф. Петербургского ун-та, первый выборный директор Бестужевских курсов (с 1906) 675, 680, 687—688, 901

Фаусек Юлия Ивановна (ум. 1940) — жена В. А. Фаусека, педагог 687—688

Федоров Михаил Михайлович — журналист, ред. газеты «Слово» 587, 777, 900

Федотова Гликерия Николаевна (1846—1925) — рус. актриса, ведущая артистка Московского Малого театра в Москве 735

Фейербах Ансельм (1829—1880) — нем. художник-монументалист 692

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — поэт-лирик, мемуарист 250

Феттерлейн К. Ф. — историк, публицист 273

Фигнер Николай Николаевич (1857—1918) — рус. оперный певец (лирико-драматический тенор) 56, 153, 435, 823

Филарет (Федор Никитич Романов) (ок. 1555—1633) — патриарх Московский (1619), отец царя Михаила Федоровича 526, 866, 892, 897

Филевич Иван Порфирьевич (1856—1913) — историк, проф. Варшавского ун-та 258

Филиппов Александр Николаевич (1853—1927) — историк и правовед, проф. Юрьевского, позднее Московского ун-та, чл.-корр. АН (1914) 183, 325, 459—461, 473, 579, 582, 585, 595, 617—618, 624, 628—639, 670, 759, 761, 786, 884

Филиппов Тертий Иванович (1825—1899) — сенатор (1881), гос. контролер (1889), член Комитета финансов. Собиратель, исполнитель и пропагандист рус. нар. песен, публицист, этнограф, почетный член АН (1893) и Имп. Русского географического общества 61, 131, 204, 578, 881, 883

Фишер Болеслав Адамович — практикующий врач, акушер 257, 261, 321, 560

Флексер-Волынский см. Волынский А. Л.

Флетчер Джайлс (ок. 1549—1611) — глава англ. посольства в Москву (1588—1589), автор описания Московского государства 72

Фойницкий Иван Яковлевич (1847—1911) — юрист, проф. уголовного права Петербургского ун-та 86

Фомин Иван Александрович (1872—1936) — архитектор 665

Форстен (урожд. Малиновская) — мать Г. В. Форстена 357

Форстен Александр Густавович — племянник Г. В. Форстена 727

Форстен (урожд. Фриксн) *Валентина Александровна* — жена Г. В. Форстена 357—358, 493, 502, 678

Форстен Георгий Васильевич (1857—1910) — историк-скандинавист, основоположник школы сканд. исследований, проф. Петербургского ун-та (1896), член уч. комитета Министерства нар. просвещения (1899), один из учителей А. Е. Преснякова 9, 17, 20, 56—58, 61—63, 65, 68, 75, 84, 96, 113, 116, 119, 121, 124, 127—136, 140, 144—145, 149—150, 152, 156—157, 161, 165—166, 171—172, 174—176, 178, 180—182, 184, 186—187, 189, 191, 195, 198—200, 203—205, 208—212, 215—216, 218—219, 223—224, 230, 235—236, 239—240, 242—243, 250, 253, 255, 257, 260, 265, 268—269, 271, 275—276, 279—281, 286, 288, 291, 303—305, 307, 318, 334, 338, 341, 354, 357—359, 362—363, 369—370, 372, 374—376, 379—380, 383, 386—391, 397, 399, 401—402, 404—405, 407—408, 410, 414—415, 417, 419, 421, 426—428, 430—431, 448, 451, 453, 455—456, 475, 478, 484, 489, 492—493, 495, 497, 499—500, 502, 504, 507, 509, 512—514, 516, 518—520, 523—524, 526—527, 530, 532, 540—541, 544, 549, 560—561, 564, 569—570, 574—576, 580—581, 583—589, 606, 612, 616, 625—627, 635, 643, 645—646, 654, 662—663, 671—673, 675—678, 680—683, 726—727, 792—793, 845, 880, 886, 892, 901

Форстен Густав Васильевич — брат Г. В. Форстена, полковник, член правления страхового общества 588, 672, 677

Форстен Леннарт Васильевич — брат Г. В. Форстена 588

Форстен Лиля — племянница Г. В. Форстена 493, 504, 519, 588

Форстен Торстен Васильевич — брат Г. В. Форстена, коммерсант и промышленник 646

Фофанов Константин Михайлович (1862—1911) — рус. поэт 838

Франк Сезар (1822—1890) — фр. композитор и органист 135, 580

Франк Семен Людвигович (1877—1950) — философ, приват-доцент, позднее проф. Петербургского ун-та, кадет, в 1905—1906 гг. вместе с П. Б. Струве ред. «Полярной звезды». В 1922 г. выслан за границу 540, 546, 549, 555, 898

Франц Иосиф I (1830—1916) — император Австрии и король Венгрии с 1848 г. 541, 599, 605, 786

Франц Роберт (настоящая фамилия Кнаут) (1815—1892) — нем. композитор, дирижер и органист, автор романсов и лирических песен 493

Франциск I (1494—1547) — король Франции с 1515 г. 707

Франциск Ассизский (ок. 1181—1226) — св. католической церкви 74

Фредро Александр (1793—1876) — польск. драматург, популярный комедиограф 604—605

Фриде Александр Юльевич — преемник Е. Л. Преснякова на посту начальника Закавказской жел. дороги 126

Фриде Нина Александровна (1859—после 1840) — актриса Мариинского театра в 1884—1891, 1895—1907 гг. 848

Фридман Михаил Исидорович (1875—1921) — экономист, проф. Петербургского политехнического ин-та 698, 700

Фридолин Петр Петрович — историк-медиевист, проф. Женского пед. ин-та 391, 448, 575, 743, 861

Фулье Альфред (1838—1912) — фр. философ-эклектик 861, 906

Фурсенко Василий Васильевич (ум. 1942) — историк, педагог 778—779

Фюстель де Куланж Нюма Дени (1830—1889) — фр. историк, автор работ по проблемам генезиса феодализма 64, 77, 244

Халатов Сергей Богданович — гласный Тифлисской городской думы, врач 32

Хардина Н. А. — выпускница ВЖК, участница кружка Г. В. Форстена, директор самарской гимназии 374—375, 453, 762—763

Харламов Алексей Алексеевич (1842—?) — художник 868

Хилинский Константин Владимирович (1881—1939) — историк античности, приват-доцент Бестужевских курсов, с 1915 г. проф. Женского пед. ин-та, в 1919 г. репатриировался в Польшу. Был профессором Львовского ун-та 591, 769, 772—773, 775

Хилков Михаил Иванович, кн. (1834—1909) — управляющий Министерством путей сообщения (1895— 1905), член Гос. совета (с 1909) 167—168, 194, 199, 235, 284, 289, 291, 313, 319, 883

Хлопин Григорий Витальевич (1863—1929) — врач-гигиенист, проф. Женского мед. ин-та в Петербурге 685—687, 695, 901

Хлопицкий Юзеф (1771—1854) — ген., деятель польск. восстания 1830 г. 607

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — поэт и философ, идеолог славянофильства 854, 856

Хрущев Иван Петрович — камергер, член ученого комитета Министерства нар. просвещения, историк 103

Цамутали Евгений Николаевич (1851—после 1916) — инженер-механик флота, с 1885 г. — инженер на Закавказской жел. дороге 30, 194

Цветаев Иван Владимирович (1843—1913) — историк, искусствовед, проф. Петербургского, Варшавского, Киевского и с 1877 г. Московского ун-тов, основатель и первый директор (с 1912) Музея изящных искусств в Москве 619, 632, 636

Цветковский Георгий Георгиевич — препод. рус. языка на Женских пед. курсах и в Пажеском корпусе 187—188, 381, 433

Цебрикова Мария Константиновна (1835—1917) — писательница и обществ. деятельница революционно-демокр. направления 845

Цейдлер Клара — преподавательница Центрального промышленного училища технического рисования барона Штиглица, подруга Ю. П. Пресняковой 52, 54, 85—87, 99, 117, 124, 139, 142, 181, 215, 217, 422

Церетели Григорий Филимонович (1870—1938) — филолог, проф. Юрьевского, Петербургского и Тифлисского ун-тов, однокурсник А. Е. Преснякова 86, 110, 387, 417, 421

Церетели Елена Филимоновна см. Тураева Е. Ф.

Цион Илья Фадеевич (1835—1912) — физиолог, проф. Петербургского ун-та (с 1870) и Медико-хирургич. академии (1872—1875). Полит. публицист 807

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — философ, публицист 274, 860

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — рус. композитор 53, 56, 135, 427, 485, 505, 879, 894

Чарторыйские — польск. княжеский род 751, 753—754

Челинцев Владимир Васильевич (1877—1947) — химик, проф. Московского и Саратовского ун-тов 751, 753—754

Черевин Петр Александрович (1837—1896) — ген.-майор свиты, ген.-адъютант, товарищ министра внутр. дел (1880—1883), нач. дворцовой охраны императора Александра III 175

Черников Михаил Иванович — препод. словесности I Тифлисской гимназии 407

Чернов Сергей Николаевич (1887—1942) — рус. историк, ученик С. Ф. Платонова и А. Е. Преснякова. В 1918—1928 гг. проф. Саратовского ун-та, член АК (1929) 17, 684, 722, 739, 751, 761, 779, 902

Чернышев Иван Васильевич — практикующий врач-гинеколог 209—210

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — лит. критик, писатель 850

Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936) — обществ. деятель, друг и последователь Л. Н. Толстого 760

Чертков Михаил Иванович (1829—1905) — ген.-адъютант, наказной атаман войска Донского, ген. от кавалерии, Киевский ген.-губернатор (1879—1881), Варшавский ген.-губернатор (1900—1905) 344, 760

Чехов Антон Павлович (1860—1904) — рус. писатель 319, 638, 663, 752, 891, 900

Чечот Оттон Антонович — лейб-медик Александра III 234

Чечулин Николай Дмитриевич (1863—1927) — рус. историк, приват-доцент Петербургского ун-та, сотрудник Имп. Публичной библиотеки, член АК, Имп. Русского исторического общества, попечитель Виленского уч. округа (1915—1917), чл.-корр. АН (1921) 128, 132, 157, 174, 186, 228, 231—232, 262, 367—368, 372, 374, 378, 389, 427, 438, 628, 715, 733—736, 739, 781, 870, 879, 886, 902

Числов Петр Иванович — моск. историк, архивист 578—580, 582, 585—586, 595

Чихачев Николай Матвеевич (1830—1917) — адмирал, ген-адъютант, нач. Главного морского штаба (1884—1888), управляющий морским министерством (1888—1896), член Гос. совета (с 1896) 222, 886

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — юрист, историк, проф. рус. истории Московского ун-та в 1861—1868 гг., представитель либерального течения в рус. философско-юрид. мысли, мемуарист 112, 171, 796, 858—859

Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936) — полит. деятель, нарком иностр. дел (1918—1930) 796

Чуйко Владимир Викторович (1839—1899) — издатель, лит. критик, переводчик 183, 199, 281, 292, 376, 383, 388—398, 400, 402, 406, 408, 419—420, 421, 448, 451—452, 854—857, 906

Чуйко Елена Владимировна (ум. 1905) — выпускница ВЖК, участница кружка Г. В. Форстена. Вторая жена С. А. Адрианова 215, 234, 237, 241, 243, 275, 280—281, 287, 292, 307, 311, 337, 363, 367—368, 372—377, 380, 382, 389, 396—397, 400—402, 406, 414—415, 421, 428—430, 437—438, 440—441, 444, 447—451, 453, 465, 509, 517, 522, 528, 557, 893, 897

Чуйко Наталья Павловна — жена В. В. Чуйко, мать Е. В. Чуйко 319, 337, 396, 400, 415, 420—421, 435, 441

Чупров Александр Иванович (1842—1908) — проф. экономики и статистики Московского ун-та 171

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — рус. певец, солист Большого и Мариинского театров, с 1922 г. за границей 558—559, 562, 564, 898

Шамонина Зинаида Николаевна — начальница гимназии, сестра Н. Н. Платоновой 793, 799

Шаскольский Петр Борисович (1882—1918) — историк-медиевист, ученик Г. В. Форстена и И. М. Гримма, приват-доцент Петербургского ун-та 569, 652

Шателен Михаил Андреевич (1866—1957) — электротехник, проф. Горного и Электротехнического ин-тов, чл.-корр. АН (1931) 411

Шахматов Алексей Александрович (1864—1920) — филолог и историк, проф. Петербургского ун-та (1908), акад. (1894) 5, 9, 13, 308, 314, 316, 320, 323, 333, 342, 489, 491, 509, 520, 535, 563, 568, 576, 653, 689, 719, 734, 737—739, 768—769, 891

Шаховский Николай Владимирович, кн. (1856—1906) — нач. Главного управления по делам печати 313, 468, 470

Шаховской, кн. — виленский воевода при Иване Грозном 105

Шварц Александр Николаевич (1848—1915) — филолог-классик, проф. Московского ун-та, попечитель Рижского, затем Варшавского уч. округов, в 1908—1910 гг. министр нар. просвещения 610—611

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — укр. поэт-демократ 338, 850

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — историк литературы, поэт, критик, проф. Московского ун-та 855

Шевяков Владимир Тимофеевич (1859—1930) — зоолог, проф. Петербургского ун-та и Женского пед. ин-та, товарищ министра нар. просвещения, чл.-корр. АН (1908) 665, 733, 772

Шекспир Уильям (1564—1616) — англ. драматург и поэт 458, 497, 821, 838, 872

Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891) — обществ. деятель, публицист 863

Шёнгер Владимир Рудольфович (1871—?) — гимназический друг А. Е. Преснякова, окончил математический ф-т Петербургского ун-та (1893) астроном, учитель математики в тифлисской гимназии 39, 50—55, 60—61, 71, 87, 97, 99, 110, 116, 118, 120, 123, 125, 127, 138, 141, 143, 150, 162, 339, 346, 353, 753, 820

Шенрок Владимир Иванович (1853—1910) — литературовед, педагог, издатель и биограф Н. В. Гоголя 273

Шереметев Павел Сергеевич — историк, зав. музеем-усадьбой Остафьево, сын С. Д. Шереметева 665

Шереметев Сергей Алексеевич (1836—1896) — ген. от кавалерии, главноначальствующий гражданской частью на Кавказе, командующий войсками Кавказского воен. округа, член Гос. совета (1896) 143, 245, 365, 885, 887

Шереметев Сергей Дмитриевич, гр. (1844—1918), — историк, коллекционер, библиофил, обществ. деятель. Почетный акад. (1890), предс. АК (1900—1917) и «Общества любителей древней письменности»; член Гос. совета (1900) 112, 181, 272, 486, 526, 593, 880, 888

Шереметева Евдокия Борисовна — вдова С. А. Шереметева 207, 245

Шерр Иоган (1817—1866) — нем. историк, проф. Цюрихского ун-та 849

Шеффер Николай Иванович — управляющий делами вел. кн. Георгия Михайловича, отец П. Н. Шеффера 85, 250, 260, 384, 437

Шеффер Петр Николаевич (1868—не ранее 1929) — историк и филолог, секретарь «Общества любителей древней письменности» (1897), член АК (1906), проф. Петроградского Археологического ин-та 42, 45, 54, 71, 92, 94, 102, 106, 108, 110—111, 116, 125, 153, 194—225, 250, 259—260, 279, 339, 362, 384, 419, 425—426, 428, 437, 440—442, 445, 447, 449—450, 466, 471, 478, 484, 489, 499, 501—502, 514, 518, 532—533, 538—539, 590—591, 721, 723, 725

Шеффер Софья Аркадьевна — мать П. Н. Шеффера 111

Шидловский Николай Владимирович (1843—1907) — статс-секретарь (1883), член Гос. совета (1895) 207

Шильдер Андрей Николаевич (1861—1919) — художник 867

Шильдер Николай Карлович (1842—1902) — ген.-лейтенант, историк, директор Публичной библиотеки (с 1899), чл.-корр. АН (1900) 273

Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790—1855) — министр нар. просвещения (1849—1853) 263—264

Шишкин Иван Иванович (1832—1898) — рус. художник-пейзажист 159, 839, 867

Шишмарев Владимир Федорович (1875—1957) — филолог-романист, препод. Женского пед. ин-та, проф. Петербургского ун-та, акад. (1946) 290, 519, 808, 904

Шишмарева Анна Михайловна (1877—1956) — жена В. Ф. Шишмарева 808, 904

Шлиппе Владимир Карлович (1834—?) — симбирский вице-губернатор (1889), екатеринославский губернатор (1890), тульский губернатор (1893), член Гос. совета (с 1905) 271

Шлиттен — нем. хронист XVI в., автор записок о Московии 866

Шляпкин Илья Александрович (1858—1918) — историк литературы, проф. Петербургского ун-та, чл.-корр. АН (1907) 149, 546, 551, 677, 736

Шмурло Евгений Францевич (1853—1934) — рус. историк. Ученик К. Н. Бестужева-Рюмина. Приват-доцент Петербургского (1889—1891), проф. Юрьевского (1891—1903) ун-тов. Ученый корреспондент АН в Риме. Чл.-корр. АН (1911). После революции жил в Праге 26, 499, 504, 512, 606, 676, 678, 897

Шницлер Артур (1862—1931) — австр. драматург 512, 895

Шопен Фредерик (1810—1849) — польск. композитор 492, 713, 849

Шостак Екатерина Николаевна — начальница Николаевского сиротского ин-та (1889—1896) 159, 379, 885

Шохор-Троцкий Константин Сергеевич — литературовед, педагог, преподавал в частных гимназиях 274, 430, 531—532, 551

Шохор-Троцкий Семен Ильич — препод. пед. курсов при фребелевском обществе 676, 754

Шрейдер (Шредер) Григорий Ильич (1860 — ?) — журналист, сотрудник «Русской молвы» 476, 748, 766

Штендман Георгий Федорович — член Русского ист. общества, редактор «Русского биографического словаря» 202

Штиглиц Александр Людвигович, барон (1814—1884) — банкир, управляющий Гос. банком (1860—1866), меценат 73—74, 125, 156, 165, 228, 320, 884

Штильман Григорий Николаевич — журналист, сотрудник «Слова» и «Русской молвы» 727, 747, 761, 768

Струп Николай Мартынович — приемный сын В. И. Ламанского, член кружка Г. В. Форстена, друг А. Е. Преснякова. Зав. делами торговли и промышленности в канцелярии товарища министра финансов. Литератор 129, 140, 146, 148, 156, 169, 196, 259, 276, 279, 302, 314, 333, 371, 375, 377, 384, 396, 413, 420, 423, 447—449, 452—453, 481, 491, 496, 507, 513—514, 521, 536, 565, 577, 585, 594, 651, 675, 723, 777, 887

Штруп Татьяна Николаевна — жена Н. М. Штрупа 561, 723

Штюрмер Борис Владимирович (1848—1917) — предс. Совета министров (1916) 511

Шуберт Франц (1797—1828) — австр. композитор 821, 906

Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913) — издатель и ред. журнала «Исторический вестник» 418—419, 894

Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — лидер правых националистов в I и II Гос. думах, публицист, ред. газеты «Киевлянин», мемуарист 802, 904

Шульгин Константин Николаевич — инспектор I Тифлисской гимназии 27

Шуман Роберт (1810—1856) — нем. композитор 834, 843

Шумигорский Евгений Севастьянович (1857—1920) — историк, специалист по эпохе Павла I 399, 401

Щапов Афанасий Петрович (1831—1876) — историк демокр. направления 831, 849, 850, 860

Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — судебный деятель, министр юстиции (1906—1915) 718

Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — историк и пушкинист, ред. журнала «Былое» 726, 903

Щепкин Евгений Николаевич (1860—1920) — историк, выпускник Московского ун-та, проф. всеобщей истории Новороссийского ун-та 39

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — актер Малого театра в Москве 837

Щербатов Михаил Михайлович, кн. (1733—1790) — историк, публицист 71, 103

Щербатов Николай Борисович, кн. (1868—1943) — министр внутр. дел (1915) 781—782

Щукарев Александр Николаевич (1861—1900) — искусствовед, археолог, приват-доцент Петербургского ун-та (с 1891) 154

Щукин Сергей Иванович (1854—1936) — моск. коллекционер новой западной живописи 620, 623, 625, 634, 660, 784, 789, 806, 899

Эврипид (ок. 480—406 до н. э.) — древнегреч. трагик 387

Эйкен Рудольф (1846—1926) — нем. философ 866

Эйхгорн Виталий Осипович — историк, в 20-х гг. препод. Нижегородского ун-та 273

Экк Николай Владимирович — врач при канцелярии Министерства финансов 517

Эллис (Кобылинский) Лев Львович (1879—1947) — поэт и критик символистского направления 641

Энгель Евгений (Генрих) Александрович (1878—1942) — юрист, большевик с 1904 г., в 20-е гг. декан ф-та обществ. наук Петроградского ун-та 721, 902

Энгель Юрий Дмитриевич (1868—1927) — муз. критик 820—821

Энгельс Фридрих (1820— 1895) — нем. философ, экономист, полит. деятель 803

Эрвин Давидович см. Гримм Э. Д.

Эрдманн Бенно — проф. философии Берлинского ун-та 651

Эстергази — майор фр. Генштаба, чья шпионская деятельность в пользу Германии была приписана А. Дрейфусу. Оправдан в 1898 г. 265

Эсхил (ок. 525—456 до н. э.) — древнегреч. трагик 387

***Ю**супов Феликс Феликсович,* кн., гр. *Сумароков-Эльстон* — адъютант Московского ген.-губернатора вел. кн. Сергея Александровича (1886—1904); командующий Московским воен. округом (1915) 781

***Я**блоновский Александр Валериан* — польск. историк, издатель ист. источников 749

Яворская (урожд. Гюббенет, в замужестве Борисова) *Лидия Борисовна* (1871—1922) — актриса, худож. театра А. С. Суворина, жена кн. В. В. Барятинского 341

Яворский Стефан (1658—1722) — церковный деятель, митрополит, местоблюститель патриаршего престола (с 1700) 211, 240, 243, 885—886

Ягеллоны — королевская династия в Польше (1386—1572) 596, 598, 601

Ядринцев Николай Михайлович (1842—1894) — этнограф и публицист, исследователь Сибири 157

Языков Николай Михайлович (1803—1846) — рус. поэт 273

Яковлев Алексей Иванович (1878—1951) — рус. историк, проф. Московского ун-та, чл.-корр. АН (1929) 619, 633, 637, 656, 798—799, 800, 803—805, 904

Яковлев Леонид Георгиевич (1858—1919) — певец Мариинского театра 56, 153

Якубовская Софья Михайловна (Вуенка) — экономка, родственница Пресняковых 299—301, 306, 783, 789

Якубовский Станислав — сын С. М. Якубовской 783, 789, 792

Якушкин Вячеслав Евгеньевич (1856—1912) — историк, проф. Московского ун-та, земский деятель, член ЦК партии кадстов, депутат I Гос. думы 273, 803

Ямпольский Иван Платонович — шурин А. Е. Преснякова, второй муж его сестры, Марии Евгеньевны 279, 309—310, 312, 319, 326—328, 342—343, 411, 437, 443, 449—450, 454, 466, 470—472, 473, 475—479, 481, 483, 512—513, 516, 559—560, 566, 573, 647, 653, 660, 677, 684

Янжул Иван Иванович (1846—1914) — экономист и статистик, проф. Московского ун-та, акад. (1895) 287, 881

Янсон Александр Рафаилович — препод. Харьковского ун-та 54

Ярош Киприан Николаевич — проф. права Харьковского ун-та 27, 875

Ярошевский Алексей Георгиевич — педагог и краевед, ученик Г. В. Форстена 576, 584, 586, 577, 682—683, 723, 732, 734

Ярошенко Николай Александрович (1846—1898) — художник-передвижник 838—839

Ярцев Григорий Федорович (1857—1918) — художник-пейзажист 839

Ястребов Николай Владимирович (1869—1923) — историк-славист, приват-доцент, с 1914 г. проф. Петербургского ун-та. С 1919 г. в эмиграции в Праге 373, 378, 720, 730, 775, 777, 799

Ященко Александр Семенович (1877—1934) — юрист и литератор, с 1909 г. проф. юрид. ф-та Юрьевского ун-та. С 1918 г. за границей. Жил в Берлине, был проф. в Каунасе 699, 710, 902

Claude Monet см. Моне К.

Duran-Ruel см. Дюран-Рюель П.

Fredro см. Фредро А.

Fustel de Coulange см. Фюстель де Куланж

Gaster см. Гастер

Hugo Victor — см. Гюго В.

Malczewski см. Мальчевский Я.

May см. Май К. И.

Monod см. Моно Г.

Nordau M. см. Нордау М.

Pissarro см. Писсарро К.

Puvis de Chavannes см. Пюи де Шаванн П

Renaud-Heber см. Рено Морис

Spencer см. Спенсер Г.

Tetmajer — см. Тетмайер К.

Waitz см. Вайц Георг

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЕ — Археографический ежегодник
АК — Археографическая комиссия
АН — Академия наук
БАН — Библиотека Академии наук
ВЖК — Высшие женские (Бестужевские) курсы
ГПБ — Государственная Публичная библиотека
ЕГАФ — Единый государственный архивный фонд
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ЛГПИ — Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена
ЛГУ — Ленинградский государственный университет
ЛЗАК — Летопись занятий Археографической комиссии
ЛОИИ — Ленинградское отделение Института истории
МГУ — Московский государственный университет
МНП — Министерство народного просвещения
МПС — Министерство путей сообщения
НКИД — Народный комиссариат иностранных дел
ОИ — Отечественная история
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
РАН — Российская Академия наук
РБС — Русский биографический словарь
РГАЛИ — Российский государственный исторический архив литературы и искусства
РГИА — Российский государственный исторический архив
РИЖ — Русский исторический журнал
СЕИВК — Собственная Его Императорского Величества канцелярия
СПбИИ РАН — Санкт-Петербургский Институт истории Российской Академии наук
ЦГИА СПб. — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
австр. — австрийский
акад. — академик
амер. — американский
англ. — английский
вел. кн. — великий князь
внутр. — внутренний
воен. — военный

венгр. — венгерский
ген. — генерал
гл. — главный
гос. — государственный
гр. — граф
демокр. — демократический
древнегреч. — древнегреческий
жел. — железная
зав. — заведующий
изд. — издание
изд-во — издательство
имп. — императорский
иностр. — иностранный
ин-т — институт
ист. — исторический
итал. — итальянский
ж/д — железнодорожный
кн. — князь
лат. — латинский
л.-гв. — лейб-гвардии
лит. — литературный
мед. — медицинский
междунар. — международный
моск. — московский
муз. — музыкальный
нар. — народный
нач. — начальник
нем. — немецкий
обществ. — общественный
отв. — ответственный
пед. — педагогический
петерб. — петербургский
полит. — политический
польск. — польский
пом. — помощник
предс. — председатель
препод. — преподаватель
проф. — профессор
примеч. — примечание
рев. — революционный
рец. — рецензия
ред. — редактор
росс. — российский
рус. — русский
св. — святой
симф. — симфонический
театр. — театральный
техн. — технический
укр. — украинский
ун-т — университет
урожд. — урожденная

уч.	— учебный
филол.	— филологический
фр.	— французский
хоз.	— хозяйственный
ф-т	— факультет
худож.	— художественный
чл.-корр.	— член-корреспондент
эконом.	— экономический
энц.	— энциклопедический
этногр.	— этнографический
юрид.	— юридический

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Евгеньевич Пресняков и его наследие (*А. Н. Цамутали, Т. Н. Жуковская*) . . . 3

Письма к матери (1890—1905 гг.)

1890 . . . 24
1891 . . . 28
1892 . . . 34
1893 . . . 75
1894 . . . 124
1895 . . . 165
1896 . . . 207
1897 . . . 235
1898 . . . 262
1899 . . . 286
1900 . . . 315
1901 . . . 340
1902 . . . 348

Письма к жене (1893—1927 гг.)

1892 . . . 350
1893 . . . 351
1894 . . . 352
1896 . . . 359
1897 . . . 374
1898 . . . 393
1899 . . . 410
1900 . . . 456
1901 . . . 467
1902 . . . 484
1903 . . . 496
1904 . . . 510
1905 . . . 522
1906 . . . 536
1907 . . . 558
1908 . . . 576
1909 . . . 616
1910 . . . 659
1911 . . . 685

1912 727
1913 746
1915 768
1916 783
1918 792
1926 801
1927 811

Дневник 1889—1899 гг.

1889 816
1890 829
1891 864
1897—1899 870
Комментарии 874
Основные даты жизни и деятельности А. Е. Преснякова 908
Указатель имен 911
Список сокращений 963

Александр Евгеньевич Пресняков

ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ
1889—1927

Редактор *Е. А. Гольдич*
Корректор *Е. А. Гольдич*
Компьютерная верстка *Л. В. Соловьева*

Издательство «Дмитрий Буланин»
ЛР № 061824 от 11.03.98

Налоговая льгота
общероссийский классификатор продукции ОК-005-93;
95 3001 — книги, 03-01-00349д

Подписано к печати 20.09.04. Формат 60×84 $^1/_{16}$
Гарнитура Таймс. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Печ. л. 28,5. Уч.-изд. л. 16,5.
Тираж 800. Заказ № 3589

Заказы присылать по адресу
«ДМИТРИЙ БУЛАНИН»
199034, С.-Петербург, наб. Макарова, 4
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Российской Академии наук
Телефон/факс: (812) 542-52-23
E-mail: dbulanin@sp.ru
http://www.dbulanin.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

04-75409

2010087643

До сих пор нет ни обстоятельной научной биографии, ни монографического исследования, которое бы содержало всесторонний анализ научного наследия Александра Евгеньевича Преснякова (1870–1929). Неоценимым материалом в решении этой задачи могут послужить хранящиеся в архиве Санкт-Петербургского Института истории Российской Академии наук письма Преснякова к родным.

Жизненный мир Преснякова запечатлен его рукой в хроникально точном, цельном, многосюжетном и практически непрерывном повествовании. В архивах историков, современников А. Е. Преснякова, мы, конечно, найдем коллекции писем, сопоставимых с данным собранием по своему объему и содержательности. Но едва ли найдем аналоги такой открытости личности, какая присутствует здесь. На семи тысячах страниц писем Преснякова мы находим все, что его волнует: в науке, в политике, в жизни и любви, – выраженное с той мерой откровенности и доверия, с какой относился он к двум самым близким людям – матери и жене.

ISBN 5-86007-441-7
9785860074415